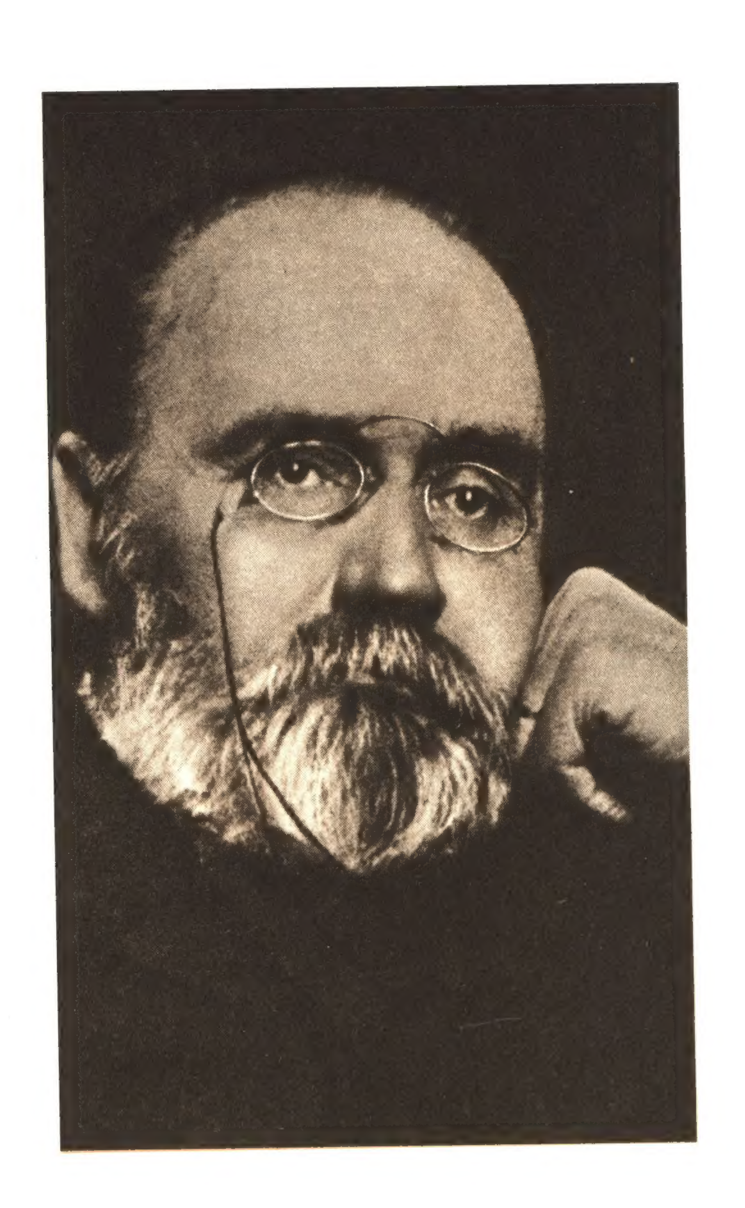
ЭМИЛЬ ЗОЛЯ

ЗАПАДНЯ · ЖЕРМИНАЛЬ



БИБЛИОТЕКА КЛАССИКИ

---

* * *

Зарубежная литература

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988

ЭМИЛЬ ЗОЛЯ

ЗАПАДНЯ
ЖЕРМИНАЛЬ

РОМАНЫ

Перевод с французского

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988

ББК 84.4Фр
З-79

ÉMILE ZOLA

L'ASSOMMOIR
GERMINAL

Текст печатается по изданиям:

Эмиль Золя. Западня. М., Художественная литература, 1978; Эмиль Золя. Собр. соч. в 26-ти томах, т. 10. М., Гослитиздат, 1963

Вступительная статья
А. Пузикова

Примечания
С. Зенкина

Иллюстрации художника
М. Майофиса

З $\frac{4703000000-189}{028(01)-88}$ 127-88

ISBN 5-280-00009-4

ОТ «ЗАПАДНИ» К «ЖЕРМИНАЛЮ»

Роман из жизни рабочих был задуман Золя в конце шестидесятых годов, когда он только еще приступал к созданию своей эпопеи «Ругон-Маккары». «Рабочих, как и солдат, изображали доныне в совершенно ложном свете. Было бы мужественным поступком сказать правду и открытым изображением фактов потребовать воздуха, света и образования для низших классов»,— писал Золя в 1869 году. Стремясь к всестороннему изображению социальной жизни Франции времен Второй империи, решив осветить в своих романах темы и факты, «запретные» с точки зрения официального буржуазного искусства, Золя пришел к мысли о создании произведений, посвященных социальным низам, и, в частности, произведений, в которых главными действующими лицами были бы рабочие.

Золя был прав, говоря, что рабочих изображали доныне в ложном свете. Крупнейшие романисты Франции либо вовсе обходили молчанием проблему рабочего класса, либо решали ее в плане отвлеченно-романтической эстетики. Немногочисленные образы рабочих, созданные Виктором Гюго, Жорж Санд, Эженом Сю, Гюставом Флобером и другими, были лишены жизненной правды или почти лишены ее. Тема социальных низов, жизнь рабочего класса представлялась многим художникам слова эстетически неблагодарным материалом, крайним выражением обыденности. «Действительно,— писал Гюго,— спускаться на самое дно человеческого общества... задача вовсе не привлекательная и нелегкая».

«Чем в области искусства господа рабочие интереснее других людей?» — спрашивал Флобер.

Не понимая исторических процессов, происходивших в буржуазном обществе середины и конца XIX века, не понимая исторической роли рабочего класса, многие писатели, независимо от своих политических и литературных симпатий, оказались неспособными не только разрешить, но и правильно поставить в своих произведениях проблему пролетариата. Работая над «Западней», Золя также оказался не в состоянии придать своим наблюдениям глубокий обобщающий характер. В духе приведенных выше вы-

сказываний Гюго и Флобера об эстетических трудностях, возникающих перед художником, изображающим жизнь социальных низов, Золя писал в «наброске» к своему роману:

«От пошлости интриги меня может спасти лишь величие и правдивость изображенных мною картин народной жизни. Поскольку я беру глупую, пошлую и грязную обстановку, я должен дать рисунку бо́льшую рельефность. Сюжет беден — поэтому надо постараться сделать его настолько правдивым, чтобы он явил чудеса точности».

Таким образом, Золя в полном согласии со своей натуралистической теорией ставил перед собой задачу преодолеть «неблагодарный» сюжет своего произведения точностью описаний и характеристик.

Вторая задача, которую Золя поставил перед собой,— задача чисто филантропическая. Он искренне верил, что романы, подобные «Западне», в которых показано бедственное положение трудового люда, заставят правительство принять необходимые меры. «Западню»,— замечает Золя,— можно резюмировать следующими словами: «Закройте кабаки — откройте школы».

Совершенно очевидно, что, ставя перед собой подобные цели, Золя был далек от стремления вскрыть истинные причины чудовищно тяжелых условий жизни рабочих. История Куто и Жервезы должна была свидетельствовать, по мнению Золя, о пагубном влиянии алкоголизма, о фатальной силе законов наследственности. Все бедствия, обрушивающиеся на героев романа, представлялись ему в свете этих суждений чистой случайностью.

Существенно и то, что Золя обратился в своем романе к наименее активной, наименее сознательной части рабочего класса. Понятие «рабочий», «пролетариат» Золя толковал расширительно, подразумевая под этими словами социальные низы вообще. Его «рабочий» пассивен, покорен, лишен классового самосознания. Золя всячески подчеркивает безразличие рабочего к политике, ко всему тому, что происходит за пределами его бытовых интересов.

В конечном счете роман Золя оказался сродни тем произведениям, в которых, по словам Энгельса, «рабочий класс фигурирует как пассивная масса, неспособная помочь себе, не делающая даже никаких попыток и усилий к этому» [1].

Все это крайне отдаляло Золя от цели, которую он первоначально перед собою ставил: сказать правду о рабочем.

Но даже при всех указанных недостатках «Западне» принадлежит особое место в истории французского реалистического романа. Впервые во французской литературе появился роман, в котором обездоленность низших общественных классов была показана с суровой прямотой. Собранные Золя факты говорили значительно больше того, что хотел сказать сам писатель. В свете этих фактов судьба Купо и Жервезы переставала быть случайной, приобретала типические черты. Жизнь обывателей улицы Гут-д'Ор

---

[1] Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 37, с. 35—36.

невозможно было объяснить с помощью «теории наследственности». Перед читателем открывалась картина вопиющей несправедливости общественных отношений, при которых возможно одичание широких масс трудового народа.

Уже в первых эпизодах романа показаны причины последующей драмы. Купо и Жервеза полны решимости бороться за свое скромное счастье, они трудолюбивы и расчетливы. Кажется, ничто не должно омрачить их судьбу, к которой они готовятся с такой трогательной тщательностью. Но даже и в эти безоблачные для них дни обстоятельства и люди напоминают им о социальном бесправии бедняка, о тщетности надежд на счастливую жизнь.

Первое унижение Купо и Жервеза испытывают в квартире своих родственников Лорийе, у которых они хотят занять десять франков. «Прекрасное начало!» — упрекает г-жа Лорийе растерявшегося и пристыженного жениха. В церкви, куда заходит Купо, чтобы договориться о своем скромном венчании, священник, согласившись отправить службу за пять франков, считает своим долгом напомнить, что «бог благословит их союз без всякого удовольствия». Само венчание происходит таким образом, что вызывает у Купо реплику: «Отправляют в одну минуту... совсем как у зубного врача: не успел заорать, а зуба уже нет». В мэрии «формальности — чтение законов, вопросы брачующимся, подписи под бумагами — были проделаны так быстро и гладко, что рабочие переглянулись: им казалось, что у них зажулили половину церемонии». В ресторане, где Купо заказал обед для приглашенных на свадьбу, хозяин сделал все возможное, чтобы надуть незадачливую компанию. Свадебный день заканчивается встречей Жервезы с пьяным факельщиком Базужем, который предсказывает ей безрадостное будущее: «Все равно все там будем, и вы тоже, милочка...»

Все эти детали имеют свой скрытый смысл. Они должны подготовить читателя к последующей драме. Бесправное и униженное положение бедняков, полная зависимость от превратности случая — таковы причины, в силу которых Купо и Жервеза неизбежно должны претерпеть катастрофу.

В первые годы совместной жизни они упорным трудом достигают сносных условий существования. Им удается скопить немного денег, снять дешевую квартиру, обставить ее старой мебелью. Но сколько требуется для этого усилий, ценою какого изнуряющего, отупляющего труда Жервеза поддерживает порядок в своем доме! На четвертый день после родов она уже работает в заведении г-жи Фоконье, ибо хорошо барыням корчить из себя больных. У бедняка не хватает на это времени. Достаточно Купо выйти из строя и остаться на несколько месяцев безработным, чтобы благосостояние трудолюбивой рабочей семьи пошатнулось.

Золя придает исключительное значение несчастному случаю, происшедшему с Купо. Приобретя вкус к праздности и познакомившись с кабачком папаши Коломба, Купо стал обузою для семьи и первопричиной ее разорения. Надуманность и фальшь этого сюжетного хода, делающего все

последующие события игрою случая, с очевидностью обнаруживаются при сравнении судьбы Купо и Жервезы с судьбами других персонажей. Характерна в этом отношении история маляра Брю. В жизни старого рабочего не было никаких фатальных происшествий. Он счастливо избег «западни», но после пятидесяти лет честной трудовой жизни оказался выброшенным на улицу и был вынужден просить подаяния.

Обездоленность социальных низов, их одичание — прямое следствие звериных законов капитализма. В ряде эпизодов Золя нарисовал страшную картину физической и духовной деградации ремесленного люда Парижа. Массовый алкоголизм, побои и драки, половая распущенность, потрясающая нищета — все это невозможно было объяснить законами наследственности или пагубным воздействием среды. Факты, собранные Золя, вступали в противоречие с наивными «теориями», с помощью которых он хотел осмыслить жизнь угнетенных классов.

Вопреки намерениям объяснить пристрастие к алкоголю дурной наследственностью, Золя показал алкоголизм как социальное явление. Спаивание народа является частью эксплуататорской политики господствующих классов. Кабачок вроде «Западни» папаши Коломба не только давал хорошие барыши, но и выполнял определенную социальную функцию — отвлекал рабочего от его насущных политических интересов. Нищета приводит к алкоголизму; алкоголизм усугубляет нищету — эту мысль Золя выразил в своем романе сильно и убедительно.

Капитализм обрекает миллионы тружеников на нищету и бескультурье. Полна глубокой значимости сцена, в которой рассказано о посещении свадебной компанией Лувра.

Золя как бы сталкивает в этой сцене многовековую созидательную культуру человечества, представленную в коллекциях Лувра, и низшие общественные классы, доведенные до состояния полного отчуждения от этой культуры. С горькой иронией повествует он о том, как Купо и его друзья разгуливают по залам музея, разглядывая его примечательности. Их внимание приковывает величественная лестница, вид служителя в красной ливрее; в галерее Аполлона всех приводит в восторг блестящий паркет; Джоконда поражает Купо тем, что она похожа на его тетку...

«В жизненных условиях пролетариата все жизненные условия современного общества достигли высшей точки бесчеловечности» [1]. «Западня» может служить убедительной иллюстрацией к этому известному положению Маркса и Энгельса.

Изучая положение рабочего класса в Англии, Энгельс назвал пролетарские слои населения «оклеветанным классом». Буржуазные деятели в своих трудах, писатели в своих произведениях создали ложные представления о рабочем классе. Золя не развеял их до конца. В какой-то мере Золя понимал это и сам, когда писал в предисловии к «Западне», что из его романа ни в коем случае не следует заключать, что весь народ плох, ибо

---

[1] Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 2, с. 40.

его персонажи вовсе не плохи; они только невежественны и испорчены средой, в которой живут, обстановкой жестокой работы и нищеты. Отчасти это же соображение побудило Золя создать образ кузнеца Гуже, столь не похожего на всех остальных персонажей. Гуже — самая бледная фигура в романе. Произошло это потому, что Золя попытался вложить в образ Гуже порочную идею. Ему казалось, что трудолюбие и трезвость могут избавить рабочего от нищеты, обеспечить ему сносное существование. Сущность этих рассуждений Золя обнаруживала его «мирные» цели при решении проблемы социальных низов. Объективно роман Золя осуждал уродство буржуазных порядков, но сам автор был далек от мысли революционного преобразования общества.

«Западня» появилась в печати в 1877 году. Она принесла автору неслыханный успех. Французский буржуазный читатель в короткое время раскупил несколько изданий романа. Пресса откликнулась разноречивыми суждениями о новом произведении главы натуралистической школы. Успех книги, по справедливому замечанию Салтыкова-Щедрина, был «успехом испуга».

Французский буржуа надолго запомнил дни Коммуны, и его интерес к жизни рабочего класса питался страхом. Новая книга Золя показала «дуракам и лицемерам своего времени низы такими, каковы они есть, а не такими, какими привыкли их воображать себе невежество, глупость или сознание глупцов и лицемеров»,— писал впоследствии Анри Барбюс.

Зрелость Золя, художника и мыслителя, росла все более по мере того, как он глубже и глубже проникал в сущность окружающей его действительности. Если в первоначальном списке произведений, составляющих «Ругон-Маккары», значился один роман о рабочих («Рамка одного романа — рабочий мир»), то позднее (в 1885 году) он упоминает о «втором романе о народе, с подчеркнуто политическим характером». Однако к этому второму роману Золя долго не мог подступиться. Жизнь ремесленников, о которых шла речь в «Западне», он отчасти наблюдал сам в пору юности, но о современном промышленном рабочем, настоящем пролетарии Золя почти ничего не знал. Завесы над «тайной тайных» современного общества еще никто не приподнял, хотя попытки и делались со стороны некоторых писателей. Эти «народолюбы,— скажет Золя,— просто мечтатели, которые не ушли ни на шаг дальше гуманистических бредней сорок восьмого года».

Золя думал о совсем другом романе — романе социально-философском, в котором проблема века — «борьба труда и капитала» — была бы раскрыта во всей своей страшной правде. Он долго и тщательно готовится к работе: изучает на месте жизнь шахтеров, присутствует на рабочих собраниях, спускается в шахту, читает книги и статьи о шахтерах, о их борьбе, о забастовочном движении.

За короткий срок Золя собрал огромный материал для романа. Только черновые наброски и заметки составили два больших тома (около тысячи страниц). В них содержатся удивительные наблюдения и обобщения. Чего, например, стоит такая запись: «Забастовки — состояние войны между классами»; или знаменитое начало «Наброска», в котором Золя излагает свое

кредо: «Роман — восстание наемных рабочих. Общество получило толчок, от которого оно внезапно трещит; словом, борьба капитала и труда. В этом вся значительность книги: она предсказывает, по моему замыслу, будущее, выдвигает вопрос, который станет наиболее важным в XX веке».

«Жерминаль» и в самом деле явление необычное в литературе XIX столетия. Крупнейшие писатели Европы решали нравственные, морально-этические проблемы, обходя современных пролетариев. Пополнялись ряды пролетариата, зарождались его первые организации, все большее распространение получали идеи марксизма, все острее становилась классовая борьба, а художественного воплощения эти явления не получали.

Причин для этого было много. Какое-то время играла роль неразвитость рабочего движения. Многие писатели были далеки от народа, недостаточно знали его жизнь. Законы развития буржуазного общества были очень сложны, и проникновение в их суть требовало глубоких экономических знаний, философского их осмысления. Существовала и эстетическая трудность художественного решения этой проблемы. Нищета, обесчеловеченность рабочего представлялась эстетически труднопреодолимым материалом.

Для Золя запретных тем не существовало. Он с самого начала работы над «Ругон-Маккарами» решил вобрать в свою эпопею все классы, все сословия общества, заглянуть в самые неизведанные его уголки и закоулки. Эстетическая программа Золя, несмотря на все ее несовершенство, позволяла ему смело идти навстречу «запретным» темам. Решив обратиться к центральной проблеме века, проблеме, которая «станет наиболее важной в следующем столетии», он, несомненно, делал большой новаторский шаг в художественном творчестве.

В «Жерминале», как и в «Западне», Золя почти с репортерской точностью описывает условия жизни и труда рабочих. Он подробен в своих описаниях жилищ углекопов, их быта, их досуга. Он исследует влияние труда шахтера на его физическое и умственное развитие. Годы непосильной работы, полуголодного существования нескольких поколений отразились на внешнем облике шахтеров. Смерть здесь приходит рано. Обвалы, болезни, труд под землей, отсутствие элементарных гигиенических условий, скученность сокращают среднюю продолжительность жизни человека.

Все эти факты вопиющей обесчеловеченности рабочих взволновали современников Золя. Это было похоже на обвинительный акт, направленный против правительства, против правящих классов Франции. Многие органы буржуазной печати хотели смягчить впечатление, произведенное «Жерминалем». Автора обвиняли в сгущении красок, в преувеличениях. Золя яростно защищался, настаивая на точности нарисованных им картин.

Но дело было не только в фактах. Золя создал произведение большой художественной силы. Герои романа, любой из второстепенных персонажей оживали под его пером, надолго запоминались. Каждый из них обладал неповторимыми чертами, своеобразным обликом и характером, то была галерея типов, гигантская фреска, на которой художник запечатлел лица, позы, движения шахтеров. Золя изображал Массу, но в ней выделялись отдель-

ные ее представители: впавший в детство старик Бонмор; тощий Захарий, на лице которого нелепо торчит реденькая бородка; золотушный, недоразвитый Жанлен; чахлая девочка-горбунья Альзира; ожесточившийся Шаваль; озорная толстушка Мукетта. Сколько их, этих незаметных тружеников, составляющих вместе огромную людскую массу, жившую в постоянном смирении, но способную каждую минуту выйти из повиновения и отомстить за свою обездоленность.

Золя обвиняли в том, что он «обидел» шахтеров, изобразив их физическое вырождение и моральную распущенность. Но писатель говорил только правду. Не шахтеров винил Золя. Свой гнев он обрушивал на общество, которое низводит человека до скотского существования. И что особенно важно, Золя увидел в рабочих такие качества, которые возвышали их над другими классами общества. У них начисто отсутствуют инстинкты собственников, они лишены эгоизма и своекорыстия. Если нормой человеческих отношений в буржуазном обществе является отчужденность людей друг от друга, то по законам шахтерской жизни человек обязан помогать человеку. Через весь роман проходит тема трудовой солидарности. Общий труд и общие страдания сближают шахтеров. В них живет чувство коллектива, чувство локтя. Это проявляется и во время организованных сходок, и в черные дни вынужденной безработицы, и в помощи товарищу, попавшему в беду. После обвала все шахтеры превращаются в героев. Они готовы пожертвовать жизнью, чтобы спасти пострадавших: «Они забыли про забастовку, не стремясь даже к заработной плате; можно было и совсем им не платить, они добровольно рисковали собою, раз товарищам их угрожала опасность».

Примечательно, что Золя видит в романе мир, как бы преломленный через сознание шахтеров. Он глядит на события и людей глазами рабочих. Вот, например, Грегуары, мирно живущие в своей усадьбе. Они хорошие люди, сами долго трудились, чтобы разбогатеть, они помогают бедным; дочь их Сесиль наделена добрым и отзывчивым сердцем. Но для шахтеров, как и для Золя, Грегуары — собственники. Это главный грех, который сводит на нет всю их показную и дешевую добропорядочность. Стоит разразиться забастовке, и Грегуары превращаются в заурядных буржуа, одержимых собственническими инстинктами. Шахтеры ненавидят их, и эта ненависть передается читателю.

Глазами углекопов смотрит Золя и на директора Энбо. Его личная драма (измена жены) кажется ничтожной, пустяковой на фоне социальной трагедии.

Увидеть мир глазами шахтеров! Пусть это только художественный прием, но впечатление от него получается огромное. Не автор, а сами герои романа, простые рабочие и работницы, судят об окружающей их жизни. И с их точки зрения эксплуататор остается эксплуататором, какими бы человеческими добродетелями он ни обладал.

Золя долго думал над тем, как ему изобразить главного врага шахтеров — капиталистического предпринимателя. У него было две возможности: «Либо я возьму хозяина, в лице которого воплощен капитал... либо я возьму

анонимное общество акционеров — то, что обычно для мощной индустрии...»

Чутье художника подсказало Золя второе решение. В романе нет непосредственного эксплуататора рабочих. Вся ответственность за беды шахтеров лежит на некоей таинственной «Компании». В представлении шахтеров это безликое чудовище, засевшее где-то далеко, в Париже. С ним трудно бороться, с ним нельзя объясниться, его нельзя о чем-нибудь попросить. Это хитроумное изобретение современного капитала вызывает у рабочих растерянность. Но это же чудовище помогает им сделать вывод, прийти к невольному обобщению, увидеть своего угнетателя не в одном отдельном капиталисте, но во всем классе собственников.

Так еще никто до Золя не изображал капитал, и это также было важным открытием в литературе.

Роман Золя начинается с появления в шахтерском поселке Монсу безработного механика Этьена Лантье. Ему суждено сыграть значительную роль в последующих событиях. В дни забастовок Этьен становится одним из вожаков рабочих. На наших глазах растет его сознательность и воля к организованной борьбе против шахтовладельцев. Но Этьен пока не связан ни с одной из партий. И это молчаливо одобряет автор. Сочувствуя шахтерам, Золя не верит, что представители различных социалистических учений ведут их по правильному пути. Ему кажется, что партийные распри среди социалистов мало чем отличаются от той политической возни, какую он наблюдал много лет в буржуазных партиях. И Плюшар (представитель левого крыла социалистического движения — гедистов), и кабатчик Раснер (представитель реформистского крыла — поссибилистов), и русский революционер Суварин (представитель анархизма) заражены, по мнению Золя, честолюбием и тщеславием. И даже Этьен по мере своего духовного роста не сближается с шахтерами, а все больше отдаляется от них: «Он поднялся ступенькой выше, он приобщился к миру ненавистной буржуазии и, не отдавая себе самому отчета, находил удовлетворение в своем умственном превосходстве и достатке».

Золя не верит в сознательное движение пролетариев, не верит в возможность привнесения в это движение элемента сознания. Это был тот порог, перед которым остановился писатель. Движение шахтеров воспринимается им как «поток варварского нашествия». Золя любуется этой разбушевавшейся стихией и одновременно испытывает страх перед ней. Изображая массовые сцены, Золя делает героем своего произведения толпу. Она способна смести все на своем пути, в том числе и вожаков, которые не могут договориться друг с другом. Но Золя не осуждает этот стихийный бунт, он верит в его законность и конечную победу. Ведь это так согласовывалось с его воззрением на природу и общество, где действуют неумолимые законы, сменяющие старое и одряхлевшее молодым и здоровым. В этом ключе звучала и концовка романа: «К земле, залитой сверкающими лучами солнца, вернулась молодость, земля была полна этим шумом. Из недр ее тянулись к свету люди — черная армия мстителей, медленно всходив-

шая в ее бороздах и постепенно поднимавшаяся для жатвы будущего столетия».

Само название романа символизировало весну, ибо Жерминаль — месяц апрель согласно календарю французской революции.

Для понимания романа очень важен образ Катрин. Она как бы вобрала в себя все плохое и все хорошее, что заложено в ее братьях по труду. Золя с сочувствием и любовью рисовал образ своей героини. Все, что чувствует Катрин, подкупает своей непосредственностью и чистотой. Катрин всегда готова «подчиниться обстоятельствам и людям», но в глубине души она постоянно мечтает о чем-то прекрасном и человечном, что дало бы ей удовлетворение и счастье. Несмотря на тяжелое существование, она не гибнет, подобно Жервезе, духовно. Жизнь заставила ее опускаться все ниже и ниже, достигнув «предельных глубин страдания». Но в самом конце своей недолгой жизни, оказавшись засыпанной землей вместе с Этьеном, она побеждает вековую покорность, обретает внутреннюю свободу, утверждая свои человеческие права. И все это еще раз как бы символизирует судьбу черного шахтерского народа, его настоящее и будущее.

Роман Золя не только устрашил буржуазию своим мрачным пророчеством, но и стал союзником угнетенных классов в их борьбе против капитализма. И это не громкие слова. Социалистическая печать величает теперь Золя автором «Жерминаля». Роман читают в рабочих поселках. Вспоминая о книгах, прочитанных в юности, Морис Торез, сам выросший в шахтерской среде, называет «Жерминаль». Год от года растет популярность произведений Золя. В девяностых годах А. Франс отмечает «эпическую красоту» романа. В двадцатых годах нашего века А. Барбюс назвал «Жерминаль» «великой книгой». О влиянии на русскую революционную молодежь произведения Золя поведала нам Н. К. Крупская. Приехав в ссылку к В. И. Ленину, она обнаружила у него фотографию писателя. «...Я рассказала ему, какое сильное впечатление произвел на меня роман Золя «Жерминаль», который я впервые читала в то время, когда усердно изучала I том «Капитала» Маркса». В первые годы Советской власти мало было произведений зарубежных классиков, которые так часто издавались, как «Жерминаль».

А. Пузиков

ЗАПАДНЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Ругон-Маккары» должны составить около двадцати романов. Общий план я разработал еще в 1869 году и следую ему неуклонно. «Западня» появилась в установленный мною срок; я написал ее, как напишу и остальные тома, ни на волос не отклоняясь от намеченной линии. В этом моя сила. У меня есть цель, и я к ней иду.

Когда «Западня» была напечатана в газете, на нее напали с неслыханной грубостью, ее поносили, обвиняли во всех смертных грехах. Стоит ли объяснять здесь, в нескольких словах, мой литературный замысел? Я хотел показать неизбежное вырождение рабочей семьи, живущей в отравленной среде наших предместий. Пьянство и безделье ведут к распаду семьи, к грязному распутству, к постепенному забвению всех человеческих чувств, а в конце концов — к позору и смерти. Это просто мораль, воплощенная в жизни.

«Западня», несомненно, самая нравственная из моих книг. Мне уже не раз приходилось касаться куда более отталкивающих язв. Но всех ужаснул стиль этой книги: возмущение вызвал только язык. Преступление мое состояло в том, что из профессионального интереса я собрал и отлил в тщательно продуманной форме язык народа. Итак, форма этой книги — вот в чем мое главное преступление! Однако существуют же словари народного языка, который изучают лингвисты, наслаждаясь его сочностью, самобытностью и яркой образностью. Для пытливых исследователей это сущий клад. И все же никто не понял, что я задался целью проделать чисто филологическую работу, которую считаю чрезвычайно интересной и с исторической и социальной точки зрения.

Но я не собираюсь защищаться. Мое произведение сделает это за меня. Это произведение — сама правда, это первый роман о народе, в котором нет лжи и от которого пахнет народом. Из него не следует, однако, заключать, что весь народ плох: ведь мои персонажи вовсе не плохие люди, они только невежественны, искалечены тяжким трудом и нищетой — средой, в которой живут. Все дело в том, что мои романы следует сначала прочесть, понять и ясно представить себе их единство, а не выносить заранее нелепых и злостных суждений, какие распространяют обо мне и моих книгах. Если бы люди знали, как смеются мои друзья над чудовищными небылицами, которые рассказывают обо мне на потеху толпе! Если б они знали, что свирепый романист, страшный кровопийца на самом деле просто добропорядочный буржуа, человек науки и искусства, что он скромно живет в своем углу и его единственное желание — оставить такую широкую и правдивую картину жизни, какую он только в силах создать! Я не опровергаю глупых басен, я работаю и полагаюсь на время и на справедливое суждение публики, которая в конце концов увидит мое истинное лицо, отбросив груду нелепейших выдумок.

Эмиль Золя

Париж, 1 января 1877 года

I

Жервеза прождала Лантье до двух часов ночи. Продрогнув в легкой кофточке у открытого окна, истомленная, вся в слезах, она бросилась ничком поперек кровати и забылась тревожным сном. Вот уже неделю, выходя из «Двухголового теленка», где они обедали, Лантье сразу отсылал ее с детьми спать, а сам где-то шатался до поздней ночи, уверяя, будто бегает в поисках работы. Сегодня вечером, когда Жервеза подстерегала его у окна, ей показалось, что он вошел в танцевальный зал «Большая галерея», все десять окон которого ярко пылали, освещая, словно пожаром, темный людской поток, струившийся вдоль внешних бульваров; а позади Лантье она заметила маленькую полировщицу Адель, обедавшую с ними в одном ресторане; она шла в пяти-шести шагах от Лантье, неловко свесив руки, как будто только сейчас держала его под руку, а теперь отпустила, чтобы не проходить вместе с ним под яркими фонарями у входа.

Жервеза проснулась около пяти утра совсем разбитая, закоченевшая и горько разрыдалась. Лантье все еще не вернулся. Впервые он не ночевал дома. Она села на краешек кровати, под обрывком полинялого ситцевого полога, свисавшего с планки, прикрепленной к потолку бечевкой. Затуманенными от слез глазами она медленно обвела убогую меблированную комнату: ореховый комод с дырой вместо ящика, три соломенных стула и маленький засаленный столик с забытым на нем щербатым кувшином. Для детей сюда вдвинули железную кровать, она загораживала комод и занимала две трети комнаты. Раскрытый сундук Жервезы и Лантье, засунутый в угол, выставлял напоказ свое пустое чрево; на дне его, под грязными сорочками и носками, валялась старая мужская шляпа. На стульях, стоявших вдоль стены, висели дырявая шаль и заляпанные грязью брюки — последние обноски, не соблазнившие даже старьевщика. На камине между двумя непарными цинковыми подсвечниками лежала пачка нежно-розовых квитанций из ломбарда. Жервеза и Лантье занимали лучшую комнату в доме: во втором этаже, окнами на бульвар.

Дети мирно спали рядом, на одной подушке. Восьмилетний Клод ровно дышал, раскинув руки, а четырехлетний Этьен улыбался во сне, обхватив ручонкой брата за шею. Когда заплаканные глаза матери остановились на детях, она снова разрыдалась, прижимая к губам платок, чтобы заглушить громкие всхлипывания. Затем она вскочила босиком, позабыв о свалившихся с ног стоптанных туфлях, села у окна и снова принялась ждать, не спуская глаз с уходящей вдаль улицы.

Гостиница помещалась на бульваре Ля Шапель, налево от заставы Пуассоньер, в ветхом трехэтажном доме, до половины окрашенном в красно-бурый цвет, с прогнившими от дождя ставнями. Над фонарем с растрескавшимися стеклами, между двух окон, с трудом можно было прочитать надпись: «Гостиница *Добро пожаловать,* владелец Марсулье», выведенную большими желтыми буквами на облупившейся от сырости стене. Фонарь мешал Жервезе, и она вытягивала шею, прижимая платок к губам. Она смотрела направо, в сторону бульвара Рошешуар, где перед бойней толпились мясники в окровавленных передниках; порой свежий ветер обдавал ее зловонием, тошнотворным запахом битой скотины. Она смотрела налево, вглядываясь в протянувшуюся длинной лентой улицу, которая против ее дома заканчивалась бесформенным белым зданием — недостроенной больницей Ларибуазьер. Медленно обводила она взглядом городскую стену, за которой по ночам слышались крики и мольбы о помощи. Она упорно всматривалась во все укромные уголки, в темные от сырости, загаженные закоулки, боясь увидеть там тело Лантье со вспоротым животом. Перед ее глазами тянулась нескончаемая стена, окружавшая город унылой серой полосой, а над ней она видела в небе яркий отсвет, наполнявший воздух солнечной пылью, и слышала гул пробуждавшегося Парижа. Но Жервеза все возвращалась взглядом к заставе Пуассоньер и, вытянув шею, следила за непрерывным потоком людей, лошадей и повозок, который стекал с холмов Монмартра и Ля Шапель и вливался в город между двумя приземистыми таможенными башнями. Оттуда доносился словно топот идущего стада, и стоило толпе остановиться, как она тут же растекалась во все стороны, точно лужа на мостовой; бесконечной вереницей тянулись рабочие с инструментом за спиной и с хлебом под мышкой; и вся эта лавина растворялась, тонула в поглощавшем ее Париже. Порой Жервезе казалось, что она видит в этой сутолоке Лантье, и она еще больше высовывалась из окна, рискуя свалиться вниз; а потом крепче прижимала к губам платок, как будто хотела поглубже загнать свою боль.

За спиной ее послышался веселый молодой голос:

— Что это, госпожа Лантье, хозяина нет дома?

— Как видите, господин Купо́,— ответила она, оторвавшись от окна и силясь улыбнуться.

Купо, рабочий-кровельщик, снимал в том же доме на самом верху комнатушку за десять франков. Он нес за спиной свой мешок. Увидев, что ключ торчит в двери, он зашел по-приятельски, не постучав.

— Знаете,— продолжал он,— ведь я теперь работаю здесь рядом, в больнице. А май-то как нынче хорош! Но с утра довольно свежо.

Он поглядел на покрасневшее от слез лицо Жервезы. Заметив нетронутую постель, он тихонько покачал головой; затем подошел к кровати, на которой спокойно спали дети, розовые, как ангелочки, и сказал, понизив голос:

— Полно! Вы думаете, хозяин загулял?.. Не тужите, госпожа Лантье. Ведь он вечно занят политикой. Давеча, когда голосовали за Эжена Сю, парня вроде бы и не плохого, он бродил как помешанный. И нынче, может, просидел всю ночь со своими дружками, ругая стервеца Бонапарта.

— Нет, нет,— прошептала Жервеза с усилием,— тут совсем не то, что вы думаете... Я знаю, где он... Ах, господи, у всякого свое горе!..

Купо подмигнул ей, как бы говоря, что его не проведешь такой выдумкой. Уходя, он предложил сбегать за молоком, если ей не хочется идти самой; она хорошая, славная женщина, сказал он, и, если попадет в беду, может рассчитывать на него. Как только он вышел, Жервеза снова села у окна.

У заставы слышался все тот же топот людского стада, он гулко отдавался в холодном утреннем воздухе. В толпе сразу можно было узнать слесарей по синим рабочим блузам, каменщиков по белым холщовым штанам, маляров по длинным халатам, которые виднелись из-под коротких пальто. Издали толпа сливалась в одно грязное, тусклое пятно, в котором преобладали мутно-синий и густо-серый тона. Порой кто-нибудь из рабочих останавливался, чтобы раскурить потухшую трубку, а остальные всё шли и шли мимо, не улыбаясь, не разговаривая, обратив землистые лица к Парижу, который поглощал их одного за другим, и исчезали в зияющей пасти улицы Фобур-Пуассоньер. Однако на обоих углах улицы Пуассонье, у двух кабачков, где уже открывались ставни, многие замедляли шаг; прежде чем войти, они задерживались на тротуаре, бросали хмурые взгляды на город и стояли, вяло опустив руки, не в силах бороться с искушением: им так хотелось прогулять этот денек. Перед стойкой люди сбивались в кучки, пускали бутылку вкруговую, кашляли, плевали, прочищали себе глотку, опрокидывая стаканчик за стаканчиком, и топтались на месте, заполняя все помещение.

Жервеза не сводила глаз с двери кабачка папаши Коломба на левой стороне улицы: ей показалось, что туда вошел Лантье; вдруг ее окликнула толстая простоволосая женщина в переднике, остановившаяся посреди мостовой.

— Что это вы поднялись в такую рань, госпожа Лантье?

Жервеза высунулась из окна.

— А, это вы, госпожа Бош! У меня сегодня куча дел!

— Что и говорить, дела сами собой не делаются!

Они перебрасывались словами одна из окна, другая с улицы. Г-жа Бош была привратницей дома, в нижнем этаже которого помещался «Двухголовый теленок». Жервеза не раз поджидала Лантье в ее каморке, не желая сидеть за столом одна среди множества обедающих мужчин. Привратница сообщила ей, что идет недалеко, на улицу Шарбоньер, чтобы застать в постели заказчика, с которого мужу никак не удается получить долг за починку сюртука. Затем она рассказала, что вчера у них в доме жилец привел к себе женщину и не дал никому спать до трех часов ночи. Г-жа Бош болтала без умолку, а сама вглядывалась в Жервезу с жадным любопытством; казалось, она пришла сюда под окно лишь затем, чтобы кое-что выведать.

— Лантье еще не вставал? — спросила вдруг г-жа Бош.

— Да нет, он спит,— ответила Жервеза, и краска бросилась ей в лицо.

Заметив на глазах у Жервезы слезы, г-жа Бош отошла, видимо, удовлетворенная, обозвав всех мужчин проклятыми лодырями, но тут же вернулась и крикнула:

— Вы, кажется, собирались в прачечную нынче утром? Мне тоже надо постирать, так я займу вам местечко рядом, и мы еще поболтаем! — Потом добавила, как будто почувствовав внезапную жалость: — Да отойдите вы лучше от окна, бедняжка, этак и простыть недолго... Ведь вы совсем посинели...

Но Жервеза упорно не отходила от окна еще два мучительно долгих часа. В восемь открылись лавки. Поток рабочих блуз, спускавшийся с холмов, постепенно иссяк; только отдельные запоздавшие рабочие, широко шагая, проходили заставу. В кабачках толпились все те же люди, они все так же пили, кашляли и плевали. На улице рабочих сменили работницы: полировщицы, цветочницы, модистки; они спешили вдоль внешних бульваров, поеживаясь в легоньких пальтишках. Идя по три, по четыре в ряд, они оживленно болтали, хихикали и стреляли глазами по сторонам; иногда проходила одинокая работница, худая, бледная и серьезная; она жалась к городской стене, обходя зловонные лужи. За работницами появились служащие; они дули на озябшие пальцы и жевали на ходу дешевые булочки; длинные, тощие молодые люди, с заспанными помятыми лицами, шагали в коротких не по

росту сюртуках; высохшие старички, пожелтевшие от бесконечного сидения в конторах, быстро семенили, поглядывая на часы, чтобы с точностью до секунды рассчитать свое время. Наконец на бульварах наступил утренний мир и покой; жившие поблизости рантье вышли погулять на солнышке; нечесаные матери в грязных юбках нянчили грудных младенцев и меняли им пеленки тут же на скамейках; вокруг кишела куча оборванных, сопливых ребятишек, они валялись по земле, толкались, пищали, смеялись и хныкали. Жервеза стала задыхаться, ее охватил ужас, она потеряла всякую надежду, ей казалось, что все кончено, что время остановилось и Лантье никогда больше не вернется. В отчаянии она переводила взгляд со старой бойни, почерневшей от крови и пропитанной зловонием, на новое белое здание больницы, зияющее рядом пустых окон, через которые виднелись голые палаты, где скоро смерть начнет косить свои жертвы. А перед ней, за городской стеной, в пылающем небе все ярче разгоралось ослепительное солнце, заливая светом шумно пробуждающийся Париж.

Жервеза уже не плакала; она сидела на стуле, бессильно уронив руки, как вдруг в комнату спокойно вошел Лантье.

— Это ты! Наконец-то! — воскликнула она и хотела кинуться ему на шею.

— Ну, я. А дальше что? Да брось ты эти глупости! — сказал он и оттолкнул ее.

Он злобно швырнул на комод свою черную фетровую шляпу. Лантье был малый лет двадцати шести, небольшого роста, черноволосый, со смуглым красивым лицом и тонкими усиками, которые он то и дело машинально покручивал. На нем были холщовые рабочие брюки и старый, покрытый пятнами пиджак, слишком узкий в талии; говорил он с резким провансальским акцентом.

Жервеза снова упала на стул и тихим, прерывающимся голосом стала жаловаться:

— Всю ночь я не сомкнула глаз... Я уж думала, тебя зарезали... Где ты был?.. Где провел ночь?.. Боже мой! Если ты еще раз вот так пропадешь, я с ума сойду! Скажи, Огюст, где же ты был?

— Где надо, там и был, черт возьми! — ответил он, передернув плечами.— К восьми часам пошел на улицу Глясьер, к тому приятелю, что собирается открыть шляпную мастерскую. Засиделся у него, ну и решил переночевать... К тому же ты знаешь, я не терплю, чтобы меня выслеживали. Лучше отстань от меня!

Жервеза снова разрыдалась. Громкий разговор, нетерпеливые движения Лантье, который натыкался на стулья, разбудили детей. Они приподнялись в кровати и сели, полуголые, растрепанные, стараясь распутать ручонками свалявшиеся волосы; услышав, что мать плачет, они разревелись, и слезы потекли из их еще заспанных глаз.

— Ну, завели шарманку! — в бешенстве крикнул Лантье.— Коли так, я сейчас же ухожу из дому! И на этот раз не ждите меня назад... Ну как, заткнетесь вы? Да или нет? Тогда прощайте! Пойду туда, откуда пришел.

И он схватил с комода свою шляпу. Тут Жервеза вскочила.

— Не уходи! Не уходи! — пролепетала она.

Приласкав детей, она осушила их слезы. Она поцеловала их головки и снова уложила, приговаривая нежные слова. Малыши сразу успокоились и, лежа на одной подушке, принялись щипаться, громко смеясь. Усталый отец, помятый и осунувшийся после бессонной ночи, бросился на кровать, не потрудившись даже скинуть башмаки. Но он не уснул и лежал, оглядывая комнату широко открытыми глазами.

— Ну и чистота у тебя, нечего сказать! — пробормотал он. Потом пристально посмотрел на Жервезу и злобно добавил: — Ты что же, решила не мыться?

Жервезе исполнилось всего двадцать два года. Она была высока и немного худощава, с тонкими чертами лица, уже поблекшего от тяжелой жизни. Нечесаная, в стоптанных туфлях, она дрожала в своей несвежей, засаленной белой кофточке и, казалось, постарела на десять лет за эти страшные часы, проведенные в тревоге и слезах. Как ни была она подавлена, напугана, но слова Лантье задели ее.

— Как тебе не совестно,— сказала она запальчиво.— Ты же знаешь, я делаю все, что могу. Не моя вина, если мы очутились в этой дыре... Попробовал бы ты сам повертеться с двумя детьми в одной комнате, где даже печки нет,— воды и то нагреть не на чем... Когда мы приехали в Париж, надо было не проедать все деньги, а сперва устроиться, как ты обещал.

— Скажи на милость! — закричал он.— Не ты ли проела эти деньги вместе со мной? Так нечего теперь меня попрекать!

Но она продолжала, будто не слыша его:

— И все же, если не падать духом, мы еще можем выпутаться... Вчера вечером я говорила с госпожой Фоконье, хозяйкой прачечной на Новой улице; с понедельника она возьмет меня на работу. Если ты устроишься у своего приятеля с улицы Глясьер, не пройдет и полугода, как мы станем на ноги: купим кое-что из вещей, снимем какую-нибудь каморку, и у нас будет свой угол... Надо только работать, работать не покладая рук...

Лантье со скучающим видом отвернулся к стене. Тогда Жервеза вспылила:

— Да, я знаю, работать ты не охотник! Уж больно много о себе воображаешь: тебе бы наряжаться, как барину, да разгуливать с расфуфыренными девками! Вот чего тебе надо! С тех пор как ты заставил меня заложить все платья, я уж недостаточно

хороша для тебя... Слушай, Огюст, я не хотела тебе говорить, я бы еще повременила, но я знаю, где ты провел ночь: я видела, как ты входил в «Большую галерею» с этой потаскухой Аделью. Вот уж выбрал, не прогадал! Хороша, нечего сказать! Недаром она корчит из себя принцессу — с ней переспал весь ресторан!

Одним прыжком Лантье соскочил с кровати. Глаза его потемнели и горели, как угли, на побелевшем лице. Этот маленький человек мгновенно вскипал от бешенства.

— Да, да, весь ресторан! — повторила Жервеза.— Госпожа Бош скоро выгонит их из дома, Адель и ее сестру, эту тощую кобылу, потому что на лестнице у них вечно толкутся мужчины!

Лантье занес было кулак, но подавил в себе искушение избить Жервезу, он только схватил ее за руки, грубо тряхнул и бросил на детскую кровать; дети опять заревели. А он снова улегся и злобно пробормотал, как будто после долгих колебаний вдруг принял какое-то решение:

— Ты и не знаешь, что наделала, Жервеза. Ты еще поплатишься за это, вот увидишь.

Несколько минут дети не могли успокоиться. Мать, склонившись над кроватью, обнимала их и безотчетно повторяла одну и ту же фразу:

— Ах, если б не вы, мои бедные крошки!.. Если б вас здесь не было!.. Если б вас не было!..

Лантье спокойно вытянулся на кровати, уставившись в обрывок полинявшего полога, и больше не слушал ее, что-то обдумывая. Так пролежал он около часу, не двигаясь, превозмогая сон, хотя от усталости у него слипались глаза. Жервеза уже кончала уборку, когда он повернулся к ней, опираясь на локоть, с выражением жестокой решимости. Она подняла и одела детей и застелила их кровать. Лантье смотрел, как она подметает пол и вытирает пыль; но комната оставалась такой же мрачной и убогой, с закопченным потолком, отставшими от сырости обоями, тремя колченогими стульями и покалеченным комодом, на котором тряпка только размазала грязь. Жервеза подобрала волосы перед круглым зеркальцем, прикрепленным к оконной задвижке и служившим Лантье для бритья; затем она стала умываться, а Лантье пристально разглядывал ее голую шею, голые руки, каждый обнаженный кусочек тела, как будто мысленно с кем-то ее сравнивал. Он презрительно скривил губы. Жервеза прихрамывала на правую ногу, но это было заметно, лишь когда она очень уставала и уже не следила за собой. Нынче утром, совсем разбитая после бессонной ночи, она волочила ногу и хваталась за стены.

Наступила тишина, они больше не обменялись ни словом. Казалось, Лантье выжидает. Жервеза боролась со своим горем и, притворяясь спокойной, торопливо заканчивала дела. Когда она

принялась связывать в узел грязное белье, валявшееся в углу за сундуком, Лантье наконец разжал губы и пробормотал:

— Что ты делаешь?.. Куда собралась?

Она не ответила. Но когда он в бешенстве повторил вопрос, резко сказала:

— Ты что ж, не видишь?.. Пойду постираю... Не могут же ребята носить такую грязь.

Он молча смотрел, как она собирает белье. И вдруг спросил:

— Есть у тебя деньги?

Она разом выпрямилась, не выпуская из рук грязные рубашонки малышей, и посмотрела ему в глаза.

— Какие деньги? Ты, может, думаешь, я их ворую?.. Ты же знаешь, что я получила всего три франка за черную юбку, а было это еще позавчера. На них мы уже два раза обедали, а хлеб даром не дают... Ясное дело, ничего у меня нет. Вот — четыре су на прачечную... Я не прирабатываю на стороне, как некоторые другие.

Лантье ничего не ответил на ее намек. Встав с кровати, он оглядел висевшее на стенах тряпье, затем схватил брюки и шаль, открыл комод, вытащил кофточку и две женские сорочки, швырнул все это Жервезе и сказал:

— Сходи-ка заложи!

— Может, ты хочешь, чтобы я заодно заложила и детей? — спросила она.— Кабы за них платили, ты бы живо сбыл их с рук!

Но она все-таки отправилась в ломбард. Через полчаса она вернулась, положила на камин пятифранковую монету и добавила еще одну квитанцию к пачке, лежавшей между подсвечниками.

— Вот все, что я получила,— сказала она.— Я просила шесть франков, но мне не дали. Уж они-то не разорятся, будьте покойны!.. И все же сколько там толчется народу!

Лантье не сразу забрал принесенную монету. Он хотел послать Жервезу разменять деньги, чтобы кое-что уделить и ей. Но, увидев на комоде в бумажке остатки ветчины и кусок хлеба, он передумал и сунул монету в жилетный карман.

— Я не ходила к молочнице, ведь мы должны ей уже за целую неделю,— сказала Жервеза.— Я выйду ненадолго, а ты пока купи хлеба и котлет, и мы позавтракаем. Да захвати литр вина.

Он промолчал. Казалось, мир был восстановлен. Жервеза снова принялась увязывать грязное белье. Но когда она стала доставать из сундука рубашки и носки Лантье, он крикнул:

— Не тронь мое белье, слышишь? Я не желаю!

— Как не желаешь? Уж не думаешь ли ты опять нацепить эту грязь? Их надо постирать.

Она с тревогой всматривалась в его наглое смазливое лицо и видела все то же жестокое выражение, как будто теперь ничто

не могло его смягчить. Он разозлился, вырвал у нее белье и швырнул его в сундук.

— Черт тебя дери! Будешь ты слушаться наконец?! Говорю тебе — не желаю!

— Но почему? — спросила она, бледнея, и в голове у нее мелькнуло страшное подозрение.— Зачем тебе сейчас эти рубашки, ты же не собираешься уезжать... Тебе-то что, если я их унесу?

Он запнулся, смущенный ее пристальным, тревожным взглядом.

— Почему?.. Почему?..— пробормотал он.— Иди ты к дьяволу! Потом будешь всем жаловаться, что нянчишься со мной, обстирываешь, обшиваешь. А мне это осточертело! Занимайся своими делами и не приставай ко мне... У нищих не бывает прачек.

Она стала его упрашивать, уверяя, что никогда не жаловалась на него, но он захлопнул сундук, сел на крышку и грубо крикнул: «Нет!» Он хозяин своим вещам! Затем, чтобы избежать ее вопрошающего взгляда, который преследовал его, он снова улегся и заявил, что хочет спать и пусть она не морочит ему голову. На этот раз он как будто и вправду уснул.

Жервеза с минуту стояла в нерешительности. Ей хотелось остаться дома, бросить узел с бельем и уж лучше сесть за шитье. Но ровное дыхание Лантье вскоре успокоило ее. Она взяла шарик синьки и кусок мыла, оставшийся от прошлой стирки, подошла к малышам, тихонько игравшим у окна старыми пробками, и, поцеловав их, сказала шепотом:

— Будьте умниками и не шумите. Папа спит.

Когда она уходила, в комнате стояла глубокая тишина, только приглушенный смех Клода и Этьена слабо отдавался под закопченным потолком. Было десять часов. Солнечные лучи падали в полуоткрытое окно.

Выйдя на бульвар, Жервеза свернула налево и пошла по Новой улице в квартале Гут-д'Ор. Проходя мимо заведения г-жи Фоконье, она поздоровалась с хозяйкой, кивнув головой. Прачечная находилась в середине улицы, там где начинается подъем. На плоской крыше низкого строения, выставив круглые серые бока, стояли громадные баки для воды — три скрепленных крупными болтами цинковых цилиндра, а позади возвышалась сушилка, двухэтажная пристройка со стенами из тонких поперечных планок, вроде жалюзи, сквозь которые проходил свежий воздух и виднелось белье, сушившееся на латунных проволоках. Справа, подле баков для воды, торчала тонкая труба паровой машины, которая равномерно пыхтела, с каждым хриплым вздохом выбрасывая клубы белого дыма. Войдя в подворотню прачечной, заставленную кувшинами с жавелем, Жервеза, привыкшая к лужам, даже не подобрала юбки. Она знала хозяйку заведения, щуп-

ленькую женщину с больными глазами, которая сидела в застекленной каморке, разбирая счета и бумаги; вокруг нее на полках лежали бруски мыла, шарики синьки в банках и килограммовые пакеты соды. Жервеза взяла свой валек и щетку, оставленные на хранение в прошлую стирку, и, получив номерок, прошла в мойку.

Прачечная помещалась в громадном сарае с широкими окнами и плоским потолком; выступавшие на нем длинные балки опирались на литые чугунные столбы. Тусклый, белесый свет пробивался сквозь горячие испарения, висевшие в воздухе, как молочный туман. Густой пар поднимался из углов и окутывал все сизой пеленой. С потолка падали тяжелые капли, и в воздухе стоял удушливый запах мыла, который порой перебивала резкая вонь жавеля. По обеим сторонам среднего прохода вдоль лавок выстроились женщины с голыми до плеч руками, голыми шеями и подоткнутыми юбками, из-под которых видны были их ноги в цветных чулках и грубых зашнурованных башмаках. Промокшие до нитки, красные и распаренные, они яростно колотили белье, хохотали, откидывались назад, перекликаясь среди оглушительного шума, и снова склонялись над лоханями, грубые, распущенные, бесстыжие. Вокруг них со всех сторон хлестали потоки воды, одним махом выплескивались ведра с кипятком, из кранов с шипением били холодные струи, из-под вальков летели брызги, бежали ручьи с мокрого белья, а под ногами хлюпали лужи, стекая по наклонному каменному полу. И среди криков, дробного стука вальков, шелеста падающих дождем капель, среди всего этого грохота, замиравшего под влажным потолком, словно громовые раскаты, неумолчно пыхтела и хрипела в углу паровая машина, покрытая белесой испариной, и ритмичные движения ее содрогавшегося маховика, казалось, управляли этим оглушительным шумом.

Жервеза шла мелкими шажками по среднему проходу, поглядывая по сторонам. Изогнувшись, она несла под мышкой узел белья и, прихрамывая сильнее обычного, пробиралась среди сновавших взад-вперед и толкавших ее женщин.

— Сюда, сюда, голубушка! — услышала она зычный голос г-жи Бош.

Когда Жервеза подошла к ней, в левый угол, привратница, которая яростно терла носки, затараторила, не прекращая работы:

— Становитесь вот тут рядом, я заняла вам местечко... У меня нынче стирки немного. Бош почти не пачкает белья. А у вас? Я вижу, вы тоже долго не задержитесь. У вас совсем маленький узелок. Мы управимся до полудня и поспеем к завтраку... Раньше я отдавала белье прачке на улицу Пуле, но оно все расползалось от хлора и щеток. Теперь я стираю сама. И белье цело, и деньги в кармане. Только за мыло платить... Послушайте, эти рубашонки

вам лучше бы сначала отмочить. Уж эти окаянные ребятишки, задницы у них будто вымазаны сажей!

Жервеза развязала узел и выложила детские сорочки; г-жа Бош посоветовала ей взять ведро щелока, но она ответила:

— Нет! Обойдусь и горячей водой. Я это дело знаю.

Она разобрала белье и отложила в сторону все цветное. Потом налила из-под крана в лохань четыре ведра холодной воды и опустила в нее белые вещи; подоткнув юбку и зажав подол между коленями, она вошла в похожую на ящик кабинку, доходившую ей до пояса.

— Видать, вы и впрямь дело знаете! — заметила г-жа Бош.— Небось были прачкой у себя на родине, верно, милочка?

Жервеза засучила рукава, обнажив красивые белые руки с нежной кожей и розоватыми локтями, и принялась за стирку. На узкой доске, стертой и побелевшей от горячей воды, она расстелила рубашку, намылила ее, перевернула и снова намылила. Затем она принялась крепко колотить вальком и только тогда заговорила, громко выкрикивая слова в такт равномерным ударам:

— Ну да, прачкой... С десяти лет... Было это двенадцать лет назад... Мы ходили стирать на речку... И пахло там получше, чем здесь... Поглядели бы вы, какой там был уголок под деревьями... а какая текла прозрачная вода... Я жила в Плассане... Вы не слыхали про Плассан? Недалеко от Марселя...

— Вот это я понимаю! — воскликнула г-жа Бош, с восхищением наблюдая за сильными ударами валька.— Ну и хватка! Этак вы и железо расплющите своими девичьими ручками!

Они продолжали разговор, крича во весь голос. Порой привратнице приходилось нагибаться к Жервезе, чтобы расслышать ее слова. Жервеза переколотила все белье — и здорово переколотила! — затем бросила его в лохань и стала вынимать штуку за штукой, снова намыливать и оттирать короткой жесткой щеткой. Одной рукой она прижимала белье к доске, а другой скребла его, сгоняя грязную пену, которая падала на пол длинными хлопьями. И тут, под глухой звук скребущей щетки, они наклонились друг к другу и начали более задушевный разговор.

— Нет, мы не женаты, да я и не скрываюсь,— говорила Жервеза.— Лантье не такое уж сокровище, чтобы я мечтала стать его женой. Эх, кабы не ребята, что и говорить... Мне было четырнадцать, а ему восемнадцать, когда родился наш первый. А спустя четыре года появился и второй... Все случилось так, как оно всегда бывает, сами знаете... Не больно-то сладко мне жилось дома; чуть что — и отец Маккар пинал меня ногой в зад. Понятно, мне не сиделось дома, все тянуло погулять... Нас собирались поженить, а потом, уж не знаю почему, родители передумали.

Она стряхнула с покрасневших рук белую пену.

— Какая в Париже жесткая вода,— заметила она.

Госпожа Бош стирала не торопясь. Она останавливалась, растягивая работу, чтобы выведать эту историю, которая вот уже две недели не давала ей покою. Она жадно слушала, повернув к Жервезе толстое лицо с полуоткрытым ртом; ее вытаращенные глазки блестели. Довольная, что догадка ее подтвердилась, она думала: «Так-так, девчонка что-то очень разболталась. Не иначе как они повздорили». И спросила вслух:

— Значит, он неважно обращается с вами?

— И не говорите! — ответила Жервеза.— Там, дома, он был со мной очень хорош, но с тех пор, как мы приехали в Париж, совсем отбился от рук... Знаете, в прошлом году у Лантье умерла мать и кое-что оставила ему, около тысячи семисот франков. Вот он и задумал переехать в Париж. Отец Маккар по-прежнему то и дело потчевал меня затрещинами, ну я и согласилась уехать. Мы отправились вместе с детьми. Лантье собирался устроить меня в прачечную, а сам хотел поступить в шляпную мастерскую, ведь он шляпник. Мы могли бы жить припеваючи... Но Лантье слишком много о себе воображает, он мот и бездельник, только и думает, как бы погулять. Немногого он стоит, что и говорить... Так вот, вначале поселились мы в гостинице «Монмартр», на улице Монмартр. И пошли у нас ужины, кареты, театры, ему — часы, мне — шелковое платье; вообще-то он не жадный, когда у него есть деньги. Но недолго мы шиковали, не прошло и двух месяцев, как мы уже сидели без гроша. Тогда нам пришлось перебраться в «Добро пожаловать», и началась эта собачья жизнь...

Жервеза внезапно почувствовала комок в горле и замолчала, сдерживая слезы. Она уже перетерла щеткой все белье.

— Мне надо сходить за горячей водой,— пробормотала она.

Но г-жа Бош, очень недовольная, что прервался такой интересный разговор, крикнула проходившему мимо рабочему из прачечной:

— Шарль, голубчик, принесите, пожалуйста, горячей воды моей соседке, она очень торопится.

Шарль взял ведро и наполнил его до краев. Жервеза заплатила — ведро кипятку стоило одно су. Она вылила его в лохань и стала в последний раз намыливать белье, оттирая его руками; она низко склонилась над лавкой, окутанная серым облаком пара, который мелкими каплями оседал на ее светлых волосах.

— Бросьте в воду чуточку соды, тут у меня еще осталось,— любезно сказала привратница.

И она высыпала ей в лохань остатки стиральной соды из принесенного с собою пакетика. Г-жа Бош предложила и жавеля, но Жервеза отказалась: жавелем хорошо выводить только жирные и винные пятна.

— Мне кажется, он любит бегать за юбками,— сказала привратница, продолжая начатый разговор, но не называя Лантье.

Жервеза стояла, согнувшись над лоханью, крепко выжимая руками белье, и только тряхнула головой.

— Да, да,— продолжала г-жа Бош,— я и сама кое-что замечала...

Но она тут же прикусила язык, увидев, что Жервеза разом выпрямилась и, вся побледнев, впилась в нее глазами.

— Но я, право, ничего не знаю! Он, видно, не прочь подурачиться, вот и все! К примеру, вы знаете двух девчонок, что живут у нас в доме: Адель и Виржини,— так вот, он частенько балагурит с ними. Но дальше шуток дело не идет, можете мне поверить.

Жервеза стояла потная, с мокрыми руками и не сводила с нее пристального, пытливого взгляда. Тогда привратница рассердилась и, стукнув себя в грудь кулаком, закричала:

— Ей-богу, я ничего не знаю, я же вам сказала!

Потом, разом успокоившись, она добавила медовым голосом, каким говорят с человеком, от которого хотят утаить правду:

— А по-моему, у него честные глаза... Он еще женится на вас, милочка, помяните мое слово!

Жервеза отерла лоб мокрой ладонью. Она вытащила из лохани рубашку и снова покачала головой. Обе замолчали. Вокруг них все угомонилось. Пробило одиннадцать часов. Прачки уселись бочком на краю лоханок, поставили прямо на пол откупоренные литровые бутылки и принялись уписывать толстые ломти хлеба с колбасой, запивая их вином. Только хозяйки, пришедшие с небольшими узелками, торопились закончить стирку, поглядывая на круглые часы над застекленной будкой. Кое-где, среди приглушенного смеха и болтовни, прерываемой громким чавканьем, еще слышались удары валька; а между тем паровая машина ни на минуту не прекращала работу, и голос ее стал как будто еще громче; она выла и пыхтела, наполняя ревом огромное помещение. Но ни одна из женщин не замечала его, словно это было тяжелое дыхание самой прачечной, обдававшее всех горячим паром, который клубился, растекаясь под потолком. Жара становилась нестерпимой; слева, в широкие окна, врывались солнечные лучи, окрашивая колеблющиеся молочные испарения в нежные мутно-розовые и серо-голубые тона. Кругом все жаловались на жару, и Шарль, пройдя от окна к окну, задернул грубые полотняные шторы; затем он перешел на теневую сторону и открыл все форточки. Прачки приветствовали его, хлопая в ладоши, по прачечной прокатилась волна буйного веселья. Вскоре смолкли и последние удары вальков. Сидя с набитым ртом, прачки уже не болтали, а только размахивали руками, зажав в кулаке нож. Наступила такая тишина, что было слышно, как истопник в даль-

нем углу скребет лопатой, набирая каменный уголь, и забрасывает его в топку.

Жервеза стирала цветные вещи в оставшейся горячей мыльной воде. Кончив, она пододвинула козлы и бросила на них выстиранное белье, с которого по полу растекались голубоватые лужицы. Затем взялась за полосканье. Позади нее из крана лилась холодная вода, наполняя привинченный к полу большой бак, внутри которого были укреплены две деревянные перекладины. Над ним проходили еще две планки, на которые вешали белье, чтобы с него сбегала вода.

— Ну вот, скоро и делу конец, быстро управились,— сказала г-жа Бош.— А теперь я помогу вам выжимать.

— Что вы, не стоит, большое спасибо! — ответила Жервеза. Она тискала кулаками цветное белье, а затем прополаскивала его в чистой воде.— Вот если б я принесла простыни, тогда другое дело.

Но привратница настаивала, и Жервезе пришлось принять ее помощь. Они начали выжимать с двух концов линючую шерстяную юбку, с которой стекали коричневые струйки, как вдруг г-жа Бош закричала:

— Ишь ты! Вон дылда Виржини!.. А этой чего надо? Притащила свои лохмотья в носовом платке?

Жервеза, вздрогнув, подняла голову. Виржини, ее ровесница, темноволосая девушка, ростом повыше Жервезы, была довольно красива, несмотря на чересчур длинное лицо. На ней было старое черное платье с воланами, шею она повязала красной косынкой, а волосы тщательно уложила узлом и забрала в синюю сеточку из синели. Она на минутку задержалась в среднем проходе и прищурила глаза, как будто искала кого-то, затем, увидев Жервезу, прошла мимо нее, вздернув голову, нахально покачивая бедрами, и устроилась в том же ряду, человек через пять.

— И что это ей на ум взбрело! — говорила г-жа Бош, понизив голос.— Она никогда и воротничка не постирает. Лентяйка, каких свет не видал! Швея, а не заштопает себе даже пары чулок. Точь-в-точь как ее сестра, полировщица Адель: эта бездельница тоже день работает, а два гуляет. Никто не знает, кто их родители, живут они неизвестно на что, да уж если порассказать... Что она там трет? Ишь ты, никак юбку? Экая грязища! Уж эта юбка, наверно, видала виды!

Госпоже Бош, должно быть, хотелось доставить Жервезе удовольствие. Сказать по правде, она частенько пила с девушками кофе, когда у них водились деньги. Жервеза не отвечала, она торопилась, и руки у нее дрожали. Теперь она развела синьку в маленьком ушате на трех ножках. Она опускала в него белье, прополаскивала в голубоватой, словно перламутровой воде и,

слегка отжав, вешала на верхние перекладины. Все это время она нарочно стояла, повернувшись к Виржини спиной. Но она слышала, как та хихикает, и чувствовала на себе ее косые взгляды. Казалось, Виржини пришла лишь затем, чтобы ей насолить. И когда Жервеза случайно обернулась, они уставились друг на друга в упор.

— Не связывайтесь с ней! — прошептала г-жа Бош.— Не хватает еще, чтоб вы вцепились друг дружке в волосы... Ей-богу, у нее с Лантье ничего не было. Ведь я говорила о ее сестре.

В ту минуту, когда Жервеза вешала последнюю рубашку, у двери прачечной послышался смех.

— Тут двое ребятишек спрашивают маму! — крикнул Шарль.

Все женщины обернулись. Жервеза увидела Клода и Этьена. Как только дети заметили мать, они побежали к ней прямо по лужам, стуча каблуками незашнурованных башмаков. Старший, Клод, вел за руку младшего брата. Глядя на немного испуганные, но улыбающиеся мордочки малышей, прачки подбадривали их ласковыми словами. Дети остановились возле матери и, все еще держась за руки, подняли к ней белокурые головки.

— Вас папа прислал? — спросила Жервеза.

Она присела на корточки, чтобы зашнуровать Этьену ботинки, и тут заметила, что у Клода на пальце болтается ключ от комнаты с медным номерком.

— Как, ты принес мне ключ?! — удивилась она.— Зачем это?

Мальчик, взглянув на ключ, о котором уже успел позабыть, казалось, сразу все вспомнил и крикнул звонким голоском:

— Папа уехал!

— Он пошел купить чего-нибудь к завтраку, а вас послал сюда за мной?

Клод опешил и, взглянув на брата, немного помедлил. Вдруг он выпалил:

— Папа уехал... Он спрыгнул с кровати, сложил все вещи в сундук и отнес сундук в экипаж... Он уехал!

Жервеза, вся побелев, медленно выпрямилась и сжала руками виски, словно голова у нее раскалывалась. Она не находила слов и твердила как потерянная:

— Ах, боже мой!.. Боже мой!.. Боже мой!..

Тем временем г-жа Бош, в упоении оттого, что стала свидетельницей этой истории, выпытывала у мальчика:

— А ну, малыш, расскажи-ка все толком. Папа запер дверь, а потом велел вам отнести сюда ключ, так? — И, понизив голос, она прошептала ему на ухо: — А в коляске сидела дама, ты не видел?

Клод снова смешался. Но, подумав, повторил с торжествующим видом:

— Он спрыгнул с кровати, сложил все вещи в сундук... и уехал!

Тогда г-жа Бош оставила мальчика в покое, а тот потащил брата к крану, и оба стали забавляться, пуская струи холодной воды.

Жервеза не могла плакать. Она задыхалась, прислонившись спиной к лохани, по-прежнему закрыв руками лицо. Ее трясло как в лихорадке. Порой у нее вырывался тяжкий вздох, и она сильней прижимала руки к глазам, как будто старалась погрузиться во тьму, забыть о своем одиночестве. Ей казалось, что она падает на дно глубокой пропасти.

— Полно, душенька, плюньте вы на него! — шептала г-жа Бош.

— Если б вы знали! Если б вы только знали! — тихонько заговорила наконец Жервеза.— Он послал меня утром в ломбард заложить мои рубашки и шаль, чтобы заплатить за этот экипаж...

Она заплакала. Вспомнив, как Лантье отправил ее в ломбард, она поняла тайный смысл утренней ссоры и не могла сдержать рыданий, рвавшихся из груди. Этот обман, это гнусное предательство больше всего терзало ей сердце. Слезы текли по ее мокрому лицу и капали с подбородка, а она и не думала их утирать.

— Возьмите же себя в руки, перестаньте, на вас смотрят,— твердила г-жа Бош, хлопоча возле нее.— Ну можно ли так убиваться из-за мужчины! Значит, вы все еще любите его, бедняжка? Ведь вы только что поносили его. А теперь льете слезы, надрываете себе сердце... Господи, какие же все мы дуры!

Затем она заговорила с материнским участием:

— Бросить такую хорошенькую женщину... ну как не стыдно! Теперь вам, пожалуй, пора все узнать, ведь правда? Так вот, когда я пришла к вам под окно, я уже подозревала... Представьте, вчера вечером, когда Адель возвращалась домой, я услышала за ней мужские шаги и, конечно, выглянула на лестницу: хотела посмотреть, кто это. Они уже поднимались на третий этаж, однако я сразу признала пиджак господина Лантье. Сегодня утром Бош подкарауливал его и видел, как Лантье спокойно сошел вниз... Он спутался с Аделью, можете мне поверить. У Виржини есть любовник, она ходит к нему два раза в неделю. Однако все это изрядная пакость, ведь у них одна комната и одна кровать,— где уж там спала Виржини — ума не приложу.

Она на минутку замолчала, затем оглянулась и продолжала, сдерживая свой зычный голос:

— Она смеется над вашими слезами, эта бессердечная тварь. Голову даю на отсечение, она затеяла стирку только для отвода глаз... Проводила ту парочку, а сама пришла сюда, чтобы рассказать им, как вы встретите эту новость.

Жервеза отняла руки от лица и оглянулась. Увидев, что Виржини стоит в кучке женщин и, уставившись на нее, что-то тихонько рассказывает, она пришла в бешенство. Вытянув руки, она нагнулась и принялась шарить по полу, кружась на месте и дрожа всем телом; затем сделала два-три шага, наткнулась на полное ведро, схватила его обеими руками и с маху выплеснула на Виржини.

— Вот стерва! — закричала дылда Виржини.

Она успела отскочить назад, и вода попала ей только на ноги. Прачки, взбудораженные слезами Жервезы, уже толпились вокруг, предвкушая драку. Дожевывая хлеб, женщины взбирались на лохани. А те, что были подальше, сбегались, размахивая мыльными руками. Образовался круг.

— Ну и стерва! — повторила Виржини.— Взбесилась она, что ли?

Жервеза, выставив подбородок, застыла с искаженным лицом и не отвечала: она еще не переняла ни бойкости, ни острого языка парижанок. Виржини продолжала кричать:

— Ишь ты! Этой дряни надоело таскаться по захолустьям! С двенадцати лет она была там солдатской подстилкой, там и ногу себе сгноила... Скоро она совсем отвалится, твоя нога!

В толпе пробежал смешок. Долговязая Виржини, ободренная успехом, выпрямилась и, наступая на Жервезу, заорала пуще прежнего:

— А ну-ка подойди поближе — ты у меня получишь! И не вздумай ко мне приставать... Знаю я эту шкуру! Посмей она меня облить, уж я бы задрала ей подол! Пусть скажет, что я ей сделала... Говори, образина, что я тебе сделала?

— Не болтайте лишнего,— пробормотала Жервеза,— вы сами знаете... Моего мужа видели вчера вечером... Замолчите, не то я вас задушу!

— Ее мужа! Ну и насмешила! Мужа этой дамы!.. Как будто у таких потаскух бывают мужья!.. Не моя вина, если он тебя бросил. Ты, может, думаешь, я его украла? Пускай меня обыщут! Если хочешь знать, ты ему осточертела! Он слишком хорош для тебя. Скажи, а был ли на нем хоть ошейник? Эй, кто нашел мужа этой дамы? Обещано хорошее вознаграждение...

Снова послышался смех. Жервеза по-прежнему бормотала почти шепотом:

— Вы сами знаете, сами знаете... Это ваша сестра, я задушу ее...

— Вот, вот, поди разделайся с моей сестрой,— подхватила Виржини, хихикая.— Так, значит, это моя сестра? Ну что ж, тут нечему удивляться! Моя сестра не такая лахудра, как ты... Да

я-то тут при чем? Что ж, мне теперь нельзя и постирать спокойно? Отстань от меня, слышишь? Отвяжись!

Однако она не выдержала: отойдя и несколько раз ударив вальком, она снова вернулась, возбужденная, опьяневшая от собственной ругани, и заорала еще громче:

— Ну да-да! Это моя сестра! Теперь ты довольна?.. Они обожают друг друга. Посмотрела бы ты, как они лижутся!.. А тебя он бросил вместе с твоими ублюдками. У них все рожи в болячках, прелестные крошки, нечего сказать! Одного ты прижила с жандармом — ведь так? — а троих уморила, чтоб развязать себе руки... Я все знаю от твоего Лантье. Уж он порассказал нам о тебе, он и не чаял, как отделаться от такой твари!

— Шлюха! Шлюха! Шлюха! — завопила Жервеза, вся дрожа от бешенства.

Она отвернулась, снова пошарила по полу и, наткнувшись на маленький ушат с синькой, схватила его за ножки и выплеснула Виржини в лицо.

— Вот сволочь! Она изгадила мне платье! — заорала Виржини: лиф у нее намок и левая рука стала совсем синей.— Ну погоди, паскуда!

Она тоже схватила ведро и вылила его на Жервезу. И тут разгорелась настоящая битва. Обе бегали вдоль лавок, хватали полные ведра, возвращались назад и опрокидывали их друг другу на голову. И каждый удар сопровождался отборной руганью. Теперь не отставала и Жервеза.

— Получай, гадина!.. На, остуди задницу!

— Вот тебе, падаль! Раз в жизни умой себе харю!

— Постой, стерва, я отмочу твою грязь!

— А ну еще! Прополощи зубы, приоденься и катись в ночную смену на улицу Бельом!

Теперь им приходилось наливать ведра под краном. И дожидаясь, пока они наполнятся, обе наперебой осыпали друг друга бранью. Сначала противницы выплескивали ведра мимо цели и почти не замочили друг друга. Но вскоре они наловчились. Виржини пострадала первая — вода угодила ей прямо в лицо, хлынула за шиворот, потекла по спине, по груди и полилась струйками из-под юбки. Не успела она опомниться, как слева ее окатил новый поток, звонко хлопнул по уху и раскрутил прическу, которая превратилась в мокрый жгут. Жервезе вода сперва намочила только ноги; первое ведро залило ей башмаки и юбку до колен, два другие обдали ее до пояса. Однако вскоре стало уже невозможно следить за меткостью ударов. Обе женщины стояли мокрые с головы до ног, лифы облепили им плечи, а юбки обтянули бедра; обе как будто похудели, съежились и дрожали всем телом, а вода бежала с них ручьями, как с зонтов во время ливня.

— Вот так потеха! — раздался хриплый голос одной из прачек.

Вся прачечная наслаждалась зрелищем. Круг раздвинулся, отступая перед потоками воды. Со всех сторон слышались шутки, аплодисменты, их заглушал шум выливаемых с маху ведер, похожий на грохот прорвавшейся плотины. На полу стояли огромные лужи, и обе женщины шлепали по щиколотку в воде. Тут Виржини пошла на подлость: она схватила ведро с кипящим щелоком, принесенное соседкой, и выплеснула его на Жервезу. Прачки ахнули. Все думали, что Виржини обварила противницу. Но она лишь слегка ошпарила ей левую ногу. Жервеза, придя в ярость от боли, схватила пустое ведро, изо всей силы метнула его в Виржини и сбила ее с ног.

Кругом все загалдели.

— Она перебила ей ногу!

— И за дело! Ведь та хотела ее обварить!

— А что вы думаете, белобрысая права: у нее увели мужика!

Госпожа Бош вопила, воздевая руки к небу. Она благоразумно спряталась между двумя лоханями, а насмерть перепуганные Клод и Этьен цеплялись за ее юбку и отчаянно кричали: «Мама! Мама!» — захлебываясь от слез. Увидев, что Виржини упала, привратница подбежала к Жервезе и стала тянуть ее за подол, уговаривая:

— Уходите вы отсюда! Будет вам, опомнитесь... У меня сердце надрывается, честное слово! Это сущее смертоубийство!

Но она тут же отступила и снова спряталась за лоханями вместе с детьми. Виржини вскочила на ноги и бросилась на Жервезу. Она схватила ее за шею и принялась душить. Но Жервеза резким движением оттолкнула ее, вцепилась ей в прическу и повисла на волосах, как будто хотела оторвать ей голову. И драка возобновилась, на этот раз в полном молчании, без криков и ругани. Они не боролись, крепко обхватив друг друга, а старались добраться до лица, согнутыми, как когти, пальцами, царапались, щипались и рвали все, до чего им удавалось дотянуться. Синяя сетка и красная косынка брюнетки были сорваны, лиф лопнул у ворота, обнажив шею и плечо; а блондинка казалась раздетой, рукав у ее белой кофточки был отодран неведомо когда, сорочка треснула, и в прорехе виднелось голое тело. Кругом летали клочья одежды. У Жервезы первой выступила кровь — три длинные царапины протянулись от щеки до подбородка; она защищала глаза, боясь, как бы Виржини их не выцарапала, и при каждом наскоке прикрывала лицо. Виржини еще не была окровавлена. Жервеза подбиралась к ее ушам и бесилась, что не может до них дотянуться; но вот ей удалось схватить сережку, маленькую грушу из желтого стекла. Она дернула и разорвала мочку — брызнула кровь.

— Они убьют друг друга! Бесстыдницы! Разнимите их! — послышались голоса.

Прачки придвинулись ближе. Теперь образовалось два лагеря: одни науськивали женщин, как подравшихся собак; другие, более робкие, отворачивались, дрожа, и говорили, что с них довольно, их и так уже мутит. Тут едва не разгорелась общая потасовка: женщины обзывали друг друга негодницами, стервами, они размахивали голыми руками, кое-где уже послышались оплеухи.

Тем временем г-жа Бош разыскивала Шарля, парня, работавшего в прачечной.

— Шарль! Шарль!.. Куда же он девался?

И тут она увидела его в первом ряду: скрестив руки на груди, он любовался дракой. Это был здоровенный верзила с бычьей шеей. Он хохотал и с упоением разглядывал обнажившиеся женские тела. Блондинка была жирненькая, словно перепелочка. Вот была бы потеха, кабы на ней лопнула сорочка!

— Ишь ты! — пробормотал он, подмигнув.— У нее родинка под мышкой!

— Как! Вы тут? — закричала г-жа Бош, увидев его.— Помогите их разнять!.. Вам это ничего не стоит!

— Ну уж дудки! И без меня обойдется!— спокойно ответил Шарль.— Прошлый раз мне и так чуть глаза не выцарапали. Не мое это дело, у меня своей работы хватает. Да чего вы боитесь? Им вовсе не вредно маленько пустить кровь. Понежней станут — только и всего!

Тогда привратница сказала, что сбегает за полицией. Но хозяйка прачечной, щупленькая женщина с больными глазами, решительно воспротивилась.

— Нет, нет, я не хочу. Это осрамит мое заведение,— твердила она.

Борьба продолжалась на полу. Вдруг Виржини вскочила на колени. Она подобрала с полу валек и замахнулась. Изменившимся голосом она прохрипела:

— Ну погоди, теперь получишь! Давай-ка сюда свое грязное белье!

Жервеза быстро протянула руку, тоже схватила валек и занесла его над головой как дубинку. Она закричала таким же хриплым голосом:

— Ага, ты вздумала постирать... А ну, подставляй шкуру, я раздеру ее в клочья!

Они стояли на коленях, угрожая друг другу. Растрепанные, запыхавшиеся, перемазанные, распухшие, обе выжидали, с трудом переводя дыхание. Первый удар нанесла Жервеза, ее валек скользнул по плечу Виржини. Она тут же отскочила в сторону, чтобы избежать ответного удара, и валек Виржини едва задел ее

по бедру. Но стоило им только начать, как они принялись бить друг друга вальками, крепко и размеренно, как прачки колотят белье. При каждом ударе слышался глухой звук, словно шлепок ладонью по воде.

Прачки уже не смеялись. Многие отошли, говоря, что у них все нутро переворачивается; те, что остались, вытягивали шеи, в глазах у них горел жестокий огонек: они находили, что эти оголтелые бабы здорово дерутся. Г-жа Бош увела Клода и Этьена, и долетавший из дальнего конца прачечной детский плач сливался с гулкими ударами вальков.

Вдруг Жервеза вскрикнула. Виржини со всего размаху ударила ее по голой руке выше локтя; на коже выступило багровое пятно и тотчас же вспухло. Вне себя Жервеза кинулась на противницу. Казалось, она вот-вот убьет ее.

— Довольно! Довольно! — закричали кругом.

Но у Жервезы было такое страшное лицо, что никто не решался подойти. С удесятеренной силой обхватила она Виржини обеими руками и, согнув ее, прижала лицом к каменному полу; как та ни вырывалась, Жервеза задрала ей юбку на голову. Из-под юбки показались панталоны. Жервеза засунула руку в прореху, рванула и оголила противнице ляжки и ягодицы. Затем, подхватив валек, она принялась колотить, как, бывало, в Плассане колотила белье на берегу Вьорны, когда ее хозяйка обстирывала весь гарнизон. Деревянный валек с хлюпаньем впивался в тело. Каждый удар оставлял на белой коже багровую полосу.

— Ух! Ух! — восклицал Шарль, с восхищением тараща глаза.

Кое-где опять послышался смех. Но вскоре снова раздались крики: «Довольно! Довольно!» Жервеза ничего не слышала и продолжала бить. Она наклонилась, поглощенная своим делом, стараясь не оставить живого места на теле Виржини. Ей хотелось исполосовать, покрыть рубцами эту белую кожу. В своей жестокой радости, она вспомнила старую песенку прачек и, колотя вальком, приговаривала:

— Хлоп! Хлоп! Марго на речке... Хлоп! Хлоп! Вальком бьет... Хлоп! Хлоп! Отмоет сердце... Хлоп! Хлоп! От горя и забот...

А потом начинала снова:

— Это тебе, это твоей сестре, а это Лантье... Передай от меня, когда их увидишь... Смотри не забудь: это Лантье, это сестре, это тебе... Хлоп! Хлоп! Марго на речке... Хлоп! Хлоп! Вальком бьет...

Пришлось силой вырвать Виржини у нее из рук. Дылда Виржини, вся в слезах, багровая, посрамленная, схватила свое белье и убежала прочь; она была побеждена. Между тем Жервеза отыскала оторванный рукав своей кофточки и оправила юбку. У нее болела рука, и она попросила г-жу Бош взвалить белье ей на пле-

чо. Привратница болтала, с волнением вспоминая все подробности драки, и предлагала осмотреть Жервезу:

— Она могла вам что-нибудь сломать... Я ясно слышала какой-то хруст...

Но Жервезе хотелось поскорей уйти отсюда. Она не отвечала ни на сочувственные возгласы, ни на шумное одобрение прачек, толпившихся возле нее в своих длинных фартуках. С бельем на плече она поспешила к дверям, где ее ждали дети.

— С вас два су, за два часа,— остановила ее хозяйка прачечной, уже сидевшая в своей застекленной будке.

Какие два су? Жервеза никак не могла сообразить, что с нее требуют плату за стирку. Наконец поняла и отдала два су. Сильно прихрамывая под тяжестью сырого белья, давившего ей на плечо, она вышла вся мокрая, с синяком на руке и окровавленной щекой, таща за руки Этьена и Клода, которые семенили рядом с ней; они все еще дрожали и всхлипывали, размазывая слезы по лицу.

А прачечная снова загудела, словно в плотине открыли шлюзы. Прачки съели весь хлеб, выпили вино и, возбужденные потасовкой, потные, раскрасневшиеся, колотили вальками с удвоенной силой. Опять вдоль лавок бешено заработали руки, угловатые фигуры с перекошенными плечами и согнутыми спинами задвигались, как марионетки, выпрямляясь и складываясь пополам, словно на шарнирах. Женщины вновь перекликались из конца в конец широкого прохода. Брань, смех, сальные словечки тонули в неумолчном плеске воды. Плевались краны, с шумом опрокидывались ведра, под лавками текли мутные реки. Был самый разгар послеобеденной работы,— вальки мерно колотили белье. В громадной комнате пар порыжел от солнца, лучи которого пробивались золотыми зайчиками сквозь дыры в занавесках. Душный воздух был насыщен мыльными испарениями. Вдруг все помещение наполнилось густыми белыми клубами: громадная крышка котла, где кипятилось белье, автоматически поднялась на зубчатом стержне, и зияющая пасть медного чана, вмазанного в кирпичный фундамент, стала извергать вихри пара, пропитанного сладковатым запахом поташа. А рядом работали отжимочные машины: кипы белья складывали в чугунные цилиндры, воду выжимали под прессом одним поворотом колеса, а машина пыхтела, хрипела и сотрясала всю прачечную, непрерывно работая своими стальными руками.

Войдя в подворотню гостиницы «Добро пожаловать», Жервеза снова расплакалась. В этой узкой темной подворотне, с проложенной вдоль стены сточной канавой, ее обдало знакомым зловонием, и она вспомнила время, прожитое здесь с Лантье,— две недели нищеты и ссор, о которых она думала теперь с горьким

сожалением. Никогда еще она не чувствовала себя такой покинутой и одинокой.

Она поднялась наверх; опустевшая комната была залита солнцем, врывавшимся в открытое окно. Сноп света с танцующими в нем золотыми пылинками еще сильнее подчеркивал убожество ее жилища — закопченный потолок, рваные обои на стенах. У камина на гвозде висела только женская косынка, скрученная жгутом. Детская кровать была вытащена на середину комнаты, и за ней виднелся комод с выдвинутыми и опустошенными ящиками. Лантье помылся перед уходом и извел всю помаду — на два су помады, завернутой в игральную карту; в тазу осталась грязная вода. Он ничего не забыл. Угол, где раньше стоял сундук, казался Жервезе зияющей пропастью. Лантье забрал даже круглое зеркальце, висевшее на оконной задвижке. Жервезу вдруг охватила тревога, смутное предчувствие, и она быстро взглянула на камин: Лантье унес и ломбардные квитанции — нежно-розовая пачка, лежавшая между подсвечниками, исчезла.

Жервеза перекинула белье через спинку стула; она стояла посреди комнаты, озираясь по сторонам, до того ошеломленная, что не могла даже плакать. У нее осталось только одно су из четырех, отложенных на стирку. Услышав у окна беспечный смех Клода и Этьена, она подошла к ним, прижала к себе их головки и на минуту замерла, вглядываясь в серую улицу, где утром она видела пробуждение рабочего люда, начало кипучей жизни Парижа. А сейчас над раскаленной мостовой, истоптанной человеческим стадом, поднималось горячее марево, оно колыхалось над городом и расплывалось за городской стеной. И вот на эту пышущую жаром мостовую ее выбросили одну с двумя малышами; она скользила взглядом по внешним бульварам, влево, вправо, из конца в конец, и в ней поднимался безмерный ужас, будто отныне вся жизнь ее должна замкнуться здесь — между бойней и больницей.

II

Недели три спустя, в погожий солнечный денек, около половины двенадцатого, Жервеза и кровельщик Купо сидели за рюмкой сливянки в «Западне» папаши Коломба. Купо давно караулил Жервезу, стоя на тротуаре с папиросой в зубах, и, увидев, как она переходит улицу, возвращаясь от заказчика, чуть не силком затащил ее сюда; теперь большая квадратная бельевая корзина стояла рядом с ней на полу, позади оцинкованного столика.

«Западня» папаши Коломба помещалась на углу улицы Пуассонье и бульвара Рошешуар. На длинной вывеске большими си-

ными буквами было выведено всего одно слово: «Спиртогонная». У двери в распиленных пополам бочонках красовались два запыленных олеандра. Налево от входа высилась громадная стойка, а на ней, возле крана для мытья посуды, стояли рядами стаканы и оловянные стопки; вдоль стен вокруг обширного зала выстроились ярко-желтые пузатые бочки, покрытые блестящим лаком, с сияющими медными обручами и кранами. Выше тянулись полки, заставленные ликерами и наливками; бутылки и графины всевозможных размеров и цветов отражались в зеркале позади стойки яркими пятнами — травянисто-зелеными, бледно-золотистыми и нежно-розовыми. Но главная достопримечательность кабачка помещалась в глубине зала в застекленной пристройке, за невысокой дубовой перегородкой: там стоял спиртогонный аппарат, работавший на глазах у посетителей,— несколько кубов с длинными металлическими хоботами и змеевиками, уходившими под землю,— настоящая дьявольская кухня, перед которой подгулявшие рабочие предавались пьяным мечтам.

В этот ранний час «Западня» была еще пуста. Папаша Коломб, тучный сорокалетний мужчина в жилете без пиджака, говорил с девочкой лет десяти, просившей налить ей в чашку на четыре су настойки. В открытую дверь врывались солнечные лучи, нагревая заплеванный курильщиками пол. И по всему залу от стойки, от бочек поднимался терпкий винный запах, пары алкоголя, которые, казалось, оседали даже на пылинках, кружившихся, как пьяные, в солнечном свете.

Купо скрутил еще папироску. Он был очень опрятно одет, в короткой рабочей куртке, синей полотняной кепочке, и весело смеялся, скаля белые зубы. Выдающаяся нижняя челюсть, слегка приплюснутый нос и ясные карие глаза — все в нем напоминало ласкового и добродушного пса. Густые курчавые волосы стояли копной на голове, а кожа у этого двадцатишестилетнего парня была нежная, как у девушки. Жервеза сидела напротив в легкой черной кофточке, с непокрытой головой и доедала сливу, держа ее за черенок кончиками пальцев. Они устроились у самого входа, за первым из четырех столиков, расставленных вдоль бочек против стойки.

Закурив, Купо оперся локтями о столик, наклонился вперед и с минуту молча рассматривал хорошенькую белокурую женщину, нежное лицо которой в этот день отливало матовой белизной тонкого фарфора. Затем, намекая на дело, известное только им двоим и, как видно, обсуждавшееся раньше, он спросил в упор, понизив голос:

— Так, значит, нет? Вы не хотите?

— Ну, разумеется, нет, господин Купо! — ответила Жервеза, спокойно улыбаясь.— И не заводите больше этих разговоров, да

еще в таком месте. Вы же обещали мне быть умником... Если б я знала, что вы приметесь за старое, я отказалась бы от вашего приглашения.

Он ничего не сказал в ответ и продолжал рассматривать ее совсем близко, с нагловатой нежностью, задерживая взгляд на ее губах с бледно-розовыми, чуть влажными уголками, которые, приоткрываясь в улыбке, показывали алый рот. Но Жервеза не отодвигалась от него, а смотрела все так же спокойно и приветливо. Помолчав, она сказала:

— Вы и сами не знаете, что говорите. Ведь я уже старуха, моему сыну восемь лет... Ну что мы будем делать вместе?

— Черт возьми! — прошептал Купо, подмигнув.— То же, что и все!

Но она с досадой отмахнулась от него.

— И вы думаете, это всегда так уж забавно? Сразу видно, что вы еще не были женаты... Нет, господин Купо, мне пора взяться за ум. Баловство не доводит до добра! У меня дома два голодных рта, их не так-то легко прокормить. Разве я смогу поставить на ноги ребят, если буду заниматься всякими глупостями?.. К тому же, знаете, беда научила меня уму-разуму. Теперь я на мужчин и смотреть не хочу. Не скоро я попадусь на их удочку!

Она говорила без гнева, спокойно и рассудительно, как если бы речь шла о работе, о том, стоит ли крахмалить косынку или платок. Было видно, что она все обдумала и пришла к твердому решению.

Купо, тронутый ее словами, повторял:

— Вы меня так огорчаете, так огорчаете...

— Да, я вижу, господин Купо,— отвечала она.— И мне очень жаль... Я, право, не хочу вас обижать. Если б мне вздумалось позабавиться, боже мой! Уж я скорей выбрала бы вас, чем кого другого. Вы, наверно, очень славный, покладистый парень. Мы могли бы сойтись, а там — будь что будет, правда? Я не притворяюсь недотрогой, не говорю, что этого не могло бы случиться... Но только к чему затевать, коли нет охоты? Вот уж две недели, как я поступила к госпоже Фоконье. Ребята ходят в школу. Я работаю и довольна... Право, пусть уж лучше все остается по-старому.

И она нагнулась, чтобы взять свою корзину.

— Я с вами заболталась, а хозяйка небось дожидается... Не тужите, господин Купо, вы себе найдете другую, получше меня и без двух ребятишек на шее.

Купо взглянул на круглые часы, вставленные в зеркало, и воскликнул, удерживая ее:

— Куда вы спешите! Сейчас только тридцать пять двенадцатого. У меня осталось еще двадцать пять минут... Не бойтесь, я

не буду вольничать, ведь между нами столик. Неужто я вам так противен, что вам даже неохота немного поболтать со мной?

Она снова поставила корзину, не желая его обижать; и они принялись беседовать, как добрые друзья. Она позавтракала перед тем, как отнести белье, а он утром наспех проглотил суп и кусок мяса, чтобы подстеречь ее на улице. Жервеза приветливо отвечала ему, а сама поглядывала сквозь витрину, заставленную бутылками и графинами, наблюдая за жизнью квартала, где в этот обеденный час была невообразимая толчея. По узким тротуарам зажатой между домами улицы спешили прохожие, работая локтями и обгоняя друг друга. Задержавшиеся в мастерских рабочие, мрачные от голода, крупными шагами пересекали мостовую и, зайдя в булочную напротив, вскоре появлялись с хлебом под мышкой, а затем, миновав еще три двери, спешили в трактир «Двухголовый теленок», чтобы съесть дежурное блюдо за шесть су. Рядом с булочной помещалась зеленная, где продавали жареную картошку и вареные мидии с петрушкой; из лавки непрерывной вереницей выходили работницы в длинных передниках, держа фунтики с жареной картошкой или чашки с мидиями; хорошенькие простоволосые девушки были более привередливы и покупали по пучку редиски. Когда Жервеза наклонялась, ей была видна и колбасная, битком набитая народом, откуда выбегали дети с жареной котлетой, горячей сосиской или куском колбасы в промасленной бумажке. Между тем на липкую от грязи мостовую, не просыхавшую и в хорошую погоду под постоянно месившими ее ногами, уже выходили, отобедав в трактирах, рабочие и, собравшись кучками, медленно брели дальше, похлопывая себя по ляжкам; степенные, отяжелевшие от еды, они еле двигались среди уличной давки и суеты.

У дверей «Западни» собралась небольшая группа.

— Послушай, Биби Свиной Хрящ,— послышался хриплый голос,— угостишь компанию стаканчиком горькой?

В зал вошли пятеро рабочих и остановились у стойки.

— Здорово, папаша Коломб, старый мошенник! Налей-ка нам доброй старой водки, да не в наперстках, а в настоящих стаканах,— сказал тот же голос.

Папаша Коломб невозмутимо разливал вино. Вошло еще трое рабочих. Понемногу кучка, столпившаяся на углу, становилась все больше; недолго помедлив перед дверью, рабочие начинали подталкивать друг друга и наконец проходили в зал между двумя запыленными олеандрами.

— Вот дуралей! У вас одни сальности на уме! — говорила Жервеза.— Конечно, я его любила... Но после того, как он так подло бросил меня...

Они толковали о Лантье. Жервеза его больше не видала; она

думала, что он живет с сестрой Виржини на улице Глясьер, у того приятеля, который собирался открыть шляпную мастерскую. Но она вовсе не собирается бегать за ним. Сначала, правда, она очень горевала и даже хотела утопиться, но теперь образумилась и решила, что, быть может, это и к лучшему. Кто знает, удалось ли бы ей вырастить с Лантье ребят,— он так любит сорить деньгами! Если ему вздумается поцеловать Клода или Этьена, пускай заходит, она не выгонит его за дверь, но сама скорее даст изрубить себя на куски, чем позволит ему хоть пальцем к ней прикоснуться. Она говорила спокойно, как женщина, принявшая твердое решение и выработавшая определенный план жизни, а Купо, не оставляя надежды ее соблазнить, острил, отпускал непристойные шутки, задавал двусмысленные вопросы о Лантье, но болтал так непринужденно, так весело скалил белые зубы, что Жервеза и не думала обижаться.

— Нет, вы, наверно, сами колотили его! — заявил под конец Купо.— Вы вовсе не такая добрая! Я знаю, кое-кого вы здорово отделали!

Жервеза громко рассмеялась. А ведь и правда, она отлупила эту кобылу Виржини. В тот день она хоть кого готова была задушить. И она захохотала еще громче, когда Купо рассказал ей, что Виржини, после того как ей при всех задрали юбки, от стыда сбежала в другой квартал. При этом лицо Жервезы оставалось детски простодушным; она протягивала свои полные руки и уверяла, что никогда и мухи не обидит. Уж ей ли не знать, что такое побои? Ведь сама она всю жизнь получала колотушки. И Жервеза принялась рассказывать о своем детстве в Плассане. Она никогда не гуляла с парнями, они ей только докучали; ей было всего четырнадцать лет, когда Лантье соблазнил ее: девочке нравилось, что он называл себя ее мужем, и она играла в хозяйку дома. Главный ее недостаток, уверяла Жервеза,— что она слишком доверчива, всех любит и привязывается к людям, которые делают ей потом всякие гадости. А когда она любит мужчину, то совсем не думает о разных глупостях,— единственная ее мечта всегда быть с ним и жить счастливо. Тут Купо, посмеиваясь, напомнил ей о ребятах: не под капустным же листом она их нашла. Но Жервеза шлепнула его по руке: разумеется, она сделана по той же колодке, что и другие женщины, однако напрасно думают, будто они только об этом и мечтают; женщины заботятся о хозяйстве, разрываются на части, лишь бы дом был в порядке, а к вечеру так устают, что стоит им лечь — и они засыпают как убитые. К тому же она пошла в мать, а мать ее была настоящая работяга: больше двадцати лет она служила вьючной скотиной отцу Маккару, да так и умерла за работой. Только Жервеза была тоненькая, а у матери были такие широченные плечи, что, входя в дверь,

она чуть косяки не сворачивала. Но все равно Жервеза похожа на мать своей привязчивостью. И даже прихрамывает она точь-в-точь, как мать, которую отец Маккар бил смертным боем. Сколько раз мать рассказывала ей, как отец Маккар, возвращаясь ночью пьяный, так тискал ее своими лапищами, что у нее кости трещали; должно быть, она и зачала Жервезу в такую ночь, вот почему у нее одна нога чуть короче другой.

— Ну, это ерунда, совсем незаметно,— сказал Купо, желая доставить ей удовольствие.

Жервеза покачала головой: она знала, что это очень заметно, к сорока годам она, наверно, согнется крючком.

— Право, у вас странный вкус: ведь надо же влюбиться в хромую! — сказала она, добродушно посмеиваясь.

Тогда Купо, все так же облокотясь на стол, еще ближе наклонился к ней и стал говорить всякие нежности; он не стеснялся в выражениях, стараясь ее обольстить. Но она по-прежнему отрицательно качала головой и не поддавалась соблазну, хотя ее и ласкал его вкрадчивый голос. Она слушала, глядя в окно, и, казалось, снова с интересом следила за давкой на улице. Теперь в опустевших лавках подметали пол; зеленщица сняла с плиты последнюю порцию жареной картошки, а колбасник собирал тарелки, разбросанные по прилавку. Из всех трактиров толпой выходили рабочие; здоровые бородатые мужчины толкались и хлопали друг друга по спине, забавляясь, как мальчишки, и их тяжелые, подкованные башмаки грохотали по мостовой, прочерчивая на булыжнике длинные царапины; другие, засунув руки в карманы и задрав голову, курили с задумчивым видом и щурились на солнце. Народ забил тротуары, мостовую, канавы, из всех дверей растекался ленивый поток, задерживаясь среди повозок; целая лавина рабочих блуз, курток и пальто, выгоревших и поблекших под яркими лучами солнца, запрудила улицу. Вдали слышались фабричные гудки, но рабочие не спешили, они раскуривали трубки, перекликались, выходя из кабаков, и наконец нехотя плелись к заводам и мастерским, сгорбившись и волоча ноги. Жервеза забавлялась, следя за тремя рабочими, одним высоким и двумя низенькими: они шли еле-еле, поминутно оборачиваясь; кончилось тем, что они повернули обратно и направились прямо к «Западне».

— Смотрите-ка! — прошептала она.— Эта троица, видать, не натрет себе мозолей на работе!

— Еще бы! — ответил Купо.— Я знаю вон того верзилу, это Бурдюк, мой приятель.

Теперь в «Западне» было полно народу. Все громко галдели, сквозь густой и хриплый гул голосов порой прорывались резкие выкрики. Иногда раздавался удар кулака по стойке, и стаканы звонко дребезжали. Все стояли, одни скрестив руки на груди, дру-

гие заложив их за спину; пьяницы собирались кучками, теснясь и толкаясь; иным приходилось ждать у бочек по четверти часа, пока папаша Коломб примет заказ.

— Глянь-ка! Да ведь это наш задавака Смородинный Лист! — крикнул Бурдюк, хлопнув с размаху Купо по плечу.— Настоящий барин — курит папиросы и носит белые рубашки! Ишь ты, хочет пыль в глаза пустить своей подружке, угощает ее наливками!

— А ну тебя, отстань! — ответил Купо с досадой.

Но тот все издевался.

— Ладно, держи фасон, малыш!.. Да только хам хамом и останется, так и знай!

И он повернулся к ним спиной, отчаянно скосив глаза на Жервезу. А она отодвинулась, слегка испуганная. Табачный дым и крепкий запах столпившихся мужчин смешивался с винными парами; она задыхалась и не могла сдержать кашля.

— Ах, какая мерзость — пьянство! — проговорила она вполголоса.

И Жервеза рассказала, что прежде, в Плассане, она часто лакомилась с матерью анисовой настойкой. Но как-то раз она перепилась, да так, что чуть не умерла, и с тех пор видеть не может спиртного.

— Смотрите,— сказала она, показывая свою рюмку,— сливу я съела, а наливку пить не буду, меня от нее тошнит.

Купо тоже не понимал, как можно глушить водку стаканами. Выпить иногда рюмочку сливянки — это никому не повредит. Но пить водку, абсент и всякую мерзость — благодарю покорно! Это ни к чему. Пускай товарищи издеваются над ним, но когда эти пропойцы заходят в кабак, он сразу поворачивает оглобли. Отец Купо — он тоже был кровельщиком — как-то после попойки свалился с крыши дома двадцать пять по улице Кокнар и размозжил себе голову о мостовую; в его семье все это помнят, с тех пор они поумнели. Он сам, когда проходит по улице Кокнар и видит этот дом, готов лучше напиться из сточной канавы, чем проглотить рюмку водки в трактире, пусть даже бесплатно. И он сказал в заключение:

— В нашем ремесле надо твердо стоять на ногах.

Жервеза снова подняла корзину. Но она не встала, а поставила ее себе на колени, задумчиво глядя вдаль, как будто слова Купо пробудили в ней давние мысли и мечты. И она сказала медленно, без видимой связи с его словами:

— Боже мой! Ведь я не честолюбива, много ли мне надо!.. Все, что я хочу, это работать спокойно, всегда иметь кусок хлеба да чистенький уголок для жилья... ну кровать, стол, два стула — только и всего. А еще мне хотелось бы вырастить ребят, чтобы они стали порядочными людьми, если это возможно... И послед-

няя мечта: чтобы меня больше не били, если я еще когда-нибудь выйду замуж; нет, я не хочу, чтобы меня били... Вот и все. Понимаете? Вот и все...

Она задумалась, спрашивая себя, чего бы ей хотелось еще, но не находила ни одного серьезного желания. И, помедлив, добавила:

— Пожалуй, под конец человеку хочется умереть в своей постели... Я тоже, проработав всю жизнь, наверное захочу умереть в своей постели, у себя дома.

И она поднялась. Купо горячо одобрял все ее желания. Он уже встал из-за стола, так как боялся опоздать. Но они не сразу вышли на улицу: Жервезе захотелось взглянуть поближе на спиргогонный куб из красной меди, стоявший в застекленном закуте, и Купо подошел с ней к дубовой перегородке и начал объяснять, как работает машина, указывая пальцем на отдельные части и на огромную реторту, из которой вытекала прозрачная струйка спирта. Перегонный куб с его причудливыми резервуарами и бесконечными змеевиками выглядел зловеще; нигде из него не просачивался дымок, но в глубине слышалось хриплое дыхание, глухой подземный гул; казалось, какое-то злобное чудовище, могучее и бессловесное, творит среди бела дня свое черное дело.

Бурдюк с товарищами тоже подошел и оперся на барьер, дожидаясь, когда освободится местечко у стойки. Он смеялся, скрипя, как несмазанное колесо, кивал головой и не сводил нежного взгляда с этой машины для пропойц. Черт ее подери! Уж больно хороша! В ее громадном медном брюхе столько зелья, что можно заливать себе глотку целую неделю. Кабы его воля, он впаял бы себе кончик змеевика между зубами, чтобы все время чувствовать, как свежая горячая водка наполняет его, растекается по всему телу до самых пяток, струится беспрерывно, как ручеек. Эх, черт! Тогда бы ему не о чем было заботиться, плевал бы он на наперстки этого мерзавца Коломба. А приятели, посмеиваясь, говорили, что у стервеца Бурдюка не плохо варит котелок. Между тем перегонный куб, без единой искры, без веселого отблеска на матовых медных боках, продолжал свою работу, злобно урча, и из него без конца сочился спиртовый пот, подобно неиссякаемому роднику, который, казалось, постепенно зальет все помещение, потечет по бульварам и затопит громадную яму — Париж. Жерваза вздрогнула и отодвинулась; она прошептала, силясь улыбнуться:

— Ну не глупо ли, при виде этой машины у меня по спине мурашки бегают... Как подумаю о водке, меня прямо в дрожь бросает...

Затем, возвращаясь к разговору о желанном счастье, она спросила:

— Скажите, ведь правда, куда лучше работать, иметь кусок хлеба, жить в своем углу, вырастить детей, умереть в своей постели?..

— И не получать колотушек,— добавил Купо весело.— Но ведь я не стану бить вас, Жервеза, если вы согласитесь... Вам нечего бояться, я не пью, да к тому же я вас слишком люблю. Ну давайте встретимся нынче вечером и проведем ночку вместе?

Она пробиралась среди мужчин, выставив вперед корзину, а он понизил голос и шел за ней следом, наклонившись к самому ее уху. Но Жервеза снова и снова отрицательно качала головой. И все же она порой оборачивалась и улыбалась ему,— видимо, ее радовало, что он не пьяница. Ну, конечно, она бы согласилась, кабы не зареклась водиться с мужчинами. Наконец они пробились к двери и вышли. А «Западня» была все так же полна народу; гомон хриплых голосов и крепкий спиртной дух вырывались на улицу. Было слышно, как Бурдюк ругает папашу Коломба прохвостом за то, что тот не долил ему стакан. И кому? Такому славному, компанейскому, рубахе-парню! Ну нет! К чертям собачьим! Хватит с него этой старой обезьяны, ноги его больше не будет в этой дыре, она ему осточертела! И Бурдюк предложил товарищам отправиться в кабачок «Промочи глотку», у заставы Сен-Дени: вот там дают зелье, что называется, вырви глаз!

— Ох! Теперь можно вздохнуть! — сказала Жервеза, останавливаясь на тротуаре.— Ну что ж, прощайте и спасибо, господин Купо!.. Мне пора.

Она направилась к бульвару, но он взял ее за руку и, не отпуская, уговаривал:

— Сделайте маленький крюк, пройдем вместе по улице Гут-д'Ор, тут ведь совсем близко. Прежде чем идти на работу, мне надо забежать к сестре... Нам почти по дороге.

В конце концов она согласилась, и они медленно двинулись по улице Пуассонье, идя рядом, хоть и не под руку. Купо рассказывал ей о своей семье. Мамаша Купо работала раньше в жилетной мастерской, а теперь стала приходящей прислугой, потому что у нее плохо с глазами. Третьего числа прошлого месяца ей исполнилось шестьдесят два года. Сам он — младший в семье. Одна из его сестер, госпожа Лера́, вдова тридцати шести лет, работает цветочницей и живет на улице Муан, возле бульвара Батиньоль. Вторая, тридцати лет, замужем за золотых дел мастером, за этим сквалыгой Лорийе. К ней-то он и идет, на улицу Гут-д'Ор. Они живут в большом доме на левой стороне. Он обедает у них после работы: это выгодно всем троим. Сегодня он как раз должен зайти к ним и предупредить, чтоб его не ждали: его пригласил приятель.

Жервеза молча слушала Купо и вдруг перебила его, улыбаясь:

— Так вас прозвали Смородинным Листом?

— Да,— ответил он,— приятели дали мне такую кличку, потому что я пью только смородинную наливку, когда они затащат меня силком в кабачок. Уж лучше называться Смородинным Листом, чем Бурдюком, правда?

— Ну конечно. Смородинный Лист совсем не плохое прозвище,— согласилась Жервеза.

И она принялась расспрашивать Купо о его работе. Он все еще работал рядом, за городской стеной, в новой больнице. Ну, дела там хоть отбавляй, хватит на целый год. Одних водосточных труб чуть ли не километр.

— А знаете,— сказал Купо,— стоит мне забраться на крышу, как я вижу номера «Добро пожаловать»... Вчера вы сидели у окна, я махал вам рукой, а вы и не заметили.

Когда они прошли несколько сот шагов по улице Гут-д'Ор, он остановился и, задрав голову, сказал:

— Вот дом, где живет сестра. Сам-то я родился в доме двадцать два, немного подальше. А это видите, какая громадина, ведь надо было наворотить этакую гору кирпича! А уж внутри — настоящая казарма!

Подняв кверху подбородок, Жервеза разглядывала фасад. На улицу выходило шесть этажей, и в каждом вытянулось в ряд по пятнадцати окон; их почерневшие поломанные жалюзи придавали огромному зданию обветшалый вид. Нижний этаж занимали четыре лавки: направо от ворот помещалась большая, провонявшая салом харчевня, а налево — угольщик, бакалейщик и торговка зонтами. Дом казался особенно громоздким из-за того, что с двух сторон к нему прилепились две жалкие лачужки; эта махина, похожая на грубо высеченную глыбу известняка, осыпавшуюся и изъеденную дождями, вздымалась над соседними крышами и четко выступала в ясном небе, как безобразный куб с грязными, обшарпанными боками, с голыми и мрачными, как у тюрьмы, стенами, а зубцы торчащих на углах кирпичей напоминали разинутые пасти. Но Жервеза пристальней всего рассматривала широкие ворота в виде арки; они доходили до третьего этажа, образуя глубокий туннель, в конце которого брезжил тусклый свет большого двора. Посреди этого туннеля, вымощенного, как улица, струился ручеек бледно-розового цвета.

— Входите же,— сказал Купо,— здесь вас никто не съест.

Жервеза решила подождать его на улице, но не устояла и, войдя под арку, остановилась в самом конце справа, у двери в каморку привратницы. Тут она снова подняла глаза. Четыре одинаковых семиэтажных корпуса замыкали двор с четырех сторон, образуя обширный квадрат. Серые стены с рыжими пятнами, словно

изъеденные проказой и покрытые длинными шрамами от потоков дождевой воды, тянулись вверх, унылые, гладкие, без единого украшения; только сточные трубы изгибались у каждого этажа, где помойные раковины пятнали стену ржавыми подтеками. В окнах без ставен поблескивали мутные зеленоватые стекла. Иные были открыты, и на подоконниках проветривались тюфяки в крупную синюю клетку; в других на протянутых веревках сушилось белье всей семьи: мужские сорочки, женские кофточки, штанишки детей; в окне на четвертом этаже висела загаженная детская пеленка. Сверху донизу из тесных клетушек лезла наружу убогая жизнь, из всех щелей сочилась нищета. В каждый корпус вела высокая узкая дверь без наличников, прорезанная в голой оштукатуренной стене, а за ней тянулся обшарпанный коридор, упиравшийся в грязную витую лестницу с железными перилами; эти четыре входа были обозначены четырьмя первыми буквами алфавита, намалеванными прямо на стене. В нижнем этаже разместились большие мастерские с широкими, почерневшими от пыли окнами; тут пылал горн слесаря, подальше слышалось, как стругает рубанком столяр, а возле арки помещалась красильня, из которой и вытекал пенистый бледно-розовый ручеек, струившийся под воротами. При ярком солнечном свете грязный двор, на котором блестели разноцветные лужи, валялись стружки, чернели кучи шлака, а по краям между камнями пробивалась травка, казался перерезанным надвое резкой чертой, отделявшей освещенную сторону от затененной. На теневой стороне, возле водопроводной колонки, где было всегда мокро от постоянно капавшей из крана воды, три тощие курицы разрывали лапками грязь в поисках червей. Жервеза медленно переводила взгляд с седьмого этажа на первый и обратно до самой крыши, пораженная этой махиной; она чувствовала себя внутри живого организма, в самом сердце города и дивилась этому дому, как будто встретилась с живым великаном.

— Сударыня, вы ищете кого-нибудь? — окликнула ее привратница, с любопытством выглядывая из своей каморки.

Жервеза ответила, что поджидает знакомого, и вышла на улицу. Но Купо все не приходил, и она снова вернулась во двор: этот дом почему-то притягивал ее. Он вовсе не казался ей безобразным. Среди вывешенного в окнах тряпья попадались и веселые уголки: тут горшок с цветущим левкоем, там клетка с громко чирикающей канарейкой, а кое-где зеркальца для бритья блестели, как круглые звездочки. Внизу под мерный скрип фуганка пел столяр, а из слесарной мастерской доносился серебристый звон дробно стучащих молотков. К тому же почти во всех открытых окнах, среди убогого хлама, виднелись чумазые смеющиеся детские мордочки и спокойные лица женщин, склонившихся над шитьем. Наступила по-

слеобеденная пора, когда все вновь принимаются за дела, мужчины уходят на работу и весь дом охватывает мир и покой, который нарушает лишь однообразный шум мастерских, убаюкивающий, как неумолчно повторяемый напев. Только двор казался Жервезе немного сырым. Если б ей довелось поселиться здесь, она выбрала бы комнату в глубине, с окнами на солнечную сторону. Она сделала несколько шагов, вдыхая затхлый дух жилища бедняков, запах слежавшейся пыли и застарелой грязи; но эту вонь перебивали едкие испарения красильни, и потому Жервезе казалось, что здесь пахнет не так противно, как в гостинице «Добро пожаловать». И она даже присмотрела себе окошко, налево в самом углу, где в небольшом ящичке рос душистый горошек, обвиваясь слабыми стебельками вокруг натянутых веревочек.

— Ну вот, я заставил вас ждать! — услышала она вдруг рядом голос Купо.— Когда я не обедаю с ними, воркотни не оберешься, а сегодня к тому же сестра, оказывается, купила телятины.

Жервеза вздрогнула от неожиданности, а он, следуя за ее взглядом, тоже посмотрел на дом.

— А вы разглядывали дом? Тут вечно все занято, сверху донизу. В нем живет не меньше трехсот семей... Будь у меня мебель, я тоже снял бы себе комнатку. Нам бы тут не плохо жилось, правда?

— Да, здесь было бы не плохо,— прошептала Жервеза.— В Плассане у нас на всей улице жило меньше народу... Смотрите, какое веселенькое окошко вон там, на шестом этаже, с душистым горошком.

Тогда Купо с прежним упорством стал снова ее упрашивать. Надо только добыть кровать, и тогда они снимут здесь комнату. Но она сразу заторопилась и быстро юркнула в ворота; пора ему бросить наконец эти глупости. Пусть этот дом обрушится на нее, если она ляжет под одним одеялом с Купо. Однако, прощаясь с Жервезой у двери прачечной г-жи Фоконье, Купо все же задержал ее руку в своей, и она ответила ему дружеским пожатием.

Прошел месяц, и добрые отношения молодой женщины с кровельщиком продолжались. Он видел, что она целый день вертится как белка в колесе: работает, возится с детьми, а по вечерам еще находит время латать и штопать всякое тряпье, и говорил, что она просто молодчина. Конечно, среди женщин встречаются грязнухи, гулёны, бесстыдницы, но — черт побери! — она совсем на них не похожа, она серьезно смотрит на жизнь. А Жервеза только смеялась в ответ и смущенно качала головой. На свою беду, она не всегда была такой разумной. И она повторяла, что в четырнадцать лет забеременела, что в былые дни часто пила с матерью, пристрастившись к анисовке. Жизнь кое-чему научила ее — вот и все. Напрасно он думает, что у нее сильный характер, напротив,—

она очень слаба; вечно она боится кого-нибудь обидеть и потому бывает слишком податлива. Ее мечта — жить среди порядочных людей, ведь попасть в дурное общество, говорила она,— все равно что попасть в западню: схватит, прихлопнет, а женщину и вовсе раздавит в один миг! Ее прямо в жар бросает, как подумает, что ждет ее впереди; она точно монетка — подбросили ее в воздух, и неизвестно, выпадет орел или решка: смотря куда упадет. Чего только она не натерпелась, чего не перевидала с детских лет! Да, жизнь дала ей хороший урок. Но Купо смеялся над ее мрачными предчувствиями, старался вдохнуть в нее мужество и при этом норовил ущипнуть за ляжку; она отталкивала его, шлепала по пальцам, а он хохотал, уверяя, что для слабой женщины у нее чересчур тяжелая рука. Что до него, то он парень веселый и не думает о будущем. День прошел — и ладно! За ним придет другой. Кусок хлеба и угол для жилья всегда найдутся. И в квартале у них народ не плохой, если не считать пропойц, что валяются в канавах,— этих не мешало бы выкинуть отсюда вон. Купо был малый не злой, порой умел здраво рассуждать и любил щегольнуть: расчесывал волосы на косой пробор, носил яркие галстуки и завел пару лакированных ботинок для праздников. Этот нагловатый и ловкий, как обезьяна, парень, насмешник и зубоскал — настоящий парижский рабочий, подкупал своей молодостью и весельем.

Живя рядом, они понемногу привыкли оказывать друг другу множество всяких услуг. Купо бегал за молоком, выполнял мелкие поручения, относил тюки с бельем; часто по вечерам, вернувшись первым с работы, он водил детей гулять на бульвар. Жервеза, чтобы не оставаться в долгу, взбиралась под крышу в тесную каморку Купо и приводила в порядок его белье, пришивала пуговицы к штанам, чинила полотняную куртку. Между ними установилась дружеская близость. Ей не было скучно с ним, ее забавляли его смешные песенки, постоянные, еще непривычные для нее насмешки, без которых не обходится житель парижских предместий. А он постоянно терся возле ее юбки, и желание его разгоралось. Он втюрился, здорово втюрился, что и говорить! Под конец ему стало невмоготу. Он по-прежнему балагурил и шутил, но на душе у него скребли кошки: в сущности, ему было вовсе не до смеха. Однако он все еще дурачился и, завидев Жервезу, издали кричал ей: «Ну, когда же?», а она, понимая, о чем он говорит, отвечала: «После дождичка в четверг». Тогда, чтобы подразнить ее, он являлся с ночными туфлями в руках, как будто решил перебраться к ней в комнату. А она только отшучивалась и жила спокойно, привыкнув не краснея выслушивать непристойные намеки, с которыми он постоянно к ней приставал. Она все спускала ему, лишь бы он не был слишком груб. Только раз она рассерди-

лась, когда он попытался силой сорвать у нее поцелуй и дернул ее за волосы.

К концу июня Купо утратил свою веселость. Он ходил сам не свой. Жервеза, встревоженная его пылкими взглядами, загораживала на ночь дверь. Как-то он дулся на нее с воскресенья до вторника и вдруг во вторник постучался в дверь около одиннадцати часов вечера. Сначала она не хотела его впускать, но у него был такой тихий, дрожащий голос, что в конце концов она отодвинула от двери комод. Когда Купо вошел, Жервеза решила, что он заболел: он побледнел, осунулся, глаза у него покраснели. Он стоял перед ней и что-то бормотал, покачивая головой. Нет, нет, он не болен. Два часа он плакал, не осушая глаз, там наверху, у себя в комнате, плакал, как ребенок, уткнувшись в подушку, чтоб его не услышали соседи. Три ночи подряд он глаз не сомкнул. Дальше так продолжаться не может.

— Послушайте, Жервеза,— проговорил он сдавленным голосом, готовый снова разрыдаться,— с этим надо покончить, ведь правда? Давайте поженимся. Я так хочу, я уже решил.

Жервеза была поражена.

— Ах, господин Купо,— сказала она, сразу став очень серьезной,— что вы надумали! Никогда я этого не просила, вы сами знаете... Просто мне это не подходит — и все тут. Нет, нет, это слишком важное дело, подумайте хорошенько.

Но он все так же тряс головой, с решительным, непреклонным видом. Он уже все обдумал. Он спустился к ней, потому что хочет наконец провести ночь спокойно. Неужели она заставит его уйти и проплакать до утра? Как только она скажет «да», он больше не станет приставать к ней, и она может спокойно уснуть. Пусть только скажет «да». А завтра они все обсудят.

— Разумеется, я не скажу вам сразу «да». Не хочу я, чтобы вы потом меня упрекали и говорили, будто я толкнула вас на эту глупость... Вы, право, напрасно упрямитесь, господин Купо. Вы и сами не знаете, что у вас за чувство ко мне. Стоит нам неделю не встречаться, и все пройдет, я уверена. Часто мужчины женятся только ради одной ночи, а ведь за ней идут много других ночей и дней, они тянутся всю жизнь, и люди здорово надоедают друг другу... Садитесь-ка, и давайте сейчас же потолкуем.

Они проговорили до часу ночи, в темной комнате, при тусклом свете коптящей свечи, с которой забывали снимать нагар; обсуждая эту женитьбу, они приглушали голоса, чтобы не разбудить ребят — Клода и Этьена, которые спали на одной подушке и тихо сопели во сне. Жервеза все время напоминала Купо о детях и указывала на них: хорошенькое приданое у нее, нечего сказать,— не может же она посадить ему на шею двух малышей! И потом, ей стыдно. Что станут болтать соседи? Все видели ее с любовни-

ком, все знают ее историю; а тут не прошло и двух месяцев, как они вдруг поженятся,— на что это похоже?

На все ее разумные доводы Купо только пожимал плечами. Плевать ему на болтовню соседей. Какое им дело? Он не сует носа в чужие дела, не хочет мараться. Ну да, до него она жила с Лантье. Что за беда? Она не распутница и не станет приводить в дом любовников, как многие женщины побогаче ее. А дети? Ну что ж, они подрастут, их надо воспитать, черт возьми! Никогда ему не найти такой доброй, работящей и примерной жены, как она! И даже не в этом дело: будь она безобразная, ленивая, грязная, с кучей сопливых ребятишек, и валяйся она под забором,— ему все равно: он ее хочет.

— Да, я хочу вас,— упорно твердил он, колотя себя кулаком по колену.— Я вас хочу, слышите? Тут уж ничего не поделаешь.

Мало-помалу Жервеза смягчалась. Ею овладевала слабость, какая-то истома перед этим подавлявшим ее грубым желанием. Теперь она лишь робко возражала Купо, руки ее бессильно опустились на колени, лицо дышало нежностью. В полуоткрытое окно вливалось теплое дыхание июньской ночи, оно колебало пламя свечи, и ее красный огонек мерцал над черным фитилем; в тишине заснувшего квартала слышались только жалобные рыдания какого-то пьяницы, валявшегося прямо посреди бульвара, да из далекого кабачка доносились звуки скрипки, игравшей задорную кадриль на затянувшейся вечеринке, и эти четкие прозрачные звуки напоминали гармонику. Видя, что Жервеза не находит больше слов и сидит молча, слабо улыбаясь, Купо схватил ее за руки и притянул к себе. Ею овладело какое-то оцепенение, слабость, которой она так боялась: в такие минуты она была не в силах оттолкнуть человека или огорчить его отказом. Но Купо не понял, что Жервеза готова отдаться ему, он только крепко стиснул ей руки, чтобы утвердить свою власть, и они оба, почувствовав легкую боль, глубоко вздохнули от избытка нежности.

— Так значит «да» — правда? — спросил он.

— Как вы меня мучаете! — прошептала Жервеза.— И вы непременно хотите? Ну что ж — да! Боже мой, быть может, мы делаем ужасную глупость!

Купо встал, обнял ее за талию и крепко поцеловал прямо в лицо, куда пришлось. Он чмокнул так громко, что тут же с тревогой оглянулся на спящих Клода и Этьена; потом на цыпочках подошел к двери и сказал, понизив голос:

— Тссс!.. Будем умниками. Не надо будить ребятишек... До завтра.

И он вернулся к себе в комнату. Жервеза, дрожа всем телом, почти час сидела на кровати, не раздеваясь. Она была тронута и

находила, что Купо поступил очень благородно: ведь была минута, когда она решила, что все кончено и он останется спать у нее. Пьяница внизу под окном то стонал хриплым голосом, то ревел, как отбившаяся от стада скотина. Скрипка, игравшая вдали бойкую кадриль, умолкла.

В следующие дни Купо пытался убедить Жервезу зайти вечерком к его сестре, на улицу Гут-д'Ор. Но Жервеза была очень застенчива, и ее пугал этот визит к Лорийе. Она прекрасно видела, что Купо сам втайне побаивается своих родичей. Разумеется, он нисколько не зависел от сестры, она не была даже старшей в семье. Мамаша Купо, та будет на все согласна, она никогда не перечит сыну. Но всем известно, что Лорийе зарабатывают до десяти франков в день, и это здорово поднимает их авторитет среди родных. Купо не посмел бы жениться, если б они не признали его будущей жены.

— Я уже говорил с ними о вас, они знают наши планы,— убеждал он Жервезу.— Боже мой! Какой же вы ребенок! Ну пойдемте к ним сегодня вечером... Я их предупредил. Вам, верно, покажется, что сестра у меня суховата. Да и Лорийе тоже не очень-то приветлив. В глубине души они обижены на меня, ведь, когда я женюсь, я уж не буду платить им за стол, и расходы у них увеличатся. Но все это пустяки, не выставят же они вас за дверь. Сделайте это для меня, это очень важно.

Его слова еще больше напугали Жервезу. Но в конце концов ей пришлось уступить. В субботу Купо зашел за ней вечером в половине девятого. Она приоделась: на ней было черное платье, муслиновая шаль с желтыми набивными цветами и белый чепец с кружевной оборкой. Она уже полтора месяца работала и сэкономила семь франков на шаль и два с половиной на чепец; платье было старое, но вычищенное и подновленное.

— Они ждут вас,— сказал ей Купо, выйдя на улицу Пуассонье.— Не бойтесь, они уже немного привыкли к мысли, что я женюсь. Нынче они гораздо приветливее... К тому же, если вы не видели, как делают золотые цепочки, вам будет любопытно посмотреть. Лорийе как раз получил срочный заказ к понедельнику.

— У них есть дома золото? — спросила Жервеза.

— Еще бы, у них золото и на стенах, и на полу, везде!

Между тем они миновали арку и вошли во двор. Лорийе жили на седьмом этаже, по лестнице «Б». Купо шутя крикнул, чтобы Жервеза покрепче ухватилась за перила и не выпускала их. Она подняла голову и прищурилась, разглядывая высоченную лестничную клетку, освещенную тремя газовыми рожками, по одному на два этажа; последний рожок на самом верху был похож на звездочку, мерцавшую в темном небе, а два нижних бросали при-

чудливые изломанные блики на поднимавшиеся бесконечной спиралью ступени.

— Чуете? — сказал Купо, дойдя до площадки второго этажа.— Здесь здорово пахнет луком! Видно, готовили луковый суп на обед.

И правда, лестница «Б» — серая, неопрятная, с засаленными перилами, липкими ступеньками и облупившимися стенами — вся провоняла крепким запахом стряпни. От каждой площадки шли вглубь длинные, гулкие коридоры со множеством желтых дверей, захватанных грязными руками; а из помойных раковин, приделанных под окнами, поднимались гнилостные испарения, и это зловоние смешивалось с едким запахом жареного лука. Со всех этажей снизу доверху слышался звон посуды, громыхание кастрюль, стук ложек о сковородки, с которых соскребали подгоревшую пищу. На втором этаже, в полуоткрытую дверь, на которой было написано крупными буквами «Художник», Жервеза увидела двух мужчин, сидевших с трубками в зубах за покрытым клеенкой пустым столом и яростно споривших среди клубов табачного дыма. На третьем и четвертом этажах было гораздо тише, сквозь щели в дверях доносился то равномерный скрип колыбели, то приглушенный детский плач, то пение: низкий женский голос лился как непрерывная струя воды, скрадывая слова. Жервеза прочитала надписи на некоторых дверях: «Госпожа Годрон — матрасница» и подальше: «Картонажная мастерская Мадинье». На пятом этаже шла потасовка: от топота сотрясался пол, с грохотом летели стулья, слышались удары, крики, ругань. Однако это не мешало жильцам напротив спокойно играть в карты, распахнув дверь, чтобы легче было дышать. Дойдя до шестого этажа, Жервеза остановилась перевести дух: она не привыкла так высоко взбираться; от этого кружения по лестнице, от мелькания приоткрытых дверей у нее потемнело в глазах. К тому же какое-то семейство загородило площадку: отец мыл посуду на маленькой глиняной печурке возле раковины у окна, а мать, прислонившись к перилам, умывала перед сном мальчонку. Но Купо подбадривал Жервезу. Они уже почти дошли. И добравшись наконец до седьмого этажа, он обернулся, ласково улыбаясь ей. А она, глядя вверх, старалась понять, откуда доносится тоненький голосок, резко и отчетливо прорывавшийся сквозь крики и шум,— она уже давно прислушивалась к нему. Это пела за работой старушонка, жившая под самой крышей; она шила платья для дешевых кукол по тринадцать су за штуку. Потом Жервеза увидела, как высокая девушка с ведром воды открыла дверь в свою комнату, и перед ней мелькнула неприбранная постель, на которой валялся полуодетый мужчина, уставившись глазами в потолок. Когда дверь закрылась, Жервеза заметила прикрепленную к ней бумаж-

ку с написанными от руки словами: «Мадемуазель Клеманс, гладильщица». Запыхавшись, не чуя под собой ног, Жервеза остановилась на верхней площадке и с любопытством заглянула вниз через перила; теперь нижний газовый рожок казался мерцающей звездочкой в глубине темного семиэтажного колодца; и все запахи, вся громадная кипучая жизнь этого дома, слившись в едином дыхании, обдала жаром ее испуганное лицо, и она вздрогнула, как будто склонилась над пропастью.

— Мы еще не пришли,— сказал Купо,— это целое путешествие!

Он свернул налево в длинный коридор. Затем повернул еще два раза: сперва налево, потом направо. Темный коридор уходил вдаль, иногда раздваиваясь, все такой же узкий, грязный, обшарпанный, лишь кое-где слабо освещенный тусклым газовым рожком, а вытянувшиеся в ряд одинаковые двери, совсем как в тюрьме или в монастыре, почти все были широко распахнуты, выставляя напоказ низкие комнаты, где ютились труд и нищета, убогие жилища, залитые рыжеватым светом угасающего июньского дня. Наконец они очутились в совершенно темном углу.

— Ну, теперь мы добрались,— сказал Купо.— Осторожно! Держитесь за стену, тут еще три ступеньки.

И Жервеза сделала несколько осторожных шагов в полной темноте. Она споткнулась и отсчитала три ступеньки. В глубине коридора Купо толкнул какую-то дверь, не постучав. На пол легла резкая полоса света. Они вошли.

Комната, длинная и узкая, как кишка, казалась продолжением коридора. Вылинявшая шерстяная занавеска, сейчас подтянутая веревкой, делила ее пополам. В ближней половине разместились кровать, задвинутая в угол под скошенным потолком, чугунная печка, еще не остывшая после стряпни, два стула и шкаф, у которого пришлось подпилить ножки, чтобы втиснуть его между кроватью и дверью. В дальней половине помещалась мастерская: в глубине стоял маленький горн с поддувалом, к правой стене были привинчены тиски, а над ними висела полка, заваленная железным хламом; налево под окном стоял маленький верстачок, на котором были разбросаны щипчики, ножнички и крошечные пилки, все засаленные и очень грязные.

— Вот и мы! — крикнул Купо, подойдя к занавеске.

Однако ему ответили не сразу. Жервеза, очень взволнованная,— ее особенно смущала мысль, что она войдет в жилище, полное золота,— шла позади Купо, что-то бессвязно бормоча, и кивала головой, приветствуя хозяев. Яркий свет лампы, горевшей на верстаке, и отблеск углей в горне еще увеличивали ее смущение. Но вскоре она разглядела г-жу Лорийе — плотную рыжую женщину маленького роста. Крепко сжимая короткими ручками

большие клещи, она изо всех сил протаскивала черную металлическую проволоку сквозь дырочки зажатой в тиски волочильни. Перед верстаком сидел Лорийе, такой же маленький, как и жена, но более щуплый, и с ловкостью обезьяны работал щипчиками, держа что-то совсем крошечное, невидимое в его узловатых пальцах. Муж первый поднял голову; волосы у него поредели, а длинное болезненное лицо казалось вылепленным из старого воска.

— А, это вы! Так, так,— пробормотал он.— Мы очень спешим... Не входите в мастерскую, вы нам помешаете. Обождите в комнате.

И он снова принялся за свою работу; на лицо его падал зеленоватый отблеск от стеклянного шара, наполненного водой, сквозь который лампа бросала яркий светлый круг.

— Возьмите стулья,— крикнула им г-жа Лорийе.— Это та самая твоя знакомая? Хорошо, хорошо.

Она смотала проволоку, положила ее в горн и, раздувая угли большим деревянным веером, стала накалять ее, чтобы затем протащить через последние дырочки волочильни.

Купо придвинул стулья и усадил Жервезу возле занавески. В комнате было так тесно, что они не могли поместиться рядом. Он сел позади и, близко наклонясь к Жервезе, принялся объяснять ей все тонкости работы. Но Жервеза, ошеломленная странным приемом и смущенная косыми взглядами хозяев, оробела; у нее шумело в ушах, и она плохо слушала Купо. Г-жа Лорийе казалась Жервезе много старше своих тридцати лет, она выглядела сварливой и неряшливой, ее растрепавшаяся коса спускалась на измятую кофточку, как коровий хвост. А муж, без пиджака, в шлепанцах на босу ногу, худой, со злыми поджатыми губами, показался ей стариком, хотя и был всего на год старше жены. Но больше всего поразила Жервезу невзрачность крошечной мастерской, ее закопченные стены, грязные ржавые инструменты, весь этот железный хлам, валявшийся повсюду, точно в лавке старьевщика. В комнате было нестерпимо жарко. По зеленоватому лицу Лорийе катились капли пота; а г-жа Лорийе, не выдержав, скинула кофточку и продолжала работать в рубашке, прилипшей к отвислым грудям, с голыми до плеч руками.

— А где же золото? — тихо спросила Жервеза.

Ее глаза блуждали по углам, стараясь отыскать среди всей этой грязи тот яркий блеск, о котором она мечтала.

Но Купо захохотал.

— Где золото? — спросил он.— Да тут, и там, и здесь у ваших ног.

И он указал ей на тоненькую нить, которую тянула его сест-

ра, потом на моток, висевший над верстаком, похожий на пук железной проволоки; став на четвереньки, он подобрал под деревянной решеткой, покрывавшей весь пол мастерской, маленький осколок, похожий на кончик иглы. Жервеза вскрикнула от удивления. Как! Этот черный безобразный металл, похожий на железо,— золото? Не может быть! Но Купо прикусил осколок зубами и показал ей блестящий след. И снова принялся объяснять: хозяева дают рабочим золотую проволоку, а рабочие протягивают ее через дырочки волочильни, чтобы получить нужную толщину; для этого приходится раз пять-шесть накалять проволоку, иначе она может порваться. Да, тут нужна ловкость и твердая рука. Г-жа Лорийе не подпускает мужа к волочильне, потому что он кашляет. У нее самой редкая сноровка, Купо видел, как ей случалось тянуть проволоку не толще волоска.

Лорийе в приступе кашля согнулся на своей табуретке. Еще не отдышавшись, он прохрипел, как будто про себя, по-прежнему не глядя на Жервезу:

— А я делаю колонку.

Купо заставил Жервезу встать: пусть она подойдет и посмотрит. Лорийе разрешил, что-то невнятно проворчав в ответ. Он накрутил золотую проволоку, приготовленную женой, на колодку — тоненькую стальную палочку. Затем легонько провел пилкой по колодке и разрезал натянутую на ней проволоку, каждый виток которой образовал колечко. Тогда он принялся паять. Колечки лежали на большом куске древесного угля. Он смачивал их каплей раствора буры, разведенной на дне разбитого стакана, и быстро накалял докрасна на горизонтальном пламени паяльной лампы. Когда у него накопилась сотня колечек, он снова принялся за свою кропотливую работу, опершись на деревянную подставку, которая от постоянного трения блестела, как полированная. Он зажимал колечко щипчиками, сгибал его, вставлял в предыдущее, уже закрепленное колечко и снова раздвигал при помощи клинышка; он работал размеренно, ни на минуту не останавливаясь, и нанизывал колечко за колечком с такой быстротой, что цепочка росла на глазах у Жервезы, хотя она и не могла уследить за работой и понять, как это получается.

— Это колонка,— сказал Купо.— Бывает просто цепочка, змейка, витушка, веревочка. Но вот это называется колонкой. Лорийе делает только колонки.

Лорийе захихикал, довольный собой. Продолжая нанизывать колечки, исчезавшие в его грязных пальцах с черными ногтями, он крикнул:

— Послушай, Смородинный Лист! Нынче утром я занялся подсчетом. Начал я работать с двенадцати лет — так? Ну-ка, угадай, какой длины колонку я сделал к сегодняшнему дню?

Подняв бледное лицо и прищурив воспаленные веки, он продолжал:

— Восемь тысяч метров, слышишь? Два лье... Каково? Цепочка длиной в целых два лье! Ее хватит, чтоб обмотать шеи всем девкам нашего квартала! А ведь знаешь, колонка-то все растет. Я думаю протянуть ее от Парижа до Версаля.

Жервеза снова уселась на место, разочарованная: она не находила в этом ничего красивого. Она улыбнулась, желая доставить удовольствие Лорийе. Но больше всего ее смущало, что они ни словом не обмолвились о свадьбе, о таком важном для нее деле, ради которого она только и пришла к ним. Супруги Лорийе все время обращались с ней, слово с чужой, как будто Купо привел к ним просто назойливую знакомую. Разговор наконец завязался, но он вертелся только вокруг жильцов этого дома. Г-жа Лорийе спросила брата, не слышал ли он, взбираясь по лестнице, драки на пятом этаже. Эти Бенары каждый день устраивают побоища; муж приходит домой пьяный, как свинья, да и жена тоже хороша: вечно вопит и сквернословит. Потом перешли к художнику со второго этажа — у этого верзилы Бодекена ничего нет за душой, кроме долгов, а он еще важничает; только и делает, что курит да дерет глотку с приятелями. А картонажный мастер Мадинье вот-вот прогорит, вчера опять рассчитал двух работниц; да и не мудрено, если он пойдет по миру: что он ни заработает, все проедает, а ребятишки его бегают с голым задом. Любопытно, чем занимается г-жа Годрон на своих матрацах; опять она ходит брюхатая, это просто непристойно в ее годы! Семье Коке, с шестого этажа, хозяин велел съезжать с квартиры: они задолжали ему за три месяца и вдобавок постоянно вытаскивают свою печурку на лестничную площадку; в прошлую субботу малыш Лангерло сгорел бы живьем, кабы вовремя не подоспела мадемуазель Реманжу, старушка с седьмого этажа, спускавшаяся со своими куклами. А уж гладильщица мадемуазель Клеманс бог знает как себя ведет, но, надо правду сказать, она обожает животных и сердце у нее золотое. Экая жалость — такая красивая девушка, а путается с каждым встречным! Она кончит на панели, уж будьте покойны.

— Возьми, эта готова,— сказал Лорийе, передавая жене цепочку, над которой трудился с самого утра.— Можешь ее выпрямить.— И он добавил с упорством ограниченного человека, который любит повторять свои шутки: — Еще четыре с половиной фута... Я приближаюсь к Версалю.

Госпожа Лорийе накалила цепочку и стала выпрямлять ее, протягивая сквозь дырочки волочильни. Потом опустила ее в маленькую медную кастрюлю с длинной ручкой,— там был раствор азотной кислоты,— и поставила на огонь для очистки, а Купо

подтолкнул Жервезу, чтобы она следила за этой последней операцией. После чистки цепочка приняла медно-красный оттенок. Теперь она готова, ее можно сдавать.

— Потом их передают полировщицам,— продолжал объяснять Купо,— а те оттирают их до блеска суконками.

Но Жервеза чувствовала, что ей уже невмоготу. Становилось все жарче, и она задыхалась. Дверь держали плотно закрытой, так как Лорийе простужался от малейшего сквозняка. Никто попрежнему не заговаривал о свадьбе; Жервеза решила уйти и тихонько дернула Купо за куртку. Он понял. К тому же он и сам был удивлен и обижен тем, что они упорно обходят этот вопрос.

— Ну что ж, нам пора идти,— сказал он.— Не будем вам мешать.

И он потоптался на месте, выжидая, надеясь услышать хоть слово, хоть какой-нибудь намек. Наконец он решил приступить к делу сам.

— Послушайте, друзья, мы рассчитываем на вас. Я хочу, чтобы вы были свидетелями у нас на свадьбе.

Лорийе поднял голову, притворяясь удивленным, и захихикал, а его жена, бросив работу, вышла на середину мастерской.

— Так это решено? — пробормотал муж.— Вот чертов Смородинный Лист, никогда у него не разберешь, говорит он всерьез или валяет дурака!

— Значит, это та самая особа? — заговорила его жена, уставившись на Жервезу.— Бог мой, не наше дело давать вам советы... Но все же странно, с чего это вы надумали пожениться? Впрочем, коли это вам по душе... Когда семейная жизнь не удается, приходится винить только самих себя. А она очень редко удается, сказать по правде, очень, очень редко...

Последние слова она произнесла с расстановкой, качая головой и внимательно разглядывая Жервезу: лицо, руки, ноги, как будто раздевала молодую женщину и отыскивала малейшие изъяны у нее на теле. По-видимому, г-жа Лорийе нашла, что Жервеза лучше, чем она ожидала.

— Конечно, мой брат волен выбирать кого хочет,— продолжала она еще более язвительно,— даже если его семья и надеялась на другое... Мало ли какие строишь планы, а на деле получается совсем не так... Что до меня — я не стану перечить. Да приведи он ко мне хоть последнюю из последних, я и то сказала бы: «Женись на здоровье и оставь меня в покое...» А ведь ему и у нас было неплохо. Посмотрите, парень в теле, сразу видно, что не ложился спать натощак. Ему всегда вовремя давали горячий суп — минута в минуту. Скажи-ка, Лорийе, тебе не кажется, что знакомая Купо походит на Терезу,— помнишь жилицу напротив, ту, что умерла от чахотки?

— Да, верно, есть что-то общее,— ответил муж.

— И у вас двое ребят, сударыня? Не скрою, я уже говорила брату: «Не понимаю, зачем ты вздумал жениться на женщине с двумя детьми». Вам нечего обижаться, если я готова за него постоять,— это вполне понятно. К тому же вы не очень-то здоровая на вид... Правда, Лорийе, на вид она не больно крепкая?

— Нет, нет, совсем не крепкая.

Они ничего не сказали о ее ноге. Но Жервеза поняла по их косым взглядам и поджатым губам, что они намекают на ее хромоту. Она стояла перед ними, кутаясь в свою тонкую шаль с желтыми цветами, и отвечала односложно, как перед судом. Видя, что ей тяжело, Купо закричал:

— Зря только языком болтаете... Что бы вы ни говорили, это ничего не изменит! Свадьба будет двадцать девятого июля, в субботу. Я проверил по календарю. Значит, условились? Вам подходит этот день?

— Нам-то что! Нам все подходит,— ответила ему сестра.— Незачем тебе было с нами и советоваться. Пусть Лорийе будет свидетелем, я не возражаю. А меня оставьте в покое.

Жервеза стояла, опустив голову, и в замешательстве просунула кончик туфли в деревянную решетку, покрывавшую пол мастерской; затем вытащила ногу и испуганно наклонилась, чтобы пощупать решетку: вдруг она поломала ее? Лорийе тотчас вскочил и, схватив лампу, стал подозрительно осматривать руки Жервезы.

— Надо быть очень осторожным,— сказал он.— Маленькие крупинки золота могут пристать к подошвам, вы их унесете и даже сами не заметите.

Тут поднялась кутерьма. Ведь хозяева не потерпят, если пропадет хоть один миллиграмм. И Лорийе показал заячью лапку, которой сметают золотые опилки с верстака, и кусок кожи: он расстилает его на коленях, чтобы не потерять ни одной золотой пылинки. Два раза в неделю они тщательно подметают мастерскую; мусор сжигают и просеивают золу, в которой находят за месяц на двадцать пять, а то и на тридцать франков золота.

Госпожа Лорийе не спускала глаз с ног Жервезы.

— Тут, право, нечего обижаться, сударыня,— сказала она с любезной улыбкой,— но вам следовало бы осмотреть свои подошвы.

И Жервеза, густо покраснев, снова села и подняла ноги: пусть убедятся, что к подошвам ничего не пристало. Купо распахнул дверь и вышел, сердито крикнув: «Прощайте!» Он позвал Жервезу из коридора. Тогда вышла и она, пробормотав несколько любезных слов: она надеется, что они скоро встретятся и сумеют

поладить. Но Лорийе уже снова были поглощены работой в своей мрачной норе-мастерской, где только горн светился, как догорающий уголь в черной, пышущей жаром печке. Жена, в спустившейся с плеча рубашке, озаренная красным отблеском раскаленных углей, тянула новую нить, и от натуги на шее у нее вздувались толстые, как веревки, жилы. А муж склонился над верстаком, в зеленоватом свете водяного шара, и начал новую цепочку: он сгибал щипчиками колечко, раскрывал, вставлял в предыдущее и снова раздвигал клипышком — и так без конца, механически повторяя все те же движения, не отрываясь даже, чтоб отереть пот с лица.

Когда Жервеза вышла из длинного коридора на площадку седьмого этажа, она не сдержалась и воскликнула со слезами на глазах:

— Право, это не сулит нам счастья!

Купо яростно затряс головой. Он еще попомнит Лорийе этот вечер. Бывают же такие скареды! Боятся, что у них утащат три пылинки золота! И ведь все это только от жадности. Сестра его, видно, надеялась, что он никогда не женится и она вечно будет наживать четыре су на его обеде! Так нет же. Свадьба назначена на двадцать девятое, и все. А на них ему плевать.

Но Жервеза спускалась по лестнице с тяжелым сердцем, ее охватил глупый страх, она с тревогой всматривалась в удлиненные тени перил. В этот час опустевшая лестница спала, освещенная лишь газовым рожком на третьем этаже, и прикрученное пламя тихо мерцало в глубине темного колодца, как далекая лампада. За запертыми дверями нависла тишина; наевшись, люди заснули тяжелым сном, который валит с ног рабочий люд. Однако из комнаты гладильщицы доносился приглушенный смех, да из замочной скважины мадемуазель Реманжу просачивался лучик света и слышалось тихое пощелкивание ножниц: она кроила газовые платьица для своих грошовых кукол. Внизу, у г-жи Годрон, все еще плакал ребенок, и в густом безмолвном мраке гнилостный дух помоек казался еще зловоннее.

Стоя во дворе, пока Купо нараспев вызывал привратницу, Жервеза повернулась и снова взглянула на дом. Он казался еще выше в темном безлунном небе. Серые стены словно очистились от проказы, стертой вечерним сумраком; они тянулись вверх, молчаливые, еще более голые и плоские, с тех пор как жильцы убрали сушившиеся на солнце тряпки. Закрытые окна спали. Только изредка кое-где вспыхивал огонек, будто они на миг открывали глаз и косились в темные углы. Над входными дверями и на площадках всех семи этажей горел тусклый свет, сливаясь в узкий белесоватый столб. Из картонажной мастерской на третьем этаже вырывался тонкий луч, он прорезал мрак, окутавший ма-

стерские внизу, и ложился желтой полоской на мощеный двор. И где-то в глубине этого мрака, в самом сыром углу двора, из плохо прикрученного крана мерно падали капли воды, и этот звук звонко отдавался в наступившей тишине. Жервезе снова почудилось, что дом нависает над ней, тяжелый, холодный, и давит ей на плечи. То был все тот же глупый страх, ребячество, над которым она сама же смеялась.

— Осторожно! — крикнул ей Купо.

Чтобы выйти за ворота, ей пришлось перескочить через широкую лужу, набежавшую из красильни. На этот раз лужа была синяя, глубокого синего цвета, как летнее небо, и фонарик привратницы зажигал в ней яркие звезды.

III

Жервеза не хотела справлять свадьбу. К чему тратить деньги? Вдобавок ей было немножко стыдно; незачем трубить об этом на весь квартал. Но Купо заупрямился: нельзя же так взять да пожениться и даже не выпить с друзьями. Что ему за дело до пересудов в квартале! Конечно, все будет очень скромно, они прогуляются всей компанией, а потом зайдут в какую-нибудь харчевню и закусят без затей. Ясно, что у них не будет музыки за десертом и никаких кларнетов, под которые дамы любят трясти юбками. Просто соберутся все вместе, чокнутся, а потом разойдутся по домам и мирно лягут спать.

Кровельщик балагурил, хохотал и наконец убедил Жервезу, пообещав ей, что никакого кутежа не будет. Он сам берется следить за тем, чтобы никто не перепился. Он решил устроить маленький пикник в складчину, по пяти франков с носа, у Огюста, в «Серебряной мельнице», на бульваре Ля Шапель. В заднем помещении этого недорогого ресторана, выходившем во дворик с тремя акациями, устраивались вечеринки с танцами. Им будет чудесно там на втором этаже. Дней десять Купо подбирал желающих участвовать в пикнике среди жильцов дома сестры, на улице Гут-д'Ор: он пригласил г-на Мадинье, мадемуазель Ремانжу, г-жу Годрон с мужем. Ему даже удалось уговорить Жервезу пригласить двух его товарищей: Бурдюка и Биби. Бурдюк, по правде говоря, любит хватить лишку, но зато он такой обжора, что его всегда приглашают на вечеринки: уж больно весело глядеть на рожу хозяина, когда этот крокодил заглатывает булку за булкой. А Жервеза, со своей стороны, обещала привести г-жу Фоконье и Бошей — они очень славные люди. Всего набралось пятнадцать человек. Больше и не надо. Когда набьется слишком много народу, дело всегда кончается ссорой.

У Купо не было ни гроша за душой. Да он и не собирался пускать пыль в глаза, а только хотел, чтобы все было прилично. Он занял пятьдесят франков у своего хозяина. Первым делом он купил обручальные кольца; они стоили двенадцать франков, но Лорийе достал за девять, по фабричной цене. Затем Купо заказал себе сюртук, брюки и жилет у портного на улице Мирра́, но внес пока только задаток в двадцать пять франков; его лакированные башмаки и шляпа еще вполне могли сойти. Когда он отложил десять франков на пикник за себя и Жервезу — дети в счет не шли,— у него осталось ровно шесть франков на венчанье в самой захудалой церкви. Купо терпеть не мог попов, и у него сердце переворачивалось при одной мысли, что придется бросить шесть франков этому жадному воронью, ведь попы и так живут припеваючи. Но что ни говорите, а свадьба без венчанья в церкви — это не свадьба! Он сам отправился в церковь и битый час торговался со священником, старым попиком в грязной сутане, плутоватым, как базарная торговка. У Купо так и чесались руки дать ему по шее. Но он принялся балагурить и спросил, не найдется ли у них в лавочке небольшой мессы, по случаю, дешевой, но не слишком подержанной, которая еще может послужить нетребовательной парочке. Старый попик, ворча, что богу не доставит никакого удовольствия благословить такой союз, в конце концов согласился обвенчать их за пять франков. Ну что ж, Купо выторговал один франк — и то хлеб. Теперь у него осталось ровно двадцать су.

Жервеза тоже хотела, чтобы все было прилично. Как только назначили день свадьбы, она стала работать по вечерам, всячески изворачиваться и кое-как скопила тридцать франков. Ей очень хотелось купить шелковую пелеринку за тринадцать франков, выставленную в магазине на улице Фобур-Пуассоньер, и она решилась на этот расход. Затем у мужа недавно умершей прачки, которая раньше работала в заведении г-жи Фоконье, Жервеза купила за десять франков ярко-синее шерстяное платье и переделала его по своей фигуре. Оставшиеся семь франков она истратила на бумажные перчатки, на розу для парадного чепчика и на башмаки своему первенцу — Клоду. К счастью, рубашки у ребят еще кое-как держались. Четыре ночи она приводила в порядок свое белье, и перештопала каждую дырочку на чулках и сорочках.

В пятницу вечером, накануне торжественного дня, Жервеза и Купо, вернувшись с работы, провозились до одиннадцати часов. Перед тем как разойтись и лечь спать, они еще посидели часок в комнате Жервезы, довольные, что всей этой суете скоро конец. Хотя они и решили не обращать внимания на пересуды в квартале, однако под конец стали принимать все эти хлопоты близко к сердцу и старались изо всех сил. Когда они наконец разошлись,

пожелав друг другу спокойной ночи, оба просто засыпали на ходу. И все же у них вырвался вздох облегчения. Теперь все было улажено. Купо договорился, что с его стороны свидетелями будут г-н Мадинье и Биби Свиной Хрящ; Жервеза пригласила Лорийе и Боша. Решили пойти в мэрию и в церковь попросту, вшестером, чтобы не тащить за собой целый хвост гостей. Сестры жениха даже заявили, что они вообще останутся дома, коли их присутствие на церемонии не обязательно. Но мамаша Купо расплакалась и сказала, что в таком случае она заранее проберется в церковь и спрячется где-нибудь в уголке; пришлось обещать, что ее возьмут с собой. Остальное общество должно было собраться в «Серебряной мельнице» ровно к часу. Затем все отправятся в Сен-Дени, чтобы нагулять аппетит; туда поедут поездом, а обратно вернутся пешком по проезжей дороге. Пикник обещал быть очень приятным: не какая-нибудь попойка с мордобоем, а веселая скромная вечеринка.

Одеваясь в субботу утром, Купо забеспокоился: у него осталась всего одна монета в двадцать су. Он подумал, что приличия ради надо после церемонии предложить свидетелям хотя бы стаканчик вина и кусочек ветчины. К тому же всегда могут появиться непредвиденные расходы. Как ни крути, двадцать су — это слишком мало. И после того, как Купо отвел Клода и Этьена к г-же Бош, которая должна была привести их вечером на званый обед, он побежал на улицу Гут-д'Ор и решительно поднялся к Лорийе, чтобы занять у них десять франков, хотя, по совести сказать, у него язык прилипал к гортани при мысли о том, какую рожу скорчит его зятек. Лорийе и правда заворчал, потом усмехнулся, взглянул на жениха, как маленький злобный зверек, и в конце концов протянул ему две монеты по пяти франков. Но, выходя, Купо слышал, как его сестрица прошипела: «Прекрасное начало!»

Бракосочетание в мэрии было назначено на половину одиннадцатого. Погода стояла отличная, солнце жарило вовсю, накаляя мостовую. Чтобы избежать любопытных взглядов, жених с невестой, мамаша Купо и четверо свидетелей разделились на две группы. Впереди шла Жервеза под руку с Лорийе, за ними Мадинье вел мамашу Купо, а шагах в двадцати, по другую сторону улицы, шествовали Купо, Бош и Биби Свиной Хрящ. Они вырядились в сюртуки и шли, напыжившись и размахивая руками; Бош был в желтых брюках, Биби Свиной Хрящ, не имевший жилета, застегнулся до подбородка и выпустил кончик галстука, закрученного жгутом. Один Мадинье облачился во фрак, настоящий черный фрак с длинными квадратными фалдами; и прохожие оглядывались на этого господина, выступавшего под руку с толстой мамашей Купо, в зеленой шали и черном чепце с красны-

«Западня»

«Западня»

ми лентами. Жервеза, кроткая, радостная, в ярко-синем платье и узенькой пелеринке, обтянувшей ей плечи, приветливо слушала насмешки Лорийе, который, несмотря на жару, упрятал свое хилое тело в широченное пальто; на перекрестках она поворачивала голову и ласково улыбалась Купо, которого стеснял новый костюм, ярко блестевший на солнце.

Они шли очень медленно и все же явились в мэрию за полчаса до назначенного срока. А так как мэр еще запоздал, очередь дошла до них только к одиннадцати часам. Они ждали, усевшись в углу большого зала, разглядывали высокий потолок и строгие стены, переговаривались шепотом и с преувеличенной вежливостью отодвигали стулья всякий раз, как мимо проходил какой-нибудь чиновник. А меж собой они потихоньку честили мэра на все корки: этакий бездельник, небось прохлаждается у любовницы, разгоняет с ней свою подагру. А может, старик попросту окочурился? Но когда вошел мэр, все почтительно встали. Их попросили сесть. Затем им пришлось пережидать три свадьбы — три роскошные буржуазные свадьбы; за невестами в подвенечных нарядах шли подружки в платьях с розовыми поясами, завитые девочки и бесконечная вереница гостей: господ и дам средних лет и весьма почтенного вида. Когда очередь наконец дошла до них, свадьба чуть не расстроилась. Биби Свиной Хрящ куда-то исчез. Бош насилу разыскал его внизу: он стоял перед домом и курил трубку. Очень ему нужны надутые индюки, собравшиеся в этой лавочке,— они плюют на людей, если им не сунуть под нос замшевые перчатки! И тут все формальности — чтение закона, вопросы брачующейся паре и свидетелям, подпись документов — были мигом закончены, да с такой быстротой, что ошеломленные участники удивленно переглянулись: им казалось, что у них украли добрую половину церемонии. Жервеза, оглушенная, взволнованная, прижимала платок к губам. Мамаша Купо плакала горючими слезами. Все расписались в регистрационной книге, старательно выводя большие корявые буквы, кроме новобрачного, который по неграмотности поставил просто крестик. Каждый выложил по четыре су на бедных. Когда конторщик выдал Купо брачное свидетельство, Жервеза подтолкнула мужа локтем, и он добавил еще пять су.

От мэрии до церкви был изрядный конец. Мужчины по дороге выпили пива, а мамаша Купо с Жервезой — воды со смородинным сиропом. Им пришлось идти по длинной улице под палящим солнцем, нигде не было ни полоски тени. Сторож дожидался их, стоя посреди пустой церкви; он втолкнул всех в боковой придел и злобно спросил, уж не смеются ли они над религией, коли так опаздывают на богослужение. Широко шагая, к ним вышел сердитый священник, побледневший от голода, а перед ним семенил

служка в засаленном облачении. Поп начал наспех служить мессу, проглатывая латинские слова; он быстро поворачивался, отвешивая поклоны, торопливо вскидывал руки и бросал косые взгляды на молодоженов и свидетелей. Купо и Жервеза, очень смущенные, стояли перед алтарем, не зная, когда надо становиться на колени, когда садиться, когда вставать, и служка показывал им знаками, что делать. Свидетели, ради приличия, все время стояли, а мамаша Купо снова расплакалась, и слезы ее капали в молитвенник, который ей одолжила соседка. Тем временем пробило двенадцать часов, отошла поздняя месса, церковь наполнилась топотом служек и стуком расставляемых по местам стульев. По-видимому, главный придел готовили к какой-то торжественной службе, слышался стук молотков, которыми прибивали драпировки. А в глубине маленького придела, в клубах пыли, поднятой сторожем, подметавшим церковь, старый поп с сердитым лицом торопливо наложил сухие руки на склоненные головы Жервезы и Купо, и казалось, что он соединяет их наспех, в суете переезда, между двумя мессами, в ту минуту, когда господь бог куда-то отлучился. Потом все прошли в ризницу, снова расписались в книге и, оказавшись на паперти, залитой яркими лучами солнца, остановились ошарашенные, как будто запыхались от такого венчания вскачь.

— Вот и готово! — сказал Купо, смущенно улыбаясь.

Он мялся и не находил в этом ничего смешного. Однако все же добавил:

— Ну и ну! Они тут живо разделываются с нашим братом. Раз два — и дело в шляпе! Вроде как у зубодера. Ты и охнуть не успел, а зуба как не бывало!

— Да, да, чистая работа,— пробормотал Лорийе, посмеиваясь.— Окрутят за пять минут, а потом расхлебывай всю жизнь!.. Эх ты, Смородинный Лист, влип, бедняга!

И четверо свидетелей принялись хлопать по плечу новобрачного, который пыжился перед гостями. Между тем Жервеза обнимала мамашу Купо, улыбаясь, с еще влажными глазами. И на бессвязные слова всхлипывавшей старухи она отвечала:

— Не бойтесь, я буду стараться изо всех сил. Если мы не уживемся, то уж не по моей вине. Нет, нет, мне так хочется быть счастливой... Да к тому же дело сделано. Дальше все в наших руках — мы сами отвечаем за себя.

Теперь все отправились прямо в «Серебряную мельницу». Купо вел жену под руку. Они смеялись и шли быстро, далеко опередив всю компанию, словно подхваченные каким-то порывом, и не замечали ни домов, ни экипажей, ни прохожих. Оглушительный грохот предместья звучал колокольным звоном у них в ушах. Когда они пришли в ресторан, Купо сразу заказал два литра

вина, хлеба и ветчины и велел подать все в маленькую застекленную комнатку на первом этаже — запросто, без скатерти и тарелок, чтобы наспех заморить червячка. Но, увидев, что Бош и Биби Свиной Хрящ уплетают за обе щеки, он потребовал еще литр вина и кусок сыра бри. Мамаша Купо так разволновалась, что не могла есть, а Жервеза умирала от жажды и пила воду большими стаканами, чуть подкрашивая ее вином.

— Плачу́ я,— сказал Купо и тут же подошел к стойке, где с него взяли четыре франка и пять су.

Пробило час, и приглашенные начали собираться. Первой появилась г-жа Фоконье, тучная, еще красивая женщина; на ней было пестрое полотняное платье, розовый шарфик на шее и чепец с целым букетом цветов. Затем прибыли вместе мадемуазель Реманжу, щупленькая старушка в неизменном черном платье, которое она, казалось, не снимала даже на ночь, и чета Годронов: муж, здоровенный битюг, на котором коричневый пиджак трещал по всем швам, и толстущая беременная жена, выставлявшая вперед свой огромный живот,— его размеры еще подчеркивала ярко-фиолетовая юбка в обтяжку. Купо сказал, что им незачем ждать Бурдюка,— он встретит их на дороге в Сен-Дени.

— Ну, друзья! — воскликнула, входя, г-жа Лера́.— Похоже, что нас ждет хороший душ. То-то будет веселье!

Она подозвала все общество к двери и показала на тучи, черные грозовые тучи, которые быстро надвигались на Париж с юга. Г-жа Лера, старшая сестра Купо, сухопарая, мужеподобная женщина, говорившая в нос, вырядилась в широченное красно-бурое платье с длинной бахромой и была похожа на тощего пуделя, выскочившего из воды. Она размахивала зонтиком, как палкой. Поцеловав Жервезу, она продолжала:

— Вы и представить себе не можете, какой ветрище на улице... Жжет лицо как огнем!

Тут все стали уверять, будто давно чувствовали приближение грозы. Как только они вышли из церкви, г-н Мадинье уже понял, что́ их ожидает. Лорийе жаловался, что мозоли не дали ему спать с трех часов ночи. Да иначе и быть не могло: вот уже три дня стоит нестерпимая жара.

— Кто знает, может, дождь пройдет стороной,— повторял Купо, стоя у дверей и с беспокойством поглядывая на небо.— Все в сборе, нет только сестры; когда она появится, мы все-таки пойдем.

И правда, г-жа Лорийе запаздывала. Г-жа Лера только что заходила за ней, но, пока сестра затягивала корсет, они успели переругаться. Вдова шепнула на ухо брату:

— Я плюнула на нее и ушла. Она прямо кипит от злости! Скоро сам увидишь...

Гостям пришлось ждать еще добрых четверть часа; они топтались в зале, а новые посетители толкали их, пробираясь к стойке, чтобы выпить стаканчик. Порой Бош, Биби Свиной Хрящ или г-жа Фоконье выходили на улицу и, задрав голову, смотрели в небо. Еще не капало, но становилось все темней. Над самой землей проносились резкие порывы ветра, вздымая вихри белой пыли. При первом раскате грома мадемуазель Реманжу перекрестилась. Гости с тоской поглядывали на часы, висевшие над зеркалом; было уже без двадцати два.

— Ну, началось! — крикнул Купо.— Ангелы наверху льют слезы.

Дождь хлынул сразу, как из ведра; женщины на улице разбегались, обеими руками придерживая юбки. И под этим ливнем появилась наконец г-жа Лорийе, задыхаясь от ярости, и стала в дверях, борясь с собственным зонтиком, который никак не хотел закрываться.

— Ну и погодка! — ворчала она.— Не успела я выйти из дому, как началось. Я уже хотела вернуться назад и скинуть платье. И хорошо бы сделала. Вот так свадьба, нечего сказать! Я же говорила — отложите до следующей субботы. Меня не послушали — вот вам и дождь! Ну что ж, и поделом, пусть вас промочит насквозь.

Купо попытался ее успокоить. Но она только огрызнулась. Небось он не купит ей нового платья, если это испортится под дождем. Она задыхалась в своем черном шелковом наряде: слишком тесный лиф стягивал ей грудь и давил под мышками, юбка, узкая, как футляр, так сжимала бедра, что она могла ходить, лишь мелко семеня ногами. И все же собравшиеся дамы смотрели на нее, поджав губы, пораженные ее туалетом. Г-жа Лорийе даже не взглянула на Жервезу, сидевшую рядом с мамашей Купо. Она подозвала мужа, взяла у него носовой платок и, отойдя в угол, тщательно вытерла каждую каплю дождя, брызнувшую ей на платье.

Тем временем ливень внезапно прекратился. Но на улице становилось все темней, казалось, наступила ночь, которую прорезали лишь яркие вспышки молний. Биби Свиной Хрящ, смеясь, повторял, что скоро с неба посыплются черти. И тут гроза обрушилась на город с неудержимой яростью. Целых полчаса с неба хлестали потоки воды, а гром гремел, не умолкая. Мужчины, стоя перед дверью, смотрели на серую пелену дождя, на бегущие по улице ручьи, на водяную пыль, которая взлетала над бурлившими под ливнем лужами. Оробевшие женщины сидели, прикрыв глаза руками. Они уже не болтали, им было не по себе. Бош осмелился сострить, что это святой Петр чихает на небе, но никто даже не улыбнулся. Однако, когда раскаты стали реже, посте-

пенно затихая вдали, гости снова пришли в нетерпение; все стали ругать грозу, чертыхаться и грозить тучам кулаками. Теперь с пепельно-седого неба сеял мелкий нескончаемый дождь.

— Смотрите, уж третий час,— закричала г-жа Лорийе.— Не ночевать же нам здесь в самом деле!

Мадемуазель Ремапжу предложила, несмотря на дождь, отправиться за город и дойти хотя бы до крепостного рва, но гости решительно запротестовали: все дороги развезло, нечего и думать присесть на траву; да к тому же гроза еще не кончилась, того и гляди опять польет. Купо, смотревший вслед промокшему рабочему, который спокойно шагал под дождем, проговорил:

— Неужто этот болван Бурдюк все еще ждет нас на дороге в Сен-Дени? Ну, по такой погоде его не хватит солнечный удар!

Все засмеялись. Но настроение у гостей падало. Этак можно сдохнуть со скуки! Надо что-нибудь придумать. Нельзя же так сидеть и до самого вечера пялиться друг на друга. И битых четверть часа все ломали себе голову, чем бы заняться, а упрямый дождь все лил да лил. Биби Свиной Хрящ предлагал сыграть в карты; Бош, человек игривого ума, с хитрецой, говорил, что может научить всех очень забавной игре в исповедника; г-жа Годрон спрашивала, не пойти ли им поесть пирога с луком на улицу Клиньянкур; г-же Лера хотелось, чтобы каждый рассказал какую-нибудь историю; а Годрону было и здесь хорошо, он совсем не скучал и думал, что лучше всего не откладывая садиться за стол. Каждое новое предложение обсуждали, спорили и ссорились: одно глупо, от другого умрешь со скуки, да разве они дети, в самом деле? Но когда Лорийе, еще не сказавший своего слова, нашел простой выход — прогуляться по внешним бульварам до кладбища Пер-Лашез и, если хватит времени, зайти полюбоваться могилой Элоизы и Абеляра,— кипевшую от злости г-жу Лорийе вдруг прорвало. Ну нет, с нее хватит! Она тотчас уйдет домой! Смеются они, что ли? Она нарядилась, вымокла под дождем, а теперь должна торчать в этом трактире?! Нет, нет, с нее довольно! Чем ходить на такие свадьбы, уж лучше сидеть дома.

Купо и Лорийе загородили дверь, но она упрямо твердила:

— Подите прочь, пустите меня! Говорят вам — я ухожу.

Мужу насилу удалось ее унять. Купо подошел к Жервезе, которая спокойно сидела в уголке и разговаривала со свекровью и г-жой Фоконье.

— А вы что предлагаете? — спросил он, еще не решаясь говорить ей «ты».

— Пусть делают, что хотят,— ответила она, смеясь,— я на все согласна. Идти гулять или не идти — мне все равно. Ведь мне и тут хорошо — я всем довольна.

И правда, лицо ее сияло спокойной радостью. Теперь, когда гости были в сборе, она с каждым говорила рассудительно, тихим растроганным голосом и не вмешивалась в споры. Во время грозы она сидела, устремив глаза в небо, и следила за молниями, как будто при ярких вспышках света видела там картины далекого будущего.

Один г-н Мадинье еще ничего не предложил. Он прислонился к стойке, раздвинув длинные фалды фрака, и с важным видом смотрел на гостей. Он медленно сплюнул и вытаращил совиные глаза.

— Бог мой,— сказал он наконец,— а почему бы нам не пойти в музей?..

Он погладил подбородок и, подмигнув, вопросительно поглядел на собравшихся.

— Там есть всякие древности, портреты, картины, куча всякой всячины. Это очень поучительно. Вы никогда там не бывали? Надо посмотреть хотя бы раз в жизни.

Гости нерешительно переглянулись. Нет, Жервеза понятия не имеет о музее, г-жа Фоконье тоже, и Бош, да и все остальные. Купо, кажется, забрел туда как-то в воскресенье, но он уж ничего не помнит. Все колебались. Однако г-жа Лорийе, на которую важный вид Мадинье произвел сильное впечатление, заявила, что такое развлечение очень прилично, очень достойно. Уж коли этот день все равно потерян и они вырядились по-праздничному, стоит пойти посмотреть на что-нибудь поучительное. Все согласились. А так как дождь не переставал, они заняли у трактирщика зонтики,— старые зонтики, синие, зеленые, коричневые, забытые посетителями,— и отправились в музей.

Общество свернуло направо и вышло в город через предместье Сен-Дени. Купо и Жервеза всех обогнали и снова шли впереди. Г-н Мадинье вел теперь под руку г-жу Лорийе, так как мамаша Купо осталась в ресторане из-за своих больных ног. За ними выступали Лорийе и г-жа Лера, потом Бош с г-жой Фоконье, Биби Свиной Хрящ с мадемуазель Ременжу и, наконец, супруги Годрон. Всего двенадцать человек. Шествие растянулось на тротуаре как настоящая процессия.

— О, мы тут ни при чем, даю слово,— говорила г-жа Лорийе г-ну Мадинье.— Мы даже не знаем, где он ее откопал, или, вернее, слишком хорошо знаем. Но ведь не нам вмешиваться в это дело, правда?.. Мужу пришлось купить обручальные кольца. А утром, не успели мы продрать глаза, как Купо прибежал занять у нас десять франков,— без нас и свадьба бы расстроилась. А какова невеста — не могла привести на свадьбу ни одного родственника! Говорит, что у нее есть в Париже сестра — колбасница. Так почему же она ее не пригласила?

Госпожа Лорийе оборвала свою речь и показала на Жервезу, которая сильно прихрамывала на покатом тротуаре.

— Взгляните на нее! Что тут говорить! Одно слово — хромуша.

И это прозвище «Хромуша» облетело все шествие. Лорийе, хихикая, сказал, что так и надо ее называть. Но г-жа Фоконье вступилась за Жервезу. Как не стыдно издеваться над ней, она чиста как стеклышко, а уж работница, каких мало. Г-жа Лера, любительница грязных намеков, назвала ногу Жервезы «подпоркой любви» и добавила, что многим мужчинам это нравится, но не захотела объяснить, что именно она имеет в виду.

По улице Сен-Дени компания вышла на бульвар. Тут все задержались, пережидая поток экипажей, затем все же отважились сойти на мостовую, которую ливень превратил в поток жидкой грязи. Дождь полил с новой силой, и пришлось раскрыть зонтики; громадные старомодные зонты качались в руках у мужчин, а женщины шли, подобрав юбки и шлепая по грязи; процессия растянулась через всю улицу, от тротуара до тротуара. Тут два уличных мальчишки завопили им вслед; стали сбегаться зеваки, лавочники с любопытством выглядывали из окон магазинов. Среди столпившихся прохожих, на сером фоне мокрого бульвара, разряженные пары выделялись яркими пятнами: густо-синее платье Жервезы, цветастое платье г-жи Фоконье, канареечные брюки Боша. Фрак Мадинье с квадратными фалдами и новенький с иголочки сюртук Купо, в которых они торжественно выступали, как люди, вырядившиеся к празднику, казались смешными маскарадными костюмами, а парадный туалет г-жи Лорийе, бахрома на платье г-жи Лера и потрепанная юбка мадемуазель Реманжу поражали разнообразием мод на этой выставке убогой роскоши бедняков. Но больше всего смешили зрителей мужские шляпы, выцветшие старомодные шляпы самых уморительных фасонов, долго хранившиеся в глубине шкафов: высокие, с широким или острым верхом, с нелепыми полями, загнутыми или плоскими, слишком широкими или совсем узкими. И смех еще усилился, когда в конце шествия в виде последнего аттракциона появилась беременная г-жа Годрон в ярко-фиолетовой юбке, выставив вперед свой громадный живот. Однако процессия не ускоряла шага, все были довольны, что на них обращают внимание, и от души хохотали в ответ на шутки.

— Глянь-ка! Вот и новобрачная! — закричал один из сорванцов, указывая на г-жу Годрон.— Вот беда! Она проглотила арбуз!

Вся компания прыснула со смеху. Биби Свиной Хрящ обернулся и сказал, что малыш ловко загнул. Г-жа Годрон смеялась громче всех, гордо неся свой живот; это ее ничуть не позорило,

напротив — немало дам с завистью косились на нее, они бы не прочь быть такими, как она.

Они вышли на улицу Клери. Потом свернули на улицу Майль. На площади Победы они задержались. У новобрачной на левом ботинке развязался шнурок, и пока она завязывала его возле памятника Людовику XIV, вся компания столпилась у нее за спиной, отпуская шуточки и уверяя, будто она нарочно показывает свои икры. Наконец, пройдя улицу Круа-де-Пти-Шан, они вышли к Лувру.

Господин Мадинье вежливо попросил разрешения стать во главе процессии. Музей очень велик, в нем легко заблудиться, а он хорошо его знает и может показать лучшие места, ведь он часто бывал здесь с одним художником, очень ученым юношей, которому крупная картонажная фабрика заказывала эскизы для коробок. Когда свадебный кортеж вошел в ассирийский отдел, у всех по спине пробежала дрожь. Однако здесь не жарко! В этом зале все равно что в погребе. Они медленно шествовали пара за парой, задрав головы и тараща глаза, мимо каменных гигантов, мимо немых богов из черного мрамора, застывших в торжественной неподвижности, мимо странных чудовищ, полукошек-полуженщин, с мертвенными лицами, заострившимися носами и вспухшими губами. Право же, все эти статуи очень безобразны. В наши дни куда лучше обрабатывают камень. Финикийская надпись их совсем ошеломила: нельзя поверить, чтобы кто-нибудь мог прочесть такие каракули. Но Мадинье уже вышел с г-жой Лорийе на площадку и закричал под гулкими сводами:

— Идите скорей. Все это чепуха... Смотреть надо на втором этаже.

Строгая простота лестницы подействовала на них подавляюще. А при виде величественного швейцара в красном жилете и расшитой золотом ливрее, как будто ожидавшего компанию на площадке, они оробели еще больше. Во Французскую галерею все вошли с почтением, осторожно ступая на цыпочках.

Они шли, не останавливаясь, через длинную анфиладу небольших зал и, ослепленные золотом рам, смотрели на мелькающие перед ними вереницы картин, не успевая их разглядеть. Перед каждой надо было бы простоять целый час, чтобы понять, в чем там дело. Бог мой, какая куча картин! Им и конца не видать! А сколько на них убито деньжищ! Г-н Мадинье вдруг остановился перед «Плотом Медузы» и объяснил сюжет картины. Все застыли молча, пораженные. Когда они двинулись дальше, Бош выразил общее мнение одним словом: шикарно!

В галерее Аполлона компанию особенно восхитил паркет, гладкий, блестевший, как зеркало, так что в нем отражались ножки диванов. Мадемуазель Реманжу зажмурила глаза — ей ка-

залось, что она идет по воде. Все кричали г-же Годрон, чтобы она помнила о своем положении и крепче ставила ногу. Мадинье обратил их внимание на роспись и позолоту потолка, и хоть они чуть не свернули себе шеи, но так ничего и не разобрали. Перед тем как провести общество в Квадратный зал, Мадинье указал рукой на окно и заявил:

— Вот балкон, с которого Карл Девятый стрелял в народ.

Мадинье все время следил, чтобы никто не отставал. Он жестом остановил шествие посреди Квадратного зала.

— Здесь собраны только самые знаменитые картины,— проговорил он вполголоса, словно в церкви.

Все обошли зал кругом. Жервеза спросила, что нарисовано на картине «Брак в Кане Галилейской»; как глупо, что под картинами нет никаких объяснений. Купо остановился перед Джокондой и нашел, что она похожа на одну из его теток. Бош и Биби Свиной Хрящ искоса поглядывали на голых женщин и хихикали, подталкивая друг друга локтем,— особенно поразили их бедра Антиопы. А в хвосте шествия застыли супруги Годрон: муж разинул рот, жена сложила руки на животе, и оба, растроганные, уставились на Мадонну Мурильо.

Когда все обошли Квадратный зал, Мадинье решил, что его следует осмотреть еще раз,— он, право, того стоит. Мадинье был очень внимателен к г-же Лорийе, из-за ее шелкового платья, и всякий раз, как она задавала вопрос, отвечал очень веско, с большим апломбом. Она заинтересовалась возлюбленной Тициана, находя, что желтые волосы на картине похожи на ее собственные, и Мадинье выдал ее за красавицу Ферроньер — любовницу Генриха IV, которую видел в драме, идущей в театре «Амбигю».

Затем свадебное шествие направилось в длинную галерею, где помещались произведения итальянской и фламандской школы. И снова пошли картины, картины без конца: какие-то святые, мужчины и женщины с чужими, непонятными лицами, почерневшие пейзажи, странные пожелтевшие звери, беспорядочное нагромождение людей и вещей; от этого утомительного мелькания красок у всех разболелись головы. Мадинье больше не разговаривал и медленно вел свой кортеж; все следовали за ним в полном порядке, свернув головы набок и вытаращив глаза. Перед взором ошеломленных невежд проходила многовековая история искусств: трогательная простота примитивов, пышность венецианцев, щедрая, полная света живопись голландцев. Но всех гораздо больше занимали живые художники, которые расставили свои мольберты среди публики и, нимало не смущаясь, копировали картины. Особенно поразила их одна пожилая художница — она взгромоздилась на высокую лестницу и толстой кистью малевала бледно-голубое небо на огромном холсте. Вскоре по музею пронесся слух,

что в Лувр забрела свадьба, и со всех сторон стали сбегаться художники, фыркая от смеха. Любопытные спешили вперед и усаживались на скамейках, чтобы с удобством рассмотреть шествие, а служители кусали губы, стараясь сохранить серьезность и удержаться от насмешливых замечаний. Между тем компания, устав и утратив почтительность, волочила ноги в подбитых гвоздями башмаках и громко топала каблуками по гулкому паркету. Казалось, будто в пустые, строгие залы ворвалось целое стадо.

Мадинье молчал: он готовил новый эффект. Теперь он направился прямо к «Деревенскому празднику» Рубенса. Тут, по-прежнему молча, он указал на картину, весело подмигнув обществу. Подходя вплотную, дамы краснели и стыдливо отворачивались, слегка взвизгивая. Мужчины удерживали дам, хохоча и отыскивая непристойные подробности.

— Глядите, глядите! — повторял Бош.— За это стоит заплатить. Вот тут один парень блюет. А там другой поливает одуванчики. А этот... Глядите, этот-то что вытворяет... Ну и ну! Хороши, нечего сказать!

— Теперь пошли,— сказал Мадинье, гордый своим успехом.— Тут больше нечего смотреть.

Шествие повернуло назад, снова прошло через Квадратный зал и через галерею Аполлона. Г-жа Лера и мадемуазель Реманжу жаловались, что у них ноги подгибаются от усталости. Но Мадинье хотел показать супругам Лорийе старинные золотые украшения. Это совсем рядом, в маленькой комнате, он найдет ее даже с закрытыми глазами. Однако он сбился с пути и потащил все общество через множество пустынных холодных зал с рядами длинных стеклянных витрин, уставленных бесчисленным количеством разбитых горшков и каких-то маленьких уродцев. Все дрожали от холода и помирали со скуки. Потом, разыскивая выход, они попали в отдел рисунков. И снова начался бесконечный поход: рисункам не было конца, залы следовали за залами, все стены были увешаны какими-то дурацкими картинками под стеклом, в которых не было ничего забавного. Мадинье терял голову, но не хотел признаться, что заблудился, и, увидев лестницу, заставил всех подняться этажом выше. На этот раз они оказались в морском музее и бродили среди моделей пушек и инструментов, среди рельефных карт и похожих на игрушки кораблей. Наконец они заметили еще лестницу вдали, но добрались до нее только через четверть часа. Спустившись вниз, они снова оказались в дебрях рисунков. Тут всех охватило отчаяние, и они пустились через залы наугад, все так же пара за парой, а Мадинье, возглавлявший это шествие, вытирал потный лоб и в бешенстве уверял, будто администрация переставила двери. Сторожа и посетители провожали их удивленными взглядами. За ка-

кие-нибудь двадцать минут они вновь обежали и Квадратный зал, и Французскую галерею, и комнаты с длинными витринами, где спали маленькие восточные божки. Они боялись, что им уже никогда не выбраться отсюда. Не чуя ног от усталости, ошалевшая, расстроенная свадьба с грохотом проносилась по залам, а шествие замыкал громадный живот г-жи Годрон.

— Музей закрывается! Музей закрывается! — послышались зычные голоса сторожей.

И свадебный кортеж чуть не заперли в музее. Пришлось служителю стать во главе процессии и проводить ее к выходу. Забрав зонтики в гардеробе, они вышли во двор Лувра и облегченно вздохнули. Мадинье вновь обрел самоуверенность: ему надо было повернуть налево, вот в чем его ошибка; теперь он вспомнил, что драгоценности находятся налево. Однако все уверяли, что им было очень интересно.

Пробило четыре. Надо было как-то провести два часа, оставшиеся до обеда. Решили прогуляться, чтобы убить время. Дамы очень устали и хотели бы посидеть; но никто не предлагал угощения, и все двинулись вперед по набережной. Тут вновь хлынул дождь, да такой сильный, что наряды дам пострадали, несмотря на зонты. Г-жа Лорийе, для которой каждая капля на платье была что острый нож, предложила укрыться под Королевским мостом; впрочем, если другие не согласны, она отправится туда одна. И все спрятались под мостом. Там оказалось очень мило. Право, ей пришла блестящая мысль! Дамы расстелили на мостовой носовые платки и присели отдохнуть, расставив ноги; они обеими руками срывали траву, пробивавшуюся между камнями, смотрели, как течет темная река, и им казалось, что они попали за город. Мужчины для развлечения громко кричали, пробуждая гулкое эхо под арками моста. Бош и Биби Свиной Хрящ по очереди во все горло выкрикивали ругательства и хохотали до упаду, когда эхо возвращало их обратно. Охрипнув от крика, они набрали плоских камешков и принялись бросать их рикошетом по воде. Дождь перестал, но компания чувствовала себя так уютно, что и не думала уходить. По маслянистой поверхности Сены плыли старые пробки, картофельные очистки, всевозможные отбросы и крутились в водовороте под мостом, задерживаясь в темной, зловещей воде под тенью сводов; наверху над их головой по мосту громыхали омнибусы и экипажи, кипела шумная жизнь Парижа, а отсюда они видели слева и справа один только крыши,— как будто выглядывали из ямы. Мадемуазель Реманжу вздыхала: если б тут еще были деревья, говорила она, то это место очень напоминало бы уголок на Марне, где она бывала в 1817 году с одним юношей, которого оплакивает до сих пор.

Наконец Мадинье сказал, что пора двигаться. Они тронулись

через Тюильрийский сад, где стайки ребятишек, игравших в мяч или гонявших обруч, расстроили строгий порядок шествия. Когда они вышли на Вандомскую площадь и остановились, глядя на колонну, Мадинье любезно предложил дамам взобраться наверх и полюбоваться Парижем. Его предложение показалось компании очень забавным. Да, да, надо подняться, им будет что вспомнить потом! К тому же это очень интересно для тех, кто никогда не лазил выше сеновала.

— И вы думаете, что Хромуша доковыляет туда на своей подставке? — пробормотала г-жа Лорийе.

— Ну, а я готова взобраться наверх,— сказала г-жа Лера,— только с условием, чтобы позади меня не шел мужчина.

И вся компания начала взбираться внутри колонны по узенькой винтовой лестнице. Двенадцать человек карабкались гуськом, спотыкаясь на стертых ступеньках и хватаясь за стены. Когда стало совсем темно, всех разобрал неудержимый хохот. Дамы визжали. Мужчины щекотали их и щипали за икры. Но, право, глупо было поднимать такой крик: ведь можно сделать вид, будто по ногам шмыгают мыши. Да и шутки не заходили слишком далеко, кавалеры умели вовремя остановиться, соблюдая приличия. Потом Бош придумал новую забаву, которую все подхватили: они то и дело окликали г-жу Годрон и спрашивали, не застряла ли она, протиснулся ли ее живот. Подумать только, что случилось бы, если б она застряла и не могла двинуться ни взад, ни вперед! Ведь если она закупорит проход, они никогда не выберутся наружу! И все так громко смеялись над животом беременной женщины, что колонна и та сотрясалась. Бош совсем разошелся и заявил, что, пока влезешь по этой трубе, можно состариться, она прямиком ведет на небо. И он пугал дам, крича, что колонна качается. А Купо ничего не говорил; он шел позади Жервезы, обняв ее за талию, и чувствовал, как она прижимается к нему. Они внезапно вышли на свет в ту минуту, когда он целовал ее в шею.

— Хороши, нечего сказать! Ну что ж, продолжайте, не стесняйтесь! — воскликнула г-жа Лорийе с видом оскорбленной невинности.

Биби Свиной Хрящ, казалось, был взбешен и ворчал сквозь зубы:

— Этакий подняли галдеж! Я даже не мог сосчитать ступеньки.

Господин Мадинье, выйдя на площадку, тотчас принялся показывать памятники и здания. Но г-жа Фоконье и мадемуазель Ремапжу ни за что не хотели приблизиться к перилам: при одной мысли о мостовой внизу у них сосало под ложечкой; они только выглядывали из-за маленькой дверки. Г-жа Лера была посмелее

и обошла кругом узенький балкон, прижимаясь к бронзовому куполу колонны. Жутко подумать, что стоит только перешагнуть через перила и... Вот был бы прыжок, черт подери! Мужчины, слегка побледнев, смотрели вниз на площадь. Казалось, ты повис в воздухе и ничто тебя не держит. Нет, честное слово, от такой высоты трясутся поджилки. Мадинье советовал всем поднять глаза и смотреть вдаль: тогда не так кружится голова. И он продолжал показывать пальцем: вон Дом инвалидов, вон Пантеон, собор Парижской богоматери, башня святого Иакова, холмы Монмартра. Тут г-же Лорийе захотелось узнать, виден ли бульвар Ля Шапель и трактир «Серебряная мельница», где они будут обедать. Все принялись искать, проспорили минут десять и даже перессорились: каждый уверял, что ресторан находится не там, а совсем в другой стороне. Вокруг них раскинулся серый бескрайний Париж с синеватыми далями, глубокими долинами и целым морем громоздившихся друг над другом крыш; весь правый берег Сены лежал в тени, под тяжелой тучей, нависшей над ним как большое медно-красное полотнище; а с краю, из-под этой тучи, окаймленной золотой бахромой, пробивался широкий сноп света и зажигал на левом берегу окна, переливавшиеся тысячью огней; весь этот уголок города ярко сверкал, выделяясь на чистом, омытом грозою небе.

— Стоило лезть на эту вышку, чтобы переругаться! — злобно воскликнул Бош, спускаясь по лестнице.

И все молча двинулись за ним, надутые, сердитые, слышался только топот множества ног по каменным ступенькам. Внизу Мадинье хотел расплатиться, но Купо отстранил его и сунул сторожу двадцать четыре су — по два су с человека. Было уже около половины шестого, самое время возвращаться. Назад пошли по бульварам и через предместье Пуассоньер. Однако Купо считал, что на этом нельзя закончить прогулку, и потащил всех в винный погребок, выпить по рюмке вермута.

Обед был заказан на шесть часов. В «Серебряной мельнице» свадьбу дожидались уже двадцать минут. Г-жа Бош, поручив привратницкую соседке, сидела в зале на втором этаже и болтала с мамашей Купо перед накрытым столом; а Клод и Этьен возились на полу и бегали среди вереницы стульев. Когда Жервеза вошла в комнату и взглянула на детей, которых не видела с самого утра, она усадила их к себе на колени и принялась ласкать, осыпая поцелуями.

— Они были умниками? — спросила она у г-жи Бош.— Не очень вам докучали?

Тут привратница стала пересказывать уморительные словечки этих пострелят, а Жервеза снова взяла их на руки и в порыве горячей нежности прижала к груди.

— А все-таки это ужасно глупо со стороны Купо,— говорила г-жа Лорийе другим дамам в глубине зала.

Жервеза была весь день спокойной и приветливой. Но после прогулки ей взгрустнулось; порой она задумчиво поглядывала на мужа и на супругов Лорийе. Она замечала, что Купо пасует перед сестрой. Накануне он кипятился, кричал, что поставит родных на место, если они вздумают распускать свои ядовитые языки. Но она видела, что в присутствии Лорийе он робеет, поджимает хвост, ловит каждое их слово и до смерти боится их рассердить. И это тревожило молодую женщину, она страшилась за будущее.

Теперь ждали только Бурдюка, который все не появлялся.

— Ну уж дудки! — закричал Купо.— Давайте садиться за стол. Увидите — он живо прибежит. У него редкий нюх — чует жратву за три версты! Неужели он все еще торчит на дороге в Сен-Дени? То-то забавляется, должно быть!

Развеселившаяся свадьба расселась вокруг стола, грохоча стульями. Жервеза заняла место между Лорийе и Мадинье, а Купо между г-жой Фоконье и г-жой Лорийе. Остальные гости устроились кто где хотел, потому что если места распределяются заранее, то всегда начинаются споры и обиды. Бош уселся возле г-жи Лера, Биби Свиной Хрящ оказался между мадемуазель Ре-манжу и г-жой Годрон. А г-жа Бош с мамашей Купо устроились в самом конце стола; они присматривали за детьми, резали им мясо и следили, чтоб малыши поменьше пили вина.

— Разве никто не прочитает молитвы? — спросил Бош, в то время как дамы расправляли юбки и прикрывали колени краем скатерти, чтобы не насажать пятен.

Но г-жа Лорийе не любила таких шуток. Суп с вермишелью почти остыл, и его съели очень быстро, с хлюпаньем втягивая полные ложки. Прислуживали два официанта в засаленных куртках и белых фартуках сомнительной чистоты. Через раскрытые окна, выходившие во дворик с тремя акациями, в комнату вливался нежный свет теплого, омытого грозой вечера. Деревья, выросшие в этом сыром углу, бросали зеленоватый отсвет в прокуренный зал, и тени листьев плясали на сырой, пропахшей плесенью скатерти. В обоих концах зала висели засиженные мухами зеркала, и, отражаясь в них, стол казался бесконечным; вдаль уходили ряды массивной пожелтевшей посуды, на которой царапины казались черными от застывшего в них жира. Всякий раз, как появлялся официант, дверь в кухню громко хлопала, и в комнату врывался резкий запах подгоревшего сала.

— Не перебивайте друг друга,— пошутил Бош, видя, что все замолчали и уткнулись в тарелки.

Гости уже выпили по стаканчику вина и умильно погляды-

вали на два пирога с телятиной, поданных официантами, когда наконец появился Бурдюк.

— Хороши, нечего сказать! Сволочи вы после этого, вот вы кто! — закричал он.— Битых три часа я торчал на улице, все ноги себе оттоптал, в конце концов жандарм потребовал у меня документы... Этакое свинство, разве так поступают с друзьями? Неужели вы не могли прислать за мной карету? Нет, кроме шуток, это просто гадость. Да еще дождь лил как из ведра, у меня в карманах полно воды, прямо хоть рыбу уди!

Гости от смеха хватались за животы. Эта скотина Бурдюк был явно под мухой, он уже выдул свои обычные два литра: ну что ж, ведь он должен был хоть чем-нибудь вознаградить себя за то, что вымок, как лягушка в болоте.

— Эй, граф Мокрый Петух! — крикнул Купо.— Ступай-ка, садись рядом с госпожой Годрон. Вот твой прибор — видишь, мы тебя ждали.

Ну, на этот счет не стоило беспокоиться, он живо всех догонит, и Бурдюк проглотил подряд три тарелки супа с вермишелью, макая в них громадные ломти хлеба. Когда принялись за пироги, он вызвал восхищение всего стола. Вот ненасытная утроба! Ошеломленным официантам пришлось стать цепочкой, чтобы передавать ему хлеб, нарезанный тонкими ломтиками, которые он заглатывал целиком. В конце концов он рассердился и потребовал, чтобы рядом с ним положили целый каравай. Тут в дверь заглянул встревоженный хозяин. Этого уже ждали и, увидев его испуганное лицо, снова покатились со смеху. Да, не повезло ему, бедняге! Но что за чертова прорва этот Бурдюк! Говорят, однажды, пока часы били двенадцать, он успел проглотить дюжину крутых яиц и запить их дюжиной стаканов вина. Не часто встретишь такого обжору. Мадемуазель Реманжу с умилением глядела, как он жует, а Мадинье не находил слов, чтобы выразить свое изумление, почти благоговение, и наконец заявил, что это просто дар свыше.

Наступило молчание. В глубоком блюде, вроде суповой миски, официант подал рагу из кролика. Тут зубоскал Купо отпустил забавную шутку.

— Послушайте, приятель,— сказал он официанту,— этого кролика, видно, поймали на крыше... Он еще мяукает.

И в самом деле послышалось тихое мяуканье, совсем как настоящее,— казалось, оно доносится с блюда. Купо издавал эти звуки горлом, не шевеля губами; его шутка имела неизменный успех в обществе, и когда кровельщик обедал в ресторане, он всегда заказывал рагу из кролика. Потом он стал мурлыкать. Дамы корчились от смеха и зажимали рты салфетками.

Госпожа Фоконье попросила кроличью голову. У кролика она

любит только голову. Мадемуазель Реманжу обожает жирные кусочки. Бош заметил, что в рагу ему больше всего по вкусу луковки, если они хорошо прожарены, а г-жа Лера поджала губы и пробормотала:

— Еще бы, я вас понимаю...

Госпожа Лера была суха как палка, жила одна в своем углу, работала целыми днями, и, с тех пор как она овдовела, ни один мужчина не сунул носа в ее комнату, а между тем в голове у нее вечно вертелись всякие непристойности, в каждом слове она видела двойной смысл и постоянно делала игривые намеки, до того тонкие, что никто их не понимал, кроме нее самой. Бош наклонился к ней и спросил на ухо, что она хотела сказать.

— Ну, разумеется, маленькие луковки... Все понятно, по-моему,— ответила она.

Теперь за столом начался серьезный разговор. Каждый говорил о своем ремесле. Мадинье расхваливал картонажное дело: вот где встречаются настоящие художники. И он описывал коробки для подарков редкой красоты: он видел много образцов. Но Лорийе только посмеивался, он очень кичился тем, что имеет дело с золотом, и ему чудилось, будто золото бросает какой-то отсвет на его пальцы, руки, на всю его особу. Лорийе говорил, что в прежние времена золотых дел мастера часто носили шпагу, и он ссылался на Бернара Палисси, не зная толком, кто это. Купо описывал флюгер — чудо искусства, сделанный его товарищем: на стержне был прикреплен сноп, над ним корзинка с фруктами и наверху флаг — точь-в-точь как настоящие; мастер вырезал их из оцинкованного листа, а затем спаял. Г-жа Лера показывала Биби, как надо скручивать стебелек для розы, и вертела у него перед носом ручку ножа своими костлявыми пальцами. Голоса становились все громче, то сливаясь, то перебивая друг друга; сквозь этот гомон прорывался пронзительный голос г-жи Фоконье, которая жаловалась на своих работниц, особенно на одну пигалицу-ученицу: еще вчера та спалила ей две простыни.

— Что ни говорите,— крикнул Лорийе и стукнул кулаком по столу,— а золото — это золото!

Все замолчали перед этой неоспоримой истиной, слышался только тонкий голосок мадемуазель Реманжу:

— Тогда я задираю им юбку и пришиваю ее прямо к туловищу... Потом втыкаю булавку в голову, чтобы не сваливался чепец... И все готово, их продают по тринадцать су.

Она объясняла Бурдюку, как одевает кукол, а тот медленно жевал, будто ворочал жерновами. Не слушая ее, он только кивал головой, а сам неотступно следил за официантами, как бы они не унесли блюда, пока он его не опустошил. Сначала покончили с телятиной в соусе, потом с зеленым горошком. Теперь принесли

жаркое — две тощие курицы на ложе из кресс-салата, сморщенного и засохшего в печке. За окном на верхушках акаций догорали последние лучи солнца. В зале сгущались зеленоватые тени, сливаясь с испарениями, поднимавшимися над залитым вином и соусом столом, загроможденным посудой; а грязные тарелки и пустые бутылки, составленные лакеями вдоль стен, казались отбросами, скинутыми со скатерти прямо на пол. Было очень жарко. Мужчины сняли сюртуки и продолжали есть в одних жилетках.

— Госпожа Бош, пожалуйста, не обкормите их,— сказала Жервеза; она говорила мало и следила издали за Клодом и Этьеном.

Она встала и, подойдя к детям, остановилась за их стульями. Ребята — народ неразумный, они готовы жевать целый день и не могут отказаться от лакомого блюда,— и она сама положила им по кусочку курицы — чуточку белого мяса. Но мамаша Купо заявила, что это не беда, раз в жизни можно и объесться. Г-жа Бош шепотом бранила мужа, уверяя, что он щиплет за ляжки г-жу Лера. Такой похабник, такой наглец! Она хорошо видела, куда он сунул руку. Если только он еще посмеет шарить под столом, видит бог, она не постесняется и запустит ему в голову графин.

В наступившем молчании послышался голос Мадинье, рассуждавшего о политике:

— Их закон от тридцать первого мая — просто срам. Теперь требуется, чтобы человек непременно прожил два года на одном месте. Три миллиона избирателей вычеркнуто из списков. Мне говорили, что в душе принц Бонапарт очень оскорблен, ведь он любит народ и не раз это доказывал.

Сам Мадинье был республиканцем; но он почитал принца за то, что Наполеон приходился ему дядей. Вот это человек — такого больше не будет! Биби Свиной Хрящ рассердился: он работал в Елисейском дворце и сталкивался с Бонапартом носом к носу — вот как он видит сейчас Бурдюка. И что вы думаете? Этот толстомордый президент — вылитый жеребец, только и всего! Говорят, он собирается ехать в Лион; ну и пусть свернет себе там шею — все только вздохнут с облегчением!

Спор грозил перейти в ссору, и Купо решил вмешаться.

— Да будет вам! Экая глупость — переругаться из-за политики! Вся эта политика просто чепуха! На что она нам нужна? По мне пусть посадят кого угодно: короля, императора или вовсе никого, я все равно буду зарабатывать свои пять франков, есть, пить и спать — ведь так? Бросьте, это слишком глупо!

Лорийе покачал головой. Он родился в один день с графом де Шамбором, двадцать девятого сентября 1820 года. Это совпадение поражало его, оно породило в нем какое-то неясное пред-

чувствие, ему мерещилась скрытая связь между возвращением во Францию короля и его собственной судьбой. Он не мог сказать, на что он надеется, но намекал, будто тогда в его жизни произойдет некое счастливое событие. И всякий раз, как у него появлялось какое-нибудь неисполнимое желание, он откладывал его на то время, «когда вернется король».

— И представьте,— сказал он,— как-то вечером я видел графа де Шамбора...

Все головы повернулись к нему.

— Да, видел своими глазами. Такой плотный человек, в пальто, с добродушным лицом... Я зашел к своему приятелю Пекиньо, продавцу мебели на улице Ля Шапель. Граф де Шамбор накануне забыл у него зонтик. И вот он входит и говорит совсем просто: «Будьте добры, верните мне зонтик». Боже мой! Да, то был сам граф де Шамбор. Пекиньо дал мне честное слово.

Никто из гостей не выразил ни малейшего сомнения. Пришло время подавать десерт. Официанты убирали со стола, громыхая посудой. Тут г-жа Лорийе, которая все время держалась с большим достоинством, как настоящая дама, вдруг завопила:

— Сукин ты сын!

Один из официантов, убирая блюдо, пролил ей что-то на шею. Ну конечно, он посадил пятно на ее шелковом платье! Мадинье осмотрел ей спину и поклялся, что там ничего нет. Теперь посреди стола красовались в салатнике снежки в яичном соусе, а по бокам две тарелки с сыром и две с фруктами. Сбитые белки перестоялись и плавали хлопьями в желтой жиже, но десерт все же произвел сильное впечатление — его не ждали и нашли изысканным. Бурдюк уплетал по-прежнему. Он потребовал еще хлеба. Доев весь сыр на тарелках, он попросил передать ему салатник, в котором еще оставался яичный соус, и принялся макать в него большие ломти хлеба, как в суп.

— Вот, право, необыкновенный человек,— с восхищением сказал Мадинье.

Наконец мужчины встали и взялись за трубки. Останавливаясь за спиной Бурдюка, они хлопали его по плечу и спрашивали, как он себя чувствует. Биби Свиной Хрящ приподнял его вместе со стулом: черт побери, этот скот стал вдвое тяжелей! Купо шутя сказал, что Бурдюк еще только входит во вкус, теперь его не остановишь, он будет уписывать хлеб до утра. Перепуганные официанты исчезли. Бош на минутку спустился вниз и, вернувшись, сказал, что хозяин стоит за стойкой бледный как мертвец, потрясенная хозяйка послала узнать, не закрылись ли булочные по соседству, и даже у хозяйской кошки самый удрученный вид. Ей-богу, это просто умора, за такой обед и денег не жалко; никакой пикник не может обойтись без этого удава Бур-

дюка. И мужчины, посасывая трубки, бросали на него завистливые взгляды: надо же столько сожрать — настоящий богатырь!

— Вот уж не хотела бы вас кормить,— сказала г-жа Годрон.— Ну нет, ни за что на свете!

— Эге, матушка, да вы шутите! — ответил Бурдюк, искоса взглянув на ее живот.— Ведь сами-то вы проглотили побольше моего!

Все захлопали, закричали: «Браво, здорово сказано!» Стало совсем темно, и в зале зажгли три газовых рожка; их яркий свет колебался и тускнел среди облаков табачного дыма. Официанты унесли последние стопки грязных тарелок и подали кофе с коньяком. Внизу, под акациями, начались танцы, послышались пронзительные звуки двух скрипок и корнет-а-пистона, а хрипловатый женский смех глухо звучал в теплом ночном воздухе.

— А теперь устроим жженку! — закричал Бурдюк.— Два литра водки, побольше лимонов и поменьше сахару.

Но Купо, заметив встревоженное лицо Жервезы, встал и заявил, что выпивки больше не будет. Уже вылакали двадцать пять литров, по полтора литра на брата, считая детей наравне со взрослыми,— этого больше чем достаточно. Они ведь собрались, чтобы приятно провести время и пообедать запросто, как добрые друзья, потому что они уважают друг друга и хотят отпраздновать в тесном кругу семейное торжество. Все было очень мило, все веселились, и незачем теперь напиваться как свиньи, хотя бы из уважения к дамам. Короче говоря, гости пришли, чтобы выпить за здоровье молодых, а не для того, чтобы нализаться и устроить дебош.

Эта небольшая речь, которую Купо произнес самым проникновенным тоном, ударяя себя после каждой фразы кулаком в грудь, вызвала горячее одобрение Лорийе и Мадинье. Но остальные: Бош, Годрон, Биби Свиной Хрящ и особенно Бурдюк, которые уже сильно накачались,— стали издеваться над Купо и, с трудом ворочая языками, твердили, что у них горит нутро и этот пожар надо залить.

— Кто хочет пить, пусть пьет, а кто не хочет, пусть не пьет,— заявил Бурдюк.— Мы закажем жженку... И никого насильно не тащим... А благородные пусть попросят сахарной водицы.

Купо продолжал его убеждать, но Бурдюк встал, хлопнул себя по заднице и крикнул:

— Знаешь что, поди-ка поцелуй меня вот сюда!.. Человек, два литра старой!

Тогда Купо сказал, что коли так, надо сначала рассчитаться за обед. Это избавит их от споров. Люди порядочные не обязаны платить за пьяниц. Бурдюк долго шарил по карманам, но нашел

всего три франка семь су. Зачем они заставили его мокнуть на улице Сен-Дени? Ему надо было согреться, и он разменял свои пять франков. Они сами виноваты, больше никто! В конце концов он отдал Купо три франка, оставив себе семь су на курево. Взбешенный Купо дал бы ему по шее, если бы испуганная Жервеза не схватила его за сюртук, умоляя успокоиться. Он решил занять два франка у Лорийе, который сначала отказал, а затем одолжил ему деньги тайком от жены: она бы ни за что не позволила.

Мадинье тем временем взял пустую тарелку. Одинокие женщины — г-жа Лера, г-жа Фоконье и мадемуазель Ремажу — заплатили первыми, скромно положив на нее по пяти франков. Затем мужчины удалились в конец зала и принялись за подсчеты. Их было пятнадцать человек. Следовало собрать семьдесят пять франков. Когда семьдесят пять франков лежали на тарелке, каждый мужчина добавил по пяти су официантам на чай. Понадобилось добрых четверть часа, чтобы произвести этот сложный расчет и закончить его ко всеобщему удовлетворению.

Мадинье, пожелавший иметь дело с самим хозяином, вызвал его в зал, и все были потрясены, когда тот заявил с усмешкой, что собранных денег не хватит, чтобы уплатить по счету. К обеду были сделаны «добавления». Слово «добавления» было встречено гневными криками, но хозяин все подробно объяснил: выпили двадцать пять литров вина вместо условленных двадцати; снежки в яичном соусе он добавил от себя, видя, что десерт получился слишком скудный; к кофе был подан графин рома для любителей кофе с ромом. Тогда поднялся невообразимый гвалт. Теперь все напустились на Купо, и тот отбивался как мог: он не договаривался ни о каких двадцати литрах; снежки входили в десерт, и если хозяин добавил их от себя — тем хуже для него; а этот графин рома — чистое вымогательство: желая увеличить счет, хозяин подсунул им ликеры, о которых его никто не просил.

— Ром был подан на одном подносе с кофе,— кричал Купо.— Ну и пускай идет в счет вместе с кофе... Оставьте нас в покое. Забирайте свои деньги и катитесь к чертям. Провалиться мне на этом месте, если мы еще хоть раз сунем нос в ваш грязный кабак!

— Вы должны еще шесть франков,— твердил хозяин,— отдайте мне шесть франков... Я даже не поставил в счет три хлеба, которые съел вон тот господин.

Компания сгрудилась вокруг хозяина, бешено размахивая руками, все громко вопили, задыхаясь от ярости. Особенно неистовствовали женщины и вне себя кричали, что не добавят ни сантима. Нечего сказать, хороша свадьба! Мадемуазель Ремажу заявила, что теперь ее силком не затащишь на званый обед. Нет уж, спасибо! Г-жа Фоконье ворчала, что ее очень плохо накормили:

дома за сорок су у нее было бы такое угощение, что только пальчики оближешь. Г-жа Годрон жаловалась, что ее запихнули в дальний конец стола, рядом с Бурдюком, который не обращал на нее никакого внимания. Да и вообще такие сборища всегда кончаются плохо. Коли ты приглашаешь гостей на свадьбу, так угощай их на свой счет, черт возьми! Жервеза укрылась у окна, возле мамаши Купо, и не говорила ни слова, сгорая от стыда: она чувствовала, что все эти упреки падают на нее.

Наконец г-н Мадинье вышел вместе с хозяином. Было слышно, как они спорят внизу. Через полчаса он вернулся; пришлось добавить еще три франка, и дело было улажено. Но общество никак не могло успокоиться, гости были сердиты и обижены, они снова и снова заводили разговор о «добавлениях». Общий галдеж еще усилился после злобной выходки г-жи Бош. Ревниво следя за мужем, она увидела, как он прижал г-жу Лера в укромном уголке. Недолго думая она с маху запустила в него графином, который угодил в стену и разлетелся вдребезги.

— Сразу видно, что муж у вас портной, госпожа Бош,— сказала долговязая вдова, многозначительно поджимая губы,— он отъявленный юбочник... Впрочем, я здорово отделала его ногами под столом.

Вечер был испорчен. Настроение все падало. Мадинье предложил что-нибудь спеть. Но Биби Свиной Хрящ, у которого был хороший голос, куда-то исчез; мадемуазель Реманжу, сидевшая у окна, увидела его внизу под акациями: он отплясывал во дворе с какой-то толстой простоволосой девкой. Корнет-а-пистон и скрипки играли кадриль «Купи горчицы», которую все танцевали на деревенский лад, хлопая в ладоши. Тут гости стали постепенно разбредаться: Бурдюк и супруги Годрон спустились вниз, Бош незаметно улизнул. В окна были видны кружившиеся под деревьями парочки, и листья, при свете висевших на ветвях фонарей, казались слишком яркими, словно намалеванными. Ночь уснула без единого вздоха, как будто разморенная жарой. В зале Мадинье и Лорийе вели серьезную беседу, а дамы, не зная, на чем сорвать накопившуюся злость, принялись осматривать свои платья, отыскивая на них пятна.

Бахрома г-жи Лера, как видно, окунулась в кофе. Цветастое платье г-жи Фоконье было залито соусом. Зеленая шаль мамаши Купо свалилась со стула, и ее нашли в углу, скомканную и затоптанную. Но больше всех бушевала г-жа Лорийе: у нее пятно на спине, и пусть не врут, будто там ничего нет, она его чувствует. И, извернувшись перед зеркалом, она в конце концов отыскала пятно.

— Ну, что я говорила? — закричала она.— Это куриная подливка. Пусть официант заплатит мне за платье! Я подам на него

в суд! Ну и денек, доложу я вам! Уж лучше бы я сидела дома. А теперь хватит — я ухожу. Пропади они пропадом с их поганой свадьбой!

И она ушла взбешенная, так громко топая каблуками, что дрожала вся лестница. Лорийе побежал следом за ней. Он еле уговорил ее подождать пять минут на тротуаре, чтобы идти всем вместе. Надо было ей вернуться домой сразу после грозы, как она хотела. Она еще попомнит Купо этот день! Купо был совсем подавлен, видя ее в такой ярости, и Жервеза, чтобы избавить его от неприятностей, согласилась сейчас же отправиться домой. Все стали наспех обниматься. Г-н Мадинье взялся проводить мамашу Купо. Г-жа Бош должна была на первую ночь увести к себе Клода и Этьена; Жервеза могла не тревожиться за них, они уже заснули за столом, объевшись тяжелым яичным соусом. Наконец молодые ушли вслед за супругами Лорийе, покинув остальных гостей в ресторане. И тут во дворе вспыхнул новый скандал между их компанией и компанией других посетителей. Бош и Бурдюк отбили даму, пришедшую с двумя военными, и не хотели ее уступать; они грозились разнести все заведение, а скрипки и корнет-а-пистон бешено наяривали польку из «Жемчужин».

Было еще только одиннадцать часов. На эту субботу пришелся день большой получки; на бульваре Ля Шапель и во всем квартале Гут-д'Ор шел пьяный разгул. Г-жа Лорийе поджидала остальных под газовым фонарем, шагах в двадцати от «Серебряной мельницы». Она взяла мужа под руку и пошла вперед, не оглядываясь, да так быстро, что Жервеза и Купо, запыхавшись, с трудом поспевали за ней. Порой они сходили с тротуара, чтобы обойти какого-нибудь пьяницу, валявшегося на земле, задрав копыта. Лорийе обернулся и сказал примирительно:

— Мы проводим вас до дому.

Но тут г-жа Лорийе заорала на всю улицу: этакая глупость устраивать брачную ночь в вонючей дыре, под самой крышей «Добро пожаловать». Неужели нельзя было повременить со свадьбой, скопить несколько су, купить кое-какую мебель и провести первую ночь в своем углу? То-то они повеселятся, когда заберутся вдвоем в эту десятифранковую скворешню, где и дышать-то нечем.

— Я отказался от комнаты наверху,— робко возразил Купо,— мы будем жить в комнате Жервезы, она гораздо больше.

Госпожа Лорийе резко обернулась, вскипев от злости.

— Час от часу не легче! — закричала она.— Так ты собираешься спать в комнате Хромуши?

Жервеза вся побледнела. Это прозвище, в первый раз брошенное ей в лицо, обожгло ее как пощечина. К тому же она поняла скрытый смысл восклицания: комната Хромуши, это та са-

мая, в которой она прожила месяц с Лантье, где еще остались следы ее прежней жизни. Но Купо не понял. Его только обидела эта кличка.

— Нечего тебе обзывать других,— ответил он с сердцем.— Ты, может, не знаешь, что за твою прическу весь квартал зовет тебя Коровий Хвост? Ага, тебе это не по вкусу?.. А почему бы нам не остаться в комнате Жервезы? Сегодня дети не ночуют дома, и нам будет очень хорошо.

Госпожа Лорийе ничего не ответила и замкнулась в холодном достоинстве, но ее глубоко уязвила кличка Коровий Хвост. Чтобы утешить Жервезу, Купо тихонько пожимал ей руку и даже немножко развеселил ее, шепнув на ухо, что они начинают семейную жизнь с кругленькой суммой в семь су: у них три больших монеты и одна маленькая; и он принялся бренчать ими, засунув руку в карман. Дойдя до гостиницы «Добро пожаловать», все сухо распрощались. Купо назвал женщин дурами и стал подталкивать их друг к другу, чтобы они поцеловались, но в эту минуту какой-то пьянчуга, пытаясь обойти их, вдруг резко качнулся влево и втиснулся между обеими женщинами.

— Ишь ты, ведь это дядя Базуж,— сказал Лорийе.— Сегодня у него получка.

Испуганная Жервеза прижалась к двери гостиницы. Дядя Базуж, рабочий лет пятидесяти, служил факельщиком в похоронном бюро. Его черные форменные брюки были заляпаны грязью, застежка черного плаща съехала на плечо, а черная кожаная шляпа, видно, не раз падала на землю и вся сплющилась.

— Не бойтесь, он совсем не злой,— продолжал Лорийе.— Это наш сосед, он живет в том же коридоре, через три двери от нас... Здорово бы он влип, если б начальство встретило его в таком виде!

Дядя Базуж обиделся, увидев, что Жервеза его испугалась.

— В чем дело? — пробормотал он, с трудом ворочая языком.— Не съем же я вас, правда?.. Поверьте, милочка, я не хуже других... Ну да, я выпил, не спорю! Но работа у нас такая, что поневоле приходится смазывать колеса. Небось ни вам, ни вашим дружкам не стащить с пятого этажа покойника этак пудов на шесть? А мы вдвоем с приятелем выволокли его на улицу и даже не сломали по дороге... Мне, знаете, по душе весельчаки.

Но Жервеза все крепче прижималась к запертой двери; ее душили слезы, и весь этот день, озаренный тихой радостью, был для нее испорчен. Она забыла поцеловать золовку и умоляла Купо поскорее увести пьянчугу. Тогда Базуж, пошатываясь, сделал рукой жест, полный философского презрения.

— Все равно, все там будем, и вы тоже, милочка моя. Может, придет день, когда вы будете рады-радешеньки отправиться

туда... Да, да, я знаю женщин, которые сказали бы спасибо, кабы я их туда уволок.

И когда Лорийе повели его домой, он обернулся и пробормотал на прощанье, громко икая:

— Если ты помер... поверьте мне... если ты помер, так уж это надолго.

IV

Прошли четыре года, четыре года тяжкого труда. Среди соседей Жервеза и Купо считались примерной парой, жили они тихо, без потасовок, и каждое воскресенье ходили гулять по дороге в Сент-Уэн. Жена работала по двенадцати часов в день у г-жи Фоконье и все же находила время держать свой дом чистым, как стеклышко, и кормить семью утром и вечером чем-нибудь горячим. Муж не напивался, два раза в месяц приносил домой получку и по вечерам, чтобы проветриться, курил трубку у открытого окна. Их ставили в пример как самых милых и порядочных людей. Вдвоем они зарабатывали девять франков в день, и соседи подсчитали, что им удается кое-что прикопить.

Однако им приходилось работать не покладая рук, чтобы свести концы с концами, особенно первое время. Свадьба влетела им в копеечку: надо было выплатить двести франков долга. Вдобавок им опротивела жизнь в номерах, вся эта грязь, весь этот темный люд кругом; они мечтали устроиться в своем углу, завести собственную мебель и зажить с уютом. Двадцать раз они считали и пересчитывали: им нужна изрядная сумма, не меньше трехсот пятидесяти франков, чтобы устроиться прилично, разложить вещи по местам и не бегать к соседям за кастрюлей или сковородкой, когда надо сварить обед. Они приходили в отчаяние: им ни за что не скопить такую громадную сумму меньше чем за два года. Но тут неожиданно подвернулся счастливый случай: один старый господин из Плассана попросил отпустить к нему старшего из ребят — Клода: он хотел устроить мальчика в коллеж; это была благородная причуда старого чудака, любителя живописи, которого когда-то пленили человечки, нацарапанные малышом. На Клода уходила уйма денег, Купо еле справлялись с расходами. Когда у них остался на руках только младший Этьен, им удалось за семь с половиной месяцев скопить триста пятьдесят франков. В тот день, когда супруги купили наконец мебель в магазине подержанных вещей на улице Бельом, они не помнили себя от радости и, прежде чем вернуться домой, пошли прогуляться по внешним бульварам. Теперь у них была кровать, ночной столик, комод с мраморной доской, шкаф, круглый стол с клеенкой и шесть стульев — все из старого красного дерева,— а сверх того

постельные принадлежности, белье и почти новая кухонная утварь. Наконец-то они как будто по-настоящему вступили в жизнь, серьезно и окончательно, и, обзаведясь своим хозяйством, сразу приобрели вес среди почтенных жителей квартала.

Вот уж два месяца, как они подыскивали себе квартиру. Сначала они хотели снять комнату в большом доме на улице Гут-д'Ор. Но там все было занято, и им пришлось отказаться от своей давнишней мечты. Сказать по правде, Жервеза в душе не очень об этом жалела: ее пугало близкое соседство с Лорийе. И они продолжали поиски. Купо весьма разумно считал, что им надо поселиться поближе к прачечной г-жи Фоконье, чтобы Жервеза в любое время могла забежать домой. В конце концов им повезло: они нашли квартирку с кухней, всего две комнаты — большая и маленькая, на Новой улице, в квартале Гут-д'Ор, почти напротив прачечной. Она помещалась в двухэтажном домике с очень крутой лестницей; там было только две квартиры, одна налево, другая направо; весь низ занимал каретный мастер, сдававший экипажи напрокат, и на большом дворе, тянувшемся вдоль улицы, стояли сараи, забитые упряжью и повозками. Жервеза была в восторге, ей казалось, что она снова попала в провинцию: никаких соседок, не надо бояться сплетен, тихий, мирный уголок, похожий на улочку в Плассане за крепостным валом; и, для полноты счастья, она могла видеть из прачечной окно своей квартиры, даже не отрываясь от утюга — стоило лишь слегка вытянуть шею.

Переезд состоялся в начале апреля. К этому времени Жервеза была уже на девятом месяце беременности. Но она бодрилась, вела себя молодцом и говорила, смеясь, что ребенок помогает ей работать: она чувствует, как его ручонки толкают ее, и это прибавляет ей сил. А когда Купо уговаривал ее полежать и отдохнуть, она чуть не набрасывалась на него. Еще чего! Она ляжет, когда у нее начнутся схватки — не раньше! До того ли теперь: ведь скоро прибавится лишний рот — надо работать, не разгибая спины. И она сама вымыла всю квартиру, а потом помогла мужу расставить мебель. К мебели она относилась с благоговением, вытирала ее с материнской заботливостью, и при виде каждой царапины сердце у нее обливалось кровью. Если, подметая комнату, она случайно задевала какую-нибудь вещь, она вздрагивала, будто ударила самое себя. Особенно Жервезе был дорог комод; он казался ей таким красивым, таким солидным, надежным. И она лелеяла мечту, в которой не смела никому признаться: ей хотелось купить большие часы и поставить их на комод, прямо посредине мраморной доски,— вот было бы красиво! Если б она не ждала младенца, она, возможно, и решилась бы их приобрести. Но теперь она с тяжелым вздохом отложила покупку на будущее.

Купо были очарованы своей новой квартирой. Кровать Этьена

поставили в маленькой комнате, где могла поместиться и вторая детская кроватка. Кухонька была величиной с пятачок и совсем темная, но если не закрывать двери, то и в ней света хватало; да ведь Жервеза не собиралась устраивать званые обеды на тридцать персон, а ее семья там вполне умещалась. Зато большая комната была их гордостью. Утром они сразу задергивали над кроватью белый коленкоровый полог, и спальня превращалась в столовую: посредине стоял круглый стол, а по бокам шкаф и комод. В камине выгорало на пятнадцать су каменного угля в день, поэтому они его забили, а перед ним на мраморной доске поставили маленькую чугунную печурку; в самые сильные холода она съедала угля всего на семь су. Затем Купо как мог украсил стены и обещал добавить кое-что в будущем. За неимением зеркала он повесил большую гравюру; на ней какой-то маршал Франции, потрясая жезлом, гарцевал на коне между пушкой и горкой ядер. Над комодом по правую и левую сторону от старой фарфоровой позолоченной кропильницы, в которой теперь держали спички, Купо разместил семейные фотографии, а на шкафу поставил два гипсовых бюста — Паскаля и Беранже, один с серьезным, другой с улыбающимся лицом,— и казалось, что оба они прислушиваются к тиканью висевших между ними часов с кукушкой. Право же, это была чудесная комната!

— Угадайте, сколько мы платим за квартиру? — спрашивала Жервеза каждого, кто заходил к ним.

И когда посетитель оценивал квартиру дороже, чем она стоила, Жервеза, торжествуя, что они так хорошо и дешево устроились, радостно кричала:

— Ровно полтораста франков, и ни сантима больше! Здорово? Просто даром!

Даже сама улица увеличивала в глазах супругов прелесть новой квартиры. Она входила в их жизнь: Жервеза постоянно сновала между своим домом и прачечной г-жи Фоконье. По вечерам Купо спускался на крыльцо и сидел, покуривая трубочку. Улица без тротуаров, с разбитой мостовой, шла в гору. В верхнем ее конце, выходившем на улицу Гут-д'Ор, стояли покосившиеся темные лавчонки с немытыми окнами: сапожники, бочары, мелочные торговцы, прогоревший винный погребок, давно запертые ставни которого были залеплены афишами. На другом конце улицы, ведущей к центру Парижа, высились пятиэтажные дома, заслонявшие небо; тут в нижних этажах разместилось множество прачечных,— сбившись в кучу, они тесно жались друг к дружке. Этот мрачный угол оживляла только зеленая, по-провинциальному размалеванная вывеска парикмахера, висевшая над витриной, уставленной разноцветными флаконами и начищенными медными тазиками; она казалась здесь единственным светлым пят-

ном. Гораздо веселее была средняя часть улицы: тут дома становились ниже и как бы расступались, давая место воздуху и солнцу. Между сараями каретного мастера, заведением, где изготовляли зельтерскую воду, в прачечной напротив, оставалось много простора, а тишину и покой улицы еще сильнее подчеркивали приглушенные голоса прачек и мерные вздохи паровой машины. Большие пустыри и длинные проулки между почерневшими стенами придавали этому уголку захолустный вид. Купо забавлялся, наблюдая, как редкие прохожие перескакивают через непросыхающие ручейки мыльной воды, и уверял, что все здесь напоминает деревню, куда он, пятилетним мальчишкой, ездил с дядей. А Жервезу особенно радовало дерево, росшее во дворе, слева от ее окна,— хилая акация с единственной зеленой веткой,— и молодой женщине казалось, что эта чахлая зелень оживляет всю улицу.

Жервеза родила в самом конце апреля. Схватки начались около двух часов пополудни, когда она гладила занавески у г-жи Фоконье. Но она не хотела сразу уходить и сидела скорчившись на стуле, а чуть только боли отпускали ее, снова бралась за утюг; заказ был спешный, и она решила непременно догладить белье. Может быть, это просто расстройство желудка, нельзя же бежать домой, чуть у тебя заболит живот! И она взялась было за мужские сорочки, как вдруг вся побелела. Ей все-таки пришлось бросить работу, и она побрела к себе, согнувшись в три погибели, хватаясь за стены. Одна из работниц предложила проводить ее, но Жервеза не позволила и попросила только зайти к повитухе, жившей поблизости, на улице Шарбоньер. Дело пока не горит. Наверно, она проканителится всю ночь. Вернувшись домой, она собиралась еще приготовить обед для Купо, а потом прилечь на кровать, не раздеваясь. Но на лестнице ее вдруг так скрутило, что пришлось сесть тут же на ступеньке; она крепко зажимала рот кулаками, чтобы не закричать: она бы сгорела со стыда, если б ее застал здесь кто-нибудь из мужчин. Но вот боли утихли, она встала, отперла дверь и с облегчением подумала, что, может быть, ошиблась. Сегодня она хотела приготовить на обед рагу из бараньих ребрышек. Пока Жервеза чистила картошку, она чувствовала себя неплохо, но едва поставила баранину тушиться в чугунке, как снова начались схватки. Она размешивала подливку, топчась у плиты, а по лицу у нее катились крупные слезы. Ну что ж, может, она и родит, но это вовсе не значит, что муж должен сидеть без обеда. Наконец рагу было готово и тихо шипело на остывающих углях. Жервеза вернулась в комнату, думая, что еще управится и накроет на стол для Купо. Она успела поставить бутылку вина, но добраться до кровати у нее уже не хватило сил,— она упала и родила тут же прямо на полу. Повитуха пришла через четверть часа и приняла ребенка.

Кровельщик по-прежнему работал на постройке больницы. Жервеза запретила посылать за ним. Когда в семь часов он вернулся домой, она лежала на кровати очень бледная, тепло укутанная в одеяло. Запеленатый в шаль младенец плакал в ногах у матери.

— Бедная моя женушка! — воскликнул Купо, целуя ее.— Пока я зубоскалил и веселился, ты тут мучилась и кричала... Однако ловко ты справляешься, словно пирожки печешь. Не успеешь чихнуть, и готово!

Она слабо улыбнулась и прошептала:

— Девочка...

— Отлично! — подхватил Купо, балагуря, чтобы ее подбодрить.— Я дочку и заказывал! И вот пожалуйста — получай! Ты всегда будешь делать все, что я захочу?

Потом он взял на руки малютку и продолжал:

— Дайте-ка поглядеть на вас, маленькая замарашка! Ого, какая красная мордочка! Ну ничего, скоро побелеет. Веди себя прилично, не будь потаскушкой, расти большая и умная, как мама и папа.

Жервеза серьезно смотрела на дочь широко открытыми, затуманившимися от грусти глазами. Она покачала головой: ей больше хотелось мальчика, ведь мальчику куда легче пробить себе дорогу, его подстерегает меньше опасностей в этом страшном Париже. Повитуха отобрала младенца у Купо. Она запретила Жервезе разговаривать: и так здесь слишком шумно. Тогда кровельщик сказал, что надо бы сообщить новость мамаше Купо и Лорийе, но он умирает с голоду и сперва хочет пообедать. Роженица не могла спокойно смотреть, как Купо сам накрывает на стол, сам бегает в кухню за рагу, ест все подряд из глубокой тарелки и никак не может отыскать хлеб. Несмотря на запрещение повитухи, она громко причитала и вертелась под одеялом. Экая досада, что она не успела поставить прибор,— от боли сразу свалилась на пол, будто ее стукнули дубинкой. Муж, бедняга, должно быть, обижается на нее: он не может толком пообедать, а она валяется в кровати. Да уварилась ли картошка? Она уж и не помнит, посолила ли ее.

— Замолчите вы наконец! — крикнула повитуха.

— Да разве ее уймешь,— сказал Купо с набитым ртом.— Если б вас тут не было, ей-богу, она бы вскочила нарезать мне хлеба... Лежи ты смирно, дуреха! Если будешь прыгать, проваляешься две недели... Рагу очень вкусное, не волнуйся. Сударыня, поешьте со мной, ведь вы не откажетесь?

Повитуха сказала, что есть ничего не будет, но с удовольствием выпьет стаканчик вина: уж очень она расстроилась, увидев несчастную роженицу вместе с младенцем прямо на полу.

Наконец Купо ушел сообщить новость родне. Через полчаса он вернулся и привел с собой всю семью: мамашу Купо, чету Лорийе и г-жу Лера, которую как раз застал у сестры. Видя, что Купо преуспевают, Лорийе стали очень любезны, они на все лады расхваливали Жервезу, однако при этом с таинственным видом пожимали плечами, подмигивая и покачивая головой, как будто чего-то не договаривали. Словом, они знают, что знают, но не хотят перечить мнению всего квартала.

— Я привел к себе всю ораву! — закричал Купо.— Ничего не попишешь,— они хотят на тебя поглядеть... Но ты лежи и прикуси язычок, тебе не велено разговаривать. Они смирненько посидят и посмотрят на тебя, без всяких церемоний, идет? А я сварю им кофе, да еще какого!

И он исчез в кухне. Мамаша Купо расцеловала Жервезу и принялась восхищаться малюткой: этакая толстушка! Золовки тоже громко чмокнули роженицу в обе щеки. Затем, стоя возле кровати, они принялись ахать и охать, обсуждая событие во всех подробностях. Вот уж, право, необыкновенные роды: раз, два — и готово! Будто зуб выдернули. Г-жа Лера со всех сторон осмотрела малютку и, заявив, что она хорошо сложена, многозначительно добавила, что из нее выйдет женщина хоть куда; но потом она нашла, будто у малютки слишком острая головка, и, не обращая внимания на крики младенца, стала легонько приминать ее, чтобы закруглить. Г-жа Лорийе рассердилась и вырвала у нее девочку из рук: разве можно тискать нежное темечко, ведь этак у ребенка могут появиться бог знает какие пороки! Затем она принялась рассматривать новорожденную, отыскивая сходство с родителями. Тут все чуть не перессорились. Лорийе стоял позади женщин, вытянув шею, и твердил, что девочка нисколько не похожа на Купо, разве что носик, пожалуй, да и то чуть-чуть! Она вылитая мать — смотрите, какие глаза; таких глаз ни у кого нет в их семье.

А Купо все не появлялся. Слышно было, как он воюет на кухне с плитой и грохочет кофейником. Жервеза была сама не своя: ну мужское ли это дело варить кофе! И она кричала ему, что́ и как надо делать, не слушая унимавшей ее повитухи.

— Да заткнешься ли ты наконец! — воскликнул Купо, входя с кофейником в руках.— Пристала как пиявка. Все ей неймется. Пить будем из стаканов, потому что чашки остались в магазине. Понятно?

Все уселись вокруг стола, и Купо взялся сам разливать кофе. Аромат у него замечательный, это вам не бурда из закусочной! Повитуха, смакуя, допила свой стакан и ушла: все идет гладко, теперь она не нужна; если за ночь роженице станет хуже, пусть за ней пришлют утром. Не успела она сойти с лестницы, как

г-жа Лорийе обозвала ее бесстыдницей и дармоедкой. Ишь ты, кладет четыре куска сахару на стакан, загребает пятнадцать франков, а потом бросает роженицу одну. Но Купо вступился за повитуху: он охотно заплатит ей пятнадцать франков, ведь акушерки проводят за ученьем всю молодость, не зря они так дорого берут. Тут Лорийе затеял спор с г-жой Лера: он уверял, что, если хочешь, чтобы родился мальчик, надо поставить кровать изголовьем к северу, а она, пожимая плечами, говорила, что это ерунда; есть другое верное средство: надо незаметно подсунуть жене под тюфяк пучок свежей крапивы, сорванной на солнцепеке. Стол пододвинули к кровати, и до десяти часов все сидели возле Жервезы. А она, во власти непреодолимой усталости, лежала, тупо улыбаясь, откинув на подушку отяжелевшую голову; она все видела и слышала, но у нее не было сил ни пошевелиться, ни вымолвить слово: ей казалось, будто она умерла, но смерть эта легка и приятна; ей было отрадно смотреть словно из иного мира на жизнь своих близких. Порой раздавался тонкий писк новорожденной, вплетаясь в грубые голоса взрослых, которые на все лады обсуждали убийство на улице Бон-Пюи, в дальнем конце квартала Ля Шапель.

Когда гости уже собирались уходить, разговор зашел о крестинах. Лорийе согласились быть крестными малютки; правда, они состроили при этом довольно постные мины, но, наверно, были бы обижены, если б с этой просьбой обратились к другим. Купо вовсе не считал обязательным крестить девочку: десяти тысяч в приданое это ей не принесет, будьте уверены, а вот простудиться она может, и даже очень просто! Вообще чем меньше имеешь дела с попами — тем лучше. Но мамаша Купо обозвала его безбожником. Лорийе, хотя и не очень-то часто наведывались в церковь, все же кичились своей набожностью.

— Давайте назначим крестины на воскресенье, идет? — предложил золотых дел мастер.

Жервеза кивнула в знак согласия, и все расцеловали ее на прощание, пожелав скорее выздоравливать. Попрощались и с малюткой. Каждый подходил и наклонялся над маленьким дрожащим тельцем, улыбался и говорил нежные словечки, как будто крошка могла их понять. Ее называли Нана́, уменьшительным от Анны, имени ее крестной матери.

— Спокойной ночи, Нана! Будь паинькой, Нана, расти красавицей...

Когда все наконец ушли, Купо придвинул свой стул вплотную к кровати и докурил трубку, держа руку Жервезы в своей. Кровельщик был очень растроган; медленно попыхивая трубкой, он ронял короткие фразы:

— Ну как, старушка? Гости совсем заморочили тебе голову?

Понимаешь, я не мог запретить им прийти. Ведь это все-таки доказывает их доброе отношение... Но нам гораздо лучше одним... верно? Мне все время хотелось побыть немножко вот так, вдвоем с тобой. И вечер казался таким длинным. Бедная моя курочка! Ей было так больно! Когда эти малявки вылезают на свет, им и дела нет, что по их милости кто-то мучается! Наверно, кажется, будто тебе вспороли живот... Где у тебя болит? Дай, я поцелую.

Он осторожно просунул под спину жене свою сильную руку, приподнял ее и поцеловал в живот через простыню, охваченный жалостью грубого мужчины к страдающей женской плоти. Он спрашивал, не делает ли ей больно, и предлагал подуть, чтобы стало легче. Жервеза была счастлива. Она клялась, что уже все прошло. Она только хотела поскорее встать на ноги, потому что теперь ей уж никак нельзя прохлаждаться. Но он ее успокаивал. Неужели он сам не прокормит малышку? Он был бы просто подлецом, если б взвалил все заботы о дочке на Жервезу. Сделать ребенка — штука не хитрая, главное его прокормить, верно?

В эту ночь Купо не сомкнул глаз. Он следил, чтобы не погасла печка, и каждый час вставал и поил малютку с ложечки подслащенной водой. Но это не помешало ему, как всегда, отправиться утром на работу. В обеденный перерыв он даже урвал минутку и сбегал в мэрию записать ребенка. Тем временем соседи известили г-жу Бош, и она пришла посидеть у больной. Но Жервеза, проспав десять часов подряд, жаловалась, что от лежанья у нее разламывается спина и валяться ей больше невмоготу. Если ей не позволят встать, она и вправду заболеет. Вечером, когда Купо вернулся домой, она стала ему жаловаться: конечно, она вполне доверяет г-же Бош, но все-таки видеть не может, как кто-то хозяйничает в ее комнате, роется в ящиках, трогает ее вещи. На другой день привратница сбегала в лавочку и, вернувшись, застала Жервезу уже одетой и на ногах: она подметала комнату и готовила мужу обед. Больше ее так и не удалось уложить. Да что они, смеются над ней, что ли? Все эти нежности хороши для важных барынь. А у бедняков нет на это времени. Спустя три дня после родов Жервеза уже гладила юбки у г-жи Фоконье и, обливаясь потом, ворочала утюги на раскаленной плите.

В субботу вечером г-жа Лорийе принесла крестнице подарки: чепчик за тридцать пять су и плиссированное крестильное платьице, отделанное кружевцем,— оно было не новое, и его отдали за шесть франков. Назавтра Лорийе, как крестный отец, преподнес роженице шесть фунтов сахара. Словом, они не ударили в грязь лицом. На обед, который Купо устроил в тот же вечер, они тоже пришли не с пустыми руками: муж принес под мышкой две запечатанные бутылки вина, а жена — круглый торт, купленный у очень известного кондитера на улице Клиньянкур. Но оказа-

лось, что Лорийе раззвонили о своей щедрости на всю улицу: они истратили почти двадцать франков! Жервеза, узнав об этих пересудах, чуть не задохнулась от возмущения и с тех пор перестала доверять их любезностям.

На крестильном обеде Купо окончательно сблизились с соседями. В квартирке напротив, на одной площадке с Купо, жили мать и сын Гуже. До этого дня Купо только раскланивались с ними, встречаясь на лестнице или на улице; соседи казались довольно нелюдимыми. Но на другой день после родов г-жа Гуже принесла Жервезе ведро воды, и та решила, что следует пригласить соседей к обеду, тем более что они были ей по душе. И тут знакомство состоялось.

Гуже приехали из Северного департамента. Мать занималась починкой кружев, а сын работал кузнецом на гвоздильной фабрике. Они уже пять лет жили в этом доме. За их скромной, тихой жизнью скрывалось большое горе: когда они жили в Лилле, отец Гуже, напившись до потери рассудка, убил ломом товарища и, попав в тюрьму, повесился на собственном шейном платке. После этого несчастья его вдова и сын переехали в Париж, но давнее преступление по-прежнему тяготило их, и они старались искупить его безупречной честностью, мужеством и добротой. В конце концов они даже стали чуть-чуть гордиться собой, убедившись, что есть люди и похуже их. Г-жа Гуже ходила во всем черном, монашеский чепец обрамлял ее бледное, спокойное лицо; белизна кружев и тонкая работа, которой она занималась, казалось, наложили на ее строгий облик отпечаток чистоты. Гуже был здоровенный двадцатитрехлетний великан, прекрасно сложенный, краснощекий, голубоглазый и сильный, как Геркулес. Товарищи по мастерской прозвали его Желтая Борода за его красивую русую бороду.

Жервеза сразу почувствовала к этим людям горячую симпатию. Когда она попала к ним в первый раз, ее поразила чистота их квартиры. Все так и сверкало, нигде ни пылинки! А пол блестел, как зеркало. Г-жа Гуже показала Жервезе комнату сына. Беленькая, нарядная, она была похожа на девичью спальню: узкая железная кровать с муслиновым пологом, туалетный столик, письменный стол, над ним полка для книг, а стены сплошь увешаны картинками, вырезанными из бумаги фигурками, цветными гравюрами и всевозможными портретами из иллюстрированных журналов. Мамаша Гуже сказала, улыбаясь, что сын ее — большой ребенок: вечером, устав от чтения, он забавляется, разглядывая картинки. Жервеза незаметно провела у соседки целый час, пока та сидела за пяльцами у окна. Молодая женщина с интересом рассматривала кружево, заколотое множеством булавок, и была счастлива в этой атмосфере чистоты и покоя; ей нрави-

«Западня»

«Западня»

лась сосредоточенность и тишина, каких требовала эта кропотливая работа.

Чем чаще Жервеза бывала у Гуже, тем больше ценила их. Они трудились с утра до ночи и откладывали четверть заработка на сберегательную книжку. Соседи почтительно раскланивались с ними и с уважением говорили об их бережливости. Гуже всегда ходил аккуратно одетый, в рабочей куртке без единого пятнышка. Он был очень вежлив, даже немного робок, несмотря на свои широченные плечи. Прачки в конце улицы смеялись, глядя, как он проходит мимо, скромно потупив глаза. Он не выносил их соленых словечек, ему было противно, что эти женщины вечно говорят гадости. Но как-то случилось, что он пришел домой пьяный. Тогда мать, ни словом не упрекнув его, поставила перед ним портрет отца,— грубо намалеванный портрет, который она хранила на дне комода. И после этого урока Гуже всегда пил в меру, только чтоб утолить жажду, хотя он не чувствовал отвращения к вину: ведь без вина рабочему человеку не обойтись. По воскресеньям он ходил гулять под руку с матерью; чаще всего они отправлялись в Венсенский лес, но иногда он водил ее и в театр. Мать он просто обожал и слушался ее, как будто все еще был маленьким мальчиком. Упрямый, тяжеловесный, с медлительными движениями молотобойца, он чем-то напоминал большое животное, туповатое и добродушное.

Первое время Гуже очень стеснялся Жервезы. Однако прошло несколько недель, и он к ней привык. Он поджидал ее, чтобы помочь отнести узлы с бельем, обращался с ней с грубоватой фамильярностью, как с сестрой, и вырезал для нее картинки. Но вот, как-то утром, он вошел к Купо, не постучав, и застал ее полураздетой за умываньем. После этого он целую неделю не смотрел ей в глаза, так что и она в конце концов стала краснеть при встрече с ним.

Купо, бойкий и развязный, настоящий парижанин, считал Гуже простофилей. Конечно, хорошо, что он не пьяница, не пристает на улице к девчонкам, но все же мужчина должен быть мужчиной, иначе пусть уж просто носит юбку! Он высмеивал его в присутствии Жервезы и уверял, будто тот заигрывает со всеми красотками в квартале, а «сердцеед» Гуже яростно защищался. Однако это не мешало им быть добрыми друзьями. Они поджидали друг друга по утрам, вместе шли на работу и по дороге домой иногда выпивали по кружке пива. После крестин они перешли на «ты»: когда говоришь «вы», получается слишком длинно. Но дальше их дружба не шла, пока Желтая Борода не оказал Смородинному Листу крупную услугу — такую услугу, о которой помнят всю жизнь. Дело было второго декабря. Кровельщик ради смеха надумал пойти поглядеть на восстание; но

правде говоря, ему было наплевать и на Бонапарта, и на Республику, и вообще на всю эту шумиху,— просто он любил запах пороха, его веселили выстрелы. И Купо, наверно, сцапали бы у баррикады, если б тут случайно не оказался кузнец, который заслонил его своим могучим телом и помог удрать. Возвращаясь по улице Фобур-Пуассоньер, Гуже шел крупным шагом, сердито нахмурившись. Он интересовался политикой и был республиканцем, но умеренным: стоял за справедливость и за благо народа. Однако в перестрелке он не участвовал и объяснил почему: нечего народу таскать из огня каштаны для буржуазии, которая потом все равно сядет ему на шею; в феврале и июне рабочие получили хороший урок; теперь-то уж предместья не станут лезть в драку, пусть город сам разделывается, как знает. Затем, поднявшись в гору по улице Пуассонье, Гуже обернулся и поглядел на Париж: а все же там внизу затевается грязное дело, народ когда-нибудь раскается, что смотрел на все эти козни и сидел сложа руки. Но Купо посмеивался, обзывая ослами тех, кто рискует собственной шкурой ради того, чтобы проклятые бездельники, заседающие в палате, получали свои двадцать пять франков. Вечером Купо пригласил мать и сына Гуже поужинать. За сладким Смородинный Лист и Желтая Борода расцеловались в обе щеки. Теперь они стали друзьями до гроба.

Три года жизнь двух семей по обе стороны площадки текла спокойно, без всяких событий. Жервеза нянчила дочку и умудрялась терять не больше двух рабочих дней в неделю. Она стала искусной гладильщицей и зарабатывала до трех франков в день. Теперь она решила отдать Этьена, которому уже исполнилось семь лет, в небольшой пансион на улице Шартр, где за ученье брали сто су. Несмотря на то что Купо растили двух детей, они каждый месяц откладывали на книжку двадцать, а то и тридцать франков. Когда они накопили шестьсот франков, Жервеза потеряла покой: ее преследовала честолюбивая мечта подыскать небольшое помещение, нанять работниц и открыть собственную прачечную. Она все уже высчитала. Если дело пойдет, через двадцать лет они скопят небольшой капитал и заживут где-нибудь в деревне на ренту. Но она никак не могла решиться. Она говорила, что не спеша присматривает помещение, а сама старалась все хорошенько обдумать: ведь деньги лежат и есть не просят, напротив — даже дают приплод. За три года Жервеза осуществила только одну мечту: купила в рассрочку большие часы из палисандрового дерева с витыми колонками и блестящим медным маятником; ей пришлось выплачивать за них целый год — по двадцать су в неделю. Она сердилась, когда Купо пытался их заводить, она одна имела право снимать с них стеклянный колпак; Жервеза протирала колонки с таким благоговением, будто комод с мра-

морной доской превратился в алтарь. Под колпаком, за часами, она прятала сберегательную книжку. И часто, мечтая о своей прачечной, она надолго забывалась, пристально следя за движением стрелок, как будто ждала особой, торжественной минуты, чтобы принять наконец решение.

Почти каждое воскресенье супруги Купо отправлялись вместе с Гуже на прогулку. Они очень славно проводили время: заходили поесть жареной рыбы в Сент-Уэне или кролика в Венсене и посидеть в садике перед трактиром, без всяких затей. Мужчины пили в меру и возвращались домой в полном порядке, ведя под руку дам. Вечером, перед сном, они вместе подсчитывали расходы, делили их пополам и никогда не спорили из-за лишнего су. Лорийе ревновали Купо к семейству Гуже. Чудно, ей-богу, что Смородинный Лист и Хромуша вечно якшаются с чужими, когда у них есть своя родня. Нечего сказать, хороши — просто плюют на родичей! Скопили три гроша — и уже задрали нос! Г-жа Лорийе, уязвленная тем, что брат ускользает у нее из рук, снова принялась обливать Жервезу грязью. А г-жа Лера, напротив, стала на сторону Жервезы и в защиту ей выдумывала нелепые истории, будто вечером на бульваре Хромушу пытались соблазнить какие-то негодяи, а она вела себя как героиня из романа и спасла свою честь, отвесив им пару оплеух. Что до мамаши Купо, то она старалась всех примирить и жить в ладу со всеми детьми; зрение ее все слабело, она помогала по хозяйству только в одной семье и была рада перехватить несколько франков и у тех и у других.

В тот день, когда Нана исполнилось три года, Купо, придя домой с работы, заметил, что Жервеза сама не своя. Но она не захотела объяснять причины и уверяла, будто ровно ничего не случилось. Однако, видя, что Жервеза не может даже толком накрыть на стол и вдруг застывает, задумавшись, с тарелками в руках, Купо решительно потребовал, чтоб она сказала, в чем дело.

— Ну ладно, скажу,— проговорила она наконец.— Мелочная лавочка на улице Гут-д'Ор сдается внаем... Час тому назад я ходила за нитками и видела сама... Меня просто всю перевернуло.

Речь шла о маленькой, очень удобной лавочке, в том самом большом доме, где они когда-то мечтали поселиться. Сдавалось все помещение: лавка, комната позади нее и две клетушки слева и справа,— словом, как раз то, что им нужно; правда, комнатки очень маленькие, но зато они хорошо расположены. Жервезу пугала только цена: хозяин просит пятьсот франков в год...

— Значит, ты уже осмотрела ее и узнала цену? — спросил Купо.

— Просто так, из любопытства,— ответила она притворно равнодушным тоном.— Когда ищешь, заглядываешь туда, где ви-

сит объявление... ведь это ни к чему не обязывает... Но тут, разумеется, слишком дорого. И вообще, может быть, глупо нам заводить свое дело...

Однако после обеда Жервеза снова заговорила о пустующей лавочке. Она даже нарисовала план на полях газеты. И мало-помалу так увлеклась, что стала прикидывать, как можно разместиться в этих комнатах, словно ей завтра предстояло перебираться и расставлять там мебель. Тогда Купо, видя, как она загорелась, стал уговаривать ее снять помещение; меньше чем за пятьсот франков она наверняка не найдет ничего подходящего, к тому же можно еще поторговаться с хозяином: авось сбавит цену. Одно досадно — тогда им придется жить в одном доме с Лорийе, а ведь она их терпеть не может. Но тут Жервеза рассердилась: разве она кого-нибудь ненавидит? Ей до того хотелось снять лавочку, что она даже принялась защищать Лорийе; в сущности, они вовсе не плохие люди, она отлично с ними поладит. И когда они легли, когда Купо уже заснул, она еще долго обдумывала, как она все устроит, хотя и не приняла окончательного решения.

Наутро, оставшись одна, она не могла удержаться от соблазна, сняла колпак с часов и заглянула в сберегательную книжку. Подумать только, что вся ее прачечная находится здесь, на этих грязных, исписанных каракулями листках! Прежде чем уйти из дома, она посоветовалась с г-жой Гуже, и та поддержала ее намерение завести свое дело: с таким мужем, как у нее, человеком верным и непьющим, она быстро станет на ноги и, конечно, не прогорит. В обеденный перерыв Жервеза решила зайти к Лорийе и спросить их мнение: она не хотела, чтобы говорили, будто она делает что-то тайком от родных. Г-жа Лорийе была ошеломлена. Как! Хромуша вздумала открыть собственную прачечную? Она чуть не лопнула от злости, но прикинулась, будто очень рада, и пробормотала сквозь зубы, что лавка удобная и Жервеза правильно сделает, если ее снимет. Однако, опомнившись, Лорийе заговорили о том, что двор очень сырой, а в нижнем этаже всегда темно. Да, там недолго нажить ревматизм! Впрочем, если для нее это вопрос решенный, то не станет же она считаться с их мнением...

Вечером Жервеза, смеясь, призналась Купо, что если б ей не удалось снять эту лавочку, она просто захворала бы от огорчения. Однако прежде чем сказать — «решено», она попросила мужа самого все осмотреть и поторговаться с хозяином.

— Ну что ж, пойдем хоть завтра,— сказал Купо.— Заходи за мной к шести часам на улицу Наций, а на обратном пути завернем на улицу Гут-д'Ор.

Купо заканчивал крышу нового четырехэтажного дома. В этот день он уже укреплял последние листы. Крыша была почти пло-

ская, и он устроил себе на ней стол, положив на двух козлах широкую доску. Яркое майское солнце, опускаясь, золотило трубы. И, вырисовываясь высоко в ясном небе, кровельщик спокойно резал листы большими ножницами, склонившись над столом, совсем как портной, который кроит брюки. Тут же на крыше, возле стены соседнего дома, его помощник, щуплый белобрысый парнишка лет семнадцати, раздувал огонь в жаровне огромными мехами, и при каждом их дыхании вздымалась туча сверкающих искр.

— Эй, Зидор! Приготовь паяльник! — крикнул Купо.

Зидор сунул паяльник в горячие угли, казавшиеся бледно-розовыми при дневном свете, и снова принялся их раздувать. Купо взял последний лист. Его надо было прикрепить у самого карниза, возле водосточной трубы; здесь начинался короткий крутой скат и зияла дыра, в которую была видна улица. Кровельщик работал в веревочных туфлях; чувствуя себя как дома, он подошел к краю крыши, шаркая ногами и насвистывая «Стой, барашек, не беги!». Дойдя до дыры, он скользнул вниз, уперся коленом в каменную печную трубу, присел и наполовину повис в воздухе. Одна нога у него болталась над улицей. Поворачиваясь и окликая этого разиню Зидора, он хватался рукой за край трубы, чтобы не свалиться вниз, на тротуар.

— Эй ты, растяпа! Давай паяльник! Ну что ты уставился в небо, болван? Думаешь, тебе посыплются в рот жареные рябчики?

Но Зидор не спешил. Глазея по сторонам, он увидел густой дым вдали, на том конце Парижа, около Гренеля. А вдруг это пожар? Однако он все же подошел, растянулся на животе, наклонился над дырой и передал Купо паяльник. Кровельщик начал припаивать лист. Порой он вытягивался, порой сжимался в комок и ловко сохранял равновесие, то опираясь носком, то прислонившись боком, то цепляясь одним пальцем. Он работал с чертовской самоуверенностью, с дерзким спокойствием и двигался беспечно, пренебрегая опасностью. Он свое дело знает и ничего не боится. Пускай улица боится за него! Он не расставался с трубкой и время от времени спокойно оборачивался и сплевывал вниз.

— Ишь ты! Ведь это госпожа Бош! — воскликнул он вдруг.— Эй! Госпожа Бош!

Он заметил, что привратница переходит улицу. Она подняла голову и узнала его.

И начался разговор между тротуаром и крышей. Привратница стояла, задрав кверху голову и спрятав руки под передником, а Купо свесился, ухватившись левой рукой за трубу.

— Вы не видали моей жены? — спросил он.

— Нет, не видала,— ответила привратница.— А вы ее ждете?

— Она обещала зайти за мной... Как там у вас, все здоровы?

— Спасибо, здоровы, одна я что-то кисну... Вот собралась на улицу Клиньянкур, хочу купить баранью ножку. Мясник возле Мулен-Ружа запросил за ножку шестнадцать су.

Они старались перекричать грохот повозки, катившейся по широкой пустынной улице Наций; их громкие голоса привлекли внимание какой-то старушонки, высунувшейся из окна; теперь она оперлась о подоконник и уставилась на человека, стоявшего перед ней на крыше, как будто ожидала захватывающего зрелища и надеялась, что он того и гляди свалится вниз.

— Ну ладно, до свиданья! — крикнула г-жа Бош.— Не стану вам мешать.

Купо повернулся и взял паяльник из рук Зидора. Г-жа Бош не прошла и двух шагов, как заметила на другой стороне улицы Жервезу, державшую за руку Нана. Привратница уже подняла голову, собираясь крикнуть об этом кровельщику, но Жервеза остановила ее, энергично замахав рукой. И молодая женщина тихонько, чтоб не услышал муж, поведала привратнице свои опасения: она боится сразу показаться на глаза Купо; от неожиданности он может вздрогнуть и свалиться. За четыре года она всего один раз приходила к нему на работу. Сегодня это второй. Она не может на него смотреть, кровь у нее леденеет, когда она видит, как он работает между небом и землей, там, куда не залетают и воробьи.

— Еще бы, это не очень приятно,— пробормотала г-жа Бош.— Мой-то портной, мне нечего бояться.

— Если б вы знали,— продолжала Жервеза,— первое время я с утра до ночи не находила покоя. Мне вечно мерещилось, что его несут на носилках с разбитой головой... Теперь я уж меньше об этом думаю. Ко всему привыкаешь... Каждый должен зарабатывать на кусок хлеба... Но ему хлеб слишком дорого достается, в любую минуту он может заплатить за него жизнью.

Она замолчала и спрятала Нана, закрыв девочку подолом, из страха, что та закричит. Жервеза стояла с побелевшим лицом, не в силах отвести глаз от крыши. Купо как раз припаивал нижний край листа у водосточной трубы; он перегнулся сколько мог, но не доставал до карниза. Тогда он рискнул отпустить руку и сделал шаг вперед, со свободной и тяжеловесной уверенностью опытного рабочего. На минуту он повис над улицей, не держась, и спокойно занимался своим делом. А снизу было видно, как он старательно водит паяльником, из которого вырывается белый огонек. У Жервезы от страха перехватило дыхание; молча стиснув руки, она невольно подняла их вверх, словно умоляя кого-то. Но вот у нее вырвался глубокий вздох. Купо не спеша сплюнул и спокойно поднялся на крышу.

— Вот как! Ты шпионишь за мной? — весело закричал он,

заметив жену.— Что, госпожа Бош, небось натерпелась она страху? Боялась меня окликнуть... Подожди, я скоро кончу, управлюсь за десять минут.

Ему осталось приладить колпачок к трубе — пустяковое дело! Жервеза и г-жа Бош стояли на тротуаре, болтали о том о сем и приглядывали за Нана, которая порывалась залезть в канаву и наловить рыбок; обе женщины посматривали на крышу и, улыбаясь, кивали Купо головой, как бы говоря, что они его не торопят. Старушонка в доме напротив не отходила от окна и смотрела на кровельщика, словно чего-то дожидаясь.

— Что она уставилась, эта ведьма? — сказала г-жа Бош.— Вот гнусная рожа!

Сверху доносился громкий голос кровельщика, он пел: «Хорошо рвать землянику!» Теперь, склонившись над столом, он разреза́л оцинкованный лист с ловкостью искусного мастера. Начертив циркулем круг, он кроил широкий веер большими кривыми ножницами; затем, тихонько постукивая молотком, изогнул его, придав форму островерхой шляпки гриба. Зидор тем временем снова принялся раздувать угли в жаровне. Солнце садилось за домом, и его ярко-розовый свет, постепенно бледнея, переходил в нежно-лиловый. В этот тихий вечерний час силуэты двух рабочих казались непомерно длинными, четко вырисовываясь в ясном прозрачном небе рядом с темной полосой стола и причудливыми очертаниями мехов.

Когда колпак был готов, Купо снова крикнул:

— Зидор! Давай паяльник!

Но Зидор куда-то исчез. Кровельщик, ругаясь, поискал его глазами и окликнул через открытое чердачное окно. Наконец он увидел его на соседней крыше через два дома от них. Бездельник разгуливал как ни в чем не бывало: он любовался, прищурив глаза, на раскинувшийся внизу громадный город, а ветер трепал его жидкие волосы.

— Эй ты, шалопай! Думаешь, ты на даче? — закричал, обозлившись, Купо.— Или, может, сочиняешь стихи? Тоже мне Беранже! Сейчас же давай паяльник! Слыханное ли дело? Шляется туда-сюда по крышам! Ты бы еще подружку сюда привел да разводил бы с ней шуры-муры! Дашь ты мне наконец паяльник, сукин сын!

Он кончил паять и крикнул Жервезе:

— Вот и готово! Сейчас спущусь.

Труба, к которой он прилаживал колпак, была посередине крыши. Жервеза успокоилась и с улыбкой следила за его движениями. Нана вдруг увидела отца и, обрадовавшись, захлопала в ладоши. Она уселась на тротуар, чтобы было удобнее смотреть вверх.

— Папа, папа! — закричала она изо всех сил.— Папа! Посмотри на меня!

Кровельщик хотел нагнуться, но нога у него скользнула... И вдруг он покатился вниз — непонятно, нелепо, как кошка, у которой перебили лапы, покатился вниз по крыше, тщетно пытаясь за что-нибудь ухватиться.

— Черт возьми! — пробормотал он хриплым голосом.

И упал. Тело его описало чуть изогнутую дугу, два раза перевернулось в воздухе и с глухим стуком шлепнулось на середину мостовой, как будто сверху сбросили тюк белья.

Жервеза дико закричала, всплеснула руками и словно окаменела. Сбежались прохожие, вокруг Купо собралась толпа. У потрясенной г-жи Бош подкашивались ноги, но она схватила Нана, чтобы загородить от нее тело. А старушонка напротив, видимо вполне удовлетворенная, спокойно затворила окно.

Наконец четверо мужчин перенесли Купо в аптеку на углу улицы Пуассонье, и он пролежал там чуть ли не целый час на одеяле, пока бегали в больницу Ларибуазьер за носилками. Он еще дышал, но, глядя на него, аптекарь с сомнением покачивал головой. Теперь Жервеза стояла рядом с мужем на коленях и безудержно рыдала, ничего не видя от слез, оглушенная, отупевшая. Она осторожно протягивала руки и легонько прикасалась к нему, но тут же отдергивала их, оглядываясь на аптекаря, который запретил ей трогать пострадавшего. А через минуту, не в силах удержаться, она снова тянулась к мужу, чтобы убедиться, что он еще не остыл, не зная, как ему помочь. Когда наконец пришли с носилками, чтобы доставить Купо в больницу, Жервеза вскочила и отчаянно закричала:

— Нет, нет! Только не в больницу!.. Мы живем на Новой улице в квартале Гут-д'Ор.

Тщетно ее пытались отговорить: ведь если она возьмет больного домой, лечение обойдется очень дорого. Она упорно повторяла:

— Новая улица, Новая улица... Я покажу, куда нести... Вам-то что за дело? У меня есть деньги... Это мой муж. Я хочу, чтоб он был со мной.

И им пришлось отнести Купо домой. Когда носилки тащили сквозь толпу, собравшуюся возле аптеки, соседки с одобрением говорили о Жервезе: вот это баба! Даром что хромая, а своего добьется, молодчина, право слово. Уж она поставит мужа на ноги, а в больнице разве будут возиться с таким тяжелым больным? Известное дело, доктора от них отмахиваются, они не любят канителиться с калеками! Г-жа Бош уже отвела Нана домой и, вернувшись, вне себя от волнения рассказывала собравшимся все подробности происшествия.

— Я только вышла купить баранью ножку, я стояла вот здесь и своими глазами видела, как он упал,— повторяла она.— Это случилось из-за девчонки, он хотел взглянуть на нее,— и бабах! Ах ты господи! Не приведи бог увидеть такое еще раз... Однако мне все-таки надо сходить за бараньей ножкой...

Целую неделю Купо был совсем плох. Родные, соседи, все кругом, с минуты на минуту ждали, что он отдаст богу душу. Доктор — очень дорогой врач, который брал пять франков за визит,— боялся внутренних повреждений; эти слова всех пугали, соседи говорили, что у кровельщика от сотрясения оборвалось сердце. Одна Жервеза, побледневшая от бессонных ночей, серьезная и полная решимости, только пожимала плечами. У ее мужа сломана правая нога — это верно, все это знают; ну что ж, ногу ему залечат, вот и все. А что сердце будто оборвалось — это чепуха. Она сумеет укрепить ему сердце! Она знает, как это делается: нужны только чистота, заботливый уход и преданность. Она была твердо убеждена в этом и верила, что спасет его, если будет неотступно сидеть при муже, следить за ним, а когда начнется жар, класть руку ему на лоб. Она ни минуты не сомневалась, что выходит его. Целую неделю она провела на ногах, молчаливая, упорная, решив спасти мужа во что бы то ни стало; она забросила детей, забыла соседей, родных — всех на свете. Вечером на девятый день, когда доктор наконец сказал, что ручается за жизнь больного. Жервеза, сразу обессилев, упала на стул как подкошенная и залилась слезами. В эту ночь она согласилась соснуть часок-другой, положив голову на краешек кровати больного.

Несчастье с Купо поставило на ноги всю родню. Мамаша Купо проводила все ночи у Жервезы, но к девяти часам уже засыпала на стуле. Каждый вечер, возвращаясь с работы, г-жа Лера делала большой крюк, чтобы справиться о здоровье брата. Лорийе первое время забегали по два-три раза в день, предлагая подежурить у Купо, и даже принесли Жервезе кресло. Но они сразу стали затевать ссоры из-за того, как надо ухаживать за больным. Г-жа Лорийе утверждала, что на своем веку выходила немало больных, уж ей ли не знать, как браться за дело. Она обвиняла Жервезу, уверяя, будто та оттирает ее от постели брата. Понятно, что Хромуша хочет любой ценой спасти Купо,— еще бы, ведь если б она не пришла на улицу Наций и не помешала ему работать, он бы не свалился. Но если она будет лечить мужа по-своему, то наверняка доконает его.

Когда Жервеза увидела, что Купо вне опасности, она перестала так ревниво его оберегать. Теперь родные уже не могли угрожать его жизни, и она не боялась допускать их к мужу. И родственники заполнили комнату. Выздоровление шло очень медленно, доктор говорил, что оно протянется месяца четыре. Пока ослабевший

кровельщик спал, супруги Лорийе честили Жервезу и называли ее дурой. Какой толк, что она взяла мужа домой? В больнице его поставили бы на ноги вдвое быстрей. Лорийе сам с удовольствием схватил бы какую-нибудь хворь, лишь бы доказать ей, что он, ни минуты не раздумывая, отправится в больницу Ларибуазьер. А г-жа Лорийе знала одну даму, которая недавно оттуда вышла. Так что же вы думаете? Ее утром и вечером кормили курятиной. И оба супруга в двадцатый раз принимались высчитывать, во что обойдутся Купо эти четыре месяца болезни: во-первых, пропавший заработок, во-вторых, доктор и лекарства, а позже хорошее вино и свежее мясо. Если Купо проедят лишь свои сбережения, они еще дешево отделаются; но им наверняка придется залезть в долги, будьте покойны. Ну, это уж их дело. Только пусть они не рассчитывают на родню: родные не так богаты, чтобы содержать больных за свой счет. Тем хуже для Хромуши, вот и все. Надо было поступать как все и отправить мужа в больницу. Вдобавок ко всему она, оказывается, еще и гордячка!

Как-то вечером г-жа Лорийе вдруг злобно спросила:

— А как же ваша лавка? Скоро вы ее снимете?

— И правда,— захихикал Лорийе,— привратник вас ждет не дождется.

Жервеза чуть не задохнулась. Она и думать забыла о лавочке. Но она видела, как злорадствуют родственники при мысли, что ее планы рухнули. С этого вечера Лорийе пользовалась любым предлогом, лишь бы посмеяться над ее несбывшейся мечтой. Если речь заходила о каком-нибудь невыполнимом желании, они предлагали отложить его до тех пор, когда она станет хозяйкой шикарного заведения с витриной на улицу. А уж за ее спиной они издевались вовсю. Ей не хотелось слишком дурно думать о них, но, право, похоже было, что Лорийе радуются несчастному случаю с Купо, помешавшему ей открыть прачечную на улице Гут-д'Ор.

Тогда она стала сама смеяться над собой, чтобы показать им, что не жалеет никаких денег, лишь бы вылечить мужа. Всякий раз, как ей случалось брать при них сберегательную книжку из-под стеклянного колпака, она весело говорила:

— Ну, я пошла снимать лавочку.

Ей не хотелось сразу забирать из кассы все сбережения. Она брала по сто франков, чтобы не держать в комоде целую кучу денег; к тому же она еще смутно надеялась на какое-то чудо: а вдруг Купо выздоровеет раньше срока и ей удастся сохранить хоть часть отложенной суммы? Вернувшись из сберегательной кассы, она старательно записывала на клочке бумаги, сколько денег еще осталось. Она делала это только для порядка. Да, брешь в их сбережениях становилась все больше, но Жервеза с тем же ясным лицом, с той же спокойной улыбкой подводила итоги сво-

его постепенного разорения. Разве не утешение, что эти деньги истрачены на такое важное дело, что они оказались под рукой в тяжелую минуту! И без всякого сожаления она заботливо прятала книжечку за часы, под стеклянный колпак.

Во время болезни Купо мать и сын Гуже были очень внимательны к Жервезе. Г-жа Гуже оказывала ей всевозможные услуги; всякий раз выходя из дому, она спрашивала Жервезу, не нужно ли ей купить сахару, масла или соли; в те дни, когда она варила суп, она всегда предлагала соседке свежего бульона, а видя, что Жервеза не справляется с хозяйством, помогала ей на кухне, мыла посуду. Гуже по утрам забирал ведра Жервезы и приносил ей воду из колонки на улице Пуассонье; на этом она экономила два су. После ужина, если родственники не толпились в комнате больного, Гуже приходили провести с ней вечерок. Часа два, с восьми до десяти, кузнец сидел, покуривая трубку, и смотрел, как Жервеза хлопочет у постели больного. Бывало, он не скажет за вечер и нескольких слов: сидит, втянув русую голову в широченные плечи, и с умилением следит, как Жервеза наливает в чашку горячее питье и осторожно размешивает сахар, стараясь не звякнуть ложечкой. Его трогало до глубины души, когда она подходила к кровати и ласково утешала Купо. Ни разу в жизни он не встречал такой мужественной женщины. И ее нисколько не портила хромота, напротив — она была особым достоинством Жервезы: ведь с больной ногой ей было еще труднее вертеться день-деньской, ухаживая за мужем. С утра до ночи она ни на минуту не присядет, даже чтобы поесть. То и дело бегает в аптеку, прибирает за больным, ничем не брезгуя, и, не жалея сил, наводит чистоту и порядок в комнате, где целый день толчется народ, и при этом никогда не пожалуется, всегда приветлива, хотя к вечеру прямо с ног валится от усталости и чуть не засыпает на ходу. В этой комнате, заставленной лекарствами, в этой атмосфере преданности, кузнец проникался глубоким уважением к Жервезе, видя, как она всем сердцем любит Купо и самоотверженно ухаживает за ним.

— Ну, старина! Вот тебя и склепали! — сказал как-то Гуже выздоравливавшему Купо.— Да я за тебя и не боялся, с такой женушкой — ты как за каменной стеной!

Гуже и сам собирался жениться. Его мать подыскала ему очень порядочную девушку, кружевницу, как и она сама, и от души хотела его обвенчать. Он согласился, чтобы не огорчать ее, был даже назначен день свадьбы — в начале сентября. Деньги на обзаведение уже давно были отложены и дожидались в сберегательной кассе. Но когда Жервеза заговаривала с Гуже о будущей женитьбе, он качал головой и говорил, растягивая слова:

— Другие женщины не похожи на вас, госпожа Жервеза.

Кабы они были такие, как вы, то можно бы жениться хоть и на десяти сразу.

Между тем прошло два месяца, и Купо начал вставать с постели. Он еще еле ходил — несколько шагов от кровати до окна, да и то опираясь на Жервезу. Там он усаживался в кресло Лорийе, вытянув правую ногу на табуретку. Этот зубоскал, который смеялся над людьми, ломающими копыта в гололедицу, никак не мог примириться со своим несчастьем. Он не умел мыслить философски. Два месяца, проведенные в постели, он только и делал, что ругался, проклинал все на свете и всех изводил. Разве это жизнь — круглые сутки валяться на спине, с ногой, твердой, словно деревяшка, и перетянутой, будто сосиска! Право, теперь он изучил потолок как свои пять пальцев, а уж трещину в углу может нарисовать с закрытыми глазами! Потом, когда он водворился в кресле у окна, пошли новые песни. Долго он будет торчать тут на одном месте, точно истукан? Не больно-то весело смотреть с утра до ночи на улицу, где не увидишь ни одного прохожего и откуда вечно несет жавелем! Ей-богу, этак быстро состаришься, он отдал бы десять лет жизни, лишь бы еще разок поглядеть на крепостной вал. И он снова и снова клял свою судьбу. Нет, право, это слишком несправедливо, с ним такого не должно было случиться — ведь он хороший работник, не лентяй, не пьяница. Будь это кто-нибудь другой, он еще мог бы понять.

— Папаша Купо,— говорил он,— разбил себе башку, когда налакался. Я не скажу, что так ему и надо, но все-таки это не удивительно... А я-то был натощак, чист, как младенец, и капли в рот не брал в тот день! И нате, качусь вверх тормашками только потому, что вздумал пошутить с Нана!.. Как хотите, а это уж слишком! Если есть господь бог на небе, то у него там плохие порядки. Никогда я с этим не примирюсь!

И когда он уже твердо стал на ноги, в нем по-прежнему жила глухая обида на свое ремесло. Нет, никчемное это дело — целый день, как кошка, лазить по крыше! Вот буржуа, те не дураки! Посылают вас на погибель, а сами небось трусят — даже близко не подойдут к стремянке: сидят себе в углу у камина, и плевать им на рабочий люд. И Купо договаривался до того, что каждый должен сам мастерить себе крышу. Черт возьми! Ведь это вполне справедливо: не хочешь мокнуть — прикрой свой дом от дождя. Он горько сетовал, что не выучился другому, более приятному и не такому опасному ремеслу, столярному, например. Это уж вина папаши Купо; у всех отцов дурацкий обычай непременно впрягать детей в свои оглобли.

Еще два месяца Купо ходил на костылях. Сначала он только спускался вниз и курил трубку на крыльце. Потом уже мог доковылять до бульвара и часами сидел там, греясь на солнышке. Ма-

по-помалу к нему возвращалась прежняя веселость, и в долгие часы праздности этот зубоскал забавлялся, оттачивая свой острый язык. Но вместе с жизнерадостностью в нем рождалась и любовь к безделью; ему нравилось сидеть, свесив руки, расслабив мускулы, отдаваясь сладкой истоме; казалось, леность постепенно овладевает им и, воспользовавшись его медленным выздоровлением, все глубже проникает в плоть, ослабляя и усыпляя его. Купо возвращался домой веселый, насмешливый, уверял, что жизнь хороша, и не понимал, почему так не может продолжаться и дальше. Когда он стал обходиться без костылей, он начал совершать более далекие прогулки и заглядывал на стройки повидать старых товарищей. Он стоял, сложа руки, под лесами, балагурил, качал головой, подтрунивал над потевшими приятелями и, вытягивая ногу, говорил — вот к чему приводит этот дурацкий труд! Посмеявшись над чужой работой, он уходил удовлетворенный, словно отомстив за свою обиду. Конечно, хочешь не хочешь, придется снова взяться за дело, но только как можно позже. Эх, он дорого поплатился, и у него отбило охоту. К тому же так приятно поваландаться на воле!

Когда Купо было нечем заняться после обеда, он отправлялся к Лорийе. Они очень жалели его и, стараясь заманить к себе, были любезны и внимательны. В первые годы после женитьбы он отдалился от них под влиянием Жервезы. Теперь они старались прибрать его к рукам, подсмеивались над ним и уверяли, что он побаивается жены. Разве он не мужчина, в самом деле! Однако супруги были очень осторожны и лицемерно расхваливали достоинства Жервезы. Купо пока не затевал ссор с женой, но не раз клялся ей, что г-жа Лорийе ее обожает, и просил быть полюбезнее с золовкой. Первая ссора вспыхнула как-то вечером из-за Этьена. Кровельщик провел полдня у Лорийе. Когда он вернулся, обед был еще не готов, и ребята хныкали, прося есть; тут Купо вдруг набросился на Этьена и отпустил ему две звонких оплеухи. А потом ворчал битый час: этот ребенок ему не сын, он и сам не понимает, зачем терпит его в своем доме, кончится тем, что он вышвырнет малого на улицу. До сих пор Купо не затевал историй из-за Этьена. На другой день он повел речь о том, что мальчишка позорит его. Прошло три дня, и Купо уже с утра до вечера пинал его ногой в зад, так что Этьен, едва заслышав шаги отчима на лестнице, убегал к Гуже, и кружевница освобождала ему местечко за столом, чтобы мальчик мог готовить уроки.

Жервеза давно вернулась на работу. Теперь ей не приходилось поднимать и ставить на место колпак от часов: они проели все сбережения; оставалось только работать, работать до седьмого пота, ведь надо было прокормить четыре рта. И она одна работала за всех. Когда соседи жалели ее, она тотчас вступалась за Купо.

Вы только подумайте, сколько он выстрадал! Не мудрено, если характер у него немного испортился. Когда он поправится, это пройдет. А если ей говорили, что Купо уже здоров и мог бы вернуться на работу, она решительно возражала. Нет, нет, еще рано! Она не хочет, чтоб он снова слег. Она-то помнит, что говорил доктор! Ведь она сама уговаривает Купо не работать и каждое утро просит его повременить, обождать еще немного. Жервеза даже потихоньку совала ему несколько монет в жилетный карман. А Купо принимал все как должное; он жаловался, будто у него болит то тут, то там, чтобы она ухаживала за ним; прошло уже полгода, а он все еще выздоравливал. Теперь, когда он отправлялся посмотреть, как работают другие, он охотно заходил с товарищами пропустить стаканчик. Право же, в кабачке было совсем не плохо: можно посмеяться, потолковать о том о сем. Никакого греха тут нет. Только ханжи говорят, что скорее сдохнут от жажды, чем зайдут в кабак. Раньше товарищи смеялись над ним, и за дело: разве может стаканчик вина повредить человеку? Ведь он пьет только вино, и Купо бил кулаком себя в грудь,— он гордился тем, что пьет одно вино, а водки в рот не берет; вино удлиняет жизнь, не вредит здоровью, не опьяняет. Однако не раз, прошлявшись весь день от стройки к стройке, от кабака к кабаку, Купо возвращался домой сильно под хмельком. В такие дни Жервеза говорила, что у нее разболелась голова, и запирала дверь, чтобы Гуже не услышали, какие штуки выкидывает ее муж.

Но мало-помалу Жервезой овладевала грусть. Утром и вечером она заходила на улицу Гут-д'Ор взглянуть на лавочку, которую до сих пор еще никто не снял; она рассматривала ее тайком, как будто это было ребячеством, недостойным взрослого человека. Лавочка снова не давала ей покоя: вечером, потушив свет, она лежала в темноте с широко открытыми глазами, и эта несбыточная мечта манила ее, как запретный плод. В сотый раз она принималась подсчитывать: двести пятьдесят франков — плата за аренду, полтораста франков — на обзаведение и устройство, сто франков, чтобы прожить первые две недели: итого, самое меньшее пятьсот франков. Если она не твердила об этом вслух, постоянно, то лишь из страха, как бы не подумали, что она жалеет о деньгах, истраченных на лечение Купо. Порой она вдруг бледнела, запнувшись на половине фразы, боясь выдать свою мечту, и замолкала смущенная, словно утаила дурную мысль. Теперь придется проработать еще года четыре, а то и пять: раньше им не скопить такую крупную сумму. Она приходила в отчаяние именно потому, что не могла открыть прачечную сейчас же,— ведь тогда она сводила бы концы с концами без помощи Купо, а он отдыхал бы еще несколько месяцев, пока ему снова не придет охота работать; она успокоилась бы и избавилась от тайного страха за будущее, сжимав-

шего ей сердце, когда Купо возвращался навеселе, распевая песни и рассказывая, какую потешную штуку выкинул этот стервец Бурдюк, которого он угостил вином.

Как-то вечером, когда Жервеза сидела дома, к ней заглянул Гуже и, застав ее одну, против обыкновения, не сбежал сразу к себе. Он сел и, поглядывая на нее, закурил трубку. Он, видимо, собирался сказать ей что-то очень важное; должно быть, он вертел и переворачивал в уме какую-то мысль, не зная, как ее лучше выразить. Но вот, после долгого молчания, он наконец решился, вынул трубку изо рта и выпалил одним духом:

— Жервеза, вы позволите мне одолжить вам денег?

Жервеза стояла у комода, наклонившись над ящиком, и перебирала какие-то тряпки. Сильно покраснев, она разом выпрямилась. Значит, он видел, как она утром торчала минут десять перед лавочкой, не в силах отвести от нее глаз? А он смущенно улыбался, будто сделал ей какое-то сомнительное предложение. Но она решительно отказалась: никогда она не возьмет денег в долг, не зная, сможет ли их отдать. К тому же ей нужна слишком большая сумма. Но он настаивал, подавленный, огорченный; наконец она воскликнула:

— А как же ваша свадьба? Не могу же я взять у вас деньги, отложенные на свадьбу!

— Об этом не тревожьтесь,— ответил он, тоже покраснев,— я раздумал жениться. Знаете, я решил... Право, мне приятнее одолжить вам эти деньги.

Оба вдруг потупили глаза. Они ничего не сказали, но между ними что-то пролетело — тихое, нежное. И Жервеза согласилась. Гуже уже переговорил с матерью. Они тут же отправились к ней через площадку. Кружевница сидела серьезная, немного грустная, спокойно склонив голову над пяльцами. Она не хотела перечить сыну, но теперь уже не одобряла планов Жервезы и прямо сказала ей почему: Купо на дурном пути, он промотает ее прачечную. Прежде всего она не могла простить Купо, что во время выздоровления он не захотел учиться грамоте; кузнец предлагал ему помочь, но кровельщик послал его ко всем чертям, уверяя, что от ученья люди только хиреют. Они чуть не рассорились и с тех пор все больше отдалялись друг от друга. Однако, видя умоляющие глаза своего большого ребенка, г-жа Гуже заговорила с Жервезой очень приветливо. Она согласилась дать соседям взаймы пятьсот франков: пусть они выплачивают Гуже по двадцать франков в месяц, а сколько времени это продлится — не важно.

— Ишь ты! А ведь кузнец и впрямь ухлестывает за тобой,— смеясь, закричал Купо, узнав об этой сделке.— Ну, тут я спокоен, он такой простофиля!.. Мы-то, конечно, отдадим ему деньги. Но

даю слово, если б он напоролся на жуликов, его бы мигом облапошили!

На другой день Купо сняли лавку. С утра до вечера Жервеза бегала с Новой улицы на улицу Гут-д'Ор. Видя, как она носится, легкая, сияющая, окрыленная, словно и не хромает, соседи говорили, что ей, наверное, сделали операцию.

V

Как раз в апреле Бош ушел со старого места на улице Пуассонье и поступил привратником в большой дом на улице Гут-д'Ор. Вот это было кстати! Жервеза, жившая так спокойно без всяких привратников в квартирке на Новой улице, боялась оказаться во власти какой-нибудь ведьмы, которая будет поднимать крик, чуть только плеснешь во дворе водой или вечером громко хлопнешь дверью. Привратники — такой склочный народ! Но с Бошами жить одно удовольствие. Они старые знакомые, и с ними всегда можно поладить. Тут уж все пойдет по-семейному.

В тот день, когда супруги Купо пришли подписывать арендный договор и Жервеза вошла в высокие ворота, у нее тревожно замерло сердце. Значит, она все-таки будет жить в этом громадном, как город, доме с длинными лестницами и бесконечным лабиринтом коридоров. Серые фасады, вывешенное в окнах тряпье, темный мощеный двор, весь в выбоинах, похожий на площадь, глухой шум, доносившийся из мастерских,— все приводило ее в смятение; она радовалась, что скоро сбудется ее заветная мечта, и в то же время боялась, а вдруг из ее затеи ничего не выйдет, и она будет раздавлена в непосильной борьбе с голодом, дыхание которого уже чувствовала за спиной. Из слесарной и столярной мастерских нижнего этажа доносился стук молотков и свист рубанков, и ей казалось, что она совершает безумный поступок: бросается очертя голову в пущенную полным ходом машину. В этот день ручеек, вытекавший из красильни, был нежно-зеленого цвета. Она перешагнула его и улыбнулась: этот цвет показался ей добрым предзнаменованием.

Встреча с хозяином дома произошла в привратницкой у Бошей. Г-н Мареско, крупный торговец ножевыми товарами с улицы Мира, был когда-то бродячим точильщиком. Говорили, что с тех пор он сколотил не один миллион. У этого крепкого, ширококостного пятидесятипятилетнего мужчины, носившего орден в петлице, были тяжелые, грубые руки рабочего; ему доставляло огромное удовольствие отбирать ножи и ножницы у своих жильцов и самолично точить их ради развлечения. Его считали человеком не гордым; бывало, он часами сидел в темных конурках своих при-

вратников, проверяя с ними счета. Там он решал и все дела. Купо застали его за грязным столом г-жи Бош, которая жаловалась хозяину, что швея с третьего этажа по лестнице «А» отказалась платить за квартиру, да еще обозвала ее неприличным словом. Когда договор был подписан, хозяин пожал кровельщику руку. Рабочих он уважает. В прежние времена ему самому пришлось здорово поработать. Но трудом можно всего добиться. Пересчитав двести пятьдесят франков — плату за первое полугодие,— хозяин опустил ее в свой обширный карман и принялся вспоминать свою жизнь, с гордостью показывая на орден.

Между тем Жервеза была немного смущена поведением Бошей. Они делали вид, будто вовсе с ней не знакомы. Оба лебезили перед хозяином, угодливо гнули спину, ловили каждое его слово и все время кивали головой. Вдруг г-жа Бош проворно выскочила за дверь и разогнала стаю ребятишек, барахтавшихся в грязи перед колонкой: из открытого крана била струя воды, заливая мощеный двор; а когда привратница степенно возвращалась обратно, прямая и строгая, внушительно шелестя юбками и медленно обводя взглядом многочисленные окна, словно проверяя, все ли в порядке, она с достоинством поджимала губы,— ведь теперь ей дана власть вершить судьбы трех сотен жильцов. Бош снова завел речь о швее с третьего этажа; он говорил, что ее пора бы выселить, и высчитывал просроченные ею платежи с важным видом управляющего, который блюдет интересы хозяина. Г-н Мареско одобрил предложение выселить швею, но решил подождать до конца полугодия. Все-таки жестоко выгонять людей на улицу, тем более что хозяин ни гроша на этом не выгадает. И Жервеза с дрожью подумала, что ее тоже могут вот так взять и вышвырнуть на улицу, если какое-нибудь несчастье помешает ей заплатить в срок. В закопченной привратницкой, заставленной грязной мебелью, было темно и сыро, как в погребе; свет из единственного окошка падал на портняжный стол и освещал старый сюртук, расстеленный для перелицовки. Дочурка Бошей Полина, рыженькая четырехлетняя девочка, сидя прямо на полу, терпеливо смотрела, как жарится телятина, и с наслаждением вдыхала густой кухонный чад.

Господин Мареско снова пожал руку Купо, а тот напомнил ему, что в лавке нужно сделать ремонт, ведь хозяин сам обещал поговорить об этом позже. Но тут г-н Мареско рассердился: ничего он не обещал; где это видано, чтобы домовладелец оборудовал торговые помещения. Однако он все же согласился пойти осмотреть лавку вместе с Купо и Бошем. Прежний жилец, бакалейщик, съезжая с квартиры, забрал с собой полки, ящики, прилавок; комнаты стояли голые, потолки почернели, с растрескавшихся стен свисали обрывки грязных желтых обоев. И тут, в гулкой пустоте комнат, завязался горячий спор. Г-н Мареско кричал, что торговец

должен сам обставлять свою лавку; а вдруг он пожелает отделать ее золотом,— что ж, хозяин обязан добывать ему золото? Затем он сослался на свой собственный магазин на улице Мира; он сам вложил в него больше двадцати тысяч франков. А Жервеза с чисто женским упорством повторяла все тот же довод, который казался ей неопровержимым: ведь квартиру он оклеил бы обоями, правда? Чем же это помещение отличается от квартиры? Она просит только побелить потолок и оклеить стены обоями — больше ничего.

Бош во время этих переговоров сохранял достойный и непроницаемый вид; он отворачивался, смотрел по сторонам и упорно молчал. Напрасно Купо делал ему знаки и подмигивал: Бош держался так, словно он не желает злоупотреблять своим влиянием на хозяина. Наконец физиономия Боша немного оживилась, он криво усмехнулся и слегка кивнул головой. Как раз в эту минуту взбешенный г-н Мареско, с горестным видом разжав пальцы, точно скупец, у которого вырвали золото из рук, уступил Жервезе и обещал побелить потолок и оклеить стены, но с условием — платить за обои пополам. И он тут же сбежал, ничего не желая больше слушать.

Когда Бош остался с Купо и Жервезой, он сразу изменил тон и стал дружески хлопать Купо по плечу. Каково? Ловко обтяпали дело! Если б не он, никогда бы им не добиться ни побелки, ни оклейки! Заметили они, как хозяин косился на него, спрашивая совета, и сразу согласился, стоило Бошу кивнуть? И Бош доверительно сообщил, что ведь, в сущности, настоящий-то хозяин дома он: он решает, кого надо выселить, сдает комнаты тем, кто ему приглянется, получает плату за квартиру и по неделям хранит деньги у себя в комоде. Вечером, чтобы отблагодарить Бошей, Купо сочли своим долгом послать им два литра вина. За такую услугу не жалко и заплатить.

Со следующего понедельника рабочие начали приводить лавку в порядок. Самым серьезным делом оказалась покупка обоев. Жервезе нравились светлые обои, серые с голубыми цветочками, от них комната станет веселей. Бош предложил ей пойти вместе с ним в магазин и выбрать самой. Но у него был строгий наказ от хозяина: обои должны стоить не дороже пятнадцати су за кусок. Битый час они торчали в магазине: Жервеза все засматривалась на очень миленькие обои по восемнадцать су, все другие казались ей отвратительными, и она приходила в отчаяние. Наконец Бош сдался; так и быть, он устроит ей это дело: хозяину можно поставить в счет лишний кусок. Возвращаясь домой, Жервеза купила пирожных для Полины. Она не любила оставаться в долгу, уж тот, кто окажет ей услугу, никогда не прогадает.

Лавку должны были закончить за четыре дня. Однако про-

возились битых три недели. Сначала хотели попросту отмыть фасад водой. Но старая бурая краска была до того грязна, до того уныла, что Жервеза не удержалась и решила перекрасить весь фасад в голубой цвет с желтыми прожилками. Словом, переделкам не было конца. Купо все еще не работал и приходил с утра посмотреть, как подвигается ремонт. Бош бросал недошитый пиджак или брюки, в которых он прометывал петли, и тоже являлся, чтобы приглядеть за рабочими. И оба целый день торчали в лавке, задрав головы, заложив руки за спину, курили, плевали, обсуждая каждый мазок маляров. Стоило вбить гвоздь, как начинались глубокомысленные рассуждения и бесконечные споры. Маляры, два здоровых добродушных детины, поминутно слезали со стремянок, становились посреди лавки и тоже принимали участие в спорах или, качая головой, часами разглядывали свою работу. Потолок они побелили довольно быстро, но окраску, казалось, никогда не закончат. Краска никак не хотела сохнуть. Маляры появлялись в девять часов утра, ставили ведерки в угол, окидывали взглядом начатую работу и исчезали — только их и видели. Они либо шли завтракать, либо заканчивали какую-то работенку на соседней улице. А бывало, и сам Купо уводил в кабачок всю братию: Боша, маляров и всех приятелей, которые встречались им по пути; так пропадал еще целый день. Жервеза просто из себя выходила. И вдруг за два дня все было сделано: краску покрыли лаком, стены оклеили обоями, выбросили весь мусор. Рабочие закончили дело шутя, посвистывая на своих стремянках или распевая во все горло.

Купо переехали немедленно. Первые дни, возвращаясь откуда-нибудь к себе, Жервеза радовалась, как ребенок. Переходя улицу, она улыбалась и замедляла шаги, любуясь своим домом. Среди длинного ряда темных фасадов она издали видела светлую прачечную с новенькой веселой вывеской, где на нежно-голубом фоне большими желтыми буквами было написано: «Стирка тонкого белья». В витрине, завешенной кисейными занавесками и оклеенной синей бумагой, чтобы оттенить белизну белья, были выставлены мужские рубашки и на тонкой проволоке висели женские чепчики со связанными тесемками. Жервеза находила свою небесно-голубую прачечную очень хорошенькой. Внутри вы тоже попадали в голубое царство: на обоях в стиле Помпадур были разбросаны беседки, увитые голубыми вьюнками; две трети комнаты занимал громадный гладильный стол, обитый толстым войлоком; по бокам он был задрапирован кретоном с крупными голубыми разводами, чтобы скрыть козлы. Жервеза присаживалась на табуретку и замирала от счастья, любуясь своей красивой, чистенькой мастерской и лаская взглядом каждую новую вещь. Но больше всего ее радовала чугунная печка, на которой накалялись

сразу десять утюгов, стоявших вокруг огня на наклонных подставках. Жервеза то и дело становилась на колени и заглядывала в печку, боясь, как бы ее дуреха ученица не напихала слишком много кокса: от этого может лопнуть чугун.

Помещение за лавкой было вполне приличное. Купо спали в первой комнате, там же стряпали и обедали; дверь в глубине вела прямо на двор. Кроватку Нана поставили в комнате направо — большом чулане, куда свет проникал сквозь круглое окно под самым потолком. А Этьена устроили в комнатке налево, вместе с грязным бельем, которое валялось на полу, связанное огромными узлами. Однако у квартиры был большой недостаток, хотя Купо сперва и не хотели в этом признаваться,— со стен сочилась сырость и уже с трех часов в заднем помещении становилось совсем темно.

Новая прачечная вызвала в квартале сильное волнение. Соседи обвиняли Купо в том, что они зарвались, им ни за что не справиться с этим делом. И правда, они уже истратили все пятьсот франков, взятые у Гуже, не оставив себе ничего на первые две недели, как было твердо решено вначале. В то утро, когда Жервеза первый раз открыла ставни своей прачечной, в кармане у нее оставалось ровно шесть франков. Но она не тужила, у нее сразу появились заказчики,— заведение обещало пойти в гору. Неделю спустя, в субботу, Жервеза перед сном занялась подсчетами и просидела часа два с карандашом, склонившись над клочком бумаги, а потом разбудила Купо и с сияющим лицом сообщила ему, что они могут заработать сотни и тысячи, если будут разумно вести дела.

— Нет, вы подумайте! — кричала на всю улицу г-жа Лорийе.— Мой братец, видно, совсем рехнулся! Надо же быть таким дураком! Теперь не хватает только, чтобы Хромуша завела себе любовника. Это ей как раз к лицу. Разве не так?

Лорийе насмерть поссорились с Жервезой. Еще во время ремонта лавки они чуть не лопнули от зависти; едва завидев вдали маляров, они переходили на другую сторону улицы и, поднимаясь к себе домой, в бешенстве скрежетали зубами. Голубая прачечная у такой поганки — да это просто пощечина честным людям! И на другой же день, когда девчонка-помощница выплеснула за дверь стакан крахмала, г-жа Лорийе, которая как раз проходила мимо прачечной, подняла крик на всю улицу, уверяя, будто Жервеза науськивает на нее своих работниц. Теперь всякие отношения между ними были прерваны, при встречах они обменивались лишь уничтожающими взглядами.

— Ну и дела, доложу я вам,— твердила г-жа Лорийе.— Все знают, откуда она взяла деньги на прачечную! Ясно, спуталась с кузнецом... А эти тихони тоже хороши! Отец-то перерезал себе

глотку ножом, испугался гильотины или что-то в этом роде. Словом, тоже грязная история!

Госпожа Лорийе прямо заявляла, что Жервеза спит с Гуже. Она нагло врала, уверяя, будто как-то вечером застала их врасплох на одной из скамеек внешнего бульвара. И мысль о тайной связи, о любовных радостях, которыми наслаждается невестка, еще больше разъяряла эту уродливую и поневоле добродетельную женщину. Каждый день у нее снова вырывался крик наболевшей души:

— Да что в ней есть такого, в этой калеке? Почему мужчины так и липнут к ней? Ведь вот же в меня никто не влюбляется!

И начинались бесконечные сплетни и пересуды. Она рассказывала соседкам всю историю с самого начала. Да уж поверьте, в день свадьбы она места себе не находила! У нее тонкий нюх, она сразу почуяла, к чему это приведет. А потом... боже милостивый! Эта Хромуша притворилась такой кроткой, такой тихоней, что ради Купо они с мужем согласились быть крестными Нана; да, им пришлось-таки ухлопать на эти крестины немало денег. Но теперь — хватит! Пускай Хромуша хоть подыхает и попросит глоток воды — она и пальцем не шевельнет, чтобы ей помочь, будьте покойны. Нет, она не терпит ни нахалок, ни негодяек, ни потаскух. Другое дело, если Нана вздумает навестить своих крестных, они с радостью примут ее: малютка ведь не отвечает за грехи своей матери, что тут говорить! А вот Купо, видно, не нуждается в советах; однако на его месте всякий мужчина прищемил бы жене хвост и дал бы ей хорошую взбучку; понятно, это его дело, но он не должен допускать, чтобы она позорила семью. Бог мой! Если б только Лорийе застал ее — свою жену — в объятиях другого мужчины, уж он бы не стерпел, можете не сомневаться: он тут же всадил бы ей ножницы в живот!

Однако Боши, строгие судьи, разбиравшие все ссоры в доме, осуждали чету Лорийе. Конечно, Лорийе люди порядочные, спокойные, они работают не покладая рук и аккуратно платят за квартиру. Но сейчас, по правде говоря, они просто взбесились от зависти. К тому же они больно прижимисты. Настоящие сквалыги! Когда к ним зайдешь, они поскорей прячут бутылку, лишь бы не предложить вам стаканчик вина. Словом, вредная парочка. Как-то раз Жервеза зашла к Бошам и угостила их сельтерской водой со смородинным сиропом; в это время мимо проходила г-жа Лорийе и, гордо выпрямившись, демонстративно плюнула перед дверью привратницы. С тех пор г-жа Бош, подметая по субботам коридоры и лестницы, оставляла кучу мусора перед дверью Лорийе.

— Какая гадость! — вопила г-жа Лорийе.— Хромуша приманивает этих обжор! Все они хороши! Только пусть оставят меня в

покое, а не то я пожалуюсь хозяину! Я видела вчера, как этот нахал Бош терся возле госпожи Годрон. Хватает же у него наглости приставать к почтенной женщине, у которой полдюжины детей! Этакое свинство!.. Если я еще раз увижу такую пакость, пойду и расскажу его жене. Пусть задаст ему здоровую трепку. То-то будет потеха!

Мамаша Купо по-прежнему бывала и у сына и у дочери, со всеми соглашалась и выгадала на этом, так как теперь ее чаще приглашали обедать; она проводила один вечер у дочери, другой у невестки, выслушивала обеих и всем поддакивала. Г-жа Лера последнее время перестала ходить к Купо: она поссорилась с Жервезой из-за рассказа про зуава, который отрезал бритвой нос своей любовнице: г-жа Лера защищала зуава, уверяя, что он поступил как истинно влюбленный, но не пожелала объяснить, почему она так считает. Она еще сильнее разожгла ярость г-жи Лорийе, сообщив ей, что Хромуша, болтая с соседками, при всех, не стесняясь, называет ее Коровьим Хвостом. Бог мой, конечно, теперь и Боши и все в доме зовут ее Коровьим Хвостом!

Среди всех этих сплетен и пересудов Жервеза, спокойная, довольная, улыбалась с порога своей прачечной, приветливо кивая проходящим мимо знакомым. Ей нравилось выглядывать из двери, оторвавшись на минутку от утюгов, и посматривать кругом с гордостью хозяйки, у которой есть свой собственный кусочек тротуара. Теперь ей принадлежали и улица Гут-д'Ор, и соседние переулки, и весь квартал. Стоя на пороге, в белой кофточке, с голыми руками и растрепавшимися в пылу работы светлыми волосами, она быстро поворачивалась налево, направо, стараясь сразу охватить взглядом всю улицу, прохожих, дома, мостовую и небо. Налево тянулась спокойная, пустынная улица Гут-д'Ор,— казалось, она вела в деревенский уголок, где женщины болтали, стоя на крылечках; направо, в нескольких шагах, начиналась улица Пуассонье; там грохотали экипажи, толпа валила густым потоком и с шумом растекалась на перекрестке. Жервеза любила улицу, стук повозок, прыгающих по ухабам мостовой, людскую толчею на узких тротуарах, крутые каменистые скаты сточных канав; ручеек перед домом принимал в ее глазах огромные размеры, он представлялся Жервезе широкой рекой, и ей хотелось, чтобы вода в ней была чистой и прозрачной; эту странную, будто живую реку, текущую среди черной грязи, соседняя красильня расцвечивала в фантастические нежные цвета. Жервезу занимали и магазины: большая бакалейная лавка, в витрине которой были выставлены сушеные фрукты, прикрытые тоненькой сеточкой; магазин готового платья и вязаных изделий для рабочих, где синие раскоряченные штаны и рубашки с растопыренными рукавами висели, покачиваясь от малейшего ветерка. Издали ей был виден уголок

прилавка зеленщицы и торговки требухой; там, развалившись, мурлыкали спокойные, величавые коты. Соседка Жервезы, хозяйка угольной лавки г-жа Вигуру, маленькая толстушка со смуглым лицом и блестящими глазками, любезно раскланивалась с ней; угольщица любила поболтать и посмеяться с мужчинами у дверей своей лавки, под темно-красной вывеской, где было намалевано нелепое сооружение из дров, напоминавшее садовую беседку. Соседки Жервезы по другую сторону — мать и дочь Кюдорж, торговки зонтами, никогда не показывались на улице, их витрина потемнела, а дверь, украшенная двумя маленькими ярко-красными зонтиками из цинка, всегда была плотно закрыта. Прежде чем вернуться к утюгам, Жервеза каждый раз бросала взгляд через улицу, на большую белую стену без единого окна, с громадными воротами; они вели в большой двор, сплошь заставленный множеством повозок и экипажей с задранными кверху оглоблями, а в глубине его виднелся пылающий горн. На стене крупными буквами было выведено слово «Кузница», украшенное веером из подков. Оттуда весь день доносился неумолчный стук молотов о наковальни, и в тусклом полумраке двора сверкали снопы искр. А у подножия этой стены, в клетушке величиной со шкаф, между лавчонками старьевщицы и торговки жареным картофелем, работал часовщик, очень приличный господин в аккуратном сюртуке; он сидел перед столиком, на котором под стеклянными колпаками хранились малюсенькие хрупкие детали, и целыми днями ковырялся в часах крошечными инструментами, а позади него висело несколько десятков маленьких стенных часов; среди мрачной нищеты этой улицы маятники их весело тикали все сразу, и этот дробный звук терялся в мерном грохоте кузнечных молотов.

Соседи считали Жервезу очень милой женщиной. Конечно, на ее счет немало чесали языки, но все в один голос говорили, что у нее большие глаза, ротик не больше ноготка и прекрасные белые зубы. Словом, она была прехорошенькой блондинкой и, если б не хромота, могла бы считаться просто красавицей. Ей шел уже двадцать девятый год, и она немножко располнела. Тонкие черты лица округлились, движения приобрели плавность, свойственную счастливой женщине. Теперь, поджидая, пока нагреется утюг, она порой забывалась, присев на краешек стула, и по ее сытому, довольному лицу блуждала смутная улыбка. Про нее говорили, что она лакомка, и верно, она любила покушать всласть, но ведь это не порок, даже напротив. Если зарабатываешь достаточно, чтобы позволить себе вкусно поесть, то просто глупо жевать картофельную шелуху, ведь правда? Тем более что она по-прежнему работала не разгибая спины, разрывалась на части, лишь бы угодить заказчикам, а когда получала срочную работу, закрывала наглухо ставни и трудилась ночи напролет. В квартале говорили, что у нее

легкая рука — все ей удается. Она обстирывала чуть ли не весь дом, ей сдавали белье и г-н Мадинье, и мадемуазель Реманжу, и Боши; к ней перешли даже некоторые клиентки ее прежней хозяйки, г-жи Фоконье, важные парижские дамы с улицы Фобур-Пуассоньер. Не прошло и месяца, как ей пришлось нанять двух работниц: г-жу Пютуа и долговязую Клеманс, девушку, жившую прежде на седьмом этаже; теперь у Жервезы были три помощницы, считая и косоглазую девчонку-ученицу Огюстину, уродливую, как обезьянка. У любой другой на месте Жервезы наверняка закружилась бы голова, привали ей такое счастье. И вполне простительно, если, проработав не покладая рук целую неделю, она позволяла себе по понедельникам небольшую пирушку. Да ей это было просто необходимо: если б она не лакомилась иногда чем-нибудь вкусненьким, от чего у нее заранее текли слюнки, она обессилела бы и не справилась с этой горой рубашек.

Никогда еще Жервеза не относилась так доброжелательно к людям. Она была кротка, как ягненок, и мягка, как воск. Кроме г-жи Лорийе, которую она называла Коровьим Хвостом в отместку за ее нападки, она всех извиняла и ни к кому не питала неприязни. Полакомившись вволю, слегка отяжелев после сытного завтрака и крепкого кофе, она становилась особенно снисходительной. Она часто говорила: «Надо прощать друг другу, если мы не хотим жить как дикари». А когда ее хвалили за доброту, Жервеза смеялась. Ну чего ради ей быть злюкой? Нет, доброту она не ставит себе в заслугу. Разве не исполнились все ее мечты? Разве ей недостает чего-нибудь в жизни? Жервеза припомнила, чего она желала в ту пору, когда очутилась чуть ли не на мостовой: работать, иметь кусок хлеба, жить в своем углу, воспитывать детей, не получать колотушек, умереть в своей постели. Теперь ее желания сбылись, и даже с лихвой,— на деле все оказалось еще лучше, чем в мечтах. А умереть в своей постели, прибавляла Жервеза шутя, она тоже надеется, но только как можно позже.

Особенно снисходительной Жервеза была к Купо. Никогда не говорила она ему худого слова, никогда не жаловалась за его спиной. Кровельщик наконец взялся за работу, а так как его стройка была на другом конце города, Жервеза каждое утро давала ему сорок су на завтрак, вино и табак. Однако раза два в неделю Купо застревал по дороге с каким-нибудь приятелем, пропивал свои сорок су и возвращался завтракать домой, сочиняя всякие небылицы. Как-то раз, едва успев отойти от дома, он повстречался с Бурдюком и тремя дружками и устроил им пирушку в «Капуцине», у заставы Ля Шапель: улитки, жаркое, вино в бутылках. Но сорока су ему не хватило, и он послал жене счет с посыльным и велел передать, что его держат в виде залога. Жервеза, смеясь, пожимала плечами. Что же тут плохого, если ее муж немного по-

дурит? Мужчин нельзя держать на коротком поводке, если хочешь, чтобы дома был мир и покой. А то слово за слово — и начнутся потасовки. Боже мой! Все можно понять. У Купо еще болит нога, к тому же в кабачок его тянут друзья, приходится угощать их в свой черед, иначе прослывешь жмотом. И вообще на это не стоит обращать внимания; если Купо приходит порой под мухой, он тотчас же ложится спать, а через два часа у него снова ни в одном глазу.

Между тем наступила сильная жара. Как-то в июне, в субботний послеобеденный час, когда было много спешной работы, Жервеза сама набила коксом печку, на которой грелось десять утюгов, и пламя загудело в трубе. В этот час горячие лучи солнца падали почти отвесно и, отражаясь от раскаленного тротуара, вздымали волны знойного воздуха, колебавшиеся под потолком прачечной; яркий свет казался голубоватым из-за синей бумаги, которой была оклеена витрина и полки, и слепил глаза, а над гладильным столом плясали золотые пылинки, словно пробившиеся сквозь тонкую ткань занавесок. В комнате можно было задохнуться. Дверь на улицу распахнули настежь, и все-таки не чувствовалось ни малейшего дуновения; от белья, висевшего на латунных проволоках, поднимался пар, оно высыхало меньше чем за час и становилось жестким, как кора. Было душно, словно в печке, и все молчали, слышался только приглушенный стук утюгов по обтянутому толстым войлоком столу.

— Боже мой! — сказала Жервеза.— Мы, кажется, расплавимся сегодня. Впору скинуть рубашки!

Присев на корточки перед тазом, она крахмалила белье. На ней была белая юбка и открытая кофточка с засученными рукавами, но, несмотря на голые руки и голую шею, она вся раскраснелась и так вспотела, что маленькие белокурые завитки ее растрепавшихся волос прилипли к коже. Она старательно обмакивала в молочно-белую воду чепцы, манишки мужских сорочек, нижние юбки, оборки женских панталон. Затем, опустив руку в ведро с водой, она вспрыскивала ненакрахмаленные места, скатывала белье и укладывала в квадратную корзину.

— Эта корзина для вас, госпожа Пютуа,— сказала она.— Смотрите, не копайтесь. Сегодня белье мигом сохнет, через час придется снова его мочить.

Госпожа Пютуа, маленькая сухая женщина лет сорока пяти, гладила в доверху застегнутой старой коричневой кофточке, но ничуть не вспотела, и даже не сняла чепца, старого черного чепца, украшенного полинявшими зелеными лентами. Она стояла прямая, как палка, перед слишком высоким для нее столом и водила утюгом, широко расставив локти, нескладная, угловатая, как марионетка. Вдруг она закричала:

— Ну нет, мадемуазель Клеманс! Этак не годится, наденьте кофточку! Вы знаете, я терпеть не могу непристойностей. Нечего выставлять напоказ все ваши прелести! В окно уже уставились трое мужчин.

Долговязая Клеманс обозвала ее сквозь зубы старой дурой. Тут задохнуться можно, она хочет работать налегке; не все же такие толстошкурые! Да если и глазеют, что за беда? И она подняла руки: ее мощная грудь здоровой девушки выпирала из рубахи, а короткие рукава трещали в плечах. Клеманс распутничала напропалую, как будто спешила нагуляться, пока ей не стукнуло тридцать лет; после бурно проведенной ночи она чуть не валилась с ног, клевала носом над работой и двигалась как сонная муха. Но ее все-таки терпели, потому что никто не умел с таким шиком выгладить мужскую сорочку. Мужские сорочки были ее коньком.

— Отстаньте, это мое дело,— заявила она наконец, шлепая себя по груди,— пусть себе смотрят, мне наплевать. Никому это не во вред.

— Наденьте кофточку, Клеманс,— сказала Жервеза,— госпожа Пютуа права, это непристойно... Люди могут подумать, что у меня не прачечная, а совсем другое заведение.

Тогда Клеманс снова надела кофточку, сердито ворча. Тоже мне фасоны! Как будто прохожие никогда не видали женских грудей. И она сорвала злость на девчонке-ученице, косоглазой Огюстине, которая гладила рядом с ней белье попроще — полотенца, чулки, носовые платки; Клеманс пихнула ее локтем в бок. А Огюстина, вечный козел отпущения, скрытная, злопамятная, как всякое обиженное судьбой существо, в отместку украдкой плюнула ей сзади на юбку.

Жервеза тем временем взялась за чепец г-жи Бош, который ей хотелось выгладить особенно хорошо. Она заварила крахмал, чтобы чепец выглядел как новый, и осторожно водила внутри маленьким утюжком с круглыми концами, так называемым «полячком». В это время в прачечную вошла длинная костлявая женщина в насквозь промокшей юбке, с красными пятнами на лице. Это была опытная прачка, державшая трех помощниц в большой прачечной на улице Гут-д'Ор.

— Вы пришли слишком рано, госпожа Бижар! — воскликнула Жервеза.— Ведь я просила вас зайти вечером... Я очень занята.

Но прачка стала упрашивать ее, она боялась, что не поспеет закончить стирку в срок, и Жервеза согласилась сейчас же выдать ей грязное белье. Они прошли за ним в комнатку налево, где спал Этьен, и вернулись с громадными узлами, которые свалили на пол в глубине помещения. На разборку белья ушло добрых полчаса. Жервеза складывала его вокруг себя в кучи: сюда мужские ру-

башки, сюда женские сорочки, туда носовые платки, носки, тряпки... Когда ей попадалась вещь, сданная новым заказчиком, она метила ее, делая крестик красной ниткой. От разбросанного грязного белья в жарком воздухе стоял тошнотворный запах.

— Ну и вонища! — воскликнула Клеманс, затыкая нос.

— А как же! Будь оно чистое, его бы нам не приносили,— спокойно ответила Жервеза.— Потому и пахнет, что грязное... Мы насчитали с вами четырнадцать женских сорочек, верно, госпожа Бижар?.. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать...

Жервеза продолжала считать вслух. Она не чувствовала никакого отвращения, привыкнув ко всей этой грязи; спокойно погружала она обнаженные розовые руки в кучу пожелтевших измаранных рубашек, ссохшихся засаленных тряпок, заскорузлых от пота носков. Она склонялась над бельем, а крепкая вонь била ей прямо в нос, и понемногу ее охватывала какая-то слабость. Она присела на край табурета и, согнувшись, протягивала руки вправо, влево, невольно замедляя движения, как будто опьяненная густым человеческим запахом; глаза ее затуманились, на лице блуждала томная улыбка. Казалось, здесь ею впервые овладела лень, вливаясь в нее вместе с отравляющими воздух едкими испарениями от грязного белья.

В ту минуту, когда Жервеза подняла детскую пеленку, до того загаженную, что она не сразу поняла, что это такое, вошел Купо.

— Пропади ты пропадом, ну и жарища!..— воскликнул он.— Солнце так и бьет по башке!

Кровельщик ухватился за стол, чтобы не упасть. Впервые он так сильно нагрузился. До сих пор он, бывало, приходил под мухой, не больше. На этот раз у него был фонарь под глазом: след от удара некстати размахнувшегося приятеля. Своими курчавыми волосами, в которых уже пробивалась седина, он, должно быть, вытер стену в каком-нибудь грязном кабаке, и на взъерошенном затылке у него болталась паутина. Он оставался по-прежнему весельчаком, и сам считал себя добрым малым, но лицо его поистрепалось и постарело, нижняя челюсть сильнее выдавалась вперед, и только кожа была еще такая свежая, что ей позавидовала бы даже герцогиня.

— Послушай, как было дело,— говорил он Жервезе,— это все Сельдерей, ты его знаешь: тот, что ходит на деревяшке... Он уезжает восвояси и решил нас угостить... Понимаешь, мы были в полной форме, но это проклятое солнце... На улице всех развезло! Ей-богу, все прохожие выписывают кренделя!

Клеманс захохотала: еще бы, теперь вся улица кажется ему пьяной; тут и его разобрало пьяное веселье, и он закричал, задыхаясь от смеха:

— Ну да, пьянчуги окаянные! Все шатаются, потеха, да и только! Но они не виноваты, это все из-за солнца...

Вся прачечная хохотала, даже г-жа Пютуа, не терпевшая пьяниц. Косая Огюстина, разинув рот и задыхаясь, кудахтала, как курица. Но Жервеза заподозрила, что Купо пошел не прямо домой, а завернул на часок к Лорийе, которые подбивают его на всякие гадости. Однако, когда он поклялся, что и не думал к ним заходить, она тоже стала смеяться, кроткая, снисходительная, не упрекнув его даже за то, что он снова прогулял рабочий день.

— Ну что за глупости он болтает! — пробормотала она.— Боже мой, какая чепуха!

Затем, повернувшись к нему, добавила материнским тоном:

— Шел бы ты лучше спать. Видишь, мы заняты, ты нам мешаешь... Там было тридцать два платка, госпожа Бижар, а вот еще два, значит, тридцать четыре...

Но Купо вовсе не хотел спать. Он топтался на месте, покачиваясь из стороны в сторону, как маятник, и посмеивался с упрямым и задорным видом. Жервезе хотелось поскорей избавиться от г-жи Бижар, и она велела Клеманс считать белье, а сама стала записывать. Но эта бесстыдница Клеманс по поводу каждой вещи отпускала сальное словцо, непристойную шутку; она угадывала пороки заказчиков, их постельные тайны, со знанием дела обсуждала каждую дырку, каждое пятно, проходившие через ее руки. Косая Огюстина делала вид, что ничего не понимает, но ловила ее слова с любопытством испорченной девчонки. Г-жа Пютуа слушала, поджав губы, она считала неприличным говорить такие вещи при Купо; мужчине незачем совать нос в грязное белье, у порядочных людей это не водится. А Жервеза, поглощенная своим делом, казалось, ничего не слышит. Записывая, она внимательно следила за каждой вещью и определяла кому что принадлежит; она никогда не ошибалась и точно угадывала хозяина по цвету белья, по запаху. Вот это — салфетки Гуже, сразу видно, что ими не вытирали грязных кастрюль. Эту измазанную помадой наволочку, конечно, принесла г-жа Бош, вечно у нее белье в помаде. А на эти фланелевые фуфайки стоит только взглянуть, и сразу скажешь, что их носил г-н Мадинье: у него такая жирная кожа, что даже шерстяные вещи просаливаются насквозь. Жервеза знала множество особенностей и интимных свойств своих клиентов: знала, какое белье скрыто под шелковой юбкой переходящей улицу соседки; сколько раз в неделю какой заказчик меняет чулки, платки, сорочки; кто как рвет белье и в каких местах протирает его. И она приводила кучу забавных подробностей. Так, рубашки мадемуазель Реманжу служили постоянной темой острот: видимо, у старой девы здорово острые плечи — сорочки у нее всегда протираются сверху, но зато совсем чистые,— право, она могла бы

носить их по две недели; в этом возрасте человек, видно, становится сухим, как деревяшка, из него и капли пота не выжмешь. Всякий раз как начиналась разборка белья, в прачечной раздевали таким образом всю улицу Гут-д'Ор.

— Получайте гостинчик! — закричала Клеманс, развязывая новый узел.

Жервеза вдруг почувствовала тошноту и отвернулась.

— Это узел госпожи Годрон,— сказала она.— Не хочу я больше стирать на нее, надо выдумать какой-нибудь предлог... Я, право, не привереда, мне частенько приходилось копаться в самом мерзком тряпье, но это уж чересчур. Меня чуть не выворачивает наизнанку... Не понимаю, что делает с бельем эта женщина, как она умудряется так его загадить!

Она попросила Клеманс поскорее разделаться с этим узлом. Однако та продолжала свои насмешки, засовывала палец в каждую дыру, делала непристойные намеки и размахивала каждой тряпкой, словно знаменем торжествующей мерзости. А кучи белья вокруг Жервезы все росли. Сидя на краю табурета, она уже почти скрылась среди груды рубашек и юбок; горы простынь, панталон, скатертей теснили ее со всех сторон; розовая, разомлевшая, с голой шеей, голыми руками и прилипшими к вискам белокурыми прядками волос, она утопала в этой зловонной грязи. Жервеза снова улыбалась с рассудительным видом заботливой хозяйки, забыв о тряпье г-жи Годрон, уже не чувствуя его запаха, и внимательно перебирала белье, чтобы не вышло ошибки. Косоглазая Огюстина обожала заряжать печку коксом и незаметно так набила ее, что чугун раскалился докрасна. Косые лучи солнца падали прямо в окно,— казалось, вся прачечная пышет жаром. Тут Купо, которого в этом пекле развезло пуще прежнего, вдруг расчувствовался. В порыве нежности он двинулся к Жервезе, протягивая руки.

— Ты у меня славная женка,— бормотал он,— дай я тебя поцелую.

Но он застрял в куче юбок, загородившей ему дорогу, и чуть не упал.

— Вот косолапый! — сказала Жервеза добродушно.— Обожди, мы уже кончаем.

Нет, он хочет ее поцеловать сейчас же, ему невтерпеж, ведь он так ее любит. Продолжая бормотать, он кое-как обошел кучу юбок, но тут же наткнулся на кучу рубах; он упрямо лез вперед, ноги у него запутались, и он растянулся, уткнувшись носом в грязное белье. Жервеза, потеряв терпение, оттолкнула его, крича, что он все перепутает. Но Клеманс и даже г-жа Пютуа заступились за Купо. Ей-богу, он славный малый. Ведь он хочет ее поцеловать. Ну и пусть целует на здоровье!

— Да вы счастливица, госпожа Купо, право слово,— вздохнула г-жа Бижар, которую пьяница-муж, работавший слесарем, каждый вечер бил смертным боем.— Если б мой муж, нализавшись, вел себя, как ваш, я была бы рада-радешенька!

Жервеза уже успокоилась и жалела, что погорячилась. Она помогла Купо встать. Потом улыбнулась и подставила ему щеку. Но кровельщик, не стесняясь посторонних, схватил ее за грудь.

— Не говоря худого слова, белье твое здорово смердит! — бормотал он.— Но все равно я тебя люблю!

— Пусти, мне щекотно! — кричала она смеясь.— Вот дуралей! Бывают же этакие дурни!

Но он облапил ее и не отпускал. И она слабела в его руках, в голове у нее мутилось от тяжелого запаха белья, она уже не чувствовала отвращения к отравленному винным перегаром дыханию Купо. А долгий поцелуй в губы, которым они обменялись, стоя посреди всей этой зловонной грязи, был как бы первым шагом к их падению, к постепенному крушению всей их жизни.

Тем временем г-жа Бижар связывала белье в узлы. Она рассказывала о своей двухлетней дочурке Элали,— это такая умница, ну совсем как взрослая. Ее можно спокойно оставлять одну: она никогда не плачет и не балуется со спичками. Наконец г-жа Бижар вынесла узлы один за другим; ее длинное тело сгибалось в три погибели под их тяжестью, а красные пятна на лице от натуги стали фиолетовыми.

— Просто нет никакого терпения, этак можно изжариться живьем,— сказала Жервеза, утирая пот с лица, и снова принялась за чепец г-жи Бош.

Тут вдруг заметили, что печка раскалилась докрасна, и закричали, что надо отлупить эту поганку Огюстину. Даже утюги, и те начали краснеть. Этакая дрянь, вечно ей неймется! Стоит только отвернуться, как она тотчас сделает какую-нибудь пакость. Теперь жди четверть часа, пока утюги остынут. Жервеза засыпала уголь двумя совками золы. Потом ей пришло в голову повесить пару простынь на проволоки под потолком вместо занавесок, чтобы заслониться от солнца. И в прачечной стало очень уютно. Правда, воздух в ней был накален по-прежнему, но все почувствовали себя как в спальне с опущенными шторами, сквозь которые струится беловатый свет; они были как бы отрезаны от мира, хотя до них и доносился топот прохожих; теперь можно было вести себя свободнее. Клеманс тотчас же скинула кофточку. Купо ни за что не хотел ложиться спать, и ему разрешили остаться, только пусть сидит смирно в уголке и никому не мешает: у них нет времени прохлаждаться.

— Куда эта негодница засунула «полячок»? — пробормотала Жервеза, снова подозревая Огюстину.

Маленький утюжок вечно исчезал, его находили в самых неожиданных местах и считали, что Огюстина прячет его всем назло. Жервеза наконец покончила с донышком чепца г-жи Бош и занялась оборками. Она расправляла кружево, слегка оттягивала его рукой и легонько прижимала утюгом. Это был нарядный чепчик с богатой отделкой из тонких рюшей и кружевных прошивок. Жервеза молча склонилась над работой, старательно разглаживая оборки и прошивки с помощью «петушка» — чугунного яйца на стержне, укрепленном в деревянной подставке.

Воцарилось молчание. Несколько минут слышался лишь стук утюгов, приглушенный толстым войлоком. Хозяйка, две работницы и девчонка-ученица стояли по обе стороны громадного квадратного стола, поглощенные работой, и, сгорбившись, оттопырив локти, непрерывно двигали взад-вперед руками. У каждой справа лежала подставка — плоский кирпичик, истертый горячим утюгом. Посреди стола в глубокой тарелке с чистой водой мокли тряпочка и щетка. Рядом, в бутылке из-под вишневой настойки, стояло несколько лилий на длинных стеблях, и их крупные белоснежные цветы пышно распустились, точно в каком-нибудь роскошном парке. Г-жа Пютуа решительно принялась за приготовленную Жервезой корзину с бельем и гладила подряд салфетки, панталоны, кофточки, нарукавники. Огюстина еле водила утюгом по тряпкам иноскам и, задрав голову, следила за летавшей по комнате большой мухой. А дылда Клеманс успела уже перегладить с утра тридцать четыре мужские сорочки.

— Пью только вино, а водку в рот не беру! — выпалил вдруг Купо, он, видно, чувствовал потребность высказаться.— От этого зелья меня мутит, оно мне ни к чему!

Клеманс сняла с печки утюг кожаной ручкой и поднесла его к щеке, чтобы проверить, достаточно ли он нагрелся. Она потерла его о плоский кирпичик, обмахнула тряпкой, висевшей у нее на поясе, и принялась за тридцать пятую сорочку — сначала прогладила спину, затем рукава.

— Что вы, господин Купо,— заговорила она, помолчав,— рюмочка водки никому не повредит. Меня она чертовски раззадоривает... Да потом, чем скорей тебя разберет, тем веселей. А мне и терять-то нечего, все равно я скоро подохну.

— Экая вы несносная с вашими похоронными мыслями,— прервала ее г-жа Пютуа, не любившая печальных разговоров.

Купо встал, он рассердился, вообразив, будто его обвиняют в том, что он пил водку. Он клялся своей головой, головой жены и дочки, что не выпил ни капли. Подойдя вплотную к Клеманс, он дыхнул ей в лицо. Потом, уставившись на ее голые плечи, начал хихикать. Ну-ка, надо посмотреть поближе... Клеманс уже прогладила спину сорочки и, проведя утюгом по бокам, принялась за

воротничок и манжеты. Но Купо все терся возле нее, и она нечаянно криво заложила складку; ей пришлось взять щеточку из глубокой тарелки и снова положить крахмал.

— Госпожа Купо,— сказала она,— что он топчется возле меня, он мне мешает!

— Оставь ее в покое, не дури,— заметила спокойно Жерваза.— Мы очень спешим, понимаешь?

Они очень спешат, скажите на милость! А он тут при чем? Он ничего не делает дурного. Он же не лапает, а только смотрит. Разве зазорно смотреть на красивые штуки, которые выдумал господь бог? А у этой чертовки Клеманс есть на что полюбоваться! Она может показывать свои булки и давать их щупать за два су — никто денег не пожалеет! Теперь Клеманс уже не отгоняла Купо, а хохотала над солеными комплиментами захмелевшего хозяина. И она принялась отшучиваться в ответ. А он все прохаживался насчет мужских рубашек. Так, значит, она всегда возится с мужскими сорочками? Ведь так? Она просто не вылезает из них. Ах, черт побери! Видать, она здорово в них разбирается, не спутает, что к чему. Сколько же их прошло через ее руки — не одна сотня! Все белобрысые и все черномазые парни в их квартале носят на теле следы ее работы. Клеманс тряслась от смеха, но продолжала свое дело; она заложила пять крупных складок на спине сорочки и прогладила их, просунув утюг в разрез манишки; потом расправила перед и, заложив новые складки, прогладила их тоже, с силой налегая на утюг.

— А вот и самое главное местечко,— сказала она и захохотала еще громче.

Косоглазая Огюстина вдруг прыснула, так насмешили ее эти слова. Ей тут же досталось. Эта соплячка смеется над тем, чего ей и понимать-то не следует! Девочка гладила тряпки и чулки чуть остывшими утюгами, недостаточно горячими для крахмального белья, и Клеманс передала ей свой. Но Огюстина так неловко схватила его, что обожглась: на руке у нее выступила длинная красная полоса. Она заревела, уверяя, что Клеманс нарочно обожгла ее. Клеманс только что принесла с огня раскаленный утюг для манишки и быстро уняла девчонку, пригрозив, что отгладит ей уши, если она сейчас же не заткнется. Подложив под манишку шерстяную тряпку, Клеманс медленно водила утюгом, чтобы просушить крахмал. Грудь рубашки стала твердой и блестящей, как картон.

— Ишь чертова кукла,— пробормотал Купо, топчась возле нее с пьяным упорством.

Он становился на цыпочки и смеялся, скрипя, как несмазанное колесо. Клеманс крепко налегала на стол, напрягая руки, широко расставив локти и согнув шею; все ее тело напружилось от

усилий, на приподнятых плечах, под тонкой кожей, играли, перекатываясь, мускулы, а в вырезе рубашки вздымались розовые, влажные от пота груди. И Купо дал волю рукам — ему захотелось пощупать.

— Хозяйка! Хозяйка! — закричала Клеманс.— Да уймите вы его наконец!.. Если он не отстанет, я уйду. Я не позволю себя оскорблять.

Жервеза, натянув чепец г-жи Бош на обитую тканью болванку, старательно плоила кружево маленькими щипцами. Она подняла глаза как раз в ту минуту, когда Купо запустил руку за пазуху работнице.

— Право, Купо, ты совсем сдурел,— сказала она недовольным тоном, как будто отчитывала ребенка за то, что он хочет съесть варенье без хлеба.— Поди-ка лучше ляг.

— Да, подите лягте, господин Купо, этак будет куда лучше,— заявила г-жа Пютуа.

— Вот еще! — бормотал Купо с тем же пьяным смехом.— Все вы просто надутые индюшки!.. Уж с вами и не пошути! Не бойтесь, я-то знаю, как приласкать женщину: ни одной ничего не поломал. Даму можно ущипнуть, верно? А дальше я не полезу, я уважаю слабый пол... Но если она выставляет напоказ свой товар, почему не пощупать? Каждый выбирает, что ему нравится, разве нет? Зачем эта дылда выложила наружу все свои причиндалы? Нет, это не честно...

Затем он снова обернулся к Клеманс.

— Знаешь, милочка, нечего корчить недотрогу. Если ты не хочешь на людях...

Но он не успел докончить фразу. Жервеза спокойно обхватила его одной рукой, а другой зажала ему рот. Он отбивался смеясь, но она подталкивала его к двери в глубине комнаты. Тут он высвободился и сказал, что согласен лечь спать, при условии, что Клеманс придет и погреет его в постели. Затем из задней комнаты послышалось, как Жервеза стаскивает с него башмаки. Она раздевала его и порой шлепала, по-матерински, как маленького. Когда она стала стягивать с него штаны, он чуть не задохнулся от хохота и, обессилев, опрокинулся на середину кровати; он дрыгал ногами и кричал, что она его щекочет. Наконец она уложила его и закутала одеялом, как ребенка. Ну что, так ему хорошо? Но он не ответил, а закричал Клеманс:

— Иди сюда, крошка! Я готов и жду тебя!

Когда Жервеза вернулась в прачечную, Клеманс только что отвесила Огюстине пощечину. Дело было так: на печке оказался грязный утюг, и г-жа Пютуа, не заметив, испачкала чистую кофточку; это Клеманс не вытерла своего утюга, но она не хотела признаваться и, свалив вину на Огюстину, клялась и божилась,

что она ни при чем, хотя на утюге были ясно видны следы прикипевшего крахмала; и Огюстина, возмущенная такой напраслиной, на глазах у всех плюнула ей прямо на юбку, за что и получила звонкую оплеуху. Девочка, глотая слезы, соскребла грязь с утюга, затем навощила его огарком свечи и протерла тряпкой; но всякий раз, как Огюстина проходила позади Клеманс, она, набрав слюны, плевала ей на подол и хихикала про себя, глядя, как плевки стекают по юбке.

Жервеза снова принялась плоить кружево на чепце. И во внезапно наступившей тишине слышался только хриплый голос Купо, доносившийся из задней комнаты. Он был все так же благодушно настроен и смеялся, говоря сам с собой:

— Экая дуреха моя жена!.. Экая дуреха, вздумала уложить меня в постель!.. Ну разве не глупо ложиться среди бела дня, когда я вовсе не хочу бай-бай!

Но тут он вдруг захрапел. Тогда Жервеза вздохнула с облегчением, радуясь, что он наконец угомонился и понемногу протрезвится, поспав на двух мягких тюфяках. И она заговорила среди общего молчания спокойно и рассудительно, не отрывая глаз от щипцов, которые быстро мелькали в ее ловких руках.

— Ну что с ним поделаешь? Ведь он сейчас не в себе, разве можно на него сердиться? Если б я вздумала его бранить, это не привело бы к добру. Уж лучше не перечить ему да поскорее уложить его спать: тогда он живо утихомирится и оставит меня в покое... Ведь он не злой и крепко меня любит. Вы же видели, он чуть на стенку не полез, так ему хотелось меня поцеловать. Да это еще хорошо, другие мужья как налижутся, так и давай бегать за юбками... А он возвращается прямо домой. Подурачится тут с работницами, но дальше этого — ни-ни. Право, Клеманс, на него нечего обижаться. Сами знаете, каков мужчина, когда выпьет: зарежет мать и отца, а потом даже не вспомнит, что натворил... И я ему прощаю от всего сердца. Он не хуже других, ей-богу!

Жервеза говорила это кротко, спокойно; она успела привыкнуть к пьяным выходкам Купо и, хотя старалась оправдать свою снисходительность к нему, в сущности уже не видела большой беды в том, что муж щиплет при ней ее работниц. Когда она умолкла, снова наступила тишина, которую больше ничто не нарушало. Г-жа Пютуа то и дело выдвигала корзину из-под обитого кретоном стола, доставала белье и снова задвигала ее; каждую выглаженную вещь она укладывала на полку, вытягивая короткие руки. Клеманс заканчивала складки на тридцать пятой сорочке. Работы было выше головы. Они высчитали, что, как бы ни торопились, им не управиться раньше одиннадцати часов. Теперь развлечения кончились, и женщины работали вовсю, не отрываясь. Голые руки так и сновали взад и вперед, мелькая розовыми пят-

нами на белоснежном белье. В печку еще подбросили угля; солнечные лучи, пробиваясь сквозь простыни, падали прямо на нее, и было видно, как раскаленный воздух струится и дрожит, поднимаясь вверх языками невидимого пламени. Под юбками и скатертями, свисавшими с потолка, стало так душно, что Огюстине не хватало слюны, чтобы смочить запекшиеся губы, и она высунула кончик языка. Пахло накалившимся чугуном, прокисшим крахмалом, паленым бельем, и к тяжелым банным испарениям примешивался резкий запах пота четырех женщин, их влажной кожи и слипшихся волос; а букет белых лилий в позеленевшей воде увядал, разливая чистое и сильное благоухание. Порой, сквозь стук утюгов и скрежет кочерги, которой разгребали угли в печке, пробивался размеренный храп Купо, и казалось, что это маятник громадных часов отсчитывает время тяжелой работы прачечной.

На другой день после гулянки у Купо с похмелья всегда трещала голова, во рту словно ночевал полк солдат, он бродил сам не свой, нечесаный, опухший, с перекошенной рожей. Спал он допоздна и продирал глаза часам к восьми, потом слонялся по прачечной, кашлял, плевался и никак не мог заставить себя пойти на работу. Так пропадал еще один день. Утром он жаловался, что у него не гнутся подпорки, говорил, что просто свинство так нагружаться, ведь от этого у человека перегорает нутро. Да только как на грех всегда встречаешь кучу пьянчуг, которые пристают к тебе, словно репей: хочешь не хочешь — приходится хлопнуть с ними стаканчик, а потом таскают тебя из одного кабака в другой, и не успеешь оглянуться, как ты уж окосел. И крепко! Ну нет, дьявол их забери! Больше с ним этого не случится. Он не собирается во цвете лет окочуриться в каком-нибудь притоне. Но после завтрака он приводил себя в порядок и покашливал басом, чтобы доказать, что снова чувствует себя молодцом. Он уже отрицал, что вчера здорово накачался,— так, заложил малость, только и всего. Да и вообще такого крепкого парня, как он, надо поискать, ему все нипочем, выпьет чертову прорву и даже глазом не моргнет. После обеда он снова бродил взад и вперед без дела. Когда он до смерти надоедал всем работницам, жена давала ему двадцать су, чтобы он не путался под ногами. И он тотчас исчезал: шел в «Луковку» на улицу Пуассонье купить табаку и, встретив там приятеля, выпивал с ним рюмочку сливянки. А потом, чтобы покончить с этими двадцатью су, отправлялся к Франсуа, на угол улицы Гут-д'Ор,— в этом кабачке подавали очень хорошее молодое вино, щекотавшее горло. Это был винный погребок в старом вкусе: темный, с низким потолком, а рядом в закопченном зале можно было и пообедать. И Купо торчал там до вечера, играя с приятелями в фортунку на стаканчик вина; Франсуа отпускал кровельщику вино в кредит и дал ему слово никогда не показывать счетов его жене.

Что поделаешь? Ведь надо же прополоскать глотку, чтобы смыть вчерашний перегар! А за первым стаканчиком вина просится и второй. Но все-таки он славный парень, не гоняется за бабами и любит просто побалагурить, а если иной раз ему и случается клюкнуть, то в меру, без гадостей, он и сам ненавидит беспробудных пьяниц, которые только и делают, что накачиваются спиртом. И Купо возвращался домой веселый, беспечный, как чижик.

— Ну что, приходил твой обожатель? — спрашивал он иногда Жервезу, чтобы ее подразнить.— Что-то его давно не видно, надо будет сходить за ним.

Обожателем он называл Гуже. А тот и правда старался приходить пореже, боясь помешать им и вызвать лишние пересуды. И в то же время он пользовался каждым предлогом, чтобы повидать Жервезу: сам приносил белье и двадцать раз на дню проходил мимо прачечной. Он облюбовал там уголок в самой глубине, где мог часами сидеть не двигаясь, покуривая короткую трубочку. Раз в десять дней он набирался храбрости и заходил сюда после ужина провести вечерок; он сидел молча, будто язык проглотил, не сводя глаз с Жервезы, и только иногда вынимал трубку изо рта, чтобы посмеяться какой-нибудь ее шутке. По субботам, когда работа в прачечной затягивалась, он просиживал тут до глубокой ночи и, казалось, забавлялся не меньше, чем в театре. Случалось, что работницы гладили до трех часов утра. С потолка на проволоке свешивалась лампа; широкий абажур отбрасывал большой светлый круг, в котором белье сверкало, как снег. Огюстина затворяла ставни, но ночи в июле очень жарки, и потому дверь на улицу оставляли открытой. Поздно вечером работницы расстегивали, а потом и вовсе скидывали кофточки, чтоб их ничто не стесняло. При ярком свете лампы их тонкая кожа казалась золотистой, особенно у Жервезы; она располнела, и ее белые плечи блестели, как шелк, а на шее, словно у младенца, образовалась глубокая складочка, которую Гуже знал так хорошо, что мог бы нарисовать с закрытыми глазами. И понемногу жара от раскаленной печки, запах дымившегося под утюгами белья усыпляли его; он отдавался легкой истоме, мысли медленно скользили в его затуманенной голове, а он не сводил глаз с женщин, быстро двигавших голыми руками, чтобы за ночь приодеть к празднику весь квартал. Дома вокруг прачечной засыпали один за другим, и понемногу спускалась глубокая тишина. Било полночь, потом час, потом два часа. Уже не слышно было ни экипажей, ни прохожих. Теперь на опустевшую темную улицу только из двери прачечной падала резкая полоса света, как будто на земле расстелили кусок желтой ткани. Изредка вдали раздавались шаги, и мимо открытой двери проходил человек; попав в полосу света, он с удивлением поворачивал голову, услышав стук утюгов, и удалялся, унося с собой ми-

молетное видение полуобнаженных работниц, двигавшихся в рыжеватом тумане.

Видя, что Жервеза не знает, куда пристроить Этьена, и желая избавить мальчика от пинков и затрещин отчима, Гуже взял его к себе в мастерскую подручным, раздувать мехи. Хотя ремесло гвоздаря кажется незавидным: приходится торчать в грязной кузнице и день-деньской дубасить молотом по железу,— но зато можно хорошо заработать — десять и даже двенадцать франков в день. Этьену шел уже тринадцатый год, такой парнишка, если работа ему по нраву, может многому научиться. Теперь Этьен стал новым связующим звеном между Жервезой и Гуже. Кузнец сам приводил мальчика домой и рассказывал о его успехах. Соседи посмеивались и говорили Жервезе, что Гуже сохнет по ней. Она и сама знала об этом и краснела, как девочка, вся заливаясь ярким румянцем. Бедный парень, и такой добряк! Уж он-то ей не докучает! Никогда об этом и словом не обмолвится, ни дерзкого взгляда, ни грязного намека. Редко встретишь такого порядочного парня. И, сама себе не признаваясь, Жервеза радовалась в душе, что он любит ее такой чистой любовью, словно Святую деву. Когда у нее бывало серьезное огорчение, она думала о Гуже, и это ее утешало. Они нисколько не смущались, когда им случалось бывать вдвоем; они смотрели друг другу в глаза, улыбаясь, и никогда не говорили о своих чувствах. Они испытывали спокойную нежность, в которой не было места дурным помыслам; если дружба дает спокойствие и счастье, уж лучше оставаться только друзьями.

К концу лета Нана до того избаловалась, что отравляла жизнь всему дому. Ей исполнилось только шесть лет, но это была уже вконец испорченная девчонка. Чтобы она не путалась под ногами, Жервеза каждое утро отводила ее в небольшой пансион мадемуазель Жосс, на улице Полонсо. Там Нана потихоньку связывала подолы своих подруг, подсыпала золы в табакерку воспитательницы, а порой выдумывала такие пакости, о которых и рассказать совестно. Два раза мадемуазель Жосс выгоняла ее, но потом принимала обратно, не желая терять шесть франков в месяц, которые за нее получала. Вернувшись из пансиона, Нана в отместку за то, что ее держали взаперти, переворачивала вверх дном весь двор, куда гладильщицы отправляли девчонку, оглушенные ее криками. Там она отыскивала дочку Бошей Полину и сына бывшей хозяйки Жервезы — г-жи Фоконье, десятилетнего верзилу Виктора, который любил возиться с маленькими девчонками. Г-жа Фоконье по-прежнему дружила с Купо и сама посылала к ним сына. Впрочем, в доме и без того кишмя кишели детишки всех возрастов; они с утра до вечера носились стаями по всем четырем лестницам и заполняли двор, как туча вороватых и крикливых воробьев. Одна г-жа Годрон выпускала на двор сразу девять штук — белобрысых и чер-

номазых, нечесаных, сопливых, в штанах, натянутых чуть не до ушей, со спущенными чулками, в разодранных курточках, из-под которых выглядывала голая кожа, покрытая слоем грязи. Другая жилица, разносчица хлеба с шестого этажа, выпускала семерых. Из каждой двери ребятишки сыпались как горох. Среди этих копошившихся повсюду малышей, у которых рожицы отмывались лишь в те дни, когда шел дождь, были и долговязые, тонкие как спички, и толстые, с брюшком, как у взрослых, и крошечные, только что из колыбели, нетвердо стоявшие на ногах, совсем глупыши, которые становились на четвереньки, когда им хотелось добежать побыстрей. И всей этой ватагой верховодила Нана; она командовала девчонками вдвое старше нее и уступала частицу власти лишь Полине и Виктору, своим друзьям и поверенным, которые подчинялись всем ее затеям. Эта дрянная девчонка вечно играла в «дочки-матери», раздевала и одевала малышей, осматривала их со всех сторон, тискала, щипала и тиранила с порочной изобретательностью взрослой. Она выдумывала такие гадкие игры, за которые детей порют розгами. Вся эта банда шлепала по лужам, натекшим из красильни, и вылезала из них с ярко-синими или красными до колен ногами; затем она неслась в слесарную, чтобы стащить гвоздей и железных опилок, а потом вдруг появлялась в столярной, где лежали огромные кучи стружек, с которых ребята скатывались кувырком. Двор принадлежал им безраздельно, гудел от топота маленьких башмаков и звенел от пронзительных голосов, становившихся еще оглушительнее, когда эта орда устремлялась на новое место. Случалось, что и двор был им тесен. Тогда вся орава катилась в подвал, вылезала оттуда, карабкаясь по лестнице, врывалась в коридор, снова спускалась, опять взбиралась наверх и, пробежав по другому коридору, неслась дальше без устали, без остановок, час за часом, с визгом, с грохотом, так что весь громадный дом гудел и сотрясался от набега этих маленьких вредных зверьков, которые выскакивали из всех щелей.

— Да что они взбесились, эти чертенята? — кричала г-жа Бош.— Людям, видно, нечем заняться, если они только и делают, что рожают детей... А потом еще жалуются, что им есть нечего!

Бош говорил, что дети плодятся в нищете, как шампиньоны в навозе. Привратница ругала ребятишек с утра до вечера и грозила им метлой. Кончилось тем, что она заперла двери в подвалы, узнав от Полины, которой она надавала колотушек, что Нана вздумала играть там в «доктора»: негодная девчонка лечила малышей в темноте розгами.

Как-то под вечер разыгрался настоящий скандал. И не мудрено, этим должно было кончиться. Нана изобрела новую, забавную игру. Она стащила сабо г-жи Бош, которая оставляла башмаки у дверей привратницкой. Привязав к сабо бечевку, она стала возить

его за собой, как тележку. Виктор принял участие в игре и насыпал в сабо яблочной кожуры. Тогда выстроилось целое шествие. Впереди выступала Нана, таща на бечевке сабо. Полина и Виктор шли по бокам. За ними шагала в порядке вся сопливая команда: впереди те, что побольше, а позади всякая мелюзга; в самом хвосте ковылял крошечный карапуз не выше сапога, в платьице и в съехавшем на ухо рваном чепце. Эта процессия пронзительно тянула какую-то заунывную песню. Нана заявила, что они играют в «похороны», а яблочная кожура — это покойник. Они обошли весь двор и решили начать снова: всем понравилась эта игра.

— Что они там затеяли? — пробормотала г-жа Бош, выглядывая из привратницкой; она всегда была настороже, подозревая какую-нибудь пакость.

И вдруг она поняла, в чем дело.

— Да это мое сабо! — завопила она в бешенстве. — Вот сволочата!

Она налетела на детей, раздавая подзатыльники налево и направо, отхлестала Нана по щекам и отпустила затрещину Полине: эта дылда видит, что ребята стащили сабо ее матери, а ей хоть бы что! В это время Жервеза как раз наполняла ведро у колонки во дворе. Увидев Нана с разбитым носом, всю в слезах, она чуть не вцепилась в волосы привратнице. Как можно избивать ребенка в кровь? Экая бессердечная гадина! Разумеется, г-жа Бош не смолчала. Коли у тебя такая поганая девчонка, ну и держи ее под замком! Тут на пороге привратницкой появился сам Бош и закричал жене, чтоб она шла домой и не связывалсь со всякой дрянью. Наступил полный разрыв.

По правде говоря, между Бошами и Купо уже с месяц были испорчены отношения. Жервеза, очень щедрая от природы, вечно приносила им то бутылку вина, то чашку бульона, то апельсины, то кусок пирога. Однажды вечером она снесла привратнице остатки салата со свеклой, зная, что та обожает салат. Но на другой день мадемуазель Реманжу рассказала Жервезе, что г-жа Бош на глазах у всех выкинула салат во двор, да еще заявила при этом, что, слава богу, она не нищая и не подбирает чужих объедков. Жервеза побледнела от обиды, и с тех пор всякие подарки прекратились: ни вина, ни бульона, ни апельсинов, ни пирогов — ничего. Стоило посмотреть на постные рожи Бошей! Им казалось, будто Купо их обкрадывают. Жервеза понимала, что сама виновата: если б она не была так глупа и не приучила Бошей к вечным подачкам, они не стали бы рассчитывать на них и были бы любезны по-прежнему. А теперь привратница поливала Жервезу грязью. В октябре г-жа Бош наплела всяких небылиц домохозяину, г-ну Мареско, будто Жервеза проедает все свои деньги на лакомства, а потому и задержала на день квартирную плату; и г-н Мареско, тоже

изрядный хам, ввалился в прачечную, не снимая шапки, и потребовал свои деньги; впрочем, ему их тут же выложили на стол. Теперь Боши, разумеется, снова сдружились с Лорийе. Лорийе постоянно околачивались в привратницкой и выпивали с Бошами, празднуя примирение. Никогда бы они не поссорились, если б не Хромуша: эта змея подколодная хоть кого разведет! Да, теперь Боши раскусили ее как следует — они понимают, чего натерпелись от нее Лорийе. И когда Жервеза шла мимо их двери, они нарочно хихикали ей вслед.

Однажды Жервеза все же поднялась к Лорийе. Дело шло о мамаше Купо, которой уже исполнилось шестьдесят семь лет. У нее было совсем скверно с глазами. Да и ноги ее уже не слушались. Старухе поневоле пришлось отказаться от всякой работы, и если ей не помогут, она просто помрет с голоду. Жервеза считала позором, что старая женщина, у которой трое взрослых детей, оказалась брошенной на произвол судьбы. А так как Купо не желал говорить об этом с Лорийе и предлагал Жервезе пойти к ним самой, она поднялась наверх, кипя от негодования.

Она бурей ворвалась к ним, даже не постучав в дверь. В комнате у Лорийе ничего не изменилось с того вечера, когда она впервые пришла сюда и встретила такой враждебный прием. Та же рваная полинялая занавеска отделяла жилой угол от мастерской, и это длинное, как кишка, помещение по-прежнему напоминало змеиную нору. В глубине, склонившись над верстаком, Лорийе сжимал щипчиками колечко за колечком, собирая колонку, а его жена, стоя перед тисками, протягивала золотую нить сквозь волочильню. Маленький горн при дневном свете бросал розовый отблеск.

— Да, это я,— сказала Жервеза.— Вас это удивляет? Не мудрено. Ведь мы на пожах! Но я пришла не ради себя, да и не ради вас, сами понимаете... Я пришла ради мамаши Купо. Да, я хочу знать, уж не ждете ли вы, чтобы чужие подавали ей на бедность?

— Ну и влетела, нечего сказать! — пробормотала г-жа Лорийе.— Надо же иметь такую наглость!

Она повернулась к Жервезе спиной и снова принялась тянуть свою нить, стараясь показать, что ей нет никакого дела до невестки. Но тут Лорийе поднял мертвенно-бледное лицо и закричал:

— Что такое? В чем дело?

Однако он отлично все слышал и потому продолжал:

— Опять какие-то сплетни, да? Мамаша Купо тоже хороша, вечно всем жалуется, вечно ноет. Однако третьего дня она обедала у нас. Мы делаем для нее все, что можем. Но мы еще не нашли золотой жилы. А если старуха будет бегать и наговаривать на нас соседям, пусть у них и остается: нам не нужны шпионы.

Он снова взялся за цепочку, тоже повернулся к Жервезе спиной и добавил с неохотой:

— Если все будут давать по сто су в месяц, мы тоже дадим сто су.

Жервеза уже успокоилась, ее пыл охладел при взгляде на их ехидные лица. У Лорийе ей всегда было не по себе. Опустив глаза и разглядывая деревянную решетку, под которую падали обрезки золота, она стала говорить спокойно и рассудительно. У мамаши Купо трое детей; если каждый даст в месяц по сто су, получится всего пятнадцать франков — этого слишком мало, на такие деньги не проживешь; надо давать по крайней мере втрое больше. Но тут Лорийе поднял крик. Еще что? Откуда ему взять пятнадцать франков в месяц, воровать, что ли? Люди, право, дураки, они считают его богачом, только потому что он имеет дело с золотом. Потом он принялся ругать мамашу Купо: по утрам она не может обойтись без кофе, вечером пьет стаканчик вина,— словом, разыгрывает из себя барыню. Черт возьми! Каждый любит себя побаловать. Но что поделаешь? Коли ты не сумел отложить ни гроша на черный день — бери пример с других и потуже затягивай пояс. Да к тому же мамаша Купо вовсе не так стара и еще может поработать; небось, когда ей надо выловить в горшке кусок пожирней, так и глаза у нее видят совсем неплохо; просто она хитрая старуха и норовит поживиться за чужой счет. Даже будь у него деньги, он считал бы грехом помогать лентяям.

Однако Жервеза терпеливо и спокойно возражала, стараясь их убедить. Ей хотелось вызвать в них жалость к старухе. Но вскоре муж перестал ей отвечать. А жена нагнулась над горном и очищала цепочку в маленькой медной кастрюльке с кислотой, которую держала за длинную ручку над огнем. Она по-прежнему стояла к Жервезе спиной, как будто ее тут и не было. А Жервеза продолжала говорить, глядя на грязную, закопченную мастерскую, где Лорийе столько лет работали не разгибая спины, в залатанном, засаленном платье и постепенно от долгого отупляющего труда становились такими же бесчувственными, как их старые ржавые инструменты. Вдруг ее снова охватил гнев, и она закричала:

— Ну и ладно! Подавитесь вы вашими деньгами! А я возьму мамашу Купо к себе. Слышите? На днях я бездомную кошку подобрала, а вашу матушку и подавно подберу. У меня она будет есть вволю, будьте покойны, найдется для нее и кофе и рюмка вина! Боже мой! Что за мерзость! Ну и семейка!

Госпожа Лорийе разом обернулась. Она взмахнула кастрюлькой, как будто хотела плеснуть кислотой Жервезе в лицо, и забормотала, задыхаясь:

— Убирайтесь вон, пока я не наделала беды! И не думайте получать сто су, я не дам ни гроша! Ишь ты, сто су! Как бы не

так! Вы возьмете себе мамашу в прислуги, а мои сто су пойдут вам на лакомства. Если она будет жить у вас, пусть хоть с голоду подыхает, я не пришлю для нее и стакана воды, так ей и передайте! А теперь убирайтесь! Вон отсюда!

— Ну и ведьма! — крикнула Жервеза и со всей силы хлопнула дверью.

На другой день Жервеза взяла к себе мамашу Купо. Она поставила ее кровать в комнату Нана — в тот самый чулан, который освещало круглое окно под самым потолком. Переезд был несложен: у мамаши Купо, кроме кровати, был только старый ореховый шкаф, стол и два стула; шкаф поставили в каморку с грязным бельем, стол продали, а стулья отдали в починку. Вечером, после переселения, старушка, стараясь быть полезной, уже вымела прачечную и помыла посуду, очень довольная, что выпуталась из беды. Супруги Лорийе чуть не лопались от бешенства, тем более что г-жа Лера на днях опять помирилась с Купо. Незадолго перед тем сестры сцепились по поводу Жервезы: цветочница посмела похвалить ее за заботу об их матери, а потом, увидев, что сестра злится, и желая ее поддразнить, принялась восхищаться глазами прачки — чудесные глаза, так и сверкают; после этого они надавали друг другу оплеух и поклялись никогда больше не встречаться. Теперь г-жа Лера частенько приходила по вечерам в прачечную и забавлялась, слушая бесстыдные шутки Клеманс.

Прошло три года. За это время все не раз ссорились и вновь мирились. Жервеза не обращала внимания ни на Лорийе, ни на Бошей, ни на кого из тех, кто ее осуждал. Если она им не угодила,— что ж, пусть поищут другую! Она зарабатывала, сколько ей было нужно, а это самое главное. В квартале Жервеза понемногу завоевала всеобщее уважение, потому что редко с кем так приятно было иметь дело, как с нею: она не мелочная, не придира и платит сполна. Жервеза покупала хлеб у г-жи Кудлу, на улице Пуассонье, мясо у толстяка Шарля, на улице Полонсо, а бакалею у Леонгра, на улице Гут-д'Ор, почти напротив своей прачечной. Франсуа, хозяин винной лавки на углу, приносил ей вино на дом, корзинами по пятьдесят бутылок. Ее сосед, угольщик Вигуру, у жены которого, наверно, все ляжки были в синяках, потому что ее вечно щипали мужчины, продавал Жервезе кокс по цене газовой компании. И, надо правду сказать, поставщики обслуживали ее на совесть: они твердо знали, что не прогадают, если будут внимательны к ней. Поэтому, когда она ненадолго уходила из прачечной, простоволосая, в шлепанцах, все наперебой здоровались с ней, а она чувствовала себя здесь как дома; соседние улицы были словно естественным продолжением ее квартиры, с широко открытой дверью, выходившей прямо на тротуар. Теперь, отправляясь по делам, она не спешила возвращаться домой и чувствовала себя сча-

стливой, видя кругом столько знакомых. В те дни, когда Жервеза не успевала состряпать обед, она брала готовые блюда в харчевне, помещавшейся в их же доме по ту сторону ворот, и болтала с хозяином, стоя в большом зале с широкими запыленными окнами, сквозь которые просвечивал тусклый свет огромного двора. А возвращаясь домой с тарелками и мисками в руках, она частенько останавливалась перед открытым окном в первом этаже потолковать с соседкой или заглядывала в убогое жилище какого-нибудь сапожника, с неубранной постелью, разбросанными по полу тряпками, колченогими детскими кроватками и глиняной чашкой для вара, полной черной жижи. Но больше всех соседей она уважала часовщика, чистенького господина в сюртуке, который постоянно ковырялся в часах крохотными инструментами; она часто переходила улицу, чтобы поздороваться с ним, и смеялась от удовольствия, задерживаясь перед узкой, как шкаф, мастерской, где весело тикали маленькие стенные часики и, торопливо перебивая друг друга, все разом отсчитывали время.

VI

Как-то осенью, после обеда, Жервеза отнесла белье заказчице на улицу Порт-Бланш и, возвращаясь в сумерках домой, вышла на улицу Пуассонье. Утром прошел дождь, и в мягком, теплом воздухе пахло сыростью от грязной мостовой. Громоздкая корзина стесняла Жервезу, она запыхалась и шла, медленно передвигая ноги, невольно отдаваясь какому-то смутному желанию, которое нарастало в ней вместе с усталостью. Пожалуй, она съела бы чего-нибудь вкусненького. Подняв глаза, она прочитала на дощечке надпись: «Улица Маркаде», и ей вдруг пришло в голову заглянуть в кузницу к Гуже. Он уже раз двадцать приглашал ее зайти к нему в мастерскую посмотреть, как куют железо. А чтобы рабочие чего не подумали, она может спросить Этьена и сделать вид, что пришла только ради сына.

Фабрика гвоздей и болтов находилась где-то поблизости, на улице Маркаде, но Жервеза не знала точно, где именно, тем более что на многих разбросанных в беспорядке домишках вовсе не было номеров. Ни за какие блага в мире она не согласилась бы жить на этой широкой улице, черной от угольной пыли и от копоти фабричных труб, с ухабистой мостовой, в выбоинах которой застаивались грязные лужи. По обеим ее сторонам тянулись длинные сараи, мастерские с большими окнами, какие-то серые, словно незаконченные постройки, выставлявшие напоказ голые кирпичи и балки,— целая вереница шатких лачуг, подслеповатых ка-

бачков и подозрительных ночлежек, среди пустырей, ведущих прямо в поле. Жервеза знала только, что мастерская Гуже находится рядом со складом тряпья и железного лома, похожим на свалку, где, по словам кузнеца, валяется на сотни тысяч франков всякого добра. Она остановилась, оглушенная, пытаясь разобраться в окружающем шуме и грохоте: длинные трубы пыхтели, со свистом выбрасывая клубы дыма; равномерный визг механической пилы напоминал звук разрываемой ткани; от стука машин пуговичной мастерской мостовая сотрясалась, словно под ударами громадной трамбовки. Жервеза в нерешительности повернулась лицом к Монмартру, не зная, куда идти, как вдруг порыв ветра сбил вниз густой столб дыма, валившего из высокой трубы, и погнал его вдоль улицы прямо на нее; задыхаясь, она зажмурила глаза и тут услышала мерный стук молотов: она случайно остановилась прямо против кузницы; тут же рядом она заметила и подвал с тряпьем.

Однако Жервеза все еще колебалась, не зная, где же вход. Через пролом в заборе была видна тропинка, терявшаяся среди полуразрушенных стен и куч строительного мусора. Дорогу перегородила большая вязкая лужа, через которую были переброшены две доски. Наконец Жервеза решилась, прошла по доскам, свернула налево и оказалась в диковинном лесу из старых тележек, лежавших, задрав оглобли, и полуразвалившихся лачуг с торчащими кверху балками. Где-то в глубине, в сгущавшихся мутных сумерках, сверкало красное пламя. Стук молотов затих, Жервеза, осторожно ступая, уже направилась на огонек, когда мимо нее прошел какой-то рабочий с измазанным сажей лицом и козлиной бородкой; он искоса оглядел ее тусклыми глазами.

— Скажите, пожалуйста,— спросила Жервеза,— здесь работает мальчик по имени Этьен?.. Это мой сын...

— Этьен, Этьен,— хрипло повторил рабочий, топчась на месте,— Этьен... Что-то не знаю такого.

Когда он заговорил, от него пахнуло спиртом, как от старого водочного бочонка, из которого вытащили затычку. Встретив женщину в этом темном углу, он нахально ухмыльнулся, и Жервеза, попятившись, пробормотала:

— Ну, а Гуже здесь работает?

— Гуже — другое дело! — сказал рабочий.— Этого я знаю. Если вам нужен Гуже, ступайте прямо.

И, повернувшись, он крикнул надтреснутым голосом:

— Эй ты, Желтая Борода, тут к тебе дама!

Но грохот железа заглушил его слова. Жервеза пошла вперед. Дойдя до двери, она заглянула в нее и увидела просторный сарай, в котором сначала ничего не могла разглядеть. Где-то вдали, как далекая звездочка, еле мерцал горн, и его слабый свет,

казалось, еще углублял окружающий мрак. Какие-то бесформенные тени скользили в темноте. Порой перед огнем появлялись черные фигуры, загораживая единственное светлое пятно,— какие-то исполины с громадными ручищами. Жервеза не решалась войти и, стоя на пороге, робко позвала:

— Господин Гуже... Господин Гуже...

И вдруг все осветилось. Мехи захрипели, и кверху взметнулся сноп белого пламени. Из мрака сразу выступил огромный сарай, с кое-как сколоченными дощатыми стенами, укрепленными по углам кирпичной кладкой и с грубо заделанными щелями. На всем лежал толстый слой угольной пыли. С балок на потолке свисала тяжелая, покрытая многолетней копотью паутина, словно развешанные для просушки лохмотья. Вдоль стен, на полках, на полу или просто по темным углам, валялся железный хлам, покалеченные части машин, какие-то огромные инструменты, бросавшие причудливые изломанные тени. А белое пламя все разгоралось и заливало ослепительным светом земляной пол и четыре, вделанные в колоды, стальные наковальни, которые отливали серебром и вспыхивали золотыми искрами.

Тут перед горном Жервеза увидела Гуже, она сразу узнала его по густой русой бороде. Этьен раздувал мехи. Рядом стояли еще двое рабочих. Но Жервеза смотрела только на Гуже, она подошла ближе и стала перед ним.

— Как, это вы, Жервеза? — воскликнул он, и лицо его просияло.— Вот приятный сюрприз!

Но заметив, что товарищи насмешливо переглядываются, он подтолкнул Этьена к матери и продолжал:

— Вы пришли проведать сынишку?.. Он у вас молодец, старается и скоро набьет себе руку.

— Вот и хорошо! — сказала Жервеза.— Однако к вам нелегко добраться... Я уж думала, что попала на край света...

И она рассказала, как чуть не сбилась с дороги. Потом спросила, почему здесь не знают Этьена по имени. Гуже засмеялся; он объяснил ей, что все называют мальчика Зузу, потому что волосы у него коротко острижены, как у зуава. Тем временем Этьен перестал раздувать мехи, пламя в горне опадало, бросая розоватые отблески, и вскоре сарай снова погрузился в темноту. Кузнец с нежностью смотрел на молодую женщину, ее улыбающееся лицо казалось совсем юным в этом мягком свете. Они замолчали, глядя друг на друга в сгущавшемся мраке; но тут Гуже опомнился и, принимаясь за работу, сказал:

— Простите, Жервеза, вы подождете? Мне нужно кое-что закончить. Побудьте здесь, вы никому не помешаете.

Она осталась. Этьен снова взялся за мехи. Горн пылал, разбрасывая тучи искр; мальчик, стараясь блеснуть перед матерью,

поднял мехами настоящий ураган. Гуже следил, как накаляется железный брус, и стоял, держа наготове щипцы. Яркий огонь резко, без единой тени освещал кузнеца. Рукава у него были засучены, ворот расстегнут; голые руки, шея, грудь розовели, как у девушки, а на нежной коже курчавились светлые волосы; он стоял склонив голову, расправив широкие плечи, на которых вздувались тугие мускулы, и внимательно, не мигая, смотрел ясными глазами на разгоревшееся пламя, похожий на могучего богатыря, спокойно сознающего свою силу. Когда брус накалился добела, Гуже схватил его щипцами и, бросив на наковальню, разбил на равные части, легонько ударяя молотом, как будто дробил стекло. Потом он снова бросил эти куски в горн и стал вынимать по одному для обработки. Он ковал шестигранные гвозди для подков. Вставив кусок железа в оправку, он сплющивал один конец, делая шляпку, затем отбивал шесть граней и отбрасывал в сторону готовые, еще красные гвозди, которые понемногу меркли на черной земле; он работал спокойно, размеренно, словно играя пятифунтовым молотом, зажатым в правой руке, и каждым ударом ковал какую-нибудь деталь; он поворачивал и обрабатывал железо с такой ловкостью, что мог при этом разговаривать и смотреть на собеседника. Удары молота по наковальне звучали серебряным звоном. Гуже даже не вспотел, он работал так легко и непринужденно, как будто ковать было для него не труднее, чем дома, по вечерам, вырезать картинки.

— Это маленькие гвозди, двадцатимиллиметровые,— отвечал он на вопрос Жервезы.— Таких можно наделать штук триста в день... Только нужна сноровка, а без привычки живо отмахаешь себе руку.

Когда Жервеза спросила, не ломит ли у него плечо к концу дня, он добродушно засмеялся. Он же не барышня, в самом деле! За пятнадцать лет он успел наловчиться. Столько повозился с инструментом на своем веку, что руки у него стали твердые, как железо. А впрочем, она права: если б этим молотом вздумал поиграть какой-нибудь белоручка, не выковавший в жизни ни одного болта, он через два часа спины бы не разогнул. На первый взгляд эта работа как будто и нетрудная, а он знавал здоровых парней, которые за несколько лет изматывались вконец. Между тем рабочие дружно стучали все разом. Их громадные тени метались в свете пылавшего горна, красные куски раскаленного железа светились в темной глубине сарая, молоты разбрызгивали искры, и они вспыхивали, рассыпаясь дождем вокруг наковален. Жервезу захватило громыхание кузницы, ей нравилось здесь и не хотелось уходить. Она осторожно обошла горн, боясь обжечься, и стала возле Этьена. Тут в кузницу ввалился тот грязный бородатый рабочий, которого она встретила во дворе.

— Ну как, сударыня, разыскали? — спросил он с пьяной ухмылкой.— Знаешь, Желтая Борода, ведь это я помог тебя найти...

Этот рабочий, по прозвищу Ненасытная Утроба, он же Бездонная Бочка, был первоклассным гвоздарем, ловкачом, каких мало, но пил как лошадь и каждый день заливал себе в глотку не меньше литра водки. И сейчас он выходил опрокинуть стаканчик, так как чувствовал — до шести часов ему смазки не хватит. Его ужасно позабавило, что Зузу зовут Этьеном, и он долго смеялся, показывая черные зубы. Потом он вдруг узнал Жервезу. Ну как же, еще вчера он заходил с Купо в кабачок пропустить по стаканчику. Вы только спросите Купо про Ненасытную Утробу или Бездонную Бочку, и он сейчас же скажет: «Это свой парень!» Уж стервец Купо не подведет, он всегда поднесет приятелю,— нет, этот считаться не станет.

— Я очень рад, что вы его жена,— твердил пьянчуга.— Купо сто́ит такой красотки... Правда, Желтая Борода, у Купо жена красавица?

Он корчил из себя любезного кавалера и терся возле Жервезы, а она подняла корзину и держала ее перед собой, не подпуская его слишком близко. Гуже понимал, что тот насмехается над его дружбой с Жервезой, и закричал в сердцах:

— Эй ты, лодырь! Когда же примешься за сорокамиллиметровые? Ведь ты уж нагрузился, чертов пропойца,— может, теперь раскачаешься?

Кузнец говорил о заказе на крупные болты, которые обычно ковали вдвоем.

— Хоть сейчас, коли хочешь, щенок,— ответил Ненасытная Утроба, он же Бездонная Бочка.— Ишь ты, еще молоко на губах не обсохло, а туда же, тягается со взрослыми! Ладно, хоть ты и дылда, а до меня не дорос!

— Ну, так давай начнем. Посмотрим, кто кого!

— Идет, дурья голова!

Раззадоренные присутствием Жервезы, они как будто вызывали друг друга на поединок. Гуже бросил в горн заготовленные заранее железные бруски и укрепил на наковальне оправку крупного размера. Его товарищ взял два тяжелых молота фунтов по двадцати, стоявших у стены: два самых больших молота, которые в мастерской окрестили Фифиной и Деделью. Ненасытная Утроба все продолжал хорохориться, вспоминая, как он выковал полгросса болтов для маяка в Дюнкерке — не болты, а прямо красавчики! Им место в музее — не иначе! Нет, черт возьми! Ему не страшен никакой соперник; попробуйте сыскать другого такого ловкача — небось придется обшарить всю столицу! Да что говорить, сейчас сами увидите. То-то будет смеху!

— А вы, сударыня, будьте судьей,— сказал он, поворачиваясь к Жервезе.

— Хватит трепать языком! — крикнул Гуже.— А ну, Зузу, принатужься! Поддай жару, сынок!

Тогда Ненасытная Утроба спросил:

— Ковать-то будем вместе?

— Ну нет, старина! Каждый сам выкует свой болт!

Тут Ненасытная Утроба разом осекся и, несмотря на весь свой задор, почувствовал, что у него пересохло в горле. Виданное ли дело — ковать в одиночку сорокамиллиметровые болты, ведь у них должны быть совсем круглые головки, а это дьявольски трудная штука, настоящий фокус. Остальные трое кузнецов бросили работу и подошли поглядеть; один из них, тощий, долговязый детина, предложил поспорить на литр вина, что Ненасытная Утроба побьет Гуже. Тем временем противники, зажмурив глаза, выбирали, какой кому достанется молот. Ненасытной Утробе повезло — он захватил Дедель, которая была на полфунта легче Фифины; Желтой Бороде досталась Фифина. Тут пьянчуга снова взбодрился и, дожидаясь, пока железо накалится добела, принялся куражиться у наковальни, бросая на прачку нежные взгляды; он делал выпады и притоптывал, как фехтовальщик перед поединком, или взмахивал руками над головой, будто уже орудовал молотом. Эх, разрази его гром! Силы у него хоть отбавляй: он может расплющить в лепешку даже Вандомскую колонну!

— Ладно, начинай! — сказал Гуже и сам вставил в оправку раскаленный железный брус толщиной с детскую руку.

Ненасытная Утроба, он же Бездонная Бочка, схватил обеими руками Дедель и откинулся, чтобы размахнуться посильней. Маленький, сухой, с козлиной бородкой и волчьими глазами, сверкавшими из-под нечесаной копны волос, он сгибался пополам при каждом ударе молота и, замахиваясь, подпрыгивал, как будто его подбрасывали. Он яростно колотил по железу, словно в отместку за то, что оно такое твердое, а когда наносил особенно ловкий удар, даже рычал от удовольствия. Быть может, кое-кому водка и расслабляет мускулы, а ему необходимо чувствовать водку в крови, без нее он не работник; стаканчик, который он только что пропустил, согревает ему нутро, что твоя печка, а силищи в нем, как в паровой машине! Видно, и железо боится его сегодня, под молотом оно становится мягким, как воск. А Дедель так и танцует в его руках — любо-дорого смотреть! Она выкидывает антраша, точно девка в кабачке на Монмартре, которая так задирает ноги, что юбки взлетают ей на голову. Да, с железом шутки плохи, оно, проклятое, мигом остынет, чуть только зазеваешься. Ненасытная Утроба выковал головку своего болта за тридцать ударов. Но он задыхался, глаза его вылезали из орбит, он кипел от злости, чувст-

вуя, что руки уже не слушаются его. Наконец в бессильной ярости, приплясывая и хрипя, он нанес два последних удара только для того, чтобы отомстить за свою слабость. Когда он вытащил болт из оправки, шляпка совсем скособочилась, словно голова у горбуна.

— Ну как? Чисто сработано? — спросил он, однако, со свойственной ему наглостью и показал болт Жервезе.

— Я в этом деле не разбираюсь, сударь,— ответила она сдержанно.

Но она ясно видела на болте следы двух последних ударов Дедели и радовалась его неудаче; она кусала губы, чтобы не рассмеяться: ведь теперь все преимущества были на стороне Гуже.

Наступил черед Желтой Бороды. Прежде чем начать, он бросил на Жервезу ласковый, доверчивый взгляд. Потом не спеша подошел к наковальне и, высоко взмахнув молотом, принялся наносить мощные равномерные удары. То была работа высшего класса — спокойная, четкая, искусная. В его руках Фифина не выкидывала разные коленца, не задирала ноги выше головы, как распутная девка, пляшущая в кабаке,— нет, она поднималась и приседала ритмично, как благородная дама, чинно танцующая старинный менуэт. Пятки Фифины крепко отбивали такт и плющили раскаленное железо расчетливо и уверенно, сначала посередине, а потом точными меткими ударами обрабатывали его по краям. Ничего не скажешь, в жилах Желтой Бороды текла не водка, а кровь, чистая кровь, и она горячей струей отдавалась в мерно работавшем молоте. Как он был хорош за работой, этот богатырь! Светлое пламя горна било ему прямо в лицо. Короткие завитки волос над низким лбом и пышная русая борода, спускавшаяся кольцами на грудь, горели, как огонь, бросая яркие отблески на его лицо, словно отлитое из чистого золота. Шея у него была стройная, как колонна, и белая, как у ребенка; грудь мощная и такая широкая, что на ней легко уместилась бы женщина; плечи и руки были словно созданы ваятелем по образцу могучего титана. Когда он взмахивал молотом, его упругие мускулы вздувались клубками, перекатываясь под кожей; его плечи, шея, грудь наливались силой; казалось, от него исходит сияние, он был прекрасен и могуч, как бог. Он уже двадцать раз ударил молотом, глубоко вздыхая после каждого взмаха и не отрывая глаз от головки болта, только с висков у него катились тяжелые капли пота. Он считал: двадцать один, двадцать два, двадцать три. Фифина по-прежнему спокойно и чинно приседала, как важная дама.

— Тоже мне, задается! — пробормотал насмешливо Ненасытная Утроба.

А Жервеза, стоя напротив Гуже, глядела на него, ласково улыбаясь. Боже мой! До чего глупы мужчины! Взять хотя бы этих

двоих — ведь они дубасят по железу, только чтобы блеснуть перед ней! О, она отлично понимает, что, играя своими молотами, они хотят отбить ее друг у друга и хорохорятся, как два больших красных петуха перед белой курочкой. Ведь надо же придумать такую глупость! Как странно люди проявляют порой свои чувства! Да, это ради нее Фифина и Дедель грохочут по наковальне, ради нее плющится раскаленное железо, ради нее жаркий горн полыхает пожаром, разбрасывая снопы сверкающих искр. Они куют перед ней свою любовь, они оспаривают ее друг у друга, как будто она и впрямь достанется тому, кто выкует лучше. И, правду говоря, в глубине души это ее радовало: всякой женщине приятно, когда за ней ухаживают. Удары молота Желтой Бороды с особой силой отдавались у нее в сердце, оно само звенело, как наковальня, и этот ясный звон сливался с биением ее крови. Конечно, все это чепуха, но ей казалось, что громкие удары как будто вбивают ей что-то горячее вот сюда, прямо в сердце, и оно становится твердым, как железный болт. Когда она шла в сумерках по грязной улице к Гуже, ею овладело смутное желание, ей как будто хотелось съесть чего-нибудь вкусненького; и вот теперь она была удовлетворена, словно удары молота Желтой Бороды насытили ее. Она ничуть не сомневалась, что Гуже победит и она достанется ему. Ненасытная Утроба, он же Бездонная Бочка, такой противный: ходит в грязных брюках и замызганной куртке, да еще кривляется, как обезьяна. И она ждала, вся раскрасневшись, довольная, что ее обдает тяжелым жаром, вздрагивая всем телом от последних мощных ударов Фифины.

Гуже продолжал считать.

— Двадцать восемь! — крикнул он наконец и опустил молот на землю.— Готово. Можете поглядеть.

Головка у болта была круглая, гладкая, ровная, без единой вмятинки, как будто отлитая в форме,— настоящее ювелирное изделие. Кузнецы рассматривали болт, одобрительно кивая головой: тут ничего не скажешь — остается только снять шапку и поклониться! Ненасытная Утроба, он же Бездонная Бочка, попробовал балагурить, но вскоре скис и кончил тем, что поплелся повесив нос к своей наковальне. Тогда Жервеза прижалась к Гуже, словно для того, чтобы лучше разглядеть его работу. Этьен оставил мехи, огонь в горне понемногу затухал, бросая красный отблеск, словно заходящее солнце, и вдруг погас; все погрузилось во тьму. Прачка и кузнец стояли рядом, полные нежности, радуясь, что их окутывает мрак в этом грязном, закопченном сарае, пропахшем сажей и ржавым железом; приди они на свидание в самый укромный уголок Венсенского леса, они не чувствовали бы себя как здесь, совсем наедине. Гуже взял Жервезу за руку, как будто и вправду завоевал ее.

Выйдя во двор, они не обменялись ни словом. Гуже не знал, о чем говорить, и только сказал, что она могла бы увести Этьена, но до конца работы еще осталось полчаса. Помедлив, Жервеза собралась уходить, но Гуже снова окликнул ее, стараясь задержать хотя бы на несколько минут.

— Обождите, вы еще не все посмотрели... Право же, тут много интересного...

Он повел ее направо, в другой сарай, где хозяин оборудовал механическую мастерскую. На пороге она остановилась, оробев. Обширное помещение все содрогалось от грохота машин; громадные тени метались между красных огней. Но Гуже с улыбкой успокаивал ее и клялся, что бояться тут нечего, надо только подальше обходить машины, чтобы юбку не втянуло в зубчатое колесо. Он шел впереди, Жервеза следовала за ним среди оглушительного шума, в котором сливались и стук, и скрежет, и хрипение; вокруг, в клубах дыма, мелькали какие-то неясные тени, суетились черные фигуры, машины протягивали длинные руки, и Жервеза не могла отличить рабочих от станков. Проходы были очень узкие, приходилось перешагивать через препятствия, обходить какие-то ямы и жаться к стене, чтобы не попасть под тележку. Не слышно было даже собственного голоса. Жервеза еще ничего не могла разглядеть, все плясало у нее перед глазами. Затем ей почудились вверху взмахи тяжелых крыльев, она подняла голову и остановилась, разглядывая сеть приводных ремней: они покрывали весь потолок, сплетаясь в громадную паутину, и каждая ее нить разматывалась без конца. В углу, скрытый за небольшой кирпичной стенкой, стоял паровой двигатель, и казалось, ремни двигаются сами собой, появляясь из темной глубины, и скользят непрерывно, равномерно, плавно, словно стая ночных птиц. Жервеза чуть не упала, споткнувшись о воздуходувную трубу,— эти трубы тянулись во все стороны по земляному полу и обдавали своим резким дыханием множество небольших горнов возле станков. Тут Гуже начал рассказывать ей, что к чему; он пустил в ход одну воздуходувку и направил струю воздуха в горн, где с четырех сторон вспыхнули веером языки пламени, образуя ослепительный зубчатый венчик с красноватым отливом; огонь был такой яркий, что маленькие фонарики рабочих потускнели, напоминая темные пятна на солнце. Затем Гуже, напрягая голос, принялся объяснять ей устройство машин: вот механические ножницы, которые перекусывают железные бруски, отхватывая кусок за куском одним движением стальных челюстей, и выплевывают их на пол; вот машины для изготовления болтов и гвоздей, большие и сложные, они выковывают шляпки одним ударом, опуская на них могучий пресс; вот шлифовальный станок с маховиком и чугунным валом, который, бешено вращаясь и свистя, очищает готовые

изделия; вот станки для нарезки болтов,— ими управляют женщины,— они делают резьбу на болтах и гайках под мерное постукивание блестящих стальных колес, густо покрытых смазкой. Теперь Жервеза видела все, начиная с металлических брусьев, стоявших у стены, и кончая готовыми болтами и гвоздями, ссыпанными в ящики, которые загромождали углы. Наконец она поняла весь ход работы и с улыбкой кивнула головой; однако смутная тревога сжимала ей сердце: она казалась себе такой маленькой и беззащитной среди этих могучих железных великанов и вздрагивала, замирая от страха всякий раз, как раздавался глухой стук шлифовальной машины. Глаза ее привыкли к темноте, и она уже различала в глубине неподвижно стоявших людей, которые управляли суетливой пляской маховиков, когда горн, окруженный сияющим венчиком, внезапно выбрасывал яркое пламя. Но она невольно все возвращалась взглядом к потолку, туда, где струилась живая кровь машин, где легко и плавно скользили приводные ремни; и, подняв глаза, она смотрела, как могучая немая сила трепещет под темными сводами потолка.

Тем временем Гуже остановился перед гвоздильной машиной. Он стоял задумавшись и, понурив голову, не сводил с нее глаз. Машина ковала сорокамиллиметровые гвозди для подков со спокойной уверенностью великана. Казалось, ничего не может быть проще! Кочегар вынимал кусок железа из горна, кузнец вставлял его в оправку, на которую все время лилась струйка воды, чтобы сталь не откаливалась, затем поворотом винта он опускал пресс — вот и все! Готовый болт с круглой, гладкой, словно отлитой головкой падал на землю. За двенадцать часов эта дьявольская машина могла изготовить сотни кило гвоздей. Гуже был от природы добряк, но иной раз ему хотелось схватить Фифину, размахнуться и сокрушить все эти машины, так его бесило, что их стальные руки сильнее, чем у него. Он чувствовал глубокую обиду, хотя и убеждал себя, что не может человеческая плоть тягаться с железом. Конечно, настанет день, когда машина вытеснит рабочего. Теперь кузнец уже получает не двенадцать, а девять франков в день, и, говорят, скоро оплата еще снизится; словом, ничего хорошего не жди от этих металлических чудовищ, которые выплевывают болты и гвозди сотнями с такой же легкостью, как если б это были сосиски. Минуты три Гуже молча смотрел на машину, брови его хмурились, пышная русая борода угрожающе топорщилась. Но вскоре черты его смягчились, и лицо мало-помалу стало кротким и спокойным. Он повернулся к Жервезе, которая стояла, прижавшись к нему, и сказал с грустной улыбкой:

— Да, эти машины нас здорово подвели! Зато, быть может, потом они послужат для общего блага.

Но Жервезе было наплевать на общее благо. Она нашла, что машинные болты хуже тех, что изготовлены вручную.

— Глядите, они сделаны слишком уж чисто...— горячо говорила она.— Ваши мне нравятся гораздо больше. Сразу видно, что работал искусный мастер.

Эти слова доставили Гуже огромную радость: он уже боялся, что, увидев, как работают машины, Жервеза станет его презирать. Черт возьми, если он и оказался сильнее Ненасытной Утробы, то ведь машины оказались сильнее его! Проводив Жервезу во двор, Гуже, прощаясь, чуть не раздавил ей руку, до того он был счастлив.

Каждую субботу Жервеза относила Гуже чистое белье. Они жили все в том же домике на Новой улице, в квартале Гут-д'Ор. Первый год Жервеза аккуратно выплачивала им по двадцать франков в месяц, в счет своего долга; чтобы не запутаться, они производили расчет в конце каждого месяца, и Жервеза добавляла недостающую до двадцати франков сумму: Гуже стирали белья не больше чем на семь-восемь франков в месяц. Таким образом, она выплатила почти половину долга, но как-то раз ей нечем было заплатить за квартиру, потому что ее обманули клиенты, и, не зная, к кому обратиться, Жервеза побежала к Гуже занять у них нужную сумму. Еще раза два она занимала у них деньги, когда приходилось платить жалованье работницам,— и вот ее долг снова возрос до четырехсот двадцати пяти франков. Теперь она уже не отдавала Гуже ни гроша и расплачивалась только стиркой. Не то чтобы она стала меньше работать или дела в прачечной пошли на убыль. Нет. Напротив! Но деньги словно куда-то уплывали, они просто таяли у нее в руках, и она бывала счастлива, если ей удавалось свести концы с концами. Бог мой! Лишь бы хватало на жизнь, а тогда нечего и жаловаться — ведь правда? Она все больше полнела и, поддаваясь слабостям своей отяжелевшей плоти, была уже не в силах тревожиться о будущем. Тем хуже! Деньги все равно текут между пальцами, значит, не стоит их и удерживать! Однако г-жа Гуже по-прежнему питала к Жервезе материнские чувства. Порой она ласково выговаривала ей, не из-за денег, а потому, что любила ее и боялась, как бы Жервеза не прогорела. О долге она никогда и не заикалась. Словом, она была очень деликатна.

На другой день после того, как Жервеза зашла в кузницу, наступила как раз последняя суббота месяца. Жервеза отправилась к Гуже, она всегда сама относила им белье; на этот раз корзина так оттянула ей руки, что она минуты две никак не могла отдышаться. Ну и тяжелая штука белье, особенно простыни!

— Вы все принесли? — спросила г-жа Гуже.

В таких делах она была очень строга. Она требовала, чтобы

ей приносили все белье сразу и ни одна вещь не залеживалась — для порядка, говорила она. Второе ее требование — чтобы прачка приходила точно в назначенный день и всегда в тот же час,— тогда не теряешь времени даром.

— Здесь все, можете не беспокоиться,— с улыбкой ответила Жервеза.— Вы же знаете, я белье не задерживаю.

— Это правда,— подтвердила г-жа Гуже,— вы успели нажить кое-какие недостатки, но этого у вас еще нет.

И пока прачка опорожняла свою корзину и раскладывала белье на кровати, г-жа Гуже хвалила ее работу: она не палит белье, не рвет его, как в других прачечных, не отрывает пуговиц утюгом; вот только синьки она кладет слишком много и чересчур крахмалит перед у мужских сорочек.

— Посмотрите, ведь это просто картон,— сказала г-жа Гуже, постучав по манишке.— Сын не жалуется, но воротник впивается ему в шею... Завтра, когда мы вернемся из Венсена, у него вся шея будет в крови.

— Да что вы! — воскликнула огорченная Жервеза.— Право же, перед у мужских сорочек должен быть твердым, иначе он сразу превратится в тряпку. Поглядите, как одеваются господа... Я ведь сама глажу ваше белье. Никогда не доверяю его работницам и стараюсь изо всех сил. Я готова десять раз переделать, лишь бы все было в порядке, потому что это для вас, понимаете?..

Жервеза слегка покраснела, бормоча последние слова. Она боялась показать, какое удовольствие ей доставляет самой гладить рубашки Гуже. Разумеется, у нее не было дурных мыслей, но все-таки она была немного смущена.

— Полноте, я же вас не корю: вы работаете как нельзя лучше,— ответила г-жа Гуже.— Вот хотя бы этот чепец, он прекрасно выглажен. Никто другой не сумел бы так оттенить вышивку. А какая ровная плойка! Будьте покойны, я всегда узна́ю вашу руку! Даже если работница выгладит какую-нибудь тряпку — и то сразу видно... Вы только кладите чуть поменьше крахмала — вот и все! Гуже не гонится за важными господами.

Мамаша Гуже взяла тетрадку и начала вычеркивать белье штуку за штукой. Все было в порядке. Подсчитывая, она увидела, что Жервеза поставила шесть су за чепец, и начала возражать, но тут же вынуждена была согласиться, что по нынешним ценам это недорого; нет, право, мужская рубашка пять су, женские панталоны четыре су, наволочка полтора су, фартук одно су,— все это недорого, ведь во многих прачечных за каждую вещь берут на два лиара, а то и на целое су дороже. Затем Жервеза пересчитала и уложила в корзину грязное белье, а г-жа Гуже его записала; однако прачка все не уходила, смущенная; на языке у нее вертелась какая-то просьба, но она не решалась ее высказать.

— Госпожа Гуже,— проговорила она наконец,— если вас не затруднит, на этот раз мне хотелось бы получить деньги за стирку.

Счет был как раз очень велик, в этом месяце он составил больше десяти франков. Г-жа Гуже серьезно посмотрела на Жервезу и, помолчав, ответила:

— Будь по-вашему, дитя мое. Я не стану вам отказывать, коли вы нуждаетесь в деньгах... Однако так вы никогда не выплатите своего долга; я говорю это только ради вас, понимаете? Смотрите, будьте осторожны.

Жервеза выслушала это внушение, опустив голову и бормоча оправдания. Ей нужны десять франков, чтобы расплатиться с угольщиком, у которого она взяла уголь в долг. Но, услышав слово «в долг», г-жа Гуже заговорила еще строже. Она привела в пример себя: с тех пор как сыну платят девять франков вместо двенадцати, она урезала все расходы по хозяйству. Кто не научился смолоду экономить, тот в старости умрет на соломе. Однако она удержалась и не сказала Жервезе, что отдает ей белье только для того, чтобы помочь расплатиться с долгом,— прежде она сама стирала белье и снова будет стирать сама, если ей придется платить прачке такие деньги. Получив свои десять франков, Жервеза поблагодарила и тотчас убежала. Выйдя на площадку, она вздохнула с облегчением, ей хотелось плясать от радости; она уже привыкла к денежным затруднениям и всяким неурядицам, старалась не думать о них и была рада, когда ей удавалось выйти сухой из воды — на этот раз сошло, а там будет видно!

В эту же субботу, когда Жервеза спускалась по лестнице от Гуже, у нее произошла очень занятная встреча. Она прижалась со своей корзиной к перилам, чтобы пропустить высокую простоволосую женщину, которая поднималась ей навстречу, держа в бумаге свежую макрель с окровавленными жабрами. И вдруг Жервеза узнала в этой женщине Виржини, которой она когда-то в прачечной задрала юбки и всыпала как следует. Они в упор взглянули друг на друга. Жервеза на миг зажмурила глаза, испугавшись, что Виржини вот-вот хлопнет ее макрелью по лицу. Но нет, Виржини лишь криво усмехнулась. Тогда прачка, загородившая корзиной дорогу, решила быть учтивой.

— Простите, пожалуйста,— сказала она.

— Не беспокойтесь, вы мне не мешаете,— ответила долговязая Виржини.

И, остановившись посреди лестницы, они принялись болтать как ни в чем не бывало, даже не заикнувшись о прошлом. Виржини исполнилось двадцать девять лет, и она превратилась в цветущую статную женщину, с немного длинным лицом, обрамленным черными как смоль волосами. Чтобы похвастаться, она тут же рассказала свою историю: теперь она замужем, она обвенча-

лась этой весной с бывшим рабочим-краснодеревцем; недавно он вернулся из армии и скоро получит место в полиции, ведь быть полицейским и выгодней и почетней. Для него-то она и купила рыбу.

— Он обожает макрель,— сказала она.— Приходится иногда потакать этим негодникам-мужчинам, правда? Но зайдите же взглянуть, как мы живем... Зачем стоять на сквозняке?

Жервеза в свою очередь рассказала Виржини о своем муже, а когда она сообщила, что жила раньше в этой же квартире и родила здесь дочку, Виржини стала еще настойчивее звать ее к себе. Всегда приятно повидать те места, где ты был счастлив. Виржини целых пять лет жила на том берегу реки, в Гро-Кайу. Там она и с мужем познакомилась, тогда он был еще на военной службе. Но ей было скучно и одиноко, она всегда мечтала вернуться в квартал Гут-д'Ор, где она знает каждого встречного-поперечного. И вот уже две недели, как они переехали в эту квартирку, напротив Гуже. У них пока еще ужасный беспорядок, но это не беда, понемногу все устроится.

На площадке они наконец представились друг другу:

— Госпожа Купо.

— Госпожа Пуассон.

С этих пор они поминутно повторяли «госпожа Купо», «госпожа Пуассон», единственно ради удовольствия разыгрывать из себя дам: ведь они знали друг друга в те времена, когда обе занимали довольно сомнительное положение в обществе. Однако в глубине души Жервеза относилась к Виржини с некоторой опаской. Как знать, может, эта дылда помирилась с ней лишь для того, чтобы при случае отомстить за потасовку в прачечной, и втайне готовит какую-нибудь каверзу? Жервеза решила держать ухо востро. Но пока что Виржини была необыкновенно любезна, и Жервезе приходилось платить ей тем же.

Наверху, в комнате, они увидели мужа Виржини — Пуассона, мужчину лет тридцати пяти, с землистым цветом лица, рыжими усами и эспаньолкой; он сидел за столом у окна и делал маленькие шкатулочки. Из инструментов у него был только перочинный нож, пилочка, величиной с напильник для ногтей, да баночка с клеем. Разломав старые ящики из-под сигар, он добывал тоненькие дощечки красного дерева и выпиливал из них сложные узоры и замысловатые украшения. Последний год он целыми днями мастерил деревянные коробочки одинакового размера — шесть на восемь сантиметров. Он разнообразил только их отделку, придумывал новую форму крышки или по-иному распределял отделения. Пуассон занимался этим для собственного удовольствия, чтобы убить время в ожидании должности полицейского. От старого ремесла краснодеревца он сохранил лишь эту страсть к маленьким

шкатулкам. Своих изделий он не продавал, а дарил на память знакомым.

Пуассон встал и вежливо поклонился Жервезе, которую жена представила ему как свою старую приятельницу. Но он был неразговорчив и тотчас же снова взялся за пилку. Только изредка он поглядывал на макрель, лежавшую на комоде. Жервезе было очень приятно взглянуть на свою старую квартиру; она объяснила, как у нее была расставлена мебель, и показала место, где родила дочку — вот тут, прямо на полу. Удивительно, какие бывают совпадения! Могли ли они предположить несколько лет назад, когда потеряли друг друга из виду, что встретятся вот так на лестнице и будут жить одна за другой в той же самой квартире! Виржини рассказала еще кое-какие подробности из своей жизни: муж недавно получил небольшое наследство от тетки и со временем, конечно, вложит его в какое-нибудь дело; а пока что она продолжает заниматься шитьем, берет заказы то тут, то там. Проболтав добрых полчаса, Жервеза собралась уходить. Пуассон насилу оторвался от работы, чтобы попрощаться. Виржини вышла проводить гостью и обещала непременно к ней зайти; к тому же теперь она будет отдавать ей белье — это дело решенное. Когда они остановились на площадке, Жервезе показалось, что Виржини собирается заговорить о Лантье и своей сестре, полировщице Адели. И все замерло у нее внутри. Но Виржини ни словом не обмолвилась о прежних неприятностях, и они расстались, очень любезно попрощавшись друг с другом:

— До свиданья, госпожа Купо.

— До свиданья, госпожа Пуассон.

Так было положено начало закадычной дружбе. Неделю спустя Виржини уже не могла пройти мимо прачечной, чтобы не забежать к Жервезе; она болтала без умолку и торчала там по дватри часа, так что Пуассон, опасаясь, уж не раздавили ли жену на улице, являлся за ней, как всегда молчаливый, похожий на выходца с того света. Ежедневно встречаясь с Виржини, Жервеза испытывала странное чувство: стоило портнихе открыть рот, как она с трепетом ждала, что та вот-вот заговорит о Лантье, и в присутствии подруги сама невольно думала о нем. Это было ужасно глупо, ведь ей не было никакого дела ни до Лантье, ни до Адели, ни до того, что с ними сталось. Она никогда не спрашивала о них, да они ее и не интересовали. Но это находило на нее помимо воли. Мысли о них вертелись у нее в голове, как назойливый мотив, от которого никак не можешь отделаться. Впрочем, она нисколько не сердилась за это на Виржини,— разумеется, та была ни при чем. Напротив, Жервезе нравилось ее общество, и она постоянно удерживала приятельницу, когда Виржини собиралась уходить.

Между тем пришла зима, четвертая зима, которую Купо проводили на улице Гут-д'Ор. В этом году декабрь и январь были необыкновенно суровы. Стояли лютые морозы. После Нового года на улицах три недели лежал снег. Однако это ничуть не мешало работе прачечной, наоборот, зима — лучшее время года для гладильщиц. В мастерской было чудо как хорошо! Окна в ней никогда не замерзали, не то что у бакалейщика или у чулочника напротив. Набитая углем печка накалялась докрасна, и в комнате становилось жарко, как в бане; от белья шел пар, не хуже чем летом, и всем было уютно за запертыми наглухо дверями; тепло окутывало и размаривало гладильщиц, иной раз они чуть не засыпали, стоя за работой. Жервеза смеялась и говорила, что ей кажется, будто она в деревне. И вправду, на покрытой снегом мостовой не слышно было стука повозок, лишь глухо доносились шаги прохожих под окном; в застывшей тишине звенели только детские голоса; целая ватага мальчишек устроила себе каток на замерзшем ручейке возле кузницы и с криками носилась по льду. Порой Жервеза подходила к двери, протирала запотевшее стекло и смотрела, что делается на улице в этот дьявольский холод; но из соседних лавок никто и носа не высовывал, все словно замерло под снегом и погрузилось в спячку; Жервеза лишь издали кивала соседке — угольщице, которая в самый мороз выходила на улицу с непокрытой головой и улыбалась до ушей.

По этой собачьей погоде особенно приятно было пить в полдень горячий кофеек. Работницы не могли пожаловаться: хозяйка заваривала очень крепкий кофе и почти не добавляла цикория, не то что г-жа Фоконье, которая поила их какой-то бурдой. Но когда готовить кофе бралась мамаша Купо, это тянулось без конца, потому что она вечно дремала над кофейником. И работницы, покончив с завтраком, в ожидании кофе снова брались за утюги.

На другой день после крещения уже пробило половину первого, а кофе все не был готов. Кипяток почему-то не хотел проливаться сквозь гущу. Мамаша Купо постукивала ложечкой по кофейнику; слышно было, как тяжелые капли одна за другой медленно падали на дно.

— Не троньте,— сказала дылда Клеманс.— Вы его замутите... Мы еще успеем сегодня и поесть и попить.

Клеманс гладила мужскую сорочку и прокладывала складки ногтем. Она была насмерть простужена, глаза у нее распухли, грудь раздирали приступы кашля, и она сгибалась пополам, хватаясь за край стола. А между тем она не повязала даже шарфика на шею и дрожала в плохонькой вязаной кофточке за восемнадцать су. Возле нее г-жа Пютуа, закутанная во фланель по самые уши, гладила юбку, поворачивая ее вокруг доски, положенной одним концом на спинку стула; она постелила на пол простыню, что-

бы не запачкать свисавший подол юбки. Жервеза одна заняла половину стола: она гладила вышитые муслиновые занавески и осторожно водила утюгом, вытягивая руки далеко вперед, чтобы не наделать складок. Вдруг она услышала, что кофе зашипел, и подняла голову. Это косоглазая Огюстина опустила ложечку в гущу, и кофе побежал через край.

— Уймешься ты наконец! — закричала Жервеза.— Всюду она сует свой нос! Теперь нам придется пить бурду.

На свободный угол стола мамаша Купо поставила пять стаканов. Гладильщицы прекратили работу. Хозяйка всегда разливала кофе сама и в каждый стакан опускала по два куска сахару. Наступил долгожданный час. Едва работницы, взяв по стакану, уселись на маленьких скамеечках у печки, как дверь распахнулась и с улицы вошла закоченевшая Виржини.

— Ну и холодище, дети мои! — воскликнула она.— Пробирает насквозь. Я, кажется, отморозила уши!

— Ага, вот и госпожа Пуассон! — закричала Жервеза.— Как это кстати... Выпейте с нами кофейку!

— Спасибо, не откажусь... Не успела я улицу перейти, как меня прохватило до костей!

К счастью, кофе еще оставался. Мамаша Купо принесла шестой стакан, и Жервеза любезно предложила Виржини положить сахару по вкусу. Работницы потеснились и дали ей местечко возле огня. Виржини еще дрожала, нос у нее покраснел, и она грела замерзшие руки, сжимая горячий стакан. Она забежала от бакалейщика, где успела застыть, пока он отвешивал ей четверть фунта сыру. И она восхищалась тем, как у них в прачечной жарко,— входишь словно в печку; тут, право, даже мертвый воскреснет, тепло так и разливается по телу! Отогревшись, она вытянула свои длинные ноги. Тогда все шестеро принялись за кофе, медленно прихлебывая его в душном пару просыхавшего белья, возле брошенной на столе неоконченной работы. Только мамаша Купо и Виржини сидели на стульях, остальные устроились на низеньких скамеечках, чуть ли не вровень с полом, а косоглазая Огюстина вытащила край простыни из-под висевшей на доске юбки и разлеглась на нем. Некоторое время все молчали, уткнувшись в стаканы и смакуя кофе.

— Кофе хорош, ничего не скажешь,— заявила Клеманс.

Но тут же чуть не задохнулась от кашля. Стараясь справиться с приступом, она прислонилась головой к стене.

— Здорово вас скрутило,— сказала Виржини.— Где это вы подцепили такую простуду?

— Да кто его знает! — ответила Клеманс, отирая лицо рукавом.— Должно быть, вчера вечером. Когда мы выходили из «Большой галереи», две бабенки устроили потасовку. Я остановилась

поглядеть, а снег так и валил. Вот была драка, мы прямо животы надорвали со смеху! Одна из них, здоровенная дубина вроде меня, чуть не оторвала другой нос, кровь так и брызнула на землю. А сама, едва завидела кровь, сразу пустилась наутек — только пятки засверкали! Ну, а ночью на меня напал кашель... Сказать по правде, мужчины — несносный народ: когда спят с женщиной, всю ночь стягивают с нее одеяло...

— Стыд и срам! — пробормотала г-жа Пютуа.— Этак вы погубите себя, милочка моя.

— Ну, а если я хочу себя погубить? Куда как весело нам живется. Гнем спину день-деньской, с утра до ночи жаримся, как в пекле, и все это за пятьдесят пять су! Нет уж, дудки, хватит с меня, я сыта по горло! Да только от простуды все равно не помрешь. Эта хворь как наскочила, так и пройдет.

Все замолчали. Негодница Клеманс ночью таскалась по кабакам и распутничала напропалую, а в мастерской приводила всех в уныние, уверяя, что скоро подохнет. Жервеза, зная ее характер, заметила:

— На другой день после гулянки вы всегда ходите как в воду опущенная!

По правде говоря, Жервеза не любила, когда заводили разговор о том, как подрались женщины. После потасовки в прачечной ей было неприятно, если при ней и Виржини рассказывали о пинках и оплеухах. Но Виржини смотрела на нее улыбаясь.

— На моих глазах вчера две бабы тоже вцепились друг другу в волосы,— тихо сказала она,— только перья летели...

— Кто такие? — спросила г-жа Пютуа.

— Повитуха с того конца улицы и ее прислуга, знаете, такая белобрысая... Ну и стерва эта девка! Кричит повитухе: «Да, да, ты вытравила ребенка зеленщице, и если ты мне не заплатишь, я пойду и все выложу в полиции!» Чего она только не вопила — стоило послушать! Тут хозяйка влепила ей хорошую плюху — бац! — прямо в морду. Но эта проклятая девка как подскочит да как бросится на хозяйку — расцарапала ей лицо и чуть не выдрала все волосы! Разделала ее, что называется, под орех. Пришлось вмешаться колбаснику, насилу ее оттащил.

Работницы одобрительно смеялись. Все со смаком отхлебнули по глотку кофе.

— А что, она и вправду вытравила ребенка? — спросила Клеманс.

— Почем я знаю, соседи разное болтают,— ответила Виржини.— Я при этом не была, сами понимаете. Но уж такое у нее ремесло. Все они это делают.

— Бог ты мой! — сказала г-жа Пютуа.— Надо быть круглой

дурой, чтобы им довериться. Очень нужно, чтоб тебя искалечили!.. К тому же есть испытанное средство. Каждый вечер надо пить по стакану святой воды и три раза крестить живот большим пальцем — как ветром сдует, словно ничего и не было.

Тут мамаша Купо, которая, казалось, задремала, вдруг встрепенулась и покачала головой. Она знает другое верное средство: надо каждые два часа есть по крутому яйцу и класть на поясницу припарки из шпината. Женщины слушали ее серьезно и внимательно. Но косоглазая Огюстина, которую вечно ни с того ни с сего разбирал глупый смех, вдруг так и покатилась, кудахтая, как курица. Про нее все забыли; Жервеза приподняла свисавшую с доски юбку и увидела, что девчонка катается по полу, как поросенок, задрав кверху ноги. Прачка наградила ее звонкой оплеухой, и та вскочила как встрепанная. Что ее рассмешило, эту поганку? Нечего подслушивать, когда говорят взрослые! К тому же ей надо отнести белье к подруге г-жи Лера, на улицу Батиньоль. С этими словами Жервеза нацепила ей на руку корзину с бельем и подтолкнула к двери. Огюстина надулась и ушла, всхлипывая, еле волоча ноги по снегу.

Пока мамаша Купо, г-жа Пютуа и Клеманс спорили о пользе крутых яиц и припарок из шпината, Виржини сидела задумавшись, со стаканом в руке. Вдруг она тихонько сказала:

— Бог мой! Люди дерутся, а потом мирятся и не помнят зла, коли у них доброе сердце...

И с улыбкой, наклонившись к Жервезе, она продолжала:

— Нет, право, я на вас не в обиде... Вы не забыли истории в прачечной?

Жервеза ужасно смутилась. Этого-то она и боялась. Она чувствовала, что теперь речь пойдет о Лантье и об Адели. Печка гудела, раскалившаяся докрасна труба обдавала всех жаром. Распаренные работницы пили кофе потихоньку, чтобы подольше не браться за работу, и, отяжелев, сонно поглядывали в окно на занесенную снегом улицу. Теперь женщины размечтались о том, что стали бы делать, будь у них десять тысяч франков ренты; да ничего бы они не делали, ровно ничего — сидели бы вот так целыми днями в тепле и плевали в потолок! Виржини придвинулась к Жервезе и говорила совсем тихо, чтоб не слышали другие. А Жервеза чувствовала себя такой вялой, такой слабой и разомлевшей из-за этой жары, что у нее не было сил переменить разговор; она с жадностью ловила слова Виржини, и что-то сладко замирало у нее внутри, хотя она и не хотела себе в этом признаться.

— Может, вас коробят мои слова? — продолжала Виржини.— Раз двадцать они вертелись у меня на языке. А теперь, уж коли мы вспомнили... почему бы не поговорить, правда? Нет, нет,

уверяю вас, я ничуть не в обиде за старое! Честное слово! Я нисколько на вас не сержусь, ну ни капельки!

Она поболтала ложечкой в стакане, чтобы размешать сахар, и с тихим присвистом отхлебнула глоточек кофе. Жервеза слушала молча, со стесненным сердцем, и не знала, верить ли, что Виржини простила ей давнишнюю порку,— ведь она видела, как в ее черных глазах зажглись желтые искорки. Быть может, эта ведьма затаила обиду и держит камень за пазухой?

— Да вас и винить-то нельзя,— продолжала Виржини.— Вам тогда сделали гадость, с вами поступили подло... О, я человек справедливый. Я бы на вашем месте схватилась за нож!

Она снова с присвистом отхлебнула глоточек. И, вдруг оживившись, бойко затараторила:

— И знаете, это не принесло им счастья. Нет, нет! Какое уж там счастье, боже мой! Они поселились у черта на куличках, где-то около Глясьера, на отвратительной улице,— там и сейчас стоит грязь по колено. Два дня спустя они пригласили меня к завтраку — ну и поездка, доложу я вам, пришлось тащиться в омнибусе чуть не на край света! И что вы думаете они делали, когда я вошла? Грызлись как собаки! Даю слово, они уже угощали друг друга затрещинами. Хороши влюбленные!.. Вы сами знаете, чего стоит Адель: это такая паскуда, что на нее и плюнуть-то жалко. Хоть она мне и сестра, я должна признаться — это настоящая стерва. Адель наделала мне кучу всяких гадостей, но не об этом речь, да к тому же мы сами сведем с ней счеты... Ну, а Лантье тоже хорош гусь, да вы его знаете! Этакий белоручка, верно? А чуть что не по нем, сразу тычет в зубы. Рука у него тяжелая, и бьет он куда придется. Уж они лупцевали друг друга по всем правилам. Не успеешь, бывало, взойти на лестницу, а уже слышишь, что у них идет драка. Как-то раз их даже разнимала полиция. Лантье потребовал, чтобы Адель сварила ему суп на оливковом масле — мерзость, которую едят только на юге; Адель отказалась готовить эту отраву, и он запустил ей в голову бутылку с маслом; тут они принялись швыряться чем попало: кастрюлями, мисками, плошками,— словом, подняли скандал на всю округу.

Виржини рассказывала и о других побоищах, у нее оказался неистощимый запас сплетен об этой парочке, она знала такие подробности, что просто волосы вставали дыбом. Жервеза слушала все эти россказни, не говоря ни слова, лицо ее было бледно, губы судорожно подергивались, будто она чуть улыбается. Вот уже скоро семь лет, как она ничего не слышала о Лантье. Никогда б она не поверила, что имя Лантье, сказанное шепотом на ухо, может так взволновать ее,— у нее даже сердце замерло. Нет, она никак не ожидала, что с таким жадным любопытством будет слушать о похождениях этого человека, который так гнусно с ней посту-

пил. Теперь она уже не ревновала его к Адели и все-таки радовалась в душе их потасовкам; она забавлялась, представляя себе эту девку всю в синяках, и чувствовала себя отомщенной. Жервеза могла бы сидеть так всю ночь, до утра, слушая рассказы Виржини. Но она не хотела показывать свое любопытство и не задавала вопросов. Ей казалось, что теперь вдруг заполнился какой-то провал в ее памяти и прошлое сомкнулось с настоящим.

Между тем Виржини замолчала и снова занялась своим кофе; она сосала сахар, полузакрыв глаза. Жервеза чувствовала, что ей надо хоть что-нибудь сказать, и спросила с напускным равнодушием:

— Они по-прежнему живут в Глясьере?

— Нет, что вы! — ответила Виржини.— Разве я вам не говорила?.. Вот уже неделя, как они разошлись. В одно прекрасное утро Адель забрала свои манатки и была такова, а уж Лантье, конечно, не побежал за ней.

Жервеза тихонько ахнула.

— Значит, они разошлись!..— задумчиво повторила она.

— Кто это? — спросила Клеманс, болтавшая с мамашей Купо и г-жой Пютуа.

— Никто,— ответила Виржини.— Вы их все равно не знаете.

Она все время наблюдала за Жервезой и заметила, что та очень взволнована. Тогда она придвинулась к ней поближе и с каким-то тайным злорадством продолжала свой рассказ. И вдруг Виржини спросила Жервезу в упор, что она будет делать, если Лантье снова начнет обхаживать ее: мужчины такой чудной народ. Лантье вполне может вернуться к своей прежней любви. Жервеза выпрямилась и ответила решительно, с достоинством: теперь она замужем и попросту выставит Лантье за дверь — вот и все! Между ними все кончено, она даже руки ему не подаст. Она считала бы себя последней дрянью, если б взглянула на него теперь.

— Конечно, я понимаю,— говорила Жервеза,— он отец Этьена, и тут уж ничего не поделаешь. Если Лантье захочет обнять сына, я пошлю мальчика к нему: нельзя же помешать отцу любить своего ребенка... Ну, а я, госпожа Пуассон, уж лучше дам изрубить себя на мелкие кусочки, чем позволю ему хоть пальцем до меня дотронуться. Между нами все кончено.

С этими словами Жервеза начертила в воздухе крест, как бы навек скрепляя свою клятву. Тут, оборвав разговор, она вскочила, словно внезапно опомнившись, и закричала работницам:

— Послушайте, голубушки! Вы, может, думаете, что белье само прогладится? Довольно бить баклуши! А ну, живо за работу!

Однако работницы не спешили, их одолела лень, они сидели

раскисшие, уронив руки на колени, держа пустые стаканы с кофейной гущей на донышке, и продолжали болтать.

— Ее звали Селестина,— говорила Клеманс,— я была с ней знакома. Она спятила и до смерти боялась кошачьей шерсти. Понимаете, ей всюду чудилась кошачья шерсть, она все время ворочала языком — вот так, потому что ей казалось, будто у нее полон рот шерсти.

— А у меня была знакомая, у которой внутри завелся глист...— сказала г-жа Пютуа.— Ох, уж эти гадины, такие привереды! Если она не кормила глиста курятиной, он переворачивал ей все кишки. Вы только подумайте, муж зарабатывал семь франков, и они уходили целиком на лакомства для глиста!..

— Я вылечила бы ее в два счета, ей-богу,— перебила мамаша Купо.— Надо только съесть жареную мышь. Глист сразу отравится и подохнет.

Жервеза снова села, поддавшись сладкой истоме. Но тут же встряхнулась и встала. Сколько можно переливать из пустого в порожнее! Этак ничего не заработаешь. И она первая принялась за занавески; но на них оказалось кофейное пятно, и, прежде чем взяться за утюг, ей пришлось оттереть пятно мокрой тряпкой. Работницы потягивались перед печкой и, ворча, искали свои утюги. Стоило Клеманс подняться, как на нее снова напал отчаянный кашель; затем она догладила мужскую рубашку и заколола булавками ворот и манжеты. Г-жа Пютуа разложила на столе нижнюю юбку.

— Ну что ж, до свиданья,— сказала Виржини.— Ведь я выбежала из дому на минутку, только чтобы купить сыру. Пуассон, наверно, думает, что я по дороге замерзла.

Она вышла, но, не пройдя и трех шагов, вернулась и крикнула в дверь, что Огюстина в конце улицы катается с мальчишками по замерзшей луже. Эта поганая девчонка пропадала битых два часа. Наконец она влетела, размахивая пустой корзиной, вся красная, запыхавшаяся, с ледышками в волосах. Она слушала, надувшись, как ее бранили, и уверяла, будто по городу невозможно ходить из-за гололедицы. Какие-то сорванцы, должно быть, напихали ей снегу в карманы, потому что через несколько минут из них ручьями потекла вода.

Так проходили теперь послеобеденные часы в прачечной. Она стала убежищем для всех продрогших людей квартала. Вся улица Гут-д'Ор знала, что там очень тепло. И вечно в прачечной торчали две-три кумушки: они грелись у печки, задрав юбки выше колен, и перемывали косточки соседям. Жервеза гордилась, что у нее так уютно, и всех приглашала обогреться; она «открыла салон», как злобно прохаживались на ее счет Лорийе и Боши. На деле же у нее просто было доброе сердце, ей хотелось помочь лю-

дям, она сочувствовала беднякам, которые мерзли на улице, и потому приглашала их к себе. Особенно она жалела одного семидесятилетнего маляра: старик жил в их доме на чердаке и чуть не подыхал от голода и холода; бедняга потерял трех сыновей во время Крымской войны, а сам уже года два еле-еле перебивался, потому что не мог больше работать. Стоило Жервезе увидеть, что старик топчется в снегу, пытаясь согреться, она тотчас зазывала его к себе и освобождала для него местечко у огня; частенько она даже уговаривала его съесть кусочек хлеба с сыром. И дедушка Брю, согнувшийся в дугу, седой, сморщенный, как печеное яблоко, часами сидел молча возле печки, прислушиваясь к потрескиванию горящих углей. Быть может, он вспоминал свою жизнь, пятьдесят лет, проведенные на стремянках, полвека, ушедшие на окраску дверей и побелку потолков во всех уголках Парижа.

— Что скажете, дедушка Брю? — спрашивала его порой Жервеза.— О чем это вы думаете?

— Да ни о чем... Обо всем на свете,— отвечал он растерянно.

Работницы вышучивали его, рассказывали всякий вздор о его любовных похождениях. Но старик, не слушая их, вновь погружался в молчание и сидел с угрюмым и отсутствующим видом.

С той поры Виржини то и дело заводила с Жервезой разговор о Лантье. Казалось, ей доставляло удовольствие напоминать прачке о ее прежнем любовнике и приводить ее в смущение всевозможными догадками. Как-то раз она сказала, что встретилась с ним, но Жервеза промолчала, и Виржини ничего не прибавила; однако на другой день она сообщила, что Лантье долго говорил о Жервезе и отзывался о ней с большой нежностью. Жервезу очень смущали эти тайные беседы шепотом, в укромном уголке. При одном упоминании о Лантье ее бросало в жар, как будто этот человек оставил в ней частицу самого себя. Конечно, она была уверена в своей твердости: она решила всегда быть честной женщиной,— ведь честность — это половина счастья. Поэтому Жервеза тревожилась не о Купо — перед мужем она ни в чем не провинилась даже в помыслах. Но она думала о кузнеце, и сердце ее болезненно сжималось, словно эти воспоминания о Лантье, эти не дававшие ей покоя мысли о нем, были изменой Гуже, изменой их затаенной любви, их чистой дружбе. И ей было грустно: она чувствовала себя виноватой перед своим верным другом. Кроме своих близких, ей хотелось любить его одного. Это было очень высокое чувство, оно парило над низкими страстями, которые Виржини с жадностью старалась прочесть у нее на лице.

Когда наступила весна, Жервеза стала искать опоры возле Гуже. Дома она ни о чем не могла думать, кроме Лантье, и стоило

ей оторваться от работы, как ее осаждали воспоминания о прежнем любовнике; она представляла себе, что он покидает Адель, укладывает вещи в их старый сундук и возвращается к ней с сундуком в экипаже. Когда она выходила на улицу, на нее вдруг нападал глупый страх: она как будто слышала шаги Лантье у себя за спиной и дрожала, не смея обернуться; порой ей даже чудилось, что он хватает ее сзади за талию. Наверно, он где-нибудь притаился и в конце концов ему удастся ее подстеречь; при этой мысли у Жервезы выступал холодный пот — вот-вот Лантье тихонько подойдет и непременно поцелует ее в ушко: так он поддразнивал ее в былые дни. И этот поцелуй больше всего ужасал Жервезу, заранее оглушая ее: у нее начинало шуметь в ушах, и она ничего не слышала, кроме гулкого стука своего сердца. Всякий раз, как на нее нападал этот страх, кузница бывала ее единственным прибежищем; там она вновь обретала спокойствие и снова улыбалась под защитой Гуже, который громкими ударами молота разгонял все ее страхи.

Какая это была счастливая пора! Прачка особенно внимательно относилась к заказчице с улицы Порт-Бланш; каждую пятницу она сама относила ей белье: это давало ей чудесный предлог зайти на улицу Маркаде и заглянуть в кузницу. Стоило Жервезе завернуть за угол и очутиться среди мрачных пустырей и серых фабричных зданий, как она чувствовала себя веселой и беззаботной, словно на загородной прогулке; черная от угля мостовая и клубы дыма над крышами радовали ее не меньше, чем мшистая лесная тропинка, вьющаяся среди зеленых деревьев где-нибудь за городом. Ей нравились туманные дали, изрезанные высокими фабричными трубами, и холм Монмартра, загораживающий небо, и беленькие домики с ровными рядами окон на его склонах. Подходя к кузнице, она замедляла шаг, перескакивала через лужи и с удовольствием пробиралась среди куч щебня и мусора по пустынному двору. В глубине его, даже среди бела дня, сверкал горн. Сердце Жервезы прыгало, словно танцуя в такт с ударами молотов. Она входила в сарай разрумянившаяся, с разлетающимися завитками светлых волос, как будто торопилась на свидание. Гуже в эти дни поджидал ее: он стоял у наковальни с голой грудью, голыми руками и что есть силы бил молотом, чтобы Жервеза еще издали услышала его. Он угадывал ее приближение и посмеивался в светлую бороду тихим добрым смехом. Но Жервеза не хотела отрывать его от работы и просила снова взяться за молот: ей нравилось смотреть, как он размахивает им и на его могучих руках вздуваются упругие мускулы. Потрепав по щеке не отходившего от мехов Этьена, она оставалась в кузнице добрый час, наблюдая за изготовлением болтов. Они не обменивались с кузнецом и десятком слов. Но даже оставшись

наедине в запертой на ключ комнате, они вряд ли испытали бы такой прилив нежности друг к другу. Ненасытная Утроба, он же Бездонная Бочка, порой поддразнивал их, но они нисколько не смущались и даже не слышали его насмешек. Через четверть часа Жервеза начинала слегка задыхаться; от жары, удушливого запаха и густого дыма у нее кружилась голова, а при каждом ударе молота она вся вздрагивала. Здесь она чувствовала себя счастливой, ей больше ничего не было нужно. Она не ощутила бы такого сладостного волнения, даже если бы Гуже сжал ее в объятиях. Она подходила ближе, чтобы чувствовать на щеках ветер от взмахов молота, чтобы приобщиться к работе кузнеца. Когда искры сыпались ей на руки и кололи нежную кожу, она их не отдергивала,— напротив, она радовалась падавшему на нее огненному дождю. А Гуже, конечно, угадывал, какое удовольствие это ей доставляет; он откладывал на пятницу самые трудные работы, чтобы блеснуть перед ней своей силой и ловкостью; он бил, не жалея себя, со всего размаха, с риском расколоть надвое наковальню, тяжело дыша, наслаждаясь радостью Жервезы. Всю весну их любовь наполняла кузницу громовыми раскатами. То была идиллия, рожденная в титаническом труде, перед пылающим горном, в темном, покрытом сажей сарае, содрогавшемся от грохота. Это расплющенное, как красный воск, железо носило глубокие следы их нежности. По пятницам, выйдя из кузницы, Жервеза медленно поднималась по улице Пуассонье, довольная, умиротворенная, отдохнувшая и телом и душой.

Мало-помалу ее страх перед Лантье ослабел, она снова стала рассудительной. В ту пору она чувствовала бы себя совсем счастливой, если бы не Купо, который все больше сбивался с пути. Как-то раз, когда она возвращалась из кузницы, ей показалось, что она заметила Купо в «Западне» папаши Коломба; с ним были Бурдюк, Биби Свиной Хрящ и Ненасытная Утроба — они вкруговую угощали друг друга гнусным зельем. Жервеза быстро прошла мимо, чтобы не подумали, будто она подсматривает за мужем. Но напоследок она обернулась — да, это был Купо: он опрокинул себе в глотку стаканчик привычным движением пьяницы. Значит, он все врет, он уже принялся за водку! Она пошла домой в полном отчаянии, ее вновь охватил ужас, который всегда внушала ей водка. Вино она прощала, потому что вино подкрепляет рабочего, зато спирт — это мерзость, это яд, он отбивает у человека вкус к хлебу. Ей-богу, правительство должно бы запретить изготовление этой отравы!

Вернувшись на улицу Гут-д'Ор, Жервеза застала дома полный переполох. Работницы бросили утюги, выбежали во двор и стояли, задрав кверху головы. Жервеза спросила Клеманс, в чем дело.

— Там наверху дядя Бижар избивает жену,— ответила гладильщица.— Он стоял тут в воротах, пьяный как стелька, и подкарауливал, когда она вернется из прачечной... Начал ее тузить еще на лестнице, а теперь дома спускает с нее шкуру. Слышите, как они вопят?

Жервеза быстро взбежала наверх, надеясь прекратить побоище. Она привязалась к г-же Бижар, достойной женщине, работавшей у нее прачкой. На седьмом этаже, перед раскрытой дверью, столпилось несколько соседок, а на пороге г-жа Бош кричала:

— Будет вам наконец!.. Перестаньте, не то я позову полицию, слышите?

Но никто не смел войти в комнату, потому что все знали Бижара,— во хмелю он был сущий зверь, да, впрочем, он никогда и не протрезвлялся. В редкие дни, когда слесарь ходил на работу, он ставил литр водки рядом со своим станком и каждые полчаса потягивал из горлышка. Без этого он не мог работать; если бы к его рту поднести спичку, пьяница, наверно, вспыхнул бы как факел.

— Что ж вы стоите, ведь он изувечит ее! — сказала Жервеза, дрожа всем телом.

И она вошла. В мансарде было очень чисто, но холодно и почти пусто: пропойца-муж тащил из дома все подряд, вплоть до простынь. Во время драки стол отлетел к окну, а опрокинутые стулья валялись на полу кверху ножками. Посреди комнаты лежала пришедшая из прачечной г-жа Бижар, в мокрой, прилипшей к телу юбке, растрепанная, растерзанная, вся в крови, и тяжело дышала, испуская хриплые стоны всякий раз, как Бижар пинал ее сапогом. Муж сбил ее на пол кулаком, а теперь топтал ногами.

— У, стерва!.. У, стерва!.. У, стерва!..— хрипел он при каждом ударе; он все больше распалялся и, зверея, колотил все яростней, задыхаясь от злобы.

Наконец он сорвал голос и продолжал бить молча, слепо, упорно; его штаны и куртка были изодраны, грязная борода всклокочена, лицо посинело, облысевший лоб покрылся красными пятнами. Собравшиеся на площадке соседи говорили, будто Бижар бьет жену за то, что она не захотела дать ему утром двадцать су. Снизу из-под лестницы послышался голос Боша. Он звал жену:

— Спускайся вниз, ну их к черту, пускай убивают друг друга! Меньше будет сволочей на свете!

Между тем дедушка Брю вошел в комнату вслед за Жервезой. Они пытались вдвоем образумить слесаря, оттеснить его к двери, а тот с пеной у рта молча отбивался; в его мутных глазах горел пьяный огонь, свирепая жажда убийства. Он чуть не сломал Жервезе руку, а старика Брю отшвырнул на стол. Г-жа Бижар лежала на полу с закрытыми глазами и тяжело дышала ши-

роко открытым ртом. Бижар по-прежнему пинал ее ногой, но бил мимо. Он топтался возле нее, целился и, промахнувшись, приходил в бешенство, колотил слепо, яростно и, шатаясь, натыкался на мебель. И все время, пока он бесновался, маленькая Лали, их четырехлетняя дочь, глядела из угла, как отец избивает ее мать. Девочка держала на руках сестренку Анриетту, только что отнятую от груди, и как бы охраняла ее. Лали стояла молча, в ситцевом платочке, очень бледная, очень серьезная. Она не плакала, ее широко открытые черные глаза смотрели пристально и разумно.

Наконец Бижар налетел на стул и, растянувшись во весь рост, тут же захрапел; тогда старик Брю помог Жервезе поднять г-жу Бижар. Несчастная женщина горько рыдала, а подошедшая Лали молча смотрела на мать; девочка уже свыклась с этими сценами и покорилась судьбе. Спускаясь по лестнице в затихшем доме, прачка не могла забыть взгляд четырехлетней крошки, суровый и прямой, как взгляд взрослой женщины.

— Смотрите-ка, вон господин Купо, на той стороне улицы! — закричала Клеманс, как только заметила Жервезу.— Видать, он здорово наклюкался!

Купо как раз переходил дорогу. Он угодил мимо двери и чуть не выбил окно плечом. Он был мертвецки пьян и шел насупившись, стиснув зубы. Увидев его бледное, искаженное лицо, Жервеза тотчас узнала сивуху из «Западни» — это она отравила ему кровь. Прачка хотела посмеяться и уложить его спать, как в те дни, когда он напивался добрым красным вином. Но он грубо оттолкнул ее, прошел мимо, не разжимая губ, и, подойдя к постели, впервые замахнулся на жену кулаком. Он был похож на другого пьяницу, того, что избил жену до полусмерти и храпел там наверху. Жервеза застыла, вся похолодев; она думала о мужчинах: о муже, о Гуже, о Лантье, и сердце у нее разрывалось,— она уже не верила, что будет счастлива.

VII

Именины Жервезы приходились на 19 июня. В дни семейных торжеств супруги Купо изо всех сил старались, чтобы угощение вышло на славу; гости наедались до отвала на целую неделю вперед и с трудом поднимались из-за стола. Все сбережения вылетали в трубу за один день. Стоило в доме завестись нескольким су, как их тут же проедали. Чтобы найти предлог для праздничного обеда, рылись в календаре и отыскивали всевозможных святых. Виржини горячо поддерживала Жервезу: ну и правильно, что она любит покушать всласть. Коли муж пьяница, нечего ждать, пока он все пропьет,— надо прежде всего думать о себе. Ведь деньги

все равно текут между пальцами, пусть уж лучше заработает мясник, чем кабатчик. И Жервеза, ставшая настоящей лакомкой, охотно соглашалась с этими рассуждениями. Ничего не поделаешь, Купо сам виноват, если они ничего не могут отложить! Прачка еще больше располнела и хромала сильнее прежнего: ее нога, налившись жиром, как будто стала короче.

В этом году об именинах начали толковать за месяц вперед. Наперебой придумывали замысловатые блюда и облизывались в предвкушении пирушки. Всем в прачечной чертовски хотелось кутнуть. Надо так повеселиться, чтобы небу стало жарко, придумать что-нибудь необыкновенное, из ряда вон выходящее. Бог ты мой, ведь не каждый день бывает праздник! Жервезу больше всего беспокоил вопрос о том, кого пригласить; ей хотелось, чтобы за столом собралось ровно двенадцать человек, ни больше, ни меньше. Она сама, ее муж, мамаша Купо, г-жа Лера — вот уже четверо своих. Затем будут Пуассоны и Гуже с матерью. Сначала Жервеза твердо решила не приглашать работниц — г-жу Пютуа и Клеманс,— должны же они знать свое место. Но так как обе женщины совсем повесили нос, слушая бесконечные разговоры об именинах, Жервеза не выдержала и позвала их. Четыре и четыре — восемь, да еще двое — десять. Но Жервеза непременно желала, чтобы за праздничным столом было двенадцать человек, и потому решила помириться с золотых дел мастером и его женой, которые с некоторых пор так и вертелись возле нее; во всяком случае, Лорийе придут обедать и мир будет заключен за стаканом вина: нельзя же родным вечно быть в ссоре. К тому же в ожидании именин все сердца размякли. От такого приглашения невозможно отказаться. Но как только Боши узнали о предполагаемом примирении, они стали подъезжать к Жервезе с любезностями и милыми улыбками; пришлось позвать и Бошей. Итак, соберется четырнадцать человек, не считая детей. Каково?! Жервеза никогда еще не устраивала такого пиршества, она была смущена этим и горда.

Именины приходились как раз на понедельник. Это было очень кстати: начать стряпню Жервеза рассчитывала накануне вечером. В субботу, когда работницы спешили догладить белье, зашел разговор о том, что же в конце концов следует подать к столу. Одно только блюдо было принято еще три недели назад — большой жареный гусь. О нем говорили со смаком. К тому же гусь был уже куплен. Мамаша Купо принесла его, чтобы показать Клеманс и г-же Пютуа. Те прикинули гуся на руке и разахались: он был огромный, весь налитой желтоватым жиром.

— Перед гусем будет суп, ведь так? — спросила Жервеза.— Съесть тарелку бульона с кусочком вареного мяса всегда приятно... А затем что-нибудь мясное, под соусом.

Долговязая Клеманс предложила кролика, но кролик и без того у всех навяз в зубах: его ели слишком часто. Жервеза мечтала о чем-нибудь более изысканном. Тут г-жа Пютуа заговорила о телячьем рагу под белым соусом, и все переглянулись с довольной улыбкой. Неплохо придумано! Ничто не произведет такого впечатления, как телятина под белым соусом.

— После телятины,— продолжала Жервеза,— надо подать еще одно блюдо под соусом.

Мамаша Купо заговорила о рыбе. Но остальные женщины поморщились и яростно заработали утюгами. Рыбу никто не любил: сытости она не дает, да к тому же в ней много костей. Косоглазая Огюстина заикнулась было о том, что она любит камбалу, но Клеманс живо образумила девчонку, дав ей хорошего тумака. Наконец сама хозяйка предложила свинину с жареной картошкой, и лица снова просияли; тут в прачечную вихрем влетела Виржини, вся красная от волнения.

— Как вы кстати! — воскликнула Жервеза.— Мамаша, покажите ей гуся.

И мамаша Купо снова принесла жирного гуся, которого Виржини пришлось подержать в руках. Она ахнула от удивления. Ну и гусь, до чего же тяжел! Впрочем, она тут же положила птицу на стол между нижней юбкой и стопкой рубашек: голова у нее была занята другим, и она увела Жервезу в заднюю комнату.

— Послушайте, милочка,— прошептала она скороговоркой.— Я прибежала, чтобы предупредить вас... Ни за что не угадаете, кого я встретила на улице! Лантье, дорогая моя! Он бродит здесь поблизости и что-то высматривает... Я тут же поспешила к вам. Я испугалась за вас, понимаете?

Прачка вся побелела. И чего ему надо, этому негодяю? Подумать только — появился перед самым праздником! Вечно ей не везет! Повеселиться спокойно и то не дадут! Но Виржини сказала, что не стоит расстраиваться из-за пустяков. Если Лантье вздумает приставать к ней, надо позвать полицейского, и тот живо посадит его под замок. С тех пор как месяц тому назад Пуассон поступил в полицию, дылда Виржини была настроена весьма воинственно и всех собиралась упрятать в тюрьму. Под конец, повысив голос, она заявила, что была бы даже горда, если бы кто-нибудь пристал к ней на улице,— она сама отвела бы нахала в полицейский участок и сдала с рук на руки Пуассону; но тут Жервеза умоляюще подняла руку, прося ее замолчать, так как работницы все слышат. Она первая вернулась в прачечную и сказала с притворным спокойствием:

— Надо подать еще что-нибудь из овощей.

— А почему бы не горошек с салом? — предложила Виржини.— Я готова есть его с утра до ночи.

— Да, да, горошек с салом! — одобрили все женщины, а Огюстина пришла в такой восторг, что принялась изо всех сил мешать в печке кочергой.

На следующий день, в воскресенье, мамаша Купо с трех часов затопила обе печки, да еще третью, переносную, которую взяла у Бошей. В половине четвертого бульон уже кипел в огромной кастрюле, принесенной из соседнего ресторана, так как домашняя кастрюля для супа показалась хозяйкам слишком маленькой. Телятину и свинину решено было приготовить накануне, потому что эти блюда вкуснее в разогретом виде; только соус придется сделать перед тем, как садиться за стол. На понедельник и так оставалось много дел: засыпать бульон, сварить горошек, зажарить гуся. Задняя комната была ярко освещена тремя пылавшими печками; на сковороде шипела подливка, и пахло поджаренной мукой; огромная кастрюля, сотрясаясь и глухо бурля, выбрасывала клубы пара, точно паровой котел. Мамаша Купо и Жервеза в белых фартуках метались по комнате: они чистили петрушку, бегали за перцем и солью, поворачивали мясо деревянной лопаткой. Они выставили Купо за дверь, чтобы он не путался под ногами. И все-таки в квартире целый день толпился народ. Вкусный запах жаркого разносился по всему дому, и соседки забегали к Жервезе под разными предлогами, а на самом деле им хотелось узнать, что здесь стряпают. Женщины долго торчали на месте, ожидая, когда прачка снимет крышку с одной из кастрюль. Около пяти часов появилась Виржини; она опять видела Лантье; право, теперь носа не высунешь на улицу, чтобы не столкнуться с ним. Г-жа Бош тоже встретила Лантье; он что-то высматривал исподтишка, стоя на углу. Тогда у Жервезы, собиравшейся сходить в лавочку за жареным луком для супа, задрожали поджилки от страха, и она решила остаться; а тут еще привратница и портниха стали пугать ее, рассказывая жуткие истории о мужчинах, подстерегающих женщин с кинжалами и пистолетами за пазухой. А как же! Об этом каждый день пишут в газетах. Стоит такому подлецу узнать, что его прежняя любовница живет счастливо, как он приходит в ярость и уж тогда готов решительно на все. И Виржини любезно предложила сбегать за луком. Женщины должны выручать друг друга: нельзя же допустить, чтобы бедняжку Жервезу укокошили. Вернувшись, Виржини сказала, что Лантье исчез: он, видно, догадался, что его заметили, и дал тягу. И все же разговор у плиты до позднего вечера вертелся вокруг Лантье. Г-жа Бош посоветовала обо всем рассказать Купо, но Жервеза очень испугалась и упросила ее не говорить мужу ни слова. Боже упаси! Вот будет история! Купо, видно, и так что-то пронюхал: уже несколько дней, ложась спать, он ругается на чем свет стоит и стучит кулаком по стене. Жервезу мороз подирает по коже при мысли, что мужчины

могут сцепиться из-за нее; она знает Купо, он так ревнив, что может всадить в живот Лантье свои огромные ножницы. И пока четыре женщины беседовали, с головой уйдя в воображаемую драму, соуса шипели на догорающей плите; телятина и свинина тушились и тихонько пофыркивали, когда мамаша Купо приподнимала крышку, а суп в громадной кастрюле что-то бормотал про себя, как старик, задремавший на солнышке. В конце концов все налили себе по чашке бульона, чтобы попробовать, каков он на вкус.

Наступил долгожданный понедельник. Теперь, когда у Жервезы было четырнадцать приглашенных, она боялась, что не сумеет всех разместить. Вот почему она решила принять гостей в прачечной и с раннего утра старательно вымерила комнату, чтобы знать, как лучше все устроить. Затем пришлось отнести белье в спальню и разобрать огромный гладильный стол; крышку его поставили на другие козлы, и получился стол, вполне подходящий для пирушки. Но в самый разгар приготовлений явилась заказчица и устроила скандал: ей обещали выгладить белье к пятнице, а оно все еще не готово, это просто издевательство, она требует свое белье сию же минуту. Тогда Жервеза извинилась и стала врать ей прямо в глаза: все это случилось не по ее вине, она занята уборкой, а работницы придут только завтра; и она успокоила клиентку, пообещав заняться ее бельем в первую очередь. Но как только та вышла за дверь, Жервеза разразилась бранью. Право, если вечно угождать заказчикам, то некогда будет ни пить, ни есть — всю жизнь загубишь ради их прекрасных глаз! В конце концов она же не каторжная! Пусть к ней явится сам турецкий султан и попросит выгладить воротничок, она и за сто тысяч франков не станет этого делать: нынче ее именины, и она ни за что не возьмется за утюг — настало и для нее время повеселиться.

Все утро ушло на покупки. Жервеза трижды выходила из дому и возвращалась нагруженная, как мул. Но когда она собралась идти за вином, оказалось, что не хватает денег. Конечно, она может взять вино в долг, но все равно нельзя остаться без гроша: в такой день бывают всякие непредвиденные расходы. И, усевшись в задней комнате, Жервеза и мамаша Купо подсчитали, что им нужно еще не менее двадцати франков; тут они принялись сокрушаться. Где же добыть эти четыре монеты по сто су? Мамаша Купо, которая когда-то жила в прислугах у плохонькой актрисы из театра Батиньоль, первая заговорила о ломбарде. Жервеза вздохнула с облегчением и даже рассмеялась. Какая же она дура! Совсем забыла об этом. Она мигом завернула свое черное шелковое платье в полотенце и заколола сверху булавками, затем спрятала сверток под передник мамаши Купо и велела старушке нести его, прижав к животу, чтобы соседи ничего не заметили. И Жерве-

за вышла на порог посмотреть, не увяжется ли кто-нибудь за свекровью. Но не успела та дойти до лавки угольщика, как Жервеза окликнула ее:

— Мамаша! Мамаша!

Она зазвала ее обратно в прачечную, сняла с пальца обручальное кольцо и сказала:

— Возьмите еще и кольцо. Больше денег получим.

А когда мамаша Купо принесла двадцать пять франков, Жервеза готова была плясать от радости. Теперь она закажет к жаркому полдюжины вина в запечатанных бутылках. Лорийе будут посрамлены.

В семействе Купо уже две недели мечтали о том, чтобы посрамить Лорийе. Эти скареды стоят друг друга, прямо сказать — два сапога пара! Когда у них есть лакомый кусок, они запираются у себя в комнате и лопают его тайком, точно краденое. Да еще завешивают окно одеялом, чтобы не видно было света и соседи думали, будто они спят. Понятно, никто к ним не заходит, и они едят вдвоем, спешат набить брюхо втихомолку и даже боятся слово громко сказать. А на другой день они не смеют выбросить кости в помойное ведро: вдруг люди узнают, что у них было на обед; г-жа Лорийе отправляется на другой конец улицы и кидает объедки в сточную канаву. Как-то утром Жервеза застала ее врасплох: г-жа Лорийе вытряхивала туда корзинку, полную устричных раковин. Ну нет, уж эти сквалыги никогда никого не угостят, да и хитрят-то они только от жадности: хотят прикинуться бедняками. Ладно, они получат хороший урок, им покажут, что не все такие злыдни, как они. Жервеза охотно поставила бы стол посреди улицы и угощала всех встречных и поперечных. Ведь деньги существуют не для того, чтобы лежать да покрываться плесенью. Монеты хороши только новенькие, когда они горят на солнышке. Жервеза вовсе не походила на Лорийе: она умела показать товар лицом, и когда у нее бывало двадцать су, все думали, что их целых сорок.

Мамаша Купо и Жервеза начали накрывать на стол с трех часов и при этом всячески поносили Лорийе. Они задернули витрину широкими занавесками, но так как погода стояла жаркая, дверь в прачечную держали открытой, и всем прохожим был виден обеденный стол. Что бы на него ни ставили — графин, бутылку или солонку,— все делалось с тайным умыслом, с намерением уязвить Лорийе. Да и посадить их решили так, чтобы ошарашить супругов великолепием сервировки, а для них самих приберегли лучшие приборы: обе женщины прекрасно знали, что вид фарфоровых тарелок доконает Лорийе.

— Нет, нет, мамаша! — крикнула Жервеза.— Не кладите им этих салфеток! У меня есть две другие из настоящего полотна.

— Вот это дело,— заметила старуха,— Лорийе лопнут от зависти, ей-богу.

Они еще раз оглядели белоснежную скатерть, все четырнадцать приборов и улыбнулись друг другу, пыжась от гордости. Стол возвышался посреди прачечной как алтарь.

— Лорийе сами виноваты,— продолжала Жервеза,— зачем сквалыжничают!.. Ведь в прошлом месяце они всё наврали, помните: госпожа Лорийе еще рассказывала, будто потеряла золотую цепочку, которую несла заказчику. Как бы не так! Разве такая жадюга что-нибудь потеряет?! Нарочно прибедняются, лишь бы не давать вам обещанных ста су.

— Да я и видела-то их всего два раза, ихние сто су,— проговорила мамаша Купо.

— Вот помяните мое слово, через месяц они сочинят новую басню... Недаром они завешивают окно, когда едят кролика... А то всякий скажет: «Раз вы едите кролика, то вполне можете давать сто су старой матери!» Разве не так? Да, гадкие они люди!.. Что бы с вами сталось, мамаша, если бы я не взяла вас к себе?

Мамаша Купо кивнула головой. В этот день она была явно настроена против Лорийе из-за великолепного обеда, который давали Купо. Она любила стряпню, разговоры возле дымящихся кастрюль, любила праздничную суматоху, когда все в доме идет кувырком. Вообще она довольно хорошо ладила с Жервезой. А если и случалось, что женщины ссорились, как это бывает во всякой семье, старуха хныкала, жалуясь на свою горькую участь, и уверяла, будто невестка помыкает ею. В душе она, конечно, питала нежность к г-же Лорийе, ведь что ни говори, а та приходилась ей родной дочерью.

— Ну, скажите по совести,— продолжала Жервеза,— разве вы были бы у них такой полной да гладкой? Небось и в глаза не видели бы там ни кофе, ни табака, ни сластей!.. Никогда бы они не положили на вашу кровать двух перин. Верно я говорю?

— Верно, где уж там,— ответила мамаша Купо.— Я нарочно встану возле двери и погляжу, какие рожи они скорчат, когда войдут.

Кислые рожи Лорийе заранее приводили их в восторг. Однако им некогда было торчать возле стола и любоваться сервировкой. В этот день Купо позавтракали очень поздно, около часу, да и то всухомятку, потому что все три печки были заняты; кроме того, им не хотелось пачкать посуду, приготовленную к вечеру. В четыре часа стряпня была еще в полном разгаре. Гусь жарился на вертеле перед жаровней, поставленной как раз против открытого окна; он был такой громадный, что еле поместился в гусятнице. Косоглазая Огюстина сидела на маленькой скамеечке у пы-

пышущей жаром печки и с важным видом поливала гуся, черпая подливку разливательной ложкой. Жервеза готовила горошек с салом. Мамаша Купо совсем потеряла голову от такого обилия блюд и металась по комнате, стараясь улучить минуту, чтобы поставить на огонь свинину и телятину. С пяти часов стали собираться гости. Первыми явились Клеманс и г-жа Пютуа, разодетые по-праздничному: одна в голубом платье, другая в черном; Клеманс держала горшок герани, г-жа Пютуа — горшок гелиотропа. Но так как у Жервезы руки были в муке, она заложила их за спину, прежде чем расцеловать обеих работниц. Следом за ними вошла Виржини, одетая, как барыня; на ней было муслиновое платье цветочками, шарф и даже шляпка, хотя жила она через улицу. Виржини преподнесла имениннице горшок красной гвоздики. Она обхватила подругу своими длинными руками и крепко прижала к сердцу. Затем пришел Бош с горшком анютиных глазок, его супруга с горшком резеды и г-жа Лера с лимонным деревцом, из-за которого она испачкала землей свое лиловое шерстяное платье. Все целовались, толпясь в невыносимо душной комнате между тремя печками и жаровней. Шипение масла на сковородках заглушало голоса. Платье одной из дам зацепилось за гусятницу, и это вызвало страшный переполох. От гуся шел такой аппетитный запах, что у гостей слюнки текли. Жервеза любезно благодарила каждого за цветы, а сама продолжала растирать в глубокой тарелке муку для соуса. Она поставила горшки с цветами на край обеденного стола, не сняв с них красивой обертки из белой бумаги. Нежный аромат цветов смешивался с кухонным чадом.

— Не помочь ли вам? — предложила Виржини.— Подумать только, вы уже три дня хлопочете, готовите, трудитесь, а мы съедим все это в один присест!

— Эка важность,— ответила Жервеза,— ничто само собою не делается... Нет-нет, не пачкайте рук! Все готово. Осталось только засыпать бульон...

Тогда гости расположились по-домашнему. Сложив на кровати шали и чепчики, дамы подкололи булавками юбки, чтобы не загрязнить подолов. Бош, отправивший жену посидеть до обеда в привратницкой, притиснул Клеманс в уголок за печкой и допрашивал, не боится ли она щекотки. Клеманс прерывисто дышала, ежилась, извивалась и так напрягала груди, что лиф платья, казалось, того и гляди лопнет,— при одной мысли о щекотке по всему ее телу бегали мурашки. Чтобы не мешать хозяйкам, остальные дамы тоже перешли в прачечную и расселись вдоль стен, перед обеденным столом; но вести разговор из комнаты в комнату было трудно, они то и дело прибегали в спальню и, громко болтая, окружали Жервезу, которая, отвечая им, застывала на

месте с дымящейся ложкой в руке. Гости смеялись, отпускали вольные шуточки. Виржини уверяла, будто не ела два дня, чтобы прийти к именинному обеду на пустой желудок, а бесстыдница Клеманс совсем распустила язык и заявила, что промыла себе кишки на манер англичан, поставив утром клистир. Тут в разговор вмешался Бош и предложил отличное средство, которое помогает мгновенно переваривать пищу,— после каждого блюда надо зажимать живот между дверями; это тоже выдумали англичане; этак можно есть двенадцать часов подряд, не перегружая желудка. Как же иначе? Ведь невежливо отказываться от угощения, когда ты приглашен к обеду. Телятина, свинина и гусь стоят внимания: не бросать же кушанье собакам. Впрочем, хозяйка может не беспокоиться: все будет съедено под метелочку, ей даже не придется мыть посуду. И гости наклонялись над кастрюлями и сковородками, словно для того, чтобы еще больше раздразнить аппетит. В конце концов дамы расшалились, как девчонки; они резвились, бегали взад и вперед, сотрясая пол и поднимая юбками ветер, от которого запах стряпни разносился по всему помещению; к громкому топоту примешивались взрывы хохота и стук косаря мамаши Купо, рубившей свиное сало.

Гуже пришел, когда развеселившиеся гости прыгали и визжали. Он остановился на пороге, смущенный, не смея войти, неловко прижимая к себе великолепный куст белых роз, который почти закрывал ему лицо и путался в русой бороде. Жервеза, раскрасневшаяся у пылающей печки, подбежала к кузнецу. Он не знал, куда поставить розы; когда же она взяла горшок, Гуже что-то невнятно пробормотал, не решаясь ее поцеловать. Жервезе пришлось встать на цыпочки и подставить ему щеку; Гуже так смешался, что порывисто чмокнул ее прямо в глаз. Тут оба они окончательно смутились.

— Какой чудесный подарок, господин Гуже! Но, право, это уж слишком...— проговорила она и поставила розовый куст рядом с другими цветами, которые совсем поблекли от такого соседства.

— Ну что вы, что вы,— твердил кузнец, не зная, что сказать.

Наконец он немного успокоился и, глубоко вздохнув, сообщил, что г-жа Гуже не может прийти: у нее опять разыгрался ишиас. Жервеза очень огорчилась; она отложит кусок гуся для г-жи Гуже, та непременно должна его отведать. Между тем почти все были в сборе. Купо, наверно, шляется где-нибудь вместе с Пуассоном, за которым он отправился сразу же после завтрака; они обещали быть ровно в шесть и, конечно, не заставят себя ждать. Тогда, видя, что суп почти готов, Жервеза подозвала г-жу Лера: пожалуй, настало время сходить за четой Лорийе. Г-жа Лера тут же напустила на себя важность; это она вела перегово-

ры между враждующими сторонами и условилась о том, как должно произойти примирение. Она накинула шаль, надела чепчик и вышла, шурша юбками; вид у нее был решительный и строгий. Прачка, не говоря ни слова, продолжала помешивать бульон, засыпанный вермишелью. Гости сразу остепенились и застыли в напряженном молчании.

Первой появилась г-жа Лера. Она сделала крюк и вошла со стороны улицы, чтобы придать примирению больше торжественности. Она широко распахнула дверь перед затянутой в шелк г-жой Лорийе, которая остановилась на пороге. Все гости встали, Жервеза подошла к золовке и, как было условлено, поцеловала ее.

— Входите же,— проговорила она.— Мы больше не будем ссориться, ведь правда?.. Кто старое помянет, тому глаз вон.

На это г-жа Лорийе ответила:

— Дай-то бог, чтобы мы всегда были в ладу.

Вслед за ней вошел Лорийе и тоже остановился на пороге, ожидая поцелуя и приглашения. И муж и жена явились с пустыми руками: они решительно отказались дарить Хромуше цветы, считая для себя унизительным в первый же раз прийти к ней с букетом. Между тем Жервеза велела Огюстине принести два литра вина, затем наполнила стаканы и пригласила всех к столу. Гости чокнулись за доброе согласие в семействе. Наступило молчание, все пили, не отрываясь, до последней капли, женщины при этом далеко отставляли локоть.

— Нет ничего приятнее, как пропустить стаканчик перед супом,— заявил Бош, прищелкивая языком.— Это куда лучше, чем получить по шее.

В ожидании Лорийе мамаша Купо караулила у двери, чтобы поглядеть, с какими рожами они войдут. Наконец она дернула Жервезу за юбку и увела ее в соседнюю комнату. Склонившись над суповой кастрюлей, обе женщины стали оживленно шушукаться.

— Ну и потеха! — говорила старушка.— Вам-то не видно было, а я нарочно поджидала у двери... Как она глянула на накрытый стол, верите ли, лицо у нее так и перекосилось, глаза прямо на лоб полезли. А он тут же поперхнулся и принялся кашлять... Посмотрите на них: верно, во рту у них пересохло, все губы себе искусали.

— До чего ж они завистливы, просто жалость берет! — прошептала Жервеза.

И вправду, у Лорийе был какой-то чудной вид. Да и то сказать, кому приятно получать щелчки? Когда среди родных кто-нибудь преуспевает, другие злятся, это в порядке вещей. Но надо себя сдерживать, не так ли? А не служить посмешищем для лю-

дей. Ну, а Лорийе не могли сдержаться. Зависть была сильнее их, они переменились в лице и совсем скосоротились. Это было так заметно, что гости стали спрашивать, уж не больны ли они. Нет, никогда Лорийе не проглотят такую пилюлю — стол с четырнадцатью приборами, белоснежная скатерть, нарезанный тонкими ломтиками хлеб! Право, как в хорошем ресторане. Г-жа Лорийе обошла вокруг стола, отворачиваясь, чтобы не видеть цветов, и украдкой пощупала скатерть, терзаясь при мысли, что она новая.

— Ну вот, все и готово! — воскликнула Жервеза, с улыбкой выходя к гостям; руки ее были обнажены, тонкие белокурые волосы вились на висках.

Приглашенные топтались возле стола. Все хотели есть и тихонько позевывали, томясь от скуки.

— Как только придет хозяин,— продолжала прачка,— так сразу и начнем.

— А пока что суп остынет,— проворчала г-жа Лорийе,— Купо вечно опаздывает. Зря его отпустили.

Было уже половина седьмого. Кушанья могли перестояться, гусь пережариться. Тогда огорченная Жервеза сказала, что надо бы сходить в соседние кабачки и посмотреть, не там ли застрял Купо. Гуже предложил свои услуги, и она решила идти вместе с кузнецом; Виржини, беспокоясь о своем муже, также присоединилась к ним. Они вышли налегке, без шляп, и заняли весь тротуар. Гуже в парадном сюртуке вел под руку дам — Жервезу с левой, а Виржини с правой стороны — и уверял, что он похож на корзину с двумя ручками. Эта шутка показалась всем такой забавной, что они остановились, обессилев от смеха. Взглянули на себя в зеркало колбасной и расхохотались пуще прежнего. Рядом с Гуже, одетым во все черное, обе женщины казались курочками-пеструшками: портниха была в муслиновом платье розовыми букетиками, а прачка в открытом перкалевом синими горошками и с серым шарфиком, повязанным вокруг шеи. Люди оборачивались, чтобы еще раз взглянуть на них,— такие они были свежие и нарядные, несмотря на будничный день, и так весело пробирались сквозь толпу, запрудившую в этот теплый июньский вечер улицу Пуассонье. Однако прохлаждаться было некогда. Они подходили к двери каждого кабачка и оглядывали зал, ища Купо возле стойки. Неужели этот прохвост отправился пьянствовать к Триумфальной арке? Они уже обошли всю верхнюю часть улицы, осмотрели все злачные места: «Луковку», известную превосходной сливянкой, ресторанчик мамаши Баке, где подают орлеанское вино по восьми су за бутылку, «Бабочку», любимый трактир извозчиков — клиентов, как известно, весьма требовательных,— Купо не было и в помине! Тогда они направились к бульвару;

проходя мимо кабачка Франсуа, на углу, Жервеза негромко вскрикнула.

— Что случилось? — спросил Гуже.

Прачка уже не смеялась. Она вся побелела и была так взволнована, что едва держалась на ногах. Виржини сразу же смекнула, заметив Лантье, который сидел за столиком у Франсуа и преспокойно обедал. Обе женщины увлекли за собой Гуже.

— У меня нога подвернулась,— сказала Жервеза, как только смогла вымолвить слово.

Они все же отыскали Купо и Пуассона в «Западне» папаши Коломба, в самом конце улицы. Оба приятеля стояли в толпе других мужчин: Купо в своей неизменной серой блузе яростно размахивал руками и орал, стуча кулаком по стойке; Пуассон, который в этот день был свободен от дежурства, надел вместо мундира коричневое пальто, тесное и поношенное; он бесстрастно слушал приятеля, пощипывая рыжие усы и эспаньолку. Гуже оставил женщин на улице и, войдя в кабачок, дотронулся до плеча кровельщика. Но когда Купо заметил снаружи Жервезу и Виржини, он разозлился. Чего надо здесь этим юбкам? Не хватает еще, чтобы бабье бегало за ним по пятам. Коли так, он не тронется с места, пусть сами лопают свой поганый обед. Гуже пришлось выпить с Купо, чтобы его утихомирить, и все-таки тот со злости еще добрых пять минут топтался перед стойкой. Выйдя на улицу, он сказал жене:

— Отвяжись от меня... Я делаю то, что мне нравится, понятно?

Жервеза ничего не ответила. Она вся дрожала. Очевидно, она говорила с подругой о Лантье, потому что Виржини отправила своего мужа и Гуже вперед, а обе женщины пошли с кровельщиком: они старались развлекать его, чтобы он не смотрел по сторонам. Слегка охмелевший Купо был возбужден не столько вином, сколько собственным криком. Видя, что женщины собираются идти по левой стороне улицы, он оттолкнул их и назло перешел на правую сторону. Они испуганно побежали за ним и постарались заслонить собою дверь в кабачок на углу. Но Купо, видно, уже знал, что Лантье обедает у Франсуа. Жервеза совсем растерялась, слыша, как он бормочет себе под нос:

— Еще бы, козочка, ведь здесь сидит твой старый знакомый! Не принимай меня за дурака... Погоди, получишь на орехи, если застукаю тебя поблизости да увижу, что ты строишь ему глазки!

И Купо крепко выругался. Понятно, не мужа она разыскивала, не для него расфуфырилась и обсыпала рожу мукой — ради прежнего хахаля постаралась. Тут Купо обуяла дикая ярость против Лантье. Сволочь, разбойник! Он его выпотрошит, как кролика! Одному из них все равно не жить на белом свете. Между

тем Лантье преспокойно уплетал телятину со щавелем, словно эти крики его вовсе не касались. Начали собираться зеваки. Наконец Виржини кое-как увела Купо, который сразу успокоился, едва они завернули за угол. Во всяком случае, все трое вернулись в прачечную уже не в таком веселом настроении.

Сидя вокруг стола, гости изнывали от нетерпения. Кровельщик пожал руки мужчинам и молодцевато раскланялся с дамами. Расстроенная Жервеза разговаривала вполголоса и усаживала приглашенных. Но вдруг она заметила, что место рядом с г-жой Лорийе так и осталось незанятым, ведь мамаша Гуже не пришла.

— Нас будет тринадцать за столом! — сказала Жервеза взволнованно, видя в этом новое предзнаменование подстерегающего ее несчастья.

Усевшиеся было дамы испуганно вскочили с места. Г-жа Пютуа сказала, что она предпочитает уйти — такими вещами шутить нельзя,— все равно она ни к чему не притронется, первый же кусок станет у нее поперек горла. А Бош только посмеивался: тринадцать человек лучше, чем четырнадцать, ведь каждому больше достанется, что ж тут плохого?

— Погодите минутку! — воскликнула Жервеза.— Я сейчас все улажу.

И, выбежав за дверь, она позвала дедушку Брю, который как раз переходил улицу. Старик рабочий вошел в комнату, как всегда сгорбленный, неповоротливый, безмолвный.

— Садитесь, голубчик,— сказала прачка.— Надеюсь, вы не откажетесь пообедать с нами?

Он только кивнул в ответ. Почему бы и нет, ему все равно.

— Пусть уж лучше он, чем кто-нибудь другой,— продолжала прачка, понизив голос.— Ему не часто случается есть досыта. Хоть разок полакомится... Да и нам не будет совестно пировать.

У Гуже даже слезы навернулись на глаза, до того он был растроган. Остальные гости тоже умилились и нашли поступок Жервезы превосходным; конечно, это всем принесет счастье. Только г-жа Лорийе, казалось, была недовольна своим соседом; она отодвигалась от него, брезгливо посматривая на его заскорузлые руки и на заплатанную линялую блузу. Старик Брю сидел понурившись, больше всего его смущала салфетка, лежавшая перед ним на тарелке. В конце концов он снял ее и осторожно положил на краешек стола: ему даже в голову не пришло расстелить ее на коленях.

Наконец Жервеза подала суп с вермишелью, и гости уже взялись за ложки, как вдруг Виржини заметила, что Купо снова исчез. Должно быть, он вернулся к папаше Коломбу. Тут вся компания возмутилась. Тем хуже для него, никто за ним больше не побежит, пускай торчит на улице, если не голоден. Но в ту мину-

ту, когда ложки застучали по дну тарелок, появился Купо; он нес под мышками два цветочных горшка — с левкоем и бальзамином. Все захлопали в ладоши. Купо галантно поставил цветы справа и слева от прибора Жервезы, затем наклонился и поцеловал жену.

— Я позабыл о тебе, кошечка... Но это не важно, мы все равно любим друг друга, особенно в такой день, как сегодня.

— Нынче вечером Купо просто молодцом,— шепнула Клеманс на ухо Бошу.— Он выпил в самую меру, только любезнее стал.

Приятное обхождение хозяина восстановило веселое настроение, которое совсем было упало. Успокоенная Жервеза снова заулыбалась. Гости покончили с супом. Затем стали передавать друг другу литровые бутылки и выпили по первому стаканчику вина, чтобы протолкнуть вермишель. Из соседней комнаты доносился шум детской ссоры. Там обедали Этьен, Нана, Полина и маленький Виктор Фоконье. Ребят усадили за отдельный стол, наказав им быть паиньками. Косоглазая Огюстина подбрасывала уголь в печки и ела, поставив тарелку себе на колени.

— Мама! Мама! — вдруг закричала Нана.— Огюстина макает хлеб в подливку!

Жервеза прибежала в ту минуту, когда Огюстина силилась проглотить огромный кусок хлеба, пропитанный кипящим гусиным жиром, и чуть не обожгла себе рот. Прачка надавала ей колотушек, потому что эта чертова девчонка еще кричала, будто на нее возвели напраслину.

Когда после вареного мяса было подано телячье рагу — в салатнике, за неимением большого блюда,— лица присутствующих расплылись в улыбке.

— Вот это дело серьезное,— сказал обычно молчавший Пуассон.

Было половина восьмого. Дверь прачечной затворили, чтобы оградить себя от любопытства соседей; в особенности докучал всем щупленький часовщик из мастерской напротив: глаза у него стали круглые, как плошки, и он с такой жадностью уставился на гостей, что у них кусок не лез в горло. Сквозь опущенные занавески лился ровный матовый свет; он падал без единой тени на обеденный стол, на симметрично расставленные приборы и на цветочные горшки, обернутые белой бумагой; это мягкое сумеречное освещение как бы облагораживало собравшееся общество. Виржини выразила общее мнение: осмотрев уютную комнату с белыми кисейными занавесками, она заявила, что здесь очень мило. Когда по улице проезжала повозка, стаканы на столе дребезжали, и дамам приходилось кричать так же громко, как и мужчинам. Впрочем, говорили мало, держали себя чинно и любезно передавали друг другу то одно, то другое. Из всего общест-

ва только Купо был в блузе: с друзьями незачем церемониться, говорил он, да и к тому же блуза делает честь рабочему человеку. Дамы сидели туго затянутые в корсеты, а волосы у них были до того напомажены, что блестели, точно лакированные; мужчины отодвигались как можно дальше от стола, выпячивали грудь и отставляли локти, чтобы не испачкать праздничных сюртуков.

Ну и чудеса! Телячье рагу исчезало прямо на глазах. И если за столом не было слышно разговоров, то уж челюсти работали вовсю. Салатник быстро пустел, а великолепный желтоватый соус дрожал, как желе, и был такой густой, что ложка стояла в нем торчком. Гости вылавливали последние куски телятины; салатник переходил из рук в руки, все низко склонялись над ним, отыскивая шампиньоны. Огромные хлебы, лежавшие у стены, за спиной сотрапезников, казалось, таяли; слышалось только громкое чавканье да звон стаканов. Соус чуть-чуть пересолили, и понадобилось четыре литра вина, чтобы залить предательское рагу, которое само просилось в рот и зажигало пожар в желудке. Но не успели гости перевести дух после телятины, как в облаках пара появилось глубокое блюдо с жареной свининой, обложенной большими круглыми картофелинами. Ее встретили криками «ура». Вот здорово придумано! Нет ничего лучше свинины! Как тут не разыграться аппетиту?! И каждый следил загоревшимся взглядом за новым жарким и вытирал свой нож куском хлеба, чтобы быть наготове. Когда тарелки наполнились, гости стали подталкивать друг друга локтем, переговариваясь с набитым ртом. Каково? Не свинина, а сливочное масло! Нежная, сытная, прямо ласкает глотку и скользит по кишкам до самых пят. Картошка рассыпается как сахарная. Свинина, правда, не пересолена, но ведь картошка-то требует поливки. Ничего не поделаешь, опорожнили еще четыре литра. Тарелки вылизали так чисто, что не пришлось их менять, когда подали зеленый горошек с салом. Овощи в счет не идут. Горошек уписывали полными ложками, точно забавлялись. Ведь это не еда, а так — развлечение, лакомство для дам. Самое вкусное в горошке были в меру зажаренные шкварки, попахивавшие паленой щетиной. К этому блюду потребовалось не больше двух литров вина.

— Мама! Мама! — вдруг закричала Нана.— Огюстина залезла в мою тарелку.

— Не приставай ко мне! Дай ей по рукам! — ответила Жервеза, уплетая зеленый горошек.

В соседней комнате, за детским столом, Нана чувствовала себя хозяйкой дома. Она села рядом с Виктором, а своего брата Этьена посадила с Полиной; дети играли в супругов, пришедших в ресторан. Сперва Нана любезно угощала своих гостей, улыбаясь им как взрослая; но, увидев шкварки, плавающие в горошке,

она обо всем позабыла и забрала их себе. Косоглазая Огюстина, которая так и вертелась возле детей, воспользовалась этим и схватила полную пригоршню шкварок, будто бы для того, чтобы разделить их поровну между всеми. Нана, разозлившись, укусила ее за руку.

— Дождешься у меня,— прошипела Огюстина,— вот расскажу матери, как после рагу ты велела Виктору тебя поцеловать.

Но порядок был тут же восстановлен, так как в комнату вошли Жервеза и мамаша Купо, чтобы снять гуся с вертела. За большим обеденным столом гости пыхтели, откинувшись на спинки стульев. Мужчины расстегнули жилеты, дамы вытирали потные лица салфетками. Наступила передышка, только несколько заядлых едоков никак не могли остановиться и продолжали жевать хлеб, сами того не замечая. Все ждали следующего блюда, переваривая съеденное. Спускалась ночь; за занавесками сгущался грязноватый, пепельно-серый сумрак. Как только Огюстина поставила две лампы — по одной на каждом конце стола,— в глаза всем бросились беспорядочно сдвинутые приборы, жирные тарелки, вилки и крошки хлеба на залитой вином скатерти. От сильного чада было трудно дышать. Однако лица то и дело оборачивались к кухне, откуда исходил какой-то особенный аромат.

— Не помочь ли вам? — крикнула Виржини.

Она встала с места и прошла в соседнюю комнату. За ней мало-помалу последовали все прочие дамы. Они окружили гусятницу и с жадным любопытством следили за тем, как Жервеза и мамаша Купо расправляются с гусем. Потом раздался восторженный гул, послышались визгливые женские голоса и радостные крики детей. Наконец появилась торжественная процессия: Жервеза несла гуся, напряженно вытянув руки; ее потное лицо расплылось в широкой довольной улыбке; остальные женщины шли за ней, тоже улыбаясь, а позади всех выглядывала Нана; девчонка таращила глаза и становилась на цыпочки, чтобы все хорошенько рассмотреть. Огромный, золотистый, блестевший от жира гусь был водворен на место, однако на него набросились не сразу. Компания застыла в молчаливом и почтительном удивлении. Гости подмигивали друг другу и восхищенно покачивали головами. Черт возьми! Ну и красавец! Какие ляжки, какое брюхо!

— Да, видно, его не морили голодом! — воскликнул Бош.

Тут принялись разбирать гуся по всем статьям. Жервеза рассказала, что это была лучшая птица, которую она нашла у торговца живностью в предместье Пуассоньер; когда гуся прикинули на весах у соседа-угольщика, в нем оказалось двенадцать с половиной фунтов. Целая мера угля ушла на то, чтобы его зажарить, а жиру вытопилось три миски. Виржини перебила Жервезу и похвасталась, что видела птицу, как только ее принесли из

лавки; хотелось съесть ее сырьем, говорила портниха, кожа у нее была тонкая, белая, ни дать ни взять у хорошенькой блондиночки! Мужчины засмеялись, сластолюбиво причмокивая. Одни супруги Лорийе поджимали губы, задыхаясь от злости при виде такого великолепного гуся на столе у Хромуши.

— Однако не будем же мы есть его целиком,— проговорила наконец Жервеза.— Кто берется его разрезать?.. Нет, нет, только не я! Он слишком велик, я и подступиться-то к нему боюсь.

Купо предложил свои услуги. Бог мой, что может быть проще: ухвати ножку или крылышко и тяни к себе. Как ни кромсай гуся, вкуса не испортишь. Но все запротестовали и вырвали у него нож: когда он брался что-нибудь резать, на блюде получалось настоящее крошево. Стали выбирать, кому бы доверить это дело. Наконец г-жа Лера кокетливо сказала:

— Послушайте, такая честь принадлежит только господину Пуассону... Ну конечно же господину Пуассону...

Но так как присутствующие, казалось, недоумевали, она прибавила, желая польстить полицейскому:

— А то как же, ведь господин Пуассон прекрасно владеет оружием.

И она передала ему кухонный нож. Все были удовлетворены и одобрительно улыбнулись. Пуассон поклонился, резко, по-военному, кивнув головой, и придвинул к себе гуся. Жервеза и г-жа Бош, сидевшие поблизости, отстранились, чтобы не мешать ему. Он резал медленно, оттопырив локти, и так смотрел на гуся, словно хотел пригвоздить его к блюду. Когда под кухонным ножом затрещали кости, Лорийе в порыве патриотизма воскликнул:

— Эх, будь это казак!..

— Разве вам приходилось драться с казаками, господин Пуассон? — спросила привратница.

— Нет, только с бедуинами,— ответил полицейский, отделяя крыло.— Казаков уж давно нет.

Тут наступила глубокая тишина. Шеи вытянулись, глаза были прикованы к ножу. Пуассон приготовил компании сюрприз. Резким движением он в последний раз взмахнул ножом, задняя часть птицы отделилась и встала торчком, гузкой кверху,— получилась как бы епископская митра. Раздались восторженные крики. Право, только старые вояки еще умеют развлечь общество. Между тем из гусиного зада хлынула струя подливки; Бош принялся балагурить.

— Становлюсь первым в очередь,— сказал он,— пусть гусь делает пипи прямо мне в рот.

— Вот сквернослов! — воскликнули дамы.— Этакий сквернослов, право!

— Свинья он, больше никто! — сказала разъяренная г-жа Бош.— Замолчи, слышишь! От твоих слов с души воротит... Такого и в казарме не услышишь... Вы знаете, он это неспроста, хочет один все слопать!

Среди поднявшегося шума Клеманс настойчиво повторяла:

— Господин Пуассон, послушайте, господин Пуассон... Оставьте мне гузку, хорошо?

— Милая моя, гузка принадлежит вам по праву,— захихикала г-жа Лера, как всегда на что-то намекая.

Между тем гусь был разрезан. Дав обществу вдоволь полюбоваться «епископской митрой», Пуассон покончил и с ней и разложил куски на блюде. Оставалось отведать гусятины. Но дамы жаловались на жару и уже начинали расстегивать платья. Купо воскликнул, что он у себя дома, а до соседей ему нет дела, и широко распахнул дверь; пирушка продолжалась под грохот экипажей, на виду у прохожих, толкавшихся на тротуаре. Челюсти гостей успели отдохнуть, в желудках освободилось местечко,— можно было продолжать обед, и все дружно принялись за гуся. От одного вида этой великолепной птицы, говорил шутник Бош, он так проголодался, будто и не едал телятины со свининой.

Ножами и вилками работали на славу, никто из собравшихся не помнил, чтобы ему приходилось так объедаться. Отяжелевшая Жервеза навалилась на стол и молча запихивала себе в рот огромные куски белого мяса, боясь отстать от остальных; ей было только немножко совестно перед Гуже: теперь он видит, какая она обжора. Впрочем, Гуже сам уплетал за обе щеки, а вид раскрасневшейся от еды Жервезы только подбодрял его. Да и, кроме того, она казалась такой милой, такой доброй, несмотря на свою жадность! Она не разговаривала, зато все время заботилась о дедушке Брю и отрывалась от своей тарелки, чтобы положить ему кусочек повкусней. Трогательно было видеть, как эта лакомка отказывалась от гусиного крылышка ради бедняги, который глотал, не разбирая, все подряд и сидел понурившись, отупев от еды,— да и не мудрено, ведь он небось забыл даже вкус мяса. Лорийе злились по-прежнему; они решили отыграться на гусе и уничтожали его с остервенением. Казалось, они готовы проглотить блюдо, стол, всю прачечную, лишь бы разорить Хромушу. Дамам захотелось поглодать косточки, ведь глодать косточки — дамское занятие. Г-жа Лера, г-жа Бош и г-жа Пютуа занялись гусиными ребрышками, а мамаша Купо, обожавшая шейку, рвала с нее мясо двумя последними зубами. Виржини любила поджаристую корочку, и гости по очереди любезно передавали ей гусиную кожу, отодрав ее от своих кусков. Тут Пуассон начал строго посматривать на жену и велел ей остановиться: довольно, она и так съела чересчур много,— ведь однажды, объевшись жа-

реным гусем, она провалялась две недели с несварением желудка. Купо рассердился и сам положил Виржини верхнюю часть ножки, крича, какая же она, черт подери, женщина, если не управится с этим кусочком! Разве гусь может кому-нибудь повредить? Напротив, гусятина излечивает болезни селезенки. Ее можно есть даже без хлеба, заместо сладкого. Сам он готов всю ночь напролет обжираться гусем, и хоть бы что, останется здоровехонек; продолжая бахвалиться, он запихал себе в рот целую лапку. Между тем Клеманс, причмокивая, обсасывала гузку и корчилась от смеха, так как Бош нашептывал ей всякие гадости. Наелись все, что называется, до отвала. Да и какой дурак не отдаст должное угощению, если подвернулся подходящий случай? Животы вздувались на глазах. Женщины пухли как беременные. Эти чертовы прорвы чуть не лопались от обжорства. Они сидели, разинув рты, подбородки их лоснились от жира, лица были похожи на задницы и красны, как рожи у раздобревших богачей.

А вино, дети мои! Оно лилось рекой, текло как вода в Сене, и тут же исчезало, точно дождевые ручьи, поглощенные пересохшей землей. Разливая вино, Купо высоко поднимал бутылку, чтобы все видели, как красная струя, пенясь, наполняет стаканы; и когда в бутылке ничего не оставалось, он опрокидывал ее горлышком вниз и, дурачась, делал вид, будто доит корову. Вот еще одну бутылку прикончили! В углу прачечной росли горы «покойников», и на это «кладбище» сбрасывали со стола все объедки. Г-жа Пютуа попросила было воды, но кровельщик возмутился и сразу убрал все графины. Разве порядочные люди пьют воду? Неужто она хочет, чтобы у нее в животе завелись лягушки? И собутыльники залпом опорожнили стаканы, слышалось только, как вино булькает в глотках, точно вода, стекающая по водосточной трубе во время ливня. Да, тут струился настоящий винный поток; вино отдавало старой бочкой, но к нему быстро привыкли и даже стали находить, что оно пахнет орехом. Эхма, что бы там ни болтали попы, а виноградный сок — знатная выдумка! Все смеялись и поддакивали Купо: рабочему человеку не обойтись без вина, и папаша Ной насадил виноградник не иначе как для кровельщиков, портных и кузнецов. Вино освежает, бодрит, разгоняет усталость, подстегивает лентяев, а стоит хватить лишку, сам король тебе не указ и Париж для тебя — деревушка. Ведь рабочему не с чего особенно радоваться: он измучен, в кармане у него ни гроша, буржуа им помыкают. Кто тут посмеет упрекнуть человека, ежели он хлебнул лишку? Иной раз хочется увидеть мир в розовом свете! Разве им сейчас не наплевать на императора? Быть может, император и сам нынче пьян! Ну и пусть, им все равно плевать на него: как бы он ни тужился, он их не перепьет, и ему не будет веселее, чем за этим столом. До-

лой аристократов! Купо посылал весь свет к чертям собачьим. Он находил всех женщин красотками, он хлопал себя по карману, где позвякивали две-три монетки, и смеялся так, словно загребал золото лопатой. Даже Гуже, обычно такой воздержанный, сегодня накачался. Глаза Боша сузились, как щелки. Лорийе клевал носом, а смуглое лицо старого вояки Пуассона побагровело, и он сердито вращал глазами. Словом, мужчины окончательно осовели. Впрочем, и дамы были навеселе, правда, не слишком, а так, немного; они раскраснелись, им было жарко и хотелось раздеться, но они сбросили только косынки. Одна Клеманс расстегнулась до неприличия. Жервеза вдруг вспомнила о шести запечатанных бутылках, которые собиралась подать к гусю; она тут же принесла их, стаканы вновь наполнили. Тогда Пуассон встал и, подняв стакан, провозгласил:

— За здоровье хозяйки дома!

Собутыльники поднялись со своих мест, грохоча стульями, отовсюду к Жервезе потянулись руки, все стали чокаться, послышались громкие пожелания.

— Жить вам сто лет! — воскликнула Виржини.

— Нет, нет, лучше не надо,— ответила растроганная, улыбающаяся Жервеза.— Я не хочу дожить до такой старости. Поверьте, порой человек и сам уже не прочь умереть.

А через широко открытую дверь улица Гут-д'Ор глядела на пирушку и принимала в ней участие. Прохожие останавливались в яркой полосе света, падавшей на мостовую, и добродушно посмеивались при виде подвыпившей компании. Извозчики, согнувшись на козлах, стегали своих кляч, посматривали на гостей и отпускали шуточки: «Эй вы там, дайте промочить горло!», «И разнесло же тебя, мамаша! Погоди, мигом слетаю за повитухой!». Запах жареного гуся щекотал ноздри соседей и услаждал всю округу; приказчикам из бакалейной лавки, столпившимся на противоположном тротуаре, казалось, что они тоже празднуют именины; зеленщица и торговка потрохами то и дело выбегали на порог своих лавчонок и облизывались, вдыхая дразнящий запах. Положительно у всей улицы разыгрался аппетит. Мать и дочь Кюдорж, торговавшие по соседству зонтами, слонялись возле прачечной, хотя обычно и носу не высовывали из своей конуры; они косились на пирующих, а щеки их пылали, словно обе они только что пекли блинчики. Щупленький часовщик сидел за своим рабочим столом, но ничего не мог делать: он опьянел, глядя на выпитые бутылки, и ерзал на стуле под веселый перезвон часов. Да, соседей здорово разобрало, кричал кровельщик. Но нам-то незачем прятаться! И компания разошлась вовсю и, уже не стыдясь, веселилась на глазах у всего честного народа; жадные взгляды сбежавшихся людей, напротив, лишь подбадривали, подзадори-

вали пирующих. Недурно было бы вышибить витрину, поставить стол на тротуаре и есть десерт под носом у прохожих, среди уличной сутолоки. Разве на именинницу и гостей смотреть противно? Ну так и незачем запираться, как сквалыгам! Видя, что щупленький часовщик изнывает от жажды, Купо издали показал ему бутылку; и когда тот кивнул в ответ, кровельщик отправился в его мастерскую, захватив с собой бутылку и стакан. С улицей завязывались братские отношения. Чокались с прохожими. Подзывали симпатичных на вид парней. Пир ширился, разрастался, вся улица Гут-д'Ор смеялась, хватаясь за бока, и все больше хмелела от этой дьявольской вакханалии.

Госпожа Вигуру, угольщица, вот уже несколько минут сновала перед дверью прачечной.

— Госпожа Вигуру, эй, госпожа Вигуру! — заревела компания.

Она вошла, глупо ухмыляясь, чистенькая, приглаженная и до того жирная, что платье на ней чуть не лопалось. Мужчины любили щипать угольщицу: где ее ни ухвати — ни косточки не прощупаешь. Бош усадил ее рядом с собой и тотчас же сжал под столом ее коленку. Но г-жа Вигуру, привыкшая к таким шалостям, преспокойно потягивала вино и рассказывала, что соседи высовываются из окон, а жильцы в доме начинают сердиться.

— Ну, это уж наше дело,— сказала г-жа Бош.— Ведь мы с мужем привратники, мы отвечаем за порядок в доме... Пусть только пожалуются, мы сумеем их отвадить.

В задней комнатке Нана сцепилась с Огюстиной из-за гусятницы: обеим девочкам хотелось ее вылизать. Целых четверть часа гусятница грохотала по каменному полу как старая жестянка. Теперь Нана ухаживала за маленьким Виктором, который поперхнулся гусиной косточкой; она стукала его по спине и заставляла глотать сахар вместо лекарства. Но это не мешало ей наблюдать за взрослыми. Она то и дело подходила к матери и просила вина, хлеба или мяса для Этьена и Полины.

— Чтоб ты подавилась,— говорила Жервеза.— На, возьми и отвяжись от меня.

Детям уже кусок не лез в горло, но они продолжали жевать, отбивая такт вилками для возбуждения аппетита.

Среди оглушительного гама между дедушкой Брю и мамашей Купо завязался серьезный разговор. Старик, все такой же бледный, несмотря на обильное угощение, рассказывал о своих сыновьях, убитых в Крыму. Да, если бы его мальчики были живы, он не голодал бы на старости лет. А мамаша Купо, еле ворочая языком, шептала ему на ухо:

— Полноте, с детьми тоже немало горя хлебнешь! Вот я

вроде бы и счастлива, да? А мне частенько приходится плакать... Право, не тужите, что у вас нет детей.

Старик Брю качал головой.

— Меня нигде не берут на работу,— бормотал он.— Слишком я стар. Стоит мне войти в мастерскую, молодые начинают смеяться, спрашивают, уж не я ли чистил сапоги Генриху Четвертому... В прошлом году я еще красил мост и зарабатывал тридцать су в день. Приходилось лежать в сырости на спине. С тех пор я и кашляю... Теперь кончено, меня отовсюду гонят.

Он поглядел на свои старческие, скрюченные руки.

— Оно и понятно, ведь ни на что я больше не годен. Они правы, на их месте я поступил бы так же... Беда в том, что я никак не помру. Да, это моя вина. Если не можешь больше работать, ложись и подыхай.

— Просто не понимаю,— вмешался в разговор Лорийе,— почему правительство не оказывает помощи престарелым рабочим... На днях об этом даже писали в газете...

Но Пуассон решил, что он обязан вступиться за правительство.

— Рабочие не солдаты,— заявил он.— Инвалидные дома существуют только для солдат... Нельзя требовать невозможного.

Подали десерт. Посреди стола стоял торт, изображавший храм с куполом в виде дыни; на куполе красовалась искусственная роза, а возле нее на проволоке покачивалась бабочка, вырезанная из серебряной бумаги. Две капли клея в венчике цветка должны были изображать капли росы. Слева от торта на блюде лежал кусок сыра, а справа в глубокой тарелке — мятая клубника. Однако еще не был съеден салат, политый прованским маслом.

— Прошу вас, госпожа Бош,— любезно предложила Жервеза,— возьмите еще салата. Это же ваша слабость, я знаю.

— Нет, нет, спасибо, я сыта по горло,— ответила привратница.

Прачка повернулась к Виржини, но та сунула палец в рот, шутливо показывая, что пища готова пойти обратно.

— Право же, я полным-полна,— прошептала швея.— Ни кусочка больше не поместится.

— А вы постарайтесь,— продолжала Жервеза улыбаясь.— Местечко всегда найдется... Салат можно есть и на сытый желудок. Не пропадать же ему зря.

— Вы доедите его завтра,— сказала г-жа Лера.— Когда постоит, он еще вкуснее.

Дамы отдувались, с сожалением поглядывая на салатник. Клеманс рассказала, как однажды за завтраком она съела три огромных пучка кресс-салата. Г-жа Пютуа перещеголяла ее: она

брала пучок латука и ела его без ничего, макая в соль. Все они готовы были питаться одним салатом, есть его с утра до ночи. И под этот разговор дамы опустошили салатник.

— Что до меня, то я могу встать на четвереньки и щипать салат прямо с грядки,— говорила привратница с набитым ртом.

Тут компания принялась шутить, поглядывая на десерт. Что ж, десерт в счет не идет. Не велика беда, что он немножко запоздал: честь ему все равно окажут. Пусть у них лопнут животы, но от клубники и торта грех отказываться. Да и спешить-то некуда, времени хоть отбавляй, впереди еще целая ночь. А пока что каждый накладывал себе на тарелку клубнику и сыр. Мужчины закурили; вино в запечатанных бутылках было уже выпито, и они снова взялись за разливное, пили его не торопясь, покуривая трубки. Наконец гости потребовали, чтобы Жервеза разрезала торт. Пуассон встал, снял с него розу и галантно преподнес ее хозяйке под аплодисменты всего стола. Жервеза приколола розу слева, поближе к сердцу. При каждом ее движении бабочка трепыхала крылышками.

— Послушайте! — вскричал Лорийе, сделавший неожиданное открытие.— А ведь едим-то мы за вашим гладильным столом!.. Ей-богу, никогда на нем так усердно не работали!

Эта злая шутка имела большой успех. Посыпались намеки, острые словечки. Отправляя в рот клубнику, Клеманс приговаривала, что она засыпает уголь в печку; г-жа Лера уверяла, будто сыр попахивает крахмалом; а г-жа Лорийе ворчала сквозь зубы: куда как умно проедать деньги за тем самым столом, где ты здорово попотел, чтобы их заработать. От хохота и криков звенело в ушах.

Вдруг зычный голос заставил всех замолчать. Бош встал и, приосанившись, затянул песню «Вулкан любви, или Неотразимый солдат»:

Кто я? Блавен, красоток соблазнитель...[1]

Буря аплодисментов встретила первый куплет. Да, да, надо попеть! Пусть каждый исполнит свой любимый номер. Веселее ничего не придумаешь. Одни облокотились на стол, другие откинулись на спинку стула, покачивая головой в наиболее забористых местах и опрокидывая стаканчик после припева. Пройдоха Бош был мастер исполнять комические песенки. Он и мертвого рассмешил бы: уж больно хорошо он изображал удалого солдата, растопырив пальцы и сдвинув шляпу на затылок. Тотчас же после «Вулкана любви» он запел «Баронессу де Фольбиш» — песенку,

---

[1] Стихи переведены Валентином Дмитриевым.

которая пользовалась неизменным успехом. Дойдя до третьего куплета, он промурлыкал, умильно поглядывая на Клеманс:

У баронессы на кушетке
Сидели сестры как-то раз:
Одна блондинка, три брюнетки,—
Четыре пары хитрых глаз.

И компания, воодушевившись, подхватила припев. Мужчины отбивали такт каблуками. Дамы схватили ножи и стучали ими о стаканы. Все горланили хором:

Черт подери! Кому платить
За эту поп... за эту поп...
Черт подери! Кому платить
За эту поп... за поп... попойку?

Стекла в комнате звенели, кисейные занавески колыхались от пения и криков. Виржини уже два раза куда-то исчезала, а потом оживленно шепталась с Жервезой. На третий раз она вернулась в разгар веселья и, наклонившись к подруге, сказала:

— Милая моя, он все еще у Франсуа, делает вид, будто читает газету... Наверно, готовит какую-нибудь каверзу.

Виржини говорила о Лантье. Это его она выслеживала. При каждом новом сообщении Жервеза становилась все озабоченнее.

— Он пьян? — спросила она.

— Нет,— ответила Виржини.— Похоже, что трезвый. Вот это и подозрительно. Ну, зачем ему сидеть в кабаке, коли он не пьян?.. Боже мой, боже мой! Только бы ничего не случилось!

Сильно встревоженная прачка попросила ее замолчать. Неожиданно воцарилась тишина. Г-жа Пютуа поднялась со своего места и запела «На абордаж!». Все смотрели на нее молча, сосредоточенно, Пуассон даже перестал курить и положил трубку на край стола. Напряженно вытянувшись, маленькая, сердитая, без кровинки в лице под черным чепчиком, она решительно молотила левым кулачком по воздуху и пела басом, совершенно неожиданным при ее тщедушной фигурке:

Гонитесь, флибустьеры,
За нашею галерой!
Мы всех вас победим,
Пощады не дадим!
Ребята, станьте к пушкам,
Разлейте ром по кружкам!
Пиратов петли ждут,
От казни не уйдут!

Да, уж это песня так песня. Черт возьми, как здорово все изображено! Пуассон, бывавший в плаванье, кивал в подтверждение головой. К тому же сразу чувствовалось, что песня затрагивает сокровенные струнки в душе г-жи Пютуа. Купо пригнулся к

столу и рассказал вполголоса, что однажды вечером на улице Пуле г-жа Пютуа надавала пощечин четырем мужчинам, посягавшим на ее добродетель.

Между тем Жервеза с помощью мамаши Купо разливала кофе, хотя гости еще не успели расправиться с тортом. Сесть ей не позволили: все кричали, что теперь ее очередь что-нибудь спеть. Жервеза стала отказываться и при этом была так бледна и расстроена, что посыпались вопросы, уж не объелась ли она жареным гусем. Наконец она запела тихим, нежным голоском: «Ах, дайте мне уснуть!» Когда она доходила до припева, до пожелания уснуть и видеть сладкие сны, ее веки опускались, а затуманенный взор терялся в черноте улицы. Едва она кончила, встал Пуассон; он поклонился, резко наклонив голову, и запел застольную песню «Вина Франции». Но он скрипел как немазаная телега, и лишь последний, патриотический куплет имел успех, да и то потому, что, прославляя трехцветное знамя, полицейский высоко поднял стакан, взмахнул им и опорожнил в свой широко открытый рот. Затем перешли к романсам. В баркароле г-жи Бош говорилось о Венеции и гондольерах, в болеро г-жи Лорийе — о Севилье и андалусках, а г-н Лорийе воспел любовь танцовщицы Фатьмы и даже отдал дань благовониям Аравии. Над засаленной скатертью, в воздухе, отяжелевшем от винных паров, раздвигались золотые горизонты, и объевшимся гостям чудились лилейные шейки, черные как смоль косы, поцелуи при луне, под звон гитар, пляшущие баядерки, усыпанные жемчугами и бриллиантами; мужчины блаженно посасывали трубки, а на губах у дам блуждали томные улыбки: всем казалось, что они витают где-то далеко-далеко и вдыхают чудесные ароматы. Клеманс с дрожью в голосе проворковала песенку «Свейте гнездышко», что доставило слушателям огромное удовольствие: все они вспомнили деревню, порхающих птиц, пляски под деревьями, цветы с медоносными венчиками,— словом, все то, что можно видеть в Венсенском лесу, когда отправляешься в пригородный ресторанчик, чтобы полакомиться жареным кроликом. Тут Виржини снова развеселила всех песенкой «Наливочка»; она лихо уперлась одной рукой в бок, а другой принялась крутить в воздухе — так и казалось, что перед вами маркитантка, разливающая водку. Компания вошла во вкус и стала умолять мамашу Купо спеть «Мышку». Та отказывалась, клялась всеми святыми, что не знает этой озорной песенки, но под конец все же затянула ее тонким надтреснутым голосом; подвижное морщинистое лицо и острые глазки старухи оживлялись, подчеркивая игривые намеки и страх юной Лизы, которая задирала юбки при виде мышонка. Весь стол грохотал; женщины не могли удержаться от смеха и поглядывали на соседей блестящими глазами. Впрочем, песенка была вполне приличная, без единого грубого слова. Но уж коли все го-

ворить начистоту, Бош щекотал икры угольщицы, перебирая пальцами, точно мышонок лапками. Это могло плохо кончиться, если бы в ответ на умоляющий взгляд Жервезы Гуже не запел басом «Прощание Абд-эль-Кадира» и в комнате не воцарилась почтительная тишина. Ну и голосина был у кузнеца! Он гремел как иерихонская труба, и, казалось, звуки лились прямо из его красивой русой бороды. Когда он завопил «О благородная подруга!», что относилось к вороной кобыле воина, все сердца затрепетали, и гром аплодисментов заглушил последние слова песни: уж больно здорово рявкнул Гуже.

— Теперь ваш черед, дедушка Брю! — сказала старуха Купо.— Спойте нам что-нибудь старинное. Прежние-то песни куда лучше нынешних.

Все обернулись к старику, начали уговаривать его, подбадривать. Но его дубленое лицо было все так же неподвижно, а глаза тупо смотрели по сторонам, словно он не понимал, чего от него хотят. Вот знает ли он, например, песенку «Пять гласных»? Но дедушка Брю понурился; нет, ничего он уже не помнит, все песни доброго старого времени перепутались у него в голове. Наконец беднягу оставили в покое, но тут он что-то вспомнил и прохрипел замогильным голосом:

Тру ля-ля, тру ля-ля,
Тру ля, тру ля, тру ля-ля!

Лицо старика повеселело,— должно быть, припев пробудил в нем воспоминания о далеком прошлом, и он один наслаждался этими воспоминаниями, с детской радостью прислушиваясь к звуку своего прерывающегося голоса:

Тру ля-ля, тру ля-ля,
Тру ля, тру ля, тру ля-ля!

— Знаете, милочка, что случилось? — вдруг прошептала Виржини на ухо Жервезе.— Я только что оттуда. Не могла усидеть на месте... Так вот, Лантье куда-то сбежал от Франсуа.

— А вы не встретили его на улице? — спросила прачка.

— Нет, я очень торопилась, мне и в голову не пришло смотреть по сторонам.

Но, подняв глаза, Виржини тихонько ахнула:

— Боже мой!.. Он здесь, на улице. Он смотрит сюда.

Перепуганная Жервеза искоса взглянула на дверь. Возле прачечной столпился народ, чтобы послушать песни. Мальчишки из бакалейной лавки, торговка потрохами, щупленький часовщик, казалось, пришли на представление. В толпе были штатские в сюртуках и военные; три девочки лет пяти-шести с серьезным видом держались за руки и восхищенно таращили глаза. В пер-

вом ряду действительно стоял Лантье и преспокойно слушал, уставившись на праздничный стол. Ну и нахал! Жервеза вся похолодела и не решалась пошевелиться. Между тем дедушка Брю продолжал тянуть:

Тру ля-ля, тру ля-ля,
Тру ля, тру ля, тру ля-ля!

— Ну ладно, старина, довольно! — сказал Купо.— Вы, верно, забыли песню. Ничего, споете в другой раз, когда нам захочется всплакнуть.

Послышались смешки. Голос старика пресекся, он обвел присутствующих тусклым взглядом и снова погрузился в тупое молчание. Когда выпили кофе, кровельщик велел принести еще вина. Клеманс опять принялась за клубнику. На некоторое время пение смолкло, посудачили о жилице из соседнего дома, которая этим утром повесилась. Теперь петь должна была г-жа Лера, но ей понадобились кое-какие приготовления. Она опустила кончик салфетки в стакан с водой и смочила себе виски, потому что ей было слишком жарко. Затем потребовала глоточек водки, выпила и долго вытирала губы.

— «Сиротку», да? — прошептала она.

И высокая, мужеподобная, носатая и плечистая, как гренадер, она запела:

Подкидышу, что матери не знает,
Господь всегда пристанище дает.
Господь отца сиротке заменяет
И от несчастий крошку бережет.

Голос г-жи Лера то дрожал, то жалобно замирал на высокой ноте, она закатывала глаза, вытягивала вперед правую руку и, растрогавшись, проникновенно прижимала ее к сердцу. Жервеза, взбудораженная появлением Лантье, не могла сдержать слез; ей показалось, что в песне говорится о ее страданиях, что она и есть та несчастная, покинутая сиротка, которую защитит только бог. Совершенно пьяная Клеманс вдруг разрыдалась; она уронила голову на стол и икала, прижимая к губам скомканную скатерть. Наступило напряженное молчание. Дамы вытащили носовые платки и утирали слезы, гордясь своей чувствительностью. Мужчины потупились и, часто мигая, смотрели в пол. У Пуассона перехватило дыхание, он так сильно стиснул зубы, что разгрыз кончик трубки и, выплюнув кусочки, машинально продолжал курить. Бош замер, положив руку на колено угольщицы; он вдруг застыдился чего-то, перестал ее щипать, и две крупные слезы скатились по его щекам. Нагрузившись, эти гуляки почувствовали, что они справедливы, как правосудие, и нежны, как ягнята. Словом, они совсем раскисли от вина. Когда г-жа Лера повторила припев еще

медленнее, еще жалобнее, чем прежде, они дали волю чувствам, захныкали, уткнувшись в тарелки, и принялись распускать кушаки, та́я от умиления.

Но Жервеза и Виржини невольно устремили взор на противоположную сторону улицы. Г-жа Бош в свою очередь заметила Лантье и вскрикнула от удивления, продолжая обливаться слезами. Тут все три женщины стали с беспокойством переглядываться, качая головой. Не дай бог, если Купо обернется и увидит Лантье! Вот будет потасовка! Вот смертоубийство! Они так пялили глаза, что кровельщик спросил:

— Что вы там увидели?

Он повернул голову и узнал Лантье.

— Нет, черт возьми, это уж слишком,— проворчал он.— Ну и скотина, ну и подлец... Нет, это слишком, дождешься у меня, погоди...

Видя, что Купо встает, бормоча страшные угрозы, Жервеза принялась тихонько уговаривать его:

— Послушай, умоляю тебя... Брось нож... Останься, не то наделаешь бед.

Виржини отняла у кровельщика нож, который тот взял со стола. Но у нее не хватило сил удержать Купо, и он ринулся к Лантье. Гости, взволнованные пением, ничего не видели и рыдали все громче, между тем как г-жа Лера продолжала с неподражаемым чувством:

Печален был удел сиротки:
Лишь ветер слышал голос кроткий,
Спешил деревьям рассказать...

Последние слова пронеслись над собравшимися как унылое завывание бури. Г-жа Пютуа, пившая в эту минуту вино, так расчувствовалась, что выронила стакан, и вино пролилось на скатерть. А Жервеза, похолодев от ужаса, прижала руку к губам, чтобы не закричать, и широко открытыми глазами смотрела на обоих мужчин, ожидая, что один из них замертво рухнет посреди улицы. Виржини и г-жа Бош следили за этой сценой с жадным любопытством. На свежем воздухе Купо сразу развезло, и он чуть было не свалился в канаву, когда попробовал замахнуться на противника. Лантье спокойно посторонился, даже рук не вынул из карманов. Теперь оба ругались на чем свет стоит, особенно хорохорился кровельщик, он обзывал Лантье грязной свиньей и грозил выпустить ему кишки. Слышны были яростные вопли, сопровождаемые такими гневными жестами, словно враги собирались перегрызть друг другу глотку. Жервеза, сама не своя, зажмурилась от страха; все это тянулось слишком долго, ей казалось, что мужчины вот-вот сцепятся, как собаки: уж больно неистово они бранились. За-

тем, ничего больше не слыша, она открыла глаза и обомлела: Купо и Лантье стояли и беседовали как ни в чем не бывало.

Голос г-жи Лера дрожал и прерывался, когда она приступила к последнему куплету:

И полумёртвым подобрали
Наутро бедное дитя...

— Бывают же на свете такие негодяйки! — проговорила г-жа Лорийе, и все окружающие поддержали ее.

Жервеза переглянулась с г-жой Бош и Виржини. Неужели все уладилось? Купо и Лантье продолжали разговаривать, стоя на тротуаре. Они перебранивались, но уже вполне дружелюбно. Они называли друг друга «сукин сын», однако почти ласково. Заметив, что на них смотрят, они стали медленно прогуливаться взад и вперед по улице. Между ними, очевидно, завязался горячий спор. Вдруг Купо снова рассердился: по-видимому, Лантье отказывался от приглашения, заставлял себя просить. В конце концов кровельщик подтолкнул его и чуть не силком втащил в прачечную.

— Говорю же вам, это от чистого сердца! — кричал он.— Выпейте стаканчик... Мы же мужчины, ведь так? Мы-то всегда столкуемся между собой...

Госпожа Лера в последний раз повторила припев. Дамы подхватили хором, комкая в руках носовые платки:

Господь отца сиротке заменяет...

Певицу захвалили вконец, и она уселась на свое место, притворяясь совершенно разбитой. Г-жа Лера попросила налить ей чего-нибудь: она вкладывает столько чувства в эту песню, что боится, как бы у нее не порвался какой-нибудь нерв. Однако все взоры были прикованы к Лантье, который мирно сидел рядом с Купо и уплетал последний кусок торта, макая его в вино. Никто, кроме Виржини и г-жи Бош, не знал нового гостя. Супруги Лорийе чуяли что-то неладное, но ничего толком не понимали и на всякий случай приняли обиженный вид. Гуже, заметивший смятение Жервезы, искоса посматривал на незнакомца. Среди неловкого молчания Купо сказал просто:

— Это мой друг.— И прибавил, обращаясь к жене: — А ну, пошевеливайся!.. Налей ему горячего кофейку.

Жервеза смотрела то на одного, то на другого кротко и недоуменно. Сперва, когда муж втолкнул в комнату ее бывшего любовника, она схватилась за голову, точно во время грозы, при сильном ударе грома. Ей казалось это невозможным: сейчас рухнут стены и раздавят всех присутствующих. Затем, когда мужчины сели рядом, а кисейные занавески и те не шелохнулись, Жервеза вдруг нашла все это вполне естественным. От гуся ей

было не по себе: должно быть, она немного объелась, и это мешало ей соображать. Ею овладела блаженная истома, она сидела, облокотясь на стол, и хотела только одного — чтобы ее оставили в покое. Бог ты мой, зачем портить себе кровь, когда другие и ухом не ведут, да и неприятности улаживаются сами собой, ко всеобщему удовольствию. Она пошла посмотреть, не остался ли еще кофе.

В задней комнате дети присмирели. Косоглазая Огюстина пугала их всякими ужасами, а сама потихоньку таскала у них клубнику. Теперь ее тошнило, она побелела как мел и сидела молча, скорчившись на скамеечке. Толстая Полина задремала на плече у Этьена, который спал крепким сном, уронив голову на стол. Нана примостилась на коврике возле кровати, крепко обхватив Виктора за шею, и повторяла сквозь сон жалобным голосом:

— Ой, мама, больно... Ой, мама, больно...

— Еще бы! — прошептала Огюстина, голова которой бессильно опустилась на грудь.

Все ребята налакались, да и орали они не хуже взрослых.

При виде Этьена Жервезу что-то кольнуло в сердце. Комок подступил к горлу, когда она подумала, что отец ребенка сидит в соседней комнате, спокойно ест торт и даже не подумал поцеловать сынишку. Она готова была разбудить Этьена и на руках принести его к отцу. Но потом решила, что все сложилось к лучшему. Право же, нехорошо беспокоить гостей, да еще под конец обеда. Она вернулась с кофейником и налила стакан кофе Лантье, который, казалось, не обращал на нее никакого внимания.

— Ну, теперь моя очередь,— пробормотал Купо заплетающимся языком.— Каково? Меня оставили на закуску... Ладно, спою вам «Экая свинья!».

— Да, да, просим! «Экая свинья!» — закричали все.

Вновь поднялся гвалт, Лантье был забыт. Дамы приготовили ножи и стаканы, чтобы стучать в такт припева. Все заранее смеялись, глядя на кровельщика, который стоял, молодцевато подбоченясь. Он запел хриплым старушечьим голосом:

От похмелья изнывая,
  Утром в кабачок
Я внучонка посылаю:
  — Сбегай-ка, дружок!
Битый час прождав скотину,
  Что же вижу я?
Шкалик пуст наполовину —
  Экая свинья!

И дамы подхватили припев, стуча ножами среди громких раскатов смеха:

Шкалик пуст наполовину —
  Экая свинья!

Теперь уж пела вся улица Гут-д'Ор. Весь квартал горланил «Экая свинья!». Напротив прачечной столпились мальчишки из бакалейной лавки, щупленький часовщик, торговка потрохами и зеленщица; все знали эту песню и, дойдя до припева, шутки ради подталкивали друг друга в бок. Право же, вся улица была пьяна, прохожие на тротуаре шатались только от того, что вдыхали спиртные пары, вырывавшиеся из прачечной. Там, надо сознаться, здорово накачались. После первого стаканчика, выпитого за супом, компания хмелела все больше и больше. Теперь она совсем распоясалась и, чуть не лопаясь от жратвы и питья, оглушительно горланила в мутно-рыжем свете двух коптящих ламп. Раскаты этого неистового веселья покрывали грохот запоздалых экипажей. Прибежали двое полицейских, решивших, что в городе начались беспорядки, но, заметив Пуассона, с понимающим видом кивнули ему и медленно удалились, шагая бок о бок вдоль черных домов.

А Купо перешел к новому куплету:

Мы у дядюшки Тинета,
  У золотаря,
В праздник возле Птит-Вийе́та
  Были, и не зря;
Ищет косточек вишневых
  В бочке,— вижу я,—
Не щадя штанишек новых,
  Внучек мой — свинья!

Тут едва не рухнули стены — такой рев раздался в теплой ночной тишине, к тому же эти горлодеры сами себе захлопали — вопить громче было уже невозможно.

Никто из собутыльников не мог потом точно припомнить, чем кончилась пирушка: разошлись, должно быть, очень поздно, на улице уже не было ни души — вот все, что у них осталось в памяти. Кажется, взявшись за руки, еще плясали вокруг стола. Воспоминание об этом терялось в желтом тумане, из которого выплывали красные рожи с ухмылкой до ушей. Под конец выпили подогретого вина, но какой-то шутник, видно, подсыпал соли в стаканы. Дети, вероятно, разделись и легли сами. Наутро г-жа Бош хвастала, будто закатила две здоровенные оплеухи мужу, застав его с угольщицей в укромном уголке. Однако Бош ничего не помнил и божился, что это враки. Зато все в один голос уверяли, будто Клеманс вела себя непристойно,— эту девку решительно нельзя приглашать в дом: она выставила напоказ все свои прелести, а под конец ее вырвало прямо на кисейные занавески. Мужчины, те хоть выходили на улицу. Лорийе и Пуассон, чувствуя, что их мутит, мигом сбегали облегчиться у колбасной лавки. Воспитанного человека всегда узнаешь: например, когда г-же Пютуа, г-же Лера и Виржини стало дурно, они попросту вышли

в соседнюю комнату и сняли корсеты, а Виржини даже прилегла на минутку, чтобы предупредить неприятные последствия. Затем компания понемногу растаяла, гости исчезли один за другим, кто-то кого-то провожал, и все тонули в густом мраке улицы, а вслед за ними летели последние отголоски пьяной гульбы: шум яростной ссоры четы Лорийе, назойливое, зловещее «тру ля-ля, тру ля-ля» дедушки Брю. Жервезе показалось, что перед тем как уйти, Гуже разрыдался, Купо пел, не закрывая рта, Лантье же, видно, оставался до самого конца; она до сих пор чувствовала на своих волосах чье-то горячее дыхание, но не могла сказать, было ли это дыхание Лантье или порыв теплого ночного ветерка.

Госпожа Лера боялась возвращаться ночью в Батиньоль — пришлось снять с кровати тюфяк, отодвинуть стол и устроить ей постель в прачечной на полу. Там она и заснула среди объедков именинного обеда. И всю ночь напролет, пока охмелевшие Купо спали беспробудным сном, соседская кошка, забравшись в комнату через открытое окно, хрустела гусиными косточками, расправляясь с остатками птицы своими мелкими острыми зубами.

VIII

В субботу на следующей неделе Купо не явился домой к обеду, вернулся он только часов в десять вечера, да и то не один, а вместе с Лантье. Оказывается, они ели вместе бараньи ножки у Тома́ на Монмартре.

— Не бранись, хозяйка,— сказал кровельщик.— Видишь, мы в полном порядке... Да, с ним не загуляешь, он мигом тебя одернет.

И Купо рассказал, что они случайно встретились на улице Рошешуар. А после обеда Лантье отказался от выпивки в кафе «Черный шарик»: уж коли у приятеля такая славная, порядочная жена, заявил он, ему не пристало шляться по кабакам. Жервеза слушала мужа, принужденно улыбаясь. Да нет же, она и не думала браниться, она была слишком смущена. После пирушки она все ждала, что опять увидит своего бывшего любовника; но в такой поздний час, когда она уже собиралась ложиться, нежданный приход обоих мужчин застал ее врасплох, и Жервеза дрожащими руками подбирала рассыпавшиеся волосы.

— Ну вот что,— продолжал Купо,— раз он посовестился выпить со мной в кафе, тебе придется поднести нам по рюмочке... Ей-богу!

Работницы давно ушли. Мамаша Купо и Нана только что легла спать. Жервеза уже запирала ставни прачечной, но, увидев обоих мужчин, бросила все как есть и поставила на стол стакан-

чики и початую бутылку коньяка. Лантье даже не присел и, разговаривая, избегал прямо обращаться к Жервезе. Однако, когда она наливала ему коньяка, он воскликнул:

— Только одну каплю, сударыня, прошу вас!

Купо поглядел на них и решил объясниться начистоту. С чего это они дуются друг на друга как индюки? Что прошло, то и поминать грешно, разве не так? Если по десять лет помнить старые обиды, то расплюешься, пожалуй, с целым светом. Нет, сам он не таков, у него душа нараспашку. Главное, он знает, с кем имеет дело — с хорошей женщиной и с хорошим парнем,— словом, с друзьями. И он спокоен: такие не подведут.

— Ну, понятно, понятно...— повторяла Жервеза, потупившись и сама не зная, что говорит.

— Она для меня теперь все равно что сестра, только сестра! — в свою очередь пробормотал Лантье.

— Так подайте же друг другу руки, чтоб вам пусто было! — вскричал Купо.— И плевать нам на сплетни! Когда у человека есть башка на плечах, он смыслит в жизни побольше любого миллионера. Главное дело — дружба, потому что дружба — это дружба, и лучше ее ничего не может быть.

Он с такой силой бил себя в грудь и так расчувствовался, что пришлось его успокаивать. Все трое чокнулись и выпили по стаканчику. Жервеза могла теперь хорошенько разглядеть Лантье: в день пирушки она видела его как бы в тумане. Он располнел, отрастил себе брюшко, руки и ноги налились жиром и были толсты не по росту. Но черты лица оставались красивыми, хотя и обрюзгли от праздной жизни; он по-прежнему следил за собой, холил свои тонкие усики и потому казался не старше своих тридцати пяти лет. На нем были серые брюки, темно-синее пальто и круглая шляпа; он даже носил часы с серебряной цепочкой, на которой болталось колечко,— видно, чей-то подарок.

— Ну, мне пора,— сказал он,— ведь я живу у черта на куличках.

Он уже вышел на улицу, когда кровельщик окликнул его и взял обещание запросто приходить к ним на огонек. Между тем Жервеза незаметно вышла из комнаты и тут же вернулась, толкая перед собой заспанного Этьена в одной рубашке. Мальчик улыбался и тер глаза. Но, заметив Лантье, он растерянно остановился и, дрожа всем телом, стал тревожно поглядывать на мать и на Купо.

— Узнаешь, кто это? — спросил Купо.

Мальчик молча опустил голову. Потом несмело кивнул, как бы говоря, что узнает гостя.

— Так не валяй дурака и поцелуй его!

Лантье ждал со спокойным достоинством. Когда же Этьен осмелился подойти, он нагнулся, подставил мальчику сперва одну

щеку, потом другую и наконец сам громко чмокнул его в лоб. Тут только Этьен робко взглянул на отца, но неожиданно разрыдался и в полном смятении вылетел из комнаты, а Купо выругал его вслед, обозвав дикарем.

— Это он от смущения,— сказала Жервеза, тоже бледная и взволнованная.

— А вообще-то он смирный, послушный мальчик,— говорил Купо.— Я воспитал его в строгости, вот увидите... Он привяжется к вам. Пора ему привыкать к людям... Хотя бы ради мальчугана мы не можем оставаться в ссоре, ведь правда? Словом, нам давно пора помириться. Я скорее дам отрубить себе голову, чем помешаю отцу видеться с сыном.

И по этому случаю он предложил допить бутылку коньяка. Снова чокнулись. Лантье ничему не удивлялся и держал себя с завидным спокойствием. Перед уходом, желая отплатить кровельщику за любезность, он помог ему запереть ставни прачечной. Потом, похлопав рука об руку, чтобы стряхнуть пыль, он простился с супругами.

— Покойной ночи. Может, я еще захвачу омнибус... На днях непременно побываю у вас.

С этого вечера Лантье стал частенько наведываться в прачечную на улице Гут-д'Ор. Он являлся, когда кровельщик был дома, и еще с порога спрашивал о нем, давая понять, что заглянул исключительно ради него. Всегда чисто выбритый и гладко причесанный, он садился спиной к витрине, не снимая пальто, и заводил вежливый разговор, как оно и подобает человеку благовоспитанному. Мало-помалу супруги Купо узнали кое-какие подробности о его жизни. За прошедшие восемь лет Лантье был одно время даже совладельцем шляпной мастерской, а на вопрос, почему он отказался от дела, намекал на подлость компаньона, своего земляка: этот гнусный тип промотал с женщинами все деньги, вложенные в предприятие. Но то, что Лантье был в прошлом хозяином, придавало ему вес даже в собственных глазах. Он без устали повторял, что должен стать пайщиком крупной шляпной фирмы, а это сулит в будущем немалые доходы. Пока что он бездельничал и, засунув руки в карманы, гулял по солнышку, как заправский буржуа. Случалось, он жаловался на свою жизнь, но когда ему говорили, что на какой-нибудь фабрике требуются рабочие, он только презрительно усмехался: ей-богу, ему неохота подыхать с голоду, выбиваясь из сил ради того, чтобы другие богатели. И все же парень питается не одним воздухом, говорил Купо. О, этот ловкач умеет устраиваться, он наверняка нашел прибыльное занятие; по всему видно, что живется ему недурно: ведь надо много денег, чтобы носить крахмальные рубашки и нарядные галстуки, в которых щеголяют папенькины сынки. Однажды утром кровельщик

видел, как Лантье наводил глянец на ботинки у чистильщика на бульваре Монмартр. По правде сказать, Лантье, любивший поболтать о других, отмалчивался или просто врал, когда речь заходила о нем самом. Он даже не хотел давать своего адреса. Нет-нет, он живет за тридевять земель, у приятеля, временно, конечно, пока не получит хорошего места; и он не велел знакомым приходить к нему: все равно его никогда не застанешь.

— На десяток мест едва ли найдется одно стоящее! — говаривал он частенько.— А наниматься на один день, право, не стоит... Вот я, например, поступил в понедельник к Шампиону в Монруже. В тот же вечер Шампион привязался ко мне с разговорами о политике. Мы не сошлись во взглядах. Ну, а во вторник утром я дал тягу: рабов, слава богу, теперь нет, и я не желаю продаваться за семь франков в день.

Было начало ноября. Лантье приходил в прачечную с фиалками, которые любезно дарил Жервезе и двум работницам. Он появлялся все чаще и чаще и вскоре стал бывать чуть ли не ежедневно. Казалось, он хотел завоевать любовь всего дома, всей улицы и начал с того, что совершенно пленил Клеманс и г-жу Пютуа, обхаживал их с одинаковым усердием, несмотря на разницу в возрасте обеих дам. Не прошло и месяца, как работницы были от него без ума. Супруги Бош, которым очень льстило, что он неизменно заходит в привратницкую, чтобы поздороваться с ними, до небес превозносили его вежливое обхождение. Как только Лорийе узнали, кто был тот господин, который пришел под конец именинного обеда, они стали обливать Жервезу грязью за то, что она осмелилась пригласить к себе в дом бывшего любовника. Но однажды Лантье зашел к ним, чтобы заказать цепочку для своей знакомой, и так им понравился, что они усадили его и не отпускали от себя целый час, завороженные его речами; они даже недоумевали, как мог такой приличный господин жить с Хромушей. В конце концов все примирились с постоянными визитами шляпника на улицу Гут-д'Ор, как с чем-то вполне естественным, настолько сумел он расположить к себе соседей. Один Гуже недолюбливал его по-прежнему. И стоило им встретиться в прачечной, кузнец тотчас же уходил, не желая знакомиться с этим типом.

Несмотря на повальное увлечение шляпником, Жервеза была охвачена глубокой тревогой. Ее бросало то в жар, то в холод, как при первом задушевном разговоре с Виржини. Она с ужасом чувствовала, что у нее не хватит сил оттолкнуть Лантье, если он застанет ее вечерком одну и попытается поцеловать. Она слишком много думала о нем, слишком была полна им. Но понемногу она успокоилась, видя, как прилично ведет себя Лантье: он никогда не смотрел ей прямо в лицо, никогда и пальцем к ней не прика-

сался даже за спиной у других. Кроме того, Виржини, которая, казалось, читала в душе у приятельницы, стыдила ее за дурные мысли. Ну, чего она боится? Более обходительного человека днем с огнем не сыщешь. Право, ей нечего опасаться. И дылда Виржини так ловко повела игру, что однажды вечером, заведя разговор о чувствах, оставила подругу вдвоем с Лантье. Шляпник сказал проникновенно, тщательно подбирая слова, что сердце его умерло и что отныне он посвящает всего себя заботе о счастье сына. Он никогда не заговаривал о Клоде, который по-прежнему жил на юге. Этьена он каждый вечер целовал в лоб, но, если мальчик торчал в комнате, не знал, что ему сказать, и тут же забывал о нем, любезничая с Клеманс. И успокоенная Жервеза почувствовала, что прошлое в ней отмирает. В присутствии Лантье бледнели воспоминания о Плассане и гостинице «Добро пожаловать». Она так часто встречалась со своим прежним любовником, что перестала мечтать о нем. Ей даже противно было подумать об их былых отношениях. Да, с этим покончено, покончено навсегда. Если он посмеет приставать к ней, она даст ему пощечину или пожалуется мужу... И она снова с глубокой нежностью думала о преданной дружбе Гуже, и угрызения совести уже не мучили ее.

Придя однажды утром в прачечную, Клеманс рассказала, что накануне, часов в одиннадцать, встретила Лантье под руку с какой-то женщиной. Она говорила об этом в непристойных выражениях и с тайным злорадством, заранее предвкушая, какую гримасу скорчит хозяйка. Да, Лантье поднимался по улице Нотр-Дам де Лорет; сразу было видно, что его белобрысая девка — заезженная бульварная кляча, из тех, у которых на брюхе шелк, а в брюхе щелк. Смеха ради Клеманс пошла за ними. Девка забежала в колбасную и купила там креветок и ветчины. На улице Ларошфуко красотка вошла в подъезд, а Лантье остался стоять на тротуаре; задрав голову, он ждал, чтобы она поманила его из окошка. Но как ни старалась Клеманс, сдабривая свой рассказ всякими сальностями, Жервеза спокойно продолжала гладить белое платье. Порой на ее губах мелькала снисходительная усмешка. Уж эти провансальцы, вечно липнут к бабам, говорила она, им подавай какую ни на есть, хоть самую захудалую. И вечером, когда пришел Лантье, она от души смеялась над словами Клеманс, которая дразнила шляпника его блондиночкой. Впрочем, он был как будто польщен, что их видели вместе. Бог ты мой! Да, это его старинная приятельница, он время от времени встречается с ней, когда подвернется подходящий случай. Шикарная женщина, а какая у нее обстановка — сплошь из палисандрового дерева! И он перечислял ее бывших любовников: какой-то виконт, крупный торговец фаянсом, сын нотариуса. Что до него, он обожает, когда от женщины пахнет духами. Он как раз совал под нос Кле-

манс свой платок, надушенный подружкой, когда в комнату вошел Этьен. Лантье сразу принял степенный вид, поцеловал мальчика и сказал, что шутки шутками, а сердце его давно умерло. Жервеза, склонившись над работой, одобрительно кивнула головой. В конце концов злобная выходка Клеманс обернулась против нее же самой, потому что Лантье успел разок-другой ущипнуть ее втихомолку, и она лопалась от зависти к этой белобрысой девке, которая может душиться мускусом.

Когда наступила весна, Лантье, ставший у Купо своим человеком, заговорил о том, чтобы перебраться поближе к друзьям. Он хотел снять комнату с обстановкой в приличном доме. Г-жа Бош и сама Жервеза обе́гали весь квартал, отыскивая для него что-нибудь подходящее. Но Лантье оказался чересчур разборчивым, он требовал, чтобы при доме был большой двор, чтобы комната помещалась в первом этаже,— словом, ему нужны были всевозможные удобства. И теперь, бывая по вечерам у Купо, он, казалось, определял на глаз высоту потолков, изучал расположение комнат, с завистью посматривая на их квартирку. Да, лучшего ему и не надо, он охотно обосновался бы в этом спокойном и уютном уголке. И всякий раз он заканчивал свой осмотр одной и той же фразой:

— Ничего не скажешь, вы чертовски хорошо устроились!

Как-то вечером, после ужина у Купо, он вновь повторил эту фразу. Тогда кровельщик, перешедший с ним на «ты», неожиданно воскликнул:

— Ну, коли на то пошло, оставайся здесь, старина... Устроимся как-нибудь...

И он пояснил, что можно освободить чулан, отведенный под грязное белье, и из него выйдет прекрасная комната. А Этьен может спать в прачечной: на ночь ему будут класть на пол тюфяк, только и всего.

— Нет, нет,— возразил Лантье,— я ни за что не соглашусь. Я слишком вас стесню. Знаю, вы предлагаете это от чистого сердца, но нам будет чересчур тесно всем в куче... И потом, знаете ли, у каждого из нас своя жизнь. Мне придется проходить через вашу спальню, а это не совсем удобно.

— Ну и шутник! — вскричал кровельщик; он давился от смеха и, откашливаясь, барабанил кулаками по столу.— У него вечно одни глупости на уме!.. Надо только пораскинуть мозгами, дурья голова. В комнате-то два окна, верно? Мы пробьем одно до полу и сделаем из него дверь. Понимаешь? Вход к тебе будет прямо со двора. Если уж на то пошло, внутреннюю дверь можно заделать. Ты сам по себе, мы сами по себе, все шито-крыто.

Наступило молчание. Наконец Лантье пробормотал:

— Ну, если так, то пожалуй... Впрочем, нет, я вас слишком стесню.

Он избегал смотреть на Жервезу, но, видимо, ждал, чтобы она сама его пригласила. Выдумка мужа очень раздосадовала ее; не то чтобы мысль о жизни под одной крышей с Лантье оскорбляла или беспокоила Жервезу,— нет, она попросту не знала, куда девать грязное белье. Между тем кровельщик настаивал на выгодах этой сделки. Платить пятьсот франков за квартиру всегда было трудновато. Так вот, Лантье станет давать ежемесячно двадцать франков за комнату с обстановкой, для него это недорого, а им очень поможет при расчете с домохозяином. И Купо обещал устроить под супружеской кроватью большой ящик, куда влезет грязное белье хоть со всей улицы... Жервеза колебалась, вопросительно посматривая на мамашу Купо, сердце которой Лантье уже давно покорил, потчуя старушку леденцами от кашля.

— Понятно, вы нас не стесните,— сказала наконец Жервеза.— Ничего, как-нибудь устроимся...

— Нет, нет, спасибо,— повторял Лантье.— Вы слишком любезны, это было бы просто нахальством с моей стороны.

Но тут Купо рассердился. Долго он еще будет кочевряжиться? Говорят же ему, что это от души! Он окажет им услугу, ясно? И кровельщик гаркнул:

— Этьен! Этьен!

Мальчик дремал, облокотясь на стол. Он испуганно поднял голову.

— Послушай, скажи ему, что ты этого хочешь... Да, да, вот этому господину... Ну скажи громко: «Я хочу!»

— Я хочу,— пролепетал Этьен сонным голосом.

Все засмеялись. Тут Лантье снова принял степенный вид. Он перегнулся через стол и, пожимая руку Купо, проникновенно сказал:

— Я согласен... раз дело идет о дружеской услуге с обеих сторон. Соглашаюсь ради ребенка.

На другой день, как только домовладелец Мареско зашел к Бошам в привратницкую, Жервеза заговорила с ним о переделках в прачечной. Сначала он забеспокоился, рассердился и отказал, словно его просили снести целое крыло дома. Затем, после тщательного осмотра квартиры, когда Мареско, подняв голову, убедился, что верхние этажи от этого не пострадают, он дал разрешение, но при условии, что не будет нести никаких расходов; и супругам Купо пришлось подписать бумагу, в которой обязались по истечении срока найма оставить квартиру в прежнем виде. В тот же день кровельщик привел с собой товарищей — каменщика, плотника и маляра, обещавших обтяпать это дело вечерком, сразу же после работы: надо же удружить приятелю. Новая

дверь и ремонт комнаты обошлись, однако, франков в сто, не считая вина, которым вспрыснули начало работы. Купо сказал товарищам, что рассчитается с ними немного погодя, как только получит деньги от своего квартиранта. Затем речь зашла об обстановке. Жервеза оставила в комнате шкаф мамаши Купо да принесла еще из своей спальни стол и два стула: и все же ей пришлось купить тумбочку и кровать со всеми постельными принадлежностями — это обошлось в сто тридцать франков с рассрочкой до десяти франков в месяц: если первое время квартирная плата Лантье и будет уходить на погашение долга, то потом они получат немалый доход.

Переезд Лантье состоялся в начале июня. Накануне Купо предложил приятелю вместе сходить за его сундуком, чтобы сэкономить тридцать су на извозчике. Но тот смутился и сказал, что сундук у него слишком тяжелый; казалось, он до последней минуты хочет скрыть, где живет. Лантье явился днем, часа в три. Купо не было дома. Жервеза, стоявшая на пороге прачечной, побледнела, узнав знакомый сундук. Да, это был их старый сундук, тот самый, с которым они приехали из Плассана в Париж, но только ободранный, поломанный, стянутый веревками. И вот теперь сундук вернулся обратно, как она это часто видела во сне; быть может, его даже привез тот самый фиакр, на котором укатила когда-то с Лантье эта шлюха полировщица. Между тем Бош помог Лантье внести багаж. Взволнованная Жервеза молча последовала за ними. Когда мужчины поставили сундук посреди комнаты, она сказала, чтобы скрыть замешательство:

— Ну вот и делу конец!

Затем, видя, что Лантье возится с сундуком и не обращает на нее никакого внимания, она справилась с собой и спросила:

— Не выпьете ли винца, господин Бош?

И молодая женщина принесла бутылку со стаканами. Как раз в эту минуту по тротуару в полной форме проходил Пуассон. Она кивнула ему с улыбкой, прищурив глаза. Полицейский понял, в чем дело. Когда он находился при исполнении служебных обязанностей и кто-нибудь из жителей квартала подмигивал ему, это значило, что его приглашают промочить горло. И он часами прогуливался перед прачечной, ожидая, не подаст ли Жервеза условного знака. Затем он пробирался с черного хода и опрокидывал стаканчик, но так, чтобы с улицы этого никто не видел.

— А, это вы, Баденге! [1] — приветствовал его шляпник.

Он прозвал полицейского Баденге в насмешку над импера-

---

[1] Баденге — презрительное прозвище императора Наполеона III. *(Примеч. ред.)*

тором. Пуассон принимал это шутливое прозвище со своим обычным непроницаемым видом, и даже нельзя было понять, обижен он в глубине души или польщен. Впрочем, Лантье и Пуассон были добрыми приятелями, несмотря на различие политических убеждений.

— А вы знаете, что император служил в Лондоне полицейским?— спросил в свою очередь Бош.— И подбирал пьяных баб на улице, честное слово!

Жервеза тем временем наполнила три стакана. Сама она не хотела пить: сердце у нее было не на месте. Но она не уходила, наблюдая, как Лантье развязывает последний узел,— она сгорала от желания узнать, что у него там, в сундуке. Ей вспоминалось, что с краю должна лежать куча носков, две грязные рубашки и старая шляпа. Неужели она вновь увидит знакомые вещи — эти отрепья прошлого? Прежде чем открыть сундук, Лантье поднял стакан и чокнулся:

— За ваше здоровье!

— За ваше,— разом ответили Бош и Пуассон.

Прачка снова наполнила стаканы. Мужчины вытерли губы рукой. Наконец Лантье открыл сундук. В нем были напиханы вперемешку газеты, книги, поношенная одежда, небрежно скомканное белье. Лантье принялся вытаскивать вещи: кастрюлю, пару ботинок, бюст Ледрю-Роллена с отбитым носом, вышитую рубашку, рабочие штаны. Склонившись над сундуком, Жервеза чувствовала, что от всех этих вещей несет табаком, запахом нечистоплотного мужчины, который заботится только о внешнем лоске. Нет, старой шляпы в левом углу уже не было. Там лежала незнакомая ей подушечка для булавок, очевидно, подарок какой-нибудь женщины. Тогда Жервеза успокоилась; она вглядывалась в предметы, которые он вынимал один за другим, и с легкой грустью старалась припомнить, были ли они еще при ней или появились при других женщинах.

— А что вы на это скажете, Баденге? — спросил шляпник.

И он сунул под нос Пуассону изданную в Брюсселе книжонку с гравюрами: «Любовные похождения Наполеона III». Среди прочих игривых историй там рассказывалось, как император соблазнил тринадцатилетнюю дочку повара; на картинке был изображен Наполеон III с голыми икрами и с лентой Почетного легиона вместо всякой одежды; он преследовал девочку, пытавшуюся ускользнуть от его похотливых объятий.

— Вот это ловко! — воскликнул Бош, пяля глаза на картинку, которая тешила его тайное сластолюбие.— Так-то оно и случается!

Пуассон был потрясен, уничтожен; он не находил ни слова в защиту императора. Раз уж написано в книге, значит, все пра-

вильно. И так как насмешник Лантье продолжал совать ему под нос картинку, он крикнул, разводя руками:

— Что ж тут такого? Мало ли что в жизни бывает!

Лантье ничего не нашелся ответить и молча стал раскладывать в шкафу книги и газеты; он казался крайне раздосадованным, что над столом нет книжной полки, и Жервеза обещала достать ему полочку. Лантье привез кое-какие книги: «Историю десятилетия» Луи Блана — без первого тома, которого, впрочем, и раньше у него не было,— «Жирондистов» Ламартина, выпусками по два су, «Парижские тайны» и «Вечного Жида» Эжена Сю, и еще массу философских и политических брошюрок, случайно купленных у торговцев всяким хламом. Но особенно дорожил Лантье своей коллекцией газет и смотрел на нее с любовью и почтением. Он собирал ее в течение многих лет. Когда ему случалось прочитать в кафе какую-нибудь занозистую статью, соответствовавшую его взглядам, он покупал и сохранял газету, в которой она была напечатана. Таким образом, у него накопилось множество самых разнообразных газет, которые были свалены в кучу без всякой системы. Вытащив газеты из глубины сундука, он ласково похлопал по ним рукой и сказал приятелям:

— Вот поглядите! Никто, кроме меня, не может похвалиться такой знатной затеей. Вы и представить себе не можете, сколько здесь всего понаписано! Если бы провести в жизнь хоть половину этих идей, общество сразу очистилось бы от всякой скверны. Да, ваш император кубарем слетел бы с трона вместе со своими прихлебателями...

Но тут его прервал полицейский, рыжие усы и эспаньолка которого взъерошились на землистом лице:

— Ну, а как с армией? Что вы с ней намерены делать?

Лантье вскипел, он стал кричать, стуча кулаком по пачке газет:

— Я требую уничтожения милитаризма, я стою за братство народов!.. Я требую отмены привилегий, титулов, монополий!.. Я требую справедливой платы за труд, участия в прибылях, торжества пролетариата!.. И всех свобод, слышите? Всех без исключения!.. А также права на развод!

— Да, да, и права на развод для поддержания нравственности,— поддакнул Бош.

Пуассон принял величественный вид. Он возразил:

— А если я не желаю ваших свобод? Свободен я в этом или нет?

— Не желаете... не желаете...— бормотал Лантье, задыхаясь от ярости.— Нет, вы не свободны! Если вы не желаете свобод, вам место в Кайенне, да, в Кайенне, вместе с вашим императором и всей его грязной шайкой.

Так они спорили с пеной у рта при каждой встрече. Жервеза, не любившая ссор, старалась утихомирить мужчин. Отогнав воспоминания о своей поруганной любви, которые пробудились в ней при виде старого сундука, она встрепенулась и указала трем приятелям на стаканы.

— Что правда, то правда,— проговорил Лантье, внезапно успокоившись, и взял свой стакан.— За ваше здоровье!

— За ваше! — ответили Бош и Пуассон, чокаясь с ним.

Между тем Бош ерзал на стуле и с беспокойством поглядывал на полицейского.

— Надеюсь, все это между нами, господин Пуассон? — спросил он наконец.— Мало ли что говорится в своей компании...

Но Пуассон не дал ему докончить. Он приложил руку к груди, как бы обещая, что все будет похоронено у него в сердце. Не станет же он доносить на друзей! Слыханное ли это дело! Пришел Купо, и они распили еще одну бутылочку. Затем полицейский, крадучись, вышел через черный ход и вновь зашагал по тротуару, четко отмеряя шаг, все такой же суровый, невозмутимый.

Первое время в семействе Купо все шло шиворот-навыворот. У Лантье, правда, была своя комната, отдельный вход и собственный ключ, но в последнюю минуту решили не заделывать двери между смежными комнатами, и обычно он проходил через прачечную. Груды грязного белья очень мешали Жервезе: Купо и думать забыл об обещанном ящике; ей приходилось прятать белье где попало, рассовывать его по углам и чаще всего держать под кроватью, что было не так уж приятно в жаркие летние ночи. Наконец, ей очень надоедало укладывать каждый вечер Этьена посреди прачечной; если работницы задерживались, мальчик засыпал, сидя на стуле. И когда Гуже предложил отправить Этьена в Лилль к знакомому слесарю, своему бывшему хозяину, который как раз набирал учеников, Жервеза охотно согласилась, тем более что мальчик сам хотел уехать: дома ему жилось несладко, и он мечтал вырваться на свободу. Однако она боялась, что Лантье решительно воспротивится этому. Ведь он поселился у них в доме лишь для того, чтобы быть поближе к сыну, и вряд ли захочет расстаться с ним через две недели после переезда. Но когда она робко заикнулась об этом проекте, Лантье горячо одобрил его, говоря, что всякому молодому рабочему полезно повидать свет. В день отъезда Этьена он произнес целую речь о его правах, затем, поцеловав сына, сказал назидательно:

— Запомни, производитель — не раб, а тот, кто ничего не производит,— попросту трутень.

Все снова вошло в колею, утряслось, затихло, и в доме установились новые порядки. Жервеза примирилась с тем, что повсюду валяется грязное белье, что Лантье уходит и приходит, когда

ему вздумается. Он по-прежнему говорил, будто у него наклевывается великолепное дельце; порой он исчезал, тщательно причесанный, в крахмальной сорочке, долго не возвращался, даже не ночевал дома, затем приходил, притворяясь измученным, разбитым, словно целые сутки обсуждал важные государственные вопросы. Жил он, надо сказать, припеваючи. Да, нечего было опасаться, что он натрет себе мозоли! Вставал он обычно часов в десять, после завтрака, если погода была ему по вкусу, шел прогуляться, а в дождливые дни оставался в прачечной и читал газеты. Он чувствовал себя здесь как рыба в воде, таял от удовольствия в обществе работниц, терся об их юбки, обожал, когда они сквернословили, и подбивал их говорить непристойности, хотя сам старался выражаться изысканно; он так и льнул к прачкам, ведь эти девки за словом в карман не полезут. Когда Клеманс так и сыпала перед ним забористыми словечками, он приятно улыбался и подкручивал свои тонкие усики. Душный влажный воздух прачечной, потные, полуголые работницы, водившие взад и вперед горячими утюгами, горы валявшегося повсюду женского белья — словом, весь этот уголок, похожий на альков, казалось, был для Лантье долгожданным приютом, обретенным наконец убежищем чувственности и лени.

Сперва Лантье столовался в кабачке Франсуа на углу улицы Пуассонье. Но три-четыре раза в неделю он обедал у Купо и в конце концов попросил взять его на полный пансион: он будет платить им пятнадцать франков каждую субботу. После этого шляпник окончательно водворился в доме. С утра до вечера он разгуливал без пиджака по прачечной и спальне, приказывал, покрикивал, всем распоряжался и даже вел переговоры с заказчиками. Вино от Франсуа ему разонравилось, и он убедил Жервезу покупать вино у соседа, угольщика Вигуру; делая у него заказы, они с Бошем щипали г-жу Вигуру за мягкие места. Потом он нашел, что хлеб у Кудлу плохо пропечен, и стал посылать Огюстину в венскую булочную Мейера, в предместье Пуассоньер. Он переменил также бакалейщика Леонгра и оставил лишь толстого мясника Шарля с улицы Полонсо, и то за его политические убеждения. Месяц спустя он потребовал, чтобы все готовилось на провансском масле. Недаром Клеманс говорила, подтрунивая над ним, что эти чертовы провансальцы любят кататься как сыр в масле. Омлеты он готовил сам, поджаривая их с обеих сторон, как блинчики, и они хрустели на зубах не хуже сухарей. Он заставлял мамашу Купо пережаривать бифштексы, так что они становились жесткими, как подошва, всюду пихал чеснок, сердился, если в салат прибавляли петрушку и другую зелень, крича, что это сорняки и такой дрянью вполне можно отравиться. Его излюбленным блюдом был густой суп из вермишели, в который он выливал пол-

бутылки прованского масла. Эту похлебку могли есть только он да Жервеза, а когда ее отведали остальные члены семейства, коренные парижане, их чуть не вывернуло наизнанку.

Вскоре Лантье стал вмешиваться и в семейные дела. Лорийе вечно старались увильнуть от уплаты пяти франков на содержание мамаши Купо, и он заявил, что можно подать на них в суд. Смеются они, что ли?! По-настоящему они должны бы платить не пять, а десять франков в месяц! Он сам отправлялся к Лорийе за десятью франками и требовал их так настойчиво и вместе с тем так любезно, что золотых дел мастер не смел ему отказать. Теперь и г-жа Лера стала давать две монеты по сто су. Мамаша Купо готова была целовать руки Лантье, который к тому же играл роль миротворца в ее ссорах с невесткой. Когда, вспылив, молодая женщина бранила свекровь и та хныкала, уткнувшись носом в подушку, Лантье насильно подталкивал их друг к дружке, убеждая прекратить эту канитель, и в конце концов заставлял поцеловаться. Он находил также, что Нана прескверно воспитывают. В этом, пожалуй, он был прав; когда девчонку колотил отец, за нее заступалась мать, а когда ее шлепала мать, крик поднимал отец. Нана была в восторге от того, что родители грызутся из-за нее, она наперед знала, что ей все сойдет с рук, и просто на голове ходила. Теперь ей вздумалось бегать в кузницу напротив; она торчала там целыми днями, качалась на оглоблях, пряталась с ватагой сорванцов в глубине мрачного двора, освещенного красным пламенем горна, и неожиданно выскакивала с оглушительным визгом на улицу, грязная, растрепанная, а за ней неслась орава уличных мальчишек, как будто всю эту сопливую детвору выгнал грохот кузнечного молота. Только Лантье она еще слушалась, да и его умела обвести вокруг пальца. Эта десятилетняя пигалица расхаживала перед ним, вихляя бедрами, как взрослая, и порой искоса посматривала на него уже порочными глазами. В конце концов Лантье решил заняться ее воспитанием: он учил Нана танцевать и говорить по-провансальски.

Так прошел год. Соседи думали, что у Лантье водятся денькжата, иначе трудно было объяснить, почему в семействе кровельщика живут так широко. Конечно, Жервеза продолжала зарабатывать, но теперь, когда ей приходилось кормить двух лодырей, доходов от прачечной, разумеется, не хватало, тем более что дела шли все хуже и хуже, клиентов становилось меньше, а работницы с утра до ночи били баклуши. Лантье не платил ни за квартиру, ни за стол. Первое время он еще давал кое-что в счет своего долга, затем ограничился разговорами о том, что вот-вот получит крупную сумму и уж тогда сразу рассчитается за все. Жервеза не смела даже заикнуться о деньгах. Хлеб, вино, мясо она брала в кредит, счета все росли, и с каждым днем долг увеличивался на

три-четыре франка. Она еще ничего не заплатила ни мебельщику, ни трем приятелям мужа — каменщику, плотнику и маляру. Кредиторы начинали ворчать, в лавках с ней разговаривали уже не так любезно, как прежде. Но Жервеза просто удержу не знала: она словно потеряла голову и, перестав платить, брала все самое дорогое, вконец разоряясь на лакомства; однако в душе она оставалась честной, мечтала заработать кучу денег, сама не зная, каким образом, и раздавать пригоршнями пятифранковые монеты своим заимодавцам. Словом, она катилась под гору и, чувствуя, что прогорает, все чаще говорила о расширении прачечной. В середине лета взяла расчет дылда Клеманс: работы было мало даже для двух гладильщиц, и жалованья приходилось ждать по неделям. Дела все запутывались, а между тем Купо и Лантье отращивали себе брюшко. Приятели жрали за четверых, проедали, пропивали прачечную и жирели на ее разорении; при этом они подбивали друг друга урывать куски побольше и, прохлаждаясь за десертом с шутками да прибаутками, похлопывали себя по животу, чтобы пища поскорее переваривалась.

Соседям больше всего хотелось выведать, правда ли, что шляпник снова сошелся с Жервезой. На этот счет мнения расходились. По словам Лорийе, Хромуша из кожи лезла вон, чтобы вернуть Лантье, но он был сыт ею по горло, да и, кроме того, она слишком состарилась, в городе у него были девчонки куда моложе. Боши, напротив, считали, что прачка отправилась к своему бывшему любовнику в первую же ночь, едва только простофиля Купо успел захрапеть. Так или иначе, все это выглядело довольно неприглядно, но в жизни вообще столько свинства еще похуже этого, что под конец соседи стали считать такое сожительство естественным и даже милым: у Купо никогда не дрались, и приличия были соблюдены. Если сунуть нос в дела других семеек, пожалуй, совсем задохнешься от вони. А эти трое — славные люди. Они живут себе помаленьку, едят и пьют сколько влезет, ну а если спят все вместе, то по крайней мере не докучают соседям. Кроме того, улицу Гут-д'Ор покоряли учтивые манеры Лантье. Этот хитрец сумел заткнуть рот самым заядлым сплетницам. Впрочем, никто толком не знал, какие у него отношения с Жервезой, и когда зеленщица уверяла торговку требухой, будто любовной связи тут нет и в помине, торговка требухой даже сожалела об этом: стало быть, в семействе Купо нет ничего интересного.

А Жервеза жила себе спокойно и была далека от всей этой грязи. Дошло до того, что ее стали обвинять в бессердечии. Г-жа Лера, обожавшая вмешиваться в чужие любовные истории, каждый вечер бывала у Купо; она считала Лантье неотразимым мужчиной, перед которым не устоят, пожалуй, шикарнейшие из женщин. Г-жа Бош уверяла, что лет десять тому назад она не пору-

чилась бы за собственную добродетель. Глухой заговор разрастался, ширился вокруг Жервезы, толкая ее в объятия Лантье, словно все эти кумушки испытали бы удовольствие, навязав ей любовника. Но Жервеза удивлялась им и не находила шляпника таким уж обольстительным. Пожалуй, он изменился к лучшему, стал прилично одеваться и вообще пообтесался, посещая кафе и политические собрания. Только она-то знает Лантье вдоль и поперек и, заглянув ему в глаза, видит в них такое, от чего ей становится не по себе. Ну, а если он так нравится соседкам, почему бы им самим не попытать счастья? Этот совет она дала однажды Виржини, самой рьяной поклоннице шляпника. Тогда г-жа Лера и Виржини, желая подзадорить Жервезу, рассказали ей, что Лантье путается с дылдой Клеманс. Ну да, Жервеза просто ничего не замечает, но стоит ей уйти, как Лантье тут же тащит работницу к себе в комнату. Последнее время их даже встречали вместе на улице,— как видно, он ходит к ней домой.

— Ну и что же? — спросила Жервеза дрогнувшим голосом.— Мне-то какое дело?

И она посмотрела в желтые глаза Виржини: в них вспыхивали золотые искорки, словно в глазах у кошки. Значит, эта женщина все-таки затаила злобу в душе, если нарочно разжигает ее ревность. Но швея прикинулась дурочкой.

— Понятно, вам до этого нет никакого дела,— проговорила она.— Только надо бы ему посоветовать бросить эту девку, с ней он не оберется хлопот.

Хуже всего было то, что, чувствуя поддержку окружающих, Лантье стал иначе вести себя с Жервезой. Теперь, здороваясь или прощаясь с нею, он задерживал ее руку в своей, смущал молодую женщину пристальным, наглым взглядом, в котором она ясно читала, чего он домогается. Проходя позади Жервезы, он старался задеть ее коленом и, как бы желая одурманить, обдавал горячим дыханием ее шею. Однако он все еще выжидал, не решаясь перейти в открытое наступление. Но как-то вечером, в прачечной, оказавшись с ней наедине, он, не говоря ни слова, притиснул дрожащую Жервезу к стене и хотел поцеловать. В эту минуту случайно зашел Гуже. Жервеза начала отбиваться и вырвалась от Лантье. Тут все трое заговорили о том о сем, как будто ничего не случилось. Гуже сидел понурившись, бледный, расстроенный: он решил, что помешал им и Жервеза отбивалась только для вида, стыдясь целоваться при посторонних.

На другой день Жервеза чувствовала себя очень несчастной и без дела слонялась по прачечной; она не могла выгладить даже носового платка; ей хотелось повидать Гуже, объяснить, как все это получилось, почему Лантье прижал ее к стене. Но Этьен был в Лилле, и теперь она не решалась приходить в кузницу, где Не-

насытная Утроба, он же Бездонная Бочка, встречал ее насмешливой ухмылкой. Однако к вечеру она не выдержала, взяла пустую корзину и ушла, сказав, что ей надо сходить за бельем к заказчице на улицу Порт-Бланш. Свернув на улицу Маркаде, она стала медленно прогуливаться перед кузницей в надежде на случайную встречу. Гуже, вероятно, тоже ждал ее, потому что не прошло и пяти минут, как он, будто невзначай, вышел на улицу.

— Это вы? Ходили по делу? — спросил он, улыбаясь через силу.— А теперь домой?

Он сказал это лишь для того, чтобы скрыть смущение,— Жервеза направлялась как раз в противоположную сторону. И, даже не взяв друг друга под руку, они пошли по направлению к Монмартру. Очевидно, им хотелось лишь одного — уйти подальше от посторонних глаз, а то, чего доброго, люди подумают, будто они назначили здесь свидание. Они брели, потупив голову, по ухабистой мостовой, а в ушах у них стоял несмолкаемый гул окрестных мастерских. Затем, пройдя шагов двести, они, словно сговорившись, свернули налево и все так же молча вышли на пустырь. Между лесопильной и пуговичной фабрикой зеленела полоска луга, покрытая желтыми пятнами выжженной солнцем травы; коза, привязанная к колышку, с блеянием ходила вокруг. Еще дальше торчало сухое дерево, словно обуглившееся на солнце.

— Право, совсем как в деревне,— прошептала Жервеза.

Они сели под сухим деревом. Прачка поставила корзину на землю рядом с собой. Напротив, по склону холма, выстроились ряды высоких желтых и серых домов с вкрапленной между ними чахлой зеленью деревьев. Запрокинув голову, можно было видеть раскинувшееся над городом широкое чистое небо, лишь на севере по его густой синеве бежали белые облачка. Но яркий свет слепил глаза, Жервеза и Гуже перевели взгляд на туманные очертания далеких предместий и стали пристально следить за струями пара, с шумом вырывавшимися из узкой трубы паровой лесопильни. Ее тяжкие вздохи словно облегчали их стесненную грудь.

— Да, я шла по делу, мне надо было...— пролепетала Жервеза, чтобы нарушить неловкое молчание.

Она так жаждала объяснения, а вот теперь ничего не смела сказать. Ей было очень стыдно. И все же она понимала, что они пришли сюда именно для того, чтобы поговорить о вчерашнем, и даже говорили об этом, но только без слов. Вчерашний случай стоял между ними, и на сердце была гнетущая тяжесть.

Тогда в порыве щемящей тоски, со слезами на глазах, Жервеза начала рассказывать о смерти своей прачки, г-жи Бижар, скончавшейся утром в ужасных мучениях.

— Вышло все это из-за побоев — муж ударил ее ногой в живот,— говорила она тихо и монотонно.— Живот сильно вздулся.

Наверно, у нее что-нибудь оборвалось внутри. Боже мой, ее скрутило за три дня... Право, и среди каторжников не встретишь такого негодяя. У судей и без того много хлопот, не станут же они заниматься всякой бабой, до смерти забитой мужем. Пинком больше, пинком меньше, эка важность, если колотушки достаются каждый день. Да и сама она, бедняжка, хотела спасти мужа от эшафота и уверяла, будто ударилась животом о лохань. Она кричала всю ночь напролет, пока не отдала богу душу.

Кузнец молчал и судорожно рвал траву целыми пучками.

— Не прошло и двух недель,— продолжала Жервеза,— как она отняла от груди своего младшенького, Жюля, хорошо еще, что мальчишку успела выкормить... теперь на руках у Лали осталось двое малышей. Девчонке нет и восьми лет, а она уже такая серьезная и рассудительная — настоящая мамаша. Только Бижар и ее бьет смертным боем... Ей-богу, есть люди, которым на роду написано маяться всю жизнь.

Гуже поднял на нее глаза, губы у него дрожали.

— Очень вы меня обидели вчера, ох как обидели,— пробормотал он.

Жервеза побледнела и с мольбой сложила руки, но он продолжал:

— Я знаю, так должно было случиться... Только вам следовало довериться мне, все выложить начистоту, чтобы я не воображал понапрасну, будто вы...

Голос у него пресекся. Она вскочила, поняв, что Гуже, как и все соседи, считает ее любовницей Лантье. И, протягивая к нему руки, она воскликнула:

— Нет, нет, клянусь вам!.. Он схватил меня, хотел поцеловать,— это правда, но он даже не дотронулся до моего лица, да и пристал-то ко мне в первый раз... Клянусь вам моей жизнью, жизнью моих детей, клянусь всем, что у меня есть самого святого!

Но Гуже качал головой. Он не верил: женщины вечно отрицают свою вину. Жервеза стала вдруг очень серьезной и заговорила, подбирая слова:

— Вы меня знаете, господин Гуже. Я не умею лгать, право же, не умею... Честное слово, этого не было... И никогда этому не бывать, слышите? Никогда! Иначе я буду считать себя последней дрянью, недостойной дружбы такого хорошего человека, как вы.

И при этих словах у нее было такое милое правдивое лицо, что он взял ее за руку и усадил на прежнее место. Теперь он дышал свободно, и внутри у него все словно пело. Впервые он вот так держал ее руку и сжимал в своей. Оба молчали. По небу медленно, словно лебеди, плыли белые облака. Коза, которая паслась на чахлом лужку, смотрела в их сторону и время от времени тихо

блеяла. И, не разжимая пальцев, глубоко растроганные, они блуждали взглядом по белесоватым склонам Монмартра, по лесу фабричных труб, выступавших на горизонте, по всему этому пыльному унылому предместью, и до слез умилялись при виде зеленых деревьев возле подслеповатых кабачков.

— Ваша матушка сердита на меня...— тихо проговорила Жерваза.— Нет, нет, не спорьте... Мы вам должны столько денег!

Но Гуже чуть ли не силой заставил ее замолчать, до боли стиснув ее руку. Он не хотел, чтобы она говорила о деньгах. Затем, запинаясь, он пробормотал:

— Послушайте, я уже давно собираюсь предложить вам... Вы несчастливы. Мать уверяет, что дела у вас идут плохо...

Он помолчал, с трудом переводя дух.

— Вот что, давайте уедем отсюда.

Жерваза взглянула на него, не вполне понимая, что он хочет сказать, удивленная этим внезапным признанием, ведь до сих пор он никогда не заикался о своей любви.

— Как уедем? — спросила она.

— Да,— продолжал он, опустив голову.— Мы с вами могли бы уехать куда-нибудь, ну хоть в Бельгию... Это почти моя родина... Будем работать оба и скоро заживем по-хорошему.

Она густо покраснела; обними он ее и поцелуй, ей и то не было бы так стыдно. Ну и чудак, предлагает увезти ее, точно герой в романе или кавалер из высшего общества. Кругом нее рабочие часто ухаживали за замужними женщинами, но никуда их не возили, даже в Сен-Дени, все происходило тут же, на месте, и без всяких фокусов.

— Полноте, господин Гуже, полноте...— шептала она, не зная, что ответить.

— И вот еще что, мы жили бы с вами вдвоем, только вдвоем. Те, другие, мешают мне, понимаете? Когда я расположен к женщине, мне тяжело видеть ее с другими.

Но она оправилась от смущения и сказала рассудительно:

— Это невозможно, господин Гуже. Это было бы очень дурно. Не забывайте: я замужем, у меня дети... Знаю, вы расположены ко мне, и я делаю вам больно. Но нам все равно не видать счастья: нас бы совесть загрызла... Я тоже привязана к вам, так сильно привязана, что не позволю вам наделать глупостей. А это была бы глупость... Пусть уж лучше все останется по-старому. Мы уважаем друг друга, нам хорошо вместе. Разве этого мало? Много раз вы были мне поддержкой... В нашем положении лучше жить честно, право же, потом мы будем вознаграждены.

Гуже качал головой, слушая ее. Он соглашался, ничего не мог возразить. И вдруг среди бела дня он обнял ее, чуть не задушив в объятиях, и яростно поцеловал в шею, словно хотел проглотить.

Затем он отпустил ее, ничего не требуя, и не сказал больше ни слова о своей любви. Жервеза оправила платье, она не сердилась, понимая, что оба они заслужили эту маленькую радость.

Кузнец, дрожа всем телом, все больше отодвигался от Жервезы, чтобы не поддаться еще раз соблазну; он ползал на коленях и, не зная, что делать со своими руками, рвал одуванчики и бросал ей в корзину. Среди побуревшей травы здесь росли сочные желтые цветы. Мало-помалу эта игра его успокоила. Своими огрубевшими от работы пальцами он осторожно кидал цветок за цветком, и его добрые, по-собачьи преданные глаза смеялись, когда он попадал прямо в цель. Жервеза прислонилась к сухому дереву, успокоенная, веселая, и разговаривала с ним, повысив голос из-за громкого пыхтения паровой лесопильни. На обратном пути они шли рядом, говорили об Этьене, которому очень нравилось в Лилле, и молодая женщина несла полную корзину одуванчиков.

В глубине души Жервеза побаивалась Лантье и вовсе не была так уверена в себе, как говорила. Конечно, она твердо решила не позволять ему ничего лишнего, но опасалась своей всегдашней слабости — ведь она так податлива, так уступчива, ей бывает трудно отказать, когда ее о чем-нибудь просят. Однако Лантье не возобновлял своей попытки. Он не раз оставался с Жервезой наедине, но и пальцем ее не трогал. Казалось, теперь он обхаживает торговку требухой, прекрасно сохранившуюся женщину лет сорока пяти. В присутствии Гуже Жервеза постоянно заводила разговор об этой торговке, чтобы успокоить его. А на слова Виржини и г-жи Лера, восторгавшихся Лантье, она отвечала, что шляпник обойдется и без ее похвал,— все соседки и так от него без ума.

Купо кричал на всех перекрестках, что Лантье ему друг, настоящий друг. Пусть злые языки болтают что угодно, ему на них начхать: правда и честь на его стороне. Когда по воскресеньям они втроем отправлялись на прогулку, Купо заставлял жену и приятеля идти под руку впереди, просто так, чтобы подразнить соседей, а сам вызывающе посматривал на встречных, готовясь при малейшей насмешке дать им в зубы. Купо находил, что Лантье, пожалуй, малость задается, корчит из себя трезвенника, и подтрунивал над ним за то, что он умеет читать и говорит, как адвокат. Но при всем том шляпник парень с головой, другого такого во всем околотке не сыщешь. Вообще они прекрасно ладят между собой, прямо сказать, созданы друг для друга. Да и дружба мужчины куда надежнее женской любви.

Но если все говорить начистоту, Купо с Лантье кутили напропалую. Когда в доме водились деньжонки, Лантье занимал у Жервезы по десяти, а то и по двадцати франков. Разумеется, они были ему нужны для его важных дел. В тот же день он подбивал Купо пойти прогуляться, а сам уводил его в ближайший ресторан;

усевшись за столик друг против друга, они заказывали по нескольку блюд на брата, да таких, которых не отведаешь дома, и запивали их дорогим вином. Кровельщик предпочел бы, пожалуй, запросто опрокинуть стаканчик в веселой компании, но его восхищали аристократические замашки Лантье, который откапывал в меню соуса с невероятными названиями. А уж какой он был неженка и привередник! Впрочем, говорят, все южане таковы. Он не хотел есть ничего острого, обсуждал каждое блюдо, опасаясь, как бы пища не повредила его здоровью, приказывал унести жаркое, если оно казалось ему пересоленным или переперченным. Он был особенно чувствителен к сквознякам, до смерти боялся каждого дуновения и ругался на весь ресторан, если дверь оставалась открытой. Но в то же время он был очень прижимист и после обеда в семь-восемь франков давал лакею на чай каких-нибудь два су. И все же перед ним трепетали, он был известен на всех внешних бульварах от Батиньоля до Бельвиля. На центральной улице Батиньоля приятели ели рубцы с пылу с жару, приготовленные по-нормандски. У подножия Монмартра, в трактире «Бар-ле-Дюк», их потчевали отменными устрицами. На вершине холма, в ресторане «Мельница Галетт», они лакомились жареным кроликом. Харчевня «Сирень» на улице Мартир славилась превосходным блюдом из телячьей головы, а на проспекте Клиньянкур, в ресторанчиках «Золотой лев» и «Два каштана», им подавали жареные почки, да такие, что просто пальчики оближешь. Но чаще всего приятели сворачивали налево в сторону Бельвиля и застревали в одном из своих излюбленных кабачков: «Бургундском виноградпике», «Синем циферблате» или «Капуцине» — замечательных заведениях, где можно было со спокойной душой заказывать все, что угодно. Об этих тайных пирушках они говорили на следующий день лишь намеками, нехотя ковыряя картошку, сваренную Жервезой. Однажды в садике ресторана «Мельница Галетт» Лантье пригласил к их столику какую-то женщину, с которой Купо оставил его наедине после десерта.

Нельзя, разумеется, кутить и работать в одно и то же время. Вот почему с тех пор, как Лантье водворился в семействе кровельщика, Купо, и так любивший гонять лодыря, совсем обленился. Когда же, устав слоняться без дела, он нанимался на строительство, шляпник все равно отыскивал его и поднимал на смех за то, что он висит на веревке, как копченый окорок, и под конец кричал приятелю, чтобы тот спускался вниз: надо же утолить жажду! А дальше все шло как по-писаному: кровельщик уходил с работы, и начинался кутеж, длившийся целые дни, а порой и недели. Да, ничего не скажешь, то были знатные кутежи, во время которых друзья делали смотр всем окрестным кабакам; они прикладывались к рюмочке с утра, опохмелялись в полдень, вечером уже не

знали удержу, а когда гасла последняя свеча, теряли счет выпитым бутылкам, тонувшим в ночной тьме, как фонарики праздничной иллюминации. Но пройдоха Лантье всему знал меру. Он предоставлял приятелю нагрузиться, а сам бросал его и возвращался домой, как всегда любезно улыбаясь. Только тем, кто хорошо его знал, было видно, что он пьян: выдавали его прищуренные глаза да чересчур развязное обращение с женщинами. Кровельщик, напротив, был отвратителен во хмелю и, раз начав пить, не мог остановиться, пока не налакается как свинья.

В первых числах ноября Купо опять запил, и это кончилось прескверно для него самого и для других. Накануне он нашел работу. Лантье на этот раз был преисполнен благих намерений; он проповедовал пользу труда: ведь что там ни говори, а труд облагораживает человека. Он даже встал спозаранку, еще при свете лампы, чтобы честь честью проводить на строительство своего друга, поистине достойного называться рабочим. Но, добравшись до кабачка под вывеской «Луковка», двери которого только что открылись, приятели зашли выпить сливянки — по одной рюмочке, не больше! — надо же спрыснуть твердое решение Купо взяться наконец за ум. Против стойки, прислонившись к стене, сидел Биби Свиной Хрящ и мрачно курил трубку.

— Смотри-ка, Биби загулял! — воскликнул Купо.— Что, приятель, лень одолела?

— Да нет,— ответил Биби, потягиваясь.— Просто опротивели хозяева, поперек горла стоят... Вчера я разругался со своим... Все они сволочи, гады...

И Биби Свиной Хрящ согласился выпить сливянки. Он, видно, и ждал здесь на скамейке, не угостят ли его. Однако Лантье стал на защиту хозяев: порой им тоже приходится несладко, он-то кое-что знает об этом, сам ворочал делами. Рабочие — продувной народ! Вечно пьянствуют, отлынивают от работы, дашь им какой-нибудь заказ — уйдут, не закончив, и объявятся только тогда, когда просадят последние денежки. Однажды у него работал пикардиец, молоденький паренек, так его, бывало, хлебом не корми, а дай покататься на извозчике; стоило ему в конце недели получить заработок, он тут же нанимал фиакр и разъезжал целыми днями. Разве такие замашки к лицу рабочему человеку? Да, Лантье всех видит насквозь и никому не побоится сказать правду в глаза. Хозяева тоже дерьмо — бесстыжие эксплуататоры, кровопийцы проклятые! У него, слава богу, совесть чиста — он был другом своих рабочих и никогда не стремился наживать миллионы на их горбе, как некоторые другие.

— Ну, нам пора, браток,— сказал он, обращаясь к Купо.— Надо и честь знать, не то мы опоздаем.

Биби Свиной Хрящ нехотя поплелся за ними. На улице чуть

брезжил рассвет, занимался серенький денек, казавшийся особенно унылым из-за жидкой грязи, покрывавшей мостовую; накануне прошел дождь, было очень тепло. Только что погасили газовые фонари; улица Пуассонье, где ночная мгла застоялась между высокими домами, гудела от глухого топота рабочих, шагавших к центру города. Перекинув через плечо свою сумку, кровельщик шел с таким победоносным видом, как будто неожиданно для самого себя принял важное решение. Он обернулся и спросил:

— Хочешь наняться на работу, Биби? Хозяин велел мне привести подручного, если найдется желающий...

— Благодарю покорно,— ответил Биби Свиной Хрящ.— Я сыт по горло, баста... Надо предложить Бурдюку, он еще вчера искал, куда бы пристроиться... Постой, он, верно, забрел сюда...

И, дойдя до конца улицы, они действительно нашли Бурдюка у папаши Коломба. Несмотря на ранний час, «Западня» была ярко освещена, ставни ее открыты, все газовые рожки зажжены. Лантье задержался на пороге, велев Купо поторопиться: у них оставалось в запасе ровным счетом десять минут.

— Как! Неужто ты поступил к рыжему бургундцу?! — воскликнул Бурдюк в ответ на предложение кровельщика.— Нет, черта с два, меня в его лавочку силком не затащишь! Уж лучше останусь на бобах до будущего года... Ты у него и трех дней не выдержишь, приятель, помяни мое слово!

— Разве у него так уж плохо? — спросил Купо с тревогой.

— Хуже быть не может... Хозяин дыхнуть не дает. Так и стоит у тебя над душой. А форсу-то сколько, фу-ты ну-ты! Хозяйка то и дело честит тебя пьянчугой, а в мастерской даже плюнуть не смей. Веришь ли, я с первого дня послал их к чертям собачьим.

— Ладно, спасибо, что предупредил. Видно, с бургундцем каши не сваришь... Погляжу сегодня утром, а если хозяин вздумает нахальничать, живо приведу его в чувство, да так, что они с супругой вовек меня не забудут.

В благодарность за добрый совет кровельщик крепко пожал руку приятелю и уже собрался уходить, но Бурдюк рассердился. Черт побери! Выходит, из-за проклятого бургундца им даже по стаканчику пропустить нельзя? Мужчины они или не мужчины в конце концов? Хозяин подождет пять минут — ничего с ним не сделается. Тут Лантье тоже вошел в кабак, чтобы выпить с товарищами, и все четверо выстроились перед стойкой. Между тем Бурдюк, в стоптанных башмаках, в засаленной куртке и картузе блином, сдвинутом на самый затылок, орал во всю глотку и горделиво обводил взглядом «Западню». Оказывается, он был провозглашен королем пьяниц и обжор за то, что съел салат из живых майских жуков и не побрезговал отведать дохлой кошки.

— Послушай, ты, отравитель! — крикнул он папаше Коломбу.— Подай-ка нам своей знаменитой сивухи, той, желтой, как ослиная моча!

Спокойный, мучнисто-бледный папаша Коломб в неизменной синей фуфайке налил доверху четыре стакана, и приятели осушили их одним духом, чтобы не дать спирту испариться.

— Невредная штука, здорово согревает нутро,— пробормотал Биби Свиной Хрящ.

Тут эта каналья Бурдюк рассказал препотешную историю: в пятницу он так надрался, что друзья-приятели вставили ему трубку в зубы, а рот замазали сверху известкой. Другой бы сдох на его месте, а ему хоть бы что, только пуще заважничал.

— Не угодно ли повторить, господа? — спросил папаша Коломб своим густым басом.

— Да, налейте,— приказал Лантье,— я плачу.

Заговорили о женщинах. Биби Свиной Хрящ был в воскресенье со своей занудой женой у тетки в Монруже; Купо спросил, как поживает прачка из Шайо по прозвищу Баржа, хорошо известная в «Западне». Все собрались снова выпить, но тут Бурдюк громко окликнул проходивших мимо Гуже и Лорийе. Они заглянули в дверь, но войти в кабак отказались. Кузнецу не хотелось пить. Золотых дел мастер был бледен, кашлял и дрожал как в лихорадке; он судорожно сжимал в кармане золотую цепочку, которую нес заказчику, и извинялся, говоря, что от одной капли спиртного валится с ног.

— Ну и ханжи! — заворчал Бурдюк.— А сами небось рады нализаться втихомолку.

Но, сунув нос в стакан, он набросился на папашу Коломба:

— Ах ты, старый хрыч, опять налил нам из другой бутылки!.. Со мной, брат, шутки плохи, я сразу чую, когда ты разбавляешь свою сивуху.

Солнце уже давно взошло, тусклый свет пробивался в окна «Западни», хозяин потушил газ. Купо вступился за своего зятя: раз человек не может пить, это не его вина. А Гуже даже похвалил — ведь просто счастье никогда не испытывать жажды. Тут он снова заговорил о том, что пора бы идти на работу. Но Лантье с важным видом человека, понимающего толк в приличиях, стал стыдить друга: прежде чем смываться, надо в свою очередь угостить друзей. Нельзя же так подло бросать их, даже если спешишь по делу.

— Ты еще долго будешь морочить нам голову со своей работой?! — закричал Бурдюк.

— Значит, платите вы, сударь? — спросил папаша Коломб, обращаясь к Купо.

Кровельщик заплатил. Когда же очередь дошла до Биби, он

наклонился и что-то шепнул хозяину, но тот отрицательно покачал головой. Бурдюк понял, в чем дело, и принялся срамить мерзавца Коломба. Вот чертово отродье, да как он смеет не доверять их приятелю! Все кабатчики отпускают в долг! Только в его проклятой дыре оскорбляют людей! Хозяин спокойно покачивался, опершись своими огромными лапищами о край стойки, и вежливо говорил:

— А вы сами дайте ему в долг. Так-то оно сподручнее будет.

— И дам, чтоб ты подавился! — взревел Бурдюк.— Вот тебе, Биби, возьми! И швырни деньги ему в морду, продажная он душа!

Тут при виде мешка с инструментом, все еще висевшего на плече у Купо, Бурдюк окончательно вышел из себя и крикнул приятелю:

— Что ты носишься с ним, как курица с яйцом? Весь скособочился! Брось эту дрянь, не то останешься горбатым!

Купо с минуту колебался; потом степенно, словно после зрелого размышления, положил сумку на пол и сказал:

— И вправду, теперь слишком поздно. Схожу к бургундцу после обеда. Навру ему, будто у моей хозяйки живот схватило... Послушайте, папаша Коломб, я оставлю инструмент вот тут, под скамейкой, зайду за ним в полдень.

Лантье кивком головы одобрил это решение. Работать надо, слов нет, но когда водишь компанию с приятелями, вежливость — на первом месте. Все четверо сидели раскисшие, безжизненно опустив руки, и нерешительно переглядывались: их так и подмывало напиться по-настоящему. И как только оказалось, что впереди у них часов пять для гульбы, всех обуяла шумная радость: они принялись хлопать друг друга по спине и выкрикивать разные ласковые словечки. Особенно усердствовал Купо; он сразу воспрянул духом, даже помолодел и называл приятелей «старина» и «миляга». Выпили еще по одной; затем всей компанией отправились в «Пьяную блоху» — маленький кабачок с бильярдом. Шляпник сморщил было нос, потому что заведение считалось не из важнецких: литр водки стоил там всего один франк — десять су за два стакана, а посетители так замусолили бильярд, что шары прилипали к сукну. Но едва началась игра, Лантье, у которого был очень меткий удар, снова пришел в хорошее настроение, стал мил, любезен и при каждом карамболе выпячивал грудь и лихо поводил плечами.

Когда настал час обеда, Купо осенила блестящая мысль. Он воскликнул, топая ногами:

— Надо сходить за Ненасытной Утробой. Я знаю, где он работает... Мы вытащим его к мамаше Луи и закажем бараньи ножки под майонезом.

Предложение было принято с восторгом. Ну еще бы, Ненасытная Утроба, он же Бездонная Бочка, спит и видит бараньи ножки под майонезом. Гурьбой вышли на улицу. Было грязно, моросил дождь; но приятели разогрелись и не замечали, что сверху их поливает душ. Купо привел всех на улицу Маркаде, к воротам фабрики гвоздей и болтов. Но так как до обеденного перерыва оставалось добрых полчаса, кровельщик дал два су первому попавшемуся мальчишке и велел вызвать Ненасытную Утробу: его жена, мол, захворала и просит сейчас же прийти домой. Кузнец не заставил себя ждать, он вышел, не торопясь, вразвалку,— видно, еще издали почуял, что пахнет выпивкой.

— Ах вы, пьянчуги! — воскликнул он, заметив приятелей, прятавшихся в подворотне.— Я так и подумал... Ну, что ж мы будем лопать?

У мамаши Луи все пятеро сели за столик и, обгладывая бараньи косточки, вновь обрушились на хозяев. Ненасытная Утроба, он же Бездонная Бочка, рассказал, что их фабрика получила спешный заказ. И хозяин сразу стал шелковым: можешь опаздывать, он и пикнуть не посмеет, еще рад будет, что ты вообще-то пришел. Впрочем, какой же хозяин прогонит Ненасытную Утробу,— таких работников, как он, в наше время днем с огнем не сыщешь. После бараньих ножек принялись за омлет. Каждый выпил по литру вина. Мамаша Луи выписывала вино из Оверни, да еще какое вино! Кроваво-красное, густое, хоть ножом его режь. В голове у приятелей зашумело, все развеселились.

— Вы только послушайте, что взбрело на ум моему хозяину! — вскричал за десертом Ненасытная Утроба.— Этот болван взял да и повесил колокол в своей лавочке! Колокол, как будто мы рабы! Ну и пусть себе звонит! Вот уже пять дней, как я надрываюсь, возьму нынче да и плюну... А если получу нагоняй, пошлю хозяина ко всем чертям.

— Придется мне с вами распрощаться,— важно сказал Купо.— Пойду на работу. Да, я дал слово жене... Веселитесь, друзья-приятели, сердцем я всегда с вами, вы же знаете.

Посыпались насмешки. Но у Купо был такой решительный вид, что все отправились провожать его, а по дороге зашли к папаше Коломбу, где кровельщик оставил свой инструмент. Вытащив мешок из-под скамейки, он положил его перед собой, чтобы выпить последний стаканчик. Пробило час, а приятели еще угощались. Тогда, махнув на все рукой, Купо опять сунул свой мешок под скамейку: а то и к стойке не подойдешь, непременно о него споткнешься. Эх, где наша не пропадала! К бургундцу он пойдет завтра. Четверо остальных так увлеклись спором о заработке, что не удивились, когда кровельщик неожиданно предложил пройтись по бульвару, чтобы размять затекшие ноги. Дождь

перестал, но прогулка не удалась: выстроившись в ряд, друзья нехотя протащились шагов двести; на воздухе их развезло, говорить не хотелось, всех одолела скука. Словно по взаимному уговору, они медленно свернули на улицу Пуассонье и вошли в кабачок Франсуа: необходимо было пропустить стаканчик, чтобы немного приободриться. А то всем взгрустнулось — в такую погоду добрый хозяин и собаку на улицу не выгонит. Лантье затащил товарищей в отдельный кабинет — узенькую комнатку с одним-единственным столом, отгороженную от зала матовой застекленной перегородкой. Обычно он выпивал именно в таких кабинетах,— это выходило как-то приличнее. Разве приятелям здесь не нравится? Право, чувствуешь себя как дома и даже можешь без стеснения прикорнуть в уголке. Он велел принести газету, разложил ее на столе и, нахмурив брови, стал просматривать. Купо и Бурдюк затеяли партию в пикет. На столе стояли два литра вина и пять стаканов.

— О чем там врут в этом листке? — спросил Биби Свиной Хрящ у шляпника.

Тот ответил не сразу.

— Я читаю отчет о заседании палаты,— пробормотал он наконец, не поднимая глаз.— Уж эти мне республиканцы, никудышные они люди, бездельники, больше никто! Неужели народ выбирает левых ради их медовых речей? Вот этот, к примеру, верит в бога и лижет пятки канальям министрам! Если бы меня выбрали депутатом, я поднялся бы на трибуну и сказал одно только слово: дерьмо! Да, вот мое мнение!

— А вы слышали, что случилось вчера вечером? — спросил Ненасытная Утроба, он же Бездонная Бочка.— Баденге подрался с супругой. Честное слово! И повздорили-то они из-за пустяков. Баденге был под мухой.

— Да отвяжитесь вы с вашей политикой! — воскликнул кровельщик.— Читайте лучше про убийства, это куда занятнее.

И, заглянув в свои карты, он объявил терс от девятки и три дамы.

— У меня грошовый терс и три крали. Бабы так и липнут ко мне.

Еще раз опорожнили стаканы. Лантье принялся читать вслух:

— «Чудовищное преступление повергло в трепет всех жителей коммуны Гайон (департамент Сены-и-Марны). Сын убил заступом родного отца, чтобы украсть у него тридцать су...»

Приятели вскрикнули от ужаса. Такого подлеца надо тут же казнить, они с удовольствием поглядели бы, как ему отрубят голову! Нет, гильотины для него мало, его следует изрезать на мелкие кусочки. Сообщение о детоубийстве также привело их в негодование. Но шляпник заявил назидательно, что вся вина лежит не

на матери, а на соблазнителе: если бы этот подлец не сделал несчастной женщине ребенка, ей не пришлось бы бросать младенца в отхожее место. Зато полный восторг вызвал подвиг маркиза де Т.: он возвращался после бала в два часа ночи, как вдруг на бульваре Инвалидов на него напали три проходимца; даже не сняв перчаток, маркиз расправился с двумя негодяями, ударив их головой в живот, а третьего отвел за ухо в полицию. Каково? Ну и молодчага! Жаль, право, что он из благородных.

— Послушайте теперь светскую хронику,— продолжал Лантье.— «Графиня де Бретиньи выдает старшую дочь за молодого барона де Валансе, адъютанта его величества. В качестве свадебного подарка он преподнес невесте больше чем на триста тысяч кружев...»

— А нам что за дело?! — перебил чтеца Биби Свиной Хрящ.— Мы не спрашиваем девок, какого цвета у них сорочка... Сколько бы кружев ни нацепили на эту крошку, лежать ей на спине, как и всем другим.

Видя, что Лантье собирается продолжать чтение, Ненасытная Утроба, он же Бездонная Бочка, вырвал у него газету и положил ее под себя.

— Ну нет, хватит!.. Пусть теперь погреется у меня под задницей... Бумага только на это и годится,— сказал он.

Но тут Бурдюк, заглянув в свои карты, победоносно ударил кулаком по столу. У него было девяносто три очка.

— У меня революция,— заявил он.— Мажорная квинта на крестях — крестей полон рот!.. Получается двадцать, так?.. Затем мажорный тьерс на бубнах — двадцать три; три короля — двадцать шесть; три валета — двадцать девять; да еще три туза — девяносто два... Да здравствует девяносто третий год — первый год Республики!

— Ты продулся в пух и прах, миляга! — закричали остальные, обращаясь к Купо.

Заказали еще два литра. Стаканы то и дело наполнялись, хмель все больше ударял в голову. К пяти часам собутыльники до того перепились, что Лантье, сидевший молча, стал подумывать о том, как бы дать тягу; он не любил, когда без толку драли глотку и лили вино на пол. Купо как раз встал, чтобы сотворить крестное знамение пьяниц. Он приложил два пальца ко лбу, потом к правому, к левому плечу и наконец к пупку, бормоча при этом: «Монпарнас, Менильмонтан, Куртиль, Баньоле»,— и трижды ткнул себя под ложечку в честь Жареного кролика. Тут шляпник воспользовался оглушительным ревом, которым была встречена эта шутка, и незаметно улизнул из кабака. Товарищи даже не заметили, что он исчез. Лантье и сам хватил лишку. Но на улице он встряхнулся, обрел свою обычную самоуверенность и преспокойно

вернулся в прачечную; дома он сообщил Жервезе, что Купо задержался с друзьями.

Прошло два дня. Кровельщик не появлялся. Он пропадал где-то поблизости, но где именно, никто хорошенько не знал. Его видели у мамаши Баке, в кабачках «Бабочка» и «Промочи глотку». Иные уверяли, что Купо был один, а другие видели его в компании семи или восьми таких же пропойц, как и он. Жервеза пожимала плечами, заранее покорившись судьбе. Бог ты мой, придется свыкнуться и с этим. Она не из тех женщин, которые бегают за мужьями; если она и замечала его в кабаке, то обходила заведение сторонкой, чтобы не сердить Купо, и поджидала его дома, прислушиваясь ночью, не храпит ли он под дверью. Случалось, он валился спьяна на скамейку, на кучу мусора, засыпал на пустыре или просто в канаве. Наутро, еще не протрезвившись, он бежал очертя голову в кабак, стучал в запертые ставни винных лавок, и начиналась та же свистопляска: за рюмками следовали стаканы, за стаканами бутылки; он терял и находил приятелей, скитался неизвестно где и, совершенно обалдев, видел, как все плясало у него перед глазами; ночь сменялась днем, снова наступала ночь, в голове же сверлила одна и та же мысль: пить, опохмеляться и снова пить до бесчувствия. А когда он запивал, с ним уже ничего нельзя было поделать. Однако на второй день Жервеза отправилась в «Западню» к папаше Коломбу, чтобы справиться о муже. Да, Купо заходил сюда раз пять, а где он сейчас, никто не знает. Ей пришлось вернуться домой, захватив мешок, оставленный Купо под скамейкой.

Вечером, видя, что Жервеза расстроена, Лантье пригласил ее в кафешантан, просто так, чтобы немного развлечься. Сперва она отказалась: ей было не до веселья. В другое время она, пожалуй, и приняла бы его приглашение: шляпник держался с таким достоинством, что нельзя было заподозрить никакого подвоха. Казалось, он сочувствует ее горю и относится к ней прямо-таки по-отечески. Никогда еще Купо не пропадал на двое суток. И Жервеза каждые десять минут выходила из прачечной и, не выпуская из рук горячего утюга, смотрела, не идет ли муж. Ей не работается, говорила она, так и подмывает выглянуть на улицу. Если Купо попал под экипаж, сломал себе ногу, а еще лучше шею, поделом ему: она будет рада избавиться от мужа — у нее не осталось никакого чувства к этому подлецу. И все же невыносимо было все время думать, вернется он или не вернется. Вот почему, когда на улице зажглись фонари, а Лантье снова заговорил о кафешантане, Жервеза согласилась. Слишком глупо, право, отказывать себе в удовольствии, да еще когда муж где-то куролесит. Раз его нет, она тоже не останется дома. Пусть все идет прахом, уж очень ей опротивела эта проклятая жизнь.

Пообедали наспех. В восемь часов вечера, уходя под руку с шляпником, Жервеза велела мамаше Купо и Нана поскорее ложиться спать. Прачечная была заперта. Жервеза вышла через черный ход и отдала ключ от квартиры г-же Бош, попросив ее уложить Купо, если этот идиот вернется домой. Шляпник ждал ее в подворотне, он принарядился и стоял, насвистывая какую-то песенку. На Жервезе было шелковое платье. Лантье и Жервеза медленно шли по улице, прижавшись друг к другу, и когда они проходили мимо освещенных витрин, было видно, что оба улыбаются, тихо беседуя между собой.

Кафешантан помещался на бульваре Рошешуар; это было старое маленькое кафе, которое расширили, пристроив к нему во дворе дощатый барак. Над входом висели стеклянные фонарики, освещая арку в виде портика. Деревянные щиты с огромными афишами стояли прямо на тротуаре возле сточной канавы.

— Вот мы и пришли,— сказал Лантье.— Сегодня впервые выступает жанровая певица мадемуазель Аманда.

Вдруг он заметил, что тут же стоит Биби Свиной Хрящ и читает афишу. Под глазом у Биби красовался здоровенный синяк,— верно, накануне кто-то угостил его кулаком.

— А где же Купо? — спросил шляпник, глядя по сторонам.— Неужто ты потерял Купо?

— Давным-давно потерял, еще со вчерашнего дня,— ответил тот.— Они затеяли драку, уходя от мамаши Баке... А я не люблю потасовок... Все вышло из-за официанта: он хотел дважды получить за одну и ту же бутылку... Тогда я удрал от них и завалился спать.

Он все еще позевывал, хотя и проспал десять часов подряд. Впрочем, Биби уже протрезвился, но вид имел ошалелый, а его старая куртка была вся в пуху: видно, он бухнулся в постель не раздеваясь.

— Так вы не знаете, где мой муж? — спросила прачка.

— Нет, понятия не имею... Было пять часов, когда мы ушли от мамаши Баке. Так-то... Верно, он пошел вниз по улице. Да, помнится, он забрел в кабачок «Бабочка» с каким-то извозчиком... Экие мы все дураки! Убить нас и то мало!

Лантье и Жервеза очень приятно провели время в кафешантане. В одиннадцать часов, когда концерт кончился, они не торопясь отправились в обратный путь. На улице было свежо, люди расходились кучками; в темноте, под деревьями, визгливо смеялись девушки,— видно, парни слишком рьяно заигрывали с ними. Лантье напевал сквозь зубы песенку мадемуазель Аманды: «Как щекотно мне в носу!» Взволнованная, слегка опьяневшая Жервеза подхватывала припев. Ей было очень жарко. К тому же два стаканчика вина, которые она выпила в кафе, табачный дым и

запах потных человеческих тел немного одурманили ее. Главное же, на нее произвела сильное впечатление мадемуазель Аманда. Никогда в жизни Жервеза не посмела бы так оголиться перед публикой. Но надо отдать ей справедливость, эта девица превосходно сложена, прямо завидки берут. И Жервеза с чувственным любопытством слушала Лантье, который рассказывал такие подробности о певице, будто он был с ней коротко знаком.

— Все уже спят,— проговорила Жервеза. Она позвонила три раза, однако у Бошей никто не шелохнулся.

Ворота открылись, но под аркой было темно. Когда же молодая женщина постучала в окно привратницкой и попросила свой ключ, г-жа Бош сонным голосом рассказала ей целую историю, в которой Жервеза сначала ничего не поняла. В конце концов она догадалась, что полицейский Пуассон привел Купо в неописуемом виде и что ключ, должно быть, торчит в замке.

— Ну и ну,— пробормотал Лантье, когда они вошли в комнату.— Что он тут натворил? Сущая зараза!

В самом деле, вонь стояла невообразимая. Жервеза, искавшая спички, шлепала по какой-то жидкой грязи. Наконец она зажгла свечу — хороша картина, нечего сказать! Кровельщика, как видно, вывернуло наизнанку: он заблевал всю комнату, изгадил постель, ковер, брызги долетели даже до комода. Сам Купо сполз с кровати, на которую его бросил Пуассон, и храпел на полу посреди собственной блевотины. Он вывалялся в ней, как боров, одна щека была сплошь измазана, из открытого рта вырывалось хриплое зловонное дыхание, седеющие волосы купались в широко растекшейся луже.

— Ну и свинья, экая свинья! — повторяла разгневанная, возмущенная Жервеза.— Все измарал... Да он хуже всякой собаки! Дохлый пес и то так не смердит.

Жервеза и Лантье боялись повернуться, не знали, куда ступить. Никогда еще кровельщик не был так пьян и не приводил комнату в такой ужасный вид. Понятно, что это зрелище навсегда отравило чувство, которое еще питала к нему жена. Прежде, когда он возвращался навеселе, под хмельком, она относилась к нему снисходительно, ей не было противно. Но сейчас это уж чересчур, прямо с души воротит. Она не дотронулась бы до него даже щипцами. От одной мысли, что придется коснуться этого гада, Жервезу охватило такое омерзение, словно ей предложили лечь рядом с разложившимся трупом.

— Надо же мне где-то спать,— прошептала она.— Неужто ночевать на улице?.. Уж я как-нибудь перелезу через него.

Она попыталась перешагнуть через пьяного, но поскользнулась в луже и с трудом удержалась за край комода. К кровати невозможно было подойти. Тогда Лантье, усмехаясь при мысли,

что ей не спать в эту ночь в своей постели, сжал руку молодой женщины и страстно прошептал:

— Жервеза... Послушай, Жервеза...

Она поняла, вырвалась от него и в замешательстве тоже обратилась к нему на «ты», как в прежние времена:

— Нет-нет, оставь меня... Прошу тебя, Огюст, ступай к себе. Я устроюсь, я заберусь на кровать через спинку...

— Полно, Жервеза, не дури,— твердил он.— Здесь такая вонища, тебе все равно не уснуть... Идем. Чего ты боишься? Он нас не услышит, где ему!

Она отбивалась изо всех сил, отрицательно трясла головой. Растерявшись и желая показать, что она никуда не пойдет, Жервеза начала раздеваться, бросила свое шелковое платье на стул и осталась в рубашке и нижней юбке — белокожая, с обнаженной шеей и руками. Ведь это ее постель? Она хочет спать в своей постели. Дважды она пыталась выбрать чистое местечко, чтобы добраться до кровати. Но Лантье не отставал, он обнимал Жервезу за талию и что-то шептал, стараясь ее распалить. Ну и положение: с одной стороны — негодяй муж, который не дает ей честно улечься в собственную постель, а с другой стороны — этот наглец, который только и думает, как бы воспользоваться ее безвыходным положением и снова овладеть ею. Лантье повысил голос. Она испуганно попросила его замолчать и стала прислушиваться, не проснулась ли Нана или мамаша Купо. Но девочка и старуха, видимо, спали: слышно было лишь их ровное дыхание.

— Оставь меня, Огюст, ты их разбудишь,— говорила она, умоляюще сложив руки.— Перестань, прошу тебя. В другой раз, не здесь... Не при моей дочери...

Он умолк, продолжая улыбаться, затем медленно нагнулся и поцеловал Жервезу в ухо, как он это делал прежде, чтобы раззадорить ее и опьянить. Тут силы покинули ее, голова пошла кругом, по телу пробежала дрожь. И все же она сделала еще один шаг, но тут же отскочила: возле кровати вонь была невыносимой, от отвращения Жервезу того и гляди вырвало бы прямо на одеяло. Мертвецки пьяный Купо спал беспробудным сном, рот у него был перекошен, тело неподвижно, как труп. Да приди сюда хоть весь город, чтобы облапить его жену, он и то не шелохнулся бы.

— Ну что ж, тем хуже,— лепетала она.— Он сам виноват, не могу я... Боже мой, боже мой, он не пускает меня в собственную постель... Мне некуда деться. Нет, я не могу, он сам виноват...

Она дрожала, она теряла голову. И в то время, как Лантье толкал ее к своей спальне, в переплете застекленной двери показалось заспанное личико Нана. Девочка только что проснулась и тихонько в одной рубашке соскочила с кровати. Она посмотрела на отца, валявшегося в собственной блевотине, затем прижалась но-

сом к стеклу и стояла так до тех пор, пока нижняя юбка матери не исчезла в комнате чужого мужчины. Лицо Нана было серьезно. В ее широко открытых глазах порочной девчонки светилось нездоровое любопытство.

IX

В эту зиму мамаша Купо так задыхалась, что чуть было не отправилась на тот свет. Каждый год в декабре приступ астмы валил ее с ног, и она проводила две-три недели в кровати. Что поделаешь, ей уже не двадцать лет: на святого Антония стукнет ровно семьдесят три. Старуха совсем одряхлела и, хотя оставалась гладкой и жирной, раскисала от всякого пустяка. Врач говорил, что кашель задушит ее и она разом помрет, слова вымолвить и то не успеет.

Когда мамаша Купо была прикована к постели, она становилась злой, как ведьма. Надо сознаться, что комнатка, где она жила с Нана, была отнюдь не из веселых. Между кроватями едва умещались два стула. Серые выцветшие обои висели клочьями. В круглое оконце под потолком проникал лишь тусклый сумеречный свет. Как не состариться в этой конуре, особенно если человеку и дышать-то нечем? Ночью еще куда ни шло: если мамаше Купо не спалось, она прислушивалась к дыханию спящей Нана, и это ее развлекало. Но днем никто подолгу не сидел со старухой, и, лежа в полном одиночестве, она ворчала, плакала, металась.

— Боже мой, экая я несчастная!.. Боже мой, экая я несчастная! — твердила она.— Засадили меня сюда, как в тюрьму, и уморят здесь, право, уморят!

Как только кто-нибудь заходил ее проведать, будь то Виржини или г-жа Бош, старуха не отвечала на вопросы о здоровье, а с места в карьер принималась жаловаться:

— Да, горек хлеб, который я ем! У чужих мне и то было бы лучше! Верите ли, я попросила чашечку липового чая, а они что сделали? Принесли мне полный кувшин, и все неспроста — хотели попрекнуть, что я слишком много пью. Ведь это я воспитала Нана, а девчонка удирает чуть свет босиком — только ее и видели. Можно подумать, что от меня воняет. А ночью она дрыхнет без задних ног и хоть бы разочек спросила, не нужно ли мне чего?.. Видно, я им в тягость, они ждут не дождутся, когда я подохну. Ох, недолго им осталось ждать! Нет у меня больше сына: эта мерзавка отняла его. Небось она заколотила бы меня до смерти, отравила бы, да только суда боится.

И правда, Жервеза бывала порой резковата. Дела шли из рук вон плохо, в семье все стали раздражительны и по всякому пу-

стяку посылали друг друга к черту. Однажды утром, когда у Купо голова трещала с перепоя, он воскликнул:

— Старуха-то все помирать собирается, да никак не помрет!

Эти слова поразили мамашу Купо в самое сердце. Она постоянно слышала попреки, и родные преспокойно говорили, что без нее всем жилось бы гораздо легче: ведь прокормить ее стоит не дешево. Надо сознаться, старуха тоже вела себя не так, как надо. Она плакалась старшей дочери на свою жизнь, говорила, будто сын и невестка морят ее голодом, и, выклянчив у г-жи Лера двадцать су, тратила их на сласти. Она разводила сплетни с Лорийе и рассказывала, будто их десять франков уходят на всякие глупые прихоти, на новые чепчики, на пирожные — Хромуша поедает их втихомолку — и на такие пакости, о которых и говорить-то стыдно. Раза два или три родственники чуть было не передрались из-за нее. Она вечно натравливала одних на других. Словом, это была не жизнь, а мученье.

Как-то вечером, когда мамаше Купо было особенно худо, г-жа Лорийе и г-жа Лера пришли ее проведать; старуха мигнула, чтобы они наклонились: она едва могла говорить.

— Ну и дела,— прошептала она через силу.— Я слышала их сегодня ночью. Да, да, Хромушу и шляпника... Какую возню они подняли! Ну и болван Купо. Тьфу, гадость какая!

Она рассказала, задыхаясь и кашляя, что накануне сынок, видно, вернулся домой вдребезги пьяный. Она не спала и ясно слышала каждый шорох: как Хромуша шлепала босыми ногами по полу, как шляпник звал ее шепотом, как заскрипела дверь в спальню Лантье и все прочее. Они, должно быть, угомонились лишь под утро, бог знает в котором часу: сколько она ни крепилась, а все же под конец задремала.

— Хуже всего, что Нана могла их услышать,— продолжала старуха.— Всегда она спит как убитая, а тут всю ночь вскакивала и вертелась, будто на горячих углях.

Обе женщины, казалось, нисколько не были удивлены.

— Ей-ей, они снюхались с первого же дня...— прошептала г-жа Лорийе.— Ну что ж, если Купо смотрит сквозь пальцы, нам незачем вмешиваться. Но это срам для всей семьи.

— Будь я на вашем месте, мамаша,— проговорила г-жа Лера, поджимая губы,— я бы напугала ее, крикнула бы что-нибудь, например: «Вижу, все вижу!» или «Полиция!» Прислуга одного доктора слыхала от хозяина, будто в такую минуту испуг может убить женщину. Вот было бы ловко, если бы Хромуша умерла на том самом месте, где согрешила,— право, она была бы наказана по заслугам!

Вскоре вся улица узнала, что Жервеза каждую ночь ходит к Лантье. Болтая с соседками, г-жа Лорийе визжала от негодова-

ния; она жалела брата, этого дуралея, которому Хромуша без зазрения совести наставляет рога; послушать г-жу Лорийе, так она ходит в этот вертеп только ради своей несчастной матери, которой приходится жить среди такого безобразия. И вся улица обрушилась на Жервезу. Уж конечно она виновата, она сама развратила шляпника. Это сразу видно по ее глазам. Да, несмотря на пересуды, пройдоха Лантье вышел сухим из воды, а все потому, что он держался как порядочный человек, степенно разгуливал по улицам, читал газеты, был всегда любезен, предупредителен и подносил дамам цветы и конфеты. Бог мой! Мужчина что петух: от него нельзя требовать, чтобы он гнал от себя баб, которые сами вешаются ему на шею. Но для Хромуши нет оправданий, она позорит всю улицу Гут-д'Ор. И супруги Лорийе, как крестные Нана, зазывали к себе девчонку, чтобы выведать у нее кое-какие подробности. Когда они обиняком расспрашивали ее, Нана прикидывалась дурочкой и опускала длинные ресницы, чтобы скрыть лукавый огонек, вспыхивающий в ее глазах.

Несмотря на всеобщее возмущение, Жервеза жила спокойно, только казалась немного усталой и как будто сонной. Вначале она чувствовала себя настоящей дрянью,— право, она не достойна прощения, взглянуть на себя и то противно. Выйдя из спальни шляпника, она мыла руки и, намочив тряпку, до боли терла плечи, как будто старалась смыть грязь. Если в такую минуту на Купо находило желание побаловаться, она сердилась и, дрожа от холода, убегала в прачечную одеваться. Она не выносила также, чтобы Лантье прикасался к ней после того, как ее обнимал муж. Меняя мужчин, она хотела бы менять и кожу. Но мало-помалу она ко всему привыкла. Мыться каждый раз было слишком утомительно. Лень расслабляла ее, потребность счастья заставляла во всем искать хоть каплю радости, даже в неприятностях. Она была снисходительна к себе и к другим и пыталась так все уладить, чтобы никто особенно не огорчался. Если муж и любовник не ссорятся, если дома все идет своим чередом, если с утра до ночи слышатся смех и шутки, если все вокруг сыты, довольны и живут себе припеваючи, то, право, не на что жаловаться. Видно, ее вина не так уж велика, раз все уладилось: ведь дурные поступки всегда бывают наказаны. И понемногу распутство вошло у нее в привычку, теперь оно стало чем-то обыденным, как питье и еда. Стоило Купо вернуться пьяным, она шла к Лантье, что случалось по крайней мере три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу. Жервеза делила ночи между двумя мужчинами. Вскоре она стала уходить от мужа, даже если тот слишком громко храпел, и преспокойно отсыпалась на подушке соседа. Нельзя сказать, чтобы шляпник ей как-то особенно нравился. Нет, просто она находила, что он опрятнее Купо, лучше отдыхала в его ком-

нате и, проведя там ночь, чувствовала себя освеженной, точно после купанья. Словом, она была похожа на кошку, которая любит спать, свернувшись клубочком на чистом белье.

Мамаша Купо ни разу не посмела открыто говорить с Жервезой об этих делах. Но когда они ссорились и Жервеза ругала свекровь, старуха не скупилась на намеки. Она шипела, что бывают на свете дураки мужья и мерзавки жены, и прибавляла словечки похлеще: в выражениях старуха не стеснялась. Первое время Жервеза только пристально смотрела на нее и ничего не отвечала. Затем, тоже избегая говорить напрямик, стала оправдываться, никого, впрочем, не называя. Если у женщины муж пьяница, который как свинья валяется в дерьме, то ей простительно искать на стороне кого-нибудь почище. Она шла еще дальше и давала понять, что Лантье ей такой же муж, как Купо, он даже имеет на нее больше прав. Разве она не сошлась с ним четырнадцати лет от роду? Разве не прижила с ним двоих детей? А если так, ей все можно простить, и никто не осмелится бросить в нее камень. Против природы не пойдешь. И пусть лучше оставят ее в покое, а то она не постесняется любого вывести на чистую воду. Про улицу Гут-д'Ор есть что порассказать! Толстуха Вигуру с утра до ночи распутничает в своей лавке. Г-жа Леонгр, жена бакалейщика, спит со своим деверем, тощим слюнтяем, до которого и дотронуться-то противно! Ну, а часовщик из мастерской напротив, такой приличный на вид господин, а ведь чуть под суд не угодил за настоящую мерзость: он путался с собственной дочерью, бесстыдницей, которая шляется по бульварам. И Жервеза широким жестом обводила весь квартал Гут-д'Ор: да ей и суток не хватит, если она вздумает перетряхивать грязное белье соседей! Отцы, матери, дети — все спят вповалку как скоты, того и гляди задохнутся от собственной вони. Уж ей ли не знать об этом! Гниль сочится отовсюду и отравляет все вокруг! Да, да, нечего сказать, хороши и мужчины и женщины в этом гиблом углу Парижа — из-за нищеты они все живут здесь друг у дружки на голове!.. Если истолочь их в одной ступе, путного ничего не получится, зато навозу будет сколько угодно — хватит на все вишневые сады Сен-Дени.

— Не тронь дерьма — сам провоняешь! — кричала Жервеза, когда ее выводили из себя.— Каждый живет по-своему, разве не так?.. Коли не хотите, чтобы вам мешали, не суйте нос в чужие дела. По мне все хороши, но я не позволю, чтобы меня обливали грязью люди, которые сами по уши сидят в грязи.

Как-то мамаша Купо высказалась яснее обычного, и Жервеза процедила сквозь зубы:

— Вы больны и пользуетесь этим... Только зря так делаете! Послушайте, я не докучаю вам, ни разу не попрекнула вас за про-

шлое! А ведь и мне кое-что известно. Еще при жизни папаши Купо у вас были любовники, не то двое, не то трое. И нечего кряхтеть, я больше ничего не скажу. Но лучше оставьте меня в покое, так-то!

Старуха чуть не задохнулась. На другой день Гуже пришел за бельем, когда Жервезы не было дома; мамаша Купо зазвала его к себе и долго не отпускала. Она знала, что кузнец сохнет по Жервезе, видела, что в последнее время он ходит унылый и мрачный,— должно быть, подозревает, что творится у них в доме. И чтобы отвести душу, чтобы отомстить за вчерашнюю обиду, старуха без обиняков выложила ему все начистоту, плача и жалуясь, словно дурное поведение Жервезы и впрямь ее огорчало. Выйдя из комнаты старухи, Гуже хватался за стены: его шатало от горя. Едва Жервеза вернулась, мамаша Купо крикнула ей, что г-жа Гуже требует немедленно свое белье, пусть принесут его даже неглаженым. Старуха была так возбуждена, что Жервеза почуяла недоброе, догадалась о том, что произошло, и поняла, какое унижение ее ожидает.

Чувствуя, что руки и ноги у нее отнимаются, сильно побледнев, Жервеза поспешно сложила белье в корзину и ушла. За все эти годы она не вернула Гуже ни сантима. Ее долг по-прежнему составлял четыреста двадцать пять франков. И под предлогом безденежья она каждый раз брала с г-жи Гуже деньги за стирку. Ей было стыдно, очень стыдно: выходит, она пользуется расположением кузнеца и дурачит его. Купо, уже не такой щепетильный, как прежде, только посмеивался; он говорил, что кузнец, верно, не раз тискал ее втихомолку, а коли так, значит, они с ним квиты. Но хотя Жервеза и опустилась до связи с Лантье, слова мужа глубоко возмущали ее, и она спрашивала, неужели он согласен есть хлеб, доставшийся такой ценой? При ней нельзя было плохо отзываться о Гуже: привязанность к нему была как бы последней опорой ее порядочности. Поэтому всякий раз, когда Жервеза относила белье этим славным людям, сердце у нее замирало, едва она подходила к их лестнице.

— Это вы? Наконец-то! — сухо сказала г-жа Гуже, открывая ей дверь.— Вас хорошо за смертью посылать.

Жервеза была смущена, она даже не смела извиняться. Что правда, то правда, она уже не такая аккуратная, как прежде, никогда не приносит белье вовремя, а порой запаздывает чуть не на неделю,— и с каждым днем становится безалабернее.

— Я жду вас уже целую неделю,— продолжала кружевница.— А вы еще лжете, посылаете мне свою ученицу, и та плетет всякий вздор: либо мое белье почти готово и его принесут к вечеру, либо вышла неприятность — белье упало в воду. Я же теряю время, жду, ломаю себе голову. Нет, так не поступают... Ну, что у

вас в корзине? Надеюсь, здесь все? И две простыни, что вы держите уже целый месяц, и рубашка, оставшаяся от прошлой стирки?

— Да, да,— пролепетала Жервеза,— рубашку я принесла. Вот она.

Но г-жа Гуже возмутилась. Это не ее рубашка, она такой не возьмет. Теперь уже и белье стали подменять. Дальше ехать некуда! На прошлой неделе ей подсунули два носовых платка с какой-то неизвестной меткой. Ей не нужно чужого белья! Словом, она хочет получить свои вещи, и все тут.

— А где же простыни? — спросила она.— Потеряли? Ну, голубушка, как хотите, а чтобы завтра утром они были у меня, слышите?

Наступило молчание. Жервеза совсем растерялась, тем более что за ее спиной — она чувствовала это — дверь в спальню Гуже была приоткрыта: кузнец, видно, дома. Как горько, если он слышит все эти заслуженные упреки, на которые ей и возразить-то нечего. Она старалась быть как можно уступчивее, любезнее и, опустив голову, торопливо выкладывала белье на кровать. Но дело пошло еще хуже, когда г-жа Гуже стала внимательно рассматривать каждую вещь. Она перебирала белье штуку за штукой и, отбрасывая в сторону, говорила:

— Вы совсем разучились стирать! Да, теперь вас хвалить не за что... Вы просто портите, гадите белье... Полюбуйтесь-ка на эту рубашку: весь перед сожжен, вот желтые полосы от утюга. А пуговицы? Все вырваны с мясом. Не понимаю, как это вы умудряетесь, но после вас никогда не остается ни одной пуговицы... Ну, а за эту кофту я вам и платить не стану. Поглядите, грязь так и осталась, вы только размазали ее. Благодарю покорно за такую стирку...

Госпожа Гуже замолчала и стала пересчитывать белье.

— Как! И это все? — воскликнула она.— Недостает двух пар чулок, шести салфеток, скатерти и тряпок... Да вы смеетесь надо мной! Я велела вам вернуть все мое белье, даже неглаженое. Если через час ваша ученица не принесет мне остального, мы поссоримся, госпожа Купо, предупреждаю вас.

В эту минуту из спальни послышался кашель Гуже. Жервеза вздрогнула. Боже, как ее осрамили перед ним! И, сконфуженная, расстроенная, она осталась стоять посреди комнаты, в ожидании грязного белья. Но, закончив счет, г-жа Гуже спокойно уселась у окна и вновь принялась за починку кружевной шали.

— А белье? — робко спросила прачка.

— Нет уж, спасибо,— ответила г-жа Гуже,— на этой неделе ничего не будет.

Жервеза побелела. Значит, ей отказывают в работе. Тут она

окончательно смешалась, ноги у нее подкосились, и она упала на стул. Она не стала оправдываться и только спросила:

— А что, разве господин Гуже болен?

— Да, ему нездоровится, он вернулся с фабрики и прилег отдохнуть.

Госпожа Гуже говорила степенно, с достоинством; на ней, как всегда, было черное платье, и чепец по-монашески обрамлял ее бледное лицо. Заработную плату гвоздарей опять снизили; они получают уже не девять, а только семь франков в день, потому что новые машины выполняют теперь бо́льшую часть работы. И старушка прибавила, что ей приходится экономить на всем: отныне она будет стирать сама. Конечно, было бы очень кстати, если бы Купо вернули деньги, взятые взаймы у ее сына. Но раз они не могут заплатить, ничего не поделаешь, она не собирается подавать на них в суд. Как только г-жа Гуже заговорила о долге, Жервеза потупилась и, казалось, стала внимательно следить за проворным движением крючка, нанизывавшего петли.

— А ведь сократи вы немного свои расходы, вы сумели бы расплатиться,— продолжала кружевница.— Сознайтесь, вы не жалеете денег на еду и много тратите зря, я уверена... Давали бы вы нам хоть десять франков в месяц...

Ее прервал Гуже.

— Мама! Мама! — позвал он из своей комнаты.

Она вышла, почти тотчас вернулась назад и, опять усевшись у окна, переменила разговор. Видно, кузнец попросил ее не требовать денег с Жервезы. Но не прошло и пяти минут, как она не удержалась и снова заговорила о долге. Да, она давно это предвидела: кровельщик пропьет прачечную и доведет жену до беды. Если бы сын послушался ее, он ни за что не дал бы им взаймы этих пятисот франков. Теперь он был бы женат, и тоска не грызла бы его; кто знает, быть может, вся его жизнь вконец загублена? Она все больше раздражалась, говорила очень резко, явно обвиняя Жервезу в том, что они вместе с мужем одурачили ее простофилю сына. Да, есть женщины, которые лгут и притворяются годами, но дурное поведение не утаишь, рано или поздно оно выплывет наружу.

— Мама! Мама! — снова позвал Гуже, на этот раз более резко.

Госпожа Гуже вышла и, вернувшись, опять принялась за кружево.

— Зайдите к нему, он хочет вас видеть,— сказала она.

Жервеза не затворила за собой двери. Она вся дрожала от волнения: ведь это было равносильно признанию в их взаимном чувстве перед г-жой Гуже. Уютная комнатка с узкой кроватью и множеством картинок на стенах напоминала комнату пятнадца-

тилетнего подростка. Гуже, потрясенный рассказом мамаши Купо, лежал поверх одеяла, его огромное тело бессильно вытянулось, глаза покраснели, красивая светлая борода была еще мокра от слез. Видно, в припадке бешенства он яростно колотил своими увесистыми кулачищами по подушке, потому что из прорванной наволочки вылезал пух.

— Послушайте, мамаша не права,— сказал он чуть слышно.— Вы мне ничего не должны, я не хочу и говорить об этом.

Приподнявшись, он посмотрел на Жервезу. И тотчас же его глаза наполнились слезами.

— Вы больны, господин Гуже,— прошептала она.— Пожалуйста, скажите, что с вами?

— Спасибо, ничего. Вчера очень устал. Посплю немного, и пройдет.

Но тут он не выдержал и простонал:

— Боже мой! Боже мой! Как же это могло случиться, почему? Ведь вы поклялись мне. И вот случилось, случилось!.. Боже мой! Мне слишком тяжело, уходите!

И он сделал знак рукой, кротко умоляя ее уйти. Жервеза не подошла к кровати, она покорно вышла, отупевшая, не зная, что ему сказать в утешение. В соседней комнате она взяла свою корзину, но все еще медлила, стараясь найти какие-нибудь слова, и ничего не находила. Г-жа Гуже продолжала работать, не поднимая головы. Наконец она первая нарушила молчание:

— Ну что ж. до свиданья, пришлите мне белье. Потом рассчитаемся.

— Да, да, хорошо, до свиданья,— пробормотала Жервеза.

Она медленно затворила за собой дверь, бросив последний взгляд на эту чистенькую, тщательно прибранную квартирку, где как бы осталась частица ее порядочности. Она вернулась домой машинально, как корова, которая бредет в стойло по привычке, не различая дороги. Мамаша Купо сидела на стуле возле печки: в этот день она впервые встала с постели. Но Жервеза даже не упрекнула старуху: она чувствовала себя такой усталой, все кости у нее болели, словно ее избили; она думала, что жизнь слишком тяжела и хорошо бы подохнуть вот тут, на месте, да ведь самому-то не вырвать сердца из груди.

Теперь Жервезе было наплевать решительно на все. Что бы ни случилось, она лишь досадливо махала рукой и при каждой новой неприятности с еще большей жадностью наедалась по три раза в день — другого утешения у нее не было. Пусть прачечная развалится, ей все равно, только бы не остаться под обломками; она с радостью уйдет куда глаза глядят, даже без рубашки. И действительно, ее заведение разваливалось, не сразу, а постепенно, день за днем. Заказчики теряли терпение и переходили к другим

прачкам. Г-н Мадинье, мадемуазель Реманжу и даже Боши вернулись к г-же Фоконье, которая была гораздо аккуратнее Жервезы. Всем надоело по три недели требовать затерявшуюся пару чулок или получать сорочку с жирными пятнами, оставшимися с прошлого воскресенья. Жервеза не робела, она честила заказчиков на все корки и кричала им вслед: «Скатертью дорожка!» Да, она рада-радешенька, что не придется больше возиться с их грязью. Вся улица может отдавать белье другим прачкам — меньше заразы будет в доме, да и работы поубавится. А пока что у нее оставались только самые никудышные клиенты — потаскушки, никогда не платившие вовремя, неряхи, вроде г-жи Годрон, стирать на которых не бралась ни одна прачка на Новой улице: уж больно воняло от их белья. Прачечная Жервезы прогорала, ей пришлось рассчитать свою последнюю работницу — г-жу Пютуа; теперь она осталась одна с ученицей, косоглазой Огюстиной, которая с годами все больше глупела; но работы часто не хватало даже на двоих, и они часами сидели, сложа руки. Словом, разорение было полное. Надвигалась нищета.

Вслед за ленью и бедностью в дом, разумеется, пришла и неряшливость. Трудно было узнать нарядную небесно-голубую прачечную, которой Жервеза так гордилась когда-то. Витрину перестали мыть, и она сверху донизу была забрызгана проезжавшими экипажами. На латунной проволоке висели какие-то серые лохмотья, оставшиеся от заказчиц, умерших в больнице. Но еще плачевнее прачечная выглядела внутри: от сушившегося под потолком белья обои в стиле Помпадур отклеились и висели клочьями, как пропыленная паутина; чугунная печка, продырявленная кочергой, торчала в углу, точно куча железного лома в лавке старьевщика. За гладильным столом, казалось, пировал целый полк солдат: он был залит кофе и вином, измазан вареньем, покрыт масляными пятнами. В помещении стоял смешанный запах прокисшего крахмала, плесени, подгоревшего сала и грязных тряпок. Но Жервеза чувствовала себя здесь уютно. Она не замечала, что все кругом ветшает, она ко всему притерпелась, привыкла к дырявым обоям и пыльной витрине, привыкла и к тому, что ходит в рваной юбке и больше не моет шеи. Она с удовольствием купалась в этой грязи, словно отдыхала в теплом гнездышке. Пусть все идет прахом, пусть пыль заполняет щели и устилает прачечную бархатистым ковром, пусть жизнь в доме замирает среди сонной одури и лени — в этом было какое-то наслаждение, баюкавшее ее. Главное — спокойствие, а на остальное начхать! Долги неизменно росли, но это ее уже не тревожило. Она понемногу теряла всякий стыд; заплатит она или не заплатит, бог весть,— лучше не думать об этом. Если ей отказывали в кредите в какой-нибудь лавке, она обращалась в соседнюю. Она задолжала всему

кварталу, на каждом шагу натыкалась на кредиторов, от которых убегала сломя голову. На одной только улице Гут-д'Ор Жервеза уже не смела проходить мимо угольщика, мимо бакалейщика и зеленщицы; если она шла стирать белье, то делала большой крюк по улице Пуассонье, что отнимало добрых десять минут. Теперь лавочники нередко ругали ее, обзывали мошенницей. Как-то вечером торговец, продавший мебель Лантье, поднял такой крик, что сбежались соседи; он грозил задрать Жервезе юбку и взять свой долг натурой, коли она не раскошелится. Конечно, после таких сцен она дрожала от волнения, но тут же встряхивалась, как побитая собачонка, и забывала о неприятности, а вечером обжиралась за троих. Ну и нахалы, чего они к ней привязались? Нет у нее денег, и все тут, прикажете ей самой чеканить монеты? Торговцы и так изрядно воруют, могут подождать, пока им заплатят. И она вновь погружалась в спячку, стараясь не думать о том, что неизбежно случится не сегодня завтра. Вот тогда она и решит, что делать, а теперь пусть к ней не пристают.

Между тем мамаша Купо поправилась. Прачечная кое-как продержалась еще год. Летом обычно было побольше работы: гулящие девки с внешних бульваров несли в стирку белые нижние юбки и перкалевые платья. Но, в общем, дела шли из рук вон плохо, и вся семья катилась под гору; правда, день на день не приходился — иной раз в животе урчало от голода, а иной раз в доме обжирались жареной телятиной. Теперь по улице постоянно шныряла мамаша Купо: пряча какой-то сверток под передником, она делала вид, что гуляет, а на самом деле спешила в ломбард на улицу Полонсо. Она шла, ссутулившись, с елейным и смиренным видом святоши, семенящей к обедне. В сущности, она любила такие делишки, ей нравилось возиться с деньгами, торговаться, и продажа старья была по нутру этой заядлой сплетнице. Служащие ломбарда прекрасно знали ее; они прозвали старуху «Мамаша — дай четыре»: стоило дать ей три франка за сверток величиной с кулачок, как она тут же запрашивала четыре. Жервеза готова была разбазарить весь дом; ее обуяла страсть закладывать, она остриглась бы наголо, если б волосы принимали в залог. Ведь так удобно сбегать на улицу Полонсо за разменной монетой, когда не на что купить четырехфунтовый хлеб. Мало-помалу весь домашний скарб перекочевал в ломбард — белье, одежда, даже мебель и рабочий инструмент. Сначала Жервеза пользовалась каждым подвернувшимся заработком и выкупала свои вещи, даром что через неделю их снова перезакладывала. Потом она плюнула на свое барахло и даже продала закладную. Раз только сердце ее сжалось от боли: в тот день ей пришлось отдать каминные часы, чтобы уплатить двадцать франков судебному исполнителю, пришедшему описывать их имущество. Ведь прежде

она клялась, что скорее с голоду помрет, чем расстанется со своими часами. И когда мамаша Купо унесла их в картонке из-под шляпы, Жервеза упала на стул, бессильно опустив руки, и заплакала, точно она лишилась чего-то очень дорогого. Но стоило мамаше Купо принести вместо двадцати целых двадцать пять франков, как эта неожиданная удача, эти лишние пять франков утешили ее; она тут же послала старуху купить на четыре су водки, чтобы спрыснуть монету в сто су. Теперь, когда обе женщины бывали в ладу, они частенько потягивали ликер или водку, примостившись на кончике гладильного стола. Мамаша Купо умела удивительно ловко пронести в кармане передника полный до краев стакан, ни капли не расплескав по дороге. К чему соседям знать об этом? На самом же деле соседи прекрасно все знали. Зеленщица, торговка потрохами и приказчики из бакалейной лавки говорили при виде мамаши Купо: «Гляди-ка, старуха понесла вещи в заклад» или же: «Гляди-ка, старуха прячет «ерша» в кармане». И, разумеется, это еще больше восстанавливало соседей против Жервезы. Она только и делает, что лакает вино, и скоро, поди, пропьет и свое заведение. Да, да, еще немного, и от прачечной ничего не останется — как корова языком слизнет.

Несмотря на полный развал, Купо благоденствовал. Он чувствовал себя превосходно. Право же, этот пропойца только жирел от выпивки. Он много ел и посмеивался над тощим Лорийе, уверявшим, что водка губит человека; в ответ на эти глупости он хлопал себя по животу, чуть не лопавшемуся от жира и тугому, как барабан. Он выстукивал на нем марш забулдыг и пьяниц, да так здорово, так гулко, что ему позавидовал бы любой ярмарочный шарлатан. Но Лорийе, который никак не мог отрастить себе брюшко, говорил с досадой, что жир у Купо нездоровый. Эка важность! И кровельщик еще больше пил для бодрости. Его сильно поседевшие волосы стояли торчком. Лицо с обезьяньей челюстью побагровело, словно пропиталось вином. Но он по-прежнему был беззаботным весельчаком, и стоило жене заговорить о неприятностях, как он затыкал ей рот. Мужское ли это дело заниматься всякими пустяками? В доме нет хлеба? Его это не касается. Ему подавай жратву утром и вечером, и все тут! Когда же кровельщик месяцами ходил без работы, он становился еще требовательнее. Он все так же дружески хлопал Лантье по плечу. Должно быть, он не догадывался об измене жены; по крайней мере Боши, Пуассоны и другие соседи клялись всеми святыми, что он ничего не подозревает, иначе произошел бы дикий скандал. Но его родная сестра, г-жа Лера, с сомнением качала головой — иным мужьям даже нравится, если у жены есть хахаль. Однажды ночью, возвращаясь в темноте из спальни шляпника, Жервеза вдруг почувствовала, что кто-то шлепнул ее по мягкому месту; она похолоде-

ла от страха, но потом успокоилась, решив, что нечаянно стукнулась о кровать. Не мог же муж так шутить, так дразнить ее, это было бы просто ужасно.

Лантье тоже не хирел. Он очень следил за собой, постоянно измерял свою талию, опасаясь, как бы не пришлось распустить или затянуть пояс: он был вполне доволен собственной персоной и не хотел ни толстеть, ни худеть. И разборчив-то он был в еде потому, что вечно прикидывал, как скажется то или иное блюдо на объеме его живота. Даже когда в доме не было денег, он требовал яичницу, котлеты, иначе говоря, что-нибудь питательное и легкое. С тех пор как Лантье делил Жервезу с мужем, он считал себя полноправным членом семейства, подбирал оставленную на столе мелочь, командовал Жервезой, ворчал, бранился и, казалось, чувствовал себя больше хозяином, чем сам Купо. Словом, в доме было теперь два хозяина. И самозваный муж, тот, что был похитрее, первый подставлял тарелку, хватал куски пожирнее и вскоре все прибрал к рукам — жену, тещу, прачечную. Да, он снимал сливки с хозяйства Купо. И даже перестал церемониться при посторонних. Нана по-прежнему была его любимицей, потому что ему нравились хорошенькие девочки. Но он все меньше заботился об Этьене; мальчики, по его мнению, должны сами устраиваться в жизни. Когда кто-нибудь приходил к кровельщику, Лантье появлялся из задней комнаты в домашних туфлях, без пиджака, с недовольным видом супруга, которого оторвали от дела; и он разговаривал с посетителем вместо Купо, уверяя, что это все равно.

Жервезе приходилось несладко с двумя этими дармоедами. Слава богу, она не жаловалась на здоровье. Она тоже растолстела. Но иметь на руках двух мужей, ухаживать за ними, ублажать их было частенько свыше ее сил. Господи, и один-то муж вытягивает из тебя все жилы, а тут их двое! Хуже всего, что эти шельмецы прекрасно спелись; никогда-то они не повздорят, а по вечерам, после ужина, балагурят да пересмеиваются, положив локти на стол, и постоянно трутся друг о дружку, как похотливые коты,— вот-вот замурлыкают от удовольствия. Возвратившись домой не в духе, они оба набрасываются на Жервезу. Так ее растак! Вали на нее, такая кобылка все свезет! Их дружба лишь крепла от того, что они вместе орали на хозяйку. И боже упаси, если она осмелится огрызнуться. В первое время, когда один ругался, она взглядом умоляла другого замолвить за нее словечко. Только ничего из этого не выходило. В конце концов она совсем присмирела и безропотно сгибала свою толстую спину, понимая, что мужчинам приятно ее изводить,— уж больно она жирная и круглая, так и катается как шар. Ругатель Купо поносил ее самыми грубыми словами. Лантье, напротив, выражался изысканно

и откапывал такие словечки, которых нигде и не услышишь, но они еще больше обижали ее. К счастью, ко всему можно привыкнуть; ругань, несправедливые попреки уже ее не задевали, скользя по ее тонкой коже, как вода по клеенке. Она даже бывала довольна, когда мужчины сердились: в хорошие минуты они особенно докучали ей, все время вертелись под ногами, не давали даже чепчика выгладить спокойно. Они то и дело приставали к ней: дай им чего-нибудь вкусного, посоли, посахари, скажи «да», скажи «нет»,— словом, оба требовали, чтобы их нежили и холили, как малых ребят. К концу недели Жервеза прямо валилась с ног, голова у нее шла кругом, а глаза чуть на лоб не лезли. Такая жизнь может вконец измотать женщину.

Да, Купо и Лантье изматывали ее, именно изматывали; они жгли ее, точно свечу, с обоих концов. Понятно, кровельщик был неотесан, ему не хватало образования, зато шляпник слыл человеком образованным, вернее сказать, он щеголял своей образованностью, как нечистоплотные люди щеголяют крахмальной сорочкой, надетой на грязное тело. Однажды ночью Жервеза увидела сон: она стоит на краю колодца, Купо грубо толкает ее сзади, а Лантье щекочет, чтобы она поскорее бросилась вниз. Право, точь-в-точь как в жизни. Ну и попала же она в переплет! Нет ничего мудреного, если она опускается все ниже и ниже. Соседи не правы, укоряя ее в том, что она пошла по плохой дорожке: не ее это вина, а других. Порой, когда она задумывалась над своей жизнью, ее пробирала дрожь. Потом она утешалась, убеждая себя, что дело могло обернуться еще хуже. Лучше иметь двух мужей, чем, скажем, потерять обе руки. Жервеза считала, что все это довольно обычно,— сколько женщин живут так же, как она,— и старалась даже в этом положении найти хоть немного радости. Она не питала неприязни ни к Купо, ни к Лантье, и это показывало, какой она становилась добродушной и покладистой. В театре Гэте Жервеза однажды видела пьесу, в которой какая-то мерзавка возненавидела и отравила мужа из-за любовника, и она возмутилась: такие чувства были ей непонятны. Разве не разумнее жить всем троим в добром согласии? Нет, нет, эти глупости ни к чему! Они только портят и без того нелегкую жизнь. Словом, несмотря на долги, несмотря на надвигавшуюся нищету, Жервеза была бы вполне спокойна и довольна, если бы кровельщик и шляпник не так помыкали ею и меньше ее бранили.

К осени, увы, дела пошли еще хуже. Лантье уверял, будто худеет, и вечно ходил повесив нос. Он фыркал на все, брезгливо морщился при виде вареного картофеля: от этого месива, по его словам, у него бывает резь в животе. Из-за всяких пустяков вспыхивали ссоры, и все трое ожесточенно попрекали друг друга бедами, свалившимися им на голову; помириться же было не так

просто, и часто они расходились спать по своим углам с надутыми рожами. Когда не хватает корма, ослы ведь лягаются, правда? Лантье чуял недоброе; он выходил из себя, понимая, что прачечная прогорела, в доме пусто и близок день, когда ему придется сматывать удочки и подыскивать в другом месте стол и кров. А он так обжился здесь, так привык: все только и делали, что ублажали его. Настоящая земля обетованная, нигде ему не будет лучше. Разумеется, нельзя лопать за четверых и думать, что лакомые куски так и не убавятся. Лантье следовало бы злиться на свое собственное брюхо: что ни говори, он сам проел прачечную Жервезы. Но ему это и в голову не приходило; он сердился на других за то, что в первые же два года они всё умудрились пустить по ветру. Право, они недостаточно бережливы. И он орал, что Жервеза совсем не умеет хозяйничать. Черт возьми, что ж теперь будет? Друзья подводят его как раз в ту минуту, когда у него наклевывается превосходное место на фабрике — шесть тысяч франков жалованья! С такими деньгами они все зажили бы припеваючи.

Как-то раз, в декабре, им пришлось пообедать вприглядку. Корки хлеба и той не было. Лантье, очень мрачный, в последнее время с утра уходил из дому и слонялся по улицам в поисках уютного уголка, где можно всласть полакомиться. Иной раз он часами сидел у печки и о чем-то размышлял. Потом он вдруг воспылал нежностью к Пуассонам. Он уже не посмеивался над полицейским, не называл его Баденге и даже готов был согласиться, что император славный малый. Особенно же он расхваливал Виржини: она женщина толковая и прекрасно сумела бы вести дело, будь у нее собственное заведение. Он обхаживал их обоих, это бросалось в глаза. Порой можно было подумать, что он хочет перейти к ним на полный пансион. Но у него была не голова, а потайной ларчик, такого пройдоху не сразу раскусишь. Как-то Виржини сказала Лантье, что ей хотелось бы открыть лавочку, и он вьюном вился вокруг нее, уверяя, что это превосходная мысль. Да, г-жа Пуассон прямо создана для торговли — видная, приветливая, деятельная. Все пойдет у нее как по маслу. И деньги у них есть, ведь тетка уже давно оставила им наследство. Виржини совершенно права: много ли заработаешь шитьем платьев? Гораздо лучше иметь собственное дело. И Лантье приводил в пример торговок, которые богатеют на глазах,— взять хотя бы зеленщицу на углу или хозяйку посудной лавки с внешних бульваров; время сейчас самое подходящее, все раскупается, даже всякая заваль. Но Виржини колебалась: ей хотелось снять помещение где-нибудь поблизости, в том же квартале. Теперь Лантье частенько отводил ее в сторону и подолгу беседовал с ней вполголоса. Казалось, он что-то усиленно втолковывает Виржини, и она уже соглашается

и как будто поручает ему действовать. У них завелся какой-то секрет, они что-то замышляли, и это чувствовалось во всем — в намеках, многозначительных взглядах, рукопожатиях. И, жуя сухой хлеб вместе с супругами Купо, шляпник исподтишка наблюдал за обоими; он вновь стал очень разговорчив и оглушал их своими вечными жалобами. Окружающая нищета постоянно мозолила глаза Жервезе, так как шляпник без умолку говорил о ней. Он не о себе беспокоился, боже сохрани! Он готов подохнуть с голоду вместе с друзьями. Но надо же быть благоразумным и отдать себе ясный отчет, в какое положение они попали. Одним только лавочникам — булочнику, угольщику, бакалейщику и другим — они должны не меньше пятисот франков. Да и за квартиру не плачено за полгода — вот еще двести пятьдесят; домохозяин Мареско даже грозится выселить их, если до конца года долг не будет погашен. Наконец все вещи перекочевали в ломбард — скреби не скреби, а барахла даже на три франка не наберешь; разве что гвозди остались в стенах, зато гвоздей будет не меньше двух фунтов, по три су за фунт. Жервеза, обескураженная, подавленная суммой долга, сердилась и стучала кулаками по столу или плакала как дура. Однажды вечером она закричала вне себя:

— Завтра же сбегу отсюда!.. Только меня и видели... Лучше спать под забором, чем жить в вечном страхе.

— Гораздо разумнее передать кому-нибудь контракт, если найдется желающий...— ввернул Лантье.— Раз уж вы решили отказаться от прачечной.

— Хоть сейчас, хоть сию минуту!..— сказала она возбужденно.— Только бы развязаться с ней!

Тут шляпник показал себя человеком практичным. При передаче контракта можно, пожалуй, оговорить, что новые жильцы уплатят весь долг за квартиру. И он рискнул упомянуть о Пуассонах, заметив, что Виржини подыскивает себе магазин; может быть, это помещение ей подойдет. Помнится, она хотела найти именно такое. Но при имени Виржини хозяйка прачечной сразу остыла. Поживем — увидим, сгоряча все посылаешь к черту, а поразмыслишь — и поймешь, что это не так-то просто.

И отныне сколько Лантье ни скулил, Жервеза отвечала, что ей случалось жить и хуже, но она всегда выкручивалась. Какой прок, если она лишится прачечной? На что она будет существовать? Лучше опять нанять работниц и найти новых клиентов. Жервеза говорила все это для того, чтобы отделаться от Лантье, который внушал ей, что она запуталась в долгах, разорилась и теперь уже не выпутается. Но он допустил оплошность, еще раз упомянув о Виржини. Тут Жервеза вышла из себя. Нет, нет, ни за что! Она никогда не доверяла Виржини; если швея хочет заполучить прачечную, то лишь для того, чтобы унизить ее, Жер-

везу. Она скорее уступит свое заведение первой встречной, но только не этой дылде, не этой лицемерке, которая, верно, ждет не дождется ее разорения. Теперь ей все ясно! Она понимает, почему желтые искры вспыхивают в кошачьих глазах этой твари: Виржини затаила против нее злобу за порку в прачечной, она давно жаждет ей отомстить. Пусть лучше помалкивает, если не хочет, чтобы ее отлупили еще раз. Ждать долго не придется, может хоть сейчас задрать свою юбку! В ответ на этот поток брани Лантье прежде всего поставил Жервезу на место; он обозвал ее дурой, вздорной бабой, жандармом в юбке и так разошелся, что даже кровельщика выругал недотепой: зачем он позволяет жене оскорблять их общего друга? Но, сообразив, что резкостью можно все испортить, он поклялся никогда не соваться в чужие дела: благодарности от людей все равно не дождешься. И в самом деле, он больше не заговаривал о передаче контракта: видно, выжидал подходящего случая, чтобы вновь поднять этот вопрос и вырвать согласие у прачки.

Наступил январь, погода стояла отвратительная, сырая и холодная. Мамаша Купо кашляла и задыхалась весь декабрь, а после Крещения окончательно слегла. Так бывало каждую зиму. Стоило наступить холодам, и она уже знала, что захворает. Но в эту зиму все кругом говорили, что старуха выйдет из своей комнаты только ногами вперед. И в самом деле, мамаша Купо хрипела с присвистом, казалось, вот-вот окочурится, и хотя была по-прежнему гладкая и жирная, один глаз у нее уже не видел, а лицо свернуло на сторону. Понятно, у детей и в мыслях не было разделаться с ней, но она так долго скрипела и так мешала близким, что в глубине души они ждали ее смерти как избавления. Да и ей самой лучше умереть, ведь она отжила свой век. А когда человек отжил свой век, жалеть о нем не приходится. Позвали доктора, но он пришел только раз и больше не появлялся. Для очистки совести старуху поили липовым чаем. Время от времени кто-нибудь заходил посмотреть, жива ли она. Мамаша Купо так задыхалась, что уже не могла говорить, но своим уцелевшим глазом, живым и зорким, она пристально смотрела на окружающих; и многое можно было прочесть в ее взгляде: сожаление о прошедшей молодости, грусть о том, что родные хотят поскорее избавиться от нее, гнев на эту дрянную девчонку Нана, которая, уже не стесняясь, вскакивает ночью в одной рубашке и подглядывает за матерью через застекленную дверь.

В понедельник вечером Купо вернулся домой пьяней пьяна. С тех пор как мать была плоха, он находился в каком-то слезливом умилении. Когда он улегся и оглушительно захрапел, Жервеза в нерешительности еще некоторое время топталась по комнате. Обычно она проводила часть ночи около мамаши Купо.

Впрочем, Нана держалась молодцом, она не боялась спать возле старухи и обещала всех разбудить, как только та соберется помирать. В эту ночь девочка крепко спала; больная, казалось, задремала, и Жервеза сдалась на просьбы Лантье: он настойчиво звал ее отдохнуть у него в спальне. На всякий случай они поставили зажженную свечу на пол, за шкафом. Часа в три Жервеза вскочила с кровати, дрожа от беспричинного страха. Ей показалось, будто на нее повеяло ледяным холодом. Огарок свечи догорел, Жервеза натянула юбку в полной темноте, голова у нее кружилась, руки тряслись. Натыкаясь на мебель, она ощупью добралась до маленькой комнатки и только там зажгла лампу. Гнетущую ночную тишину нарушал лишь громкий храп кровельщика. Нана, лежа на спине, ровно дышала, приоткрыв пухлые губки. Жервеза опустила лампу, от которой на стене заплясали огромные тени, и осветила мамашу Купо. Лицо старухи побелело, голова свесилась набок, глаза были открыты. Мамаша Купо умерла.

Тихонько, даже не вскрикнув, похолодевшая от ужаса Жервеза на цыпочках вернулась в спальню Лантье. Он успел заснуть. Она наклонилась к нему и прошептала:

— Послушай, все кончено, она умерла...

Лантье никак не мог проснуться.

— Чего привязалась? — недовольно пробормотал он.— Ложись... Раз она умерла, все равно ничего не поделаешь.

Потом, приподнявшись на локте, он спросил:

— Который час?

— Три.

— Только три! Ложись поскорее. Не то простудишься... Утром видно будет.

Но она ничего не хотела слушать и поспешно одевалась. Тогда он вновь укутался в одеяло и, повернувшись к стене, стал проклинать женское упрямство. И почему ей так не терпится? Хочет поскорее объявить, что в доме покойник? Ничего в этом нет приятного, особенно ночью. Он был раздражен и боялся, что мрачные мысли помешают ему уснуть. Между тем Жервеза перенесла в комнату Купо все свои вещи, даже гребень и шпильки, села на стул и громко разрыдалась, уже не боясь, что ее застанут с шляпником. В сущности, она была привязана к мамаше Купо и теперь искренне горевала, хотя в первую минуту не почувствовала ничего, кроме испуга и досады: нашла же старуха время, чтобы отправиться на тот свет! Жервеза горько плакала одна в ночной тишине, а кровельщик продолжал храпеть; он ничего не слышал, жена звала его, трясла за плечи, но затем решила оставить в покое: если он проснется, с ним не оберешься хлопот. Войдя к покойнице, она увидела, что Нана сидит на кровати и трет глаза. Девочка все поняла и, вытянув шею, с жадным любо-

пытством уставилась на бабушку. Нана молчала, ей было немного страшно; она была удивлена и вместе с тем довольна: наконец она видит эту самую смерть, которую с нетерпением ждала уже два дня, как чего-то неприличного, на что запрещается смотреть детям. Она таращила свои кошачьи глаза, разглядывая белое лицо старухи, исхудавшее в предсмертных муках, и чувствовала, что по спине у нее пробегают мурашки, точь-в-точь как в те ночи, когда она стояла, прижавшись носом к стеклу, и подглядывала за тем, чего сопливым девчонкам видеть не полагается.

— Ну же, вставай,— тихо сказала мать.— Я не хочу, чтобы ты тут оставалась.

Нана нехотя слезла с кровати и вышла в соседнюю комнату, повернув голову и не сводя глаз с покойницы. Жервеза не знала, как быть, где уложить девочку до утра. Она уже решила одеть ее, как вдруг появился Лантье без пиджака, в туфлях на босу ногу; он так и не мог уснуть и даже немного стыдился своего поведения. Тут все сразу уладилось.

— Пусть ложится в мою постель,— прошептал он.— Там ей будет просторно.

Нана подняла на мать и на Лантье свои большие ясные глаза и прикинулась дурочкой, совсем как под Новый год, когда выпрашивала шоколадные конфеты. Уговаривать ее не пришлось, какое там! В одной рубашке она быстро засеменила, едва касаясь голыми ножками холодного пола, скользнула, как змейка, в еще теплую постель и вытянулась посредине, едва заметная под толстым одеялом. И всякий раз, входя в комнату, мать видела, что глаза Нана ярко блестят на неподвижном лице; девочка не спала, не шевелилась, щеки у нее раскраснелись, и казалось, она думает о чем-то своем.

Тем временем Лантье помог Жервезе обрядить мамашу Купо, а это было трудное дело: покойница весила немало. Никто бы не подумал, что у этой старухи такое жирное и белое тело. На нее надели чулки, белую нижнюю юбку, кофточку и чепец,— словом, лучшие из ее вещей. Купо продолжал храпеть на двух нотах — басовой, которая все понижалась, и дискантовой, постепенно повышавшейся; можно было подумать, что это звучит церковный орган в страстную пятницу. Когда покойница была обряжена и ее положили на кровати как подобает, Лантье выпил для бодрости стакан вина — сердце у него было не на месте. Жервеза шарила в комоде, отыскивая маленькое медное распятие, привезенное ею из Плассана; но тут она вспомнила, что мамаша Купо сама же продала его. Затем вместе с Лантье они затопили печку. Остаток ночи оба провели за бутылкой вина, сонные, недовольные друг другом, словно все это произошло по их вине.

На рассвете, часов в семь, Купо наконец проснулся. Узнав

горестную весть, он сперва не проронил ни слезинки, только забормотал что-то: ему почудилось, что над ним подшучивают. Потом он упал на колени, подполз к покойнице и принялся обнимать ее, ревя в три ручья, так что намочил простыню, которой утирал мокрое от слез лицо. Жервеза снова расплакалась, глубоко тронутая горем мужа, готовая простить ему прошлые обиды,— да, сердце у него доброе, лучше, чем она думала. Голова Купо трещала с перепоя, и это усиливало его отчаяние. Несмотря на то что кровельщик проспал десять часов подряд, хмель еще не соскочил с него, он ерошил всей пятерней волосы и еле ворочал языком. И хныкал, сжимая кулаки. Боже мой, боже мой! Бедная матушка, он так ее любил! И вот теперь ее не стало! Ох, как у него болит голова, это его доконает. Башку сжимает, словно в тисках, а тут еще сердце разрывается на части! Нет, судьба несправедлива, за что она так его покарала?

— Полно, крепись, старина,— сказал Лантье, поднимая приятеля.— Возьми себя в руки.

Он налил ему стакан вина, но Купо отказался пить.

— Что это со мной? Вкус во рту такой, будто я меди нажрался... Это все из-за матушки, только я ее увидел, сразу почувствовал вкус меди... Мама, боже мой, мама, мама...

Он опять заплакал, как малое дитя, но все же выпил вина, чтобы залить огонь, горевший у него внутри. Лантье вскоре удрал под предлогом, что надо уведомить родных и заявить о смерти в мэрию. Ему необходимо было проветриться. Он шел не спеша, курил папиросу и наслаждался резким утренним холодком. Выйдя от г-жи Лера, он даже забрел в кондитерскую, заказал чашку горячего кофе и с добрый час просидел за столиком, о чем-то размышляя.

К девяти часам вся родня собралась в прачечной, ставни которой в этот день так и не открывали. Лорийе даже не прослезился, он зашел на минутку и, потолкавшись среди родственников с подобающим случаю выражением лица, вернулся домой, где его ждал спешный заказ. Г-жа Лорийе и г-жа Лера обнимали Купо и Жервезу и усердно прикладывали платок к глазам, утирая скупые слезинки. Но, метнув быстрый взгляд на умершую, г-жа Лорийе вдруг повысила голос: слыханное ли дело, чтобы возле покойника ставили зажженную лампу? Нужны свечи! И Нана тотчас же послали купить пачку свечей потолще. Упаси бог умереть у Хромуши, она вас так обрядит, что просто срам. Вот дуреха, даже не знает, как подступиться к покойнику! Неужто в своей жизни она никого не хоронила? Г-жа Лера отправилась к соседкам, чтобы попросить у них распятие; но вместо маленького креста она притащила огромный крест черного дерева с картонным раскрашенным Христом; он закрыл всю грудь ма-

маши Купо и, казалось, придавил старуху своей тяжестью. Затем стали искать святой воды, но ее ни у кого не оказалось; Нана пришлось бежать с бутылкой в церковь. Комнатка сразу преобразилась: на маленьком столике горела свеча, а рядом, в стакане со святой водой, торчала веточка букса. Что ж, теперь и людей принять не стыдно — все выглядит вполне прилично. И в прачечной полукругом расставили стулья в ожидании посетителей.

Лантье вернулся только в одиннадцать часов. Он наводил справки в бюро похоронных процессий.

— Гроб стоит двенадцать франков,— сказал он.— Если хотите заказать панихиду, придется приплатить еще десять. Ну, а за катафалк платят в зависимости от того, чем он украшен.

— Все это лишнее,— прошептала г-жа Лорийе, с недоверием и беспокойством поглядывая на родных.— Ведь мы не вернем мамашу с того света. Можно ли так сорить деньгами!

— Вы правы, я того же мнения,— согласился шляпник.— Но на всякий случай я справился о ценах... Скажите, что вы желаете, и после обеда я все устрою.

Разговаривали шепотом в полумраке прачечной, сквозь закрытые ставни которой пробивался слабый дневной свет. Дверь в маленькую комнатку была широко открыта, и из нее веяло глубоким покоем смерти. Со двора долетал детский смех: там девочки водили хоровод, освещенные бледными лучами зимнего солнца. Вдруг послышался пронзительный голосок Нана, удравшей от Бошей, под присмотром которых ее оставили. Она командовала подружками, и множество каблуков четко отбивали дробь по каменным плитам, а слова песни звенели как разноголосый птичий гомон:

У нашего ослика
Копытце заболело.
Ему костыль хорошенький
Мадам купить велела,
А также башмаки, ки-ки,
А также башмаки!

Подождав немного, Жервеза сказала:

— Мы, понятно, не богаты, но должны все сделать как полагается. Что ж из того, что мамаша Купо нам ничего не оставила? Неужели мы закопаем ее в землю как собаку... Нет, надо отслужить панихиду и заказать приличный катафалк.

— А платить кто будет? — резко спросила г-жа Лорийе.— Только не мы — на прошлой неделе мы и так потерпели убытки; да и не вы — у вас ломаного гроша за душой не осталось... А уж кому, как не вам, следовало бы знать, куда заводит желание пустить пыль в глаза!

Обратились к Купо, но он только отмахнулся, пробормотал

что-то невразумительное и тут же снова заснул, прямо на стуле. Г-жа Лера обещала заплатить свою долю. Она была согласна с Жервезой: надо все сделать как полагается. Тогда обе женщины принялись высчитывать на клочке бумаги стоимость похорон; в итоге получилось франков девяносто, потому что после долгих препирательств решили заказать катафалк, украшенный узким ламбрекеном.

— Нас трое,— сказала в заключение прачка,— значит, с каждого придется по тридцати франков. Авось не разоримся.

Но тут г-жу Лорийе взорвало.

— С меня вы ни шиша не получите, слышите, ни шиша! Дело не в тридцати франках. Да будь у меня хоть сто тысяч, я ничего бы не пожалела, только бы воскресить мамашу... Но я не люблю, когда люди форсят. У вас есть прачечная, и вы привыкли задирать нос перед соседями. В этом мы вам не пособники. Мы не из таких... Делайте что угодно. Украшайте катафалк хоть перьями, если на то пошло.

— Мне от вас ничего не надо,— ответила в конце концов Жервеза.— Я готова себя продать, лишь бы совесть у меня была спокойна. Я кормила мамашу Купо без вашей помощи и похороню ее тоже без вас... Один раз я уже выложила вам всю правду: я кошек голодных подбираю, а уж вашу матушку и подавно не брошу.

Тут г-жа Лорийе заплакала, и Лантье пришлось успокаивать ее, не то она ушла бы домой. В комнате поднялся такой крик, что г-жа Лера начала громко шикать и прошла на цыпочках в соседнюю комнатку; там она с тревогой поглядела на покойницу, словно опасаясь, как бы та не очнулась и не услышала шум ссоры. В эту минуту дети во дворе опять запели, а визгливый голосок Нана заглушал все остальные голоса.

У нашего ослика
Животик заболел.
Ему набрюшник тепленький
Мосье купить велел,
А также башмаки, ки-ки,
А также башмаки!

— Боже мой, до чего же надоели эти девчонки со своим пением, всю душу вымотали,— сказала Жервеза, обращаясь к Лантье. Ее трясло как в лихорадке, и она чуть не плакала от горя и досады.— Да уймите же вы их, нашлепайте Нана и отведите ее к Бошам.

Госпожа Лера и г-жа Лорийе ушли завтракать, пообещав скоро вернуться. Супруги Купо сели за стол и через силу поели колбасы, опасаясь даже громко стукнуть вилкой. Они были подавлены, выбиты из колеи, казалось, бедная мамаша Купо нава-

лилась им на плечи и заполнила собой прачечную. Все в доме перевернулось вверх дном. С раннего утра близкие без толку суетились и чувствовали себя разбитыми, точно после попойки. Лантье тут же ушел в бюро похоронных процессий, захватив тридцать франков г-жи Лера и шестьдесят франков Купо, которые Жервеза заняла у кузнеца, прибежав к нему, словно помешанная, с непокрытой головой. После завтрака стали приходить соседки — их уже давно разбирало любопытство, они поднимали глаза к потолку, жалобно вздыхали и, проскользнув в комнатку мамаши Купо, крестясь, разглядывали покойницу и кропили ее святой водой; затем они усаживались в прачечной и без умолку болтали об умершей, часами повторяя одно и то же. Мадемуазель Реманжу заметила, что один глаз у нее приоткрыт, г-жа Годрон упрямо твердила, будто старуха удивительно сохранилась для своих лет, а г-жа Фоконье никак не могла опомниться от изумления: всего три дня назад мамаша Купо пила кофе с молоком, она это видела собственными глазами. Слов нет, умереть недолго: ведь смерть не за горами, а за плечами. К вечеру всей семье стало невмоготу. Когда покойник долго лежит в доме, становится невыносимо тяжело. Правительству следовало бы изменить закон о похоронах. Оставалось ждать еще целый вечер, целую ночь и целое утро — право, этому не будет конца! Когда слезы высыхают, горе переходит в раздражение, и становится трудно сдерживать себя. Мамаша Купо, немая, застывшая, казалось, занимала все больше места, и от этого гнета некуда было деться. Родственники, сами того не замечая, принимались за свои обычные дела и понемногу теряли почтение к умершей.

— Давайте перекусим все вместе,— предложила Жервеза г-же Лера и г-же Лорийе, когда они вернулись.— Нам слишком тоскливо одним, побудьте с нами.

Накрыли на гладильном столе. Смотря на тарелки, каждый вспоминал о пирах, которые здесь задавали. Вернулся домой Лантье. Пришел и Лорийе. Из кондитерской только что принесли пирог: Жервезе было не до стряпни. Едва все расселись, как явился Бош и сказал, что г-н Мареско просит разрешения войти. Домовладелец, очень важный, с огромным орденом в петлице, молча поклонился собравшимся и прямо прошел в маленькую комнатку, где преклонил колена. Человек он был набожный. Помолившись чинно, благоговейно, как священник, он осенил крестным знамением покойницу и окропил ее святой водой. Все присутствующие вышли из-за стола и стояли глубоко взволнованные. Покончив с делами благочестия, г-н Мареско вошел в прачечную и сказал супругам Купо:

— Я пришел получить свои деньги, вы мне должны за полгода. Можете уплатить?

— Нет, сударь, пока еще не можем,— пролепетала Жервеза, крайне раздосадованная тем, что разговор происходит при Лорийе.— Вы понимаете, у нас такое несчастье...

— Разумеется, разумеется, но ведь у каждого свои огорчения,— продолжал домовладелец, разводя своими огромными руками — руками бывшего рабочего.— Мне очень неприятно, но больше я ждать не могу. Если вы не уплатите за квартиру послезавтра, мне придется вас выселить.

На глазах у Жервезы выступили слезы, и она молча, с мольбой сложила руки. Решительно покачав большой шишковатой головой, г-н Мареско дал понять, что все просьбы бесполезны. К тому же грешно препираться у смертного одра. И он направился к выходу, пятясь от избытка благочестивых чувств.

— Извините, пожалуйста, что побеспокоил вас,— бормотал он.— Так послезавтра утром, не забудьте.

Проходя мимо комнатки мамаши Купо, он в последний раз почтил покойницу, преклонив колена перед широко открытой дверью.

Сначала закусывали наспех: как-то неловко было показать, что еда доставляет удовольствие. Но за десертом перестали торопиться: уж очень хотелось полакомиться вволю. Время от времени Жервеза или одна из ее золовок вставала из-за стола с полным ртом и, не выпуская салфетки, шла взглянуть, что делается рядом; когда же она возвращалась, дожевывая кусок, остальные смотрели на нее вопросительно, словно спрашивали, все ли там в порядке. Затем дамы стали утруждать себя все реже и реже, и о мамаше Купо вовсе забыли. Сварили целую кастрюлю очень крепкого кофе, чтобы легче было бодрствовать ночью. К восьми часам пришли Пуассоны. Их пригласили выпить по стакану кофейку. Тогда Лантье, все время наблюдавший за Жервезой, решил воспользоваться случаем, которого он ждал с самого утра. Разговор зашел как раз о свинстве домохозяев, которые приходят за деньгами, не считаясь с тем, что в доме покойник.

— Этакий ханжа, этакий мерзавец, а туда же, метит в святые!..— вдруг сказал Лантье.— На вашем месте я послал бы к черту — и его и эту лавочку!

Измученная, расстроенная Жервеза ответила в порыве досады:

— Еще бы, не ждать же прихода полиции... Ох, до чего мне все надоело, сил моих нет!

Лорийе, в восторге от того, что у Хромуши не будет больше собственной прачечной, горячо поддержали ее. Шутка ли, во что обходится такое заведение! Пусть на стороне Жервеза заработает не больше трех франков, зато расходов, да и риску будет меньше. И они пихали в бок Купо — должен же он втолковать это жене.

Но Купо очень много выпил, он совсем раскис и потихоньку всхлипывал, уткнувшись в свою тарелку. Заметив, что прачка готова сдаться, Лантье подмигнул Пуассонам. Тогда в разговор вмешалась дылда Виржини.

— Послушайте, мы могли бы договориться,— любезно предложила она.— Я заключу контракт на свое имя и улажу ваши дела с домохозяином... Все-таки вам будет спокойнее.

— Нет, спасибо,— вздрогнув, проговорила Жервеза, которая сразу одумалась.— Я добуду денег, если захочу. Стану работать. Слава богу, руки-ноги у меня есть, как-нибудь выкручусь.

— Поговорим об этом в другой раз,— торопливо сказал шляпник.— Сегодня неловко заниматься делами... Потолкуем хотя бы завтра.

Но тут из соседней комнаты донесся крик: г-жа Лера вышла взглянуть на мамашу Купо и очень испугалась, так как свеча, догорев, погасла. Все засуетились, стали зажигать новую, качая головами, твердя, что это дурная примета: нехорошо, когда возле покойника гаснет свет.

Началось ночное бдение. Купо прилег, вовсе не для того, чтобы спать, сказал он, а так, немного поразмыслить; однако через пять минут он уже храпел. Когда Нана решили отослать к Бошам, девочка разревелась: она еще с утра предвкушала удовольствие поспать в широкой мягкой постели своего доброго друга Лантье. Пуассоны пробыли до полуночи. В конце концов надумали выпить подогретого вина, приготовленного в салатнике на французский лад, а то кофе слишком действовал дамам на нервы. Разговор становился все задушевнее. Виржини заговорила о деревне: после смерти ей хотелось бы покоиться где-нибудь в лесу, и пусть на ее могиле растут полевые цветы. Г-жа Лера уже приготовила для себя саван и хранит его в шкафу вместе с букетиком лаванды: когда она заснет вечным сном, в гробу по крайней мере будет хорошо пахнуть. Тут без всякой видимой связи полицейский рассказал, что нынче утром он арестовал высокую красивую девку, совершившую кражу в колбасной. В участке ее обыскали и нашли десять колбас, висевших спереди и сзади прямо на голом теле. Г-жа Лорийе заявила брезгливо, что ни за какие блага не стала бы есть этой колбасы. Послышались смешки. Все оживились, хотя и старались соблюдать приличия.

Когда допивали подогретое вино, из маленькой комнатки донесся какой-то странный звук, как бы глухое журчание. Все подняли головы и переглянулись.

— Ничего, не волнуйтесь,— спокойно заметил Лантье, понизив голос.— Она опорожняется.

Это объяснение успокоило общество, и, кивнув головой, каждый поставил на стол пустой стакан.

Наконец Пуассоны распрощались. Лантье ушел вместе с ними: он собирался переночевать у приятеля, предоставив свою кровать в полное распоряжение дам,— они могут по очереди отдохнуть на ней часок-другой. Лорийе отправился спать один, говоря, что с ним этого еще не случалось со времени женитьбы. Оставшись со спящим Купо, Жервеза и обе ее золовки примостились возле печки, на которой стоял горячий кофе. Они съежились, пригнулись к огню и, сложив руки под фартуком, тихо беседовали среди окружающего их глубокого молчания. Г-жа Лорийе жаловалась: у нее нет черного платья для похорон, а покупать новое не хочется — они с мужем стеснены в средствах, очень стеснены. И она стала расспрашивать Жервезу, не осталось ли после мамаши Купо черной юбки, той самой, что ей подарили на именины. Жервезе пришлось сходить за юбкой: если ушить ее в поясе, то она еще может сойти. Затем г-жа Лорийе потребовала также мамашино белье, заговорила о кровати, шкафе, двух стульях, ища глазами всякую мелочь, которую можно было бы разделить. Тут они чуть не перессорились. Но г-жа Лера водворила порядок, она была справедливее сестры: раз Купо кормили мамашу, они и должны получить ее барахло. И все трое снова стали клевать носом у печки, разговаривая о том о сем. Ночи, казалось, не будет конца. Иногда, встряхнувшись, женщины пили кофе или заглядывали в соседнюю комнатку, где унылым красноватым светом горела свеча; снимать нагар не полагалось, и пламя то вспыхивало, то замирало. Несмотря на жарко натопленную печь, под утро женщины продрогли. Тоска сжимала сердце, они устали от болтовни, во рту у них пересохло, глаза покраснели. Г-жа Лера бросилась на кровать Лантье и захрапела басом, как мужчина. Жервеза и г-жа Лорийе задремали возле печки, уткнувшись головой в колени. На рассвете они проснулись, дрожа от холода. Свеча возле мамаши Купо опять погасла. И так как в темноте снова послышалось глухое журчание, г-жа Лорийе сказала громко, чтобы успокоить самое себя:

— Она опорожняется,— и зажгла другую свечу.

Вынос тела был назначен на половину одиннадцатого. Ну и утро им предстояло, да еще после бессонной ночи и вчерашнего томительного дня! Жервеза, у которой не было ни гроша за душой, с радостью отдала бы сто франков тому, кто согласился бы унести мамашу Купо на три часа раньше срока. Как ни дорог был человек, а после смерти он становится обузой, и чем больше его любили, тем скорее хочется от него избавиться.

Хорошо еще, что в день похорон горевать некогда: столько бывает хлопот и приготовлений! Прежде всего надо было подать завтрак. Потом пришел дядя Базуж, факельщик с седьмого эта-

жа; он принес гроб и мешок отрубей. Бедняга не успел протрезвиться; в восемь часов утра у него в голове еще бродил хмель после вчерашней попойки.

— Кажется, здесь заказывали? — спросил он и поставил у стены гроб, который затрещал, как трещит всякий только что сделанный ящик.

Но, увидев перед собой Жервезу, он бросил мешок с отрубями, выпучил глаза и разинул рот.

— Прошу прощения, видно, я ошибся,— пробормотал он.— Мне сказали, что это для вас.

Он уже хотел забрать свой мешок, но прачка закричала:

— Да нет же, это для нас!

— Как? Для вас? Надо пораскинуть мозгами! — сказал он, хлопая себя по лбу.— Ах да, понимаю, это для старухи...

Жервеза вся побелела. Оказывается, дядя Базуж принес гроб для нее. Он опять заговорил, стараясь быть любезным и загладить свою оплошность:

— Видите ли, еще вчера болтали, что кто-то умер в первом этаже. Ну, я и подумал... Ведь в нашем деле такие вести в одно ухо входят, в другое выходят... А я все-таки рад за вас. Чем позже, тем лучше, верно? Хотя, по правде сказать, в жизни мало веселого, ей-ей, мало!

Жервеза слушала его, а сама пятилась, как будто боялась, что он схватит ее грязными ручищами, запрячет в свой ящик и унесет. Однажды, в день свадьбы, он уже сказал ей, что знает женщин, которые были бы только благодарны, если бы он пришел за ними. Нет! Она еще не дошла до этого, при одной мысли о смерти мурашки бегают у нее по спине. Жизнь ее неладно обернулась, но она не хочет так рано расставаться с ней. Она согласна годами подыхать с голоду, только бы не умереть вот так, сразу.

— Он пьян,— прошептала она с отвращением и ужасом.— Контора могла бы не присылать пьянчуг. Кажется, немало с нас берут.

Тогда факельщик стал нахальничать и зубоскалить:

— Так, значит, матушка, отложим до другого раза? Всегда буду рад вам услужить. Только словечко скажите. Ведь я лучший дамский утешитель... А на дядюшку Базужа не надо плевать — в его руках побывали дамочки почище тебя, да и те не жаловались, что он укладывает их в гробик,— рады-радешеньки были отдохнуть в тиши.

— Замолчите, дядя Базуж! — строго сказал Лорийе, прибежавший на шум голосов.— Ваши шутки неуместны. Если мы пожалуемся, вас уволят... Немедленно уходите: вы не соблюдаете правил.

Факельщик ушел, но с улицы долго еще доносилось его бормотание:

— Какие там правила?! Нет никаких правил, нет их, и все тут... Есть только честность!

Наконец пробило десять. Катафалк, видно, запаздывал. В прачечной уже собрался народ: друзья и соседи, г-н Мадинье, Бурдюк, г-жа Годрон, мадемуазель Реманжу. Поминутно между створками ставен или в широко открытой двери появлялась чья-нибудь голова: все смотрели, не приехал ли наконец проклятый катафалк. Родственники, столпившиеся в маленькой комнатке, пожимали руки посетителям. Тишину то и дело нарушал торопливый шепот; лихорадочное нетерпение чувствовалось во всем — и в громком шелесте юбки г-жи Лорийе, забывшей где-то носовой платок, и в быстрых шагах г-жи Лера, искавшей, у кого бы взять молитвенник. Вновь прибывшие замечали прежде всего открытый гроб, стоявший посреди комнаты, перед кроватью; все невольно посматривали на него, прикидывая, что грузной мамаше Купо никак не поместиться в таком узком ящике, и молча переглядывались с этой затаенной мыслью в глазах, не смея высказать ее вслух. Вдруг у входной двери засуетились: появился г-н Мадинье и, подняв руку, торжественно объявил:

— Приехали!

Но это был еще не катафалк. Поспешно вошли друг за дружкой четверо факельщиков в черных обшарпанных сюртуках, побелевших в тех местах, где они терлись о гробы; у всех четверых были красные рожи и грубые руки ломовиков. Впереди выступал очень пьяный, но очень пристойный дядя Базуж: за работой к нему всегда возвращалось самообладание. Они не сказали ни слова и, слегка склонив голову, казалось, определяли на глаз, сколько может весить покойная мамаша Купо. Дело не затянулось, старуху упаковали в два счета. Самый щуплый из факельщиков, молоденький косоглазый паренек, высыпал в гроб мешок отрубей и разровнял их, уминая кулаком, словно тесто. Другой, высокий и тощий, весельчак с виду, постелил сверху простыню. И, не мешкая, все четверо разом взялись за покойницу, двое подхватили ее за ноги, двое — за голову. А затем раз-два — и готово! Блин и тот не перевернули бы скорее. Зрителям, с любопытством следившим за ними, показалось, что мамаша Купо сама прыгнула в ящик. Она улеглась в нем, как у себя дома, он пришелся ей впору, тютелька в тютельку, так что было слышно, как платье зашуршало о боковые стенки. Получился ни дать ни взять портрет в рамке. Хоть и впритык, а старуха все-таки поместилась в гробу, к удивлению всех окружающих,— видно, она ссохлась со вчерашнего дня. Между тем факельщики выпрямились и застыли в ожидании; косоглазый поднял крышку гроба,

как бы приглашая родных проститься с усопшей; дядя Базуж взял в рот несколько гвоздей и приготовил молоток. Тогда Купо, его сестры, Жервеза и другие бросились на колени и принялись целовать навеки покидавшую их мамашу; все плакали, и горячие слезы, падая на покойницу, катились по ее застывшему, холодному как лед лицу. Долго не смолкали рыдания. Крышка гроба опустилась; дядюшка Базуж начал забивать гвозди с ловкостью завзятого упаковщика: по два удара на гвоздь; поднялся такой грохот, словно чинили мебель, и он заглушил рыдания близких. Все было кончено. Пора и в путь.

— Ну можно ли задавать форсу в такую минуту! — сказала г-жа Лорийе мужу, заметив стоящие перед дверью похоронные дроги.

Катафалк взбудоражил всю улицу. Торговка потрохами переговаривалась с приказчиками из бакалейной лавки, щупленький часовщик выбежал на тротуар, соседи высовывались из окон. Только и было разговору, что о ламбрекене с белой бахромой. Эх, лучше бы Купо расплатились с долгами! Правы Лорийе — спесь не утаишь, она так и бьет в нос.

— Стыд и срам! — говорила тем временем Жервеза о золотых дел мастере и его жене.— Подумать только, эти скваыги букетик фиалок для матери и то пожалели.

В самом деле, супруги Лорийе пришли с пустыми руками. Г-жа Лера принесла венок из искусственных цветов. Кроме того, на гроб положили венок из бессмертников и букет, купленные четой Купо. Факельщикам пришлось поднатужиться, чтобы поднять гроб и установить его. Провожающие долго не могли построиться. Наконец траурная процессия двинулась. Первыми шли Купо и Лорийе, оба в сюртуках, держа шляпу в руке; кровельщик совсем ослабел от горя, а также от двух стаканов вина, выпитых натощак; он цеплялся за руку зятя, ноги у него подкашивались, голова трещала. За ними шествовали остальные мужчины — г-н Мадинье, степенный, весь в черном, Бурдюк в пальто, надетом поверх рабочей куртки, Бош в ярко-желтых брюках, привлекавших все взгляды, Лантье, Годрон, Биби Свиной Хрящ, Пуассон и другие. Потом следовали дамы: г-жа Лорийе в наскоро переделанной юбке покойницы, г-жа Лера, прикрывавшая шалью кофточку с неподобающей лиловой отделкой, а за ними — Виржини, г-жа Годрон, г-жа Фоконье, мадемуазель Реманжу и прочие. Похоронная процессия медленно двигалась по улице Гут-д'Ор; факельщики разделились: двое шли впереди, двое по бокам катафалка, при виде которого женщины крестились, а мужчины снимали шляпы. Жервеза задержалась, чтобы запереть прачечную. Потом, попросив г-жу Бош присмотреть за дочерью, она бегом догнала шествие; Нана, которую привратница дер-

жала за руку, стояла в подворотне и глядела во все глаза, как ее бабушка медленно удаляется по улице в красивом экипаже.

В ту самую минуту, когда запыхавшаяся прачка присоединилась к траурной процессии, появился Гуже. Он подошел к мужчинам, но тут же обернулся и кивнул Жервезе, да так приветливо, что она сразу почувствовала себя очень несчастной и снова разрыдалась. Жервеза оплакивала не только мамашу Купо,— она оплакивала другую, более страшную утрату, хотя и не могла сказать, какую именно, и все же огромная тяжесть лежала у нее на сердце. Всю дорогу она прижимала платок к глазам. Г-жа Лорийе не плакала, щеки у нее пылали, и она неодобрительно косилась на невестку, словно обвиняя ее в притворстве.

С отпеванием покончили в один миг, но обедня немного затянулась, так как священник был очень стар. Бурдюк и Биби Свиной Хрящ предпочли остаться на улице, чтобы не класть денег в кружку. Г-н Мадинье все время следил за службой и делился впечатлениями с Лантье: эти комедианты-священники так и сыплют латинскими словами, а сами даже не понимают, что говорят; в сердце у них нет ни капли чувства, им все равно — хоронить людей, женить их или крестить. Затем г-н Мадинье принялся поносить церковный ритуал — горящие свечи, заунывное пение, всю эту пышность, выставляемую напоказ перед родственниками. Право, выходит, что дважды теряешь близких: сначала дома, а потом в церкви. Мужчины согласились с ним, и действительно, по окончании обедни наступила тягостная минута, когда провожающие, бормоча молитвы, потянулись мимо гроба, кропя его святой водой. К счастью, кладбище было недалеко — маленькое кладбище предместья Ля Шапель, выходившее на улицу Маркаде. Траурная процессия добралась до него вразброд, люди шумели, беседовали о своих делах, топали ногами. Мерзлая земля звенела, так и хотелось попрыгать, чтобы согреться. Могила, возле которой поставили гроб, уже обледенела,— белая, бугристая, она напоминала каменоломню, и провожающие, столпившиеся возле куч вырытой земли, находили, что не очень-то весело стоять и ждать на таком морозе, глазея на эту зияющую яму. Наконец из соседнего домика вышел священник в облачении; он дрожал от холода, и при каждом «De profundis» [1] облачко пара вылетало у него изо рта. В последний раз осенив себя крестным знамением, он поспешно ушел: видно, у него не было никакого желания затягивать панихиду. Могильщик взялся за лопату, но земля так промерзла, что он отламывал огромные комья, которые, падая в глубину, бомбардировали крышку гроба;

---

[1] «Из глубины <воззвал>» *(лат.)*.

оглушительные раскаты следовали один за другим, казалось, гроб вот-вот разлетится на куски. Такая музыка даже у бесчувственного человека всю душу вымотает. Рыдания возобновились. Провожающие уже вышли на улицу, а эта канонада все еще преследовала их. Бурдюк, дуя на свои окоченевшие пальцы, проговорил вслух:

— Да, черт возьми! Бедной матушке Купо будет не слишком жарко!

— Милостивые государыни и вся честная компания,— обратился кровельщик к немногим друзьям, задержавшимся на улице вместе с родными покойницы.— Окажите нам честь и выпейте с нами чего-нибудь для подкрепления.

И он первый вошел в кабачок на улице Маркаде под вывеской «Приют страждущих». Жервеза остановилась у двери и окликнула Гуже. Он хотел было уйти, кивнув ей на прощание. Почему он не хочет выпить с ними стаканчик вина? Нет, он торопится, его ждут в кузнице. Тут они молча посмотрели друг другу в глаза.

— Простите меня за те шестьдесят франков,— прошептала наконец прачка.— Я совсем потеряла голову и сразу подумала о вас...

— Не стоит вспоминать об этом, я не сержусь,— перебил ее кузнец.— И знайте, если с вами случится беда, я всегда буду рад вам помочь... Только ничего не говорите матушке, у нее свои взгляды, а я не хочу ей перечить.

Жервеза все еще смотрела на Гуже, на его красивую светлую бороду, и, видя, какой он добрый и печальный, готова была принять давнишнее предложение кузнеца и уехать с ним куданибудь далеко-далеко, чтобы наконец быть счастливой. Но тут ей пришла в голову другая, низкая мысль — любой ценой занять у него денег, только бы расплатиться с домохозяином. И, дрожа от волненья, она спросила вкрадчиво:

— Ведь мы не в ссоре, правда?

Он покачал головой.

— Нет, конечно, мы никогда не поссоримся... Только, понимаете, теперь все кончено.

И он ушел, широко шагая. Жервеза осталась ошеломленная, прислушиваясь к этим последним словам, которые гудели у нее в ушах, как похоронный звон. И когда она входила в кабачок, внутренний голос нашептывал ей: «Все кончено, да, кончено, и мне больше нечего делать на свете, раз все кончено!» Она присела к столу, пожевала хлеба с сыром и залпом выпила полный стакан вина, случайно оказавшийся перед ней.

Кабачок помещался в первом этаже, это был длинный зал с низким потолком. На двух огромных столах стояли в ряд бу-

тылки, краюхи хлеба и три тарелки с большими треугольными кусками сыра бри. Компания закусывала на скорую руку, без скатерти и приборов. В глубине зала, около гудящей печки, угощались факельщики.

— Что поделаешь? — разглагольствовал г-н Мадинье.— Все там будем, кто раньше, а кто позже. Старики уступают место молодым... Когда вы придете домой, квартира покажется вам опустевшей.

— Брат хочет отказаться от квартиры,— поспешно вмешалась в разговор г-жа Лорийе.— Эта прачечная — сущее разорение.

Видно, родственники успели уломать Купо. Все твердили ему, что надо передать контракт. Даже г-жа Лера говорила о банкротстве и тюрьме, испуганно тараща глаза; она была в восторге от того, что у Лантье с Виржини завелась интрижка, и за последнее время очень подружилась с ними. Кровельщик сразу вскипел, его слезливое умиление, подогретое вином, перешло в неистовую ярость.

— Ах ты, чертова кукла! — заорал он в лицо жене.— Будешь ты меня слушаться или нет? Тебе хоть кол на голове теши — ты все свое. Но теперь будет по-моему, запомни это!

— Да разве ее уговоришь по-хорошему! — воскликнул Лантье.— Надо вбивать и вбивать в ее дурью башку, иначе ничего не втолкуешь.

И они вдвоем накинулись на Жервезу. Ругань никому не мешала подкрепляться. Сыр исчезал, вино текло рекой. Прачка понемногу сдавалась. Она ничего не отвечала, только торопливо запихивала в рот большие куски, словно была очень голодна. Когда Купо и Лантье устали драть глотку, она медленно подняла голову и проговорила:

— Ну хватит вам! Плевать мне на прачечную! Она мне не нужна... Понятно? Плевать мне на нее!.. Все кончено!..

Тогда потребовали еще сыру и хлеба, и разговор принял серьезный оборот. Пуассоны согласились переписать контракт на свое имя и дали поручительство за два просроченных платежа. От имени домохозяина Бош с важным видом одобрил эту сделку и тут же сдал Купо свободную квартиру на седьмом этаже, в одном коридоре с Лорийе. Что касается Лантье, ну что ж, он соглашался оставить за собой ту же комнату, если не стеснит Пуассонов. Полицейский отвесил поклон: разумеется, ему это нисколько не помешает, с друзьями всегда можно поладить, несмотря на различие политических убеждений. Лантье, обделавший наконец свое личное дельце, больше не стал вмешиваться в разговор; он отхватил себе огромный кусок хлеба с сыром и, откинувшись на спинку стула, с наслаждением жевал бутерброд; лицо его порозо-

вело от приятных мыслей, а глаза украдкой перебегали с Жервезы на Виржини.

— Эй, дядя Базуж! — позвал Купо.— Подите сюда, выпейте с нами. Мы люди не гордые, тоже рабочие.

Четверо факельщиков вернулись с порога и чокнулись со всей компанией. Не в обиду будь сказано, покойница была тяжеленька, они и впрямь заслужили по стаканчику вина. Дядя Базуж пристально смотрел на прачку, но держал язык за зубами. Жервезе стало не по себе, она ушла, оставив мужчин за выпивкой. Купо окончательно развезло, и он опять ударился в слезы, уверяя, что плачет от горя.

Придя вечером домой, Жервеза упала на стул, совершенно ошалевшая. Комнаты показались ей огромными и голыми. Что и говорить, большая обуза свалилась у нее с плеч. Но не одну мамашу Купо оставила она в глубине маленького кладбища на улице Маркаде. Она лишилась сразу слишком многого, пожалуй, лучшей части своей жизни: и прачечной, и гордого сознания, что она хозяйка, и других более нежных чувств,— все было погребено в один и тот же день. Да, квартира опустела, опустело и сердце Жервезы. Все пошло прахом, она как бы скатилась в черную яму. Жервеза чувствовала себя слишком усталой, она возьмет себя в руки потом, позже, если сможет, конечно.

В десять часов, раздеваясь, Нана стала плакать, топать ногами: она непременно хотела лечь в кровать своей бабушки. Напрасно Жервеза пугала ее, смышленая не по летам девчонка не боялась покойников — они вызывали у нее только жгучее любопытство. В конце концов, чтобы отвязаться, ей позволили лечь в постель мамаши Купо. Нана обожала широкие кровати, она потягивалась в них, перекатывалась с боку на бок. В эту ночь она прекрасно спала: ей было очень тепло и немножко щекотно на мягкой перине.

X

Новая квартира Купо находилась на седьмом этаже по лестнице «Б». Дойдя до комнаты мадемуазель Реманжу, надо было свернуть по коридору налево. Потом был еще один поворот. Первая же дверь после него вела к Бижарам. Почти против них в темном чулане под чердачной лестницей ютился дедушка Брю. Двумя дверями дальше жил Базуж. Наконец, рядом с Базужем была квартира Купо — две маленькие комнатки, выходившие во двор. Дальше по коридору жили еще две семьи, а в самом конце — Лорийе.

Комната и чулан — вот и все. Здесь теперь и обосновались

Купо. По правде сказать, в комнате негде было повернуться. А ведь там приходилось и есть, и спать, и все дела делать. В чулан едва влезла кровать Нана; из-за тесноты девочка раздевалась у родителей, и, чтобы она не задохнулась, дверь на ночь оставляли открытой. Жервеза продала почти всю свою мебель Пуассонам — все равно на новом месте ничего бы не поместилось. Втащили кровать, стол, четыре стула — и сразу заставили всю комнату... Да еще у Жервезы не хватило духа расстаться с комодом, прямо сердце разрывалось, глядя на него; и вот эта громадина загородила половину окна. Одна створка совсем не отворялась, а кроме того, в комнате стало еще темнее и тоскливее. Если Жервезе хотелось посмотреть во двор, то при ее полноте она даже не могла облокотиться на подоконник: приходилось протискиваться бочком и чуть не выворачивать шею.

В первые дни прачка сидела и плакала. Ей было тяжело в такой тесноте, ведь она привыкла к просторному помещению. Она задыхалась и часами, до боли в пояснице, стояла у окна, зажатая между стеной и комодом. Здесь только и можно было дышать. Впрочем, двор нагонял на нее тоску. Напротив, на солнечной стороне, она видела то самое окно шестого этажа, которое ей так приглянулось когда-то; там по-прежнему каждую весну обвивались вокруг бечевок гибкие стебли душистого горошка. А комната Жервезы выходила на теневую сторону, и у нее на подоконнике резеда в горшке гибла за неделю. Да, несчастливая ее доля! Разве об этом она мечтала? Вместо того чтобы покойно ждать усыпанной цветами старости, она барахталась в какой-то мерзкой трясине. Выглянув как-то во двор, Жервеза испытала странное чувство: ей показалось, будто она сама стоит в подворотне, около привратницкой, и, запрокинув голову, впервые осматривает дом; и при воспоминании о том, что было тринадцать лет назад, у нее больно сжалось сердце. Двор не изменился с виду, лишь стены дома чуть-чуть потемнели и облупились; все так же воняло от изъеденных ржавчиной помойных раковин; на веревках в окнах сушилось белье и проветривались загаженные пеленки; внизу выщербленные плиты двора по-прежнему покрывала угольная пыль из слесарной мастерской и стружки, выброшенные столярами; а в самом сыром углу, возле водопроводного крана, натекшая из красильни лужа была все такого же нежно-голубого цвета. Но Жервеза чувствовала, что сама-то она сильно изменилась и поблекла. Теперь она уже не стояла внизу, подняв глаза к небу, веселая и мужественная, не зарилась больше на хорошенькую квартирку. Нет, она жила под крышей, в каморке для бедняков — отвратительной конуре, куда совсем не заглядывало солнце. Недаром она плакала — радоваться было нечему.

Однако, когда Жервеза немного освоилась на новом месте, все обернулось не так уж плохо. Зима подходила к концу, небольшая сумма, полученная от Виржини за мебель, на первых порах очень выручила семью. Потом с приходом весны им неожиданно повезло: Купо уехал работать в провинцию, в Этамп; он пробыл там около трех месяцев и за все это время ни разу не напился, как будто деревенский воздух излечил его. Трудно поверить, до чего полезно пьяницам расстаться с Парижем, где камни и те пропитаны винными парами. Когда Купо вернулся, он был свеж как огурчик и привез с собой целых четыреста франков; благодаря этим деньгам они уплатили долг домохозяину,— это надо было сделать в первую очередь, ведь Пуассоны поручились за них,— а также другие наиболее неотложные долги. Теперь Жервеза могла спокойно ходить по двум-трем улицам, куда до сих пор не смела и носа показать. Разумеется, она нанялась на поденную работу. Г-жа Фоконье, женщина добрая, особенно благоволившая к тем, кто умел ей польстить, согласилась взять ее гладильщицей. Она платила Жервезе три франка в день, сделав ее старшей мастерицей,— как-никак прежде у нее была собственная прачечная. Словом, дела семьи немного наладились. Жервеза надеялась даже, что труд и бережливость помогут ей со временем выплатить все долги и зажить более или менее сносно. Однако она подумала так сгоряча, обрадованная крупной суммой, которую заработал муж. Но, поостыв, Жервеза решила, что надо принимать жизнь такой, как она есть, и помнить, что все хорошее недолговечно.

Тяжелее всего для четы Купо было то, что Пуассоны водворились в их бывшей прачечной. Жервеза с мужем были не слишком завистливы по натуре, но соседи нарочно их подзадоривали, восхищаясь новшествами теперешних владельцев. Боши, и в особенности Лорийе, были неистощимы на этот счет. Послушать их, такой замечательной лавки никто еще не видывал. И они не без ехидства рассказывали, сколько грязи пришлось вывезти из прачечной,— одна уборка помещения обошлась в тридцать франков. После долгих колебаний Виржини решила открыть небольшую кондитерскую и продавать там не только конфеты, но и колониальные товары — шоколад, кофе, чай. Лантье горячо советовал ей заняться именно этой торговлей: на продаже сладостей можно нажить целое состояние. Лавка была выкрашена в самые изысканные цвета — черный с желтыми прожилками. Три столяра поработали неделю над устройством витрины, прилавка, шкафчиков и полочек для ваз, чтобы все было как в настоящей кондитерской. Пуассоны, видно, здорово порастрясли полученное ими небольшое наследство. Зато Виржини торжествовала, и Лорийе вместе с Бошами сообщали Жервезе о каждом новом шкафчике,

о каждой полочке, злорадствуя при виде ее кислой мины. Ведь независтливый человек и тот готов взбеситься, если люди наступают ему на ноги, надев вдобавок его же башмаки.

К этому примешались еще и любовные дела. Поговаривали, будто Лантье бросил Жервезу. Соседи считали, что поделом ей. Наконец-то добропорядочность на их улице восторжествовала. Пройдоха шляпник с честью вышел из положения: недаром он по-прежнему был любимцем женщин. Приводили кое-какие подробности: Лантье даже отлупил прачку, чтобы она угомонилась, иначе она не отстала бы от него. Понятно, никто не знал настоящей правды, а тот, кто догадывался о ней, предпочитал молчать: в жизни все было слишком просто, слишком неинтересно. Уж если на то пошло, Лантье бросил Жервезу в том смысле, что она не была в его распоряжении днем и ночью; но он, вероятно, навещал ее в каморке под крышей, когда ему приходила на то охота; мадемуазель Реманжу не раз замечала, что он выходит от Купо в самые неподходящие часы. Словом, связь продолжалась, но от случая к случаю, не доставляя любовникам особой радости; она тянулась со скрипом, по привычке, как будто они делали друг другу одолжение. Дело осложнялось еще и тем, что на улице судачили о Лантье и Виржини, уверяя, будто они спят вместе. Здесь опять-таки соседи слишком торопились. Без сомнения, шляпник обхаживал дылду Виржини, иначе и быть не могло, ведь в магазине она во всех отношениях заменяла Жервезу. Из уст в уста передавали забавную сплетню: как-то ночью Лантье по привычке пошел за Жервезой, а привел Виржини, но в спальне было так темно, что он только под утро заметил свою ошибку. Над этой историей много смеялись. Однако Лантье еще не зашел так далеко, он только осмеливался щипать Виржини за ляжки. Как бы то ни было, в присутствии прачки Лорийе с умилением говорили о любви Лантье к г-же Пуассон, надеясь вызвать ревность Хромуши. Боши со своей стороны уверяли, что никогда еще не видели такой милой парочки. Как ни странно, улица Гут-д'Ор не возмущалась этим новым треугольником. Увы, требования морали, столь строгие в отношении Жервезы, оказались весьма мягкими, когда дело коснулось Виржини. Быть может, лукавая снисходительность улицы объяснялась тем, что на этот раз муж служил в полиции?

К счастью, ревность не мучила Жервезу. Измены Лантье оставляли ее равнодушной — уже давно эта связь не трогала ее сердца. Она знала, хоть и не старалась ничего выведать, о грязных похождениях шляпника со всякими потаскухами, с первыми попавшимися девками, подобранными на панели. Ну и пускай! Ей это было настолько безразлично, что она даже не могла рассердиться и порвать с ним. Но к новому увлечению Лантье Жер-

веза отнеслась не так спокойно. Виржини — другое дело. Они оба затеяли это лишь для того, чтобы насолить ей. И если Жервезу не огорчала измена сама по себе, стерпеть обиды она не могла. Вот почему, когда г-жа Лорийе и прочие сплетницы уверяли в ее присутствии, будто Пуассон носит такие длинные рога, что уже не пролезает в ворота Сен-Дени, Жервеза бледнела, чувствуя острую боль в сердце и жжение в груди. Она кусала губы, стараясь не выходить из себя,— это только обрадовало бы ее врагов. Но у нее, надо полагать, было объяснение с Лантье: как-то вечером мадемуазель Реманжу услышала звук пощечины; во всяком случае, любовники поссорились, и Лантье две недели не разговаривал с Жервезой; однако он первый пошел на мировую, и, видно, связь возобновилась, как будто ничего и не произошло. Прачка не хотела зря волноваться, она не собиралась таскать за волосы соперницу и окончательно портить себе жизнь. Теперь ей не двадцать лет и она уже не так любит мужчин, чтобы лезть из-за них в драку, рискуя собственной шкурой. Но только все это растравляло ее старые обиды.

Купо зубоскалил. Этот покладистый муж, который упорно не замечал рогов на своей голове, покатывался со смеху, говоря о рогах Пуассона. В его семье это в счет не шло, но у других такие вещи просто уморительны, и он старался разузнать подробности у соседок, подглядывавших за Виржини и Лантье. Ну и простофиля этот полицейский! А еще ходит со шпагой и расталкивает прохожих на улице. И Купо обнаглел до того, что стал подтрунивать над Жервезой. Вот так хахаль, взял да и бросил ее! Эх, не везет ей: сначала вышла осечка с кузнецом, а вот теперь шляпник оставил ее с носом. Впрочем, она сама виновата, зачем якшается с такими несолидными людьми? Взяла бы, к примеру, каменщика! Каменщики — народ основательный, они привыкли прочно класть фундамент. Понятно, Купо говорил все это смеясь, но Жервеза бледнела под пристальным взглядом мужа — его острые глазки так и буравили ее, будто хотели пронзить насквозь. Когда Купо заводил разговор о таких делах, она никак не могла понять, шутит он или говорит серьезно. Если мужчина пьет без просыпу, то теряет разум; иные мужья, очень ревнивые в двадцать лет, так спиваются к тридцати годам, что уже смотрят на поведение жены сквозь пальцы.

Надо было видеть, как хорохорился Купо, прохаживаясь по улице Гут-д'Ор! Он звал Пуассона не иначе, как рогачом. Теперь все болтуны могут заткнуться! Не он носит рога. Он тоже не дурак. Если в свое время он и притворялся глухим, то лишь потому, что не терпит сплетен. Каждый сам знает свои домашние неполадки, и где у него свербит. Только у него-то нигде не свербит, и он не станет чесаться на потеху соседям. Неужто поли-

цейский ничего не замечает? А ведь это уж не пустые сплетни: любовников застукали на месте. И он выходил из себя, не понимая, как может мужчина, да еще должностное лицо, терпеть такой позор у себя дома. Полицейский, как видно, любит чужие объедки. Однако по вечерам, когда Купо бывало скучно вдвоем с женой в их конуре под крышей, он отправлялся за Лантье и насильно тащил его к себе. С тех пор как с ним не было старого товарища, он находил унылым свой семейный очаг и старался помирить Лантье с Жервезой, если чувствовал, что между ними пробежала черная кошка. К черту! Пусть люди чешут языки, каждый развлекается по-своему. Он посмеивался, и странные огоньки зажигались в его пьяных осоветых глазах: казалось, он готов всем поделиться с шляпником, чтобы скрасить собственную жизнь. И в такие вечера Жервеза, окончательно сбитая с толку, не могла понять, шутит он или говорит серьезно.

Несмотря на все эти пересуды, Лантье ходил с высоко поднятой головой. Он держал себя покровительственно, с достоинством. Раза три он даже помешал ссоре между Купо и Пуассонами. Доброе согласие обоих семейств входило в его расчеты. Шляпник бросал такие строгие и вместе с тем нежные взгляды на Жервезу и Виржини, что обе женщины притворялись, будто по-прежнему остались близкими подругами. Он же с невозмутимостью паши властвовал над блондинкой и над брюнеткой и лишь жирел, как настоящий паразит. Этот пройдоха еще не переварил Купо, а уже принялся за Пуассонов. Вот уж кто не стеснялся! Не успев проглотить одну лавочку, он подбирался к другой. Право же, только таким людям и везет в жизни.

Как раз в июне этого года Нана должна была впервые причащаться. Девчонке шел тринадцатый год, она очень вытянулась и держалась развязно не по летам. В прошлом году она так плохо вела себя, что ее выгнали с уроков катехизиса, и если теперь кюре допустил Нана к причастию, то лишь из боязни, что она больше не явится в церковь и по его вине так и останется язычницей. При мысли о белом платье Нана прыгала от радости. Супруги Лорийе обещали купить крестнице платье и раззвонили об этом по всему дому; г-жа Лера собиралась подарить девочке вуаль и чепчик, Виржини — сумочку, Лантье — молитвенник. Словом, родителям нечего было беспокоиться: даже угощать гостей не придется! Как видно, по совету шляпника, Пуассоны выбрали именно этот день, чтобы отпраздновать новоселье. Они пригласили Купо и Бошей, дочка которых тоже причащалась вместе с Нана. Вечером все соберутся у них, посидят, закусят; было обещано жаркое из баранины и еще что-нибудь в придачу.

Как раз накануне торжества, когда восхищенная Нана любовалась разложенными на комоде подарками, Купо вернулся

домой в ужасном виде. Париж вновь забрал его в свои сети. Он сразу стал придираться к жене и дочери и поливал их отборной руганью, что в такой день было вовсе неуместно. Впрочем, постоянно слыша непристойности, Нана тоже научилась сквернословить. Разозлившись, она запросто честила мать сволочью и коровой.

— Где обед? — орал кровельщик.— Сейчас же подать мне суп, бездельницы!.. Ну и бабы, только и думают о тряпках. Чтоб сию минуту был обед, не то я возьму и подотрусь вашим барахлом!

— Что за наказанье, когда он напьется! — пробормотала Жервеза, потеряв терпение.— Суп на плите, отвяжись!

Нана корчила из себя скромницу, считая, что сегодня это ей к лицу. Девочка украдкой поглядывала на подарки, то и дело опускала глазки и притворялась, будто не понимает ругательств. Но в пьяном виде кровельщик привязывался ко всем. Наклонившись к дочери, он орал:

— Я тебе покажу белое платье! Небось опять насуешь бумаги под лифчик, как в прошлое воскресенье?! Хочешь, чтобы титьки были побольше. Погоди, дождешься у меня! Туда же, хвостом вертеть собралась! Ее хлебом не корми, только дай нарядиться. Помешалась на тряпках, паскуда!.. Прочь отсюда, дьявольское отродье! Куда тянешь лапы? Спрячь все это в ящик, не то получишь по морде!

Нана потупилась и по-прежнему ничего не отвечала. Она держала тюлевый чепчик и спрашивала у матери, сколько он может стоить. Купо протянул руку, чтобы вырвать чепец, но Жервеза оттолкнула мужа и закричала:

— Оставь в покое девчонку! Она никого не трогает, не делает ничего плохого.

Тут кровельщик выложил все, что у него было на душе.

— Ах вы стервы! Обе хороши, нечего сказать! Девчонка идет к причастию, а сама о чем думает? О парнях! Посмей сказать, что я вру, негодяйка! Погоди, надену на тебя мешок, пусть покорябает твою шкуру. Да, да, мешок! Это отобьет у тебя охоту распутничать, да и у твоих попов тоже. Не хватает еще, чтобы ты развратничала! Да будете ли вы меня слушать, окаянные!

Обозленная Нана резко повернулась к Купо, а Жервеза, растопырив руки, оберегала наряды дочери, которые кровельщик грозился порвать. Девчонка пристально посмотрела на отца и, позабыв о наставлениях священника, процедила сквозь зубы:

— Свинья!

Тотчас же после обеда кровельщик захрапел. На следующий день он проснулся в самом благодушном настроении. Хмель еще не совсем соскочил с него, и он был мил и любезен. Купо присут-

ствовал при одевании дочери, растрогался, глядя на белое платье, и заявил, что стоит надеть на эту паршивку грошовую тряпку, и она уже выглядит настоящей барышней. Словом, в такой торжественный день, говорил он, всякий отец гордится своей дочкой. И надо было видеть, как мила была Нана в своем чересчур коротком платьице, как она смущенно улыбалась, точно новобрачная! Когда она спустилась вниз и увидела на пороге привратницкой Полину, тоже одетую в белое, девочка остановилась, окинула ее с ног до головы блестящим взглядом и, убедившись, что подружка одета хуже нее и держится неуклюже, стала необычайно приветлива. Обе семьи вместе отправились в церковь. Нана и Полина молча шли впереди с молитвенниками в руках, придерживая вуали, которые разлетались от ветра; девочки пыжились от гордости, видя, что с порога лавчонок люди смотрят на них, и смиренно опускали глазки, когда прохожие говорили: «Какие душечки!» Г-жа Бош и г-жа Лорийе плелись в хвосте: им надо было посудачить о Хромуше, этой мотовке, дочь которой так бы и осталась без причастия, если бы из уважения к святому таинству родные не подарили ей решительно все, вплоть до новой сорочки. Г-жа Лорийе была особенно озабочена судьбой белого платья — своего подарка; она называла Нана неряхой и сердито одергивала ее, едва только девочка приближалась к витринам, собирая пыль подолом своей юбки.

В церкви Купо все время плакал. Это было глупо, но он не мог удержаться. Его умилял и священник, воздевавший руки, и похожие на ангелочков девочки с их молитвенно сложенными ручками; звуки органа отдавались у него в животе, а запах ладана был так приятен, что кровельщик то и дело втягивал в себя воздух, словно под нос ему совали душистый букет. Словом, сердце у него замирало, и он не знал, где находится — на небе или на земле. Особенно же его растрогала одна молитва, которую запели в ту минуту, когда девочки вкушали тело Христово; мелодия была такая сладостная, что сама лилась в душу, а по спине бегали мурашки. Впрочем, люди чувствительные тоже вытащили носовые платки. Ей-богу, это был чудесный день, лучший день в его жизни. Но по выходе из церкви Купо вдруг разозлился и, распивая бутылочку с Лорийе, который не проронил ни слезинки и подшучивал над ним, стал кричать, что это воронье попы нарочно жгут в церкви чертовы травы, хотят одурманить людей. Что греха таить, он разревелся, но это лишь потому, что в груди у него не ледышка, а сердце. И он заказал еще по стаканчику.

Вечером у Пуассонов очень весело отпраздновали новоселье. Полное согласие царило от начала и до конца пирушки. В самую тяжелую пору выпадают иной раз счастливые минуты, когда лю-

тые враги и те готовы помириться. Лантье, оказавшийся между Жервезой и Виржини, был одинаково любезен с обеими и обхаживал их как петух, который хочет мира в своем курятнике. Напротив них сидел Пуассон, суровый, степенный, как истый блюститель порядка, за долгие часы караульной службы привыкший ни о чем не думать и смотреть пустыми глазами в одну точку. Но царицами праздника были обе девочки, Нана и Полина, которым позволили не снимать белых платьев. Они боялись пошевелиться и запачкать свои наряды, а взрослые то и дело кричали им, чтобы они наклонялись над тарелкой и жевали с закрытым ртом. Это так прискучило Нана, что девчонка нарочно выплюнула себе на грудь целый глоток вина. Поднялась суматоха, негодницу раздели и тотчас же замыли пятно водой.

За десертом стали серьезно обсуждать будущее детей. Г-жа Бош уже определила дочку: Полина поступает в ювелирную мастерскую, где научится филигранной работе по золоту и серебру, на этом деле девушки зарабатывают по пяти-шести франков в день. Жервеза еще ни на чем не остановилась. У Нана не было никаких склонностей. Она любила проказничать, такая склонность у нее была, это верно, а что до остального, все валилось у нее из рук.

— На вашем месте,— сказала г-жа Лера,— я сделала бы из нее цветочницу. Работа приятная и чистая.

— Цветочницу? — переспросил г-н Лорийе.— Все цветочницы потаскушки.

— Вот как? А я кто, по-вашему? — возмутилась долговязая вдова, поджимая губы.— Нечего сказать, вы очень любезны. Знайте, я не какая-нибудь сука, которой только свистни и она уже готова задрать кверху лапы.

Тут все загалдели:

— Госпожа Лера! Что вы говорите, госпожа Лера?! — и скосили глаза на обеих причастниц, а те уткнулись носом в стакан, чтобы не прыснуть.

Приличия ради даже мужчины в этот день тщательно выбирали слова. Но г-жа Лера ничего не хотела знать. То, что она сказала, она сама слышала в лучшем обществе. Ее незачем учить, как себя вести; ей не раз делали комплименты на этот счет, она может говорить в присутствии детей решительно обо всем, никогда не нарушая правил благопристойности.

— Да будет вам известно,— кричала она,— среди цветочниц есть весьма достойные особы. Разумеется, они сделаны из того же теста, что и другие женщины, и не такие уж недотроги. Только они умеют блюсти себя и, когда надумают согрешить, выбирают со вкусом... А вкус им прививают цветы. Все это избавило меня от соблазнов...

— Ей-богу, я не против цветов,— перебила ее Жервеза.— Главное, чтобы это дело нравилось Нана,— никогда не надо идти наперекор детям... Не строй из себя дурочку, Нана! Хочешь быть цветочницей?

Девчонка, нагнувшись над тарелкой, подбирала крошки от пирожного мокрым пальцем и облизывала его. Она не торопилась с ответом и только посмеивалась исподтишка.

— Конечно, мама, хочу,— заявила она наконец.

Дело было сразу улажено. Купо попросил г-жу Лера завтра же взять с собой Нана в мастерскую на Каирской улице, где работала она сама. И все принялись глубокомысленно рассуждать о женских обязанностях. Бош сказал, что после причастия Нана и Полина стали взрослыми девушками. Пуассон добавил, что они должны научиться стряпать, штопать носки, вести хозяйство. Заговорили даже об их замужестве и о детях, которые у них когда-нибудь появятся. Девочки сидели в своих нарядных белых платьях и, посмеиваясь, жались друг к дружке, красные и смущенные; их так и распирало от гордости: ведь теперь они уже большие. Но особенно им польстил Лантье, спросивший шутя, не завели ли они себе кавалеров? В конце концов Нана заставили признаться, что она неравнодушна к Виктору Фоконье, сыну прачки, у которой работает ее мать.

— Ну вот что,— заявила г-жа Лорийе Бошам, когда гости расходились по домам,— хоть Нана и наша крестница, но раз они надумали сделать из нее цветочницу, мы и слышать о ней больше не хотим. Одной бульварной шлюхой будет больше, только и всего... Не пройдет и полугода, как она покажет им, узнают они, почем фунт лиха!

Поднимаясь к себе на седьмой этаж, супруги Купо признали, что пирушка очень удалась и Пуассоны, в общем, не плохие люди. Жервеза даже похвалила лавочку. Она боялась, что ей будет тяжело провести вечер в своей прежней квартире, но нет, ничего, она даже не досадовала на новых хозяев. Раздеваясь, Нана спросила у матери, какое платье было на той девушке с третьего этажа, которая вышла замуж в прошлом месяце, тоже кисейное, как и у нее?

Это был последний счастливый день в жизни супругов Купо. Прошло два года, а семья все глубже погружалась в нищету. Особенно туго приходилось зимой. В летнюю пору у них еще бывал хлеб, но в ненастье и стужу от голода подводило живот и все трое щелкали зубами в своей холодной, как Сибирь, конуре. Окаянный декабрь проникал во все щели, принося с собой всякие невзгоды — слякоть, мороз, безработицу, беспросветную нужду и вынужденное безделье. В первую зиму они еще иногда разводили огонь и жались вокруг печки, считая, что лучше уж го-

лодать, чем зябнуть; во вторую зиму печку ни разу не топили, и она леденила душу, словно мрачный чугунный памятник. Но что угнетало, что терзало их больше всего — так это квартирная плата. Да, попробуйте заплатить за январь, когда в доме хоть шаром покати, а между тем Бош уже принес уведомление домохозяина. При виде этой бумажки им становилось еще холоднее, словно на улице бушевала северная вьюга. На той же неделе, в субботу, являлся сам г-н Мареско в теплом пальто, натянув на огромные лапищи толстые шерстяные перчатки; с языка у него не сходили слова о выселении, а на улице падал снег, устилая под забором мягкую белую постель для бедняков. Купо готовы были продать собственную шкуру, лишь бы уплатить за квартиру,— она съедала их хлеб, пожирала уголь. Впрочем, в конце года во всем доме стоял сплошной вой. На всех этажах жаловались и стонали, и от этой похоронной музыки гудели лестницы и коридоры. Если бы в каждой семье оплакивали покойника, то и тогда жильцы не устраивали бы, пожалуй, такого жуткого концерта. Поистине, это был день Страшного суда, светопреставление, взрыв глубокого отчаяния, погибель для бедного люда. Жилица с четвертого этажа целую неделю ходила торговать собой на угол улицы Бельом, а каменщик с шестого этажа обокрал своего хозяина.

Понятно, Купо некого было винить, кроме самих себя. Как ни тяжко приходится порой, всегда можно выкрутиться, если люди привыкли к порядку и бережливости; взять хотя бы Лорийе — они аккуратно вручают Бошу деньги за квартиру, завернутые в кусок грязной бумаги; но, право, эти двое похожи на жадных пауков и одним своим видом могут отбить всякую охоту к труду. Нана еще ничего не зарабатывала в цветочной мастерской, зато немало тратила на себя. Жервеза была теперь на дурном счету у г-жи Фоконье. Она все больше теряла сноровку, работала спустя рукава, так что хозяйка перевела ее на сорок су — заработную плату неопытной гладильщицы. К тому же Жервеза была очень самолюбива, очень обидчива и всем тыкала в нос, что сама прежде имела прачечную. Она целыми днями не являлась на работу или же уходила, когда ей вздумается; однажды она пропадала две недели, разобидевшись, что г-жа Фоконье наняла г-жу Пютуа и ей, Жервезе, пришлось стоять у гладильного стола бок о бок со своей бывшей работницей. После подобных выходок Жервезу брали обратно только из жалости, и это ее еще больше озлобляло. В конце недели, разумеется, получка бывала не слишком велика, и Жервеза с горечью говорила, что этак настанет день, когда ей самой придется приплачивать хозяйке. Быть может, Купо иногда и работал, но, надо думать, дарил свой заработок правительству, потому что после возвраще-

ния кровельщика из Этампа Жервеза не видела от него ни гроша. Когда в дни получки он приходил домой, она уже не смотрела на него с надеждой. Он шел вразвалку, с пустым карманом и порой даже без носового платка. Ну да! Что ж тут особенного? Он потерял сопливчик, а может, кто-нибудь из шутников-приятелей стянул его. Первое время он подсчитывал вымышленные траты, плел всякие небылицы: десять франков пришлось заплатить по подписному листу, двадцать выпали из кармана, вот через эту дыру, пятьдесят пошли на уплату каких-то долгов. Потом он вовсе перестал стесняться. Деньги уплывают, и кончено! Они у него не в кармане, а в пузе, таким манером он и приносит их хозяйке. По совету г-жи Бош, Жервеза не раз подстерегала мужа у выхода из конторы, чтобы забрать у него деньги еще тепленькими, но из этого ничего не получалось: приятели предупреждали Купо, и он засовывал получку в башмаки или другое укромное местечко. У г-жи Бош был особый нюх на этот счет, ведь муж не раз пытался утаить от нее монету в десять франков, чтобы угостить жареным кроликом своих добрых приятельниц; она обшаривала самые потайные уголки в его одежде и обычно находила заветную монету в фуражке, между козырьком и подкладкой. Ну нет, кровельщик не подбивал своих лохмотьев золотом! Он отправлял его прямиком в желудок. Не могла же, в самом деле, Жервеза взять ножницы и распороть ему брюхо.

Да, супруги Купо сами виноваты, если им живется все хуже и хуже. Но разве люди сознаются в этом, особенно когда они опустились на дно? Купо считали, что им не повезло, что сам бог прогневался на них. Теперь в доме у них не прекращались скандалы. Они только и делали, что грызлись. Правда, до драки еще не доходило, но иногда в пылу ссоры рука сама поднималась для затрещины. Самое грустное, что все их добрые чувства исчезли, улетели, как чижи из открытой клетки. Человеческое тепло, согревающее дружные семьи, где отец, мать и дети крепко держатся друг за друга, ушло от них, и теперь каждый дрожал от холода в одиночку. Купо, Жервеза и Нана были вечно раздражены, ругались из-за всякого пустяка, и глаза их горели ненавистью; казалось, будто лопнула какая-то пружина, испортился тот механизм, благодаря которому в счастливых семьях все сердца бьются как одно. Что и говорить, Жервеза уже не тревожилась о муже, как в былые дни, когда он работал у самого края крыши, на высоте двенадцати — пятнадцати метров над мостовой. Сама она не столкнула бы его вниз, но если бы он случайно упал, ну что ж, на свете одним лодырем стало бы меньше! Во время ссор Жервеза не раз спрашивала мужа, неужто его никогда не притащат домой на носилках? Она ждет не дождется этого счастья! Ну какой прок от такого пьяницы? Доводит ее до слез, объедает, толкает на дур-

пую дорожку. Всех пропойц и бездельников надо поскорее свезти на кладбище, а потом поплясать на радостях! И когда мать вопила: «Чтоб тебе пусто было!» — дочь добавляла: «Чтоб ты сдох!» Читая в газетах о несчастных случаях, Нана говорила чудовищные вещи. Ну и везет же ее отцу: попал пьяный под омнибус и даже не протрезвился. Хоть бы он окочурился, подлец этакий!

Это проклятое житье еще больше угнетало Жервезу, когда она прислушивалась к стоящему кругом стону голытьбы. Та часть дома, где ютились Купо, была сплошь заселена нищим людом, и три-четыре соседних семьи, казалось, вовсе дали зарок есть не каждый день. Как бы часто ни отворялись тут двери, из них почти никогда не доносился запах стряпни. В коридорах стояла мертвая тишина, а если постучать по стене, раздавался гулкий звук, словно от удара по пустому брюху. Порой за запертыми дверями поднималась кутерьма, слышался женский плач, жалобы некормленых ребятишек, ругань взрослых, которые поедом ели друг друга, чтобы заглушить голод. Здесь все варились в собственном соку и хором стонали от отчаяния; казалось, их скорбный вопль вырывался из одного широко открытого рта. Люди чахли от одного воздуха этого дома, где даже мухи не водились, так как есть им было нечего. Но больше всех Жервеза жалела дедушку Брю, жившего в чулане под лестницей. Он забился туда, как больной пес, и целыми днями неподвижно лежал на куче соломы, свернувшись клубком, чтобы было не так холодно. Даже голод не выгонял его из дому; зачем нагуливать аппетит, если никто тебя не накормит? Когда дедушка Брю не показывался три-четыре дня, соседи заходили взглянуть, не умер ли он. Нет, он был еще жив, искорка жизни чуть-чуть теплилась в нем, и смерть до поры до времени обходила старика. Когда у Жервезы оставалась корка хлеба, она несла ее дедушке Брю. Хотя она ожесточилась и, глядя на мужа, возненавидела всех людей, но по-прежнему от всего сердца жалела животных; а несчастный дед, которого бросили околевать с голоду, потому что он уже не мог работать, напоминал ей старого, паршивого пса, ненужного даже живодерам. У Жервезы сердце сжималось при мысли, что он живет здесь, рядом, по ту сторону коридора, позабытый богом и людьми и до того отощавший, что стал ростом с ребенка и сморщился, ссохся, как завалявшееся на полке яблоко.

Жервеза очень страдала и от соседства с факельщиком Базужем. Их комнаты разделяла тонкая перегородка. Что бы он ни делал, все было слышно у Жервезы. Когда Базуж возвращался вечером домой, она невольно ловила малейший шорох в его каморке: вот черная кожаная шляпа глухо стукнула о комод, словно ком земли, скатившийся на крышку гроба; вот могильщик

повесил свой черный плащ, и тот зашуршал о стену, как крылья ночной птицы; вот он, раздевшись, бросил на пол потертый черный костюм, и комната сразу стала похожа на лавку гробовщика. Прислушиваясь к тому, что делается за перегородкой, Жервеза подстерегала каждое движение Базужа, вздрагивала, когда он натыкался на мебель или гремел посудой. Этот пропойца не выходил у нее из головы, вызывая смутный страх и жадное любопытство. Старый забулдыга был всегда сыт и пьян, а по воскресеньям возвращался чуть ли не на четвереньках; он кашлял, плевался, распевал похабные песенки, сквернословил и, прежде чем улечься спать, стукался о стены. А Жервеза сидела бледная, вся дрожа, и недоумевала, что же он там делает. Ей чудились всякие ужасы и казалось порой, что старик притащил покойника и запихивает его под кровать. Ведь писали же в газетах, что какой-то могильщик собирал у себя дома гробики с детскими трупами, чтобы чохом без лишних хлопот отнести их на кладбище. Что там ни говори, а когда дядя Базуж приходил домой, за перегородкой пахло мертвечиной. Можно было подумать, что живешь рядом с кладбищем Пер-Лашез, в царстве могильных червей. А как страшно смеялся сам с собой этот дьявол! Неужто ремесло могильщика такое уж веселое? Когда же, угомонившись, он валился на кровать и засыпал, раздавался такой чудовищный храп, что у Жервезы замирало сердце. Она часами прислушивалась к этим звукам, и ей мерещилось, что в комнате соседа беспрерывной чередой катятся похоронные дроги.

Но хуже всего было другое: несмотря на безмерный ужас, Жервезу так и тянуло приложить ухо к перегородке и понять наконец, что творится рядом. Базуж притягивал ее так же, как красавец мужчина влечет к себе порядочных женщин: им хочется узнать его поближе, но они не решаются — воспитание не позволяет. Хоть и страх берет, а интересно бы познать смерть, посмотреть, какова она из себя. Жервеза становилась такой чудной, когда, затаив дыхание, прислушивалась к звукам в соседней комнате и пыталась найти в них разгадку мучившей ее тайны, что Купо, посмеиваясь, спрашивал жену, уж не втюрилась ли она в могильщика. Жервеза сердилась, говорила, что хочет съехать с квартиры, так опротивело ей это соседство; однако как только старик возвращался домой, принося с собой запах кладбища, она снова впадала в задумчивость, и лицо у нее становилось взволнованное и нерешительное, словно у женщины, которая собирается изменить мужу. Ведь могильщик уже дважды предлагал взять ее и унести туда, где сон так крепок, что сразу забываешь все горести. Быть может, это и вправду хорошо? Соблазн становился все сильнее, все мучительнее. Попробовать бы недели на две или на месяц. Да, проспать бы целый месяц, в особенности зимой, когда

нечем платить за квартиру и нет больше сил сносить горькую нужду! Но, увы, это невозможно: если забыться таким сном хотя бы на час, придется спать вечно, и эта мысль — ужас перед суровой и неизменной привязанностью, которой требует могила,— леденила ей кровь.

Однажды январским вечером Жервеза все же принялась стучать кулаком в перегородку. Она провела ужасную неделю: напасти сыпались одна за другой, в кармане не было ни гроша, и мужество окончательно покинуло ее. Да к тому же ей нездоровилось, ее трепала лихорадка, перед глазами плясали огненные круги. Но Жервеза не выбросилась из окна, как ей того хотелось, а что есть мочи стала колотить в стену.

— Дядя Базуж! Дядя Базуж! — кричала она.

Могильщик снимал ботинки, напевая «Жили-были три красотки». Видно, он неплохо заработал в этот день и нализался больше, чем обычно.

— Дядя Базуж! Дядя Базуж! — еще громче позвала Жервеза.

Неужели он не слышит? Она готова — пусть хоть сейчас берет ее в охапку и несет туда, куда уносит других женщин, бедных и богатых, давая им утешение. Ей больно было слышать его песенку «Жили-были три красотки»: она чувствовала в ней пренебрежение мужчины, у которого отбоя нет от женщин.

— Что такое? Что такое? — забормотал Базуж.— Какая там стряслась беда?.. Иду, иду, голубушка!

Услышав этот хриплый голос, Жервеза словно очнулась от кошмара. Что она наделала? Неужто позвала Базужа? Тут ее точно обухом по голове ударили, колени подогнулись от страха, и она попятилась, вообразив, что огромные руки могильщика того и гляди протянутся к ней сквозь перегородку и схватят за волосы. Нет, нет, она не хочет, она еще не готова. Если она и стукнула, то нечаянно, локтем, совсем того не желая. И дрожь поползла по всему ее телу при мысли, что сосед утащит ее, окоченевшую, с лицом белым, как тарелка.

— Эй, кто там? — снова раздался в тишине голос Базужа.— Сейчас, сейчас, всегда рад служить даме!

— Нет, мне ничего не нужно,— ответила наконец прачка сдавленным голосом.— Ровно ничего. Спасибо.

И пока Базуж засыпал, что-то бормоча себе под нос, Жервеза тревожно прислушивалась, не смея пошевелиться: не дай бог могильщик еще подумает, будто она снова зовет его. И она поклялась себе, что впредь будет осторожнее. Нет, как бы ей ни было тяжко, она больше не попросит у него помощи. Она убеждала себя в этом, чтобы успокоиться: ведь в иные минуты, несмотря на страх, какая-то сила по-прежнему толкала ее к Базужу.

Однако среди окружавшей ее нищеты и повседневных забот — своих и чужих — Жервеза видела у соседей Бижаров прекрасный пример мужества. Восьмилетняя Лали, девчонка от горшка два вершка, вела все хозяйство и справлялась с ним не хуже взрослой. А ведь у нее на руках остались братишка Жюль и сестренка Анриетта — двое малышей, трех и пяти лет, за которыми надо было присматривать, да еще стряпать, мыть посуду, убирать комнату. С тех пор как Бижар убил жену пинком ноги в живот, Лали стала маленькой хозяюшкой в доме. Молча, словно иначе и быть не могло, она заняла место покойной матери, и теперь изверг отец избивал ее так же нещадно, как бил когда-то жену, очевидно, чтобы довершить между ними сходство. Когда он возвращался пьяный, у него просто руки чесались кого-нибудь исколотить. Он не замечал, что Лали еще крошка, он лупил ее почем зря, как взрослую. Его лапища покрывала все личико Лали, а кожа у девочки была еще такая нежная, что следы отцовской пятерни сохранялись на ней дня по два. То были жестокие незаслуженные побои. Точно зверь, набрасывался Бижар на дочку, а она безропотно принимала удары, похожая на пугливого, ласкового котенка, до того отощавшего, что на него больно было глядеть. Нет, Лали никогда не жаловалась. Она лишь смотрела на отца своими большими покорными глазами и тут же опускала голову, стараясь спрятать лицо; она никогда не кричала, боясь, что сбегутся соседи. А когда отец уставал пинать ее ногами, швыряя из угла в угол, как мячик, Лали с трудом вставала с пола; потом снова бралась за работу, умывала детей, варила суп и так чисто прибирала комнату, что все кругом блестело. Получать побои входило в ее повседневные обязанности.

Жервеза очень привязалась к своей маленькой соседке. Она обращалась с ней как с ровней, словно та была взрослой женщиной, много испытавшей на своем веку. У Лали было бледное серьезное личико с каким-то старческим выражением. Когда она рассуждала, ей можно было дать лет тридцать. Она прекрасно умела делать покупки, штопать, вести хозяйство и так разумно говорила о детях, словно ей самой не раз приходилось рожать. Люди улыбались, слыша такие речи от восьмилетней крошки; затем на глаза у них навертывались слезы, и они уходили, чтобы не заплакать. Жервеза постоянно приводила Лали к себе, делилась с ней всем, чем могла,— и едой и одеждой. Однажды, примеряя девочке старую кофту Нана, она увидела худенькую, покрытую синяками спинку, окровавленный локоть, все жалкое, истерзанное, ссохшееся тельце Лали, и рыдания подступили у нее к горлу. Да, дядя Базуж может готовить гробик — девчонка недолго протянет. Но Лали уговорила прачку не жаловаться на отца. Она не хотела, чтобы ему досаждали из-за нее. Она защи-

щала его, уверяя, что он вовсе не злой и что вся беда в вине: когда отец напьется, он сходит с ума и уже ничего не сознает. Она прощает ему, ведь сумасшедшим все надо прощать.

С тех пор Жерве̇за была настороже и, заслышав шаги Бижара, спешила на помощь Лали. Тогда на ее долю тоже доставалось несколько тумаков. Заглянув к Бижарам среди дня, она не раз находила Лали привязанной; перед уходом слесарь прикручивал ее к железной кровати — непонятная прихоть одуревшего от водки пьянчуги, желание мучить девчонку даже в свое отсутствие. Лали стояла навытяжку целый день, словно у позорного столба, и у нее все сильнее немели ноги. А однажды она провела так и ночь, потому что Бижар забыл о ней и не вернулся домой. Когда возмущенная Жервеза предлагала развязать ее, девочка умоляла не трогать веревки: отец рассвирепеет, если заметит, что узлы завязаны по-другому. Право, ей неплохо, она отдыхает; и она улыбалась, хотя уже не чувствовала ног, так они опухли и одеревенели. Ее беспокоило не это: все дела стоят, хозяйство в беспорядке, а она торчит на одном месте, точно приклеенная. Лучше бы отец придумал что-нибудь другое. И все же Лали присматривала за детьми, распоряжалась, подзывая то Анриетту, то Жюля, чтобы вытереть им носы. Руки у нее оставались свободными, и она вязала, не желая терять времени до прихода отца. Но хуже всего было, когда Бижар развязывал веревки,— девочка добрых четверть часа ползала по полу и никак не могла встать на ноги, до того они затекали.

Слесарь выдумал еще одну забаву. Накалив медные монеты, он клал их на край камина. Затем посылал Лали за хлебом. Ничего не подозревая, девочка брала монеты, с криком роняла их и принималась махать обожженной ручонкой. Тогда отец приходил в ярость. Ну и дрянь навязалась на его голову! Подумать только — деньги швыряет! И он грозил спустить с нее шкуру, если она сейчас же их не подберет. Когда Лали медлила, она получала для острастки здоровенную оплеуху, от которой у нее искры сыпались из глаз. Вся в слезах она молча хватала деньги и убегала, подбрасывая их на ладони, чтобы остудить.

Нет, даже представить себе невозможно, какие жестокие фантазии рождаются в голове у пьяниц. Как-то вечером, окончив домашние дела, Лали играла с детьми. Окно было открыто, и сквозной ветер распахивал и прикрывал дверь, ведущую в общий коридор.

— Это принц Ветер,— говорила девочка.— Здравствуйте, принц, входите!..

И она приседала перед дверью, раскланиваясь с ветром. Анриетта и Жюль стояли позади нее и тоже кланялись, заливаясь смехом: они были в восторге от этой игры. Лали порозовела,

видя, что ребятишки от души забавляются, да и сама вошла во вкус игры, а это случалось с ней не слишком часто.

— Добро пожаловать, принц! Как поживаете?

Но грубая рука толкнула дверь, и на пороге появился папаша Бижар. Тут все разом изменилось: Анриетта и Жюль плюхнулись на пол, а Лали в ужасе застыла, не закончив реверанса. Слесарь держал в руке новенький ременный кнут с длинным белым кнутовищем. Он поставил покупку возле кровати и даже не наградил Лали обычным пинком, в ожидании которого девочка съежилась и повернулась к отцу спиной. Бижар был очень весел, очень пьян и скалил черные зубы, усмехаясь от какой-то забавлявшей его мысли.

— Так-так! Ты, значит, балуешься, паскуда! Я еще снизу слышал, как ты здесь отплясываешь... А ну-ка, подойди ко мне! Ближе, ближе, черт возьми! Да повернись лицом, на кой мне нужна твоя задница? Чего ты трясешься как овечий хвост? Разве я тебя трогаю? Сними с меня башмаки!

Лали, в ужасе оттого, что не получила обычной порции колотушек, вся побелела и сняла с него башмаки. Отец, сидевший на краю кровати, повалился на нее, не раздеваясь, и стал следить за девочкой. А она растерянно металась под этим пристальным взглядом и так дрожала от страха, что в конце концов разбила чашку. Тогда, не меняя положения, Бижар взял кнут и помахал им.

— Взгляни на эту штуку, овечка! Опять купил тебе подарок. Да, потратил на тебя еще пятьдесят су... С этой игрушкой мне не придется бегать за тобой, теперь ты никуда не спрячешься. Хочешь попробовать? Ага, ты чашки бьешь!.. Ну, гоп, попляши вприсядку перед своим принцем!

И, по-прежнему развалясь на кровати, он принялся щелкать огромным бичом, словно возница, погоняющий лошадей. Вдруг он со всего размаха ударил Лали; ремень обвился вокруг ее тельца, и она завертелась как волчок. Потом упала, попробовала отползти на четвереньках, но он снова ударил ее, и она вскочила на ноги.

— Гоп! Гоп! — орал Бижар.— А ну, поворачивайся... Хороша забава — особенно зимой, по утрам. Я себе полеживаю в тепле и стегаю кнутом овечку, стегаю издалека, даже рук не мараю. Хочешь спрятаться в этом углу? Достал стерву. А в том? Тоже достал. Ага, ты залезла под кровать, ну так угощу тебя кнутовищем... Гоп! Гоп! Живей, живей!

Пена выступила у него на губах, желтые глаза чуть не вылезли из темных орбит. Обезумевшая Лали с воплями бегала по комнате, каталась по полу, прижималась к стенам; но длинный кнут настигал ее повсюду, оглушительно щелкал над головой и,

обжигая, хлестал по телу. Ну и пляска! Точь-в точь дрессировка зверушки в цирке. Стоило посмотреть, как кружится бедный котенок! Лали прыгала так высоко, словно играла в веревочку. Она задыхалась, отскакивала от пола, как резиновый мяч, и, ослепленная, истерзанная, сама подвертывалась под удары. А мучитель-отец ликовал, обзывал ее паскудой и спрашивал, не довольно ли с нее, поняла ли она наконец, что ей все равно никуда не спрятаться.

На вопли девочки неожиданно прибежала Жервеза. При виде этого зрелища она вышла из себя.

— Мерзавец, подлец! — закричала она.— Сию же минуту перестаньте, не то я побегу за полицией!

Бижар зарычал, как пес, у которого отняли кость.

— Эй ты, кривобокая, не суйся не в свое дело! Что ж, прикажешь надевать перчатки, чтоб учить ее? Это порядка ради, понимаешь? Пусть знает, что у меня длинные руки.

И он в последний раз ударил Лали кнутом. Удар пришелся по лицу, из рассеченной верхней губы брызнула кровь. Жервеза схватила стул и хотела броситься на слесаря, но Лали с мольбой протянула к ней руки, уверяя, что это пустяки, что все уже прошло. Краешком передника она вытерла кровь и стала успокаивать детей, которые ревели в голос, словно этот град ударов обрушился на них.

Думая о Лали, Жервеза не смела роптать. Ей хотелось быть такой же мужественной, как эта восьмилетняя крошка, выстрадавшая на своем веку больше, чем все соседки вместе взятые. Девочка месяцами питалась черствыми корками, да и то не досыта,— Жервеза знала это,— и так похудела и ослабла, что ходила, держась за стены. Когда же прачка тайком приносила Лали остатки мяса, у нее сердце обливалось кровью: бедняжка ела молча, маленькими кусочками — сузившееся от недоедания горлышко плохо пропускало пищу,— и крупные слезы катились по ее щекам. Но она всегда была такая же кроткая, преданная и разумно не по летам выполняла свои обязанности маленькой мамаши, изнемогая под бременем материнских чувств, слишком рано пробудившихся в ее хрупкой детской груди. Жервеза старалась брать пример с Лали и научиться так же безропотно нести свой крест, как этот бедный замученный ребенок. Девочка не умела жаловаться, она лишь смотрела своими большими черными глазами, в глубине которых угадывалась затаенная боль. Никогда ни слова — только покорный взгляд этих широко открытых черных глаз.

Беда в том, что сивуха «Западни» вела к гибели и семейство Купо. Прачка видела, что недалек день, когда муж возьмет хлыст, как Бижар, и заставит ее плясать. И, ожидая этого несчастья,

она с еще большим сочувствием относилась к несчастью Лали. Да, здоровье Купо сильно пошатнулось. Прошли те времена, когда он только багровел от водки. Теперь он уже не мог хвастливо хлопать себя по животу, говоря, что толстеет от этого чертова зелья; прежний нездоровый жир исчез, кровельщик отощал, лицо стало зеленоватым, как у утопленника. Аппетит тоже пропал. Мало-помалу бедняге Купо опротивел хлеб, и он стал воротить нос даже от жаркого. Самый лакомый кусок и тот становился ему поперек горла, а челюсти отказывались работать. Чтобы как-нибудь держаться, ему требовалась бутылка водки в день. Водка заменяла кровельщику еду и питье, она была единственной пищей, которую теперь принимало его нутро. Утром он добрых полчаса сидел на кровати, согнувшись в три погибели, кашлял, трясся в ознобе, хватаясь руками за голову, и харкал, сплевывая душившую его горькую, как полынь, мокроту. Под конец его всегда тошнило, хоть заранее подставляй урыльник. Он становился человеком, лишь выпив молока от бешеной коровы — целебного зелья, которое огнем пробегает по жилам. Среди дня начинались новые напасти. Сперва Купо чувствовал покалывание в руках и ногах, словно кто-то легонько щекотал его, и он шутил, говоря, что красотки заигрывают с ним или жена подсыпает ему в постель щетину. Потом ноги тяжелели, покалывание переходило в мучительные судороги, они словно клещами сжимали ему икры. Это было уже не так забавно! Купо больше не хохотал, он останавливался как вкопанный посреди улицы, в ушах у него шумело, из глаз сыпались искры. Все словно желтело кругом, дома качались, а он стоял, пошатываясь, и боялся сойти с места, чтобы не растянуться на мостовой. Порой, сидя на самом припеке, он вздрагивал, чувствуя, как ледяная струя пробегает по спине — от шеи до самой задницы. Но больше всего Купо донимала дрожь в руках; особенно своевольничала правая, как будто она совершила черное дело и теперь трясется от ужаса. Черт побери! Мужчина он или не мужчина? Неужто он превращается в старую развалину? Кровельщик яростно напрягал мускулы, сжимая в кулаке стакан, и бился об заклад, что рука у него не шелохнется, замрет как каменная; но, несмотря на все его усилия, стакан отплясывал какой-то дикий танец, прыгал то вправо, то влево и все время дрожал мелкой дрожью. Тогда Купо опрокидывал его в глотку и гневно кричал, что вылакает дюжину стаканов и уж тогда удержит целый бочонок, не шевельнув ни одним пальцем. Жервеза, напротив, убеждала его бросить пить — иначе он никогда не перестанет трястись. Но Купо посылал ее к черту, пил литр за литром, чтобы доказать свою правоту, и приходил в бешенство, уверяя, будто из-за проезжающих омнибусов в доме все ходит ходуном.

Как-то в марте Купо вернулся под вечер промокший до костей; вместе с Бурдюком они пришли пешком из Монружа, где досыта наелись супа из угрей; ливень настиг их у заставы Фурно и поливал без передышки до заставы Пуассоньер — конец немалый. В ту же ночь кровельщика стал бить кашель; он лежал весь красный, в жару, тяжело дышал и так хрипел, словно в груди у него что-то треснуло. Наутро Боши прислали знакомого врача, тот выслушал Купо, покачал головой и, отведя Жервезу в сторону, велел ей немедленно везти мужа в больницу — у Купо было воспаление легких.

Жервеза, ясное дело, не стала противиться. В прежнее время она скорее дала бы изрубить себя на куски, чем доверила мужа недоучкам из больницы. Когда он упал с крыши, Жервеза истратила все сбережения, чтобы выходить его дома. Но уж коли человек превратился в скотину, любовь к нему быстро улетучивается. Нет, нет, довольно с нее хлопот. Пусть избавят ее, пусть возьмут мужа навсегда, она только спасибо скажет. Однако, когда принесли носилки и положили на них неподвижного, как колода, больного, Жервеза побледнела и стиснула зубы. И хотя она по-прежнему уверяла себя, что так ему и надо, сердце говорило другое, и будь у нее в комоде хоть десять франков, она не дала бы его унести. Она проводила мужа до больницы Ларибуазьер и видела, как санитары поместили его в конце огромного зала, где длинными рядами лежали больные, бледные, как мертвецы; при виде нового товарища они приподнимались на подушке и провожали его глазами. Вонища здесь была такая, что задохнуться можно, а от чахоточного кашля и здорового вывернуло бы наизнанку; к тому же палата с рядами белых кроватей вдоль стен походила на крошечный Пер-Лашез — ни дать ни взять кладбищенская аллея. Купо лежал пластом, и Жервеза так и ушла, не зная, что сказать мужу; в кармане у нее было пусто, и она ничем не могла ему помочь. На улице она обернулась и окинула взглядом огромные больничные корпуса. Ей вспомнились былые дни, когда Купо, примостившись у самого края этой крыши, прилаживал оцинкованные листы и распевал на солнышке. Тогда он не пьянствовал и кожа у него была свежая, как у девушки. Взглянув из своего окна в гостинице «Добро пожаловать», Жервеза искала его глазами и находила наконец где-то высоко в небе, и оба махали платками, посылая друг другу привет. Да, работая здесь, Купо не подозревал, что работает для себя. Теперь он уже не прыгал по крыше, как веселый забияка-воробей; он лежал внизу, он сам приготовил себе конуру в больнице и пришел подыхать сюда, изнуренный, с рожей, обросшей щетиной. Боже, какой далекой казалась теперь золотая пора их любви!

Через день Жервеза пришла проведать мужа, но его кро-

вать оказалась пустой. Сестра милосердия объяснила ей, что Купо перевели в дом для умалишенных — лечебницу святой Анны, так как накануне он стал ни с того ни с сего молоть всякий вздор. Право, он совсем рехнулся, бился головой о стену и так орал, что не давал спать больным. Должно быть, виной всему была водка. Это она подточила организм Купо и, когда он ослаб от воспаления легких, совсем взбудоражила его больные нервы. Прачка вернулась домой сама не своя. Так, значит, муж ее спятил! Хороша же будет их жизнь, если его выпустят! Нана кричала, что отца надо навсегда оставить в больнице, иначе он их обеих прирежет.

В лечебницу святой Анны Жервеза собралась только в воскресенье. Это было целое путешествие. К счастью, омнибус, ходивший от бульвара Рошешуар до Гласьера, останавливался неподалеку от больницы. Жервеза сошла на улице Санте и купила два апельсина, чтобы не являться с пустыми руками. Опять перед ней было огромное здание с мрачными дворами, нескончаемыми коридорами, пропитанными запахом прогорклых лекарств,— как видно, здесь ее не ждало ничего хорошего. Но, войдя в палату, она с изумлением увидела Купо в самом веселом настроении. Он как раз сидел на «троне» — очень чистом деревянном ящике, от которого ничуть не пахло; и они оба посмеялись над тем, что она застала его за таким занятием. Ну что ж, ведь он больной, тут обижаться не приходится! Он восседал важно, как римский папа, и зубоскалил по-прежнему. Что ж, раз желудок у него в порядке, значит, дело идет на поправку.

— А воспаление легких?

— С этим покончено! Как рукой сняло. Я еще кашляю, но самую малость, просто так, остаточки!

Купо слез с «трона» и, ложась в постель, снова пошутил:

— Да ты у меня молодчина, даже не чихнула от такой понюшки табака!

Супруги совсем развеселились. В сущности, они были довольны, да и шуточки-то отпускали, чтобы без громких слов поделиться своей радостью. Надо испытать это самому, иначе не поймешь, как приятно видеть, что близкий человек выздоравливает и дело у него идет на лад.

Когда Купо улегся в кровать, она дала ему апельсины, что очень его растрогало. Он опять подобрел с тех пор, как пил только лекарства и не зверел от водки, шляясь по кабакам. Убедившись, что он рассуждает, как в былые времена, Жервеза осмелилась заговорить о случившемся с ним припадке.

— Да, можешь себе представить,— сказал он, посмеиваясь над собой,— я нес всякую чушь!.. Мне мерещились крысы, и я гонялся за ними на четвереньках — хотел насыпать им соли на

хвост. А ты звала меня на помощь: какие-то люди собирались тебя укокошить. Словом, мне чудилась всякая ерунда, привидения среди бела дня... О, я ничего не забыл, котелок еще варит... Теперь все прошло, правда, по ночам я иногда брежу и у меня бывают кошмары, да ведь с кем этого не случается.

Жервеза просидела с мужем до вечера. В шесть часов с обходом пришел студент-медик и велел больному вытянуть руки: они почти не тряслись, только едва приметная дрожь пробегала по пальцам. Но с наступлением темноты Купо забеспокоился. Он приподнимался на кровати, оглядывал пол и темные углы палаты. Внезапно он размахнулся и ударил рукой по стене, словно давя какую-то тварь.

— Что с тобой? — спросила испуганная Жервеза.

— Крысы, крысы,— забормотал он.

Наступило молчание, казалось, он задремал, но вдруг стал барахтаться в постели, крича сдавленным голосом:

— Ой, ой! Они рвут на мне шкуру!.. У, гады!.. Держись! Подбери юбку! Осторожно, сзади крыса подкралась!.. Готова, полетела вверх тормашками! А эти-то сволочи чего хохочут?! Сволочи! Мерзавцы! Разбойники!

Он бил кулаками по воздуху, потом схватил одеяло, скомкал его и прижал к себе, защищаясь от нападения каких-то бородатых людей. На шум прибежал служитель, Жервеза ушла, потрясенная этой сценой. Но когда несколько дней спустя она пришла снова, оказалось, что Купо совсем поправился. Кошмары прошли, он спал сном праведника по десяти часов кряду и даже не ворочался с боку на бок. Жервезе позволили забрать его домой. На прощание студент-медик дал Купо несколько добрых советов, наказав поразмыслить над ними. Если он опять начнет пить, то снова заболеет и скоро протянет ноги. Да, все зависит только от него. Ведь он сам видит, каким он стал молодцом, когда бросил пьянствовать. Словом, дома он должен вести себя так же благоразумно, как в больнице; пусть вообразит, будто он сидит под замком и кабаков больше не существует.

— Доктор прав,— сказала Жервеза, когда они ехали в омнибусе на улицу Гут-д'Ор.

— Ясное дело, прав,— ответил Купо. Потом, подумав с минуту, добавил: — Ну, пропустить изредка стаканчик-другой не повредит, от этого никто не умирал, да и для желудка полезно.

И в тот же вечер он выпил стаканчик водки для пищеварения. Первую неделю Купо еще держался. В общем, он был изрядный трус, и ему вовсе не улыбалось помереть в сумасшедшем доме. Но страсть к спиртному взяла верх: за первым стаканчиком последовал второй, за вторым третий и четвертый, а две недели спустя Купо вернулся к своей обычной порции и снова

выпивал бутылку сивухи в день. Раздосадованная Жервеза готова была его отколотить. Подумать только, какая она дура: снова размечталась о честной жизни, решила, что муж остепенился в больнице. Еще одна надежда рухнула, и теперь, верно, последняя. Хорошо же, раз ничто не может его образумить, даже страх смерти, она не станет больше надрываться, пусть хозяйство пропадет пропадом, ей все равно! И Жервеза дала себе слово, что и она постарается жить в свое удовольствие. И вновь началась та же адская жизнь, та же горькая нужда, но уже без всякого просвета впереди. Когда Купо награждал Нана колотушками, девчонка в бешенстве кричала: жалко, что этот скот не подох в больнице! Погодите, вот начнет она зарабатывать и нарочно будет покупать ему водку: авось отец поскорее окочурится. Однажды, когда Купо попрекал Жервезу и жалел, что женился, она тоже вышла из себя. Ах вот как, значит, ему достались объедки? Он подобрал ее на улице? Выходит, она завлекала его и корчила из себя святошу? Ну и нахал! Что ни слово, то ложь. Тогда она и знать-то его не хотела, вот истинная правда. Он валялся у нее в ногах и канючил, а она советовала ему хорошенько подумать. И уж если бы пришлось начинать все сызнова, она раз и навсегда сказала бы «нет!». Лучше бы руку себе отрубила, чем выходить за такого негодяя! Да, правда, она не была девушкой, когда они познакомились, но работящая, скромная женщина, даже если она и имела любовника, куда лучше, чем бездельник муж, пропивающий в кабаках свою честь и честь всей семьи. В этот день у Купо впервые произошла настоящая потасовка, дрались с таким остервенением, что сломали старый зонтик и метлу.

Жервеза сдержала слово. Она еще больше опустилась, еще чаще отлынивала от работы, а придя в прачечную, болтала без умолку, и все валилось у нее из рук. Если какая-нибудь вещь падала, Жервеза и не думала ее поднимать. Она совсем обленилась, верно, боялась растрясти свой жир. Она забросила все хозяйство и бралась за метлу лишь тогда, когда от сора и грязи некуда было ступить. Теперь, проходя мимо двери Купо, Лорийе на виду у всех зажимали носы. «Сущая зараза!» — говорили супруги. Сами они сидели, забившись в своей норе в конце коридора, и не желали слышать стонущей кругом нищеты, они даже запирались на все замки из боязни, что придется одолжить кому-нибудь двадцать су. Нечего сказать, добрые сердца, любезные, услужливые соседи! Стоило постучаться к ним и попросить коробку спичек, щепотку соли или стакан воды, как дверь чуть-чуть приоткрывалась и тотчас же захлопывалась перед носом у просителя. А уж какие у них злые языки! Послушать Лорийе, они никогда не суются в чужие дела,— да, если надо помочь ближ-

нему! Но уж коли представился случай позлословить, они с утра до ночи честят людей на все корки. Заперев дверь на задвижку и повесив изнутри одеяло, чтобы закрыть замочную скважину и все щелочки, супруги с наслаждением перемывают косточки соседям, ни на минуту не выпуская из рук золотой проволоки. Больше всего их радовало унижение Хромуши, и они целыми днями судачили о ней, мурлыкая от удовольствия, как коты, которых гладят по шерстке. Подумать только, как она обнищала, как опустилась! Они подстерегали Жервезу, когда она шла за покупками, и потешались над ней: ну и крошечный же хлебец несет под передником Хромуша! Они вели счет дням, когда она ложилась спать на голодный желудок. Они знали, какой толщины слой пыли в ее комнате, сколько там стоит немытых тарелок, подмечали каждый новый признак ее неряшливости и нищеты. А ее платья? Грязные лохмотья, которыми побрезговал бы даже тряпичник! Ну и здорово же облезла эта красотка, эта стерва, которая, бывало, так и вертела задом в своей небесно-голубой прачечной! Вот до чего доводит пристрастие к тряпкам, к вину и пирушкам. Жервеза подозревала, что Лорийе издеваются над ней; иной раз, сняв ботинки, она неслышно подходила к их двери и прикладывала к ней ухо, но толстое одеяло заглушало голоса. Только раз она подслушала, что они называли ее «грудастой»,— впрочем, несмотря на плохую кормежку, у нее и в самом деле была пышная грудь. Словом, Лорийе сидели у нее в печенках. Но она продолжала разговаривать с ними — не хотела давать пищу сплетням, хоть и знала, что от этих злыдней ничего, кроме пакостей, не дождешься; а главное, у нее не было сил отшить супругов, начисто разругаться с ними. Да и не все ли равно? Ей хотелось жить на свой лад — ничего не делать, сидеть сложа руки, а уж если утруждать себя, то лишь для собственного удовольствия.

Как-то в субботу Купо обещал сводить ее в цирк. Вот из-за этого стоило побеспокоиться! Разве не любопытно посмотреть, как дамы скачут на лошадях и прыгают сквозь обручи, обтянутые бумагой? Купо как раз получил двухнедельный заработок — мог же он раскошелиться на сорок су! Они собирались даже поужинать вдвоем в ресторане, так как Нана допоздна задержится в мастерской из-за спешного заказа. Пробило семь часов, Купо еще не было, в восемь он тоже не пришел. Жервеза была вне себя. Ее пьянчуга, верно, пропивает получку в компании с приятелями. А она-то выстирала чепчик и с самого утра занималась починкой старого платья, чтобы иметь приличный вид! Наконец в девять часов терпение у нее лопнуло: голодная, позеленевшая от злости, она спустилась вниз, чтобы поискать Купо в окрестных кабаках.

— Не мужа ли ищете? — спросила привратница, заметив ее сердитое лицо.— Он у папаши Коломба. Бош только что пил с ним вишневку.

Жервеза поблагодарила. Она бегом бросилась в «Западню» с твердым намерением выцарапать мужу глаза. Моросил дождик, и от этого прогулка не становилась приятнее. Но когда Жервеза добралась до «Западни», мысль, что ей самой не поздоровится, если она разозлит Купо, сразу охладила ее пыл, и она остановилась перед дверью. Окна кабака были освещены, газовые рожки слепили глаза, на стенах разноцветными пятнами лежали блики от бутылок и графинов. Жервеза на мгновение замерла, прильнув лбом к стеклу, и между двумя бутылками, стоявшими на витрине, разглядела Купо: он сидел с приятелями за оцинкованным столиком в глубине зала, и темные фигуры расплывались в синеватом табачном дыму; не слыша их голосов, забавно было смотреть, как они размахивают руками и, выпучив глаза, трясут головой. Боже правый, как это мужчины могут бросать дом, семью и часами торчать в мерзкой дыре, где и дышать то нечем?! Струйки дождя потекли ей за шиворот; она выпрямилась и, не решаясь войти в «Западню», уныло побрела по внешним бульварам. Ну и влетит же ей, если Купо ее увидит,— он не терпит, когда его выслеживают. Да и, кроме того, кабак неподходящее место для порядочной женщины. Однако на бульваре было грязно, мокро, она скоро продрогла и испугалась, что, пожалуй, еще расхворается. Дважды она возвращалась обратно и, остановившись у витрины, снова прижималась лбом к стеклу — этакая досада, проклятые пьяницы посиживают себе в тепле, пьют и горланят. Яркий свет «Западни» отражался в лужах, вскипавших под дождем мелкими пузырьками. Всякий раз, как дверь кабака отворялась и тут же оглушительно хлопала, Жервеза отскакивала от витрины прямо в лужу. Наконец она выругала себя дурой, открыла дверь и решительно направилась к столику Купо. Что там ни говори, а она пришла за мужем, это ее право, тем более что сам Купо обещал сводить ее вечером в цирк. Будь что будет, она не хочет раскиснуть под дождем, как кусок мыла.

— Ба, да это ты, старуха?! — закричал кровельщик, давясь от хохота.— Ну и потеха! Право же, потеха!

Все смеялись — Бурдюк, Биби Свиной Хрящ, Ненасытная Утроба, он же Бездонная Бочка. Да, они тоже находили это очень забавным, а почему — и сами не знали. Жервеза стояла молча, слегка опешив. Купо был, видно, хорошо настроен, и она отважилась спросить:

— Ну как, идем мы или нет? Надо поторапливаться. Мы еще поспеем к концу представления.

— Да я и встать-то не могу, прилип, ей-богу прилип,— ответил Купо, продолжая смеяться.— Попробуй, если не веришь, потяни меня за руку, да сильнее, черт возьми! Тащи сильнее, говорят тебе, ну же! Вот видишь, подлец Коломб привинтил меня к скамейке.

Жервеза вошла во вкус игры; когда же она отпустила руку мужа, остальным приятелям так понравилась эта забава, что они сбились в кучу, толкая друг друга и ревя, как ослы, которых чистят скребницей. Кровельщик громко хохотал, разевая пасть во всю ширь.

— Дурища ты! — проговорил он наконец.— Почему б тебе не присесть на минутку? Сидеть здесь все же лучше, чем шлепать под дождем... Ну да, я опоздал, был занят. Нечего кривить рожу, не поможет... Эй вы, потеснитесь!

— Может, вы согласитесь присесть ко мне на колени? — любезно предложил Бурдюк, обращаясь к Жервезе.— Тут вам будет помягче.

Не желая привлекать к себе внимание, Жервеза взяла стул и села в трех шагах от столика. Она поглядела на то, что пьют мужчины,— желтое зелье отливало золотом в их стаканах; на столе образовалась маленькая лужица, и Ненасытная Утроба, он же Бездонная Бочка, макал в нее палец и, разговаривая, выводил крупными буквами женское имя «Элали». Жервеза нашла, что Биби Свиной Хрящ совсем истрепался и стал худ как щепка. У Бурдюка нос посинел и расцвел наподобие махрового георгина. Всех четверых словно вываляли в грязи: взъерошенные липкие бороды напоминали метлы золотарей, рабочие блузы были засалены и порваны, руки перепачканы, ногти в трауре. И все же с ними еще можно было водить компанию, правда, они пили с шести часов вечера, но их еще не совсем развезло, и все четверо держались молодцом. Возле стойки Жервеза заметила двух других пьянчуг, эти уж до того наклюкались, что проносили стаканчики мимо рта и опрокидывали их себе за ворот. Грузный папаша Коломб, расставив огромные ручищи, которым позавидовал бы любой вышибала, невозмутимо разливал вино и водку. Было очень жарко, дым от трубок поднимался к потолку и при ослепительном свете газовых рожков клубился как сизый туман, понемногу обволакивая посетителей; из-за этой завесы доносился невнятный гул — крики сиплых голосов, звон стаканов, ругань и удары кулаком по столу, звучавшие как громовые раскаты. Недаром Жервеза морщилась: такое зрелище не больно-то приятно для женщины, особенно с непривычки; она задыхалась, глаза ее слезились, голова отяжелела от винных паров, которыми пропитался весь зал. Внезапно Жервеза почувствовала щемящую тоску, будто ей грозила какая-то опасность. Она обернулась и увидела

перегонный куб, дьявольскую машину, которая работала полным ходом под стеклянной крышей узенькой пристройки и глухо рокотала, словно адская кухня для спаивания людей. Вечером вид у змеевиков был еще более мрачный, чем днем, лишь на сгибах медных трубок вспыхивали большие красноватые звезды; тень от машины падала на заднюю стену, и Жервезе мерещились всякие ужасы — хвостатые чудища с разинутой пастью, грозящие поглотить всех посетителей.

— Ну чего ты надулась, сорока? — спросил Купо у жены.— Знаешь, мы тут не любим постных лиц!.. Говори, что будешь пить?

— Ничего не буду,— ответила прачка.— Я с утра не ела.

— Вот потому-то и надо выпить: опрокинешь рюмочку, и легче станет.

Видя, что Жервеза все еще хмурится, Бурдюк вновь выказал себя галантным кавалером.

— Госпожа Купо, верно, любит сладкие вина,— пробормотал он.

— Я люблю людей, которые не пьянствуют,— сказала она сердито.— Да, я люблю, чтобы они приносили получку домой, и давши слово, держали его.

— Так вот что тебе не по нутру?! — воскликнул кровельщик, продолжая смеяться.— Ты хочешь получить свою долю. Почему ж ты отказываешься от угощения, дуреха?.. Пей, внакладе не останешься.

Жервеза пристально, серьезно взглянула на мужа, глубокая морщинка залегла у нее между бровей. И она ответила, медленно выговаривая слова:

— Что ж, ты прав, неплохо придумал. Уж коли на то пошло, будем вместе пропивать получку.

Биби Свиной Хрящ пошел заказать стаканчик анисовки. Жервеза придвинулась к столику. Смакуя настойку, она вдруг вспомнила, что много лет назад, когда Купо ухаживал за ней, они сидели в той же «Западне», в уголке за дверью, и вместе пили сливянку. Тогда она съела только сливу, а пьяный сок оставила на дне. Теперь же принялась за ликеры. Да, она знает себя, силы воли у нее ни на грош. Стоит ее легонько толкнуть, и она покатится под гору, а тогда пошла-поехала — ничто уж ее не остановит. Впрочем, анисовка пришлась ей по вкусу, хотя и показалась слишком сладкой, даже приторной. И глоток за глотком она смаковала настойку, слушая, как Ненасытная Утроба, он же Бездонная Бочка, рассказывает о своей любовнице, толстухе Элали, той самой, что торгует вразнос рыбой. Ну и продувная же баба: везет тележку по улице, а сама за версту чует, в каком кабаке засел ее дружок; как ни охраняют, как ни прячут его товарищи,

Элали непременно его застукает; а вчера запустила ему в рожу камбалой, чтобы неповадно было гулять, когда другие работают. Ну и потеха! Биби Свиной Хрящ и Бурдюк просто животики надорвали, они хлопали по плечу Жервезу, которая на этот раз тоже смеялась, и советовали ей брать пример с толстухи Элали: пусть носит с собой утюг и отглаживает уши Купо тут же в кабаке, на оцинкованной стойке.

— Вот так штука! — закричал Купо, переворачивая вверх дном пустой стаканчик Жервезы.— Глядите-ка, ребята, выдула все до капли и глазом не моргнула! Она у меня молодчина, промашки не даст!

— Не желаете ли повторить, сударыня?— спросил Ненасытная Утроба, он же Бездонная Бочка.

Нет, с нее довольно. Однако она колебалась. От анисовки ее немного тошнило. Хорошо бы выпить чего-нибудь покрепче, чтобы обожгло желудок. И она как бы невзначай поглядывала на страшную машину за своей спиной. Этот проклятый котел, круглый, как туго набитое брюхо, и его длинный извивающийся хобот пугали и притягивали ее, даже холодок пробегал по спине. Ни дать ни взять медные кишки какого-то чудовища, какого-то злого волшебника, который капля по капле выпускает из своей утробы огненную влагу. Настоящий источник отравы, дьявольского пойла, которое следовало бы варить где-нибудь в подвале,— уж очень омерзительно выглядела эта стряпня! И все же Жервезе хотелось подойти поближе, понюхать, чем пахнет кухня папаши Коломба, отведать гнусного зелья, пусть даже она обожжет себе язык и кожа с него слезет, как перчатка.

— Что это вы пьете? — не без умысла спросила она у мужчин, любуясь красивой золотистой жидкостью в их стаканах.

— Это, моя милая, микстура папаши Коломба,— ответил Купо.— Не ломайся. Погоди, мы тебя угостим.

А когда ей поднесли стаканчик сивухи и у нее свело челюсти от первого же глотка, кровельщик закричал, ударяя себя по ляжкам:

— Что, небось глаза на лоб полезли?! А ты не тяни, хлопни разом. Полезная штука! Выпьешь стаканчик, и доктору платить не придется, шесть франков в кармане останутся!

После второго стаканчика Жервеза перестала чувствовать мучивший ее голод. Теперь она уже не сердилась на Купо, от души прощала ему обман. Они сходят в цирк в другой раз; в сущности, не так уж забавно смотреть на фокусников и на скачущих лошадей. У папаши Коломба тепло, уютно, ну, а если денежки и тают понемногу, то они превращаются в водку — прозрачную, сверкающую, красивую, как расплавленное золото, и прямиком идут в желудок. Эх, пропади все пропадом! Не так уж

много радости в жизни. Все-таки утешение, что она вместе с Купо тратит получку. Зачем уходить отсюда, если тут хорошо. Пусть хоть весь мир перевернется, она не двинется с места — она здесь славно пригрелась. И Жервеза нежилась в тепле, платье прилипло к лопаткам, тело оцепенело от сладкой истомы. Она сидела, положив локти на стол, и посмеивалась про себя, глядя по сторонам; особенно ее забавляли два посетителя за соседним столиком — толстенный верзила и щупленький коротышка, которые взасос целовались, до того они были пьяны. Да, она потешалась над «Западней», над лоснящейся от жира круглой, как луна, рожей папаши Коломба, над завсегдатаями, которые пыхтели своими носогрейками, шумели и плевались, потешалась над ярким светом газовых рожков, отражавшихся в зеркалах и бутылках с ликерами. Винные пары уже не мешали Жервезе, напротив — от них приятно щекотало в носу, и даже казалось, что здесь хорошо пахнет; глаза сами собою закрывались, грудь дышала ровно, хоть и тяжело, и было так сладко погружаться в дремоту. После третьего стаканчика она опустила голову на руки и уже никого не видела, кроме Купо и его собутыльников; она придвинулась к ним совсем близко, нос к носу, чувствовала у себя на щеках их горячее дыхание и пристально рассматривала их грязные бороды, словно хотела сосчитать каждый волосок. Теперь мужчины были вдребезги пьяны. Бурдюк с трубкой в зубах пускал слюни, тупой и важный, как заснувший бык. Биби Свиной Хрящ хвастал, что умеет залпом опорожнить бутылку, опрокинув ее в глотку вверх дном. Между тем Ненасытная Утроба, он же Бездонная Бочка, принес со стойки «фортунку» и теперь играл с Купо на угощение.

— Двести!.. Ну и везет же тебе, всякий раз выпадают крупные номера!

Пружина «фортунки» скрипела; Фортуна, изображенная на картинке под стеклом в виде женщины в красном, быстро мелькала и расплывалась перед глазами, как пятно от пролитого вина.

— Триста пятьдесят!.. Да ты никак сам залез в машинку, стервец этакий?! Нет, дудки, я больше не играю.

Жервеза тоже заинтересовалась «фортункой». Она пила без удержу и звала теперь Бурдюка «сыночком». Позади нее с глухим рокотом подземного потока продолжала работать дьявольская машина, и Жервеза приходила в отчаяние оттого, что не может ни остановить ее, ни осушить до дна; ею овладела мрачная злоба, хотелось броситься на огромный перегонный куб, как на мерзкого зверя, и топтать, топтать изо всех сил, пока не лопнет его толстое брюхо. Все путалось в голове у Жервезы, она чувствовала, что машина подбирается к ней, хватает ее своими медными лапами, а винный поток обжигает ей нутро.

Потом весь зал заплясал у нее перед глазами, и газовые рожки полетели куда-то, словно падающие звезды. Жервеза была мертвецки пьяна. Она слышала яростную перебранку между Ненасытной Утробой и этим прохвостом Коломбом. Ну и разбойник, ставит в счет четыре бутылки вместо одной! Но ведь мы не на большой дороге! Тут началась невообразимая свалка, послышались вопли, грохот падающих столов. Это папаша Коломб без лишних проволочек вышвыривал всю компанию из «Западни». На улице приятели столпились перед запертой дверью и принялись всячески поносить хозяина. Дождь шел по-прежнему, дул ледяной ветер. Жервеза потеряла Купо, нашла его и снова потеряла. Ей хотелось домой, она ощупью шла вдоль лавчонок, чтобы не сбиться с дороги. Внезапно наступившая темнота удивляла ее. На углу улицы Пуассонье она плюхнулась в сточную канаву и решила, что пришла в прачечную. От струящейся кругом дождевой воды у нее кружилась голова и тошнота подступала к горлу. Наконец она добралась до дома и прошмыгнула мимо привратницкой; Лорийе и Пуассоны, сидевшие за столом у Бошей, брезгливо поморщились, увидев ее в таком неприглядном виде.

Она и сама не знала, как поднялась на седьмой этаж. Наверху, в коридоре, к ней подбежала Лали: девочка узнала шаги Жервезы и ласково протянула к ней ручки.

— Госпожа Жервеза,— говорила она смеясь,— сегодня папы нет дома, идемте, поглядите, как спят мои детки... Они такие милые!

Но, увидев бессмысленный взгляд прачки, она попятилась и задрожала. Ей был знаком этот водочный дух, эти мутные глаза, этот судорожно сведенный рот. Жервеза ничего не ответила; спотыкаясь, она прошла мимо Лали, которая, стоя у порога, безмолвно следила за ней своими серьезными черными глазами.

XI

Нана, подрастая, становилась продувной бестией. К пятнадцати годам она взошла как на дрожжах и стала белокожей, пухленькой, круглой, как пышка. Да, уже пятнадцать лет, крепкие зубки и никаких корсетов. Мордашка молоденькой потаскушки,— что называется, кровь с молоком, кожа бархатистая, как персик, задорный носишко, розовые губки, а глаза такие блестящие, что мужчинам хотелось от них прикурить. Шапка волос цвета спелой пшеницы и крошечные веснушки на скулах, словно золотая пыль, упавшая с солнечного венка на голове. Хорошенькая куколка, говорили Лорийе, совсем еще девчонка, едва сморкаться научилась, а плечи уже полные, налитые, и все повадки зрелой женщины.

«Западня»

«Западня»

Теперь Нана больше не совала комков бумаги себе за корсаж. У нее появились груди, пара новеньких грудок, точно обтянутых белым атласом. И это ее ничуть не смущало, напротив, ей хотелось, чтобы они были большие-пребольшие, как у кормилицы,— вот до чего жадна и безрассудна юность. Но девчонка казалась особенно аппетитной, когда просовывала кончик языка между белыми зубками: как видно, смотрясь в зеркало, она решила, что это ей идет, и теперь целыми днями показывала язык, чтобы быть красивее.

— Да спрячь ты язык! — кричала ей мать.

Часто вмешивался и Купо.

— Сию же минуту убери свой красный лоскут! — орал он, стуча кулаком по столу.

Нана была ужасной кокеткой. Она не всегда мыла ноги, зато носила такие узкие ботинки, что, надевая их, терпела муку мученическую; порой она просто зеленела от боли, а если спрашивали, что с ней, отвечала, будто у нее живот схватило,— признаваться в своем кокетстве она не желала. Трудно франтить, коли в доме нет даже хлеба. Но Нана делала просто чудеса: она приносила из мастерской обрывки лент и мастерила замечательные наряды, нашивая бантики и помпончики на свои старые грязные платья. Лето было порой ее торжества. Надев дешевенькое перкалевое платьице, она весь воскресный день носилась по улицам, озаряя квартал Гут-д'Ор сиянием своей красоты. Да, все ее знали — от внешних бульваров до укреплений, от шоссе Клиньянкур до улицы Шапель — и называли «цыпочкой»: она и вправду была свеженькой и нежной, как курочка.

Особенно ей шло одно платье, белое в розовых горошках, совсем простое, без всякой отделки. Короткая юбка открывала икры; широкие свободные рукава едва доходили до локтей, а в глубоком вырезе сердечком виднелась белая шейка и золотистая тень между грудей; Нана еще увеличивала этот вырез, тайком закрепляя его булавками в темном углу лестницы, чтобы не нарваться на колотушки отца. Вот и весь ее наряд, если не считать розовой ленты с развевающимися концами, которая стягивала ее рыжеватые волосы. В этом платье Нана была прелестна, как цветок. От нее хорошо пахло молодостью, свежим телом девушки-подростка.

В ту пору воскресенья были для нее днями встречи с уличной толпой, с мужчинами, которые, проходя мимо, пялили на нее глаза. Она ждала этих встреч всю неделю, ее так и подмывало улизнуть из мастерской: там она задыхалась, ей хотелось вырваться на свободу, гулять по солнышку, в праздничной сутолоке предместья. В воскресенье она начинала прихорашиваться с раннего утра и часами простаивала в одной рубашке перед осколком зеркала, висевшим над комодом; весь дом мог видеть ее в окно, и

Жервеза сердито спрашивала, долго ли она будет разгуливать в чем мать родила? Но Нана преспокойно укладывала завитки на лбу, смачивая их сахарной водой, пришивала пуговку к ботинку или что-то мудрила с платьем, босая, полуголая, с копной растрепанных кудрявых волос. «Ну и красотка! — смеялся Купо, подшучивая над дочкой.— Точь-в-точь кающаяся Магдалина! Ее можно показывать за два су, как дикарку в балагане! — И кричал под конец: — Прикрой свое мясо, глядеть тошно!» И все же Нана была очаровательна — белокожая, хорошенькая, с пышной гривой золотистых волос! Она не смела возражать отцу, только вся розовела от злости да яростно перекусывала нитку, встряхивая головой, от чего вздрагивала ее упругая девичья грудь.

Проглотив завтрак, она стремглав неслась во двор. Дом спал, погруженный в покой жаркого воскресного дня; мастерские внизу были закрыты; жилые комнаты зияли глазницами распахнутых окон, и в них видны были накрытые к вечеру столы, ожидавшие возвращения жильцов, которые всей семьей нагуливали аппетит возле старинных укреплений; какая-то женщина на четвертом этаже проводила весь день за уборкой: она отодвигала кровать, переставляла мебель и тихим жалобным голоском часами напевала одну и ту же песенку. Среди воскресной тишины, в пустом и гулком дворе, Нана, Полина и другие девчонки затевали игру в волан. Их было пять или шесть подружек, выросших вместе, и они царили во дворе, деля между собой восхищенные взгляды мужчин. Когда мимо проходил какой-нибудь парень, раздавался звонкий смех, и шелест крахмальных юбок, словно порыв ветерка, проносился по двору. Воздух был удушливый, раскаленный, как будто отяжелевший в ленивой истоме, и мутно-белый от пыли, поднятой гуляющей толпой.

Однако игра в волан служила лишь предлогом. Внезапно во дворе наступала полная тишина: выскользнув на улицу, девушки уже прогуливались по внешним бульварам. Они держались за руки, перегораживая вшестером всю аллею, и щеголяли своими светлыми платьями и развевающимися лентами в волосах. Чуть прищурив глаза, они бросали по сторонам быстрые лукавые взгляды, все подмечали и громко смеялись, запрокинув голову и показывая нежную шейку. При виде какого-нибудь горбуна или старушки, поджидающей свою собаку возле тумбы, девушки хохотали до упаду, их шеренга ломалась — одни отставали, другие рвались вперед; они вихляли бедрами, передергивали плечами, покачивались, стараясь привлечь к себе внимание, и так натягивали лиф платья, что обрисовывалась нарождающаяся грудь. Улица принадлежала им; они выросли на ней; здесь они бегали возле лавок в своих коротких юбчонках; они и сейчас, поправляя подвязку, задирали подол выше колен. Вся эта ватага спешила

от заставы Рошешуар к заставе Сен-Дени среди бесцветного потока людей, медленно катившегося под чахлыми деревьями бульваров; они расталкивали прохожих, змейкой пробирались сквозь толпу и, оборачиваясь, что-то кричали, громко хохоча. Их разлетающиеся платья проносились как вихрь дерзкой молодости, в ярком свете дня эти озорницы выставляли себя напоказ перед всей улицей, нахальные и распущенные, как сорванцы-мальчишки, нежные и желанные, словно невинные девушки, выходящие из реки с влажными после купания волосами.

Нана в своем розовом платье, которое так и полыхало на солнце, всегда шествовала посредине. Она держала под руку Полину, на белом платье которой пламенем вспыхивали желтые цветочки. Обе они были самые большие, самые зрелые и дерзкие, а потому верховодили всей оравой, принимая на свой счет взгляды и комплименты прохожих. Остальные подружки, на вид совсем еще девчонки, старались не отстать от них и пыжились, чтобы казаться взрослыми. У Нана и Полины было в запасе множество хитрых приемов кокетства. Они все делали неспроста: если они бежали во весь дух, то лишь для того, чтобы показать свое белые чулки и длинные ленты в волосах. А если останавливались, притворяясь, будто задыхались, и запрокидывали голову, напрягая трепещущую грудь,— значит, навстречу им шел какой-нибудь знакомый мальчишка, и тут же походка у них становилась медлительно-томной, они перешептывались и, смеясь, исподтишка наблюдали за ним. Они и удирали-то из дому ради этих случайных встреч среди уличной толкотни. Рослые ребята, надевшие для праздника пиджак и круглую шляпу, окликали их и, задержав у края сточной канавы, зубоскалили с ними, а порой пытались обнять. Двадцатилетние рабочие в серых замызганных блузах, скрестив руки, степенно беседовали с девушками, дымя им в нос своими трубками. Впрочем, все это ни к чему не вело — ведь парни выросли на улице вместе с ними. Но у каждой девчонки уже был свой избранник. Полина частенько встречалась с одним из сыновей г-жи Годрон, семнадцатилетним столяром, угощавшим ее яблоками. Нана замечала издалека, даже на другом конце улицы, Виктора Фоконье, сына хозяйки прачечной, с которым она целовалась по темным углам. Но дальше этого дело не шло: девчонки были слишком испорчены, чтобы сделать глупость по неведению. Зато словечки они загибали такие, что просто уши вяли.

Позже, когда солнце клонилось к закату, лучшим удовольствием маленьких негодниц было глазеть на уличные представления. Фокусники и акробаты, одетые в поношенные трико, расстилали на бульваре свои потертые ковры. Сбегались зеваки и плотным кольцом окружали бродячих актеров, которые показы-

вали им чудеса ловкости и силы. Нана и Полина часами простаивали здесь в самой гуще толпы. Их свежие платьица терлись о засаленные куртки и пальто и превращались в мятые тряпки. Зловонное дыхание мужчин касалось их волос, обнаженных рук и шеи, в воздухе стоял запах винного перегара и пота, но девчонок это нисколько не смущало, напротив — они только чуть розовели, без всякого отвращения купаясь в этой родной для них грязи. Кругом стояла ругань, пьяные говорили сальности, отпускали вольные шутки. Девочки знали этот язык с детства, понимали каждое слово и, оборачиваясь, спокойно, бесстыдно улыбались, даже румянец не появлялся на их атласных щечках.

Только одно им докучало — встречи с родителями, особенно если те уже нагрузились. Девочки поглядывали по сторонам и предупреждали друг друга:

— Берегись, Нана! — кричала Полина.— Папаша Купо идет!

— Нечего сказать, хорош! Еле тащится! — говорила Нана с досадой.— Придется удирать, не то мне влетит... Ой, да он плюхнулся! Господи твоя воля, хоть бы шею себе сломал!

Иной раз Купо точно из-под земли вырастал перед подружками — времени для бегства не оставалось; тогда Нана, присев на корточки, шептала:

— Спрячь меня поскорей! Это он меня ищет, шкуру обещал спустить, если увидит, что я опять шляюсь по улице.

Как только пьянчуга проходил мимо, Нана выпрямлялась, и девчонки гурьбой шли за ним, прыская со смеху. Ну точь-в-точь игра в прятки! Найдет, не найдет? Однажды Бош, ухватив Полину за ухо, все же привел ее домой, а Купо прогнал Нана с улицы пинком ноги в зад.

Когда день клонился к вечеру, девочки в последний раз обходили бульвары и шли домой, пробираясь в сумерках сквозь усталую толпу. Пыль таким густым облаком стояла в воздухе, что небо казалось тяжелым, тусклым. В этот час улица Гут-д'Ор походила на провинцию; кумушки сплетничали, стоя у порогов, и лишь их резкие голоса нарушали тишину, словно ватой окутавшую квартал,— экипажей и тех уже не было. Негодницы на минуту останавливались во дворе и подбирали свои ракетки, делая вид, будто весь день играли в волан. Потом они отправлялись восвояси, выдумывая по дороге какую-нибудь историю, хотя все и так сходило им с рук,— родителям было не до них: они с остервенением дрались из-за пересоленного или недоваренного супа.

Теперь Нана была уже работницей и получала сорок су в мастерской г-жи Титревиль на Каирской улице, куда поступила ученицей. Супруги Купо не хотели брать ее оттуда — дочка находилась там под присмотром г-жи Лера, которая десять лет служила у г-жи Титревиль старшей мастерицей. Утром, взглянув на

часы с кукушкой, мать замечала время, и Нана уходила одна, как пай-девочка, в своем узеньком и коротеньком черном платьице, из которого успела вырасти; г-жа Лера должна была следить, в котором часу она является к г-же Титревиль, и сообщать об этом Жервезе. Нана давалось двадцать минут на дорогу от улицы Гут-д'Ор до мастерской — ведь у этих попрыгуний-девчонок ноги резвые! Если Нана и не опаздывала, то прибегала такая красная, такая запыхавшаяся, что было ясно: девчонка домчалась за десять минут, а остальное время где-то ротозейничала. Однако чаще всего она приходила на семь-восемь минут позже других цветочниц и до вечера подлизывалась к тетке, смотря на нее умоляющими глазами: авось та пожалеет ее и ничего не скажет матери. Г-жа Лера, которая сочувствовала молодежи, лгала родителям Нана, а племяннице читала бесконечные нотации, говоря о своей ответственности и об опасностях, которые подстерегают девушку на парижских улицах. Боже мой, как к ней самой приставали в молодые годы! И тетка не спускала с Нана своих острых глазок, в которых светилось нездоровое любопытство: она была сама не своя при мысли, что ей надо блюсти невинность этой бедной кошечки.

— Понимаешь, ты должна мне все говорить,— повторяла она.— Я слишком добра к тебе, кошечка... Ведь случись с тобой беда, мне останется только броситься в Сену... Прошу тебя, если мужчины станут заговаривать с тобой, рассказывай мне все, слово в слово... Ну скажи правду, к тебе еще никто не приставал? Поклянись в этом!

Слушая тетку, Нана смеялась, и у нее задорно подергивались губы. Нет-нет, мужчины не заговаривают с ней — она слишком быстро ходит по улице. Да и к тому же им нечего ей сказать. Что у нее с ними общего? И она прикидывалась глупенькой: ну да, она опоздала, потому что рассматривала картинки в витринах или провожала Полину, которая рассказывает много забавных историй. Если ей не верят, пусть последят: она даже не переходит на ту сторону улицы и мчится галопом, да так быстро, что обгоняет всех других работниц. Однако г-жа Лера застала ее как-то на улице Пти-Карро с тремя такими же вертихвостками: девчонки стояли, задрав голову, и смеялись, глядя на мужчину, который брился у открытого окна. Тут Нана с жаром поклялась, что она как раз шла в булочную купить маленький хлебец.

— О, не беспокойтесь, я присматриваю за ней,— говорила долговязая вдова супругам Купо.— Я головой отвечаю за Нана. Пусть только какой-нибудь подлец посмеет ущипнуть ее, он будет иметь дело со мной.

Цветочная мастерская г-жи Титревиль помещалась на антресолях. Это была большая комната, середину которой занимал

огромный стол на козлах. Вдоль голых стен, покрытых грязно-серыми дырявыми обоями, стояли этажерки, а на них под толстым слоем пыли валялись старые картонки, какие-то свертки и вышедшие из моды образцы цветов. На потолке чернел большой закопченный круг от газовой лампы. Два широких окна выходили на улицу, и работницы, не вставая из-за стола, могли видеть вереницу прохожих на противоположном тротуаре.

Желая служить примером, г-жа Лера всегда приходила первая. Затем четверть часа подряд дверь беспрерывно хлопала, пропуская одну за другой молоденьких цветочниц; они влетали в мастерскую потные, растрепанные от быстрой ходьбы. Как-то утром, в июле, Нана пришла последняя, что, впрочем, было в ее привычках.

— Эх, не плохо бы иметь собственный экипаж! — воскликнула она.

И, не снимая черной шляпки, которую она называла «каскеткой» и без конца переделывала, девочка подбежала к окну и, высунувшись, огляделась по сторонам.

— Что ты там высматриваешь? — подозрительно спросила г-жа Лера.— Разве тебя провожал отец?

— Ну что вы! — спокойно ответила Нана.— Я ничего не высматриваю... Гляжу, какая погода, уж очень душно. В такую жару и захворать недолго, особенно если приходится бегать высунув язык.

Несмотря на ранний час, нечем было дышать. Девушки опустили жалюзи и посматривали в щелки, что делается на улице; наконец они придвинулись к столу, во главе которого восседала старшая мастерица. Перед каждой из восьми цветочниц стоял горшочек с клеем, лежали щипчики, пинцеты и инструмент для гофрировки. На столе были разбросаны мотки проволоки, катушка, вата, зеленая и коричневая бумага, листочки и лепестки, вырезанные из шелка, атласа и бархата. А посреди стола в высоком графине торчал увядший букетик — еще вчера его купила за два су одна из цветочниц и целый день носила, приколов к платью.

— Представьте себе,— сказала хорошенькая брюнетка Леони, гофрируя лепестки розы,— наша бедная Каролина совсем извелась со своим парнем, знаете, с тем, что поджидал ее каждый вечер.

Нана, разрезавшая на узкие полоски зеленый лист бумаги, воскликнула:

— Еще бы, черт подери, он лезет под юбку первой встречной!

Девушки захихикали, а г-жа Лера приняла строгий вид.

— Что за выражение, дитя мое? Хорошо, нечего сказать! — проговорила она, сморщив нос.— Что подумает отец, если я передам ему твои слова?

Нана надула щеки, казалось, она вот-вот расхохочется. Ее отец? Ну, он-то выражается похлеще!

— Тише: хозяйка! — прошептала вдруг Леони испуганной скороговоркой.

И, правда, на пороге появилась высокая сухопарая г-жа Титревиль. Обычно она сидела внизу, в магазине. Работницы очень боялись ее — хозяйка шутить не любила. Она медленно обошла вокруг стола, над которым прилежно склонились разом притихшие девушки, обругала одну из них разиней и велела ей переделать маргаритку. Затем ушла, такая же прямая и чопорная.

— Брысь, брысь! — повторяла Нана, а остальные девицы гудели хором.

— Барышни, побойтесь бога, барышни! — твердила г-жа Лера, пытаясь быть строгой.— Мне придется принять меры...

Но никто не слушал старшую мастерицу: цветочницы нисколько ее не боялись. Она была слишком снисходительна, ее так и разбирало любопытство при виде этих молоденьких озорниц; она отводила девушек в сторонку, чтобы выведать секреты об их ухажерах, и даже гадала им на картах, освободив краешек стола. Несмотря на свой гренадерский рост, эта старая кумушка просто таяла, когда речь заходила о любовных шашнях. Правда, ее оскорбляли крепкие словечки, но если цветочницы избегали их, они могли говорить при ней все, что угодно.

Право, в мастерской Нана только пополняла полученное ею воспитание. Ничего не скажешь, дурные наклонности у нее уже были, но общение с кучей девиц, развращенных нуждой и пороком, лишь подливало масла в огонь. И потом, они постоянно были вместе, в тесноте, и заражали друг дружку, как одно гнилое яблоко заражает всю корзину. На людях, разумеется, девушки держались прилично: они старались не показывать своей грубости и не болтать непристойностей,— словом, разыгрывали воспитанных барышень. Зато по углам они шептали на ушко приятельницам всякие гадости. Стоило сойтись двум подружкам, как они начинали смеяться и молоть черт знает что. По вечерам они провожали друг друга; и тут начинались такие признания, что у кого угодно волосы встали бы дыбом; цветочницы подолгу простаивали на тротуаре среди уличной сутолоки, возбужденные собственными словами. А девушек вроде Нана, которые еще не сбились с пути, развращал самый воздух мастерской, запах попоек и веселых ночей, принесенный гулящими работницами в их наскоро заколотых волосах и в юбках, до того измятых, словно они всю ночь провалялись одетые. Томная вялость после бурной ночи, запавшие глаза, обведенные темными кругами,— г-жа Лера возвышенно называла их «фонарями любви»,— развинченная походка и охрипшие голоса — все это говорило о пороке, дыхание которого проносилось

над рабочим столом и над хрупкими яркими венчиками искусственных цветов. Нана впитывала в себя этот воздух и с наслаждением терлась возле видавших виды девушек. Она давно уже подсаживалась к долговязой Лизе, о которой говорили, будто она беременна,— и девчонка украдкой посматривала на свою соседку блестящими глазами, как бы ожидая, что та вот-вот раздуется и лопнет. Просветить Нана было довольно трудно: негодница все уже знала, все видела, болтаясь на улице Гут-д'Ор. В мастерской она лишь наблюдала за тем, как поступают подруги, и ее все сильнее подмывало пойти по той же дорожке.

— Здесь можно задохнуться,— прошептала Нана, подходя к окну, словно для того, чтобы поднять жалюзи.

Но она снова высунулась и посмотрела вправо и влево. Тут Леони, наблюдавшая за мужчиной на противоположном тротуаре, воскликнула:

— Взгляните на этого старика! Что ему здесь нужно? Вот уже четверть часа, как он шпионит за нами.

— Какой-нибудь старый волокита,— сказала г-жа Лера.— Нана, сейчас же ступай на свое место! Я запретила тебе стоять у окна.

Нана вновь принялась крутить стебельки фиалок, а вся мастерская занялась стариком. Это был хорошо одетый господин лет пятидесяти, в светлом пальто, с очень бледным, серьезным, благообразным лицом и аккуратно подстриженной седеющей бородкой. Он битый час простоял у магазина лекарственных трав, поглядывая на спущенные жалюзи мастерской. Цветочницы хихикали, но уличный шум заглушал их смех; прилежно склонившись над работой, они искоса посматривали в окно, чтобы не потерять из виду старого господина.

— Ишь ты, да у него лорнет,— заметила Леони.— Шикарный мужчина! Он, верно, поджидает Огюстину.

Но Огюстина, высокая некрасивая блондинка, с досадой ответила, что она терпеть не может стариков. Г-жа Лера покачала головой и игриво улыбнулась.

— Вы не правы, милочка. Старики ласковее молодых,— прошептала она, как всегда, с каким-то двусмысленным намеком.

В эту минуту соседка Леони, толстенькая коротышка, сказала ей что-то на ухо; Леони откинулась на спинку стула, корчась от смеха, и стоило ей теперь взглянуть на старика, как она заливалась еще сильнее.

— Да, да, в самую точку попала!.. Ох, уж эта Софи, ну и бесстыдница! — бормотала она.

— Что она сказала? Что она сказала? — наперебой спрашивали работницы, сгорая от любопытства.

Леони молча вытирала слезы, а потом, немного успокоившись, опять принялась за работу.

— Этого нельзя повторить,— заявила она.

Девушки стали приставать к Леони, но она только отрицательно мотала головой и прыскала со смеху. Тогда Огюстина, ее соседка слева, стала просить подружку потихоньку сказать ей, в чем дело. Наконец Леони сдалась и что-то прошептала ей в самое ухо. Огюстина в свою очередь откинулась на спинку стула, покатываясь со смеху. Затем она повторила соседке ту же фразу, которая стала переходить из уст в уста среди негромких восклицаний и смешков. Когда непристойное словцо Софи обошло весь стол, девушки переглянулись и расхохотались все разом, красные и смущенные. Одна только г-жа Лера ничего не знала. Она чувствовала себя оскорбленной.

— Вы плохо себя ведете, барышни,— заявила она.— Неприлично секретничать в обществе... Верно, какая-нибудь сальность, да? Фи, как нехорошо!

Она не решалась попросить, чтобы ей повторили остроту Софи, хотя ей до смерти хотелось знать, в чем дело. Она сидела, опустив голову,— нельзя же было ронять свое достоинство,— и с наслаждением прислушивалась к болтовне девушек. Стоило одной из них сделать самое невинное замечание, скажем, о своей работе, как другие тут же все перетолковывали: они извращали самые обычные слова, придавая им грязный смысл, и во всем видели непристойные намеки. Если одна из девиц говорила: «Мои щипчики лопнули» или «Кто лазил в мой горшочек?» — другие тотчас же относили это к пожилому господину, стоявшему столбом на улице,— все разговоры вертелись вокруг него. Ну и икалось же ему, наверно! Девушкам так хотелось поострить, что они начали болтать всякую чушь. Однако новая игра им очень нравилась; они возбужденно хохотали, глаза у них лихорадочно блестели, а язык уже не знал никакого удержу. И все же у г-жи Лера не было причины сердиться: ни одного грубого слова не было сказано. Да и сама она рассмешила девушек до упаду.

— Лиза, дружочек, у меня огонь погас,— сказала она одной из цветочниц.— Передайте мне огонька.

— У госпожи Лера погас огонь! — закричали девушки в один голос.

Старшая мастерица пустилась было в объяснения.

— Вот когда проживете с мое...

Но ее никто не слушал, работницы наперебой предлагали позвать с улицы старого господина, чтобы он зажег потухший огонь г-жи Лера.

Надо было видеть, как хохотала Нана среди этого повального веселья! Она не пропускала ни одной двусмысленности, откапыва-

ла такие словечки, что просто лопалась от гордости, и победоносно встряхивала головой. Среди порока и распущенности она чувствовала себя как рыба в воде. И, корчась от смеха, она ни на минуту не переставала крутить стебельки фиалок. Да еще как здорово — быстрее, чем опытный курильщик свертывает папиросу. Одно ловкое движение руки, и узкая полоска зеленой бумаги как бы сама накручивалась на латунную проволоку; капелька клея падала на ее верхний кончик, и зеленый стебелек был готов, да притом такой свежий, такой изящный, что оставалось лишь приколоть его к корсажу, чтобы украсить дамский наряд. Шик был в самих пальцах Нана, тонких, нежных и гибких, словно бескостных пальцах потаскушки. Только этому она и научилась в мастерской. Зато ей одной поручали делать стебельки — так хорошо они у нее получались.

Между тем пожилой господин, все время стоявший на улице, наконец ушел. Девушки понемногу успокоились и усердно работали, несмотря на удушливую жару. Когда пробило двенадцать и наступил обеденный перерыв, все встрепенулись. Нана подскочила к окну и тут же предложила подругам сбегать за покупками. Леони заказала ей на два су креветок, Огюстина — фунтик жареного картофеля, Лиза — пучок редиски, Софи — сосисок. Нана уже спускалась по лестнице, когда ее нагнала г-жа Лера, широко шагая своими длинными ногами: тетке показалось подозрительным, что девчонку сегодня все время тянет к окну.

Едва они вышли из подъезда, как заметили пожилого господина: он стоял как на часах и, увидя Нана, подмигнул ей. Девчонка залилась краской. Тетка схватила ее под руку и потащила за собой, а незнакомый господин бросился вслед за ними. Так, значит, этот кавалер бегает за Нана! С пятнадцати лет заводить шашни с мужчинами! Ну и поведение! И г-жа Лера тут же приступила к допросу. Бог ты мой, Нана и сама ничего не знает; он преследует ее вот уже пятый день, она носу не может высунуть на улицу, чтобы не наткнуться на него; кажется, он коммерсант; говорят, у него пуговичная фабрика. Эти слова произвели на г-жу Лера сильное впечатление. Она обернулась и украдкой взглянула на господина.

— Да, сразу видно, что он при деньгах,— прошептала она.— Послушай, кошечка, ты должна мне все рассказать. Тебе нечего меня бояться.

Беседуя, они бегали по лавкам, зашли в колбасную, в зеленную, в мясную. Количество свертков в промасленной бумаге все увеличивалось. Нести их было неловко, но тетка и племянница были в прекрасном настроении, они вихляли бедрами, задорно смеялись и посматривали на господина блестящими глазами. Г-жа Лера тоже кокетничала, она разыгрывала из себя молодень-

кую девушку ради пуговичного фабриканта, который по-прежнему ходил за ними следом.

— Вид у него вполне приличный,— заявила она, подходя к мастерской.— Но честные ли у него намерения?

Затем, когда они поднимались по лестнице, г-жа Лера спросила, словно ненароком:

— Кстати, скажи мне, что это девушки шептали друг другу? Ну, знаешь, гадкую остроту Софи?

Нана не стала церемониться. Она обхватила г-жу Лера за шею, заставила спуститься на две ступеньки и что-то сказала ей на ухо,— право же, такую вещь нельзя произнести вслух даже на лестнице. Это было до того непристойно, что тетка только покачала головой, выпучив глаза и скривив рот. Зато теперь любопытство уже не мучило ее.

Цветочницы закусывали, положив завтрак на колени, чтобы не пачкать рабочего стола. Они торопливо жевали, всем хотелось поскорее покончить с едой и заняться более интересными делами: смотреть в окно на прохожих или секретничать в уголке. На этот раз они гадали, куда делся господин, который все утро стоял на улице. Г-жа Лера и Нана переглядывались, однако держали язык за зубами. Было уже десять минут второго, а девушки никак не могли приняться за работу; вдруг Леони прошипела «пст» — так маляры подзывают друг друга на стройке,— это был условный сигнал, возвещавший о приближении хозяйки. Девушки мгновенно расселись по местам и уткнулись носом в работу. Г-жа Титревиль появилась на пороге и обошла вокруг стола, строго на них поглядывая.

Теперь г-жа Лера с наслаждением принимала участие в первом любовном приключении племянницы. Она не отпускала ее ни на шаг, провожала утром и вечером, беспрестанно твердя о своей ответственности. Конечно, это немного докучало Нана, но все же ей было лестно, что ее стерегут, как сокровище. А разговоры, которые они вели с теткой на улице, когда пуговичный фабрикант шел за ними по пятам, разжигали ее кровь и толкали на решительный шаг. О, тетка понимала толк в сердечных делах! Ее даже умилял пуговичный фабрикант, этот пожилой, благовоспитанный господин,— ведь что ни говори, а любовь в таком возрасте пускает глубокие корни. Но г-жа Лера была начеку. Да, ему пришлось бы перешагнуть через ее труп, прежде чем добраться до крошки Нана. Как-то вечером она подошла к фабриканту и заявила ему без обиняков, что он дурно поступает. Он вежливо поклонился, не сказав ни слова в ответ,— видно, старый волокита уже привык встречать отпор со стороны родителей. Ну могла ли она сердиться на человека с такими хорошими манерами? И вот начались бесконечные беседы на любовные темы — практические

советы, как себя вести, намеки на вероломство мужчин, рассказы о девушках, которым пришлось горько раскаяться в своем падении. Нана слушала тетку, и под конец вид у нее становился томный, а глаза начинали неестественно блестеть на побледневшем лице.

Но вот однажды, на улице Фобур-Пуассоньер, пуговичный фабрикант просунул голову между племянницей и теткой и осмелился нашептывать такое, что и повторить нельзя. Испуганная г-жа Лера заявила, что отныне она не может быть спокойна даже за себя, и все выложила брату. Тут дело обернулось иначе. В семействе Купо разыгрался изрядный скандал. Прежде всего кровельщик отлупил Нана. Еще чего не хватало! Оказывается, эта дрянь путается со стариками! Пусть только попробует заводить знакомства на улице: отец ей голову оторвет, да-да, без всяких разговоров! Слыханное ли дело, чтобы сопливая девчонка позорила всю семью! И он тряс дочь за плечи, говоря, что заставит ее ходить по струнке, сам будет за ней следить, черт побери! Как только Нана возвращалась домой, он осматривал ее, пристально вглядывался в лицо, чтобы узнать, не целовал ли ее кто-нибудь в глаза или в губы. Он вертел ее, чуть ли не обнюхивал. Как-то вечером он вновь задал ей трепку за синее пятно на шее. И негодяйка смеет еще врать, будто пятно не от поцелуя! Она говорит, что это синяк, обыкновенный синяк, который ей нечаянно поставила Леони. Он ей понаставит синяков, руки-ноги переломает, пусть только попробует блудить! Когда же Купо был в благодушном настроении, он издевался над дочерью, высмеивая ее. Нечего сказать, лакомый кусочек для мужчин — плоская, как доска, а на шее, у ключиц, такие впадины, что кулак можно засунуть. У Нана, которую отец нещадно бил за то, в чем она не была повинна, и ругательски ругал, возводя на нее чудовищные поклепы, все кипело внутри, но она притворялась покорной, как затравленный зверек.

— Да оставь ты ее в покое! — повторяла Жервеза, более рассудительная, чем муж.— Ты столько говоришь об этом, что у нее и впрямь появится охота.

Нечего греха таить, охота и в самом деле разбирала девчонку! Вернее сказать, ее так и тянуло удрать из дому и «потерять себя», как говорил папаша Купо. Он заставлял ее слишком много думать об этом, у самой порядочной девушки разгорелась бы кровь. Как это ни странно, она даже просвещалась, слушая отца, столько гадостей он говорил при ней. И вот мало-помалу у нее стали появляться новые повадки. Однажды утром отец заметил, что Нана возится с какой-то бумажкой и чем-то посыпает себе лицо. Это оказалась рисовая пудра, которой девчонка по глупой прихоти покрывала свою нежную шелковистую кожу. Купо чуть

не ободрал ей лицо этой бумажкой и назвал мельничихой. В другой раз Нана принесла из мастерской красную ленту, чтобы переделать свою «каскетку», ту самую черную шляпку, которой она так стыдилась. Отец стал злобно допрашивать, откуда взялась эта лента. Уж не заработала ли она ее, лежа на спине? Или, неровен час, стибрила где-нибудь? Потаскуха она или воровка? А может быть, и то и другое вместе? Несколько раз он видел у дочери разные украшения: сердоликовое кольцо, пару кружевных манжеток, позолоченное сердечко, которое девушки обычно носят на груди, вводя в соблазн мужчин. Купо хотел растоптать весь этот хлам, но дочка яростно защищала свое добро: это ее вещи, кое-что ей подарили заказчицы, кое-что она выменяла у подружек в мастерской, а вот сердечко нашла на Абукирской улице. Когда Купо, разозлившись, раздавил сердечко каблуком, Нана побледнела и задрожала от возмущения — ей захотелось броситься на отца, расцарапать ему лицо. Целых два года бедняжка мечтала о таком сердечке, и вот он расплющил его. Нет, это уж слишком, дальше так продолжаться не может!

Купо был не прав, он вконец изводил дочь, стараясь ее приструнить. Несправедливые нападки отца только ожесточали девчонку. Дошло до того, что она перестала ходить в мастерскую; когда же кровельщик, по своему обыкновению, отодрал ее, Нана рассмеялась ему в лицо и заявила, что больше не пойдет к г-же Титревиль — там ее сажают рядом с Огюстиной, у которой так разит изо рта, словно она нажралась падали. Тогда кровельщик сам отвел Нана на Каирскую улицу и попросил хозяйку в наказание нарочно сажать ее рядом с Огюстиной. Купо не поленился две недели подряд провожать дочь от заставы Пуассоньер до дверей мастерской. Он даже стоял минут пять на улице, желая убедиться, что Нана не сбежала. Но как-то утром, задержавшись с приятелем у виноторговца на улице Сен-Дени, он спустя десять минут увидел, что бесстыдница, покачивая бедрами, несется вниз по улице. Оказывается, Нана все две недели ловко его надувала: поднявшись на третий этаж, она не входила к г-же Титревиль, а садилась на ступеньку и ждала, пока отец уйдет. Тогда Купо обрушился на г-жу Лера, но сестра без обиняков заявила ему, что не нуждается в его наставлениях: она сказала племяннице о мужчинах все, что обязана была сказать; не ее вина, если девчонка так и липнет к этим развратникам; теперь она умывает руки и клянется ни во что больше не вмешиваться: ей тоже кое-что известно, она знает, какие сплетни распускают на ее счет милые родственнички; да, да, говорят, что она сводня, что ей приятно видеть, как племянница сбивается с пути у нее на глазах. Впрочем, Купо узнал от хозяйки Нана, что девчонку развращает другая цветочница, бессовестная Леони, которая бросила работу и

распутничает напропалую. Бегая по улицам, Нана зарится пока что на лакомства да на развлечения, девчонку еще можно выдать замуж с венком флердоранжа на голове. Но, черт возьми, родителям надо поторопиться, если они хотят сбыть ее мужу в целости и сохранности, без изъяна и порчи,— одним словом, в том виде, в каком должна быть всякая порядочная девушка.

В доме на улице Гут-д'Ор о старом поклоннике Нана говорили как о человеке всем хорошо известном. О да, это очень вежливый господин, даже немного робкий, но уж такой настойчивый и упрямый — сущий дьявол! Он бегает за девчонкой по пятам, покорно, как побитый пес. Иной раз он даже заходит во двор. А как-то вечером г-жа Годрон встретила его на площадке третьего этажа: понурившись, он жался к перилам, и вид у него был нерешительный и возбужденный. Лорийе грозились съехать с квартиры, если их шлюха племянница не перестанет таскать за собой кавалеров; какая гадость, на лестнице полным-полно мужчин, нельзя выйти из комнаты, чтобы не натолкнуться на них, они торчат на каждой ступеньке и что-то вынюхивают. Право, точь-в-точь кобели, которые гонятся за сукой. Боши оплакивали судьбу несчастного пожилого господина, такого почтенного человека, который втюрился в гулящую девчонку. Ведь он коммерсант, владелец пуговичной фабрики на бульваре Вийет, попадись ему порядочная девушка, он мог бы осчастливить ее, обеспечить. Благодаря сведениям, полученным от привратника и его жены, вся улица и даже супруги Лорийе с большим уважением взирали на мертвенно-бледное лицо и аккуратную седеющую бородку фабриканта, когда он, выпятив нижнюю губу, плелся за Нана.

Первый месяц она порядком издевалась над стариком. Вы только поглядите, как он липнет к ней, волокита проклятый! В толпе щупает ее сзади за мягкое место, а сам смотрит в сторону как ни в чем не бывало. А ноги у него? Настоящие спички! Голова голая, как коленка, только на затылке зачесаны четыре волоска, так и хочется спросить, какой ловкач цирюльник делает ему пробор. Старый хрыч! Видать, он совсем сдурел.

Но, то и дело встречая старика, Нана перестала находить его таким смешным. Он внушал девочке смутный страх, она закричала бы, если б он подошел к ней поближе. Порою, когда она любовалась витриной ювелира, он, стоя позади, нашептывал ей разные разности. И он был прав: ей очень хотелось носить золотой крестик на черной бархотке или коралловые сережки, совсем маленькие, как капельки крови. Да уж не говоря о драгоценностях, не могла же она вечно ходить оборванкой! Ей надоело переделывать свое тряпье, таская лоскуты и ленты из цветочной мастерской. Но больше всего опостылела ей «каскетка» — эта черная

шляпенка, на которой цветы, украденные у г-жи Титревиль, выглядели так же смешно, как бубенчики на заднице шута. Когда она шлепала по уличной грязи и экипажи обдавали ее брызгами, а сверкающие витрины магазинов слепили глаза, ее охватывало мучительное желание хорошо одеваться, обедать в ресторанах, ходить по театрам, иметь свою комнату и красивую мебель. Она останавливалась, побледнев,— так сильно было это желание,— и чувствовала, что от парижских тротуаров поднимается и хватает ее за сердце неутолимая жажда урвать хоть частицу тех радостей, до которых она не могла дотянуться в жестокой городской сутолоке. И неизменно в такую минуту старик был тут как тут и нашептывал ей всякие предложения. О, с какой радостью она ударила бы с ним по рукам, если бы не боялась его! Но все внутри у нее сжималось от страха перед мужчиной, перед тем неведомым, что ее ожидает, и, несмотря на свою испорченность, она резко, с отвращением отказывала старику.

Однако, когда пришла зима, жизнь в семействе Купо стала невыносимой. Нана каждый вечер получала взбучку. Если отец уставал бить ее, за дело принималась мать — надо же было учить девчонку уму-разуму! Часто доходило и до общей потасовки: один начинал, другой давал сдачи, и под конец все трое колошматили друг друга, катаясь по полу среди осколков разбитой посуды. И вдобавок ко всему они жили впроголодь и дрожали от холода. Если девочка покупала себе какой-нибудь пустяк — ленту или пуговицы к манжеткам, родители отбирали покупку и тотчас же пропивали. Нана имела право лишь на свою обычную порцию колотушек, после которой она забивалась в постель и мерзла всю ночь под рваной простыней и черной юбчонкой, служившей ей одеялом. Нет, такая жизнь не может продолжаться, иначе она подохнет в этой дыре. С Купо Нана уже давно перестала считаться: отец, который только и делает, что пьянствует, это уже не отец, а грязная свинья,— хочется поскорее от него избавиться. А теперь она охладела и к матери. Жервеза тоже пила горькую. Она частенько заходила за мужем к папаше Коломбу, но это был лишь предлог, чтобы ей поднесли рюмочку сивухи; она уже не отворачивалась от выпивки, как в первый раз, а охотно придвигалась поближе к столику, глушила стакан за стаканом и просиживала часами в кабаке, пока у нее глаза на лоб не лезли. Когда Нана шла мимо «Западни» и замечала там мать, хлеставшую сивуху под ругань подвыпивших мужчин, она приходила в бешенство — ведь молодежь зарится на другие лакомства и не понимает толка в вине. Нечего сказать, хорошенькое зрелище ждало ее дома в эти вечера: пьяный отец, пьяная мать, нетопленная, пропитанная спиртным духом комната и ни крошки хлеба к тому же. Праведница и та не выдержала бы такой жизни. Что ж, если она

удерет, родителям ничего не останется, как пенять на себя,— они сами довели ее до этого.

Как-то в субботу, придя домой, Нана застала родителей в ужасном виде. Купо храпел, растянувшись поперек кровати. Жервеза сидела, скорчившись на стуле, голова ее болталась из стороны в сторону, а мутные, широко открытые глаза бессмысленно глядели куда-то в пространство. Она позабыла разогреть обед — остатки вчерашнего рагу. Оплывшая свеча, с которой не снимали нагара, тускло освещала постыдную нищету этого логовища.

— Заявилась, лахудра?! — пробурчала Жервеза.— Погоди, отец тебе задаст!

Нана побелела и, не отвечая, смотрела на холодную печь, на голый, ненакрытый стол, на мрачную конуру, казавшуюся еще отвратительней от присутствия этих двух одуревших пропойц. Не снимая шляпки, она обошла комнату и, стиснув зубы, снова открыла дверь.

— Ты уходишь? — спросила мать, не в силах повернуть головы.

— Да, я забыла кое-что. Скоро приду... До свиданья.

Но она не вернулась. На следующий день, протрезвившись, родители подрались, обвиняя друг друга в бегстве Нана. Да, теперь она уже далеко, ее не догонишь! Надо бы, как говорится, насыпать ей соли на хвост, иначе, пожалуй, не поймаешь. Этот удар окончательно сразил Жервезу. Она ясно чувствовала, хотя и отупела от водки, что падение Нана, которая, понятно, пойдет теперь по рукам, лишило ее последней опоры в жизни: она осталась одна, нет у нее больше дочери, с которой приходилось бы считаться,— остается только катиться вниз. Да, эта гадина унесла в своем грязном подоле последние крохи ее порядочности. И Жервеза пьянствовала три дня подряд, в бешенстве сжимая кулаки и осыпая проклятиями эту продажную тварь. Купо обегал все внешние бульвары, заглядывая под шляпку каждой встречной потаскушке, а затем успокоился и снова покуривал свою трубку, невозмутимый, как праведник. Порой, выскочив из-за стола, он воздевал руки к небу, потрясал ножом и вопил, что его опозорили, но потом садился на место и спокойно доедал суп.

В доме, где жили Купо, бегство Нана никого не удивило: девушки постоянно улетали оттуда, как чижи из открытой клетки. Зато Лорийе злорадствовали. Недаром они говорили, что девчонка еще покажет родителям, узнают они почем фунт лиха. Этого и следовало ожидать: все цветочницы сбиваются с пути. Боши и Пуассоны тоже посмеивались и с особым пылом восхваляли женскую добродетель. Один Лантье не без лукавства защищал Нана. Спору нет, заявлял он своим назидательным тоном, девушка, убегающая из дому, попирает все божеские и человеческие законы,

но — черт возьми! — добавлял он с загоревшимся взглядом, плутовка слишком мила, не может же она всю молодость провести в нищете.

— Знаете новость? — спросила однажды г-жа Лорийе, сидя в привратницкой, где вся компания пила кофе.— Хромуша продала свою дочь, это ясно, как божий день... Да, продала, и у меня есть доказательства!.. Помните пожилого господина, которого мы постоянно встречали на лестнице? Он уже тогда ходил к матери и заранее платил ей за дочку. Это же бросалось в глаза! А вчера их видели вместе в Амбигю — красотку и ее хрыча... честное слово! Понятное дело, к нему-то она и убежала.

За чашкой кофе происшествие обсудили со всех сторон. Ну что ж, это вполне возможно, случаются вещи и похуже. В конце концов даже самые почтенные люди в квартале стали говорить, что Жервеза продала свою дочь.

Жервеза теперь перебивалась кое-как и была равнодушна решительно ко всему. Если б ее обозвали на улице воровкой, она и то бы не обернулась. Вот уже месяц, как г-жа Фоконье выгнала ее, чтобы избавиться от лишних неприятностей. С тех пор Жервеза переменила восемь мест; не пробыв и трех дней в какой-нибудь прачечной, она получала расчет, так как работала из рук вон плохо, стала небрежной, неряшливой и до того отупела, что потеряла всякую сноровку. Наконец, понимая, что она разучилась гладить, Жервеза нанялась стирать поденно в прачечной на Новой улице. Возиться в мыльной воде, оттирать чужую грязь, делать самую тяжелую, но зато простую работу — ну что ж, это была еще одна ступенька вниз к окончательному падению. По правде сказать, такая работа ее не красила. Выйдя из прачечной грязная, мокрая, посиневшая, она напоминала паршивую собачонку. И все же, несмотря на нищету, она все толстела, а хромать стала так сильно, что с ней рядом уже нельзя было идти: казалось, она вот-вот собьет спутника с ног.

Что и говорить, когда женщина опустится до такой степени, вся ее гордость пропадает. Жервеза махнула рукой на свою внешность, на порядочность, благопристойность, уважение, любовь — на все то, чем дорожила прежде. Теперь ее можно было пинать, топтать ногами, она ни на что не обращала внимания — до того стала равнодушной и вялой. Лантье окончательно отвернулся от нее, он даже для вида не заигрывал с нею; а Жервеза словно не заметила конца этой долгой связи, которая оборвалась сама собой, когда они опостылели друг другу. Одной обузой стало меньше, только и всего! Даже интрижка между Лантье и Виржини нисколько ее не волновала: так глубоко было ее безразличие ко всем этим глупостям, из-за которых она в прежние времена на стену лезла. Она могла бы прислуживать этой парочке, когда та лежала

в кровати. Связь шляпника и бакалейщицы теперь ни для кого не была секретом, да они и не таились. К тому же все складывалось в их пользу: рогоносец Пуассон уходил через каждые два дня на ночное дежурство, и, пока он дрожал от холода на безлюдных тротуарах, жена его грелась в постели с дружком. О, их ничуть не тревожил равномерный звук его шагов, медленно приближавшихся к лавке по темной пустынной улице, они даже носа не высовывали из-под теплого одеяла. Ведь полицейский на посту помнит только о долге, не так ли? И они до самого утра преспокойно наносили ущерб его собственности, в то время как этот суровый блюститель порядка охранял собственность соседей. Вся улица Гут-д'Ор потешалась над этой забавной историей. Всем казалось смешным, что представитель власти носит рога. К тому же лавка и лавочница составляли одно целое, и Лантье, право же, завоевал это тепленькое местечко. Он только что разорил прачку, а теперь принялся за бакалейщицу. А там на очереди были хозяйки галантерейных, писчебумажных и шляпных магазинов: у Лантье превосходный аппетит — ему ничего не стоит всех их проглотить.

Нет, виданное ли дело, чтобы человеку так сладко жилось?! Лантье неглупо придумал, посоветовав Виржини открыть кондитерскую. Он, как истый провансалец, обожал сласти и готов был целыми днями жевать мятные лепешки, драже, леденцы и шоколад. Особенно же он любил драже, которые называл «миндалинками в сахаре»,— при виде их у него прямо слюнки текли. Вот уже год, как он объедался конфетами. Когда Виржини просила его постеречь лавку, он выдвигал ящики, открывал коробки и пировал в одиночку. Часто в присутствии пяти-шести покупателей он снимал крышку с банки, стоявшей на прилавке, запускал туда руку и, разговаривая, грыз конфеты; банка оставалась открытой и понемногу пустела. Все так привыкли к этой «мании» Лантье, что она уже никого не удивляла. К тому же он ссылался на вечную простуду, на раздражение в горле, которое надо было чем-то смягчать. Он по-прежнему нигде не работал, зато еще больше разглагольствовал о своих грандиозных планах: он был занят великолепным изобретением — шляпой, превращающейся на голове в зонтик при первых же каплях дождя; и он обещал Пуассону половину будущих доходов, а пока занимал у него франков по двадцати для своих опытов. Тем временем лавка буквально таяла у него на языке; он ничем не брезговал — ни шоколадными сигарами, ни красными сахарными трубками. Когда, объевшись сластями, Лантье в припадке нежности обнимался с хозяйкой в укромном уголке, она чувствовала, что он весь пропитан сахаром, а губы у него липкие, как карамельки. Одно удовольствие целовать такого мужчину! Право, сладость так и сочи-

лась из него. Боши уверяли, что стоит Лантье опустить палец в стакан кофе, и тот станет приторным, как сироп.

Разнежившись от постоянного сосания сластей, Лантье по-отечески ласково обращался с Жервезой. Он давал ей советы и журил за то, что она разлюбила труд. Черт возьми! Женщине в ее возрасте пора бы научиться сводить концы с концами! И он обвинял ее в том, что она всегда была лакомкой. Но ведь ближним надо помогать, даже если они этого не заслуживают, и Лантье старался подыскать ей хоть небольшой заработок. Так он убедил Виржини нанимать каждую неделю Жервезу мыть лавку и жилые комнаты: вывозить мусор — эта работа как раз по ней! За уборку она получала тридцать су. По утрам в субботу Жервеза приходила с ведром и щеткой и как будто нисколько не страдала от того, что ей приходится заниматься этой тяжелой, черной работой в той самой лавке, где она когда-то царила в роли красивой белокурой хозяйки. То было последнее унижение, конец ее женской гордости.

Однажды ей пришлось особенно трудно. Три дня подряд лил дождь, и, казалось, покупатели принесли на подметках в лавку всю грязь, какая была на улице. Виржини, изящно причесанная, в темном платье с кружевным воротничком и манжетками, сидела за прилавком, разыгрывая из себя настоящую даму. Рядом с ней на узком диванчике, обитом красным молескином, по-хозяйски развалился Лантье; он небрежно запускал руку в банку с мятными лепешками и по привычке жевал их.

— Послушайте, госпожа Купо,— резко сказала Виржини, которая, поджав губы, следила за поломойкой.— Вы только грязь размазываете! Полюбуйтесь вон на тот угол. Вымойте-ка его еще раз!

Жервеза покорно вернулась обратно и вновь начала мыть тот же угол. Стоя на коленях в луже мутной воды, она так сильно согнулась, что казалась горбатой. Руки ее распухли и посинели, старая юбка намокла и прилипла к телу. Жервеза напоминала узел тряпья, брошенный на пол, волосы у нее были растрепаны, сквозь дырявую кофту виднелось голое тело, выпиравший отовсюду дряблый жир вздрагивал и трясся при резких толчках половой щетки, лицо покрылось крупными каплями пота.

— Не попотеешь, не заблестит,— наставительно сказал Лантье, набивая рот мятными лепешками.

Откинувшись на спинку стула с видом королевы, Виржини следила из-под полуопущенных век за работой поломойки и время от времени делала ей замечания:

— Немного правее, вот так. А теперь хорошенько протрите плинтус. Знаете, в прошлую субботу я была недовольна, пятна так и остались.

И оба они, шляпник и бакалейщица, все больше задирали нос, словно важные господа, тогда как Жервеза ползала в грязи у их ног. Виржини, как видно, наслаждалась, потому что в ее кошачьих глазах на мгновение вспыхнули желтые искры, и, насмешливо улыбнувшись, она переглянулась с Лантье. Наконец-то она была отомщена за давнюю порку в прачечной, которую все эти годы никак не могла забыть.

Между тем, когда Жервеза переставала тереть пол, из соседней комнаты доносился тихий звук пилки. В открытую дверь, на фоне тусклого окна, был виден силуэт Пуассона: на досуге полицейский занимался своим любимым делом и мастерил шкатулочки. Он сидел за столом и с необычайным усердием выпиливал замысловатый узор на дощечке от ящика из-под сигар.

— Послушайте, Баденге! — крикнул Лантье, который в знак дружеского расположения вновь стал звать его этим шутливым прозвищем.— Оставьте для меня эту шкатулку, я хочу подарить ее одной знакомой.

При этих словах Виржини ущипнула его, но шляпник, не переставая улыбаться, воздал ей добром за зло, галантно пощекотав под прилавком ее колено, и с самым непринужденным видом убрал руку, как только муж, оторвавшись от работы, обратил к любовникам свое землистое лицо, на котором топорщились рыжие усы и эспаньолка.

— Я как раз собирался преподнести ее вам, Огюст,— сказал полицейский.— В знак нашей дружбы.

— Ну, в таком случае я никому не отдам эту вещицу! — заметил Лантье смеясь.— Продену в нее ленточку и буду носить на шее.

Потом, как будто эти слова что-то ему напомнили, он воскликнул:

— Да, кстати, вчера вечером я встретил Нана!

Эта новость так поразила Жервезу, что она плюхнулась в лужу грязной воды и осталась сидеть на полу со щеткой в руке, вся в поту, с трудом переводя дух.

— О,— произнесла она чуть слышно и замолчала.

— Да, я шел по улице Мартир и обратил внимание на одну стрекозу: она так и егозила впереди меня об руку с каким-то стариком. Вроде бы знакомая цыпочка, подумал я и прибавил шагу, а потом, обернувшись, столкнулся нос к носу с этой плутовкой... Поверьте, жалеть ее нечего! Живется девчонке не плохо: хорошенькое шерстяное платье, на шее золотой крестик и вид такой задорный.

— О,— глухо повторила Жервеза.

Лантье покончил с мятными лепешками и взял из другой банки леденец.

— Ну и шельма! — продолжал он.— Представьте себе, кивнула, чтобы я шел следом за ней, да еще с каким шиком! Потом сплавила куда-то старика, кажется, в кафе... А старичок-то — выжатый лимон!.. И тут же подбежала ко мне: я ждал ее в подворотне. Хорошенькая такая. Настоящая змейка: так и вьется! А лижется, как котенок! Да, да, она поцеловала меня, расспросила обо всех... Словом, я был очень рад, что ее встретил.

— О,— в третий раз произнесла Жервеза.

Она совсем сникла, она все еще ждала. Неужели дочь ничего не просила ей передать? В наступившей тишине снова раздался звук пилки Пуассона. Лантье развеселился и, причмокивая, сосал леденец.

— Уж если я встречу ее, то тут же перейду на другую сторону,— заметила Виржини, еще яростнее ущипнув шляпника.— Я со стыда бы сгорела, если б одна из этих девок поклонилась мне на улице... Не в обиду вам будь сказано, госпожа Купо, ваша дочь настоящая дрянь. Пуассон каждый день подбирает на улице потаскух нисколько не хуже ее.

Жервеза сидела неподвижно, молча уставившись в одну точку. В конце концов она медленно покачала головой, как бы в ответ на свои мысли.

— Такой дряни всякий рад бы отведать,— сказал Лантье, и глазки его стали маслеными.— Нежна, как цыпленочек!..

Но бакалейщица взглянула на него так свирепо, что он предпочел замолчать и умилостивить ее любезностью. Он оглянулся и, убедившись, что полицейский вновь занялся своей шкатулкой, сунул леденец в рот Виржини. Она снисходительно усмехнулась. Зато весь ее гнев обрушился на поломойку:

— Поскорее, пожалуйста. Работа не сдвинется с места, если вы будете сидеть как квашня... Ну же, пошевеливайтесь, я не намерена до вечера торчать в грязи.— И прибавила тихо и злобно: — Не моя же вина, если ее дочь пустилась во все тяжкие!

Жервеза, видно, не расслышала этих слов. Она вновь принялась за мытье; пригнувшись к полу, почти распластавшись, она медленно ползала, точно подбитая лягушка. Вцепившись руками в щетку, она гнала перед собой мутную воду, и черные брызги покрывали даже ее волосы. Теперь оставалось собрать грязную жижу и вылить ее в сточную канаву, а затем ополоснуть пол чистой водой.

Лантье вскоре надоело молчать.

— Знаете, Баденге,— обратился он к Пуассону, повысив голос,— я видел вчера вашего патрона на улице Риволи. Он здорово поистаскался! Впрочем, это немудрено при его разгульной жизни. Дай бог, чтобы он протянул еще полгода...

Лантье говорил об императоре. Полицейский ответил сухо, не отрывая глаз от работы:

— Будь вы во главе государства, пожалуй, так не разжирели бы.

— Ну, если бы я был на его месте, мой милый, поверьте, дела пошли бы куда лучше,— продолжал Лантье, который сразу принял серьезный вид.— Возьмем, к примеру, его внешнюю политику: она хоть кого выведет из терпения! Попадись мне какой-нибудь толковый журналист, я подсказал бы ему кое-какие мыслишки...

Лантье съел леденцы, выдвинул ящик с мармеладом и, поглощая его, все больше воодушевлялся.

— Все очень просто...— говорил он, размахивая руками.— прежде всего я восстановил бы Польшу и создал крупное скандинавское государство, чтобы держать в страхе северного медведя... Затем из всех мелких германских государств сделал бы одну республику... Что до Англии, то ее нечего бояться: пусть только пикнет, и можно тут же послать сто тысяч солдат в Индию... Дальше, под угрозой оружия, я отправил бы султана в Мекку, а папу в Иерусалим... Что вы на это скажете? Я живо навел бы порядок в Европе. Вот посмотрите, Баденге...

Он взял пять или шесть кусков мармелада.

— Я покончил бы со всеми политическими делами так же быстро, как вот с этим,— сказал он и побросал мармеладины одну за другой в рот.

— У императора иные планы,— заявил полицейский после долгого раздумья.

— Да бросьте вы,— резко прервал его шляпник.— Знаем мы его планы. Вся Европа смеется над нами... Каждый день придворные холуи вытаскивают вашего патрона пьяным из-под стола, где он валяется с великосветскими шлюхами.

Но Пуассон встал со своего места. Он подошел к Лантье и сказал, приложив руку к сердцу:

— Вы оскорбляете меня, Огюст. Спорьте, но не переходите на личности.

Тут в разговор вмешалась Виржини и попросила их замолчать. Все эти споры о Европе у нее в печенках сидят! Ведь надо же, живут приятели дружно, все делят пополам, а вечно грызутся из-за политики! Мужчины еще с минуту что-то недовольно бормотали. Затем полицейский решил показать, что он не сердится, и принес только что законченную крышку от шкатулки, на которой была тщательно вырезана надпись: «Огюсту, на добрую память от друга». Польщенный Лантье откинулся назад и так развалился на диванчике, что чуть не лег на колени Виржини. А муж бесстрастно смотрел на обоих: ничего нельзя было про-

честь ни на его грязно-сером лице, ни в оловянных глазах; но время от времени его рыжие щетинистые усы как-то странно шевелились, и это могло бы внушить опасения всякому человеку, менее самоуверенному, чем Лантье.

Негодник Лантье обладал той спокойной наглостью, которая нравится женщинам. Как только Пуассон повернулся спиной, шляпнику пришла забавная мысль чмокнуть Виржини в левый глаз. Обычно он бывал более осторожен; но после споров с приятелем о политике готов был на любой риск, чтобы отыграться на его жене. Этими жадными поцелуями, нахально украденными под носом у Пуассона, он мстил ему за Империю, превратившую Францию в публичный дом. Но на этот раз он забыл о присутствии Жервезы. Она только что насухо вытерла пол и теперь стояла около прилавка в ожидании своих тридцати су. К поцелую Лантье она отнеслась с полным равнодушием, как к поступку вполне естественному и притом не имевшему к ней никакого отношения. Но Виржини, видно, стало неловко. Она с сердцем швырнула деньги на прилавок перед Жервезой. А та даже не протянула руки и продолжала ждать, дрожа от усталости, мокрая и безобразная, как собака, выбравшаяся из сточной канавы.

— Значит, она вам ничего не сказала? — спросила она наконец шляпника.

— Кто это? Ах да, Нана!.. Нет, ничего особенного. Ну и ротик же у плутовки, конфетка, да и только!

И Жервеза ушла, сжимая в руке монеты. Ее стоптанные башмаки чавкали, пищали, как музыкальный ящик, оставляя на тротуаре широкие мокрые следы.

Пьянчуги, собутыльники Жервезы, рассказывали теперь, что она пьет, чтобы не думать о падении дочери. Да и она сама, опрокидывая за стойкой «Западни» стаканчик сивухи, говорила с трагическим видом, что хотела бы поскорее сдохнуть от этой отравы. В те дни, когда Жервеза приходила домой, налакавшись как свинья, она бормотала, что всему виною горе. Но добропорядочные люди только пожимали плечами: старая песня — сваливать на горе свое пристрастие к бутылке; дело не в горе, а в распущенности. Само собой, вначале она не могла примириться с бегством Нана. Все, что еще было в ней честного, возмущалось при одной этой мысли; да и какой матери приятно думать, что, быть может, в эту самую минуту первый встречный обнимает ее дочь! Но Жервеза слишком отупела, голова у нее плохо соображала, а сердце было растоптано. Где уж тут подолгу страдать от своего позора! Как нахлынет боль, так и пройдет. Она по неделям не думала о бесстыднице дочке; и вдруг с пьяных глаз, а иногда и в трезвом виде ее охватывала любовь или гнев — неудержимое желание поцеловать Нана в заветное местечко или хорошенько

отодрать ее, смотря по настроению. В конце концов она потеряла ясное представление о порядочности. Но ведь Нана ее собственная дочь. Ну, а кому охота терять свою собственность?

И как только мысли о дочери осаждали ее, Жервеза смотрела по сторонам взглядом жандарма. Лишь бы встретить эту поганку, уж она живо притащит ее домой! В этом году перестраивался весь район. Прокладывали два новых бульвара — Мажента и Орнано, а потому снесли старую заставу Пуассоньер и разрыли внешний бульвар. Здесь ничего нельзя было узнать. Часть улицы Пуассонье была разрушена. Теперь с улицы Гут-д'Ор виднелись широкие просторы, залитые солнцем; а вместо жалких хибарок, лепившихся друг к дружке с этой стороны, на бульваре Орнано было выстроено огромное семиэтажное здание, похожее на храм, в котором все говорило о богатстве,— и лепные украшения, и широкие окна, и вышитые занавески. Этот ослепительно белый дом в конце улицы, казалось, озарял ее своим сиянием. Каждый день он служил предметом споров между Лантье и Пуассоном. Шляпник без конца возмущался разрушениями в Париже; он говорил, что император хочет понастроить дворцов и выселить рабочих в провинцию. А полицейский, бледнея от холодной ярости, отвечал, что, напротив, император заботится прежде всего о рабочих и готов стереть с лица земли весь Париж, лишь бы дать им заработок. Жервеза тоже досадовала на эти новшества: они изменили мрачные трущобы предместья, к которым она так привыкла. Главное же, квартал рос, поднимался, в то время как сама она катилась под гору. А человек, который барахтается в грязи, не любит яркого света. Вот почему Жервеза приходила в бешенство, когда в поисках дочери ей случалось перелезать через доски и кирпичи, ходить по немощеным улицам и натыкаться на заборы. Но больше всего ее выводил из себя новый дом на бульваре Орнано. Такие здания словно нарочно созданы для шлюх, вроде Нана.

Между тем до нее то и дело доходили слухи о дочери. Ведь всегда найдутся сердобольные люди, которым не терпится сообщить вам неприятную весть. Да, ей рассказали, что Нана бросила своего старика: это был легкомысленный поступок неопытной девчонки. Ей жилось очень хорошо у этого господина: он холил ее и лелеял, и при известной ловкости она могла даже пользоваться у него полной свободой. Но молодость глупа, и Нана сбежала с каким-то юнцом, с кем именно, никто не знал. Было известно лишь одно: как-то вечером, на площади Бастилии, Нана попросила у своего старика три су, чтобы сходить по малой нужде, и тот по сей день ждет свою красотку. В хорошем обществе это называется «смыться по-английски». Другие клялись, что видели Нана в «Зале безумцев» на улице Шапель, где она отплясывала кан-

кан. Тогда Жервеза решила обойти все ближние танцульки. Она не пропускала ни одного публичного бала и заглядывала в каждый танцевальный зал. Купо сопровождал жену. Сперва они только разглядывали прыгавших там девиц. Затем как-то вечером, когда у них были деньги, они сели за столик и выпили вина, просто так, чтобы освежиться, и решили покараулить, не придет ли Нана. Месяц спустя они забыли о дочери и ходили на танцы ради собственной забавы: им приятно было смотреть, как пляшут люди. Они часами сидели, облокотясь на столик, обалдевали от беспрерывного топота и все же не без удовольствия следили своими тусклыми глазами за грошовыми потаскушками, которые крутились в духоте, освещенные красноватым светом ламп.

В один из ноябрьских вечеров супруги Купо забрели в «Зал безумцев», чтобы погреться. На улице ледяной ветер так и хлестал по лицу. Зал был переполнен. Люди кишмя кишели в нем: они облепили столики, запрудили проходы, чьи-то руки и ноги мелькали в воздухе — настоящий муравейник. Да, любители потолкаться в тесноте чувствовали себя здесь весьма недурно! Дважды обойдя зал и не отыскав ни одного места, Жервеза с мужем решили подождать, когда освободится какой-нибудь столик. Купо стоял, переминаясь с ноги на ногу; на нем была грязная рабочая блуза и засаленная суконная фуражка с оторванным козырьком, сдвинутая на самый затылок. Кровельщик загородил весь проход, и какой-то щуплый юнец, задев его локтем, стал отряхивать рукав своего пальто.

— Эй ты, мозгляк! — в ярости крикнул Купо, вынув изо рта трубку, которую сжимал своими черными зубами.— Не можешь извиниться, что ли?.. Тоже мне, брезгует рабочим человеком, потому что тот ходит в блузе!

Обернувшись, юнец вызывающе смерил кровельщика взглядом.

— Заруби себе на носу, сопляк, что блуза — самая почетная одежда, одежда рабочего!.. Погоди, я научу тебя отряхиваться, заработаешь у меня оплеуху... Виданное ли дело, чтобы какой-то прощелыга оскорблял честного труженика!

Жервеза напрасно пыталась утихомирить мужа. Он хорохорился в своих отрепьях, стучал кулаком в грудь и орал:

— Под этой блузой бьется сердце настоящего мужчины!

Тут юнец юркнул в толпу, пробормотав:

— Ну чего пристал, грязный оборванец!

Купо решил его нагнать. Не хватает еще, чтобы мальчишка, чистоплюй, оскорблял его! По всему видно — бездельник. Явился сюда, чтобы задарма подцепить какую-нибудь кралю. Только бы поймать этого желторотого, а уж он заставит его на коленях поклониться рабочей блузе. Но в такой тесноте невозможно было

протолкаться. Жервеза и Купо медленно кружили вокруг танцующих; зрители стояли плотным кольцом, красные, разгоряченные, и гоготали, когда мужчина шлепался на пол или женщина, задрав юбку, показывала голые ляжки; и так как супруги были невысокого роста, им приходилось вытягивать шею, да и то они видели лишь подпрыгивающие шляпы и шиньоны. Духовой оркестр надрывался, играя кадриль; буря надтреснутых фальшивых звуков сотрясала зал, танцующие топали ногами, поднимая пыль, от которой тускнело пламя газовых рожков. Жара была невыносимая.

— Гляди-ка, гляди! — крикнула вдруг Жервеза.

— Что такое?

— Вон там, в бархатной шляпке.

Оба встали на цыпочки. Влево от них покачивалась старая черная шляпа с двумя облезлыми перьями — настоящий султан с катафалка. Но при всем желании они ничего не могли разглядеть, кроме этой шляпы, которая отплясывала какой-то дьявольский танец: подскакивала, вертелась, исчезала и вновь появлялась. Они то теряли ее среди беспорядочной сутолоки любопытных, то опять находили, когда она подпрыгивала и снова покачивалась над головами зрителей, да так смешно и задорно, что все хохотали при виде этой танцующей шляпы, даже не зная, кому она принадлежит.

— Ну и что? — спросил Купо.

— Не узнаешь этих белокурых волос? — спросила Жервеза сдавленным голосом.— Голову даю на отсечение — это она!

Кровельщик решительно протискался сквозь толпу. Ну да, это была Нана! Но в каком виде! В грязном, затасканном по кабакам шелковом платье, рваные воланы которого висели бахромой. Ни жакетки, ни обрывка старой шали на плечах, чтобы прикрыть расстегнутый корсаж с отлетевшими пуговицами. И подумать только, эта дрянь бросила ласкового, заботливого старичка и связалась с каким-то котом, который, верно, лупит ее! И все-таки она была такая же свеженькая и аппетитная, лохматая, как пудель, и ее розовая мордашка задорно выглядывала из-под большой залихватской шляпы.

— Погоди, ты у меня попляшешь! — пробормотал Купо.

Нана, разумеется, ничего не подозревала. У нее каждая жилка дрожала, ей-богу! Она вертела задом, приседала, сгибаясь чуть не до земли, и, постучав одной ногой о другую, посылала ее в лицо партнера — того и гляди разорвется пополам! Зрители теснились вокруг, аплодировали; девчонка же все больше входила в раж: она подхватывала юбки, задирала их до колен, кружилась на месте как волчок, потом, сделав прыжок в сторону, чуть не распластывалась на полу и тут же часто-часто отбивала такт каб-

лучками, с особым шиком поводя плечами и бедрами. Так и хотелось затащить ее в укромный уголок и зацеловать до смерти.

Между тем Купо, в разгар кадрили затесавшийся среди танцующих, расстроил начатую фигуру, и теперь его ругали со всех сторон.

— Говорю же вам, это моя дочь! — кричал он.— Пустите меня!

В это время Нана пятилась прямо на него, подметая пол перьями шляпы; она выставила зад и слегка потряхивала им, чтобы получалось соблазнительнее. Сильный удар ногой пришелся как раз в нужное место. Нана выпрямилась и вся побелела, узнав родителей. Вот уж, как говорится, не повезло!

— Вон отсюда! — орала публика.

Но Купо узнал в кавалере дочки того самого щуплого юнца, и ему было наплевать на остальных.

— Да, это мы с матерью! — заревел он.— Что, небось не ожидала? Так вот где мы тебя застукали, да еще с молокососом, который оскорбил меня!

Жервеза, стиснув зубы, оттолкнула мужа.

— Замолчи!.. Тут не о чем долго разговаривать,— сказала она.

И, подойдя к дочери, влепила ей две увесистых пощечины. От первой съехала набок шляпка, от второй побагровела белая, как платок, щека. Ошеломленная Нана не заплакала, не огрызнулась.

Оркестр продолжал играть, публика возмущалась и гневно вопила:

— Вон отсюда! Вон!

— Ну, поторапливайся! — продолжала Жервеза.— Ступай вперед! Да не вздумай удрать, не то проведешь ночь в тюрьме.

Щуплый юнец предусмотрительно скрылся. Тогда Нана, стиснув зубы, прямая, как струна, зашагала впереди родителей; она никак не могла прийти в себя от такой напасти. Если она пыталась свернуть в сторону, подзатыльник направлял ее к двери. Они вышли на улицу втроем, сопровождаемые шутками и улюлюканьем толпы, под оглушительные звуки оркестра, который доигрывал кадриль; тромбоны так грохотали, что казалось, в зале палят из пушек.

Жизнь снова вошла в колею. Проспав двенадцать часов подряд в своей прежней комнатушке, Нана целую неделю вела себя примерно. Она смастерила скромное платьице и носила чепчик, завязывая его ленты под пучком. В пылу рвения она даже заявила, что будет работать дома: это выгоднее, заработок зависит от самой себя, и не приходится слушать всякие гадости от товарок по мастерской. Она и впрямь нашла работу, разложила на столе все нужные принадлежности и в первые дни вставала часов в

пять утра, чтобы крутить стебельки фиалок. Но, сдав несколько гроссов стебельков, она начала отлынивать от работы, руки у нее сводило от усталости,— девчонка потеряла привычку к труду и задыхалась в четырех стенах после полугода сплошных каникул. Клей высох в горшочке, лепестки и зеленая бумага покрылись жирными пятнами; хозяин трижды приходил к Купо и устраивал скандалы, требуя назад свой материал. Нана слонялась без дела, получала колотушки от отца, с утра до ночи грызлась с матерью, и обе женщины бросали друг другу в лицо чудовищные обвинения. Долго так продолжаться не могло. На двенадцатый день плутовка исчезла в своем скромном платьице и с чепчиком на голове. Лорийе, неприятно удивленные раскаянием Нана, чуть не лопнули со смеху: второе действие той же комедии, исчезновение номер два, барышня катит в коляске прямиком в Сен-Лазар! Ну и умора! Нана мастерица давать стрекача! Уж если родители непременно хотят удержать дочку дома, кое-что придется ей зашить и посадить озорницу под замок!

Перед посторонними Купо делали вид, будто очень рады: наконец-то избавились от этой дряни, а в глубине души они были в ярости. Но и ярость со временем проходит. Вскоре, даже глазом не моргнув, они выслушали новость: Нана шляется по их же кварталу. Жервеза, говорившая, будто дочь нарочно позорит родителей, не желала слушать сплетен — она выше всей этой грязи. Если теперь она встретит свою красотку, то не станет и рук о нее марать! Она поставила на ней крест, пусть девчонка околевает под забором голодная и холодная,— она пройдет мимо и даже не признается, что носила под сердцем эту дрянь. А Нана была душою всех окрестных балов. Ее знали повсюду — от «Белой королевы» до «Зала безумцев». Когда девчонка появлялась в «Элизе-Монмартр», люди забирались на столы, чтобы поглядеть, как она вертит задом, отплясывая кадриль. Ее уже дважды выгоняли из «Красного за́мка», и теперь она только бродила у входа, поджидая знакомых. «Черный шарик» на бульваре и «Султан» на улице Пуассонье слыли приличными кафешантанами, и она ходила туда только в те дни, когда у нее под платьем бывало белье. Но всем увеселительным заведениям она предпочитала «Эрмитаж», в сыром темном дворе, и «Робер», в тупике Кадран,— два крошечных вонючих помещения, освещенных всего-навсего полдюжиной ламп, где посетители чувствовали себя непринужденно, веселились от души и могли, не стесняясь, целоваться по углам. У Нана бывали взлеты и падения: словно по мановению волшебной палочки, она появлялась то в пышном наряде, как дама, то в лохмотьях, как замарашка. Ну и жизнь, нечего сказать!

Супругам Купо казалось иной раз, что они видят дочь в местах не совсем пристойных. Они отворачивались и уходили, не

желая встречаться с ней нос к носу. Хватит с них, очень нужно служить посмешищем для всего зала ради того, чтобы привести домой такую паскуду. Но однажды вечером, часов около десяти, когда они уже ложились спать, кто-то постучал кулаком в дверь. Это была Нана — бессовестная девчонка преспокойно вернулась переночевать домой. Но, боже, в каком виде! Растрепанная, оборванная, в стоптанных ботинках,— словом, нищенка, место которой лишь в Доме призрения. Первым делом она получила хорошую трепку, а затем жадно набросилась на ломоть черствого хлеба и заснула как убитая, не дожевав последнего куска. И опять все началось сызнова. Стоило девчонке немного оправиться, как она исчезала. Птичка упорхнула — ни слуху ни духу! Проходили недели, месяцы, казалось, Нана пропала навсегда, но вдруг она появлялась неизвестно откуда, иной раз вся в ссадинах и кровоподтеках, и такая грязная, что до нее противно было дотронуться, а иной раз нарядно одетая, но еле держась на ногах от усталости после кутежа и распутства. Родителям пришлось свыкнуться и с этим. Побои ни к чему не вели. Сколько ее ни колотили, Нана продолжала смотреть на свой дом, как на постоялый двор, где можно отдохнуть и отоспаться. Она знала, что за ночлег придется расплачиваться — ее опять побьют, и, поразмыслив, принимала побои, если другого выхода не было. Впрочем, и драться надоедает. Супруги Купо кончили тем, что примирились с нежданными появлениями дочери. Приходит она или не приходит — все равно, лишь бы запирала за собою дверь. Бог мой, люди ко всему привыкают, а привычка — вторая натура!

Только одно выводило Жервезу из себя: она не переносила, когда дочь появлялась в платьях со шлейфом и в шляпах, украшенных перьями. Нет, этой роскоши она видеть не могла. Если на то пошло, пусть девка распутничает, но, возвращаясь к матери, она должна быть одета, как надлежит одеваться простой работнице. Платья со шлейфом будоражили весь дом. Лорийе зло посмеивались; Лантье, загоревшись, вертелся вокруг Нана и вдыхал запах ее духов; Боши запретили Полине ходить к этой потаскухе и смотреть на ее тряпки. Жервезу раздражал также и беспробудный сон дочери, когда после очередной отлучки она спала до полудня, растерзанная, растрепанная, даже не вынув шпилек из прически, и бледная, как покойница. Утром мать раз пять или шесть пыталась растолкать Нана, грозя вылить ей на пузо кувшин воды, если она не встанет. Жервезу бесила эта красивая, разжиревшая от лени и распутства, полуголая девка, которая никак не могла проснуться после своих похождений, словно была пьяна от любви. Нана открывала один глаз, но он тут же закрывался, и она засыпала, еще шире раскинувшись на постели.

Однажды Жервеза не выдержала: попрекнув дочь ее беспутной жизнью, она спросила, уж не гуляет ли Нана с целой казармой, коли по утрам никак не может очухаться? И тут же выполнила свою угрозу, плеснув на нее холодной водой. Девчонка рассвирепела и, завернувшись в простыню, крикнула:

— Довольно, мать, слышишь?! Перестань болтать о мужчинах, тебе же лучше будет. Ты пожила в свое удовольствие, не мешай и мне жить, как я хочу.

— Что?.. Что такое?..— пролепетала Жервеза.

— Да, я молчала об этом, мне-то какое дело? Но вспомни-ка, ведь ты нисколько не стеснялась, я много раз видела тебя там, внизу; стоило отцу захрапеть, как ты убегала от него в одной рубашке... Теперь тебе это дело разонравилось, зато другим оно по вкусу. Оставь меня в покое, нечего было пример показывать!

Жервеза побледнела, руки у нее затряслись, и она стала растерянно топтаться по комнате, а Нана легла ничком и, обхватив руками подушку, снова погрузилась в тяжелый сон.

Купо только бранился — ему больше в голову не приходило драть девчонку. Он совсем сбился с панталыку. И, право, его даже нельзя было назвать плохим отцом, потому что от водки он потерял всякое представление о том, что хорошо и что плохо.

Теперь все шло как по-писаному. Купо пил горькую полгода, заболевал, и его отправляли в больницу святой Анны — это была своего рода передышка, как бы поездка в деревню. Лорийе, издеваясь, говорили, что герцог Пей-до-дна отбыл в свое поместье. Через месяц он выходил из больницы подправленный, подновленный, опять принимался за старое, вскоре снова валился с ног и опять нуждался в ремонте. За три года он семь раз побывал в больнице святой Анны. Соседи уверяли, что за ним закреплена там собственная палата. Но хуже всего было то, что с каждым припадком пьянчуга все больше разваливался, и уже недалек был день последнего представления, когда треснет сверху донизу эта винная бочка, обручи которой лопались один за другим.

Болезнь не красила Купо: привидение, да и только! Сивуха совсем отравила его. Тело кровельщика, пропитавшись алкоголем, съежилось, как те зародыши, которые хранятся у аптекарей в банках со спиртом. Он стал так худ, что все ребра вылезли наружу. Щеки впали, гной капал из глаз, точно воск с оплывших церковных свечей; один только нос цвел посреди испитого лица, толстый и красный, как пион. Люди, знавшие, что Купо едва перевалило за сорок, приходили в ужас, когда он брел, пошатываясь, сгорбленный, с лицом серым, как грязная штукатурка. Дрожь в руках усилилась, особенно плясала правая рука, ее трясло как в лихорадке; в иные дни, чтобы поднести стакан ко рту, Купо приходилось сжимать его всей пятерней. Ох, проклятая трясучка! Только она и вы-

водила Купо из себя, вообще же он совсем одурел. Он яростно ругал свои руки. А порой часами не спускал с них глаз, молча наблюдая, как они прыгают, точно лягушки; кровельщик даже не сердился, казалось, он старался доискаться, какой внутренний механизм заставляет их танцевать. Как-то вечером Жервеза застала мужа за этим занятием и увидела, что две крупные слезы скатились по его сморщенным щекам.

В последнее лето, когда Нана еще приходила отсыпаться у родителей, Купо совсем сдал. Его голос стал сиплым, как будто сивуха сожгла ему всю глотку. Он оглох на одно ухо. Затем в каких-нибудь несколько дней у него испортилось зрение; чтобы не скатиться с лестницы, ему приходилось держаться за перила. Словом, здоровье его расшаталось вконец. У Купо бывали мучительные мигрени, и голова до того кружилась, что все плясало перед глазами. Потом стало сводить руки и ноги, он зеленел от боли, валился на стул и сидел так часами в совершенном отупении; после одного из таких приступов у него целый день не действовала рука. Несколько раз ему приходилось ложиться в постель; ежась, он кутался в одеяло и дышал коротко, отрывисто, точно больное животное. Затем начинал куролесить, как в больнице святой Анны. Беспокойный, подозрительный, он бредил, катался от ярости по полу, рвал на себе одежду, судорожно впивался зубами в мебель. Иногда он впадал в слезливое умиление, хныкал, как девчонка, рыдал и жаловался, что никто его не любит. Вернувшись однажды вечером домой, Жервеза и Нана не нашли больного в постели. Вместо него лежал свернутый матрац. Наконец они увидели Купо под кроватью, он в ужасе стучал зубами, уверяя, что какие-то негодяи грозятся его убить. Жене и дочери пришлось уложить его и успокаивать, как ребенка.

Купо признавал лишь одно лекарство: залить за ворот бутылку сивухи; после этого он вскакивал как встрепанный. Каждое утро он таким манером лечил свой кашель. Память у него давно отшибло, башка была пуста; но стоило ему встать на ноги, как он начинал потешаться над своей болезнью. Бросьте, он никогда в жизни не болел! Словом, он был в таком состоянии, когда человек подыхает, а сам твердит, будто здоров, как бык. Он даже начал заговариваться. Когда, проболтавшись полтора месяца неизвестно где, Нана возвращалась домой, Купо думал, что она ненадолго отлучалась по делу. Сплошь и рядом, встречая дочь на улице под руку с каким-нибудь кавалером, он не узнавал ее, и девчонка смеялась ему в лицо. Теперь она ни в грош не ставила отца, только что не пинала его ногами.

При первых холодах Нана опять удрала, сказав, что сбегает в лавочку купить печеных груш. Она чувствовала приближение зимы, и ей не хотелось стучать зубами в нетопленой комнате.

Родители обругали ее скотиной, но лишь потому, что не дождались печеных груш; девчонка еще вернется, ведь в прошлую зиму она три недели ходила за пачкой табака. Но шли месяцы, а Нана не появлялась. Видать, далеко укатила. Наступил июнь, она не вернулась и к лету. Все кончено: она, верно, нашла где-нибудь стол и кров. И в тот день, когда им пришлось особенно туго, супруги Купо продали за шесть франков железную кровать Нана и пропили все деньги в Сент-Уэне. Ей-богу, кровать только мешала в комнате.

Как-то утром, в июле, Виржини окликнула проходившую мимо Жервезу и попросила перемыть грязную посуду: ее накопилось очень много, потому что накануне Лантье угощал обедом двух приятелей. Когда Жервеза возилась с оставшейся после пирушки жирной посудой, шляпник, прохлаждавшийся в лавке, крикнул ей:

— Знаете, мамаша, а ведь я на днях видел Нана!

При этих словах Виржини, которая сидела за кассой и озабоченно поглядывала на пустевшие ящики и банки, сердито тряхнула головой. Она сдерживалась, чтобы не сболтнуть лишнего, но, право, под конец эти встречи становились подозрительными. Лантье что-то слишком часто видел Нана. О, она не поручилась бы за него: такой бабник на все способен, когда ему в голову втемяшится какая-нибудь девчонка. В эту минуту вошла г-жа Лера; за последнее время она очень подружилась с Виржини, которая изливала ей душу.

— Вы видели Нана? Издали или вблизи? — как всегда игриво спросила вдова.

— Понятно, издали,— ответил польщенный шляпник, смеясь и покручивая усы.— Она ехала в коляске. Клянусь богом! Я же плелся пешком... Теперь до нее рукой не достать! Как не позавидовать богатым наследникам, которые с ней накоротке: счастливчики, право!

Глаза его загорелись, и, повернувшись к Жервезе, которая вытирала блюдо в глубине лавки, он продолжал:

— Она ехала в коляске в шикарном наряде!.. Сперва я просто не узнал ее: великосветская дама, да и только! Рожица свеженькая, как цветок, а зубки так и блестят. Она сама помахала мне перчаткой... Говорят, Нана подцепила виконта. Да, она высоко взлетела! Теперь ей наплевать на всех нас: можно сказать, повезло негоднице... Но какая же она прелестная куколка! Вы и представить себе не можете, что за куколка!

Жервеза машинально терла блюдо, уже давно блестевшее, как зеркало. Виржини сидела в глубокой задумчивости: она не знала, как уплатить по двум счетам, срок которых истекал завтра, а Лантье, толстый, жирный, словно пропитавшийся сахаром,

«Западня»

«Западня»

продолжал восторгаться нарядными красотками, и его голос гулко раздавался в опустошенной лавке, где уже пахло разорением. Да, шляпнику оставалось проглотить еще несколько мятных лепешек и отправить в рот несколько леденцов, и торговле Пуассонов придет конец. Вдруг Лантье заметил на другой стороне улицы полицейского: находясь при исполнении служебных обязанностей, он шествовал застегнутый на все пуговицы, с шашкой на боку. Это еще больше развеселило Лантье.

— Ну и вид сегодня у Баденге! — сказал он Виржини, указывая на ее мужа.— Осторожнее, он что-то слишком пыжится! Э, да ему, верно, вставили сзади подзорную трубу, чтоб он видел, что делается за его спиной.

Когда Жервеза вернулась к себе, Купо сидел на кровати, бессмысленно уставившись в пол. Он совсем очумел после одного из своих припадков. Тогда она опустилась на стул, разбитая усталостью, и руки ее безжизненно повисли вдоль грязной юбки. С четверть часа она молча сидела против мужа.

— Я узнала новость,— пробормотала она наконец.— Люди видели твою дочь... Да, твоя дочь разодета в пух и прах, она больше в нас не нуждается. Вот кому счастье-то привалило... Боже мой, боже, дорого бы я дала, чтобы быть на ее месте.

Купо по-прежнему смотрел в пол. Потом поднял свое испитое лицо, и губы его растянулись в дурацкой ухмылке.

— Ей-ей, козочка, я тебя не держу... Когда ты умоешься, ты еще не так плоха. Недаром говорят — на всякую заваль спрос найдется... Попробуй, может, и заработаешь на кусок хлеба.

XII

Дело было, вероятно, в субботу после срока уплаты за квартиру, числа 12—13 января, Жервеза не знала точно. В голове у нее все перепуталось, потому что целую вечность она не ела ничего горячего. Ну и проклятая же выдалась неделя! В доме было пусто, хоть шаром покати,— два четырехфунтовых хлеба, купленные во вторник, тянулись до четверга, а позавчера Жервеза отыскала завалявшуюся горбушку, но вот уже почти двое суток у нее не было ни крошки во рту, она только лязгала зубами перед пустым буфетом. Одно она знала твердо, так как чувствовала это на собственной шкуре: погода стояла собачья, холод пробирал до костей, небо было черное, как сковородка, а снег все не шел. Когда в зимнюю пору живот подводит от голода, хоть затягивай, хоть не затягивай пояс — все равно не помогает.

А что, если вечером Купо принесет денег? Он говорил, будто где-то работает. Что ж, может, оно и так. И хотя Жервеза много

раз попадалась на удочку, она стала рассчитывать на эти деньги. У нее вышло столько неприятностей с заказчиками, что теперь ей не доверяли стирать даже тряпки; одна пожилая дама, у которой она работала поденно, недавно выгнала ее за пристрастие к хозяйским наливкам. Она никому не была нужна, она, как говорится, вышла в тираж и, в сущности, была этому рада: порой человеку легче сдохнуть с голоду, чем пальцем пошевелить. Ну что ж, если Купо принесет получку, они съедят чего-нибудь горячего. И в ожидании мужа она лежала на матраце, ведь двенадцати еще не пробило, а когда лежишь, не так страдаешь от холода и голода.

Жервеза называла свою подстилку матрацем; на самом деле это была куча соломы, сваленная в углу. Мало-помалу кровать и постель перекочевали к старьевщику. Сперва она распорола матрац, а когда приходилось уж очень туго, горстями вытаскивала из него волос и, завернув в передник, шла продавать его на улицу Бельом по десяти су за фунт. Выпотрошив матрац, она спустила как-то утром оставшийся от него чехол и на вырученные тридцать су купила кофе. За матрацем последовали подушки. Осталась лишь деревянная кровать, вынести которую мешали Боши: заметив, что улетучивается мебель — это обеспечение домовладельца, они подняли бы на ноги весь дом. И все же как-то вечером, улучив минуту, когда у Бошей были гости, Жервеза с мужем потихоньку переправили кровать по частям: спинку, ножки, раму. На десять франков, полученных от старьевщика, они перебивались три дня. Холщовый мешок из-под соломы ушел вслед за матрацем. Купо сплавили последнюю из своих спальных принадлежностей, зато после целого дня голодовки до отвала наелись хлеба. Теперь они сметали труху, переворачивали солому, и получалась подстилка как подстилка, не хуже всякой другой.

На этой куче соломы Жервеза лежала одетая, съежившись и спрятав руки под рваную юбку, чтобы согреться. Глаза ее были широко открыты, а в голове ворочались унылые мысли. Нет, черт возьми, жить без еды нельзя! Голода она уже не чувствовала — в желудке была свинцовая тяжесть, а башка казалась пустой. И уж конечно эта нищая каморка не могла настроить ее на веселый лад. Такой собачьей конурой побрезговали бы даже левретки, которых водят гулять в попонках. Тусклые глаза Жервезы блуждали по голым стенам. Ломбард давно все сожрал. Уцелели лишь комод, стол и стул; впрочем, ящики и мраморная доска с комода давно уплыли вслед за кроватью. Комната была голая, словно после пожара: все мелочи сгинули, даже карманные часы, стоившие двенадцать франков, и семейные фотографии,— рамки купила одна старьевщица, славная женщина, которой Жервеза несла всякую мелочь — кастрюлю, утюг, гребенку,— и, получив от двух

до пяти су, возвращалась домой с краюхой хлеба в руках. Остались только сломанные щипцы для снимания нагара, но за них не давали ни гроша. Ах, если бы нашлись покупатели на мусор, пыль и отбросы, Жервеза живо открыла бы торговлю: грязи в комнате было хоть отбавляй. Паутина затянула все углы; говорят, правда, будто паутина помогает останавливать кровь, но еще ни один человек ею не торговал. И, потеряв всякую надежду что-либо продать, Жервеза отвернулась к окну и еще больше съежилась на своем тюфяке; уж лучше смотреть на пасмурное, нависшее небо, хотя от одного его вида мороз подирает по коже.

Сколько у нее всяких докук! Впрочем, к чему расстраиваться и забивать себе голову? Хоть бы вздремнуть немножко! Но мысль о неоплаченной каморке не давала ей покоя. Домовладелец Мареско сам приходил накануне и грозил вышвырнуть их на улицу, если ему не заплатят через неделю,— они задолжали уже за полгода. Ну и пусть вышвыривает, вряд ли им будет хуже под забором! Посмотрели бы вы на этого гада! Сам ходит в теплом пальто и шерстяных перчатках, а с бедняков требует квартирную плату, словно у каждого есть сбережения. Да будь у нее деньги, она не стала бы волком выть от голода, а живо набила бы себе брюхо какой-нибудь жратвой! Право, этот толстопузый слишком разошелся, он у нее вот где сидит! И она посылала его к дьяволу, а заодно и этого скота Купо, который не успеет порога переступить, как тут же набрасывается на нее с кулаками. Надо думать, у дьявола места хватало, потому что она отправляла туда решительно всех — до того ей опротивели и жизнь и люди. Ведь она стала настоящим козлом отпущения. Купо завел себе дубинку, которую называл погонялкой для ослиц. Стоило посмотреть, как он погонял ею свою хозяйку! Она выходила из этой бани вся в поту. Впрочем, она научилась давать сдачи и здорово царапалась и кусалась. И вот в пустой комнате они так дрались, что отбивали друг у друга охоту к еде. Но в конце концов Жервеза перестала обращать внимание на побои, как, впрочем, и на все остальное. Купо мог месяцами гонять лодыря, пьянствовать без просыпу, возвращаться домой осатанелым от вина и бить ее до полусмерти,— она ко всему привыкла и находила мужа попросту надоедливым. Она только посылала его подальше. Да, к дьяволу эту грязную свинью! К дьяволу Лорийе, Бошей, Пуассонов! К дьяволу соседей, которые унижают ее! К дьяволу Париж! И она с величайшим презрением отмахивалась от всего и от всех и даже испытывала какое-то удовлетворение, чувствуя себя отомщенной.

Человек ко всему привыкает, но, увы, никто еще не привык обходиться без еды. Голод — единственное, что еще трогало Жервезу. На остальное ей было начхать — пусть она стала последней из последних, пусть скатилась на самое дно и люди брезгливо от-

ряхиваются, когда она проходит мимо! Грубости, оскорбления не задевали ее, но от голода подводило живот. Она уже давно не зарилась на лакомые блюда и готова была есть все, что попало. Праздником для нее был тот день, когда она могла купить за четыре су фунт мясных обрезков, завалявшихся и потемневших на прилавке у мясника; она добавляла к ним побольше картошки и тушила в глубокой сковороде или же делала какое-то крошево из бычьего сердца и с наслаждением лакомилась им. Иной раз, когда в доме бывало вино, она размачивала в нем хлеб и ела эту похлебку, годную разве для попугая. Купить на два су итальянского сыра, мерку дешевых яблок или кружку сухой фасоли, которую она варила без всякой приправы,— такое удовольствие она не часто могла себе позволить. Жервеза стала ходить в подозрительные харчевни, где покупала за одно су груду рыбьих костей, смешанных с остатками протухшего мяса. Она пала еще ниже и выпрашивала у сердобольных рестораторов хлебные корки, а придя домой, разваривала их на плите у соседей. Наконец она дошла до того, что по утрам, перед приходом мусорщиков, рылась вместе с собаками в помойных ящиках у дверей богатых торговцев; иной раз ей попадались объедки с их стола — подгнившая дыня, тухлая макрель или отбивная котлета, косточку которой она тщательно осматривала, боясь, как бы там не было червей. Да, вот до чего она докатилась! Конечно, брезгливым людям противно подумать об этом, но интересно знать, что бы они запели, поголодай они денька три? Небось встали бы на четвереньки и принялись копаться в помойке, точь-в-точь как собаки. О, это медленное умирание бедняков, эти муки пустого желудка, когда человек, как отощавший волк, набрасывается на любую пищу, даже на падаль, и все это в огромном, раззолоченном, сияющем огнями Париже! Подумать только, что Жервеза обжиралась когда-то жирной гусятиной! Теперь ей оставалось только облизываться. Однажды Купо стащил у нее две монеты, отложенные на хлеб, и пропил их; она была так голодна, что, лишившись куска хлеба, пришла в бешенство и чуть не убила мужа лопатой.

Жервеза долго смотрела на мутное небо и под конец забылась тяжелым, тревожным сном. Она озябла, и ей приснилось, что тучи прорвало и снег сыплется прямо на нее. Вдруг она вскочила, проснувшись от гнетущей тоски. Неужто она умирает? Дрожа всем телом и дико озираясь, она увидела, что на дворе еще светло. Боже мой, значит, ночь никогда не придет? Как долго тянется время, когда в брюхе пусто! Голод тоже проснулся и снова стал терзать ее. Упав на стул, она согнулась, зажала руки между коленями, чтобы их согреть, и стала думать об обеде. Только бы Купо принес денег, уж тогда она купит целый хлеб, литр вина и две порции рубцов по-лионски. На часах с кукушкой у дяди

Базужа пробило три. Только три! Жервеза заплакала. Нет, у нее не хватит сил ждать до семи часов. Она раскачивалась всем телом, как маленькая девочка, которая хочет убаюкать свое первое большое горе, и, скорчившись, сжимала руками живот, чтобы меньше сосало под ложечкой. Да, легче родить, чем голодать! Голод все не унимался; она вскочила и стала гневно ходить из угла в угол, надеясь усыпить его, точно грудного ребенка. С полчаса она сновала по пустой комнате. Потом остановилась как вкопанная, устремив глаза в одну точку. Плевать, будь что будет, она готова пятки лизать Лорийе, только бы они дали ей взаймы десять су.

Зимой, на лестнице, где жила Жервеза,— лестнице бедноты,— нищие горемыки постоянно занимали друг у друга то десять, а то и двадцать су и по-соседски оказывали один другому мелкие услуги. Но они лучше умерли бы с голоду, чем обратиться к Лорийе, потому что таких скупердяев ничем не проймешь. Жервезе пришлось собрать все свое мужество, чтобы отправиться к ним. Ей было до того страшно в коридоре, что, постучавшись к Лорийе, она внезапно почувствовала облегчение, как человек, решившийся наконец позвонить у дверей зубодера.

— Войдите! — послышался резкий голос золотых дел мастера.

Как у них было хорошо! Белое пламя горна ярко освещало узкую мастерскую, где г-жа Лорийе прокаливала золотую проволоку. Сам Лорийе, весь в поту, паял у стола звенья цепочки. В комнате пахло капустным супом, который варился на плите; от него шел такой вкусный запах, что у Жервезы захватило дух и ей едва не сделалось дурно.

— А, это вы,— пробурчала г-жа Лорийе, даже не пригласив ее сесть.— Чего вам?

Жервеза молчала. За последнюю неделю у нее не было особых неприятностей с Лорийе. Но стоило ей увидеть Боша, который сплетничал с хозяевами, удобно примостившись возле печки, как просьба о десяти су застряла у нее в горле. У этой канальи всегда был такой вид, словно он потешается над вами: рожа толстая, как задница, рот похож на дырочку, а щеки до того раздулись, что и носа не видно,— задница, да и только!

— Чего вам? — в свою очередь спросил г-н Лорийе.

— Вы не видали Купо? — пролепетала наконец Жервеза.— Я подумала, не у вас ли он?

Хозяева и привратник захихикали. Ну, конечно, они не видали Купо. Они редко потчуют его вином, и Купо не любит заходить к ним. Жервеза сделала над собой усилие и продолжала, заикаясь:

— Он обещал вернуться... Да, он должен принести денег... А мне необходимо купить кое-что...

Наступило тягостное молчание. Г-жа Лорийе яростно раздувала огонь в горне, Лорийе усердно занялся цепочкой, все удлинявшейся у него в руках, а Бош расплылся в усмешке, словно полная луна, и рот у него стал до того круглый, что хотелось засунуть в него палец, просто так, из любопытства.

— Мне бы только десять су,— еле слышно прошептала Жервеза.

Ответом ей по-прежнему было молчание.

— Вы не могли бы дать мне взаймы десять су?.. Право, я их верну, сегодня же вечером верну!..

Госпожа Лорийе обернулась и пристально поглядела на невестку. Ну и пройдоха, думает провести их. Сегодня она выудит у них десять су, завтра двадцать, а там и конца-краю не будет. Нет, нет, держи карман шире!

— Но вы же знаете, моя милая, что у нас нет денег! — крикнула она.— Я могу вывернуть карманы. Хоть обыщите меня... Конечно, мы бы с радостью дали вам...

— С радостью готовы бы дать,— пробурчал Лорийе.— Но у нас нет, тут уж ничего не поделаешь.

Жервеза униженно кивала головой и все же не уходила. Она украдкой посматривала на золото — на мотки золотой проволоки, висевшие на стене, на золотую нить, которую изо всех сил протаскивала сквозь волочильню г-жа Лорийе, на звенья золотой цепочки, удлинявшейся в узловатых пальцах мастера. И она думала, что маленького кусочка этого неказистого черноватого металла с лихвой хватило бы на хороший обед. Как ни грязна была в этот день мастерская из-за угольной пыли, неотмытых масляных пятен и валявшегося всюду железного хлама, она казалась ей богатой, великолепной, как лавка менялы. И она осмелилась повторить еще раз тихо и кротко:

— Я вам их верну, право, верну... Десять су не так-то много, вы же не обеднеете...

Ей не хотелось признаться, что она со вчерашнего дня ничего не ела, и от этого на сердце было еще тяжелее. Потом ноги у нее подкосились, и она замолчала, боясь разрыдаться.

— Прошу вас!..— опять зашептала она.— Вы не знаете, не можете знать... Да, вот до чего я дошла, боже мой, вот до чего я дошла...

Тут супруги Лорийе поджали губы и обменялись многозначительным взглядом. Значит, Хромуша теперь побирается! Ну, дальше ехать некуда! Этого они терпеть не могут! Знай они заранее, зачем она пришла, они попросту не открыли бы двери: с побирушками надо быть начеку, они являются к вам под всякими благовидными предлогами, а потом удирают, захватив с собой какую-нибудь вещь. Тем более у них в доме есть что украсть!

Стоит протянуть руку, и как бы невзначай схватишь кусочек золота, франков на тридцать — сорок. Они уже не раз замечали: когда Жервеза глядит на золото, лицо у нее становится какое-то чудное. Но на этот раз они присмотрят за ней. И, видя, что Жервеза подошла еще ближе и даже встала на деревянную решетку, золотых дел мастер, не отвечая на ее просьбу, грубо закричал:

— Эй вы там, поосторожнее! Не то опять унесете на подошвах золотые опилки... Право, они у вас точно салом смазаны: все к ним так и липнет.

Жервеза медленно попятилась. На мгновение она оперлась на этажерку и, видя, что г-жа Лорийе разглядывает ее руки, растопырила пальцы и проговорила вяло, не обижаясь, как человек, давно привыкший к оскорблениям:

— Я ничего не взяла, посмотрите сами.

И Жервеза ушла, потому что ей стало дурно от густого запаха супа и приятного тепла мастерской.

Лорийе, понятно, не стали ее удерживать. Скатертью дорога! Провалиться им на этом месте, если они в другой раз отопрут ей! Они достаточно насмотрелись на ее рожу и не желают глядеть на чужую нищету, особенно если эта нищета вполне заслужена. И Лорийе с наслаждением подумали, что они-то сидят в жарко натопленной комнате и на плите их ожидает вкусный суп. Бош еще больше развалился и надул щеки, так что смех его стал вовсе непристойным. Все трое чувствовали себя вполне отомщенными за прежние фокусы Хромуши, за ее голубую прачечную, за пирушки и прочее. Так ей и надо! Вот достойный пример того, к чему приводит обжорство. К черту всех сладкоежек, лентяек и распутниц!

— Нет, вы только полюбуйтесь на нее! Ходит и клянчит по десяти су! — закричала г-жа Лорийе, как только Жервеза повернулась к ней спиной.— Так я тебе и выложила десять су, держи карман шире! Небось выпить не на что!

Жервеза с трудом тащилась по коридору, поникшая, словно пришибленная. Добравшись до своей комнаты, она побоялась войти: ей было слишком страшно у себя дома. К тому же, когда двигаешься, становится теплее, да и время не так долго тянется. Проходя мимо чулана под лестницей, где ютился дедушка Брю, она заглянула к нему — вот у кого, должно быть, живот подвело, ведь бедняга уже три дня сидит без хлеба; но конура оказалась пустой, и Жервеза почувствовала зависть: верно, кто-нибудь пригласил старика. Затем, поравнявшись с дверью Бижаров, она услышала стоны и вошла, так как ключ у них всегда торчал в замке.

— Что случилось? — спросила она.

В комнате было очень чисто. Как видно, Лали еще с утра подмела пол и все прибрала. Сколько бы ни свирепствовала нищета у Бижаров, унося последнее барахло и нагромождая повсюду кучи мусора, Лали была тут как тут — она все чистила, мыла, скребла, и, несмотря на бедность, в комнате становилось даже уютно: во всем чувствовалась рука заботливой хозяйки. В этот день Анриетта и Жюль, «детишки» Лали, отыскали какие-то старые картинки и усердно вырезали их в уголке. Но Жервеза была поражена, увидев, что Лали лежит на своей узкой складной кроватке бледная как полотно, натянув одеяло до самого подбородка. Лали в постели?! Ну значит, она не на шутку расхворалась.

— Что с тобой? — с тревогой спросила Жервеза.

Лали больше не стонала. Она медленно подняла бескровные веки и попыталась улыбнуться, но губы ее лишь судорожно искривились.

— Ничего,— сказала она чуть слышно,— право, ничего! — Потом закрыла глаза и прибавила с усилием: — Я так устала за эти дни, и вот видите, лентяйничаю, валяюсь в кровати.

И на ее детском личике, покрытом синеватыми пятнами, появилось такое скорбное выражение, что Жервеза позабыла о собственных бедах и, сложив руки, бросилась на колени перед кроваткой. Целый месяц девочка ходила, держась за стены, и вся сгибалась от кашля — сразу видно было, что она не жилица на белом свете. Теперь она уже не могла кашлять. Она икнула, изо рта у нее брызнула кровь и поползла двумя струйками по подбородку.

— Я не виновата, у меня совсем нету сил,— прошептала она как будто с облегчением.— Утром я встала, прибрала немного... В комнате ведь чисто, правда?.. Хотела еще протереть окна, да вот ноги подкосились. Глупость такая! А теперь кончила работу, можно и полежать.

И, помолчав немного, она спросила:

— Поглядите, не порезались ли там мои ребятишки?

Лали умолкла и, задрожав, стала прислушиваться к тяжелым шагам на лестнице. Бижар резко распахнул дверь. По своему обыкновению, он был пьян, глаза его горели, как у буйнопомешанного. Увидев дочь в кровати, он, ухмыляясь, хлопнул себя по ляжкам и снял со стены длинный кнут.

— Вот это уж никуда не годится! Сейчас мы позабавимся, черт возьми! Подумать только, эта корова развалилась на подстилке среди бела дня!.. Смеешься ты, что ли?.. Ну, живее, гоп, вытряхивайся отсюда, лежебока!

Он стал щелкать кнутом над самой кроваткой, но девочка прошептала с мольбой:

— Нет, папа, не надо, прошу тебя, не надо... Ей-богу, ты пожалеешь. Не бей меня.

— Вставай,— заорал он еще громче,— не то пересчитаю тебе ребра!.. Ну, поднимайся, дрянь этакая!

Тогда она сказала тихо:

— Не могу я, понимаешь?.. Я умираю.

Жервеза бросилась на Бижара и попыталась вырвать у него кнут. Оторопев, он застыл перед кроваткой. Что за сказки рассказывает эта сопливая девчонка? Разве умирают в ее возрасте, да еще не хворавши! Притворяется небось, чтобы получить поблажку! Уж он дознается, в чем дело, а если она врет...

— Вот увидишь, это правда,— продолжала она.— Пока я была в силах, не хотела вас всех огорчать... А теперь будь хорошим, папа, и простись со мной...

Бижар молча теребил себя за нос: он боялся попасть впросак. Но у девчонки и вправду было какое-то странное лицо — вытянутое, серьезное, как у взрослой. Дыхание смерти отрезвило его. Он огляделся, будто пробудившись от долгого сна, и увидел чисто прибранную комнату, умытых детей, которые играли и смеялись. Тогда он упал на стул, бормоча:

— Матушка наша, хозяюшка наша...

Он не знал, что еще сказать, но и эти слова показались Лали очень ласковыми, ведь она не была избалована. И девочка стала утешать отца. Самое обидное, что она детей не успела вырастить и вот теперь уходит от них. Но он позаботится о малышах, правда? И прерывающимся голоском она объясняла, как надо ходить за ними, как их мыть, как одевать. Мучитель отец, одурманенный винными парами, лишь тряс головой и смотрел осоловелым взглядом на умирающую дочь. В сердце у него что-то дрогнуло, но он ничего не мог из себя выдавить; плакать же он не умел, так как шкура у него была дубленая.

— Вот еще что,— продолжала Лали, помолчав.— Мы должны четыре франка семь су булочнику — надо будет заплатить. У госпожи Годрон наш утюг, ты его забери... Я не варила супа сегодня, не могла... Там есть хлеб, поставишь разогревать картошку...

До последнего вздоха крошка Лали оставалась матерью для всего семейства. Да, другой такой девочки не найти! Она умирала оттого, что в ней слишком рано пробудились чувства настоящей матери, и хрупкая детская грудка не выдержала тяжкого бремени материнства. И если зверь отец терял свое сокровище, то сам был кругом виноват. Сперва он убил жену пинком ноги в живот, а теперь до смерти замучил и дочку. Он отправил на тот свет своих добрых ангелов, и ему оставалось только одно: словно псу, подохнуть где-нибудь под забором.

Жервеза с трудом сдерживала слезы. Ей хотелось хоть немного облегчить страдания Лали; видя, что рваное одеяльце сбилось, она решила перестелить постель и открыла жалкое тельце умирающей. Боже милосердный! На девочку было страшно и больно смотреть! Каменное сердце и то не выдержало бы! Плечи едва прикрывал обрывок какой-то старой кофты, заменявшей Лали сорочку; да, она была обнажена, и эта нагота напоминала кровоточащую, скорбную наготу мученицы. Не тело, а одни кости, обтянутые кожей. Узкие лиловатые полосы шли по бокам до самых колен — следы отцовского кнута. Руки были тоненькие, как спички, и на левой виднелся темный кровоподтек, словно кто-то сжал ее клещами. На правой ножке зияла незатянувшаяся рана, которой Лали не давала зажить: ведь бедняжке даже некогда было присесть. Синяки же покрывали девочку с головы до ног. Что может быть ужаснее истязания детей, грубых мужских лап, калечащих беззащитную крошку, страданий беспомощного ребенка, изнемогающего под тяжестью такого креста?! Да, верующие в церкви преклоняют колена перед изображением мучениц, нагота которых менее священна! Жервеза снова нагнулась над Лали, позабыв укрыть ее, потрясенная до глубины души видом этого распростертого перед нею тельца; и ее дрожащие губы с трудом подыскивали слова молитвы.

— Закройте меня, госпожа Купо... пожалуйста...— прошептала девочка.

Своими слабыми ручонками она попыталась натянуть одеяло, стыдясь за отца. Бижар сидел отупевший, не спуская глаз с умирающего по его вине ребенка, и все мотал головой, как бык, которого кусают мухи.

Укрыв Лали, Жервеза почувствовала, что она не в силах здесь оставаться. Умирающая совсем ослабела, она уже не говорила, только черные глаза смотрели по-прежнему задумчиво и покорно на обоих детей, вырезавших картинки. В комнате постепенно темнело. Совсем ошалев при виде этой агонии, Бижар погрузился в пьяное забытье. Нет, нет, жизнь отвратительна! Какая гнусность! Ах, какая гнусность! Не помня себя, Жервеза выскочила из комнаты и спустилась по лестнице; мысли у нее путались, и все на свете так ей опротивело, что хотелось броситься под омнибус, чтобы покончить с этой жизнью раз и навсегда.

Она бежала по улице, проклиная злую судьбу, и вдруг очутилась перед мастерской, в которой работал Купо, так по крайней мере он говорил. Ноги сами привели ее сюда, а желудок уже снова затянул свою жалобную песенку, бесконечную песнь голода, которую она успела выучить наизусть. Если ей удастся перехватить мужа при выходе, она отберет у него деньги и купит чего-нибудь поесть. Ждать осталось не больше часа — уж как-нибудь

скоротает время; надо запастись терпением, ведь она крепится со вчерашнего дня.

Мастерская помещалась на углу улицы Шартр и улицы Шарбоньер, и на этом паршивом перекрестке ветер так и свистел, словно играл в догонялки. Брр! Не больно тепло разгуливать здесь! Будь у нее на плечах меховая шубка, куда ни шло! Небо было по-прежнему унылого свинцового цвета, и снег, скопившийся в облаках, прикрывал город как бы ледяным колпаком. Ни снежинки не падало, но в воздухе стояла напряженная тишина, предвещавшая Парижу новый наряд — красивое бальное платье, белое и чистое. Жервеза вглядывалась в небо, прося господа бога повременить немного и не спускать до поры до времени своего кисейного полога. Она выбивала дробь ногами и никак не могла оторвать глаз от бакалейной лавочки напротив, затем поворачивалась к ней спиной — к чему понапрасну дразнить себя? Развлечься на перекрестке было нечем. Редкие прохожие бежали рысцой, кутая нос в кашне. Оно и понятно — кому придет в голову торчать на улице, когда холод пробирает до костей. Тут Жервеза заметила, что у дверей кровельной мастерской стоят на страже еще несколько женщин. Видно, тоже злосчастные жены, подстерегающие мужей из боязни, что те пропьют в кабаке получку. Какая-то рослая тетка с физиономией жандарма прижалась к стене, готовясь броситься на супруга, едва он выглянет на улицу. Другая, маленькая чернушка, худенькая и робкая на вид, прогуливалась по противоположной стороне улицы. Третья, неуклюжая толстуха, притащила за руки двух малышей, которые плакали, дрожа от холода. Жервеза и ее товарки по несчастью ходили взад и вперед, искоса посматривая друг на друга, но не вступали в разговор. Приятное место встречи, нечего сказать! Знакомиться, право, не стоит, они и так знают, какая им выпала доля. Сразу видно: все они голь перекатная. В этот студеный январский вечер становилось еще холоднее от одного вида горемычных женщин, которые мерили шагами улицу, то сходясь, то снова расходясь.

Однако из мастерской никто не выходил. Наконец появился один рабочий, за ним двое, потом еще трое; но, видно, это были хорошие ребята, которые честно приносили получку семье: недаром они сочувственно качали головой, заметив женские тени, бродившие у входа в мастерскую. Рослая тетка вплотную придвинулась к двери; вдруг она налетела как ястреб на бледного человека, осторожно высунувшего нос наружу. С ним было покончено в два счета. Жена обыскала его и отобрала все деньги. Попался! Теперь у него нет ни гроша, не на что будет выпить. И маленький человечек, оскорбленный, убитый, поплелся за своим жандармом, хныча, как ребенок. Рабочие все выходили и выходили;

завидев у дверей толстую кумушку с двумя детьми, высокий брюнет с продувной рожей быстро повернул назад, чтобы предупредить ее мужа, и когда тот вышел вразвалку на улицу, в башмаках у него были запрятаны две новенькие пятифранковые монеты. Он взял одного карапуза на руки и отправился восвояси, рассказывая всякие небылицы своей хозяйке. А та ругала его, не закрывая рта. Среди рабочих были весельчаки, бодро выскакивавшие на улицу: они спешили прокутить денежки в компании с приятелями. Были также и горемыки с изможденными лицами: вместо двухнедельной получки они судорожно сжимали в кулаке жалкий заработок за три-четыре дня, честили себя лодырями и клялись, что никогда больше не будут пьянствовать. Но ужаснее всего было отчаяние худенькой робкой чернушки: ее муж, красивый малый, удрал у нее из-под носа, да так проворно, что чуть не сбил ее с ног; и вся в слезах она поплелась домой одна мимо лавчонок, ее так и шатало от горя.

Наконец вереница рабочих оборвалась. Стоя посреди улицы, Жервеза не сводила глаз с двери. Право, это становилось подозрительным. Вышли еще двое запоздавших, но Купо все не было. Когда же она справилась о нем у этих почтенных на вид людей, они шутливо ответили, что Купо с Лантимешем отправились ворон считать и потому вышли через заднюю дверь. Жервеза поняла: муж опять солгал — ждать больше нечего. Тогда медленно, с трудом волоча ноги в стоптанных дырявых башмаках, она пошла по улице Шарбоньер. Обед был от нее дальше, чем когда-либо, и ей казалось, что он исчезает, тая в сгущающихся грязновато-желтых сумерках. На этот раз все было кончено. Никакой зацепки, никакой надежды впереди — только мрак и муки голода. Хороша же будет эта проклятая ночь, тяжело опускавшаяся на ее плечи!

Жервеза с трудом шла по улице Пуассонье и вдруг услышала голос Купо. Да, он был здесь, в кабачке «Луковка», и Бурдюк угощал его водкой. Этот пройдоха Бурдюк женился в конце лета, и женился по-настоящему, на даме, хоть и потрепанной, но сохранившей следы былой красоты. Да, это была дама с улицы Мартир, а не какая-нибудь лахудра с окраины! Надо было видеть этого счастливейшего из смертных — он жил как буржуа, разгуливал, засунув руки в карманы, хорошо одевался и ел сколько влезет. Его нельзя было узнать, до того он растолстел. Приятели уверяли, что жена Бурдюка пользуется вниманием многих мужчин. Такая жена, да еще дом в деревне, можно ли желать большего? И Купо с восхищением посматривал на товарища. Подумать только, этот ловкач даже носит золотое кольцо на мизинце!

Когда Купо выходил из «Луковки», Жервеза положила руку ему на плечо.

— Послушай, ведь я жду... Я ничего не ела. Где же твоя получка?

Но Купо с места в карьер отшил жену:

— Не ела? Ну так и соси свою лапу, а другую оставишь на завтра!

Он находил, что не к чему поднимать шум при всем честном народе. Ну что ж из того, что он не работает? Подумаешь, беда какая! Уж не принимает ли она его за молокососа, которого можно разжалобить всякими россказнями?

— Ты что же, хочешь, чтобы я пошла воровать? — глухо спросила Жервеза.

Бурдюк поглаживал себя по подбородку.

— Ну нет, это запрещено законом,— сказал он примирительно.— Но если женщина умеет изворачиваться...

Купо перебил его и в восторге закричал «браво!». Да, женщина должна изворачиваться. Но его жена всегда была размазней, рохлей. Если они подохнут на соломе, то по ее вине. И кровельщик вновь стал восторгаться Бурдюком. Ну и каналья, до чего же расфрантился! Прямо-таки домовладелец! Белая рубашка, новые ботинки, да какие шикарные! Это вам не фунт изюму! Есть чему позавидовать — хозяйка Бурдюка понимает толк в жизни!

И мужчины двинулись по направлению к внешним бульварам. Жервеза поплелась за ними. Помолчав, она закричала вслед Купо:

— Ведь я же есть хочу... Я получку ждала... Достань чего-нибудь пожрать!

Но муж не отвечал, и она повторила в полном отчаянии:

— Так, значит, ты ничего мне не дашь?

— Отстань, зануда! Говорят тебе, у меня пусто в кармане! — заорал он в ярости.— Пошла прочь, или я тебя стукну!

Он уже поднял кулак. Она попятилась и, казалось, приняла решение.

— Хорошо, прощай, найду же я мужчину...

Тут кровельщик расхохотался. Он притворился, что принял слова жены в шутку, а сам начал незаметно подзадоривать ее. Что ж, мысль знатная, ей-богу! Вечером, при свете фонарей, красотка еще может кому-нибудь приглянуться. Если ей удастся подцепить кавалера, пусть тащит его в ресторан «Капуцин», там есть отдельные кабинеты, да и кормят что надо. И когда Жервеза, побледнев от гнева, зашагала по бульвару, он крикнул ей вдогонку:

— Послушай, принеси мне сладенького, люблю пирожные... А если твой ухажер богат, выпроси старое пальто для меня, пусть и я попользуюсь.

Жервеза шла быстро, точно ее подгоняли гнусные шутки мужа. Очутившись одна среди толпы, она замедлила шаг. Она твердо решилась. Если уж выбирать между воровством и таким делом, она предпочитает второе, по крайней мере это никому не причинит зла. Ведь она не покушается на чужое, а распоряжается своим добром. Понятно, это не больно-то хорошо, но у нее все перемешалось в голове, и она уже не знала, что хорошо и что плохо,— когда подыхаешь с голоду, не до рассуждений — берешь и ешь тот хлеб, какой подвернется. Она дошла до проспекта Клиньянкур. Ночь все еще не наступила. Тогда, в ожидании темноты, Жервеза медленно зашагала по бульварам, как приличная дама, которая гуляет перед ужином.

Когда Жервеза проходила теперь по этим местам, ей всегда было немного стыдно — так красиво и просторно стало кругом. Жалкие домишки, когда-то лепившиеся друг к другу у старой заставы, были снесены, а на их месте протянулись бульвары — Мажента и Орнано,— два широких, еще белых от известки проспекта: первый вел к самому сердцу Парижа, второй уходил за город; и только по бокам от них сохранились улочки Фобур-Пуассоньер и Пуассонье, извилистые, кривые и темные, как ходы в подземелье. Облик внешних бульваров давно изменился — с тех самых пор, как была разрушена городская стена; вдоль них проложили широкие проспекты, а посредине устроили аллею для гуляющих, обсаженную двумя рядами молодых платанов. И эти кишащие людьми улицы, проспекты, бульвары терялись в хаосе новых построек и, переплетаясь, уходили вдаль, к туманному горизонту. Но рядом с высокими новыми домами торчало много ветхих лачуг; между лепными фасадами зияли черные провалы, а хибарки, похожие на собачьи конуры, пялили на прохожих мутные глаза своих окон. Из-под роскоши, пришедшей со стороны Парижа, наружу вылезала нищета предместья и портила наскоро выстроенный новый город.

Затерявшись в людской сутолоке, Жервеза шла вдоль молодых платанов и чувствовала себя покинутой и одинокой. При взгляде на обширные просветы там, вдалеке, ей становилось дурно от голода. И подумать только, что в этой толпе есть люди, которые ни в чем себе не отказывают, и, однако, ни одна душа не догадалась о ее беде, никто не сунул ей в руку и десяти су! Да, кругом все было слишком громадно, слишком великолепно, голова у нее кружилась и ноги подкашивались, стоило ей взглянуть на необьятный купол серого неба, раскинувшийся над этими просторами. В воздухе был разлит тот грязно-желтый свет парижских сумерек, от которого становится тоскливо и хочется тут же умереть: слишком безобразной кажется при этом освещении жизнь городских улиц. Темнело, дали расплывались, словно исче-

зая под слоем черно-серой краски. Измученная Жервеза как раз попала в водоворот возвращавшихся домой рабочих. Бесконечные вереницы мужчин и женщин, побледневших в спертом воздухе мастерских, тянулись в этот час по улицам, и поток простонародья захлестывал нарядных дам и элегантно одетых господ. С бульвара Мажента и с улицы Фобур-Пуассоньер валом валили люди, запыхавшиеся от крутого подъема. Рабочие блузы и куртки наводняли мостовую, где приглушенно грохотали омнибусы и экипажи и быстро катили порожние фургоны, повозки, телеги. Тащились грузчики с крюками на плече. Быстро шагали, словно наперегонки, двое рабочих и, не глядя друг на друга, громко разговаривали, размахивая руками; одни рабочие в пальто и фуражках брели, понурившись, по краю тротуара, другие шли гуськом или группами по пяти-шести человек; засунув руки в карманы, они молча смотрели перед собой усталым взглядом. У некоторых в зубах торчали потухшие трубки. Четверо каменщиков ехали в нанятой в складчину карете, на дне которой подпрыгивали пустые творила, а из окон выглядывали их перемазанные известкой лица. Маляры шли, раскачивая ведерки с остатками краски; кровельщик тащил длинную лестницу, грозившую выбить глаза прохожим; запоздалый водопроводчик, несший за спиной ящик с инструментом, наигрывал на дудочке печальную песенку про доброго короля Дагобера, так и хватавшую за душу в этих унылых сумерках. Что за грустная музыка,— она служила как бы аккомпанементом гулкому топоту людского стада — всех этих измученных вьючных животных, спешивших на покой. Кончился еще один день. Право, день тянется слишком долго и слишком скоро наступает утро: едва успеешь поесть и немного вздремнуть, как уже рассвело и пора опять надевать хомут. И все-таки некоторые молодчики шагали, стуча каблуками и бодро посвистывая,— они торопились к ужину. Жервеза не сопротивлялась этому людскому потоку, ее пихали то вправо, то влево, она же равнодушно принимала толчки: мужчинам не до учтивости, когда они вконец измотались на работе и голод гонит их домой.

Прачка невзначай подняла голову и увидела перед собой бывшую гостиницу «Добро пожаловать». Одно время здесь помещался подозрительный кабак, потом полиция закрыла его, и теперь домишко стоял заброшенный, ставни залепили афишами, фонарь был разбит, стены пришли в ветхость и осыпались сверху донизу от непогоды, их отвратительная красно-бурая штукатурка словно покрылась лишаями. Кругом ничто как будто не изменилось. Писчебумажная и табачная лавочки были по-прежнему открыты. Позади над низкими строениями все еще торчали облупившиеся корпуса старого шестиэтажного дома. Только «Большой галереи» не существовало: в этом зале с его когда-то ярко горев-

шими окнами теперь помещалась фабрика по распилке сахара, откуда доносился назойливый визг пилы. Да, здесь в этой дыре «Добро пожаловать» и началась ее проклятая жизнь в Париже. Жервеза застыла на месте, вглядываясь в окно второго этажа с оторванным ставнем, и невольно вспомнила свои молодые годы вместе с Лантье, их первые ссоры и то, как подло он ее бросил. Не важно, ведь она была молода в ту пору, и теперь, издалека, прежняя жизнь рисовалась ей в радужном свете. Всего каких-нибудь двадцать лет, боже мой! И вот она докатилась до панели. При этой мысли ей стало больно смотреть на гостиницу, и она пошла вверх по бульвару в сторону Монмартра.

В сгущающихся сумерках дети еще играли между скамейками на кучах песка. А рабочие все шли и шли. Женщины ускоряли шаг, чтобы наверстать время, потерянное у витрин магазинов; высокая девушка замешкалась у подъезда с провожавшим ее парнем и все прощалась с ним, не отнимая руки; другие работницы, расставаясь с кавалерами, назначали им свидание в «Зале безумцев» или «Черном шарике». Среди толпы пробирались портные со свертками под мышкой. Какой-то печник, тащивший повозку со щебнем, чуть было не попал под омнибус. Среди поредевшей толпы встречались теперь простоволосые женщины: они уже затопили дома плиту и, расталкивая прохожих, бежали в булочную или колбасную и тотчас же возвращались обратно с покупками в руках. Маленькие девочки шли из магазина, обнимая, словно кукол, четырехфунтовые золотистые караваи, почти такие же большие, как они сами; порой девчурки останавливались перед витринами, в которых были выставлены картинки, и надолго застывали, прижавшись щекой к своему огромному хлебу. Людской поток иссякал. Все реже и реже попадались группы рабочих: трудовой люд уже разбрелся по домам; и при ярком свете газовых фонарей, точно в отместку за дневную суету, на улицах повеяло дыханием распутства и лени.

Да, день Жервезы тоже подошел к концу. Она чувствовала себя еще более измученной, чем весь этот рабочий люд, в поток которого она попала. Ей оставалось лечь прямо здесь, на мостовой, и подохнуть: труд ее никому не нужен, а на своем веку она довольно гнула спину и была вправе сказать: «Чья очередь? Я свое отработала!» В этот час порядочные люди сидели за обеденным столом. День кончился, солнце погасило свой светильник, ночь будет длинной-длинной. Господи, растянуться бы поудобнее и больше не вставать, зная, что ты заслужил отдых и можешь лодырничать вечно. Как хорошо отдохнуть после того, как ты двадцать лет тянул лямку! И, стараясь не думать о спазмах в желудке, Жервеза стала припоминать все хорошие дни, праздники и пирушки, какие бывали у нее в жизни. Особенно она повесе-

лилась как-то раз в четверг на третьей неделе поста, когда стоял точно такой же собачий холод. В ту пору она была очень мила, такая белокурая, свеженькая. Она работала в прачечной на Новой улице, и подружки выбрали ее королевой, несмотря на хромоту. Весь день они катались по бульварам в повозках, украшенных зеленью, среди разодетых господ, которые так и пялились на нее. Мужчины даже подносили к глазам лорнеты, словно мимо них и впрямь проезжала королева. А вечером они устроили роскошный пир и отплясывали до самого утра. Да, она была настоящей королевой с короной на голове и перевязью через плечо, и это продолжалось целые сутки — два полных оборота часовой стрелки! И Жервеза, уставшая, измученная голодом, смотрела себе под ноги, словно отыскивая, в какой канаве она потеряла свое былое величие.

Она вновь подняла глаза. Перед ней было здание боен, которое начали сносить; за развороченным фасадом лежали темные вонючие дворы, еще влажные от крови. Жервеза вернулась обратно по бульвару и увидела высокую серую стену, за которой веером развернулись мрачные корпуса больницы Ларибуазьер с длинными рядами окон; дверь, пробитая в стене, внушала страх всему кварталу: отсюда обычно выносили покойников, недаром эта крепко сбитая дубовая дверь была сурова и безмолвна, как надгробный памятник. И, чтобы не смотреть на нее, Жервеза пошла дальше и добралась до железнодорожного моста. Высокий парапет из толстого клепаного железа скрывал от взоров расходящиеся внизу пути; на фоне сверкающего огнями Парижа виднелся лишь кусок вокзальной крыши, вечно покрытой слоем черной угольной пыли; из далекого освещенного пространства долетали свистки паровозов, доносилось равномерное поскрипывание поворотных кругов — шум огромной невидимой работы. Из Парижа вышел поезд, и с каждым мгновением становилось явственнее его тяжелое пыхтение и стук колес. Но самого поезда она так и не увидела, лишь белый султан дыма взвился над парапетом и тут же исчез во мраке. Весь мост задрожал, и Жервеза осталась стоять, взволнованная этим быстро промчавшимся поездом. Она повернула голову, как бы для того, чтобы проследить за ним, но услышала лишь грохот колес, замиравший вдали. Ей чудилось, что там, за высокими домами, беспорядочно разбросанными по обе стороны от полотна, за их нештукатуренными стенами, пожелтевшими от копоти паровозов, покрытыми гигантскими рекламами, лежат деревенские просторы и сияет чистое глубокое небо. О, если бы она могла уехать куда-нибудь далеко, прочь от этого города бедствий и нищеты! Быть может, она начала бы жизнь сызнова. Затем она поймала себя на том, что тупо рассматривает объявления, расклеенные по парапету. Каких только

тут не было оттенков и красок! Одно ярко-голубое объявление обещало награду в пятьдесят франков тому, кто найдет пропавшую собаку. Ну и любили же, верно, хозяева этого пса!

И Жервеза опять медленно двинулась в путь. В густеющих дымных сумерках зажигались газовые фонари, и длинные улицы, поглощенные тьмой и ставшие черными, снова возникали, сверкая огнями, и, казалось, еще больше вытягивались, прорезая ночь до самого горизонта, окутанного беспросветным мраком. Дыханием широких просторов веяло здесь, на этой парижской окраине, и цепочки фонарей как будто упирались в огромное безлунное небо. Наступил час, когда на всем протяжении бульваров весело загораются окна ресторанов, трактиров и кабачков, а изнутри долетает галдеж, сопровождающий первые стаканчики и первые пляски. В этот день большой получки на улицах было полным-полно загулявших рабочих. В воздухе пахло знатной попойкой, но пока что все шло по-хорошему — начало хмельного разгула, не больше. В глубине ресторанчиков люди набивали себе брюхо: за освещенными окнами было видно, как они ели и хохотали с полным ртом, не успев даже прожевать кусок. В кабаках пьяницы усаживались за столики, горланя и размахивая руками. Среди адского шума и непрерывного топота ног по тротуару слышались порой визгливые или хриплые голоса: «Эй ты, пойдем, закусим, что ли?.. Поторапливайся, бездельник, сегодня я угощаю!.. А вот и Полина! То-то будет смеху!» Громко хлопали двери, из них вырывался винный дух и рев корнет-а-пистонов. У дверей «Западни» папаши Коломба, освещенной, словно собор в день торжественной службы, выстроилась целая очередь. Черт возьми, можно было и вправду подумать, что там справляли какой-то праздник; собутыльники пели хором, надув щеки и выпятив животы, совсем как певчие в церкви. Чествовали, оказывается, святую Получку, славную святую, которая, верно, сидит в раю за кассой. И, видя, как рьяно начинается праздник, рантье, чинно прогуливавшиеся под руку со своими женами, повторяли на все лады, качая головой, что нынче ночью на парижских улицах будет полным-полно пьяных. А над этим гомоном стояла очень темная, очень мрачная и холодная ночь, и ее оживляли лишь огненные полосы бульваров, расходящиеся во все четыре стороны.

Жервеза стояла перед «Западней» и размышляла. Будь у нее хотя бы два су, она зашла бы и опрокинула стаканчик. Водка, пожалуй, перебила бы голод. Сколько стаканчиков она опрокинула за свою жизнь! Право же, водка не плохая штука! И Жервеза издали смотрела на дьявольскую машину, чувствуя, что отсюда пришли все ее беды, и все-таки мечтая напиться до потери сознания, как только в кармане заведутся деньги. Но тут она вздрогнула от холода и заметила, что наступила темная ночь.

Час настал. Надо взять себя в руки и быть пообходительнее, коли она не хочет подохнуть с голоду среди общего веселья. Ведь брюхо-то не наполнится, если смотреть, как жрут другие. Она замедлила шаг и огляделась. Под деревьями мрак был гуще. Народу проходило мало, люди торопились и быстро пересекали бульвар. И на его широкой аллее, пустынной и темной, где замирало оживление соседних улиц, стояли женщины и терпеливо ждали, неподвижные, как маленькие чахлые деревца; затем они медленно сходили с места, делали несколько шагов по оледеневшей земле и снова останавливались, словно примерзнув к ней. Тут была одна толстуха с грузным туловищем и тонкими руками и ногами, похожими на паучьи лапки; ее дряблая грудь выпирала из ветхого черного платья, голова была повязана желтым шарфом; другая, тощая, как жердь, нацепила на себя фартук, точно кухарка; среди наштукатуренных старух было много и молодых потаскушек, но таких грязных, таких жалких, что, казалось, тряпичник и тот побрезговал бы ими. Жервеза не знала, как взяться за дело, и приглядывалась к соседкам. Горло у нее перехватило от волнения, она дрожала, как девчонка; стыдно ей или нет, она и сама не знала, но двигалась словно в дурном сне. С четверть часа она простояла не шевелясь. Мужчины быстро проходили мимо и даже не оборачивались. Тогда она сама нерешительно приблизилась к какому-то мужчине, который шел, засунув руки в карманы, и посвистывал.

— Сударь, послушайте...— прошептала она сдавленным голосом.

Мужчина мельком взглянул на нее и ушел, насвистывая еще громче.

Жервеза постепенно осмелела. Ее раззадорила эта охота, эта погоня голодного брюха за убегающим обедом, и она позабыла о робости. Долго еще она бродила, потеряв представление о времени и месте. Немые черные фигуры девок шагали взад и вперед под деревьями, как звери в клетке. Медленно появлялись они из темноты, похожие на привидения, проходили в ярком свете фонаря, где четко вырисовывались их напудренные лица, и снова тонули во мраке, растворяясь в таинственном очаровании ночи, лишь белые оборки их нижних юбок колыхались во тьме. Мужчины порой останавливались, балагурили со шлюхами и уходили, посмеиваясь. Другие смущенно следовали за женщиной, шагах в десяти от нее, боясь, как бы их не заметили. Слышался громкий шепот, приглушенные звуки спорящих голосов, яростный торг, затем надолго все снова погружалось в тишину. И сколько ни шла Жервеза, она видела в темноте женские фигуры, стоявшие как часовые на всем протяжении внешних бульваров. Шагах в двадцати от одной потаскухи она неизменно замечала другую. Конца этой

цепи не было видно, словно весь Париж находился под охраной. Но Жервезой все пренебрегали, она злилась, меняла место стоянок и, наконец, стала бродить между проспектом Клиньянкур и улицей Шапель.

— Сударь, послушайте...

Но мужчины не оборачивались. Она шла мимо разрушенных боен, вонявших кровью. Она снова окидывала взглядом бывшую гостиницу «Добро пожаловать», заколоченную и унылую. Она проходила вдоль ограды больницы Ларибуазьер и машинально пересчитывала освещенные окна ее корпусов, светившиеся тускло и мягко, как ночники у изголовья умирающего. Она пересекала железнодорожный мост, содрогавшийся под колесами поездов, которые с грохотом неслись вдаль, бросая резкий и отчаянный призыв. О, каким мрачным казалось все это под покровом ночи! Затем она возвращалась обратно, скользила взглядом по тем же домам, по веренице женщин на том же отрезке бульвара, и так десять, двадцать раз подряд, не останавливаясь, ни разу не присев на скамейку. Нет, она никому не нужна. Ее стыд, казалось, увеличивался от этого пренебрежения. И она опять шла под гору по направлению к больнице и опять поднималась к бойне. Да, вот ее последняя прогулка — от пропитанных кровью дворов, где убивают животных, до тускло освещенных больничных палат, где смерть настигает людей на казенных кроватях. Вся ее жизнь протекла здесь.

— Сударь, послушайте...

И вдруг Жервеза увидела на земле свою тень. Когда она подходила к фонарю, расплывчатая тень становилась явственной и четкой, огромной, безобразной и смешной — уж очень толста была сама Жервеза. На тени живот, грудь, бедра тряслись и, смещаясь, налезали друг на друга. Жервеза так сильно хромала, что дергалась при каждом шаге,— паяц, да и только! Затем, когда она удалялась от фонаря, паяц разрастался до громадных размеров, заполнял собой весь бульвар и, припадая на одну ногу, тыкался носом то о деревья, то о стены домов. Боже, какая она стала уродливая и смешная! Никогда еще Жервеза не видела так ясно, до чего она расползлась. Теперь она уже не могла оторвать глаз от своей тени и нарочно приближалась к фонарям, чтобы полюбоваться на ее пляску. Что за мерзкая баба двигалась рядом с ней! Ну и туша! Кто позарится на этакую красотку?! И, совсем оробев, она невнятно бормотала вслед прохожим:

— Сударь, послушайте...

Было, верно, очень поздно. В квартале становилось жутко. Харчевни закрылись. Свет газовых рожков в кабаках потускнел, оттуда доносились хриплые голоса пьяных. Веселье переходило в

ссоры и потасовки. Высокий оборванец орал: «Берегись, в лепешку расшибу, костей не соберешь!» У входа в трактир какая-то девка сцепилась с любовником и обзывала его подлецом и поганой свиньей, а он лишь твердил в ответ: «Чего пристала, отвяжись!» Дикий разгул ширился, распространяясь по улицам вместе с пьяным угаром и жаждой убийства, а редкие прохожие спешили прочь, побледнев и стиснув зубы. Завязалась драка, один пьянчуга повалился вверх тормашками, а другой, испугавшись, что прикончил приятеля, бросился наутек, громко стуча тяжелыми башмаками. Загулявшие ватаги горланили похабные песни, затем улица надолго погружалась в тишину, прерываемую пьяной икотой и глухим стуком падающих тел. Попойка в честь двухнедельной получки всегда так кончалась: вино лилось рекой с шести часов вечера и под утро выплескивалось на улицу. По тротуарам растекались ручейки и лужицы блевотины. Запоздалые прохожие брезгливо перескакивали через них, чтобы не ступать в грязь. Ну и пакость же была кругом! Нечего сказать, хорошее впечатление о Париже вынес бы иностранец, попавший сюда до утренней уборки! Но в этот час пропойцы чувствовали себя здесь как дома, а на Европу им было начхать. Теперь в ход пошли ножи, и праздник завершился кровопролитием. Женщины ускоряли шаг, мужчины рыскали с горящими, как у волков, глазами, ночь становилась темнее, полная ужасов.

А Жервеза все еще бродила, сильно хромая, и то поднималась вверх по бульвару, то спускалась вниз, с единственной мыслью, что ей нельзя останавливаться. Равномерное покачивание при ходьбе усыпляло ее, и, внезапно пробуждаясь, она с удивлением видела, что прошла шагов сто и даже не заметила этого, словно сознание уже погасло в ней. Ноги в дырявых башмаках отекли. Жервеза перестала чувствовать свое тело, до того она была измучена и опустошена. Последняя отчетливая мысль была о ее беспутной дочери, которая, быть может, в эту самую минуту лакомится устрицами в ресторане. Затем все смешалось у нее в голове, она продолжала идти с открытыми глазами, но думать уже не могла — на это не хватало сил. И ощущение, которое еще сохранилось среди этого небытия, было ощущение дьявольского холода, резкого, убийственного холода, какого она еще никогда не испытала. Наверно, даже мертвецам не бывает холоднее в могиле. Она с трудом подняла голову, и лицо ей обдало как бы ледяным дыханием. Это был снег, который наконец посыпал с мутного неба, мелкий густой снег, вихрем кружившийся на ветру. Три дня его не могли дождаться. И вот он пошел, как раз в подходящую минуту.

Жервеза очнулась при первом же порыве вьюги и ускорила шаг. Прохожие бежали, торопясь домой, и плечи у них уже побе-

лели от снега. Завидя какого-то мужчину, который медленно брел под деревьями, она подошла к нему и опять повторила:

— Сударь, послушайте...

Человек остановился. Казалось, он не расслышал ее слов. Он протянул руку и тихо пробормотал:

— Подайте Христа ради...

Они взглянули друг на друга. Господи, до чего они дошли: дедушка Брю просит подаяние, г-жа Купо дежурит на панели! Обомлев, они застыли на месте. Теперь они могли обменяться братским рукопожатием. Весь вечер старик рабочий бродил по улице, не решаясь просить милостыню, и первый человек, к которому он обратился, оказался таким же нищим, как и он сам. Бог мой, какая жалкая участь! Проработать пятьдесят лет и ходить с протянутой рукой! Считаться лучшей прачкой на улице Гут-д'Ор и очутиться на панели! Они долго смотрели друг на друга. Затем, ничего не говоря, пошли каждый своей дорогой, подгоняемые вьюгой.

Метель разыгралась не на шутку. Мелкий снег так и кружил, а на этих холмах, среди незастроенных пустырей, ветер, казалось, дул сразу со всех сторон. В десяти шагах ничего не было видно, всюду клубилась лишь белая пыль. Дома исчезли, бульвар вымер, словно порыв ветра набросил на него белоснежную пелену, под которой затихли крики и пьяная икота. Жервеза с трудом двигалась вперед, ослепленная, то и дело сбиваясь с пути. Она хваталась за деревья, чтобы окончательно не заблудиться. Перед ней появлялись порой газовые рожки, похожие на затухающие факелы, чуть мерцавшие в густой мгле. Но на перекрестках исчезал даже этот тусклый свет; ледяной вихрь обрушивался на нее, и она кружила на месте, ничего не видя, не зная, как найти дорогу. Неясно белевшая земля уходила из-под ног. Серые стены наступали на нее. И когда, остановившись в нерешительности, Жервеза оборачивалась, то угадывала за этой снежной завесой уходящие вдаль бульвары и улицы с бесконечными рядами газовых фонарей — всю черную и пустынную громаду уснувшего Парижа.

Дойдя до того места, где внешние бульвары пересекаются с бульварами Мажента и Орнано, Жервеза подумала, что хорошо бы лечь здесь прямо на земле. Вдруг она услышала шум шагов. Она побежала, но снег слепил глаза, а шаги, видимо, удалялись, и трудно было понять, в каком направлении. Наконец она увидела широкие плечи мужчины, черным пятном маячившие в белесоватой мгле. Ну, уж этого она не упустит. И она побежала еще быстрее, догнала его и, схватив сзади за куртку, сказала:

— Сударь, сударь, послушайте...

Мужчина обернулся. Перед ней был Гуже.

Так вот, кого она догнала! Чем она согрешила перед господом богом, что он без конца терзает ее! Это был последний удар. Хуже унижения быть не могло: она пристала к кузнецу, как жалкая бульварная шлюха, посиневшая от холода и молящая о помощи. Да и встретились-то они у самого фонаря, и она видела свою огромную тень, которая безобразно кривлялась на снегу. Наверно, казалось, что Жервеза пьяна. Неужели он принял ее за пьяную? А ведь она и не нюхала вина и два дня не имела во рту ни крошки хлеба! Впрочем, она сама виновата, зачем столько пила. Гуже, верно, подумал, что она выпила лишку и привязывается к прохожим.

Между тем Гуже смотрел на нее, и звездочки снежинок ложились на его красивую светлую бороду. Потом, видя, что она пятится понурив голову, он сказал:

— Идемте.

Он пошел вперед, а Жервеза за ним. Они пересекли безмолвный квартал, неслышно скользя вдоль стен домов. Бедная г-жа Гуже умерла в октябре от приступа острого ревматизма. Гуже, угрюмый и одинокий, жил в том же домике на Новой улице. В этот вечер он поздно возвращался домой, засидевшись у больного товарища. Он отпер дверь, зажег лампу и повернулся к Жервезе, смиренно остановившейся на площадке лестницы.

— Войдите,— сказал он очень тихо, точно мать могла его услышать.

В комнате г-жи Гуже все оставалось по-прежнему: благоговея перед памятью покойной, сын ничего здесь не тронул. У окна возле глубокого кресла, словно ожидавшего старую кружевницу, лежали на стуле круглые пяльцы. Кровать была постлана, и старушка могла бы лечь спать, если бы пришла с кладбища провести вечерок с сыном. Во всем чувствовалась та же умиротворенность, тот же дух честности и доброты.

— Войдите,— повторил кузнец, повысив голос.

Жервеза боязливо переступила порог, точно уличная девка, попавшая в порядочный дом. Гуже был бледен и дрожал: он впервые привел женщину в комнату своей покойной матери. Они прошли на цыпочках, как будто опасаясь, что их услышат. Потом, пропустив Жервезу в свою каморку, он затворил дверь. Здесь он был у себя. Жервеза очутилась в знакомой ей тесной спаленке, похожей на келью, с узкой железной кроватью под белым пологом. Картинок, вырезанных из журналов, стало еще больше, теперь они покрывали стены до самого потолка. Жервеза не смела двигаться среди этой чистоты и только пятилась от зажженной лампы. Не говоря ни слова, Гуже подошел к ней; в бешеном порыве ему хотелось схватить ее и задушить в объятьях. А она, совсем ослабев, лишь шептала:

— Боже мой!.. Боже мой!..

Огонь еще тлел в печке, покрытой угольной пылью, и возле поддувала стоял котелок с дымящимся рагу, которое кузнец оставил здесь, чтобы поужинать, когда вернется. Жервеза, отогревшаяся в жарко натопленной комнате, готова была встать на четвереньки и есть по-собачьи, прямо из котелка. Голод был сильнее ее, желудок разрывался от боли, и она нагнулась с тяжелым вздохом. Но Гуже понял. Он поставил рагу на стол, нарезал хлеба и налил ей вина.

— Спасибо, спасибо! — говорила она.— Вы такой добрый!

Язык не слушался ее, она с трудом выговаривала слова. Она так дрожала, что вилка выпала у нее из рук. От нестерпимого голода у нее тряслась голова, как у древней старухи. Ей пришлось есть пальцами. Запихнув в рот картофелину, она разрыдалась. Крупные слезы текли по щекам и капали на хлеб. Она ела, не останавливаясь, жадно глотала хлеб, смоченный слезами, дышала громко, с трудом переводя дух, а лицо ее подергивалось. Гуже заставил ее выпить вина, чтобы она не подавилась; и когда Жервеза пила, зубы ее выбивали дробь о край стакана.

— Хотите еще хлеба? — спросил он вполголоса.

Жервеза плакала, говорила «да», говорила «нет», растерявшись, сама не зная, чего хочет. Боже милостивый! Какое наслаждение поесть, когда умираешь с голоду, и вместе с тем как это горько!

А он стоял против нее и смотрел. Теперь при ярком свете лампы под абажуром он хорошо ее видел. До чего ж она постарела и подурнела! Снег таял на волосах и одежде, стекая струйками на пол. Трясущаяся голова побелела, растрепавшиеся от ветра седые пряди торчали во все стороны. Шея почти совсем ушла в плечи, вся она обрюзгла, стала такой толстой и безобразной, что, глядя на нее, хотелось плакать. И Гуже вспомнил о поре их любви, когда разрумянившаяся Жервеза возилась с утюгами и на ее шейке виднелась хорошенькая складочка, словно у пухлого младенца. В те времена он мог часами любоваться прачкой и радовался уже тому, что видит ее. Позже она стала сама приходить в кузницу, где им было так хорошо вдвоем: он бил по наковальне, а она не сводила глаз с пляшущего в его руках молота. Сколько раз, бывало, он кусал по ночам подушку и жаждал, чтобы Жервеза была здесь, рядом с ним, в полной его власти! Он так страстно желал ее, что, кажется, раздавил бы в объятиях. И вот теперь она принадлежит ему, он может ее взять. Она доедала хлеб, и крупные безмолвные слезы продолжали катиться по ее щекам и падали в пустой котелок.

Жервеза встала. Она кончила есть и застыла в нерешительности, с опущенной головой, не зная, нужна ли она ему. Потом

ей показалось, что его глаза блеснули, и, подняв голову, она расстегнула верхнюю пуговку на кофте. Но Гуже встал на колени и, взяв ее за обе руки, тихо сказал:

— Я люблю вас, Жервеза, все еще люблю, несмотря ни на что, клянусь вам!

— Не говорите так, господин Гуже! — воскликнула она, потрясенная тем, что видит его у своих ног.— Нет, не говорите так, мне слишком больно вас слушать.

А он все повторял, что не в силах полюбить другую, и Жервеза пришла в полное отчаяние.

— Нет, нет, не надо больше, мне слишком стыдно... ради бога, встаньте! Это я должна валяться у ваших ног.

Он встал и, весь дрожа, сказал прерывающимся голосом:

— Позвольте мне поцеловать вас.

Жервеза ни слова не нашла в ответ: она была слишком удивлена и взволнована и только кивнула головой. Боже мой, она принадлежит ему, он может делать с ней все, что захочет. Но он лишь наклонился к ней.

— Нам довольно и поцелуя, Жервеза,— прошептал он.— В этом вся наша дружба, ведь правда?

Он поцеловал ее в лоб, прикоснувшись губами к пряди седых волос. С тех пор как умерла его мать, он не целовал ни одной женщины. В жизни у него не осталось никого, кроме Жервезы, его дорогого друга. И, поцеловав ее с глубоким почтением, он попятился к кровати и упал, сотрясаясь от сдерживаемых рыданий. Жервеза не могла дольше оставаться здесь: слишком было больно, слишком ужасно встретиться вот так, когда любишь друг друга.

— Я люблю вас, господин Гуже, я тоже вас люблю...— крикнула она.— Это невозможно, я понимаю... Прощайте, прощайте, а то сердце у меня разорвется.

Она выбежала через комнату г-жи Гуже и снова очутилась на улице. Она пришла в себя, лишь позвонив у подъезда на улице Гут-д'Ор. Бош впустил ее. Дом был окутан мраком. Жервеза вошла туда, как в склеп. В этот ночной час зияющая обветшалая подворотня походила на разинутую пасть. И подумать только, что когда-то Жервеза мечтала жить в одной из клетушек этой мерзкой казармы! Неужели она была так глуха, что не расслышала за этими стенами зловещих голосов отчаяния и горя? С того самого дня, как она переехала сюда, жизнь ее покатилась под гору. Да, когда люди живут в проклятых доходных домах для рабочих, друг у друга на голове,— это приносит им несчастье: тут свирепствует страшная эпидемия нищеты. В эту ночь дом словно вымер. В подворотне, справа от Жервезы, храпели Боши, а слева Лантье с Виржини мурлыкали, как кошки, которые не спят, а

только нежатся в тепле с закрытыми глазами. Войдя во двор, она почувствовала себя как на кладбище: снег белым саваном покрыл землю; высокие, свинцово-серые стены дома, без единого огонька в окнах, походили на развалины; ни вздоха, ни стона — казалось, все живое вымерло здесь от холода и голода. Жервезе пришлось перешагнуть через черный дымящийся ручей, который вытекал из красильни и бежал по грязному руслу среди белого нетронутого снега. Чернота этой воды была под стать ее мыслям. Да, они давно утекли, красивые ручейки нежно-голубого и нежно-розового цвета!

Затем, поднимаясь в темноте на седьмой этаж, она рассмеялась горьким смехом, от которого ей стало больно. Она вспомнила о своей прежней мечте: работать спокойно, всегда иметь кусок хлеба и чистый уголок для жилья, вырастить ребят, не быть битой, умереть в своей постели. Нет, право, забавно, что все получилось наоборот! Теперь она не работает, голодает, спит в грязи, муж бьет ее смертным боем, дочь шляется неизвестно где; ей остается околеть на улице, да вот только мужества не хватает выброситься из окна своей каморки. Разве она просила у бога дохода в тридцать тысяч франков или высокого положения? Ведь нет. Эх, сколько себя ни урезывай, все равно ничего не получишь! Ни куска хлеба, ни крова над головой — таков общий удел. Но смех ее стал еще горше, когда она вспомнила о своих прекрасных планах: проработать лет двадцать в прачечной, а потом уехать в деревню. Ну что ж, куда-куда, а в деревню она попадет,— на кладбище Пер-Лашез для нее всегда найдется тенистый уголок.

Когда Жервеза свернула в свой коридор, она была как помешанная. Голова у нее шла кругом. В сущности, больнее всего было то, что она навеки простилась с кузнецом. Теперь между ними все кончено, они никогда больше не увидятся. Потом на нее нахлынули другие мрачные мысли и совсем разбередили ей сердце. Проходя мимо Бижаров, она заглянула в приоткрытую дверь и увидела мертвую Лали, лежавшую так спокойно, словно она радовалась, что может вытянуться и никогда не просыпаться. Право, дети счастливее взрослых, им легче умереть! Над дверью дяди Базужа виднелась полоска света, и она решительно вошла к нему, охваченная страстным желанием отправиться вслед за крошкой Лали.

Старый гуляка нагрузился этой ночью больше, чем обычно. Он был так пьян, что храпел прямо на полу, несмотря на холод, и, вероятно, видел приятные сны, так как рот его растянулся до ушей от безмолвного смеха. Свеча, которую он забыл погасить, освещала его отрепья, черную шляпу, брошенную в углу, и черный плащ, которым он укрыл ноги.

Увидев Базужа, Жервеза так громко застонала, что могильщик проснулся.

— Черт побери! Закройте же дверь! Ну и холодище!.. Как, это вы? Что случилось? Чего вам?

Тогда, протянув к нему руки, Жервеза стала страстно молить его, сама не понимая, что говорит:

— Заберите меня, я больше не могу, я хочу умереть... Не сердитесь. Ведь я не знала, боже мой! Никогда не знаешь, пока не дойдешь до крайности... Да, приходит день, и бываешь рад сойти в могилу!.. Заберите меня, заберите же, и я скажу вам спасибо!

И Жервеза бросилась на колени, дрожащая, бледная,— так велико было ее желание умереть. Никогда еще она не валялась в ногах у мужчины. Пьяная физиономия дяди Базужа, его перекошенный рот и грубая кожа с въевшейся в нее кладбищенской грязью — все в нем казалось ей прекрасным и сияющим, как солнце. Но старик еще не совсем проснулся и решил, что над ним хотят подшутить.

— Ну, знаете ли, со мной шутки плохи! — пробормотал он.

— Заберите меня! — горячо молила Жервеза.— Помните, однажды я постучала к вам вечером в стену? А потом испугалась, тогда я была еще глупа... А теперь мне нисколько не страшно. Протяните руки, заберите меня, я хочу уснуть, вот увидите, я даже не шелохнусь... О, я только этого и хочу, я буду вам так благодарна!

Базуж, всегда обходительный с дамами, подумал, что нельзя грубить женщине, которая, как видно, втюрилась в него. Чердак у нее немного не в порядке, но она все еще недурна, особенно когда раскипятится.

— Что правда, то правда,— сказал он убежденно.— За сегодняшний день я трех баб упаковал, и они, наверно, не поскупились бы мне на чаевые, кабы могли слазить в карман... Но, мамаша, так просто это не делается...

— Заберите меня, заберите! — продолжала кричать Жервеза.— Я хочу умереть.

— Ну что ж, только сначала, знаете ли, надо сделать... вот так!

И он дернул головой, словно проглотил язык. Затем, довольный своей шуткой, расхохотался.

Жервеза медленно поднялась на ноги. Так, значит, он тоже не может ей помочь? Она вернулась к себе ошалевшая и упала на соломенную подстилку, жалея, что ей удалось поесть. Да, ничего не скажешь, от нищеты не так-то легко подохнуть.

XIII

Всю эту ночь Купо пропьянствовал. На следующий день Жервеза получила десять франков от своего сына Этьена, который работал механиком на железной дороге. Парнишка знал, что в доме у них не густо, и время от времени посылал матери сто су. Она сварила мясной суп и все съела одна, так как подлец Купо не вернулся и назавтра. В понедельник он не появлялся, во вторник — тоже. Так прошла вся неделя. Вот было бы здорово, если бы Купо подцепила какая-нибудь красотка! Но в воскресенье Жервеза получила по почте бумагу, которая сначала напугала ее,— она подумала, что это повестка из полиции. Потом успокоилась: в бумаге попросту сообщалось, что ее пьяница муж подыхает в больнице святой Анны. Конечно, сказано это было не так грубо, но суть дела сводилась к этому. Да, Купо и вправду похитила дама, но эта дама звалась Курносой и была последней подружкой пропойц.

Жервеза, признаться, не стала утруждать себя. Он сам знает дорогу домой и вернется из больницы без чужой помощи; Купо уже столько раз подлечивали, что, надо думать, врачи опять сыграют с ним злую шутку и поставят на ноги. В то же утро Жервеза узнала, что всю прошлую неделю люди встречали Купо, нализавшегося как свинья: он шлялся по всем кабакам Бельвиля вместе с Бурдюком, который угощал его на свой счет,— тот, видно, запустил лапу в копилку своей благоверной и теперь тратил ее сбережения, а уж как она их заработала, нетрудно догадаться. Да, друзья пропивали грязные денежки, от которых можно подхватить не одну дурную болезнь. И если Купо теперь скрутило, поделом ему! Жервеза выходила из себя при мысли, что эти проклятые свиньи даже не подумали позвать ее и поднести ей стаканчик. Слыханное ли дело? Прокутить целую неделю и даже не вспомнить о жене! Кто пьет в одиночку, тот пусть и околевает в одиночку, так-то!

Однако в понедельник,— у Жервезы как раз был сытный ужин: остатки фасоли и пол-литра вина,— она убедила себя, что ей следует пройтись, чтобы нагулять аппетит. Письмо из больницы, лежавшее на комоде, мозолило ей глаза. Выпавший снег растаял, зима стояла сиротская, пасмурная и мягкая, но в воздухе все же чувствовался бодрящий холодок. Она вышла из дому в полдень, так как идти надо было далеко — на другой конец Парижа, а ее хромая нога вечно тащилась позади. Народу на улицах была тьма-тьмущая; впрочем, рассматривать прохожих было занятно, и она не заметила, как добралась до места. Когда в больнице она назвала себя, ее сразу ошарашили: оказывается, Купо выловили из реки, он бросился в воду с Нового моста, вообразив,

что дорогу ему загородил страшный бородатый человек. Ну и прыжок! А почему Купо попал на Новый мост, этого он и сам не знал.

Служитель повел Жервезу в палату к мужу. Поднимаясь по лестнице, она услышала вопли, от которых мороз подирал по коже.

— Ну и концерт, а? — сказал служитель.

— Кто это?

— Да ваш муженек! Он орет так уже третий день. И пляшет к тому же. Вот увидите.

Боже милостивый, какое зрелище! Жервеза остановилась как вкопанная. Стены были сплошь обиты чем-то мягким; на полу лежали в два ряда тюфяки, а в углу валялся матрац и подушка,— больше в палате ничего не было. Вот здесь-то и плясал и вопил Купо. Прямо-таки карнавальный ряженый, но ряженый не смешной, а страшный, в лохмотьях, судорожно дергавший руками и ногами. Забавного в нем не было ничего, ровно ничего! А от его жуткой пляски волосы становились дыбом. Да и нарядился-то он выходцем с того света! Черт побери, какие прыжки! Он натыкался на закрытое тюфяком окно, пятился, отбивая такт руками, и так отчаянно тряс ими, словно хотел оторвать их и швырнуть вам в физиономию. В кабаках встречаются шутники, подражающие этой пляске, только подражают они плохо,— надо видеть пьяницу в белой горячке, чтобы понять, как здорово это получается. И музыка тоже у них особенная — беспрерывные вопли, словно перебранка на карнавале или хриплый вой, похожий на рев тромбона, который часами вырывается из широко открытого рта. Что до Купо, то он выл, как пес, которому перебили лапу. Словом, оркестр, валяй громче! Кавалеры, приглашайте дам!

— Господи боже, что это с ним?.. Что с ним такое? — повторяла Жервеза в ужасе.

Студент-медик, толстый розовощекий блондин в белом халате, спокойно сидел на стуле и что-то записывал в тетрадь. Случай был любопытный, и студент не отходил от больного.

— Побудьте здесь немного, если хотите,— сказал он прачке.— Но стойте тихо... Попробуйте заговорить с ним, только вряд ли он вас узнает.

В самом деле, Купо, казалось, даже не заметил жены. Она плохо разглядела его вначале — так сильно он дергался. Но когда она посмотрела на больного вблизи, сердце у нее упало. Возможно ли, чтобы у ее мужа было такое страшное лицо, налившиеся кровью глаза и запекшиеся губы? Если бы Жервезе не сказали, что это Купо, она б его не узнала. К тому же непонятно, почему он все время строил гримасы: кривил рожу, морщил нос, втягивал щеки — не лицо, а звериная морда. Он был так разгорячен,

что от него шел пар, кожа блестела, как лакированная, а пот катился градом. И, несмотря на эту шутовскую пляску, чувствовалось, что ему плохо, голова у него отяжелела, а руки и ноги болят.

Жервеза подошла к студенту-медику, который выстукивал пальцами какой-то мотив на спинке стула.

— Скажите, сударь, на этот раз он серьезно болен?

Тот молча кивнул головой.

— Скажите, что это он болтает? Слышите?

— Он говорит о том, что ему мерещится,— прошептал молодой человек.— Тише, не мешайте мне слушать.

Купо что-то бормотал прерывающимся голосом. Однако в его глазах прыгали веселые огоньки. Он вертел головой и расхаживал по палате, словно гуляя в Венсенском лесу.

— До чего же здесь занятно, до чего шикарно...— говорил он сам с собой.— Кругом балаганы, как на ярмарке. И музыка задорная! Ну и гулянка, пир горой! Они там прямо на голове ходят. А-а, вот и иллюминация! Красные шары поднимаются, летят все выше!.. Ой-ой, сколько фонариков под деревьями!.. Хорошо здесь! Вода брызжет повсюду, фонтаны, водопады... Вода поет, как детишки в церкви... А фонтаны-то, загляденье!

Он вытягивал шею, словно прислушивался к тихому журчанью воды, и с удовольствием вдыхал воздух, наслаждаясь свежей водяной пылью воображаемых фонтанов. Но лицо его постепенно менялось, и вскоре на нем отразился ужас. Он согнулся и стал быстро бегать вокруг палаты, глухо бормоча угрозы.

— Опять здесь эта шайка!.. Так я и знал... Молчать, сволочи! Смеяться надо мной вздумали?! Это назло мне вы пируете и орете со своими шлюхами... Я вас изничтожу в вашем балагане!.. Оставьте меня в покое, черти окаянные!

Он сжал кулаки, потом хрипло вскрикнул и побежал еще быстрее, пригнувшись к самому полу. Зубы у него стучали от безумного страха.

— Хотите, чтоб я утонул? Нет, я не брошусь в реку!..— бормотал он, заикаясь.— Напустили тут воды... Нет, я не брошусь!

Водопады отступали при его приближении и надвигались, когда он пятился. Вдруг он тупо огляделся и прошептал еле слышно:

— Вот так штука, они подкупили врачей — все против меня!

— Я ухожу, сударь, до свиданья! — сказала Жервеза студенту-медику.— Сил моих больше нет, приду в другой раз.

Она и вправду вся побелела. Купо, потный, измученный, все так же скакал от окна к матрацу, от матраца к окну. Тут Жервеза убежала. И хотя она стрелой неслась по лестнице, отчаянные

вопли мужа преследовали ее до самого низа. Боже мой, как хорошо на улице! Наконец-то можно вздохнуть.

Вечером в доме на улице Гут-д'Ор только и говорили о диковинной болезни Купо. Боши, которые давно уже ни в грош не ставили Хромушу, зазвали ее на этот раз в привратницкую и угостили смородинной наливкой, чтобы выведать все подробности. Туда же пришла г-жа Лорийе, а за ней и г-жа Пуассон. Толкам не было конца. Бош знавал пьяницу столяра, который выскочил нагишом на улицу Сен-Мартен и отплясывал там польку, пока не умер. Этот парень пил абсент. Женщины громко смеялись: история казалась им забавной, хотя в ней не было ничего веселого. Собравшиеся не вполне представляли себе болезнь Купо; тогда Жервеза растолкала их, крича, чтобы ей очистили место, и тут же, на глазах у всех, принялась метаться, вопить, прыгать и корчиться, делая отвратительные гримасы. Да, честное слово, это похоже как две капли воды! Зрители были вне себя от изумления: нет, человек не может вынести такую пляску более трех часов! Но Жервеза жизнью клялась, что Купо не знает ни минуты покоя и беснуется уже тридцать шесть часов подряд. Впрочем, кто ей не верит, пусть пойдет и поглядит сам. Г-жа Лорийе, однако, решительно отказалась: благодарю покорно, она бывала в больнице святой Анны и ни за что туда не пойдет, да и мужа не пустит. А Виржини, у которой торговля шла все хуже и хуже, лишь уныло прошептала, что жизнь не всегда удачно складывается, ей-богу, далеко не всегда! Допили наливку, и Жервеза простилась со всей компанией. Стоило ей замолчать, как она начинала смотреть в одну точку широко открытыми глазами, словно помешанная. Вероятно, ей мерещилась жуткая пляска мужа. Проснувшись на другой день, она решила, что ноги ее больше не будет в больнице. Да и к чему туда идти? Она не хочет свихнуться, подобно Купо. Но она то и дело впадала в глубокую задумчивость и, как говорится, была не в себе. А интересно все-таки знать, неужели муж по-прежнему откалывает коленца? И когда пробило двенадцать, Жервеза уже не могла усидеть на месте; она даже не заметила, как дошла до больницы,— такой одолевал ее страх и любопытство: что-то ее там ожидает?

Ей не пришлось справляться о здоровье Купо. Еще внизу у лестницы она услышала его концерт: в точности те же вопли и те же прыжки. Можно было подумать, что она и не уходила. Вчерашний служитель, несший лекарство, любезно подмигнул ей при встрече.

— Значит, все то же? — спросила Жервеза.

— Да, все то же! — ответил он и прошел мимо.

Войдя в палату, Жервеза остановилась около двери, так как у Купо кто-то был. Розовощекий студент-медик стоял возле стула,

который он уступил пожилому лысому господину с орденом в петлице и с лицом, напоминавшим морду хорька. Как видно, это был главный врач, недаром он так и буравил вас взглядом. У всех этих господ, наживающихся на болезнях и смерти, бывает такой взгляд.

Впрочем, Жервеза пришла не ради этого господина; она поднялась на цыпочки и поверх его лысого черепа уставилась на Купо. Этот бесноватый плясал и орал еще пуще прежнего. Прежде ей случалось видеть, как здоровенные парни из прачечной всю ночь отплясывали на карнавале; но никогда в жизни она не поверила бы, чтобы человек мог забавляться таким манером целых двое суток; впрочем, слово «забавляться» тут ни к чему: уж какая там забава — прыгать как рыба, вытащенная из воды. Купо был весь в поту, и пар шел от него пуще прежнего. Он так долго кричал, что рот его, казалось, растянулся до ушей. Взглянув на него, женщина на сносях могла бы тут же разродиться. Он столько бегал по подстилке, что протоптал между окном и матрацем узенькую дорожку.

Нет, право, зрелище было не из приятных, и взволнованная Жервеза сама себе удивлялась, зачем она сюда пришла. И подумать только: вчера у Бошей ее обвиняли в том, что она малость преувеличивает! Да она и наполовину всего им не показала! Сегодня она лучше разглядела, что вытворяет Купо, и всегда будет вспоминать об этом, уставившись широко открытыми глазами в одну точку. Между тем до нее долетели обрывки разговора между студентом и врачом. Молодой человек рассказывал о том, как прошла ночь, но многих мудреных слов Жервеза не понимала. Попросту говоря, ее муж вопил и прыгал до утра. Тут пожилой лысый господин,— кстати, он был не особенно вежлив,— обратил наконец внимание на Жервезу; и когда студент сказал, что это жена больного, врач начал придирчиво допрашивать ее, словно полицейский комиссар.

— Скажите, отец вашего мужа пил?

— Да, сударь, выпивал немного, как всякий рабочий человек... Он разбился насмерть: упал с крыши после попойки.

— А мать его пила?

— Бог мой, сударь, пила, как и все... Пропускала иногда рюмочку-другую... Но семья у них очень порядочная!.. Был еще один брат, он умер молодым, с ним судороги приключились...

Врач посмотрел на нее своим пронзительным взглядом. Затем резко спросил:

— И вы тоже пьете?

Жервеза стала смущенно отнекиваться, прижав руку к сердцу, чтобы придать больше убедительности своим словам.

— Конечно, пьете! Берегитесь,— видите, до чего доводит пьянство. Рано или поздно вы умрете такой же смертью.

Жервеза ничего не ответила, лишь робко прижалась к стене. Врач повернулся к ней спиной. Он присел на корточки, не заботясь о том, что собирает пыль полами своего сюртука, и долго наблюдал за тем, как беснуется Купо, следил за его приближением, провожал его взглядом. Теперь ноги больного тоже тряслись, словно дрожь передалась им от рук,— паяц, да и только: потянут за веревочку, и руки-ноги у него дергаются, а туловище остается неподвижным. Больному становилось все хуже. Казалось, под кожей у Купо вдруг заработал какой-то механизм: каждые три-четыре секунды его включали, по телу пробегала легкая судорога, потом все замирало и тут же начиналось сызнова,— вот так в подворотне мелкой дрожью дрожит бездомный озябший пес. Живот и плечи Купо теперь тоже ходили ходуном, как кипящая ключом вода. Чуднáя все-таки болезнь, от нее умирают, извиваясь, как девка, которая боится щекотки.

Между тем Купо глухо стонал, на что-то жалуясь. Видно, он мучился гораздо больше, чем накануне. Из его отрывистых слов можно было понять, что ему становится невмоготу. Всю кожу как булавками колет. Какая-то тяжесть навалилась на плечи; холодная, скользкая зверушка ползает по ляжкам и впивается в тело острыми зубками. А другие гадины присосались сзади и рвут его спину когтями.

— Пить, пить хочу! — твердил он.

Студент-медик взял с полки кружку лимонада и протянул Купо. Тот схватил ее обеими руками и, выплеснув половину содержимого на себя, жадно поднес к губам. Но едва он сделал один глоток, как с отвращением стал плеваться и яростно закричал:

— Чтоб вам подавиться! Это водка!

Тогда по знаку врача студент попробовал сам напоить больного водой из графина. Купо глотнул, но опять заорал, словно обжег себе все внутренности.

— Это водка, чтоб вам подавиться! Водка!

Все, что он пил, со вчерашнего дня казалось ему водкой. Жажда его все усиливалась, а пить он не мог — любая жидкость жгла его огнем. Принесли тарелку супа, но он закричал, что его хотят отравить — от супа несет купоросом. Хлеб горчит, он заплесневел. Кругом все заражено. В палате воняет серой. Купо даже обвинял врачей, что они нарочно чиркают спичками у него под носом — хотят заразить воздух, которым он дышит.

Врач встал со стула и внимательно прислушался к бормотанию Купо, которому снова чудились призраки среди бела дня. Ему казалось, что с потолка свисает паутина, огромная, как па-

рус. Потом она превратилась в рыболовные сети, и они то растягивались, то сокращались. Ну и диковинная забава! В сетях катались черные шары, сперва они были величиной с мячик и тут же — вот так фокус! — становились величиной с пушечное ядро. Но разбухали и сжимались они нарочно, чтобы досадить ему. Вдруг Купо завопил не своим голосом:

— Крысы, ой, крысы!

Шары обернулись крысами. Эти мерзкие животные росли на глазах, пролезали сквозь сети, прыгали на устланный тюфяками пол и исчезали. Была тут и обезьяна, она выскакивала из стены и подкрадывалась к Купо, чтобы откусить ему нос, а когда он пятился, снова пряталась в стену. Вдруг все опять изменилось; очевидно, стены закачались, потому что Купо повторял в ужасе и гневе:

— Ай, ай, трясите меня сколько влезет, мне наплевать!.. Ай, стена! Ай, падает на землю!.. Звоните в колокола, чертовы попы! Играйте на своей шарманке! Хотите заглушить мой голос? Я все равно позову полицию!.. Сволочи! Они поставили адскую машину! Она пыхтит за стеной, сейчас мы все взлетим на воздух... Горим, черт возьми, горим! Пожар! Все пылает!.. Как светло стало, как светло! Все небо в огнях, огни красные, огни зеленые, желтые... Помогите! На помощь! Пожар!

Его крики перешли в хриплые стоны. Теперь он бессвязно шептал что-то, на губах выступила пена, по подбородку текла слюна. Врач тер себе переносицу, видно, это был привычный жест, когда он имел дело с тяжелобольным. Он повернулся к студенту и спросил вполголоса:

— Температура все та же? Сорок?

— Да, сударь.

Врач недовольно скривил губы. Он задержался еще минуты на две, не спуская глаз с Купо. Затем пожал плечами и добавил:

— То же лечение: бульон, молоко, лимонад, слабый раствор хинина... Не отходите от больного и, в случае чего, вызовите меня.

Он вышел. Жервеза последовала за ним, ей хотелось спросить, есть ли еще надежда. Но врач до того важно шествовал по коридору, что она не осмелилась к нему подойти. Она еще немного потопталась на месте, боясь вернуться в палату. Ей и так пришлось натерпеться страху. Тут она снова услышала крик Купо: он опять жаловался, будто от лимонада разит водкой. И, не выдержав, она убежала: довольно с нее на сегодня. На улице грохотали экипажи, цокали копыта лошадей, и Жервезе чудилось, что все умалишенные из больницы святой Анны гонятся за ней по пятам. Да еще этот врач пригрозил ей! Право, похоже, что она уже подцепила болезнь Купо.

Боши и другие соседи, конечно, ждали ее в доме на улице Гут-д'Ор. Едва она показалась в подворотне, как ее зазвали в привратницкую. Ну как? Папаша Купо еще жив? Господи, ну да, еще жив. Бош был поражен и явно недоволен этой вестью: он побился об заклад на литр вина, что Купо не дотянет до вечера. Неужто он жив? Все изумлялись и хлопали себя по ляжкам. Ну и силища! Г-жа Лорийе сосчитала, сколько часов длится припадок: тридцать шесть плюс двадцать четыре — шестьдесят часов! Молодчина! Шестьдесят часов подряд горланит и дрыгает ногами! Виданное ли это дело? Но Бош был раздосадован проигранным пари и стал придирчиво расспрашивать Жервезу, вполне ли она уверена в том, что после ее ухода Купо не окочурился. Нет, быть этого не может, он слишком здорово прыгал! Тогда Бош попросил, чтобы Жервеза еще раз показала, как дергается Купо. Да, да, еще разочек, все очень просят! Уж очень хочется посмотреть, тем более что ради этого пришли две соседки, которые не видали вчерашнего представления. Привратник потребовал, чтобы все расступились, и зрители, сгорая от любопытства, освободили середину комнаты; теперь они стояли плотным кольцом и нетерпеливо подталкивали друг друга локтями. А Жервеза все ниже опускала голову. Право, она боится, что сама заболеет. Однако, желая показать, что она не ломается, прачка легонько подпрыгнула два или три раза; но вид у нее стал какой-то чудно́й, и она отошла к стене: честное слово, она не в силах! Зрители были разочарованы: какая жалость, вчера она превосходно изображала Купо. Но коли она не может, ничего не поделаешь! И, воспользовавшись тем, что Виржини ушла, компания принялась горячо обсуждать дела Пуассонов, сразу позабыв о Купо. У Виржини творится невесть что: вчера приходил судебный пристав описывать имущество, полицейскому теперь не удержаться на своем посту. Что до Лантье, то этот пройдоха уже обхаживает официантку из соседнего ресторана, пышную женщину, которая собирается открыть торговлю потрохами. Потеха, да и только! Вместо конфет в лавке теперь появятся потроха — уж конечно это посытнее сластей! Но до чего же смешон во всей этой истории Пуассон! Мыслимое ли дело, чтобы полицейский, который обязан все подмечать, был таким дураком у себя дома! Вдруг все умолкли, заметив, что Жервеза, на которую перестали обращать внимание, пытается потихоньку передразнивать Купо, дергаясь всем телом в углу комнаты. Браво! Это как раз то, что нужно, большего от нее и не требуют! Но тут Жервеза замерла на месте, уставившись в одну точку,— казалось, она пробудилась от тяжелого сна. Затем торопливо направилась к двери. Счастливо оставаться всей честной компании! Она попробует уснуть у себя дома.

На другой день, как обычно, Жервеза в двенадцать часов ушла в больницу. Когда она проходила мимо привратницкой, Боши пожелали ей удачи. На этот раз даже больничный коридор дрожал от рева и топота Купо. Еще поднимаясь по лестнице, Жервеза слышала, как он вопил:

— Клопы, да сколько их!.. Суньтесь только, попробуйте, я всех вас передавлю!.. А-а, они хотят меня загрызть! Ой, клопы!.. Погодите, не на таковского напали! Назад, убирайтесь к черту!

Жервеза задержалась на минуту перед дверью. Казалось, Купо сражается с целой армией. Войдя в палату, она увидела, что дела совсем плохи. Муж походил на буйнопомешанного, сбежавшего из Шарантона. Он бесновался посреди палаты, колотил себя кулаками, бил по стенам, по полу, кувыркался, вскакивал, наносил удары в пустоту; он пытался отворить окно, прятался, защищался, звал на помощь, сам себе отвечал, и все это без передышки, а вид у него был затравленный, словно его преследовала тьма-тьмущая врагов. Затем Жервеза поняла, что он воображает, будто стоит на крыше и кроет ее железом. Он надувал щеки, точно это были мехи, орудовал паяльником, вставал на колени и проводил большим пальцем по краям тюфяка, принимая его за лист железа. Да, перед смертью он вспомнил свое ремесло; и если он орал благим матом и катался, цепляясь за карниз, то все это потому, что какие-то прохвосты мешали ему работать как следует. На всех соседних крышах сидели бездельники и насмехались над ним. Эти мерзавцы напустили на него полчища крыс. Проклятые твари, они мерещились ему повсюду! Сколько он ни уничтожал их, изо всех сил топоча ногами, появлялись новые и новые; вся крыша была черна от крыс. А тут еще пауки! Он подтягивал штаны и бил себя, стараясь раздавить огромных насекомых, которые бегали по его голому телу. Проклятье! Он никогда не справится с работой, его хотят погубить, хозяин отправит его в Мазас и посадит за решетку. Тут он заторопился, ему показалось, что в животе у него пыхтит паровая машина; он широко открыл рот, из которого пошел густой пар, клубы его наполнили палату и повалили из окна; продолжая пыхтеть, Купо, согнувшись, глядел на улицу, и ему чудилось, что столб дыма растет, поднимается в небо и закрывает солнце.

— Ого! — вдруг закричал он.— Да здесь вся банда с проспекта Клиньянкур! Они нацепили медвежьи шкуры с бубенцами...

Он продолжал сидеть на корточках перед окном, словно разглядывая с крыши праздничную процессию, идущую по улице.

— Вот львы и пантеры скачут, корчат рожи... Ребятишки вырядились собаками и кошками... И дылда Клеманс здесь, все ее космы в перьях. Ах черт, грохнулась посреди улицы, все хо-

зяйство наружу! Послушай, козочка, мы могли бы столковаться... Не смейте ее хватать, шпики проклятые!.. Не стреляйте, черт возьми! Не стреляйте...

Купо кричал все громче, в его хриплом голосе слышался ужас, он пригибался к полу, твердя, что полицейские и солдаты столпились внизу и целятся в него. Из стены торчало дуло пистолета, направленное ему прямо в грудь. Все эти люди пришли, чтобы отнять у него девку.

— Не стреляйте, черт побери, не стреляйте!..

Вокруг него стали рушиться дома, и он вопил и стучал, изображая грохот падающих стен. Потом все разлетелось, все исчезло. Но у него не было времени передохнуть, новые картины проносились перед глазами, сменяясь с поразительной быстротой. Мучительное желание говорить не покидало его, слова сами рвались наружу, язык заплетался, в горле клокотало. Он все больше повышал голос.

— Ба, да это ты? Здравствуй!.. Ну, брось шутки шутить! Не щекочи меня волосами.

Он проводил рукой по лицу, дул на воображаемые волосы, чтобы они не лезли ему в рот.

— Кого вы видите? — спросил студент-медик.

— Ясное дело, жену!

Но он смотрел на стену, повернувшись к Жервезе спиной.

У Жервезы душа ушла в пятки, и она тоже уставилась на стену, ища там самое себя. А Купо все болтал:

— Зубы-то мне не заговаривай... Не хочу я, чтобы меня привязывали... Ишь ты, разоделась, шикарное платье нацепила. Откуда у тебя этот наряд, стерва? Где хвостом вертела, потаскуха? Погоди, я с тобой разделаюсь!.. А, ты прячешь за юбкой своего хахаля! Кто он такой? Посторонись, дай я погляжу. Будьте вы прокляты, это опять он!

И Купо с размаху ударился головой о стену, но толстая обивка смягчила удар. Слышно было только, как больной с глухим шумом свалился на матрац.

— Кого вы видите? — опять спросил студент.

— Шляпника! Шляпника! — заорал Купо.

Молодой человек стал расспрашивать Жервезу, но она пролепетала в ответ что-то невнятное; эта сцена напоминала ей самые тяжелые минуты ее жизни. А кровельщик вовсю работал кулаками.

— Ну-ка, выходи один на один, приятель! Пора нам с тобой расквитаться! А-а, ты заявился с этой гнидой под ручку, при всех смеешься надо мной! Задушу, задушу голыми руками, да, да!.. Брось бахвалиться... Получай по морде! Бей его, бей его, бей!..

Он бил кулаками по воздуху. Ярость обуяла его. Пятясь, он наткнулся на стену и вообразил, что противник напал на него сзади. Он обернулся и принялся неистово колотить по стене. Он прыгал, бросался из угла в угол, налетая на мнимого врага животом, боком, плечом, катался по полу и опять вскакивал на ноги. Кости у него трещали, тело шмякалось на пол, как узел мокрого белья. И все это с дикими угрозами, свирепыми гортанными криками. Но, как видно, борьба оборачивалась не в его пользу: дыхание Купо участилось, глаза вылезли на лоб, и понемногу на него напал детский страх.

— Спасите, убивают!.. Убирайтесь вы оба! Ах, сволочи, они еще насмехаются надо мной! Теперь эта шлюха повалилась вверх тормашками. Так и есть... Мерзавец, да он убивает ее! Отрезал ей одну подпорку, другая лежит на земле, брюхо распорото, кровь так и хлещет... Боже мой, боже мой!..

Страшный, всклокоченный, весь в поту, он пятился, отчаянно размахивая руками, как будто отгоняя чудовищное видение. Вдруг он пронзительно вскрикнул раз, другой и, оступившись, рухнул навзничь на матрац.

— Сударь, сударь, что с ним? Он умер? — спросила Жервеза, стиснув руки.

Студент-медик подошел к Купо и перетащил его на середину матраца. Нет, больной не умер. Его разули; босые ноги лежали рядышком и быстро дергались, как бы отбивая такт.

В эту минуту вошел врач. Он привел с собой двух коллег — тощего и тучного, которые, как и он, были при орденах. Все трое наклонились и, не говоря ни слова, стали разглядывать больного, затем вполголоса быстро заговорили между собой. Они раздели Купо до пояса, и, встав на цыпочки, Жервеза увидела голое тело мужа. Дрожь перешла теперь с конечностей на все туловище: оно тоже дергалось в дикой пляске. Ну, дальше ехать некуда! Он весь сотрясался, точно в приступе бурного веселья, бока раздувались, как мехи, а брюхо чуть не лопалось от безмолвного хохота. Да, каждая клеточка на теле трепыхалась! Мускулы сжимались и разжимались, кожа дрожала как на барабане, волосы на груди шевелились и вставали дыбом. Словом, это был последний танец, как бы заключительный галоп, когда, с наступлением утра, все танцующие берутся за руки и пляшут, притоптывая каблуками.

— Он заснул,— прошептал главный врач и указал своим коллегам на лицо больного.

Глаза Купо были закрыты, но все лицо судорожно подергивалось. Во сне он был еще ужаснее: обессиленный, с отвисшей нижней челюстью, похожий на мертвеца, которого и в могиле преследуют кошмары. Но тут врачи обратили внимание на его

ноги и с интересом склонились над больным. Ноги продолжали дергаться. И хотя Купо спал, его ноги плясали. Сам хозяин мог храпеть сколько его душе угодно, это их нисколько не касалось: они делали свое дело и танцевали так же, как раньше, не медленнее, не быстрее. Настоящие механические ноги, которые дрыгают несмотря ни на что, стоит только их завести.

Жервеза увидела, что врачи ощупывают ее мужа, и ей тоже захотелось его потрогать. Она тихонько подошла к больному, приложила руку к его плечу и на минуту замерла. Господи, что это делается у него внутри? Там все содрогается, кажется, кости и те прыгают. Дрожь появляется неизвестно откуда и волной проходит под кожей. Слегка надавив на тело рукой, Жервеза почувствовала, что все оно трепещет от боли. По нему пробегает легкая судорога, точно рябь, которую гонит ветер по поверхности реки, но внутри, видно, творится что-то страшное. Да, там идет дьявольская работа, как будто крот роется в глубине. Проклятое зелье «Западни» пропитало все тело Купо и скоро доведет свою работу до конца: разъест, разрушит свою жертву, и пьяница, извиваясь и корчась, отправится на тот свет.

Врачи ушли. Через час Жервеза, которая осталась подле мужа со студентом-медиком, повторила шепотом:

— Сударь, сударь, что с ним? Он умер?

Но молодой человек, пристально наблюдавший за конечностями умирающего, отрицательно покачал головой. Голые ноги все еще плясали. Они были не очень чистые, с длинными черными ногтями. Время шло. Вдруг ноги вытянулись и застыли. Тогда студент обернулся к Жервезе и сказал:

— Кончено.

Только смерть остановила эту страшную пляску.

Вернувшись на улицу Гут-д'Ор, Жервеза застала у Бошей кучу взволнованных кумушек, которые тараторили без умолку. Прачка подумала сперва, что они ждут ее, как и накануне, чтобы узнать новости о Купо.

— Скапутился,— спокойно сказала она, открывая дверь. Лицо у нее было измученное, отупевшее.

Но никто ее не слушал. Весь дом был в волнении. Ну и дела! Пуассон подкараулил свою жену с Лантье. Точно еще ничего не было известно — каждый рассказывал историю на свой лад. Словом, Пуассон свалился им как снег на голову в ту минуту, когда они его совсем не ждали. Кое-какие подробности дамы передавали друг другу шепотом, поджав губы. Такое зрелище даже невозмутимого Пуассона вывело из себя. Этот молчаливый человек, который всегда ходил навытяжку, словно аршин проглотил, принялся реветь и метаться, как тигр. Потом все смолкло. Лантье, как видно, объяснился с мужем. Но все равно так дальше про-

должаться не может. И Бош объявил, что официантка из соседнего ресторана решила снять лавочку Виржини и открыть в ней торговлю потрохами: пройдоха Лантье обожает потроха.

Увидев, что в привратницкую пришли г-жа Лорийе и г-жа Лера, Жервеза вяло повторила:

— Скапутился... Боже мой, ведь он целых четыре дня вопил и бесновался...

Тогда обеим сестрам ничего не осталось, как вытащить носовые платки. У Купо было много недостатков, что и говорить, но он все же их родной брат. Бош пожал плечами и заявил громогласно:

— Ба, подумаешь, одним пьяницей на свете меньше!

Отныне Жервеза стала часто забываться, и соседи потешались, глядя, как она изображает Купо. Просить ее уже не приходилось, она охотно давала представление: дергала руками и ногами и вскрикивала, сама того не замечая. Видно, она заразилась этим в больнице святой Анны: слишком долго глядела там на мужа. Но Жервезе не повезло, она не подохла так скоро, как Купо. Она только дергалась с обезьяньими ужимками, и мальчишки на улице швыряли в нее кочерыжками.

Жервеза влачила жалкое существование. Она опускалась все ниже, терпела последние унижения, медленно умирала от голода. Едва у нее в кармане появлялось четыре су, она их пропивала и возвращалась домой пьяным-пьяна. Соседи поручали ей самую грязную работу. Однажды они побились об заклад, что Жервеза побрезгует съесть какую-то пакость, но за десять су она ее съела. Г-н Мареско решил выгнать ее из комнаты на седьмом этаже. И так как дедушка Брю умер, домовладелец разрешил Жервезе занять его конуру под лестницей. Теперь она ютилась в этой дыре и, лежа на гнилой соломе, щелкала зубами от голода и холода. Как видно, земля не принимала ее. Она стала вовсе слабоумной, и ей даже в голову не приходило, что можно выброситься из окна во двор и покончить с жизнью раз и навсегда. Смерть все ближе подкрадывалась к ней, понемногу отнимала силы, но ей было суждено дотащиться до конца той проклятой дорожки, на которую она вступила. Никто так и не узнал, отчего она умерла. Поговаривали о лихорадке. На самом деле она погибла от нищеты, от грязи, от усталости — от тяжести своей загубленной жизни. Она сдохла потому, что совсем оскотинилась, как уверяли Лорийе. Однажды утром жильцы заметили, что в коридоре чем-то воняет, и вспомнили, что дня два не видели Жервезы; они открыли дверь каморки и обнаружили уже разлагающийся труп.

Забрать Жервезу пришел сам дядя Базуж с гробом для бедняков под мышкой. В тот день он был по обыкновению пьян, ве-

сел и балагурил, как всегда. Он сразу узнал свою соседку и, принявшись за дело, пустился в рассуждения.

— Все там будем... Не к чему толкаться, места хватит для всех... Да и глупо спешить: тише едешь, дальше будешь. Я всегда рад услужить людям. Но одни согласны, другие упираются. Попробуй-ка всех уважить... Вот она, к примеру, сперва не хотела, а потом захотела. Тогда ей пришлось обождать... Ну, а теперь все в порядке, и, право, она не прогадала! А ну-ка, давай веселей!

И, обхватив Жервезу своими черными лапищами, дядя Базуж расчувствовался: он бережно поднял эту женщину, которая так давно стремилась к нему. Затем по-отечески ласково уложил ее в гроб и пробормотал, икая:

— Знаешь... Послушай... Ведь это я, Биби Весельчак, Утешитель Дам... Ты счастлива теперь. Спи, моя хорошая, баюшки-баю!

ЖЕРМИНАЛЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В непроглядной тьме беззвездной ночи по большаку, проложенному из Маршьена в Монсу́ и на протяжении десяти километров рассекавшему свекловичные поля, шел одинокий путник. Впереди ничего не было видно, даже земли, но он чувствовал, что вокруг плоская равнина,— холодный мартовский ветер гулял тут на приволье, налетая порывами, словно шквал в морских просторах, проносясь над болотами и голой низиной. Ни единого деревца не вырисовывалось в небе; в сыром и холодном мраке дорога пролегала ровная, прямая, как стрела.

Путник отправился из Маршьена в третьем часу, шел широким шагом, дрожа от стужи в вытертой своей ватной куртке и плисовых штанах. Ему очень мешал узелок с пожитками, завязанными в клетчатый платок, и он все прижимал локтем этот узелок то к левому, то к правому боку, пытаясь поглубже засунуть в карманы озябшие красные руки, до крови потрескавшиеся на ветру. У этого человека не было ни работы, ни пристанища, и сейчас в усталой голове почти не было мыслей — только надежда на то, что с восходом солнца чуть потеплеет. Он шел уже час,— до Монсу оставалось километра два,— и вдруг, слева от дороги, увидел три красных огня, горевших под открытым небом, словно три костра, но как будто повисших в воздухе. Путник заколебался, стало страшно идти туда, но он не мог воспротивиться мучительному желанию хоть минутку погреться у огня.

Дорога теперь тянулась в глубокой выемке, огни исчезли. Справа поднимался забор из нетесаных досок, огораживавший полотно железной дороги, а слева над откосом, поросшим травой, смутно виднелись коньки низких кровель и едва угадывались однообразные очертания деревенских домишек. Путник прошел шагов двести. На повороте дороги снова появились огни, но он

все не мог понять, почему они горят так высоко в беззвездном небе, будто три чадных луны. А внизу открывалось другое зрелище, заставившее его остановиться. Там чернело громоздкое скопище приземистых строений, над ними вздымалась высокая фабричная труба; кое-где в немытых окнах тускло светились огоньки; снаружи подвешены были к черным балкам пять-шесть тусклых фонарей, обрисовывавших какую-то вышку, похожую на исполинские козлы; и из этих фантастических сооружений, затянутых мраком и дымом, доносился лишь один звук: с протяжным, громким шумом откуда-то вырывался невидимый в темноте пар.

Тогда путник понял, что перед ним угольные копи. И ему стало досадно. Зачем он сюда пришел? Работы ведь не дадут. И он не направился к строениям, а решился наконец взобраться на террикон, где в трех чугунных сквозных жаровнях горел каменный уголь, освещая место работы и согревая людей. Должно быть, ремонтные работы в шахте вели до глубокой ночи: на-гора́ все еще подавали пустую породу. Теперь путник слышал, как грохотали по мосткам колеса, различал фигуры рабочих, опрокидывавших вагонетки у каждой жаровни.

— Здоро́во! — сказал он, подходя к одной из жаровен.

Спиной к огню стоял возчик, старик в лиловой шерстяной фуфайке, в картузе из кроличьего меха. Большая буланая лошадь остановилась как вкопанная и ждала, когда опорожнят шесть вагонеток, которые она привезла. Рабочий, приставленный к разгрузочному механизму, рыжий тощий малый, не торопясь, с сонным видом нажимал рычаг. А на гребне террикона все сильнее задувал холодный северный ветер, резавший лицо, едва не сбивавший с ног.

— Здоро́во! — ответил старик.

Наступило молчание. Чувствуя, что на него смотрят с подозрением, прохожий тотчас назвал себя:

— Меня зовут Этьен Лантье, я механик... Не найдется ли здесь работы?

Пламя ярко освещало его. На вид ему было не больше двадцати одного года; очень смуглый, красивый парень, худощавый, но, должно быть, сильный.

Успокоившись, возчик покачал головой.

— Работы для механика здесь не найдется. Нет... Вчера опять двое приходили. Нет ничего.

Порыв ветра прервал его речь. Когда утихло, Этьен спросил, указывая на темное скопище построек у подножия террикона:

— Это шахта, да?

Старик не мог ответить: он зашелся кашлем. Наконец сплюнул, и на земле, багровой в отсветах огня, осталось черное пятно.

— Правильно — Ворейская шахта. А вон там рабочий поселок, совсем близко, можно сказать, рядом.

И, в свою очередь, протянул руку, указывая на селение, крыши которого Этьен Лантье еще дорогой смутно различил в темноте. Тем временем все шесть вагонеток были опорожнены, и старик, даже не щелкнув кнутом, отправился обратно, вслед за своим поездом, с трудом переступая негнущимися от ревматизма ногами; буланая лошадь трусила между рельсами, налегая на постромки, и ветер ерошил на ней шерсть.

Шахта постепенно выплывала из темноты. Забывшись у костра, Этьен грел иззябшие руки, все в кровоточащих трещинках, и рассматривал надшахтные постройки: большой крытый толем сарай сортировочной, копер над стволом шахты, обширное помещение для машины, четырехугольную башенку, где установлен был паровой насос для откачки воды. Шахта, сгрудившая в лощине свои приземистые кирпичные строения, вздымавшая высокую трубу, словно грозный рог, казалась ему каким-то злобным ненасытным зверем, который залег тут, готовый пожрать весь мир. Всматриваясь в него, он думал о самом себе, о своих скитаниях: вот уже неделя, как он бродяжничает, тщетно ищет работы. Вспоминалось, как он работал в железнодорожных мастерских, как дал пощечину начальнику, как его выгнали за это из мастерских, выслали из Лилля, а теперь гонят отовсюду; в субботу пришел в Маршьен — говорили, что там есть работа на железоделательном заводе; но, оказалось, ничего нет — ни там, ни в Сонвиле; воскресенье пришлось провести под навесом тележной мастерской, прячась между штабелями досок: в два часа ночи сторож его прогнал. И вот нет ничего, ни единого су, даже сухой корки хлеба нет. Как же теперь быть? Зачем без толку скитаться по дорогам, даже не зная, где укрыться от ледяного ветра? А это действительно шахта; редкие фонари освещали площадку, где сваливали уголь; внезапно распахнулась дверь, и за нею, при ярком свете, он увидел огненные топки паровых котлов. Теперь ему стало понятно, откуда раздавались странные звуки: с равномерным непрестанным пыхтеньем в шахте работал насос, и казалось, что это дышит притаившееся во тьме чудовище, дышит надсадно, хрипло, с долгими всхлипываниями, словно у него заложило грудь.

Чернорабочий, ссутулясь, сидел у разгрузочного механизма, ни разу не подняв глаз на Этьена, и тот уже собирался уйти, подобрав свой узелок, упавший на землю, как вдруг послышался затяжной кашель,— возвращался возчик. Постепенно из мрака выросла его фигура, за ним брела буланая лошадь, тащившая шесть груженых вагонеток.

— В Монсу есть фабрики? — спросил прохожий.

Старик сплюнул черным и ответил под завыванье ветра:

— В Монсу? Еще бы! Сколько их там! Поглядел бы ты года три-четыре назад. Все так и кипело, не хватало рабочих. Зарабатывали хорошо! Сроду таких заработков не бывало... А теперь вот опять брюхо подводит с голоду. Смотреть жалко, что кругом делается! Увольняют всех подряд, мастерские одна за другой закрываются... Император, может, и не виноват... Да зачем он ввязался в войну в Америке? А к тому же холера людей косит, да и скот тоже мрет.

Тогда и прохожий начал жаловаться, вторя старику короткими фразами, потому что от ветра перехватывало дыханье. Он рассказал о своих бесплодных поисках работы, о скитаниях, длившихся уже неделю. Так что же теперь, с голоду, что ли, подыхать? Скоро на дорогах полно будет нищих. Да, соглашался старик, дело может плохо кончиться: это ведь не по-божески выбрасывать столько народу на улицу.

— Мяса и в глаза не видим.

— Да хоть бы хлеб был!

— Вот именно, хоть бы хлеб!

Голоса их заглушал ветер, уносивший с унылым свистом обрывки фраз.

— Погляди! — выкрикнул возчик, поворачиваясь к югу.— Вон там Монсу...

И, вновь протянув руку, он указывал на невидимые в темноте селения, перечисляя их одно за другим. В Монсу сахарный завод Фовеля еще работает, но на другом сахарном заводе — у Готона — часть рабочих уволили. Только паровая мельница Дютилейля да завод Блеза, где изготовляют канаты для рудников, устояли. Затем старик повернулся к северу и широким жестом обвел полгоризонта: в Сонвиле машиностроительные мастерские не получили двух третей обычных заказов; в Маршьене из трех домен зажгли только две; на стекольном заводе Гажбуа того и гляди рабочие забастуют, потому что им хотят снизить заработную плату.

— Знаю, знаю,— повторял прохожий, выслушивая эти сведения.— Я уже был там.

— У нас тут пока еще держатся,— добавил возчик.— Но все ж таки на шахте дóбычу уменьшили. А вот глядите, прямо перед вами — Виктуар, там только две коксовые батареи горят.

Он сплюнул, перепряг свою сонную лошадь к поезду пустых вагонеток и зашагал позади них.

Этьен пристально смотрел вокруг. По-прежнему все тонуло во мраке, но рука старика возчика словно наполнила тьму великими скорбями обездоленных, и молодой путник безотчетно их чувствовал,— они были повсюду в этой беспредельной шири.

Уж не стоны ли голодных разносит мартовский ветер по этой голой равнине? Как он разбушевался! Как злобно воет, словно грозит, что скоро всему конец: не будет работы, и наступит голод, и много-много людей умрет! Этьен все смотрел, стараясь пронизать взглядом темноту, хотел и боялся увидеть, что́ в ней таится. Все скрывала черная завеса ночи, лишь вдалеке брезжили отсветы над доменными печами и коксовыми батареями. Коксовые подняли вверх чуть наискось десятки своих труб, и над ними блещут красные языки пламени, а две башни доменных печей бросают в небо голубое пламя, словно гигантские факелы. В ту сторону жутко было смотреть,— там как будто полыхало зарево пожара; в небе не было ни единой звезды, лишь эти ночные огни горели на мрачном горизонте — как символ края каменного угля и железной руды.

— Вы, может, из Бельгии? — послышался за спиной Этьена голос возчика, успевшего сделать еще один рейс.

На этот раз он пригнал только три вагонетки. Надо разгрузить хоть эти три: случилось повреждение в клети, подающей уголь на-гора́,— сломалась какая-то гайка; работа остановилась на четверть часа, если не больше. У подножия террикона стало тихо, смолк долгий грохот колес, сотрясавший помост. Слышался только отдаленный стук молота, ударявшего о железо.

— Нет, я с юга,— ответил Этьен.

Рабочий опорожнил вагонетки и сел на землю, радуясь нежданному отдыху; он по-прежнему угрюмо молчал и только вскинул на возчика тусклые выпуклые глаза, словно досадуя на его словоохотливость. Возчик обычно был неразговорчив. Должно быть, незнакомец чем-то ему понравился, и на него нашло желание излить душу,— ведь недаром старики зачастую говорят вслух сами с собой.

— А я из Монсу,— сказал он.— Звать меня Бессмертный.

— Это что ж, прозвище? — удивленно спросил Этьен.

Старик захихикал с довольным видом и, указывая на шахту, ответил:

— Да, да, прозвали так. Меня три раза вытаскивали оттуда еле живого. Один раз обгорел я, в другой раз — землей засыпало при обвале, а в третий — наглотался воды, брюхо раздуло, как у лягушки... И вот как увидели, что я не согласен помирать, меня и прозвали в шутку «Бессмертный».

И он засмеялся еще веселее, но его смех, напоминавший скрип немазаного колеса, перешел в сильнейший приступ кашля. Языки пламени, вырывавшиеся из жаровни, ярко освещали его большую голову с редкими седыми волосами, его бледное, круглое лицо, испещренное синеватыми пятнами. У этого низкорослого человека была непомерно широкая шея, кривые ноги, вы-

пяченные икры и такие длинные руки, что узловатые кисти доходили до колен. А вдобавок он, как и его лошадь, которая спала стоя, как будто не чувствуя северного ветра, тоже был словно каменный и, казалось, не замечал ни холода, ни порывов ветра, свистевшего ему в уши. Когда приступ кашля, раздиравшего ему горло и грудь, кончился, он сплюнул на землю около огня, и на ней осталось черное пятно.

Этьен посмотрел на старика, посмотрел на землю, испещренную черными плевками.

— В копях давно работаете? — спросил он.

Бессмертный развел руками:

— Давно ли? Да сызмальства — восьми лет еще не было, как спустился в шахту,— вот как раз в эту самую, в Ворейскую, а сейчас мне пятьдесят восемь. Ну-ка сосчитайте... Всем перебывал: сперва коногоном, потом откатчиком — когда сил прибавилось, а потом стал забойщиком, восемнадцать лет рубал уголек. Да вот обезножел я, ревматизм одолел, и из-за него, проклятого, меня перевели из забойщиков в ремонтные рабочие, а потом пришлось поднять меня на-горá, а то доктор сказал, что я под землей так навеки и останусь. Ну вот, пять лет назад меня поставили возчиком. Что? Здорово все-таки! Пятьдесят лет на шахте, а из них — сорок пять под землей.

Пока он рассказывал, горящие куски угля, то и дело падавшие из жаровни, багровыми отблесками освещали его бледное лицо.

— Теперь они мне говорят: на покой пора,— продолжал он.— А я не хочу. Нашли тоже дурака!.. Еще два годика протяну — до шестидесяти, значит,— и буду тогда получать пенсию в сто восемьдесят франков. А если сейчас с ними распрощаюсь, они дадут только сто пятьдесят. Ловкачи! И чего гонят? Я еще крепкий, только вот ноги сдали. А все, знаешь ли, из-за воды. Вода меня в забоях поливала восемнадцать лет,— ну и взошла под кожу. Иной день, чуть пошевельнешься, криком кричишь.

И он опять закашлялся.

— Кашель тоже от этого? — спросил Этьен.

Но старик вместо ответа энергично мотал головой. А когда отдышался, сказал:

— Нет. В прошлом месяце простудился. Раньше-то никогда кашля не бывало, а тут, гляди-ка, привязался, никак от него не отвяжешься. И вот чудное дело: харкаю, харкаю...

В горле у него заклокотало, и он опять сплюнул черным.

— Это что же, кровь? — осмелился наконец спросить Этьен.

Бессмертный не спеша вытер рот рукавом.

— Да нет, уголь... В нутро у меня столько угля набилось, что хватит на топку до конца жизни. А ведь уже пять лет под

землей не работаю. Стало быть, раньше припас уголька, а сам про то ничего и не знал. Не беда, с углем крепче буду.

Наступило молчание. Вдали раздавались равномерные удары молота в шахте. На равнине жалобно завывал ветер, и казалось, в беспросветном мраке кто-то стонет от голода и усталости. В жаровне испуганно металось пламя, и старик, стоя возле него, негромко заговорил, вспоминая прошлое. Ну понятно, не со вчерашнего дня он сам и его близкие жилы из себя тут вытягивали. В их роду все работали на Компанию угольных копей в Монсу со дня ее основания, а она ведь существует уже сто шесть лет. Его дед, Гильом Маэ, пятнадцатилетним парнишкой нашел в Рекильяре жирный уголь, там-то Компания и заложила свою первую, теперь уже заброшенную шахту — неподалеку от сахарного завода Фовеля. Всему краю известно, кто открыл этот пласт,— недаром же его назвали Гильомов пласт — по имени деда. Возчик не знал этого деда,— говорят, был рослый, сильный человек, умер своей смертью в шестьдесят лет. Отец, Николá Маэ, по прозвищу Рыжий, до сорока лет не дожил, погиб при проходке Ворейской шахты — произошел обвал, и отца прямо в лепешку сплюснуло; раздробила земля его кости, выпила кровь. Двое из его дядьев и три брата тоже там головы сложили. А сам он, Венсан Маэ, вышел оттуда цел и почти невредим,— только ноги плохо ходят. Не зря его считают счастливчиком. Так оно и шло. Что поделаешь,— надо кормиться, вот и работали в копях, добывали уголь. И отцы и дети — все углекопы. Теперь его сын, Туссен Маэ, и все внуки, и вся родня надрываются. А живут все вон там, в рабочем поселке. Сто шесть лет рубят уголь; после стариков — ребятишки идут, и все работают на одного хозяина. Каково, а? Многие ли господа могут так вот, начистоту, рассказать о прошлом своего рода?

— Да, вот кабы хлеб всегда был! — опять пробормотал Этьен.

— А я что говорю? Пока хлеб есть, жить можно.

Бессмертный умолк и устремил взгляд на поселок, где уже зажигались огоньки. На колокольне в Монсу пробило четыре часа. Холод усилился.

— А богатая она, ваша Компания? — опять заговорил Этьен.

Старик вздернул плечи, потом сгорбился, словно на него обрушились мешки золота.

— Уж это да! Может, и не такая богатая, как соседняя, Анзенская компания, но ворочает миллионами, право слово, миллионами. Деньгам счету нет... Девятнадцать шахт, из них в тринадцати идет работа: Воре́, Виктуар, Кревкер, Миру́, Сен-Тома, Мадлен, Фетри-Кантель и еще другие. Да шесть стволов для откачки и вентиляции. К примеру, Рекильяр... Десять тысяч рабо-

чих. Разработки идут на землях шестидесяти семи коммун. Угля добывают по пяти тысяч тонн в сутки. Все шахты железная дорога соединяет. Да еще у Компании мастерские всякие, фабрики... Уж это да! Уж это да! Денег у нее уйма!

Послышался грохот вагонеток, прокатившихся по настилу, костлявая буланая лошадь насторожила уши. Клеть внизу, как видно, исправили и снова стали подавать на-го́ра пустую породу. Собираясь двинуться в обратный путь, возчик перепрягал лошадь и ласково приговаривал:

— Смотри, лодырь ты эдакий, не приучайся болтать. Влетит тебе, если господин Энбо узнает, на что ты время тратишь!

Вглядываясь в темноту, Этьен задумчиво сказал:

— Так это чья шахта? Господина Энбо?

— Нет, господин Энбо только директор,— объяснил старик.— За плату работает, как и мы.

Нервным жестом Этьен указал на беспредельную темную ширь.

— А чье же это все? Кто тут хозяева?

На возчика в эту минуту напал такой кашель, что он не мог перевести дыхание. Наконец он сплюнул, вытер с губ черную пену и громко сказал, стараясь заглушить усилившийся вой ветра:

— Что говорите? Кто тут хозяева?.. А кто его знает. Люди.

Он протянул руку, словно указывал на некое неведомое и далекое место, где пребывают эти люди, на благо которых уже более столетия вытягивали из себя жилы многие поколения бедняков Маэ. В голосе старика слышался благоговейный страх, будто он говорил о каком-то неприступном святилище, где восседает, поджав под себя ноги, тучное божество, которому углекопы приносили в жертву свою плоть и кровь, но никогда его не видели.

— Хоть бы уж хлеба-то вдоволь было,— в третий раз сказал Этьен, без всякой видимой связи с предыдущим.

— Еще бы! С хлебом и тужить нечего!

Лошадь тронулась; за нею двинулся разбитой походкой возчик, волоча больные ноги. Около рычага для опрокидывания вагонеток, весь съежившись, неподвижно сидел рабочий, уткнувшись подбородком в колени и уставив куда-то в пустоту тусклые выпуклые глаза.

Этьен подобрал узелок с пожитками, но все не уходил. Спина у него мерзла от холодного ветра, а грудь жгло у жаркого огня. А что, если все-таки сходить на шахту, попытать счастья? Откуда старику все знать? Попроситься хоть на черную работу. Теперь уж нечего разбирать. А то куда пойдешь? Ведь в здешних местах нет у людей работы, и все голодают. Сдохнешь где-нибудь под

забором, как бездомный пес. И все же его брало сомнение, страшила эта Ворейская шахта, расположившаяся посреди голой низины, утопавшая во тьме. А ледяной ветер все не стихал,— наоборот, как будто усиливался с каждым порывом, словно несся из беспредельных просторов. Ни малейшего проблеска зари в мертвом небе, только языки пламени над домнами и огни коксовых батарей окрашивали тьму, не освещая того, что таилось в ней. А шахта, распластавшаяся в ложбине, как хищный зверь, припала к земле, и слышалось только ее тяжелое, протяжное сопенье: зверь сожрал так много человеческого мяса, что ему трудно было дышать.

II

Среди пашен и свекловичных полей в густом мраке спал рабочий поселок Двести Сорок. Смутно можно было различить четыре огромных квартала; дома выстроились по обеим сторонам трех параллельных улиц, ровными рядами, как больничные корпуса или солдатские казармы, и отделены были друг от друга одинаковыми садиками. В ночной тишине на этом пустынном плато слышались только жалобные завывания ветра, прорывавшегося сквозь сломанные решетчатые изгороди.

У Маэ,— во втором квартале, в доме № 16,— никто еще не шевелился. В единственной комнате второго этажа стояла темнота, такая черная, плотная темнота, что она казалась жесткой, придавившей спящих своей тяжестью, а чувствовалось, что их много, что сон скосил их, сломленных усталостью, и они спят вповалку, с раскрытым ртом. Воздух был спертый; несмотря на холодную ночь, в комнате, нагретой дыханием людей, было тепло, но душно, как это бывает под утро даже в самых опрятных дортуарах, где тоже застаиваются запахи скученных человеческих тел.

Внизу, на первом этаже, часы с кукушкой пробили четыре. В спальне никто не шелохнулся, слышались тихое посапыванье да звучный храп в два голоса. И вдруг вскочила Катрин. По привычке она сквозь сон сосчитала четыре звонких удара, донесшихся снизу, однако сразу проснуться была не в силах. Наконец, отбросив одеяло, она свесила с кровати ноги, потом нащупала спички и, чиркнув одной, зажгла свечу. Но встать она все не могла — непреодолимо тянуло снова на подушку, и голова, словно свинцом налитая, запрокидывалась назад.

Свеча озаряла только часть спальни, квадратной комнаты в два окна, заставленной тремя кроватями. Кроме кроватей, тут был еще шкаф, стол и два старых стула орехового дерева, тем-

ными пятнами выделявшихся на фоне светло-желтых стен. Вот и вся обстановка. На гвоздях висела старая одежда; для кувшина с водой и глиняной миски, служившей тазом для умывания, место нашлось только на полу. На кровати, стоявшей слева от двери, спал старший брат Захарий, молодой парень двадцати одного года, и средний брат Жанлен, которому еще не исполнилось одиннадцати лет; справа спали, обнявшись, двое малышей — шестилетняя Ленора и четырехлетний Анри; третью кровать занимали две сестры — Катрин и девятилетняя Альзира,— такой заморыш, что старшая сестра не чувствовала бы ее соседства, если бы девочка-калека не толкала ее своим горбом. В отворенную застекленную дверь виден был узкий, как кишка, коридор, выходивший на лестничную площадку,— тут спали родители, приставив к кровати колыбель младшей дочки, трехмесячной Эстеллы.

Катрин делала отчаянные усилия, чтобы проснуться, потягивалась, скребла голову, засунув обе руки в копну рыжеватых волос, растрепавшихся на лбу и на затылке. Слишком худенькая для своих пятнадцати лет, она казалась подростком; узкая длинная рубашка обнажала только ее посиневшие ступни, словно татуированные микроскопическими частицами угля, и хрупкие изящные руки — молочная их белизна резко отличалась от землистого цвета лица, уже испорченного зеленым мылом, которым всегда приходилось мыться; она позевывала, широко открывая довольно большой рот, так что видны были ее великолепные зубы и бледные от малокровия десны; она силилась побороть сон, и на серых ее глазах выступали слезы, лицо приняло выражение скорби и мучительной усталости, казалось, переполнявшей все ее юное тело.

Из коридора донеслось сердитое бормотание отца:

— Ох, черт! Вставать пора... Это ты огонь зажгла, Катрин?

— Да, отец... Только что пробило четыре.

— Пошевеливайся, лентяйка! Поменьше плясала бы вчера, так пораньше бы нас разбудила... А то нá тебе! Каждое воскресенье на танцы! Лодыри!

Он еще что-то проворчал, но уже невнятно, сон снова одолел его, и недовольное ворчанье сменилось громким храпом.

Катрин сновала по комнате в одной рубашке, ступая босыми ногами по холодным плитам пола. Мимоходом набросила на Анри и Ленору соскользнувшее с них одеяло; они ничего не почувствовали,— оба спали глубоким детским сном. Альзира посмотрела вокруг, широко открыв глаза, и молча перекатилась в постели на теплое местечко, нагретое старшей сестрой.

— Вставай же, Захарий! Вставай, Жанлен! — твердила Катрин, стоя у кровати братьев, но они крепко спали, уткнувшись лицом в подушку.

Она принялась трясти старшего за плечо, но он не вставал, только невнятно бранился; тогда Катрин прибегла к решительным мерам и сорвала с братьев одеяло. Они смешно задрыгали ногами, и она захохотала. Захарий наконец приподнялся и сел в постели.

— Вот дура! Отстань! — ворчал он в весьма дурном расположении духа.— Что еще за шутки! Терпеть не могу!.. Эх, жизнь собачья, вставать в этакую рань!

У Захария было тощее нескладное тело, длинное лицо, которое совсем не украшали жиденькие усики, соломенного цвета волосы, анемичная бледность, характерная для всей семьи. Рубашка у него задралась выше живота, он опустил ее — не из стыдливости, а потому, что продрог.

— Уже пробило четыре! — повторила Катрин.— Ну, живо! Отец сердится.

Жанлен, свернувшись клубочком, опять закрыл глаза:

— Убирайся! Спать хочу!

Девушка снова засмеялась веселым, ласковым смехом. Жанлен был такой маленький, щуплый, с огромными, раздутыми от золотухи суставами; сестра схватила его в охапку и подняла; он дрыгал ногами, мотал всклокоченной кудрявой головой, его обезьянье личико с торчащими ушами и узкими зелеными глазками побледнело от злости: как смеют издеваться над его физической слабостью. Не сказав ни слова, он укусил сестру в правую грудь.

— Ах, злая дрянь! — пробормотала Катрин, едва не вскрикнув от боли, и поставила мальчишку на пол.

Альзира не спала, она лежала молча, натянув одеяло до подбородка и умным взглядом рано развившегося ребенка-калеки следила за сестрой и братьями, которые принялись одеваться. Опять у них вспыхнула ссора, на этот раз у глиняной миски, служившей тазом для умыванья,— братья оттолкнули Катрин, найдя, что она слишком долго полощется. Они расхаживали с опухшими от сна глазами, преспокойно облегчались, не стыдясь друг друга, словно выросшие вместе щенки одного помета. Одевались торопливо. Катрин, однако, опередила братьев. Она надела шахтерские штаны, брезентовую куртку, запрятала волосы под синий колпак,— как всегда, к понедельнику все было выстирано, выглажено; в мужской одежде она походила на юношу, и только легкое покачивание бедер выдавало в ней женщину.

— Вот погоди, вернется старик,— зло сказал Захарий,— уж он тебя не поблагодарит. Постель-то не оправлена. Я ему скажу, что ты это нарочно...

Он имел в виду деда: старик Бессмертный работал в ночную смену, а ложился спать утром, так что постель никогда не остывала,— в ней постоянно кто-нибудь спал.

Катрин, не отвечая, принялась застилать постель, подоткнула одеяло под тюфяк.

Уже несколько минут за стеной, в соседней квартире, раздавался шум. Компания угольных копей строила для своих рабочих кирпичные домики весьма экономно, и стены выложили такие тонкие, что сквозь них слышно было каждое слово. Люди в поселке жили бок о бок, и интимная жизнь каждого была всем известна досконально, даже детям. Послышались тяжелые шаги, от которых тряслась лестница, потом глухой звук — кто-то бросился на постель и громко вздохнул от удовольствия.

— Здóрово! — сказала Катрин.— Левак ушел, а к его жене Бутлу подкатился.

Жанлен захихикал, даже у Альзиры весело заблестели глаза. Каждое утро они развлекались, высмеивая соседей за их брак втроем: у забойщика Левака жил на хлебах разборщик Бутлу, и таким образом у жены Левака было два мужа — один ночной, другой дневной.

— Филомена кашляет,— сказала Катрин.

Она говорила о старшей дочери соседей, девятнадцатилетней девушке, любовнице Захария, от которого у нее уже родилось двое детей; она болела чахоткой и была так слаба, что на шахте ее не могли поставить на подземные работы, и она работала на сортировке угля.

— Ну да, Филомена! Как бы не так! — возразил Захарий.— Она еще дрыхнет! Просто свинство спать до шести часов!

Надев штаны, он вдруг вспомнил что-то и быстро отворил окно. Поселок уже просыпался, в предрассветной тьме за решетчатыми ставнями появлялись огоньки. Снова начался спор: Захарий высунулся из окна посмотреть, не выйдет ли из дома Пьеронов, стоявшего напротив, старший штейгер, которого подозревали в любовной связи с женой Пьерона; а Катрин утверждала, что Пьерон всю эту неделю работает уже в дневную смену и, стало быть, Дансар не мог тут заночевать. Ледяной воздух клубами врывался в комнату, спорщики горячились, каждый доказывал, что его сведения самые точные, как вдруг раздался жалобный писк и плач,— малютка Эстелла озябла в своей колыбели. Маэ сразу проснулся. Да что ж это с ним делается? Подумайте, уснул опять, словно бездельник какой! И он так сердито кричал и бранился, что в соседней комнате стало тихо. Захарий и Жанлен умылись; по их вялым, медлительным движениям видно было, что они уже с утра чувствуют усталость. Альзира по-прежнему молчала, следя широко открытыми глазами за всем, что творилось вокруг. Два малыша, Ленора и Анри, невзирая на шум, поднявшийся в доме, спали сладким сном, обхватив друг друга ручонками, и тихонько посапывали.

— Катрин, дай свечку! — крикнул Маэ.

Застегнув последние пуговицы куртки, девушка отнесла свечу в закуток, где спали родители, предоставив братьям разыскивать свою одежду при слабом свете, падавшем из двери. Отец соскочил с постели. Осторожно ступая в толстых шерстяных чулках, Катрин ощупью спустилась в нижнюю комнату, чтобы сварить на плите кофе, и зажгла там другую свечу. Под буфетом стояли в ряд деревянные башмаки.

— Да замолчи ты, поганка! — крикнул Маэ, раздраженный неумолчными воплями Эстеллы.

Туссен Маэ был невысокого роста, как и отец, да и лицом походил на старика Бессмертного, только сложения был более крепкого; такая же, как у отца, крупная голова, круглое бледное лицо и такой же соломенно-желтый цвет коротко остриженных волос. Ребенок расплакался еще сильнее, испугавшись взмахов больших жилистых рук.

— Оставь ее, ты ведь знаешь, она все равно не уймется,— сказала мать, вытягиваясь на середине постели.

Она тоже проснулась и жаловалась, что ей никогда не дают выспаться. Вот бессовестные! Шумят, орут! Не могут потихоньку собраться и уйти. Она закуталась в одеяло, видно было только ее продолговатое лицо с крупными чертами, все еще красивое грубоватой красотой; в тридцать девять лет она уже поблекла — виной тому были нищенская жизнь и рождение семерых детей. Устремив взгляд в потолок, она вела невеселую беседу с мужем, пока тот одевался. И оба не замечали, что крошка Эстелла зашлась от крика.

— Слушай, у меня ни гроша, а ведь нынче только еще понедельник, до получки шесть дней... Как жить дальше будем? Вы все вместе приносите домой девять франков. Разве можно на эти деньги кормиться две недели? Ведь дома-то десять ртов.

— Постой, почему же девять франков? — возразил Маэ.— Я и Захарий — по три франка, вдвоем, значит, шесть. Катрин и отец по два франка, вдвоем — четыре. Четыре да шесть — десять. Да Жанлен один франк,— стало быть, всего одиннадцать франков.

— Верно, одиннадцать. А воскресенья? А те дни, когда у вас простой? Больше девяти франков на круг никогда не приходится.

Маэ не ответил, отыскивая упавший на пол кожаный пояс. Потом, выпрямившись, сказал:

— Нам жаловаться нечего, я как-никак еще крепок здоровьем. А разве мало забойщиков в мои годы переводят в ремонтные рабочие?

— Может, оно и так, а хлеба у нас от того не прибавляется... Ну, как мне вывернуться, скажи? У тебя нисколько нет?

— Два су найдется.

— Оставь их себе, выпьешь кружку пива... Боже ты мой, как мне вывернуться? Шесть дней! Будто целый год! В лавку Мегра мы должны шестьдесят франков. Он меня позавчера выставил за дверь. Я, понятно, все равно опять к нему пойду. А что, если он заупрямится и не даст ничего?..

И все так же угрюмо, с каменным лицом, лишь щурясь иногда от дрожащего, унылого пламени свечи, жена Маэ продолжала свои сетования. Она говорила, что в буфете у них пусто, а малыши просят «хлебушка с маслом», и кофе нет, а если пустую воду пьешь,— от здешней воды рези в животе делаются. Долго дни тянутся, когда нечего есть, кроме вареной капусты. Ей приходилось говорить все громче — Эстелла заглушала своим визгом слова матери. Вопли эти стали просто нестерпимыми. Маэ как будто внезапно услышал их и, выхватив малютку из колыбели, бросил матери на кровать, раздраженно пробормотав:

— На, возьми, а не то я ее пристукну! Вот чертова девчонка! Живет себе, спит, сосет сколько хочет, а жалуется громче всех.

Эстелла и в самом деле принялась сосать. Укрытая одеялом, согревшись в теплой постели, она утихла и только жадно чмокала.

— А господа из Пиолены не говорили, чтобы ты зашла к ним? — спросил Маэ после минутного молчания.

Мать прикусила губу и с унылом видом ответила:

— Говорили. Они со мной встретились, когда приходили в поселок,— бедным детям одежду принесли. Нынче я сведу к ним Ленору и Анри. Хоть бы дали нам пять франков!

Опять настало молчание. Маэ уже оделся. Он постоял, задумавшись, потом сказал глухим голосом:

— Ну, что я могу сделать? Так вот получилось. Устраивайся как-нибудь с кормежкой... Словами горю не поможешь. Лучше уж на работу идти.

— Ну, конечно,— ответила жена.— Задуй-ка свечу, я и без света знаю, какие у меня черные думки.

Маэ задул свечу. Захарий и Жанлен уже спускались по лестнице; вслед за ними сошел вниз и отец; ступени поскрипывали под их тяжелыми шагами, хотя у всех троих на ногах были только толстые шерстяные чулки. Спальня и коридор наверху снова погрузились в темноту. Малыши спали, даже у Альзиры сомкнулись веки. Но мать лежала во мраке с открытыми глазами, малютка Эстелла, прильнув к ее опавшей груди, мурлыкала, как котенок.

А внизу Катрин прежде всего развела огонь в чугунной печке с решеткой посредине и двумя конфорками по бокам,— в этом очаге непрерывно горел каменный уголь. Компания выдавала каждой семье восемь гектолитров «угольной мелочи», собранной

на рельсовых путях. Разжечь ее бывало трудно, и Катрин каждый вечер прикрывала золой тлеющий огонь, так что утром нужно было только поворошить жар и подбросить в него кусочки старательно отобранного мягкого угля. Поставив на плиту кофейник, она отворила дверцы буфета и, присев на корточки, заглянула в него.

Комната, довольно большая, занимала весь нижний этаж; стены были выкрашены в салатный цвет, пол из каменных плит старательно вымыт и посыпан белым песком. Все содержалось с чисто фламандской опрятностью. Обстановка состояла из соснового полированного буфета, стола и стульев того же дерева. На светлых голых стенах резко выделялись яркие лубочные картинки: бесплатно раздававшиеся Компанией портреты императора и императрицы, бравые солдаты и блистающие золотом святые; кроме розовой картонной коробки, стоявшей на буфете, да стенных часов с кукушкой и размалеванным циферблатом, никаких украшений не было; громкое тиканье часов, казалось, поднималось к потолку. Около двери на лестницу была еще одна дверь, которая вела в подвал. Несмотря на опрятность, царившую тут, теплый воздух был пропитан запахом жареного лука, застоявшимся со вчерашнего дня, и едким запахом перегоревшего каменного угля.

Сидя на корточках перед буфетом, Катрин размышляла. Осталась лишь краюха хлеба, творогу достаточно, а масла чуть-чуть, бутерброды же надо сделать на четверых. Наконец она нашла выход: разрезать хлеб на ломти, на один ломоть надо положить творогу, другой слегка помазать маслом, потом два эти ломтя сложить вместе — получится «брусок», то есть двойной бутерброд,— такие бутерброды они каждое утро брали с собою на работу. Вскоре на столе уже лежали в ряд четыре бутерброда, выкроенные со строгой справедливостью: самый большой — отцу, самый маленький — Жанлену.

Катрин, казалось, всецело была поглощена хозяйственными заботами, однако не забывала, что ей рассказывал Захарий о похождениях штейгера Дансара и жены Пьерона, и, приоткрыв дверь, выглянула на улицу. Ветер свирепствовал по-прежнему; в окнах низких домиков все больше зажигалось огней, по всему поселку проносился смутный гул пробуждения. Отворялись и захлопывались двери, в сумраке уходили вдаль вереницы черных фигур. Да что это она, глупая, мерзнет тут! Пьерон, наверно, преспокойно спит, ему заступать на работу в шесть часов. И все же она не отходила от порога, смотрела на тот дом, что стоял за их палисадником. Отворилась дверь, у Катрин разгорелось любопытство. Да нет,— это Лидия, дочка Пьерона, пошла на шахту.

В комнате что-то зашипело. Катрин испуганно обернулась и, притворив дверь, бросилась к очагу: вода вскипела и выплескивалась из котелка, заливая огонь. Кофе в доме кончился, пришлось заварить кипятком вчерашнюю гущу; затем Катрин подсластила эту бурду, положив в кофейник немного сахарного песку. Тут как раз сошли вниз отец и оба брата.

— Ну и кофеек! — возмутился Захарий, отхлебнув из своей кружки.— От такого пойла бессонницей маяться не будешь.

Маэ с покорным видом пожал плечами.

— Ничего! Горяченького попьем, и то ладно.

Жанлен подобрал все крошки от бутербродов и кинул их в свою кружку с кофе.

Напившись кофе, Катрин разлила остатки по жестяным флягам. Стоя у стола, все четверо торопливо ели при тусклом свете коптившей свечи.

— Скоро вы наконец? — заворчал отец.— Некогда прохлаждаться, не богачи мы с вами.

Из лестничной клетки, дверь которой оставили открытой, послышался голос матери,— она крикнула им:

— Хлеб-то весь берите. Для детей у меня есть немного вермишели.

— Хорошо, хорошо,— ответила Катрин.

Она прикрыла золой жар в очаге, поставила на конфорку кастрюлю с остатками супа, чтобы дед, возвратившись в седьмом часу утра, поел горячего. Каждый взял из-под буфета свою пару деревянных башмаков, перекинул через плечо бечевку, на которой висела фляга, засунул бутерброд под куртку так, чтоб он лежал за спиной. И все вышли из дому,— мужчины впереди, Катрин позади них; уходя, она погасила свечу и заперла дверь на ключ.

— Здоро́во! В компании, значит, пойдем,— раздался в темноте мужской голос, и обладатель его, заперев дверь соседнего дома, зашагал вместе с ними.

Это вышел Левак и с ним его сын Бебер — парнишка двенадцати лет, большой приятель Жанлена. Катрин удивленно и, едва не фыркая от смеха, зашептала на ухо Захарию:

— Это что же? Бутлу, значит, теперь и не дожидается, когда Левак уйдет?

Меж тем в поселке гасли огни. Кто-то хлопнул напоследок дверью. И вновь все стихло. Женщины и малые дети уснули: в постелях им стало теперь просторнее. И по дороге от поселка, погрузившегося во тьму, до громко дышавшей шахты двигались черные тени — то шли на работу углекопы; сгибаясь под порывами ветра, они шагали враскачку, ежась от холода, засовывали руки в карманы или под мышки; у каждого на спине горбом вы-

пячивался взятый из дому «брусок». Все мерзли в жиденькой одежде, дрожали от холода, но никто не прибавлял шагу. Шествие растянулось вдоль дороги. Слышался дробный топот, будто гнали по мостовой стадо.

III

Этьен наконец спустился с террикона и вошел в ворота шахты; люди, у которых он спрашивал, не найдется ли для него работы, покачивали головами и советовали подождать старшего штейгера. Никто его не останавливал, он свободно бродил среди слабо освещенных бараков, обходя какие-то черные ямы, вызывавшие невольное беспокойство, и удивляясь запутанному расположению странных построек в несколько ярусов; поднявшись по темной полуразрушенной лестнице, он очутился на шатком мостике, потом прошел через сортировочную, где стояла такая тьма, что он шел, вытянув вперед руки, боясь на что-нибудь наткнуться. Вдруг перед ним во мраке загорелись два огромных желтых глаза. Он оказался под самым копром, на приемной площадке, около ствола шахты.

Как раз в эту минуту к будке приемщика направлялся штейгер, дядя Ришом, толстяк с физиономией благодушного жандарма, перечеркнутой седыми усами.

— Не требуется ли здесь человек? На любую работу согласен,— сказал Этьен.

Ришом хотел было сказать: «Нет, не требуется»,— но передумал и мимоходом ответил:

— Подождите старшего штейгера, господина Дансара.

Четыре ярких фонаря с рефлекторами, направляя сноп света на ствол шахты, ярко освещали железные перила, рычаги сигналов и задвижки, брусья проводников, по которым скользили две клети. Вся остальная часть помещения, просторного и высокого, как собор, тонула в полумраке, где колыхались большие расплывчатые тени. Только в глубине сверкала огнями ламповая, а в будке приемщика одинокой угасающей звездой мерцала тусклая лампочка. Начали уже выдавать уголь на-гора́; с непрерывным грохотом катились по чугунным плитам груженые вагонетки, их толкали стволовые, низко наклоняясь и вытягивая спину; в полумраке двигались, мелькали и стучали какие-то черные предметы.

Этьен на мгновенье остановился, растерявшись от оглушительного шума и ослепительного света. Ему было холодно: отовсюду дули сквозняки. Потом он прошел немного дальше, заметив блеск стальных и медных частей паровой машины. Она на-

ходилась метрах в двадцати пяти от ствола шахты, в еще более высоком помещении, и так прочно, так плотно сидела на кирпичном фундаменте, что, хоть и была пущена на полную мощность в четыреста лошадиных сил, не ощущалось ни малейшей вибрации стен; непрестанно поднимаясь и опускаясь, ровно и плавно двигался огромный шатун.

Машинист, стоявший у пускового рычага, прислушивался к сигнальным звонкам, не сводя глаз с доски указателей, где ствол шахты со всеми ее горизонтами был изображен в виде вертикального желобка, по которому двигались на веревочках свинцовые грузила, изображавшие клети. И лишь только подъемник пускали в ход, два огромных барабана в пять метров радиусом, на которые наматывались, а в противоположном направлении разматывались два стальных троса, вращались с такой быстротой, что казались столбами серой пыли.

— Берегись! — крикнули рабочие, втроем тащившие высокую лестницу.

Этьена чуть не раздавило. Постепенно его глаза привыкли к полумраку. Посмотрев вверх, он увидел, как бегут тросы: более тридцати метров стальной ленты взлетали к самой верхушке копра, проходили там через шкивы и падали отвесно в ствол шахты, где двигались клети, висевшие на этих тросах. Шкивы держались на мощных стропилах, похожих на переплеты балок в церковной колокольне. Тросы скользили, как птицы, бесшумно, мягко, без малейшего толчка,— быстро, непрерывно бежал тяжелейший стальной канат, который мог поднимать груз в двенадцать тысяч килограммов со скоростью до десяти метров в секунду.

— Берегись, растяпа! — опять закричали рабочие, перетаскивавшие лестницу на другую сторону, чтобы осмотреть левый шкив.

Этьен медленно побрел обратно, в приемочную. У него закружилась голова от непрерывного полета гигантского троса, проносившегося над его головой, ушам было больно от грохота вагонеток. Дрожа от холода на сквозняке, он смотрел, как двигаются клети. Возле ствола шахты действовал сигнал, тяжелый молоток с рычагом, ударявший о чугунную болванку, когда снизу дергали веревку. Один удар — остановка клети, два удара — спуск, три удара — подъем; сигналы раздавались беспрестанно: казалось, перекрывая гул и грохот, тяжелой палицей бил великан, и при каждом ударе пронзительно звенел звонок; рукоятчик, направлявший клеть, еще подбавляя шуму, выкрикивал в рупор приказания машинисту. В грохоте и суматохе бесшумно взлетали и ныряли вниз клети, разгружались и вновь заполнялись. Этьен смотрел и не мог разобраться в этом сложном маневрировании.

Понятно ему было только одно: шахта за раз проглатывала по двадцать, по тридцать человек, проглатывала так легко, будто и не чувствовала, как они проскальзывают в ее пасть. Спуск начался с четырех часов утра. Рабочие выходили из раздевальни босые, с лампами в руках и, стоя кучками, поджидали, когда наберется достаточно людей. Скользя неслышно, словно ночной зверь, из мрака поднималась железная клеть и останавливалась, утвердившись на упорах, показывая все свои четыре яруса,— в каждом из них стояли по две груженные углем вагонетки.

Стволовые, стоя на площадках у каждого яруса, выкатывали груженые вагонетки, вкатывали на их место пустые или заранее нагруженные крепежным лесом. В пустые вагонетки садились рабочие, в каждую по пять человек,— в клеть набивалось по сорок человек, если все ее отделения бывали заполнены. Подавался в рупор приказ, звучавший как невнятное мычание, четыре раза дергали веревку, тянувшуюся вниз, предупреждая о погрузке «говядины» — новой партии человеческого мяса.

Легонько подпрыгнув, клеть бесшумно ныряла и камнем летела вниз, оставляя за собою единственный след — вибрирующее скольжение стального троса.

— Глубоко там? — спросил Этьен углекопа, который стоял возле него и с сонным видом ждал своей очереди.

— Пятьсот пятьдесят четыре метра,— ответил тот.— Но при спуске четыре горизонта, до первого — триста двадцать метров.

Оба умолкли, устремив глаза на трос, бежавший вниз. Этьен спросил:

— А если трос оборвется?

— Ну, если оборвется!..

И, не договорив, углекоп выразил свою мысль жестом. Пришла его очередь; клеть выплыла вверх плавно, без усилий. Углекоп сел на корточки в вагонетку вместе с товарищами, клеть опустилась вниз, а через четыре минуты опять взлетела вверх и поглотила новую партию. В течение получаса ствол шахты, то с большей, то с меньшей быстротой, в зависимости от глубины горизонта, но безостановочно, с неослабевающей жадностью проглатывал людей, стремясь набить исполинскую утробу шахты, способную пожрать целый народ. Ее наполняли, наполняли, а мрак все оставался мертвым, и клеть поднималась из пустоты все с той же немой алчностью.

Постепенно к Этьену подкралось чувство отчаяния, которое он испытал на терриконе. К чему упорствовать? Главный штейгер откажет ему так же, как и другие. Смутный страх погнал его прочь, он вышел из приемочной и остановился только у котельной. В широко открытую дверь видны были семь паровых котлов с двумя топками. Кочегар, окутанный белой дымкой пара, со сви-

стом вырывавшегося из трубок, кидал уголь в одну из топок; ее пылающая пасть дышала таким жаром, что он чувствовался даже у порога. Обрадовавшись случаю погреться, Этьен хотел подойти поближе, но навстречу ему попалась новая кучка углекопов, спешивших к началу смены,— семейство Маэ и Леваки. Увидев доброе мальчишеское лицо Катрин, которая шла впереди этой группы, Этьен вдруг решил в последний раз попытать счастья:

— Скажите, товарищ, не нужен ли тут человек? Я бы на любую работу пошел.

Катрин посмотрела на него, удивленная и несколько испуганная этим окликом, внезапно раздавшимся из темноты. Но отец, шагавший вслед за нею, услышал вопрос и, остановившись, ответил Этьену, что на шахте рабочих не требуется. Горемыка, скитавшийся по дорогам в поисках работы, вызвал в нем сочувствие. Отойдя от него, Маэ заметил:

— Вот ведь как! И с нами такая же беда могла бы стрястись. Значит, нам жаловаться нечего. Не у всех, да, не у всех есть работа!

Маэ и его артель сразу же направились в раздевальню — просторный барак, где по стенам шли запиравшиеся на замок шкафчики для одежды. Посредине стояла докрасна накалившаяся чугунная печка без дверцы, до того набитая углем, что горевшие куски его, лопаясь с треском, выпадали на глинобитный пол. Иного освещения, кроме света от жаровни, в бараке не было; багряные отблески огня плясали на грязных деревянных стенах и на потолке, покрытом черной угольной пылью.

Когда артель Маэ вошла в жарко натопленный барак, там гремел оглушительный хохот. Человек тридцать рабочих стояли у печки, спиной к огню, и с удовольствием грелись. Перед спуском все старались хорошенько «прожариться» и захватить с собою запас тепла, в защиту от сырости, царящей в шахте. В то утро у печки было необыкновенно весело: углекопы потешались над Мукеттой — незлобивой восемнадцатилетней откатчицей, такой грудастой и широкобедрой, что ее шахтерские штаны и куртка чуть не трещали по швам; она жила в Рекильяре вместе с отцом, старым конюхом Муком, и братом Муке, рукоятчиком, но все трое работали в разные смены; Мукетта ходила на шахту одна и летом в хлебах, а зимою где-нибудь на задворках развлекалась с любовником, заводя каждую неделю нового. Все шахтеры перебывали в этой роли, но перемены обходились по-приятельски, без всяких драм. Однажды Мукетту укорили, зачем она взяла себе возлюбленного с гвоздильного завода, и она пришла в ярость, кричала, что она себя уважает и готова дать руку на отсечение, что никто не докажет, будто она изменила углекопам и перекинулась к другим.

— Так, значит, долговязому Шавалю ты отставку дала? — говорил один из шахтеров.— Взяла теперь карапуза? Да ведь ему придется лестницу подставлять. Я вас видел за Рекильяром. Ей-богу, он на тумбу взобрался, чтобы до тебя дотянуться.

— Ну и что? — ответила Мукетта в самом веселом расположении духа.— Какое твое дело? Ведь тебя в толкачи не позвали?

Ее благодушная грубость вызвала новый взрыв смеха. Мужчины, греясь у печки, гоготали так, что у них ходуном ходили плечи. Мукетта и сама тряслась от хохота, прохаживаясь среди них в непристойной при ее толщине мужской одежде, обтягивавшей возбуждающие и комически пышные формы, раздувшиеся до уродства.

Но вдруг веселые шутки смолкли. Мукетта рассказала Маэ, что Флоранса, высокая откатчица Флоранса, не пришла и больше уж никогда не придет: вчера ее нашли мертвой на постели; одни говорят — разрыв сердца, а другие — что опилась можжевеловой водкой, выпила одним духом целый литр. Маэ жаловался: опять не повезло, артель лишилась одной из своих откатчиц, а ведь сразу-то ее не заменишь. Артель работала сдельно: четыре забойщика — он сам, Захарий, Левак и Шаваль; если откатывать станет только Катрин, выработка будет меньше. Вдруг он воскликнул:

— Погодите-ка, а тот человек, что искал работы?

Как раз мимо дверей проходил Дансар. Маэ рассказал ему о случившемся и попросил разрешения нанять откатчика; он упирал на желание Компании брать на откатку угля мужчин вместо женщин, как на Анзенских копях.

Старший штейгер сперва усмехнулся, намерение убрать женщин с подземных работ обычно вызывало негодование углекопов: для них важно было пристроить своих дочерей на работу, а вопросы морали и гигиены их не слишком беспокоили. Поколебавшись, штейгер все-таки дал разрешение, с оговоркой, что представит его на утверждение инженера Негреля.

— Пойди-ка поищи этого парня: его и след простыл,— заявил Захарий.

— Нет,— возразила Катрин.— Я видела, он остановился у котельной.

— Так ступай приведи его, лентяйка! — крикнул Маэ.

Девушка побежала, а в это время толпа шахтеров направилась в приемочную, уступив место у печки другим. Жанлен, не дожидаясь отца, пошел за лампой вместе с Бебером, толстым, простодушным подростком, и Лидией, худенькой десятилетней дочкой Пьерона. Мукетта, поднимавшаяся по темной лестнице впереди них, вскрикивала, ругала их чертенятами и грозила надавать им затрещин, если они не перестанут ее щипать.

Этьен действительно был в котельной и разговаривал с кочегаром, шуровавшим уголь в топках. От одной мысли, что придется опять выйти на холод, в темноту, его мороз по коже подирал. Все же он решил было отправиться дальше, как вдруг кто-то тронул его за плечо.

— Пойдемте,— сказала Катрин.— Кое-что для вас нашлось.

Этьен сперва не понял. Потом в порыве радости крепко пожал девушке обе руки.

— Спасибо, товарищ!.. Вот славный малый!

Катрин, смеясь, разглядывала его при багряном свете, падавшем на них из пылающих топок. Этой тоненькой, хрупкой девушке, запрятавшей косы под синий колпак, было смешно, что ее принимают за молодого парня. Этьен же смеялся от радости, и так они с минуту стояли друг против друга и хохотали, раскрасневшись от жары.

В раздевальне Маэ, присев у своего шкафчика, снимал с ног деревянные башмаки и толстые шерстяные чулки. Пришел Этьен, и они обо всем договорились в двух словах: плата тридцать су в день, работа тяжелая, но можно скоро научиться и продвинуться. Забойщик посоветовал новому откатчику не снимать башмаков и дал ему старую «баретку» — кожаную шляпу для защиты головы, хотя сам Маэ и его дети пренебрегали этой предосторожностью. Вынули из шкафчика инструменты,— среди них была и лопатка Флорансы. Когда заперли в шкаф башмаки и чулки, а заодно и узелок Этьена, Туссен Маэ вдруг вышел из себя:

— Да куда девался этот дурень Шаваль? Опять, поди, путается с какой-нибудь девкой! А мы и так нынче на полчаса опоздали.

Захарий и Левак продолжали спокойно греться у печки. Наконец Захарий сказал:

— Ты Шаваля ждешь? Да он раньше нас пришел и уже спустился.

— Чего же ты молчал до сих пор?.. Ну пошли, пошли! Живо!

Катрин еще немного погрела руки у печки, потом побежала вдогонку за своими. Этьен пропустил ее вперед и пошел вслед за нею. Вновь ему пришлось совершить целое путешествие по лабиринтам лестниц и темных коридоров, где босые ноги шлепали по доскам, словно были обуты в старые домашние туфли. Но вот засверкала ламповая — застекленная комната, загроможденная стойками, на которых выстроились в несколько этажей шахтерские лампочки Дэви, осмотренные и вычищенные накануне, горевшие плотными рядами, как свечи в церкви на торжественных похоронах. Каждый подходил к окошечку, получал лампу, на которой был выбит его номер, и, осмотрев ее сам, закрывал предохранительную сетку, а отметчик вписывал в реестр время спуска. Маэ

попросил лампу для нового откатчика. Затем шахтеры подвергались, осторожности ради, еще одной проверке: они гуськом подходили к контролеру, и тот смотрел, хорошо ли у каждого закрыта ламповая сетка.

— Ой, холод собачий! — пробормотала Катрин, дрожа всем телом.

Этьен молча кивнул головой. Они уже стояли у ствола шахты, посреди просторной приемочной, по которой гуляли сквозняки. Этьен считал себя смелым человеком, и все же у него щемило сердце от какого-то неприятного волнения среди этого грохота вагонеток, резких ударов сигнального молотка, гулкого воя рупоров, безостановочного мельканья стальных тросов, которые пролетали в воздухе, разматывались, наматывались на барабаны подъемной машины. Клети возносились вверх, спускались, скользя неслышно, как хищные звери, хватающие людей во мраке ночи, и черная пасть шахты как будто проглатывала добычу. Подходила очередь и Этьена. Его пробирала дрожь, он замер в напряженном молчании. Захарий и Левак насмехались над ним,— обоим не нравилось, что наняли какого-то незнакомого парня; особенно недоволен был Левак, обижаясь, что Маэ не посоветовался с ним. Катрин, наоборот, радовалась, что отец внимателен к новичку и все ему объясняет.

— Вот поглядите,— над клетью виден предохранитель — он не даст ей упасть: если тросы оборвутся, стальные крючья тогда вопьются в проводники. Приспособление, конечно, хорошее. Действует! Но не всегда помогает... А вот еще поглядите — пролет ствола разделен дощатыми перегородками на три части: посредине ходят клети, слева устроены запасные лестницы...

И, прервав пояснения, он заворчал, не осмеливаясь, однако, очень повышать голос:

— Да чего мы тут торчим? Дьявольщина какая! Зря людей морозят!

Вместе с ними поджидал спуска и штейгер Ришом в кожаной шляпе, с прикрепленной к ней шахтерской лампой без сетки. Он услышал недовольное ворчанье забойщика.

— Осторожнее! Кругом уши! — сказал он вполголоса отеческим тоном, как бывший углекоп, по-прежнему желающий добра товарищам.— Надо по порядку дело делать... Ну вот и нам подали карету. Залезайте всей артелью.

В самом деле, клеть, защищенная полосами листового железа и железной мелкой сеткой, уже ждала их, осев на упоры. Маэ, Захарий, Левак и Катрин живо забрались в вагонетку, стоявшую в глубине клети, а так как в каждой вагонетке полагалось ехать пятерым, в нее сел и Этьен; но удобные места были заняты, ему пришлось сесть скорчившись возле Катрин, и ее локоть упирался

ему в живот. Лампа мешала Этьену, ему посоветовали прицепить ее к петлице куртки. Не расслышав совета, он по-прежнему держал ее неловко в руке. В верхний и нижний этаж клети тоже набивались люди, шла суматоха, словно грузили скот. Ну, все готово. Можно спускаться. Чего же стоят? Этьену ожидание казалось бесконечным. Но вот — внезапный толчок, клеть дрогнула и понеслась вниз. У Этьена сжалось сердце, засосало под ложечкой от жуткого чувства — он падал в пропасть. Так было, пока он проносился на свету через два яруса приемочной и вокруг кружились и убегали вверх толстые балки. Потом клеть полетела в черную тьму, и ошеломленный Этьен больше не отдавал себе отчета в своих ощущениях.

— Ну, поехали! — спокойно и добродушно сказал Маэ.

Все чувствовали себя непринужденно. А Этьен мгновениями сам не знал, поднимается он или спускается. Когда клеть неслась совершенно прямо, не касаясь проводников, ему чудилось, что она не двигается, а затем вдруг ее толкало, встряхивало, она как будто плясала между балками, и Этьен все ждал катастрофы. К тому же он не мог различить стенки ствола, как ни вглядывался в темноту, приникнув лицом к решетке клети. Шахтерские лампы плохо освещали фигуры людей, сгрудившихся около него. И только лампа штейгера, без защитной сетки, сияла в соседней вагонетке, как фонарь маяка.

— Шахтный ствол в поперечнике имеет четыре метра,— продолжал Маэ просвещать Этьена.— Сруб надо бы отремонтировать, а то со всех сторон вода сочится... Вот сейчас мы на уровне капежа. Слышите?

Этьен как раз задался вопросом, что за странный шум, похожий на плеск дождя, слышится в темноте. По крыше клети застучали крупные капли, как будто пошел проливной дождь, и в самом деле начался ливень, он становился все сильнее, сильнее — настоящий потоп! Должно быть, крыша клети прохудилась,— струя воды лилась Этьену на плечо, и вскоре он промок до нитки. Холод стал ледяной, клеть неслась в сырой тьме; на мгновенье засверкал свет, промелькнули какие-то видения: вот показалась пещера, в ней при блеске молнии суетятся люди. И снова клеть несется куда-то в бездну.

Маэ сказал:

— Это первый горизонт. Глубина триста двадцать метров. Поглядите, как быстро опускаемся.— Подняв лампу, он осветил брусья проводников, бежавшие, как рельсы, под колесами поезда, который мчится на всех парах, а за этими балками не видно было ничего. Промелькнули в мгновенном свете еще три горизонта. И снова мрак и оглушительный шум проливного дождя.

— Глубоко-то как! — пробормотал Этьен.

Падение в пропасть, казалось ему, длится долгие часы. Он сидел в очень неудобной позе, не смея шевельнуться, а тут еще локоть Катрин больно вонзился ему в бок. Она не произносила ни слова, он только чувствовал ее близость, теплота ее плеч согревала его. Когда клеть остановилась наконец на дне ствола, Этьен страшно удивился, узнав, что спуск занял всего одну минуту. От стука вставших на место упоров, от ощущения твердой почвы под ногами ему вдруг стало очень весело, и он шутливо спросил Катрин:

— Отчего это ты такой горячий? А локтем ты мне дырку провертел, честное слово!

Скажите пожалуйста, все еще за парня ее принимает! И Катрин тоже развеселилась. Вот дурень! Ослеп он, что ли?

— Да тебе, наверно, моим локтем не бок, а глаза продырявило,— ответила она. И Этьен не мог понять, почему все кругом хохочут.

Клеть опустела. Рабочие прошли через рудничный двор — большую галерею, высеченную в твердой породе; ее сводчатая кровля была укреплена каменной кладкой, тут ярко горели большие лампы без предохранительной сетки. По чугунным плитам пола стволовые торопливо катили полные вагонетки угля. От стен тянуло запахом сырого погреба, селитры, но в холодном, промозглом воздухе проносились струи тепла из соседней конюшни. Отсюда открывались зиявшие пролеты четырех горных выработок.

— Вон туда,— сказал Маэ Этьену.— Не думайте, нам еще добрых два километра идти.

Рабочие расходились группами в разные стороны, исчезали в глубине черных нор. Человек пятнадцать свернули налево, Этьен шел последним, позади Маэ; впереди двигались Катрин, Захарий и Левак. То был превосходный квершлаг для откатки, проложенный в такой твердой породе, что его лишь кое-где потребовалось укрепить каменной кладкой. Люди двигались вереницей, все шли молча; в темноте чуть светились огоньки шахтерских ламп. Этьен с непривычки спотыкался на каждом шагу, ушибал ноги о рельсы. Его беспокоил какой-то странный шум, похожий на громыхание отдаленной грозы, шум этот все возрастал и как будто доносился из недр земли. Может быть, это грохот обвала и сейчас на людей обрушится вся толща земли, отрезавшая их от сияния солнца. Вдруг бледный свет пронизал густую тьму. Этьен почувствовал, как дрожит почва под его ногами, и когда он, по примеру товарищей, прижался к стене, мимо них прошла большая белая лошадь, тащившая целый поезд из вагонеток. На первой, держа в руках вожжи, сидел Бебер, а за последней, ухватившись обеими руками за борт, бежал Жанлен, быстро перебирая босыми ногами.

Потом двинулись дальше. Дошли до перекрестка, от которого отходили два штрека, и тут группа вновь разделилась: рабочие постепенно разбрелись по всем выработкам горизонта. Теперь откаточный штрек местами одевала сплошная дощатая обшивка, дубовые столбы подпирали кровлю, поддерживая неустойчивые стенки выработки настоящим частоколом, сквозь который виднелись пласты сланца с блестками слюды и корявые тусклые глыбы песчаника. То и дело навстречу друг другу, громыхая, двигались поезда из порожних или груженых вагонеток и исчезали в темноте, вслед за смутно видневшимся силуэтом лошади, трусившей мелкой рысцой.

На разминовке дремал на запасном пути поезд, вытянувшись черной змеей; фыркала запряженная в него вороная лошадь, ее круп, едва заметный во тьме, казался глыбой, упавшей с каменного свода. Хлопали, отворяясь, а затем медленно затворялись вентиляционные двери. Чем дальше, тем у́же и ниже становился штрек и все более неровной делалась кровля; людям все время приходилось нагибаться.

Этьен так сильно ударился головой о камень, что, не будь на нем кожаной шляпы, раскроил бы себе череп. А ведь он внимательно следил за движениями Маэ, который шел впереди, выделяясь при свете лампочек черным силуэтом. Ни один из рабочих не ушибался,— должно быть, они знали тут каждый бугорок, каждый сучок в стойках и все выступы породы. Этьен мучился еще и от того, что скользко было идти по мокрой, расползавшейся под ногами почве выработки. Иной раз приходилось перебираться через настоящие лужи, о которых давали знать только фонтаны грязных брызг, взлетавших из-под ног. Но его особенно удивляли внезапные изменения температуры. У подошвы ствола было очень прохладно, в главном квершлаге, по которому шла и основная струя воздуха вентиляции, дул ледяной ветер, достигавший силы урагана в узких каменных коридорах. А когда шли в боковых штреках, получавших лишь полагавшуюся им долю вентиляционной струи, ветер спадал, и воцарялась удушливая, тяжелая, гнетущая жара.

Маэ больше не открывал рта. Он свернул направо, в новую выработку и, не оборачиваясь, бросил Этьену:

— Гильомов пласт.

На этом пласте и находился их забой. С первых же шагов Этьен ушиб себе голову и локти. Покатая кровля нависла так низко, что метров двадцать — тридцать пришлось идти, пригнувшись к самой земле. Вода доходила до щиколоток. Так прошли двести метров, и вдруг Левак, Захарий и Катрин исчезли, словно улетучились сквозь узкую расщелину, открывшуюся в стене.

— Тут подниматься надо,— сказал Маэ.— Прицепите лампу к петле куртки и хватайтесь руками за стойки крепления.

И он исчез в расщелине. Этьен двинулся вслед за ним. Щель, рассекавшая пласт, предназначалась для прохода углекопов и соединяла все промежуточные штреки. Ширина ее, соответствовавшая толщине угольного пласта, едва достигала шестидесяти сантиметров. По счастью, Этьен был худощав, да и то по своей неловкости он, карабкаясь вверх, затрачивал слишком много мускульной энергии, старался сделаться плоским, как лист бумаги, и, хватаясь за стойки, подтягивался на руках. Метров на пятнадцать выше оказался первый промежуточный штрек, но пришлось пробираться еще выше — к забою Маэ и его товарищей вел шестой штрек, проложенный, как они говорили, в самом аду; и так, через каждые пятнадцать метров расположены были один над другим штреки; конца не было этому медленному, мучительному подъему. Этьен ушибался, ударяясь то спиной, то грудью, натужно хрипел, словно каменные недра шахты сдавили ему все тело, у него саднило руки, подкашивались ноги, а главное, ему не хватало воздуху, он задыхался и чувствовал, что вот-вот у него хлынет носом кровь. В одном из штреков он смутно различил в полумраке двух пещерных зверюг — одну большую, другую маленькую, которые, согнувшись, толкали вагонетки,— то были Лидия и Мукетта, уже принявшиеся за работу. А ему нужно было карабкаться еще выше, миновать еще два штрека! Пот затекал в глаза, слепил его, Этьен терял надежду догнать остальных, слыша, как они ловко скользят по камню в узкой щели.

— Смелей! Добрались! — раздался голос Катрин.

Но когда они и в самом деле добрались, из забоя раздался сердитый голос:

— Вы что же? Смеетесь над людьми? Мне из Монсу два километра отмахать надо, а я тут первым оказался!

Это ворчал Шаваль, долговязый парень лет двадцати пяти, худой, костлявый, с крупными чертами лица. Заметив Этьена, он спросил с презрительным удивлением:

— А это еще кто такой?

Маэ рассказал о случившемся, и Шаваль процедил сквозь зубы:

— Вот оно как! Стало быть, нынче парни у девок хлеб отбивают!

Этьен и Шаваль обменялись взглядом, полным инстинктивной, внезапно вспыхнувшей ненависти. Этьен почувствовал оскорбление, еще не поняв смысла слов. Наступило молчание: все принялись за дело. Разработки постепенно наполнились людьми, началась добыча на каждом горизонте, на каждом уступе, в конце каждого штрека, в каждом забое. Шахта поглотила ежедневную

порцию людей — около семисот углекопов, и теперь они трудились в этом гигантском муравейнике, дырявили землю со всех сторон, сверлили ее, как черви точат старое дерево. И среди тягостного молчания, среди гнетущей тишины, царящей в глубоких недрах земли, можно было бы, прильнув ухом к каменной стене какой-нибудь выработки, услышать шорох, движение этих людей-насекомых, скольжение стальных тросов, что поднимали и спускали клеть, и удары инструментов, вырубавших уголь в глубоких забоях.

Повернувшись, Этьен снова нечаянно прижался к Катрин. На этот раз он почувствовал округлость девичьей груди и сразу понял, почему его так пронизывало тепло, исходившее от нее.

— Так ты, значит, девушка? — растерянно пробормотал он.

И, нисколько не смущаясь, Катрин весело ответила:

— Ну да!.. Не скоро же ты догадался!

IV

Четыре углекопа, вытянувшись один над другим во всю высоту забоя, работали обушками. Между ними укреплены были доски с крючьями, удерживавшими отбитые куски угля; каждый из забойщиков занимал по четыре метра пласта, а пласт в этом месте был тонкий — сантиметров пятьдесят, и забойщиков как будто сплюснуло между кровлей и подошвой пласта, они передвигались ползком; стоило чуть-чуть повернуться, и они ушибали себе плечи. Отбивать уголь они могли только лежа на боку, изогнув шею, подняв руки и наискось ударяя обушком с короткой рукояткой.

Внизу находился Захарий, выше примостились Левак и Шаваль, а на самом верху работал Маэ. Каждый подрубал уголь снизу, отделяя его от сланцевой подошвы, потом делал в пласте две вертикальных борозды и отсекал глыбу, вбивая в верхнюю часть пласта стальной клин. Уголь был жирный, глыба раскалывалась, и куски угля скатывались по животу и ногам забойщика. Когда эти куски, сдерживаемые дощатой загородкой, скоплялись грудой, забойщики исчезали за ней, словно замурованные в узкой щели.

Тяжелее всех приходилось Маэ. Вверху температура доходила до тридцати пяти градусов, не чувствовалось никакого движения воздуха. Нечем было дышать. Маэ повесил лампу на гвоздь около самой головы, чтобы было светлее, и от этой лампы, нагревавшей ему темя, кровь приливала к мозгу. Пытку увеличивала сырость. В нескольких сантиметрах от его лица с кровли забоя сочилась вода; стекавшие по камню крупные капли падали равномерно, быстро, упорно, и все на одно и то же место. Как он ни поворачивал шею, как ни запрокидывал голову, капли падали ему на

лицо, расплывались, хлюпали без перерыва. Через четверть часа Маэ весь промок, да еще обливался потом, и от него шел пар, как от бака с горячей водой, приготовленной для стирки. В то утро капли усердно долбили ему лоб над правой бровью. Маэ в ярости ругался. Ему не хотелось прерывать работу, и он бил обушком изо всех сил, так что от ударов сотрясалось все его тело, стиснутое двумя пластами породы,— он напоминал жучка, зажатого между страницами толстой книги, которая вот-вот захлопнется и расплющит его насмерть.

Никто не произносил ни слова. Все рубили уголь: слышны были только неровные, вперебой, удары, глухие, словно доносившиеся издали. В застоявшемся воздухе звуки теряли четкость, не отдавались эхом. А мрак был небывалой, густой черноты от разлетавшейся во все стороны угольной пыли, тяжкий мрак, насыщенный газами, щипавшими глаза. Шахтерские лампы, прикрытые металлической сеткой, светились красноватыми пятнышками. Ничего нельзя было различить. Низкий забой с косой кровлей походил на дымоход, в котором за десять зим скопился слой черной сажи. В этой впадине двигались призрачные фигуры, скупые огоньки выхватывали из темноты то округлые очертания бедра, то жилистую руку, напряженное лицо, вымазанное черным, словно у разбойника, собравшегося на грабеж. Порой выделялись глянцевые глыбы угля,— их плоскости, грани внезапно загорались кристаллическим блеском. И снова все тонуло во мраке; тишину нарушали только сильные, глухие удары обушков, только тяжкое прерывистое дыхание, невнятное бормотанье людей, изнемогавших от мучительных усилий, от неудобного положения тела, от духоты и подземного дождя.

У Захария руки были словно ватные после вчерашней выпивки, он вскоре прервал работу под тем предлогом, что необходимо заняться креплением; это позволило ему присесть и, забыв обо всем на свете, насладиться минутной передышкой, насвистывая и устремив глаза в темноту. Позади забойщиков на протяжении трех метров уголь из пласта уже был выбран, а они еще не укрепили кровлю, нисколько не думая об опасности и не желая тратить время на эту работу.

— Эй ты, барин! — крикнул Захарий новичку.— Подавай-ка мне стойки.

Этьен, учившийся у Катрин работать лопатой, понес в забой стойки. Со вчерашнего дня остался небольшой запас крепежного леса. Каждое утро в шахту спускали готовые дубовые столбы, по размеру соответствующие толщине угольного пласта.

— Поживей ты, размазня! — крикнул Захарий, видя, как новый откатчик неловко взбирается по грудам угля и тащит четыре дубовых подпорки.

Сделав обушком одну зарубку в кровле, а другую в стене забоя, Захарий вставлял в них концы стойки, которая и подпирала таким образом породу. Во второй половине дня разборщики сгребали куски пустой породы, оставленные забойщиками в глубине хода, и закладывали ими выработанное пространство пласта, засыпая и поставленное там крепление, но всегда оставляли свободными верхний и нижний ходы для откатки угля.

Маэ перестал ворчать и ухать,— он наконец отбил глыбу угля. Утирая мокрое лицо рукавом куртки, он тревожно спрашивал, чего ради забрался наверх Захарий, что он собирается там делать?

— Да оставь ты! — сказал он сыну.— После завтрака посмотрим. Сейчас надо на вырубку налечь. А то не выдадим свое число вагонеток.

— Да ведь оседает,— ответил ему сын.— Погляди — оседает! Вон какая трещина. Как бы не завалило!..

Но отец только пожал плечами. Выдумал тоже — завалит! А если даже и завалит! Что им, в первый раз, что ли? Как-нибудь справятся.

В конце концов Маэ рассердился и велел сыну работать в забое.

Впрочем, и у всех дело не спорилось. Левак лежал на спине и, ругаясь, рассматривал ссадину на большом пальце левой руки, с которого упавшим камнем сорвало лоскут кожи. Шаваль в сердцах сдернул с себя рубашку, надеясь, что работать голым до пояса будет не так жарко. Все уже были черны от мелкой угольной пыли, смешанной с обильным потом, который струился ручьями, растекался лужицами. Первым возобновил работу Маэ, врубаясь в пласт еще ниже прежнего, держа голову у самой его подошвы. Капля воды, падавшая сверху, упорно ударяла ему в лоб, и Маэ казалось, что она продолбит ему череп.

— Не обращай внимания,— сказала Этьену Катрин.— Они всегда орут.

И она услужливо продолжала обучать Этьена. Каждую нагруженную вагонетку подавали на-гора́ в том виде, как ее отправляли из забоя, пометив своим жетоном для того, чтобы приемщик зачислил ее на счет артели. Поэтому нагружать следовало тщательно, брать чистый уголь, иначе вагонетку браковали.

Глаза Этьена привыкли к полумраку, он вглядывался в малокровное и еще не испачканное углем бледное личико Катрин и не мог решить, сколько ей лет. По виду — лет двенадцать: уж очень маленькая, хрупкая. Однако он чувствовал, что она гораздо старше — столько в ней было мальчишеской дерзости и наивного бесстыдства, которое его порядком смущало; она ему не нравилась, ему казалось слишком детским ее бледное, как у Пьерро, лицо под плотно надвинутым на виски колпаком. И его удивляло, что у этой

девочки столько нервной силы и ловкости; она наполняла свою вагонетку гораздо скорее, чем Этьен, быстро и равномерно подхватывая уголь лопатой, затем ровно и плавно катила вагонетку до наклонной выработки — бремсберга, ни разу не зацепившись, пробиралась под низко нависшей кровлей; он же то и дело ушибался, вагонетка сходила у него с рельсов, и он не умел исправить беду.

В самом деле, путь был не из удобных. От забоя до бремсберга было метров шестьдесят, и в этом штреке, который проходчики еще не успели расширить, узком, как щель, кровля нависала неровными выступами, под ногами торчали бугры; груженая вагонетка местами едва могла пройти, откатчику приходилось проталкивать ее, ползти на коленях, согнувшись в три погибели, чтобы не раскроить себе голову. Вдобавок крепи уже сдавали, раскалывались. На самой середине иных стоек, словно в непрочных, подломившихся костылях, виднелись длинные белесые полосы. Надо было двигаться осторожно, чтобы не исцарапаться об острые щепки, торчавшие из этих изломов; от давления каменной породы толстые дубовые стойки постепенно сгибались, и люди, пробираясь ползком, томились глухой тревогой: а вдруг все сейчас рухнет и глыба песчаника перебьет им спинной хребет.

— Опять? — смеясь, воскликнула Катрин.

В самом трудном проходе у Этьена сошла с рельсов вагонетка. Ему все не удавалось катить ее прямо: рельсы не плотно лежали на мокрой земле; он ругался, злобно сражаясь с непослушной вагонеткой, но, несмотря на все усилия, никак не мог поставить колеса на место.

— Подожди ты! — сказала девушка.— Будешь злиться, дело не пойдет.

Она юркнула под заднюю стенку вагонетки, нагнувшись, подставила спину, напряглась и, приподняв вагонетку, поставила колеса на рельсы. Груз весил семьсот килограммов.

Удивленный, смущенный Этьен бормотал извинения. Катрин показала ему, как надо расставлять ноги и, сгибая колени, упираться ступнями в стойки, вбитые по обе стороны штрека, как надо согнуться и вытянуться и, толкая вагонетку, напрягать все мышцы рук, спины и ног. Во время одного из перегонов он шел за нею следом, наблюдая, как она трусит, сгибаясь под прямым углом и так низко опустив руки, что казалось, она бежит на четвереньках; она напоминала тогда одного из тех дрессированных зверьков, которых показывают в цирке. Она обливалась потом, тяжело дышала, у нее хрустели суставы, но она не проронила ни единого слова жалобы, перенося все с привычным равнодушием, словно жить в подземной тьме и, согнувшись, толкать вагонетку было всеобщей горькой участью. А Этьену ничего не удавалось; ему мешали башмаки, у него ломило все тело, ему трудно было шагать,

низко опустив голову. Через несколько минут спина начинала мучительно ныть; и, не выдержав пытки, он опускался на колени, чтобы выпрямиться и передохнуть.

А когда добирались до бремсберга, начинались новые мученья. Катрин научила Этьена спускать вагонетку, прицепив ее к тросу. В верхнем и в нижнем конце бремсберга, который имелся в каждом горизонте и служил для откатки угля из всех забоев, находились двое рабочих: вверху — тормозной, внизу — приемщик. Эти двенадцати- пятнадцатилетние озорники для развлеченья перекликались, угощая друг друга ужасающей бранью; откатчицам приходилось выкрикивать еще более крепкие ругательства, чтобы предупредить их о своем прибытии. Приемщик подавал сигнал, откатчица прицепляла свою нагруженную вагонетку, та своей тяжестью натягивала трос и съезжала вниз, а наверх по скату подымалась пустая вагонетка, как только тормозной отпускал тормоз. Внизу, в главном откаточном штреке, из вагонеток составлялся поезд, который лошадь тянула до рудничного двора.

— Эй вы, черти сонные! — крикнула Катрин, очутившись в бремсберге, длиною в сто метров и целиком обшитом досками,— в этом узком коридоре голос звучал, как в гигантском рупоре.

Ответа не было — мальчишки, должно быть, заснули. Во всех лавах движение вагонеток остановилось. Послышался тоненький голосок какой-то девочки:

— Наверняка один уже с Мукеттой валяется!

Раздался громовый хохот; откатчицы со всего горизонта хохотали, хватаясь за бока.

— Кто это? — спросил Этьен.

Оказалось, что голосок принадлежал Лидии, бесстыжей худенькой девчонке, катившей вагонетки своими кукольными лапками не хуже взрослой женщины. Что касается Мукетты, она была способна дурить с обоими мальчишками разом.

Вдруг снизу раздался голос приемщика: «Прицепляй!» Вероятно, там проходил штейгер. Во всех девяти промежуточных штреках возобновилась откатка; слышались только равномерные окрики приемщиков и тяжелое дыхание откатчиц, от которых на подъеме к бремсбергу шел пар, как от лошади, когда она тянет тяжелый воз. В шахте пронеслось веяние животной чувственности, грубого желания, охватывавшего углекопов, когда они встречали одну из откатчиц, толкавших вагонетки чуть ли не на четвереньках, в непристойной позе, ибо мужской костюм, обтягивавший их бедра, чуть не лопался по швам.

И после каждой откатки Этьен возвращался к забою, где в жаре и духоте раздавался неровный стук обушков и тяжелое уханье забойщиков, не прекращавших работу. Уже все четверо скинули рубашки и словно сливались с угольным пластом, до макуш-

ки перемазавшись мокрой черной грязью. Один раз пришлось откапывать Маэ, задохнувшегося под грудой вырубленного угля; для этого выдернули доски, чтобы уголь скатился в штрек. Захарий и Левак злились, что уголь «невмоготу крепок», как они говорили, и из-за этого «как есть ничего не заработаешь». Шаваль, перевернувшись на спину, принялся издеваться над Этьеном, присутствие которого явно раздражало его.

— Эх ты, червяк! Силы меньше, чем у девчонки! Вагонетку нагрузить и то не умеет! Что, мозоли на руках боишься набить? Вот погоди, сукин сын, вычту у тебя десять су, если по твоей милости у нас хоть одну вагонетку забракуют.

Этьен не решался отвечать: он был до того рад даже этой каторжной работе, что смиренно принимал грубую иерархию, установленную между чернорабочим и мастером. Но он совсем выбился из сил: ноги у него были стерты в кровь, руки сводила судорога, грудь будто сжимали тиски. К счастью, уже было десять часов, артель решилась сделать передышку и позавтракать.

У Маэ были часы, но смотреть на них ему и не требовалось. В этой подземной беззвездной ночи он узнавал время, не ошибаясь даже на пять минут. Все надели рубашки и куртки. Потом спустились из забоя и присели на корточки, прижав локти к бедрам,— эта поза так привычна для шахтеров, что зачастую они принимают ее и вне шахты и преспокойно сидят, не нуждаясь ни в камне, ни в бревне. Каждый вытащил свой «брусок», и все сосредоточенно принялись откусывать от толстого ломтя, изредка перекидываясь замечаниями по поводу проделанной за утро работы. Катрин постояла среди них и направилась к Этьену,— он полулежал на земле, вытянув ноги поперек рельсов и прислонившись спиною к деревянной стойке. В том месте было почти сухо.

— Ты что же не ешь? — спросила Катрин, откусив от своей горбушки.

И тут она вспомнила, что парень целую ночь брел по дорогам без гроша в кармане и, может быть, без куска хлеба.

— Хочешь, поделюсь с тобой?

Этьен отказывался, уверяя, что ему совсем не хочется есть, хотя от голода у него сосало под ложечкой и дрожал голос. И тогда Катрин весело сказала:

— А-а, брезгуешь?.. Погоди, я откусила с этого конца, а тебе отломлю с другого.

Она разломила горбушку пополам. Этьен принял свою долю и едва удержался, чтобы не съесть ее всю сразу.

Опасаясь, как бы девушка не увидела, что у него трясутся руки, он положил их на бедра. Спокойно, как добрый товарищ, Катрин легла возле него ничком и, подперев одной рукой голову, в другой держала хлеб, от которого не спеша откусывала понемно-

гу. На земле между ними стояли лампочки, бросавшие на них свет.

Катрин с минуту молча смотрела на Этьена. Должно быть, ей нравились его тонкие черты и черные усики. Она по-детски усмехнулась от удовольствия.

— Так ты, значит, механик, и тебя с дороги прогнали? За что?

— За то, что дал начальнику оплеуху.

Она была ошеломлена, потрясена непостижимой для нее дерзостью такого поступка,— это противоречило унаследованным ею взглядам о необходимости беспрекословного подчинения начальству.

— Надо тебе сказать, я тогда выпил. А я, как выпью, будто сумасшедший делаюсь: и себя и других могу искалечить. Да... Стоит мне выпить две рюмки, две маленьких рюмочки, меня так и подмывает лезть в драку... Так бы и пристукнул кого-нибудь. А после выпивки я два дня больной.

— Так ты не пей,— серьезно сказала Катрин.

— Ну, понятно... Не бойся, я свой характер знаю.

И Этьен замотал головой. Он ненавидел водку, как только может ее ненавидеть потомок многих поколений пьяниц, человек, у которого наследственность, полученная от предков, пропитанных и сведенных с ума алкоголем, явилась для организма таким тлетворным началом, что малейшая капля спиртного становится для него ядом.

— Главное, вот из-за матери досадно, что выставили меня,— сказал он, прожевав кусок.— Матери плохо живется, ну я ей койкогда и посылал деньжат.

— А где твоя мать живет?

— В Париже, на улице Гут-д'Ор. Прачкой работает.

Наступило молчание. Когда Этьен думал обо всем этом, его черные глаза сразу тускнели, красивого и здорового юношу охватывали растерянность и страх перед неведомым злом, которое он носил в себе. Секунду он сидел, устремив взгляд в темноту, и здесь, в недрах земли, в гнетущей духоте, ему вспомнилось детство, вспомнилось, как его мать, такую еще миловидную и энергичную женщину, бросил его отец, как потом вернулся к ней, когда она уже вышла за другого; и она жила меж двух этих мужчин, которые терзали ее, и вместе с ними скатилась в грязь, в помойную яму пьянства и разврата. Сколько пришлось ему тогда пережить! Крепко запомнилась ему эта улица и некоторые подробности: груды грязного белья в прачечной, попойки, отравлявшие весь дом зловонием винного перегара, скандалы, драки и пощечины, которыми чуть не сворачивали человеку скулы.

— Ну, а теперь,— произнес он жалобно,— по тридцать су в

день заработаю, не из чего будет посылать матери. Умрет она в нищете. Наверняка умрет!..

С выражением безнадежности передернув плечами, он откусил хлеба и молча стал жевать.

— Хочешь пить? — спросила Катрин, вытаскивая из фляги пробку.— Не бойся, от кофе вреда не будет... А всухомятку есть — подавишься...

Этьен отказался,— довольно и того, что он съел половину ее завтрака. Это ведь прямо бессовестно. Но Катрин настаивала, уговаривала от всего сердца и в конце концов сказала:

— Ну ладно, я попью первая, раз ты такой вежливый... И теперь ты не можешь отказаться. А не то я обижусь.

Приподнявшись на колени, она протянула ему флягу. Этьен увидел девушку совсем близко от себя при свете двух шахтерских ламп. Почему она сперва показалась ему некрасивой? Теперь, перемазанная, запачканная угольной пылью, она приобрела какую-то странную прелесть. На юном лице, возникшем из темноты, смеялся большой рот, сверкали белые зубы, большие зеленоватые глаза блестели, как у кошки. Пряди рыжеватых волос, выбившиеся из-под колпака, щекотали девичье ухо, и это ее смешило. Она больше не казалась девочкой. «Лет четырнадцать ей как-никак есть»,— подумал он.

— Ну, чтобы доставить тебе удовольствие, давай сюда,— согласился Этьен и, отпив из горлышка, вернул ей флягу.

Она сделала второй глоток, заставила и его отпить еще раз, чтобы поделить поровну, как она говорила, и их забавляло, что узкое горлышко фляги переходит то в ее, то в его рот. Он уже подумывал, не схватить ли девушку в объятия да не поцеловать ли в губы? Его все больше искушали эти полные бледно-розовые губы, оттененные углем. Но он не решался, робея перед нею, ведь в Лилле он знал только продажных женщин самого низкого пошиба, а вот как подступиться к работнице, да еще живущей в своей семье?

— Тебе сколько лет? Четырнадцать есть? — спросил он.

Катрин удивилась и чуть не вспылила:

— То есть как четырнадцать? Мне уж пятнадцать!.. Правда, я худышка. У нас девушки не быстро растут.

Этьен продолжал свои расспросы. Она отвечала без всякого цинизма и без стыдливого смущения. Но хоть в отношениях между мужчиной и женщиной для нее, по-видимому, не было тайн, он чувствовал, что она невинна и что ее физическое развитие задерживается из-за того, что она вечно дышит спертым воздухом и надрывается на тяжелой работе. Когда он вспомнил историю с Мукеттой, желая смутить Катрин, девушка спокойно и весело принялась рассказывать ему анекдоты о непристойнейших проделках

откатчицы. Да, Мукетта откалывает штучки, только держись! Этьен попытался узнать, есть ли возлюбленный у самой Катрин,— она шутливо ответила, что пока не хочет огорчать мать, но ведь это неизбежно и рано или поздно непременно случится. Она ежилась и слегка дрожала от холода в мокрой от пота одежде; когда она говорила об этой неизбежности, у нее было смиренное и кроткое выражение лица, словно она приготовилась терпеть и тяжкий труд, и подчинение мужчине.

— Возлюбленных сколько хочешь найдется, когда все вместе живут, верно?

— Понятно.

— И ведь никому от этого худа не бывает... Священнику на духу тоже можно не каяться.

— Священнику каяться? Подумаешь... очень нужно. А только вот Черного Человека надо остерегаться.

— Что это за Черный Человек?

— Старик углекоп. Бродит по шахте, и которая девушка согрешит, он ей шею свернет.

Этьен в недоумении смотрел на нее, думая, что она смеется над ним.

— Да неужели ты веришь такой чепухе? Ты, должно быть, не училась?

— Нет, как же... училась. Я грамотная. И читать и писать умею... От этого нам польза... А вот отца и мать в детстве ничему не учили, да и других тоже.

Просто прелесть какая девчонка! Вот он доест хлеб и тогда обязательно обнимет ее и поцелует в губы, в ее пухлые розовые губы. Приняв такое решение, робкий парень почувствовал себя чуть ли не насильником, от волнения у него перехватило горло. Мужская одежда, облегавшая девичью фигуру, возбуждала и смущала его. Вот он прожевал последний кусок, отпил глоток кофе и передал флягу Катрин — ее очередь допить все до дна. Ну, пора действовать. Этьен настороженно посмотрел на забойщиков — не увидят ли они, как вдруг чья-то тень выросла у входа в штрек.

Шаваль уже несколько секунд молча смотрел на них издали. Затем подошел, удостоверился, что Маэ не может его видеть, наклонился над Катрин, сидевшей на земле, схватил ее за плечи, запрокинул ей голову и со спокойной наглостью впился поцелуем в ее губы, делая вид, что не обращает на Этьена никакого внимания. В этом поцелуе было утверждение своего права и ревнивая решимость.

Однако девушка возмутилась.

— Оставь меня, слышишь!

Шаваль поднял ей голову, заглянул в глаза. Рыжие усы и бо-

родка казались огненными на его черном от угля горбоносом лице. Наконец он выпустил ее и пошел прочь.

Этьена кинуло в дрожь. До чего было глупо ждать! Теперь поцеловать ее невозможно,— она, пожалуй, подумает, что ему просто не хочется отставать от этого парня. Самолюбие его было уязвлено, он пришел в искреннее отчаяние.

— Ты зачем солгала? — спросил он вполголоса.— Ведь он твой любовник?

— Да нет же! Клянусь тебе! — крикнула она.— Ничего такого нет между нами. Иной раз просто подурим, только и всего... Да он и не здешний. Полгода, поди, не больше, как приехал из Па-де-Кале.

Оба поднялись, пора было приниматься за работу. Внезапная холодность Этьена явно огорчила Катрин. Вероятно, она считала, что он красивее Шаваля и, может быть, предпочла бы его долговязому забойщику. Ей очень хотелось утешить, обласкать его. Она увидела, с каким удивлением Этьен смотрит на свою лампу, заметив, что пламя стало голубым и окружено бледной каймой, и попробовала развлечь его.

— Пойдем, я что-то покажу тебе,— сказала она с приветливым, товарищеским видом.

Она привела его в глубину лавы и показала трещину в угольном пласте. Оттуда вырывалось легкое бульканье и посвистывание, похожее на щебетание птицы.

— Приложи руку... Чувствуешь ветерок?.. Это гремучий газ выходит.

Он застыл от изумления. Так это вот и есть тот самый ужасный газ, от которого может все взорваться? Катрин, смеясь, сказала, что нынче много газа вышло, раз пламя в лампах стало голубым.

— Скоро вы кончите болтать, лодыри? — раздался сердитый окрик Маэ.

Катрин и Этьен принялись торопливо нагружать вагонетку, потом стали толкать ее к бремсбергу, напрягая спину, чуть ли не ползком пробираясь под бугристой кровлей штрека. Уже со второго перегона они обливались потом, и снова у них хрустели суставы.

Возобновили свою работу и забойщики. Они нередко сокращали время завтрака, чтобы не охлаждаться; и толстые ломти хлеба, с жадностью поглощенные в недрах земли, вдали от света, теперь камнем лежали в желудках. Вытянувшись на боку, люди изо всех сил били обушком, одержимые одной-единственной мыслью — выдать на-гора́ как можно больше угля. Ожесточенная, тяжкая борьба за скудный заработок все заслоняла. Они не чувствовали, что кругом струится вода, что от сырости у них пухнут ноги, что все тело сводит судорога — в таком неудобном положе-

нии приходится работать; не замечали духоты и мрака, из-за которых они чахли, словно растения, вынесенные в подвал. Проходил один час за другим, и чем дальше, тем более спертым становился воздух,— от жара, от копоти шахтерских ламп, от дыхания людей, от удушливой пелены рудничного газа, словно паутиной заволакивающего глаза́; только ночью вентиляция проветривала подземные ходы, а теперь, в глубине кротовых нор, прорытых в толще каменных недр, задыхаясь, все в поту, стекавшем по разгоряченной груди, углекопы били и били обушками.

V

Наконец Маэ, не посмотрев на часы, оставленные в кармане куртки, остановился и сказал:

— Скоро час... Захарий, готово у тебя?

Захарий ставил подпорки. Но, занявшись этим делом, вдруг все бросил и застыл, лежа на спине и уставясь глазами в одну точку: он замечтался, вспоминая, как играл вчера в кегли и сколько раз выиграл. Очнувшись, он ответил отцу:

— Кончил. Нынче сойдет! А завтра посмотрим.— И, вернувшись, занял в забое свое место. Левак и Шаваль тоже отложили обушки. Надо было передохнуть. Каждый отер мокрое лицо голой рукой, поглядывая на каменную кровлю, в которой расслаивались пласты сланца. Говорили они только о своей работе.

— Вот уж не везет так не везет! — заметил Шаваль.— Наткнулись на неустойчивую породу! А ведь при расчете про это и не подумают.

— Мошенники! — ворчал Левак.— Только и ждут, как бы нас надуть.

Захарий засмеялся: наплевать ему на работу и на все прочее, но приятно слышать, как ругают Компанию. Миролюбивый Маэ стал объяснять, что порода в шахте меняется через каждые двадцать метров. Надо судить по справедливости, разве можно все предусмотреть? Видя, что Левак и Шаваль не утихомирились и громко возмущаются начальством, он встревожился и сказал, беспокойно озираясь:

— Молчите! Будет вам!

— Правильно! — добавил Левак, тоже понижая голос.— А то влипнем.

Даже здесь, на этой глубине, всех преследовала мысль о доносчиках, словно у пластов угля, составлявших собственность Акционерной компании, были уши.

— Все равно,— вызывающе сказал Шаваль.— Пусть только этот боров Дансар посмеет еще разговаривать со мной, как в

прошлый раз, я ему покажу... Будет помнить... Я тебе, мол, не мешаю блудить с толстомясыми беленькими бабенками, так и не ругайся...

Захарий прыснул от смеха. Роман старшего штейгера с женой Пьерона постоянно был предметом шуток всей шахты. Внизу, у забоя, засмеялась и Катрин, опираясь на рукоятку лопаты, и коротко объяснила Этьену, о чем идет речь. Маэ рассердился и уже не скрывал своего страха перед начальством.

— Ну ты, помолчи-ка лучше!.. Хочешь беду накликать, так по крайности подожди, когда один останешься.

Не успел он договорить, как в верхнем штреке послышались чьи-то шаги. И почти тотчас же появился в сопровождении старшего штейгера Дансара инженер шахты, прозванный рабочими коротыш Негрель.

— Говорил я тебе! — пробормотал Маэ.— Всегда они тут как тут, прямо из-под земли выскакивают.

Первым показался Поль Негрель, племянник директора, молодой человек двадцати шести лет, стройный, кудрявый брюнет с черными усиками. Острый нос и быстрые глаза придавали ему сходство с любопытным ручным хорьком; умный взгляд его искрился насмешкой, но сразу становился пронзительным и властным, когда Негрель разговаривал с рабочими. Одевался молодой инженер для работы так же, как они, и так же был перепачкан углем и, чтобы внушить им уважение, выказывал отчаянную храбрость, забирался в самые опасные закоулки, всегда был первым на месте обвала или при взрыве гремучего газа.

— Ну как, Дансар, пришли? — спросил он.

Старший штейгер, широколицый бельгиец с крупным мясистым носом сластолюбца, ответил с преувеличенной почтительностью:

— Пришли, господин Негрель... А вот тот человек, которого наняли утром.

Начальники прошли в забой и велели Этьену подойти. Инженер поднял лампу и пристально всматривался в него, не задавая никаких вопросов.

— Ну хорошо,— сказал он наконец.— Но помните, я не люблю, когда берут всяких прохожих. Чтоб этого больше не было!

Объяснений он не стал слушать. Дансар принялся докладывать: необходимо было нанять человека, и ведь высказано пожелание заменять, по возможности, женщин-откатчиц мужчинами. Не обращая на него внимания, Негрель осматривал кровлю, а забойщики тем временем принялись рубить уголь. Вдруг инженер воскликнул:

— Послушайте, Маэ, вы что, плюете на наши приказы? Ведь вас тут всех прихлопнет, черт бы вас драл!

— Да нет, крепко держится,— спокойно ответил углекоп.

— То есть как это «крепко»? Кровля оседает, а у вас тут стоек кот наплакал — одна от другой в двух метрах! Вы бы хоть ненадолго перестали рубить уголь да занялись вовремя креплением, но вы предпочитаете, чтоб вам башку размозжило. Извольте немедленно поставить стойки. Старые укрепить и новых добавить. Слышите?

Углекопы, недовольные распоряжением, вступили в спор, доказывая, что им лучше знать, соблюдены ли правила безопасности, и тогда Негрель вспылил:

— Ах, вот как? А когда вас задавит, кто будет отвечать? Вы? Нет, Компании придется платить пенсии вам или вашим вдовам... Повторяю, ваши повадки мне известны: ради двух лишних вагонеток угля вы готовы сдохнуть.

Не давая воли накопившемуся в душе негодованию, Маэ сказал степенно:

— Платили бы нам как следует, мы бы и крепление ставили лучше.

Инженер, не отвечая, пожал плечами. Спустившись в штрек, он крикнул снизу:

— Вам остается еще час работать. Принимайтесь все за крепление. И предупреждаю: артель будет оштрафована на три франка.

Слова эти были встречены глухим ропотом. Углекопов сдерживала только сила дисциплины, той военной дисциплины, которая подчиняла младших по чину старшим — от коногона до главного штейгера. Однако Шаваль и Левак злобно взмахивали кулаком, хотя Маэ и старался их утихомирить взглядом. Захарий насмешливо пожимал плечами. Но, пожалуй, больше всех взволновался Этьен. С тех пор как он очутился на дне этого ада, в нем нарастало глухое возмущение. Он смотрел на Катрин, она стояла, смиренно опустив голову. Ах, как же это возможно! Люди надрываются на такой тяжелой работе в этом могильном мраке и не могут заработать даже на хлеб насущный! Тем временем Негрель отходил все дальше в сопровождении Дансара, который почтительно выслушивал суждения начальника и только молча кивал головой. Вскоре снова громко раздались их голоса: оба остановились в штреке, осматривая крепление, которое артель обязана была поддерживать на протяжении десяти метров от своего забоя.

— Говорю вам, что они плюют на наши распоряжения! — кричал инженер.— А вы, черт бы вас взял, за ними не следите. Почему?

— Да как же не слежу? Все время вдалбливаешь им правила, просто охрипнешь.

Негрель позвал сердито:

— Маэ! Маэ!

Все спустились к штреку. Негрель продолжал:

— Поглядите-ка! Разве тут что-нибудь держится? Насовали как попало! Все наспех, наспех! Вон у этого верхняка нет упора: стойки отошли... Да, теперь я понимаю, почему ремонт крепления обходится так дорого. Вам что? Вам только бы продержалось, пока вы за это отвечаете... А потом — все в щепки, и Компания вынуждена держать целую армию ремонтных рабочих... Посмотрите-ка сюда, посмотрите... Ведь это сущее издевательство!

Шаваль хотел что-то сказать, но инженер оборвал его:

— Молчите, я знаю, что вы опять скажете. Пусть, мол, вам больше платят, не правда ли? Ну так запомните хорошенько мои слова. Предупреждаю, дирекция вынуждена будет платить вам за крепление отдельно, но соответствующим образом вам уменьшат плату за вагонетку угля. Да, да. Посмотрим, что вы этим выиграете. А сейчас переделайте тут все крепление. Завтра приду проверю.

И, повернувшись спиной к углекопам, потрясенным этой угрозой, Негрель отправился дальше. Дансар, такой смирный в его присутствии, отстал от него на минутку и грубо крикнул рабочим:

— Значит, так? Из-за вас мне нагоняи получать? Я вам закачу не три франка штрафа, а кое-что похуже. Берегитесь!

А когда он ушел, Маэ, в свою очередь, разразился гневом:

— Ах, будь ты проклят! Что несправедливо, то уж несправедливо. Я люблю, чтобы все по-хорошему, спокойно, потому как иначе нельзя столковаться. Но в конце концов тут поневоле зло возьмет. Вы слышали? Снизим, мол, расценку за вагонетку, и тогда за крепление получайте отдельно!.. Словом сказать, еще придумали способ, как платить нам поменьше. Вот дьяволы, вот дьяволы!

Ему хотелось на ком-нибудь сорвать гнев, и вдруг он заметил, что Катрин и Этьен стоят сложа руки.

— Ну, тащите скорей стойки! Что вы тут торчите, уши развесили? Вот как дам хорошего пинка!

Этьен отправился за стойками, нисколько не обижаясь на эту грубость. Он и сам был возмущен начальниками и находил, что углекопы слишком благодушны.

Впрочем, Левак и Шаваль облегчили душу ругательствами. Все, даже Захарий, яростно принялись крепить, полчаса слышен был только стук кувалды о деревянные столбы. Никто не произносил ни слова; тяжело дыша, все неистово сражались с оседающей породой,— они перевернули бы ее и подняли, навалившись плечом, если бы достало силы.

— Ну хватит! — сказал наконец Маэ, подавленный гневом и усталостью.— Половина второго... Эх! Ну и день выдался! И по пятьдесят су не заработали. Я ухожу, очень уж противно.

И, хотя оставалось еще полчаса до конца смены, он оделся. Остальные последовали его примеру. При одном взгляде на забой все приходили в ярость. Увидев, что Катрин опять принялась за работу, они позвали ее и сердито стали упрекать за неуместное усердие. Пусть себе уголь лежит или пусть сам отсюда выбирается, если у него ноги есть. И все шестеро, держа инструмент под мышкой, пошли обратно, к рудничному двору, до которого им предстояло пройти два километра той же дорогой, что и утром.

Когда забойщики спускались по людскому ходку, Катрин с Этьеном задержались, встретив Лидию, катившую вагонетку; девочка остановилась, пропуская их, и рассказала, что куда-то исчезла Мукетта: у нее пошла носом кровь, просто ручьем полилась, и Мукетта куда-то убежала — делать себе примочки из холодной воды, и где она теперь — неизвестно. Выслушав рассказ, они двинулись дальше, а Лидия опять покатила вагонетку; измученная, перемазанная углем девочка напрягала худенькие руки и ноги и похожа была на тощего черного муравья, который упорно сражается с непосильной для него ношей. В некоторых ходах Этьен и Катрин съезжали по спуску прямо на спине и втягивали голову в плечи, боясь ободрать себе лоб; по гладкому скату, отполированному спинами всех рабочих этого крыла шахты, скользили так быстро, что время от времени тормозили, хватаясь за деревянные стойки, и говорили, шутя: «А то, глядишь, салазки загорятся».

Внизу Этьен с Катрин оказались одни. Красные звездочки ламп уже исчезли вдали, на повороте штрека. Все веселье пропало. Оба шли тяжелой, усталой походкой, она впереди, он позади. Лампы коптили, Этьен с трудом различал Катрин в облаке мглистого тумана; мысль, что она женщина, вызывала у него раздражение: зачем он свалял дурака — ни разу не поцеловал ее? Но воспоминание о Шавале мешало ему это сделать. Разумеется, она солгала: этот малый — ее любовник, они валялись тут на всех кучах щебня, она и бедрами-то покачивает, как настоящая шлюха. Без всякого основания он злился, будто Катрин изменила ему. А она меж тем поминутно оборачивалась, предупреждала его о каждом препятствии и, казалось, упрашивала быть повеселее. Тут они были так далеко от всех, отчего бы не пошутить, не посмеяться, как добрым друзьям? Наконец они дошли до откаточного квершлага, и Этьен почувствовал облегчение: скоро кончится мучительная для него раздвоенность; а Катрин в последний раз взглянула на него и запечалилась, словно ей жаль было счастья, которое уже никогда не вернется.

Теперь вокруг них кипела шумная подземная жизнь; то и дело проходили штейгеры; громыхали целые поезда вагонеток, и лошади тащили их разбитой рысцой. Ежеминутно звездами загорались в темноте шахтерские лампы. Приходилось прижиматься к стенке, пропускать черные фигуры коногонов и лошадей, обдававших путников своим дыханием. Жанлен, бежавший босиком позади своего поезда, выкрикнул какую-то непристойность, которую они не расслышали в грохоте колес. Они все шли, шли; Катрин умолкла; Этьен, не узнавая пути, пройденного утром, вообразил, что она заблудилась на этих подземных улицах и перекрестках; а главное, он стал мерзнуть, и чем ближе подходили к стволу шахты, тем ему становилось холоднее, он дрожал мелкой дрожью. В узких облицованных камнем коридорах воздух проносился с силой урагана. Этьен впал в отчаяние, ему казалось, что они никогда не придут, и вдруг он оказался в рудничном дворе.

Шаваль бросил на них косой, недоверчивый взгляд и злобно скривил губы. Остальные были тут же, стояли на ледяном сквозняке, мокрые от пота, и молчали так же, как Шаваль, подавляя гневный ропот. К подъемнику пришли слишком рано,— раньше чем через полчаса их и не думали поднять, тем более что наверху шли сложные приготовления — собирались спустить в шахту лошадь. Стволовые все еще подтягивали к клети вагонетки с углем, катившиеся по чугунным плитам с таким оглушительным грохотом, словно тут перекидывали старые листы железа; потом клеть, взлетая вверх, исчезала в черной дыре, где по ней барабанил проливной дождь. Внизу вода струилась ручьями и стекала в десятиметровый колодец, издававший запах сырости и тины. У подъемника суетились стволовые,— они дергали веревки, подавая сигналы, нажимали на рукоятки рычагов, и все промокли до нитки, стоя в облаке водяной пыли. Горели три лампы без сетки, их красноватый свет и большие движущиеся тени людей придавали этому подземному залу сходство с разбойничьим вертепом, устроенным в пещере близ водопада.

Маэ сделал последнюю попытку. Он подошел к Пьерону, работавшему с шести часов утра.

— Слушай, позволь нам подняться... Ты ведь можешь.

Пьерон, видный парень с мощной мускулатурой и слащаво-кротким лицом, испуганно замахал руками.

— Что ты, что ты! Нельзя! Попроси у штейгера... А то меня оштрафуют.

Снова послышался глухой ропот. Катрин наклонилась к Этьену и сказала ему на ухо:

— Пойдем посмотрим конюшню. Вот где славно!

В конюшню надо было проскользнуть незаметно — входить туда запрещалось. Она находилась в левой стороне двора, в конце

короткой выработки. Конюшня эта, высеченная в твердой породе, со сводчатым потолком и кирпичной облицовкой, имела двадцать пять метров в длину, четыре метра в высоту и могла вместить двадцать лошадей. Там и в самом деле было хорошо: такое приятное живое тепло, исходившее от животных, приятный запах свежей соломенной подстилки, запах лошадей, всегда содержавшихся опрятно. Единственная лампа разливала спокойный ровный свет. Лошади, поставленные на отдых, поворачивали головы, смотрели на людей выпуклыми, какими-то детскими глазами и снова принимались неторопливо жевать овес,— такие работящие, упитанные и здоровые лошадки, всеобщие любимицы на шахте.

Катрин стала читать вслух клички, написанные на цинковых дощечках над кормушками, и вдруг ахнула, увидев внезапно выросшую перед ней фигуру. Это Мукетта вылезла из кучи соломы, в которую она зарылась, чтобы поспать. По понедельникам, если она чувствовала себя очень усталой после своих воскресных развлечений, Мукетта изо всей силы ударяла себя кулаком по носу и уходила из лавы, якобы поискать холодной воды, на самом же деле она забиралась на конюшне в солому, предназначенную для подстилки лошадям, и спала в тепле. Отец, всегда баловавший дочь, терпел ее присутствие, рискуя нажить неприятности.

Как раз в это время в конюшню вошел сам дядюшка Мук, низенький, лысый, морщинистый, но толстый,— явление редкое для пятидесятилетнего человека, бывшего углекопа. С тех пор как его назначили конюхом, он бросил курить трубку, зато стал жевать табак, да так усердно, что десны кровоточили в его черном рту. Заметив двух посторонних, стоявших возле его дочери, он ужасно рассердился.

— Эй, вы что тут делаете? Вон отсюда, все трое! Ну, живо! Я вам покажу, бесстыдницы, как водить сюда парней да безобразничать с ними у меня на соломе! Вон отсюда!

Мукетта, находя отповедь забавной, хохотала, ухватясь за бока. Но Этьен смутился и поспешил удалиться в сопровождении улыбавшейся Катрин. Когда все трое вернулись на рудничный двор, туда явились Бебер и Жанлен с поездом вагонеток. Клеть остановили, чтобы вкатить в нее вагонетки. Катрин подошла к лошади и, поглаживая, похлопывая ее, рассказала о ней своему спутнику. Лошадь носила кличку Боевая и была старше всех лошадей в шахте — уже десять лет работала она под землей, десять лет жила в этой яме, занимала в конюшне все тот же угол, пробегала рысцой все тот же путь по черным галереям, никогда не видя дневного света. Откормленная, с лоснистой белой шерстью, очень смирная, она, казалось, благоразумно примирилась со своей участью и была довольна, что укрыта здесь от несчастий, царящих вверху, на земле. Катрин сказала, что живя во мраке, лошадь ста-

ла очень хитрой и сообразительной. Она так обжилась в штреке, в котором работала, что головой отворяла вентиляционные двери, сгибала шею, чтобы не ушибиться, когда проходила под нависшей кровлей. Вероятно, она считала перегоны, потому что, пробежав установленное их число, не желала идти дальше, и приходилось отводить ее к кормушке. С годами ее глаза, зоркие в темноте, как у кошки, порой заволакивала грусть. Быть может, в смутных своих мечтаниях она вспоминала место, где родилась,— мельницу близ Маршьена, красивую мельницу на берегу Скарпы, окруженную широкими зелеными просторами и всегда овеваемую ветром. И что-то яркое горело там вверху, что-то похожее на огромную лампу, но что именно — она не могла вспомнить: в памяти животных образы расплывчаты. Расставив свои старые дрожащие ноги, она стояла, понурив голову, и тщетно пыталась вспомнить солнце.

А у ствола шахты хлопотали люди. Сигнальный молоток ударил четыре раза — в шахту спускали лошадь, а это всегда вызывало волнение, так как иной раз животное, потрясенное ужасом, вынимали из сетки мертвым. Вверху лошадь, опутанная сетью, бешено билась, но, почувствовав, что почва ускользает у нее из-под ног, вдруг стихала и неслась вниз не шелохнувшись, уставив в темноту неподвижные, широко открытые глаза. Лошадь, которую спускали в тот день, была слишком крупна и не могла пройти между проводниками,— подвесив ее в сетке под клетью, ей, вероятно, пригнули голову к боку и связали в таком положении. Спуск длился три минуты — из осторожности замедлили ход машины. Люди внизу волновались. Да что там такое! Неужели остановились, и бедная пленница висит во тьме над пропастью? Наконец показалась лошадь, повисшая в каменной неподвижности, с остановившимся безумным взглядом, в котором застыл ужас. Это был молодой жеребец-трехлетка, гнедой масти, по кличке Трубач.

— Осторожней! — кричал дядюшка Мук: на его обязанности лежало принять лошадь.— Давай, давай еще! Погоди, не отвязывай.

Вскоре бедняга Трубач темной глыбой лежал на чугунных плитах. Он все еще не шевелился, до смерти испуганный этой черной бесконечной пропастью, этим глубоким подземельем и гулко отдававшимся грохотом. Его уже начали развязывать, как вдруг Боевая, которую только что отпрягли, подошла, вытягивая шею, собираясь обнюхать товарища, низринувшегося к ней с поверхности земли. Рабочие, обступившие Трубача, посмеиваясь, расширили круг. Ну что пришла? Или уж так хорошо пахнет новая лошадь? Но Боевая, равнодушная к насмешкам, ожила, воодушевилась. Верно, почуяла милый ее сердцу запах свежего воздуха, забытый запах травы, нагретой солнцем. И вдруг она звонко заржала, но в этой веселой музыке как будто слышались и умиленные рыдания.

Тут было и ласковое приветствие, и воспоминания о давних днях радости, которыми вдруг повеяло на нее, и скорбь о новом узнике, которого поднимут на землю только мертвым.

— Ну и Боевая! Вот умница! — смеялись рабочие, восторгаясь повадками своей любимицы.— Смотри-ка, с товарищем разговаривает.

Лошадь развязали, но она все не шевелилась,— скованная страхом, лежала неподвижно, как будто ее все еще стягивала веревочная сетка. Наконец ее подняли на ноги ударом кнута, и она стояла, ошеломленная, дрожащая. Дядюшка Мук увел на конюшню обеих лошадей, товарищей по несчастью.

— А долго ль нам еще ждать? — спросил Маэ.

Но сначала нужно было разгрузить клеть, и к тому же до подъема оставалось еще десять минут. Мало-помалу забои пустели, по всем выработкам шли в обратный путь углекопы. У клети собралось человек пятьдесят, все промокли и дрожали на сквозняках, грозивших им воспалением легких. Пьерон — куда делось елейное выражение его физиономии! — дал затрещину своей дочери Лидии за то, что она ушла из лавы раньше времени. Захарий исподтишка щипал Мукетту, озорства ради, «чтобы разогреться». Но у всех нарастало недовольство: Шаваль и Левак рассказали, что инженер грозился снизить расценку за вагонетку и только тогда оплачивать крепление отдельно; план дирекции был встречен гневными возгласами,— в этом темном подземелье, на глубине в шестьсот метров, забродила закваска возмущения. Уже никто не старался сдерживать голос, люди, перемазанные углем, продрогшие в долгие минуты ожидания, обвиняли Компанию в том, что половину рабочих убивают в шахте, а другую морят голодом. Этьен слушал с трепетом волнения.

— А ну живей! Живей! — покрикивал на стволовых штейгер Ришом.

Ему хотелось поскорее начать подъем — он не желал наказывать рабочих за крамольные речи. Однако ропот раздавался все громче, и Ришому пришлось вмешаться. За его спиной углекопы кричали, что не всегда так будет, и в одно прекрасное утро вся эта лавочка полетит ко всем чертям.

— Слушай, ты ведь разумный человек,— сказал он Маэ.— Заставь их замолчать. Надо помнить: с сильным не борись, с богатым не судись,— будь осторожен.

Но хотя Маэ притих и встревожился, ему не понадобилось вмешиваться. Голоса вдруг смолкли: возвращаясь после инспекционного осмотра, из квершлага вышли Негрель и Дансар, оба в поту, как и рабочие.

Повинуясь привычной дисциплине, углекопы расступились, пропуская начальство, и инженер прошел через толпу, не промол-

вив ни слова. Он сел в одну вагонетку, штейгер — в другую; стволовой дернул веревку пять раз, подавая сигнал о подъеме «тузов», как называли начальство, и клеть понеслась вверх, провожаемая угрюмым молчанием рабочих.

VI

Поднимаясь в клети вместе с четырьмя другими рабочими, примостившимися в вагонетке, Этьен решил пуститься дальше в скитания по дорогам. Не лучше ли подохнуть с голоду сразу, чем надрываться в этом аду и не зарабатывать даже на хлеб? Катрин сидела выше его, он не чувствовал ее близости, она не согревала его таким приятным теплом. Лучше не думать о всяких глупостях и уйти отсюда; ведь образования у него побольше, чем у здешних углекопов, а потому и овечьего их смирения нет,— он в конце концов удушит какого-нибудь начальника.

Вдруг яркий луч ослепил его. Подъем совершился так быстро, что дневной свет ошеломлял, резал глаза, отвыкшие от этого сияния. Но как радостно было почувствовать, что клеть остановилась и крепко осела на свои упоры. Рукоятчик отворил дверь, рабочие выпрыгнули из вагонеток и гурьбой вышли в приемочную.

— Слушай, Муке,— зашептал Захарий на ухо рукоятчику.— Дернем нынче вечером в «Вулкан», а?

«Вулканом» назывался дешевый кафешантан в Монсу.

Муке молча подмигнул приятелю левым глазом и ухмыльнулся, растянув рот до ушей. Низенький, коренастый, как отец, с нахально вздернутым носом, он выглядел гулякой, который все проест и пропьет, не думая о завтрашнем дне. Как раз тут вышла из клети Мукетта, и любезный братец в знак нежной любви изо всей силы хлопнул ее по спине.

Этьен с трудом узнал высокое помещение приемочной, которое казалось ему таким таинственным и страшным при неверном свете фонарей. Теперь оно было просто-напросто пустым и грязным. Сквозь запыленные оконные стекла проникал тусклый свет. Только машина в дальнем конце блестела медными частями; густо смазанные тросы бежали, как ленты, смоченные чернилами; укрепленные вверху шкивы, огромная стальная перекладина, на которой они держались, клети, вагонетки — все это изобилие металла придавало бараку мрачный вид своими серыми жесткими тонами старого железа. Громыханье колес непрестанно сотрясало чугунные плиты, а от угля, который перевозили в вагонетках, поднималась мелкая пыль, покрывавшая пол, стены и даже балки копра.

Вернулся Шаваль, заходивший в застекленную каморку приемщика посмотреть на таблицу, где выработка каждой артели отмечалась по жетонам. Он был взбешен: оказывается, у них забраковали две нагонетки,— одна была недогружена против установленного веса, а в другой уголь был смешан с пустой породой.

— Этого еще недоставало! — кричал он.— Скостят теперь двадцать су!.. Вперед наука, не берите лодырей, которые только вертят руками, как свинья хвостиком.

И, бросив косой взгляд на Этьена, он и без слов досказал свою мысль. Того так и подмывало ответить ударом кулака. Но он сдержался: к чему связываться, все равно надо уходить? И он окончательно решил уйти.

— Кто же это в первый день хорошо работает? — заметил Маэ, желая водворить мир.— Завтра он получше справится.

Тем не менее все были раздражены, затевали ссоры, чтобы на ком-нибудь сорвать злобу. Когда стали сдавать лампы, Левак придрался к ламповщику, обвиняя его в том, что он плохо вычистил его лампу. Нервы несколько успокоились только в раздевальне, где по-прежнему топилась печь. В нее даже слишком щедро насыпали угля, чугунные стенки раскалились докрасна, и все обширное помещение без окон, казалось, было охвачено пожаром — такие яркие, багровые отблески пламени плясали на стенах. С довольным ворчанием все принялись греться, стоя на некотором расстоянии от печки, и от всех шел пар, словно из миски кипящего супа. Поджарив себе спину, грели живот. Мукетта преспокойно спустила с себя штаны, чтобы высушить рубашку. Парни стали зубоскалить, и вдруг грянул хохот: она показала насмешникам зад, выразив таким образом крайнее свое презрение.

— Я ухожу,— сказал Шаваль, спрятав шахтерский инструмент в шкафчик.

Никто не пошевелился. Только Мукетта торопливо оделась и побежала вслед за ним — под тем предлогом, что им обоим идти в Монсу. Опять начались шуточки: всем было известно, что она надоела Шавалю.

Тем временем Катрин о чем-то озабоченно говорила отцу. Повидимому, он сперва удивился, потом одобрительно закивал головой и подозвал Этьена.

— Послушайте,— тихонько сказал Маэ, передавая ему узелок,— если вы без гроша, то до получки вполне успеете подохнуть с голоду... Ведь ждать две недели!.. Хотите, я постараюсь устроить вам где-нибудь кредит?

Молодой человек смутился. Он как раз собирался попросить полагавшиеся ему тридцать су и уйти. Но ему стало стыдно перед Катрин. Она пристально смотрела на него. Пожалуй, еще подумает, что он боится работы.

— Я, конечно, ничего обещать не могу,— продолжал Маэ.— Откажут так откажут — ничего не поделаешь.

Этьен не стал возражать. Все равно откажут. Да и ни к чему это не обязывает. Он всегда может уйти, перекусив немного. И тут же подосадовал, зачем не сказал: «Нет». Неловко было видеть, как обрадовалась Катрин, как мило она улыбнулась и дружелюбно посмотрела на него, довольная, что пришла ему на помощь. К чему все это?

Наконец все спутники Маэ обулись в деревянные башмаки, заперли свои шкафчики и двинулись из барака вместе с товарищами, которые, погревшись, уходили один за другим. Пошел вслед за ними и Этьен. Левак с сыном присоединились к компании. Но, проходя через сортировочную, они увидели начавшуюся там драку и остановились.

Сортировочная помещалась в обширном сарае с черными балками, покрытыми угольной пылью, с широкими решетчатыми ставнями, в которые непрестанно задувал ветер. Вагонетки с углем поступали сюда прямо из приемочной, затем их опрокидывали на грохота́ — длинные качающиеся корыта из листового железа, по обе стороны их стояли на ступеньках сортировщицы, вооруженные совком и граблями, выбирали куски породы, подталкивали чистый уголь, и он через воронки сыпался в железнодорожные товарные вагоны, стоявшие под сараем.

В сортировочной работала Филомена Левак, худенькая и бледная женщина с покорным, кротким лицом, она была чахоточная, харкала кровью. Повязав голову обрывком синей шерстяной шали, засучив рукава, быстро двигая черными по локоть руками, она сортировала уголь, стоя ниже матери Пьерона, по прозвищу Горелая, злой, как ведьма, ужасной старухи с совиными глазами и плотно сжатым провалившимся ртом. Филомена и Горелая разругались,— молодая обвиняла старуху в том, что она выгребает у нее камни и ей, Филомене, не удается за десять минут наполнить корзину. Им платили с корзины, поэтому из-за пустой породы постоянно вспыхивали ссоры и потасовки. Летели клочья волос, на багровых от пощечин щеках оставались черные отпечатки ладоней.

— А ну, дай ей раза как следует! — крикнул сверху Захарий своей любовнице.

Все сортировщицы захохотали. Но Горелая яростно набросилась на него:

— Ах ты пакостник! Ты бы лучше признал своих ублюдков. Ведь ты с ней двух ребят прижил!.. Подумать только! В восемнадцать лет детей плодит! Туда же, заморыш несчастный!

Маэ удержал сына, не позволив ему спуститься и пересчитать ребра старой хрычовке, как выразился Захарий. Прибежал над-

зритель, грабли опять стали ворочать уголь. От верхней до нижней ступени грохотов видны были только согнутые спины женщин, из-под носа друг у друга выхватывавших куски породы.

На улице ветер вдруг стих. С серого неба моросил мелкий, холодный дождь. Углекопы ежились в жидкой своей одежонке, втягивали голову в плечи и, засунув руки под мышки, шли размашистой походкой, от которой раскачивались их ширококостные фигуры. При дневном свете они похожи были на негров, перепачканных грязью. Кое-кто не съел своего завтрака, и узелок с оставшейся краюшкой хлеба горбом торчал у них на спине под курткой.

— Гляди-ка, Бутлу идет! — язвительно хихикая, сказал Захарий.

Левак, не останавливаясь, перебросился несколькими словами со своим жильцом, человеком лет тридцати пяти, благодушным и славным крепышом.

— Ну как, обед-то будет нынче, Луи?

— Кажется, будет.

— Жена, стало быть, в духе.

— Кажется, да.

Приходили и другие рабочие,— на шахту спешили все новые партии. Дневная смена начиналась в три часа; шахта опять поглощала целые полчища людей, и они растекались вместо забойщиков по всем выработкам и лавам. Клети никогда не стояли без дела: и днем и ночью люди, как насекомые, точили землю под свекловичными полями, прокладывали извилистые ходы на глубине в шестьсот метров.

А среди тех, кто возвращался домой, первыми шли мальчишки. Жанлен доверительно излагал Беберу сложный план, как раздобыть без денег табаку на четыре су; Лидия следовала за ними на почтительном расстоянии. Катрин шла вместе с Захарием и Этьеном. Все трое молчали. У кабачка «Выгода» их догнали Маэ и Левак.

— Нам сюда,— сказал Маэ Этьену.— Хотите зайти?

Группа разделилась. Катрин остановилась на секунду и в последний раз взглянула на Этьена своими зеленоватыми глазами, прозрачными, как родник; измазанные черные щеки оттеняли глубину этих кристально чистых глаз. Она улыбнулась и пошла вместе с другими по дороге, поднимавшейся к поселку.

Кабачок стоял на полпути между поселком и шахтой, у перекрестка двух дорог. Помещался он в трехэтажном кирпичном доме, выбеленном сверху донизу известкой, с маленькими окнами, для красоты обведенными широкой лазоревой каймой. На квадратной вывеске, прибитой над входом, желтыми буквами значилось:

«ВЫГОДА»
Питейное заведение
Раснера

За домом на площадке, окруженной живой изгородью, устроен был кегельбан. Угольная Компания всемерно, но тщетно старалась приобрести этот участок земли, врезавшийся в ее обширные владения, и ненавидела кабачок Раснера, открытый им чуть ли не у самого выхода из Ворейской шахты.

— Заходите,— еще раз сказал Этьену Маэ.

Небольшая светлая комната с чисто выбеленными голыми стенами, три стола и дюжина стульев; еловая стойка шириною с кухонный шкаф; на стойке с десяток пивных кружек, три бутылки спиртного, графин, цинковый бачок с оловянным краном для пива. Больше ничего — ни одной картинки, ни одной полочки, никаких игр. В массивном чугунном камине, покрытом блестящим черным лаком, потихоньку горела угольная мелочь. Каменные плиты пола были посыпаны тонким слоем белого песка, который впитывал влагу, насыщавшую и воздух и землю в этом сыром краю.

— Кружку! — скомандовал Маэ белокурой толстушке, дочери соседки Раснера, которую он иной раз оставлял за стойкой, когда уходил.

— Раснер дома?

Повернув кран, девушка ответила, что хозяин сейчас вернется. Медленно, не отрываясь, углекоп выпил сразу полкружки, чтобы очистить горло от угольной пыли. Он не угостил Этьена. Единственный посетитель, явившийся до них, сидел за столом в мокрой перемазанной одежде и молча, в глубоком раздумье пил пиво. Вошел третий, жестом приказал налить ему кружку, расплатился и ушел, так и не сказав ни слова.

Затем появился полный улыбающийся человек лет тридцати восьми, с гладко выбритым круглым лицом. Это возвратился Раснер, бывший забойщик, уволенный Компанией три года назад после забастовки. Он был отличный рабочий, хороший оратор, всегда оказывался застрельщиком требований углекопов и в конце концов стал вожаком недовольных. Жена его, как и многие жены углекопов, держала маленький кабачок; когда Раснера выбросили на улицу, он сам стал кабатчиком: раздобыл денег и, в пику Компании, открыл питейное заведение почти напротив Ворейской шахты. Теперь оно процветало, стало общественным центром, и гнев, который постепенно Раснер вдохнул в бывших своих товарищей, приносил ему достаток.

— Вот этого малого я нанял нынче утром,— тотчас же объ-

яснил ему Маэ.— Есть у тебя свободная комната? И можешь ли ты кормить его в долг две недели?

Широкое лицо Раснера вдруг выразило недоверие. Он окинул Этьена быстрым взглядом и, даже не дав себе труда выразить сожаление, коротко ответил:

— Обе комнаты заняты. Не могу.

Этьен заранее ждал отказа, и все же ему стало горько, он сам удивился, что ему обидно уходить отсюда. Ничего не поделаешь, придется,— вот только получить бы заработанные тридцать су. Углекоп, сидевший за кружкой пива, встал и ушел. Заходили поодиночке другие и, прочистив горло, шли дальше размашистым шагом. Они просто промывали глотку, пили без веселья, без удовольствия,— молча утоляли жажду.

— Ну, что у вас? Ничего нового? — спросил Раснер, как-то особенно глядя на Маэ, маленькими глотками допивавшего кружку.

Маэ обернулся и, увидев, что в комнате, кроме Этьена, никого нет, ответил:

— Да вот нынче опять схватились... из-за крепления.

И он рассказал, что произошло. Раснер побагровел, кровь прилила у него к лицу, казалось, так и брызнет из пор, глаза засверкали. Он выругался и возмущенно крикнул:

— Ах, так? Ну, если они вздумают снизить расценки — крышка им!

Присутствие Этьена мешало ему, однако он не мог сдержаться и ораторствовал, искоса поглядывая на чужака. Прибегая иногда к обинякам и намекам, он говорил о директоре копей, господине Энбо, о его жене, о его племяннике, инженере Негреле, не называя их, впрочем, по именам, твердил, что дольше так продолжаться не может, не сегодня завтра у людей лопнет терпение. Нищета кругом слишком велика, и он перечислял, какие заводы закрылись, сколько рабочих уволили. Вот уже месяц он раздает по шести фунтов хлеба в день. Вчера ему сказали, что господин Денелен, владелец соседней шахты, не знает, удастся ли ему выдержать кризис. Кроме того, Раснер получил письмо из Лилля, полное весьма тревожных сведений.

— Знаешь, от кого письмо? — тихо сказал он.— От того человека, которого ты здесь видел однажды вечером.

Но ему пришлось прервать беседу. Пришла его жена, высокая и худая энергичная женщина, с длинным носом и красными пятнами на скулах. В политике она была куда левее мужа.

— Письмо от Плюшара,— сказала она.— Эх, если б он стоял здесь во главе рабочих, сразу все пошло бы лучше!

Этьен прислушивался к разговору, понимал его и был страстно взволнован мыслями о нищете и возмущении. Услышав бро-

шенное имя, он встрепенулся, и, словно нечаянно, у него вырвалось:

— Я знаю Плюшара.— В ответ на вопрошающие взгляды он добавил: — Да, я механик, а он был старшим мастером у нас в депо, в Лилле. Умный человек, я частенько с ним разговаривал.

Раснер еще раз внимательно оглядел незнакомца, и в лице его сразу произошла перемена: оно выразило чувство симпатии. Потом, повернувшись к жене, сказал:

— Вот Маэ привел ко мне этого молодого человека, своего откатчика. Спрашивает, не найдется ли у нас свободной комнаты для него и не можем ли мы открыть ему кредит на две недели.

Дело было решено в двух словах: нашлась свободная комната — постоялец съехал в тот день утром. Кабатчик, крайне возбужденный, заговорил откровеннее и все твердил, что он требует от хозяев только возможного, тогда как другие желают добиться того, что чрезвычайно трудно осуществить. Жена его, пожимая плечами, говорила, что рабочие, безусловно, «в своем праве».

— Ну, пока до свидания! — прервал ее Маэ.— Что ни говорите, а приходится нашему брату под землей спину гнуть, и раз так, значит, и будем там подыхать. Гляди, каким ты стал молодцом, а ведь только три года, как выбрался оттуда.

— Да, я очень поправился,— самодовольно сказал Раснер.

Этьен проводил забойщика до двери и все благодарил его, но тот лишь покачивал головой и ничего не отвечал. Этьен долго смотрел ему вслед, пока Маэ тяжелой поступью шел по дороге, ведущей к поселку.

Жена Раснера, обслуживавшая посетителей, попросила нового постояльца подождать — через минутку она покажет отведенную ему комнату и он сможет там помыться. Этьена опять охватили сомнения: стоит ли оставаться? Жаль было проститься с вольными скитаниями, с солнцем, с радостью быть самому себе хозяином, хотя бы ценою лишений и голода. Ему казалось, что он прожил уже несколько лет с тех пор, как, замерзая на холодном ветру, добрел до террикона, а потом несколько часов ползком пробирался в черном мраке подземных галерей. Тошно было думать, что придется все начинать сызнова. Нет, какая несправедливая, какая жестокая участь! Его человеческая гордость возмущалась, ему не хотелось превратиться в животное, которое слепнет во мраке и погибает раздавленным. Пока в душе Этьена совершалась внутренняя борьба, взгляд его блуждал по огромной равнине, и мало-помалу он разглядел ее. Он изумился,— совсем не такими представлял он себе эти просторы, когда старик Бессмертный во тьме указывал на них рукой. Прямо перед собою, в ложбине, он действительно видел Ворейскую шахту — деревянные и кирпичные постройки, сортировочную с крышей из толя, вышку копра,

крытую шифером, барак машинного отделения и высокую красноватую трубу. Неприглядны были все эти строения, сбившиеся в кучу. Но вокруг них простирался двор, и Этьен никак не думал, что он такой большой: двор походил на черное озеро с застывшими валами каменного угля, над ними вздыбились высокие мостки, по которым проложены были рельсы; в одном углу белели штабеля бревен, как будто там свалили целый лес срубленных деревьев. Справа горизонт заслоняла громада террикона, поднимавшаяся словно исполинский крепостной вал; в самой старой своей части он давно порос травой, а в другом конце его сжигал огонь, целый год горевший внутри этой искусственной горы,— о нем свидетельствовали струи густого дыма, выбивавшегося на поверхность, да длинные подтеки багрового и ржавого цвета, змеившиеся среди белесых, серых кусков сланца и песчаника. А дальше раскинулись поля, бесконечные поля, засеянные пшеницей и свеклой, голые в эту пору года; болота с жесткой щетиной камышей, над которыми кое-где высились ивы с корявыми стволами; далекие луга, пересеченные унылыми вереницами тополей. И совсем далеко белыми пятнами выделялись города: на севере — Маршьен, на юге — Монсу; на востоке горизонт окаймляла лиловатая полоса оголенного Вандамского леса. И под этим хмурым небом, в тусклом свете угасавшего зимнего дня казалось, что вся чернота копей, вся летучая угольная пыль пала на равнину, осела толстым слоем на деревьях, покрыла дороги, смешалась с землей.

Этьен смотрел, и больше всего его поразил канал — речка Скарпа, выпрямленная каналом, ночью он их не видел. От Воре до Маршьена на протяжении двух лье канал шел по прямой и казался ровной лентой матового серебра, а вдоль него тянулась, убегая в бесконечность, обсаженная деревьями насыпная дорога, возвышавшаяся над низиной; меж зеленых берегов блеснула голубовато-серая водная гладь, по ней медленно скользили баржи с красной кормою. Близ шахты находилась пристань, видны были стоявшие на причале баржи, в них грузили уголь, подвозя к ним вагонетки по мосткам с рельсами. Затем канал делал поворот и наискось пересекал болото; вся душа этой гладкой равнины заключена была в геометрических линиях канала, проходившего по ней, как большая дорога, перевозившая уголь и железо.

Этьен перевел взгляд на рабочий поселок, построенный на плоской возвышенности,— издали виднелись черепичные красные кровли. И вновь любопытство влекло его к Ворейской шахте, даже к глинистому пологому скату, у подножия которого высились два огромных штабеля кирпичей, изготовленных и обожженных на месте. За изгородью двора проходила ветка железной дороги, обслуживавшей копи. Должно быть, последняя партия ремонтных рабочих спустилась в шахту. По двору медленно двигался товар-

ный вагон, который подталкивали рабочие под пронзительные свистки десятника. Исчезло все обаяние неведомого, таившегося во мраке, непонятного громыхания, необъяснимых раскатов грома, сияния непостижимых звезд. Вдали вздымались к небу доменные печи и коксовые батареи, но пламя, горевшее над ними, побледнело еще в час рассвета. Ничего не оставалось прежнего, кроме прерывистых всхлипываний водоотливного насоса и пыхтения, похожего на шумное, долгое дыхание людоеда, обозначавшееся в воздухе серой дымкой, которую Этьен различал теперь,— дыхание ненасытного, прожорливого чудовища.

И вот Этьен решил остаться. Быть может, ему вспомнились светлые глаза Катрин, взгляд, который она бросила, уходя в поселок. А возможно (скорее всего именно это и подействовало), его привлек ветер возмущения, подувший в угольных копях. Он и сам этого не знал. Но он решил опять спуститься в шахту, чтобы страдать и бороться; он с ненавистью думал о тех людях, о которых говорил Бессмертный, об откормленном, тучном божестве, которому тысячи голодных, никогда не видевших его, отдавали свои силы и свою кровь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Усадьба Грегуара, именовавшаяся Пиолена, находилась в двух километрах от Монсу, к востоку от города, в сторону Жуазеля. Господский дом — квадратное здание без всякого архитектурного стиля — построен был в начале прошлого века; из всех обширных земель, когда-то входивших в имение, осталось около тридцати гектаров, окруженных изгородью; содержать владение в порядке было нетрудно. Прекрасный огород и плодовый сад Грегуара стали знамениты: фрукты и овощи, выращиваемые в Пиолене, славились во всей округе. Правда, в усадьбе не было парка, его заменял маленький перелесок, зато аллея в триста метров, обсаженная старыми липами, ветви которых переплетались, образуя длинный свод — от ворот до крыльца дома, считалась одной из достопримечательностей на этой голой равнине, где на всем пространстве между Маршьеном и Боньи большие деревья были наперечет.

В то утро супруги Грегуар встали в восемь часов. Они любили поспать и обычно поднимались часом позже; но буря, бушевавшая ночью, привела их в нервное состояние. Муж тотчас же от-

правился посмотреть, не натворил ли ветер беды, а жена, надев фланелевый капот и шлепанцы, пошла на кухню. У этой низенькой толстой старушки даже в пятьдесят восемь лет, при белоснежных сединах, лицо хранило детски удивленное выражение.

— Мелани,— сказала она кухарке,— не спечь ли нам слоеную булку, раз тесто уже готово? Барышня встанет через полчаса, не раньше. А с каким удовольствием она выпьет за завтраком чашку шоколада со слоеной булкой... Право, приятный был бы ей сюрприз!

Кухарка, худощавая старуха, служившая у Грегуаров тридцать лет, засмеялась:

— Верно, хороший сюрприз!.. Плита у меня топится, духовка, поди, уже накалилась. Онорина мне подсобит.

Онорина, девушка лет двадцати, взятая Грегуарами еще девочкой и воспитанная в доме, исполняла теперь обязанности горничной. Вся прислуга состояла из двух этих женщин и кучера Франсиса, на котором лежала черная работа. Садовник с женой ведали цветником, огородом, плодовым садом и скотным двором. Порядки в доме были патриархальные, и в этом маленьком мирке царило доброе согласие.

Госпожа Грегуар, еще лежа в постели, задумала сделать дочери сюрприз и угостить ее слоеной булкой; теперь она осталась в кухне, чтобы проследить, как будут сажать тесто в печь. Кухня была огромная, и, судя по великой опрятности, царившей там, по богатому набору кастрюль, котлов, горшков и прочей утвари, которой ее оснастили, она имела важное значение в доме. В ней стояли приятные запахи вкусных яств. Шкафы, поставцы и лари были битком набиты запасами провизии.

— Смотрите, пусть хорошенько подрумянится,— наказывала г-жа Грегуар, направляясь из кухни в столовую.

Хотя весь дом отапливался при помощи калориферов, в столовой разожгли камин, и в нем веселым пламенем горел каменный уголь. Впрочем, в обстановке не было никакой роскоши: большой стол, стулья, буфет красного дерева; только два глубоких мягких кресла свидетельствовали о любви хозяев к удобству, комфорту, о том, как приятно и полезно для пищеварения посидеть у камелька после сытных трапез. Супруги никогда не заглядывали в гостиную, проводили время в столовой, по-семейному.

Вскоре возвратился г-н Грегуар, одетый в теплую куртку из толстой байки, в шестьдесят лет такой же румяный, как и жена, с великолепной седой шевелюрой, с крупными чертами славного, добродушного лица. Он поговорил и с кучером и с садовником: серьезных повреждений не оказалось, только сбило ветром с крыши дымовую трубу. Г-н Грегуар любил надзирать за порядком и каждое утро обозревал свою усадьбу: она была невелика, не до-

ставляла ему особых забот, зато он черпал в ней все радости помещичьей жизни.

— А что Сесиль? — спросил он.— Не собирается сегодня вставать?

— Ничего не понимаю! — ответила жена.— Мне казалось, она возится у себя в комнате.

Стол был уже накрыт. На белоснежной скатерти стояли три больших чашки. Онорину послали посмотреть, что делает барышня. Но она тотчас вернулась и, сдерживая смех, сказала вполголоса, как будто все еще была наверху в барышниной спальне:

— Ох, если бы видели! Барышня-то наша... Спит себе! Ох, как спит! Ну, прямо ангелочек!.. Вы даже и представить себе не можете! Одно удовольствие глядеть на нее.

Родители обменялись умиленным взглядом. Отец сказал, улыбаясь:

— Пойдем посмотрим.

— Милочка наша! — пролепетала мать.— Пойдем!

И они вместе поднялись на второй этаж. Во всем доме только спальня их дочери была обставлена роскошно: стены обтянуты голубым шелком, мебель белого лака с голубыми прожилками,— прихоть балованного ребенка, которую родители поспешили удовлетворить. В комнате стоял полумрак, лишь узкая полоска света пробивалась из окна сквозь неплотно задернутые занавески, и на смутно видневшейся белой кровати сладким сном спала Сесиль, подложив ладонь под щеку. Она не отличалась красотой, казалась слишком здоровой, слишком полнокровной, слишком созревшей для восемнадцатилетней девушки; но у нее было великолепное тело, блиставшее молочной белизной, пушистые каштановые волосы, круглое свежее личико и задорный носик, едва видневшийся меж пухлых щек. Одеяло соскользнуло с нее, но она не чувствовала этого, а дышала так тихо, что от дыхания даже не приподнималась ее пышная грудь.

— Бедняжка, верно, всю ночь не сомкнула глаз из-за этого проклятого ветра,— прошептала мать.

Отец знаком призвал ее к молчанию. Оба нагнулись и с восторгом смотрели на свою дочь, раскинувшуюся в девственной наготе, на свою обожаемую долгожданную дочь, родившуюся у них так поздно, когда они уже потеряли надежду иметь детей. Родителям она казалась совершенством, оба полагали, что их Сесиль ничуть не толста, даже недостаточно упитанна, так как плохо кушает. Сейчас она спала крепким сном, не чувствуя, что они склонились над ней, что их лица почти касаются ее щеки. Но вот легкая волна пробежала по ее застывшему лицу. Отец с матерью перепугались, как бы она не проснулась, и на цыпочках вышли из комнаты.

— Т-шш! — прошептал г-н Грегуар, переступив порог.— Может, она не спала ночь, не надо ее будить.

— Да, пусть выспится хорошенько, наша дорогая деточка,— подхватила г-жа Грегуар.— Мы подождем ее.

Они спустились в столовую и уселись в мягкие кресла; служанка, и не думая ворчать, поставила шоколад на слабый огонь. Отец взялся за газету, а мать за вязанье — широкое гарусное покрывало. В комнате было очень тепло, в доме стояла глубокая тишина.

Все состояние Грегуаров, дававшее им около сорока тысяч франков ежегодного дохода, заключалось в одной-единственной акции угольных копей в Монсу. Супруги охотно рассказывали о происхождении своего богатства, основу которому положило возникновение Компании.

В начале прошлого века какое-то безумие овладело людьми на всем протяжении от Лилля до Валансьена: все стали искать каменный уголь. Всем вскружили голову успехи предпринимателей, основавших впоследствии Анзенскую компанию. В каждой коммуне копали землю; за одну ночь создавали товарищества, получали концессии. Из всех одержимых каменноугольной горячкой того времени самое яркое воспоминание о себе оставил барон Дерюмо, отличавшийся недюжинным умом и героическим упорством. В течение сорока лет он с неослабным мужеством боролся против всевозможных препятствий; первые изыскания оказались бесплодными, после долгих месяцев работы приходилось бросать заложенные шахты, обвалы уничтожали горные выработки, рабочие гибли при нежданных наводнениях, в недрах земли пропадали сотни тысяч франков; помимо того, возникали неприятности с властями предержащими, впадали в панику пайщики, надо было сражаться с помещиками, не желавшими признавать концессий, выданных королем, если предприниматели отказывались заранее договориться с ними. Наконец барон основал товарищество на паях: «Дерюмо, Фокенуа и К°» — для разработки угольного месторождения в Монсу, и копи уже начали давать небольшую прибыль, как вдруг барон Дерюмо чуть не потерпел крах под ударами жестокой конкуренции со стороны соседних каменноугольных копей в Куньи, принадлежавших графу де Куньи, и Жуазельских копей товарищества Корниль и Женар. На его счастье, 25 августа 1760 года три эти предприятия заключили между собой соглашение и слились в одно товарищество. Была основана Компания угольных копей в Монсу, которая существовала и по сей день. Для распределения паев взяли за образец денежную единицу того времени: весь капитал поделили на двадцать четыре «су», а каждое су — на двенадцать денье, что составляло в целом двести восемьдесят восемь денье; а так как одно «денье» равнялось де-

сяти тысячам франков, основной капитал достигал почти трех миллионов. Дерюмо, дошедший до крайности, все же оказался победителем: он получил при разделе шесть «су» и три «денье».

В те годы усадьба Пиолена с тремястами гектаров земли принадлежала барону Дерюмо; управителем имения у него состоял Оноре Грегуар, уроженец Пикардии, прадед Леона Грегуара — отца Сесили. При заключении соглашения о Компании угольных копей в Монсу Оноре, у которого было в кубышке тысяч пятьдесят франков, заразился непоколебимой верой своего хозяина и вложил в предприятие десять тысяч франков полновесными экю, взяв себе пай — одно «денье», и трепетал от ужаса, что таким образом он обездолил своих детей. Действительно, его сын Эжен получал весьма скудные дивиденды, а так как он приобрел барские замашки и имел глупость пустить по ветру остальные сорок тысяч отцовского наследства, вложив их в какое-то убыточное предприятие, то жил он довольно стесненно. Но постепенно прибыль пайщиков все возрастала, сын Эжена, Фелисьен Грегуар, стал богатым человеком и осуществил мечту, которую с детских лет лелеял его дед, бывший управитель господского имения: он приобрел разрезанную на части Пиолену, купив остатки ее в качестве национального имущества за гроши. Однако последующие годы были неудачны: больших доходов не получали, пока не наступила трагическая развязка революции, а затем падение кровавого царствования Наполеона. И только Леону Грегуару робкое, боязливое капиталовложение его предка принесло благоденствие, возраставшее с поразительной быстротой. Вместе с прибылями Компании рос и ширился доход на скромный десятитысячный пай. С тысяча восемьсот двадцатого года он давал сто процентов прибыли — то есть десять тысяч франков; в тысяча восемьсот сорок четвертом году он приносил двадцать тысяч, в тысяча восемьсот пятидесятом году — сорок тысяч. А затем два года подряд прибыль достигала огромной суммы — пятидесяти тысяч франков; стоимость одного «денье» котировалась на Лионской бирже в миллион франков, то есть увеличилась за столетие в сто раз.

Господину Грегуару советовали продать пай, когда «денье» достигло такой котировки, но он с обычной своей благодушной улыбкой отказался. Через полгода разразился промышленный кризис, стоимость «денье» упала до шестисот тысяч франков. Но Леон Грегуар по-прежнему улыбался и ни о чем не жалел, ибо все Грегуары были теперь полны непоколебимой веры в свои копи. Курс еще поднимется. Дело прочное, не лопнет,— скорее мир перевернется. К этой благоговейной вере примешивалась глубокая признательность к капиталу, который в течение целого столетия кормил семью Грегуаров и давал им возможность жить в праздности. Копи были как бы их семейным божеством, Грегуары поклонялись

ему, движимые любовью к самим себе; шахты были покровительницами их домашнего очага; под защитой шахт им так сладко спалось на мягком ложе, таким дородством наделял их обильный и изысканный стол. Их благоденствие переходило из поколения в поколение; так зачем же навлекать на себя немилость судьбы, усомнившись в ней? В основе их преданности копям лежал суеверный страх: а вдруг деньги возьмут да и улетучатся, если продать свой пай и положить вырученный миллион в ящик несгораемого шкафа? Гораздо надежнее было держать их под землею, где из поколения в поколение многочисленное племя углекопов понемногу, но каждодневно извлекало деньги сообразно потребностям Грегуаров.

И, надо сказать, все блага земные сыпались на этот счастливый дом. Г-н Грегуар женился очень молодым на дочери маршьенского аптекаря, дурнушке и бесприданнице, но обожал ее. Жена платила ему тем же, и оба блаженствовали. Она целиком отдалась хозяйству, преклонялась перед мужем, на все смотрела его глазами и волю его почитала законом; во всем у них были одинаковые вкусы, одинаковые мнения, никогда не возникало никаких разногласий; у обоих был один идеал благоденствия; сорок лет они прожили душа в душу, трогательно заботились друг о друге. Жизнь они вели уравновешенную и без затей, без шума, спокойно проживали сорок тысяч франков в год, а свои сбережения тратили на Сесиль, позднее рождение которой на время перевернуло весь их бюджет. Они и до сих пор беспрекословно исполняли все ее желания, купили вторую лошадь, два новых экипажа, выписывали для нее туалеты из Парижа. Но все это доставляло им только удовольствие,— ничто не могло быть слишком роскошным для их дочери. Сами же они терпеть не могли показного блеска и одевались по старой моде времен их молодости. Всякий расход, не приводивший к практической выгоде, казался им нелепым.

Итак, они ждали в столовой. Вдруг распахнулась дверь, и звонкий девичий голос воскликнул:

— Так вот оно как! Теперь уж без меня завтракают!

Это явилась Сесиль, только что вставшая с постели, с заспанными глазами, кое-как причесанная, в наспех накинутом белом шерстяном капоте.

— Ну нет! — воскликнула мать.— Ты же видишь, мы тебя ждали. А ты, верно, не спала ночью, бедная детка? Ветер тебе мешал, да?

Девушка удивленно посмотрела на нее.

— Разве был ветер? Я и не знала, всю ночь спала без просыпа.

Всем троим это показалось забавным, и они рассмеялись; прыснули от смеха и служанки, подававшие на стол,— весь дом

развеселила мысль, что барышня проспала беспробудно двенадцать часов подряд. И лица совсем просияли, когда была подана слоеная булка.

— Подумайте! Мне слойку испекли! — воскликнула Сесиль.— Вот так сюрприз! Свежая, тепленькая! Буду макать ее в шоколад! Вот вкусно!

Сели за стол. В больших чашках дымился горячий шоколад. Разговор долго шел о свежеиспеченной булке. Онорина и Мелани, оставшись в столовой, подробно рассказывали о выпечке булочек и смотрели, как дочь и родители поглощают слоеное тесто, замаслившее им губы; обе служанки говорили, что очень приятно печь сдобные булки, когда господа кушают с таким удовольствием.

Во дворе яростно залаяли собаки,— очевидно, на чужого. Грегуары подумали, что явилась учительница музыки, приезжавшая из Маршьена по понедельникам и пятницам. К Сесиль приезжал также и преподаватель литературы. Все свое образование девушка получала дома, в Пиолене, живя в блаженном невежестве, и, капризничая, как ребенок, выбрасывала учебники за окно, когда наталкивалась на слишком скучную материю.

— Это господин Денелен,— доложила Онорина, ходившая открывать.

Вслед за ней на пороге появился Денелен, двоюродный брат г-на Грегуара, непринужденный, громогласный, с резкими жестами, с военной выправкой, похожий на отставного офицера-кавалериста. Хотя ему перевалило за пятьдесят, коротко остриженные волосы и длинные усы были у него черны как смоль.

— Да, это я, собственной особой. Добрый день! Не беспокойтесь, пожалуйста.

Он сел на стул. Семейство Грегуаров разахалось, заудивлялось и в конце концов снова принялось пить шоколад.

— Ты хочешь что-то сказать мне? — спросил гостя г-н Грегуар.

— Нет, ровно ничего,— торопливо ответил Денелен.— Просто захотелось поразмяться, покататься верхом и, проезжая мимо Пиолены, решил проведать вас.

Сесиль стала расспрашивать о его дочерях, Жанне и Люси. Оказалось, обе прекрасно себя чувствуют: Жанна, младшая, окончательно погрязла в живописи, а Люси, старшая, с утра до вечера сидит за пианино и поет вокабулы, развивая свой голос. Однако, при всем старании г-на Денелена казаться веселым, шутки его звучали натянуто, а голос слегка дрожал.

Господин Грегуар спросил:

— А как на шахте? Все в порядке?

— Не совсем! Неприятности с рабочими! Все кризис прокля-

тый!.. Расплачиваемся за годы процветания. Слишком много понастроили заводов, слишком много провели железных дорог, слишком много вложили в предприятия денег в ожидании колоссального роста промышленности. И что же получилось? Заморозили капиталы, и теперь нигде не найдешь денег, чтобы пустить все это в ход... К счастью, положение нельзя назвать безвыходным, я все-таки выкручусь.

Так же как и Грегуар, он получил в наследство пай в угольных копях Монсу. Но будучи предприимчивым инженером, жаждавшим нажить сказочное состояние, он поспешил продать свой пай, когда курс акций поднялся до миллиона. С тех пор прошло несколько лет, у него созрел план действий. К его жене перешла по наследству от дяди небольшая концессия в Вандаме, где заложены были только две шахты — Жан-Барт и Гастон-Мари, но обе были так запущены, так убого оборудованы, что их эксплуатация едва покрывала издержки. Денелен мечтал привести шахту Жан-Барт в исправное состояние, расширить и углубить выработки, поставить новую подъемную машину, а в шахте Гастон-Мари вести добычу только до полного истощения пласта. На переоборудованной шахте он собирался грести золото лопатой. Мысль была верная. Беда заключалась лишь в том, что весь полученный миллион ушел на эти усовершенствования, и в тот момент, когда Денелен мог бы получать большие доходы, которые оправдали бы его затраты, разразился «этот проклятый промышленный кризис». К тому же Денелен оказался плохим администратором, да еще, несмотря на свою резкость, бывал добр к рабочим; хозяйство он вести не умел, и после смерти жены его обворовывали на каждом шагу; дочерей он вырастил своенравных — старшая поговаривала, что пойдет на сцену, а младшая послала на выставку три пейзажа, которые, однако, не были приняты; надвигавшееся разорение не лишило ни ту, ни другую жизнерадостности и обнаружило в них задатки превосходных хозяек.

— Знаешь, Леон,— продолжал г-н Денелен неуверенным тоном,— напрасно ты не продал одновременно со мной. Теперь ведь все летит кувырком, попробуй поищи покупателя... А если бы ты доверил мне свой капитал,— что мы бы с тобой сотворили в Вандаме, в моей шахте!..

Господин Грегуар не спеша допил шоколад и благодушно ответил:

— Ни за что не продам!.. Ты же прекрасно знаешь, что я не желаю спекулировать. Я живу спокойно, и было бы просто глупо мучить себя, искать хлопот и забот. Что касается Монсу, то пусть даже акции упадут еще ниже, нам на жизнь хватит. Какого черта, спрашивается, роскошествовать? И, слушай, вот что я тебе скажу: придет время, ты пожалеешь, что продал свой пай. Монсу

снова пойдет в гору, так что и сама Сесиль, и детки ее, и внуки будут кушать сдобные булочки.

Денелен слушал с какой-то растерянной улыбкой.

— Так, значит,— сказал он,— если бы я предложил тебе вложить в мои копи сто тысяч, ты бы отказался?

Заметив встревоженные лица Грегуаров, он пожалел, что поторопился, и решил отложить разговор о займе до последней крайности.

— О, не беспокойся, я еще до этого не дошел! Я пошутил. А ведь ты, пожалуй, прав. Денежки, которые загребаешь чужими руками, самые верные, и хлопот никаких.

Разговор перешел на другую тему. Сесиль опять стала расспрашивать о дочерях Денелена,— их художественные наклонности весьма ее занимали и вместе с тем казались ей не совсем приличными. Г-жа Грегуар пообещала, что в первый же солнечный день повезет дочь в гости «к милым девочкам».

Грегуар сидел с рассеянным видом, не прислушиваясь к разговору, и вдруг громко сказал:

— Будь я на твоем месте, я не стал бы упрямиться и договорился бы с Компанией... Они очень не прочь, а ты бы вернул свои деньги.

Он бросил намек на лютую ненависть, издавна существовавшую между владельцами копей в Монсу и Вандамскими копями. Хотя эти последние были предприятием незначительным, их могущественную соседку, Компанию Монсу, бесило то, что в ее владения, охватывавшие шестьдесят семь коммун, врезалась чужая земля площадью в квадратное лье. Сначала Компания Монсу тщетно пыталась задушить Вандамские копи, а теперь замышляла купить их за бесценок, когда Денелен разорится. Война шла без передышки, каждая сторона останавливала свои штреки в двухстах метрах от штреков противника, это был поединок не на живот, а на смерть, хотя отношения между директорами и инженерами конкурирующих копей оставались вполне учтивыми.

Глаза Денелена вспыхнули.

— Никогда! — воскликнул он.— Пока я жив, Монсу не получит Вандамские копи... В четверг я обедал у Энбо и отлично заметил, как он вертится вокруг меня. Еще прошлой осенью приезжали ваши тузы из правления и всячески меня обхаживали... Да, да, я прекрасно знаю этих маркизов и герцогов, генералов и министров! Разбойники с большой дороги! Они дочиста ограбят, последнюю рубашку снимут.

Его обвинения были неисчерпаемы. Впрочем, г-н Грегуар не защищал правления своего акционерного общества. Согласно уставу, принятому еще в тысяча семьсот шестидесятом году, оно состояло из шести управляющих и деспотически руководило Ком-

панией; в случае смерти одного из них пятеро остальных выбирали нового члена правления из числа самых влиятельных и богатых акционеров. По мнению рассудительного хозяина Пиолены, все эти господа чересчур увлекались погоней за наживой и иной раз хватали через край.

Мелани начала убирать со стола. Во дворе опять залаяли собаки, и Онорина пошла было отворить дверь. Но тут Сесиль, которая до того была сыта, что ей трудно стало дышать в жаркой комнате, сама отправилась в переднюю.

— Нет, погоди. Это, верно, учительница.

Денелен тоже поднялся и, проводив взглядом Сесиль, спросил:

— Ну как? Выдаете ее за Негреля?

— Еще неизвестно,— ответила г-жа Грегуар.— Была такая мысль... Но все еще висит в воздухе... Надо хорошенько подумать.

— Разумеется,— продолжал Денелен с игривым смешком.— Ведь у тетушки с племянником... Меня просто изумляет, что госпожа Энбо вдруг начала выказывать нежные чувства к Сесиль.

Господин Грегуар возмутился. Все это вздор,— госпожа Энбо светская дама да еще на четырнадцать лет старше молодого человека! Это было бы просто чудовищно! Он терпеть не мог шуточек на такие темы. Денелен, посмеиваясь, пожал ему руку и ушел.

— Нет, это опять не она,— сказала Сесиль, вернувшись в столовую.— Пришла женщина с двумя детьми... Ну, знаешь, мама, та женщина, которую мы с тобой встретили... Жена углекопа. Пустить ее сюда?

Супруги встревожились. А что, эти попрошайки очень грязные? Нет, не очень; деревянные башмаки они могут оставить на крыльце. Отец и мать расположились в удобных глубоких креслах. Они заняты были перевариванием пищи. Боясь выйти на холод, чета Грегуар приняла смелое решение.

— Приведите их сюда, Онорина.

И тогда вошла жена углекопа Маэ с двумя малышами, все трое иззябшие, голодные, изумленные, испуганные тем, что очутились в господском доме, где было так тепло и так хорошо пахло сдобной булкой.

II

В наглухо запертой спальне, между планками решетчатых ставней, обозначились серые полоски — на дворе уже рассветало; постепенно эти тусклые лучики веером собрались на потолке; воздух спертый,— к утру просто нечем дышать, а спящие все не просыпаются; спят Ленора и Анри, нежно обняв друг друга; лежа на

горбатой своей спине и запрокинув голову, спит Альзира; оглашая спальню храпом, спит с открытым ртом старик Бессмертный, расположившийся в кровати Захария и Жанлена; ни звука не долетает из темного закоулка, где жена Маэ опять уснула, когда малютка Эстелла насосалась и затихла. Мать повернулась на бок, а девчушка смирно лежит у нее поперек живота и тоже спит, уткнувшись головенкой в мягкую материнскую грудь.

В нижнем этаже кукушка пробила шесть часов. Вдоль всего поселка хлопают выходные двери, по каменным плитам тротуара стучат деревянные башмаки — это идут на работу сортировщицы. Опять наступает тишина — до семи часов утра. В семь отпирают ставни, сквозь стенки слышится из соседних квартир позевыванье, кашель встающих с постели; раздается скрип кофейной мельницы. Но и после семи еще долго никто не шевелился в спальне семейства Маэ.

Вдруг издали донеслись звуки шлепков, пощечин, громкие вопли; Альзира рывком приподнялась на постели, почувствовав, что пора вставать, босиком побежала к матери и стала ее трясти за плечо.

— Мама! Мама! Вставай! Уже поздно. Ведь тебе надо сегодня идти. Ой, смотри осторожнее! Эстеллу задавишь.

И она выхватила из постели ребенка, чуть не задохнувшегося под тяжестью материнской груди, набухшей молоком.

— Эх, жизнь проклятая! — бормотала мать, протирая глаза.— До того намаешься, что так бы и спала целый день... Одень Ленору и Анри, я их возьму с собой, а ты понянчи Эстеллу. Ее-то я не потащу в такую мерзкую погоду,— еще простудится да захворает.

Наскоро умывшись, она надела старую синюю юбку, лучшую свою юбку, и серую шерстяную кофточку, на которую накануне поставила две заплаты.

— Эх, жизнь проклятая, а суп-то! — опять забормотала она.

Пока мать, распахивая двери, наталкиваясь на стенки, с шумом спускалась вниз, Альзира вернулась в спальню, принесла туда Эстеллу. Девочка опять раскричалась, но сестра привыкла к ее неистовым воплям; в восемь лет Альзира чутьем постигла нежные уловки матерей и умела успокоить и развлечь малютку. Она тихонько положила Эстеллу в свою еще теплую постель, утихомирила и убаюкала, дав ей пососать свой палец. Но лишь только затихла Эстелла, подняли крик малыши постарше: Альзире пришлось усмирять Ленору и Анри. Они не могли жить в добром согласии и обнимались только когда спали. Едва Ленора, шестилетняя девочка, открывала глаза, как сразу же набрасывалась на брата, который был младше ее на два года, и принималась его тузить, пользуясь тем, что он еще не умел давать сдачи. У них

обоих были большие, будто раздувшиеся головы, всклокоченные соломенно-желтые волосы. Альзира прибегла к решительным мерам: вытащила Ленору из постели за ноги да еще пригрозила выпороть. Затем она принялась умывать и одевать малышей, оба визжали и топали ногами. Ставни она все не открывала, боясь разбудить деда. Он спал все так же крепко и не слышал, какой ужасный гам подняли его внучата.

— У меня все готово! Вы что там копаетесь? — крикнула мать.

Она отворила в нижней комнате ставни, разворошила жар в очаге, подсыпала угля. У нее была надежда, что старик отец оставит детям немного супа, но он уничтожил все дочиста, выскреб кастрюлю. И ей пришлось сварить горсть вермишели, которую она берегла три дня про запас. Есть вермишель придется без масла,— от вчерашней стряпни ничего не осталось. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила, что Катрин, приготовляя бутерброды для завтрака, совершила настоящее чудо: в масленке оказался комочек масла величиной с орех. Но в буфете теперь не было ничего съестного, ни единой корки хлеба, ни одной обглоданной косточки. Что же будет со всей семьей, если Мегра́ заупрямится и не отпустит в долг провизии и если хозяева Пиолены не дадут ей пяти франков, как она надеялась. Ведь когда мужчины и Катрин вернутся из шахты, им надо поесть,— к несчастью, еще не изобрели способа жить без еды.

— Да идите вы сюда наконец! — крикнула она, рассердившись.— Мне уходить надо.

Когда Альзира и малыши спустились в кухню, она разложила сваренную вермишель по трем тарелочкам. Себе она ничего не взяла, сказав, что ей не хочется есть. Хотя Катрин уже заваривала кипятком вчерашнюю кофейную гущу, мать сделала то же самое еще раз и, надеясь хоть немного подкрепиться, выпила две больших кружки жиденького отвара, цветом похожего на воду, окрашенную ржавчиной.

— Ну слушай,— сказала она Альзире.— Деда смотри не буди, пусть спит. Присматривай хорошенько за Эстеллой, а то еще упадет, разобьет себе голову. Если она проснется и очень развоюется,— на вот кусок сахара, раствори его в воде и пои сестренку с ложечки... Я знаю, ты у меня хорошая девочка и не съешь сама сахара.

— А как же школа, мама?

— Школа? Что ж делать, завтра пойдешь. Сегодня ты дома нужна.

— А суп? Хочешь, я сварю суп? Ты, может, поздно вернешься.

— Суп?.. Суп?.. Нет, дождись меня.

Как и все маленькие калеки, Альзира была развита не по летам. Она хороше умела варить суп, но, должно быть, поняла, почему мать не велит, и не стала настаивать... Теперь проснулся весь поселок. Дети стайками шли в школу, шаркая башмаками на деревянной подошве. Пробило восемь часов. С левой стороны, из квартиры Леваков, все время доносился гул разговора. Для женщин день начинался сборищем вокруг кофейника, когда они, подбоченясь, мелют языками, словно мельница жерновами. К кухонному окошку с улицы прильнула увядшая физиономия с толстыми губами и приплюснутым носом, и послышался визгливый голос:

— Новости есть, идем, послушаешь!

— Нет, нет, попозже загляну,— ответила жена Маэ.— Мне по делу надо сходить.

Побоявшись поддаться соблазну выпить у соседки стакан горячего кофе, она поспешила накормить Ленору и Анри и ушла вместе с ними. Наверху все так же крепко спал старик Бессмертный, и по всему дому раздавались мерные раскаты его зычного храпа.

Выйдя на улицу, мать, к своему удивлению, убедилась, что ветер стих. Внезапно настала оттепель: хмурилось серое небо; стали липкими от сырости зеленоватые стены, на дорогах стояла непролазная грязь, какую встретишь только в угленосной местности,— черная как сажа, густая и до того вязкая, что ног из нее не вытащить. Матери тотчас же пришлось отшлепать Ленору за то, что девочка для забавы загребала грязь носком башмака, словно лопатой. Выйдя из поселка, мать миновала террикон и направилась к каналу, пробираясь для сокращения пути по ухабистым тропинкам между пустырями, огороженными ветхими, замшелыми заборами. Одно за другим тянулись длинные заводские строения, высокие трубы выплевывали сажу, оседавшую на изрытые, обезображенные поля вокруг промышленного пригорода. За купой тополей над старой Рекильярской шахтой еще торчали огромные толстые балки — остатки развалившегося копра. Повернув направо, жена Маэ вышла на большую дорогу.

— Погоди, погоди, поросенок ты этакий! — закричала она.— Я тебе покажу! Не смей шарики скатывать!

Теперь провинился Анри: набрав пригоршню грязи, он лепил из нее шарики. С примерным беспристрастием мать нашлепала обоих ребятишек, и те, присмирев, зашагали дальше, искоса поглядывая, как их собственные следы отпечатываются на бугорках размокшей глины. Они спотыкались, и оба уже совсем измучились — так трудно им было вытаскивать ноги из липкой грязи.

На протяжении двух километров мощеная дорога из Маршьена, ровная, прямая, тянулась между красноватыми глинистыми полями, словно лента, покрытая смазочным маслом. Но дальше,

пройдя через городок Монсу, построенный на скате широкой складки земли, она спускалась петлями. Дороги, соединяющие промышленные города Северной Франции и проложенные по линеечке, с пологими спусками и подъемами, мало-помалу обстраиваются с обеих сторон домами так, что целый округ постепенно становится рабочим поселком. Маленькие кирпичные домики были тут выкрашены в яркие цвета для того, чтобы унылый пейзаж стал веселее,— одни были желтые, другие голубые, а некоторые коричневые,— вероятно, люди желали предварить ту темную, бурую окраску, которую в конце концов принимали здесь все строения; домики лепились слева и справа от дороги, окаймляя ее извилины, до самой подошвы склона. Тесный строй узких фасадов разрывали большие трехэтажные особняки, где жило заводское начальство. Церковь, тоже кирпичная, с прямоугольной колокольней, уже потемневшей от угольной пыли, походила на доменную печь нового образца. Среди сахарных заводов, канатных мастерских, паровых мельниц нашли себе место, и притом преобладающее, танцевальные залы, кабачки, пивные, винные погребки, столь многочисленные, что на тысячу домов приходилось более пятисот питейных заведений.

Приближаясь к зданиям Компании — длинному ряду складов и мастерских,— жена Маэ взяла Анри и Ленору за руки, и детишки засеменили — мальчик слева, девочка справа от матери. Подальше стоял особняк директора копей г-на Энбо, построенный в стиле швейцарского шале, отделенный от дороги решеткой, за которой разбит был сад с чахлыми деревьями. Когда жена Маэ с детьми проходила мимо особняка, у подъезда остановилась коляска, и из нее вышли господин с орденской ленточкой в петлице и дама в меховом манто,— вероятно, гости, приехавшие из Парижа в Маршьен поездом; в полумраке вестибюля появилась г-жа Энбо, из отворенной двери послышались ее удивленные и радостные возгласы.

— Да идите живее, чего тащитесь! — ворчала мать и тянула за руки своих малышей, увязавших в грязи.

Ведь уже подходили к лавке Мегра, и она все больше волновалась. Мегра жил рядом с г-ном Энбо — только забор отделял директорский особняк от домика лавочника; у Мегра при доме был склад товаров — длинный бревенчатый сарай, в одном конце которого, выходившем на улицу, была устроена лавка без витрин и без всяких вычур. Тут можно было найти все, что угодно: бакалейные товары и колбасные изделия, овощи и фрукты, хлеб, пиво, чашки и кастрюли. Раньше Мегра служил охранником на Ворейской шахте, а выйдя в отставку, завел маленькую лавочку; благодаря покровительству своих бывших начальников он расширил дело и мало-помалу прибрал к рукам всю розничную торговлю в

Монсу, разорив остальных лавочников. Выбор товаров у него был богаче; при большом числе покупателей — жителей рабочих поселков — он мог продавать чуть-чуть дешевле других и даже открывать кредит. Впрочем, он по-прежнему был в руках Компании, которая построила ему и домик, где он жил, и лавку.

— Я опять к вам, господин Мегра,— смиренным тоном сказала Маэ, увидев его у дверей лавки.

Мегра, не отвечая, посмотрел на нее. Этот толстый, бесстрастный и учтивый торгаш с гордостью говорил, что никогда не отступает от принятого им решения.

— Нет уж, господин Мегра... вы меня не прогоните, как вчера. А то как нам дожить до субботы? В доме ни крошки хлеба... Мы еще не расплатились, знаю... Шестьдесять франков два года должны.

Она говорила короткими, отрывистыми фразами, с трудом подбирая слова. Шестьдесят франков они заняли во время последней забастовки. Раз двадцать давали обещание расквитаться, и все не могли это сделать: никак не удавалось выкраивать по сорок су каждые две недели и уплатить долг по частям. А третьего дня как назло пришлось отдать двадцать франков сапожнику,— он грозил продать с молотка все, что у них есть. Вот почему они и остались без гроша. Не то как-нибудь перебились бы до субботней получки.

Выпятив брюхо и скрестив на груди руки, лавочник в ответ на все ее мольбы только отрицательно мотал головой.

— Господин Мегра, две буханки хлеба. Я ведь понимаю... Я не прошу лишнего, не прошу кофе... Только две трехфунтовых буханки в день.

— Нет! — гаркнул он наконец.

Из лавки выглянула его жена, тщедушная женщина, целые дни корпевшая над счетной книгой, не дерзавшая поднять голову. Она юркнула обратно в лавку, увидев, что несчастная просительница смотрит и на нее с пламенной мольбой. Ходили слухи, что она покорно уступает свое место на супружеском ложе откатчицам из числа покупательниц мужниной лавки. Все прекрасно знали, что если углекоп хотел добиться продления кредита, ему стоило только послать к лавочнику дочь или жену,— безразлично, были ли они красивы или безобразны, лишь бы не строптивы.

И теперь, взирая с мольбой на Мегра, жена Маэ испытывала тягостное смущение, чувствуя, что пристальный похотливый взгляд его маленьких водянистых глаз раздевает ее. Экий мерзавец! Ну была бы она молодой и еще бездетной бабенкой, а не почтенной матерью семерых детей! И в негодовании она пошла прочь, схватив за руку Ленору и Анри, которые усердно подбирали в канаве ореховые скорлупки и рассматривали их.

— Не принесет вам это счастья, господин Мегра! Попомните мое слово!

Оставалась лишь одна надежда — на хозяев Пиолены. Если они не дадут пяти франков, тогда хоть ложись да помирай. Она свернула влево, на дорогу к Жуазелю. На перекрестке дорог находилась резиденция правления — большое кирпичное здание, настоящий дворец, в котором каждую осень важные господа, приезжавшие из Парижа,— богачи, князья, генералы и прочие власти,— задавали пышные банкеты. Проходя мимо этого дома, Маэ уже прикидывала, на что она потратит пять франков: прежде всего купит хлеба, потом кофе, потом четверть фунта масла, мерку картошки для утреннего супа и вечерней еды; ну еще, может быть, немного студня,— ведь отцу надо поесть мясного.

Навстречу ей попался настоятель приходской церкви в Монсу аббат Жуар; подобрав сутану, он шел осторожно, словно большой откормленный кот, боящийся замочить шерстку... Аббат обладал мягким нравом и, не желая восстанавливать против себя ни рабочих, ни хозяев, старательно подчеркивал, что он далек от всего житейского.

— Здравствуйте, господин аббат.

Аббат Жуар улыбнулся детям и прошел мимо, не взглянув на их мать, застывшую посреди дороги. Маэ отнюдь не была набожной женщиной, просто ей почему-то пришло на ум, что священник даст ей немного денег.

И снова они тронулись в путь, месили ногами черную липкую грязь. Надо было пройти еще два километра, тащить за собою ребятишек, а они от усталости приуныли и еле-еле перебирали ножонками. Справа и слева от дороги тянулись все такие же пустыри, огороженные дощатыми заборами, такие же закопченные фабричные корпуса, вздымавшие высокие трубы. Дальше раскинулась по сторонам необозримая низменность, темный океан вспаханной земли, и вплоть до лиловатой далекой полоски Вандамского леса не возвышалось над этим простором ни единого дерева.

— Мама, на ручки!

Мать брала на руки то одного, то другого. В выбоинах шоссе застоялись лужи. Маэ подоткнула юбки, боясь, что иначе придет вся забрызганная грязью. Три раза она едва не упала: очень скользкие были эти чертовы булыжники. А когда наконец дошли до крыльца господского дома, на них набросились два огромных пса, такие страшные, лаявшие так свирепо, что дети завопили от ужаса. Кучеру Грегуаров пришлось кнутом отогнать собак.

— Снимите на крыльце башмаки,— твердила Онорина.

Войдя в столовую, дети и мать замерли, ошеломленные внезапной волной тепла, и, оробев, в смущении глядели на старого

барина и старую барыню, полулежавших в удобных креслах и спокойно смотревших на просителей.

— Дочурка,— сказала г-жа Грегуар.— Исполни свою обязанность.

Грегуары поручали Сесиль раздавать подаяние бедным. По их понятиям, это входило в правила поведения благовоспитанной девицы. Нужно быть милосердным, говорили они, полагая, что на их доме почиет благодать божия. Впрочем, они гордились тем, что творят добрые дела разумно, ибо всегда боялись, как бы милостыней не оказать поощрение пороку. Поэтому они никогда не подавали деньгами, никогда! Даже десяти су, даже двух су. Дай бедняку грош, он его непременно пропьет. Милостыню они всегда давали натурой,— главным образом теплой одеждой, оделяя ею в зимнее время самых бедных детей.

— Ах, миленькие мои, ах, бедняжки! — заохала Сесиль.— Какие бледненькие. И в такой холод ходят! Онорина, поди возьми в шкафу сверток, принеси.

Обе служанки тоже смотрели на несчастных малышей с тревожной жалостью доброжелательной челяди, которая, однако, сытно кормится при господах. Когда горничная отправилась наверх выполнять поручение, кухарка, убрав со стола блюдо с остатками сдобной булки, как будто в забывчивости снова поставила его на стол и стояла, опустив руки.

— Как раз у меня есть два шерстяных платья и косынки,— продолжала Сесиль.— Вот посмотрите, как в них будет тепло бедненьким малюткам.

И тут к Маэ вернулся дар слова, она пробормотала:

— Спасибо, барышня! Спасибо! Какие вы все добрые!..

Слезы выступили у нее на глазах,— теперь она была уверена, что тут ей дадут пять франков, и думала лишь о том, как их выпросить, если добрые господа сами не предложат денег.

Горничная все не возвращалась, настало неловкое молчание. Малыши, цепляясь за юбки матери, таращили глазенки на сдобную булку и не могли отвести от нее взгляда.

— У вас только двое детишек? — спросила г-жа Грегуар, чтобы что-нибудь сказать.

— Ох, что вы, сударыня! Семеро у меня!

Господин Грегуар, снова принявшийся было за газету, даже подскочил от негодования.

— Семеро? Да зачем же столько? Боже мой!

— Это неблагоразумно! — укоризненно промолвила г-жа Грегуар.

Маэ, словно извиняясь, слегка развела руками. Что поделаешь! Хочешь не хочешь, а они родятся. Такая у нас порода. Да и то сказать, подрастут дети, пойдут работать, будут в дом прино-

сить получку. Вот и ее семье легче бы жилось, не будь у них деда, совсем немощного старика, да работали бы на шахте не только трое старших детей, а еще и эти бы в годы вошли... Но приходится кормить маленьких, хоть от них и нет никакой помощи.

— Вы, значит, давно работаете на копях? — начала свои расспросы г-жа Грегуар.

Горделивая улыбка озарила бледное лицо Маэ.

— А то как же? Давно. А то как же! Я вот, можно сказать, с детства начала и до двадцати лет все под землей работала. А потом доктор не велел: тебя, говорит, мертвой оттуда вынесут. Я тогда второго ребенка родила, и какое-то повреждение в костях у меня получилось. Да еще я как раз тут замуж вышла, дома работы было по горло... А про мужа если сказать, так у них весь род всегда в копях работал. И дед, и прадед, и прапрадед, и уж не знаю кто еще! С самого что ни на есть начала,— как первый раз ударили кайлом в Рекильярской шахте.

Господин Грегуар задумчиво глядел на эту женщину и на ее жалких детей с бледными, прозрачными лицами и белесыми волосами; оба ребенка носили на себе печать вырождения: низкорослые, анемичные, некрасивые и вялые дети, никогда не евшие досыта. Опять наступило молчание, слышалось только, как в камине чуть потрескивает горящий уголь, выпуская струйки газа. В душной, жаркой комнате царила дремотная, ленивая тишина, атмосфера благоденствия, наполняющая уютные уголки в счастливых буржуазных семьях.

— Да что ж она там копается? — нетерпеливо воскликнула Сесиль.— Мелани, поди скажи ей, что сверток лежит в шкафу, на нижней полке, слева.

А г-н Грегуар вслух выразил глубокомысленные соображения, возникшие у него при виде этих обездоленных:

— Не легко людям живется, это верно. Но знаете, голубушка, надо сказать, что рабочие ведут себя весьма неблагоразумно... Например, вместо того чтобы откладывать деньги про черный день, как это водится у хозяйственных крестьян, углекопы пьют, залезают в долги и в конце концов смотрите,— им нечем кормить семью.

— Правильно вы говорите,— осторожно поддакивала Маэ.— Много есть таких, что с пути сбились. Если какой-нибудь пропойца жалуется, я ему говорю: сам виноват... Мне-то вот хороший муж попался, не пьяница. Ну, бывает, иной раз люди кутнут в праздник, и он с ними хватит лишнего. Но только и всего. На этот счет он молодец, надо похвалить. А ведь до женитьбы пил без просыпу. Свинья свиньей! Не обессудьте на слове. А женился — остепенился. Да что нам от того толку. Бывают такие дни, вот как

нынче, например,— обшарьте все ящики в доме, ни гроша не найдете.

Желая навести Грегуаров на мысль о милостыне в пять франков, она все говорила, говорила своим певучим голосом, рассказала, как образовался у них злополучный долг, как он был сначала совсем незаметным, но вскоре вырос и прямо их съел. Сперва каждые две недели в погашение его аккуратно делали взносы. И много взносов сделали, но один раз просрочили, и с тех пор — кончено: никак не могут наверстать, никогда им теперь не расплатиться. Где там! До самой смерти не выбраться из нужды. А к слову сказать, насчет выпивки,— что уж тут скрывать: углекопу требуется кружку пива пропустить, чтобы прочистить глотку, смыть угольную пыль. Вот с этой кружки все и начинается, а потом и пойдет и пойдет: не вылезает человек из кабаков. Когда стрясется беда, он топит горе в вине. Конечно, жаловаться ни на кого не стоит, а все-таки рабочие маловато зарабатывают.

— Я думала,— сказала г-жа Грегуар,— что Компания дает вам квартиру и отопление.

Маэ бросила осторожный взгляд на камин, где ярким огнем пылал превосходный уголь.

— Верно, верно. Уголь нам дают, не так чтобы очень хороший, но все-таки топить можно... И за квартиру берут недорого— шесть франков в месяц. Как будто и немного, а зачастую так бывает, что трудно эти шесть франков заплатить. Нынче, например, хоть на куски меня режь, нет ни гроша.

Барин и барыня молчали, нежась в мягких удобных креслах; им надоело и неловко было слушать назойливое повествование о нищенской жизни углекопов. Маэ с испугом подумала, что они обиделись, и добавила спокойным тоном рассудительной и практичной женщины:

— Да я просто так говорю, не жалуюсь. Ведь это уж у кого какая судьба. С ней не поспоришь. Как ни бейся, нам ничего не изменить. Лучше всего — не правда ли, сударь, не правда ли, сударыня? — честно делать свое дело на том самом месте, куда господь тебя поставил.

Господин Грегуар вполне с ней согласился.

— Если вы так смотрите, голубушка, вам никакая беда не страшна, вы всегда будете счастливы.

Онорина и Мелани принесли наконец сверток. Сесиль сама его развязала и достала из него два платья. Она добавила к ним две косынки, чулки и даже перчатки — все, конечно, прекрасно подойдет детям; она торопилась, так как пришла учительница музыки. Приказав служанке поскорее завернуть отобранные вещи, добрая барышня уже подталкивала мать и ребятишек к двери.

— Мы сейчас совсем без денег,— дрожащим голосом произнесла Маэ.— Нам было только пять франков...

И голос у нее оборвался, ведь у всех Маэ была своя гордость, они никогда не просили милостыни. Сесиль тревожно посмотрела на отца, но тот отказал наотрез и с таким видом, словно выполнял некий долг:

— Нет, это не в наших правилах. Мы не можем.

Девушка, видя, как потрясена отказом просительница, решила осчастливить детей. Они по-прежнему не сводили глаз со сдобной булки. Сесиль отрезала два куска и оделила обоих.

— Это вам, возьмите!

Но тут же отобрала у них булку, потребовала старую газету.

— Погодите. Вам завернут, и вы поделитесь дома с братьями и сестрами.

И на глазах родителей, умиленных ее добротой, она вытолкала малышей за дверь. Бедные ребятишки, у которых не было хлеба, ушли, почтительно сжимая окоченевшими от холода ручонками кусок слоеной булки.

Мать тащила детей по мощеной дороге, ничего не замечая вокруг — ни пустынных полей, ни черной грязи, ни широкого пасмурного неба: все кружилось у нее перед глазами. Пройдя обратно через Монсу, она вошла в лавку Мегра с таким решительным видом, молила его так страстно, что в конце концов он отпустил ей в долг две буханки хлеба, кофе, масла и монету в пять франков — ведь он давал и деньги в рост. Мегра покушался не на нее, а на Катрин: мать поняла это, когда он велел ей, чтобы за провизией она присылала дочь. Ладно, посмотрим, там видно будет. Катрин надает ему оплеух, если он к ней полезет.

III

В поселке Двести Сорок, на колокольне маленькой кирпичной церквушки, где аббат Жуар по воскресеньям служил обедню, пробило одиннадцать часов. Из соседней школы, тоже помещавшейся в кирпичном здании, сквозь запертые по случаю зимних холодов окна доносился громкий гул: дети читали нараспев по складам. Широкие улицы между четырьмя однообразными кварталами поселка, разрезанные на части садиками, все еще оставались безлюдными; глубокое уныние навевали эти садики — зима опустошила их и обнажила желтую глинистую почву, лишь кое-где торчали забрызганные грязью последние кустики порея и петрушки. Везде варили суп, из труб поднимался дым; время от времени выскакивала на улицу какая-нибудь женщина и, пробежав до крылечка соседей, исчезала за дверью. По всему поселку из водосточ-

ных желобов падали в бочки, стоявшие по углам домов, крупные капли воды, дождя не было, но тучи затягивали небо, и воздух был насыщен влагой; во всей деревне, построенной среди обширного плато и, словно траурной каймой, обведенной черными дорогами, только и было яркого и веселого, что ровные полосы красных черепичных крыш, беспрестанно омываемых короткими проливными дождями.

Жена Маэ наконец возвратилась домой, но сначала она завернула к жене стражника купить картофеля, еще державшегося у этой женщины с осени. За невысокой оградой хилых тополей (только они и росли на этих плоских равнинах) виднелись отдельные группы домиков,— по четыре домика, окруженных палисадниками. Это был новый опыт Компании: домики предназначались для штейгеров, и рабочие дали этим привилегированным выселкам название «Шелковые чулочки», а собственно поселок именовали «Плати долги», беззлобно подсмеиваясь над своей нищетой.

— Ух! Пришли наконец! — сказала Маэ, нагруженная пакетами, и втолкнула в дом Ленору и Анри, перепачканных грязью, едва волочивших ноги.

У очага во весь голос кричала Эстелла, которую укачивала на руках Альзира: сахара не осталось, и маленькая нянька, не зная, как успокоить ребенка, делала вид, будто кормит его грудью. Иной раз обман удавался. Но в тот день Альзира напрасно расстегивала платьишко и прикладывала ротик Эстеллы к своей худенькой детской груди; голодная малютка тщетно стискивала деснами складку кожи и заливалась неистовым плачем.

— Сейчас возьму ее! — крикнула мать, как только освободилась от своей ноши.— А то она не даст нам слова сказать.

Мать выпростала из корсажа тяжелую набухшую грудь, крикунья присосалась к горлышку этого живого сосуда и тотчас умолкла,— можно было наконец поговорить. Оказалось, все шло хорошо: маленькая хозяйка подсыпала угля в очаг, подмела пол, всюду прибрала. В тишине слышно было, как храпит дед,— все так же громко, равномерно, не останавливаясь ни на секунду.

— Ах, сколько ты всего накупила! — восклицала Альзира, с радостной улыбкой глядя на принесенную провизию.— Давай, мама, я сварю суп.

Весь стол был загроможден: сверток с одеждой, две буханки хлеба, картофель, масло, кофе, цикорий и полфунта студня.

— Да, да, суп! — устало сказала Маэ.— Надо еще пойти нарвать щавелю и выдернуть несколько головок луку... Нет, я попозже приготовлю для мужчин суп. А пока свари картошки, мы ее чуточку помаслим и поедим... И кофе попьем. Не забудь кофе сварить!

И тут она вспомнила о сдобной булке. Она посмотрела на Ленору и Анри,— в руках у них было пусто, оба возились на полу, уже отдохнув и повеселев. Ах, лакомки, они, значит, дорогой тайком съели булку! Мать надавала им шлепков; Альзира, поставив котелок на огонь, старалась ее успокоить:

— Оставь их, мама. Из-за меня сердишься? Не стоит. Ты ведь знаешь, по мне хоть бы и вовсе не было сдобных булок. А им хотелось есть, ведь вы далеко ходили пешком.

Пробило полдень, из школы высыпали дети, послышался топот маленьких ног, обутых в башмаки с деревянными подошвами. Картошка сварилась, кофе, в который для густоты на добрую половину подмешали цикория, так славно булькал и, проходя через ситечко, падал тяжелыми каплями в резервуар кофейника. Один конец стола освободили, но ела за ним только мать,— детям служили столом собственные колени, и маленький Анри, отличавшийся большим аппетитом, то и дело оборачивался и жадным взглядом молча смотрел на студень, завернутый в засалившуюся бумагу.

Мать маленькими глотками пила кофе, обхватив стакан обеими руками, чтобы согреться; и тут вдруг в комнату пришел Бессмертный. Обычно он вставал позднее, и завтрак для него уже стоял на огне. В этот день он разворчался, почему не сварили супа! Сноха возразила ему, что не всегда можно делать то, что хочется, и тогда он молча принялся за вареную картошку. Время от времени он вставал и, подойдя к очагу, сплевывал в золу — для опрятности; затем снова садился на свой стул и, понурившись, с закрытыми глазами перекатывал во рту сухую картошку.

— Ох, я и забыла, мама! — спохватилась Альзира.— Соседка приходила...

Мать сердито оборвала ее:

— Надоела она мне!

В душе она затаила обиду против этой соседки, жены Левака. Такая скареда! Вчера нарочно плакалась на горькую свою нужду, боясь, чтобы соседка не попросила сколько-нибудь в долг, а между тем Маэ знала, что сейчас Леваки при деньгах: жилец заплатил им за две недели вперед. Впрочем, в поселке люди старались не занимать друг у друга денег.

— Постой, я кое-что вспомнила,— сказала вдруг Маэ.— Заверни-ка в бумажку кофе на одну заварку... Отнесу жене Пьерона,— я у нее брала третьего дня.

А когда дочь приготовила пакетик, мать добавила, что сейчас вернется и тотчас же сварит суп для мужчин. Потом отправилась с Эстеллой на руках, предоставив старику Бессмертному в одиночестве перетирать беззубыми деснами картофель, а Леноре и Анри драться из-за упавших на пол картофельных очисток.

Не желая делать крюк и боясь, как бы жена Левака не окликнула ее, она пошла напрямик, через садик. Ее садик примыкал к садику Пьеронов, и в разделявшей их решетчатой изгороди была дыра, через которую соседи ходили друг к другу. Тут был колодец, которым пользовались четыре семейства. Возле него за чахлыми кустами сирени находился низкий сарай, набитый инструментами, в нем держали также (по одному) кроликов, которых съедали в праздничные дни. Пробило час — время, отведенное для питья кофе: в эту пору обычно ни души не было видно ни на крылечке, ни в саду. Один только ремонтный рабочий до начала смены вскапывал грядки под овощи и, усердно орудуя лопатой, не поднимал головы. Но когда Маэ вышла задворками к соседнему крыльцу, она увидела на противоположной стороне улицы, у церкви, какого-то господина и двух дам. На минутку остановившись, она узнала их: г-жа Энбо показывала рабочий поселок своим гостям — господину с орденом и даме в меховом манто.

— Ах, зачем ты беспокоилась! — воскликнула жена Пьерона, когда Маэ отдала ей кофе.— Я вполне могла бы подождать.

Жене Пьерона было двадцать восемь лет. Эта большеглазая, черноволосая женщина считалась в поселке красавицей; правда, у нее был низкий лоб и тонкие поджатые губы, но зато она пленяла кокетством, была опрятна, как кошечка, и, оставшись бездетной, сохранила красивую грудь. Ее мать, по прозвищу Горелая, вдова забойщика, погибшего в шахте, клялась и божилась, что никогда не выдаст дочь за углекопа, и сперва посылала ее работать на фабрику; теперь старуха из себя выходила, что все-таки ее дочь, несколько засидевшаяся в девицах, вышла за Пьерона — за углекопа, да к тому же еще вдовца, у которого была восьмилетняя дочь. Однако супруги жили счастливо, хотя о них без конца сплетничали, рассказывали всякие анекдоты о снисходительности мужа и любовниках жены; у Пьеронов не было ни гроша долга, два раза в неделю они ели мясо, жена содержала дом в величайшей опрятности,— хоть глядись, как в зеркало, в начищенные ею кастрюли. И в довершение благополучия Компания, по протекции, разрешила жене Пьерона торговать конфетами и пряниками,— банки со сластями она выставляла у себя в окне на полках. Торговля приносила ей шесть-семь су выручки в день, а иной раз, в воскресенье, и двенадцать су. Благоденствию супругов мешала лишь старуха Горелая, заядлая бунтовщица, питавшая исступленную ненависть к хозяевам и жаждавшая им отомстить за смерть своего мужа; да еще мешала всем маленькая шустрая Лидия, которую все они, люди вспыльчивые, частенько награждали затрещинами.

— Ну и большая у тебя стала девчушка! — сказала жена Пьерона, делая Эстелле «козлика» и «ладушки».

— Ах, измучила она меня совсем! Лучше не говори! — раз-

охалась мать.— Счастье твое, что у тебя нет пискунов! Вон какая в твоем доме чистота!

Хотя у самой Маэ во всем был порядок, хотя она каждую субботу устраивала стирку и большую уборку, она завистливым взглядом рачительной хозяйки окинула светлую комнату, в убранстве которой была даже своего рода изысканность: золоченые вазы на буфете, на стенах зеркало и три картины в рамах. Жена Пьерона пила кофе в одиночестве,— вся семья была в шахте.

— Выпей со мной за компанию стаканчик,— предложила она.

— Нет, спасибо, только что дома пила.

— Ну так что ж? Вреда не будет.

В самом деле, какой тут вред? И обе не спеша выпили по стакану. Между банками с пряниками и леденцами им видны были дома, стоявшие напротив; бо́льшая или меньшая белизна занавесок, висевших на окнах, свидетельствовала о домашних добродетелях хозяек. У Леваков занавески были так грязны, будто ими вытирали закопченные донышки кастрюль.

— Вот мерзость! И живут же люди в этакой грязище! — пробормотала жена Пьерона.

И тут Маэ заговорила, да так, что удержу ей не было. Эх, будь у нее такой жилец, как Бутлу, она бы показала, как надо вести хозяйство! Если взяться умеючи, жильца держать очень выгодно. Только не надо брать его в любовники. А у этой Левак вдобавок муж пьянчуга, да еще бегает за певичками в кафешантанах Монсу. Жена Пьерона сделала брезгливую гримасу. От этих шлюх мужчины и заражаются дурными болезнями... В Жуазеле одна такая тварь всю шахту перезаразила.

— Удивляюсь я,— сказала она,— как это ты позволила своему сыну путаться с дочерью Леваков.

— Поди-ка попробуй не позволить. Ведь мы как живем: вот тут их огород, а тут наш. Летом Захарий всегда с Филоменой за кустами сирени обнимаются. И на крыше сарайчика они валялись. Бывало, пойдут люди к колодцу за водой, и непременно на них, бесстыжих, наткнутся.

Это была обычная в поселке история беспорядочной близости полов, развращавшей и парней и девушек; лишь только темнело, парочки, как говорилось, «жартовали», взобравшись на пологие крыши низких сарайчиков. Именно тут откатчицы и зачинали первого ребенка, хотя иные все же предпочитали встречаться не так близко к дому и устраивали свидания у Рекильярской шахты или в поле, среди хлебов. Связи эти не влекли за собою тяжелых последствий: обычно любовники сочетались браком; но матери сердились, если парень заводил себе возлюбленную слишком рано, потому что, женившись, сын уже не давал денег в семью.

— На твоем месте я бы их разлучила,— назидательным тоном сказала жена Пьерона.— А то что же? Захарий уже двоих ребятишек ей сотворил, а пойдет так дальше — не миновать свадьбы. Тогда распростись с его заработком.

Маэ в негодовании всплеснула руками:

— Я их прокляну, если они сойдутся... Разве Захарий не обязан почитать отца с матерью? Ведь мы его растили, тратились на него! Так пусть теперь помогает родителям, а потом вешает себе жену на шею... Да что с нами станется, если наши дети, как подрастут, сразу станут на чужих работать! Тогда хоть ложись да помирай.

Но она быстро успокоилась:

— Я ведь просто так говорю, вообще... Поживем, увидим... Спасибо за угощенье. Такой крепкий кофе, такой хороший,— видно, ты всего сколько надо положила.

И через четверть часа, посвященные другим темам, Маэ вдруг вспомнила, что у нее до сих пор не сварен суп. По улице опять шли дети, возвращаясь после перерыва в школу; кое-где на крылечках стояли женщины, смотрели на г-жу Энбо, которая проходила по улице и, указывая рукой то на одно, то на другое, рассказывала гостям о поселке. Рабочий, вскапывавший грядки, на минутку прервал работу; две курицы с тревожным кудахтаньем забегали по огороду.

У самого своего дома Маэ натолкнулась на жену Левака,— та вышла, чтобы перехватить на дороге доктора Вандергагена, состоявшего на службе у Компании; этот низенький и щуплый, вечно торопившийся человечек, изнемогавший от бремени работы, давал врачебные советы на ходу.

— Господин доктор,— сказала жена Левака,— я по всем ночам глаз не смыкаю. И все-то у меня болит... Поговорить бы с вами о моей хвори...

Доктор Вандергаген, всем в поселке говоривший «ты», не останавливаясь, бросил:

— Оставь меня в покое. Поменьше кофе пей.

— А как же насчет моего мужа? — спросила, в свою очередь, Маэ.— Вы бы зашли к нам, осмотрели его... Очень ноги у него болят. Все не проходит ревматизм.

— Да это ты его изводишь... Оставь меня в покое!

Обе женщины, остолбенев, смотрели вслед убегавшему от них доктору. Обменявшись безнадежным взглядом, они пожали плечами.

— Ну-ка, зайди к нам,— сказала Левак.— Знаешь, есть новости... И кофе не мешает выпить. Свеженького заварила.

Маэ сперва отказывалась, но вскоре сдалась: ну что ж, чуточку можно выпить, чтобы не обидеть соседку. И она зашла.

В комнате было необыкновенно грязно: на полу и на стенах жирные пятна, буфет и стол липкие от грязи; и сразу же в горле запершило от зловония, пропитавшего дом неряхи-хозяйки. Возле огня сидел Бутлу, жилец Леваков, и, навалившись локтями на стол, доедал остатки вареной говядины; у тридцатипятилетнего силача Бутлу были широкие плечи, толстая шея и благодушная физиономия. Около жильца, прижавшись к его колену, стоял первенец Филомены, маленький Ахилл, которому шел третий год, и глядел на него с немой мольбой, как голодный зверек. Несмотря на разбойничью черную бороду, у Бутлу была нежная душа, и время от времени он совал ребенку в рот кусочек мяса.

— Погоди, я сейчас подслащу,— сказала жена Левака и положила в кофейник сахарного песку.

Она была на шесть лет старше жильца и безобразна до ужаса: изношенная, с обвисшей грудью, с обвисшим животом, с плоской физиономией, украшенной седеющей щетиной, всегда растрепанная.

Бутлу принял эту связь совершенно просто, не разбирая, как ел он, не разбирая, похлебку, в которой попадались чьи-то волосы, как спал он, не разбирая, в постели, на которой простыни меняли раз в три месяца. Эта связь входила в условия найма жилья. Левак любил говорить, что денежки счет любят.

— Знаешь, что я хотела тебе сказать? — продолжала жена Левака.— Вчера жена Пьерона все крутилась около «Шелковых чулочек». Потом встретилась со своим ухажером за кабаком Раснера, и они вместе улепетнули по берегу канала... Ну, каково? Вот бессовестная! А еще мужняя жена!

— Ну что ж! — подхватила Маэ.— Пьерон до женитьбы таскал штейгеру кроликов, а теперь свою жену преподносит. Это дешевле обходится.

Бутлу разразился зычным хохотом, обмакнул в подливку кусок хлеба и сунул его в рот Ахиллу. Хозяйка и гостья, облегчая себе душу, все судачили о жене Пьерона. И ничего в ней нет красивого, нисколько не лучше других, кокетка, и больше ничего. Целыми днями смотрится в зеркало — не вскочил ли на морде прыщ, намывается, мажется, помадится. Ну что ж, в конце концов это дело мужа. Нравится ему такое кушанье — пусть ест. Ведь некоторые мужья до того начальнику хотят угодить, что готовы за ним ночные горшки выносить, лишь бы он сказал: «Спасибо». Наконец сплетницы умолкли: пришла соседка, держа на руках девятимесячную девочку — второго ребенка Филомены. Приходить к завтраку домой мать не могла и договорилась, чтобы малютку приносили к ней в сортировочную, и там, присев на куче угля, кормила ее грудью.

— Смотри-ка, а я вот и на минуту не могу отойти от своей девчонки, сразу орать начинает. Такая горластая! — сказала Маэ, глядя на Эстеллу, заснувшую у нее на руках.

Но ей все-таки не удалось избегнуть объяснения, которого жена Левака упорно требовала взглядом.

— Слушай, как-никак, а ведь дело-то надо кончать.

Еще недавно обе матери без всяких переговоров пришли к единодушному решению: не спешить с этим браком. Мать Захария хотела, чтобы сын как можно дольше приносил домой свою получку, а мать Филомены из себя выходила при мысли, что она лишится заработка дочери. К чему торопиться? Жена Левака даже предпочитала держать внука у себя, пока он был единственным ребенком; но когда он стал подрастать и на него пошел хлеб да когда родился второй ребенок, держать дочь в доме стало убыточно, и мать Филомены с яростной настойчивостью старалась сбыть ее с рук, не желая «докладывать своих» на ее содержание.

— Захарий уже призывался, тянул жребий,— продолжала она разговор.— За чем теперь остановка?.. Когда свадьба?

— Отложим хоть до весны,— смущенно ответила Маэ.— Вот беда-то! Такая, право, досада. Как будто не могли они подождать! Сперва женились бы, а потом детей плодили!.. Честное слово: собственными своими руками удавлю Катрин, если она вздумает дурить.

Жена Левака пожала плечами.

— Да брось ты! Будет и с ней то же самое. Как у всех.

Бутлу спокойно, словно был у себя дома, порылся в буфете, отыскивая хлеб. На углу стола лежали картофелины и головки лука,— хозяйка собиралась сварить для мужа суп; она двадцать раз принималась чистить овощи и бросала, увлеченная бесконечными пересудами с кумушками. Наконец она все-таки решила приняться за работу, но вдруг вновь выпустила из рук нож и картофелину и уставилась в окно.

— Что это там? Кто такие?.. Ой, да это сама госпожа Энбо с какими-то людьми. Смотри-ка, зашли к Пьеронам.

И тут обе женщины снова напустились на жену Пьерона. Глядите-ка, что делается! Всякий раз как Компания показывает поселок приезжим господам, их сразу же ведут в дом Пьерона. Потому как там чистота! Гостям, поди, не рассказывают про шашни его жены со штейгером. Отчего бы ей не наводить чистоту, когда у нее любовники по три тысячи франков жалованья получают при готовой квартире и отоплении; от них ей немало перепадает — и деньгами и подарками. Сверху там всегда чисто, а внутри одна грязь. И все время, пока посетители находились в доме Пьерона, собеседницы трещали без умолку.

— Вон, смотри, выходят,— сказала наконец жена Левака.— Дальше куда-то пошли... Смотри-ка, милая, да они никак к тебе идут!

Маэ перепугалась. Кто его знает, а вдруг Альзира не убрала со стола? Да и суп тоже до сих пор не сварен! И, пробормотав: «Счастливо оставаться»,— она помчалась домой, не глядя по сторонам.

Но в доме все блестело чистотой. Видя, что мать не возвращается, Альзира, с очень серьезным личиком, повязалась передником и принялась сама готовить суп. Она сходила в огород, выдернула из грядки последние луковицы порея, нарвала щавеля и принялась чистить картофель; на огне в большом котле грелась вода,— мужчинам и Катрин, вернувшись домой, надо было помыться. Анри и Ленора, по счастливой случайности, сидели смирно и с сосредоточенным видом раздирали на части старый календарь. Старик Бессмертный молча курил свою трубку.

Маэ не успела отдышаться, как в дверь постучалась г-жа Энбо.

— Вы разрешите, голубушка? Можно к вам?

Супруга директора, высокая и статная белокурая дама, немного отяжелевшая в сорок лет, все еще была великолепна своей зрелой красотой; она улыбалась с деланной приветливостью и старалась скрыть, что опасается испачкать свое изящное шелковое платье бронзового цвета, выглядывавшее из-под черной бархатной накидки.

— Входите, входите! — говорила она своим спутникам.— Мы никому не помешаем... Ну как? Тут тоже чисто, не правда ли? А между тем у этой славной женщины семеро детей! Не менее опрятно в домах у всех наших рабочих. Я вам говорила, что Компания берет с них за квартиру только по шести франков в месяц. А у них тут большая комната в нижнем этаже, две спаленки наверху, подвал и садик.

Господин с орденской ленточкой и дама в меховом манто, приехавшие утренним поездом из Парижа, растерянно озирались, глаза у них были какие-то испуганные, а лица смущенные: по-видимому, их ошеломило внезапное столкновение с совершенно незнакомым им миром.

— Ах, еще и садик! — восхитилась дама.— Но это прелестно! Так бы и пожила здесь!

— Угля мы им даем столько, что они весь не сжигают,— продолжала г-жа Энбо.— Два раза в неделю к ним приходит врач; а на старости лет они получают пенсию,— хотя из заработной платы никаких вычетов за это не производится.

— Да это просто рай, земля обетованная! — в восторге бормотал приезжий господин.

Маэ засуетилась, пододвинула гостям стулья. Дамы отказались сесть.

Госпоже Энбо надоела роль дрессировщика, показывающего посетителям зверей в клетках; ненадолго это было для нее развлечением в тоске изгнания, но быстро опротивело; ее обоняние оскорблял тошнотворный, сладковатый запах нищенской стряпни, застоявшийся даже в самых опрятных жилищах, в которые она рисковала заглядывать. Впрочем, она лишь повторяла обрывки слышанных фраз, а ее самое нисколько не интересовало, как живет это племя рабочих, которые трудились и страдали где-то рядом с нею.

— Какие милые малютки! — продолжала дама, хотя находила безобразными этих большеголовых ребятишек с вихрами соломенного цвета. Маэ пришлось сообщить гостям, сколько лет ее детям. Ее вежливо расспрашивали и об Эстелле. Старик Бессмертный вынул трубку изо рта, желая выразить этим свое почтение к посетителям, и все же он вызывал у них тревогу — так он износился за сорок пять лет работы под землей: ноги не сгибались, в груди сипело, хрипело, лицо стало землистым, а тут еще его начал бить кашель, и старик решил выйти из комнаты, от греха подальше, а то господам неприятно будет видеть, как он отхаркивает черным в золу очага.

Зато Альзира имела большой успех. Какая хорошенькая хозяюшка в большом переднике! Все поздравляли мать — какая у нее толковая дочка, очень развитая для своих лет. Никто ни слова не сказал про ее горб, но все поглядывали на несчастную калеку с чувством жалости и какой-то неловкости.

— Ну вот,— сказала в заключение г-жа Энбо,— теперь, если в Париже будут спрашивать о наших рабочих поселках, вы можете ответить, как очевидцы... Никогда никаких неприятностей, никакого шума! Нравы самые патриархальные; все счастливы, все, как видите, здоровы. Право, в этот тихий уголок следовало бы приезжать, чтобы отдохнуть немного и подышать свежим воздухом.

— Да, здесь чудесно! Чудесно! — воскликнул господин с орденом, завершая посещение взрывом энтузиазма.

Гости вышли с очарованным видом, словно посетители ярмарочных балаганов, где показывают любопытных уродов. Они шли по тротуару, громко разговаривая между собой, и Маэ долго смотрела им вслед. Улицы наполнились народом, гости проходили мимо женщин, собравшихся в кучки, заинтересованных слухами об осмотре их поселка, облетевшими все дома.

Стоя у своей двери, жена Левака остановила жену Пьерона, прибежавшую из любопытства. Обе выразили весьма недоброжелательное удивление. Ну, что они там застряли? Или заночевать задумали? Не очень-то будет им весело!

— Эти Маэ вечно без гроша сидят! А ведь немало зарабатывают. Известно, куда у них денежки уходят!..

— А знаешь, что мне сейчас рассказали про нее?.. Она нынче утром ходила в Пиолену милостыню просить у господ. И еще люди рассказывают, как ей Мегра сперва не дал хлеба в долг, а потом вдруг расщедрился — и того и другого надавал... Знаем мы, какую плату берет Мегра.

— Да не с нее он плату берет! На что ему старуха? Он с Катрин столковался.

— Ну, скажи пожалуйста! А ведь только что хвасталась: удавлю Катрин, если она, говорит, по торной дорожке пойдет!.. Вот нахалка! Долговязый Шаваль давно ее девку на сарайчике опрокидывает.

— Тише! Господа идут.

Сразу же обе сплетницы приняли самый кроткий вид и, не проявляя неучтивого любопытства, лишь краешком глаза наблюдали за выходившими на улицу посетителями. Потом, помахав рукой, подозвали Маэ, все еще стоявшую у порога с Эстеллой на руках. И тогда втроем, застыв на месте, стали глядеть вслед нарядной г-же Энбо, удалявшейся со своими гостями. Едва посетители отошли шагов на тридцать, сплетни возобновились с удвоенной яростью.

— Ишь как обе расфуфырились! Сколько ухлопали на свои наряды! И сами того не стоят, верно?

— Еще бы! Приезжую я, понятно, не знаю, какая она, а вот про здешнюю прямо скажу: сколько она ни важничай, а грош ей цена. Чего только про нее не говорят!..

— А что? Что говорят?

— Полюбовников, говорят, у нее много... Во-первых, инженер...

— Этот заморыш-то? Да куда ему? Он у нее под одеялом потеряется!

— Ну и что ж? Может, ей такие по вкусу?

— Не верю я, знаешь, важным барыням. Они от всего нос воротят — гордость свою показывают: мне, дескать, все тут противно... Ты только погляди, как она задом вертит, на нас и смотреть не хочет, презирает нашего брата. Куда это годится?

Посетители удалялись все тем же неторопливым шагом, спокойно беседуя между собою, и тут навстречу им выехала на дорогу коляска и остановилась у церкви. Из коляски вышел господин лет сорока восьми, в облегающем черном рединготе, очень смуглый, с властным выражением красивого строгого лица.

— Муж! — пробормотала жена Левака, понизив голос, как будто г-н Энбо мог ее услышать: сразу сказался наследственный страх, который питали к директору копей десять тысяч рабочих.

— А все-таки ему, черномазому, жена рога наставляет!

Теперь в поселке все выскочили на улицу. У женщин разгорелось любопытство, собеседницы стайками подходили друг к другу, сливаясь в одну гудящую толпу; а сопливые карапузы топтались на тротуаре, раскрыв рты от удивления. На минуту над кустами живой изгороди школы даже показалось бледное лицо учителя. Рабочий, вскапывавший грядки, остановился и, поставив ногу на лопату, прислушивался, широко открыв глаза. Прерывистый гул пересудов, похожий на шум трещоток, все разрастался, словно шорох сухих листьев под налетевшим ветром в осеннем лесу.

Больше всего собралось народу перед дверью Леваков. Подошли две женщины, потом десять, потом двадцать. Жена Пьерона из осторожности помалкивала, так как теперь вокруг оказалось слишком много ушей. Маэ, женщина рассудительная, тоже ограничивалась ролью зрительницы; чтобы утихомирить Эстеллу, которая, проснувшись, раскричалась, она прямо на улице спокойно выпростала набухшую, тяжелую грудь, обвисшую и как будто вытянувшуюся от того, что она постоянно служила источником молока. Когда г-н Энбо усадил дам в коляску на заднее сиденье и лошади помчали ее в сторону Маршьена, на улице все еще раздавался визгливый хор женских голосов; женщины размахивали руками, что-то кричали друг другу; кругом была суета, как в потревоженном разъяренном муравейнике.

Но вот пробило три часа. Отправились на работу проходчики, плотники, разборщики — Бутлу и другие. Потом вдруг на повороте дороги, из-за церкви, показались первые фигуры углекопов, возвращавшихся с шахты; у всех у них были черные от угля лица, мокрая одежда; все шли сгорбившись, засунув руки под мышки. И тогда толпа женщин бросилась врассыпную; перепуганные хозяйки помчались домой, коря себя за нерадивость, ибо слишком много времени было потрачено на кофе и на сплетни. Теперь только и слышались тревожные восклицания, предвещавшие домашнюю ссору:

— Ах ты, боже мой! А суп-то! Суп-то у меня еще не готов.

IV

Когда Маэ вернулся домой, устроив Этьена у Раснера, Катрин, Захарий и Жанлен доедали суп. Возвратившись из шахты, все были так голодны, что садились за обед прямо в мокрой рабочей одежде, даже не умывшись. Никто никого не ждал, стол бывал накрыт с утра до вечера, и всегда кто-нибудь сидел за ним, торопливо уничтожая свою порцию,— время еды зависело от условий работы.

Переступив порог, Маэ сразу же заметил лежавшую на столе провизию. Он ничего не сказал, но его хмурое лицо просветлело. Все утро его мучили мысли о том, что в буфете пусто, что в доме нет ни кофе, ни масла, и от этих мыслей щемило сердце, пока он рубал уголь, задыхаясь в своем забое. Да как это жена раздобыла еды? Что с ними со всеми сталось бы, если б она вернулась сегодня домой с пустыми руками! А вот, гляди-ка, всего принесла! Потом она расскажет ему, где все достала. Он улыбался широкой, довольной улыбкой.

Катрин и Жанлен встали из-за стола и пили кофе стоя, а Захарий, не насытившись как следует супом, отрезал себе толстый ломоть хлеба и помазал его маслом. Он видел, что на тарелке лежит студень, но и не дотронулся до него: когда в доме мясного кушанья хватало только на одного, его приберегали для отца.

После супа все выпили по стакану воды. В последние дни перед получкой чистая водица заменяла собою более крепкие напитки.

— А вот пива у меня нет! — сказала Маэ, когда муж сел за стол.— Я подумала, лучше приберечь деньги... Но если хочешь, Альзира сбегает и принесет бутылку.

Маэ смотрел на нее, весь просияв. Как? У нее даже и деньги есть?

— Нет, не надо,— ответил он.— Я выпил кружку. Хватит.

И Маэ принялся за еду; он неторопливо поглощал ложку за ложкой похлебку из размятого картофеля, лука, щавеля и хлеба, до краев налитую в глиняную миску, служившую ему тарелкой. Мать, по-прежнему с Эстеллой на руках, помогала Альзире, следила за тем, чтобы у отца все было под рукой, пододвинула поближе к нему масло и студень, поставила на плиту кофе, чтобы был погорячее.

А тем временем возле огня началось купанье; ванной служила бочка, распиленная пополам. Катрин налила в нее горячей воды и первая приготовилась мыться; она сняла с себя колпак, куртку, штаны, спокойно разделась вплоть до рубашки — с восьмилетнего возраста она привыкла к семейным омовениям и не видела в них ничего стыдного. Она только повернулась к остальным спиной и начала яростно намыливаться зеленым мылом. Никто не смотрел на нее; даже Ленору и Анри уже не интересовало, как она устроена. Чисто вымывшись, она, совсем голая, поднялась по лестнице, оставив свою мокрую рубашку и остальную одежду кучкой на полу. А внизу тем временем разгорелась ссора: Жанлен живо забрался в лохань под тем предлогом, что Захарий еще не кончил обедать, но старший брат вытаскивал младшего и кричал, что теперь его очередь мыться. Он и так всегда уступает место Катрин, и она полощется первой,— хватит! А уступать сопликам

мальчишкам он не намерен. Когда Жанлен искупается, вода до того черная, что ее можно наливать школьникам в чернильницы. В конце концов братья залезли в бочку вместе и стали мыться, повернувшись лицом к огню, и даже обменивались услугами — терли друг другу спины. Затем, так же как и сестра, оба голые помчались по лестнице.

— Ишь напачкали как! — ворчала мать, собирая с полу мокрую одежду, чтобы ее высушить.— Альзира, подотри-ка, слышишь?

Но тут за стеной поднялся такой шум, что она умолкла. Раздавался мужской голос, выкрикивавший ругательства, женский плач, потом началась драка, топот, возня, посыпались тумаки, звучавшие словно удары по пустой тыкве.

— Левак жену учит,— спокойно заметил Маэ, выскребывая ложкой дно миски.— Удивительно! Ведь Бутлу говорил, что похлебка готова.

— Ну да, готова!..— сказала Маэ.— Я сама видела,— овощи на столе лежали даже неочищенные.

Крики усилились, что-то грохнуло так, что стена задрожала, и сразу настала глубокая тишина. Тогда Маэ, проглотив последнюю ложку, сказал в заключение, как человек хладнокровный и справедливый:

— Ну, если суп она не сварила, то понятно...

И, выпив целый стакан воды, принялся за студень, сперва разрезав его на квадратные кусочки; он обходился без вилки,— просто подхватывал кусочек острием ножа и, положив на хлеб, отправлял в рот. Когда отец ел, никто не разговаривал. Он и сам тоже не любил говорить и молча утолял голод; прожевывая ломтики, Маэ думал о том, что студень вкусом не похож на тот, что продавался в лавке Мегра,— наверно, жена купила его где-то в другом месте; однако он не задал по этому поводу никаких вопросов; осведомился только, спит ли еще наверху старик. Нет, дед уже встал и, как всегда, пошел прогуляться. Опять настало молчание. Но запах мясного привлек внимание Анри и Леноры, игравших на полу, где они «делали ручеек» из пролитой воды. Малыши встали у стола (младший чуть впереди) и следили глазами за каждым кусочком студня,— сперва жадным взглядом, полным надежды, когда отец подхватывал квадратик с тарелки, а затем с глубоким разочарованием, когда этот ломтик исчезал во рту у отца. Маэ наконец заметил, что ребятишек томит желание отведать лакомого кушанья,— оба даже побледнели и нервно глотали слюну.

— А детям ты давала студня? — спросил он жену.

Она замялась, не решаясь ответить.

— Ты же знаешь, не люблю я несправедливости. Всякий аппетит пропадает, когда они тут вертятся, клянчат кусочек.

— Да ведь я им давала! — сердито воскликнула жена.— Нечего на них смотреть! Ты им хоть всю свою долю отдай, да в придачу еще и то, что другим оставили, они все слопают. Такие обжоры! Альзира, ведь мы все ели студень, верно?

— Ну конечно, ели,— ответила маленькая горбунья. В таких случаях она лгала уверенно, как взрослая.

Ленора и Анри остолбенели, изумленные и возмущенные такой ложью,— ведь мать их порола, если они говорили неправду. У обоих сердчишко сжималось от негодования, им так хотелось возразить, сказать, что их не было в комнате, когда другие ели студень.

— Убирайтесь! — крикнула мать, отгоняя их в другой угол комнаты.— Как вам не стыдно заглядывать в отцовскую тарелку. Да если бы даже ему одному дали мяса! Ведь он-то работает и вас, бездельников, кормит. В вас все как в прорву,— вон вы какие худые!

Маэ подозвал их. Посадил Ленору на одно колено, Анри на другое, и студень доедали все вместе. Каждому своя порция: отец отрезал для малышей по кусочку, они в восторге поглощали угощение.

Покончив с обедом, Маэ сказал жене:

— Нет, кофе мне сейчас не наливай. Сперва я помоюсь. Помоги-ка мне грязную воду вылить.

Они вынесли лохань, взяв ее за ушки, и когда выливали воду в сточную канаву, проложенную на улице, сверху сошел Жанлен, переодевшись в сухое платье, унаследованное от брата,— длинные не по росту штаны и выцветшую куртку.

Но лишь только он прошмыгнул в отворенную дверь, мать остановила его:

— Ты куда?

— Туда...

— Куда это «туда»?.. Вот что, ступай-ка нарви мне листьев одуванчика для салата. Слышишь? Если не принесешь, я тебе покажу.

— Ладно! Ладно!

Жанлен отправился. Десятилетний заморыш шел размашистым шагом, как старый шахтер, ворочая худенькими бедрами и шаркая деревянными башмаками. Вслед за ним спустился сверху Захарий, одетый понаряднее — в облегающей шерстяной фуфайке, черной с голубыми полосами. Отец окликнул его, велел поздно домой не возвращаться, но Захарий в ответ только кивнул головой и вышел с трубкой в зубах.

Лохань снова налили теплой водой, Маэ не спеша расстегнул куртку. По взгляду матери Альзира увела Ленору и Анри играть на улицу. Маэ не любил мыться при детях, как это делали отцы

во многих домах поселка. Впрочем, он никого за это не осуждал, только говорил, что одним лишь ребятам пристало полоскаться вместе.

— Катрин, ты чего там делаешь? — крикнула мать в пролет лестницы.

— Платье чиню, а то вчера разорвала,— ответила Катрин.

— Хорошо... Сюда не ходи, отец моется.

Маэ с женой остались одни. Мать решилась наконец положить Эстеллу на стул, и та каким-то чудом,— должно быть, пригревшись у огня, не кричала и смотрела на родителей бессмысленным младенческим взглядом. Отец, раздевшись донага, присел на корточки перед лоханью и сначала окунул в воду голову, а затем принялся намыливать ее зеленым мылом, которое уже сто лет употребляли углекопы, и за столетие от этого мыла у всех ворейских шахтеров волосы обесцветились, стали белесыми, желтоватыми. Вымыв голову, Маэ забрался в лохань, намылил себе грудь, живот, руки, ноги и принялся обеими руками энергично тереть их. Жена, стоя рядом, смотрела на него.

— Слушай,— начала она,— я ведь заметила, какой у тебя взгляд был, когда ты пришел... Очень ты беспокоился, да? А увидел на столе съестное и обрадовался... Знаешь, господа в Пиолене ни гроша мне не дали. Ничего не скажешь,— они наших младшеньких одели... Мне, право, стыдно было просить, клянчить... Не могу я! Язык не поворачивается...

На минутку она остановилась, поудобнее уложила Эстеллу на стуле, боясь, как бы малютка не упала. Маэ продолжал усердно натираться мылом, чуть не сдирая кожу, и не задал жене ни одного вопроса о том, как она нашла пропитание, что, однако, живо интересовало его,— он терпеливо ждал, когда она сама все расскажет.

— А Мегра, знаешь, сперва отказал и прямо как собаку выгнал... Сам понимаешь, каково мне весело было! Шерстяные платья, конечно, дело хорошее, в них тепло ребятишкам, но ведь от платьев сыт не будешь, верно?..

Маэ поднял голову, но ничего не сказал. Как же это? В Пиолене ни гроша не дали, Мегра отказал, так откуда же все это взялось? Но жена уже засучила рукава, собираясь, как всегда, потереть ему спину и поясницу,— ему самому трудно дотянуться. Да он и любил, когда она его растирала с такой силой, что чуть руки себе не выворачивала. Вот и сейчас, взявшись за дело, она принялась обрабатывать ему лопатки, а он напрягал мышцы, чтобы выдержать натиск.

— Ну так вот... Я опять пошла к Мегра. Тут уж я ему кое-что сказала... Да, сказала!.. И что сердца-то у него нет и что не миновать ему беды, если есть в мире справедливость... Ему, видно,

неприятно было слышать. На меня не смотрит, отворачивается, того и гляди убежит...

От спины она перешла к пояснице, потом к ногам, не пропустила ни одной складки, натирая мокрое тело так же рьяно, как в субботнюю уборку начищала три свои кастрюли. Обливаясь потом, растирая его изо всех сил, она вся сотрясалась, тяжело дышала и все продолжала говорить отрывисто:

— В общем, назвал он меня занозой: впилась, говорит, не отделаешься. Будет отпускать нам в долг хлеб, а главное — дал взаймы пять франков... Я взяла у него масла, кофе, цикорий, хотела еще взять колбасы и картошки, да вижу, он ворчит... Купила в другом месте,— за студень заплатила семь су, за картошку — восемнадцать. Остались у меня три франка семьдесят пять су — на обеды да ужины... Вот как! Зря утро у меня не пропало.

Теперь она вытирала его тряпкой, там, где тело еще не обсохло. А он, радуясь сегодняшней удаче и не думая о новом долге, громко захохотал и схватил ее в охапку.

— Пусти, глупый! Ты мокрый, вымочишь меня... Только вот боюсь, как бы Мегра не замыслил кой-чего...

Она хотела было сказать о Катрин и замялась. Зачем тревожить отца? Конца-края не будет неприятностям.

— Что он там замыслил?

— Да, верно, замыслил нажиться на нас, вот что. Пусть Катрин хорошенько проверит счет.

Муж снова схватил ее и уже не отпускал. Купанье всегда кончалось таким образом. От энергичного массажа, от того, что тряпка щекотала ему и волосатую грудь и под мышками, он чувствовал прилив молодечества. Да и во всем поселке это был час забвения, когда детей зачинали больше, чем позволяло благоразумие. По ночам кругом была семья. Маэ подталкивал жену к столу, посмеиваясь довольным смехом здоровяка мужчины, наслаждающегося единственной приятной минутой за весь день. Маэ говорил, что это сладкое кушанье после обеда, да еще даровое — денег не стоит. Жена, колыхая бедрами и грудью, похохатывая, отбивалась:

— Вот дурень-то, господи! Вот дурень!.. А Эстелла-то на нас смотрит. Да погоди ты, я хоть головенку ей поверну.

— Скажешь тоже! Или она в три месяца что понимает?

Наконец Маэ стал одеваться, но надел он только сухие штаны. Хорошенько вымывшись и поиграв с женой, он любил посидеть голым до пояса. На его коже, отливавшей восковой белизной, как у малокровной девицы, четко выделялась, словно татуировка, «роспись», как говорят углекопы,— царапины, шрамы, порезы, оставленные острыми осколками угля; он, видимо, гордился этими узорами и будто выставлял напоказ свою широкую грудь и бле-

стевшие, как полированный мрамор, мускулистые руки, испещренные синими жилками. Летом все углекопы выходили постоять у дверей в таком туалете. Маэ и в мартовский день, несмотря на сырую погоду, вышел на минутку за дверь, отпустил соленую шуточку, окликнув товарища, тоже стоявшего с голой грудью у своей двери. Вышли и другие. Дети, возившиеся на тротуаре, подымали головы и тоже смеялись, довольные, что веселы их отцы. Усталые труженики дышали свежим воздухом.

За стаканом кофе, все еще не надев рубашки, Маэ рассказывал жене о столкновении с инженером по поводу крепления штреков. Пришла минута спокойствия, отдыха; одобрительно кивая головой, он слушал разумные советы жены, женщины здравомыслящей и понимавшей толк в шахтерских делах. Как всегда, она старалась внушить мужу, что против Компании идти невозможно, ничего этим не выиграешь. Затем рассказала, что их дом посетила г-жа Энбо. У обоих это вызвало чувство гордости, хотя они об этом и не сказали ни слова.

— Ну, можно? — спросила Катрин, стоя на верхней ступеньке лестницы.

— Да, да. Можно. Отец обсыхает.

Девушка надела праздничное платье, старенькое поплиновое платье ярко-синего цвета, выцветшее и потертое на складках. На голове у нее был простенький чепчик из черного тюля.

— Ты что нарядилась? Куда идешь?

— Схожу в Монсу, купить ленту к чепчику. Старую я отпорола, очень грязная.

— У тебя, значит, деньги есть?

— Нет. Мукетта обещала дать мне десять су взаймы.

Мать не стала задерживать ее, но у порога окликнула:

— Слушай, к Мегра за лентой не ходи... Он тебя надует и к тому же будет думать, что у нас денег куры не клюют.

Отец, сидевший на корточках у огня, чтоб поскорее высохли волосы, сказал коротко:

— Смотри в темноте по дорогам не шатайся.

Затем Маэ до вечера работал в огороде. Он уже посадил картофель, бобы, горох; кроме того, со вчерашнего дня он держал в канавке, прикопав землей, рассаду капусты и латука, и теперь принялся сажать их в грядки. В своем огороде он выращивал все овощи, необходимые для семьи,— только картофеля никогда не хватало. Он знал толк в огородничестве и даже выращивал артишоки — «для форсу», как говорили соседи. Когда он подготовил грядку, Левак вышел в свой огород покурить и поглядеть на латук, который Бутлу посадил утром; если б не усердие жильца, весь огород у Левака зарос бы крапивой. Начался разговор через решетчатую изгородь. Левак, усталый и возбужденный после драки

с женой, тщетно уговаривал Маэ заглянуть вместе с ним в пивную Раснера. Ну чего он боится? Выпил бы кружку пива, поиграл в кегли, прогулялся с товарищами, а к ужину вернулся бы домой. Когда вылез из-под земли, надо и пожить немного. Конечно, ничего дурного в этом не было, но Маэ заупрямился: если сегодня не посадить рассаду, завтра она завянет. А в сущности, отказался он из благоразумия,— не хотелось просить у жены ни гроша из тех денег, что остались у нее от пяти франков.

В пять часов пришла жена Пьерона и спросила, не увязалась ли за Жанленом ее падчерица Лидия. Левак ответил, что, наверно, так оно и есть, потому что и его сын, Бебер, куда-то исчез, а эти озорники всегда вместе бродяжничают. Маэ успокоил обоих, сказав о поручении, которое дала мать Жанлену, а затем принялся вместе с приятелем добродушно и беззастенчиво поддразнивать кокетливую бабенку. Она сердилась, испуганно вскрикивала, всплескивала руками, но не уходила, так как втайне ее забавляли их шутки. На помощь ей пришла сухопарая соседка, которая от раздражения заикалась и кудахтала, точно курица. Возмущались, так сказать, за компанию, и другие женщины, те, что стояли поодаль от любезников. В школе кончились занятия, детвора высыпала из домов, улица кишмя кишела шалунами: они визжали, кричали, катались по земле, дрались; а отцы, все те, кто не пошел в питейное заведение, собравшись кучками по три-четыре человека, сидели у стен на корточках, как в шахте, и, покуривая трубку, изредка обменивались словами. Жена Пьерона ушла разъяренная, когда Левак вздумал пощупать, плотные ли у нее ляжки; после этого он решил в одиночку отправиться к Раснеру, а Маэ остался сажать капусту.

Как-то сразу стемнело. В доме Маэ зажгли лампу; мать сердилась, что ни дочь, ни сыновья еще не вернулись. Ну вот, так она и знала! Никогда не бывает, чтобы все вместе сели за стол поужинать, а ведь только вечером и может собраться семья. А где, спрашивается, листья одуванчика, которые должен был набрать Жанлен? Ждешь, ждешь, а его все нет. Негодяй мальчишка! Какие он листья нарвет в темноте? А как бы хорошо поесть с салатом то кушанье, что стоит сейчас на огне: тушенка из картошки, порея, щавеля, смешанная с поджаренным луком. По всему дому разносится запах жареного лука — вкусный запах, но скоро он становится едким, неприятным и пропитывает противной вонью даже кирпичные стены домов; по этому запаху нищенской кухни издалека можно почуять, в какой стороне находится поселок.

Лишь только стемнело, Маэ пришел из огорода, сел на стул и, прислонившись головой к стене, задремал. По вечерам так было всегда: стоило ему сесть — он сразу засыпал. Пробило семь часов. Ленора и Анри разбили тарелку, помогая Альзире накрыть на

стол. Вернулся старик Бессмертный — он спешил поужинать перед уходом на шахту. Тогда жена разбудила Маэ:

— Садитесь за стол, нечего их ждать. Не маленькие, найдут дорогу домой. Жаль вот только, салата нет у меня.

V

Пообедав в заведении у Раснера, Этьен вновь поднялся в отведенную ему комнатушку под самой крышей, с окном, обращенным к шахте; едва живой от усталости, он в одежде бросился на постель и сразу уснул: за двое суток ему не удалось поспать и четырех часов. Проснулся он уже в сумерки и сперва не мог понять, где находится; ломило все тело, голова была тяжелая, он с трудом поднялся, решив пройтись, подышать воздухом, а после ужина лечь на ночь.

Погода становилась все мягче, по небу, блестевшему на западе медью заката, ползли черные тучи, набухшие дождем, затяжным дождем, обычным в этих краях, и приближение его чувствовалось в теплом сыром воздухе; волнами надвигалась темнота, затопляя бесконечные дали, открывавшиеся на этой плоской равнине. Небо, нависшее над бескрайним морем красноватой земли, как будто таяло и расплывалось черной пеленой; не проносилось ни единого дуновения ветерка в этот час сгущающихся сумерек. Все было объято грустью, мертвой, погребальной тишиной.

Этьен шел куда глаза глядят, его гнало лихорадочное возбуждение. Проходя мимо шахты, лежавшей в лощине и уже затянутой мраком, где, однако, не горел еще ни один фонарь, он остановился на минутку посмотреть, как выходят рабочие дневной смены. Вероятно, пробило шесть часов; грузчики, стволовые, конюхи шли группами и вперемежку с ними, неразличимые в темноте, сортировщицы; слышались их голоса и смех.

Впереди шли Горелая и ее зять Пьерон. Старуха бранила его за то, что он не поддержал ее, когда она поспорила с десятником при подсчете ее выработки.

— Эх ты! А еще мужчина называется! Тряпка ты, и больше ничего! Перед всякими сволочами на брюхе ползаешь, а они нас обкрадывают.

Пьерон, не отвечая, мирно следовал за ней. Наконец он произнес:

— А что ж мне, драться, что ли, с ним было? Спасибо! Ведь он начальник. Наживать еще неприятностей?

— Ну что ж, подставляй спину под хозяйский кнут! — закричала Горелая.— Черт бы вас всех, трусов, побрал! И отчего это дочь не послушала меня!.. Мало того что они у меня мужа убили,

ты, может, хочешь, чтобы я за это спасибо им сказала? Нет, погоди, я им отомщу!

Голоса потерялись вдали. Этьен смотрел, как яростно жестикулирует длинными худыми руками старуха Горелая, смотрел на ее лицо с орлиным носом и разлетающуюся седую шевелюру. Но тут позади него послышались знакомые голоса, и он насторожился, прислушиваясь к разговору. Это рукоятчик Муке подошел к своему приятелю Захарию, который поджидал его.

— Ну как, пойдем? — спросил Муке.— Перекусим маленько и закатимся в «Вулкан».

— Сейчас. У меня тут дело есть.

— Что такое?

Муке обернулся и увидел Филомену, выходившую из сортировочной. Он, по-видимому, догадался.

— Ах так... Поговори. Я, значит, вперед пойду.

— Ступай, я тебя догоню.

Муке, уходя, встретился с отцом, конюхом Муком, тоже выходившим из шахты, они попросту пожелали друг другу доброго вечера, затем сын зашагал по большой дороге, а отец двинулся в другую сторону, по берегу канала.

Направился к каналу и Захарий, подталкивая к уединенной дорожке упиравшуюся Филомену. Она спешила домой: «Нет, нет, лучше в другой раз». И они заспорили, как старые супруги. Что за радость видеться только на улице да еще зимой, когда земля мокрая и нет в поле хлебов, где можно спрятаться.

— Да нет, я не за тем,— нетерпеливо бормотал он.— Хочу сказать тебе кое-что.

И, взяв Филомену за талию, он тихонько ее повел. Они остановились в тени, падавшей от террикона, и Захарий спросил, нет ли у нее денег.

— Зачем тебе? — спросила Филомена.

Захарий смешался, забормотал, что он должен «одному человеку» два франка и боится сказать родителям.

— Да молчи ты!.. Я ведь видела Муке... Опять ты пойдешь в «Вулкан» пялить глаза на этих окаянных певичек.

Захарий отпирался, бил себя кулаком в грудь, давал честное слово. В ответ она пожимала плечами. И он вдруг сказал:

— Пойдем с нами, если хочешь... Сама увидишь, что нисколько ты нам мешать не будешь! На что они мне, певички эти?.. Ну, пойдешь?

— А маленький? — ответила она.— Куда пойдешь, когда ребенок на руках, крикун неугомонный? Пусти, пойду домой... Там наверняка опять свара.

Но Захарий все не пускал ее, упрашивал дать денег. Ну, как же это? Ведь он обещал Муке. Неужели она дураком хочет выста-

вить его перед приятелем? Не может человек каждый вечер вместе с курами ложиться. Филомена наконец сдалась, отогнула полу кофточки, разорвала ногтем нитку и вытащила несколько монет по десять су, зашитые в подкладку. Из страха, что мать все отберет, она прятала таким образом деньги, полученные за добавочную работу на шахте.

— У меня пять монет, видишь? — сказала она.— Так и быть, дам тебе три... Только поклянись, что уговоришь мать поженить нас. Довольно нам такой жизни! Все на улице! Да еще мать попрекает меня каждым куском... Поклянись, поклянись сперва!

Худенькая, болезненная женщина говорила вялым голосом, в интонациях ее не было страстного волнения, а чувствовалась лишь усталость измученного жизнью человека. Захарий клялся и божился, что его слово свято. А когда получил три монеты, облапил Филомену, стал щекотать, рассмешил и, пожалуй, довел бы свои любезности до конца, укрывшись во впадине террикона, с давних пор служившей для них зимою супружеской спальней, но Филомена отвергла заигрывания, сказав, что это не доставит ей никакого удовольствия. Она в одиночестве возвратилась в поселок, а он прямиком, через поле, побежал догонять приятеля.

Этьен машинально следил за ними издали и, не зная обстоятельств, считал, что это просто свидание. На рудниках девушки рано познавали любовь; он вспомнил фабричных работниц в Лилле, которых парни, бывало, поджидали на задворках фабрик,— целые стайки девчонок, испорченных уже в четырнадцать лет, выросших в нищете и без призора. Но его размышления прервала другая встреча. Он остановился.

У подножия террикона, на больших камнях, которые скатывались с него, тщедушный Жанлен яростно спорил с Лидией, сидевшей справа от него, и с Бебером, сидевшим слева.

— Ну, еще что скажете?.. Вот надаю обоим оплеух, так больше не будете просить... Кому мысль в голову пришла? Кому?

В самом деле мысль принадлежала Жанлену... Целый час они провозились на берегу канала, рвали все вместе листья одуванчиков, а когда набралась целая куча листьев, он подумал, что столько дома у него не съедят, и не пошел обратно в поселок, а отправился в Монсу, захватив с собой Бебера и Лидию. Бебера он заставил сторожить, а Лидии приказал звонить у подъездов городских домов и предлагать листья одуванчика. Как человек бывалый, он говорил, что девчонки распродадут все, что хочешь. Торговля шла очень бойко; правда, для дома ничего не осталось, но зато Лидия выручила одиннадцать су. А теперь три компаньона делили меж собой доход.

— Это несправедливо! — твердил Бебер.— Надо поровну де-

лить. Если ты возьмешь себе семь су, нам с ней достанется только по два су.

— Что же тут несправедливого? — разозлившись, возражал Жанлен.— Во-первых, я больше вашего нарвал.

Обычно Бебер с боязливым восхищением повиновался Жанлену; он постоянно был жертвой приятеля, нередко получал от него затрещины, хотя был старше и сильнее его. Но на этот раз мысль об утрате такого богатства привела его к сопротивлению.

— Лидия, ведь он хочет обсчитать нас! Верно я говорю? Если он не поделит поровну, мы его матери пожалуемся.

Жанлен сунул ему кулак под нос:

— А ну посмей, пожалуйся! Я сам пойду к вам домой и скажу, что вы продали салат нашей мамы... Да и как я буду делить одиннадцать су на троих, глупая башка? Попробуй-ка, подели, раз ты такой ловкий!.. Нате, получайте по два су. Да берите живей, а не то я себе в карман положу.

Бебер угрюмо покорился и взял два су.

Лидия не сказала ни слова, она вся трепетала, была исполнена нежности, как маленькая побитая мужем женщина, жаждущая получить его прощение. Жанлен протянул два су, и она с заискивающим смехом тотчас подставила руку. Но вдруг он передумал.

— Ну что? На кой тебе деньги?.. Ты ведь спрятать не сумеешь, и мать все равно у тебя их отберет... Лучше дай мне на хранение. Когда тебе понадобится, ты у меня спросишь.

И он завладел девятью су. Чтобы заткнуть Лидии рот, он, смеясь, обхватил ее обеими руками и вместе с ней покатился по отвалу террикона. Она была его маленькой женой, во всех темных углах они пытались играть в любовь, какую видели у себя дома, подглядывая в щели перегородок, в замочные скважины. Они все знали, но ничего не могли, были еще слишком малы, шли ощупью, целыми часами возились друг с другом, как порочные щенята. «Поиграем в папу и маму»,— говорил Жанлен, и Лидия бежала за ним вприпрыжку; она подчинялась ему, испытывая сладостный трепет инстинкта, иногда сердилась, но всегда уступала, ожидая чего-то неведомого, что никогда, однако, не приходило.

Бебера в такие игры они не принимали, и если он пытался ущипнуть Лидию, то получал от приятеля трепку; поэтому он всегда испытывал смущение, гнев и чувство неловкости, когда Жанлен и Лидия, нисколько не стесняясь его присутствием, изображали возлюбленных. В отместку он старался напугать, помешать им, то и дело кричал, что их видят:

— Крышка вам! Попались! Какой-то дядька смотрит!

На этот раз он не соврал — приближался Этьен, решив продолжить свою прогулку. Приятели вскочили и пустились наутек,

а Этьен, обогнув террикон, пошел по берегу канала, посмеиваясь над перепуганными проказниками. Конечно, слишком рано в их возрасте, но ведь они столько всего насмотрелись, столько наслушались, что, верно, пришлось бы их привязывать, чтобы они не подражали взрослым. А в глубине души Этьену было грустно.

Пройдя еще сто шагов, он опять натолкнулся на парочки. Ведь он очутился около Рекильяра, а там, вокруг заброшенной шахты, бродили девушки из Монсу со своими возлюбленными. Там было всеобщее место свиданий, удаленное и пустынное место, где молодые откатчицы зачинали своего первого ребенка, если не осмеливались «миловаться» на крыше сарайчика возле дома. Сломанный забор каждому открывал доступ в большой двор шахты, превратившийся в пустырь, загроможденный обломками двух обвалившихся сараев да переплетением еще не упавших столбов и перекладин — остовом прежних мостков. Валялись там старые негодные вагонетки, высились целые штабеля полусгнившего крепежного леса; но буйная растительность уже завладела этими развалинами, густая трава покрыла землю, тянулись вверх молодые деревья с довольно толстыми стволами. Тут для всех находился укромный уголок, где девушки могли никого не бояться; кавалеры увлекали их на бревна, или за штабеля леса, или в вагонетки. Все парочки обретали здесь приют, и хоть устраивались очень близко от соседей, не обращали на них внимания. И вокруг угасшей навсегда котельной, возле ствола шахты, уставшего извергать уголь на землю, казалось, шло торжество созидания жизни, ибо под бичом инстинкта девушки, едва созрев, предавались свободной любви и плод зарождался во чреве их.

Тут жил сторож, старый конюх Мук, которому Компания отдала помещение из двух комнат, находившихся почти под самым копром, настолько разрушенным, что ежеминутно могли рухнуть последние стропила, балки и своею тяжестью раздавить убогое жилище. Муку пришлось кое-где подпереть потолок столбами, но он превосходно устроился здесь со своим семейством: одну комнату занимал он с сыном, другую — Мукетта. В окнах не осталось ни единого стекла, и Мук решил забить их досками,— из-за этого в комнатах было темновато, зато тепло. Впрочем, старик сторож ничего не сторожил, ходил за лошадьми в Ворейской шахте и думать не думал о Рекильяре, где сохранился только ствол, служивший трубой, подававшей воздух в вентиляционные выработки соседней шахты.

И вот дядюшка Мук доживал свой век среди влюбленных. Его собственная дочь Мукетта грешила во всех закоулках этих развалин чуть ли не с десяти лет, но не так, как боязливая и тщедушная девчонка вроде Лидии,— нет, она очень рано стала рослой толстушкой и привлекала внимание усатых парней. Отец не мог на

нее пожаловаться: она всегда была с ним почтительна и не приводила поклонников в дом. К тому же для Мука давно стали привычными все эти любовные истории, происходившие вокруг. Шел ли он на Ворейскую шахту или возвращался оттуда, он в своей трущобе не мог шагу шагнуть, чтоб не наткнуться на парочку; а если он хотел набрать дров, чтобы сварить себе похлебку, или нарвать травы для кролика на другом конце двора — бывало еще хуже: перед ним то тут, то там появлялись лукавые лица всех девчонок Монсу, и ему приходилось двигаться крайне осторожно, чтобы не споткнуться о чьи-нибудь ноги, протянутые поперек тропинки. Мало-помалу подобные встречи стали привычными и никого не беспокоили — ни его самого, ни девушек, и Мук, стараясь не мешать им, удалялся осторожными мелкими шажками, как миролюбивый и благоразумный человек, не собирающийся спорить с природой. Влюбленные теперь сразу узнавали его в темноте, да и он в конце концов всех их узнал, как знают озорных сорок, которые справляют свои свадьбы на грушевых деревьях в саду. Ах, эта молодежь! Как она набрасывается на любовные утехи, как жадно ими наслаждается. Иной раз он жалостливо покачивал головой и отворачивался, услышав в темноте вздохи и лепет чересчур пылких девиц. Только одна пара влюбленных приводила его в дурное расположение духа: они завели привычку обниматься у самой стены его сторожки. И хотя их возня не мешала ему спать, он опасался, что в конце концов они пробьют стену.

Каждый вечер Мук принимал у себя гостя — старика Бессмертного, который неукоснительно совершал перед ужином прогулку до Рекильяра. Два бывших углекопа проводили вместе с полчаса, не перекинувшись и десятью словами. Но им всегда приятно было посидеть рядом, уносясь мыслями в прошлое, отдавшись воспоминаниям, которые они перебирали в эти минуты, не чувствуя потребности поверять их друг другу. В Рекильяре они садились рядышком на старую замшелую балку и, бросив какую-нибудь короткую фразу, умолкали, погрузившись в задумчивость, и долго сидели, уставясь взглядом в землю. Должно быть, они вспоминали свою молодость. Вокруг них шла любовная игра, слышался воркующий смех, поцелуи, разливался свежий запах примятой травы и запах разгоряченных тел. Сорок три года назад за оградой этого самого двора старик Бессмертный — в те времена молодой забойщик Венсан Маэ — стал возлюбленным девушки-откатчицы, на которой он и женился. Она была хрупкая, маленькая; он, как в гнездо, укладывал ее в вагонетку, чтобы им свободнее было целоваться. Эх, хорошее было время! И два старика, покачивая головой, расходились наконец по домам, зачастую даже не простившись друг с другом.

Но в тот вечер, когда в Рекильяр забрел Этьен, старик Бес-

смертный, встав с бревен и собравшись идти обратно в поселок, сказал Муку:

— Покойной ночи, старик!.. Скажи, ты Рыжую знал?

Мук, не отвечая, постоял минутку, переминаясь с ноги на ногу. Потом пошел в свою сторожку, пробормотав на прощанье:

— Покойной ночи! Покойной ночи, старик!

Этьен тоже присел на бревна. На сердце у него стало еще грустнее — он сам не знал почему. Он глядел вслед старику Бессмертному, исчезнувшему в сумраке, и ему вспомнилось, как он пришел в Воре до рассвета и как этот молчаливый старик, взбудораженный порывами ветра, разразился целым потоком слов. Да, бедняга! А все эти девушки, измученные, изнуренные работой, настолько еще глупы, что вечерами бегают на свидания, плодят детей, обреченных на тяжкий труд и мученья! Никогда это не кончится, если они так и будут производить на свет нищих. Лучше бы этим девушкам оставаться бесплодными, бежать от любви, как от великого несчастья, отталкивать любовников, защищать свое лоно, не зачинать детей. Быть может, такие мысли возникали в его мозгу лишь потому, что ему тоскливо было сидеть одному, когда другие шли парочками туда, где их ждало наслаждение. В такую сырую и теплую погоду ему даже дышать было трудно; капли дождя, еще робкие, падали на его горячие, как в лихорадке, руки... Да, все девушки проходят через это. Это сильнее разума.

И когда Этьен неподвижно сидел в тени, мимо него промелькнула парочка, явившаяся со стороны Монсу, и скрылась на пустыре Рекильярской шахты. Девушка, вероятно, еще невинная, отбивалась, сопротивлялась; слышался ее умоляющий шепот, а мужчина молча тянул ее в темный угол, под уцелевший навес, где лежала груда ветхих канатов. Это были Катрин и Шаваль. Но Этьен не узнал их и, проводив их взглядом, ждал, чем все это кончится, вдруг охваченный чувственным волнением, изменившим ход его мыслей. Зачем вмешиваться? Когда девушки говорят «нет», они просто хотят уступить насилию.

Выйдя из поселка Двести Сорок, Катрин пошла по большой дороге в Монсу. С десятилетнего возраста, то есть с тех пор как она стала зарабатывать кусок хлеба на шахте, она повсюду ходила одна, пользуясь полной свободой, как и все девушки в семьях углекопов; в пятнадцать лет у нее еще не было любовника лишь оттого, что в ней запоздало пробуждение инстинкта, до сих пор она еще тщетно ждала признака созревания. Дойдя до мастерских Компании, она перешла через улицу и заглянула к знакомой прачке, уверенная, что найдет у нее Мукетту, которая постоянно торчала в прачечной в обществе приятельниц, с утра до вечера угощавших друг друга кофе. Но ее ждало большое огорчение: пришла очередь Мукетты угощать приятельниц, она потратилась и не могла дать

Катрин в долг обещанные десять су. Напрасно Мукетта в утешение предлагала ей выпить стакан горячего кофейку. Катрин не пожелала даже, чтобы Мукетта у кого-нибудь заняла для нее денег. На нее вдруг напала бережливость и суеверный страх, что если она купит сейчас ленту, это ей принесет несчастье.

Она, не мешкая, отправилась обратно в поселок, и когда уже проходила мимо последних домов в Монсу, ее окликнул какой-то человек, стоявший у дверей трактира «Виноградное».

— Эй, Катрин! Куда так быстро?

Это был долговязый Шаваль. Катрин стало досадно; и не потому, что Шаваль очень ей не нравился, а просто ей было не до шуток.

— Зайдем. Может, выпьешь чего-нибудь... Стаканчик сладкого? Хочешь?

Катрин вежливо отказалась: на дворе темно, ее ждут дома. Шаваль подошел и, стоя посреди улицы, принялся вполголоса упрашивать. У него давно зрела в голове мысль уговорить ее зайти к нему в номер, который он снимал на втором этаже в трактире «Виноградное»,— комнату с широкой двуспальной кроватью. Почему же Катрин всегда отказывается? Неужели боится его? Она добродушно отшучивалась, говорила, что непременно зайдет к нему после дождичка в четверг, на той самой неделе, когда дети не родятся. Затем, разговорившись о всякой всячине, она вскользь упомянула о ленте, которую ей не удалось купить.

— Да я куплю тебе ленту! Пожалуйста! — воскликнул Шаваль.

Катрин покраснела, чувствуя, что ей следует отказаться, и вместе с тем сгорая желанием иметь ленту. Тогда ей пришла в голову мысль, что можно взять у него взаймы, и она в конце концов согласилась, но с оговоркой, что потом отдаст ему деньги за ленту. Опять пошли шутки: Шаваль поставил условием, что если Катрин не сойдется с ним, то вернет ему долг. Затем заспорили, где купить ленту. Шаваль предложил пойти в лавку Мегра.

— Нет, к Мегра нельзя, мать не велела...

— Да брось ты! Зачем ей знать, где ты покупала? А ведь у Мегра самые лучшие ленты в Монсу.

Когда долговязый Шаваль и Катрин вошли в лавку, будто двое влюбленных, покупающих свадебный подарок, Мегра весь побагровел и, выкладывая на прилавок синие ленты разных оттенков, полон был бешеной злобы, как человек, которого обманули да еще насмехаются над ним. Отпустив товар молодой паре, он встал у дверей и долго смотрел, как они идут в сумерках по дороге, а когда жена робко задала ему какой-то вопрос, он напустился на нее с руганью и заорал, что когда-нибудь он отплатит мерзавцам, не умеющим ценить его благодеяния... Погодите, они

еще будут кланяться ему в ноги, просить прощения за свою неблагодарность.

Шаваль пожелал проводить Катрин и чинно шел по большой дороге рядом с нею, не давая волю рукам, только чуть-чуть подталкивал ее бедром и, как будто нечаянно, уводил ее в другую сторону. Вдруг она заметила, что он оттеснил ее с большой дороги на проселочную и что они идут в сторону Рекильяра. Но она не успела и рассердиться — он обнял ее за талию, он ошеломил ее журчащим, неумолчным потоком ласковых слов. Ах, какая она глупенькая! Чего же она боится? Да разве он хочет зла такой милочке? Ведь она кроткая, беленькая, нежная, так и хочется ее съесть. Он наклонялся к ее уху, обдавал ее шею жарким дыханием, и у нее по всему телу пробегал трепет. Она задыхалась, не знала, что ответить. Кажется, он и в самом деле ее любит. В субботу вечером, погасив свечу на ночь, она спрашивала себя, что будет, если он станет домогаться ее, и сквозь дремоту думала, млея от удовольствия, что, пожалуй, она не сказала бы «нет». Почему же сейчас при мысли об этом она чувствовала отвращение и словно жалела о чем-то? Когда он щекотал ей шею своими длинными усами, ей было так приятно, что она закрывала глаза, но перед ней в вечернем сумраке вставала тень другого, того юноши, который работал с нею утром.

Вдруг она открыла глаза и посмотрела вокруг. Шаваль привел ее к развалинам Рекильярской шахты, и, вздрогнув, она попятилась, очутившись перед черным обвалившимся навесом.

— Ах, нет! Нет! — лепетала она.— Прошу тебя, пусти! Оставь меня!

Ее терзал безумный страх перед самцом, страх, от которого у девушки напрягаются все мышцы в инстинктивной самозащите, даже когда она согласна и чувствует приближение победителя. Казалось бы, Катрин ничему не надо было учить, однако ее девственное тело трепетало от ужаса, все сжималось, словно перед угрозой удара, ужасной раны, страшась еще неведомой ему боли.

— Нет, нет! Не хочу! Я еще слишком молодая... Погоди немножко, когда я хоть стану такая, как все.

Он бормотал срывающимся голосом:

— Глупая! Так чего же тебе тогда бояться? Ну что тебе стоит?

И больше он не стал говорить. Крепко схватил ее и бросил под навес. Она упала навзничь на ветхие канаты и перестала защищаться, подчинившись страсти мужчины с той унаследованной покорностью, которая заставляла дочерей углекопов слишком рано, чуть ли не с детских лет, отдаваться любовникам в поле, открытом всем ветрам. Затих жалобный лепет, слышалось только тяжелое дыхание мужчины.

Этьен сидел не шевелясь и все слышал. Ну вот, еще одна пала. А теперь, раз он поглядел комедию, можно и уйти. Он встал, испытывая какое-то тягостное чувство, в котором были и смущение, и зависть, и поднимавшийся гнев. Уже не боясь нашуметь, он шел, спотыкаясь, перешагивая через бревна,— ведь те двое слишком заняты друг другом и еще долго здесь пробудут.

Но не прошел он и ста шагов по дороге, как, обернувшись, увидел, к своему удивлению, что они поднялись и как будто собираются идти, как и он, в сторону поселка. Мужчина обнимал девушку за талию, прижимал ее к себе, словно с признательностью, опять что-то шептал ей на ухо; зато она теперь торопилась, хотела поскорее вернуться домой, и по всему было видно, что ей неприятно здесь оставаться.

И вдруг Этьена охватило мучительное желание увидеть их лица. Ну что за глупость! Он ускорил шаг, чтобы не поддаться соблазну. Однако его ноги словно сами собою замедляли шаг, и, дойдя до первого фонаря, он спрятался в тень. Парочка прошла мимо, и он остолбенел, узнав Катрин и Шаваля. Сперва он глазам своим не поверил: неужели эта девушка в ярко-синем платье и черном чепчике действительно Катрин, которая казалась мальчишкой-подростком, когда на ней были штаны и колпак, обтягивавший голову? Вот почему в Рекильяре он не угадал, что это Катрин, хотя она прошла, коснувшись его платьем. Но теперь он увидел ее лицо и больше не сомневался. У кого же еще могли быть такие глаза — зеленоватые, прозрачные, как вода в роднике, такие светлые и глубокие глаза? Но какая дрянь распутная! У него возникло яростное, беспричинное желание отомстить ей. За что? Какие были у него права на нее? Сейчас он презирал ее. Да еще и находил, что ей совсем не идет женское платье. Уродина, вот и все!

Парочка медленно шла по дороге, не подозревая, что за ней следят. Остановив Катрин, Шаваль целовал ее в шею за ушком, и она больше не рвалась вперед, шла медленнее, смеялась тихим смехом в ответ на ласки. Нарочно отстав от них, Этьен был вынужден идти за ними следом и негодовал, что они загораживают ему дорогу, да еще и угощают его зрелищем, которое его бесит. Так, значит, она сказала правду нынче утром, уверяя, что еще не была ничьей любовницей. А он ей не поверил, отказался от нее, не желая уподобиться тому, другому. И вот ее перехватили под самым его носом, оставили его в дураках, а он еще нашел себе гнусное развлечение — подглядывал за ними. Просто с ума можно сойти! Он сжимал кулаки, готов был растерзать Шаваля, поддавшись слепому порыву ревности, толкающей на убийство...

Прогулка длилась с полчаса. Подходя к Ворейской шахте, Шаваль и Катрин вновь замедлили шаг, два раза останавливались

на берегу канала, три раза у террикона; теперь оба они были очень веселы, обменивались шаловливыми нежностями. Из опасения, что его заметят, Этьену тоже приходилось останавливаться. Он старался внушить себе грубые мысли: впредь ему наука, не будь щепетильным, не церемонься с девушками. Когда миновали шахту, Этьен мог бы свободно повернуть к Раснеру и поужинать там, но он двинулся дальше за парочкой, дошел до самого поселка и, спрятавшись в тени, долго стоял там, пока не увидел, что Шаваль отпустил Катрин и она вернулась домой. Удостоверившись, что любовники расстались, он снова двинулся в путь и долго шел по дороге к Маршьену, шагая машинально, ни о чем не думая; на душе у него было так мерзко, что он не мог сейчас запереться в четырех стенах.

Было около девяти часов вечера, когда Этьен прошел обратно через поселок, вспомнив о том, что надо поесть и лечь спать, если он хочет встать завтра в четыре часа утра. Весь поселок спал, все было черно вокруг. Ни единой полоски света не пробивалось сквозь запертые ставни в домах, выстроившихся длинными шеренгами: наверно, все там спали тяжелым сном, всхрапывая, как солдаты в казармах. На улицах — ни души. Только кошка пробежала по пустынным огородам. Кончился еще один день мучительного труда, люди, чуть не падавшие за столом от усталости, едва добирались до постели и, отяжелев от пищи, сразу засыпали.

В ярко освещенном кабачке Раснера машинист с шахты и двое рабочих дневной смены пили пиво. Этьен не сразу переступил порог — сперва постоял у дверей и в последний раз посмотрел вокруг.

Все то же беспредельное черное пространство, которое он видел утром, когда добрался сюда, подстегиваемый холодным ветром. Прямо перед ним лежала Ворейская шахта, припав к земле, будто злой, хищный зверь, и тьму вокруг нее пронизывали лишь несколько огненных точек. Костры, зажженные на терриконе, казалось, висели в воздухе, словно три багровых луны, и свет их на мгновение выхватывал из темноты огромный силуэт старика Бессмертного и его буланой лошади. Дальше простиралась голая равнина — там мрак затопил Монсу, Маршьен, Вандамский лес, бесконечные поля, засеянные свеклой и пшеницей; а где-то далеко-далеко, словно маяки в океане тьмы, горели голубые огни над домнами и полыхало красное пламя над коксовыми батареями. Мало-помалу все заволокла влажная пелена — пошел дождь, тихий, затяжной, мелкий дождь, с монотонным, мерным шелестом падавший на все сокрытое, невидимое в ночи. И в мертвом безмолвии слышался лишь непрестанный шум — мощное дыхание паровой машины, пыхтевшей и днем и ночью, откачивающей из шахты воду.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

На следующее утро Этьен опять спустился в шахту, и так пошло день за днем. Он начал привыкать, соразмерял все свое существование с новой работой, приобретал в ней сноровку, хотя вначале она показалась ему невыносимой. В первые две недели однообразие его жизни нарушила лишь недолгая болезнь, на двое суток приковавшая его к постели: все тело у него ломило, голова пылала; в жару лихорадки его преследовал один и тот же сон, почти бредовое видение: ему чудилось, что он пробирается с вагонеткой в узком штреке, таком узком, что его тело не пролезает там. Болезнь была вызвана мучительным напряжением в первые дни ученичества, крайней усталостью, и он быстро оправился.

Как и все его товарищи, он вставал в три часа утра, пил кофе и уходил, захватив с собой толстый бутерброд, приготовленный для него с вечера женой Раснера. Ежедневно по дороге в шахту он встречал старика Бессмертного, отправлявшегося домой спать, а возвращаясь, сталкивался с Бутлу, который шел на работу в дневную смену.

Он обзавелся шахтерской одеждой — шапкой, штанами, парусиновой курткой; так же, как и все, он дорогой дрожал от холода и грелся у пылающей печки в раздевальне. Потом, стоя босиком, ждал в приемочной, по которой гуляли свирепые сквозняки. Но машина, поблескивавшая наверху в полумраке стальными своими частями с медными перехватами, больше его не занимала; не интересовали его также и тросы, мелькавшие в бесшумном полете, словно черное крыло ночной птицы, ни клети, непрестанно нырявшие и выплывавшие среди гула сигналов, голосов, выкрикивающих приказы, грохота вагонеток, сотрясавших чугунные плиты пола. Тускло горела его лампа,— должно быть, проклятый ламповщик как следует ее не вычистил; сонливое оцепенение сразу проходило, когда озорной рукоятчик Муке погружал углекопов в клеть и, заигрывая с откатчицами, награждал девушек звонкими шлепками. Клеть снималась с упоров, камнем летела вниз на дно черной ямы, а Этьен даже не поворачивал головы, чтобы посмотреть на убегающий свет. Никогда он не думал о том, что клеть может сорваться, и чем ниже спускался в темноте под проливным дождем, тем больше казалось ему, что он у себя дома. Внизу, в рудничном дворе, когда Пьерон, с обычным своим лицемерно-крот-

ким видом, отпирал клеть и выпускал рабочих, неизменно слышался неровный топот множества ног; каждая артель направлялась в свой забой, люди шли, шлепая босыми ногами. Теперь выработки в шахте были знакомы ему лучше, чем улицы Монсу, он знал, где надо повернуть, а где — низко нагнуться, где — обойти лужу воды. Подземный путь в два километра стал для него таким привычным, что он мог бы пройти его без лампы, в полной темноте, заложив руки в карманы. И всякий раз бывали одни и те же встречи: вынырнет из мрака штейгер и осветит своей лампой лица рабочих; дядюшка Мук ведет лошадь в конюшню; Бебер погоняет Боевую, та фыркает и трусит рысцой; бежит позади поезда Жанлен, чтобы закрыть двери вентиляционных ходов; толстуха Мукетта и худенькая Лидия толкают вагонетки.

Теперь Этьен меньше страдал от сырости и духоты в забое. Подниматься по узким ходам, именуемым «печью», ему стало удобно: он как будто истаял и пробирался в таких щелях, куда раньше не решился бы просунуть руку. Он дышал угольной пылью, не испытывая недомогания, все различал в темноте, не беспокоился, что с него ручьем льется пот, и привык чувствовать на себе с утра до вечера мокрую одежду. Надо сказать, что он теперь не расходовал без толку свои силы, очень скоро у него в работе появилось уменье,— так скоро, что он удивлял всю артель. Три недели спустя он считался одним из лучших откатчиков во всей шахте: ни один быстрее его не подкатывал вагонетку к бремсбергу, никто не прицеплял ее к канату так ловко, как он. Благодаря своему маленькому росту он проскальзывал всюду, а руки у него хоть и были белы и тонки, как у женщины, но под их нежной кожей перекатывались стальные мускулы, и они хорошо справлялись с тяжелой работой. Он никогда не жаловался,— вероятно, из гордости, даже когда едва дышал от усталости. Ему ставили в упрек только одно: он не понимает шутки — тотчас обидится, если кто-нибудь вздумает подразнить его. В общем, шахтеры приняли его в свою среду, смотрели на него как на настоящего углекопа; изнурительный труд стал для него привычным и постепенно превращал его в живую машину.

Больше всех дружил с ним Маэ, так как очень уважал умелых работников. Да и, как все остальные, он чувствовал, что Этьен по развитию выше его, видел, что он читает, пишет, набрасывает чертежи, слышал, как он разговаривает о таких мудреных вещах, о существовании которых Маэ прежде и не подозревал. Это его не удивляло: углекопы крепкие ребята, но головы у них работают хуже, чем у механиков; ему нравилось мужество паренька, решительность, с которой он пошел в углекопы, чтобы не сдохнуть с голоду. Впервые случайный работник в шахте так быстро освоился с делом. Когда, например, артель спешила с вырубкой угля и Маэ

не хотелось отрывать от работы забойщиков, он поручал Этьену ставить крепь и был уверен, что тот все сделает аккуратно и прочно. Начальники всегда придирались к этому окаянному креплению, ежеминутно надо было опасаться, что явится инженер Негрель в сопровождении Дансара, будет кричать, спорить, требовать, чтобы все переделали; и Маэ заметил, что крепь, поставленная новым откатчиком, больше удовлетворяет начальство, хотя оно постоянно старается выказать недовольство и все твердит, что в один прекрасный день Компания примет решительные меры. Вопрос этот все не разрешался, среди рабочих нарастало глухое недовольство; даже Маэ, человек спокойный, в конце концов стал приходить в негодование и гневно сжимал кулаки.

Между Захарием и Этьеном возникло было некоторое соперничество. Как-то вечером они чуть не подрались. Но легкомысленному Захарию, в сущности, плевать было на все, кроме удовольствий, поэтому он быстро утихомирился за дружески предложенной кружкой пива, да вскоре и сам признал превосходство новичка. Теперь и Левак смотрел на Этьена благосклонно и не прочь был побеседовать с ним о политике, находя, что у откатчика есть свои мысли. В артели лишь у одного Шаваля осталась тайная враждебность к Этьену, и тот ее чувствовал; нельзя сказать, что они с Шавалем косились друг на друга, напротив,— все считали их приятелями, но когда они обменивались шутками, в глазах у обоих вспыхивала ненависть. Меж ними стояла Катрин. Усталая и смиренная, она по-прежнему покорно сгибала спину, толкая свою вагонетку, по-прежнему была услужлива и приветлива со своим товарищем; да и Этьен всегда старался ей помочь; но ведь она послушно подчинялась требованиям своего любовника и открыто принимала его ласки. Их отношения никого не возмущали, это была всеми признанная связь; даже родители Катрин закрывали на это глаза и как будто не замечали, что Шаваль каждый вечер уводит Катрин за террикон, а потом провожает ее до дому и на прощанье целует на глазах у всего поселка. Этьен, воображавший, что примирился с таким положением, нередко подсмеивался над ее прогулками, отпускал смелые шуточки, какие позволяли себе парни и девушки, работая вместе в глубине шахты. Катрин отвечала в том же духе, с напускным озорством болтала о том, что сделал с нею Шаваль, но вдруг приходила в смятение и бледнела, когда встречалась взглядом с глазами Этьена. Оба отворачивались, по часу не обменивались ни словом и, казалось, полны были взаимной ненависти за что-то тайное, схороненное у них в душе, о чем они не смели сказать друг другу.

Пришла весна. Однажды на Этьена, когда он вышел после работы из шахты, пахнуло теплым апрельским ветром, чистым воздухом, бодрящим запахом помолодевшей земли и нежной зе-

лени. Теперь каждый раз, когда он поднимался на поверхность, весна благоухала все слаще и ласково грела его. И как было не чувствовать весеннее тепло, проработав десять часов под землей, в сыром мраке, в который никогда не проникал луч солнца. Дни становились все длиннее, и вот в мае месяце спуск начинался на восходе солнца, когда с багряно-золотого неба заря разбрасывала отсветы по всей Ворейской шахте и белые клубы пара, вырываясь из трубы машинного отделения, становились совсем розовыми. Больше не приходилось дрожать от холода — из далеких просторов равнины неслось животворное дыхание весны; высоко над землею в небе пели жаворонки. В три часа дня сияло яркое солнце, пожаром пылал горизонт, накаливались кирпичные стены, покрытые угольной пылью. В июне хлеба поднялись высоко, нежные голубовато-зеленые нивы четко выделялись на фоне темной свекольной ботвы. Перед глазами расстилалось беспредельное море зелени, волнующееся при малейшем ветерке, оно разрасталось все больше с каждым днем; случалось, к вечеру Этьен с удивлением замечал, что кругом стало еще краше, чем утром. Тополя, окаймлявшие канал, оделись пышной листвой. Терриконом завладела трава, на лугах запестрели цветы,— ростки новой жизни поднимались из земли, пока он мучился в недрах ее, в ярме нищеты и тяжкого труда.

Теперь, когда Этьен прогуливался по вечерам, он не вспугивал влюбленных за терриконом. Он наблюдал за их следами в хлебах, и по колыханию желтеющих колосьев и красных маков угадывал, где эти бесстыдники свили себе гнездо, словно птицы.

Захарий и Филомена, давние любовники, шли туда по привычке; Горелая, вечно разыскивавшая Лидию, постоянно обнаруживала ее там с Жанленом,— они забирались в самую гущу хлебов, старуха чуть не наступала на них, и только тогда они, вспорхнув, разлетались в разные стороны; что касается Мукетты, она успевала повсюду: через какое поле ни пойди, увидишь, как ее голова ныряет в колосьях или мелькнут ее ноги, когда она со всего размаху бросится навзничь. Свободная любовь нисколько не коробила Этьена, он находил ее преступной лишь в те вечера, когда встречал Катрин и Шаваля. Два раза он видел, как при его приближении они кинулись на землю посреди поля, и закачавшиеся колосья скрыли их. А однажды, проходя по узкой меже среди хлебов, он увидел сквозь стебли пшеницы светлые глаза Катрин, и вдруг они исчезли. Огромная равнина казалась ему в такие вечера тесной, и он предпочитал посидеть в заведении Раснера.

— Налейте-ка мне кружечку, госпожа Раснер... Нет, нынче я никуда не пойду, устал, просто ноги не держат.

И он поворачивался к своему товарищу, который обычно сидел за столом в глубине кабачка, прислонившись головой к стене.

— Суварин, не выпьешь за компанию?

— Спасибо, ничего не хочу.

Этьен познакомился с Сувариным, так как жил бок о бок с ним. Новый его знакомец служил на Ворейской шахте машинистом, снимал у Раснера комнату с мебелью на втором этаже, рядом с Этьеном. Это был человек лет тридцати, сухощавый блондин с тонкими чертами, отпустивший длинные волосы и пушистую бородку. Его белые острые зубы, изящный нос и маленький рот, нежный цвет лица были бы под стать хорошенькой девушке; лицо его хранило выражение какого-то кроткого упрямства, а в иные минуты его серые глаза светились стальным блеском, придававшим его облику что-то дикое. Отличительной особенностью его комнаты, обычной конуры бедняка-рабочего, являлся ящик с книгами и бумагами — все его имущество. По национальности он был русский, никогда не говорил о себе, а люди сочиняли о нем всякие небылицы. Углекопы, относившиеся к иностранцам весьма недоверчиво да еще чуявшие по его маленьким барским рукам, что он принадлежит к другому классу, чем они, сначала вообразили, будто он участник некоего приключения, быть может убийства, и укрывается от наказания. Но он относился к ним по-братски, без малейшей надменности; прогуливаясь по поселку, раздавал ребятишкам всю имевшуюся в кармане мелочь,— и в конце концов рабочие приняли его в свою семью: их успокоили слова «политический эмигрант», как кто-то назвал Суварина,— слова туманные, в которых они, однако, видели оправдание многому, даже преступлению, если Суварин его совершил, и дававшие ему право на товарищескую близость и сочувствие обездоленных.

В первые недели знакомства он вел себя с Этьеном сдержанно, почти не разговаривал с ним, и поэтому лишь позднее тот узнал его историю. Суварин был младшим отпрыском в дворянской семье из Тульской губернии. В Санкт-Петербурге, где он изучал медицину, страстное увлечение идеалами социализма, охватившее тогда всю русскую молодежь, побудило его взяться за ручной труд, и он научился ремеслу механика, ибо решил идти в народ для того, чтобы узнать его и братски ему помогать.

Этим ремеслом он и существовал, после того как ему пришлось бежать из-за неудавшегося покушения на императора; целый месяц он жил в подвале фруктовой лавки, вел оттуда подкоп, проходивший поперек улицы, заряжал бомбы, что поминутно грозило ему смертью,— он мог погибнуть от взрыва под обломками дома. Отвергнутый родными, без денег, не допускавшийся во французские мастерские, как подозрительный иностранец, ибо его счи-

тали шпионом, он умирал с голоду, и вдруг его наняла Угольная компания Монсу, которой срочно понадобился машинист. Он служил на шахте год, показал себя добросовестным, воздержанным, немногословным человеком, неделю работал в дневную смену, другую — в ночную и был так пунктуален, что начальство ставило его другим в пример.

— Тебе, стало быть, никогда пить не хочется? — смеясь, спросил его Этьен.

Суварин ответил кротким своим голосом, почти без акцента:

— За едой иногда хочется.

Подшучивая над его мнимыми любовными похождениями, Этьен стал уверять, что видел его около выселок «Шелковые чулочки» в хлебном поле,— несомненно, у него было любовное свидание с какой-нибудь откатчицей. Суварин с пренебрежительным спокойствием пожимал плечами. Свидание? На что это ему? В женщине он готов видеть соратника, товарища, если она отважна, как мужчина, и способна оказать братскую поддержку в борьбе. А для чего давать доступ в сердце чувству любви, источнику возможного слабодушия? Нет! Ни жены, ни друга — никаких уз! Он будет свободен от волнений крови — своей и чужой.

Каждый вечер, в девятом часу, когда кабачок пустел, Этьен любил посидеть там и побеседовать с Савариным. Он пил маленькими глоточками пиво, машинист курил папиросу за папиросой, свертывая их пожелтевшими от табака тонкими пальцами; о чем-то думая, он следил туманным, задумчивым взглядом за расплывавшимися завитками дыма; левая рука, словно желая чем-нибудь занять себя, нервно сжималась и разжималась в пустоте; в конце концов он, по привычке, брал на колени ручную крольчиху, жившую в доме на свободе и вечно ходившую беременной. Крольчиха, которой он дал кличку «Польша», обожала его, сама подбегала к нему, обнюхивала его ноги, вставала на задние лапы, царапала его когтями и не успокаивалась до тех пор, пока он не брал ее, как ребенка, на руки. Тогда она прижималась к нему, сжавшись в комочек, и, заложив назад уши, закрывала глаза; Суварин безотчетными движениями руки гладил ее по шелковистой шерстке, и его, казалось, успокаивало это живое, нежное тепло.

— Знаете что? — сказал однажды вечером Этьен.— Я получил письмо от Плюшара.

В комнате, кроме них, был только Раснер — ушел последний посетитель, возвращаясь в засыпавший поселок.

— О-о! — воскликнул Раснер, подойдя к своим жильцам.— Ну, как у Плюшара дела?

В свое время Этьен сообщил Плюшару, механику из Лилля, что поступил на копи в Монсу, и два месяца у них шла оживленная переписка. Плюшар старался привить ему свои убеждения,

обрадовавшись возможности повести через него пропаганду среди углекопов.

— Пишет, что ассоциация, о которой вы знаете, развивается очень хорошо. Кажется, вступают в нее повсюду.

— А ты что скажешь об их обществе? — спросил Раснер у Суварина.

Тихонько почесывая крольчихе голову, Суварин выпустил колечко дыма и пробормотал с обычным своим спокойным видом:

— Глупости!

Но Этьен разгорячился. Все предрасполагало его к бунту, влекло к борьбе труда против капитала; он был невеждой, зато полон мечтаний неофита. Речь шла о Международном товариществе рабочих, о знаменитом Интернационале, который недавно был основан в Лондоне. Разве не было это отважным началом борьбы, в которой наконец восторжествует справедливость? Исчезнут границы, трудящиеся всего мира поднимутся и, объединившись, восстанут, чтобы обеспечить рабочему хлеб насущный, который он зарабатывает своим трудом. И какая простая, но великолепная организация: основа ее — секция, являющаяся представительницей коммуны; выше — федерация, объединяющая все секции данной провинции; затем — нация и, наконец, на самом верху — человечество, олицетворяемое Генеральным советом, в котором каждая нация представлена секретарем-корреспондентом. Меньше чем через полгода Товарищество завоюет весь мир, и трудящиеся продиктуют свою волю хозяевам, если те вздумают сопротивляться.

— Глупости! — повторил Суварин.— Ваш Карл Маркс, по-видимому, хочет все предоставить естественным силам. Никакой тайной политики, никаких заговоров, не правда ли? Все при ярком свете дня и исключительно ради повышения заработной платы... Да подите вы с вашей эволюцией! Спалите города в пламени пожаров, скосите целые народы, уничтожьте всё,— и когда уже ничего не останется от этого прогнившего мира, быть может, возникнет новый, лучший мир.

Этьен рассмеялся. Он не всегда понимал слова своего товарища; эта теория разрушения казалась ему рисовкой. Раснер, человек еще более практический и вдобавок устроившийся в жизни, а потому весьма здравомыслящий, не обратил внимания на выпад Суварина. Он хотел все выяснить у Этьена поточнее.

— Так ты, значит, собираешься организовать секцию в Монсу? — спросил он.

Именно этого и добивался Плюшар, состоявший секретарем Федерации Северной Франции. Он особенно настаивал на том, что Товарищество может оказать помощь углекопам, если они когда-нибудь объявят забастовку. Этьен полагал, что забастовка неиз-

бежна: споры из-за крепления кончатся плохо; достаточно Компании предъявить те требования, которыми она грозит, и все шахты взбунтуются.

— Взносы — вот помеха,— рассудительным тоном заявил Раснер,— пятьдесят сантимов в год — в общий фонд, и два франка — в секцию. Как будто деньги и небольшие, а вот увидишь, многие откажутся платить.

— Нам нужно прежде всего создать здесь кассу взаимопомощи,— добавил Этьен.— В случае надобности она будет для нас стачечным фондом... Так или иначе, а пора подумать об этом. Я-то сам готов, если другие готовы.

Наступило молчание. В широко открытую дверь ворвался порыв ветра, лампа, стоявшая на конторке, начала коптить. Явственно слышалось звяканье лопаты: на шахте в котельной машинного отделения кочегар загружал углем топку парового котла.

— Все так вздорожало! — вдруг заговорила жена Раснера. Она вошла и, заняв обычное свое место, прислушивалась к разговору мужчин, угрюмая, в неизменном своем черном платье, в котором казалась выше ростом.

— Подумайте только: за яйца я заплатила сегодня двадцать два су... Нет, надо этому положить конец!

Трое мужчин оказались на этот раз единомышленниками, они говорили один за другим и с отчаянием в голосе высказывали свои мысли. Рабочий больше не в силах тянуть лямку; революция лишь увеличила его нищету, зато буржуазия разжирела после восемьдесят девятого года и жрет так жадно, что не оставляет бедняку даже крох со своего стола. Скажите на милость, разве трудящиеся получили мало-мальски приличную долю в том необычайном росте богатства и благосостояния, который произошел за последнее столетие? Над ними просто издевались, когда объявили их свободными. Да, им дали полную свободу подыхать с голоду, и уж этой свободой они пользовались вовсю! Разве в доме рабочего прибавится хлеба оттого, что он пойдет голосовать за ловкачей, которые, как только их выберут, давай пировать, а про голодных думают не больше, чем о старых своих стоптанных башмаках. Нет, так или иначе, а надо с этим покончить: мирным путем — через законы, полюбовным соглашением, а то и другим способом — по-дикарски: жечь, резать, уничтожать друг друга. Если теперешнее поколение этого не увидит, то последующее увидит наверняка; в конце столетия непременно произойдет вторая революция, на этот раз рабочая революция, большая перетряска, чистка всего общества, сверху донизу, и вновь построенное общество будет честнее и справедливее прежнего.

— Да, пора положить этому конец,— решительным тоном повторила жена Раснера.

— Да, да!..— подтвердили трое мужчин.— Пора положить конец.

Суварин гладил уши крольчихи, и та от удовольствия морщила нос. Прищурив глаза и устремив взгляд куда-то вдаль, он сказал задумчиво, словно разговаривал сам с собою:

— Увеличить заработную плату... Да разве это возможно? Железным законом она сведена к минимальной сумме, строго необходимой для того, чтобы рабочий ел сухой хлеб и плодил детей... Если она падает слишком низко, рабочие мрут, а тогда увеличивается спрос на рабочие руки, и она повышается. Если она поднимается слишком высоко, увеличивается предложение рабочей силы, и заработная плата понижается... Вот вам равновесие, поддерживаемое пустым желудком, приговор на вечную каторгу, на голодное существование.

Когда Суварин углублялся в такие размышления и затрагивал социальные проблемы, как человек образованный, Этьен и Раснер испытывали беспокойство, их смущали его пессимистические утверждения, на которые они не знали, что ответить.

— Поймите,— заговорил он опять обычным своим ровным тоном и обратил к ним внимательный взгляд,— надо все разрушить, иначе опять будет править Царь-голод. Да, анархия, а потом — голое место, земля, политая кровью, очищенная в огне пожаров!.. А дальше видно будет, что делать.

— Вы, господин Суварин, совершенно правы,— заявила жена Раснера, которая и в своих яростных революционных выпадах сохраняла крайнюю учтивость. Этьен промолчал, огорчаясь своим невежеством, мешавшим ему вступить в спор с Сувариным. Поднявшись с места, он сказал:

— Пойдем-ка спать! Сколько ни толкуй, а завтра изволь вставать в три часа утра.

Суварин затушил окурок сотой папиросы и, осторожно взяв толстую крольчиху под брюшко, спустил ее на пол. Раснер запер двери дома на засов. Собеседники разошлись молча, у всех у них звенело в ушах и голова пухла от тех важных вопросов, которые они обсуждали.

И каждый вечер шли такие беседы в комнате с голыми стенами, вокруг единственной кружки пива, которую Этьен пил целый час. Пробудились смутные мысли, дремавшие в его мозгу, расширился его кругозор. Больше всего его томила жажда знания, но он долго не решался попросить у соседа книг; к тому же оказалось, что у Суварина только труды немецких и русских авторов. Наконец он раздобыл французскую книгу о кооперативных обществах («Еще одна глупость»,— говорил Суварин), а также читал регулярно газету «Битва», которую выписывал Суварин,— тощую анархистскую газетку, выходившую в Женеве. И все же,

несмотря на повседневное их общение, Суварин по-прежнему оставался замкнутым, и всегда казалось, что человек этот живет, как на бивуаках, что у него нет никакой личной жизни, никаких чувств и ровно никакого достояния.

В начале июля положение Этьена неожиданно улучшилось. В однообразной, небогатой происшествиями жизни шахты произошло событие: при разработке Гильомова пласта наткнулись в нем на изломы, несомненно предвещавшие приближение к сбросу и пустопорожнему месту; и действительно, вскоре встретилось это пустое место, о котором инженеры, хотя они и хорошо знали геологическое строение участка, не подозревали. В шахте все взволновались, только и разговоров было, что об исчезнувшем пласте, который, вероятно, спускался ниже, под эту пустую породу, а позади нее опять выходил наружу. Учуяв след пропавшего угля, старые углекопы раздували ноздри, как добрые охотничьи собаки. Но пока он не был найден, артели не могли сидеть сложа руки, и расклеенные объявления сообщили, что Компания будет вскоре сдавать с торгов новые участки на разработку.

Однажды Маэ после работы проводил Этьена до дому и предложил ему поступить забойщиком в его артель вместо Левака, перешедшего в другую партию. Маэ получил на это разрешение от старшего штейгера и от инженера, которые с большой похвалой отзывались о молодом откатчике. Этьену оставалось только согласиться на это быстрое повышение, что он и сделал, радуясь все возраставшему уважению, которое выказывал ему Маэ.

К вечеру они вместе отправились на шахту ознакомиться с условиями. Оказалось, что торги назначены на участки, находящиеся в пласте Филоньера, в северном крыле Ворейской шахты. Работа казалась невыгодной; Маэ покачивал головой, когда Этьен читал ему вслух объявление. На следующий день, когда они спустились в шахту и пошли осмотреть новые места разработки, Маэ указал Этьену, что от нее очень далеко до рудничного двора, что порода неустойчивая, что угольный пласт совсем тонкий, а уголь очень твердый. Но ничего не поделаешь: если хочешь есть, придется тут работать. В следующее воскресенье они пошли на торги, которые происходили в бараке; вместо оказавшегося в отъезде инженера отделения торги вел инженер шахты с помощью старшего штейгера. Перед небольшим помостом, устроенным в углу, теснилось пятьсот — шестьсот углекопов; распределение участков шло быстро; слышался глухой гул толпы, чьи-то голоса наперебой выкрикивали цифры — то называли одни, то другие цифры. Маэ испугался: а вдруг ему не достанется ни один из сорока участков, предлагаемых Компанией? Слухи о промышленном кризисе вселяли в шахтеров панический страх перед безработицей, и конкуренты наперебой снижали расценки. Видя такое исступление,

инженер Негрель не спешил, выжидая самого большого понижения расценок, а Дансар, подхлестывая участников торга, без стеснения лгал, восхваляя превосходное качество участков. Для того чтобы получить пятьдесят метров лавы, Маэ пришлось бороться с товарищем, который тоже упорствовал, они по очереди сбрасывали по сантиму с вагонетки, и Маэ остался победителем лишь потому, что сам до предела снизил расценку; штейгер Ришом, стоявший позади него, бранился сквозь зубы, подталкивая его локтем, и сердито ворчал, что при такой оплате артель ничего не заработает.

Когда вышли из барака после торгов, Этьен выругался. Потом разразился гневом, встретив Шаваля, который возвращался с прогулки по полю в обществе Катрин: парень срывал цветы удовольствия в то время, как тесть был занят серьезными делами.

— Мерзавцы! Негодяи! — кричал Этьен.— Вон какую подлость устроили! Заставляют рабочих душить друг друга.

Шаваль разгорячился. Ну извините, он-то никогда бы не снизил расценок! Захарий, явившийся на торги из любопытства, сказал, что ему слушать было тошно. Но Этьен резким жестом оборвал их:

— Этому придет конец! Когда-нибудь мы будем хозяевами!

Маэ, угрюмо молчавший после торгов, вдруг как будто очнулся и повторил:

— Хозяева!.. Эх, судьба проклятая! Давно пора! Натерпелись мы!

II

Это было в последнее июльское воскресенье, в день ярмарки в Монсу. Накануне вечером во всем поселке старательные хозяйки вымыли свою «залу», не жалея воды,— устроили настоящее наводнение, с размаху выплескивая ведра воды на плиточный пол и на стены; пол даже еще не высох, хотя его посыпали белым песком — роскошь для тощего кошелька бедняков.

В воскресенье уже с утра было жарко, нависшее тяжелое небо сулило грозу и удушливый, палящий зной, который так часто обрушивается летом на беспредельные поля Северного департамента.

По воскресеньям обычный утренний распорядок менялся в семействе Маэ. Отец с пяти часов сердито ворочался, несмотря на праздник, вставал и одевался, а дети нежились в постели до девяти часов. В то воскресенье Маэ вышел в садик выкурить трубку, потом вернулся съесть бутерброд в ожидании завтрака. Утро у него ушло на всякие пустяки: починил протекавшую ло-

хань для купанья, приклеил на стену под часами портрет наследника престола,— кто-то подарил картинку малышам. Наконец, один за другим, спустились все домашние; старик Бессмертный вытащил в палисадник стул, чтобы погреться на солнышке, мать и Альзира тотчас принялись стряпать. Появилась Катрин, подталкивая Ленору и Анри, которых она умыла и одела; пробило половина одиннадцатого; по всему дому разливался запах жаркого из кролика, тушившегося с картофелем; последними спустились Захарий и Жанлен, у обоих были припухшие, заспанные глаза, и все же оба еще позевывали.

Во всех домах царила суета, праздничное возбуждение, хозяйки спешили отстряпаться,— всем хотелось поскорее пообедать и компанией отправиться на ярмарку в Монсу. Стайки ребятишек бегали по улице; ленивой походкой, не спеша, как и полагается в праздничные дни, прохаживались мужчины, без курток, в рубашках с засученными рукавами. По случаю жаркой погоды двери и окна растворены были настежь, и из конца в конец поселка открывалась панорама — вереница комнат, переполненных жестикулирующими, громко разговаривающими людьми, собравшимися наконец по-праздничному всей семьей. И из каждой двери по всему поселку шел запах жареного кролика, благоухание роскошных яств, вытеснившее в тот день застоявшийся запах жареного лука. В воздухе гул стоял от шумной болтовни,— болтали у каждого крылечка, женщины выбегали, окликали соседок, занимали друг у друга кухонную утварь, шлепками выгоняли или загоняли в дом малышей. Впрочем, за последние три недели Маэ были в холодных отношениях со своими соседями Леваками, так как все еще не позволяли Захарию жениться на Филомене. Отцы встречались, но матери всячески показывали, что знать друг друга не желают. Из-за этой ссоры жена Маэ сблизилась с женой Пьерона. Но в тот день жена Пьерона, оставив мужа и Лидию на попечение старухи Горелой, спозаранку отправилась на целый день в гости к своей двоюродной сестре в Маршьен. Люди посмеивались: всем было известно, какова она, эта двоюродная сестра — сестрица-усач, а по чину — старший штейгер Ворейской шахты. Жена Маэ заявила, что просто бессовестно бросать свою семью в день ярмарки.

Кроме жареного кролика с картофелем, которого целый месяц откармливали в сарайчике, в доме Маэ подали за обедом густой суп и вареную говядину. Как раз накануне, в субботу, была получка. Право, еще никогда не видывали в доме подобного пиршества. Даже на св. Варвару, в праздник углекопов, когда они три дня не работают, не подавали за столом такой жирной и нежной крольчатины. Не удивительно, что десятеро обедающих, начиная от малютки Эстеллы, у которой прорезывались зубки, и

до старика Бессмертного, у которого уже выпадали зубы, работали челюстями так усердно, что обглодали все косточки. Ах, какая вкусная штука жаркое! Но они так редко ели мясо, что плохо его переваривали. Уничтожили и весь суп, оставив только кусок вареной говядины на ужин. Для сытости можно будет добавить хлеба с маслом.

Первым из дому улизнул Жанлен. За школой его ждал Бебер. Они долго бродили вдвоем, а потом сманили Лидию, хотя бабка решила не спускать с нее глаз и ради этого не уходила из дому. Заметив, что девчонка все-таки убежала, старуха раскричалась, возмущенно размахивая своими тощими руками, а тем временем Пьерон, которому надоело слушать ее вопли, без долгих разговоров отправился прогуляться, храня довольный вид, вполне подобающий мужу, когда он может развлекаться со спокойной совестью, зная, что и жена его не скучает.

Затем ушел старик Бессмертный, вслед за ним решился пойти подышать воздухом и Маэ, спросив у жены, встретятся ли они на гулянье. Нет, ей никак не удастся — просто мученье с этими малышами, куда от них пойдешь? Впрочем, она еще подумает, а если пойдет попозднее, так разыщет его где-нибудь в Монсу. Выйдя на улицу, Маэ постоял в нерешительности и все же заглянул к соседям узнать, готов ли Левак. Там он наткнулся на Захария, поджидавшего Филомену, и жена Левака затеяла давнишний спор по поводу их женитьбы, кричала, что над ней издеваются, что она в последний раз, но как следует поговорит с женой Маэ. Разве это жизнь! Изволь-ка нянчить внуков-безотцовщину, а их мамаша гуляет со своим красавчиком. Филомена преспокойно надела чепчик, и Захарий увел ее, в сотый раз повторив, что он бы и рад жениться, да мать не велит, пусть ее уговорят. Поскольку Левак успел улизнуть из дому, Маэ тоже предложил жене Левака поговорить с его женой и поспешил ретироваться. Бутлу, который сидел, навалившись на стол локтями, и доедал кусок сыру, отказался от предложения пойти выпить по кружке пива. Словно примерный муж, он предпочел остаться дома.

Поселок постепенно пустел; все мужчины, один за другим, двинулись в Монсу, а девушки, поджидавшие на крылечке своих кавалеров, отправлялись под руку с ними в противоположную сторону. Когда Маэ завернул за угол церкви, Катрин, заметив на улице Шаваля, поспешила выйти к нему, и они вместе пошли в Монсу. Мать осталась одна среди расшалившихся ребятишек и вдруг почувствовала такую усталость, что не могла подняться со стула; налив себе второй стакан кофе, она стала пить его маленькими глотками. В поселке остались только женщины и дети; приятельницы, приглашая друг друга в гости, опустошали вместе

кофейники до последней капли, болтали за неубранным столом, еще теплым и невытертым после обеда.

Маэ чуял, что Левак пребывает в заведении Раснера, и не спеша направился туда. Действительно, Левак играл с приятелями в кегли за домом, в узком садике, окруженном живой изгородью. Тут же стояли, хоть и не принимали участия в игре, Мук и Бессмертный, и оба следили за ударами с таким страстным вниманием, что даже забывали подталкивать друг друга локтем. Солнце поднялось высоко, в сад падали палящие отвесные лучи, совсем не было тени, кроме узкой полоски у стены кабачка; в этом пекле сидел за столом Этьен и пил пиво, досадуя, что Суварин бросил его и ушел в свою комнату. Почти каждое воскресенье машинист, запершись у себя, читал или писал.

— Сыграем? — спросил Левак у Маэ.

Но Маэ отказался:

— Больно жарко, да и пить хочется.

— Раснер! — крикнул Этьен.— Принеси кружку пивца.— И, повернувшись к Маэ, добавил: — Хочу тебя угостить.

Теперь все они были на «ты». Раснер не спешил, пришлось позвать его три раза, да и то кружку теплого пива принесла его жена, а не он. Этьен пожаловался Маэ на порядки в доме: слов нет, хозяева славные люди, и убеждения у них прекрасные, а только пиво у них никуда не годится, да и кормят отвратительно! Раз десять он собирался переменить пансион, но останавливало расстояние,— из Монсу далеко ходить на шахту. Но в конце концов он не выдержит и устроится на хлеба в поселке у кого-нибудь в семье.

— Ну понятно,— протянул Маэ своим медлительным голосом,— понятно, в семье тебе лучше будет.

Вдруг раздались ликующие возгласы: Левак с одного удара сбил все кегли. Зрители радостно шумели; только Мук и Бессмертный, нагнувшись, рассматривали упавшие кегли и хранили молчание, исполненное глубокого восторга. Придя в восхищение от мастерского удара, игроки сыпали шутками и совсем развеселились, когда над изгородью показалась улыбающаяся физиономия Мукетты. Она целый час бродила неподалеку, а теперь, услышав дружный хохот, осмелела и подошла.

— Как же это ты нынче одна? — крикнул Левак.— А где же хахали?

— Старых прогнала,— ответила Мукетта с веселым бесстыдством,— новенького ищу.

Все наперебой предлагали свои услуги и подзадоривали ее грубыми шуточками. Она отрицательно качала головой, закатывалась хохотом, жеманилась. Кстати сказать, отец присутствовал

при этой сцене, но даже и головы не повернул, все любовался сбитыми кеглями.

— Ладно! Знаем мы, на кого ты заришься, девка...— продолжал Левак, бросив взгляд на Этьена.— Только придется тебе силком его тянуть.

Этьен засмеялся. Действительно, Мукетта все вертелась вокруг него. Он говорил «нет», но все же его забавляла эта игра, хотя он не испытывал никакого влечения к Мукетте. Она постояла за изгородью еще несколько минут, пристально глядя на Этьена своими большими глазами, потом медленно пошла прочь, вдруг нахмурившись и притихнув, словно ее разморила жара. Этьен опять принялся вполголоса объяснять Маэ, что для углекопов необходимо основать в Монсу кассу взаимопомощи.

— Чего же нам бояться, раз Компания заявляет, что мы свободны? — твердил он.— Мы получаем только те пенсии, которые она дает, а она назначает их по своему усмотрению, поскольку не делает никаких удержаний из нашего заработка. Ну так вот, было бы разумно, вне зависимости от ее произвола, создать общество взаимной помощи. Мы по крайней мере могли бы на него рассчитывать, когда нам срочно понадобится пособие.

Он уточнял подробности, рассказывал об основах организации, обещал взять на себя весь труд по созданию кассы.

— Да что ж, я не прочь,— сказал наконец Маэ.— Только вот как другие... Ты постарайся и других уговорить.

Вся компания, бросив кегли, пришла выпить пива, чтобы спрыснуть выигрыш Левака. Однако Маэ отказался от второй кружки — день еще велик, успеется. Он вспомнил о Пьероне. Где же его искать? Наверно, сидит в кабачке Ланфана. И, уговорив Этьена и Левака, Маэ вместе с ними отправился в Монсу, а кегельбан Раснера заполнила новая компания. Дорогой всем троим пришлось зайти в винный погребок Казимира, потом в трактир «Прогресс». Везде в открытые двери путников подзывали приятели,— как же тут отказаться? Всякий раз выпивали по кружке пива, а то и по две, так как в ответ на приглашение им тоже надо было угостить друзей. Посидев с ними минут десять, перекинувшись двумя-тремя словами, спокойно шли дальше, хорошо зная, что пиво неопасный напиток: пивом наливайся сколько хочешь, только вот выливается оно из тебя слишком быстро — единственная неприятность.

В кабаке Ланфана они сразу же натолкнулись на Пьерона, допивавшего вторую кружку; ради встречи с добрыми соседями он осушил и третью кружку. Разумеется, выпили и они. Затем отправились вчетвером поискать Захария в кабачке «Головня». Там было пусто, они решили подождать его и заказали по кружке. Затем заглянули в пивную «Святой Илья», там тоже выпили

по кружке — всех угостил штейгер Рише, а потом двинулись в обход по всем распивочным — без всякого предлога, просто так, для прогулки.

— Пошли в «Вулкан»! — разгорячившись, предложил вдруг Левак.

Остальные похохатывали, мялись, а потом решили не отставать от товарища и двинулись в «Вулкан», пробираясь сквозь все возраставшую ярмарочную толчею. В узком и длинном зале «Вулкана» на дощатом помосте, устроенном у задней стены, поочередно подвизались пять певичек из Лилля — публичные девки самого низкого пошиба, с чудовищными телодвижениями и чудовищными обнаженными телесами. При желании посетители «Вулкана» за десять су могли проникнуть за кулисы и удалиться с той, которая им приглянулась. Заведение посещали главным образом откатчики, рукоятчики, даже тормозные, четырнадцатилетние мальчишки, вся шахтерская молодежь, потреблявшая больше можжевеловой водки, чем пива. Иногда соблазнялись и старые углекопы, женатые люди, известные в поселке своим распутством и нечистоплотные в семейных делах.

Как только компания Маэ села за столик, Этьен завладел Леваком и принялся излагать ему свой замысел создать кассу взаимопомощи. Он пропагандировал усвоенные идеи с усердием новообращенного, который видит в служении им свою миссию.

— Каждый член кассы,— твердил он,— прекрасно может вносить в нее ежемесячно по двадцать су. А ведь из этих взносов у него за четыре-пять лет накопится целый капитал. Когда же у человека есть деньги, он чувствует себя сильным, верно? При любых обстоятельствах... Ну как? Что скажешь?

— Да что ж, я не отказываюсь,— ответил Левак с рассеянным видом.— Мы еще об этом потолкуем.

Его привлекала огромная толстая блондинка, визжавшая на эстраде, и он пожелал остаться, когда Маэ и Пьерон, выпив по кружке, решили уйти, не дожидаясь второго романса.

Этьен ушел вместе с ними и на улице опять встретил Мукетту,— она, казалось, ходила за ним по пятам. Она поджидала его, пристально смотрела на него большими блестевшими глазами, смеялась добродушным смехом покладистой девицы и словно говорила: «Ну что ж ты? Не хочешь?» Этьен отпустил какую-то шутку и пожал плечами. Она гневно вскинула голову и затерялась в толпе.

— Где же Шаваль? — спросил Пьерон.

— В самом деле, где он? Верно, в «Виноградном».

Но у трактира «Виноградное» им пришлось остановиться — там у самых дверей разыгралась ссора. Захарий грозил кулаком

«Жерминаль»

«Жерминаль»

рабочему гвоздильного завода, коренастому и флегматичному валлонцу, а Шаваль, засунув руки в карманы, смотрел на них.

— Гляди-ка, вон он, Шаваль,— спокойно заметил Маэ.— Он с Катрин.

Пять часов подряд Катрин и ее возлюбленный прогуливались по ярмарке. По дороге, которая, проходя через Монсу, превращалась в широкую извилистую улицу, обставленную с двух сторон низенькими пестрыми домишками, под жгучими лучами солнца катился людской поток, подобный колонне муравьев, затерявшейся на голой необъятной равнине. Вековечная черная грязь высохла, над дорогой подымалось теперь облако черной пыли, похожей на грозовую тучу.

Кабаки, расположившиеся по обеим сторонам дороги, были битком набиты, их хозяева поставили длинные столы до самого шоссе, а там двойным рядом выстроились под открытым небом разносчики, лоточники, ларечники, разложившие свои немудреные товары — косынки и зеркала для девушек, ножи и фуражки для парней, не считая сладостей — карамели, леденцов и пряников; на площади перед церковью стреляли из лука. Напротив мастерских играли в шары. Около конторы копей, в том месте, где от шоссе отходила Жуазельская дорога, на пустыре, огороженном досками, теснились любители петушиных боев. Дрались два крупных рыжих петуха, вооруженных железными шпорами; они уже успели выщипать и раскровенить друг другу грудь. Дальше, в лавке Мегра, играли на бильярде; выигравшие получали штаны или фартук. Гул и гомон сменялись долгими минутами безмолвия: молча, без единого возгласа, толпа пила и поглощала еду; наживая несварение желудка, люди уничтожали в огромном количестве пиво и жаренную на сале картошку; палящий зной усиливался от жара раскаленных переносных печек, на которых под открытым небом кипело в котлах сало для поджарки.

Шаваль подарил Катрин зеркальце за девятнадцать су и косынку за три франка. На каждом повороте они встречались с Муком и Бессмертным, которые тоже пришли на праздник и степенно расхаживали рядышком по ярмарке, с трудом передвигая негнущиеся ноги. Другая встреча привела их в негодование — они заметили, что Жанлен подговаривает Бебера и Лидию украсть бутылки с можжевеловой водкой из импровизированной распивочной, устроенной на краю пустыря. Катрин успела дать затрещину брату, но Лидия убежала, прихватив с собой бутылку. Вот поганые ребята! Не миновать им каторги!

Когда подошли к распивочной «Сорвиголова», Шавалю вздумалось повести туда свою возлюбленную посмотреть на состязание зябликов, о котором афиши извещали еще за неделю. На призыв отозвалось человек пятнадцать — рабочие гвоздильного за-

вода в Маршьене; каждый принес по дюжине клеток; на заборе во дворе кабачка были развешаны затемненные покрышкой клеточки, в которых неподвижно сидели ослепшие в полумраке птицы. Выигравшим на состязании считался тот зяблик, который больше других повторит за час несложные коленца своей песенки. Каждый гвоздильщик стоял возле своих клеток с грифельной доской в руках и делал на ней отметки под надзором соседей и сам надзирал над ними. И вот зяблики — «чуфырки», поющие более сочно, и «верещаги», отличавшиеся звонкими трелями,— запели. Начинали они робко, делали изредка коленце, а затем, разойдясь, развернувшись, возбуждая один другого, все ускоряли ритм и, наконец, залились трелями в таком неистовстве соревнования, что некоторые птички, не выдержав волнения, падали мертвыми. Безжалостные валлонцы подхлестывали соперников голосом, умоляли «пустить еще разок», а человек сто зрителей молча, со страстным вниманием слушали эту адскую музыку ста восьмидесяти зябликов, которые, все вразнобой, повторяли одни и те же коленца. Первый приз — жестяной кофейник со штампованным узором — достался «верещаге».

Катрин и Шаваль тоже были среди слушателей; пришли и Захарий с Филоменой. Обменявшись рукопожатиями, стали слушать вместе. Но вдруг Захарий рассердился, заметив, что какой-то гвоздильщик, из любопытства затесавшийся сюда с приятелями, тихонько щиплет его сестру; Катрин, красная как пион, уговаривала брата замолчать, трепеща при мысли о поножовщине, которая может произойти,— ведь все эти гвоздильщики бросятся на Шаваля, если он не позволит им приставать к ней. Она чувствовала эти заигрывания, но из осторожности молчала. Впрочем, ее любовник только посмеивался. Все четверо удалились, и казалось, дело этим кончилось. Но едва они вошли в трактир «Виноградное» выпить по кружке пива, опять появился гвоздильщик. Парень старался показать, что ему сам черт не брат, и вызывающе посвистывал прямо у них перед носом. Захарий, оскорбленный в своих родственных чувствах, накинулся на нахала:

— Не лезь к моей сестре, свинья паршивая! Погоди, я тебя научу уважать мою сестру!..

Соседи розняли их. Шаваль твердил хладнокровно:

— Оставь! Это только меня касается... А я тебе говорю — чихать я на него хотел.

Пришел Маэ со своей компанией и успокоил Катрин и Филомену, проливавших слезы. В толпе смеялись. Гвоздильщик исчез. Желая окончательно рассеять тревогу, Шаваль, который держал себя в этом трактире как дома, угостил всех пивом. Этьену пришлось чокнуться с Катрин; выпили все вместе: отец, дочь и ее возлюбленный, сын и его любовница, и каждый говорил

учтиво: «За здоровье всей компании». Затем выпили еще раз по приглашению Пьерона и на его счет. Все были в добром согласии, как вдруг Захарий, увидев Муке, опять почувствовал прилив негодования и стал уговаривать приятеля «двинуть вдвоем» на гвоздильщиков, как он выразился.

— Я должен кишки ему выпустить!.. Погоди! Шаваль, ты побудь тут, не давай в обиду Филомену и Катрин. Я сейчас вернусь.

В свою очередь и Маэ выставил всем по кружке. В конце концов пусть парень отомстит за сестру, это неплохой пример для других. Но, увидев Захария в обществе Муке, Филомена сразу успокоилась и только покачала головой. Разумеется, приятели удрали в «Вулкан».

В дни ярмарки праздник всегда заканчивался в танцевальном зале «Смелый весельчак». Содержала зал вдова Дезир, пятидесятилетняя толстуха, круглая, как бочка, и еще такая бойкая, что у нее было шесть любовников — «по одному на будние дни, а на воскресенье все шестеро», как она говорила. Всех углекопов она называла «детками», с умилением вспоминая, что за тридцать лет они выпили у нее целую реку пива; она хвасталась также, что ни одна откатчица не нагуляла себе ребенка, не поразмяв предварительно ноги на танцах в ее заведении. Оно помещалось в двух комнатах: в одной был кабачок с обычной стойкой, столами, стульями; в соседней комнате, отделенной от первой широкой аркой, танцевали; в этом бальном зале половицы были настланы только посредине, а вокруг настила пол выложен был плитками. Все украшение составляли две гирлянды бумажных цветов, протянутые под потолком из угла в угол и на месте скрещения соединенные венком из таких же аляповатых бумажных цветов; по стенам висели в ряд позолоченные картонные щиты с именами святых: святого Ильи — покровителя кузнецов и литейщиков, святого Крепина — покровителя сапожников, святой Варвары — покровительницы углекопов,— словом, всех святых, распределенных по цехам. Потолок был такой низкий, что в него упирались головами трое музыкантов, восседавших на маленькой эстраде, величиной с кафедру проповедника в церкви. По вечерам зал освещался четырьмя керосиновыми лампами, висевшими по углам.

В то воскресенье бал начался в пять часов вечера, еще при дневном свете, лившемся в окна. Но только к семи часам набралось много народу. На дворе поднялся ураганный ветер, и облака черной пыли слепили людям глаза, пыль потрескивала на сковородах, где жарилась картошка. Маэ, Этьен и Пьерон решили посидеть в «Смелом весельчаке» и встретили там Шаваля — он танцевал с Катрин, а Филомена стояла в одиночестве и смотрела

на них; ни Левак, ни Захарий не появлялись. В танцевальном зале не было скамеек, и Катрин после каждого танца отдыхала за столиком отца. Позвали Филомену, но она отказалась присесть — стоя она чувствовала себя лучше. Уже темнело, три музыканта играли в бешеном темпе, смутно различимые танцоры вертелись, покачивали бедрами и плечами, переплетали руки.

Внесли четыре зажженные лампы, встреченные хором веселых возгласов, и сразу все осветилось: красные лица, растрепанные волосы, прилипавшие к мокрым вискам, юбки, развевавшиеся в воздухе, насыщенном запахом потных тел. Маэ указал Этьену на Мукетту,— круглая и жирная, как пузырь, налитый свиным салом, она неистово кружилась в объятиях длинного тощего рукоятчика: вероятно, она утешилась и взяла себе нового возлюбленного.

В восемь часов вечера появилась наконец жена Маэ с Эстеллой на руках и в сопровождении трех малышей — Альзиры, Анри и Леноры. Она сразу направилась в заведение вдовы Дезир, нисколько не сомневаясь, что муж находится там! С ужином можно было и подождать, никому не хотелось есть: за день выпито было слишком много кофе и пива. Пришли и другие жены. Любопытные зашушукались, когда вслед за женой Маэ вошла жена Левака в сопровождении своего жильца Бутлу, который вел за руку Ахилла и Дезире, детишек Филомены. Соседки, казалось, были в добром согласии: повернувшись друг к другу, они о чем-то мирно разговаривали. Доро́гой у них было крупное объяснение, и жена Маэ наконец примирилась с предстоящей женитьбой старшего сына; она горько сетовала, что лишится его заработка, но признала правильным довод, что дольше удерживать Захария в семье было бы несправедливо. Теперь она старалась держаться спокойно, хотя на душе у нее кошки скребли: она невольно думала о том, как трудно ей будет сводить концы с концами, когда из ее тощего кошелька уплывут самые надежные гроши.

— Садись-ка сюда, соседка,— сказала она, указывая на стол, стоявший рядом с тем столом, за которым Маэ пил пиво в компании Этьена и Пьерона.

— А моего-то нет с вами? — спросила жена Левака.

Товарищи ответили, что он скоро вернется. Все кое-как разместились, и Бутлу и ребятишки, но в переполненной распивочной было так тесно, что два столика стояли почти вплотную друг к другу. Заказали пива. Заметив мать и своих детей, Филомена решилась подойти и согласилась присесть. Узнав, что их с Захарием наконец поженят, она как будто повеселела; когда стали спрашивать, где Захарий, она вяло ответила:

— Я жду его. Он сейчас придет.

Маэ переглянулся с женой. Так она, значит, согласилась? Он сразу стал озабоченным, молча курил свою трубку. Его тревожила мысль о завтрашнем дне. Вот она, неблагодарность детей,— женятся и оставляют родителей в нищете.

А молодежь все плясала и, отбивая ногами последнюю фигуру кадрили, подняла такую пыль, что комнату затянула рыжеватая мгла; от топота трещали стены; корнет-а-пистон издавал пронзительные звуки, похожие на гудки паровоза, взывающего о помощи; и когда танцоры остановились, от них валил пар, как от загнанных коней.

— А помнишь, что ты говорила? — сказала жена Левака, наклоняясь к жене Маэ.— Помнишь? Ты грозила удушить Катрин, если она начнет дурить.

Шаваль привел Катрин к столику ее родителей, и оба, стоя за спиной отца, допивали свое пиво.

— Ну что там! — ответила Маэ, и весь ее вид говорил о покорности судьбе.— Мало ли что скажешь!.. А только насчет ее мне беспокоиться нечего,— детей она не нагуляет! Это я знаю наверняка!.. А то подумай-ка, еще и она ребенка принесла бы и пришлось бы ее замуж отдавать... Что тогда?

Корнет-а-пистон задудел польку, опять поднялся оглушительный топот. Маэ в это время пришла в голову хорошая мысль, и он поделился ею с женой. Почему бы им не взять жильца, например Этьена? Он как раз хочет поступить к кому-нибудь на хлеба. Место у них найдется, раз старший сын уходит из семьи, и деньги, которые они потеряют с женитьбой Захария, отчасти возместит им нахлебник. У матери просветлело лицо: в самом деле, Маэ хорошо придумал, надо это устроить. Ей казалось, что семья еще раз спасена от голода, и она пришла в такое веселое расположение духа, что заказала для всех по кружке пива.

Тем временем Этьен, стараясь внушить свои взгляды Пьерону, подробно излагал ему проект организации кассы. Он добился от него обещания вступить в члены кассы, но вдруг совершил неосторожность, открыв ему подлинную свою цель:

— А если мы объявим забастовку, ты понимаешь, как нам тогда будет полезна касса? Плевать нам на Компанию, мы на первое время найдем в кассе средства, чтобы повести борьбу... Ну как? Понятно? Ты вступишь?

Пьерон опустил глаза и, бледнея, забормотал:

— Я подумаю... Надо вести себя аккуратно — вот самая лучшая касса.

Тут Этьеном завладел Маэ и, как человек простой, без обиняков предложил взять его на хлеба. Молодой забойщик так же просто принял предложение, ему очень хотелось жить в поселке, чтобы теснее сблизиться с товарищами. Дело сладили в несколь-

ких словах. Жена Маэ сказала, что надо только подождать, когда Захарий женится.

Как раз в это время он явился вместе с Леваком и Муке. Все трое принесли с собой ароматы, царившие в «Вулкане»: запах можжевеловой водки да едкий запах приторных духов и немытых тел продажных девок. Все трое были пьяны, очень довольны собой и, ухмыляясь, подталкивали друг друга локтем. Узнав о скорой своей женитьбе, Захарий так и покатился от хохота. Филомена сказала, что ей приятнее видеть его смех, чем слезы. Свободных стульев больше не было, и Бутлу подвинулся, уступив свое место Леваку. Тот вдруг умилился, что все собрались тут, сидят так дружно, по-семейному, и по этому поводу еще раз заказал для всех пива.

— Эх, чертовщина! — орал он.— Не часто случается нам повеселиться!

В питейной пробыли до десяти часов. Туда заглядывали женщины и, посидев с мужьями, уводили их домой; за матерями хвостом тянулись дети; женщины, приходившие с младенцами, не стесняясь, выпрастывали длинную белую грудь, похожую на торбу с овсом, молоко брызгало на щечки сосунков; а малыши, которые уже умели ходить, получив щедрую долю в угощении пивом, залезали на четвереньках под стол и, не ведая стыда, облегчались там. В кабачке было море разливанное, волны пива из бочек вдовы Дезир непрестанно наполняли кружки. Пиво вздувало животы, вытекало из носа, из глаз — отовсюду. Все наливались пивом, сидя в такой тесноте, что каждый плечом упирался в соседа; всем было весело, все расцвели, чувствуя близость друзей, и хохотали, растягивая рот до ушей. Было жарко, как в пекле, и, чтобы легче дышалось, люди сидели, распахнув на груди куртку или кофту, и свет лампы, пробиваясь сквозь густой табачный дым, золотил обнажившуюся полоску тела; единственным неудобством было то, что приходилось иногда вставать из-за стола, а затем вновь усаживаться; время от времени какая-нибудь девушка выходила на задворки, поднимала в уголке юбки, потом возвращалась.

Под гирляндами пестрых бумажных цветов шел неистовый пляс, танцоры взмокли, пот слепил им глаза, и они не видели друг друга. Пользуясь толчеей, подростки-коногоны, как будто споткнувшись, опрокидывали молодых откатчиц. И когда какая-нибудь толстуха падала на пол, а на нее валился кавалер, музыкант перекрывал шум падения яростным воплем медной трубы; топот танцоров перекатывал упавших, словно волны пляски обрушивались на них.

Кто-то мимоходом предупредил Пьерона, что его дочь Лидия спит у дверей, растянувшись поперек тротуара. Она выпила часть

водки из украденной бутылки и сразу опьянела; отцу пришлось нести ее на спине. За ними следовали Жанлен и Бебер, оказавшиеся более крепкими, и находили все очень забавным. Это происшествие послужило сигналом к отправлению. Из «Смелого весельчака» стали выходить семьями. Маэ и Леваки решили вернуться домой. Как раз в это время старики Бессмертный и Мук тоже уходили из Монсу, оба двигались деревянным шагом лунатиков и упорно молчали, погрузившись в воспоминания. Домой отправились все вместе, в последний раз прошли мимо ярмарочных харчевен, где на сковородах застыл растопленный жир, мимо кабачков, откуда ручейками до середины дороги текло пиво, выливавшееся из кружек. Все ближе надвигалась гроза; как только миновали последние дома, где еще светились окна, и вступили в черную тьму равнины, по сторонам дороги зазвучали тихие голоса и смех. Жаркое дыхание страсти поднималось из созревших хлебов. Должно быть, в ту ночь было зачато много жизней. До́ма Леваки и Маэ поужинали без аппетита и, доедая остатки от обеда, едва не засыпали за столом.

Этьен повел Шаваля к Расперу выпить еще по кружке.

— Я согласен,— заявил Шаваль, когда товарищ рассказал ему о кассе взаимопомощи.— Давай руку! Ты молодец!

У Этьена, уже начинавшего хмелеть, заблестели глаза. Он крикнул:

— Да, будем действовать дружно!.. Для меня, знаешь, справедливость — это все! Ради нее все отдам — и гулянки и девушек. Только одной мыслью сердце горит: скорее бы, скорей нам смести буржуев!

III

В середине августа Этьен перешел жить к Маэ — к тому времени Захарий женился на Филомене, и ему как семейному удалось получить в поселке жилье в освободившемся доме, куда он и перебрался с женой и двумя ребятишками. В первое время Этьена очень смущала близость Катрин.

То была постоянная, домашняя близость — он везде заменял ее ушедшего брата, спал на его кровати, вместе с Жанленом, напротив кровати Катрин. Близ нее ему приходилось вечером раздеваться и одеваться по утрам, он видел, как и она снимает с себя или надевает одежду. Когда спадала на пол нижняя юбчонка и Катрин оставалась в одной рубашке, его поражала белизна ее тела, нежная, прозрачная белизна, какая бывает у малокровных блондинок; его волновало, что Катрин такая беленькая, словно ее окунули в молоко от пяток до шеи, где граница

загара выделялась золотистой чертой; только на кистях рук и на лице кожа пожелтела и утратила эту удивительную белизну. Он старательно отворачивался, по постепенно узнавал ее всю: сначала ступни — когда опускал глаза; промелькнувшее колено, когда она спешила юркнуть под одеяло; затем маленькие крепкие груди, когда она по утрам наклонялась над умывальным тазом. Она как будто не замечала его, но всегда страшно торопилась: разденется в одно мгновенье, гибким движением скользнет в постель и вытянется рядом с Альзирой; прежде чем он успеет снять башмаки, она уже лежит спиной к нему, и он видит лишь ее тяжелую косу.

Впрочем, ей никогда не приходилось обижаться на Этьена. Словно во власти наваждения, он невольно подстерегал минуту, когда она ложилась спать, но никогда не позволял себе никаких игривых шуточек, никаких вольностей,— тут были родители, а кроме того, в нем жило странное чувство к Катрин, в котором была и дружеская привязанность, и злая обида, мешавшие ему видеть в ней желанную женщину, несмотря на полную непринужденность их отношений; ведь они всегда были вместе — и в спальне, и за столом, и за работой, в этой постоянной совместной жизни не оставались сокровенными даже интимные стороны. Стыдливость проявлялась только в час каждодневного омовения — девушка теперь мылась одна в верхней комнате, а мужчины по очереди мылись внизу.

Месяц спустя Этьен и Катрин как будто и не замечали друг друга по вечерам, когда полураздетые ходили по комнате перед тем, как погасить свечу. Катрин уже не торопилась, по прежней привычке садилась на край постели и, в одной рубашке, задравшейся выше колен, подняв руки, закалывала на ночь свои белокурые косы, а он, в одних кальсонах, иногда помогал ей, отыскивая на полу оброненные шпильки. Привычка убивала стыдливость, им казалось естественным видеть друг друга почти нагими — ведь они не делали ничего дурного, не по их вине в доме была одна спальня на всех. И все же, хотя у них и не возникало грешных мыслей, порою их охватывало смятение. Много вечеров подряд Этьен не замечал ее тела, а то вдруг, увидев ее всю, сияющую нежной белизной, трепеща, отворачивался, боясь, что поддастся соблазну и овладеет ею. В иные вечера на Катрин без всякой, казалось бы, причины нападал целомудренный страх, она избегала Этьена и с таким испугом куталась в одеяло, словно чувствовала, как руки юноши сжимают ее. Когда свеча была погашена, оба, несмотря на усталость, не могли уснуть, и Этьен знал, что Катрин не спит и думает о нем так же, как он думает о ней. Все это оставляло в душе неприятный осадок, они вставали утром с чувством тревоги, в дурном настроении, не проходившем

весь день; оба предпочитали спокойные вечера, когда ничто не нарушало простых, товарищеских отношений.

Этьен мог пожаловаться только на Жанлена, который спал, свернувшись калачиком, и потому занимал много места в постели. Альзира дышала тихонько, Ленора и Анри с вечера до утра спали в обнимку беспробудным сном. В ночном мраке тишину нарушал только храп супругов Маэ, раздававшийся равномерно, как шум кузнечных мехов. И все же Этьену жилось здесь лучше, чем у Раснера,— постель была удобная, простыни меняли раз в месяц, да и кормили здесь лучше. Мясо на столе появлялось редко, но ведь и другие не чаще ели мясное. Этьен платил за хлеба сорок пять франков в месяц и не мог требовать, чтобы ему каждый день подавали рагу из кролика. А эти сорок пять франков были подспорьем в хозяйстве: благодаря им семья кое-как сводила концы с концами, всегда, однако, оставаясь в долгу по мелочам; и Маэ старались выразить признательность своему жильцу: белье у него всегда было выстирано, зачинено, пуговицы пришиты, все вещи содержались в порядке; словом, он чувствовал, что его окружают заботы опрятной и доброй женщины.

Настала пора в жизни Этьена, когда он осознал то, что смутно шевелилось в его голове. До тех пор в душе у него жило инстинктивное возмущение, нараставшее вместе с глухим брожением, начавшимся среди углекопов, его товарищей. Всевозможные запутанные вопросы вставали перед ним: почему одним — нищета, а другим — богатство? Почему бедняки всегда под пятой богачей и не питают никакой надежды когда-нибудь занять их места? И прежде всего он понял свое невежество. Его глодал затаенный стыд, скрытая боль. Раз ничего не знаешь, не смей и говорить о том, что так волнует тебя: о равенстве людей, о справедливости, требующей раздела земных благ между всеми. И он набросился на книги, читал, изучал, без всякой системы, как это свойственно невеждам, охваченным страстной тягой к знанию. Теперь он вел постоянную переписку с Плюшаром, человеком более образованным, чем он, и связанным с социалистическим движением. Этьен стал выписывать книги и хоть довольно плохо усвоил их содержание, но все прочитанное глубоко взволновало его, особенно одна медицинская книга: «Гигиена шахтера», где автор ее, бельгийский врач, подвел итог всем болезням, от которых умирают рабочие угольных копей. Читал он и трактаты по политической экономии, непостижимо трудные для него технической своей стороной, читал и смущавшие его анархистские брошюры и старые номера газет, которые он заботливо сохранял, черпая в них неопровержимые доводы для возможных споров.

Давал ему также книги и Суварин, и работа «О кооперативных обществах» на целый месяц погрузила его в мечты о все-

мирной ассоциации, при которой непосредственный обмен изгонит деньги и основой всей жизни общества будет труд. Он больше не стыдился своего невежества,— теперь он чувствовал себя мыслящим существом и гордился этим.

В первые месяцы он переживал восторженное состояние неофита, сердце его переполняло благородное негодование против угнетателей и надежда на скорое торжество угнетенных. Из-за беспорядочного чтения многое оставалось для него туманным, и у него не выработалось четких взглядов. Практические требования Раснера перемешались в его мозгу с разрушительными идеями Суварина,— по-прежнему он почти каждый день бывал в заведении Раснера и вместе с ними гневно клеймил Компанию, а возвращаясь домой, шел как во сне: он видел в мечтах коренное переустройство жизни всех народов, которое, однако, произойдет без всякого насилия, не будет стоить ни единого разбитого стекла, ни единой капли крови. Впрочем, для него неясным оставалось, как произойдет переворот, он предпочитал уповать, что все пойдет хорошо; у него голова шла кругом, когда он пытался формулировать программу будущего переустройства общества. Он даже проявлял умеренность и непоследовательность, говорил иногда, что при разрешении социальных вопросов следует изгнать политику — эту фразу он где-то вычитал и нашел, что она придется по душе флегматичным углекопам, с которыми он вел беседы.

Теперь каждый вечер в доме Маэ ложились спать на полчаса позднее обычного — засиживались за разговорами. С тех пор как тоньше стали вкусы Этьена, его все больше возмущала скученность в жилищах углекопов. Да разве они скоты, чтобы их вот так держали в загонах среди полей, в такой тесноте, что нельзя сменить рубашку, не показав соседям голую свою спину! А как вредна эта скученность для здоровья! Как развращающе действует на девочек и мальчиков то, что они постоянно находятся вместе!

— Чего уж там! — отвечал Маэ.— Главное дело, платили бы побольше, чтобы жилось легче... Но это все-таки верно, что нехорошо, когда все друг у друга на носу, никому это не полезно. К чему это ведет? Парни пьянствуют, а девушки с животами ходят.

Вся семья принимала участие в разговоре, каждый вставлял свое слово; иной раз и не замечали, что лампа коптит, отравляя керосиновой вонью воздух, и без того пропитанный противным запахом жареного лука.

Да, в самом деле, невесело живется. Гни горб на каторжной работе,— ведь когда-то именно приговоренных к каторге посылали в шахты. Да мало того, что труд тяжел... Сколько народу раньше времени распростилось там с жизнью. И за все это даже

мяса за столом у себя не видишь. Конечно, похлебать есть чего, но уж очень скудна пища — только-только чтобы не подохнуть с голоду; и всю жизнь тянешь лямку, и весь ты в долгах, и преследуют тебя, как будто ты воруешь свой хлеб. Придет воскресенье — весь день проспишь от усталости. Одно удовольствие — пивца выпить или жене ребенка сделать; однако от пива живот пучит, а дети, как подрастут, плюют на родителей. Нет, нет, невесело живется.

Тут в разговор вступала жена Маэ:

— И вот ведь что обидно: раздумаешься — и видишь, что до самой смерти твоей ничего не переменится... В молодые годы все ждешь: вот счастье придет, все надеешься на то, на се... А смотришь — все та же нищета, и не выбраться из нее. Я никому зла не желаю, но иной раз просто сил нет терпеть такую несправедливость.

Наступало молчание, все тоскливо вздыхали, сердце щемило от смутного сознания, что впереди нет просвета. Один лишь старик Бессмертный, если он бывал при этом, удивленно таращил глаза. В его время не терзались такими мыслями: рождались на куче угля, рубали уголек и ничего не требовали. А нынче подул какой-то ветер непокорства, и углекопов одолело своеволие.

— Ничего хаять не надо,— бормотал он.— Пивца выпить не вредно, не вредно... А начальники, они хоть и мерзавцы, да ведь начальники всегда были и будут, верно? Ну и нечего ломать себе башку. Много рассуждать стали!

Тут Этьен сразу воодушевлялся. Как?! Рабочим запрещено рассуждать? Да ведь именно потому, что рабочий теперь стал рассуждать, все скоро и переменится. В дни молодости Бессмертного углекоп всю жизнь проводил в шахте, работал как вол, как живая машина для добычи угля, всегда, всегда был под землей, а что делается на земле, того и не видел и не слышал, и богачам, которые всем управляют, легко тогда было, столковавшись меж собой, продавать, покупать рабочего, высасывать из него кровь, а рабочий об их сговоре и знать ничего не знал. Но теперь он пробудился, он подобен зерну пшеничному, которое дремлет в земле и, прорастая в ней, дает ростки; и в одно прекрасное утро солнце озарит всходы, поднявшиеся в бороздах. Да, поднимутся люди, великая армия людей, и они восстановят справедливость. Разве всех граждан не объявили равными со времени Революции; а если они голосуют вместе, то почему же рабочий должен оставаться рабом хозяина, который ему платит? Большие Компании, которые завели себе машины, всех раздавили, и у рабочих нет против них даже тех прав, какие были в старое время, когда ремесленники объединялись в цеха и умели защищаться. Но погодите, все эти проклятые порядки полетят к черту — полетят

благодаря просвещению. Ну, взять хотя бы здешний поселок: деды не умели расписаться, отцы расписывались, а сыновья и читают и пишут — прямо как ученые грамотеи. Да, поднимается понемногу, поднимается и созревает на солнце обильный урожай — новые люди! Раз теперь никто не прикован на всю жизнь к своему месту и может «при желании» столкнуть соседа и занять его место, то почему же нашему брату не пустить в ход кулаки и не попытаться одолеть хозяев?..

Маэ заинтересовала эта мысль, но он не верил в такую возможность.

— Попробуй пошевелись! Сразу тебе расчет! — твердил он.— Верно говорят старики: на веки веков углекопу маяться и не видеть ему хоть кой-когда в награду за труды жареной телятины.

Жена его, молча о чем-то думавшая, вдруг словно очнулась:

— Да если бы еще правду священники говорили, что беднякам на том свете хорошо будет, а богачам — плохо.

Ее слова прервал взрыв хохота; даже дети пожимали плечами, никто не верил в потустороннюю благодать; углекопы попрежнему боялись привидений, блуждающих в шахтах, но насмехались над пустыми небесами.

— Э-эх! Попы чего не наговорят! — воскликнул Маэ.— Если б они в это верили, так поменьше бы жрали да побольше работали, чтоб хорошее местечко получить в раю. Нет, коли помрешь, так не воскреснешь.

Жена Маэ тяжело вздохнула:

— Ах, боже мой! Боже мой! — И, уронив на колени руки, с глубокой безнадежностью добавила: — Так, значит, и вправду нет нашему брату никакого спасения.

Все переглядывались. Старик Бессмертный сплевывал в носовой платок; Маэ сидел, задумавшись, стиснув зубами погасшую трубку. Альзира слушала, придерживая одной рукой Ленору, а другой Анри, уснувших за столом. Но Катрин — вся внимание — не сводила с Этьена своих больших, ясных глаз, когда он, убеждая отчаявшихся, старался внушить им свою веру в светлое будущее, в то переустройство общества, о котором мечтал. А вокруг них поселок отходил ко сну, слышался затихающий плач ребенка да пьяная ругань запоздавшего гуляки.

— Ну, что за мысли! — говорил молодой забойщик.— Разве вам нужен господь бог и небесный рай, чтобы стать счастливыми? Разве вы сами не можете создать себе счастье на земле?

И долго лилась пламенная речь о возможности этого счастья. Вдруг разрывался темный горизонт, поток света озарял мрачную жизнь этих бедняков; извечная, безысходная нищета, непосильный труд, участь бессловесных животных, с которых стригут шерсть, а потом режут их,— все бедствия вдруг исчезали, словно

их сметал порыв ветра, и в лучах яркого солнца, в ослепительном волшебном сиянии с небес нисходила справедливость. Раз никакого господа бога нет, вместо него справедливость даст людям счастье; на земле воцарятся равенство и братство. И сразу же, как сновидение, возникало новое общество: громадный, сказочно прекрасный город, в котором каждый будет выполнять свою задачу и принимать участие во всеобщих радостях. Старый прогнивший мир рассыплется прахом, новое, молодое человечество, очищенное от прежних преступлений, сольется в единый трудовой народ, и у него будет такой девиз: от каждого по способности и каждому по делам его. Этьен все выше возносился в царство несбыточных грез, и мечта его все ширилась, становилась все прекраснее и пленительнее.

Поначалу жена Маэ и слушать его не хотела, охваченная глухим страхом. Нет, нет, это слишком хорошо, нельзя держать в голове таких мыслей, а то теперешняя жизнь покажется слишком мерзкой, и бедняки, пожалуй, возьмутся за ножи, чтоб пробиться к счастью. И видя, как блестят глаза мужа, она тревожилась, она восклицала, прерывая Этьена:

— Не слушай его, муж, не слушай! Ты же видишь — он сказки рассказывает... Да разве буржуа когда-нибудь согласятся работать, как мы?

Но мало-помалу чары захватывали и ее. Она начинала улыбаться — воображение ее пробуждалось, и, предавшись мечтам, она вступала в чудесный мир надежды. Так сладко хоть на часок забыть унылую действительность! Когда люди живут словно бессмысленные скоты, уткнувшись носом в землю, дайте им потешить сердце сказкой, дайте насладиться в обманчивых грезах радостями, которых никогда у них не будет. Больше всего ее волновала и приводила к согласию с убеждениями юноши идея справедливости.

— Вот это вы правильно говорите! — восклицала она.— Когда дело справедливое, так я за него буду стоять, хоть на куски меня режь. И ведь правда, почему бы беднякам не зажить в свое удовольствие? Ведь это справедливо!

И тогда Маэ, осмелев, тоже воспламенялся:

— Эх, разрази их гром! У меня в кошельке не густо, а вот, право, дал бы пять франков, только бы дожить до этого... Вот перетряска-то получится! Верно? А скоро она будет? И как за это дело примутся?

У Этьена на все находился ответ. Старое общество трещит, вот-вот рухнет. Протянет несколько месяцев, не больше, смело заявлял он. Что касается способов действия, тут он говорил более туманно, и его разъяснения представляли собою смесь идей, вычитанных из книг,— перед невеждами он не боялся пускаться

в рассуждения, в которых путался сам. Тут находили себе место всякие разрушительные теории, смягчаемые уверенностью в легкой победе, убеждением, что вражда между классами окончится всеобщими объятиями; разве только вот некоторых упрямых хозяев и буржуа придется образумить силой. И все слушатели как будто понимали его, одобряли, принимали чудодейственное разрешение социальной борьбы; всех воодушевляла слепая вера новообращенных, подобно тому как в первые времена христианства люди ждали возникновения нового, совершенного общества на развалинах античного мира. Маленькая Альзира по-своему истолковывала отдельные слова и представляла себе счастье в образе дома, где будет тепло, светло и где у детей будет много игрушек и много всякой еды. Катрин сидела не шевелясь, все в той же позе, опершись подбородком на руку, и не сводила глаз с Этьена, и когда он умолкал, она бледнела и чуть-чуть вздрагивала, словно ей делалось холодно. Но вот мать бросала взгляд на циферблат кукушки.

— Ой, что же это мы! Десятый час! Чего доброго, проспим завтра.

И все вставали из-за стола, с грустью, с щемящим сердцем отрываясь от мечтаний. Казалось, минуту назад они были богачами и вдруг снова погрязли в черной тьме нищеты. Старик Бессмертный, отправляясь на шахту, бормотал, что от всех этих побасенок похлебка лучше не станет; остальные гуськом поднимались по лестнице, словно впервые замечая пятна сырости на стенах и дурной запах, пропитавший спертый воздух. Поселок уже спал тяжелым сном. В верхней комнате, служившей спальней для всех Маэ, Катрин ложилась последней и гасила свечу, но от волнения она долго не могла уснуть, Этьен слышал, как она беспокойно ворочается в постели.

Иногда на эти беседы собирались и соседи. Левака восхищала идея раздела материальных благ. Пьерон благоразумно уходил домой спать, как только начинались нападки на Компанию. Иной раз забегал Захарий, но политику он считал скучной материей и предпочитал прогуляться в заведение Раснера, выпить кружку пива. Что касается Шаваля, он, распалясь, требовал крови. Почти каждый вечер он проводил часок в доме Маэ, и в этом большую роль играла скрытая ревность, страх, как бы у него не отбили Катрин. Девушка, к которой он начал остывать, снова стала ему дорога с тех пор, как Этьен поселился в ее доме, спал возле нее и мог ночью овладеть ею.

Влияние Этьена ширилось, постепенно он революционизировал поселок. Тайная его пропаганда была тем более действенной, что у всех возросло уважение к нему. Жена Маэ, несмотря на свою осторожность и недоверчивость хорошей хозяйки, относилась

к своему молодому жильцу с почтением, так как он платил за хлеба аккуратно, не пил, не играл в карты, вечно сидел за книгами. Всем соседям она расхваливала его ученость, и те даже злоупотребляли его любезностью, одолевая его просьбами написать какому-нибудь родственнику письмо от их имени. Он стал своего рода поверенным их, на него возлагалась корреспонденция всего поселка, с ним советовались в важных семейных делах. В сентябре ему удалось создать столь желанную ему кассу взаимопомощи, еще очень шаткую организацию, охватывавшую только жителей рабочего поселка; но он крепко надеялся, что в нее вступят углекопы из всей округи, в особенности если Компания, до сих пор не принимавшая никаких мер против кассы, и дальше не будет ее стеснять. Его выбрали секретарем объединения, и он даже получал маленькое жалованье за письмоводство. Он считал себя чуть ли не богачом. Женатым углекопам жилось трудно и не удавалось сводить концы с концами, но воздержанный молодой человек, свободный от всякой обузы, мог даже делать сбережения.

В Этьене происходила перемена: пробудилась подавленная бедностью инстинктивная забота о своей внешности, о благообразии; он приобрел суконное платье, даже позволил себе такую роскошь, как хромовые сапоги. Неожиданно для него самого он был признан вожаком — весь поселок группировался вокруг него. Он познал приятное чувство удовлетворенного самолюбия, первые опьяняющие радости популярности. Стоять во главе других людей, командовать ими, хотя он еще так молод и вчера был никому не ведомым откатчиком,— сознание этого переполняло его гордостью, подогревало его мечту о близкой революции, в которой он будет играть важную роль. Выражение его лица изменилось, стало строгим, он с удовольствием слушал себя; зародившееся в нем честолюбие вносило воинственность в его взгляды и влекло к борьбе.

Тем временем подошла осень, от октябрьских холодов порыжела листва в палисадниках; за тощими кустами сирени больше не миловались парочки на крышах низких сараев; в огородах на грядках остались лишь зимние овощи: кочаны капусты, осыпанные белым бисером инея, порей и не боящиеся холода сорта салата. Вновь забарабанили проливные дожди по красным черепичным кровлям и с шумом низвергались в бочки, подставленные под водосточные желоба. Опять началось время тягчайшей нищеты. В каждом доме жарко топились чугунные печки, набитые углем, отравляя воздух в запертых комнатах.

Как-то раз в октябре в одну из первых студеных ночей Этьен, возбужденный собственными речами, которые он вечером вел в нижней комнате, долго не мог уснуть. Он видел, как Катрин скользнула под одеяло, потом задула свечу. Вероятно, она

тоже была крайне взволнована, охвачена тем мучительным чувством стыдливости, которое порой заставляло ее поскорее спрятаться, но делала она это так неловко, что раскрывалась еще больше. В темноте она застыла и лежала как мертвая, но Этьен чувствовал, что она не спит и думает о нем; еще никогда эта взаимная тяга не наполняла ее таким смятением. Шли минуты, оба не шевелились, тщетно старались сдержать тяжелое, прерывистое дыхание; два раза он чуть не вскочил, готов был овладеть ею. Что за нелепость: страстно желать друг друга и никогда не поддаваться влечению! Зачем бороться с желанием? Дети спят, сейчас она жаждет его, вся замирая, ждет; она безмолвно сожмет его в объятиях, крепко стиснув зубы. Прошло около часа. Он не подошел к ней, она не смела повернуться, боясь, что сама позовет его. Чем дольше они жили бок о бок, тем больше преград вырастало меж ними; обоих отвращали от сближения стыд, щепетильность, дружба — они и сами не могли бы объяснить, что с ними творится.

IV

— Слушай,— сказала Маэ мужу,— раз ты идешь в Монсу за получкой, купи кофе и кило сахару.

Маэ занят был починкой башмака — ему не хотелось тратиться на сапожника.

— Ладно,— пробормотал он, не отрываясь от работы.

— И уж прошу тебя, зайди в мясную... Купи говядины. Хорошо? Давно мы мяса не ели.

На этот раз Маэ поднял голову.

— Ты что ж, думаешь, я тысячи получу?.. За эти две недели мы совсем мало заработали. Ведь они что выдумали? Сами простои устраивают.

Оба умолкли. Дело было в конце октября, в субботний день, после завтрака. Под тем предлогом, что выдача денег нарушает распорядок работ, Компания в тот день приостановила добычу угля во всех своих шахтах. Охваченная паническим страхом перед все разраставшимся промышленным кризисом, она не желала увеличивать и без того большой запас угля, имевшийся у нее, и, пользуясь малейшим предлогом, принуждала десятитысячную армию шахтеров сидеть без работы.

— Не забудь, что Этьен ждет тебя у Раснера,— добавила жена.— Идите вместе, он лучше тебя разберется, не обманули ли вас при расчете.

Маэ кивнул головой.

— И еще поговори там, в конторе, с начальниками насчет

отца. Дирекция, верно, столковалась с доктором... Ведь правда, отец, вы еще можете работать, доктор ошибается?

Уже десять дней старик Бессмертный, у которого, как он говорил, «лапы заколодило», сидел дома, пригвожденный к стулу. Он не расслышал сноху, но когда она повторила вопрос, сердито буркнул:

— Ну понятно, могу работать. Неужели человеку крышка, если ноги у него ломит? Нарочно все выдумывают, только чтоб не платить мне пенсии в сто восемьдесят франков.

Сноха подумала, что, может быть, старик никогда больше не будет приносить в семью по два франка в день, и с тоской воскликнула:

— Боже ты мой! Да мы скоро все умрем, если так будет продолжаться!

— Что ж,— ответил Маэ,— мертвые есть не просят.

Он вбил еще несколько гвоздей в подметку и наконец собрался пойти. Рабочим поселка Двести Сорок платить должны были только в четвертом часу дня; поэтому углекопы не спешили, мешкали дома, выходили поодиночке, и женщины заклинали их возвратиться домой сразу же, как получат деньги. Многие нарочно давали мужьям поручения для того, чтобы они не задерживались в кабаках.

Этьен заглянул к Раснеру разузнать новости. Ходили тревожные слухи, что Компания все больше выражает недовольство небрежным креплением. Рабочих замучили штрафами, и столкновение казалось неизбежным. Впрочем, это было лишь внешним поводом, а за ним скрывалось сложное переплетение более важных причин.

Как раз когда Этьен пришел к Раснеру, возвратившийся из Монсу рабочий рассказывал, что на стене возле кассы наклеено объявление, но сам он его не читал и не знает хорошенько, что там написано. Зашел второй, потом третий, каждый рассказывал по-своему, но было очевидно, что Компания приняла какое-то решение.

— Что скажешь? — спросил Этьен, присаживаясь возле Суварина, перед которым, вместо всяких напитков, лежала пачка табаку.

Машинист не спеша свернул папиросу.

— Скажу, что это легко было предвидеть... Они сами толкают вас на крайности.

Только один Суварин обладал достаточным развитием и мог разобраться в создавшемся положении. Он все объяснил с обычным своим спокойствием. Дела Компании затронуты кризисом, и она вынуждена сократить свои расходы, если не хочет разориться; разумеется, она намерена сделать это за счет рабочих —

пусть подтянут пояс потуже; Компания под разными предлогами будет урезать им заработную плату. Уже два месяца добытый уголь остается на дворе каждой шахты, так как почти все заводы стоят. Компания не смеет остановить работу, боясь крайне убыточного для нее бездействия копей, и мечтает найти среднее решение,— может быть, вызвать стачку, из которой рабочие выйдут укрощенными и будут получать меньше денег. Кроме того, созданная касса взаимопомощи представляет собою угрозу для будущего, а стачка избавит Компанию от этой угрозы: ведь средства у кассы еще невелики и, конечно, быстро будут исчерпаны.

Раснер подсел к Этьену, и оба сосредоточенно слушали Суварина. Разговаривали громко,— кроме жены Раснера, сидевшей за конторкой, свидетелей не было.

— Что за мысль! — пробормотал Раснер.— Зачем же это все? Компании нет никакой выгоды в стачке, да и рабочим тоже. Лучше всего договориться...

Осторожный Раснер оказался верен себе: он всегда стоял за «разумные требования». А теперь, когда его бывший постоялец так быстро приобрел популярность, он настойчиво проповедовал необходимость постепенных, возможных улучшений и все твердил, что, когда хотят всего добиться разом, не получают ровно ничего. У этого благодушного толстяка, раздобревшего в своей пивной, поднималась в душе тайная зависть, усиливавшаяся из-за того, что число посетителей его заведения уменьшилось — углекопы Ворейской шахты реже заходили выпить пива и послушать хозяина; теперь случалось, что Раснер даже выступал на защиту Компании, забывая прежние свои обиды уволенного углекопа.

— Так ты, что же, против забастовок? — крикнула из-за конторки его жена.

И когда Раснер решительным тоном ответил: «Да»,— она оборвала его:

— Молчи! Ты просто трус! Не мешай людям говорить.

Этьен молча думал о чем-то, глядя на кружку пива, поданную хозяйкой. Наконец он поднял голову.

— Но если уж нас вынудят объявить забастовку, на нее надо решиться... Плюшар писал мне об этом. У него очень верные мысли. Он тоже против забастовки, потому что забастовки бьют по рабочему не меньше, чем по хозяину, и не приводят к решительным результатам. Однако он считает, что забастовка — превосходный повод, который побудит наших углекопов вступить в великую ассоциацию рабочих... Да вот его письмо.

В самом деле, Плюшар, которого огорчало, что рабочие в Монсу с недоверием отнеслись к Интернационалу, надеялся на их массовое выступление, если обстоятельства заставят их повести борьбу против хозяев. Несмотря на старания Этьена, до сих

пор не удалось привлечь ни одного человека в члены Товарищества. Впрочем, он главным образом употребил свое влияние на организацию кассы взаимопомощи — эту идею приняли гораздо лучше. Но касса была еще очень бедна, и фонды ее, конечно, истощатся быстро, как предсказывал Суварин; а тогда рабочие бросятся в Товарищество, где им окажут помощь их братья — рабочие всех стран.

— Сколько у вас в кассе? — спросил Раснер.

— Тысячи три наберется,— ответил Этьен.— А знаете, меня позавчера вызвали в дирекцию. Ох, и вежливые там господа! Всё твердили, что они вовсе не мешают рабочим создавать запасный фонд. Но я прекрасно понял, что они намереваются взять в свои руки контроль над кассой... Во всяком случае, за нее нам тоже придется дать бой.

Кабатчик встал и, прохаживаясь по комнате, презрительно насвистывал. Три тысячи франков! Да что с такими деньгами можно сделать, скажите на милость! На неделю хлеба купить и то не хватит. А если рассчитывать на иностранцев, на людей, живущих в Англии, так уж лучше сразу ноги протянуть. Нет, какая тут забастовка — это просто чепуха!

И тогда впервые приятели наговорили друг другу резкостей, хотя обычно их приводила к согласию ненависть к капиталу.

— Хорошо. А твое мнение? — спросил Этьен, поворачиваясь к Суварину.

Тот ответил обычным своим презрительным определением:

— Забастовка? Глупости.— И среди наступившего гневного молчания добавил мягко: — В общем, я не возражаю. Если нравится — устраивайте забастовки. Одних они разоряют, других убивают — всегда что-то очищается. Но если будете действовать с такой быстротой, мир обновится через тысячу лет, не раньше. Лучше взорвите эту каторгу, на которой вы все гибнете,— начните с этого.

И тонкой своей рукой он указал на Ворейскую шахту, строения которой виднелись в отворенную дверь. Вдруг беседу прервало нежданное драматическое происшествие: ручная крольчиха Польша, дерзнувшая выбежать на улицу, прыгнула в комнату, спасаясь от шайки мальчишек, бросавших в нее камнями; в безумном испуге, заложив уши и задрав хвостик, она прижималась к ногам своего покровителя, царапала его когтями, умоляя, чтоб он взял ее на руки. Суварин поднял ее, положил к себе на колени и, обняв обеими руками, впал в какую-то дремотную задумчивость, поглаживая мягкую шерстку и ощущая живое тепло этого беззащитного существа.

Вошел Маэ. Он ничего не пожелал выпить, несмотря на учтивые упрашивания жены Раснера, которая продавала посетителям

свое пиво с таким видом, словно угощала их. Этьен поднялся и пошел вместе с ним в Монсу.

В день выплаты углекопам денег в Монсу словно происходил какой-то праздник, оживление напоминало ярмарку. Из всех поселков стекалась шумная толпа рабочих. Помещение кассы было довольно тесным, и они предпочитали ждать у дверей, стояли кучками на мостовой, длинной вереницей живой очереди перегораживали дорогу. Пользуясь случаем, поблизости располагались разносчики, выставляя на своих тележках всякие товары, вплоть до фаянсовой посуды и колбасных изделий. Но самая большая выручка бывала в питейных заведениях: прежде чем добраться до кассира, углекопы забегали в кабачок выпить у стойки, чтобы набраться терпения, а отойдя от кассы, тотчас направлялись вспрыснуть получку. Хорошо, если хватало благоразумия не растратить ее в «Вулкане».

Медленно продвигаясь в очереди, Маэ и Этьен чувствовали, как у рабочих нарастает глухое раздражение. И в помине не было обычной в день получки беспечности, желания кутнуть в кабачке. Люди сжимали кулаки, отпускали резкие замечания.

— Так это, значит, правда? — спросил Маэ у Шаваля, встретив его у трактира «Виноградное».— Решились они на эту подлость?

В ответ Шаваль что-то сердито пробурчал, бросив косой взгляд на Этьена. С тех пор как артель взяла с торгов забой, он работал с другими, и постепенно в нем разгоралась зависть к Этьену — к чужаку, к пришельцу, который держит себя в поселке хозяином, к этому выскочке, который всех заставляет плясать под свою дудку. Злоба усиливалась ревностью, и теперь, уводя Катрин за террикон или к Рекильярской шахте, он в пакостных выражениях обвинял ее в сожительстве с жильцом, а затем мучил ласками, вновь испытывая звериное влечение к ней.

Маэ спросил еще у Шаваля:

— Что, ворейским уже выдают?

Шаваль утвердительно кивнул головой и отвернулся. А Маэ с Этьеном вошли в контору.

Касса помещалась в небольшой квадратной комнате, разделенной надвое решеткой. У кассы сидели на скамьях пять-шесть углекопов и ждали своей очереди. Кассир, которому помогал конторщик, выдавал деньги человеку, стоявшему с шапкой в руке перед окошечком; слева над скамьей висела на стене желтая афиша, выделявшаяся ярким пятном на серой от грязи побелке. Перед этим объявлением с утра толпились люди — входили по двое, по трое, неподвижно стояли, вглядываясь в черные строчки, потом молча уходили, передернув плечами, как будто их больно ударили по спине. В эту минуту перед афишей стояли

двое: молодой парень с жестким, грубым лицом и очень худой старик с равнодушным от возраста взглядом. Ни тот, ни другой не умели читать; молодой разбирал по слогам, шевеля губами; старик лишь тупо смотрел на афишу. Многие заходили просто посмотреть на объявление, не понимая, что там написано.

— Ну-ка, прочти,— попросил Маэ своего спутника, сам он был не силен в грамоте.

Этьен начал читать вслух. Это было уведомление, с которым Компания обращалась к углекопам всех своих шахт. Она сообщала, что ввиду недостаточной тщательности крепления Компания, убедившись в бесполезности налагаемых ею за это штрафов, решила ввести новую систему оплаты при до́быче угля. Отныне крепление будет оплачиваться отдельно — с кубометра спущенного в шахту и употребленного в дело крепежного леса, из расчета времени, необходимого для добросовестной работы. Расценка на вагонетку угля соответственно уменьшится — с пятидесяти до сорока сантимов, с учетом, однако, характера и удаленности забоев. В довольно туманных расчетах старались доказать, что уменьшение расценки на десять сантимов вполне возмещается отдельной оплатой крепления. Впрочем, Компания добавляла, что, желая дать всем возможность убедиться в преимуществах новой системы оплаты, она рассчитывает ввести ее в действие только с понедельника 1 декабря.

— Эй вы, там, нельзя ли потише? — крикнул кассир.— Мешаете нам.

Этьен дочитал до конца, не обращая внимания на замечание. Голос у него дрожал, а закончив, он все продолжал смотреть на объявление. Старик и молодой углекоп как будто все еще ждали чего-то; затем оба, сгорбившись, вышли.

— Да что ж это такое! — пробормотал Маэ.

Они с Этьеном сели на скамью, и пока у желтой афиши, сменяясь, толпились люди, оба, понурив головы, занялись подсчетами. Да как же это! Издеваются, что ли, над ними? Никогда отдельной оплатой крепления не наверстать потери десяти сантимов на каждой вагонетке угля. Самое большое — нагонят восемь сантимов, значит, два сантима Компания украдет у них, не считая времени, которое потребует тщательное крепление. Вот оно, к чему хозяева клонят! Вздумали нагнать экономию за счет углекопов.

— Ах, черт их дери-передери! — бормотал Маэ, поднимая голову.— Да мы просто дураками будем, если согласимся.

У окошечка никого не было, они подошли получать деньги. Ради сбережения времени деньги из кассы всегда получал старший в артели и потом распределял их между всеми своими.

— Маэ и его артель,— сказал счетовод.— Пласт Филоньера, забой номер семь.

Он поискал в ведомостях, которые составлялись на основании расчетных книжек, где штейгер ежедневно отмечал по каждой лаве количество добытых вагонеток угля. Затем повторил:

— Маэ и его артель. Пласт Филоньера, забой номер семь... Сто тридцать пять франков.

Кассир положил перед Маэ деньги.

— Простите, сударь,— забормотал ошеломленный забойщик.— Это верно? Нет ли какой ошибки?

Он смотрел на кучку денег, не решаясь взять их, весь похолодев от страха, закравшегося в сердце. Он ждал, что получка будет плохая, но ведь не могла же артель заработать так мало! Может быть, он плохо сосчитал? Если выдать причитающуюся долю Захарию, Этьену и тому товарищу, который заменил Шаваля, останется самое большее пятьдесят франков на четырех: на него самого, на отца, на Катрин и на Жанлена.

— Нет, нет, я не ошибаюсь,— заговорил конторщик.— Надо вычесть два воскресенья и четыре дня простоя,— значит, у вас было девять рабочих дней.

Маэ следил за его расчетом и считал про себя: за девять рабочих дней ему самому приходится тридцать франков, Катрин — восемнадцать, Жанлену — девять; старик отец работал только три дня. Все равно: если прибавить девяносто франков — заработок Захария и двух остальных товарищей,— несомненно, следует получить больше.

— Не забывайте штрафов,— закончил конторщик.— Двадцать франков штрафа за неудовлетворительное крепление.

Забойщик безнадежно махнул рукой. Двадцать франков штрафа да четыре дня не давали работать! Вот и весь расчет. Подумайте! А ведь до сих пор, когда старик отец работал и Захарий еще не был женат, он приносил домой в получку по сто пятьдесят франков.

— Ну, что же вы! Берете деньги или нет? — нетерпеливо крикнул кассир.— Видите, другие ждут... Не хотите брать, так и скажите.

Маэ решился наконец и собрал деньги большой, дрожащей от волнения рукой. Конторщик остановил его.

— Погодите,— у меня тут записана ваша фамилия. Туссен Маэ — верно?.. Главный секретарь дирекции хочет поговорить с вами. Войдите. Он сейчас один.

Забойщик, оторопев, вошел в кабинет, обставленный старинной мебелью красного дерева, с выцветшей обивкой из зеленого репса. Главный секретарь, высокий бледный господин, минут пять что-то говорил ему, не вставая из-за своего стола, завален-

ного бумагами. Но у Туссена Маэ так звенело в ушах, что он плохо слышал. Он смутно понял, что речь идет о его отце, о том, что вскоре будет рассмотрен вопрос о назначении старику пенсии в сумме ста пятидесяти франков ввиду его преклонного возраста и сорокалетней работы на шахтах Компании. Затем Маэ показалось, что голос секретаря стал строже. Он распекал Туссена Маэ, обвиняя его в том, что старый забойщик занимается политикой, и делал при этом намеки на его жильца и на кассу взаимопомощи; затем посоветовал ему не компрометировать себя, не вмешиваться в безумные затеи, ведь он один из лучших на шахте рабочих. Маэ попытался возражать, но произносил лишь бессвязные слова, теребил дрожащими руками фуражку и, уходя, бормотал:

— Ну, понятно, господин секретарь... Будьте благонадежны, господин секретарь...

На улице, встретив Этьена, поджидавшего его, он разразился гневом:

— Ах, я дурак, дурак! Мне бы ответить ему: хлеба, мол, у нас нет, а тут еще глупости какие-то! Да, это он на тебя взъелся: весь, говорит, поселок отравлен. А что делать-то? Ах ты дьявол! Кланяться, что ли, им? Спасибо говорить? Ну да, это всего умнее будет.

Маэ умолк, охваченный и гневом и страхом. Этьен погрузился в мрачную задумчивость. Вновь пришлось им пробираться между группами рабочих, загородивших всю улицу. Раздражение росло,— раздражение спокойного народа: без яростных жестов, без криков. Над толпой этих тяжелодумов поднимался протяжный гул — надвигалась гроза. Несколько человек, хорошо умевших считать, произвели подсчет, и теперь все вели речь о двух сантимах с вагонетки, которые Компания решила выгадать, оплачивая крепление отдельно. Самые несообразительные и те были возмущены. Но сейчас больше всего приводила в негодование ничтожная получка, грозившая голодом, вызывавшая возмущение против нарочно созданных простоев, против штрафов. И без того есть нечего, а что будет, если еще снизят заработную плату? В питейных заведениях гневные речи произносили во всеуслышание; от яростных выкриков до того пересыхало в горле, что все полученные гроши оставались на стойке кабатчика.

Возвращаясь из Монсу в поселок, Этьен и Маэ не перемолвились ни единым словом. Лишь только Маэ переступил порог, жена, сидевшая одна с детьми, заметила, что он пришел с пустыми руками.

— Что ж это ты? Вот какой забывчивый! — воскликнула она.— А где же кофе? Где сахар? Где мясо? Уж не разорил бы тебя кусок говядинки.

Маэ ничего не ответил, стараясь справиться с волнением, сдавившим ему горло. Но вдруг у этого человека, закаленного в тяжком труде, дрогнуло его грубое лицо, гримаса отчаяния исказила черты, и крупные слезы брызнули из глаз — целый дождь горячих слез. Он рухнул на стул и плакал, как ребенок, бросив на стол пятьдесят франков.

— Вот! — бормотал он.— Вот все, что я тебе принес... Столько мы все вместе заработали...

Жена его поглядела на Этьена, увидела, что он сидит в угрюмом молчании. Тогда и она заплакала. Да разве могут девять человек прожить две недели на пятьдесят франков? Старший сын — отрезанный ломоть, у старика ноги отнялись. Скоро всем помирать придется. Альзира, потрясенная слезами матери, бросилась ей на шею и тоже заплакала. Громко кричала Эстелла, разревелись Ленора и Анри.

И вскоре по всему поселку понеслись вопли отчаяния. Мужчины вернулись домой, и вот уж в каждой семье оплакивали, как великую беду, жалкую получку. Отворялись двери домов, женщины выбегали на улицу и плакали там, словно горьким сетованиям тесно было под низкими потолками в запертых домах. Шел мелкий дождь, но они не чувствовали этого, они собирались кучками на тротуарах и, протягивая руку, показывали друг другу на ладони полученные мужем деньги:

— Глядите! Вон ему сколько дали! Смеются они над людьми, что ли?

— А у меня-то, посмотрите! Не хватит расплатиться за хлеб,— ведь брали в долг прошлые две недели!

— А мне... Посчитай-ка... Видно, опять придется рубашки свои продать.

Вышла на улицу и Маэ. Вокруг жены Левака собрались женщины. Она сама кричала громче всех, потому что ее пьяница муж все не возвращался, и она догадывалась, что велика ли, мала ли получка — вся она растаяла в «Вулкане». Филомена подстерегала Маэ, боясь, как бы Захарий не оставил себе часть денег. Только жена Пьерона казалась спокойной: тихоня Пьерон всегда так ловко устраивался, что в книжке штейгера за ним значилось больше часов, чем у других. Но Горелая находила, что это подлость со стороны зятя, она была заодно с теми, кто возмущался. Высокая и худая старуха, прямая, как шест, стояла посреди кучки женщин и грозила кулаком в сторону Монсу.

— Подумать только,— кричала она, не называя фамилии Энбо,— подумать только, ихняя кухарка в коляске разъезжает,— я своими глазами нынче утром видела. Проехала мимо меня в коляске на паре лошадей,— на рынок отправилась в Маршьен. Не иначе как за свежей рыбой!

Поднялся громкий гул голосов, потом понеслись выкрики. У всех вызывало яростное негодование, что кухарка в белом переднике ездит в хозяйской коляске на рынок в соседний город. Рабочие с голоду подыхают, а этим господам свежей рыбки подавай. Погодите, не вечно вам свежей рыбой угощаться, придет черед и бедному люду. Семена, посеянные Этьеном, давали ростки — в этих мятежных криках сказывались его мысли. Люди нетерпеливо призывали обещанный золотой век, жаждали поскорее получить свою долю счастья, вырваться из этой нищеты, в которой они погребены, как в могиле. Несправедливость слишком велика, в конце концов они должны предъявить свои права, раз у них вырывают хлеб изо рта. Особенно разгорячились женщины, они готовы были сейчас же, сию минуту пойти на приступ и завоевать это идеальное царство прогресса, где больше не будет голодных. Почти уже стемнело, дождь усилился, а на улицах поселка все еще слышался плач женщин, вокруг которых с визгом бегали ребятишки.

Вечером в «Выгоде» было решено объявить забастовку. Раснер больше не противился, и даже Суварин принимал ее как первый шаг. Этьен в двух словах охарактеризовал положение: раз Компания добивается забастовки, будет ей забастовка.

V

Прошла неделя, работа на шахте продолжалась, все были мрачны и настороженны, ибо ждали столкновения.

Все знали, что следующая получка будет еще меньше. И, несмотря на свою умеренность и здравый смысл, жена Маэ озлобилась. А тут еще Катрин как-то раз не ночевала дома. Утром она возвратилась такая усталая, такая больная, что не могла пойти на шахту. Со слезами она рассказывала, что ее вины тут нет: Шаваль не пустил, грозился избить, если она убежит. Он с ума сходил от ревности, он не желал, чтобы она возвратилась домой в объятия Этьена,— прекрасно зная, как он утверждал, что родители заставляют ее жить с постояльцем. Возмутившись, мать запретила дочери встречаться с таким негодяем, даже собиралась пойти в Монсу и надавать Шавалю пощечин. Но день все же был потерян, а главное, Катрин не соглашалась бросить любовника.

Два дня спустя случилось другое происшествие. Все полагали, что Жанлен спокойно работает в шахте, а он, оказывается, удрал на болото, а потом в Вандамский лес, сманив с собой Бебера и Лидию. Никто не знал, что они там вытворяли, чем забавлялась эта тройка испорченных детей. В наказание мать выпо-

рола Жанлена, да не дома, а на улице, на глазах у перепуганных ребятишек, собравшихся со всего поселка. Где это видано! Вот что выкидывают ее родные дети, а ведь мать с отцом растили их, тратились на них с того дня, как они на свет появились, и теперь им следовало бы приносить копейку в дом. В негодующих воплях Маэ звучали и воспоминания о собственной суровой юности, и вековечная нищета углекопов, заставлявшая родителей смотреть на каждого своего ребенка, как на будущего кормильца.

И вот утром, когда мужчины и Катрин отправились в шахту, мать, приподнявшись с постели, сказала Жанлену:

— Ну, смотри, скверпавец, если опять примешься за свое, всю шкуру с тебя спущу.

Артели Маэ приходилось трудно в новой лаве. В этом конце пласт Филоньера был так тонок, что забойщики, сдавленные между почвой и кровлей, врубаясь в уголь, обдирали себе локти... Кроме того, изводила сырость, все время сочилась вода, а если б она прорвалась, поток затопил бы выработку, унес бы людей. Накануне Этьен ударил кайлом, вытащил его, и в лицо ему брызнула струя воды. Но оказалось, что это ложная тревога. Просто лава стала сырее, а работа в ней — еще вреднее для здоровья. Этьен теперь и не думал о возможных катастрофах,— так же, как и его товарищи, забывал о них, беспечно относился к опасностям. Углекопы привыкали к гремучему газу, работали, не чувствуя, как он давит на веки и будто паутиной оплетает ресницы. Иной раз, когда в лампах пламя тускнело и становилось голубым, вспоминали о гремучем газе, кто-нибудь прижимался головой к пласту, послушать, как выходит газ,— он шипел и булькал в каждой щели. Но больше угрожала опасность обвалов,— ведь помимо того, что крепь ставилась кое-как, наспех и была ненадежна, оползала порода, размываемая водой.

В тот день Маэ приходилось трижды укреплять стойки упорами. Подходил час подъема на-гора́; было половина третьего. Лежа на боку, Этьен заканчивал вырубать глыбу угля, и вдруг далекий раскат грома потряс всю шахту.

— Что это? — воскликнул Этьен и, выпустив из рук кайло, прислушался.

Ему показалось, что позади него обрушился весь штрек.

Маэ, соскользнув по наклону забоя, крикнул:

— Обвал... Скорей! Скорей!

Все кинулись вниз, к месту катастрофы, охваченные тревогой за своих братьев. Люди бежали среди мертвой тишины. У каждого в руке плясала лампа; вереницей проносились они по откаточным ходам, сгибаясь под низкой кровлей, словно пробегали там на четвереньках, и, не замедляя бега, перекидывались короткими фразами,— спрашивали, отвечали: «Где это? в забоях?» —

«Нет, где-то внизу, скорее всего в квершлаге!» Добравшись до «печи», нырнули туда, скатились друг за другом вниз, не думая об ушибах и ссадинах.

В то утро Жанлен, у которого спина еще горела от вчерашней порки, не посмел улизнуть из шахты. Семеня босыми ногами, он бежал позади своего поезда, захлопывая одну за другой вентиляционные двери, и, если не опасался встречи со штейгером, присаживался на последнюю вагонетку, что строго запрещалось,— там можно было заспуть. Но самым большим развлечением для него были «разминовки»: когда поезд останавливался, чтобы пропустить встречный, Жанлен подбирался тогда к Беберу, державшему в руках вожжи, подкрадывался потихоньку, без лампы, щипал приятеля до крови, придумывал всякие злые проделки, как проказливая обезьяна. У этого желтоволосого мальчишки с большими оттопыренными ушами, с худенькой рожицей зеленые узкие глазки светились в полумраке. Он был настоящим заморышем, отличался преждевременной болезненной испорченностью, а в его неразвитом уме и необычайном проворстве сквозило что-то звериное.

После полудня Мук запряг Боевую,— подошла ее очередь возить вагонетки; и когда лошадь, шумно фыркая, стояла с поездом на запасном пути, Жанлен, перебравшись к Беберу, спросил:

— Что это нынче со старой клячей? Раз! И остановится! Я из-за нее ноги себе покалечу.

Бебер не ответил, с трудом сдерживая Боевую, вдруг оживившуюся с приближением встречного поезда. Она издали учуяла и узнала своего сотоварища Трубача, к которому прониклась глубокой нежностью с того дня, когда у нее на глазах его спустили в шахту. Казалось, в ней говорило теплое сострадание старого мудреца, желавшего облегчить участь молодого друга, передать ему свое терпение и покорность судьбе, ведь Трубач все не мог свыкнуться со своей участью, тащил вагонетки неохотно, стоял понурив голову и, ослепнув в неизбывной тьме, все мечтал о солнце. И всякий раз, как Боевая встречала его в подземной галерее, она вытягивала шею, встряхивала гривой и, ласково прикасаясь к нему влажными губами, как будто старалась его ободрить.

— Ах ты холера! — ругался Бебер.— Гляди, опять лижутся!

А когда Трубач затрусил дальше, Бебер сказал Жанлену:

— Старуха-то наша с норовом! А до чего хитрая! Как осадит разом,— значит, впереди помеха: то ли камень, то ли яма... Бережется, не хочет ноги себе ломать... Не знаю, что с ней нынче творится... Подъехали к дверям, она их растворила и не идет дальше, стоит как вкопанная... Ты ничего не чуешь?

— Да нет,— ответил Жанлен.— Только вот воды там много, мне по колено.

Поезд тронулся. На обратном пути, когда опять подъехали к вентиляционным дверям, Боевая, отворив их головой, вновь уперлась, заржала и, вся дрожа, не пошла дальше. Но вдруг она решилась и помчалась стрелой.

На обязанности Жанлена было затворять двери, и он отстал от поезда. Он наклонился, разглядывая глубокую лужу, в которой стоял; затем, подняв лампу, заметил, как покривились стойки крепления, подпиравшие кровлю, откуда непрерывно сочилась вода. В это время мимо проходил забойщик Берлок, по прозвищу Корешок, он торопился домой, так как его жена в тот день родила. Он тоже остановился, оглядел крепление. И вдруг, в то мгновение, когда Жанлен хотел было помчаться вдогонку за своим поездом, раздался грохот, и обвал поглотил и забойщика и ребенка.

Наступила глубокая тишина. Ветер, поднявшийся при обвале, погнал по штрекам густую пыль. Со всех сторон, из самых далеких забоев, мчались ослепленные, задыхавшиеся углекопы; лампы, плясавшие в их руках, еле освещали черных людей, бежавших в глубине этих кротовых нор. Наконец передние натолкнулись на обвал и закричали, сзывая товарищей. Второй отряд, явившийся из нижних забоев, оказался по другую сторону завала, закупорившего квершлаг. Тотчас установили, что кровля обрушилась на протяжении десяти — двенадцати метров, не больше. Ущерб был невелик. Но у всех сжалось сердце: из-под груды земли раздавались жалобные стоны, хрип умирающего.

Бросив свой поезд, прибежал Бебер. Он твердил:

— Там Жанлен! Там Жанлен!

Как раз в эту минуту скатился по наклонному ходку Маэ с Захарием и Этьеном. Его охватила ярость отчаяния, находившая выход в ругательствах:

— Ах, сволочи проклятые! Сволочи проклятые! Сволочи проклятые!

Прибежали Катрин, Лидия, Мукетта, и все три завопили, зарыдали. Среди этого невообразимого волнения, которое усиливала темнота, невозможно было заставить их замолчать,— при каждом стоне они с ума сходили от ужаса и выли еще громче.

Примчался штейгер Ришом. Он был в глубоком смятении,— в шахте не оказалось ни инженера Негреля, ни Дансара. Приникнув ухом к обвалившейся породе, он прислушался и сказал, что стонет под обвалом не ребенок,— там, несомненно, взрослый человек. Маэ раз двадцать звал сына. Мальчик не отзывался. Должно быть, его задавило насмерть.

А глухие, надрывные стоны все не смолкали; того, кто сто-

нал, окликали, спрашивали его имя. В ответ раздавался только хрип.

— Скорей! Скорей! — твердил Ришом, организовавший спасательные работы.— Потом поговорим.

С двух сторон углекопы принялись, кто ломом, кто лопатой, раскапывать обвал. Шаваль молча работал рядом с Маэ и Этьеном: Захарий наладил переноску земли. Смена кончилась, пора было подниматься на-гора́, с утра никто еще не ел, но люди не уходили, раз товарищи в опасности. Сообразив, что в поселке поднимется тревога, если никто не вернется, предложили отправить домой женщин. Однако ни Катрин, ни Мукетта, ни даже Лидия не пожелали уйти — их удерживала неодолимая потребность узнать, кого задавило, и, кроме того, они помогали выносить камни и землю. Тогда Левак вызвался сообщить, что произошел обвал,— небольшое повреждение, которое уже исправляют. Было около четырех часов дня, меньше чем за час углекопы проделали работу, на которую потребовался бы целый день; вероятно, была уже разобрана половина завала, если только с кровли не упали новые глыбы. Маэ работал с неистовой, бешеной энергией, отказываясь гневным жестом, когда кто-нибудь предлагал ненадолго сменить его.

— Тихонько! — сказал наконец Ришом.— Подходим. Смотрите, как бы их не доконать.

В самом деле, хриплый стон слышался все яснее. Этот непрерывный стон указывал путь тем, кто раскапывал, а сейчас он, казалось, звучал прямо под лопатами. И вдруг он оборвался. Все молча переглянулись, с трепетом почувствовав в сумраке холод смерти. Люди работали лопатами, обливаясь потом, напрягая мышцы с такой силой, что казалось, они вот-вот разорвутся. Вдруг показалась нога. Теперь землю стали снимать руками; постепенно откопали все тело. Голова не пострадала. Лампочки осветили лицо. По рядам углекопов пробежало имя Берлока. Он был еще теплый, обвалившейся глыбой ему переломило спинной хребет.

— Заверните его в одеяло и положите на вагонетку,— приказал штейгер.— А теперь давайте паренька откопаем. Да поскорее.

Маэ ударил ломом,— образовалось отверстие, послышались голоса тех, кто раскапывал с другой стороны. Кто-то крикнул, что нашли Жанлена. Мальчик без сознания, обе ноги у него перебиты, но он еще дышит. Понес его на руках отец и, стискивая зубы, бормотал ругательства, изливая в них свою скорбь. Катрин и другие женщины опять запричитали.

Тотчас составилось шествие. Бебер привел Боевую, ее впрягли в две вагонетки: в первой лежал труп Берлока, которого поддерживал Этьен; во второй сидел Маэ, держа на коленях Жан-

лепа, все не приходившего в сознание и прикрытого лоскутом сукна, сорванного с вентиляционной двери. Двинулись шагом. Над каждой вагонеткой красной звездой горела лампочка. Позади шли углекопы — пятьдесят черных фигур, двигавшихся вереницей. Лишь теперь они почувствовали безмерную усталость, они еле волочили ноги, чуть не падая, скользя по грязи, шагали в мрачном унынии, словно стадо, пораженное повальной болезнью. Понадобилось полчаса, чтобы добраться до рудничного двора. Казалось, никогда не кончится это шествие в густом мраке по подземным галереям, которые раздваивались, поворачивали, пересекались.

На рудничном дворе Ришом, обогнавший всех, приказал спустить пустую клеть. Пьерон тотчас же вкатил в нее обе вагонетки. В одной по-прежнему сидел Маэ, держа на коленях искалеченного сына, а в другой Этьен — он обеими руками обхватил труп Берлока, чтобы тот не вывалился. Когда рабочие набились в два других яруса клети, она стала подниматься. Подъем длился две минуты. В стволе шахты лил холодный дождь; все нетерпеливо смотрели вверх,— хотелось поскорее увидеть свет.

К счастью, мальчишка, посланный к доктору Вандергагену, нашел его и привел на шахту. Жанлена и тело умершего внесли в комнату штейгеров, где круглый год жарко топилась печь. Отодвинув в угол ведра с горячей водой, приготовленные для мытья ног, разостлали на каменных плитах пола два тюфяка и на один тюфяк положили покойника, а на другой — Жанлена. В комнату впустили только Маэ и Этьена. За дверями теснились откатчицы, углекопы, мальчишки, сбежавшиеся со всех сторон. Разговаривали вполголоса.

Бросив взгляд на Берлока, доктор сразу сказал:

— Умер... Можете обмыть его.

Два сторожа раздели покойника, потом вымыли губкой труп, черный от угольной пыли, смешавшейся с трудовым потом.

— Голова не задета,— сказал доктор, стоя на коленях у тюфяка Жанлена.— И грудь тоже... А-а! Ноги... Ноги покалечило.

Он сам раздел мальчика, развязал колпак, снял куртку, стянул штаны и рубашку. Обнажилось жалкое маленькое тело, тощее, как у насекомого; оно было запачкано черной пылью, желтой глиной, испещрено пятнами крови. Ничего нельзя было разглядеть, пришлось вымыть и его. Он как будто все худел под мокрой губкой, все ребра были видны. Жалко было смотреть на это бледное, прозрачное существо, в котором сказалось вырождение многих поколений, живших в нищете, на этого чахлого мальчика, на истерзанного болью заморыша, полураздавленного обвалом. Когда его отмыли, на ягодицах проступили два красных пятна, четко выделявшиеся на белой коже.

Наконец он очнулся и жалобно застонал. В ногах у сына, бессильно опустив руки, стоял Маэ и пристально смотрел на него; из глаз его катились крупные слезы.

— Ну? Ты кто? Отец? — спросил врач, поднимая голову.— Нечего плакать, ты же видишь — он жив... лучше помоги-ка мне.

Врач установил, что имеется два простых перелома. Однако правая нога вызывала у него беспокойство: вероятно, придется ее отнять.

Наконец явились в сопровождении Ришома инженер Негрель и Дансар, которых уведомили о происшествии. Негрель разразился гневом: во всем виновато проклятое крепление! Ведь он сто раз говорил, что всех передавит! А эти дураки еще грозят объявить забастовку, если их заставят крепить более основательно. И хуже всего то, что теперь Компании придется платить за разбитые горшки. То-то г-н Энбо будет доволен!

— Кто это? — спросил он Дансара, молча стоявшего возле трупа, который завертывали в простыню.

— Берлок, один из лучших наших рабочих,— ответил штейгер.— Трое детей остались... Бедный парень!

Доктор Вандергаген потребовал, чтобы Жанлена немедленно перенесли в дом родителей. Пробило шесть часов, уже стемнело. Следовало перевезти и покойника. Инженер распорядился запрячь лошадь в фургон, а также доставить носилки. Раненого мальчика отправили на носилках, а мертвеца положили в фургон.

У дверей все еще стояли откатчицы и углекопы, желая знать, чем все кончится. Слышался гул разговоров. Лишь только отворились двери штейгерской комнаты, воцарилось глубокое молчание. Вновь двинулось шествие: впереди фургон, за ним носилки, затем длинная вереница людей. Вышли со двора шахты, двинулись к поселку, медленно поднимаясь по пологому склону холма. Первые ноябрьские холода оголили огромную равнину,— мрак неспешно окутывал ее, словно погребальный покров, упавший с нависшего неба.

Этьен вполголоса посоветовал Маэ послать Катрин вперед, сказать матери о случившемся, смягчить удар. Отец, угрюмо следовавший за носилками, молча кивнул головой,— и девушка помчалась стремглав, так как шествие подходило к поселку. Но там уже разнеслась весть о приближении фургона, хорошо всем знакомого зловещего ящика. Обезумев от страшных предчувствий, женщины выбегали из дому, иные без чепца, простоволосые, и мчались навстречу шествию. Вскоре сбежалось тридцать, потом пятьдесят матерей и жен, и всех терзала одинаковая тревога. Так, значит, везут мертвеца? Кого же? Поначалу слова Левака всех успокоили, а теперь вдруг вскрылась ужасающая катастро-

фа: говорили, что погиб не один человек, а десять, и фургон всех их привезет в поселок.

Катрин застала мать в жестоком волнении. Она предчувствовала беду и, лишь только дочь заговорила, прервала ее и крикнула:

— Отца убило?

Катрин старалась ее успокоить, говорила о Жанлене. Не слушая ее, мать бросилась на улицу. Увидев фургон, выехавший из-за церкви, она побледнела как полотно и обмерла. Онемев от страха, женщины стояли у дверей и, вытянув шею, впивались взглядом в фургон; иные с трепетом следили, перед каким домом он остановится.

Фургон проехал. Позади него жена Маэ увидела своего мужа, сопровождавшего носилки; когда носилки поставили перед дверью ее дома, когда она увидела Жанлена, живого, но с перебитыми ногами, в душе ее вспыхнул гнев, и она, без слез, задыхаясь, закричала:

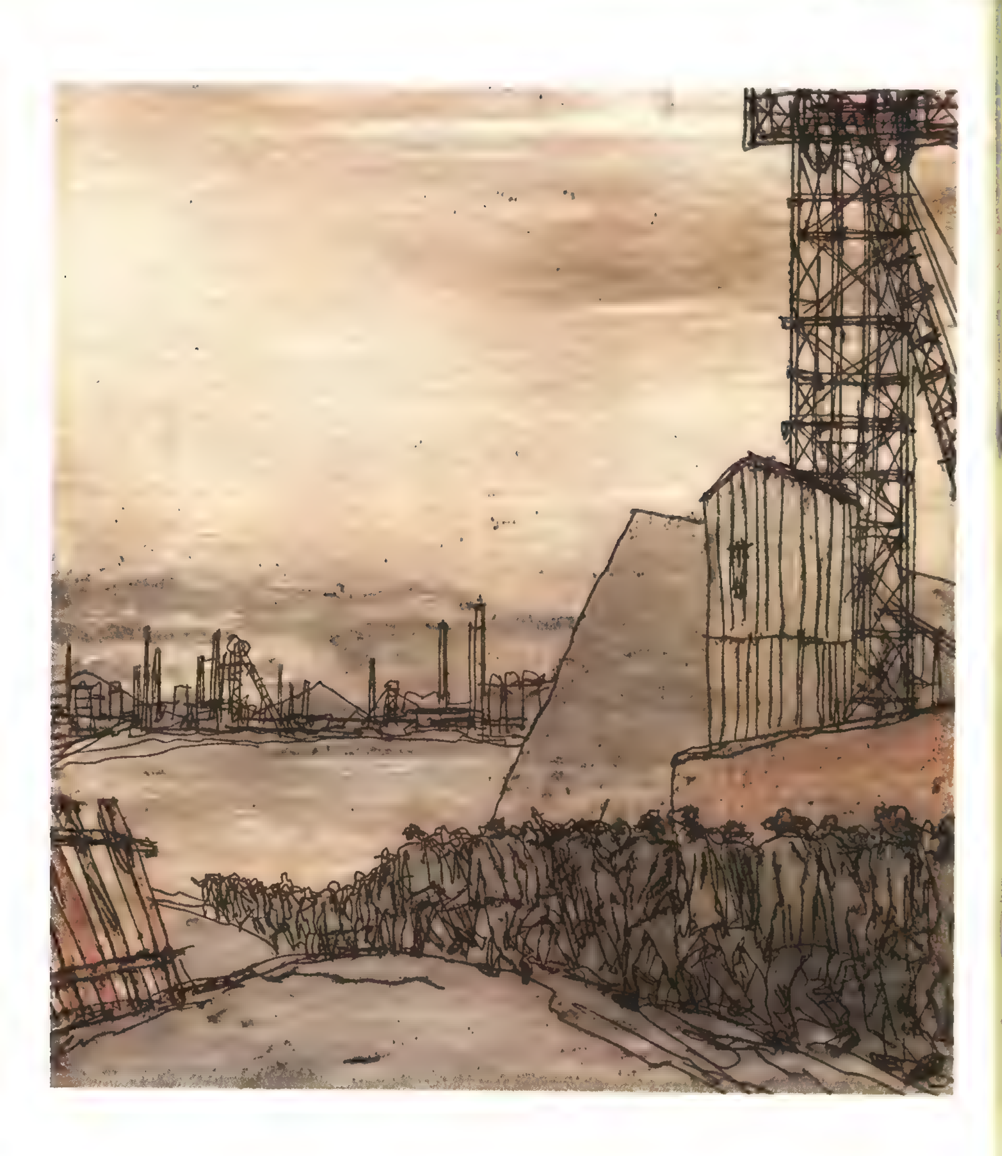
— Вот как! Детей наших принялись калечить! Обе ноги!.. Господи! Да что же я теперь делать с ним буду?

— Замолчи ты! — сказал доктор Вандергаген; он шел вслед за носилками, чтобы наложить Жанлену лубки.— Что ж, по-твоему, лучше, чтобы он там остался?

Но мать пришла в исступление, услышав плач Альзиры, Леноры и Анри. Помогая перенести сына наверх, в спальню, подавая доктору то, что ему было нужно, она не переставала говорить, она проклинала судьбу, она спрашивала, где теперь ей взять денег, чтобы кормить калек? Значит, мало того, что старик не может ходить, теперь и мальчик лишился ног! Она сетовала не умолкая, а в это время из соседнего дома доносились душераздирающие причитания: там жена и дети Берлока плакали над телом погибшего. Было уже совсем темно; измученные углекопы сели наконец за ужин; в поселке стояла мрачная тишина, и нарушали ее только жалобные вопли.

Прошло три недели. Ампутации удалось избежать, и Жанлену сохранили обе ноги, но он навсегда остался хромым. После расследования Компания согласилась скрепя сердце выдать пострадавшему пособие в пятьдесят франков. Кроме того, она обещала подыскать для мальчика-калеки, когда он поправится, работу на поверхности. И все же нужда в доме возросла — отец от нервного потрясения заболел горячкой. Наконец, в четверг, он вышел на работу. Настало воскресенье. Вечером Этьен заговорил о том, что приближается первое декабря,— его, да и всех беспокоило, выполнит ли Компания свою угрозу. Все сидели внизу до десяти часов, ждали Катрин,— вероятно, она была где-то с Шавалем, но Катрин не вернулась. Мать в раздражении захлоп-

«Жерминаль»



«Жерминаль»

нула дверь и заперла ее на засов, не произнеся ни слова. Этьен долго не мог уснуть, все смотрел на опустевшую постель, на которой Альзира занимала так мало места.

Утром Катрин не появилась, и только во второй половине дня, когда первая смена возвратилась с рудника, в доме узнали, что Шаваль оставил Катрин у себя. Он устраивал ей дикие сцены и принудил ее стать его сожительницей. Во избежание упреков он неожиданно ушел с Ворейской шахты и поступил на шахту Жан-Барт, принадлежавшую Денелену; Катрин последовала за ним, нанялась откатчицей. Однако чета продолжала жить в Монсу, в трактире «Виноградное».

Маэ сперва грозился, что пойдет в Монсу, надает Шавалю оплеух и пинками пригонит свою дочь домой. Потом смирился и махнул на все рукой. Зачем скандалить? Дело всегда так оборачивается. Разве помешаешь девушке сойтись с возлюбленным, если она того хочет. Лучше спокойно ждать, когда они поженятся. Но мать относилась к этому не так благодушно.

— Да разве я била ее, когда у нее завелся дружок, этот самый Шаваль? — кричала она, обращаясь к Этьену, который молча слушал ее, бледный как полотно.— Мы ее не стесняли,— живи как хочешь, ведь верно? А то как же? Господи! Ведь у всех так получается. Я и сама была беременна, когда Маэ женился на мне, но из родительского дома я не убегала. Никогда бы я не сделала матери такой гадости, чтобы раньше времени отдавать свои заработанные гроши мужчине, который в них и не нуждается... Вот уж подлость так подлость! Подумайте только! Никто и не захочет больше детей рожать.

Этьен вместо ответа только качал головой, а она все не могла успокоиться:

— Ведь ходила девушка каждый вечер куда вздумается. Нет, ей мало этого! Не успокоилась! Какая нетерпеливая! Сначала пособила бы нам выбиться из нужды, а тогда я бы ее и выдала замуж. Вы как полагаете, разве дочь не обязана поработать на родителей? Кажется, яснее ясного... А тут что вышло?! И все потому, что слишком ее баловали, не надо было позволять ей гулять, развлекаться. Положи им, бессовестным, палец в рот, они всю руку отхватят.

Альзира, соглашаясь с матерью, кивала головой. Ленора и Анри, ошеломленные домашней бурей, тихонько хныкали, а мать перечисляла все беды, которые обрушились на семью: сначала Захарию понадобилось жениться, потом старик отец обезножел,— вон он сидит, скрючившись, на стуле; потом несчастье с Жанленом. Раньше чем через десять дней мальчишке с постели не встать: кости еще плохо срослись. И вот последний удар — мерзавка Катрин ушла к любовнику! Разваливается семья. Теперь

только отец работает в шахте. Он три франка в день зарабатывает. Как же прокормить на эти деньги семь ртов, не считая Эстеллу? Прямо хоть утопиться всем вместе в канале.

— Полно тебе сердце свое рвать,— глухим голосом сказал Маэ.— Может, и не то еще будет...

Этьен, упорно глядевший на каменный пол, поднял голову и, устремив куда-то вдаль затуманенный взгляд, перед которым предстало видение грядущего, прошептал:

— Да, пора! Давно пора!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

В понедельник супруги Энбо ждали к завтраку Грегуаров с дочерью. Предусматривалась целая программа развлечений: после завтрака Поль Негрель должен был повезти дам осматривать превосходно переоборудованную шахту Сен-Тома. Поездка была лишь предлогом, любезно придуманным г-жой Энбо для того, чтобы ускорить брак Сесиль Грегуар и Поля Негреля.

И нежданно-негаданно именно в этот понедельник, в четыре часа утра, началась забастовка. Первого декабря, когда Компания ввела новую систему оплаты, углекопы держали себя совершенно спокойно. Через две недели, в день получки, никто не выразил недовольства, никто не протестовал. Все служащие Компании, от директора до последнего сторожа, полагали, что новый тариф принят рабочими; и каково же было их изумление, когда в понедельник утром углекопы объявили эту войну, причем и тактика и согласованность действий указывали на энергичное руководство.

В пять часов утра Дансар разбудил директора и доложил, что на Ворейской шахте ни один человек не вышел на работу. Поселок Двести Сорок, через который он проехал, спит глубоким сном; двери и окна в домах заперты. Директор тотчас соскочил с постели, протирая припухшие от сна глаза, и с этого мгновения на него посыпались неприятности: каждые четверть часа прибывали гонцы, на письменный стол градом падали депеши. Сперва он надеялся, что бунт ограничится Ворейской шахтой, но с каждой минутой вести становились все более грозными: забастовали и Миру, и Кревкер, и Мадлен, где вышли на работу только конюхи; даже в Виктуар и Фетри-Кантель, в двух самых надежных шахтах, где царила образцовая дисциплина, только треть всех ра-

бочих спустилась в шахту. Лишь в шахте Сен-Тома все явились полностью, и казалось, забастовка ее не затронула. До девяти часов утра г-н Энбо диктовал депеши, телеграфировал во все стороны — префекту в Лилль, членам правления, уведомлял власти, требовал указаний. Негреля он отправил в объезд по соседним шахтам, желая иметь точные сведения, что там делается.

Вдруг г-н Энбо вспомнил о званом завтраке и собрался было послать к Грегуарам кучера сообщить, что приглашение переносится. Но какая-то нерешительность, слабоволие остановили его,— он не посмел это сделать, хотя только что лаконично, по-военному, отдавал распоряжения, готовясь дать бой рабочим. Он поднялся к жене, в туалетную, где горничная причесывала ее.

— Ах, они бастуют? — спокойно сказала она, когда муж попросил у нее совета.— А нам какое до этого дело?.. Неужели нам не завтракать из-за них? Ведь это смешно!

Она заупрямилась: напрасно муж говорил ей, что завтрак будет совсем невеселый, что поехать в Сен-Тома и осматривать шахту сегодня невозможно,— у нее на все находился ответ. Зачем отменять завтрак, когда все уже варится и жарится? От осмотра шахты можно отказаться, если эта прогулка действительно окажется неблагоразумной.

— Вы прекрасно знаете,— добавила она, когда горничная вышла,— почему мне хочется принять у себя этих милых людей. Женитьба Поля должна бы интересовать вас больше, чем глупости, которые вытворяют ваши рабочие... Словом, я так хочу, пожалуйста, не противоречьте.

Муж посмотрел на нее с внутренней дрожью, его суровое, замкнутое лицо, лицо администратора, порабощенного дисциплиной, вдруг выдало тайную скорбь, терзавшую сердце. Она сидела перед ним с обнаженными плечами, пленительная яркой, слишком зрелой, но все еще влекущей красотой, статным телом Цереры, позлащенным осенней порой жизни. На мгновение его опьянило грубое желание схватить ее, прижаться головой к ее груди, которую она словно выставляла напоказ в этой интимной обстановке туалетной комнаты, где роскошь говорила о чувственной женщине, а теплый воздух пропитан был возбуждающим ароматом мускуса; но г-н Энбо взял себя в руки — уже десять лет супруги жили на разных половинах.

— Ну что ж,— сказал он, уходя.— Не будем ничего отменять.

Господин Энбо родился в Арденнах. В начале жизненного пути ему пришлось изведать нелегкую долю юноши сироты, оставшегося без поддержки в лабиринте Парижа. Кое-как перебиваясь, он кончил Горный институт и в двадцать четыре года уехал в Гран-Комб в качестве инженера шахты Сент-Барб. Через три года он стал инженером участка на Марльских копях в Па-де-

Кале; там он женился, сделав хорошую партию, как это стало правилом для горных инженеров; за него отдал свою дочь богатый фабрикант-прядильщик из Арраса. Пятнадцать лет супруги жили в одном и том же городке, и однообразие их существования не нарушали никакие события, даже рождение ребенка. Постепенно г-жу Энбо отдалило от мужа все возраставшее раздражение против него; ее с детства научили почитать деньги, и она презирала мужа за то, что он с таким трудом зарабатывает весьма посредственное жалованье, и за то, что по его вине у нее нет ни малейшей возможности удовлетворить свое тщеславие и честолюбивые мечты, которые она лелеяла еще в пансионе. Он отличался неподкупной честностью, не занимался спекуляциями и стоял на своем посту как солдат. Отчуждение их все возрастало, его усиливало то странное несоответствие темпераментов, которое охлаждает самые пылкие чувства; он обожал свою жену, белокурую сластолюбивую красавицу, а между тем она очень скоро завела себе отдельную спальню; они не подходили друг к другу и с взаимной обидой чувствовали это. У нее появился любовник, о котором он не знал. Наконец г-н Энбо расстался с Па-де-Кале и переехал в Париж, заняв там, в сущности, чиновничью должность. Он надеялся, что жена будет ему благодарна. Но Париж окончательно разъединил их,— именно Париж, о котором она мечтала с детских лет — с той поры, когда девочкам дарят первую куклу. В Париже она за одну неделю сбросила с себя весь налет провинциализма, сразу стала элегантной женщиной и кинулась в бурный водоворот роскоши и безумств, характерный для того времени. Десять лет, которые она провела в столице, были заполнены всепоглощающей страстью, совершенно открытой связью, и когда любовник бросил ее, она чуть не умерла. На этот раз муж не мог оставаться в спасительном неведении, но после мерзких сцен он смирился, обезоруженный спокойным бесстыдством этой женщины, срывавшей цветы наслаждения там, где она находила их. Когда муж увидел, что она больна от горя после разрыва с любовником, он согласился принять пост директора угольных копей в Монсу, надеясь, что жена опомнится в этом пустынном краю.

Но с тех пор, как они поселились в Монсу, вернулись скука и раздражение, которые отравляли им жизнь в первые годы супружества. Сначала жене как будто приносила облегчение великая тишина, царившая на этой огромной, плоской равнине, однообразие приносило какое-то успокоение; г-жа Энбо решила похоронить себя в этом глухом углу, как женщина, жизнь которой кончена; она всячески подчеркивала, что сердце ее умерло, что она совершенно отошла от света и его суеты и даже не огорчается больше, что стала полнеть. Но затем сквозь это равнодушие прорвалась последней вспышкой еще не угасшая жажда жизни; пол-

года она обманывала себя, устраиваясь на новом месте и обставляя по своему вкусу небольшой особняк, отведенный директору. Она говорила, что он ужасен, и спешила украсить его коврами, вышивками, безделушками, художественными вещами; о ее роскошной обстановке говорили даже в Лилле. Но теперь угольный край навевал на нее тоску: бесконечные дурацкие поля, ни единого деревца, и вечно перед глазами эти черные дороги, а на них кишмя кишат такие противные и страшные чумазые люди. Начались жалобы: она в изгнании, муж пожертвовал ею ради жалованья в сорок тысяч франков, которые он тут получает, а ведь это ничтожная сумма, ее едва хватает на хозяйство. Разве он не мог поступить, как другие: потребовать себе пай, определенное количество акций, хоть в чем-нибудь добиться успеха? Она нападала на него с жестокостью богатой наследницы, которая принесла мужу в приданое целое состояние. Он, как всегда корректный, прикрывался обманчивой сдержанностью администратора, меж тем его томила страсть к этой женщине, неистовое вожделение, возрастающее на склоне лет. Он никогда не обладал ею как любовник, его постоянно преследовал ее образ, он хотел, чтобы она хоть раз отдалась ему так, как отдавалась другому. Каждое утро он мечтал, что вечером завоюет ее. Но жена смотрела на него холодным взглядом, и, чувствуя, что она всем своим существом отвергает его, он не решался даже коснуться ее руки. Он мучился неисцелимой мукой, скрывая под внешней суровостью страдания нежной натуры, втайне тосковавшей о счастье, которого он не нашел в семейной жизни. Через полгода, когда особняк был окончательно обставлен и больше не занимал г-жу Энбо, она стала скучать, хандрить, рисовала себя жертвой, которую убьет изгнание, и говорила, что счастлива будет умереть.

Как раз к тому времени в Монсу приехал Поль Негрель. Его мать, вдова капитана, уроженца Прованса, жила в Авиньоне на скудную ренту и питалась хлебом да водой, ради того чтобы сын мог поступить в Политехническую школу. Поль окончил ее посредственно, и его дядя, г-н Энбо, уговорил племянника подать в отставку и предложил ему должность инженера на Ворейской шахте. Г-н Энбо принял Поля по-родственному, даже поселил его в своем доме, отвел ему комнату, поил, кормил, и это позволяло молодому инженеру посылать матери половину жалованья,— он получал три тысячи франков. Желая скрыть свое благодеяние, г-н Энбо сослался на то, что молодому человеку трудно обзаводиться хозяйством и скучно жить одному в маленьком шале, которое ему могли дать, как и другим инженерам копей. Г-жа Энбо тотчас же вошла в роль доброй тетушки, называла своего племянника на «ты», заботилась о его благополучии. В первые месяцы она проявляла материнскую заботливость, давала Полю советы

во всех житейских мелочах. Но ведь она оставалась женщиной и постепенно перешла к душевным излияниям. Ее занимали разговоры с Полем, ей нравилось, что, несмотря на свою молодость, он весьма практичен, умен и свободен от излишних предрассудков, выражает широкие философские взгляды на любовь, полон живости и вместе с тем пессимизма, придающего своеобразное, язвительное выражение его тонкому остроносому лицу. Однажды вечером он как-то незаметно очутился в ее объятиях; казалось, г-жа Энбо дарила его ласками только по доброте душевной, она уверяла его, что у нее больше нет сердца, что она хочет быть только его другом... В самом деле, она совсем не была ревнива, посмеивалась над его мнимыми похождениями с сортировщицами, которых он называл уродинами, и почти сердилась на него за то, что он такой примерный и не может позабавить ее, живописуя свои проказы. Затем ей пришло в голову женить Поля, и эта затея страстно ее увлекла; она мечтала о самоотверженности, хотела сама отдать его в мужья какой-нибудь богатой девице. Их связь продолжалась,— он был ее игрушкой, ее развлечением, в которое она, однако, вкладывала последние искорки нежности праздной и стареющей женщины.

Прошло два года. Однажды ночью г-н Энбо услышал, что кто-то прошел босиком мимо его двери, и у него возникли подозрения. Этот новый роман вызвал у него негодование. Как, в его доме, рядом с ним? Племянник, на которого он смотрел, как на сына! Ведь она годится этому юноше в матери. Но как раз на другой день жена объявила, что она выбрала для Поля невесту — Сесиль Грегуар. И она занялась устройством брака с таким жаром, что г-н Энбо устыдился,— как ему могли прийти в голову такие чудовищные мысли! Он теперь благодарен был юноше за то, что с его появлением в доме стало не так уныло, как прежде.

Выйдя из комнат жены, г-н Энбо встретил внизу, в прихожей, Поля, возвращающегося домой. Видно было, что из-за нежданной забастовки настроение у него возбужденное.

— Ну как? — спросил дядя.

— Да что ж... Я объехал все рабочие поселки. С виду там все спокойно... Думаю, однако, что они пришлют к тебе делегацию.

В эту минуту со второго этажа послышался голос г-жи Энбо:

— Это ты, Поль?.. Иди сюда скорее, расскажи, какие новости. Право, странно, с чего эти люди вздумали бунтовать. Очень нехорошо с их стороны. Ведь они живут так счастливо!

И директор отказался от мысли узнать все подробнее,— жена перехватила его разведчика. Он вернулся в кабинет и снова сел за письменный стол, на котором лежала новая пачка депеш.

В одиннадцать часов пришли Грегуары. Они очень удивились, что Ипполит — лакей директора, поставленный сторожить у дверей, чуть ли не подталкивал их, торопя войти в дом, а перед этим с явным беспокойством окинул взглядом дорогу. В гостиной занавеси на окнах были задернуты, и Грегуаров провели в кабинет г-на Энбо; хозяин извинился, что принимает их тут, но гостиная окнами выходит на дорогу, и совершенно излишне вызывать эксцессы.

— Как! Вы ничего не знаете? — спросил он, видя изумление гостей.

Узнав, что началась забастовка, г-н Грегуар не потерял обычного своего спокойствия и только пожал плечами. Ба! Ничего страшного... Народ тут порядочный. Г-жа Грегуар кивала головой, разделяя уверенность мужа в извечном смирении углекопов. А Сесиль, очень веселая, пышущая здоровьем, очень миленькая в суконном костюме «цвета настурции», который был ей к лицу, улыбалась при слове «забастовка», напоминавшем ей о посещениях рабочих семей и о раздаче им милостыни.

Но вот появилась вместе с Негрелем г-жа Энбо, в черном шелку.

— Ах, какая досада! — воскликнула она, лишь только переступила порог.— Как будто эти люди не могли подождать! Знаете, Поль отказывается везти нас в Сен-Тома.

— Ну что ж, мы с удовольствием посидим у вас,— учтиво ответил г-н Грегуар.— С большим удовольствием.

Поль коротко поздоровался с Сесиль и г-жой Грегуар. Тетушка осталась недовольна: она сочла, что он недостаточно любезен, и глазами указала ему на девушку. Услышав затем, что они разговаривают друг с другом и смеются, она окинула их материнским взглядом.

Тем временем г-н Энбо закончил чтение депеш, на которые тут же составил ответы. Г-жа Энбо вела беседу с гостями. Она сообщила, что не занималась обстановкой рабочего кабинета своего мужа. Действительно, в кабинете остались выцветшие пунцовые обои, тяжелая мебель красного дерева, поцарапанные, потрепанные шкафы для папок с делами. Прошло три четверти часа, и когда уже собирались сесть за стол, лакей доложил о г-не Депелене. Тот вошел очень взволнованный, поклонился г-же Энбо.

— Ах, вот вы где! — сказал он затем, увидев Грегуаров. И, быстро повернувшись, заговорил с директором: — Так, значит, это верно? Я только что узнал от своего инженера... У меня-то нынче утром все рабочие спустились в шахту... Но ведь и их может захватить. Я беспокоюсь... Как у вас? Что происходит?

Денелен приехал верхом на лошади и явно был встревожен: говорил чересчур громко, делал резкие жесты; он был похож на отставного кавалерийского офицера.

Господин Энбо начал было рассказывать ему о создавшемся положении, но тут лакей распахнул двери в столовую. Директор, прервав свою речь, пригласил Денелена:

— Позавтракайте с нами. За столом продолжим разговор.

— Пожалуйста, как вам угодно,— ответил Денелен, настолько занятый своими мыслями, что принял приглашение без всяких церемоний.

Но тотчас же он спохватился и, повернувшись к г-же Энбо, принялся извиняться за свою невежливость. Впрочем, хозяйка приняла его с очаровательным радушием. Приказав поставить седьмой прибор, она рассадила гостей: по одну сторону от хозяина дома посадила г-жу Грегуар, по другую — Сесиль; по правую руку от себя — г-на Грегуара, по левую — Денелена; Поля Негреля — между Сесиль и ее отцом. Когда приступили к закускам, она сказала с улыбкой:

— Прошу извинить меня,— я хотела угостить вас устрицами... По понедельникам, как вы знаете, в Маршьене можно достать свежих устриц — их привозят из Остенде. И я велела запрячь лошадь, чтобы кухарка съездила за ними... Но она испугалась: а вдруг ее закидают камнями!

Раздался дружный взрыв смеха. Все нашли, что история презабавная.

— Тише, тише! — смущенно сказал г-н Энбо, поглядывая на окна, из которых видна была дорога.— Им совсем не нужно знать, что мы сегодня принимаем гостей.

— Ну, уж этой вкусной колбасы они, во всяком случае, не получат,— заявил г-н Грегуар.

Все опять засмеялись, но уже не так громко. Каждый чувствовал себя очень уютно в этой столовой с фламандскими гобеленами на стенах, с дубовыми старинными ларями; за стеклами буфетов блестела серебряная утварь; с потолка свешивалась большая лампа, и в округлых полированных стенках ее медного резервуара, как в зеркале, отражались пальма и длинные листья «дружного семейства», зеленевшие в больших майоликовых горшках. За окном стоял декабрьский день, дул резкий северный ветер, но ни малейшего его дуновения не проникало в комнату,— тут было тепло, как в оранжерее, в воздухе разливался тонкий аромат ананаса, разрезанного на ломтики и поданного в хрустальной чаше.

— А что, если задернуть занавеси на окнах? — спросил Негрель, которому хотелось, потехи ради, напугать Грегуаров.

Горничная, помогавшая лакею подавать на стол, решила, что это приказание, и задернула занавеси на одном окне. Тогда начались бесконечные шуточки: рюмку, стакан, вилку опускали на стол с величайшей осторожностью; каждое блюдо восторженно приветствовали, будто оно случайно уцелело от грабежа в захваченном городе; но за этой наигранной веселостью таился глухой страх, и он проскальзывал в невольных взглядах, которые сотрапезники бросали на дорогу, словно полчища голодных следили оттуда за пиршеством.

После омлета с трюфелями подали речных форелей. Разговор зашел о промышленном кризисе. За полтора года дела так ухудшились!

— Это было неизбежно,— сказал Денелен.— Процветание, наблюдавшееся за последние годы, должно было привести нас к этому... Вспомните, какие огромные капиталы заморожены — капиталы, вложенные в железные дороги, в строительство портов, каналов. А сколько денег поглощают безрассудные спекуляции! Да возьмите, к примеру, хоть наш департамент: у нас понастроили столько сахарных заводов, словно с наших свекловичных полей можно собирать три урожая... Нечего сказать, дожили! Нынче денег не достанешь, надо ждать, когда получатся прибыли на затраченные миллионы; а отсюда — убийственное отсутствие сбыта и полный застой в делах.

Господин Энбо оспаривал эту теорию, но признавал, что годы благоденствия развратили рабочего.

— Подумайте только! — воскликнул он.— На наших шахтах эти молодцы зарабатывали до шести франков в день,— вдвое больше, чем они зарабатывают в настоящее время! И тогда они жили хорошо, привыкли роскошествовать. Теперь им, разумеется, трудно перейти к былой воздержанности.

— Господин Грегуар,— прервала его г-жа Энбо,— скушайте, пожалуйста, еще кусочек форели... Очень нежная рыба, не правда ли?

Директор продолжал:

— Но... скажите на милость, разве это наша вина? Мы сами жестоко пострадали... Заводы закрываются один за другим, и нам теперь невероятно трудно сбывать запасы угля. Поскольку спрос на уголь все уменьшается, мы просто вынуждены снижать себестоимость... А рабочие не желают этого понять.

Наступило молчание. Лакей обносил всех жареными куропатками, а горничная наливала гостям шамбертен.

— В Индии голод,— сказал Денелен вполголоса, словно говорил с самим собой.— Америка больше не дает нам заказов на чугун и сталь, и этим нанесен жестокий удар нашим доменным печам. Все между собою связано, достаточно одного отдаленного

толчка, чтобы поколебалось равновесие во всем мире... А империя так гордилась этой промышленной горячкой!

Он принялся за куропатку. Потом сказал громче:

— Хуже всего то, что для понижения себестоимости надо производить больше, а иначе приходится снижать расходы за счет заработной платы. И рабочие с основанием могут сказать, что их заставляют расплачиваться за хозяйские убытки.

Такое признание, вырвавшееся у этого откровенного человека, вызвало спор. Дамам было скучно. Впрочем, каждый уделял немало внимания своей тарелке, так как у всех разыгрался аппетит. Выходивший из столовой лакей вдруг возвратился и, видимо, хотел что-то сказать, но не решался.

— Ну, что там? — спросил г-н Энбо.— Если депеши, принесите сюда... Я жду ответов.

— Нет, сударь. Пришел господин Дансар, ждет в прихожей. Не хочет вас беспокоить.

Извинившись перед гостями, директор велел позвать старшего штейгера. Тот вошел и остановился в нескольких шагах от стола; все повернулись и смотрели на рослого, запыхавшегося Дансара, очевидно прибежавшего с важными новостями. Он сообщил, что в рабочих поселках все спокойно; но к господину директору придет делегация,— это дело решенное. Может быть, она будет здесь через несколько минут.

— Хорошо. Благодарю вас,— сказал г-н Энбо.— Прошу делать доклад ежедневно: утром и вечером. Поняли?

Лишь только Дансар вышел за дверь, опять начались шуточки, все набросились на «русский салат», говоря, что нельзя терять ни минуты, а иначе так и не успеешь его поесть. Но все особенно развеселились и смеялись до упаду, когда Негрель попросил у горничной хлеба, а она ответила: «Пожалуйста, сударь»,— так тихо, с таким испуганным лицом, как будто за ее спиной стояла целая шайка бунтовщиков, готовых резать, грабить, насиловать.

— Можете говорить громко,— снисходительно сказала г-жа Энбо,— они еще не пришли.

Директору принесли пачку писем и депеш, и одно из писем он пожелал прочесть вслух. Это было письмо Пьерона, который в почтительных выражениях сообщал, что он вынужден принять участие в забастовке, а иначе рабочие расправятся с ним; кроме того, он уведомлял, что не мог отказаться и вошел в состав делегации, хотя очень осуждает такое выступление.

— Вот вам свобода труда! — воскликнул г-н Энбо.

Все опять заговорили о забастовке и спросили его мнение.

— О-о! — ответил г-н Энбо.— Нам не привыкать. Знаем мы эти забастовки: неделю, ну, самое большее две недели, будут ло-

дырничать, как в прошлый раз. Будут шататься по кабакам. А когда наголодаются, вернутся в шахты.

Денелен покачал головой.

— Нет. Я не могу смотреть на все это так спокойно... На этот раз они, по-видимому, лучше организованы. Нет ли у них кассы взаимопомощи?

— Есть. Но в этой кассе три тысячи франков, не больше. Далеко ли они с этим уйдут? Подозреваю, что вожаком у них стал некий Этьен Лантье. Он хороший работник. Мне жаль будет уволить его, как я уволил когда-то их знаменитого Раснера, который продолжает, однако, отравлять рабочих Ворейской шахты своими идеями и своим пивом... Ну, все равно. Через неделю половина наличного количества рабочих спустится в шахту, а через две недели и все десять тысяч встанут на работу.

В этом г-н Энбо был твердо убежден. Беспокоила его только возможная немилость правления, если на директора возложат ответственность за забастовку. С некоторого времени он чувствовал, что к нему меньше благоволят. И вот, отодвинув тарелочку с салатом, который он положил себе, г-н Энбо еще раз перечитал депеши, полученные из Парижа в ответ на его сообщения, и старался проникнуть в скрытый смысл каждого слова. Гости извиняли его,— ведь завтракали, можно сказать, по-военному,— закусывали на поле боя перед первыми выстрелами.

Теперь и дамы вмешались в разговор. Г-жу Грегуар разжалобила участь рабочих: им, бедненьким, придется голодать, а Сесиль выразила намерение раздавать талоны на хлеб и на мясо. Но г-жа Энбо очень удивилась, услышав, что они говорят о нищете углекопов, работающих в копях Монсу. Да кому же тогда живется хорошо, если не им? Компания дает им и квартиру, и отопление, и лечит их за свой счет! Глубоко равнодушная к судьбе простого народа, она знала о нем лишь то, что ей твердили и чем она восхищала парижан, приезжавших посмотреть на углекопов; в конце концов она и сама в это уверовала и возмущалась неблагодарностью черни.

Тем временем Негрель продолжал пугать г-на Грегуара. Сесиль ему нравилась, и в угоду тетушке он готов был на ней жениться, но он вовсе не горел любовной лихорадкой и говорил, что ему, как человеку многоопытному, не к лицу увлечения. По части политических взглядов он именовал себя республиканцем, что, однако, не мешало ему держать рабочих в ежовых рукавицах, а в дамском обществе язвительно их высмеивать.

— Я не такой оптимист, как мой дядя,— заговорил он.— Наоборот, я опасаюсь крупных беспорядков... Поэтому советую вам, господин Грегуар, запритесь покрепче в своей усадьбе. Ее могут разгромить.

А ведь г-н Грегуар, с неизменной благодушной улыбкой, соперничая в доброте с супругой, только что изъяснялся в отеческих чувствах к углекопам.

— Разгромят мою усадьбу? — воскликнул он, ошеломленный словами Негреля.— Почему же ее могут разгромить?

— А разве вы не являетесь акционером Компании угольных копей в Монсу? И вы ничего не делаете, вы живете чужим трудом. Да и вообще вы гнусный капиталист, и этого достаточно... Будьте уверены, если революция восторжествует, вас заставят вернуть ваше состояние народу, как украденные у него деньги.

Грегуар вдруг утратил свое детское спокойствие и бездумный мир душевный, в котором он жил. Он залепетал:

— Мое состояние — краденое? Да разве мой прадед не заработал тяжелым трудом ту сумму, которую он некогда вложил в акции Монсу? А разве мы не подвергались риску всякий раз, когда предприятие бывало в затруднительном положении? И разве теперь я на дурные цели употребляю свой доход?

С огорчением увидев, что не только г-н Грегуар, но и жена его, и дочь побледнели от страха, г-жа Энбо поспешила вмешаться:

— Поль шутит, дорогой господин Грегуар.

Но г-н Грегуар был вне себя. Когда лакей подал ему блюдо с горкой вареных раков, он взял три рака и, не соображая, что делает, принялся жевать клешни вместе со скорлупой.

— Ах, я не отрицаю... Есть акционеры, которые злоупотребляют своим положением. Например, мне рассказывали, что министры получали акции Монсу в подарок,— попросту говоря, брали взятки за то, что оказывали услуги Компании. А некий важный барин, имени которого я называть не стану, самый крупный наш акционер, ведет жизнь просто позорную, проматывает миллионы на женщин, на кутежи, на безумную роскошь. Но мы-то, мы живем без всякой помпы, мы самые скромные люди; мы не спекулянты, с нас достаточно того, что мы имеем, мы хотим жить на свои средства простой, здоровой жизнью и помогать беднякам!.. Да что вы это, в самом деле! Если рабочие украдут у нас хоть булавку, значит, они сущие разбойники. А ведь это неверно.

Негрелю пришлось успокаивать г-на Грегуара, гнев которого очень его позабавил. Все смаковали раков, слышался легкий хруст скорлупы. А разговор шел о политике. Несмотря на пережитый страх, г-н Грегуар, все еще трепетавший от волнения, сказал, что он либерал и жалеет о Луи-Филиппе. Зато г-н Денелен стоял за сильное правительство и заявил, что император вступил на путь опасных уступок.

— Вспомните-ка восемьдесят девятый год,— сказал он.— Ведь дворянство своим сообщничеством, своим увлечением новыми философскими системами сделало возможной революцию... А нынче ту же самую нелепую роль играет буржуазия. Она полна ярого либерализма, бешено жаждет все разрушать, льстит народу... Да, да,— вы сами оттачиваете зубы чудовищу для того, чтоб оно нас пожрало. И оно пожрет нас, будьте покойны!

Дамы постарались утихомирить Денелена и, желая переменить разговор, стали его расспрашивать о дочерях... Он сообщил, что Люси сейчас в Маршьене, поет со своей подругой; Жанна рисует голову старого нищего. Но рассказывал это г-н Денелен очень рассеянно, не спуская глаз с директора, который поглощен был чтением депеш и совсем позабыл о гостях. За этими тонкими листочками телеграфных бланков г-н Денелен чувствовал Париж, приказы правления, от которых все зависело в начавшейся забастовке. И он не мог удержаться — заговорил о том, что его мучило.

— Ну, что же вы будете делать? — вдруг спросил он.

Господин Энбо, вздрогнув, оторвался от депеш, но ответил весьма уклончиво:

— Посмотрим.

— Вам-то хорошо, у вас сил достаточно, вы можете ждать,— высказывал вслух свои мысли г-н Денелен.— Но мне — конец, если забастовка захватит Вандам. Хоть я и заново переоборудовал Жан-Барт, но мне с одной-единственной шахтой можно выкарабкаться только при условии бесперебойной добычи... Эх, не сладко мне придется, уверяю вас!

Эта невольная исповедь, видимо, поразила г-на Энбо. Он слушал, и в голове его зарождался некий план: если забастовка обернется для Компании плохо, почему бы не воспользоваться ею. Пусть у соседа дела идут все хуже и хуже, он разорится, а тогда можно купить у него концессию за гроши. Вот вернейшее средство вновь войти в милость к правлению,— оно уже давно мечтает завладеть Вандамом.

— Если Жан-Барт для вас такая обуза,— заметил он, смеясь,— почему же вы нам не уступаете шахту?

Но Денелен пожалел, что разоткровенничался. Он воскликнул:

— Ни за что!..

Все посмеялись над его бурным негодованием, а за десертом позабыли наконец о забастовке. Шарлотка с яблоками, украшенная меренгами, вызвала всеобщие похвалы. Затем, лакомясь ананасом, который тоже признан был изумительным, дамы обсуждали изысканные кулинарные рецепты. Тонкий и обильный завтрак, за которым все чувствовали себя так непринужденно, завершился

фруктами — грушами и виноградом. Оживившись, все говорили разом, а тем временем лакей разливал по бокалам рейнвейн вместо шампанского — слишком заурядного вина.

Дружеская атмосфера, царившая за десертом, благоприятствовала планам женитьбы Поля на Сесиль. Тетушка бросала на него весьма красноречивые взгляды, и он принялся любезничать с Грегуарами, стараясь вновь завоевать их симпатию, после того как напугал их своими рассказами о грабежах. На мгновение у г-на Энбо при виде такой тесной близости между его женой и племянником опять возникло страшное подозрение. Ведь они словно касались друг друга взглядами, которые он перехватывал. Но вновь его успокоила мысль о браке, подготовлявшемся на его глазах.

Лакей подал кофе, и вдруг прибежала перепуганная горничная:

— Пришли! Пришли!

Это явилась делегация. Хлопнули двери, по всем комнатам словно пронеслось ледяное веяние ужаса.

— Проведите их в гостиную,— сказал г-н Энбо.

Сотрапезники растерянно и тревожно переглядывались. Все молчали. Затем вздумали было продолжить шутливую болтовню, делали вид, что хотят рассовать по карманам оставшийся сахар, говорили, что надо бы спрятать столовое серебро. Но с лица самого г-на Энбо не сходило озабоченное выражение, и постепенно смех умолк, громкие возгласы сменились шушуканьем, а за стеной раздавались тяжелые шаги делегатов, которые, входя в гостиную, топтали ковер своими грубыми башмаками.

Госпожа Энбо сказала мужу, понизив голос:

— Надеюсь, вы выпьете кофе?

— Разумеется,— ответил он.— Пусть подождут!

Он нервничал и, делая вид, что занят только своей чашкой, прислушивался к шуму в гостиной.

Поль и Сесиль встали из-за стола, и Поль уговорил девушку посмотреть в замочную скважину. Они тихонько перешептывались, стараясь подавить смех:

— Видите их?

— Да... Вижу какого-то толстяка, а за ним стоят еще двое, пониже ростом.

— Ну, как? Мерзкие физиономии, правда?

— Да нет, очень славные.

Внезапно г-н Энбо поднялся, заявив, что кофе слишком горяч и он допьет свою чашку потом. Выходя, он приложил палец к губам, призывая всех к осторожности. Все снова расселись по местам и молча сидели, не смея пошевелиться, напряженно прислушиваясь к смутному гомону мужских голосов.

II

Накануне на собрании, происходившем у Раснера под председательством Этьена, рабочие выбрали делегацию, которая должна была на другой день отправиться к директору. Вечером жена Маэ, узнав, что и его выбрали, пришла в отчаяние и спросила у мужа, неужели он хочет, чтобы его уволили. Маэ и сам лишь скрепя сердце принял свое избрание. Когда настала минута действовать, ими обоими, хоть они и сознавали несправедливость своей горькой участи, вновь овладела покорность, унаследованная от многих поколений, страх перед завтрашним днем, и они предпочитали склонить голову. Обычно во всех житейских делах Маэ полагался на жену,— она всегда была разумной советчицей. А на этот раз он рассердился, тем более что втайне разделял ее опасения.

— Да оставь ты меня в покое! — сказал он, ложась в постель, и повернулся к ней спиной.— Разве можно бросить товарищей? Я свой долг исполняю.

Она тоже легла. Оба долго молчали. Наконец жена произнесла:

— Да, ты правильно говоришь. Ступай с ними. А только нам теперь конец, бедный ты мой!

Позавтракали в полдень, потому что в час дня назначен был сбор в заведении Раснера, а оттуда делегация должна была направиться к директору. Завтрак состоял из картошки. Масла оставался крохотный кусочек, никто до него не дотронулся. Решили приберечь его на вечер и съесть с хлебом.

— Знаешь, мы рассчитываем, что говорить будешь ты,— сказал вдруг Этьен.

Маэ уставился на него, онемев от волнения.

— Ну нет! Ни за что! — воскликнула его жена.— Идти — пусть идет, я согласна. Но пусть не изображает из себя вожака. Нет, я не позволю. И почему именно он, а не кто-нибудь другой?

Этьен все объяснил им горячо и убедительно. Маэ — лучший рабочий на шахте, всеми любимый, самый уважаемый, его ставят в пример как образец благоразумия. Требования углекопов, выраженные им, получат куда больше веса. Сначала предполагалось, что говорить будет он, Этьен, но ведь он еще так недавно работает в копях. Гораздо лучше будет слушать старожила, своего человека. Кроме того, товарищи доверили защиту своих интересов Маэ как самому достойному, он не может отказаться,— это просто подло!

Жена Маэ в отчаянии махнула рукой:

— Ступай, муж, ступай. Помрешь за других. Ступай, я на все согласна!

Этьен, радуясь, что уговорил Маэ, похлопал его по плечу:

— Что чувствуешь, то и говори. И получится хорошо.

Старик Бессмертный, у которого начали опадать опухоли на ногах, слушал с полным ртом и покачивал головой. Настало молчание. Дети сидели смирно и жадно ели, давясь сухой картошкой. Когда миска опустела, старик зашамкал:

— Что хочешь говори, а все равно проку не будет, словно ты и не говорил ничего... Чего там! Навидался я, навидался таких дел! Сорок лет назад нас вон как гнали от дверей дирекции, саблями гнали, а не как-нибудь! Нынче вас, может, и примут, а говори не говори, все равно что об стену горох!.. Им что? У них деньги, значит, им на все наплевать!

Опять все умолкли. Маэ и Этьен встали, остальные в мрачном безмолвии сидели за пустыми тарелками. Маэ и Этьен зашли за Пьероном и Леваком, затем вчетвером направились к Раснеру; небольшими группами подходили делегаты из других рабочих поселков. Вскоре собрались все двадцать членов делегации, сообща выработали требования рабочих, в противовес условиям Компании, и отправились в Монсу. По дороге мел пронзительный северный ветер. Когда подошли к особняку директора, пробило два часа.

Слуга велел им подождать и запер дверь у них перед носом, потом, вернувшись, провел их в гостиную и раздвинул на окнах гардины. В комнату проник тусклый свет хмурого дня, смягченный кружевными занавесями. Оставшись в гостиной одни, углекопы почувствовали себя неловко, не смели сесть. Утром все тщательно умылись, надели парадное суконное платье, побрились, старательно пригладили свои желтые волосы и усы. Сейчас все теребили в руках фуражки и поглядывали искоса на обстановку, представлявшую собой смесь всех стилей, которую ввел в моду воцарившийся интерес к старине: кресла эпохи Генриха II, стулья времен Людовика XV, итальянский шкаф семнадцатого века, испанский ларь пятнадцатого века, алтарный покров, картинно драпировавший камин, золотое шитье со старинных риз, украшавшее в виде аппликаций портьеры. Старая золотая парча, старинный порыжевший атлас, вся эта церковная роскошь вызывала у них почтительную робость. Пушистые смирнские ковры, казалось, связывали им ноги своим высоким ворсом. Но, главное, у них захватывало дух от необычайного, поразительно ровного тепла, разливавшегося от калориферов,— оно окутывало их нежным облаком, согревало их лица, иззябшие дорогой на ледяном ветру. Прошло пять минут. В этой богато убранной, уютной и дышавшей благополучием гостиной углекопы чувствовали себя все более неловко.

Наконец к ним вышел г-н Энбо, по-военному подтянутый, в

наглухо застегнутом сюртуке, с орденской ленточкой в петлице. Он заговорил первым:

— Ага, вот и вы!.. Вы, кажется, бунтуете? — И, прервав свою речь, добавил с холодной вежливостью: — Садитесь, пожалуйста. Рад поговорить с вами.

Углекопы озирались, не зная, где сесть. Одни дерзнули примоститься на хрупких стульях, других смущала вышитая атласная обивка, и они предпочли стоять.

Настало молчание. Г-н Энбо пододвинул свое кресло к камину, живо пересчитал в уме делегатов, стараясь запомнить их лица. Он узнал Пьерона, спрятавшегося в последнем ряду, потом остановил взгляд на Этьене, сидевшем как раз напротив него.

— Ну-с,— начал он,— что вы желаете мне сказать?

Он ожидал, что слово возьмет Этьен, и когда вперед вышел Маэ, так удивился, что не мог удержаться, и добавил:

— Как! Это вы? Такой примерный рабочий, такой здравомыслящий человек, старейший углекоп в Монсу! Ведь ваш род работал в шахтах с первого удара обушком... Нехорошо, нехорошо! Я крайне огорчен, что вы оказались во главе смутьянов!

Маэ слушал его, потупив глаза. Затем заговорил, сперва неуверенным, глухим голосом:

— Господин директор! Товарищи потому и выбрали меня, что я человек спокойный и ни в чем дурном не замечен. Сами, значит, можете убедиться, что не какие-нибудь буяны взбунтовались, не озорники, которым только бы набезобразничать. Мы одного хотим: чтобы было по справедливости. Надоело нам голодать, и думаем, что настало время так устроить, чтобы у нас хоть хлеб-то был каждый день.

Голос его окреп. Он поднял глаза и говорил теперь, устремив взгляд на директора:

— Вы же хорошо понимаете — не можем мы принять ваши новые расценки... Вот нас обвиняют, что мы крепление плохо ставим... Верно, больше бы надо времени на эту работу тратить! Но если бы мы делали ее как следует, наш поденный заработок стал бы еще меньше, а ведь мы и так не можем на него прокормиться,— стало быть, конец нам придет, уморите вы своих рабочих! Платите нам больше, и мы лучше будем ставить крепь, будем тратить на крепление столько часов, сколько надо, а сейчас мы прежде всего в забоях надрываемся, потому как только уголек нас и выручает. А иначе нам с вами не сговориться. Хотите, чтобы работу делали, платите за нее. А вы что придумали? Просто в голову никак не лезет, честное слово! Снижаете плату за вагонетку и будто бы помогаете нам наверстать эту низкую расценку тем, что отдельно платите за крепи. Будь это даже правда, все равно нас бы обкрадывали — ведь на крепление требуется очень много вре-

мени. Но уж очень обидно, что это даже и неправда: ровно ничего нам Компания не возмещает, а просто-напросто кладет себе в карман по два сантима с вагонетки, вот и все!

— Правильно! Правильно он говорит,— загудели вокруг делегаты, видя, что г-н Энбо сделал резкий жест, как будто намереваясь прервать оратора.

Впрочем, Маэ не дал директору говорить. Он разошелся, ему уже не приходилось подыскивать слова. Мгновениями он удивленно прислушивался к своей речи, словно кто-то посторонний, а не сам он, говорил тут перед директором. Столько всего накипело в душе,— он даже и не знал, что все это в ней таилось, и вот теперь сердце не могло сдержать горькой обиды. Он говорил о нищете всех своих товарищей, о тяжком труде, о скотской жизни, о том, что в домах углекопов плачут голодные дети. Он приводил в пример жалкие получки рабочих за последнее время,— семья слезами обливалась, когда отцы приносили домой этот издевательски малый заработок, который еще ухитряются обкорнать штрафами и вычетами за вынужденные простои. Да неужели так-таки и решили погубить людей?

— И вот, господин директор,— сказал он в заключение,— мы и пришли вам заявить: подыхать так подыхать, а коли подыхать, так не для чего надрываться... По крайности, хоть не мучиться на работе... Мы ушли из шахт и не спустимся туда, пока Компания не примет наши условия. Компания желает снизить расценку за вагонетку и платить за крепление отдельно. А мы хотим, чтобы платили, как раньше,— за то и другое вместе, и требуем еще прибавки в пять сантимов с вагонетки. А теперь сами смотрите, уважаете ли вы справедливость и труд.

Послышались слова углекопов:

— Верно... Правильно он сказал. Мы все так думаем... Мы только требуем, чтобы по справедливости...

Другие молчали, но и без слов, кивками одобряли выставленные требования. Никто теперь уже не замечал роскошной обстановки директорской гостиной, позолоты, вышивок, парчи, каких-то непонятных старинных вещей; никто не чувствовал под ногами мягкого ковра, который углекопы примяли своими тяжелыми башмаками.

— Дайте же мне ответить,— рассердившись, закричал наконец г-н Энбо.— Прежде всего, это неправда, что Компания выгадывает по два сантима на вагонетке. Давайте посмотрим расчеты.

Последовал беспорядочный спор. Желая внести раскол в ряды делегации, директор обратился за поддержкой к Пьерону, но тот увернулся, забормотав что-то невнятное. Зато Левак вздумал показать себя главой самых решительных, но все только путал,

утверждал то, чего не знал. В обтянутой штофными обоями комнате, где уже стало жарко, как в оранжерее, поднялся громкий гул голосов.

— Если вы будете говорить все разом, нам не столковаться! — воскликнул г-н Энбо.

К нему вернулось самообладание, учтивая непреклонность, лишенная злобной язвительности, как это и подобает управителю, который получил приказ от хозяев и намерен заставить подчиненных выполнить его. С первых же своих слов он не сводил взгляда с Этьена и всячески старался втянуть его в обсуждение, но Этьен упорно молчал. Бросив спор о двух сантимах, г-н Энбо вдруг поставил вопрос шире:

— Нет, лучше скажите правду, признайтесь, что вы поддались возмутительному подстрекательству. Ведь это теперь сущая чума: новые веяния проникают всюду и развращают самых лучших рабочих... Ах, да я ни от кого не требую исповеди, я и так прекрасно вижу, что вы совсем изменились... Куда девалось ваше прежнее спокойствие! Вам много чего наобещали, не правда ли? Посулили, что у вас масла будет больше, чем хлеба, сказали, что пришло для вас время стать хозяевами... Словом, вас завербовали в этот пресловутый Интернационал, в эту армию разбойников, которые мечтают разрушить общество...

Этьен не выдержал:

— Ошибаетесь, господин директор. Ни один углекоп в Монсу еще не вступил в Интернационал. Но если их толкнут на это, все шахты вступят в него. Все зависит от Компании.

И с этой минуты борьба пошла только между г-ном Энбо и Этьеном, словно других делегатов тут и не было.

— Компания — спасительница рабочих, напрасно вы ей угрожаете. В этом году Компания отпустила триста тысяч франков на строительство поселков, а потраченные на это дело деньги не приносят ей и двух процентов. Я уж не говорю о пенсиях, которые она дает рабочим, о выдаче угля, о лекарствах... Вы как будто человек умный, за несколько месяцев вы стали одним из самых умелых наших рабочих, так не лучше ли вам распространять вот эти бесспорные истины, чем губить себя, якшаясь с людьми, которые пользуются дурной славой. Да, да — я имею в виду Раснера. Нам пришлось расстаться с этим субъектом для того, чтобы спасти наши шахты от заразы социализма... А вас постоянно видят у него,— несомненно, он и подсказал вам мысль создать кассу взаимопомощи, которую мы охотно бы терпели, будь она только сберегательной кассой, но ведь мы чувствуем: это — оружие против нас, резервный денежный фонд для ведения войны. И в связи с этим я должен вам сообщить, что Компания намерена взять в свои руки контроль над вашей кассой.

Этьен дал директору выговориться и слушал, глядя ему прямо в глаза; от нервного возбуждения губы его чуть-чуть вздрагивали. Когда г-н Энбо умолк, он усмехнулся и ответил ровным тоном:

— Это новое требование! До сих пор вы, господин директор, не считали нужным добиваться контроля над кассой. Только вот беда, мы хотим, чтобы Компания меньше опекала нас, не разыгрывала бы роль провидения и просто-напросто проявила бы справедливость — давала бы то, что нам причитается, а не присваивала себе наш заработок. Разве это честно — при каждом кризисе морить рабочих голодом, чтобы спасти прибыли акционеров?.. Господин директор, что ни говорите, а ваша новая система — это замаскированное снижение заработной платы, и это нас возмущает! Если Компании нужно навести экономию, то она поступает очень дурно, делая это за счет рабочих.

— Ну, конечно, я так и думал! — воскликнул г-н Энбо.— Я ждал этого обвинения: капиталисты морят народ голодом, живут его потом и кровью! Стыдно вам говорить такие глупости! Ведь вы должны знать, какому огромному риску подвергаются капиталовложения в промышленные предприятия,— например, в угольные копи! Вполне оборудованная шахта обходится ее владельцам от полутора до двух миллионов франков. Вот какие огромные деньги надо ухлопать, да еще сколько труда вложить, чтобы извлечь из них хотя бы скромный доход. Во Франции почти половина акционерных обществ в горнодобывающей промышленности обанкротились... И нелепо обвинять в жестокости те предприятия, которые стараются избежать краха. Когда их рабочие страдают, они и сами страдают. Вы думаете, Компания меньше вашего потеряет при нынешнем кризисе? В отношении заработной платы она не хозяйка, она должна подчиняться условиям конкуренции, иначе ей грозит разорение. Пеняйте на обстоятельства, а не на нее... Но вы не желаете слушать, вы не желаете понять!

— Нет, мы понимаем,— возразил Этьен,— мы хорошо понимаем, что никакие улучшения для нас невозможны, пока все будет идти так, как сейчас идет, и по этой самой причине рабочие в конце концов добьются того, чтобы все пошло по-другому.

Утверждение это, внешне, казалось бы, очень умеренное и произнесенное вполголоса, было проникнуто такой убежденностью и в нем прозвучала такая угроза, что сразу настала глубокая тишина. В эту минуту сосредоточенного, напряженного молчания пронеслось дуновение страха. Смутно вникая в смысл сказанного, делегаты почувствовали, однако, что в этой гостиной, среди всего этого благоденствия, их товарищ потребовал и для рабочего благ земных, и все бросали косые взгляды на плотные гардины и портьеры, на мягкие удобные кресла, на всю эту роскошную обста-

новку, в которой стоимость малейшей безделушки дала бы шахтеру возможность прокормиться целый месяц.

Наконец помрачневший г-н Энбо встал, давая понять, что разговор окончен. Все, кто сидел, тоже поднялись. Этьен подтолкнул локтем Маэ, и тот заговорил, но уже неловко, неуклюжими словами:

— Стало быть, господин директор, вот и все? Так ничего вы и не ответили нам. Мы, стало быть, передадим другим, что вы наши условия отвергаете.

— Я? — воскликнул г-н Энбо.— Я, милый мой, ничего не отвергаю! Я такой же наемный человек, как и вы. Решать я тут могу не больше, чем последний ваш откатчик. Мне дают распоряжения, и я обязан в точности их выполнять. Я сказал вам все, что считал своим долгом сказать, но решать я ничего не берусь. Вы изложили свои требования. Я передам их правлению, а потом сообщу вам его ответ.

Он говорил, сохраняя корректность высокого чиновника, стараясь не выказывать волнения и даже щеголяя своей вежливой сухостью, подчеркивая, что он всего лишь орудие власти. И углекопы смотрели на него недоверчиво, мысленно спрашивали себя, куда же он клонит, что ему за интерес лгать им, сколько он крадет, стоя между рабочими и настоящими хозяевами. Видно, он просто обманщик. Наемный человек, получает плату, как и рабочие, а живет богато!

Этьен еще раз осмелился вмешаться:

— Очень жаль, господин директор, что мы не можем лично поговорить с членами правления и защитить перед ними свои требования. Мы многое объяснили бы, мы нашли бы убедительные доводы, а вам они неизбежно будут непонятны. Знать бы только, куда нам обратиться.

Господин Энбо нисколько не рассердился, на губах у него даже промелькнула улыбка.

— Ах, вот оно что! Ну, раз вы мне не доверяете, это очень усложняет дело. Придется вам поехать туда!

И он сделал неопределенный жест, указав на одно из окон гостиной. Делегаты проследили взглядом за движением директорской руки. Куда же это надо ехать? Вероятно, в Париж, но в точности они не знали. Куда-то в далекие и страшные, недоступные, священные края, где в таинственной кумирне восседает на престоле некое неведомое божество. Никогда они его не видели и не увидят, они только чувствовали, как его непостижимая сила давит издали на судьбы десяти тысяч рабочих в Монсу. И когда директор говорил, за ним стояла эта сокрытая от них сила, его устами она вещала свои приговоры.

Тяжелое чувство разочарования охватило их, даже Этьен по-

жал плечами, показывая, что лучше всего им уйти. Тем временем г-н Энбо дружески похлопывал Маэ по плечу и спрашивал о здоровье Жанлена.

— А все же это вам суровый урок,— ведь вы защищаете плохое крепление!.. Советую, друзья мои, поразмыслить, тогда вы поймете, что забастовка была бы для всех бедствием. Не пройдет и недели, а вы будете с голоду умирать. Что вам тогда делать? Впрочем, я рассчитываю на ваше благоразумие: я убежден, что в понедельник — самое позднее — вы возобновите работу.

Все двинулись к двери и вышли из гостиной, громко топая и сутулясь, ни одного слова не ответив директору, выразившему надежду на их покорность. Г-н Энбо, провожая их, счел необходимым вкратце изложить итоги переговоров: на одной стороне Компания с новыми расценками, на другой — рабочие, требующие прибавку в пять сантимов с вагонетки. Желая развеять несбыточные надежды углекопов, он заметил, что, по всей вероятности, правление отвергнет их требования.

— Хорошенько подумайте и не делайте глупостей,— повторил он, встревоженный их молчанием.

В прихожей Пьерон низко поклонился директору, зато Левак нарочито размашистым движением нахлобучил на голову фуражку. Маэ старался придумать, что бы еще сказать на прощанье, но Этьен тронул его за локоть, и все вышли в грозном молчании. Дверь в парадном громко захлопнулась.

Когда г-н Энбо возвратился в столовую, гости молча сидели за ликерами. Он в двух словах рассказал г-ну Денелену о положении дел, и тот окончательно впал в уныние. Пока хозяин пил остывший кофе, остальные попытались было завести разговор на другую тему, но Грегуар снова заговорил о забастовке и выразил удивление, что не существует закона, запрещающего рабочим бросать работу. Поль Негрель для успокоения Сесиль заверил ее, что скоро прибудут жандармы,— их уже ждут.

Наконец г-жа Энбо подозвала лакея и приказала:

— Ипполит, мы скоро перейдем в гостиную, так ступайте откройте там окна. Проветрите хорошенько комнату.

III

Прошло две недели, а на третью, в понедельник, сведения о явке на работу, посланные в дирекцию, свидетельствовали, что число рабочих, спустившихся в шахты, стало еще меньше. Напрасными оказались расчеты, что в то утро работа возобновится: упорство правления, не желавшего пойти на уступки, ожесточило рабочих. Бастовали не только Воре́, Кревкер, Миру и Мадлен; в

Виктуар и в Фетри-Кантель едва ли четвертая часть всего количества углекопов спустилась в шахты, забастовка захватила даже Сен-Тома. Она становилась всеобщей.

В Воре́ стояла гнетущая тишина. Кругом было безлюдно, безмолвно, мертво, как на всех больших предприятиях, где работа остановилась. На фоне серого декабрьского неба вдоль высоких мостков вырисовывались три-четыре забытые вагонетки, застывшие в безгласном унынии никому не нужных вещей. Внизу меж тонкими козлами мало-помалу тощали запасы добытого угля, обнажая черную землю; заготовленные штабеля крепежного леса гнили под проливными дождями; па мутной воде канала у пристани словно уснула недогруженная баржа; на пустынном терриконе, где и под дождем дымились сернистые сланцы, грустно вздымала к небу свои рукоятки брошенная тачка. Но больше всего веяло запустением от построек — от сортировочной, наглухо закрывшей свои ставни, от копра, в котором уже не отдавался грохот вагонеток, катившихся в приемочной, от машинного отделения с застывшими двигателями, от гигантской трубы, слишком широкой для узких струек дыма. Подъемную машину пускали в ход лишь по утрам. Конюхи доставляли корм лошадям, под землей работали только штейгеры: заменяя углекопов, они следили за тем, чтобы откаточные пути не пострадали от обвалов, неизбежных, когда перестают поддерживать крепление в выработках; но с девяти часов утра сообщение с поверхностью происходило лишь по лестницам. А над шахтными мертвыми строениями, покрытыми траурной пеленой черной пыли, по-прежнему разносилось лишь шумное, долгое дыхание водоотливного насоса — единственная искра жизни, оставшаяся в шахте, которую затопили бы подземные воды, если бы это дыхание остановилось.

Напротив шахты, на плоской возвышенности, рабочий поселок Двести Сорок тоже казался мертвым. Из Лилля примчался префект, по дорогам рыскали жандармы.

Однако забастовщики вели себя так спокойно, что и префект и жандармы решились убраться восвояси. Еще никогда поселок не подавал такого хорошего примера всему населению этой широкой равнины. Чтобы не заглядывать в кабаки, мужчины спали целыми днями; женщины, отказывая себе в кофе, стали спокойнее, меньше занимались болтовней, меньше ссорились; и даже ребятишки, словно понимая всю важность положения, сделались такими умниками, что тузили друг друга без визга и криков. Словом, все старались быть тише воды, ниже травы. Это было теперь правилом всего поселка, призывом, передававшимся из уст в уста.

Однако в доме Маэ беспрестанно толклись люди. Этьен в качестве секретаря кассы взаимопомощи распределял пособия между нуждающимися семьями; кроме взносов, в кассу поступило еще

несколько сот франков, собранных по подписке и путем пожертвований. Но уже все средства истощились, у рабочих не было денег. Как продержаться? Надвигалась угроза голода. Мегра пообещал отпускать съестные продукты в долг в течение двух недель, но через неделю спохватился и отказал в кредите. Обычно он подчинялся приказам Компании; может быть, она желала поскорее покончить с забастовкой, взяв рабочие поселки измором. К тому же Мегра показал себя наглым самодуром: по прихоти своей давал хлеб или отказывал, смотря по тому, нравилась или не нравилась ему девушка, которую родители посылали к нему за провизией; двери лавки были крепко заперты перед женой Маэ,— он ненавидел ее и хотел отплатить за то, что Катрин не досталась ему. В довершение всех бед стояли сильные холода; женщины с тревогой видели, что запас угля тает,— они знали, что дирекция не даст им топлива, пока мужчины не спустятся в шахту. Мало того что подохнешь с голоду, можешь еще и замерзнуть.

В доме Маэ едва перебивались. У Леваков еще была пища — покупали на те двадцать франков, которые им дал в долг Бутлу. У Пьеронов никогда не переводились деньги, но, боясь, что у них станут просить взаймы, они старались прослыть такими же голодающими, как и другие, и жена Пьерона брала провизию в долг у Мегра, который с радостью бросил бы ей весь свой магазин, если б она подхватила дары в подол своей юбки. В субботу второй недели во многих семьях людям пришлось лечь спать без ужина. Начинались страшные дни, но голодные встретили их без единой жалобы, со спокойным мужеством повинуясь принятому решению. Несмотря на муки свои, все полны были надежды, благоговейной, фанатичной веры, самоотверженности людей, убежденных в предстоящей победе. Им обещали, что настанет эра справедливости, и они готовы были пострадать ради завоевания всеобщего счастья. Голод доводил людей до экзальтации; еще никогда так не расступались тесные границы их умственного кругозора, никогда не раскрывались такие широкие дали перед этими изголодавшимися мечтателями. Когда в глазах у них темнело от слабости, перед ними в лучезарных видениях представало идеальное общество, о котором они грезили, теперь такое близкое и как будто даже ставшее явью,— общество, в котором все будут братья друг другу, золотой век труда и совместных трапез. Ничто не могло бы поколебать их уверенности в том, что наконец они вступят в царство справедливости. Средства кассы иссякли; Компания явно не собиралась пойти на уступки; с каждым днем положение ухудшалось, но забастовщики хранили надежду, они с презрительной улыбкой смотрели на жестокую действительность. Если земля разверзнется у них под ногами, некое чудо спасет их. Вера заменяла голодным хлеб, она их согревала в нетопленном доме. И в семье Маэ, и

в других семьях, где питались только водянистым супом, у людей кружилась от голода голова, но они охвачены были блаженным экстазом веры в ожидающую их лучшую жизнь, как мученики христианства, которых бросали на съедение хищным зверям.

Теперь Этьен был неоспоримым вожаком. В беседах, происходивших по вечерам, его слушали как оракула; чтение постепенно развивало его ум, и он обо всем высказывал критические суждения. Он проводил теперь за книгами ночи напролет, он получал много писем; он даже подписался на бельгийскую социалистическую газету «Мститель», и эта первая появившаяся в поселке газета внушала рабочим необыкновенное почтение к нему. Собственная возраставшая популярность с каждым днем все больше подстегивала его энергию. Вести обширную переписку, обсуждать в ней судьбу рабочих во всех концах провинции, давать советы ворейским углекопам, а главное, чувствовать, что он стал средоточием целого мира, который вращается вокруг него,— все это льстило тщеславию Этьена, еще недавно механика, перепачканного смазочным маслом, забойщика, черного от угольной пыли! Он поднялся на одну ступень, он приблизился к ненавистной ему буржуазии и, не признаваясь себе в этом, втайне гордился своим умом и радовался открывшейся для него возможности достигнуть материального благополучия.

Только одно занозой сидело в душе: сознание, что ему недостает образования, что из-за этого он становится неловким и робким, когда сталкивается с каким-нибудь господином в сюртуке. Он не переставал заниматься самообразованием, поглощал множество книг, но из-за отсутствия систематичности прочитанное усваивалось очень медленно, и в конце концов в голове у него возникла порядочная путаница: знал он гораздо больше, чем понимал. Поэтому в иные часы здравых размышлений его охватывала тревога, опасение, что он совсем не тот человек, которого так долго ждали углекопы. Быть может, тут нужен адвокат, человек ученый, который способен и говорить, и действовать и ничем не повредит товарищам. Но тут же нарастало возмущение и возвращалась уверенность в себе. Нет, нет! Никаких адвокатов — все они прохвосты, пользуются своими знаниями для того, чтобы сладко есть и пить за счет народа. Будь что будет, но рабочие должны сами вершить свои дела. И вновь лелеял он мечту стать народным трибуном. Монсу у его ног, где-то в туманной дали — Париж. Как знать, а вдруг в один прекрасный день он станет депутатом, выступит с речью в роскошном зале. Этьен представлял себе, как он мечет громы и молнии против буржуазии,— это будет первая речь, произнесенная рабочим в парламенте.

Уже несколько дней Этьен был весьма озабочен. Плюшар слал письмо за письмом,— предлагал приехать в Монсу и подо-

греть рвение забастовщиков. Речь шла о созыве частного собрания под председательством Плюшара; а за этим планом, несомненно, таилась мысль, воспользовавшись забастовкой, привлечь к Интернационалу углекопов, пока еще относившихся к нему недоверчиво. Этьен опасался огласки, но, вероятно, все-таки согласился бы на приезд Плюшара, если бы Раснер не ополчился против этого вмешательства. Несмотря на все свое влияние, Этьен, как человек молодой, должен был считаться с кабатчиком: ведь заслуги Раснера перед углекопами были более давними, и среди посетителей «Выгоды» у него имелось много приверженцев. Поэтому Этьен колебался, не зная, что ответить Плюшару.

В понедельник, в четвертом часу дня, когда Этьен сидел один в нижней комнате с женой Маэ, из Лилля опять пришло письмо. Сам Маэ, томясь праздностью, отправился на рыбалку,— если бы ему удалось поймать в канале перед шлюзом хорошую рыбу, ее продали бы и на вырученные деньги купили хлеба. Старик Бессмертный и Жанлен только что ушли из дому попробовать, как им служат ноги, которые доктор основательно починил; младшие дети ушли с Альзирой,— теперь она по нескольку часов в день проводила на терриконе, собирая осколки угля. Мать сидела у еле тлевшего огня, не решаясь разжечь его как следует, и, выпростав из расстегнутой кофты грудь, свисавшую чуть ли не до пояса, кормила Эстеллу.

Когда Этьен, прочтя письмо, сложил листок, она спросила:

— Ну как? Хорошие вести? Пришлют нам денег?

Этьен отрицательно покачал головой, она продолжала:

— У меня ум за разум заходит. Как прожить эту неделю!.. А все равно надо держаться. Когда люди знают, что правда на их стороне, это придает им духу, и в конце концов они всегда своего добьются, верно?

Теперь она, по зрелом размышлении, стояла за то, чтобы продолжать забастовку. Конечно, лучше было бы, не прекращая работы, заставить Компанию поступить справедливо. Но раз работу прекратили, нельзя ее возобновлять, пока не добились справедливости. Тут она была непримирима. Лучше сдохнуть с голоду, чем делать вид, будто ты виноват, тогда как ты совершенно прав!

— Ах! — воскликнул Этьен.— Хоть бы разразилась холера да избавила нас от всех этих эксплуататоров, от воротил, которые верховодят в Компании!

— Нет! Нет! — возразила жена Маэ.— Никому не надо желать смерти. Нам от этого легче не станет, на их месте другие мучители окажутся... Я вот хочу только одного: чтобы нынешние хозяева образумились, и я думаю, так и будет,— хорошие люди повсюду есть... Вы ведь знаете, я с вашей политикой не согласна.

В самом деле, она обычно была недовольна пылкими речами Этьена, находила, что он задира. Требовать, чтобы за труд платили правильную цену, по справедливости,— это хорошо; но к чему еще приплетать сюда всякую всячину, винить буржуа и правительство? Зачем вмешиваться в чужие дела? За это тебе же и падают тумаков. Но она уважала Этьена — парень непьющий и акккуратно платит за свое содержание сорок пять франков в месяц. Раз мужчина ведет себя порядочно, остальное ему можно и простить.

В тот день Этьен заговорил о Республике, которая всем даст хлеба. Но его хозяйка покачала головой,— ей крепко запомнился злополучный сорок восьмой год, когда они с мужем только что поженились и до того нуждались, что все с себя спустили до нитки. Она рассказывала мрачным тоном о пережитых бедах, уставив глаза в одну точку, сидя в расстегнутой кофте, а малютка Эстелла спала на коленях у матери, не выпуская из ротика грудь. Поглощенный своими мыслями, Этьен машинально смотрел на эту огромную мягкую грудь, белизна которой резко отличалась от нездорового, желтоватого цвета лица.

— Ни гроша не было,— говорила она,— есть нечего, а все шахты остановились. Чего там! Как тогда бедняки с голоду мерли, так и теперь то же самое делается!

Но тут отворилась дверь, и оба онемели от изумления: вошла Катрин. После своего бегства с Шавалем она еще ни разу не появлялась в поселке. От волнения она даже позабыла затворить дверь и, вся дрожа, молча стояла у порога. Она рассчитывала, что застанет мать одну, а при виде Этьена у нее вылетело из головы все, что она дорогой придумала сказать.

— Тебе что тут надо? Зачем пришла? — крикнула мать, даже не вставая со стула.— Не хочу тебя больше видеть. Убирайся!

Катрин попыталась вставить слово:

— Мама, я кофе и сахару принесла... для ребятишек... Я заработала... На сверхурочной... вот и подумала о них...

Она достала из карманов два кулька — фунт кофе и фунт сахара и, осмелев, положила их на стол. Забастовка на Ворейской шахте пугала ее,— ведь на шахте Жан-Барт все еще работали, и она решила хоть немного помочь родителям, якобы желая побаловать ребятишек. Но ее заботы не обезоружили мать, она сказала:

— Чем сласти приносить, лучше бы оставалась в семье да на хлеб для нас зарабатывала!

Она бичевала дочь, она облегчала себе душу, бросая Катрин в лицо все, что говорила о ней за глаза в течение месяца. Подумайте! В шестнадцать лет убежала из дому, сошлась с мужчиной и живет с ним, а мать с отцом, малых сестренок, братишку и ста-

рика деда бросила,— пускай голодают! Так может поступить только самая последняя распутная девка! Бессердечная дочь! Ветреность можно простить девушке, но такую выходку не забудешь. Да еще если б ее дома держали на привязи,— ведь нет, была свободна как ветер, от нее требовали только одно: чтобы ночевать приходила домой.

— Нет, ты скажи, что тебя забирает? В твои-то годы!

Катрин неподвижно стояла у стола и молча слушала, опустив голову. Вздрагивая всем своим худеньким, еще не развившимся телом, она пыталась оправдаться и говорила матери прерывающимся голосом:

— Ах, да разве мне сладко? Разве я по своей воле?.. Это все он. А раз он так хочет, значит, я должна слушаться, ведь верно? Он сильнее меня... Разве я знала, как все обернется? Да теперь уж что говорить! Дело сделано, не переделаешь. Он ли, другой ли,— все равно теперь. Пусть женится на мне.

Она защищалась без всякого жара, с вялым смирением, свойственным девушкам, слишком рано отдающим себя во власть мужчине. Она покорялась общему для всех закону. Никогда она и не мечтала, что судьба ее может быть иной. Ухажер овладевает девушкой насильно за терриконом, в шестнадцать лет она родит ребенка, потом бедствует всю жизнь, заведя свою семью, если любовник женится на ней. И Катрин лишь потому краснела от стыда и вздрагивала, что мать называла ее нехорошими словами при Этьене, чье присутствие было для нее в эту минуту мучительно и приводило ее в отчаяние.

Однако Этьен встал и, не желая мешать объяснению, отошел к печке, как будто решил поворошить угасавшие угли. Но тогда Катрин подняла голову, и их взгляды встретились. Она была бледна, изнурена и все же миловидна, особенно хороши были эти ясные глаза, обведенные темными тенями; и, глядя на нее, Этьен испытывал странное чувство: исчезла в его душе злая обида, и осталось только одно желание — чтобы Катрин нашла счастье с человеком, которого она предпочла ему. И еще ему хотелось взять ее под свою защиту, пойти в Монсу и заставить того, другого, относиться к ней с уважением. Но Катрин видела в ласковом взгляде, которым он смотрел на нее, только жалость. Как он, должно быть, презирает ее, если так пристально ее рассматривает! И сердце у нее сжалось так больно, что она чуть не задохнулась, и больше не находила слов в свое оправдание.

— Вот так-то лучше,— сказала неумолимая мать.— Лучше помолчи. Если ты совсем вернулась домой — оставайся, а нет — так вон отсюда! Сию же минуту убирайся, да скажи еще спасибо, что у меня на руках Эстелла, а то я бы тебе дала пинка хорошего!

И вдруг, словно эта угроза осуществилась, Катрин вскрикнула от боли и неожиданности, почувствовав, что кто-то пнул ее в спину. В незатворенную дверь влетел Шаваль и лягнул Катрин, как разъяренный осел. Подстерегая ее, он несколько минут стоял на крыльце.

— Ах ты мерзавка! — орал он.— Выследил я тебя. Так и знал, что ты сюда прибежишь и начнешь блудить. Ты что, платишь ему? Ты его кофеем на мои денежки угощаешь?

Мать и Этьен остолбенели.

Шаваль, рассвирепев, отшвырнул Катрин к двери.

— Уйдешь ты отсюда, чертово отродье?

Катрин забилась в угол, и тогда Шаваль набросился на мать:

— Нечего сказать, хорошим делом ты занимаешься,— потаскуху дочку покрываешь! Внизу сторожишь, а она наверху с хахалем валяется.

Наконец он схватил Катрин за руку и, дергая ее, потащил к двери. У порога он остановился и снова повернулся к матери, которая застыла на месте, даже позабыв застегнуть кофту. На коленях у нее, прикрытых шерстяной черной юбкой, спала Эстелла, задрав кверху носик; грудь матери, большая и тяжелая, свисала, как вымя породистой, крупной коровы.

— А когда дочки нет, глядишь, и мамаша сойдет,— кричал Шаваль.— Валяй, валяй, показывай свое мясо! Твой паршивый жилец не побрезгует.

Этьен кинулся к нему, хотел закатить негодяю пощечину, вырвать у него из рук несчастную Катрин, однако остановился из страха всполошить дракой весь поселок. Но в нем самом закипел неистовый гнев, и соперники стояли друг против друга, пылая злобой. Вспыхнула наконец давняя ненависть, долго таившаяся ревность. Теперь один жаждал уничтожить другого.

— Берегись! — сквозь зубы процедил Этьен.— Я с тобой расправлюсь.

— Попробуй! — ответил Шаваль.

Они еще несколько секунд смотрели друг другу в глаза, сойдясь вплотную, так близко, что каждый горячим дыханием обжигал другому лицо. И тогда Катрин сама с мольбой взяла любовника за руку и увела на улицу. Она потащила его прочь из поселка и, убегая, не смела оглянуться.

— Вот скотина! — пробормотал Этьен, захлопнув дверь. От гнева и волнения у него подкашивались ноги, он опустился на стул. Маэ сидела напротив него не шевелясь. Наконец она с отчаянием махнула рукой, но не сказала ни слова. Оба думали о своем, и молчание было тяжелым от невысказанных мыслей. Этьен невольно смотрел на обнаженную грудь Маэ, и теперь эта блиставшая белизной полоска плоти вызывала у него смущение. Этой женщине

уже исполнилось сорок лет, тело ее было обезображено, как у плодовитой самки, но она еще привлекала многих,— высокая, широкобедрая, крепкая, с крупными чертами продолговатого лица, сохранившего следы былой красоты. Спокойно, не спеша она взяла обеими руками свою грудь и заправила ее за лиф; розовый кончик все не входил, она придавила его пальцем, потом застегнула свою старую кофту и сидела теперь вся в черном.

— Свинья он, вот что!—сказала она наконец.—Только у мерзавца и могут появиться такие поганые мысли. Да мне наплевать! На гадости и отвечать не стоит!

Затем она сказала с неподдельной искренностью, не сводя глаз с Этьена:

— У меня, понятно, есть недостатки, но на это я не способна... За всю свою жизнь только двоих мужчин я к себе допустила,— одного откатчика — давно, когда мне пятнадцать лет было, а потом вот Маэ. Если б и он меня бросил, как первый,— что ж, не знаю, как бы тогда пошло. И не могу очень гордиться, что хорошо себя вела с тех пор, как замуж вышла,— ведь частенько бывает, что люди потому только и не грешат, что случая не представлялось... Я вот говорю все как было, а многие из моих соседок не посмеют всю правду сказать про себя. Верно?

— Что верно, то верно,— ответил Этьен, вставая.

Он вышел из дому, а Маэ положила Эстеллу на два составленных вместе стула и решилась наконец разжечь огонь в печке. Если отец поймает рыбу и продаст улов, все-таки можно будет купить хлеба.

На дворе темнело, спускалась холодная, ледяная ночь. Этьен шел в глубокой печали. Теперь не было у него ни гнева против Шаваля, ни жалости к несчастной обиженной девушке,— воспоминание о недавней грубой сцене стерлось, растворилось в мыслях о страданиях всех бедняков, об ужасах нищеты. Перед глазами его вставал поселок без хлеба, женщины, дети, которым нечего поесть нынче вечером, народ, который голодает, но борется. И в томительной грусти сумерек у него пробудилось сомнение, возникавшее порою в его душе, но теперь наполнившее ее такой мучительной болью, какой он никогда еще не испытывал. Какую ужасную ответственность он взял на себя! Надо ли и дальше призывать людей к сопротивлению, побуждать их упорствовать? Ведь теперь нет ни денег, ни кредита в лавках,— что их ждет, если не будет со стороны никакой помощи, если голод сломит их мужество? И вдруг перед глазами его встала страшная картина: умирают дети, рыдают матери, а измученные, исхудалые мужчины спускаются в шахты. Он все шел, спотыкаясь в темноте о камни: мысль, что Компания окажется сильнее и он принесет лишь несчастье товарищам, жестоко терзала его.

Наконец он поднял понурую голову и увидел Ворейскую шахту. В сгущавшихся сумерках вырисовывались тяжелой темной грудой надшахтные строения. Посреди пустынной площадки высился недвижный черный силуэт копра, похожий на башню заброшенной крепости. Лишь только останавливалась добыча угля, душа покидала стены шахтных построек. В этот вечерний час не было там признаков жизни, ни единого фонаря, ни звука человеческого голоса, и в этой кончине, постигшей шахту, даже хлюпанье водоотливного насоса казалось далеким хрипом, доносившимся неведомо откуда.

Этьен смотрел на шахту, и кровь прихлынула у него к сердцу. Если рабочие страдают от голода, то и Компания начала терять свои миллионы. Почему же непременно она окажется более сильной в этой битве труда против капитала? Во всяком случае, победа обойдется ей дорого. Кончится сражение,— тогда каждая сторона подсчитает свои потери. И вновь его охватила воинственная ярость, неистовая жажда покончить с нищетой, хотя бы ценою смерти. Пусть лучше весь поселок погибнет сразу, чем по-прежнему гибнуть постепенно от голода и несправедливости. Из путаницы прочитанного в книгах всплыли примеры: рассказы о народах, которые сжигали свои города, чтобы остановить наступление врага, туманные истории о том, как матери, желая спасти своих детей от рабства, разбивали им головы о булыжники мостовой, о том, как мужчины предпочитали лучше уморить себя голодом, чем есть хлеб тиранов. Он пришел в восторженное состояние,— душевный упадок сменился приливом жестокой веселости, изгнавшей сомнения; ему стыдно было за свое минутное малодушие. А вместе с возрождением веры воскресли и горделивые грезы и высоко вознесли его на своих крыльях. Так радостно было чувствовать себя вождем, видеть, что, повинуясь ему, люди идут на все жертвы; все ширилась его мечта о своем могуществе: в тот вечер он был триумфатором. Он представлял себе сцену, исполненную простоты и величия,— воображал, как он отказывается от власти и передает ее в руки народа.

Вдруг он вздрогнул и очнулся,— кто-то окликнул его; это был Маэ, возвращавшийся с рыбалки, он рассказал Этьену о своей удаче: поймал великолепную форель и продал ее за три франка. Значит, сегодня будет суп. Этьен сказал, что скоро вернется домой, и, предоставив Маэ одному идти в поселок, направился в «Выгоду»; сев там за стол, он подождал, пока уйдет посетитель, и тогда твердым тоном заявил Раснеру, что немедленно напишет Плюшару и пригласит его приехать к ним. Он принял решение созвать частное собрание,— победа казалась ему несомненной, если все шахтеры Монсу вступят в Интернационал.

IV

Собрание устроили в четверг, в два часа дня, в заведении вдовы Дезир «Смелый весельчак». Хозяйка, возмущенная нищетой, которую приходилось терпеть ее «питомцам», гневалась на Компанию, особенно с тех пор, как кабачок опустел. Никогда еще в забастовку люди не были такими трезвенниками, даже отъявленные забулдыги сидели дома из страха нарушить принятое всеми решение. Главная улица в Монсу, на которой в дни ярмарки кипел народ, была теперь безлюдной, мрачной; везде царила унылая тишина. На стойках в пивных пиво не лилось в кружки, а из кружек — в глотки; сточные канавы были сухи; у дверей кабаков, окаймлявших шоссе, у винного погребка Казимира, у распивочной «Прогресс» видны были только бледные лица кабатчиц, вопрошающе озиравших дорогу; а в самом Монсу пустовал весь ряд питейных заведений, начиная от кабачка Ланфана до распивочной «Головня», не исключая трактира «Виноградное» и пивной «Сорвиголова». Только в трактире «Святой Илья», в который ходили штейгеры, еще наливали несколько кружек за день; обезлюдел даже «Вулкан», лишились клиентов и дамы, подвизавшиеся там, хотя ввиду тяжелых времен они снизили свою цену с десяти до пяти су. Во всем краю сердца томило мрачное уныние.

— Ах ты дьявол! — воскликнула вдова Дезир, хлопая себя по бедрам.— И во всем жандармы виноваты! Пусть меня в тюрьму засадят, но я им устрою штуку!

Всех властей, всех хозяев, все начальство она именовала жандармами,— этот презрительный термин обозначал всех врагов простого народа. Она с восторгом ответила согласием на просьбу Этьена: ну конечно, весь ее дом к услугам углекопов; она бесплатно предоставит им свой бальный зал, напишет от своего имени приглашения, раз закон этого требует. Впрочем, если что будет и не по закону, пусть себе злятся. На следующий день Этьен принес ей на подпись десятков пять приглашений, переписанных по его поручению грамотными жителями поселка. Письма эти послали в другие шахты — делегатам и прочим надежным людям. На повестку дня поставлен был вопрос о продолжении забастовки; но в действительности ждали Плюшара и рассчитывали, что после его речи произойдет массовое вступление углекопов в Интернационал.

В четверг утром Этьен очень встревожился, видя, что Плюшара, бывшего старшего мастера в его депо, все еще нет, хотя он обещал приехать в среду вечером. Что же случилось? Этьен огорчился, что не удастся посоветоваться с ним до собрания. В девять часов он отправился в Монсу, полагая, что Плюшар проехал прямо туда, не останавливаясь в Воре́.

— Нет, я вашего друга не видела,— ответила ему вдова Дезир.— Но у меня все готово, пройдите посмотрите.

И она повела Этьена в бальный зал. Украшения в нем оставались те же самые — гирлянды, подхваченные у потолка венком из пестрых бумажных цветов, и позолоченные картонные щиты с именами святых, развешанные по стенам. Только убрали подмостки для музыкантов и вместо них поставили в углу стол и три стула да выстроили в зале наискось несколько рядов скамей.

— Отлично! — одобрил подготовку Этьен.

— И знаете что? — сказала вдова.— Будьте тут как дома. Можете горланить сколько душе угодно... Если жандармы явятся, не пущу,— разве что убьют!

Пришли вдруг Раснер и Суварин, и вдова удалилась, оставив их троих в большом пустом зале. Этьен удивленно воскликнул:

— Вы здесь? Так рано!

Суварин, работавший в ночную смену (машинисты не бастовали), зашел просто из любопытства. Раснер хмурился — за последние два дня он казался озабоченным, на его круглой, пухлой физиономии больше не играла благодушная улыбка.

— Плюшар не приехал, я очень беспокоюсь,— сказал Этьен.

Кабатчик отвел взгляд в сторону и процедил сквозь зубы:

— Я-то не удивляюсь. Я его и не жду.

— Почему это?

Тогда Раснер, набравшись духу, посмотрел ему прямо в лицо и с вызывающим видом заявил:

— Да потому, что я тоже послал ему письмо, если хочешь знать. И в этом письме я умолял его не приезжать... Да, я считаю, что мы сами должны разобраться в своих делах, а не обращаться к посторонним.

Этьен пришел в исступление; дрожа от гнева, он впился взглядом в товарища и бормотал, заикаясь:

— Ты это сделал? Ты это сделал?

— Да, сделал. Будь спокоен. А ведь ты знаешь, как я уважаю Плюшара! Он умница и крепкий человек, ему можно доверять. Но, видишь ли, мне ваши взгляды противны! Политика, правительство,— мне на все это плевать! Я хочу только одного: чтобы углекопу лучше жилось. Двадцать лет я работал под землей, жил в нищете, надрывался в забоях и вот дал себе клятву — добиться облегчения для несчастных ребят, которые еще там маются. И я хорошо чувствую, что вы со всякими вашими выдумками ничего не добьетесь, из-за вас судьба рабочего будет еще тяжелее... Когда голод заставит углекопа спуститься в шахту, его еще больше прижмут. Компания ему отплатит, она с ним палкой расправится, как с убежавшей собакой, когда ее загонят в конуру. А я хочу этому помешать, слышишь?

Он говорил теперь громко и, выпятив брюшко, стоял уверенно, расставив свои толстые ноги. Вся его натура, человека рассудительного и терпеливого, сказывалась в ясных закругленных фразах, которые без малейшего усилия текли из его словоохотливых уст. Какая глупость! Вообразили, что так вот разом можно все перевернуть, поставить рабочего на место хозяев, разделить богатства, как делят детям яблоко? Тысячи и тысячи лет надо ждать, а тогда это, может быть, и осуществится. Ну так вот, нечего морочить людей, сулить чудеса. Если не желаете расшибить себе лбы о стенку, будьте благоразумны: идите к ближайшей цели, требуйте действительно возможных реформ,— словом, постепенно, пользуясь любым случаем, облегчайте судьбу рабочего. И Раснер заявлял, что если бы он взялся за дело, то сумел бы склонить Компанию к некоторым уступкам, а будут забастовщики упрямиться, пиши пропало,— все с голоду подохнут!

Этьен молча слушал, онемев от негодования. Затем крикнул:

— К черту! У тебя в жилах не кровь, а вода!

Еще мгновение, и он дал бы проповеднику умеренности пощечину. Боясь поддаться искушению, он принялся большими шагами ходить по комнате и, срывая свой гнев на скамьях, расшвыривал их ногами, освобождая себе проход.

— Затворите по крайней мере дверь,— тихо сказал Суварин.— Посторонним незачем вас слушать.

Он сам затворил дверь, а затем спокойно уселся на один из стульев, стоявших у стола президиума. Свернул себе папиросу и посмотрел на споривших мягким умным взглядом; губы его морщила тонкая улыбка.

— Нечего злиться, толку от этого не будет,— наставительно сказал Раснер.— Я сперва думал, что ты человек здравомыслящий,— ведь ты вон как умно придумал: посоветовал товарищам соблюдать спокойствие, убедил их не буянить в поселке,— словом, воспользовался своим влиянием для поддержания порядка. А теперь что ты собираешься делать? Хочешь бросить их в свалку!

Этьен шагал между скамьями, поворачивал обратно, подходя к кабатчику, останавливался и тряс его за плечи, выкрикивая ответ прямо ему в лицо:

— Разрази тебя гром! Я очень хочу сохранить спокойствие. Да, я подчинил их дисциплине. Да, я им советовал не шевелиться. Но ведь нельзя же в конце концов, чтобы над нами измывались!.. Тебе-то хорошо, тебе легко оставаться спокойным. А я... Иногда мне кажется, я вот-вот свихнусь.

Это было началом исповеди. Он высмеивал свои иллюзии неофита, свои благоговейные мечты о скором пришествии царства справедливости, когда все будут братьями меж собой. Нечего сказать, хорошо придумано — сидеть сложа руки и ждать, а люди так

и будут до скончания века пожирать друг друга, как волки. Нет, надо вмешаться, иначе несправедливость упрочится, богачи попрежнему будут высасывать кровь из бедняков. Какой же он был дурак, когда говорил, что надо изгнать политику при решении социальных вопросов! Непростительная глупость! Правда, тогда он еще ничего не знал... Но с тех пор он много читал, занимался. Теперь у него зрелые взгляды. Он может похвалиться, что они представляют собою стройную систему. Однако он плохо излагал эту систему: в путаных его рассуждениях оставили свой след все теории, которыми он по очереди увлекался и от которых затем отказался. Но надо всем главенствовала незыблемая идея Карла Маркса: капитал есть результат ограбления, труд имеет право и обязан отвоевать украденное у него добро.

Как сделать это практически? В этом Этьен сначала был согласен с Прудоном, поддавшись химерической идее о взаимном кредите, о создании огромного банка обмена, который устранит посредников; затем он страстно увлекся мыслями Лассаля о субсидируемых государством кооперативных обществах, которые постепенно превратят весь мир в единый индустриальный город; а потом его отвратила от этой идеи непреодолимая трудность контроля; и вот недавно он пришел к идеям коллективизма, он требовал, чтобы все орудия производства были переданы в коллективную собственность. Но все это были еще расплывчатые мысли, он не знал, как возможно осуществить новую его мечту; щепетильность чувствительной натуры и неуверенность в своих суждениях мешали ему,— он не дерзал выступать с непререкаемыми утверждениями, свойственными сектантам. Он лишь говорил, что прежде всего нужно захватить власть. А дальше будет видно.

— Да что это с тобой случилось? Почему ты стал защищать буржуев?—с яростным возмущением продолжал он, снова остановившись перед кабатчиком.— Ведь ты мне сам говорил: надо, чтобы это взорвалось!

Раснер слегка покраснел.

— Да, говорил. И если взорвется, так вы увидите, что я не из трусов... Однако я отказываюсь идти с теми, кто затевает свалку ради своих целей — хочет добиться видного положения.

Тут пришлось покраснеть и Этьену. Противники больше не кричали, они говорили язвительно и зло, с холодной враждой,— ведь они были соперники. В сущности, это и заставляло их доводить до крайности свои взгляды, одного побуждало бросаться в чрезмерную революционность, а другого подчеркивать свою осторожность, увлекало их за пределы их подлинных убеждений. Так бывает, когда человек не хочет сознаться, что в силу обстоятельств он играет несвойственную ему роль. Суварин молча слушал их, и его лицо с нежной, как у белокурой девушки, кожей выражало

откровенное презрение человека, готового отдать за идею свою жизнь, пожертвовав ею в полной безвестности, не стремясь даже к ореолу мученика.

— Так вот почему ты мне все это наговорил! Ты завидуешь,— съязвил Этьен.

— Завидую? Чему, спрашивается? — ответил Раснер.— Я не корчу из себя великого человека, не стараюсь основать в Монсу секцию Интернационала, чтобы стать ее секретарем.

Этьен хотел его прервать, но Раснер добавил:

— Ну, скажи откровенно — ведь тебе наплевать на Интернационал? Ты просто хочешь быть у нас главарем, стать важной птицей, корреспондентом знаменитого Федерального совета Северной Франции.

Настало молчание. Наконец Этьен сказал дрогнувшим голосом:

— Хорошо... Я думал, что уж меня-то не в чем упрекнуть. Всегда с тобой советовался, помня, как ты долго боролся здесь еще до меня. Но ты не можешь терпеть никого рядом с собою... Что ж, теперь я буду действовать один, без твоей поддержки... И прежде всего уведомляю тебя, что собрание состоится, даже если Плюшар не приедет... И, вопреки тебе, товарищи вступят в Интернационал.

— Ну что там «вступят»? — пробормотал кабатчик.— Это ведь не все... Надо еще, чтобы внесли членские взносы.

— Вовсе нет. Когда рабочие бастуют, Интернационал дает им отсрочку. Мы заплатим позднее, а сейчас, наоборот,— он сам придет нам на помощь.

Раснер вдруг вышел из себя:

— Ну погоди! Мы еще посмотрим... Я ведь тоже приду на собрание и буду говорить. Да, да, я не позволю тебе вскружить головы моим друзьям, я им ясно покажу, в чем их истинные интересы. И тогда мы увидим, за кем пойдут рабочие. Меня-то они знают тридцать лет, а ты тут меньше года живешь и хочешь все у нас перевернуть... Нет! Нет! Оставь меня в покое, посмотрим теперь, кто кого одолеет!

И он вышел, хлопнув дверью. Под потолком задрожали гирлянды бумажных цветов, на стенах подскочили позолоченные картонные щиты. И снова просторная комната обрела сонное спокойствие.

Сидя у стола, Суварин курил с кротким видом. Этьен сначала молча ходил взад и вперед, а затем долго отводил душу. Разве это его вина, что люди отвернулись от толстого кабатчика и идут за ним, Этьеном? И, защищаясь от упреков Раснера, он говорил, что вовсе не искал популярности, он даже и не знает, как получилось, что его полюбили в поселке, что он приобрел доверие углекопов и

влияние, которым пользуется сейчас. Он негодовал: как могут его обвинять в том, что он из честолюбия толкает товарищей в схватку? Он бил себя в грудь, заявляя о своих братских чувствах к рабочим.

Вдруг он остановился перед Сувариным и крикнул:

— Послушай, если бы я знал, что из-за меня прольется хоть капля крови моего друга, я бы тотчас бежал в Америку.

Машинист пожал плечами, и опять улыбка тронула его губы.

— О-о, кровь! — пробормотал он.— Что ж тут такого? Землю нужно поливать кровью.

Успокоившись, Этьен взял стул и, сев против Суварина, облокотился на стол. Это светлое лицо с мечтательными глазами, вдруг сверкавшими иногда дикой энергией, тревожило его, оказывало какое-то странное действие. Хотя Суварин не прибавил ни слова, Этьена покоряло, завораживало само молчание товарища.

— Погоди,— сказал он,— а что бы ты сделал на моем месте? Разве я не прав, что хочу действовать? Самое лучшее для нас вступить в Товарищество. Правда?

Суварин медленно выпустил струйку дыма и ответил любимым своим словом:

— Глупости! Но пока что и это ладно... К тому же скоро в Интернационале пойдет по-другому... Некто уже занялся этим.

— Кто?

— Он!

Суварин произнес это вполголоса с фанатической верой и бросил при этом взгляд на восток. Он говорил о своем наставнике — Бакунине-разрушителе.

— Только он один может ударить дубиной,— продолжал он,— а все твои ученые с их эволюцией просто трусы. Не пройдет и трех лет, и под его руководством Интернационал наверняка разгромит старый мир...

Этьен весь обратился в слух. Он горел желанием все знать, понять этот культ разрушения, о котором, однако, Суварин лишь изредка бросал скупые и темные слова, словно хранил про себя тайны этого учения.

— Да наконец объясни же мне... Какая у вас цель?

— Все разрушить... Не будет больше наций, не будет правительств, не будет собственности, не будет богов и религий.

— Ну хорошо, допустим. А только к чему все это вас приведет?

— К простейшей безгосударственной общине, к новому миру, где все будет построено заново.

— А какими средствами вы осуществите свою идею? Как думаете за это взяться?

— Пустим в ход огонь, яд, кинжал. Разбойник — вот истин-

ный герой, народный мститель, действенный революционер, без книжных фраз. Нужен целый ряд ужасающих покушений, чтобы устрашить власть имущих и пробудить народ!

И, говоря это, Суварин преобразился,— он был грозен. В экстазе он приподнялся, светлые глаза его горели огнем мистической веры, тонкие руки сжимали край стола с такой силой, будто хотели отломать доску. Этьен в страхе смотрел на него, вспоминая то, что обрывками поверял ему Суварин, рассказывая о бомбах, заложенных под царским дворцом, о шефах жандармерии, которых убивали ударами ножа, словно диких кабанов, о своей возлюбленной, единственной женщине, которую он любил, о том, как ее повесили в Москве дождливым утром, а он, стоя в толпе, в последний раз целовал ее взглядом.

— Нет! Нет! — бормотал Этьен, отмахиваясь от этих жутких видений.— Мы здесь еще до этого не дошли. Убийства, пожары! Никогда! Это чудовищно, это несправедливо, все товарищи возмутятся и, чего доброго, удавят виновника таких ужасов.

Для него, настоящего француза, оставалась непостижимой эта мрачная мечта об истреблении рода человеческого, который следовало начисто скосить, как поле пшеницы, чтобы народы вновь поднялись из небытия. Он требовал от Суварина ответа:

— Ну, изложи мне свою программу. Мы хотим знать, куда идем.

И Суварин спокойно сказал в заключение, рассеянно и задумчиво глядя вдаль:

— Все рассуждения о будущем преступны — они мешают непосредственным актам разрушения и задерживают развитие революции.

Этьен засмеялся, хотя от такого ответа у него мурашки по спине побежали. Впрочем, он охотно признавал, что в идеях Суварина, привлекавших его своей ужасающей простотой, есть и хорошие стороны. Но если рассказать товарищам о таком учении, то Раснеру это окажется весьма на руку. Тут надо быть осторожным.

Вдова Дезир предложила им позавтракать. Они согласились и перешли в пивную, по будням отделявшуюся от танцевального зала выдвижной перегородкой. Когда они покончили с омлетом и сыром, машинист простился с Этьеном; тот стал его уговаривать остаться на собрание.

— Зачем? Слушать, как вы говорите глупости? Достаточно я их наслушался. До свидания!

И, попыхивая папироской, он ушел с обычным своим кротким и упрямым видом.

Этьен все больше тревожился. Уже был час дня,— Плюшар наверняка не сдержит обещания. К половине второго начали собираться делегаты, Этьену пришлось самому стоять на контроле

у входа и встречать каждого,— он опасался, как бы дирекция не подослала кого-нибудь из обычных своих доносчиков. Он проверял каждое пригласительное письмо, всматривался в приходивших; многие пришли и без письменного приглашения, достаточно было, чтобы Этьен знал их, и перед ними открывались двери. В два часа явился Раснер; Этьен видел, как он остановился у стойки и с кем-то заговорил, неторопливо докуривая трубку. Его насмешливое спокойствие окончательно взвинтило нервы Этьена, тем более что на собрание явилась, просто для смеху, компания озорников — Муке, Захарий и другие парни, которым на забастовку было наплевать; они все находили забавным и, заказав на последние гроши по кружке пива, принялись вышучивать «сознательных товарищей, которые сидят и ждут с постными физиономиями».

Прошло еще четверть часа. Собравшиеся выражали нетерпение. Этьен в отчаянии махнул рукой и хотел было войти, как вдруг вдова Дезир, выглянув из двери на улицу, воскликнула:

— Да вот он, ваш знакомый!

Это действительно был Плюшар. Он подъехал в пролетке, запряженной тощей клячей. Едва она остановилась, он спрыгнул на мостовую,— сухощавый, щеголеватый, большеголовый, с широким лбом, в черном драповом пальто нараспашку, под которым виден был суконный костюм, какие носят по праздникам хорошо зарабатывающие мастеровые. Уже пять лет он не брал в руки напильника, заботился о своей внешности, причесывался гладко, волос к волосу, чрезвычайно гордился своими успехами трибуна; но движения его оставались угловатыми; на больших широких руках все не отрастали ногти, изъеденные железом. Человек весьма деятельный и весьма честолюбивый, он неустанно разъезжал по всей провинции, распространяя свои идеи.

— Прошу не посетовать! — заговорил он, предупреждая вопросы и упреки.— Вчера утром — конференция в Прейли, а вечером — собрание в Валансей. Сегодня — завтрак в Маршьене, с Сованьа... Удалось все-таки нанять пролетку. Я прямо изнемогаю, слышите, как я охрип? Но это не беда, я все-таки выступлю.

У порога «Смелого весельчака» он вдруг спохватился:

— Ах, черт! Членские-то билеты я оставил! Хороши бы мы были!..

Он разыскал пролетку, которую извозчик поставил под навес, вытащил из нее небольшую деревянную шкатулку черного цвета и понес ее под мышкой.

Этьен, с сияющим лицом, следовал за ним как тень, тогда как потрясенный Раснер не осмеливался протянуть приезжему трибуну руку. Плюшар, однако, сам наградил его рукопожатием и вскользь упомянул о письме: что за странная мысль! Почему не провести собрание? Всегда надо проводить собрания, если это мож-

но сделать. Вдова Дезир предложила ему чего-нибудь выпить, но он отказался: лишнее,— у него не пересыхает в горле, когда он говорит. Только вот надо поторопиться,— вечером он рассчитывает проехать в Жуазель, где ему нужно потолковать с Легуже. И тут все устроители гурьбой вошли в зал. За ними следовали пришедшие с запозданием Маэ и Левак. Для спокойствия душевного дверь заперли на ключ, а тогда зубоскалы загоготали и принялись отпускать шуточки; Захарий крикнул Муке, что теперь-то, верно, старики разродятся — испекут младенца, одного на всех.

В плохо проветренном зале, где от дощатого пола еще поднимались острые запахи, пропитавшие его на последней танцульке, сидели на скамьях и ждали человек сто углекопов. Пока вошедшие устраивались на свободных местах, по рядам прошел шепот, все повернулись — рассматривали человека, приехавшего из Лилля; его черное драповое пальто вызывало удивление и неприязненное чувство. Однако немедленно, по предложению Этьена, избрали президиум. Этьен называл имена, участники собрания выражали согласие поднятием рук. Плюшара выбрали председателем, а членами президиума — Маэ и самого Этьена. Задвигали стульями — президиум занял места; на мгновение председатель исчез из глаз — нырнул под стол, чтобы поставить под него шкатулку, с которой никогда не расставался. Затем он поднялся, легонько постучал кулаком по столу, призывая к вниманию, и начал осипшим голосом:

— Граждане!

Ему пришлось остановиться: открылась дверца, и из кухни вышла вдова Дезир, принесла на подносе шесть кружек пива.

— Не беспокойтесь,— пробормотала она.— Когда речь говорят, жажда бывает.

Маэ взял у нее из рук поднос, и Плюшар мог продолжать. Он сказал, что очень тронут сердечным приемом, который ему оказали рабочие в Монсу, извинился за опоздание, пожаловался на усталость и хрипоту. Затем предоставил слово гражданину Раснеру, поспешившему выступить первым. Раснер живо встал у стола, около кружек с пивом. Трибуной служил стул, повернутый к нему спинкой. По-видимому, Раснер был очень взволнован, но, откашлявшись, звучно произнес:

— Товарищи!..

На рабочих угольных копей всегда большое впечатление производило его непринужденное красноречие и благодушие; выступая перед ними, он мог, не уставая, говорить целыми часами. Он не дерзал делать никаких жестов, стоял, толстый, неуклюжий, улыбающийся, и, изливая на слушателей потоки слов, завораживал их до тех пор, пока они не начинали дружно кричать: «Ну да, понятно! Правильно! Верно ты говоришь!» Однако в этот день он

с первых же слов почувствовал глухую враждебность слушателей и стал осторожно лавировать. Пока он выступал лишь против продолжения забастовки, а напасть на Интернационал собирался лишь после того, как сорвет аплодисменты. Конечно, говорил он, честь запрещает уступить требованиям Компании, но ведь какая нищета, какое ужасное будущее ждет всех, если придется еще долго упорствовать! И хоть прямо он и не призывал покориться, он подтачивал мужество забастовщиков, рисуя трагические картины, описывая, как в рабочих поселках люди умирают от голода, и спрашивал, на какие денежные средства рассчитывают сторонники дальнейшего сопротивления. Двое-трое приверженцев Раснера попробовали было выразить одобрение его словам, но это лишь подчеркнуло холодное молчание большинства, все возраставшее раздражение и недовольство, с которым углекопы слушали его вкрадчивую речь. Потеряв надежду завоевать их, он разозлился и стал пророчить им всякие беды, если они позволят подстрекателям, подосланным из-за границы, морочить им головы вздорными выдумками. Две трети участников вскочили и, прервав его гневными возгласами, заявили, что не дадут ему больше говорить, раз он их оскорбляет, считая их малыми детьми, неспособными действовать самостоятельно. А Раснер, то и дело прихлебывая из кружки пиво, все говорил среди этого шума и, разъярившись, кричал, что он выполняет свой долг и еще не родился такой молодец, который ему помешает.

Поднялся Плюшар. Колокольчика у него не было, он просто стучал кулаком по столу и повторял своим сиплым голосом:

— Граждане! Граждане!..

Установив наконец некоторую тишину, он предложил собранию решить вопрос, и Раснера лишили слова. Представители шахт, входившие в состав делегации, направленной к директору, оказывали влияние на остальных,— да и все тут были люди изголодавшиеся и затронутые новыми идеями. Результат голосования был предрешен.

— Тебе на нас наплевать! Ты-то ешь досыта!—орал Левак, грозя Раснеру кулаком.

Наклонившись к Маэ за спиной председателя, Этьен старался успокоить забойщика, который сидел весь красный, вне себя от лицемерного выступления Раснера.

— Граждане! — сказал Плюшар.— Разрешите мне взять слово.

Настала глубокая тишина. Плюшар заговорил. Голос у него был сдавленный и сиплый, но Плюшар умел им пользоваться и, постоянно выступая на рабочих собраниях, достигал ораторских эффектов даже при своем ларингите. Постепенно он усиливал звук, у него появлялись патетические интонации. Он раскидывал руки,

сопровождал гладкие периоды покачиванием плеч; он обладал даром слова, похожим на красноречие проповедников, и, как священники в церкви, понижал голос в конце фраз, нанизывая их одну за другой в плавном, однообразном рокотанье, и в конце концов убеждал.

В этой самой манере он вел и свою речь о величии и благотворной роли Интернационала,—речь эту он уже не раз произносил в тех местностях, где выступал до приезда в Монсу. Он объяснил, что цель ассоциации — освобождение трудящихся; он нарисовал ее грандиозную структуру: внизу — коммуна, выше — провинция, еще выше — нация, а на самой вершине — человечество. Его руки медленно двигались, как бы надстраивая ярус над ярусом, воздвигая громадный собор — будущее общество. Затем он перешел к внутреннему управлению: прочел вслух устав, рассказал о съездах, отметил все возраставшее значение организации и расширение ее программы: начав с вопросов заработной платы, ныне она ставит целью полный социальный переворот, при котором не будет наемного труда. Не будет больше и национальных различий, рабочие всего мира, объединенные всеобщей жаждой справедливости, сметут буржуазную гниль и создадут наконец новое, свободное общество, где тот, кто не трудится, не получит хлеба. Речь оратора гремела, от его бурного дыхания вздрагивали пестрые бумажные цветы под закопченным низким потолком, отражавшим раскаты его голоса. Слушатели закивали головами, словно волна пробежала по рядам. Раздались возгласы:

— Правильно! Согласны!

Плюшар продолжал. Не пройдет и трех лет, а рабочее движение покорит весь мир. И он перечислял охваченные им народы. Со всех концов земного шара поступают заявления о вступлении в Интернационал. Ни одна нарождавшаяся религия не имела столько верующих. А когда рабочие станут господами положения, они продиктуют хозяевам свои собственные законы и заставят их работать.

— Правильно! Правильно! Пускай узнают, каково спину гнуть!

Плюшар жестом восстановил тишину и перешел к вопросу о забастовках. В принципе он против забастовок,— это слишком медленный путь, и они, пожалуй, увеличивают страдания рабочих. Но пока что, в ожидании более действенных средств, приходится прибегать к забастовкам, когда они становятся неизбежными; у них есть то преимущество, что они вносят расстройство в лагерь капитала. Интернационал в таких случаях всегда оказывался провидением для забастовщиков. И Плюшар приводил примеры: в Париже во время забастовки бронзировщиков хозяева сразу же удовлетворили все требования рабочих, как только узнали страш-

ную для них новость, что Интернационал пришел забастовщикам на помощь; в Лондоне Интернационал спас забастовку углекопов, на свой счет отправив обратно целый поезд бельгийцев, которых привезли владельцы копей. Стоило рабочим вступить в Интернационал, как компании охватывал трепет, ибо рабочие вливались в великую армию труда, бойцы которой скорее готовы умереть друг за друга, чем остаться рабами капиталистического строя.

Его прервали рукоплескания. Он вытер лоб носовым платком, но отказался пригубить пива из кружки, которую пододвинул ему Маэ. Когда он вновь начал говорить, бурные рукоплескания заглушили его слова.

— Готово! — бросил он Этьену.— С них достаточно... Живей! Членские билеты!

Он нырнул под стол и поднялся с черной шкатулкой под мышкой.

— Граждане! — крикнул он, перекрывая шум.— Вот членские билеты. Пусть подойдут ваши делегаты, я вручу им билеты, а они распределят их среди вас. Позднее мы все оформим.

Выскочил Раснер с новыми протестами. Этьен волновался,— он хотел выступить с речью. Поднялась невообразимая суматоха. Левак размахивал руками, сжимал кулаки, словно собираясь драться. Маэ поднялся и что-то говорил, но ни одного слова нельзя было расслышать. Шум все усиливался, люди топали ногами, с пола летучим облаком подымалась пыль, оставшаяся от недавних балов, и в воздухе потянуло запахом пота усердных танцоров, до упаду плясавших в этом зале.

Вдруг отворилась дверца, и вдова Дезир, загородившая ее своим животом и грудью, крикнула громовым голосом:

— Замолчите, горластые!.. Полиция!

Оказывается, с некоторым опозданием явился окружной комиссар полиции, намереваясь составить протокол и разогнать собрание. Его сопровождали четыре жандарма. Вдова Дезир минут пять задерживала их у двери, твердила, что она в своем доме хозяйка и имеет право собрать у себя друзей. Но ее оттолкнули, и она побежала предупредить «своих питомцев».

— Бегите через эту дверь,— наказывала она.— Один поганец жандарм стережет во дворе. Но это не беда, из дровяника есть выход в переулок. Скорей! Скорей!

Комиссар барабанил кулаками в дверь и грозил выломать ее, если ему не отворят. Должно быть, какой-то доносчик осведомил полицию, ибо комиссар кричал, что это собрание нелегальное: многие здесь не имеют пригласительных билетов.

Смятение в зале усилилось. Нельзя было разойтись, не проголосовав вопрос о вступлении в Интернационал и о продолжении

забастовки. Все говорили разом. Наконец председателю пришла мысль принять решение без тайного голосования, просто поднятием рук.

Руки сразу поднялись. Делегаты торопливо заявили, что от имени отсутствующих здесь товарищей они вступают в Международное товарищество рабочих. Таким образом десять тысяч углекопов Монсуйских копей стали членами Интернационала.

А затем началось бегство. Прикрывая отступление, вдова Дезир налегла всею своей тяжестью на дверь, которую жандармы сотрясали ударами ружейных прикладов. Перепрыгивая через скамьи, углекопы вереницей удирали через кухню и через дровяной сарай. Раснер исчез одним из первых, за ним последовал Левак,— позабыв о своей перебранке с кабатчиком, он мечтал подкрепиться у него кружкой пива. Этьен, захватив шкатулку, ждал Плюшара и Маэ, которые считали делом чести выйти последними. Когда они выходили, запор вылетел, и комиссар очутился перед вдовой Дезир, но ее грудь и живот тоже представляли собою внушительную преграду.

— Что это вам вздумалось все ломать в моем заведении? — заорала она.— Вы же видите — тут нет никого.

Комиссар полиции, человек медлительный и не любивший драматических происшествий, только пригрозил вдове посадить ее в тюрьму и отправился составлять протокол, шествуя во главе четырех жандармов на глазах язвительно хихикавших Захария и Муке, которые пришли в восторг от ловкого отступления товарищей и осыпали насмешками незадачливых блюстителей порядка.

Тем временем Этьен, хоть ему и мешала шкатулка, во весь дух мчался по переулку, слыша, что и другие бегут вслед за ним. Вдруг ему вспомнилось, что Пьерона как будто не было на собрании, он спросил об этом, и Маэ на бегу ответил, что Пьерон болен,— болезнью весьма понятной: страхом скомпрометировать себя. Всем хотелось увести с собой Плюшара, но он, не останавливаясь, заявил, что ему надо немедленно ехать в Жуазель, где Легуже давно ждет его указаний. Тогда углекопы, не замедляя бега, крикнули ему: «Счастливого пути»,— и понеслись через Монсу так, что только пятки засверкали. Тяжело дыша, перебрасываясь отрывистыми словами, Этьен и Маэ смеялись веселым смехом: оба были уверены теперь в победе: когда Интернационал пришлет им помощь, Компания сама будет умолять их возобновить работу. И в этом порыве надежды, в этом топоте грубых башмаков, звонко стучавших по мощеной дороге, было еще и что-то иное, что-то мрачное и дикое, предвещавшее пламя насилий, которое ветер вскоре должен был разнести во все концы края.

V

Прошло еще две недели. Настал январь; пелена холодных туманов затягивала огромную равнину. Нищета усилилась, в рабочих поселках с каждым часом угасала жизнь, люди голодали все больше. Четырех тысяч франков, присланных из Лондона, не хватило и на три дня. Не на что было покупать хлеб. Больше ничего не поступало. Великая надежда рухнула, убивая мужество. На кого же теперь рассчитывать, если и братья покинули их? Углекопы чувствовали себя брошенными на произвол судьбы в самой середине суровой зимы, оторванными от всего мира.

Настал день, когда в поселке Двести Сорок иссякли все ресурсы. Это было во вторник. Этьен и делегаты разрывались на части, пытаясь найти выход: рассылали новые подписные листы в соседние города, и даже в Париж; проводили сборы пожертвований, устраивали доклады. Все эти усилия ничего существенного не давали; общественное мнение сначала расчувствовалось, а теперь проявляло равнодушие,— ведь забастовка затянулась и проходила очень спокойно, без всяких драматических, волнующих эпизодов. Скудных пожертвований едва хватало на то, чтобы поддерживать самые нуждающиеся семьи. Остальные жили тем, что закладывали свою одежду, распродавали домашние вещи. Все уплывало к старьевщикам — и шерсть из тюфяков, и кухонная утварь, даже столы и стулья!

Ненадолго возникла было надежда на спасение: мелкие лавочники, которых разорял Мегра, предложили отпускать товар в кредит, думая отбить покупателей у своего могущественного конкурента; и в течение недели бакалейщик Вердонк и два булочника Карубль и Смельтен действительно давали продукты в долг; но когда назначенная ими сумма первого аванса была исчерпана, все трое остановились. Судебные приставы радовались: эта попытка привела лишь к увеличению долгов, которыми предстояло в дальнейшем обременять углекопов. И вот — кредита нигде не дают; нет ни одной лишней кастрюли — нечего продать, остается только одно: забиться в угол и подохнуть, как старым, облезлым собакам.

Этьен готов был продать самого себя. Он отказался от жалованья секретаря, он сходил в Маршьен и заложил в ссудной кассе свой суконный сюртук и брюки, радуясь, что на эти деньги семейство Маэ прокормится некоторое время. Остались у него только сапоги, но с ними невозможно было расстаться. «Надо ноги поберечь»,— говорил он. Он с отчаянием думал, что забастовка началась слишком рано, когда касса еще не успела собрать достаточно средств. В этом он видел единственную причину катастрофического положения,— ведь забастовщики, несомненно, восторжествовали бы над хозяевами, будь у них собрано достаточно денег: тогда

они могли бы продержаться. Ему вспомнились слова Суварина, который обвинял Компанию в нарочитом стремлении вызвать забастовку для того, чтобы растаяли первые фонды рабочей кассы.

Мучительно было смотреть, как страдают в поселке несчастные люди без хлеба и без топлива; Этьен предпочитал уходить из дому и долго бродил, ища забвения в усталости. Однажды вечером, возвращаясь в поселок, он проходил мимо Рекильярской шахты и заметил на обочине дороги старуху, упавшую в обморок. Несомненно, она была близка к голодной смерти; приподняв ее, он окликнул девушку, которую увидел во дворе шахты.

— А-а, это ты! — сказал он, узнав Мукетту.— Помоги-ка мне. Ей надо чего-нибудь выпить.

Мукетта разжалобилась до слез и сбегала домой — в шаткую лачугу, в которой ее отец ютился среди развалин. Она тотчас вернулась, принесла водки и хлеба. Водка подбодрила старуху, и она молча, с жадностью накинулась на хлеб. Это была мать углекопа, она жила в рабочем поселке близ Куньи; упала она, возвращаясь из Жуазеля, куда понапрасну сходила, пытаясь занять десять су у какой-то родственницы. Поев, она встала и неровной поступью пошла дальше.

Этьен остался на пустыре Рекильярской шахты, где над рухнувшими сараями разрослись кусты терновника.

— Ну как? Может, зайдешь выпить стаканчик? — весело спросила Мукетта.

Этьен замялся.

— Эх ты! Значит, все еще меня боишься?

Этьену понравился ее добродушный смех, и он пошел за нею. Его растрогало, что Мукетта от всего сердца поделилась со старухой хлебом. Приняла она Этьена не в отцовской комнате, а повела к себе, и тотчас налила две рюмочки можжевеловой водки. В комнате было очень чисто, Этьен похвалил за это хозяйку. Впрочем, это семейство, по-видимому, не терпело нужды: отец по-прежнему работал конюхом в Ворейской шахте, а Мукетта, не желая сидеть сложа руки, стирала на людей белье и зарабатывала по тридцать су в день. Да, да, она хоть и любит с мужчинами погулять, а лентяйкой ее не назовешь.

— Послушай,— вдруг пробормотала она, обняв его за талию.— Ну, почему ты не хочешь полюбить меня?

Этьен невольно засмеялся вслед за ней,— так умильно задала она свой вопрос.

— Да я тебя очень люблю,— ответил он.

— Нет, нет. Не так любишь, как я хочу... А я прямо умираю по тебе. Ну, послушай, миленький мой! Порадуй меня!

В самом деле, она уже полгода домогалась его внимания. Сейчас она прижималась к нему, обхватив его обеими руками, и, вся

дрожа, смотрела на него таким молящим влюбленным взглядом, что ему стало жаль ее. В полном круглом лице Мукетты не было ничего красивого, оно пожелтело в угольной шахте, но глаза горели огнем, от нее исходило какое-то очарование, трепет страсти; она разрумянилась и казалась совсем юной. Она приносила ему в дар свою любовь, такую смиренную, такую пламенную, что у него не хватило духу ее отвергнуть.

— Ах, ты согласен! — восторженно лепетала она.— Ты согласен!

И она отдалась ему неловко и самозабвенно, словно это случилось с нею в первый раз, словно она была девственницей, еще не знавшей мужчины. Когда он прощался с ней, не он, а она была полна признательности, она говорила ему «спасибо», целовала ему руки.

Этьену было немного стыдно за такое любовное приключение. Никто не стал бы гордиться связью с Мукеттой. Уходя, он дал себе клятву, что это больше не повторится. И все же он сохранил о ней дружеское воспоминание, как о славной женщине. Впрочем, вернувшись в поселок, он услышал столь важные новости, что позабыл о всяких похождениях. Прошел слух, что Компания, быть может, и согласится на уступки, если к директору еще раз явится делегация для переговоров. Тут была доля правды: в завязавшейся борьбе хозяева по-своему страдали не меньше, чем углекопы. Для обеих сторон упорство становилось пагубным: рабочие голодали, капитал таял. Каждый день забастовки приносил Компании сотни тысяч франков убытка. Любая машина, остановившись, становится мертвой. Оборудование и материал портились, вложенные в дело капиталы утекали, как вода, которую впитывает песок пустыни. Небольшие запасы угля на складах истощались, и клиенты собирались закупить уголь в Бельгии,— в этом была угроза для будущего. Но больше всего пугали Компанию,— хоть она тщательно это скрывала,— все увеличивавшиеся повреждения в выработках и в забоях. Штейгеры не могли своими силами исправлять эти повреждения; везде ломалась крепь, ежечасно происходили обвалы. Вскоре разрушения приняли такие размеры, что для их исправления требовалось потратить несколько месяцев, и лишь после этого удалось бы возобновить добычу. Рассказывали о настоящих катастрофах, случившихся за время забастовки: в Кревкере обрушилась на протяжении трехсот метров кровля в штреке, закупорив доступ к разработкам Сен-Пом; в Мадлен пласт Могрету раздавливался и выработка заполнялась водой. Дирекция желала избежать огласки, но две катастрофы, случившиеся вдруг, одна за другой, заставили ее признать опасность положения. Однажды утром близ Пиолены была обнаружена трещина над Северным крылом шахты Миру, где накануне произошел обвал; а на

следующий день вдруг осела порода в Ворейской шахте, и так сильно, что на краю предместья земля содрогнулась и два дома едва не рухнули.

Этьен и делегаты колебались — стоит ли пойти на новые переговоры, ничего не зная о намерениях правления. Спросили Дансара, он ответил уклончиво: разумеется, начальство весьма огорчено плачевным недоразумением и, наверное, предпримет шаги, чтобы достигнуть соглашения, но какие именно шаги — не сказал. В конце концов решили, что надо пойти к г-ну Энбо, подав тем самым пример рассудительности: пусть впоследствии их не обвиняют в том, что они не дали Компании возможности понять свою вину. Однако они поклялись не уступать и во что бы то ни стало поддерживать свои справедливые требования.

Переговоры состоялись во вторник утром, в тот день, когда в поселке угроза голода схватила людей за горло. Встреча оказалась далеко не столь дружелюбной, как первая. Опять выступил Маэ, сказал, что товарищи поручили ему спросить, не хочет ли дирекция сообщить им какие-нибудь новые известия. Г-н Энбо сначала изобразил удивление; он якобы не получил никаких приказов, положение не может измениться, пока углекопы не перестанут упрямиться и не прекратят свой гнусный бунт. Его жесткая, властная речь произвела крайне неприятное впечатление; делегаты явились с мирными намерениями, но от этого черствого приема их упорство возросло. Затем директор, спохватившись, заговорил о желательности взаимных уступок; если рабочие согласятся на отдельную оплату крепления, Компания повысит расценки на уголь — вернет те два сантима, которые она, по мнению рабочих, кладет себе в карман. Впрочем, он добавил, что делает такое предложение от своего имени, что ничего еще не решено, но он все же льстит себя надеждой добиться в Париже этой уступки. Однако делегаты отклонили предложение и подтвердили свои требования: прежняя система оплаты и повышение расценки на пять сантимов с вагонетки. Тогда г-н Энбо сознался, что может сейчас же повести переговоры, и стал настойчиво убеждать, чтобы они ради своих жен и малых детей, умирающих с голоду, приняли предложенные условия. Углекопы, насупив брови, смотрели в пол, отвечали: «Нет! Нет!» — и гневно качали головой. Расстались врагами. Г-н Энбо на прощание хлопнул дверью. Этьен, Маэ и другие делегаты, полные немой ярости побежденных, доведенных до крайности, двинулись в обратный путь, топая по мостовой грубыми башмаками с подковками.

Около двух часов дня в поселке Двести Сорок женщины решили поговорить с Мегра. Только на него и была надежда: быть может, удастся смягчить лавочника, вымолить у него кредит еще на одну неделю. Эта мысль пришла в голову жене Маэ,— она сли-

шком часто рассчитывала на доброту человеческую. Она уговорила жену Левака и Горелую пойти вместе с нею; жена Пьерона отказалась, заявив, что не может отойти от постели мужа — все не проходит его хворь. К троим просительницам присоединились другие женщины, всего собралось человек двадцать.

Когда по главной улице Монсу, перегородив ее во всю ширину, зашагал отряд нищенски одетых, угрюмых женщин, обыватели, глядя на них из окон, встревоженно качали головами. Во всех домах заперли двери; одна дама даже убрала подальше столовое серебро. Впервые за время забастовки видели такое шествие, и, конечно, оно не предвещало ничего хорошего; обычно все столкновения принимали опасный оборот, если на улицу выходили женщины. В лавке Мегра произошла бурная сцена. Сперва он, ехидно посмеиваясь, пригласил их войти,— якобы вообразив, что они пришли расплатиться с ним. Ах, как это мило с их стороны,— сговорились друг с дружкой и пришли компанией, принесли ему долг! А затем, когда слово взяла жена Маэ, он выразил негодование. Как им не совестно! Смеются они над ним, что ли? Еще продлить им кредит? Они, значит, задумали довести его до нищеты! Ну нет, он не даст больше ни одной картофелины, ни одной крошки хлеба! Пускай обращаются в бакалейную Вердонка, в булочные Карубля и Смельтена, раз поселок теперь покупает в их лавках... Женщины слушали с испуганным и смиренным видом, приносили извинения, заглядывали ему в глаза, ждали, не разжалобится ли он. А он принялся отпускать свои обычные грубые шутки, пообещал отдать Горелой всю лавку, если она возьмет его в ухажеры. Голод довел женщин до такого малодушия, что в ответ они смеялись, а жена Левака даже говорила, что она не прочь его полюбить. Но он тут же переменил тон и стал всех гнать. Они упрашивали, молили, тогда он одну вытолкал за дверь. Сгрудившись перед его лавкой, они ругали его, обзывали продажной шкурой, а жена Маэ, охваченная негодованием и жаждой мести, призывала на него смерть, кричала, что такой человек только обременяет собою землю и зря ест хлеб.

Просительницы возвратились в поселок угрюмые, мрачные. А дома мужья, увидев, что жены вернулись с пустыми руками, молча посмотрели на них и понурили головы. Значит, в этот день так и не придется поесть, проглотить хотя бы ложку супа; а впереди в холодном мраке их ждет череда голодных дней, и нет ни единого проблеска надежды. Но ведь они заранее знали, какие муки им предстоят, никто ни слова не промолвил, что надо сдаться. От чрезмерных страданий росло их упорство, они терпели молча, как затравленные звери, готовые скорее умереть в своей норе, чем выйти наружу. Кто посмел бы первый заговорить о покорности? Ведь все поклялись держаться вместе, как в шахте, когда

бывало нужно спасти товарища, засыпанного обвалом. Это был их долг, они прошли хорошую школу и научились стойкости. Как-нибудь надо вытерпеть еще неделю, стиснуть зубы, не жаловаться — недаром тянули они лямку с десяти лет, и в огне горели, и в воде тонули; в их самоотверженности была также и гордость людей, которых на каждом шагу подстерегают опасности, людей, которые не раз смотрели смерти в глаза.

Вечер в доме Маэ прошел ужасно. Все молчали, собравшись у печки, где тлели последние горсточки угля. За время забастовки мало-помалу вытащили из тюфяков всю шерсть и снесли ее к старьевщику, а третьего дня решились наконец продать часы с кукушкой,— получили за них три франка, и с тех пор комната, в которой не слышно было привычного тиканья, казалась голой и мертвой. Осталось одно-единственное украшение — стоявшая на буфете розовая коробка, давнишний подарок Маэ, которым его жена дорожила, как драгоценностью. Два хороших стула уже были проданы. Бессмертный и дети сидели на старой замшелой скамье, принесенной из садика. В сгущавшихся сумерках всем как будто было еще холоднее.

— Как же быть теперь? — повторяла мать, сидя на корточках у печки.

Этьен стоял, глядя на портреты императора и императрицы, наклеенные на стену. Он давно бы их содрал, если бы хозяева не защищали свою картинную галерею. Он процедил сквозь зубы:

— Что, лодыри проклятые, за ваши рожи не дадут и двух су! Так и будете тут висеть да любоваться, как мы дохнем с голоду?

— Может, коробку продать? — нерешительно спросила жена.

Маэ, угрюмо сидевший на краешке стола, резко выпрямился:

— Нет, не хочу. Не продавай!

Жена с трудом поднялась и обошла всю комнату.

— Господи боже, до какой нищеты дошли! В буфете ни единой корочки, и продать нечего, не придумаешь, как достать хлеба! А тут еще и огонь того гляди угаснет.

И она принялась бранить Альзиру: вот послала ее утром на террикон пособирать угля, а девчонка вернулась с пустыми руками. Компания теперь запрещает беднякам собирать угольную мелочь. Да что Компанию слушать? Кому люди урон наносят, если подбирают крохотные осколочки угля? Девочка плача рассказывала, как сторож увидел ее и пригрозил затрещиной, если не послушается; и все же она пообещала матери, что завтра опять пойдет на террикон — пусть даже сторож ее отколотит.

— А этот поганец Жанлен куда девался? — кричала мать.— Где он, спрашивается?.. Я его послала салату нарвать: хоть бы

травы пожевали, как овцы! А вот увидите, он не придет. Вчера ведь не ночевал дома. Не знаю, чем Жанлен промышляет, а похоже, что всегда сыт.

— Может, милостыню просит на улице? — заметил Этьен.

Мать вскипела, затрясла кулаками:

— Ох, если я узнаю!.. Не позволю своим детям милостыню просить!.. Лучше я их своими руками убью, а потом... потом и себя порешу!

Маэ опять вяло опустился на край стола. Ленора и Анри, удивляясь, что их не кормят, принялись хныкать; старик дед с философским спокойствием перекатывал язык во рту, стараясь заглушить голод. Все умолкли, оцепенев перед лицом страшной беды; дед кашлял и сплевывал черным; его мучил обострившийся ревматизм, который уже привел к водянке; отец тяжело дышал от астмы, колени у него распухли, мать и дети страдали от наследственной золотухи и наследственного малокровия. На это они не жаловались: что поделаешь, это неизбежно, такова судьба углекопов и их потомства. Страшно было то, что в поселке люди таяли от истощения и мерли как мухи. Надо же все-таки достать что-нибудь на ужин. Что делать, к кому пойти? Боже мой!

Все больше сгущались сумерки, все темнее и угрюмее становилось в комнате; Этьен задумался и, не выдержав, решился наконец сделать то, что ему так претило.

— Подождите меня,— сказал он.— Я схожу поищу.

И он вышел. Ему пришло в голову обратиться к Мукетте. Возможно, у нее есть хлеб, и с ним-то она охотно поделится. Неприятно было идти в Рекильяр; Мукетта опять будет целовать ему руки, словно покорная раба. Но ведь нельзя же бросить друзей в беде; если понадобится, он готов был ласково обойтись с ней.

— И я пойду поищу,— сказала мать.— Не помирать же...

Она вышла вслед за Этьеном, громко стукнув дверью. Остальные сидели безмолвно, неподвижно, при тусклом свете огарка, который зажгла Альзира.

На улице мать на секунду остановилась в нерешительности, потом направилась к Левакам.

— Слушай-ка, я тебе недавно дала каравай хлеба взаймы. Можешь ты мне отдать сейчас?

И тут же она остановилась: картина, представшая перед ее глазами, была безотрадна,— здесь еще больше чувствовалась нищета, чем в ее доме.

Жена Левака сидела, не сводя взгляда с потухшего очага, а сам Левак, которого угостил вином приятель с гвоздильного завода, сразу опьянел, выпив на пустой желудок, и теперь спал за столом, уронив голову на руки. Бутлу сидел, прислонившись к стене, и машинально потирал себе плечи; на его благодушном глупова-

том лице застыло удивленное выражение: вот проели все его сбережения, теперь ему приходится голодать,— как же это так?

— Хлеб? Ох, милая ты моя! — заговорила жена Левака.— А я-то хотела было попросить у тебя еще один каравай.

Потом, услышав болезненный стон пьяного мужа, ткнула его лицом в стол.

— Молчи, свинья! Что, нутро жжет? Так тебе и надо! Не пил бы на даровщинку, а лучше бы попросил у приятеля двадцать су в долг!

И она продолжала осыпать его упреками и бранью, облегчая себе сердце. Кругом была невероятная грязь, мерзость запустения, от давно не мытого пола исходил отвратительный запах. А, пусть все пропадает пропадом! — кричала жена Левака, ей теперь на все наплевать. С утра исчез ее сын Бебер, и очень хорошо, что мальчишка болтается где-то, она рада будет от него избавиться, пускай и не возвращается домой. И тут же заявила, что ляжет сейчас спать. По крайней мере согреется. Она толкнула Бутлу:

— Ну-ка, вставай, пойдем наверх... Огонь погас, свечку зажигать не стоит. Чего смотреть на пустые тарелки... Ну, пойдешь ты наконец, Луи! Я же тебе говорю, спать сейчас ляжем. Прижмемся друг к дружке, тепло станет... А этот пьяница окаянный пускай тут один околеет от холода.

Выйдя от Леваков, жена Маэ, не раздумывая, повернула к другим соседям и через огород прошла к Пьеронам. Оттуда доносился смех. Она постучалась. В доме все смолкло. Ей долго не отворяли.

— Ах, это ты! — воскликнула хозяйка с притворным удивлением.— А я думала — доктор.

И, не давая посетительнице вымолвить ни слова, затараторила, указывая на Пьерона, который сидел у ярко горевшего огня:

— Ах, не легче ему, все никак не поправится! С виду как будто и не болен, а в животе все рези, рези! Ему тепло нужно. Вот и сжигаем последний уголь.

Пьерон и в самом деле казался вполне здоровым,— румянец во всю щеку, плотная фигура. Он кряхтел, тщетно пытаясь изобразить больного. Как только Маэ вошла, она сразу услышала запах кроличьего рагу,— блюдо, несомненно, спрятали. На столе оставались крошки хлеба, а на самой его середине красовалась забытая бутылка вина.

— Мать пошла в Монсу,— может, хлеба кто даст. Вот и ждем ее, томимся голодные.

Вдруг голос ее оборвался от смущения: она заметила, что соседка смотрит на бутылку. Но мгновенно оправившись, принялась сочинять: да, да, в бутылке вино, его принесли из Пиолены хозяйка с дочерью: доктор им сказал, что Пьерону нужно пить красное

вино. И она рассыпалась в похвалах благодетельницам: такие славные люди, барышня совсем не гордая, заходит в дома к рабочим, сама раздает кому что.

— Знаю,— подтвердила Маэ.— Я с ними знакома.

Сердце у нее защемило при мысли, что всякие блага постоянно идут тому, кто в них не очень нуждается. А другим сроду не бывает удачи. Хозяева Пиолены подлили, как говорится, воды в речку. И когда это они были в поселке? Она их и не заметила. Может, и ей бы что-нибудь перепало.

— Я к тебе пришла попросить хлеба,— проговорила она наконец.— Думала — у вас в доме посытнее, чем у нас... Нет ли у тебя хоть вермишели... Я бы отдала потом.

Хозяйка разахалась:

— Милая ты моя, нет ничего! Хоть шаром покати!.. И мать все не возвращается. Верно, не удалось хлеба достать. Придется лечь без ужина.

В эту минуту из подвала донесся плач, и хозяйка, разгневавшись, принялась колотить кулаком в дверцу. Там заперта ее падчерица Лидия, сообщила она, в наказание за то, что дрянная девчонка целый день где-то шлялась и домой пришла только в пять часов вечера. Негодница от рук отбилась, то и дело куда-то убегает.

А Маэ все стояла у порога, не решаясь уйти. Так приятно было погреться в теплой комнате. Но здесь пахло жареным мясом, а от этого у нее еще больше засосало под ложечкой. Наверняка Пьероны нарочно услали старуху, а Лидию заперли, и хотят на свободе полакомиться крольчатиной! Эх, что ни говори, а в доме у распутных баб нужды не знают!

— Прощай,— сказала она, помолчав.

На дворе было уже совсем темно; луна, прячась за облаками, озаряла землю тусклым светом. Маэ не пошла напрямик, через огороды, а направилась в обход, ее терзало отчаяние, страшно было вернуться с пустыми руками. Все дома словно вымерли, чувствовалось, что за каждой дверью воцарился голод, что в комнатах гулкая пустота. К кому же постучаться? Везде нищета и мученья. Вот уже третью неделю нечего есть. Даже испарился запах поджаренного лука, въедливый, крепкий запах, который прежде слышен был еще в поле, далеко от поселка; теперь везде тянуло только сыростью и плесенью, как из старого погреба,— запахом подземелья, где никто не живет. Затихли смутно доносившиеся звуки — глухие рыдания, бранные возгласы, настала глубокая, гнетущая тишина, и Маэ ясно представляла себе, как подкрадывается к голодным тяжелый сон и как их мучают кошмары.

Проходя мимо церкви, она заметила быстро промелькнувшую фигуру. В ее душе забрезжила надежда. Маэ узнала священника

приходской церкви в Монсу, аббата Жуара, который по воскресеньям служил мессу в маленькой церкви поселка; вероятно, он приходил в ризницу по какому-нибудь делу и теперь возвращался домой... Сутулый, пухлый, ласковый, желавший со всеми ладить, он шел торопливо, почти бежал, стараясь проскользнуть незаметно под покровом темноты, так как не желал компрометировать себя, якшаясь с забастовщиками. Говорили, впрочем, что он получил повышение и уезжает. Некоторые видели, как он прогуливался в обществе своего преемника, тощего аббата с горящим взглядом.

— Господин кюре, господин кюре! — пробормотала Маэ.

Но он не остановился.

— Добрый вечер, добрый вечер, голубушка.

И вот Маэ очутилась перед своим домом. Ноги больше не держали ее. Она вошла.

Она застала все ту же картину. Маэ в глубокой тоске по-пре́жнему сидел на краю стола. Старик дед и дети, чтобы не так было холодно, жались друг к другу на скамье. Никто не произнес ни слова, свечка почти догорела; каждый знал, что еще немного — и наступит темнота. Когда стукнула дверь, дети оглянулись, но, видя, что мать ничего не принесла, снова уставились в пол, не смея заплакать — а то еще накажут. Мать пришла и вновь присела на корточки перед угасающим огнем. Никто ни о чем не спросил, не нарушил молчания. Все понимали, что спрашивать бесполезно: зачем еще утомлять себя разговорами? Все пали духом, застыли в угрюмом, вялом ожидании помощи, которую, может быть, принесет им Этьен, раздобыв где-нибудь пищи. Шли минуты, одна за другой, никто не считал их.

Наконец явился Этьен, принес в узелке десятка полтора вареных холодных картофелин.

— Вот все, что я добыл,— сказал он.

У Мукетты хлеба тоже не было: она отдала свой обед, насильно заставила его взять этот узелок и от всего сердца расцеловала Этьена.

— Спасибо, я не хочу,— сказал он, когда жена Маэ положила перед ним его долю.— Я там поел.

Он солгал и с угрюмым видом смотрел, как дети набросились на еду. Отец и мать взяли понемногу, чтобы детям досталось больше, но дед ел с жадностью. Пришлось отобрать у него одну картофелину для Альзиры.

Потом Этьен сказал, что узнал кое-какие новости. Компания, раздраженная упорством забастовщиков, собирается уволить самых скомпрометированных. Очевидно, она решила перейти в наступление. И еще одна важная новость: говорят, дирекция хвастается, что она уговорила очень многих углекопов с завтрашнего дня

прекратить забастовку. В шахтах Виктуар и Фетри-Кантель будто бы все выйдут на работу; даже в Мадлен и в Миру треть состава согласилась выйти.

— Ах, сволочи! — крикнул отец.— Если нашлись предатели, надо с ними расправиться.

И, вскочив на ноги, он, весь дрожа от гнева и муки, воскликнул:

— Завтра вечером соберемся в лесу!.. Раз нам мешают совещаться в «Весельчаке» — пойдем в лес. Там мы как у себя дома. В лес!

Старик Бессмертный очнулся от дремоты, в которую погрузился после еды. Ведь он услышал давний клич сбора — именно в лесу в прежние времена углекопы сговаривались меж собой, организуя сопротивление королевским войскам.

— Да, да. В Вандамский лес! И я пойду, ежели там соберутся.

Жена Маэ широко взмахнула рукой:

— Все пойдем! Пора кончать с несправедливостью и предательством.

Этьен решил, что сходку, на которую соберутся все рабочие поселки, надо созвать на следующий день вечером.

Пока говорили об этом, в доме, так же как у Леваков, погас огонь в очаге и догорела свеча — свет вдруг потух. Угля больше не было, не было и керосина для лампы. Пришлось ощупью подниматься наверх и ложиться в потемках. От холода зуб на зуб не попадал. Дети плакали...

VI

Жанлен поправился и стал ходить; но кости у него срослись плохо, он хромал на обе ноги; однако стоило посмотреть на него: ковыляя и переваливаясь, словно утка, он бегал так же быстро, как прежде, и проявлял все такую же ловкость зловредного и вороватого зверька.

В тот день, уже в сумерках, в компании с неразлучными своими приятелями, Бебером и Лидией, он устроил засаду у Рекильярской шахты за оградой пустыря, как раз напротив жалкой, кособокой лавчонки, стоявшей близ дороги. Полуслепая старуха лавочница расставила там четыре мешка чечевицы и черных от пыли бобов; на двери висела засиженная мухами вяленая треска, с которой Жанлен не сводил своих узких глаз. Он дважды посылал туда Бебера, приказывая ему стащить этот предмет своих вожделений, но всякий раз кто-нибудь появлялся на повороте дороги. Вот ведь мешают, черти! Не дают людям заняться своими делами.

На дороге показался какой-то человек верхом на лошади, и тройка воришек распласталась на земле за изгородью, узнав во всаднике г-на Энбо. С первых же дней забастовки его часто видели на дорогах и на улицах взбунтовавшихся рабочих поселков. Он со спокойной смелостью разъезжал один, желая лично удостовериться, каково положение. И ни разу мимо его уха не просвистел камень; г-н Энбо встречал лишь молчаливых, угрюмых людей, не спешивших поклониться ему, а чаще всего наталкивался на влюбленные парочки,— ничуть не думая о политике, они превесело проводили время в укромных уголках. Пустив лошадь рысью, он проезжал, не поворачивая головы, чтобы никого не смущать; но в этой атмосфере жадного и грубого вожделения в его сердце поднималась неутоленная жажда любви. Он прекрасно заметил, как бросились на землю трое озорников — девочка и двое мальчишек. Скажите пожалуйста, даже какие-то сопляки стремятся скрасить любовными утехами свою нищету. А он-то!.. Глаза у г-на Энбо предательски увлажнялись, но он держался в седле как влитой, с военной выправкой, и ехал чопорный, важный, в наглухо застегнутом сюртуке.

— Фу ты, окаянные! — выругался Жанлен.— Да когда же этому конец будет? Валяй, Бебер! Тащи ее за хвост!

Но тут опять появились двое прохожих, и мальчишка выругался про себя, узнав голос старшего брата. Захарий рассказывал шагавшему рядом с ним Муке, как он нашел сорок су,— жена зашила монеты за подкладку юбки. Оба приятеля весело посмеивались, хлопая друг друга по плечу. Муке пришла в голову мысль устроить завтра состязание — поиграть в чижа. Большую можно устроить партию! Начать в два часа дня от заведения Раснера и двинуться в сторону Монтуара, добежать почти до самого Маршьена. Захарий согласился. А то что в самом деле? Довольно неприятностей с этой забастовкой. Надо и позабавиться, раз никто ни черта не делает! И они повернули было к шоссе, как вдруг их окликнул Этьен, подходивший со стороны канала; все трое остановились и о чем-то стали разговаривать.

— Да что они, ночевать, верно, здесь собираются! — возмущенно зашептал Жанлен.— Ведь стемнело совсем, старуха убирает свои мешки.

На дороге показался какой-то углекоп, направлявшийся к Рекильяру. Этьен пошел вместе с ним, и когда они проходили мимо изгороди, Жанлен услышал, что они говорят о сходке в лесу: ее отложили до завтра, так как боялись, что не успеют за один день оповестить все рабочие поселки.

— Вон оно что! — шепнул Жанлен двум своим подручным.— Завтра большое дело заварится. Надо туда пробраться. Верно? Под вечер сбегаем.

Как только дорога оказалась свободной, он погнал Бебера на промысел:

— Не робей! Дергай за хвост. Только осторожнее,— как бы старуха палкой не съездила.

На их счастье, совсем стемнело. Бебер, подпрыгнув, ухватился за треску, бечевка лопнула, и мальчишка помчался, размахивая рыбой, болтавшейся за его спиной на бечевке, как бумажный змей. Вслед за ним бежали во весь опор двое других. Удивленная лавочница вышла из своего ларька, не понимая, что стряслось, ее старческие подслеповатые глаза не различали в сумраке убегавшую стаю.

Эти воришки в конце концов стали бичом всей округи. Мало-помалу они завладели ею как орда дикарей. Сперва они ограничивались площадкой Ворейской шахты, возились на куче угля, слезали оттуда перемазанные, черные как негры, играли в прятки между штабелями крепежного леса, теряясь в проходах, как в девственном лесу. Затем они взяли приступом террикон, скатывались с него по голому откосу, еще горячему от внутреннего пожара, или же забирались в кусты, покрывавшие старую часть отвала, и, юркнув в их чащу, как шаловливые мышата, часами сидели там тихонько, занявшись спокойными играми. С каждым днем они расширяли свои завоевания, забирались на склад кирпича, дрались там до крови, бегали по лугам и ели без хлеба всякие травы с сочными стеблями, копошились в тине у берегов канала, ловили рыбешек и поедали их сырыми; затем стали совершать дальние путешествия, за несколько километров,— в Вандамский лес, наедались там летом земляникой, а под осень — орехами и черникой. Вскоре они стали хозяйничать на всей огромной равнине.

Чаще всего они сновали по дорогам между Монсу и Маршьеном и, оглядывая все жадным взглядом, как голодные волчата, искали, что бы им стащить, все больше смелея в мародерских набегах. Атаманом по-прежнему оставался Жанлен, направлявший своих подначальных на поиски добычи: они опустошали луковые плантации, залезали в сады и огороды, воровали товары, выставленные у дверей лавок. Они действовали во всех окрестностях, а там обвиняли в хищениях забастовщиков, уверяли, что это орудует хорошо организованная шайка.

Однажды Жанлен даже заставил Лидию обворовать мачеху, и девчонка утащила у нее дюжины две палочек ячменного сахара из стеклянной банки, которая стояла на одной из полок в окне, служившем жене Пьерона витриной; мачеха избила ее, но девочка не выдала Жанлена — она трепетала перед ним. Обиднее всего было то, что при дележе он всегда брал себе львиную долю. Бебер тоже обязан был приносить ему все, что удавалось украсть, и по-

читал себя счастливым, если атаман не отнимал у него всю добычу целиком, наградив его вдобавок затрещинами.

С некоторого времени Жанлен стал злоупотреблять своей властью. Он колотил Лидию, как будто она была его женой, а Бебера, пользуясь его доверчивостью, втягивал во всякие неприятные приключения, обращая его в осла, на которого сыплются удары, и потешался над ним, хотя рослый крепыш Бебер был куда сильнее его и мог бы свалить его одним ударом кулака. Жанлен презирал их обоих, довел их до рабской покорности, рассказывал им всякие небылицы, уверял их, что у него есть возлюбленная — прекрасная принцесса, которой они недостойны показаться. И действительно, за последние дни случалось, что он вдруг исчезал на углу улицы, на повороте тропинки или еще где-нибудь, с грозным видом приказав им немедленно возвращаться в поселок. Предварительно он всегда отбирал у них наворованное.

Так было и в тот вечер.

— Дай сюда! — сказал он, вырвав треску из рук Бебера, когда все трое остановились на повороте дороги, близ Рекильяра.

Бебер запротестовал:

— А мне? Я тоже хочу рыбы. Ведь это я ее стащил.

— Еще что? Захочу дам, а не захочу — получишь фигу. Нынче ни за что не дам. Завтра так и быть... если останется.

И, толкнув Лидию, поставил их в ряд, как солдат на смотру. Затем обошел их и сзади отдал приказ:

— Стойте пять минут. Оборачиваться не смейте... А если обернетесь — крышка! — вас сожрут звери... Через пять минут марш домой, да чтоб Бебер дорогой не смел лезть к Лидии, а то я все узнаю и завтра вздую обоих.

И вдруг он исчез, растаял в сумраке,— совсем не слышно было шагов его босых ног. Два раба долго стояли, не шевелясь, не оглядываясь,— а то повернешься, и невидимый Жанлен даст оплеуху. Они безумно боялись его, и этот страх постепенно соединил их взаимным чувством глубокого сострадания. Бебер всегда мечтал о Лидии. Вот бы схватить ее в объятия и крепко прижать к себе, как это делают взрослые парни и девушки. Хотела этого и Лидия,— она чувствовала, что стала бы совсем иной, если б с ней обращались деликатно и ласково. Но ни Бебер, ни она не смели ослушаться Жанлена. И когда наконец оба двинулись к поселку, они не дерзнули поцеловаться, хотя было совсем темно; они чинно шли рядышком, преисполненные нежности и отчаяния, глубоко уверенные, что лишь стоит им коснуться друг друга, как сзади протянется рука и атаман надает им тумаков.

В этот самый час Этьен стоял у двора Рекильярской шахты. Накануне Мукетта упросила его прийти еще раз, и он пришел, так как, не желая себе в том признаться, питал теперь некоторую

симпатию к этой девушке, страстно обожавшей его. Впрочем, он шел с намерением порвать с ней: вот они встретятся, и он ей все объяснит, скажет, чтобы она больше не гонялась за ним, а то ему неловко перед товарищами. Не время сейчас веселиться и тешиться, когда люди умирают с голоду. Не застав Мукетты, он решил дождаться ее и стоял у пустыря, всматриваясь в темноту.

Под остовом развалившегося копра открывался спуск в шахту. Черную дыру осеняло что-то похожее на виселицу — прямой столб с перекладиной наверху; из расщелин каменной кладки, сохранившейся вокруг отверстия, тянулись к небу два дерева — рябина и платан, казалось, поднимавшиеся из глубины недр земных. Дикий заброшенный пустырь покрыт был травой и косматыми кустами — они скрывали пропасть, заваленную сверху старыми бревнами, заросшую терновником и боярышником, где весною малиновки свивали себе гнезда. Не желая тратить большие деньги на поддержание этой выработанной, мертвой шахты, Компания лет десять собиралась завалить ствол, но все тянула, выжидая, когда в Ворейской шахте установят вентилятор, так как вентиляционная камера обеих шахт, сообщавшихся между собой, находилась у подошвы Рекильярского шахтного колодца, и бывший запасный ход служил вытяжной трубой. Пока что только укрепили сруб шахтного ствола поперечными балками, перегородившими его пролет; верхние выработки забросили, поддерживали только самую нижнюю, в которой пылал адский огонь — огромная печь, набитая каменным углем, горевшим с такой мощной тягой, что из конца в конец соседней шахты дул ураганный ветер. Из осторожности, желая сохранить для Ворейской шахты возможность спуска и подъема по лестницам рекильярского запасного хода, отдали приказ содержать его в порядке, но, однако, никто этим не занимался, лестницы гнили от сырости, лестничные площадки обваливались. Вверху спуск в запасный ход закрывали большие кусты терновника; на первой лестнице не хватало нескольких ступенек, и, чтобы достать ногами до уцелевших ступеней, нужно было ухватиться за корни рябины и, повиснув в темноте, спрыгнуть наудачу вниз.

Этьен терпеливо ждал, стоя за кустом, и вдруг услышал долгий шорох в ветвях. Он подумал, что шуршит, уползая, испуганный уж. Но вот внезапно вспыхнул огонек спички, и Этьен остолбенел, увидев Жанлена: мальчишка зажег свечу и исчез, как будто провалился сквозь землю. Этьена взяло любопытство, он подошел к отверстию ствола; Жанлен скрылся,— только на второй площадке мерцал слабый свет. Замявшись было, Этьен последовал за ним: ухватился за корни, прыгнул вниз, и ему показалось, что он сейчас пролетит все пятьсот восемьдесят четыре метра глуби-

ны Рекильярской шахты,— и вдруг почувствовал под ногами площадку. Он стал потихоньку спускаться. Должно быть, Жанлен ничего не слышал — Этьен все время видел внизу, под собою, мерцающий огонек и огромную, мелькавшую на стенке ствола безобразную тень маленького калеки, ковылявшего на хромых ногах. Жанлен прыгал с ловкостью обезьяны, вытягивался всем телом вниз, когда не хватало ступенек, цеплялся за уцелевшие перекладины руками, ногами, даже подбородком. Лестницы длиною в семь метров следовали одна за другой, одни были еще крепкие, а некоторые шатались, трещали,— казалось, вот-вот обрушатся; одна за другой шли узкие площадки с позеленевшими, гнилыми и такими трухлявыми настилами, что нога утопала в них, как во мху; а чем ниже спускались, тем удушливее становился накаленный воздух, тянувший из вентиляционной камеры; к счастью, во время забастовки печь топилась слабо, а когда шли работы, она пожирала по пяти тонн угля в день; тогда невозможно было бы спуститься сюда, не опалив себе волосы.

— Ах ты лягушонок поганый! — задыхаясь, бранился Этьен.— Да куда это он лезет?..

Два раза он чуть не сорвался — ноги скользили на мокрых ступеньках. Если бы хоть свечка была, а то он поминутно ушибался, спускаясь в темноте вслед за слабым огоньком, все убегавшим вдаль. Наверняка уже одолели двадцать лестниц, а спуск все еще не кончился. Этьен стал считать: двадцать одна, двадцать две, двадцать три,— но пришлось спускаться еще ниже, еще ниже. Голову ему так и жгло, как будто он попал в раскаленную печь. Наконец добрались до рудничного двора, и Этьен увидел, что огонек мелькает в квершлаге. Одолели тридцать лестниц,— значит, спустились на двести десять метров или около того.

«Долго он еще будет меня мучить? — думал Этьен.— Наверно, в конюшне устроил себе нору».

Но штрек, который вел влево, к конюшне, был загорожен обвалом. Путешествие продолжалось, все более тяжелое и опасное. Вокруг летали испуганные летучие мыши, прицеплялись к каменному своду. Этьену пришлось ускорить шаг, чтобы не потерять из виду огонек; он бросился в тот же ход, но там, где гибкий мальчишка проскальзывал, как змея, Этьен, пролезая, больно ушибался. Этот квершлаг, как и все заброшенные выработки, сузился и с каждым днем становился все уже — он сжимался под непрестанным напором оседавшей породы; в некоторых местах он стал узким, как кишка, и, несомненно, его стенкам вскоре предстояло сомкнуться. При этом постепенном сжатии крепление ломалось, раскалывалось; острые, как кинжалы, щепки грозили перепилить Этьену спину или проткнуть его насквозь. Этьен пробирался очень осторожно, то полз на коленках, то на животе, ощупывая темный

проход впереди. Вдруг по всему его телу, от затылка до ног, промчалась стая крыс, словно убегавших от кого-то.

— Ах, разрази тебя гром! Скоро ли конец?..— задыхаясь, ворчал Этьен, чувствуя, что у него болят все кости.

Мученье кончилось. Пробрались вперед еще на километр; ход расширился и привел в превосходно сохранившуюся выработку — в откаточный штрек, высеченный прямо в твердой породе и похожий на естественную пещеру. Этьену пришлось остановиться: он увидел вдалеке, что Жанлен преспокойно укрепил свечу двумя камнями и располагается с удобствами, явно чувствуя облегчение, словно человек, вернувшийся к себе домой. Этьену сразу бросилось в глаза, как много мальчишка потрудился, чтобы обратить этот глухой подземный тупик в удобное жилище. В углу на земле лежала куча сена, служившая мягкой постелью, на столе, сделанном из старых досок, нашло себе место всякое добро: хлеб, яблоки, початые бутылки можжевеловой водки. Настоящая разбойничья пещера, в которую он неделями таскал свою воровскую добычу, даже и бесполезные вещи,— например, мыло и ваксу для сапог, украденные просто ради удовольствия красть; юный грабитель эгоистически, в полном одиночестве, наслаждался здесь своими сокровищами.

— Эй ты, малый! Смеешься, что ли, над людьми,— крикнул Этьен, передохнув немного.— Лазаешь сюда и пируешь, а мы там, наверху, с голоду подыхаем.

Жанлен оторопел, затрясся от страха, но, узнав Этьена, быстро успокоился.

— Хочешь со мной пообедать, а? — спросил он.— Кусочек вяленой трески?.. Погляди-ка!

Жанлен так и не выпустил из рук добычи и теперь принялся аккуратно счищать ножом с трески мушиные следы; щегольской нож с костяным черенком похож был на маленький кинжал,— обычно рукоятки таких ножей бывают украшены каким-нибудь девизом; на этом написано было одно слово: «Любовь».

— Красивый нож! — заметил Этьен.

— Лидия подарила,— ответил Жанлен, позабыв добавить, что Лидия, по его приказанию, украла этот нож в Монсу у разносчика, расположившегося со своим лотком у пивной «Сорвиголова».

И, очищая треску, добавил с гордостью:

— А хорошо у меня тут, правда? Куда теплее, чем наверху, и пахнет лучше.

Этьен сел на корточки около Жанлена. Ему было любопытно побеседовать с ним. Теперь он не чувствовал гнева против Жанлена, его даже интересовал мерзавец мальчишка, такой смелый и изобретательный в своих гнусных проделках. И в самом деле, в этой глухой норе было хорошо: не очень жарко — температура во

всякое время года была ровная, тепло, как в бане, хотя на дворе стояла суровая декабрьская стужа, от которой у бедняков руки покрывались кровоточащими трещинами. С течением времени старые выработки очистились от вредных газов, весь гремучий газ вышел, и теперь тут чувствовался только запах гнилого дерева, запах брожения, эфира и еще какой-то пряный запах, похожий на аромат левкоя. И крепление тоже приобрело своеобразный вид: древесина стала похожа на пожелтевший мрамор, украсилась бахромой, фестонами из пушистой белой плесени, протянувшей по столбам свои шелковистые драпировки с позументами и бисером. На дощатой обшивке топорщились грибы. Вокруг летали белые бабочки, мухи, ютились пауки — обесцвеченная фауна, не знавшая солнца.

— Ну как? Не боязно тебе?

Жанлен с удивлением посмотрел на него.

— Боязно? А чего же бояться, раз я тут один.

Он уже успел отскоблить рыбу, разжег маленький костер и поджарил треску на углях. Затем разломил надвое хлеб. Треска была ужасно соленая, но для здорового желудка представляла собою превосходное кушанье.

Этьен принял свою долю.

— Ну теперь я не удивляюсь, что ты поправился, когда мы все исхудали. Но только ты поступаешь по-свински — наедаешься в одиночку. О других тебе, значит, и заботы нет?

— Ну и что? А зачем они такие дураки?

— Впрочем, хорошо, что ты прячешься. Ведь если б отец узнал, что ты воруешь, задал бы он тебе трепку.

— Ну и зря... Буржуи-то обкрадывают нас, верно? Ведь ты сам всегда это говоришь. Стащил я каравай хлеба у Мегра,— так, можно сказать, свое взял, долг получил.

Этьен удивленно уставился на мальчика, прожевывая хлеб... Как будто впервые он видел его мордочку, зеленые узкие глазки, большие оттопыренные уши. Заморыш, на котором лежит печать вырождения, темный неразвитый ум, зато полон дикарской хитрости, и постепенно в нем пробуждаются древние животные инстинкты. Шахта, в которой он рос, доконала его, переломав ему ноги.

— А Лидия? — спросил Этьен.— Ты иной раз приводишь ее сюда?

Жанлен презрительно засмеялся:

— Девчонку-то? Как бы не так! Бабы болтливы.

И он долго смеялся, преисполненный глубочайшего презрения к Лидии и Беберу. Видали вы еще таких простофиль? Какой чепухи им ни наплетешь, они всему верят. И при мысли, что они ушли с пустыми руками, а он сидит тут в тепле и ест треску, Жан-

лен хихикал от удовольствия. А в заключение сказал с важностью мудреца:

— Одному лучше быть, по крайней мере без ссор живешь.

Этьен доел свою краюшку. Потом выпил глоток можжевеловой водки. Пришла было в голову мысль, не следует ли отплатить Жанлену за его гостеприимство черной неблагодарностью: вытащить его за ухо на поверхность да приказать, чтоб впредь не занимался воровством, а иначе обо всем будет доложено отцу. Но, разглядев хорошенько это глубокое подземелье, он пришел к другим соображениям: как знать, не пригодится ли оно как убежище для товарищей или для него самого, если там, наверху, дело обернется плохо? Он взял с Жанлена честное слово, что больше тот не будет пропадать из дому по ночам, как это случалось, когда он заспится тут, на сене, и, захватив с собою огарок, Этьен ушел первым, предоставив мальчишке спокойно заняться уборкой и прочими хозяйственными делами.

Мукетта, поджидая его, сидела на упавшей балке, мерзла и все-таки не уходила. Увидев Этьена, она бросилась ему на шею, но он, словно нож вонзил ей в сердце, сказал, что решил больше с ней не видеться. Боже ты мой! Да почему же? Иль она мало любила его? Чтобы не поддаться искушению заглянуть в ее комнату, он увел Мукетту на дорогу и, стараясь говорить как можно мягче, объяснил, что эта связь вредит ему в глазах товарищей, вредит и политическому делу, которому они все служат. Мукетта удивилась: какое это имеет отношение к политическим делам? Наконец ей пришла мысль, что Этьен просто стыдится своей связи с ней; и она не обиделась, сочла это вполне естественным, даже предложила выход из положения: пусть он даст ей при всех оплеуху, пусть люди думают, что между ними все кончено, а он все-таки будет встречаться с ней, хоть изредка, хоть на минутку. Она молила его, клялась, что будет благоразумной и задержит его минут пять, не больше. Он был растроган, но все же отказался. Так надо. На прощанье он решил поцеловать ее. Шаг за шагом они дошли по дороге до первых домов Монсу и, остановившись, крепко обнялись. Было светло, на них падал яркий лунный свет; вдруг какая-то женщина, проходившая мимо, отпрянула в сторону, словно споткнулась о камень.

— Кто это? — встревожился Этьен.

— Катрин,— ответила Мукетта.— Из Жан-Барта возвращается.

Женщина шла, низко опустив голову, усталой походкой и казалась очень утомленной. Этьен смотрел на нее в отчаянии — она увидела его и, конечно, узнала. На совести у него стало неспокойно, словно он был виноват перед ней. А в чем, спрашивается? Ведь у нее есть возлюбленный. Разве сама она не доставила Этье-

ну такое же страдание, когда возвращалась из Рекильяра, где впервые отдалась Шавалю? Значит, теперь Этьен отплатил ей той же монетой, только и всего. Однако от таких рассуждений тоска не проходила.

— Знаешь, что я тебе скажу? — прошептала Мукетта, когда Катрин уже была далеко.— Ты потому и не хочешь больше видеться со мной, что другая у тебя на сердце.

На следующее утро погода выдалась прекрасная — голубое небо, ясный и студеный зимний день. Подмерзшая земля звенела под ногами, как хрустальная. Жанлен удрал из дому в час дня; но ему пришлось довольно долго ждать Бебера в условленном месте — за церковью, и они чуть было не отправились вдвоем, без Лидии, так как мачеха опять заперла ее в подвал. Все же девочку выпустили на волю, надели ей на руку корзину и велели принести листьев одуванчика, а иначе ее снова запрут в подвал, и она будет ночевать там вместе с крысами. Лидия перепугалась и хотела тотчас же отправиться за листьями для салата. Жанлен отговорил: нечего спешить. Там видно будет. Его давно подмывало потешиться над Польшей, толстой крольчихой Раснера. Как раз когда они проходили мимо «Выгоды», крольчиха вышла на дорогу. Жанлен подскочил, схватил ее за уши, засунул в корзину Лидии, и трое озорников умчались. Вот-то будет потеха! Погнать ее камнями, и пусть бежит, как собачонка, до самого леса.

Но дорогой они остановились посмотреть, как Захарий и Муке, выпив по кружке пива с двумя приятелями, приступили к состязанию. Ставкой была новая фуражка и красный шейный платок,— хранителем их избрали Раснера. Четыре игрока — двое на двое — начали первый кон — от Воре́ до фермы Пайо, около трех километров; победителем тут оказался Захарий — у него чиж пролетел это расстояние с семи ударов, тогда как Муке держал пари на восемь. Чижа — самшитовую чурочку с закругленным кончиком—положили на мостовую носиком вверх. Каждый держал на изготовке длинную клюшку с изогнутым, окованным железом концом и рукоятью, туго обмотанной бечевкой. Игра началась в два часа дня. Мастерским ударом — в три приема (ударил, поддел и отбил) — Захарий послал чижа дальше чем на четыреста метров, в свекловичное поле; вести эту игру в деревнях или на дорогах запрещалось, из-за нее не раз бывали жертвы. Муке, тоже крепкий парень, послал чижа одним ударом в обратном направлении на сто пятьдесят метров. И пошла игра: одна партия бросала чижа вперед, другая—отбивала назад, игроки мчались во всю прыть, выворачивая себе ноги в мерзлых бороздах вспаханной земли.

Сперва Жанлен, Бебер и Лидия бежали за игроками, восхищаясь мощными ударами их клюшек. Потом вспомнили о Поль-

ше, которую от их прыжков подбрасывало в корзине, и, оставив наблюдение за игрой, выпустили крольчиху, чтобы посмотреть, быстро ли она бегает. Пленница помчалась, они кинулись за ней вдогонку, и целый час шла охота, сумасшедшая беготня, крутые повороты, дикие вопли для устрашения ошалевшей крольчихи, неистовые взмахи жадных рук, тщетные попытки схватить несчастного зверька. Не будь крольчиха беременной, им бы ни за что ее не поймать.

Охотники остановились передохнуть, и тут до них донеслась громкая брань — они вновь очутились среди игроков, причем Захарий чуть не пробил голову своему брату Жанлену. Игроки вели четвертый кон: от фермы Пайо они добежали до Четырех дорог, затем от Четырех дорог до Монтуара, а теперь в шесть ударов должны были добежать до Коровьей развилки. За час они проделали путь в два с половиной лье, успев за это время выпить по кружке в кабачке Венсана и в распивочной «Три волхва». Игру на этом перегоне вел Муке. Ему осталось сделать еще два удара, победа наверняка была на его стороне, как вдруг Захарий, пользуясь своим правом отгонять противника, с хохотом отбил чиж и так ловко, что он упал в глубокую канаву. Партнеру Муке не удалось вышвырнуть чижа оттуда — сущее несчастье! Поднялся крик: все четверо страшно волновались, так как у противников счет был теперь равный, и приходилось начинать игру сначала. От Коровьей развилки до бугра Паленая Трава оставалось не больше двух километров. Там они предполагали освежиться у Леренара.

Жанлена вдруг осенила удачная мысль. Как только игроки умчались дальше, он достал из кармана веревочку и привязал ее к задней лапке крольчихи. Началась забава! Крольчиха пыталась убежать от тройки сорванцов и с таким усилием ковыляла, дергала, выворачивала ногу, у нее был такой жалкий вид, что они хохотали до упаду. Затем от лапы веревочку отвязали, привязали крольчиху за шею, чтобы она могла прыгать, а когда она совсем выбилась из сил, стали волочить ее, то вниз животом, то спиной, и она катилась по земле, как живая тележка. Они забавлялись больше часа, а потом, у леса Крюшо, опять услышали голоса игроков и тогда мигом засунули полумертвую крольчиху в корзину.

Теперь Захарий, Муке и двое остальных пробегали километр за километром, от кабака до кабака, отмечавших конец каждого перегона, и, делая там короткую передышку, выпивали по кружке пива. От Паленой Травы примчались к Бюши, затем к Каменному Кресту, затем к Шамбле. Земля звенела под их мелькающими ногами; они без устали преследовали чижа, отпрыгивавшего от мерзлой земли; погода для игры была превосходная, никто не увязал в грязи, грозила только опасность переломать себе ноги. В сухом воздухе мощные удары клюшки звучали как выстрелы. Мускули-

стые руки крепко сжимали рукоятку, обмотанную бечевкой, все тело напрягалось, словно игрок мощным ударом оглушал быка, и так длилось несколько часов, так мчались они с одного конца равнины до другого: через все преграды, через канавы, живые изгороди, откосы дорог, ограды крестьянских усадеб. Для этих скачек с препятствиями нужно было иметь очень здоровые легкие и стальные мышцы ног. Забойщики, у которых суставы заржавели в шахте, со страстью вели эту игру. Иные двадцатипятилетние парни, отчаянные любители чижа, пробегали в игре по десять лье. Сорокалетние были слишком тяжелы для таких состязаний и не гоняли чижа.

Пробило пять часов, уже смеркалось. Еще один кон — до Вандамского леса, и тогда решится, кто выиграл фуражку и платок, и Захарий, с обычным своим насмешливым равнодушием к политике, зубоскалил, что забавно будет влететь с чижом на сходку. Что касается Жанлена, он с той минуты, как вышел с приятелями из поселка, метил попасть в Вандамский лес, хотя и делал вид, что занят только погоней за крольчихой. Он с возмущением погрозил кулаком Лидии, когда она, терзаясь угрызениями совести, напомнила, что пора возвратиться в Воре́ и нарвать листьев одуванчика. Да что она? Разве можно пропустить сходку? Жанлену хотелось послушать, как будут говорить старики. Он подтолкнул Бебера и предложил для развлечения отвязать в дороге крольчиху и, пустив ее по полю, обстрелять камнями. У него зрела тайная мысль убить ее — захотелось полакомиться жареной крольчатиной под землею, в Рекильярской шахте. Крольчиха вновь поскакала, поводя носом и заложив назад длинные уши; и тотчас камень ободрал ей спину, другой оторвал короткий хвостик, и хотя совсем стемнело, она наверняка не уцелела бы, если б ее преследователи не увидели на лесной поляне Этьена и Маэ. Тогда юные живодеры набросились на крольчиху и снова засунули ее в корзину. И почти в ту же самую минуту прибежали Захарий, Муке и двое их подручных; в последний раз клюшка ударила по чижу, и он упал в нескольких шагах от поляны. Игроки очутились на сходке.

Лишь только стало смеркаться, по дорогам, по тропинкам, избороздившим голую равнину, двинулись со всей округи молчаливые фигуры,— иные без спутников, другие группами; все направлялись к лесу, выделявшемуся вдали лиловатой полосой. Рабочие поселки опустели — женщины и даже дети, словно на прогулку, шли в Вандамский лес под необъятным безоблачным небом. Становилось все темнее, и уже нельзя было различить на дорогах эту толпу углекопов, стекавшихся к одной цели; слышен был лишь топот ног, смутно виднелась темная масса людей, охваченных единодушным порывом. В проходах между живыми изгородями, в за-

рослях кустов слышен был только легкий шорох, неясный гул голосов.

Господин Энбо возвращался с прогулки и, проезжая верхом на лошади, прислушивался к этому отдаленному шуму. Навстречу ему попадались парочки и целые вереницы людей, которые не спеша прогуливались в прекрасный зимний вечер. И снова ему бросались в глаза влюбленные — он видел, как они жадно приникали друг к другу поцелуем и скрывались в тени под изгородями, где, несомненно, предавались любовным утехам — единственному и к тому же даровому удовольствию этой голытьбы. Да как эти дураки еще смеют жаловаться на свою участь! Ведь у них есть возможность полной чашей пить наслаждения любви. А существует ли иное счастье на земле? Г-н Энбо с радостью согласился бы голодать так же, как они, если бы мог заново начать жизнь с какой-нибудь женщиной, которая отдавалась бы ему на куче щебня со всею силой страсти, всем своим существом. Нет ему, несчастному, утешения! Как не завидовать этим беднякам! Опустив голову, он возвращался домой, придерживая лошадь, с отчаянием в сердце прислушиваясь к шорохам, доносившимся с темных полей, ибо ему чудились в них звуки поцелуев.

VII

Сходка собралась в Бабьем логу, на широкой, недавно вырубленной лесной просеке. Эта просека тянулась по пологому склону и окружена была высокими деревьями, прямые ровные стволы великолепных буков высились вокруг нее белой колоннадой, расписанной зеленоватым узором лишайника; на траве еще лежали поваленные исполины, а с левой стороны выстроились геометрически правильными кубами штабеля обтесанных бревен.

К вечеру стужа усилилась, под ногами хрустел замерзший мох. На земле было совсем темно, зато верхушки деревьев четко вырисовывались в светлом небе,— полная луна поднималась над горизонтом, готовясь затмить бесчисленные звезды.

Собралось около трех тысяч углекопов; огромный, гудящий рой — мужчины, женщины, дети — постепенно заполнил всю просеку; для тех, кто пришел позднее, не нашлось на ней места — они стояли вдали, под деревьями, а люди все прибывали и прибывали, толпа, утопавшая во мраке, все ширилась и живыми волнами заливала смежные делянки.

Раздавался невнятный гомон огромной толпы,— казалось, в этом недвижном заиндевелом лесу загудел ветер, предвещавший бурю. На верху ската стояли Этьен, Распер и Маэ. У них шел спор, слышались резкие выкрики. Около споривших теснились другие углекопы: Левак, сердито сжимавший кулаки, Пьерон, но-

ровивший держаться спиною к зрителям и крайне огорченный, что ему не удалось подольше протянуть свою мнимую лихорадку; по соседству сидели рядышком на повалившемся сухом дереве старик Бессмертный и Мук, оба, казалось, погруженные в глубокую задумчивость. Позади них пристроились зубоскалы Захарий, Муке и прочие, явившиеся на сходку просто из любопытства — «для смеха», как они говорили; резкую противоположность им представляли собравшиеся вместе женщины — строгие, сосредоточенные, как в церкви. Жена Маэ молча кивала головой, слушая приглушенную ругань жены Левака. Филомена кашляла — зимой у нее опять начался бронхит. Только Мукетта, сверкая зубами, весело смеялась, одобряя старуху Горелую, на все корки честившую свою дочь за то, что она, негодница, нарочно отсылает мать из дому, а без нее обжирается жареной крольчатиной, и за то, что она, шкура продажная, живет припеваючи, пользуясь подлостью своего мужа. А на штабель бревен взобрался Жанлен, подтянул к себе Лидию, приказал Беберу вскарабкаться к ним, и все трое торчали наверху, возвышаясь надо всеми.

Ссору затеял Раснер, требуя, чтобы на сходке был по всем правилам выбран президиум. Поражение, которое он потерпел в «Смелом весельчаке», привело его в бешенство, он дал себе клятву одолеть противника и надеялся завоевать былой свой авторитет, когда будет иметь дело не с делегатами, а непосредственно с рабочими массами. Этьен с возмущением отверг мысль об избрании президиума, считая нелепым делать это в лесу. Надо действовать революционно и попросту, раз их травят, как волков. Видя, что спору конца не будет, он разом завладел аудиторией — взобрался на высокий пень и крикнул:

— Товарищи! Товарищи!

Неясный гомон словно сменился долгим вздохом и затих, и пока Маэ старался унять протестовавшего Раснера, Этьен продолжал звучным голосом:

— Товарищи! Раз нам запрещают говорить, насылают на нас жандармов, словно мы душегубы, разбойники, давайте потолкуем в лесу! Здесь мы на свободе, здесь мы как у себя дома, никто не ворвется сюда и не заставит нас замолчать, так же как никто не заставит умолкнуть птиц и зверей.

В ответ раздались громовые возгласы и крики:

— Да, да, это наш лес! Мы имеем право тут побеседовать. Говори!

Мгновенье Этьен молчал. Луна, еще стоявшая низко над горизонтом, по-прежнему освещала лишь вершины деревьев, а притихшая, безмолвная толпа тонула в темноте. Этьен, стоявший у верхушки ската, возвышался над морем голов, вырисовываясь черным силуэтом.

Медленным движением он поднял руку и начал свою речь. Но голос его не гремел раскатами, он говорил спокойно, деловым тоном, как доверенное лицо народа, отдающее ему отчет. Наконец-то он мог произнести ту речь, с которой полицейский комиссар помешал ему выступить в «Весельчаке». Он начал с изложения хода забастовки, стараясь держаться того особого красноречия, которое свойственно научным трудам: факты, только факты. Сначала сказал, что он, как и все углекопы, был против забастовки; углекопы не хотели забастовки — дирекция сама ее вызвала новым своим тарифом на крепежные работы. Затем он напомнил о том, как была направлена к директору первая делегация, как бессовестно поступило правление, и о том, как позднее, при вторичных переговорах, оно сделало запоздалые уступки, согласившись вернуть углекопам те два сантима с вагонетки, которые сначала попыталось украсть у них. Так обстоит дело. Касса взаимопомощи опустела, и Этьен, приведя цифры, доложил, куда ушли фонды, сказал, на что израсходованы присланные пособия, в нескольких словах извинил Интернационал, Плюшара и других, сказав, что они не могли сделать больше для забастовщиков, ибо поглощены заботами о распространении своих идей во всем мире. Итак, положение ухудшается с каждым днем; Компания увольняет углекопов и грозит нанять рабочих в Бельгии; кроме того, она запугивает слабодушных и уговорила некоторое количество углекопов возобновить работу. Этьен перечислял все это ровным голосом, словно хотел подчеркнуть значение этих дурных вестей, говорил о всепобеждающем голоде, о погибших надеждах, о последних лихорадочных усилиях мужественных борцов. И вдруг, в заключение, не повышая голоса, сказал:

— И вот при таких обстоятельствах вы должны, товарищи, принять нынче вечером решение. Хотите вы продолжать забастовку? И если хотите, что рассчитываете вы сделать, чтобы одолеть Компанию?

С широкого звездного неба спустилась глубокая тишина. Толпа, которую не видно было в темноте, безмолвствовала; у всех стеснилось сердце от слов Этьена; в лесу под деревьями слышны были лишь тяжкие вздохи.

Но Этьен продолжал свою речь, и голос его зазвучал иначе. Теперь говорил не секретарь ассоциации, а глава восставших, апостол, возвещающий истину. Неужели среди углекопов найдутся подлецы, способные изменить своему слову? Как! Люди страдали целый месяц, и муки их будут напрасны? Склонив голову, забастовщики вернутся на работу, и вновь начнется вековечная каторга? Не лучше ли погибнуть сейчас же, попытавшись свергнуть тиранию капитала, который морит трудящихся голодом? Не может дольше продолжаться нелепая игра, в которой голод заставляет

людей терпеть и покоряться,— до тех пор пока тот же голод вновь приведет даже самых кротких к восстанию. Этьен говорил о том, как Компания эксплуатирует углекопов, как на них, и только на них одних, падает вся тяжесть промышленного кризиса, как им приходится голодать, когда из соображений конкуренции хозяева понижают себестоимость угля. Нет, новую систему оплаты крепежных работ принять невозможно — это скрытый способ урезать заработную плату. Компания хочет ежедневно красть у каждого углекопа по часу его работы. Ну, это уж слишком! Настало время, когда обездоленные, доведенные до крайности, добьются справедливости.

Он умолк, простирая вверх руки. При слове «справедливость» толпа вдруг затрепетала, всколыхнулась, раздались рукоплескания, прокатившиеся по лесу, словно шорох сухих листьев под внезапным порывом ветра. Люди кричали:

— Справедливость!.. Настало время!.. Справедливость!

Постепенно Этьен разгорячился. Он не был речист, как Раснер, который с легкостью краснобая нанизывал фразу за фразой. Зачастую ему недоставало слов, он строил корявые предложения, путался и, выходя из затруднения, резко вздергивал плечом. Но хоть он и спотыкался на каждом шагу, ему на ум приходили образы, исполненные энергии и всем близкие, захватывавшие слушателей; образны были и его жесты—жесты рабочего, занятого делом: то он откидывал локти назад, то вдруг выбрасывал вперед сжатые кулаки и, вытягивая шею, выдвигал подбородок, словно готов был укусить врага,— все это производило необыкновенное впечатление. Все его хвалили: «Ростом невелик, зато как заговорит, не наслушаешься».

— Наемный труд — это новая форма рабства,— произнес он более взволнованно.— Шахты должны принадлежать шахтеру, как море принадлежит моряку, а земля — крестьянину... Поймите же! Шахты принадлежат вам, всем вам, ибо за целое столетие вы купили их ценою своей крови и своих страданий.

Он смело подошел к запутанным правовым вопросам, к специальным законам о копях и рудниках. Недра земли, так же как и земля, говорил он, должны быть достоянием нации: монопольное право на разработку недр, предоставляемое акционерным обществам,— это гнусная привилегия; и в отношении Монсу это тем более верно, что здесь так называемое законное пользование месторождением угля осложняется давними договорами, заключенными с владельцами бывших феодальных поместий, согласно древним обычаям провинции Эно. Следовательно, углекопам нужно отвоевать свое добро. И, протягивая руки, он указывал вдаль, словно охватывал весь край, простиравшийся за лесом.

В это мгновение свет луны, поднявшейся над горизонтом, скользнул с верхушек деревьев и осветил оратора. И когда толпа, еще сокрытая в темноте, увидела, как он, в ореоле лунного сияния, простирает руки, дабы оделить бедняков всеми благами жизни,— вновь раздались долгие, восторженные рукоплескания:

— Верно! Правильно! Молодец!

А дальше Этьен пустился в излюбленные свои рассуждения. Передача средств производства в коллективную собственность, несколько раз повторил он, и сама угловатость фразы ласкала его слух. К этому времени его взгляды установились. Начав с благоговейного умиления неофита перед идеями братства людей, улучшения условий наемного труда, он пришел к политической идее — о необходимости уничтожить наемный труд. Со времени собрания в «Смелом весельчаке» его коллективизм, еще сентиментальный и расплывчатый, стал более четким и вылился в сложную программу, которую он и излагал теперь, давая научное обоснование каждому ее пункту. Во-первых, он заявил, что свободы можно достигнуть лишь путем полного уничтожения государственного строя. А когда народ захватит власть, начнутся преобразования: возвращение к первобытной коммуне, замена семьи, основанной на ханжеской морали и угнетении, семьей, где царствует свобода и равенство; полное равенство в правах гражданских, политических и экономических; независимость личности, обеспечиваемая всеобщим владением средствами производства и продуктами труда; наконец бесплатное профессиональное образование за общественный счет. Все это вызовет полную переделку старого, прогнившего общества. Оратор нападал на брак, на право наследования, устанавливал право каждого на благосостояние, низвергал все беззакония — памятник многовекового мертвого прошлого. И говоря это, он делал один и тот же жест: взмахивал одной рукой, словно под корень срезал поспевшую жатву, и тотчас другой рукой строил грядущее, воздвигал храм истины и справедливости, который возникает на заре двадцатого столетия. В его напряженной внутренней работе рассудок не участвовал — осталась лишь навязчивая идея фанатика. Все преграды чувствительности и здравого смысла были отброшены; казалось, ничего нет легче, как осуществить полную переделку мира; оратор все предвидел и говорил об этом новом обществе, словно о машине, которую можно собрать за два часа; и тут ни огонь, ни кровь не имели никакого значения.

— Настала наша очередь! — бросил он последний клич.— Нам должны принадлежать и власть и богатство!

В лесной чаще загремели и докатились до него крики восторга. Луна заливала теперь ярким сиянием всю просеку, четко обрисовывая море голов, захлестнувшее своими волнами даже густую поросль, темневшую вдали, между сероватыми стволами вы-

соких буков. И эта морозная ночь явила картину ярости народной: повсюду пылающие лица, сверкающие глаза, раскрытые в неистовом крике рты; изголодавшиеся люди — мужчины, женщины, дети — откликнулись на призыв совершить справедливое насилие, отбить отнятое у них добро. Они не чувствовали холода, от пламенных речей у них все горело внутри. В благоговейном восторге они вознеслись над землей и, подобно первым христианам, полны были страстной надежды на скорое пришествие царства справедливости. Смысл многих фраз остался для них темным; им непонятны были технические и отвлеченные рассуждения, но от самой этой неясной отвлеченности ширились пределы земли Обетованной, озаренной ослепительным светом мечты. Ах, что ждет их впереди! Они станут хозяевами, избавятся от страданий, будут наконец наслаждаться жизнью.

— Правильно, черт их дери! Настала наша очередь! Смерть эксплуататорам!

Женщины были как в бреду; жена Маэ утратила обычную свою выдержку, от голода у нее кружилась голова; жена Левака вопила громче всех; старуха Горелая, похожая на колдунью, в исступлении размахивала костлявыми руками; Филомена раскашлялась, а Мукетта до того воспламенилась, что кричала оратору нежные слова. Волнение захватило и мужчин. Маэ издавал гневные возгласы, один его сосед — Пьерон — дрожал от страха, а другой — Левак — в лихорадочном возбуждении говорил не умолкая; только зубоскалам, Захарию и Муке, было не по себе — они пытались насмешничать и выражали удивление, что Этьен мог говорить так долго, не выпив ни одного глотка пива. А на штабеле бревен визжал и бесновался Жанлен и, заставляя орать Лидию с Бебером, размахивал корзинкой, в которой сидела полумертвая крольчиха Польша.

Вновь раздались приветственные крики. Этьен изведал, какое опьяняющее наслаждение дает популярность. Какой властью он обладал! Живым ее воплощением стала вот эта трехтысячная толпа, где у всех при каждом его слове бьется от волнения сердце. Если бы сюда пожаловал Суварин, он одобрил бы идеи, которые развивал Этьен, распознав в них свои собственные взгляды, и был бы доволен, что развитие его ученика пошло в сторону анархизма; Суварин согласился бы с его программой, за исключением требования всеобщего образования, так как считал это сентиментальным вздором, усматривая в невежестве святой и спасительный источник возрождения человеческой энергии. Что касается Раснера, он презрительно и злобно пожимал плечами.

— Дай мне слово! — крикнул он Этьену.

Тот спрыгнул с пня.

— Говори. Посмотрим, станут ли тебя слушать.

Раснер мигом занял его место и протянул руку, чтобы восстановить тишину. Но шум все не затихал; от первых рядов, где узнали Раснера, его имя прокатилось до последних рядов, терявшихся в тени, под буками; слушать его не желали,— он был низвергнутым кумиром, один его вид раздражал прежних почитателей. Его благодушное красноречие, поток слов, текущих так легко, плавно, так долго очаровывавший людей, теперь называли тепленьким отваром из маковых головок — для усыпления трусов. Тщетно пытался он говорить в поднявшемся шуме, надеясь и на этом собрании выступить, как всегда, с успокоительной речью, убедить, что внезапным провозглашением новых законов мир переделать невозможно, надо подождать, пока произойдет необходимая социальная эволюция. Его высмеяли, освистали; поражение, которое он потерпел в «Смелом весельчаке», углубилось, стало непоправимым. Под конец в него стали бросать пригоршнями замерзшего мха, а какая-то женщина крикнула пронзительным голосом:

— Долой изменника!

Раснер все старался внушить, что шахта не может быть собственностью шахтера, как ткацкий станок для ткача,— нет, гораздо лучше добиться участия рабочего в прибылях, материальной его заинтересованности в успехе предприятия, где он будет как бы родным сыном.

— Долой предателя! — раздался тысячеголосый крик, и в оратора полетели камни.

Раснер побледнел, от отчаяния у него слезы выступили на глазах. Ведь это было крушение всей его жизни: двадцать лет товарищеской близости с рабочими и честолюбивые замыслы — все рухнуло из-за черной неблагодарности толпы. Он слез с пня, пораженный в самое сердце, не имея сил продолжать свою речь.

— Тебе смешно? — заикаясь, сказал он торжествующему Этьену.— Хорошо! Желаю и тебе это испытать! Так оно и будет... Слышишь?

И, словно решив сбросить с себя бремя ответственности за все беды, которые он предвидел, Раснер широко взмахнул рукой и ушел, шагая в одиночестве по безмолвному, белому от инея полю.

Его проводили улюлюканьем, и вдруг, ко всеобщему удивлению, на пень взобрался старик Бессмертный, пытаясь что-то сказать среди оглушительного гама и шума. До этой минуты и Мук и он сидели тихонько, с обычным своим задумчивым видом, как будто погрузившись в мысли о далеких днях. Вероятно, он поддался внезапному приливу словоохотливости, порою с такой силой ворошившему в его душе прошлое, что он часами изливал свои воспоминания в бессвязных речах.

Настало глубокое молчание, все слушали старика, бледного при лунном свете, как смерть; слушали с изумлением, которое все усиливалось, так как его длинные, никому не понятные истории не имели непосредственной связи с обсуждавшимися вопросами. Он говорил о своей молодости, о том, что двое его дядьев погибли под обвалом в Ворейской шахте, потом перешел к смерти своей жены, которую унесло воспаление легких; однако ж он не отступал от своей всегдашней мысли: не было и не будет никогда беднякам счастья. Вот, например, собралось в лесу на сходку пятьсот углекопов, потому как король не пожелал сократить многочасовой рабочий день, но тут же старик спутался и стал рассказывать о другой забастовке: он-то перевидал их на своем веку! Все забастовки приводили ворейских углекопов в этот лес — вот сюда, в Бабий лог, а других — в Угольную печь, а тех, кто подальше,— в Волчью яму. Иной раз, бывало, морозит, а иной раз жара стоит. А как-то вечером полил дождь, до того сильный, что так и разошлись люди по домам, ничего друг дружке не сказав. А все равно — пришлют королевские войска, начнут солдаты из ружей стрелять, и на том все и кончится.

— Мы, бывало, руку поднимаем — вот так — и клятву даем: не спустимся, мол, в шахту... Да, и я клятву давал... Да, давал клятву!

Люди слушали с чувством удивления и какой-то тяжелой неловкости, как вдруг Этьен, следивший за этой сценой, вспрыгнул на срубленное дерево и встал рядом со стариком. Он заметил Шаваля в первом ряду, среди друзей. Значит, где-то здесь стоит и слушает Катрин, и мысль об этом вновь его воспламенила: ему так хотелось стяжать при ней лавры успеха.

— Товарищи! — воскликнул он.— Сейчас вы слышали одного из наших старейших рабочих. Вот сколько он выстрадал. Помните, что так же страдать будут и наши дети, если мы не покончим с грабителями и палачами.

Речь его была грозной; еще никогда он не говорил с такой неистовой яростью. Одной рукой он поддерживал старика Бессмертного, он выдвигал его как знамя нищеты и скорби, он страстно взывал об отмщении. Короткими, энергичными фразами он описал историю семейства Маэ,— начиная от первого углекопа Маэ; он показал, что вековая работа на шахте изнурила всю эту семью, что Компания Монсу, отняв у нее и силы и здоровье, теперь обрекла ее на существование еще более голодное, чем сто лет назад; а этой нищете он противопоставил толстобрюхих, откормленных хозяев, всю шайку акционеров, которые целое столетие живут, не ведая труда, словно содержанки, и кутят напропалую. Разве это не возмутительно? Тысячи людей, и отцы и дети, надрываются на каторжной работе под землей для того, чтобы правление давало

взятки министрам да чтобы потомственные аристократы и буржуи задавали пиры или жирели бы дома, сидя у камелька! Недаром Этьен прочел и даже изучил книгу о болезнях углекопов — теперь он описывал их с ужасающими подробностями: белокровие, золотушные язвы и опухоли, поражение бронхов, астма, которая душит больного, жестокий ревматизм, сковывающий его тело. Несчастных углекопов обращали в машины, держали их в рабочих поселках, как скот в загонах, крупные акционерные компании мало-помалу закрепощали их, узаконивали это рабство, грозили закабалить всех трудящихся страны: пусть миллионы рабочих рук создают богатства для одной тысячи бездельников. Но теперь шахтеры не такой темный народ, как прежде, они не хотят жить поскотски и умирать раздавленными в недрах земли. Из глубины шахт поднимается целая армия бойцов, семена гражданского сознания прорастут, и в один прекрасный день всходы пробьются сквозь корку земли, и под ярким солнцем созреет обильная жатва. И тогда посмотрим, посмеют ли измываться над шестидесятилетним стариком, назначая ему пенсию в сто пятьдесят франков за сорокалетнюю работу в забоях, где он погубил свое здоровье, ведь он харкает углем и нажил себе водянку. Да. Труд потребует отчета у капитала — у этого безликого божества, невидимого рабочему человеку, восседающему где-то в таинственном своем капище, жиреющего от пота и крови бедняков, которые откармливают его, а сами дохнут с голоду! Они ворвутся туда, они наконец увидят лицо этого идола при свете пожаров, и он захлебнется в собственной крови, этот гнусный боров, это чудовище, пожирающее человечье мясо.

Оратор умолк, но рука его, все еще протянутая вперед, указывала на врага, таящегося где-то вдали, рассеянного по всему свету. И на этот раз толпа ответила такими громовыми криками восторга, что их услышали даже в Монсу, и богатые обыватели с тревогой посмотрели в сторону Вандама,— не случилось ли там беды, не произошло ли нового страшного обвала?

Взлетели ночные птицы и закружили над лесом в бездонном светлом небе.

Этьен закончил свою речь:

— Товарищи! Какое же решение вы примете?.. Будете ли продолжать забастовку?

— Да! Да! — взвились голоса.

— А какие меры вы примете? Если завтра трусы возобновят работу, мы, несомненно, потерпим поражение.

Как дыхание бури, понеслись выкрики:

— Смерть предателям!

— Итак, вы решаете призвать их к выполнению долга, напомнить им клятвенное их обещание... Вот что мы могли бы сде-

лать — пойти к шахтам: пусть изменники, увидев нас, образумятся, пусть Компания поймет, что мы единодушны и скорее умрем, чем уступим.

— Правильно! К шахтам! К шахтам!

С самого начала своей речи Этьен искал взглядом Катрин среди бледных женских лиц в гудевшей перед ним толпе. Нет, ее нигде не было. Зато Шаваль все время торчал у него перед глазами. Он язвительно ухмылялся и пожимал плечами: его терзала зависть, Шаваль рад был бы продать себя хоть за частицу такой популярности.

— А если, товарищи, найдутся среди нас доносчики,— продолжал Этьен,— им не поздоровится, мы их знаем... Да, да... Я вот вижу вандамских углекопов, а ведь они не прекратили работы на своей шахте.

— Ты это про кого говоришь? Про меня? — вызывающим тоном спросил Шаваль.

— Про тебя или про кого другого... Но раз ты заговорил, так вспомни пословицу: сытый голодного не разумеет... Ты-то работаешь на Жан-Барте...

Его прервал насмешливый голос:

— Ну да, работает!.. За него жена работает...

Шаваль густо покраснел и выругался:

— Убирайтесь вы к черту! Или запрещается работать?

— Да, запрещается,— крикнул Этьен.— Когда товарищи терпят лишения ради общего блага, запрещается быть эгоистом, лицемером и вставать на сторону хозяев! Если бы забастовка охватила все шахты до единой, мы давно стали бы господами положения... Раз на копях Монсу забастовали — в Вандаме ни один человек не должен был спуститься в шахту. Мы нанесли бы хозяевам решающий удар, если бы работа остановилась во всем краю, не только здесь, но и у господина Денелена... Понял? В забоях Жан-Барта только предатели рубят уголь... Да, да... все вы там предатели.

Вокруг Шаваля люди угрожающе зарокотали, замахали руками, послышались крики: «Бей его! Бей предателя!» Он побледнел. Но неистовое желание восторжествовать над Этьеном внушило ему некую мысль. Он гордо выпрямился:

— Ну так слушайте! Все слушайте! Приходите завтра в Жан-Барт и увидите, работаю ли я!.. Мы на вашей стороне. Товарищи послали меня сказать вам это. Надо загасить топки, надо, чтоб и машинисты тоже забастовали. Пусть себе насосы остановятся. Тем лучше. Вода затопит шахту. Все полетит к черту!

Шавалю тоже рукоплескали, и с этой минуты Этьена оттерли в сторону. Один за другим на пень залезали ораторы и произносили речи, утопавшие в шуме; они жестикулировали, предлагали

самые крайние меры. Всеми овладело какое-то исступление, неистовство, свойственные фанатикам, когда они, устав надеяться на долгожданное чудо, решают наконец вызвать его сами. Люди, у которых в голове мутилось от голода, мечтали о пожарах и кровопролитии, за коими немедленно воссияет апофеоз — придет всемирное счастье.

Луна заливала своим безмятежным светом бушующую толпу; лесную тишину нарушали крики, призывавшие к резне. Подмерзший мох хрустел под ногами, а могучие буки, ветви которых вырисовывались в светлом небе тонким черным узором, не слышали, не замечали обездоленных, суетившихся у их подножия.

В суматохе супруги Маэ оказались рядом; оба были выбиты из колеи, утратили свое здравомыслие и, дойдя до предела отчаяния, мучившего их целый месяц, рукоплескали Леваку, который, подливая масла в огонь, требовал смерти инженеров. Пьерон куда-то исчез. Бессмертный и Мук говорили разом, кричали что-то гневное и бессвязное, чего никто не мог разобрать. Захарий «для смеху» предлагал, чтобы снесли разом все церкви, а Муке изо всей силы стучал о землю своей клюшкой — просто для того, чтобы шуму было побольше. Женщины подхлестывали друг друга; жена Левака, подбоченившись, напала на свою дочь Филомену, обвиняя ее в том, что она над людьми смеется; Мукетта кричала, что надо силой стащить жандармов с лошадей; Горелая отколотила Лидию за то, что девчонка не нарвала листьев одуванчика, и, разгорячившись, старуха продолжала размахивать кулаками, адресуя свои удары всем хозяевам и страстно желая, чтобы они попали ей в руки. Жанлен оторопел и на мгновение притих, когда Бебер узнал от мальчишки-откатчика, что жена Расиера видела, как они утащили крольчиху, но затем Жанлен решил, что, возвращаясь домой, он потихоньку выпустит ее у дверей заведения Расиера, и, успокоив себя таким решением, принялся орать еще громче прежнего, раскрыл свой новенький складной нож и размахивал им, гордясь тем, что лезвие блестит при луне.

— Товарищи! Товарищи! — кричал охрипшим голосом измученный Этьен, пытаясь добиться хоть короткого молчания и окончательно столковаться.

Наконец толпа умолкла и стала слушать.

— Товарищи! Завтра утром соберемся у шахты Жан-Барт. Решено?

— Да, да! В Жан-Барт. Смерть предателям!

Трехтысячный хор голосов поднялся к бескрайнему небу, прокатился в даль, залитую чистым лунным сиянием, и замер.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

В четыре часа утра луна зашла, настал непроглядный мрак. У Дененленов все еще спали; двери и окна были заперты; старый кирпичный дом, отделенный от шахты Жан-Барт большим запущенным садом, стоял немой и мрачный. Другой стороной он выходил на дорогу к Вандаму — большому селу, расположенному за лесом, километрах в трех.

Денелен, сильно уставший, так как вчера он почти не выходил из шахты, крепко спал, повернувшись лицом к стене. Вдруг ему приснилось, что его кто-то зовет. В конце концов он проснулся и, наяву услышав голос, окликавший его из сада, вскочил с постели и отворил окно. Он увидел одного из своих штейгеров.

— Что случилось? — спросил Денелен.

— Господин Денелен, рабочие взбунтовались. Половина смены отказалась работать и другим не дает спуститься в шахту.

Спросонок Денелен ничего не понял, в голове у него гудело. От промозглой сырости его стало знобить, словно от ледяного душа.

— Заставьте их спуститься, черт побери! — заикаясь, пробормотал он.

— Они целый час буянят,— продолжал штейгер.— Вот мы и решили вас позвать. Может, вам удастся их образумить.

— Хорошо. Сейчас иду.

Он быстро оделся. Голова была теперь совершенно ясная. Тревога отогнала сон. Как уйти из дому? Ни кухарка, ни слуга не пошевелились, воры свободно могут забраться в дом. Но с другой стороны лестничной площадки послышалось испуганное перешептывание, и, когда он вышел из спальни, отворилась дверь из комнаты дочерей, и они обе появились в белых капотах.

Люси, старшей дочери, высокой статной брюнетке, было двадцать два года, а младшей, Жанне, едва минуло девятнадцать; миниатюрная, с золотистыми косами, она была изящна, миловидна и ласкова.

— Отец, что случилось?

— Ничего серьезного,— ответил Денелен, чтобы успокоить дочерей.— Кажется, там расшумелись какие-то буяны. Пойду посмотрю.

Но дочери взволновались и заявили, что не пустят его, пока он не выпьет чего-нибудь горячего. Иначе он непременно расхворается — ведь у него такой больной желудок. Отец отнекивался, заверял честным словом, что очень торопится.

— Слушай,— сказала наконец Жанна, обвив руками его шею.— Ну хоть выпей стаканчик рома и съешь два сухарика. А не послушаешься, так и буду висеть у тебя на шее, и тащи тогда меня с собой.

Денелену пришлось покориться, хотя он клялся и божился, что никакие сухари и печенья ему не полезут в глотку. Дочери побежали вниз по лестнице впереди него, каждая со свечой в руке. В столовой они принялись ухаживать за отцом — одна налила ему рому, другая сбегала в буфетную за сухариками.

Потеряв мать в раннем детстве, они росли, предоставленные сами себе, и воспитывались плохо, так как отец баловал их; старшая мечтала стать оперной певицей, а младшая безумно любила живопись и как художница отличалась весьма смелой манерой. Но когда у отца дела пошатнулись, начались денежные затруднения и нельзя было, как прежде, жить на широкую ногу, у девушек, казавшихся экстравагантными особами, вдруг пробудились задатки весьма бережливых и сметливых хозяек, которые мигом обнаружат в счетах лавочников даже грошовые ошибки. При всех своих мальчишеских повадках они теперь сами стали в доме казначеями, берегли каждое су, торговались с поставщиками, не шили себе новых нарядов, без конца переделывали свои старые платья и сумели наконец добиться, чтобы все в доме имело приличный вид, хотя нужда в семье с каждым днем возрастала.

— Покушай, папа,— твердила Люси.

Она заметила, что отец угрюмо молчит и не может скрыть своей озабоченности, и ей опять стало страшно.

— Значит, что-то важное, раз ты так хмуришься?.. Скажи по правде. Мы тогда останемся дома, с тобой. На этом завтраке прекрасно обойдутся и без нас.

Она имела в виду предполагавшееся в тот день развлечение. Г-жа Энбо должна была заехать сперва к Грегуарам, а потом за сестрами Денелен и повезти их в своей коляске в Маршьен к супруге директора литейного завода, которая их всех пригласила к себе на завтрак. Воспользовавшись случаем, можно было побывать в цехах, поглядеть на доменные печи и коксовые батареи.

— Ну конечно, мы останемся! — заявила в свою очередь и Жанна.

Но отец рассердился:

— Что вы это выдумали! Я же говорю, ничего серьезного... Доставьте мне удовольствие, забирайтесь опять в постель, поспите, а к девяти часам будьте готовы и поезжайте, как было условлено.

Он поцеловал дочерей и быстро вышел. Сапоги его звонко стучали в саду по подмерзшей земле.

Жанна старательно заткнула пробкой бутылку с ромом, а Люси заперла сухарики в буфет. Кругом царила холодная, чопорная опрятность, отличающая столовые, в которых трапезы не блещут обилием. Воспользовавшись ранним часом, девушки произвели смотр — все ли вечером было прибрано, нет ли какого беспорядка. Обнаружив валявшуюся на столе салфетку, решили побранить за это слугу. Наконец обе поднялись к себе в спальню.

Денелен шел кратчайшим путем, через огород, и, шагая по узкой дорожке, все думал о том, какую он совершил ошибку, продав за миллион свой пай в акционерном обществе Монсу и вложив эти деньги в собственную шахту,— он мечтал удесятерить свое состояние, а вот оно подвергается такому большому риску.

Его преследовали неудачи. Огромные, совершенно неожиданные повреждения, потребовавшие дорогостоящего ремонта, разорительные условия эксплуатации, а затем — страшное бедствие — промышленный кризис, разразившийся как раз в то время, когда шахта стала приносить доход. А теперь эта забастовка! Если и на Жан-Барте остановится работа,— конец! Его ждет банкротство. Он отворил калитку; надшахтные строения казались в темноте сгустками мрака, пронизанного кое-где огоньками фонарей.

Шахта Жан-Барт не имела такого значения, как Ворейская, но она была заново оборудована и, по выражению инженеров, стала хороша, будто игрушечка. Там не только расширили на полтора метра шахтный ствол и углубили его до семисот восьми метров, но еще поставили новую машину, новые клети; да и все оборудование было новым, по последнему слову техники; даже надшахтные постройки радовали взгляд некоторым изяществом: сортировочную украшал зубчатый карниз, а вышку копра — башенные часы; приемочная и машинное отделение помещались в полукруглых выступах, словно клиросы часовни в стиле Возрождения; возвышавшаяся над шахтой труба отделана была спиральным мозаичным узором из красных и черных кирпичей. Водоотливной насос поставили в другом месте — в старой шахте Гастон-Мари, сохраненной только для откачки воды. В Жан-Барте, справа и слева от главного ствола, было еще два колодца — один для вентиляции, другой — с запасными лестницами.

Шаваль явился на шахту первым, в три часа утра, и принялся подговаривать товарищей, убеждать их, что надо последовать примеру рабочих, бастующих в Монсу, и потребовать прибавки в пять сантимов с вагонетки. Вскоре из раздевальни в приемочную пришли все четыреста углекопов, поднялась сумятица, шум, крики. Те, кто желал работать, стояли босые, держа в руке лампу, а под мышкой — лопату или обушок; другие же, еще в деревянных башмаках, накинув на плечи пальто, загораживали под-

ступы к клети; штейгеры охрипли, призывая рабочих к порядку, упрашивали вести себя благоразумно, не препятствовать тем, кто хочет спуститься в шахту.

Шаваль вышел из себя, заметив, что Катрин стоит в штанах, в куртке и синем шлеме. Поднявшись утром, он строго приказал ей оставаться в постели. Катрин все-таки пошла вслед за ним. Неужели придется прекратить работу? Эта угроза приводила ее в отчаяние. Ведь Шаваль никогда не давал ей денег, и ей часто приходилось платить и за себя и за него; что же с ней станется, если она больше ничего не будет зарабатывать? Ее все время преследовала страшная мысль, что она очутится в маршьенском публичном доме, куда в конце концов попадали работницы с шахты, лишившись хлеба и пристанища.

— Ах ты чертовка! — крикнул Шаваль.— Ты зачем сюда приплелась?

Катрин пробормотала, что у нее никаких доходов нет и она хочет работать.

— Так ты, значит, против меня пошла, мерзавка? Ступай домой! Сию же минуту, а не то провожу тебя пинками!

Катрин боязливо попятилась, но не ушла, решив посмотреть, как обернется дело.

Денелен прошел через лестницу сортировочной. При слабом свете фонарей он окинул быстрым взглядом шумевшую в полутьме толпу людей,— он знал в лицо всех забойщиков, стволовых, крепильщиков, откатчиц, знал всех вплоть до мальчишек-тормозных и коногонов. В высоком бараке, новом и еще чистом, остановившаяся работа как будто ждала: паровая машина с легким посвистыванием выпускала пар; клеть повисла на застывших недвижно тросах; брошенные вагонетки загромождали чугунные плиты пола. Взято было не больше восьмидесяти ламп; остальные сияли в ламповой. Но, несомненно, стоит ему сказать слово, и работа закипит.

— Ну что? Что тут происходит, ребята? — крикнул Денелен во весь голос.— Чем вы недовольны? Объясните-ка, мы с вами столкуемся.

Обычно он выказывал углекопам отеческую благожелательность, хотя и требовал от них много работы. Человек властный и резкий, он прежде всего старался завоевать сердца добродушием, звучавшим в его трубном голосе, говорил с рабочими попросту и зачастую вызывал в них симпатию; больше всего углекопы уважали его за смелость: он был с ними в забоях, был первым в борьбе с опасностью, когда случалась беда, приводившая в ужас всю шахту. Дважды бывало, что после взрыва гремучего газа, когда отступали самые отважные, его спускали в шахту, обвязав канатом под мышками.

— Как же это вы? — заговорил он.— Неужели я должен раскаяться в том, что поручился за вас? Здесь хотели устроить жандармский пост,— вы ведь знаете, что я отказался от него... Говорите спокойно. Я слушаю вас.

Все, однако, смущенно молчали, пятились от него. Наконец заговорил Шаваль:

— Вот что, господин Денелен, мы не можем работать на прежних условиях. Дайте нам прибавку — пять сантимов с вагонетки.

Денелен, казалось, был удивлен:

— Что?! Пять сантимов?! А почему такое требование? Я-то ведь не жалуюсь на ваше крепление, не собираюсь навязывать вам новый тариф, как правление Монсуйских копей.

— Может, оно и так. А только товарищи в Монсу правильно поступают. Нового тарифа не признают и требуют прибавки в пять сантимов,— ведь при нынешних расценках хорошего крепления все равно не дашь. Мы требуем прибавки в пять сантимов, верно, товарищи?

Раздались возгласы одобрения. Опять поднялся шум, люди замахали руками. Мало-помалу все приблизились, тесным кругом обступили Денелена.

У него в глазах вспыхнула злоба, и этот почитатель сильной власти крепко сжимал кулаки, чтобы не поддаться искушению и не схватить за шиворот кого-нибудь из бунтовщиков. Нет, лучше поговорить с ними по-хорошему, образумить их.

— Вы желаете получить прибавку в пять сантимов? Признаю,— работа стоит того. Но дать прибавку не могу. Если я это сделаю, мне крышка. Поймите же, что мне надо жить хотя бы для того, чтобы и вы могли жить. А я дошел до крайности. При малейшем увеличении себестоимости я вылечу в трубу... Вспомните, два года назад, во время последней забастовки, я уступил,— тогда я еще мог это сделать. Однако это повышение заработной платы было для меня разорительным... Вот уже два года, как я бьюсь... А теперь я предпочту сразу же закрыть лавочку, чем мучиться, не зная, где взять денег, чтобы заплатить вам в будущем месяце.

Шаваль язвительно засмеялся в лицо чудаку хозяину, столь откровенно рассказывавшему о своих делах. Остальные потупились, упрямо не желая ему верить: у них в голове не укладывалось, что не все хозяева наживают миллионы на труде своих рабочих.

А Денелен настаивал на своем. Он объяснил, какую борьбу ему приходится вести с Компанией Монсу, которая всегда держится настороже и готова пожрать его, если он когда-нибудь поскользнется и сломает себе шею. Между ними — беспощадная

конкуренция, а поэтому приходится соблюдать экономию, тем более что при большой глубине шахты Жан-Барт себестоимость добычи угля у него, Денелена, возросла, и это неблагоприятное обстоятельство не возмещается значительной толщиной угольного пласта. Никогда бы он не пошел на увеличение заработной платы, которую рабочие добились последней забастовкой,— но ведь ему нельзя было отставать от Компании Монсу, иначе он лишился бы рабочих. А теперь что будет? И он грозил им бедами, которые ждут их завтра. Что они выгадают, если ему придется из-за теперешней забастовки продать шахту? Ведь они тогда попадут под ужасное иго Акционерной компании Монсу. Он-то ведь не восседал на престоле где-то вдалеке, в неведомом капище; не состоял в числе пайщиков, нанимающих управляющего, чтобы удобнее было стричь рабочих, которых эти господа никогда и в глаза не видели. Нет, он, Денелен, единоличный хозяин, он рискует не только своими деньгами, но и своим рассудком, своим здоровьем, своей жизнью. Остановка работы — это смерть для него. У него нет запасов угля, а ведь он должен выполнять заказы. Кроме того, капитал, вложенный в оборудование, нельзя замораживать. Как же он выполнит свои обязательства? Кто заплатит проценты за те суммы, которые ему доверили друзья? Нет, его ждет крах.

— Ну вот, ребята,— сказал он в заключение.— Я хотел убедить вас... Нельзя же требовать от человека, чтобы он наложил на себя руки, не правда ли? А для меня дать вам прибавку в пять сантимов или допустить вашу забастовку — все равно что полоснуть себя ножом по горлу.

Он умолк. Толпа зарокотала. Часть ее заколебалась. Многие направились к клети.

— Да пусть хоть не стесняют никого,— сказал один из штейгеров.— Ну? Кто хочет работать?

Катрин одна из первых вышла вперед. Но Шаваль, злобно оттолкнув ее, крикнул:

— Мы все заодно. Только подлецы бросают товарищей.

И примирение стало невозможным. Снова поднялись крики. Желающих спуститься отгоняли от клети толчками, отшвыривали к стенам; в свалке люди чуть не передавили друг друга. Денелен сделал было отчаянную попытку справиться в одиночку с разбушевавшейся стихией, но это была тщетная и безумная затея, ему пришлось отойти в сторону. Несколько минут он просидел на стуле в углу конторы приемщика, тяжело дыша и до того подавленный своим бессилием, что ни одна спасительная мысль не приходила ему в голову. Наконец он успокоился и велел сторожу привести к нему Шаваля. А когда тот согласился поговорить с ним, Денелен выслал всех из конторы:

— Оставьте нас.

Денелен хотел разобраться, что представляет собой этот парень. С первых же слов он понял, что перед ним существо тщеславное, снедаемое жгучей завистью. И он подкупил Шаваля лестью, притворился удивленным, что такой способный рабочий сам портит свое будущее. По словам Денелена, он давно приглядывался к Шавалю и собирался в скором времени повысить его; в заключение он напрямик предложил ему должность младшего штейгера. Шаваль слушал молча и сначала крепко сжимал кулаки, но постепенно обмяк. В мозгу у него шла напряженная работа: если остаться в лагере забастовщиков, он всегда будет только подручным Этьена, а тут для него открывается иной путь, он может выйти в начальники; хмель честолюбия ударил ему в голову... К тому же отряд забастовщиков, которых он ждал с самого раннего утра, несомненно, не придет; должно быть, возникло какое-то препятствие,— возможно, жандармы не пропустили. Значит, пора покориться. Мысли эти, однако, не мешали ему ломать комедию, отрицательно мотать головой, разыгрывать роль неподкупного человека, с негодованием бить себя кулаком в грудь. Наконец, не сказав хозяину ни слова о встрече, которую он назначил углекопам из Монсу, он пообещал успокоить товарищей и уговорить их спуститься в шахту.

Денелен остался один в своем укрытии, даже штейгеры держались в стороне. В течение часа слышно было, как Шаваль разглагольствует, спорит, взобравшись в приемочной на вагонетку. Часть рабочих освистала его, сто двадцать человек в негодовании ушли, упорствуя в том решении, которое он сам и убедил их принять. Был восьмой час утра; занимался день, ясный и веселый морозный день. И вдруг все в шахте пришло в движение: работа возобновилась. Сначала запыхтела паровая машина, стал кланяться шатун, разматывая и наматывая на барабаны стальной трос. Затем загремели сигналы, и начался спуск; клеть принимала людей, неслась вниз, поднималась; шахта поглощала свой ежедневный рацион — забойщиков, коногонов, откатчиков, откатчиц, а по чугунным плитам стволовые с грохотом катили к клети пустые вагонетки.

— Ах ты тварь! Ты что тут болтаешься! — крикнул Шаваль Катрин, ожидавшей своей очереди.— Нечего бездельничать, спускайся скорей.

В девять часов утра, когда г-жа Энбо, захватив Сесиль Грегуар, приехала в собственной коляске за дочерьми г-на Денелена, те уже были готовы, и обе казались очень элегантными в своих двадцать раз перешитых туалетах. Денелен удивился, увидя, что коляску сопровождает Негрель верхом на лошади. Что такое? Разве и мужчины приглашены на завтрак? Г-жа Энбо объяснила

с материнским видом, что ее напугали рассказами о подозрительных людях, которые бродят по дорогам, и она решила взять с собою защитника. Негрель, смеясь, успокаивал их: ничего страшного; как всегда, крикуны орут, грозятся, но никто не посмеет разбить хоть одно окно. Г-н Деперен, радуясь своему успеху, рассказал, как ему удалось подавить бунт на Жан-Барте. Теперь беспокоиться нечего, говорил он. И когда обе его дочери сели в коляску, а кучер готов был свернуть на Вандамскую дорогу, все очень радовались великолепной погоде и не подозревали, что вдалеке, на равнине, в воздухе трепещет и нарастает протяжный гул, что там движется колонной народ,— можно было бы услышать быстрый топот ног, если бы приникли ухом к земле.

— Итак, решено! — повторила г-жа Энбо.— Вечером вы приедете за своими дочками и пообедаете с нами... Госпожа Грегуар тоже обещала заехать за Сесиль.

— Благодарю вас, непременно приеду,— ответил Деперен.

Коляска покатила в сторону Вандама; Жанна и Люси высунулись и, смеясь, что-то еще крикнули отцу, стоявшему у обочины дороги. Негрель гарцевал почти у самых колес экипажа.

Проехали через лес, от Вандама свернули на Маршьенскую дорогу. Когда подъезжали к Тартаре, Жанна спросила у г-жи Энбо, знает ли она Зеленый Склон, и оказалось, что супруга директора копей, хотя она пять лет прожила в Монсу, никогда не ездила в ту сторону. Тогда решили сделать крюк. Тартаре, находившаяся у опушки леса, представляла собою дикую, невозделанную пустошь, бесплодную, словно вулканический гранит,— под нею в недрах земли целые века горели угольные пласты. Об этом подземном пожаре сложились легенды; местные углекопы рассказывали страшную сказку о том, как огонь небесный поразил подземный Содом, где откатчицы погрязли в скверне любострастия; кара была столь внезапной, что грешницы не успели выбраться на поверхность и до сих пор горят в глубине этой преисподней. Опаленные породы темно-красного цвета были, словно проказой, покрыты белесыми пятнами квасцов. По краям трещин, как желтые цветы, проглядывали кристаллы серы. Смельчаки, дерзавшие заглянуть в эти расщелины, клялись и божились, что ночью они видели там пламя и слышали, как стонут, сгорая на раскаленных угольях пожарища, грешные души. По поверхности земли пробегали блуждающие огни; постоянно клокотали горячие пары, отравлявшие воздух зловонием мерзкой кухни дьявола. И, словно чудо вечной весны, посреди этой проклятой Адовой пустоши возвышался Зеленый Склон, с вечно зеленевшей травой, развесистыми буками, на которых непрестанно возобновлялись листья, с нивами, на которых собирали по три урожая в год. Это была природная теплица, обогреваемая пожа-

ром, не затихавшим в глубоких горючих пластах. Снег там не задерживался. В этот декабрьский день близ оголенного Вандамского леса красовался огромный букет зелени, даже по краям не пожелтевшей от заморозков.

Вскоре коляска опять покатила по равнине. Негрель, высмеивая легенду, объяснял, каким образом возникают пожары в угольных копях — чаще всего от самовозгорания слежавшейся угольной пыли; если не удается потушить пламя, оно горит бесконечно долго; Негрель привел в пример одну шахту в Бельгии, которую пришлось затопить, отведя в сторону речку и направив ее в шахтный ствол. Но Негрель оборвал свой рассказ и притих, заметив, что навстречу коляске поминутно попадаются идущие кучками углекопы. Они проходили молча, бросая косые взгляды на седоков, и неохотно уступали дорогу роскошному экипажу. Число встречных все увеличивалось. По мосту, перекинутому через Скарпу, лошадей пришлось пустить шагом. Что же это происходит? Почему столько народу на дорогах? Барышни испугались. Негрель понял, что в краю, охваченном волнением, готовится схватка, и почувствовал великое облегчение, когда приехали наконец в Маршьен. При ярком солнечном свете померкли огни коксовых батарей и доменных печей; они выбрасывали только султаны дыма и дождем рассыпали в воздухе черную сажу.

II

В шахте Жан-Барт Катрин работала уже целый час, подталкивая вагонетки до «подставы»; она обливалась потом, ей приходилось останавливаться на секунду, чтобы вытереть лицо.

В лаве, где Шаваль рубил уголь вместе с другим забойщиком своей артели, вдруг не стало слышно грохота колес. Он удивился. Лампы горели плохо, угольная пыль мешала видеть.

— Что там? — крикнул он.

Катрин ответила, что она наверняка растает, а сердце у нее вот-вот вырвется из груди.

Шаваль сердито заметил:

— Дура! Сделай, как мы,— сними рубашку.

Работа шла на глубине в семьсот восемь метров, в первом штреке пласта Дезире, в трех километрах от рудничного двора. Когда речь заходила об этой части шахты, местные углекопы бледнели и понижали голос, как будто говорили об аде; чаще всего они просто качали головой, словно им совсем не хотелось говорить об этих глубинах, пышущих жаром. По мере того как выработки углублялись к северу, они все больше приближались к Тартаре, проникали в область подземного пожара, от которого

вверху обугливались камни. В том месте, до которого доходили выработки, средняя температура равнялась сорока пяти градусам. Углекопы попали в проклятое место, в самое пекло, люди, проходившие по равнине, как раз там и видели пламя в трещинах, изрыгавших серу и смрадные пары.

Катрин, уже работавшая без куртки, после некоторого колебания сняла и штаны; оставшись в одной рубашке, она подпоясалась бечевкой и сделала напуск, как у блузы; потом ухватилась обнаженными руками за вагонетку и покатила ее.

— Так все же лучше! — громко сказала она.

Она задыхалась, да и смутный страх не давал ей покоя. Пять дней они работали тут, и все эти дни ей вспоминались страшные сказки, слышанные в детстве,— легенды об откатчицах давних времен, сгоревших под Адовой пустошью в наказанье за такие страшные грехи, что о них и говорить-то никто не смел. Конечно, теперь она взрослая и не верит всяким выдумкам, ну, а все-таки... Вдруг выйдет из стены нагая девушка,— тело у нее будет красное, как раскаленная чугунная печка, а глаза так и вспыхнут, как горящие головни. От таких мыслей у Катрин еще больше колотилось сердце.

На «подставе», в восьмидесяти метрах от забоя, другая откатчица брала у нее вагонетку и катила еще на протяжении восьмидесяти метров дальше — к бремсбергу, а там тормозной отправлял их вагонетку вместе с теми, которые спускали из верхних промежуточных штреков.

— Ну и вырядилась! — заметила вторая откатчица, тридцатилетняя тощая вдова, заметив, что Катрин работает в одной рубашке.— А вот я не могу так — коногоны и без того житья не дают, кричат всякие пакости.

— А ну их! — ответила Катрин.— Наплевать на мужчин. Невмоготу мне!

Она двинулась в обратный путь, толкая пустую вагонетку. В этом глубоком штреке, кроме соседства Тартаре, нестерпимую жару поддерживало и то, что рядом находилась выработка очень глубокой заброшенной шахты Гастон-Мари, где десять лет тому назад произошел взрыв гремучего газа, вызвавший пожар,— пласт угля до сих пор горел там, за построенной глиняной перемычкой, которую постоянно поддерживали, чтобы пожар не распространился дальше. Без доступа воздуха огонь должен был погаснуть, но, вероятно, его раздувал никому не ведомый приток воздуха, и уголь горел уже десять лет, накаляя глиняную плотину, как кирпичи в печке, до такой степени, что она так и обдавала жаром тех, кто проходил мимо нее. И как раз вдоль этой раскаленной стены, тянувшейся на протяжении ста метров, Катрин и приходилось вести откатку при температуре в шестьдесят градусов.

После двух таких путешествий Катрин совсем задохнулась. К счастью, на пласте Дезире, одном из самых мощных в этом районе, выработки были широкие и удобные. Пласт угля был почти двухметровой толщины, так что забойщики могли работать стоя. Но они предпочли бы рубить уголь в самом неудобном положении, лишь бы было прохладнее.

— Эй ты там, уснула, что ли? — опять разозлился Шаваль, не слыша больше Катрин.— Вот кляча дохлая! Ну-ка, живо! Насыпай вагонетку да кати.

Катрин стояла в конце лавы, опершись на лопату, и в каком-то оцепенении тупо смотрела на забойщиков. Она плохо их различала при красноватом свете ламп; все они были совершенно голые, но такие черные, покрытые корой из угольной пыли, смешавшейся с потом, что их нагота не смущала Катрин. Казалось, в полумраке работают какие-то животные, огромные обезьяны: мелькают взмахи мохнатых рук, напрягаются спины,— или то картина ада, где осужденные на вечные муки несчастные существа надрываются в непосильном труде и слышны их стенанья, глухие удары их орудий. Но мужчины, должно быть, лучше видели ее, чем она их, обушки перестали стучать, послышались насмешливые голоса:

— Эй, девка, берегись, простудишься!

— Гляди-ка, а ноги-то у нее настоящие, не щепки какие-нибудь. Слушай, Шаваль, тут ведь и на двоих хватит.

— Постой, надо посмотреть. Подними-ка шлейф. Повыше! А ну еще выше!

Шаваль, не сердясь на эти насмешки, набросился на Катрин:

— Ну, так и есть, развесила уши! Слушать пакости — это она любит. До самого утра будет торчать тут.

С трудом загребая лопатой уголь, Катрин наполнила наконец вагонетку, потом покатила ее. Штрек был широкий, она не могла упираться в стойки, поставленные по его стенкам, босые ступни подвертывались на рельсах, когда она искала там точки опоры; и она двигалась медленно, вытянув вперед напряженные руки и согнувшись под прямым углом. А когда пришлось проходить мимо глиняной перегородки, опять началась пытка; Катрин сразу же стала обливаться потом, крупные капли градом падали с нее. Она кое-как одолела треть пути, но дальше идти не могла, ослепнув от струящегося пота и черной угольной грязи. Рубашка, как будто смоченная чернилами, прилипала к телу и в напряженном усилии ног задиралась чуть ли не до пояса, шагать было так трудно и больно, что ей опять пришлось остановиться.

Да что это с нею сегодня? Еще никогда так не бывало... Ноги точно ватные, кости будто размякли. Должно быть, все от духоты. Вентиляция не доходит до такого далекого закоулка. Воздух спер-

тый, да еще из угольного пласта с легким бульканьем и журчанием выбиваются какие-то пары, и подчас их бывает так много, что лампы еле-еле горят; о гремучем газе и говорить нечего — никто на него и внимания не обращает: столько его нанюхаются рабочие, что больше и не замечают. Катрин хорошо знала этот «мертвый воздух», как говорили углекопы,— внизу тяжелые, удушливые газы, вверху легкие — те, которые, вдруг вспыхнув, взрывают все выработки шахты, убивают сотни людей единым ударом грома. С детства она много наглоталась гремучего газа, удивительно, почему она сегодня так плохо его переносит, почему у нее так звенит в ушах, так першит в горле.

Нет больше сил! Сорвать, сорвать с себя рубашку! Ведь это сущая пытка, малейшая складочка режет, жжет тело. Катрин боролась с собой, пыталась толкать вагонетку и вынуждена была все бросить и выпрямиться. И сразу же, решив, что прикроется на «подставе», она с лихорадочной поспешностью сорвала с себя и бечевку и рубашку и, если бы можно было, содрала бы с себя и кожу. И, раздевшись теперь догола, жалкая, несчастная, словно голодная собака, что семенит в грязи по дорогам в поисках пропитания,— она надрывалась, как ломовые клячи, перемазанные по самое брюхо жидкой черной грязью. Она ползла на четвереньках и толкала вагонетку.

Но муки не стихали, нагота не принесла ей облегчения. Что же еще сбросить с себя? В ушах стоял оглушительный звон, виски как будто сдавило тисками. Она упала на колени. Лампа, поставленная стоймя в вагонетке среди кусков угля, казалось, угасла. Мысли в голове путались, из хаоса их выплывало только одно — надо подкрутить фитиль. Два раза она пыталась осмотреть лампу, но как только ставила ее перед собою на землю, огонь становился тусклым, бледным, будто и он тоже задыхался. Вдруг лампа потухла. И тогда все полетело в черную бездну; в голове как будто вращался мельничный жернов, сердце сразу остановилось, перестало биться, словно тоже оцепенело от той бесконечной усталости, которая сковала все тело Катрин. Она упала навзничь, задыхаясь в пелене удушливых газов, стлавшихся над землей.

— Ах ты собака этакая! Кажется, опять лодырничает! — загудел голос Шаваля.

Он прислушался, стоя в верхнем конце забоя, и не услышал грохота колес.

— Эй, Катрин, змееныш дохлый!

Голос разнесся далеко по темной галерее.

В ответ — ни звука.

— Ну погоди! Я сейчас тебя расшевелю!

Никакого отклика, ни малейшего движения. Могильная тишина. Шаваль, разозлившись, побежал со своей лампочкой так

быстро, что чуть не упал, споткнувшись о тело, лежавшее поперек штрека. Катрин? Он с изумлением глядел на нее. Что это с ней? Это не притворство. Легла не затем, чтобы соснуть. Он нагнулся, опустил лампу, чтобы осветить лицо упавшей, но лампа едва не угасла. Он приподнял ее, снова опустил и тогда все понял: Катрин в обмороке от «мертвого воздуха». Злоба улеглась, в душе пробудилось благородное чувство — стремление помочь товарищу в минуту опасности. Он крикнул, чтобы принесли ему рубашку, и, подхватив нагое бесчувственное тело, поднял его как можно выше. Когда ему набросили на плечи одежду их обоих, он побежал бегом, обхватив одной рукой свою ношу, в другой держа обе лампы. Без конца тянулась галерея. Шаваль мчался, сворачивал направо, сворачивал налево, искал животворной струи холодного воздуха, который дул над равниной и проникал в шахту через вентиляционный ствол. Наконец он остановился, услышав журчание воды,— из-под каменной глыбы вытекал подземный ручеек. Они оказались на перекрестке главного откаточного пути, проложенного когда-то для шахты Гастон-Мари. Из вентиляционного хода воздух дул с ураганной силой, тут было так холодно, что Шаваль весь дрожал; посадив Катрин на землю, он прислонил ее к деревянной обшивке; она все еще была без сознания и не открывала глаза.

— Катрин, ну, Катрин!.. Ах, черт!.. Не дури! Погоди немножко, сейчас я водой тебя побрызгаю.

Ему стало страшно, что она такая вялая, безжизненная. Он торопливо намочил в ручейке свою рубашку, вымыл Катрин лицо. Она не шевелилась, словно мертвая, погребенная в подземном склепе, скрывшем ее хрупкое тело, только еще вступившее в пору созревания. Потом дрожь пробежала по груди, по животу, по узким бедрам этой несчастной девочки, преждевременно ставшей женщиной. Она открыла глаза, пролепетала:

— Холодно!

— Ух! — с облегчением вздохнул Шаваль.— Ну вот! Так-то оно лучше!

Он поспешил одеть ее, просунул ее голову в вырез рубашки, ворчал и ругался, натягивая на нее штаны,— Катрин не могла помочь ему. Она все еще была как во сне, не понимала, где находится, почему оказалась голая. Когда она все вспомнила, ей стало стыдно. Да как же она решилась все с себя снять! Шаваль посмеивался и придумывал всякую чепуху,— говорил, что, пока он нес ее, все товарищи шпалерами стояли на пути и смотрели на нее. Что ж это ей вздумалось послушаться его совета и ползать нагишом? Потом стал ее успокаивать, дал честное слово, что товарищи даже не успели разглядеть, толстая она или тощая, так быстро он мчался.

— Ох и холодно! Замерз я! — сказал он, одеваясь, в свою очередь.

Никогда еще он не был с Катрин таким добрым. Ей редко доводилось услышать от него ласковое слово, зато уж сколько угодно она слышала грубостей. Как хорошо было бы жить дружно, в согласии. В эту минуту болезненной слабости и утомления нежность заливала ее душу. Она улыбнулась ему и шепнула:

— Поцелуй меня!

Он поцеловал ее и прилег рядом с нею, дожидаясь, когда она сможет пойти.

— Вот видишь,— заговорила она,— зря ты на меня кричал. Ведь я из сил выбилась, право! В забое вам еще не так жарко. А вот если бы ты знал, как печет в штреке около перемычки!

— Ну понятно, в лесу под деревьями куда прохладнее,— ответил Шаваль.— Трудно тебе на этой шахте, я знаю, бедняжка ты моя!

Она была тронута его сочувствием и стала бодриться:

— Да, тут плохое расположение. И нынче еще такой воздух испорченный... Но вот погоди, сейчас увидишь — я вовсе не дохлый змееныш. Раз взялся за работу, так работай, верно? Я лучше помру, а свое дело сделаю.

Наступило молчание. Обняв Катрин одной рукой, он прижимал ее к своей груди, чтоб она не простудилась на сквозняке. А Катрин хоть и чувствовала, что она уже в силах вернуться к работе, с наслаждением длила минуту забытья.

— Только вот мне очень хочется,— вполголоса промолвила она,— очень хочется, чтобы ты был поласковее... Ведь так хорошо, когда люди любят друг друга.

И она тихонько заплакала.

— А я разве не люблю тебя? — рявкнул Шаваль.— Ведь я же взял тебя к себе.

Она ничего не ответила, только покачала головой. Часто бывало, что мужчины сходились с женщинами, чтобы обладать ими, но нисколько не заботились об их счастье. Слезы ее стали теперь горючими,— так тяжело было думать, что она могла бы жить счастливо, если бы попался ей другой, добрый парень, который всегда вот так бы защищал ее крепкой своей рукой. Другой, добрый? И в этот миг душевного смятения перед нею вставал смутный образ другого. Да что ж вспоминать? Все кончено, теперь у нее было лишь одно желание — прожить до конца дней своих вот с этим человеком, только бы он не мучил ее.

— Пожалуйста,— сказала она,— пожалуйста, постарайся быть иногда таким, как сейчас.

Разрыдавшись, она не могла говорить, и он снова поцеловал ее.

— Глупенькая! Ладно! Ей-богу, вот клянусь, не стану больше обижать тебя! Или я хуже других? А?

Она смотрела на него и улыбалась сквозь слезы. Может быть, он и прав. Где встретишь счастливых женщин? И хоть она не очень верила его клятве, было так радостно видеть его ласковым. Боже мой, если б навеки так осталось! Наконец они успокоились и прильнули друг к другу в долгом объятии, но тут послышались шаги, и тогда оба встали. Трое товарищей, видевших, как Шаваль нес Катрин, пришли узнать, что с ней.

Назад отправились все вместе. Было около десяти часов; выбрав прохладный уголок, позавтракали, прежде чем опять приняться за работу в жаре, в духоте и вновь обливаться потом. Доев «двойной» бутерброд из черного хлеба, только собрались было выпить по глотку кофе из фляги, как вдруг их встревожил гул, донесшийся издали. Что там? Какая еще беда стряслась? Все поднялись, побежали. Ежеминутно встречались им в квершлаге забойщики, откатчицы, коногоны, тормозные, и никто не знал, что случилось. Люди кричали. Верно, случилось несчастье. Мало-помалу страх охватил всю шахту, из штреков выбегали обезумевшие от ужаса люди, с лампочками, плясавшими в руках, мчались в темноте. Да где произошла катастрофа? Почему не предупреждают?

Вдруг прошел штейгер, выкрикивая на ходу:

— Режут тросы! Режут тросы!

Началась паника. Люди как бешеные понеслись по темным ходам. Все потеряли голову. Зачем перерезают тросы? Кто перерезает? Ведь в шахте люди работают. Это казалось чудовищным.

Раздался и пропал вдали голос другого штейгера:

— Забастовщики из Монсу режут тросы. Все наверх!

Лишь только Шаваль услышал это, он сразу остановил Катрин. При мысли, что, выбравшись из шахты, он встретит тех, что пришли из Монсу, у него подкосились ноги. Так, значит, явилась та шайка! А он-то полагал, что ее утихомирили жандармы! Шаваль решил было повернуть назад и подняться через ствол шахты Гастон-Мари, но там давно не было ни бадьи, ни лестниц. Он сыпал ругательствами, колебался и, скрывая страх, кричал, что глупо бежать как сумасшедшим. Разве их оставят на дне шахты?

Снова вблизи раздался голос штейгера:

— Все наверх! Скорее! К лестницам!

И волна бежавших подхватила Шаваля.

Он грубо толкал Катрин, кричал, что она еле тащится. Хочет, верно, чтобы они одни остались в шахте и сдохли бы тут с голоду. Ведь разбойники, нагрянувшие из Монсу, способны сломать лестницы, не дожидаясь, когда люди поднимутся. Это гнусное подозрение довершило всеобщее безумие; люди неслись

по выработкам как исступленные, как сумасшедшие, стараясь обогнать других, первыми примчаться к лестницам и подняться раньше всех. Бегущие кричали, что лестницы сломаны и никто не выйдет. А когда ошалевшие от страха люди начали выбегать в рудничный двор, там поднялась свалка,— все бросились к запасному стволу, устроили драку перед узкой дверцей лестничного хода; старик конюх, уведя, осторожности ради, лошадей в конюшню, смотрел на эту картину с презрительной беспечностью, ибо привык проводить ночи под землей и был уверен, что его-то всегда вытащат отсюда.

— Черт тебя дери, лезь впереди меня! — сказал Шаваль, подталкивая Катрин.— Я хоть поддержу тебя, если ты сорвешься.

Пробежав три километра, ошеломленная, едва дыша, вновь обливаясь потом, она ничего не соображала и только отдавалась течению людского потока. Тогда Шаваль потащил ее за собой с такой силой, что чуть не сломал ей руку; она жалобно вскрикнула, слезы брызнули у нее из глаз. Значит, он уже забыл о своей клятве? Никогда ей не быть счастливой!

— Да иди же ты! — зарычал он.

Но Катрин очень боялась его. Если подниматься впереди него, он все время будет ее мучить, делать ей больно. И она упиралась, а толпа обезумевших людей отталкивала их в сторону. Вода, просочившись из стенок шахтного ствола, падала крупными каплями, дощатый настил, дрожавший под ногами бежавших, вот-вот мог проломиться над сточным колодцем глубиною в десять метров. Как раз в Жан-Барте два года назад произошел ужасный случай: оборвался трос, клеть упала в сточный колодец, и два человека утонули в жидкой грязи. И теперь каждый думал об этом: ведь все могли погибнуть тут, если толпа сгрудится и настил провалится.

— Дура несчастная! — крикнул Шаваль.— Подыхай, коли так! Мне руки развяжешь.

Он полез по лестнице. Катрин последовала за ним.

От подошвы шахты до поверхности было устроено сто две лестницы — все одинаковой длины — около семи метров; каждая поставлена была на узкую площадку, занимавшую весь поперечник колодца; человек с трудом мог протиснуться в остававшийся свободным квадратный тесный просвет; это была как бы плоская труба высотою в семьсот метров; между стенкой шахтного ствола и стенкой сруба, в котором прежде двигалась клеть, тянулась вверх сырая, темная, бесконечная нора, где правильными ярусами громоздились одна над другой лестницы, поставленные почти отвесно. Сильному мужчине и то требовалось двадцать пять минут, чтобы одолеть этот гигантский подъем. Впрочем, запасным ходом пользовались лишь в случаях катастроф.

Сначала Катрин поднималась бодро. Ее босые ноги привыкли к острому щебню, устилавшему откаточные ходы, их не резали прямоугольные ступени лестниц, окованные для прочности железом. Руки, крепкие, как у всех откатчиц, без устали хватались за перила, слишком для них широкие. Трудности этого нежданного подъема даже занимали ее, отвлекали от горестных мыслей. Как длинная змея, ползла вереница людей, по три человека на каждой лестнице,— такая длинная, что если бы голова ее уже выбралась на поверхность, хвост еще тянулся бы по настилу над сточным колодцем. Однако до поверхности еще было далеко; люди, взбиравшиеся первыми, одолели около трети подъема. Никто не произносил ни слова, ноги ступали с глухим стуком, лампы, словно гирлянда блуждающих звезд, поднимались все выше, выше, бесконечной, все удлинявшейся вереницей.

Катрин слышала, как мальчишка-откатчик, поднимавшийся вслед за нею, считал, сколько пройдено лестниц. Тогда и она принялась считать. Одолели пятнадцать лестниц, приближались ко второму рудничному двору. Вдруг она ударилась головой о ноги Шаваля. Он выругался и крикнул: «Эй, осторожней!» От одного к другому звену вся цепь остановилась, замерла. Что там? Что случилось? Каждый вдруг обрел голос, спрашивал, ужасался. Особенно волновались нижние,— то неведомое, что ожидало их наверху, томило их тем больше, чем выше они карабкались. Кто-то заявил, что надо спускаться: вверху сломаны лестницы. Всех терзал страх — вдруг впереди разверзнется пустота. Затем из уст в уста перелетело другое объяснение: какой-то забойщик поскользнулся и едва не упал с лестницы. Никто в точности не знал, что произошло; в начавшемся вдруг шуме ничего не было слышно. Да как же это? Ночевать тут, что ли? Наконец, хотя так ничего и не выяснилось, люди снова начали взбираться вверх, все так же медленно и тяжко; опять затопали ноги, заплясали лампы. Должно быть, лестницы сломаны где-то выше.

На тридцать второй лестнице, когда миновали рудничный двор, у Катрин стало сводить судорогой руки и ноги. Сначала она почувствовала только легкое покалывание. Потом ступни и ладони онемели, не ощущали ни железа, ни дерева. Боль, сначала тупая, потом острая, жгучая, скручивала мышцы. Вся замирая от ужаса, Катрин вспомнила рассказы старика деда о тех временах, когда не было подъемной машины и клетей и когда десятилетние девчонки выносили в корзинах уголь из шахты на своих плечах, карабкаясь по лестницам без перил; стоило одной из носильщиц поскользнуться или просто куску угля выпасть из корзины, и три-четыре девочки падали головой вниз. Судороги становились нестерпимыми,— никогда ей не выбраться отсюда.

Каждая остановка была для Катрин отдыхом. Но всякий раз

сверху, с поверхности земли, веяло что-то грозное и ошеломляло ее. А снизу неслось тяжелое, прерывистое дыхание измученных людей; от этого бесконечного подъема у них кружилась голова, их начинало мутить. Катрин задыхалась, была как пьяная, одурманенная этим мраком, этим карабканьем в тесной норе, царапавшей ей плечи корявыми стенками. Она вся дрожала от холодной сырости, ледяные капли проникали сквозь одежду и, как иголками, кололи тело, покрытое испариной. Близка была поверхность земли, грунтовая вода низвергалась проливным дождем, грозившим погасить лампы.

Шаваль дважды окликал Катрин и не получал ответа. Что она там, спрашивается, делает? Или язык проглотила? Могла бы, кажется, сказать, держится ли она на ногах. Подъем длился полчаса, но люди шли так медленно, с таким трудом, что пока еще добрались только до пятьдесят девятой лестницы. Оставалось еще сорок три. Катрин наконец пролепетала, что она держится,— ведь Шаваль обругал бы ее дохлым змеенышем, если б она призналась, что очень устала. Должно быть, окованные железом ступени поранили ей подошвы ног. Катрин чудилось, что в них до самых костей впиваются зубья пилы. Ладони покрылись ссадинами. Пальцы так закоченели, что она не могла как следует согнуть их. Она судорожно хваталась за перила, но все боялась, что руки соскользнут с них; ей казалось, что вот-вот она опрокинется навзничь, или вывихнет себе плечи из-за непрестанного напряжения мышц, или вывернет ногу в бедре. Как мучительно было карабкаться по этим бесконечным, почти отвесным лестницам, подтягиваясь на руках, прижимаясь животом к ступенькам. Теперь шум тяжелого дыхания поднимавшихся людей заглушал шорох их шагов; это дыхание, этот прерывистый хрип, гулко отдававшийся в узкой трубе, шел от самого дна шахты и замирал на поверхности земли. Раздался жалобный стон; по вереницам людей пробежали испуганные возгласы: какой-то откатчик разбил себе лоб о карниз площадки.

Катрин все взбиралась и взбиралась. Поднялись выше выработок. В сыром промозглом воздухе, пропитанном запахом старого железа и гниющего дерева, расплывался туман. Катрин машинально считала шепотом: восемьдесят одна, восемьдесят две, восемьдесят три,— осталось еще девятнадцать лестниц. Только это ритмичное бормотанье еще и поддерживало ее. Она не сознавала, что делает. Когда она вскидывала глаза, огни лампочек кружились перед ней, извивались спиралью. Кровь застывала у нее в жилах; она чувствовала близость смерти, малейший ветерок мог бы сбросить ее в пропасть. Хуже всего было то, что нижние заторопились, и всю колонну охватило гневное, все возраставшее нетерпение, порожденное усталостью и неистовым желанием

поскорее увидеть солнце. Все, кто поднимался первым, вышли,— значит, лестницы не были сломаны; но страшное подозрение, что их еще могут сломать, чтобы не дать последним выбраться, когда другие успели выйти и дышат свежим воздухом,— окончательно свело людей с ума. И стоило произойти остановке, они разражались руганью, лезли вверх, карабкались, дрались, отталкивали друг друга, готовые подняться вверх по трупам.

И тут Катрин упала. Она в отчаянии выкрикнула имя любовника, но Шаваль не слышал,— он сражался, он каблуками ломал ребра товарищу, чтобы вылезти раньше. Катрин покатилась вниз, под ноги людям, и ее едва не затоптали; ей чудилось, что она — маленькая откатчица былых лет и что кусок угля, выпавший вверху из корзины, сбросил ее в шахту, как воробушка, подбитого камнем. Оставалось одолеть только пять лестниц. На подъем ушло около часу, Катрин так никогда и не узнала, как она выбралась, как ее вынесли на плечах, как ей не дала упасть сама теснота хода. И вдруг в глаза ей ударило солнце, а вокруг заревела, заулюлюкала толпа разгневанных людей.

III

Утром, еще до рассвета, рабочие поселки заволновались; по дорогам потянулись люди. Но предполагавшийся поход не состоялся: распространилась весть, что по равнине рыщут драгуны и жандармы. Говорили, что они прибыли ночью из Дуэ. Раснера обвиняли в предательстве: уверяли, будто именно он предупредил директора; одна сортировщица утверждала, что она сама видела, как директорский камердинер понес на телеграф депешу. При бледном свете занимающегося дня углекопы, сжимая кулаки, следили сквозь щели решетчатых ставен за проезжавшими по улице солдатами.

Около половины восьмого утра, когда вставало солнце, разнесся другой слух, успокоивший нетерпеливые головы. Весть о карательных отрядах оказалась ложной. Солдаты выехали просто на военную прогулку, какие с начала забастовки генерал иногда устраивал по просьбе префекта города Лилля. Забастовщики ненавидели префекта за то, что этот сановник обманул их: обещал выступить посредником и примирителем, а вместо этого по его требованию каждую неделю, для устрашения рабочих, в Монсу дефилировали конные отряды. И когда драгуны и жандармы спокойно двинулись в обратный путь, на Маршьен, ограничившись объездом рабочих поселков, оглушая их топотом своих коней, отбивавших копытами барабанную дробь по мерзлой земле, углекопы посмеялись над болваном префектом и его солдатами, убрав-

шимися восвояси, хотя именно теперь-то дело и станет жарким. До девяти часов они смирно стояли у своих домов, провожая взглядом широкие спины последних в колонне жандармов, проезжавших по мостовой. В Монсу буржуа еще спали на широких постелях, зарывшись в подушки. Служащие дирекции видели из окон, как г-жа Энбо поехала куда-то в коляске, а сам директор, вероятно, остался дома за работой; в запертом особняке царила мертвая тишина. Ни одну из шахт не охраняли войска — роковая непредусмотрительность в час опасности, обычная глупость властей, когда они, не замечая надвигающейся катастрофы, не понимая обстановки, допускают ошибку за ошибкой. Пробило девять часов, и углекопы двинулись наконец по Вандамской дороге, направляясь к месту сбора, назначенному накануне на сходке в лесу.

Впрочем, Этьен сразу понял, что у шахты Жан-Барт не соберутся три тысячи рабочих, как он рассчитывал: многие полагали, что выступление отложено. Но больше всего следовало опасаться, что две-три группы, уже отправившиеся туда, могут испортить все дело, если он не станет во главе их. Человек сто, вышедших еще до рассвета, должны были, укрывшись в лесу под буками, дождаться остальных. Суварин, к которому он зашел посоветоваться, пожал плечами: десять решительных молодцов сделают куда больше, чем огромная толпа; и, отказавшись принять участие в этом походе, он вновь погрузился в чтение книги, лежавшей перед ним. Ведь опять на сцену выступят всякие чувства, а было бы совершенно достаточно прибегнуть к весьма простому средству: спалить Монсу. Выйдя из комнаты Суварина в коридор, Этьен увидел, что Распер сидит перед камином, весь бледный; его жена, в неизменном своем черном платье, стояла, выпрямившись во весь рост, и обличала мужа в язвительных, но вежливых выражениях.

Маэ считал, что слово надо сдержать. Раз приняли решение собраться — это свято. Однако за ночь лихорадочное возбуждение, несомненно, у всех улеглось, и теперь Маэ опасался, как бы не случилось провала. Он говорил Этьену, что им обоим надо быть в Жан-Барте и поддержать в товарищах стремление бороться за свои законные права. Жена Маэ одобрительно кивала головой. Этьен все твердил, что нужно действовать революционным путем, не посягая, однако, ни на чью жизнь. Перед уходом он отказался от своей доли хлеба, которую ему выдали накануне вместе с бутылкой можжевеловой водки; но он выпил три стаканчика подряд,— просто для того, чтобы согреться,— и даже захватил с собою полную флягу. Альзиру оставили дома, велели ей присматривать за детьми; старик дед столько ходил вчера, что у него разболелись ноги, и он не мог встать с постели.

Из осторожности не пошли гурьбой. Жанлен куда-то исчез. Маэ с женой двинулись вдвоем в сторону Монсу, а Этьен направился к лесу, решив присоединиться там к товарищам. Дорогой он встретил группу женщин и среди них приметил Горелую и жену Левака: они ели на ходу принесенные Мукеттой каштаны, поглощая их вместе с кожурой,— «чтобы подольше жевать и побольше живот набить». Но в лесу Этьен никого не нашел, все направились в Жан-Барт. Он бросился туда и поспел как раз в ту минуту, когда человек сто углекопов, среди которых был Левак, подходили к шахте. Люди собирались со всех сторон: Маэ с женой шли по большой дороге, женщины — напрямик, через поля; все шли вразброд, без вожаков, без оружия, стремясь к шахте так же естественно, как вода разлившихся ручьев стекает по склонам к низине. Этьен заметил Жанлена. Забравшись на мостки сортировочной, мальчишка устроился там, словно зритель на спектакле. Тогда Этьен побежал быстрее и вошел во двор вместе с первыми прибывшими. Собралось не более трехсот человек.

Все немного растерялись, когда на верхней площадке лестницы, которая вела в приемочную, показался Денелен.

— Что вам угодно? — крикнул он зычным голосом.

Проводив взглядом коляску, из которой его дочери, оборачиваясь, улыбались ему, он вернулся на шахту, вновь охваченный смутной тревогой. Однако все там было как будто в порядке, рабочие спустились в шахту, уже выдавали уголь на-гора́, и Денелен немного успокоился; но лишь только он занялся деловым разговором с главным штейгером, сообщили, что подходят забастовщики. Он тотчас бросился к окну сортировочной и, увидев бурлящий людской поток, наводнивший двор его шахты, сразу понял свое бессилие. Как защитить эти строения, открытые со всех сторон? Ему едва удалось собрать вокруг себя человек двадцать рабочих. Все погибло.

— Что вам угодно? — повторил он, бледнея от ярости и делая над собою усилие, чтобы мужественно встретить беду.

Толпа загудела, заволновалась. Наконец выступил вперед Этьен и сказал:

— Господин Денелен, мы не хотим причинить вам зло. Но работу надо прекратить повсюду!

Денелен без стеснения назвал его дураком.

— А если вы остановите у меня работу, так что ж, вы добро мне сделаете? Да ведь это все равно, что вы бы мне в спину выстрелили, в упор... Нет, извините, мои рабочие спустились в шахту и не поднимутся раньше срока. Разве только вы сначала убьете меня!

В ответ на эти резкие слова раздался многоголосый крик. Маэ пришлось удерживать Левака, порывавшегося выскочить с

угрозами; меж тем Этьен, выступивший парламентером, все пытался убедить Денелена в законности революционных действий забастовщиков. Но тот кричал о праве каждого не подчиняться им и работать. А впрочем, заявлял он, не к чему и обсуждать эти глупости,— он хочет быть хозяином на своей шахте. Он жалеет лишь о том, что в его распоряжении нет трех-четырех жандармов, чтобы очистить место от всякого сброда.

— Да, да, поделом мне, сам виноват! С такими людьми, как вы, можно действовать только силой. А то получится, как с нашим правительством, которое воображает, что удастся подкупить вас уступками. Но как только вам дадут оружие, вы свергнете правительство.

Этьен кипел негодованием, но все еще сдерживал себя. Он сказал, понизив голос:

— Прошу вас, господин Денелен, отдайте распоряжение, чтобы рабочих подняли на поверхность! Иначе я не отвечаю за своих товарищей, мне их не удержать. Пока еще можно избегнуть несчастья.

— Нет! Убирайтесь к черту! Кто вы такой? Я вас не знаю. Вы не из моей шахты, нечего вам и рассуждать... Только разбойники рыщут вот так по дорогам и грабят дома.

Злобные выкрики заглушили его голос; в особенности изощрялись в оскорблениях женщины. Денелен не унимался — у этого властного человека становилось легче на душе оттого, что он откровенно изливал свое негодование. Раз все равно его ждет разорение, нечего трусить и рассыпаться в бесполезных любезностях. А число подходивших забастовщиков все увеличивалось — их набралось уже человек пятьсот; они сгрудились у ворот и готовы были ринуться и растерзать Денелена. Главный штейгер шахты отдернул его назад:

— Господин Денелен, ради бога! Ведь они всех перебьют! Нельзя же так!

Денелен отбивался, негодовал и в последний раз крикнул толпе:

— Шайка бандитов, вот вы кто! Погодите, будет опять сила на нашей стороне! Будет! Вот тогда мы с вами поговорим!

Денелена увели. Толпа ринулась к лестнице, втолкнула передних на ступеньки, скрутила железные перила жгутом; женщины визжали, вопили, толкали мужчин вперед, натравливали их. Дверь сразу подалась, она была без засовов и замков, запиралась только на щеколду. Но лестница оказалась слишком узка для лавины осаждающих, в сумятице они сдавили друг друга на ступеньках и долго не могли бы войти, если бы в задних рядах не догадались пробраться через другие проходы. И тогда они заполнили все: приемочную, сортировочную, машинное отделение.

Через пять минут им принадлежала вся шахта. Яростно размахивая руками, они с криками рассыпались по всем четырем ярусам, подхваченные бурей восторга, торжествуя свою победу над упрямым хозяином.

Маэ в испуге бросился по лестнице одним из первых, крикнув Этьену:

— Смотри, как бы его не убили. Не давай!

Этьен тоже помчался; потом, догадавшись, что Денелен забаррикадировался в комнате штейгеров, ответил:

— А что поделаешь? Разве мы будем виноваты? Он взбесился.

Все же Этьен очень тревожился, так как еще владел собою и не хотел поддаваться порыву гнева. Кроме того, задета была его гордость — гордость вожака, увидевшего, что приведенное войско вышло из-под его власти, что это неистовство не похоже на картину, рисовавшуюся ему в мечтах: хладнокровное выполнение воли народа. Напрасно он призывал к спокойствию, кричал, что не следует бесцельными разрушениями действовать на руку врагам.

— В котельную! — вопила Горелая.— Погасим огонь.

Левак, найдя напильник, размахивал им, как кинжалом, и, перекрывая страшный шум, пронзительным голосом издал грозный клич:

— Перережем тросы! Перережем тросы!

Вскоре все подхватили клич. Только Этьен и Маэ все еще пытались уговорить товарищей, но голоса их терялись в буре криков, а добиться тишины они не могли.

— Но ведь в шахте люди, товарищи!

Шум усилился, со всех сторон кричали:

— Так им и надо! Зачем спустились?..

— Поделом предателям! Так и надо. Пусть там остаются... Да и нечего хныкать,— могут по лестницам вылезть!

Брошенная кем-то мысль о лестницах подлила масла в огонь, и Этьен понял, что придется уступить. Боясь, что произойдет еще большее несчастье, он кинулся к подъемной машине, решив хотя бы поднять клети, а иначе тросы, перепиленные на самом верху, могли разнести их в щепы, рухнув на них всей своей огромной тяжестью. Машинист куда-то исчез, так же как и дежурные рабочие; Этьен сам ухватил пусковую рукоятку; пока он маневрировал рычагами, Левак и двое других забрались на массивные стропила, поддерживавшие шкивы. Едва только клети встали на упоры, послышался пронзительный визг напильника, врезавшегося в сталь. Настала мертвая тишина; этот звук, казалось, потряс всю шахту, все подняли головы, смотрели, слушали в глубоком волнении. Маэ, стоявший в первом ряду, чувствовал,

как его захватывает угрюмая радость, словно он надеялся, что сталь напильника избавит всех углекопов от горькой судьбы; когда перережут горло одной из проклятых черных пропастей, люди не будут туда спускаться.

А тут вдруг Горелая побежала по лестнице и снова завопила:

— Топки гасить! В котельную! В котельную!

Женщины помчались вслед за ней. Жена Маэ присоединилась к ним, чтобы не дать им все переломать: так же как ее муж, она хотела урезонить товарищей. Она была спокойнее всех в этой толпе и находила, что можно защищать свое право, не производя у хозяев разгрома. Когда она вошла в котельную, женщины успели изгнать оттуда двух кочегаров, и Горелая, вооружившись большой лопатой, присела на корточки перед одной из топок и с яростью принялась выгребать из нее раскаленный жар прямо на кирпичный пол, где уголь продолжал гореть, выпуская черный дым.

Всего в котельной было десять топок на пять генераторов. Вскоре и другие женщины яростно принялись за работу; усердствовала жена Левака, ухватив лопату двумя руками; рядом старалась Мукетта, подоткнув юбки выше колен, чтоб они не загорелись; в этой адской кухне, словно освещённой заревом пожара, все фигуры казались кроваво-красными, все были потные, растрепанные, страшные, словно ведьмы на шабаше. Гора раскаленного угля росла, от жара потолок обширного помещения котельной пошел трещинами.

— Довольно! — крикнула жена Маэ.— Загорится халупа!

— Вот и хорошо! — ответила Горелая.— Чистая будет работа!.. Ах они проклятые! Я ведь говорила, что отплачу им за мужа!

В эту минуту раздался голос Жанлена:

— Осторожней!.. Я сейчас погашу! Сразу пар выпущу!

Он прибежал одним из первых, проскользнул в толпе, радуясь этой суматохе и придумывая, что бы натворить; и ему пришла мысль открыть краны и выпустить из котлов пар. Струи пара вырвались, словно грянули выстрелы; пять котлов вмиг опустели — с воем, с шипением и свистом, с таким громовым грохотом, что ушам было больно. Все исчезло в облаках пара; раскаленный уголь потускнел; жестикулирующие женщины казались тенями. Хорошо был виден только Жанлен,— забравшись на галерею, возвышавшуюся над белой клубившейся пеленой, он взирал на толпу с восторгом и хохотал, разевая рот до ушей, торжествуя, что ему удалось вызвать такой ураган.

Длилось это с четверть часа. На кучу горящего угля вылили несколько ведер воды, чтобы окончательно его загасить, угроза пожара была устранена, но гнев толпы не стихал, наоборот, рас-

палился еще больше. По лестнице сбежали мужчины с молотками в руках, женщины хватали железные прутья; кричали, что нужно разбить генераторы, сломать машины, разрушить шахту.

Этьена предупредили, он прибежал вместе с Маэ. Его и самого захватывала, опьяняла эта буйная жажда мести. Все же он боролся с собой, молил и других успокоиться: ведь тросы перерезаны, топки погашены, котлы опустели,— значит, работы в шахте невозможны. Его не слушали; он видел, что опять его захлестнет эта волна, как вдруг со двора, около низкой дверцы запасного спуска, раздались крики, свист, улюлюканье:

— Долой изменников! Трусы поганые, сволочи! Долой! Долой!

Выходили углекопы, поднявшиеся из шахты по лестницам. Первые, ослепнув от яркого солнца, застыли на месте, растерянно моргая глазами. Потом торопливо двинулись вереницей, думая лишь о том, как бы поскорее выбраться на дорогу и убежать.

— Долой подлецов! Сволочи! Предатели!

Сбежались все забастовщики. В две-три минуты никого не осталось в надшахтных строениях,— пятьсот человек, явившихся из Монсу, выстроились шпалерами: пусть-ка пройдут меж двумя рядами вандамские углекопы, отступники, предатели, вероломно спустившиеся в шахту; и каждого выходившего углекопа, одетого в отрепья, покрытого черной грязью, встречали жестокими насмешками: «Гляди-ка, гляди — ножки будто кочки, а зад как бочка», «А у этого нос провалился. Скажи спасибо шлюхам из «Вулкана», «А вон у того глаза слиплись, разлепить не может, желтым воском заросли!», «А этот-то, этот! Ну и долговязый, ну и сухопарый! Чисто жердь!» Вылезла толстая откатчица,— раздался неистовый хохот: «Эй, грудастая, брюхастая, задастая!» Каждый норовил ее пощупать. Насмешки переходили в издевательства, того и гляди посыпались бы тумаки. Шествие несчастных углекопов все не кончалось, они проходили гуськом, дрожа от холода, молча сносили оскорбления, бросая исподлобья косые взгляды, втягивали голову в плечи, ожидая побоев, и с облегчением вздыхали, когда оказывались за воротами и могли наконец убежать.

— Да что ж это! Сколько их там? — воскликнул Этьен.

Он удивлялся, что углекопы все выходят и выходят, его возмущала мысль, что спустилась в шахту вовсе не горстка голодных людей, запуганных штейгерами. Значит, на вчерашней сходке в лесу ему солгали? В шахте Жан-Барт почти все вышли на работу. И вдруг у него вырвался крик негодования, он бросился к двери, увидев у порога Шаваля.

— Ах негодяй! Так вот для чего ты нас позвал?

Послышались ругательства, началась толкотня, забастовщики готовы были кинуться на предателя! Вот оно что! Вчера вме-

сте с нами клятву давал, а нынче со всей своей шатией-братией в шахту полез! Посмеяться над людьми вздумал?

— Хватай его! В шахту! В шахту!

Шаваль, бледный от страха, что-то бормотал, пытаясь оправдаться. Но Этьен, охваченный, как и все, яростью, оборвал его и закричал вне себя:

— Ты хотел с нами идти, вот и пойдешь... Ну, марш, гадина!

Новые крики заглушили его голос. Появилась Катрин, ослепшая от яркого солнца, замиравшая от ужаса перед исступленной толпой. Ноги ее, перебравшие каждую ступеньку ста двух лестниц, подкашивались, ладони кровоточили, она задыхалась. И вдруг мать, увидев ее, бросилась к ней, замахнулась, чтобы ее ударить.

— Ах мерзавка! И ты тоже?.. Мать подыхает с голоду, а ты ее предаешь ради любовника!

Она хотела дать дочери пощечину, но муж удержал ее руку. Но Маэ и сам был в бешенстве и, схватив Катрин за плечи, тряс ее, осыпая упреками за недостойное поведение. Они с женой потеряли голову и кричали громче всех.

При виде Катрин Этьен окончательно пришел в неистовство, он повторял:

— В дорогу! К другим шахтам! И ты тоже пойдешь с нами, мерзавец!

Шаваль едва успел взять в раздевальне свои деревянные башмаки и натянуть на себя вязаную шерстяную фуфайку. Его обступили, дергали, и он поневоле бежал вместе с другими. Катрин тоже надела башмаки, наспех застегнула у ворота старую мужскую куртку, которую носила зимой вместо пальто, и, обезумев от ужаса, побежала вслед за любовником, не желая бросать его в беде,— она была уверена, что его растерзают.

В какие-нибудь две минуты шахта Жан-Барт опустела. Жанлен, подобрав где-то пастуший рожок, дул в него, издавая хриплые звуки, как будто собирал стадо коров. Женщины — Горелая, жена Левака, Мукетта — подоткнули юбки, чтоб легче было бежать, а Левак, высоко подняв топор, вертел им, словно тамбурмажор своим жезлом. Подходили все новые люди, собралось уже около тысячи, и толпа вновь устремилась по дороге, словно разлившийся поток. Ворота оказались слишком узки; сломали забор.

— К шахтам! Долой предателей! Снимать с работы!

А в Жан-Барте внезапно настала глубокая тишина. Ни одного человека, ни единого звука. Денелен вышел из комнаты штейгеров и в одиночестве, жестом запретив следовать за ним, осмотрел, что произошло. Он был бледен, но спокоен. Сначала он направился к стволу шахты, остановившись там, вскинул глаза, долго разглядывал перерезанные тросы,— над клетью свешивались теперь бесполезные обрывки стального жгута; смертельные

раны, нанесенные ему напильником, совсем еще свежие, блестели, резко отличаясь от черной его поверхности, смазанной тавотом. Затем Денелен поднялся в машинное отделение, посмотрел на неподвижный шатун, похожий на голень исполинской парализованной ноги; потрогал остывший металл и вздрогнул, словно коснулся холодного тела мертвеца. Спустился затем в котельную, медленно прошел перед угасшими топками, раскрывшими свои зияющие черные пасти, залитые водой; постучал ногой по генераторам,— они издали гулкий звук, как пустые бочки. Ну вот, все кончено! Разорения не миновать. Даже если бы сваркой починить тросы, разжечь огонь под котлами, где взять рабочих? Еще две недели забастовки,— и он банкрот! Но, удостоверившись в совершившейся катастрофе, он не испытывал ненависти к «разбойникам из Монсу»,— он чувствовал всеобщую ответственность за эту беду, всеобщую вековую вину. Скоты они, конечно, но ведь они невежественны, даже читать не умеют. А живут-то как! С голоду подыхают.

IV

По равнине, белой от инея, озаренной бледным зимним солнцем, шла толпа забастовщиков, растекаясь в обе стороны от дороги по свекловичному полю.

Начиная от Коровьей развилки, Этьен вновь стал вожаком. Не останавливая идущих, он выкрикивал распоряжения, вносил порядок в шествие. Впереди бежал Жанлен и трубил в рожок; за ним, в первых рядах, шли женщины,— иные были вооружены палками; жена Маэ, у которой в глазах появилось что-то дикое, казалось, искала взглядом, не появится ли вдали земля Обетованная, царство Справедливости; Горелая, жена Левака и Мукетта шли широким шагом, словно солдаты, отправившиеся на войну. В случае неприятной встречи с жандармами посмотрим, посмеют ли они напасть на женщин. Затем шли вразброд мужчины; шествие растянулось по дороге, расширяясь к хвосту, ощетинившись железными прутьями, и выше всех поднимался, поблескивая на солнце отточенным лезвием, единственный топор, которым помахивал Левак. Этьен двигался в середине процессии, не выпуская из виду Шаваля, которого он поставил впереди себя; а Маэ, шагая позади него, бросал мрачные взгляды на Катрин — она была единственной женщиной в толпе мужчин и упорно семенила вслед за любовником, боясь, как бы с ним не расправились. Многие шли с обнаженными головами, и ветер трепал их волосы; все молчали, слышался только быстрый топот деревянных башмаков, словно бежало по дороге стадо, подгоняемое раскатами пастушьего рожка Жанлена.

Но вскоре вновь раздался крик:

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

Был уже полдень. За полтора месяца забастовки люди изголодались. В этом походе среди полей голод терзал их с особой силой. Утром кто съел сухую корку хлеба, кто несколько каштанов, принесенных Мукеттой. Но это было давно, а сейчас у всех нестерпимо сосало под ложечкой, и муки голода увеличивали злобу против предателей.

— К шахтам! Снимать с работы! Хлеба!

Утром Этьен отказался от своей доли хлеба, а сейчас у него так мучительно жгло в груди. Он не жаловался, но время от времени машинально хватался за флягу и отпивал глоток можжевеловой водки,— он весь дрожал, и ему казалось, что без водки ему не выдержать, что он свалится. Лицо у него пылало, глаза лихорадочно блестели. Однако голова была ясная, он все еще хотел избежать бесцельных разрушений.

Когда подходили к дороге на Жуазель, один из вандамских забойщиков, присоединившийся к шествию по злобе на хозяина и желавший отомстить ему, повернул товарищей вправо, громко закричав:

— К Гастон-Мари! Остановить насос! Пускай вода затопит Жан-Барт!

Повинуясь его призыву, толпа уже поворачивала вправо, несмотря на уговоры Этьена, умолявшего товарищей не останавливать откачку воды из шахты. Зачем же разрушать квершлаги и штреки? Сердце рабочего восставало против этого, несмотря на его вражду к хозяевам. Маэ тоже считал несправедливым обращать гнев на машину. Но забойщик по-прежнему бросал свой клич о возмездии, и тогда Этьен постарался перекричать его:

— В Миру́! Предатели не бросили там работу!.. В Миру́! В Миру́!

Решительным жестом он направил толпу влево, а Жанлен, опять зашагав впереди, затрубил во всю мочь. Толпа заколыхалась, повернула. Шахта Гастон-Мари на этот раз была спасена.

Толпа вновь двинулась, но теперь в сторону Миру́, и расстояние в четыре километра прошла, вернее почти пробежала, в полчаса. В этой стороне бескрайнюю равнину перерезал канал, тянувшийся ледяной лентой. Только прибрежные оголенные деревья, похожие в оболочке инея на гигантские канделябры, нарушали однообразие низменности, расстилавшейся до самого горизонта и там сливавшейся с небом. Гряда холмов скрывала Монсу и Маршьен,— кругом было голое поле, необъятная ширь.

Подойдя к шахте, забастовщики увидели старика штейгера, поднявшегося на мостки сортировочной, чтобы их остановить. Все хорошо знали дядюшку Кандье, старейшего из штейгеров на шах-

тах Монсу, благообразного старика с белоснежными сединами,— он был знаменитостью, ибо каким-то чудом сохранил до семидесяти лет здоровье и силы, все время работая в угольных копях.

— Вы зачем сюда явились, бродяги несчастные? — крикнул он.

Толпа остановилась. Ведь перед ними был не хозяин, а товарищ, и уважение к этому старику рабочему сдерживало их.

— В шахте у вас работают,— сказал Этьен.— Вели всем выйти.

— Да, работают,— заговорил опять старик Кандье.— Человек семьдесят спустилось, а другие не пошли — вас, поганцев, испугались!.. Но так и знайте, ни один раньше времени не поднимется из шахты, а не то вам придется иметь дело со мной!

Раздались гневные возгласы. Мужчины нетерпеливо переминались с ноги на ногу, женщины двинулись вперед. Быстро спустившись с мостков, штейгер загородил калитку.

Маэ решил вмешаться:

— Старик, мы в своем праве. Как же нам добиться всеобщей забастовки, если мы не будем снимать несознательных с работы.

Штейгер помолчал. В вопросах рабочего движения он, очевидно, был столь же несведущ, как и забойщик Маэ. Наконец он ответил:

— Вы в своем праве, я против ничего не говорю. Но у меня приказ, и больше я знать ничего не знаю... Я тут один. Люди должны работать под землей до трех часов, и они останутся там до трех.

Свист и крики заглушили его ответ. Ему грозили кулаками. Женщины подступили к нему вплотную, он чувствовал на своем лице их горячее дыхание, но держался стойко, высоко подняв голову; ветер шевелил его седые волосы; мужество придало столько силы его голосу, что его ясно было слышно даже в этом гаме.

— Не пущу! Не пройдете, черт бы вас взял!.. Вот клянусь, светом солнечным клянусь, лучше я сдохну, а не позволю коснуться тросов!.. Не ходите дальше, не ходите, а не то я на ваших глазах брошусь в шахту!

Толпа дрогнула и отступила. Старик продолжал:

— Ну, кто этого не поймет? Только свинья какая-нибудь. Ведь я такой же рабочий, как и вы. Мне велели стеречь, я и стерегу.

Дальше этого разумение дядюшки Кандье не шло: ограниченный старик закоснел в своем упрямстве, в подчинении военной дисциплине за пятьдесят лет работы под землей, в угрюмой тьме, погасившей его взгляд. Товарищи в волнении смотрели на него: у каждого где-то в тайниках души находили отклик его

слова, его повиновение солдата и смиренное мужество в минуту опасности. Он подумал, что они еще колеблются, и повторил:

— Брошусь в шахту на ваших глазах!

Толпу это потрясло. Она метнулась в сторону и понеслась по дороге, ровной, прямой дороге, тянувшейся среди полей в бесконечную даль. Вновь раздались крики:

— В Мадлен! В Кревкер! Снимать с работы! Хлеба! Хлеба!

Но в середине, в самой гуще бежавших, произошла свалка. Говорили, что Шаваль хотел удрать, воспользовавшись неожиданной остановкой. Этьен схватил его за шиворот и пригрозил переломать ребра, если он замыслил какое-нибудь предательство. Шаваль отбивался, в бешенстве кричал:

— Ты что? Чего хватаешь? Или мы больше не свободны?.. Я тут с вами замерз совсем. Целый час на холоде! И помыться мне надо! Пусти сейчас же!

Его и в самом деле мучил болезненный зуд — к влажной от пота коже прилипли мелкие осколки угля и угольная пыль; да еще ему было холодно, фуфайка совсем не грела.

— Иди да помалкивай, а то мы сами тебя умоем,— отвечал Этьен.— Ты зачем людей науськивал, крови требовал?

И все стремительно бежали вперед, вперед.

Этьен наконец повернулся к Катрин. Она держалась стойко, но ему тяжело было чувствовать, что она идет вот тут рядом, такая жалкая, дрожит от холода в вытертой мужской куртке и в испачканных грязью штанах. Должно быть, она еле жива от усталости, а все-таки бежит, стараясь не отставать от других.

— Уходи,— сказал он наконец.— Тебя мы отпустим. Уходи.

Катрин как будто не слышала. Только взглянула на Этьена, и в глазах ее вспыхнул упрек. Она ни на секунду не остановилась. Как это она может бросить в беде своего возлюбленного? Шаваль, конечно, не ласков, даже бьет ее, но ведь он ее возлюбленный, первый мужчина в ее жизни. И Катрин возмущало, что больше тысячи человек набросились на него одного. Она готова была защищать его,— без любви, из гордости.

— Убирайся! — злобно повторил Маэ.

Но и услышав приказ отца, она только замедлила шаг. Она вся дрожала, веки у нее опухли от слез; через минуту она вернулась на свое место и опять побежала вместе со всеми. Ее больше не гнали.

Все полчище пересекло Жуазельскую долину, пробежало немного по Кронской дороге, затем повернуло в направлении Куньи. В той стороне маячили вдалеке заводские трубы, вдоль шоссе тянулись деревянные сараи, кирпичные строения мастерских с широкими пыльными окнами. Миновали один за другим два рабочих поселка — Сто Восемьдесят, потом Семьдесят Шесть, и в каждом

на призывный звук рожка, на тысячеголосый клич толпы выходили из низких домиков мужчины, женщины, бежали изо всех сил и догоняли шествие. Когда подошли к Мадлен, уже набралось не меньше полутора тысяч человек. Дорога спускалась по пологому склону. Рокочущему потоку забастовщиков пришлось обогнуть террикон, прежде чем захватить шахту.

Было только два часа дня. Но предупрежденные штейгеры постарались ускорить подъем, и, когда явились забастовщики, из клети выходили последние оставшиеся в шахте рабочие — человек двадцать. Они пустились бежать со всех ног, в них швыряли камнями. Двоих отколотили, у одного оторвали рукав куртки. Погоня за беглецами спасла оборудование,— ни тросов, ни котлов не тронули. Людской поток покатился дальше, к соседней шахте.

Эта шахта, Кревкер, находилась в каких-нибудь пятистах метрах от Мадлен. И там тоже забастовщики натолкнулись на выходивших рабочих. Женщины схватили и выпороли одну из откатчиц, били так сильно, что на ней разорвались штаны и обнажился зад, на глазах у хохотавших мужчин; намяли бока забойщикам, насажали им синяков, расквасили носы. Возрастала жестокость: заговорила давняя жажда возмездия, безумие туманило всем головы; из груди рвались и, обрываясь, гремели крики: «Смерть предателям!», неслись вопли ненависти, жалобы на нищенскую оплату труда, рычание голодных, требовавших хлеба. Принялись перепиливать тросы, но напильник не брал, и слишком долгой казалась работа, когда лихорадка гнала всех вперед, вперед. В котельной сломали кран, выплеснули с размаху ведра воды в пылающие топки, и от этого полопались чугунные решетки зольников.

А оставшиеся во дворе торопили идти на Сен-Тома. В этой шахте царила строгая дисциплина, забастовка ее не затронула,— должно быть, там, под землей, работали сейчас человек семьсот; это возмущало забастовщиков. Погоди, схватим дубинки, подождем вас и пойдем стенка на стенку, посмотрим, чья возьмет. Но прошел слух, что в Сен-Тома — жандармы, те самые жандармы, над которыми смеялись, когда они проезжали утром через поселки. Как же это сделалось известно? Никто не мог бы сказать. Все равно стало страшно, и решили повернуть на Фетри-Кантель. Снова толпу подхватил вихрь, снова все очутились на большой дороге и, стуча деревянными башмаками, ринулись вперед: «В Фетри-Кантель, в Фетри-Кантель! Там тоже не меньше четырехсот подлецов еще работают. Вот потеха-то будет!» Шахта находилась на расстоянии трех километров, за складкой земли, около речки Скарпы. Люди уже поднимались по склону холма Платриер, перейдя дорогу на Боньи, как вдруг кто-то — так и не узнали кто — крикнул, что, пожалуй, в Фетри-Кантель прислали

драгун. Сразу по всей колонне заговорили, что так оно и есть: наверняка там драгуны. Все растерялись, замедлили шаг, ветер паники подул в этом угольном крае, погруженном забастовкой в бездействие, на этих дорогах, по которым люди блуждали несколько часов. Почему, спрашивается, они ни разу не наткнулись на солдат? Странная безнаказанность! Это смущало их, они чувствовали, что приближается расправа, и думали о карателях.

Неизвестно кем брошенный клич направил всю толпу в другую сторону, к другой шахте:

— Виктуар! К шахте Виктуар!

Значит, на этой шахте нет ни драгун, ни жандармов? Никто этого не знал. Но все, по-видимому, успокоились; сделав крутой поворот, направились в сторону Бомона и пустились напрямик через поля, обратно на Жуазельскую дорогу. Путь им преграждала железнодорожная линия, они пересекли ее, своротив заградительные щиты. Теперь они приближались к Монсу; плавные волны холмов становились все ниже, ширилось море свекловичных полей, тянувшихся далеко, далеко — до окраины Маршьена с черными его домами.

Теперь нужно было пробежать добрых пять километров. Но людей поддерживал такой пламенный порыв, что ни один словно и не чувствовал, как мучительно он устал, как болят у него стертые в кровь ноги. Шествие все увеличивалось, в хвосте двигались люди из рабочих поселков, присоединившиеся по дороге. Когда перебрались через канал по мосту Магаш и подошли к шахте Виктуар, собралось две тысячи человек. Но к тому времени пробило три часа, смена кончилась, под землей никого не осталось. Излив свое разочарование в бесплодных угрозах, забастовщики могли только встретить обломками кирпичей проходчиков, плотников, разборщиков, ремонтных рабочих, явившихся на смену углекопам. Атакованные бросились врассыпную. Опустевшая шахта принадлежала теперь забастовщикам. И, разъярившись из-за того, что изменники скрылись и некому надавать оплеух, они обрушились на неодушевленные предметы. Прорвался ядовитый гнойник злобы, постепенно нараставшей ненависти. Годы и годы голодного существования породили жажду отомстить виновникам резней и разрушениями.

За сараем Этьен заметил грузчиков, нагружавших телегу углем.

— Вон отсюда сию же минуту! — крикнул он.— Ни одного куска угля не выпустим!

По его приказу прибежала целая сотня забастовщиков, грузчики едва успели скрыться. Испуганных лошадей выпрягли, кольнули в круп, и они ускакали; телегу опрокинули, сломали оглоб-

ли. Левак в исступлении рубил устои мостков, по которым в сортировочную возят вагонетки с углем. Столбы не поддавались, тогда ему пришла мысль снять рельсы, разобрать рельсовый путь на всей площадке шахты. И вскоре все принялись за эту работу. Вооружившись ломом и пользуясь им, как рычагом, Маэ срывал рельсовые подушки. А тем временем Горелая, увлекая за собою женщин, ворвалась в ламповую; тотчас они замахали там палками, и пол усеяли осколки стекла и обломки разбитых ламп. Жена Маэ, разъярившись, била палкой так же неистово, как и жена Левака. Все выпачкались маслом, выливавшимся из ламп, и Мукетта, вытирая руки о юбку, с хохотом кричала, что все «перемаслились». Жанлен для забавы вылил ей масло из лампы за шиворот.

Но месть не насыщала пустого желудка. Голод терзал людей все больше. И снова разнесся жалобный вопль:

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

У самой шахты бывший штейгер держал лавочку. Вероятно с перепугу, он все бросил и убежал. Когда женщины возвратились из ламповой, а мужчины кончили разбирать рельсы, все бросились громить лавочку и тотчас сорвали ставни. Хлеба там не оказалось, только два куска сырого мяса и мешок картошки. Но при разгроме нашли пятьдесят бутылок можжевеловой водки, и она исчезла мгновенно, словно капля воды, упавшая на песок.

Этьен вновь наполнил свою опустевшую фляжку. Постепенно им овладело опьянение, тяжелое опьянение голодного человека; его бледные губы кривились в злобной усмешке, обнажавшей оскал острых зубов. Вдруг он заметил, что Шаваль убежал, воспользовавшись суматохой. Этьен выругался, крикнул, сбежались люди, нашли и схватили беглеца — он спрятался вместе с Катрин за штабелями крепежного леса.

— Ах ты сволочь! Боишься, как бы тень на тебя не упала! — вопил Этьен.— Ведь ты сам в лесу кричал: «Пускай машинисты при насосах забастуют и остановят откачку воды!» Хочешь теперь нам напакостить?.. Ну нет, негодяй! Мы сейчас вернемся в Гастон-Мари, и ты сам сломаешь насос! Да, сломаешь! Черт тебя дери! Я тебя заставлю сломать!

Он был пьян, он теперь подбивал товарищей сломать насос, который спас от разрушения несколько часов назад.

— В Гастон-Мари! В Гастон-Мари!

Раздался довольный рев, все ринулись на дорогу; Шаваля схватили за плечи, толкали, подгоняли, а он все требовал, чтобы его отпустили помыться.

— Уходи ты отсюда! — кричал Маэ дочери, когда она кинулась вслед за любовником.

Но теперь Катрин не отставала ни на секунду, только бросила на отца горящий взгляд и побежала дальше.

Полчище голодных людей вновь понеслось по равнине и, повернув вспять, помчалось по длинным, прямым дорогам, по ровным, широким пашням. Было четыре часа дня, солнце спускалось, и по замерзшей земле вытягивались тени бегущих людей, повторяя их яростные жесты.

Не доходя Монсу, опять свернули на Жуазельскую дорогу и, для сокращения пути, пошли не через Коровью развилку, а мимо ограды Пиолены. В это время супруги Грегуар отсутствовали: они решили навестить нотариуса, а затем отправиться на обед к Энбо, где должны были встретиться с дочерью. Усадьба, казалось, спала: дремала ее пустынная тополевая аллея, ее оголившийся огород и плодовый сад. Ничто не шевелилось в доме, в запертых окнах запотели изнутри стекла,— как видно, в комнатах было тепло; от этой глубокой тишины веяло уютом и благоденствием, чувствовалось, что в усадьбе патриархальные, мирные нравы, что владельцы ее спокойно спят, вкусно едят, наслаждаются своим счастьем благоразумных и состоятельных людей.

Не останавливаясь, забастовщики бросали мрачные взгляды на все, что виднелось за решетчатыми воротами усадьбы, и на глухие стены ограды, утыканные вверху острыми осколками бутылок. Опять раздались крики:

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

В ответ послышался только лай собак, двух больших рыжеватых догов,— вставая на задние лапы, они рвались с цепи, широко открывая пасть. За одним из окон с закрытыми решетчатыми ставнями притаились две служанки — кухарка Мелани и горничная Онорина, прибежавшие на этот крик; побледнев от страха, они глядели, как проходят мимо дома свирепые люди, и когда один-единственный брошенный камень разбил стекло в соседнем окне, обе упали на колени, решив, что пришел их смертный час. Это была шуточка Жанлена: он соорудил себе пращу из обрывка веревки и решил мимоходом «поздороваться» с Грегуарами. Запустив в окошко камнем, он опять принялся трубить в рожок; а вскоре толпа была уже далеко, и все слабее доносился крик:

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

Полчище все росло и росло. К шахте Гастон-Мари пришло более двух с половиной тысяч разъяренных голодных людей; они все перебили, переломали, смели на своем пути с дикой силой разбушевавшегося потока. Жандармы проехали здесь за час до этого и, введенные в заблуждение крестьянами, направились в сторону Сен-Тома́, в спешке даже не оставив поста из нескольких человек для охраны шахты. Не прошло и четверти часа, как

топки были вывернуты, потушены, вода из котлов выпущена, все строения захвачены и разгромлены. Но главное, разрушители рвались к насосу. Недостаточно было, что он остановился с последней струйкой иссякшего пара,— на него набросились как на одушевленное существо, которое хотят лишить жизни.

— Ну, бей первым,— твердил Этьен, всовывая в руку Шаваля молоток.— Бей! Ведь ты клятву давал вместе с другими.

Шаваль дрожал, пятился; в свалке молоток упал на землю; а тем временем другие, не дожидаясь его, принялись колотить по насосу железными брусьями и всем, что попадало под руку. Иные даже измочалили о него захваченные с собою дубинки. Слетали гайки, отваливались стальные и медные части, словно оторванные куски живого тела. Со всего размаху ударили ломом по чугунному корпусу — вырвалась вода, взлетела фонтаном, и насос захлебнулся, забулькал, словно в предсмертной икоте.

Все было кончено; обезумевшая толпа бросилась во двор, теснясь в проходе позади Этьена, не выпускавшего Шаваля из рук.

— Смерть предателю! В шахту его! В шахту!

Несчастный был бледен как полотно, бормотал что-то невнятное и с нелепым упорством все возвращался к своей назойливой мысли: твердил, что ему надо помыться.

— Постой, тебе немытым ходить неприятно? Пожалуйста,— вот тебе водица!

Во дворе была глубокая лужа — натекла вода из насоса. Сверху ее белой, толстой пленкой затянул лед; Шаваля толчками погнали к этой луже, разбили лед и заставили окунуть голову в обжигающую холодом воду.

— Окунай башку! — приказывала Горелая.— Окунай, проклятый! А не то мы сами тебя окунем. Так, так!.. А теперь попей водицы! Суй морду. Пей, как скотина пьет на водопое!

И он пил, стоя на четвереньках. Все смеялись жестоким смехом. Одна из женщин выдрала его за уши, другая набрала на дороге свежего конского навоза и бросила его Шавалю в лицо. Старая фуфайка клочьями свисала с его плеч. Он глядел вокруг диким взглядом, упирался, дергался, пытаясь вырваться и убежать.

Отец Катрин толкал его, мать оказалась в числе самых ярых гонительниц,— они сейчас поддались чувству давней ненависти к своему обидчику; и даже Мукетта, обычно остававшаяся в приятельских отношениях с бывшими своими любовниками, тут загорелась бешеной злобой, обзывала Шаваля слизняком, кричала, что надо снять с него штаны, посмотреть, остался ли он мужчиной.

Этьен оборвал ее:

— Ну, довольно. Нечего на него всем скопом набрасываться. Выходи, мерзавец, посчитаемся один на один! — И, сжимая кулаки, он впивался в Шаваля взглядом; глаза его горели яростью безумия, в пьяном мозгу возникла жажда убийства.— Ты готов? Подходи! Или тебе, или мне не жить. Дайте ему нож. Мой-то нож при мне.

Катрин, измученная, едва живая, в ужасе смотрела на обоих. Ей вспомнились откровенные слова Этьена, когда он рассказывал ей, что, стоит ему выпить два-три стаканчика, он делается сам не свой и его тянет тогда к ножу, хочется зарезать человека,— эта отрава сидит у него в крови по вине его родителей, закоренелых пьяниц. Внезапно Катрин бросилась к нему, маленькими своими руками надавала ему пощечин по одной, по другой щеке и, задыхаясь от негодования, крикнула:

— Подлец! Подлец! Подлец!.. Мало тебе измываться над ним? Ты еще задумал убить его, когда он на ногах не держится.— Повернувшись, она посмотрела на мать, на отца, потом окинула взглядом других.— Все вы подлецы! Подлецы! Убейте и меня вместе с ним! Только троньте его, я вам глаза выцарапаю. Ах, какие же вы подлые!

И она встала перед своим любовником, она взяла его под свою защиту, забыв побои, забыв, как она несчастна с ним; она восстала против всех, ибо считала, что принадлежит этому человеку, раз он первый овладел ею, и что для нее позорно сносить его унижение.

Этьен весь побелел, получив пощечины от этой девушки. Он едва не бросился на нее. Но вдруг, отрезвев, провел по лицу рукой и среди наставшей глубокой тишины сказал Шавалю:

— Она права. Хватит с тебя... Убирайся!

Шаваль тотчас помчался прочь, и за ним опрометью побежала Катрин.

Ошеломленная толпа не двигалась, все молча следили за беглецами, пока они не скрылись за поворотом дороги. Только мать Катрин сказала:

— Зря его выпустили! Ждите теперь еще какой-нибудь гадости. Наверняка предаст.

Но забастовщики двинулись дальше. Было около пяти часов вечера; багровое солнце опустилось к горизонту и, словно заревом пожара, освещало равнину. Проходивший по дороге коробейник сообщил, что драгуны направились в сторону Кревкера. Тогда толпа круто повернула, раздался клич:

— В Монсу! В дирекцию! Хлеба! Хлеба! Хлеба!

V

Господин Энбо подошел к окну кабинета посмотреть, как его жена проедет по улице в ландо, отправляясь на званый завтрак в Маршьен. Проводив взглядом Негреля, гарцевавшего рядом с дверцей экипажа, он спокойно вернулся к письменному столу и сел за работу. Когда ни жена, ни племянник не оживляли дом шумной суетой своего существования, он казался пустым. В этот день кучер повез г-жу Энбо; Розу, новую горничную, отпустили со двора до пяти часов вечера; остался только камердинер Ипполит, неслышно ходивший по комнатам в мягких туфлях, и кухарка, с рассвета сражавшаяся с кастрюлями, поглощенная приготовлением обеда, на который хозяева пригласили гостей. В опустевшем доме стояла глубокая тишина, и г-н Энбо рассчитывал как следует поработать.

Около девяти часов утра Ипполит, хоть он и получил распоряжение никого не принимать, позволил себе доложить, что пришел Дансар с какими-то важными вестями. И только тогда директор узнал о сходке, состоявшейся накануне в лесу; подробности сообщения отличались такой точностью, что, слушая их, г-н Энбо вспомнил о любовных шашнях Дансара с женой Пьерона, столь широко известных, что каждую неделю два-три анонимных письма в дирекцию разоблачали распутство главного штейгера. Очевидно, Пьерон все рассказал жене, а та — любовнику,— в доносе чувствовались разговоры на супружеском ложе. Воспользовавшись случаем, г-н Энбо дал понять, что ему все известно и пока он ограничится советом быть поосторожнее, во избежание скандала. Дансар отвлекся на минутку от доклада, отрицал, оправдывался, но внезапная краснота его толстого носа выдавала вину грешника. Впрочем, он не особенно растерялся, радуясь, что отделался так легко: обычно директор проявлял неумолимую строгость высоконравственного человека, когда какой-нибудь служащий позволял себе позабавиться с хорошенькой работницей. Затем разговор опять пошел о забастовке. Решили, что эта сходка в лесу просто фанфаронство, пустое хвастовство крикунов. Серьезной угрозы нет. Во всяком случае, рабочие поселка еще несколько дней не посмеют пошевелиться,— несомненно, на всех нынче утром произвела большое впечатление военная прогулка.

Но когда Дансар ушел и г-н Энбо остался один, он чуть было не послал депешу префекту. Удержал его только страх, что он, быть может, зря выдает свое беспокойство. Он и так не мог простить себе недостаток чутья: ведь он повсюду говорил и даже писал в правление, что забастовка больше двух недель не продлится. Однако, к великому его удивлению, она тянется почти два месяца. Это приводило г-на Энбо в отчаяние,— с каждым

днем его престиж уменьшался, падал его авторитет, он видел, что ему необходимо придумать какой-нибудь блестящий ход, чтобы вновь войти в милость к правлению. Он как раз запросил оттуда распоряжений на случай возможного столкновения с забастовщиками. Ответ еще не поступил, г-н Энбо надеялся получить его с дневной почтой. Он полагал, что успеет послать телеграммы — вызовет воинские части для охраны шахт, если такова будет воля правления. Он был уверен, что это наверняка вызовет схватку, прольется кровь, будут убитые. Такая перспектива его смущала,— при всем своем усердии, он хотел избежать подобной ответственности.

До одиннадцати часов он мирно работал в кабинете: мертвую тишину нарушало только шарканье щетки,— Ипполит натирал воском пол где-то на втором этаже. Потом принесли одну за другой две телеграммы: в первой сообщали о захвате ордой забастовщиков шахты Жан-Барт, а во второй говорилось, что там перерезаны тросы, погашены топки котлов, все разгромлено. Г-н Энбо удивился. Зачем забастовщики пошли к Денелену, вместо того чтобы напасть на одну из шахт Компании? А впрочем, пусть их громят Вандам,— это пойдет на пользу его плану отнять копи у Денелена. В полдень г-н Энбо спокойно позавтракал один в просторной столовой, где ему безмолвно прислуживал Ипполит, неслышно ступая в войлочных туфлях. Однако от этого одиночества беспокойство г-на Энбо усилилось, и у него все похолодело внутри, когда бегом прибежавший штейгер доложил ему о том, что произошло на шахте Миру́. А вслед за этим, когда он заканчивал пить кофе, принесли еще телеграмму, из которой он узнал, что шахты Мадлен и Кревкер тоже под угрозой. Тут он совсем встревожился, но решил подождать почты, которую приносили в два часа. Как быть? Немедленно вызвать войска? Или лучше подождать распоряжения правления? Он вернулся в кабинет, хотел прочесть докладную записку префекту, которую накануне поручил Негрелю написать. Не найдя ее на столе, он подумал, что, вероятно, племянник оставил ее у себя в комнате, где он зачастую работал по ночам. И, не приняв еще никакого решения, думая лишь об этой докладной, он торопливо поднялся на второй этаж, поискать бумагу у Негреля.

Войдя к племяннику, он удивился: по забывчивости или из лени Ипполит еще не прибрал комнату. Из отдушины калорифера, не закрытой с вечера, тянуло теплом, и в этой запертой спальне застоялся жаркий и душный влажный воздух, пропитанный каким-то пронизывающим, крепким ароматом, от которого г-н Энбо задохнулся,— он подумал, что это пахнет от таза с невылитой мыльной водой, стоявшего на умывальнике. В комнате был страшный беспорядок: везде раскидана одежда, на спинках

стульев висят мокрые полотенца, постель не застлана, смятая простыня упала на ковер. Впрочем, он бросил вокруг лишь рассеянный взгляд и направился к столу, заваленному бумагами. Дважды перебрав по одной все бумаги, он убедился, что докладной тут нет. Что за черт! Куда ж ее засунул этот легкомысленный мальчишка?

Отойдя от стола, г-н Энбо обвел взглядом всю комнату и вдруг заметил на незастланной постели какую-то яркую, сверкающую, как искра, точку. Он подошел, машинально протянул руку. Из складок простыни выглядывал золотой флакончик. Он сразу узнал флакончик своей жены — флакончик с эфиром, с которым она никогда не расставалась. Но он не мог понять, каким образом эта безделушка оказалась тут, как она попала в постель его племянника. И вдруг он побледнел как смерть. Значит, жена спала в этой постели.

— Извините, барин,— послышался за дверью голос Ипполита.— Я видел, вы сюда поднялись.

Лакей вошел, и беспорядок, царивший в спальне, поразил его.

— Ах ты господи! Я ведь еще и не прибрал комнату! Розу нынче отпустили со двора, она убежала спозаранку и всю работу на меня взвалила.

Господин Энбо спрятал флакончик в руке и так крепко сжал его, что чуть не раздавил.

— Вы что?

— К вам опять пришли, барин. Какой-то человек из Кревкера письмо принес.

— Хорошо. Скажите, чтоб подождал.

Значит, его жена спала тут. Заперев дверь на задвижку, он разжал руку, посмотрел на флакончик, оставивший красный след на ладони. И внезапно он догадался, понял, что эта мерзость происходит в его доме много месяцев. Он вспомнил свои прежние подозрения, ночные шорохи за его дверью, чуть слышные шаги босых ног в безмолвном доме. Это его жена пробиралась сюда.

Рухнув на стул, стоявший напротив кровати, он не сводил с нее глаз и долго сидел так. Его словно обухом ударили. Вдруг он очнулся: в дверь стучались, пытались ее отворить. Он узнал голос слуги:

— Барин! Ах, у вас заперто, барин...

— Что еще?

— Кажется, очень срочное дело. Рабочие все громят. К вам двое пришли, ждут внизу. И телеграммы есть.

— Оставьте меня в покое. Сейчас приду.

Он весь похолодел при мысли, что Ипполит мог найти флакончик, если бы прибрал утром комнату до его прихода. А впро-

чем, слуга, вероятно, все знал, ведь двадцать раз он застилал эту постель, еще теплое ложе прелюбодеяния; он находил на подушках волосы директорши, видел гнусные следы на простынях. Сейчас он нарочно лезет сюда, хочет поиздеваться. Может быть, он стоял тут у двери, подслушивал, насмехаясь над развратом своих хозяев.

И г-н Энбо не шевелился, все смотрел на постель. Долгое мучительное прошлое вставало в его памяти. Его брак с этой женщиной,— поженились, и сразу же стало ясно, что они не подходят друг другу ни душой, ни телом; у нее, конечно, были любовники, о которых он не знал, а про одного он знал и терпел эту связь десять лет, как терпят извращенный вкус к чему-нибудь мерзкому у больного человека. Потом переехали в Монсу, у него возникла нелепая надежда исцелить ее; тянулись месяцы затишья, дремоты в этом изгнании; к жене приближалась старость, которая наконец должна была возвратить ее мужу. Потом приехал племянник, она выступила в роли матери Поля и вместе с тем взяла его в наперсники, говорила ему, что сердце ее мертво, навсегда погребено под пеплом пережитого. А муж? Какой глупец! Ничего не видел, ничего не мог предусмотреть. Он обожал эту женщину, которая считалась его женой, женщину, которой обладали многие мужчины, и только он один не мог ею обладать. Он обожал ее, он полон был постыдной страсти, готов был ползать перед ней на коленях, лишь бы она пожелала отдать ему объедки, оставшиеся от других! Но даже объедки она отдавала другому, этому юнцу.

Издалека донесся звонок, и г-н Энбо вздрогнул. Он узнал этот звонок,— по его распоряжению так звонили, когда приходил почтальон. Он поднялся и заговорил вслух, выкрикивая грубые слова, вырывавшиеся у него помимо воли:

— А ну вас всех к черту! Плевать я хотел на вас, и на ваши депеши, и на ваши письма!

Бешеная злоба овладела им. Пусть, пусть везде будет грязь. Втоптать в нее всю эту пакость. Его жена — потаскуха, вот она кто. И Энбо площадной руганью поносил распутницу, как будто давал ей пощечины. Внезапно ему вспомнилось, что она со спокойной улыбкой осуществляет свой замысел женить Поля на Сесиль Грегуар, и мысль об этом окончательно его взбесила. Так, значит, в ее чувстве нет ни страсти, ни даже ревности, а только животная похоть. Ее связь — лишь порочная забава, привычка валяться с мужчиной, развлечение, которое она ищет, как излюбленное лакомство. Во всем он обвинял только ее одну и почти оправдывал Поля: развратницу просто потянуло полакомиться его юной свежестью, и она вонзила в него зубы, словно отведала незрелый плод, украденный с придорожного дерева. А дальше

с кем она еще будет хороводиться, до чего опустится, когда больше не найдет под рукой податливых и практичных племянников, готовых принять в семье родственников стол, постель и женщину?

Кто-то робко постучался в дверь, затем послышался голос Ипполита, дерзнувшего тихонько сказать сквозь замочную скважину:

— Барин, почту принесли... И господин Дансар опять пришел... говорит — резня началась...

— Оставь меня в покое... Сейчас приду.

Что же теперь делать? Выгнать их вон, когда они вернутся из Маршьена, выгнать, как вонючих животных, которых он не в силах терпеть в своем доме? Взять дубину и крикнуть, чтоб они убирались прочь, пусть где-нибудь в другом месте отравляют воздух своим блудом. Ведь теплый влажный воздух в этой спальне пропитан отравой их вздохов, их жаркого дыхания; острый удушливый аромат, поразивший его здесь,— это запах мускуса, которым душится его жена,— еще одна извращенная склонность, чувственная потребность обливаться крепкими духами. Да, все так живо говорило о прелюбодеянии,— эта жара, этот одуряющий запах, эти кувшины с водой, стоящие на полу, еще невылитые тазы, разбросанные полотенца; вся эта мебель, вся комната — тут решительно все дышит пороком. В бессильной злобе он бросился к постели и яростно бил по ней кулаками, царапал те места, где сохранились впадины, вдавленные телами любовников, и в бешенстве наносил удары по отброшенным одеялам, смятым простыням, мягким, податливым, словно и они были утомлены долгой ночью любви.

Но вдруг ему послышались шаги, показалось, что Ипполит опять поднимается по лестнице. Ему стало стыдно, он остановился, тяжело дыша, постоял несколько секунд, вытирая лоб, выжидая, пока утихнет сердцебиение. Долго смотрел в зеркало, разглядывая свое бледное, до неузнаваемости искаженное лицо. Постепенно оно приняло более спокойное выражение; г-н Энбо тяжким усилием воли взял себя в руки и сошел вниз.

В прихожей его ждали пять нарочных, не считая Дансара. Все принесли сообщения о грозном, все более грозном шествии бастующих по шахтам; старший штейгер подробно рассказал, что произошло в Миру́,— шахта спасена только благодаря мужеству старика Кандье. Г-н Энбо слушал, покачивая головой, но не понимал ни слова, мыслями он все еще был там, наверху, в спальне Негреля. Наконец он всех отпустил, сказав, что немедленно примет меры. Оставшись один, он долго сидел за письменным столом, подперев голову руками и закрыв глаза. Казалось, он дремал. Перед ним лежала принесенная почта; он наконец встрепенулся и поискал ожидаемое письмо — ответ правления. Сперва

строчки плясали у него перед глазами. В конце концов он все же понял, что правление не возражает против небольшой стычки. Конечно, оно не советовало обострять положение, но давало понять, что беспорядки ускорят развязку, ибо они будут энергично подавлены, и забастовка кончится. И тогда г-н Энбо, отбросив все колебания, разослал во все концы депеши: префекту в Лилль, командующему военным округом — в Дуэ, в маршьенскую жандармерию. Он вздохнул с облегчением; теперь он мог запереться у себя, даже велел говорить всем, что у него приступ подагры. До вечера он прятался от всех в своем кабинете, никого не принимал, только читал депеши и письма,— они по-прежнему градом сыпались в дирекцию. Таким образом, он издали следил за продвижением бастующих — от Мадлен к Кревкер, от Кревкер к Виктуар, от Виктуар к Гастон-Мари. С другой стороны, к нему поступали сведения, что жандармы и драгуны находятся в растерянности, сбились с дороги — все время поворачивают в сторону от шахт, подвергшихся нападению. Ему было все равно,— пусть себе режут друг друга, пусть все разрушают... Он опять подпер голову руками, прижал к глазам ладони и сидел не шевелясь. В пустом доме стояла тишина, лишь иногда слышно было, как гремит кастрюльками кухарка, усердствуя в приготовлении обеда.

Сгущались сумерки, в комнате стало темно, было пять часов вечера. Г-н Энбо по-прежнему сидел в оцепенении, прижав локтями бумаги. Вдруг раздался грохот, г-н Энбо, вздрогнув, подумал, что возвратились любовники. Ах, негодяи! Но шум все возрастал, и, когда г-н Энбо подошел к окну кабинета, раздался грозный клич:

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

Бастующие вторглись в Монсу, тогда как жандармы, вообразив, что нападение угрожает Ворейской шахте, повернули коней и поскакали туда.

Как раз в это время, в двух километрах от первых домов города, не доезжая перекрестка, где шоссе пересекало Вандамскую дорогу, г-жа Энбо и ее молодые спутницы увидели, как проходит грозное полчище. Они весело провели в Маршьене весь день; завтрак в доме директора литейного завода очень удался; затем осматривали заводские цеха и соседний стекольный завод — все было так интересно. А когда погожий зимний день уже был на исходе, отправились домой, и Сесиль пришла фантазия выпить кружку молока на маленькой ферме, стоявшей у дороги. Все вылезли из коляски, Негрель ловко соскочил с седла. Увидев столь блестящее общество, хозяйка испуганно заметалась, собралась было постелить на стол скатерть и подать молоко в горнице, но Люси и Жанна пожелали увидеть, как доят коров, и, захватив с собой кружки, отправились в хлев, обратив это знакомство со

скотным двором в забавное похождение, и весело смеялись, когда путались ногами в соломенной подстилке.

Госпожа Энбо с видом снисходительной мамаши прихлебывала парное молоко, как вдруг ее встревожил странный шум, донесшийся с улицы.

— Что там такое?

В хлеву, построенном близ дороги, были сделаны широкие ворота, так как вторая его половина служила сеновалом. Девушки высунули головы и с удивлением смотрели, как с левой стороны по дороге движется что-то черное, потом различили, что это толпа народу, которая с воем свернула на шоссе с Вандамской дороги.

— Ах, дьявол! — пробормотал Негрель, выйдя из хлева.— Неужели наши крикуны в конце концов рассердились?

— Да это, верно, опять углекопы,— сказала крестьянка.— Второй раз идут. Дело-то, видать, плохо повернулось, они по всей округе хозяйничают...

Она говорила осторожно, стараясь по выражению лиц угадать, какое впечатление производят на гостей ее слова, и, заметив, что нежданная встреча вызвала у всех испуг, поспешила добавить:

— Ах, уж эти оборванцы! Ах, оборванцы!

Видя, что теперь не успеть сесть в коляску и умчаться в Монсу, Негрель велел кучеру поскорее въехать во двор фермы и поставить упряжку за сараем, чтобы ее не было видно с дороги. Свою верховую лошадь, которую держал под уздцы соседский мальчишка, он сам привязал во дворе под навесом. Возвратившись, он нашел свою тетушку и барышень в полном расстройстве чувств; они собирались идти вслед за крестьянкой в дом и укрыться там. Но Негрель полагал, что остаться в хлеву безопаснее,— конечно, никому в голову не придет искать их в сене. Ворота, однако, закрывались неплотно, и в щели между ветхими досками видно было все, что делается на дороге.

— Ну, смелее! — сказал Негрель.— Мы дорого продадим свою жизнь.

От этой шутки дамам стало еще страшнее. Шум все возрастал, но пока никого не было видно: по пустынному шоссе словно проносился ветер, предвещавший грозу и бурю.

— Нет, не хочу смотреть, не хочу! — сказала Сесиль и зарылась в сено.

Госпожа Энбо, очень бледная, исполненная гнева против этих людей, которые испортили ей такой приятный день и такое милое развлечение, стояла в глубине сарая и брезгливо, исподлобья глядела на створки ворот; Люси и Жанна, хоть их и била дрожь, смотрели в щель между досками, не желая упустить захватывающее зрелище.

Гул, подобный раскатам грома, приближался; земля дрожала под ногами идущих; впереди колонны вертелся Жанлен и дул в пастуший рожок.

— Открывайте скорей свои флакончики с духами,— народ шествует весь в поту! — прошептал Негрель, который, несмотря на свои республиканские взгляды, любил позабавить дам насмешками над чернью. Но ураган криков и злобных жестов мигом развеял все его остроумие. На дороге показались женщины, около тысячи женщин с рассыпавшимися по плечам волосами, все растрепавшиеся за эти часы скитаний в ветреный день, все в лохмотьях; сквозь прорехи у многих видно было голое тело, изнуренное, преждевременно увядшее тело, уставшее рожать детей, обреченных на голодную жизнь. Иные несли на руках младенцев и высоко поднимали их, как хоругви скорби и мести, другие, помоложе, с тугой грудью воительниц, потрясали палками; а старухи, ужасные старухи, вопили так громко, что казалось, на их худых шеях вот-вот лопнут жилы. Затем показались мужчины, две тысячи разъяренных мужчин — забойщики, крепильщики, проходчики, ремонтные рабочие; они шли тесными рядами, такой густой, плотной толпою, что сливались в единый поток, и нельзя было различить ни выцветших линялых штанов, ни рваных шерстяных фуфаек — все как будто облеклись в однообразное бурое одеяние нищеты. Глаза блестели, из широко открытых ртов вылетали ритмические звуки — пели «Марсельезу»,— слов нельзя было разобрать, они терялись в неясном реве, которому вторил дробный стук деревянных башмаков по мерзлой земле. Над головами, среди целого леса железных прутьев, поднимался топор, который держали прямо, как свечу; и этот единственный топор был словно знаменем всего полчища, острое его лезвие вырисовывалось в еще светлом небе, как нож гильотины.

— Какие зверские лица! — пролепетала г-жа Энбо.

Негрель процедил сквозь зубы:

— Что за дьявол! Ни одного не узнаю! Откуда взялись эти разбойничьи физиономии?

И в самом деле, гнев, голод, страдания, длившиеся два месяца, и эта бешеная скачка от одной шахты к другой разительно изменили добродушные лица углекопов Монсу, придали им что-то звериное, хищное. Как раз в эти минуты закатывалось солнце, последние его лучи темно-красной, словно кровавой, пеленой покрыли равнину. Казалось, по дороге рекой льется кровь; женщины, мужчины бежали, как будто обагренные кровью, как мясники на бойне.

— О, великолепно! — вполголоса воскликнули Люси и Жанна; как артистические натуры обе были взволнованы грозной красотой этой картины. И все же они перепугались и отошли по-

ближе к г-же Энбо, стоявшей у колоды для водопоя. Всех мороз по коже подирал при мысли, что достаточно одному из идущих заглянуть в щель между рассохшимися досками этих ворот, и всех, кто спрятался тут, растерзают. Даже Негрель, весьма храбрый молодой человек, побледнел от непреодолимого страха, от ужаса перед чем-то неведомым, непостижимым. Сесиль зарылась в сено и не смела пошевелиться; остальные же, хотя им и хотелось отвести взгляд, не могли отвернуться и, против своей воли, смотрели на дорогу.

Перед ними в багровом свете заката предстало видение-призрак революции, которая неизбежно совершится в конце века и в кровавый вечер всех их сметет. Да, когда-нибудь вечером народ, вырвавшись на волю, сбросив узду, вот так помчится по дорогам и, обагренный кровью богачей, вздепет на пики отрубленные головы и будет носить их, будет разбрасывать по земле золото из их разбитых сундуков. Вот так же будут вопить женщины, а у мужчин будет этот страшный, волчий оскал зубов, готовых перегрызть врагам горло. Да, да — будут на тех людях такие же лохмотья, так же будут греметь их грубые деревянные башмаки; такие же полчища будут обдавать встречных запахом немытых тел, смрадным дыханием, и натиск этой орды варваров сметет старый мир. Запылают пожары, в городах не оставят камня на камне; люди разбегутся по лесам и возвратятся к жизни дикарей; так будет после великого разгула, великого пира, когда голытьба за одну ночь овладеет женами богачей и опустошит их винные погреба. Не останется больше ничего — ни единого су из прежних богатств, ни малейшей тени былой власти, и тогда на обновленной земле вырастет нечто новое. Все эти ужасы и нес с собою людской поток, проносившийся по дороге, неумолимый, словно стихийная сила природы, словно ураганный ветер, хлеставший в лицо тем, кто, притаясь, укрывался от него.

Перекрывая «Марсельезу», раздался громкий клич:

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

Люси и Жанна прижались к г-же Энбо, а та и сама замирала от страха; Негрель встал впереди женщин, словно хотел грудью защитить их. Не в этот ли вечер рухнет старое общество? То, что они видели, ошеломило их. Полчище прошло, по дороге тянулись в хвосте лишь отставшие, как вдруг откуда-то вынырнула Мукетта. Она замешкалась, оттого что подстерегала обывателей — не появятся ли они у садовой калитки или в окнах особняков, и как только замечала их, то, не имея возможности плюнуть им в лицо, тотчас иным способом выражала им величайшее свое презрение. Вероятно, она и тут доглядела какого-нибудь буржуа, потому что вдруг задрала юбки и, наклонившись, выпятила свой огромный голый зад, на который упал последний багровый луч солнца.

И эта выходка никому не показалась непристойной или смешной,— в ней было что-то страшное.

Все исчезло, людской поток понесся к Монсу, петляя по извилистой улице между низкими домишками, выкрашенными в яркие цвета. Коляска выехала со двора фермы, но кучер не решался тронуться в путь, ибо не мог поручиться, что благополучно довезет хозяйку и барышень, если дорога занята забастовщиками. А другого пути не было.

— Но ведь надо же нам вернуться домой, обед ждет! — раздраженно сказала г-жа Энбо, вне себя от возмущения и страха.— Эти негодяи рабочие опять выбрали для своего бунта такой день, когда у меня гости. Вот и делайте добро бессовестным людям!

Люси и Жанна принялись вытаскивать Сесиль, зарывшуюся в сено; она отбивалась, думая, что шествие «этих дикарей» все еще не кончилось, и все твердила, что она не хочет их видеть. Наконец все дамы снова сели в коляску. Негрель вскочил в седло, и ему пришла мысль, что можно проехать проселками через Рекильяр.

— Езжайте потихоньку,— сказал он кучеру,— дорога ужасная. Если встретятся нам кучки бунтовщиков, остановитесь за старой шахтой, мы немного пройдемся пешком и через садовую калитку попадем к себе домой, а вы поставьте куда-нибудь лошадей и коляску,— ну хотя бы под навес на постоялом дворе.

Лошади тронулись. Толпа двигалась вдалеке, вступая в Монсу. Обыватели волновались, все были в панике: ведь недаром через город два раза проскакали и драгуны и жандармы. Ходили ужасающие слухи, рассказывали о написанных от руки объявлениях, в которых рабочие будто бы угрожали выпустить кишки всем буржуям: никто таких объявлений не видел, не читал, но «дословно» приводили оттуда целые фразы. В семействе нотариуса едва дышали от страха,— ведь он получил по почте анонимное письмо, в котором сообщалось, что в его погребе зарыли бочонок с порохом и что господин нотариус взлетит на воздух, если не выступит в защиту народа.

Как раз после получения этого письма супруги Грегуар зашли навестить нотариуса и задержались у него, обсуждая послание, причем владельцы Пиолены приходили к выводу, что это дело рук каких-нибудь шутников; но вдруг произошло вторжение бастующих и окончательно всполошило нотариуса и всех его домочадцев. Грегуары же только улыбались. Отогнув занавеску на окне, они смотрели, что творится на улице, и решительно отказывались допустить мысль об опасности, утверждая, что все кончится «по-хорошему». Пробило пять часов, они еще могли подождать, пока путь будет свободен, а потом перейти через улицу и постучаться к господам Энбо, пригласившим их на обед. Сесиль, конеч-

но, вернулась и ждет там родителей. Но, по-видимому, в Монсу никто не разделял их уверенности в благополучном завершении событий: люди бежали как сумасшедшие, с громким стуком запирали двери и окна. Видно было, как Мегра старается покрепче запереть свою лавку при помощи толстых железных перекладин. В лице у него не было ни кровинки, а руки так дрожали, что его жене — маленькой, щуплой женщине — самой приходилось завинчивать гайки.

Полчище забастовщиков сделало остановку перед особняком директора. Раздался крик:

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

Господин Энбо стоял у окна и смотрел, но тут вошел Ипполит закрыть ставни, опасаясь, как бы не поразбивали камнями окна. Он сначала обезопасил все окна первого этажа, потом перешел во второй этаж; слышно было, как он щелкает шпингалетами, захлопывает решетчатые ставни. К несчастью, он не мог замаскировать так же и окошко в подвальной кухне,— весьма заметное окошко: за стеклами сверкали языки пламени в печке и красноватые отблески огня на кастрюлях.

Господин Энбо машинально перешел на третий этаж, в комнату Поля. Смотреть оттуда было удобнее всего, из окна взгляду открывалась дорога до самых мастерских Компании. Г-н Энбо встал за решетчатыми ставнями, поднявшись высоко над толпой. Но какое волнение вызвала в нем эта комната, где все уже было прибрано, тазы вылиты, умывальник вытерт, а застланная постель с туго натянутым покрывалом имела такой холодный, чопорный вид. Вся эта бурная, бешеная злоба, потрясавшая его утром в часы одиночества, в глубокой тишине, царившей в доме, привела лишь к безмерной усталости. К нему вернулась обычная его корректность, так же как к этой спальне, которую успели проветрить, вымести пачкавшую ее грязь. К чему затевать скандал? Разве что-нибудь изменилось в его доме? Все очень просто. Жена завела себе нового любовника. И так ли уж страшно, что она выбрала его среди родственников? Пожалуй, это даже лучше: легче будет соблюдать приличия. Г-ну Энбо вспомнилось, как он терзался тут ревностью, и ему стало жалко себя. Что за нелепость: бесился, колотил кулаками по смятой постели. Чего уж там! Раз терпел прежних любовников, будет терпеть и этого. Прибавится немножко больше презрения к самому себе — вот и все. Но какой горечью наполняло душу чувство бесцельности всей его жизни, неизбывная боль и стыд за то, что он все еще обожает эту женщину, хорошо зная, что она погрязла в мерзости разврата.

А под окнами с новой яростью раздались крики:

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

— Болваны! — процедил сквозь зубы г-н Энбо.

Он слышал, как его ругают, попрекая большим жалованьем, которое он получает, обзывают толстобрюхим бездельником, поганой свиньей, которая того и гляди лопнет от обжорства, тогда как рабочие пухнут с голоду. Женщины заглянули в окошко кухни, и тогда поднялась буря, директора осыпали проклятиями из-за того, что кухарка жарит ему на вертеле фазана, готовит всякие лакомые жирные соусы,— от вкусных запахов у голодных сводило желудок судорогой. Ах, сволочи буржуи, погодите! Лакают шампанское, жрут трюфели, а тут людям есть нечего. Пусть бы проклятые сластены сдохли!

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

— Болваны! — повторил г-н Энбо.— А разве я счастлив?

И в душе его поднимался гнев против этих непонятливых людей. Ведь он с радостью отдал бы свое жалованье, лишь бы стать таким же толстокожим, как они, так же легко, без всяких сантиментов, брать женщин. Ах, почему он не может усадить их за свой стол — пусть себе угощаются его фазанами, а он пойдет блудить с девками в кустах живой изгороди, и наплевать ему будет, что кто-то другой валялся с ними до него! Все, все он отдал бы — и свое образование, свое благоденствие, роскошь в своем доме, свою власть директора, если бы мог на один-единственный день стать последним из этой голытьбы, которая находилась у него в подчинении. Как было бы хорошо давать волю чувственным желаниям, быть хамом, хлестать по щекам свою жену и заводить шашни с соседками. Он даже согласен был голодать, пусть бы у него от голода сводило судорогой пустой желудок и кружилась бы голова,— может быть, эти муки заглушили бы вечные его страдания. Ах, жить бы скотской жизнью, не иметь ничего своего, прятаться в хлебах с какой-нибудь уродливой, грязной откатчицей и не искать иной любви!

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

Тогда г-н Энбо рассердился, и с громовым кличем толпы смешался его голос:

— Хлеба? Да разве в этом счастье, болваны?

Ведь он-то ел досыта и все же готов был кричать от боли душевной. В семье у него развал, вся жизнь исковеркана,— и от мыслей об этом у него подкатывали к горлу рыдания, стоны смертельной муки. Да разве все дело в том, чтобы не знать голода? Разве все тогда пойдет как нельзя лучше? Какой это идиот решил, что счастье состоит в разделе богатства? Пусть даже этим пустым мечтателям, революционерам, удастся разрушить существующее общество и построить новое,— это не прибавит человечеству ни капельки радости. Отрезайте каждому положенный ему ломоть хлеба, а душу вы не избавите ни от одной горести. Нет, вы лишь добьетесь того, что на земле чаша страданий переполнится,

и придет день, когда люди, как собаки, завоют от безысходного отчаяния, ибо они распростятся с бездумным удовлетворением своих инстинктов и поднимутся до страдания, порождаемого неутоленными страстями. Нет, единственное благо — это небытие, а уж если существовать, то существовать подобно дереву, или камню, или крохотной песчинке, которая не может истекать кровью, когда ее топчут прохожие.

В эту минуту жестокой муки жгучие слезы хлынули из глаз г-на Энбо и потекли по щекам. Вдруг в сумерках, затягивавших дорогу, градом полетели камни, ударяясь о фасад директорского особняка. А г-н Энбо все плакал,— он уже не испытывал гнева против этих голодных людей и, терзаясь лишь собственной сердечной болью, бормотал сквозь слезы:

— Болваны! Болваны!

Но утробный вой, неистовый вопль голодных, заглушил этот лепет, и, как рев урагана, сметающего все на своем пути, раздался крик:

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

VI

Отрезвев от пощечин, которые дала ему Катрин, Этьен встал во главе товарищей. Но когда он, выкрикивая хриплым голосом слова призыва, повел всех на Монсу, внутренний голос, голос рассудка, заговорил в его душе, удивляясь и вопрошая: зачем все это делается? Ведь Этьен вовсе этого не хотел, как же могло случиться, что, направившись в Жан-Барт с намерением действовать хладнокровно и помешать разрушениям, он переходил от насилия к насилию и теперь заканчивал день осадой директорского особняка?

Ведь именно он крикнул: «Стой!» — когда подошли к дому. Правда, у него сначала была мысль уберечь от опасности склады Компании,— кругом кричали, что надо их разгромить. А теперь, когда камни царапали фасад особняка, он тщетно старался придумать, на какую законную добычу направить свое войско, чтобы избежать еще больших бедствий. В бессильном раздумье он стоял один посреди дороги, и в эту минуту его окликнул какой-то человек, стоявший у порога распивочной «Головня», в которой кабатчица поспешила закрыть ставнями окна, оставив открытой только дверь.

— Да, да, это я... Слушай-ка!..

Это был Раснер. Человек тридцать мужчин и женщин, почти все из поселка Двести Сорок, оставшиеся утром дома, явились вечером в Монсу разузнать новости, а с приближением колонны бастующих заполнили распивочную. За одним из столиков сидел

Захарий с Филоменой; подальше, спиной к двери, пряча лицо, примостился Пьерон со своей женой. Никто, впрочем, не пил — все только укрылись здесь.

Этьен узнал Раснера и отошел от него, но тот вдруг добавил:

— Что? Стыдно смотреть на меня?.. Я тебя предупреждал. Вот и начались неприятности!.. Кричите теперь сколько угодно, просите хлеба — вместо хлеба получите пули.

Этьен вернулся и ответил:

— Мне стыдно, что есть трусы, которые сидят сложа руки и смотрят, как мы рискуем своей жизнью.

— Ты, стало быть, решил грабежом заняться? — спросил Раснер.

— Я решил до конца оставаться с товарищами, хотя бы всем нам пришлось погибнуть.

И Этьен замешался в толпу, полный отчаяния, действительно готовый умереть. Трое подростков, стоя на дороге, бросали в окна камни, он разогнал озорников пинками; желая остановить взрослых, он громко кричал, что бить стекла ни к чему — от этого никакой пользы не будет.

Бебер и Лидия пробрались наконец к Жаплену и сейчас учились у него орудовать пращой. Началась потеха: каждый бросал камень, выиграть должен был тот, кто больше перебьет окон. Лидия, неловко швырнув камень, попала в голову какой-то женщине, стоявшей в толпе, и оба мальчишки от хохота хватались за бока. В сторонке сидели на скамье и смотрели на них два старика — Бессмертный и Мук. Опухшие ноги еле держали Бессмертного, и он с великим трудом дотащился сюда; неизвестно, что именно привело его сюда; он молчал словно истукан, как то нередко теперь бывало, и его землистое лицо ничего не выражало.

Никто, однако, больше не слушал Этьена. Сколько он ни кричал: «Перестаньте!» — из толпы все летели камни, и он испытывал теперь удивление и страх перед слепой яростью, в которую он сам ввергнул этих людей, обычно спокойных, нелегко поддающихся волнению, но в гневе таких неукротимых, неистовых. Сказывалась фламандская кровь: нужны были долгие месяцы, чтобы она вскипела, но уж если эти миролюбивые люди приходили в исступление, оно толкало их на неслыханные жестокости и не стихало до тех пор, пока они не утоляли своей ярости. На юге, родине Этьена, толпа воспламенялась быстрее, но действовала менее решительно. Ему пришлось силой вырвать у Левака топор, он не знал, как сдержать Маэ и его жену, бросавших камни обеими руками. Особенно его пугали женщины — жена Левака, Мукетта и многие другие: они рвали и метали, готовы были душить, убивать, они выли, как собаки, теснясь вокруг своей предводительницы, высокой, худой старухи Горелой, возвышавшейся над ними.

Но вдруг наступило затишье: самый обыденный случай вызвал глубокое изумление толпы и как будто успокоил ее, чего Этьен не мог добиться никакими мольбами. Дело было в том, что супруги Грегуар решились наконец распроститься с нотариусом и отправились в директорский особняк, для чего им понадобилось перейти через улицу; они казались такими благодушными, их лица выражали такую твердую уверенность, что все происходящее — просто-напросто шутка со стороны их рабочих, милых, славных людей, чья покорность более столетия кормила племя Грегуаров, что углекопы в изумлении перестали бросать камни, боясь попасть в почтенного старичка и старушку, будто с неба свалившихся к ним. Они пропустили супругов, дали им войти в сад, подняться на крыльцо, позвонить у крепко запертой двери, которую гостям не спешили отворить. Как раз в это время возвращалась отпущенная со двора директорская горничная Роза; она шла, улыбаясь разъяренным углекопам,— она всех хорошо знала, так как сама была родом из Монсу. Роза принялась барабанить кулаками в дверь и в конце концов заставила Ипполита отворить. Как раз вовремя! Едва Грегуары вошли в дом, опять полетели камни. Оправившись от изумления, толпа заревела:

— Смерть буржуям! Да здравствует социальная революция!

Роза и в прихожей все еще весело смеялась, словно оказалась свидетельницей забавного происшествия, и твердила перепуганному слуге:

— Да они же совсем не злые, я их знаю!

Господин Грегуар аккуратно повесил на крючок свою шляпу. Затем помог жене снять пальто из пушистого драпа и сказал в свою очередь:

— Конечно, они, в сущности, не злые. Покричат, покричат и пойдут домой ужинать. Аппетит себе нагуляют.

В ту минуту спустился с третьего этажа г-н Энбо. Он видел из окна сцену с участием Грегуаров и вышел встретить гостей. Как всегда, вид у него был холодный и учтивый. Лишь необычайная его бледность свидетельствовала о пережитом потрясении и пролитых слезах. Человеческие страсти были укрощены, г-н Энбо остался только чиновником, корректным и непреклонным, решившим исполнить свой долг.

— А знаете,— сообщил он,— наши дамы еще не вернулись.

Грегуары впервые встревожились. Сесиль еще не возвратилась? Но как же она возвратится, если шутка углекопов затянется?

— Я думал было разогнать их,— добавил г-н Энбо.— К сожалению, я в доме один и к тому же не знаю, куда послать слугу, чтобы он привел четырех солдат и капрала,— они живо очистили бы улицу от этого сброда.

«Жерминаль»

«Жерминаль»

Роза, все еще стоявшая в передней, вновь осмелилась вмешаться:

— Да что вы, барин!.. Они же совсем не злые.

Директор покачал головой, а шум на улице все возрастал, и камни с глухим стуком непрестанно ударялись о фасад.

— Я на них не сержусь. И даже извиняю их: ведь только по своей тупости они воображают, будто мы упорствуем от того, что желаем им зла. Однако я отвечаю за спокойствие... Подумать только, по дорогам, как меня уверили, разъезжают жандармы, а я с самого утра не могу дозваться ни одного!..

Он оборвал свою тираду и, пропуская г-жу Грегуар, сказал:

— Да что же мы тут стоим, прошу вас, сударыня, пожалуйте в гостиную.

Но тут прибежала из кухни перепуганная кухарка и на несколько минут задержала всех в передней. Она заявила, что не ее вина, если обед получится невкусный,— ведь до сих пор из Маршьена не привезли заказанное слоеное тесто для курника, хотя кондитер должен был прислать его к четырем часам дня. Очевидно, посыльный заблудился, мечется где-то по дорогам, испугавшись этих разбойников. А может быть, они даже ограбили его, вытащили все, что было у него в корзинах; она ясно представляет себе, как кондитера подкараулили за кустами, расхватали все сдобные пироги, и их мигом проглотила трехтысячная армия этих несчастных, которые кричат перед домом, требуя хлеба. Во всяком случае, она тут ни при чем, хозяина она предупредила, и если из-за революции обед выйдет неудачным, то лучше она все кушанья бросит в огонь, чем осрамится, подав их на стол.

— Потерпите немного,— сказал г-н Энбо.— Еще ничего не потеряно. Возможно, кондитер приедет.

Повернувшись к г-же Грегуар, он сам отворил перед ней дверь в гостиную, и только тогда, к великому своему удивлению, увидел, что на диванчике в передней сидит человек, которого он до этой минуты в полумраке не заметил.

— Как! Это вы, Мегра? Что случилось?

Мегра поднялся, и из темноты возникла его пухлая, искаженная ужасом физиономия. Куда девалось его спокойное самодовольство важной шишки? Он смиренно объяснил, что позволил себе пробраться к господину директору, чтобы попросить о помощи и покровительстве, если разбойники нападут на его лавку.

— Вы же видите, мне самому грозит опасность, и у меня никого нет,— ответил г-н Энбо.— Лучше бы вам сидеть у себя дома и стеречь свои товары.

— О-о! У меня в лавке железные решетки. Да и жену я там оставил стеречь.

Директор говорил нетерпеливо и с явным презрением. Нечего сказать, хороша охрана — хилая, худенькая женщина, которую муж скоро в гроб вгонит своими побоями!

— Я, право, ничем не могу вам помочь, постарайтесь сами защитить себя. И советую вам сейчас же возвратиться домой,— а то они опять требуют хлеба. Слышите?

Действительно, опять раздались громовые возгласы; Мегра показалось, что выкрикивают и его имя. Вернуться сейчас домой было невозможно — его бы растерзали. И вместе с тем ему не давал покоя страх перед разорением. Он прилип лицом к застекленной двери и, обливаясь потом, дрожа всем телом, смотрел и слушал, ожидая катастрофы. Грегуары же решились наконец пройти в гостиную.

Господин Энбо старательно выполнял роль радушного хозяина. Но напрасно он приглашал гостей присесть; в запертой комнате, где еще засветло затворили ставни и зажгли две лампы, веяло ужасом при каждом новом крике толпы, доносившемся с улицы. Приглушенные гардинами, портьерами, коврами, эти гневные крики сливались в протяжный гул, исполненный смутной, но жуткой угрозы, и внушали сидящим в гостиной жестокую тревогу. Разговор поминутно обращался к этому необъяснимому бунту. Г-н Энбо удивлялся: как он ничего не предвидел! Должно быть, доносчики плохо осведомляли его,— он и сейчас главным образом обрушивался на Раснера, заявляя, что хорошо распознает во всем этом его зловредное влияние. Впрочем, беспокоиться нечего — скоро явятся жандармы, ведь не могут же бросить его на произвол судьбы! Грегуары думали только о своей дочери: бедная девочка, она так пуглива! Может быть, из-за опасных встреч коляска вернулась в Маршьен. Прошло еще четверть часа в томительном ожидании; нервы были напряжены от тысячеголосого гула, не стихавшего на улице, от стука, похожего на барабанную дробь,— ведь в запертые ставни градом летели камни. Положение стало нестерпимым. Г-н Энбо говорил, что сейчас он выйдет, один разгонит горлодеров и отправится навстречу коляске; но вдруг с криком вбежал Ипполит:

— Барин! Барин! Барыня приехала, ее убивают!

Коляска не могла проехать по Рекильярскому проселку среди бунтовщиков, которые толпились на дороге и угрожали ей, а поэтому Негрель решил осуществить свой план: пройти немного пешком (до особняка оставалось каких-нибудь двести шагов) и постучаться в калитку, проделанную в садовой ограде около дворовых служб,— садовник их услышит, а если не он, так отопрет кто-нибудь другой. И сначала все шло прекрасно, г-жа Энбо и барышни постучались в калитку, как вдруг кто-то предупредил бунтовщиц, и они ринулись к ограде. Дело приняло дурной оборот.

Калитку все не отпирали; Негрель попытался высадить ее плечом. Женщины прибежали гурьбой, их становилось все больше; Негрель боялся, что его собьют с ног, и принял отчаянное решение: подталкивая впереди себя г-жу Энбо и девушек, пробраться к подъезду сквозь толпу осаждающих. Но этот маневр привел к свалке: преследовательницы их не выпускали, с воем цеплялись за них, а толпа расступалась направо-налево, удивляясь, зачем и как в нее замешались нарядные дамы. И тогда произошел невероятный, необъяснимый случай, который возможен лишь в минуты неописуемого смятения. Люси и Жанна, добравшись до крыльца, проскользнули в дверь, которую приотворила горничная, г-же Энбо удалось протиснуться вслед за ними, а за нею проскочил Негрель и задвинул засов: он был уверен, что Сесиль вошла первая, что он собственными своими глазами это видел. А между тем Сесиль не дошла до крыльца,— охваченная паническим страхом, она повернула прочь от дома и сама бросилась навстречу опасности.

Вокруг раздались крики:

— Да здравствует социальная революция! Смерть буржуям! Смерть!

Не узнавая Сесиль под опущенной вуалеткой, некоторые издали принимали ее за жену директора. Другие выкрикивали имя приятельницы г-жи Энбо — молодой жены соседнего фабриканта, которого рабочие ненавидели. Да и не имело особого значения, кто она такая,— всех раздражало шелковое платье, меховое манто и даже белое перо на шляпке. От дамы пахло духами, у нее были хорошенькие часики, а такие холеные белые руки могли быть только у бездельницы, никогда не прикасавшейся к углю.

— Погоди! — кричала Горелая.— Мы тебе разрисуем морду. Будешь знать, как в вуалетках ходить!

— Сволочи проклятые, нас обкрадывают и наряжаются,— подхватила жена Левака.— Скажи пожалуйста, вся в мехах, а мы мерзнем, того и гляди помрем... Давайте разденем ее догола, пускай узнает, каково людям живется.

Тут выскочила Мукетта:

— Давай, давай! Выпороть ее!

И женщины, пылая жгучей завистью, теснились вокруг Сесиль, показывали свои лохмотья, готовы были разорвать в клочья наряды богатой барышни. Разве она лучше устроена, чем они? Мало разве буржуек хоть и расфуфыренных, да гнилых? Хватит терпеть несправедливость! Этим мерзавкам ничего не стоит потратить пятьдесят су на стирку накрахмаленной нижней юбки. Пусть они теперь одеваются как работницы! И будут так одеваться, их заставят!

У Сесиль подкашивались ноги, она с ужасом смотрела на окружавших ее рассвирепевших женщин и без конца лепетала одни и те же слова:

— Голубушки, прошу вас... Голубушки, не делайте мне больно!

И вдруг она испустила хриплый крик,— чьи-то холодные руки схватили ее за горло. На нее кинулся старик Бессмертный, к которому толпа оттеснила ее. Он был словно пьян от голода, он отупел от долгой нищеты и сейчас вдруг сбросил узду полувекового смирения, хотя никто не мог бы сказать, какая давняя обида толкнула его на это. За долгую свою жизнь он спас от смерти не меньше десяти товарищей, ради других шел навстречу опасности при взрывах рудничного газа и при обвалах, а тут внезапно поддался властному чувству, которое он не мог бы выразить словами, подчинился какому-то наваждению, которое нашло на него при виде белой шеи холеной барышни. В этот день калека, казалось, лишился дара речи,— он молчал и сейчас, только крепко сжимал своими заскорузлыми пальцами шею Сесиль и как будто по-прежнему был поглощен далекими воспоминаниями.

— Нет! Нет! — завопили женщины.— Оголить ей зад! Оголить ей зад!

Как только в особняке поняли, что случилось, Негрель и г-н Энбо отперли дверь и бросились на помощь девушке. Но толпа сбилась у решетчатых ворот, и выйти было не так-то легко. Завязалась схватка, а в это время на крыльце появились испуганные супруги Грегуар.

— Дед, пусти её, пусти! Это ведь барышня из Пиолены! — закричала старику Бессмертному жена Маэ, узнав Сесиль, с которой женщины сорвали вуалетку.

Этьен, потрясенный этим возмездием, обращенным против юной девушки, тоже пытался спасти ее от разъяренной толпы. И вдруг его осенила мысль,— он взмахнул топором, который вырвал у Левака, и крикнул:

— К Мегра! Бросайте все к чертовой матери! Идем к Мегра!.. Там есть хлеб. Разнесем лавку Мегра.

И первый со всего размаху ударил топором в дверь лавки. Вслед за ним прибежали Левак, Маэ и кое-кто еще. Но женщины разъярились и не выпускали Сесиль. Из тисков Бессмертного она попала в руки Горелой. Лидия и Бебер, которых науськивал Жанлен, поползли на четвереньках, собираясь подлезть под кринолин модницы. Сесиль дергали в разные стороны, платье ее трещало по швам, как вдруг прискакал какой-то верховой, расталкивая лошадью толпу, разгоняя хлыстом тех, кто не сразу отскакивал в сторону.

— Ах, мерзавцы! Вы принялись избивать наших дочерей?

Это был Денелен, приехавший за дочерьми и на обед к директору. Соскочив с седла, он обнял Сесиль за талию и повел; другой рукой он с необыкновенной ловкостью и силой управлял лошадью и, пользуясь ею, как живым тараном, раздвигал толпу, отступавшую перед ее скачками. У ворот опять началась схватка, однако Денелен прошел, отдавив многим ноги. Эта нежданная помощь избавила от опасности и Негреля и г-на Энбо, которых осыпали ругательствами и тумаками. А когда Негрель вошел наконец в дом, подхватив на руки упавшую в обморок Сесиль, в рослого Денелена, который стоял на крыльце, заслоняя директора, швырнули камень, едва не раздробив ему плечо.

— Правильно! — крикнул он.— Сломали мои машины, теперь переломайте мне кости!

Он живо захлопнул дверь. По деревянной филенке застучали камни.

— Вот бешеные! — заговорил Денелен.— Еще секунда, и они продырявили бы мне череп, как пустую тыкву... Да что теперь с ними разговаривать! Даже и не пытайтесь. Они ничего не сознают. Остается только дубиной их бить.

В гостиной плакали Грегуары, глядя на очнувшуюся дочь. Сесиль возвратилась цела и невредима,— без единой царапинки, только вуалетка ее потерялась. Но какого страху она натерпелась! А тут вдруг явилась кухарка Грегуаров Мелани и принялась рассказывать, как шайка бунтовщиков все разгромила в Пиолене. До смерти перепугавшись, она прибежала предупредить хозяев. Кухарка тоже прошмыгнула с улицы в приотворенную дверь, когда происходила свалка, только никто ее не заметил; в ее бесконечном повествовании единственный камень, брошенный Жанленом и разбивший лишь одно стекло, превратился в форменную канонаду, от которой растрескались стены. И тогда у г-на Грегуара все перемешалось в голове. Что ж это такое? Чуть не удушили его дочь, стерли с лица земли его дом! Так, значит, это правда, что углекопы рассердились на него за то, что он так хорошо жил их трудом?

Горничная, принеся для Сесиль полотенце и одеколон, твердила свое:

— Удивительное дело! Ведь они совсем не злые!

Госпожа Энбо сидела, вся бледная, и не могла оправиться от жестоких треволнений. Она только улыбнулась томной улыбкой, когда стали хвалить Негреля. Родители Сесиль благодарили главным образом его; несомненно, они вполне согласны были выдать за него дочь. Г-н Энбо молча смотрел на всех, переводил взгляд с жены на ее любовника, которого он утром клялся убить, глядел на девушку, которая избавит его от Негреля. А зачем спешить с этим браком? Он теперь боялся только одного: как бы его

супруга не опустилась еще ниже,— быть может, до какого-нибудь лакея.

— А как вы, мои дорогие? — спросил Денелен дочерей.— Вас не ушибли?

Несмотря на пережитый испуг, Люси и Жанна были довольны, что видели картину бунта. Теперь они смеялись.

— Черт подери! — продолжал отец.— Ну и денек выдался! Если желаете, дочки, иметь приданое, то постарайтесь сами его заработать. Да еще, пожалуй, придется вам и меня кормить.

Денелен старался шутить, но голос у него дрожал, на глаза навернулись слезы, когда дочери бросились его обнимать.

Господин Энбо слышал это признание в разорении. Какая-то мысль мелькнула у него, и лицо его просветлело. А ведь и в самом деле, теперь-то Вандамские копи наверняка перейдут в руки Компании Монсу. Наконец-то удача! Надежда его осуществилась,— вот на чем он отыграется: благодаря этому случаю он вновь вернет себе благосклонность правления. При каждой катастрофе в своей личной жизни он искал успокоения в строгом исполнении полученных приказов; военная дисциплина, которой он подчинял себя, давала ему некое подобие счастья.

Постепенно все успокоилось: наступившая тишина, ровный свет двух ламп, тепло и уют, плотные драпировки, заглушавшие звуки,— все радовало после утомительных волнений. А что происходило там, на улице? Крики смолкли, камни больше не били по фасаду; слышались только глухие размашистые удары, похожие на отдаленный стук топора лесоруба. Всем хотелось узнать, что происходит. Мужчины вернулись в прихожую и дерзнули бросить взгляд на улицу сквозь застекленную верхнюю часть двери. Дамы и барышни поднялись на второй этаж и встали за решетчатыми ставнями.

— Видите, вон стоит мерзавец Раснер,— вон тот, на другой стороне улицы, у дверей кабака? — сказал Денелену г-н Энбо.— Я сразу почуял, что без него дело не обошлось.

А меж тем не Раснер, а Этьен рубил топором дверь в лавке Мегра. Рубил и звал к себе товарищей. Разве весь товар в этой лавке не принадлежит углекопам? Разве не имеют они право отнять свое добро у вора, который так долго обкрадывал их, да еще морил их голодом по приказу Компании? Мало-помалу все бросили особняк директора и побежали громить лавку Мегра. Снова раздались крики: «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» Уж здесь-то, за этой дверью, хлеба сколько хочешь! И голодные в исступлении ринулись туда, словно больше не могли ждать, словно вот-вот они упадут на улице бездыханными. У дверей была такая давка, что Этьен боялся поранить кого-нибудь топором.

А Мегра, убравшись из передней директора, сперва укрылся

в кухне, но оттуда ничего не было видно, а ему чудились ужасные покушения на его лавку; тогда он перебрался из подвального помещения во двор, решив спрятаться за насосом, и тут вдруг ясно услышал, как трещит дверь его лавки, как вопят осаждающие, призывая разграбить его товары, и выкрикивают его имя. Значит, это не страшный сон, а явь,— он не видел нападавших, зато хорошо их слышал, от их воя у него звенело в ушах. Каждый удар ломом или топором отдавался у него в сердце. Вот, должно быть, сорвали дверные петли, еще пять минут, и лавку возьмут приступом. Воображение рисовало ему страшные картины: эти разбойники ворвутся, взломают ящики, распорют мешки, все съедят, разнесут в щепки весь дом, не будет у него даже клюки, чтобы пойти с ней побираться по деревням. Нет, он не даст разбойникам разорить его дотла, лучше сдохнуть! Со двора особняка ему видно было одно окно в боковой стене его дома, и в нем вырисовывалась худенькая женская фигурка,— там стояла его жена, за запотевшим стеклом смутно виднелось ее бледное лицо; вероятно, она с обычным своим видом побитой собачонки смотрела, как ломятся в дверь лавки, принадлежащей ее мужу. Под окном находился амбар, и на крышу его можно было взобраться из директорского сада, вскарабкавшись по деревянной решетке трельяжа, прикрывавшего глухой забор; затем проползти на четвереньках по черепичной крыше амбара до окна и влезть в него. Теперь Мегра одолевала одна неотвязная мысль — пробраться таким путем в свой дом. Как он раскаивался, что бросил свою лавку на произвол судьбы. Может быть, он еще успеет забаррикадировать дверь лавки шкафами, комодом, столами; он даже придумывал другие героические способы защиты: лить сверху на грабителей кипящее масло и пылающий керосин. Но страстная любовь к своему имуществу боролась в его душе с мучительным страхом, и преодолеть трусость было трудно. И вдруг, вздрогнув от особенно громкого удара топора, он решился. Алчность взяла верх,— они с женой телом своим прикроют мешки, но не выпустят из лавки ни одной буханки хлеба.

И вот он полез. Но тотчас раздался вой:

— Смотрите! Смотрите! Кот на крыше! Ловите кота! Ловите!

Осаждавшие заметили Мегра на крыше амбара. Лихорадочное возбуждение придало грузному лавочнику ловкость, он проворно взобрался по трельяжу, безжалостно переломав деревянные планки; потом распластался на черепичной крыше и пополз, пытаясь добраться до окна. Но крыша была с крутым скатом, толстый живот мешал лавочнику; цепляясь за черепицы, он сорвал себе ногти. И все же он дополз бы до конька крыши, если б его не стала бить дрожь от страха, что в него будут швырять камни. Толпа, которую он потерял из виду, кричала внизу:

— Ловите кота! Ловите! Свернуть ему шею!

И сразу его руки потеряли точку опоры, Мегра сорвался, как шар, покатился вниз, подпрыгнул на водосточной трубе, упал на гребень стены, отделявшей его дом от директорского, и так неудачно, что покатился в сторону улицы, полетел на мостовую и раскроил себе череп о каменную тумбу. Из головы брызнул мозг. Мегра был мертв. Вверху бледным затуманенным пятном вырисовывалось в окне лицо его жены,— она по-прежнему смотрела вниз.

Сперва все были ошеломлены. Этьен остановился, топор выпал у него из рук. Маэ, Левак, да и все остальные, позабыв о лавке, смотрели на стену, по которой медленно стекала струйка крови. Смолкли крики. На улице, окутанной сумраком, вдруг настала мертвая тишина.

Но тотчас толпа опять завыла. Сбежались женщины, опьяненные пролившейся кровью.

— Так, значит, бог правду видит! Послал подлецу смерть! Кончено! Кончено!

Они окружили еще теплый труп, они хохотали, выкрикивали ругательства и насмешки, называли свинячьей башкой его разбитую голову и осыпали мертвеца бранью, изливая накопившиеся жестокие обиды за свою горькую голодную жизнь.

— Я тебе должна шестьдесят франков,— вот теперь и получай должок, вор проклятый! — в исступлении кричала Маэ.— Больше не будешь выгонять меня из лавки... Постой, постой, надо тебя угостить, чтобы ты еще больше растолстел...

Она обеими руками поскребла землю и, набрав две пригоршни грязи, затолкала ее в рот мертвецу.

— На, ешь, проклятый! Ты нас жрал, а теперь землю жри!

Оскорбления сыпались градом, а мертвец лежал недвижно на спине, устремив застывший взгляд выпуклых глаз в беспредельное темнеющее небо. Земля, забившая ему рот, была отплатой — ведь он отказывал в хлебе голодным. Кроме земли, ему больше ничего есть не придется. Не принесло ему счастья то, что он морил голодом бедняков.

Но женщинам мало было этой мести. Они кружили вокруг, как волчицы, и словно обнюхивали труп. Каждая старалась придумать издевательство пострашнее, посвирепее, чтобы облегчить сердце.

И вот послышался пронзительный голос Горелой:

— Надо его, кота блудливого, выхолостить.

— Верно, верно! Кот поганый! Сколько он наблудил, сволочь этакая!

Мукетта бросилась к нему, стащила с него штаны, стащила исподнее, жена Левака подняла его ноги. Тогда Горелая своими старческими, иссохшими руками ухватила мертвую мужскую

плоть и, напрягая в отчаянном усилии худую спину, дернула изо всей силы, так что хрустнули суставы ее ширококостных рук. Дряблые складки кожи не поддались, пришлось их отдирать, и, наконец, старуха оторвала мохнатый кровавый комок и с торжествующим смехом замахала им:

— Вот он! Вот он!

Пронзительные голоса приветствовали издевательствами отвратительный трофей.

— А-а, гад окаянный! Не будешь больше брюхатить наших дочерей!

— Да, теперь конец! Больше не заставишь нас платить тебе долги своим телом. Не испоганишь всех баб. Не будут они тебе поддаваться за краюху хлеба.

— Эй, слушай, я тебе должна шесть франков, может, хочешь получить в счет займа, а? Я согласна, бери, если можешь!

Шутка вызвала злорадный хохот. Женщины указывали друг другу на кровавый лоскут, как на мерзкое животное, от которого каждой пришлось пострадать,— но вот теперь они раздавили его, и, бессильное, мертвое, оно было в их власти.

Они плевали на него и, брезгливо скривив губы, кричали:

— Он больше не может! Не может! Он теперь не мужчина... Таким и зароют тебя в землю... Так и сгниешь, немогучка!

Горелая надела кровавый обрывок на палку, подняла ее высоко, словно флаг, и понеслась по улице, во главе завывавших женщин. Падали капли крови, жалкие лоскутья плоти свешивались, как обрезки мяса с прилавка мясника. Вверху, за окном, все так же неподвижно стояла жена Мегра; но в последних отсветах заката мутное оконное стекло, должно быть, искажало ее бледное лицо, и казалось, что она смеется. Забитая, ежечасно оскорбляемая развратником мужем, с утра до вечера корпевшая над приходо-расходной книгой, она, быть может, и в самом деле смеялась, когда женщины гурьбой промчались по улице, глумясь над злым животным, над раздавленным животным, свисавшим с длинной палки.

Но все вокруг застыли в ужасе от этого зрелища. Ни Этьен, ни Маэ, ни другие не успели вмешаться и теперь, остолбенев, смотрели на разъяренных мстительниц, бежавших по улице. Из питейной «Головня» вышли люди. Раснер был бледен от возмущения. Захария и Филомену, по-видимому, потрясло зрелище, представшее перед ними; два старика, Бессмертный и Мук, со строгим видом покачивали головой. Только Жанлен, хихикая, подталкивал локтем Бебера и заставлял Лидию поднимать голову и смотреть во все глаза. Вскоре женщины повернули обратно и прошли под окнами директора. Дамы и барышни, стоявшие за решетчатыми ставнями, глядели, вытянув шею. Они не видели того, что

произошло у лавки,— все скрывала стена, а сейчас стемнело и трудно было что-нибудь различить.

— Что это несут на палке? — спросила Сесиль, которая настолько осмелела, что решилась посмотреть в окно.

Люси и Жанна заявили, что, должно быть, это кроличья шкурка.

— Нет, нет,— возразила г-жа Энбо,— вероятно, они разграбили мясную,— у них там что-то похожее на обрезки свинины...— Вдруг она вздрогнула и умолкла. Г-жа Грегуар предостерегающе толкнула ее коленом. Обе они смотрели с ужасом. Барышни побледнели и, больше ни о чем не спрашивая, испуганно глядели на возникшее из мрака кровавое видение.

Этьен снова поднял топор. Но тяжелое чувство не рассеивалось. Распростертый на дороге труп преграждал теперь путь живым и защищал лавку. Многие отступили. Все как будто утолили свой гнев и успокоились. Маэ стоял в угрюмом раздумье, и вдруг кто-то сказал ему на ухо: «Беги скорей отсюда!» Он обернулся и увидел Катрин, запыхавшуюся от быстрого бега, все в той же обтрепанной мужской куртке, все такую же чумазую. Отец оттолкнул ее, не хотел ее слушать, пригрозил отколотить. Она в отчаянии всплеснула руками, растерянно посмотрела вокруг и подбежала к Этьену:

— Беги отсюда! Беги скорей! Жандармы!

Он тоже оттолкнул ее, ответил бранью, вспыхнув при воспоминании о пощечинах. Но Катрин все не отставала, заставила его бросить топор и, с дикой силой схватив за руку, оттащила в сторону.

— Говорю тебе: жандармы!.. Правду говорю. Ведь Шаваль их разыскал и привел сюда. А мне это противно, вот я и пришла... Беги же, беги! Не хочу, чтоб тебя забрали.

И Катрин увела его в то самое мгновение, когда вдали задрожала земля от тяжелого топота скачущих коней. Тотчас взвился крик: «Жандармы! Жандармы!» Все бросились врассыпную, помчались с такой быстротою, что через две минуты улица была совершенно пуста,— людей как будто вихрем смело. Только труп Мегра темным пятном выделялся на белых булыжниках мостовой. У дверей распивочной «Головня» остался лишь Раснер, который с полным удовлетворением, не скрываясь, приветствовал легкую победу жандармских сабель; а в притихшем Монсу, где все как будто вымерло, где в наглухо запертых домах не горело ни одного огонька, обыватели, все в холодном поту, стучали от страха зубами и не смели хотя бы в щелочку взглянуть на улицу. Равнина утонула в густом мраке; лишь зарево, стоявшее над домнами и коксовыми батареями, освещало на горизонте небо в эту трагическую ночь. Все ближе слышался конский топот; грузной темной

массой, неразличимой в темноте, въехали в город жандармы. А за ними, под их охраной, прибыла наконец двухколесная тележка маршьенского кондитера; из тележки выскочил поваренок и преспокойно принялся распаковывать корзину со слоеными пирожками.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I

Всю первую половину февраля стояли сильные холода,— зима была долгая, суровая, безжалостная к беднякам. По дорогам угольного края разъезжали власти — лилльский префект, прокурор, генерал. Жандармов оказалось недостаточно, в Монсу прислали целый полк солдат и расставили его по всем угольным копям — от Боньи до Маршьена. Каждую шахту охранял военный пост, перед каждой машиной стояли солдаты. Особняк директора, склады, мастерские, контора Компании и даже дома некоторых богатых жителей города ощетинились штыками. На безлюдных улицах раздавались только шаги патрульных. Коченея на ледяном ветру, задувавшем порывами, на терриконе постоянно стоял часовой, словно дозорный, наблюдавший за открытым полем; и каждые два часа при смене караула, будто дело было во вражеской стране, слышался выкрик:

— Стой! Кто идет? Пароль!

Работа нигде не возобновилась. Наоборот — забастовка ширилась, захватила Кревкер, Миру́ и Мадлен; в Фетри-Кантель с каждым утром клеть спускала все меньше углекопов; недосчитывала людей шахта Сен-Тома, до тех пор не участвовавшая в забастовке. На вторжение военной силы, оскорблявшее гордость углекопов, они ответили сплоченностью и упорством. Рабочие поселки, разбросанные среди свекловичных полей, словно опустели; углекопы сидели по домам; редко-редко покажется на улице одинокий прохожий, при встрече с солдатом в красных штанах опустит голову и бросит на него исподлобья косой взгляд. В этом угрюмом спокойствии, в этом пассивном упорстве, противопоставленном заряженным ружьям, была обманчивая кротость, та вынужденная терпеливая покорность, с которой звери, запертые в клетку, устремляют глаза на укротителя, но готовы отгрызть ему голову, лишь только он повернется к ним спиной. Для Компании забастовка на шахтах была разорительна. В правлении поговаривали, что надо нанять рабочих в Боринаже — бельгийской пограничной области; но сделать это до сих пор не решались, и таким образом

положение оставалось неизменным: углекопы заперлись в своих поселках, солдаты охраняли мертвые шахты.

Наутро после того ужасного дня сразу наступило спокойствие, за которым, однако, скрывался такой панический страх владельцев копей, что они и вопроса не поднимали о понесенных ими убытках, о жестокостях забастовщиков. Назначенное следствие установило, что причиной смерти Мегра явилось падение с крыши амбара, а глумление над его трупом держали в тайне, и о нем складывались легенды. Компания не желала признаться в нанесенном ей ущербе, а Грегуарам совсем не улыбалась мысль о громком судебном процессе, в котором их дочь скомпрометировала бы себя, выступая на суде в качестве свидетельницы. Однако коекого арестовали, схватив, как водится, случайных лиц — ничего не ведавших, тупых, растерявшихся от страха людей. По ошибке взяли Пьерона, и ему пришлось в наручниках прогуляться до Маршьена,— углекопы долго смеялись над этой историей. Чуть было не увели и Раснера под конвоем двух жандармов. В дирекции ограничились только составлением огромного списка рабочих, подлежащих увольнению; в одном только поселке Двести Сорок уволили Маэ, Левака и еще тридцать четыре человека. Самая суровая кара ожидала Этьена, однако он исчез вечером в суматохе, и теперь его искали, но не могли найти. Донес на него из ненависти Шаваль, который, однако, отказался назвать имена других зачинщиков беспорядков,— Катрин, желая спасти родителей, умолила его никого больше не выдавать. Шел день за днем, люди чувствовали, что борьба еще не кончена, и со щемящим сердцем ждали развязки.

В Монсу буржуа лишились покоя: они вскакивали по ночам с постели, им чудились грозные звуки набата, их преследовал запах пороха. И все у них окончательно перемешалось в голове от проповедей нового священника их прихода, аббата Ранвье, худого, высокого фанатика с горящими глазами, преемника аббата Жуара. Как он был не похож на своего улыбающегося дородного предшественника, такого любезного и мягкого человека, неизменно стремившегося жить со всеми в ладу! Этот аббат Ранвье, подумайте только, позволил себе защищать забастовщиков, разбойников, которые позорят всю округу. Он находил извинения их гадким поступкам, он яростно нападал на буржуазию и возлагал на нее всю ответственность за случившееся. По его мнению, буржуазия, отняв у церкви ее исконные права, весьма дурно пользовалась ими и обратила мир земной в юдоль несправедливости и страданий. Именно она, буржуазия, разжигает распри и приведет мир к ужасной катастрофе, виной которой является ее атеизм, ее отказ вернуться к вере и братской любви, соединявшие людей в первые времена христианства. Аббат даже осмелился угрожать бо-

гачам, он дерзко предупреждал их, что если они и дальше будут упрямиться и не захотят внять гласу господню, то бог наверняка встанет на сторону бедняков: он отнимет богатства у неверующих, наслаждающихся благами земными, и разделит их сокровища между страдающими и обездоленными, ради вящей славы своей. Благочестивые обыватели трепетали, а некоторые заявляли, что это чистейший социализм, и все уже видели, как аббат Ранвье, во главе полчища рабочих, потрясая крестом, сокрушает буржуазное общество, порожденное революцией тысяча семьсот восемьдесят девятого года.

Предупредили г-на Энбо, но он только пожал плечами и сказал:

— Если он очень будет надоедать нам, епископ уберет его отсюда.

А пока ветер панического страха дул по всей равнине, Этьен жил под землей, в глубине Рекильярской шахты, в норе Жанлена. Он скрывался там, и никто не думал, что он находится так близко; смелое его решение спрятаться в заброшенной шахте сбило с толку всех ищеек. Вверху вход в яму прикрывали кусты терновника и боярышника, разросшиеся среди рухнувших балок старого копра; никто не дерзал проникнуть туда,— для этого нужно было прибегать к акробатическим приемам: повиснуть в воздухе, уцепившись за корни рябины, и бесстрашно низринуться в темноту — на площадку, от которой шли вниз уцелевшие ступеньки лестницы; да и другие препятствия охраняли тайник: удушливая жара, стоявшая в этом запасном стволе, сто двадцать метров опасного спуска. Потом надо было с четверть лье проползти по узкому штреку, и лишь тогда можно было попасть в разбойничью пещеру Жанлена, где он собирал наворованные им сокровища. Этьен жил там среди изобилия этих благ: там оказалась и можжевеловая водка, и недоеденная соленая треска, и другая снедь. Куча сена служила превосходной постелью. В этом углу совсем не дули сквозняки, все время стояла ровная температура,— правда, было довольно жарко. Одно оказалось плохо: грозила неприятность остаться без света. Жанлен, опекавший его, действовал осторожно и крепко хранил тайну, радуясь случаю посмеяться над жандармами; он приносил Этьену всевозможные вещи, вплоть до помады для волос, но никак не мог стянуть где-нибудь пачку свечей.

На пятый день Этьен зажигал свет только за своими трапезами, в темноте он не мог есть, кусок не лез в горло. Темнота, бесконечная, беспросветная, непроглядная темнота, была для него пыткой. Хоть он мог и спать тут спокойно, хоть и был сыт, сидел в тепле, никогда еще темнота так не угнетала его — словно какая-то тяжесть навалилась на него. Вот оно как обернулось,— несмотря на все коммунистические теории, Этьен Лантье ест и пьет кра-

деное! Против этого восставала его щепетильная честность, привитая воспитанием, и он ограничивался сухим хлебом, урезывая себе паек. Но надо было жить: его задача еще не выполнена. Он терзался стыдом и раскаянием оттого, что недавно напился и вел себя как дикарь. В тот день было так холодно — зуб на зуб не попадал, и так голодно; он пил эту проклятую водку на пустой желудок, опьянел и стал зверем — кинулся с ножом на Шаваля. Под влиянием алкоголя зашевелилось в его существе что-то неведомое и страшное — наследственная болезнь. Вот действительно проклятое наследство, полученное от многих поколений пьяниц, раз от одной рюмки спиртного приходишь в исступление и готов зарезать человека. Неужели он станет в конце концов убийцей? Очутившись в подземном убежище, среди глубокой тишины недр земных, устав от насилий, он двое суток спал беспробудно, словно наевшееся до отвала, но измученное животное; и отвращение к случившемуся все не проходило, он чувствовал себя совсем разбитым, во рту была горечь, голова нестерпимо болела, словно после мерзкой попойки. Прошла неделя. Жанлен предупредил родителей, но им не удалось прислать Этьену свечу; ему приходилось сидеть без света и даже есть в темноте.

Теперь он часами валялся на сене. Какие-то странные мысли одолевали его,— он не ожидал, что они могут у него возникнуть. Но с тех пор, как он занялся самообразованием, читал и приобретал познания, у него развилось чувство собственного превосходства, уверенность, что, по сравнению с товарищами, он выдающаяся личность. Ему еще никогда не приходилось столько размышлять; он задался вопросом, почему ему все опротивело на другой день после исступленного шествия и разгрома; и он не решался ответить на этот вопрос; он с отвращением вспомнил все то, что было: и низменные вожделения, и грубость инстинктов, и запах нищенских отрепьев, развеваемых ветром. Жить в непроглядной тьме было мучительно, и все же он со страхом думал о возвращении в поселок. Что за жизнь у этих обездоленных! Спят чуть ли не вповалку, все моются в одной лохани! Подумать тошно! И ни с кем нельзя серьезно поговорить о политике; существование у них просто скотское; в домах нечем дышать, спертый воздух пропитан запахом жареного лука. Он хотел расширить их кругозор, поднять их умственный уровень, добиться, чтобы они стали хозяевами,— ведь тогда они достигли бы такого же благосостояния, как буржуазия, имели бы такие же хорошие манеры. Но как долго этого ждать! Он не чувствовал в себе достаточно мужества, чтобы в ожидании победы голодать и надрываться на этой каторге. Тщеславное сознание, что он стал вожаком этих бедняков, постоянная его обязанность думать за них отдаляли его от товарищей,— душой он становился сродни буржуа, которых так ненавидел.

Однажды вечером Жанлен принес ему свечку, украденную из фонаря ломового извозчика; это было большим облегчением для Этьена. Когда темнота нагоняла на него невыносимую тоску и гнет этого мрака доводил его чуть не до сумасшествия, он на минуту зажигал огарок; а как только кошмарные мысли рассеивались — тушил его, дрожа над этим жалким источником света, необходимого ему для жизни, как хлеб. Кругом была тишина, он напряженно вслушивался в нее — вот пробежала стая крыс; потрескивает старая крепь; а вот чуть слышный шелест — это паук плетет свою паутину. Глядя широко открытыми глазами в теплую тьму, он возвращался к неотвязным своим думам. Что делают там, на поверхности земли, его товарищи? Отступничество он счел бы величайшей подлостью. Он прятался здесь лишь для того, чтобы остаться на свободе, давать советы и действовать. За долгие часы раздумий его честолюбивые мечты определились: в ожидании лучшего он хотел бы стать вторым Плюшаром, бросить физическую работу, заняться исключительно политикой и жить одному, в чистой комнате: ведь умственный труд поглощает всю жизнь целиком и требует спокойной обстановки.

В начале второй недели Жанлен сообщил Этьену, что жандармы вообразили, будто он бежал в Бельгию. И тогда Этьен, как только стемнело, осмелился выбраться из своей норы. Он хотел узнать, каково положение, посмотреть, следует ли дальше упорствовать. Сам он считал, что игра проиграна; еще до забастовки он сомневался в ее исходе и согласился на нее только в силу обстоятельств; а теперь, после опьянения бунтом, вернулись прежние его сомнения, и он уже не надеялся, что рабочие заставят Компанию пойти на уступки. И, хоть он и не признавался себе в этом, у него больно щемило сердце при мысли о тех бедствиях, которые принесет поражение, и о том, какая тяжелая ответственность за страдания побежденных ляжет на него. А с концом забастовки кончится и его роль, рухнут его честолюбивые планы, его уделом будет отупляющая работа на шахте и безрадостный быт рабочего поселка. Но он совершенно искренне, без всякой задней мысли, без низких расчетов и лжи старался возродить в душе веру, доказать себе, что сопротивление еще возможно, что капитал не устоит и скоро падет пред лицом этого героического самоубийства армии труда.

В самом деле, по всему краю ветер разносил отзвуки разорения. Ночью, когда Этьен рыскал по черным полям, словно волк, выбежавший из леса, ему слышалось, как по всей равнине, из конца в конец, раздается грохот падения: рушатся крепости капитала. Блуждая по дорогам, он проходил мимо закрывшихся, мертвых заводов, строения которых гнили и разваливались под куполом белесого неба. Больше всего пострадали сахарные заводы: Готон-

ский и Фовельский заводы сначала сократили число рабочих, а затем закрылись,— один за другим. На механической мельнице Дютилейля последний постав остановился во вторую субботу февраля; отсутствие заказов совсем убило мастерские в Блезе, выделывавшие канаты для угольных копей, и они больше не работали. В окрестностях Маршьена положение ухудшалось с каждым днем: в Гажбуа стекольный завод загасил все печи; в Сонвильских машиностроительных мастерских шло увольнение рабочих; на литейном заводе горела только одна из трех доменных печей; на горизонте не светилось пламя ни одной коксовой батареи. Забастовка на угольных копях Монсу, порожденная все расширявшимся промышленным кризисом, который длился уже два года, усугубляла этот кризис, ускоряла наступление катастрофы. К причинам бедствия — прекращению заказов из Америки, затору в обороте капиталов, вызванному перепроизводством, присоединилась теперь еще одна причина — нежданная нехватка каменного угля для топок тех паровых котлов, которые еще действовали; настали последние минуты агонии, ибо шахты больше не давали угля, этого хлеба насущного паровых машин. Испугавшись повальной болезни, Компания Монсу сократила добычу, обрекла рабочих на голодное существование, а роковым следствием сокращения оказалось то, что с конца декабря на площадках шахт не было ни одного куска угля. Все находилось во взаимной связи, ветер бедствия дул издалека, крах одного предприятия влек за собою банкротство другого; в падении своем они задевали, опрокидывали и давили друг друга; катастрофы следовали быстрой чередой, отзвуки крушений долетали и до соседних городов — Лилля, Дуэ, Валансьена, где они вызывали крах банков и бегство банкиров, разоривших тысячи семей.

Нередко Этьен, блуждая ночью, останавливался на повороте дороги и замирал в раздумье. Вот они падают, падают обломки крепостей. И он глубоко вдыхал холодный воздух, всматривался в темноту. Как радовался он этому уничтожению, предавшись надежде, что солнце взойдет над обломками старого мира,— не останется тогда ни одной башни богатства, их развалины сровняют с землей, и принцип равенства, словно острая коса, под корень срежет все несправедливости. Больше всего его интересовали в этом уничтожении копи Монсу. В своих ночных скитаниях он побывал близ каждой шахты и радовался, узнавая о каком-нибудь новом ущербе, нанесенном Компании. Ведь в шахтах один за другим происходили обвалы, и все более значительные, так как квершлаги и штреки все больше приходили в запустение. Над северным крылом шахты Миру́ земля так осела, что Жуазельская дорога провалилась на протяжении ста метров, словно ее проглотила трещина при землетрясении; Компания, не торгуясь, платила

«Жерминаль»

«Жерминаль»

землевладельцам за исчезнувшие поля, опасаясь, что из-за этих катастроф поднимется шум. Шахты Кревкер и Мадлен, где порода была очень неустойчивая, все больше закупоривались. Говорили, что в шахте Виктуар погибли под обвалом два штейгера; в Фетри-Кантель выработки затопила хлынувшая вода; в Сен-Тома пришлось укрепить главный квершлаг на протяжении километра каменной кладкой, так как плохо поддерживаемое деревянное крепление повсюду ломалось. Словом, Компания несла огромные убытки, возраставшие с каждым часом, дивиденды акционеров утекали в эти зияющие бреши; шахты быстро разрушались, и в конце концов все это должно было поглотить знаменитые паи Компании угольных копей в Монсу, стоимость которых за столетие увеличилась во сто раз.

И благодаря этим непрекращающимся ударам у Этьена возродилась надежда; он в конце концов уверовал в то, что третий месяц забастовки доконает чудовище — усталого и разжиревшего зверя, сидящего, словно идол, где-то там, в неведомом капище. Этьен знал, что после беспорядков в Монсу парижские газеты заволновались, поднялась яростная полемика между официозными газетами и газетами оппозиционных кругов; в печати появились ужасающие рассказы о происходивших событиях, направленные главным образом против Интернационала, влияния которого теперь боялись, тогда как раньше поощряли его. Словом, Компания уже не могла прикидываться равнодушной к создавшемуся положению: два члена правления соблаговолили приехать для расследования, но как будто сожалели, что потратили на это время, совсем не интересовались ходом забастовки, выказывали полное безразличие к ней и через три дня уехали обратно, заявив, что все идет прекрасно. Однако ж Этьену говорили, что эти важные особы во время своего пребывания в Монсу сидели в конторе день и ночь, развили лихорадочную деятельность, поглощены были какими-то делами, о которых никто из их окружения не обмолвился ни единым словом. Этьен считал, что самоуверенность приезжих господ — чистейшая комедия, даже полагал, что они не уехали, а бежали в паническом страхе; он теперь не сомневался в победе забастовки, раз эти ужасные люди все бросили и умчались прочь.

Но в следующую ночь он опять пришел в отчаяние. Компания весьма крепко стояла на ногах, и не так-то легко было ее свалить: ей не страшно было потерять несколько миллионов — она знала, что позднее все наверстает на рабочем, урезав его голодный паек. В ту ночь он дошел до Жан-Барта и угадал правду, когда сторож сообщил ему, что Вандамские копи, кажется, перейдут в руки Компании Монсу. Говорили, что в доме Денелена теперь жалкая нищета — нищета разорившихся богачей; отец заболел от сознания своей беспомощности, постарел из-за денежных забот; дочери бо-

рются с кредиторами, пытаются спасти хоть свои рубашки. В рабочих поселках люди не так страдали, как в доме этих буржуа, где хозяева, прячась от всех, пили за столом воду вместо вина. В Жан-Барте работа не возобновилась, да еще пришлось поставить новый насос в шахте Гастон-Мари, и, хотя откачку вели день и ночь, вода уже начала заливать выработки; борьба с этим бедствием требовала больших расходов. Денелен осмелился наконец попросить у Грегуаров взаймы сто тысяч франков, и их отказ, которого он, впрочем, ожидал, совсем его убил. Они заявили, что отказывают из дружеской приязни к нему — хотят, чтобы он бросил непосильную борьбу, и советовали ему продать концессию. Денелен яростно твердил: «Нет!» Его приводило в бешенство, что именно ему приходится расплачиваться за забастовку; он сперва надеялся, что умрет из-за этого,— вот-вот кровь бросится в голову, апоплексия задушит его. А потом (ничего не поделаешь!) пришлось выслушать предложения. С ним повели кляузный торг, желая обесценить эту великолепную, отремонтированную, оснащенную новым оборудованием шахту, в которой он только из-за нехватки оборотного капитала не мог как следует развернуть добычу. Теперь ему давали за нее гроши,— хорошо, если хватит ублаготворить кредиторов. Два дня он сражался с членами правления, приехавшими в Монсу, приходил в бешенство, видя, как хладнокровно они стараются извлечь для себя выгоду из его тяжелого положения, кричал им своим зычным голосом: «Никогда! Нет! Нет!» Сделка не состоялась; члены правления вернулись в Париж, решив терпеливо ждать, когда Денелен будет при последнем издыхании. Этьен чутьем угадал, каким путем Компания возместит свои катастрофические убытки, и пал духом перед непобедимой мощью крупных капиталов, столь сильных в схватке, что они жиреют даже при поражении, пожирая трупы малых капиталов, павших рядом с ними.

К счастью, на следующий день Жанлен принес ему добрую весть. В Ворейской шахте сруб шахтного ствола того и гляди разорвет: вода льет из всех пазов; для ремонта пришлось поставить туда артель плотников, идет срочнейшая работа.

До тех пор Этьен не подходил к Ворейской шахте, опасаясь черной фигуры часового на терриконе. Его нельзя было избежать, он возвышался надо всей равниною, он виден был отовсюду, словно знамя полка. В третьем часу утра, когда тучи затянули небо и стало очень темно, Этьен направился к шахте; товарищи, попадавшиеся ему навстречу, рассказали, в каком плохом состоянии сруб,— они даже полагали, что необходимо его срочно перебрать, а для этого придется на три месяца прекратить добычу. Этьен долго бродил близ шахты, слушал, как стучат молотками плотники, исправляя сруб. Сердце у него радовалось: вот еще и эту рану

пришлось хозяевам залечивать. Возвращаясь к себе на рассвете, он увидел на терриконе часового. Наверняка и часовой его увидит, если подойти к шахте. Этьен шел и думал об этих солдатах, которых взяли в гуще народной и, вооружив, послали против народа. А как легко было бы революции одержать победу, если б армия вдруг перешла на ее сторону. Достаточно было бы, чтобы в казармах рабочий и крестьянин, которых одели в солдатские мундиры, вспомнили о своем происхождении. Буржуа понимают, какая это страшная для них опасность, и приходят в такой ужас при мысли о возможной измене войск, что их бросает в озноб от страха. За каких-нибудь два часа их бы смели, уничтожили — пришел бы конец всем их наслаждениям, всем гнусностям их подлой жизни. А ведь говорят, что целые полки заражены социализмом. Правда ли это? Неужели справедливость воцарится благодаря патронам, которые выдает солдатам буржуазия? И тут же у Этьена возникла новая надежда,— он мечтал, что полк, который охраняет шахты, присоединится к забастовщикам, расстреляет всю Компанию и отдаст наконец угольные копи углекопам.

Только тут Этьен заметил, что, увлекшись своими размышлениями, он поднялся на террикон. А почему бы ему не поговорить с часовым? Узнаешь тогда, что у солдат на уме. И он с равнодушным видом все ближе подходил к часовому, как будто собирал обломки крепежного леса, выброшенные на отвал. Часовой стоял как вкопанный.

— Что, друг, поганая погода? — сказал Этьен.— Пожалуй, снег пойдет.

У часового, низкорослого и щуплого белесого парня, было доброе бледное лицо с крупными веснушками. Солдатская шинель сидела на нем коробом, амуниция мешала,— видно было, что он новобранец.

— Да, видно, снег выпадет,— пробормотал он и поднял голову, всматриваясь в чуть посветлевшую над терриконом полоску предрассветного неба, тогда как вдалеке оно нависло над равниной тяжелой, как свинец, густой чернотой.

— Вот дураки-то! Поставили солдата на самом юру! Вы, поди, до костей промерзли! — продолжал Этьен.— И чего, спрашивается, всполошились! Будто казаков ждут!

Солдат весь дрожал от холода, но не смел жаловаться. Неподалеку виднелась сложенная из дикого камня будка,— там старик Бессмертный укрывался по ночам в бурю и в ливень, но часовой получил приказ не сходить с гребня террикона, и он не трогался с места, хотя руки у него так закоченели, что он уже не чувствовал, держит ли ружье. Он состоял в отряде из шестидесяти солдат, охранявших Ворейскую шахту; ему часто приходилось нести караульную службу в этих тяжелых условиях, и как-то раз он

едва не отморозил себе ноги, стоя на часах. Что поделаешь, таково солдатское дело — терпи! Безропотно подчиняясь военной дисциплине, он стоял, коченея на ветру, и отвечал на вопросы Этьена несвязным лепетом, словно ребенок, которому ужасно хочется спать.

Целых четверть часа Этьен тщетно пытался завязать с ним разговор о политике. Солдат отвечал односложно — да, нет, но, по-видимому, ничего не понимал. Он слыхал от товарищей, что их ротный командир — «за республику», а сам он про такие дела не думает: ему все равно. Прикажут стрелять — будет стрелять, а то ведь под суд пойдешь. Этьен, рабочий, слушал этого солдата, испытывая чувство ненависти, той ненависти, какую народ питает к армии, к своим же братьям, у которых, однако, меняется сердце, как только наденут на них красные штаны.

— Вас как зовут?

— Жюль.

— А вы откуда?

— Из Плогофа — вон оттуда.— И часовой наугад ткнул куда-то рукой. Плогоф в Бретани, а больше он ничего не мог о нем сказать. Но его бледное лицо оживилось, на сердце стало теплее, он засмеялся.

— У меня мать и сестра там. Ждут, понятно... Да еще не скоро мне домой... Когда забрили лоб, они меня провожали до Пон-л'Аббе. Мы взяли лошадь у соседей, у Лепальмеков, а лошадь чуть себе ноги не сломала на спуске к Одьерну. Двоюродный брат Шарль ждал нас, колбасы домашней они приготовили. Но уж очень женщины плакали, прямо кусок не лез в горло... Ах, боже ты мой! Боже мой! Далеко до наших краев!

Глаза у него наполнились слезами, но он все смеялся. Каменистые пустоши вокруг Плогофа, дикие скалы у мыса Ратз, на которые в непогоду приступом идут волны, представали перед его глазами в ослепительном солнечном свете, в пору цветения вереска, осыпанного нежно-розовыми цветочками.

— Как вы думаете,— спросил он,— если не будет у меня взысканий, отпустят меня через два года на побывку домой — на месяц?

Тогда Этьен заговорил о своей родине, о Провансе, с которым расстался еще в детстве. В землисто-сером небе забрезжил рассвет; начали падать летучие хлопья снега. Этьен в конце концов встревожился, заметив Жанлена, который выглядывал из-за кустов терновника, поражаясь, что видит его на терриконе. Мальчишка нетерпеливо манил его к себе. Да и что в самом деле, разве можно сейчас мечтать о братстве с солдатами? Этого ждать надо еще годы и годы. А все же неудавшаяся попытка глубоко огорчила Этьена, словно он надеялся на успех. Вдруг он понял, поче-

му Жанлен зовет его: сейчас придут сменять часового. И Этьен ретировался, бегом побежал к Рекильярской шахте, спеша укрыться в своей норе, полный горькой уверенности в неизбежном поражении; Жанлен, бежавший рядом с ним, отрывисто ругал часового, уверял, что «этот черт» нарочно вызвал патруль с военного поста и сейчас их обстреляют.

А солдат Жюль стоял как вкопанный на гребне террикона, устремив тоскливый взгляд на падающий снег. По дороге шел разводящий со сменой караула. Раздались предписанные уставом возгласы:

— Кто идет?.. Пароль!

Затем сержант с подчиненными повернули обратно. Все было, как в завоеванной стране. Уже совсем рассвело, но в рабочих поселках, затихших под солдатским сапогом, никто не шевелился: углекопы замкнулись в гневном молчании.

II

Снег шел два дня, на третий день, утром, перестал, разостлав огромную белую скатерть; в изморозь она подернулась льдистой пленкой; угольный край, с черными, как сажа, дорогами, с деревьями, обсыпанными черной угольной пылью, сверкал теперь белизной, простирая куда-то в бесконечность белые просторы. Поселок Двести Сорок занесло снегом, будто и не было его. Ни одной струйки дыма не подымалось над крышами. В домах не разжигали огня, они стояли холодные, как лед; толстый слой снега не таял на черепичных крышах вокруг дымовых труб. Казалось, тут просто каменоломня: выстроили в ряд на заснеженной равнине добытые белые глыбы. Мертвое селение в белом саване. Только проходившие патрули протоптали на улице тропинку, перемешав снег с грязью.

В доме Маэ накануне сожгли последнюю лопату угольной мелочи; в такую ужасную погоду нечего было и думать идти на террикон подбирать крохотные осколки угля, все засыпало снегом,— воробей и тот не найдет ни единой былинки. Альзира в поисках угля упрямо разгребала снег худенькими ручонками, простудилась, заболела и была теперь при смерти. Мать закутала ее в рваное одеяло, ждала доктора Вандергагена, к которому ходила два раза и все не заставала его; однако его горничная обещала, что передаст барину и он придет в поселок к вечеру; мать стерегла теперь у окна, а больная девочка, пожелавшая, чтоб ее снесли вниз, прикорнула на стуле около холодной печки — бедняжке казалось, что тут лучше, теплее. Напротив нее, как будто в дремоте, сидел старик Бессмертный, у которого опять распухли ноги. Ле-

нора и Анри еще не вернулись домой — они ходили по дорогам в сопровождении Жанлена, просили милостыню. В голой, пустой комнате никто не шевелился, только отец ходил тяжелым шагом из угла в угол, натыкаясь при каждом повороте на стену,— так ходит зверь, запертый в клетку и до того отупевший в плену, что он не замечает решеток. Керосин в доме тоже весь вышел, но в окно падали белые отблески снега, завалившего улицу, и чуть-чуть освещали комнату, хотя уже наступили сумерки.

Послышался стук деревянных башмаков, и в комнату как сумасшедшая ворвалась жена Левака, закричав еще с порога хозяйке дома:

— Так это ты сказала, будто я беру со своего жильца по двадцать су всякий раз, как он спит со мной?

Жена Маэ пожала плечами:

— Ты что, рехнулась? Ничего я не говорила! Кто тебе это сказал?

— Люди сказали, что ты про меня так говоришь, а кто сказал, тебе незачем знать... Ты даже еще говоришь, будто тебе все слышно через стенку, как мы с ним блудом занимаемся, и что у меня в доме грязь несусветная, потому что я все время в постели валяюсь... Ну-ка, посмей сказать, что ты этого не говорила, ну?

В поселке и раньше вспыхивали ссоры из-за постоянных сплетен, особенно в семьях, живших по соседству, в одном доме,— там ежедневно происходили стычки и примирения. Но еще никогда в этих схватках не проявлялось столько злобы. Со времени забастовки, когда в рабочих поселках начался голод, люди стали крайне раздражительны, злопамятны, всегда готовы были дать трепку за обиду; объяснения между повздорившими кумушками обычно кончались дракой между их мужьями.

После вторжения жены явился и сам Левак, насильно притащив с собою Бутлу.

— Вот он, пожалуйста... Пусть сам скажет, давал ли он моей жене по двадцать су за то, чтоб она спала с ним.

Бородатый тихоня Бутлу, испуганно и кротко протестуя, бормотал:

— Ну уж это нет. Ни гроша! Никогда! Никогда!

И Левак тотчас с угрозой замахал кулаком перед носом Маэ.

— Так и знай, со мной шутки плохи! Если у тебя жена такая врунья, ты ей должен намять бока... А раз ты позволяешь ей врать, значит, веришь ее брехне. Так, что ли?

— Да убирайся ты к дьяволу! — воскликнул Маэ, рассердившись на то, что нарушили его угрюмое оцепенение.— Бросьте вы все эти сплетни. Оставь меня в покое, Левак, а то дам как следует. И кто вам сказал, что это моя жена говорила?

— Кто сказал?.. Жена Пьерона сказала, вот кто.

Жена Маэ засмеялась и повторила:

— Ах, вот что! Жена Пьерона сказала? Ну коли так, я могу тебе сказать, что она мне про тебя сказала. Да, да. Она мне говорила, будто ты спишь с двумя мужьями сразу: один у тебя снизу, другой — сверху!..

Примирение стало невозможным. Все рассвирепели. Леваки в отместку заявили супругам Маэ, что жена Пьерона говорит про них кое-что почище: они Катрин свою продали, и все семейство, даже малые дети, гниет теперь: заразились дурной болезнью, которую жилец Этьен подцепил в «Вулкане».

— Она так и сказала? Так и сказала? — рявкнул Маэ.— Ну ладно! Пойдем к ней. Если она так сказала, я ей морду набью.

И Маэ бросился из дому. Леваки последовали за ним в качестве свидетелей. А Бутлу, до смерти не любивший ссор, под шумок удрал домой. Разгорячившись при этом объяснении, жена Маэ хотела было идти вслед за мужем, но жалобный стон Альзиры остановил ее. Она укутала поплотнее одеялом дрожащую девочку и опять стала у окна, с тоской вглядываясь в темноту. Да что же это доктор не идет!

У крыльца Пьеронов Маэ и Леваки натолкнулись на Лидию, топтавшуюся на снегу. Дом был заперт, сквозь щели в ставне пробивалась тоненькая полоска света; девочка сперва очень смущенно отвечала на вопросы: нет, папы нет дома, он пошел на речку, там бабушка полощет белье, он поможет ей донести корзину. Потом замолчала, не желая сказать, что делает мачеха. И, наконец, с хитрой улыбкой, радуясь случаю отомстить за обиды, вдруг выпалила: мачеха выставила ее за дверь, потому что пришел господин Дансар и она мешает им поговорить. Дансар с утра расхаживал по поселку в сопровождении двух жандармов, уговаривал выйти на работу, нажимал на слабодушных, повсюду заявлял, что, если с понедельника рабочие не спустятся в шахту, Компания наймет углекопов в Бельгии,— это решено. А когда стемнело, он зашел к Пьеронам; застав жену стволового одну, отослал жандармов и остался у нее, решив выпить стаканчик можжевеловой водки и погреться у жаркого огня.

— Тише! Молчите! Давайте на них поглядим! — прошептал Левак с похотливой усмешкой.— Потом объяснимся. А ты, чертенок паршивый, убирайся отсюда!

Лидия отошла на несколько шагов; Левак прильнул глазом к щели, светившейся в ставне. Он тихонько ахал, согнутая спина его вздрагивала от приглушенного смеха; затем к щели приникла его жена, но, посмотрев, заявила с такой гримасой, словно ее схватили колики, что ей противно глядеть на это. Маэ, оттолкнув ее, тоже посмотрел и затем сказал, что тут зря времени не теряют. Потом по очереди все посмотрели еще раз, словно на забавное

представление. Комната блестела чистотой, в очаге весело горел яркий огонь; на столе стояла бутылка, стакан и тарелка с печеньем,— словом, шел настоящий пир. Именно поэтому зрелище, представшее перед ними, в конце концов возмутило обоих мужчин, а при других обстоятельствах они полгода смеялись бы над этим. Черт с ней, с бесстыжей бабенкой, пусть забавляется. Но разве это не свинство: разожгла для своих развлечений такой жаркий огонь, подкрепляется вином и бисквитами, а у товарищей нет в доме ни корки хлеба, ни горсточки угля.

— Отец идет! — крикнула Лидия и бросилась наутек.

Пьерон спокойно возвращался с речки, с корзинкой мокрого белья на плече. Маэ тотчас подверг его допросу:

— Слушай, мне сказали, что твоя жена говорит, будто я продал свою дочь и будто у нас в доме все гнилые от дурной болезни... А как в твоем доме? Сколько тебе платит за твою жену вон тот господин? Или он ее даром полирует?

Ошеломленный Пьерон ничего не мог понять, но вдруг его жена, услышав сердитые голоса, перепугалась и потеряв голову приоткрыла дверь посмотреть, что происходит. И тогда соседи увидели, что она вся красная, корсаж у нее расстегнут, подоткнутая за пояс юбка еще не опущена; а в глубине комнаты растерянный Дансар оправляет свой костюм. Старший штейгер выскочил из двери и мигом исчез, трепеща от страха, как бы это происшествие не дошло до ушей директора. У крыльца поднялся ужасный шум, хохот, свист, улюлюканье, ругань.

— Эй ты, барыня! — кричала жена Левака.— Недаром ты про всех говоришь, что мы неаккуратные да грязнули. Знаем теперь, почему ты такая чистенькая, тебя вон какие начальники начищают!

— Да как она смеет про других говорить! — подхватил Левак.— Мерзавка этакая! Ты зачем сказала, что моя жена спит и со мной и с жильцом разом!.. Да, да, мне передали, что ты это сказала.

Но жена Пьерона успокоилась и, не обращая внимания на брань и грубые слова, весьма презрительно смотрела на оскорбителей, уверенная в том, что она самая красивая и богатая женщина во всем поселке.

— Что я сказала, то сказала, оставьте меня в покое. Мои дела вас не касаются, завистники несчастные. Ну да, вы на нас злобитесь за то, что мы деньги на сберегательную книжку кладем! Вот разошлись! Можете орать сколько угодно, мой муж знает, почему господин Дансар был у нас.

И тут Пьерон стал горячиться, защищать свою жену. Ссора приняла другой оборот. Пьерона назвали продажной шкурой, доносчиком, хозяйским псом; упрекали в том, что он, запершись в

своем доме, угощается лакомствами, которыми начальство платит ему за предательство. Пьерон в ответ кричал, что Маэ хочет его со свету сжить и не раз подсовывал ему под дверь подметные письма с угрозами; а на одном листке были нарисованы две перекрещенные кости, череп и сверху — кинжал. Кончилось все это, разумеется, дракой между мужчинами — так всегда кончались начатые женщинами ссоры с тех пор, как голод доводил до исступления самых смирных людей. Маэ и Левак бросились с кулаками на Пьерона, пришлось их разнимать.

Из разбитого носа Пьерона ручьем лилась кровь, а в это время с речки пришла старуха Горелая. Ей сообщили, что произошло, и, посмотрев на зятя, она только сказала:

— Боров проклятый! Позорит он меня!

Улица опять опустела, ни одного человека, ни единой тени на голой белизне снега; поселок опять впал в мертвую неподвижность; голод и холод уже грозили смертью.

— Ну как, был доктор? — спросил Маэ, затворяя за собою дверь.

— Не приходил,— ответила мать, по-прежнему стоя у окна.

— Малыши вернулись?

— Нет.

Маэ опять зашагал от стены к стене все с тем же угрюмым и тупым видом, как у быка, оглушенного ударом обуха. Старик Бессмертный сидел на стуле не шевелясь, словно каменный: так и не поднял головы... Альзира тоже молчала и старалась унять дрожь, которая била ее; но хотя бедная девочка мужественно переносила страдания, минутами она дрожала так сильно, что слышно было, как шуршит одеяло, в котором тряслось от озноба все ее худенькое искалеченное тело; широко раскрытыми глазами она уставилась в потолок, на котором лежал отблеск снега, завалившего палисадник и, словно лунный свет, озарявшего комнату.

Поистине всему пришел конец: дом был опустошен, в нем ничего не оставалось. Продали старьевщику шерсть из тюфяков, а за ней и тиковый чехол, потом продали одеяла, простыни, белье — все, что можно было продать. Однажды вечером продали за два су носовой платок деда. Со слезами расставались с каждой вещью, разоряя свое скудное хозяйство, и мать все еще горько сетовала, вспоминая, как она завернула в свою старую юбку розовую картонную коробку — давний подарок мужа — и унесла ее из дому, как уносят младенца, чтобы подкинуть его чужим людям. Вот и остались голы, больше нечего продавать,— разве что содрать с себя кожу, но кому она нужна, такая грубая, потемневшая, вся в шрамах и ссадинах — за нее и гроша ломаного не дадут. И теперь уж не шарили, не искали,— знали, что нет в доме ничего, все кончено; нет ничего и не будет — ни свечи, ни куска

угля, ни одной картофелины; теперь оставалось только умереть, и они ждали смерти; обидно было только за детей — возмущала эта бесцельная жестокость судьбы: зачем она послала болезнь несчастной девочке, прежде чем уморить ее голодом.

— Наконец-то! Доктор! — сказала мать.

Мимо окна промелькнула черная фигура. Отворилась дверь. Но вошел не доктор Вандергаген, а новый приходский священник, аббат Ранвье; он, по-видимому, не удивился, что попал в мертвый дом, дом без света, без огня, без хлеба. Ведь он уже побывал в трех соседних домах, переходил из семьи в семью, как Дансар со своими жандармами, и вербовал людей в лоно церкви. Перешагнув порог, он тотчас заговорил с пафосом фанатика:

— Почему вы не были в воскресенье у обедни, дети мои? Вы себе же вредите,— ведь только церковь может вас спасти!.. Ну, обещайте мне, что придете в следующее воскресенье.

Маэ посмотрл на него и, не сказав ни слова, опять стал ходить по комнате тяжелым своим шагом. Вместо него ответила жена:

— К обедне ходить?.. А зачем? Господу богу наплевать на нас... Разве не верно? Чем ему не угодна моя дочка? Вот она, дрожит тут в лихорадке. Мало ему было нашей нищеты, мучений наших,— он послал ей болезнь, а я даже не могу напоить бедную свою девочку чем-нибудь горяченьким.

И тогда священник, стоя в полумраке, произнес речь, в которой говорил о забастовке, об ужасных страданиях, вызванных ею, о великом озлоблении, порожденном голодом,— говорил с пылом миссионера, проповедующего дикарям ради вящей славы религии. Он уверял, что церковь стоит на стороне бедняков, что настанет день, когда благодаря ей восторжествует справедливость, ибо она призовет гнев божий на беззакония богачей. И этот день воссияет скоро, бог покарает богатых за то, что они заняли место бога; эти нечестивцы, приписывая себе его могущество, дошли до того, что правят миром без господа. Но если рабочие хотят добиться справедливого распределения благ земных, они должны немедленно вверить свою судьбу священникам, подобно тому как после смерти Иисуса Христа смиренные и малые мира сего сплотились вокруг апостолов. Какую силу получит папа римский, каким воинством будет располагать духовенство, если станет во главе бесчисленных масс трудящихся! За одну неделю мир будет избавлен от жестокосердых богачей, изгнаны будут недостойные повелители, наступит наконец истинное царство божие, каждый вознагражден будет по заслугам своим, труд станет законом и основой всеобщего счастья.

Слушая эти слова, жена Маэ вспомнила речи Этьена, звучавшие здесь в осенние вечера, когда собиралось все семейство,— он

тогда тоже возвещал скорое окончание всех бедствий. Но она никогда не доверяла людям в сутанах.

— Хорошо вы говорите, господин кюре! — произнесла она.— Стало быть, вы не согласны с богатыми? Вот прежние наши священники сладко ели, обедали у директора, а нам грозили адом, ежели мы требовали себе хлеба.

Аббат Ранвье продолжал свою речь. Он заговорил о плачевном недоразумении между церковью и народом. В туманных выражениях он нападал на городских священников, на епископов, на все высшее духовенство, развращенное наслаждениями, жаждущее господства, вступившее в сговор с буржуазными вольнодумцами и не видящее в безумном ослеплении своем, что именно буржуазия-то и отнимает у церкви власть над миром. Освобождение придет от сельских пастырей, все подымутся, дабы установить с помощью обездоленных царство Христово. И аббату Ранвье казалось, что он уже ведет за собою восставших. Он стоял, выпрямившись во весь рост, высокий, костлявый, чувствуя себя предводителем воинства, революционером во имя евангелия, и глаза его полны были такого огня, что как будто светились в полумраке. Пламенная проповедь увлекала его самого, но бедняки давно не понимали его мистических восторгов.

— Зачем столько слов тратить? — проворчал вдруг Маэ.— Лучше бы вы для начала принесли нам хлеба.

— Приходите в воскресенье к обедне,— воскликнул аббат.— Бог всего вам пошлет!

И он ушел,— направился к Левакам, дабы просветить их своей проповедью. Он так высоко вознесся в своих мечтах о конечном торжестве церкви, так презирал житейскую действительность, что бегал по всем рабочим поселкам с пустыми руками, проходя сквозь эту армию бойцов, умирающих от голода, без всякого подаяния, ибо сам был бедняком и смотрел на страдания как на средство к спасению души.

Маэ все ходил по комнате; слышны были только его ровные, тяжелые шаги, сотрясавшие плитки пола. Потом как будто заскрипел ржавый железный блок, и старик дед сплюнул в холодный очаг. И снова все смолкло. Раздавались только мерные шаги отца. Альзира, в лихорадочном забытьи, начала тихонько бормотать, весело смеяться, воображая в бреду, что ей очень тепло, что она играет на солнышке в весенний день.

— Ах, жизнь проклятая! — простонала мать, потрогав ей щеки.— Вот в жару теперь горит!.. Я больше не жду доктора. Не придет. Свинья! Верно, эти разбойники запретили ему ходить к нам.

Так она бранила врача, которого содержала Компания. И все-таки с радостным возгласом бросилась к порогу, когда снова от-

ворилась дверь. Но сразу же руки у нее опустились, и она застыла, мрачно глядя на вошедшего.

— Добрый вечер,— вполголоса сказал Этьен, тщательно затворив за собой дверь.

Он часто заходил теперь, когда на дворе было совсем темно. Супруги Маэ на второй же день узнали, где он скрывается, но хранили тайну: никто в поселке не знал, что с ним сталось. Вокруг его исчезновения складывалась легенда. В Этьена все еще верили; о нем рассказывали таинственные истории: вот скоро он опять появится с целой армией, с полными ящиками золота. Попрежнему благоговейно верили и ждали некоего чуда — осуществления мечты, внезапного пришествия обещанного им царства справедливости. Одни говорили, что видели, как он проехал в коляске по дороге к Маршьену с какими-то тремя господами; другие утверждали, что он в Англии и задержится там еще дня на два. Однако постепенно начало пробуждаться недоверие; шутники уверяли, что он прячется где-то в подвале в обществе Мукетты и ему там тепло в ее объятиях. Эта связь, о которой все знали, вредила авторитету Этьена. А теперь, когда он достиг наибольшей популярности, началось медленное охлаждение: у тех, кто от убежденности перешел к отчаянию, росло глухое недовольство, и число таких людей неизбежно должно было увеличиваться.

— Погода собачья! — добавил Этьен.— А что у вас? Ничего нового? Все хуже да хуже?.. Мне говорили, будто Негрель уехал в Бельгию нанимать в Боринаже рабочих. Эх, дьявол! Если это правда, нам крышка.

Его пробирала дрожь в этой нетопленной, холодной и темной комнате; глазам нужно было привыкнуть к сгущавшемуся сумраку, он не сразу различил в нем смутно видневшиеся фигуры обитателей дома. И он испытывал отвращение, чувство брезгливости — ведь он оторвался от своего класса, приобрел благодаря образованию более тонкие вкусы и полон был честолюбивых стремлений. Ах, какая тут нищета! И этот запах, и эти сбившиеся в кучу несчастные люди! Горло у него сжималось от мучительной жалости. Зрелище этой агонии потрясло его, он искал слов, чтобы дать им совет — покориться.

И тут вдруг Маэ остановился перед ним и крикнул в ярости:

— Рабочих из Боринажа? Да как они смеют, мерзавцы!.. Пусть только привезут из Боринажа углекопов да попробуют подвести их к клетям! Мы разрушим шахты.

Этьен смущенно объяснил, что ничего нельзя поделать: бельгийские рабочие спустятся в шахты под защитой солдат, охраняющих копи. И Маэ, гневно сжимая кулаки, заявил, что его главным образом возмущают эти штыки, которые чувствуешь за своей спиной. Значит, углекопы не хозяева у себя дома? На них, значит,

смотрят как на каторжников — хотят принудить их работать под дулами заряженных ружей? Он любил свою шахту, ему было очень горько, что он уже два месяца не спускается туда. И его приводила в бешенство мысль об оскорблении, которое хотят нанести ворейским углекопам, намереваясь привезти на шахту иностранцев. Но вдруг он вспомнил, что самого-то его уволили, и сердце у него защемило.

— Да чего это я сержусь? — промолвил он упавшим голосом. — Мне-то нечего делать в их лавочке. Вот вышвырнут еще из дома, выгонят из поселка, поди подыхай где-нибудь на дороге.

— Оставь, пожалуйста! — сказал Этьен.— Если ты захочешь, они завтра же примут тебя обратно. Таких умелых рабочих, как ты, не увольняют.

Он умолк, услышав голосок Альзиры,— девочка внезапно засмеялась в бреду. До той минуты он различал лишь темную неподвижную фигуру старика Бессмертного, и веселый смех больного ребенка испугал его. Нет, это слишком!.. Дети стали умирать, это страшнее всего. Он наконец решился и дрожащим голосом произнес:

— Ну вот... Больше нельзя тянуть. Нам крышка! Надо сдаться.

Жена Маэ, до тех пор стоявшая неподвижно и не произносившая ни слова, вдруг вспыхнула от негодования, грубо выругалась, как мужчина, и крикнула Этьену, называя его на «ты»:

— И это ты говоришь?.. Ты говоришь? Эх ты, сукин сын!

Он попытался было объяснить, оправдаться, но она оборвала его:

— Молчи лучше, сукин ты сын! А то я, хоть и женщина, набью тебе морду!.. Это что ж выходит? Мы два месяца голодаем, чуть не подохли, я распродала весь наш скарб, дети мои малые заболели, и все это, значит, зря? Опять все будет по-старому? Значит, нет справедливости? Ох, как подумаю, кровь во мне так и кипит, душит меня! Нет! Нет! Лучше я все сожгу, поубиваю всех, а сдаться я не согласна.

И грозным жестом, указывая в темноте на черную фигуру мужа, она воскликнула:

— Вот слушай, если муж мой вернется на работу в шахту, я выйду на дорогу, дождусь его и прямо в лицо ему плюну, подлецом назову!

Этьен не видел ее, но чувствовал ее жаркое дыхание, вырывавшееся словно из пасти яростно лаявшей собаки; и он попятился, пораженный этой лютой злобой, которая была делом его рук. Как она изменилась. Не узнать ее! Раньше была такая рассудительная, упрекала его за горячность, говорила, что никому нельзя желать смерти, а теперь ничего не хочет слушать, кричит, что

всех поубивает. Теперь не он, а она говорит о политике, хочет одним ударом смести буржуазию, требует республики и гильотины, чтобы избавить землю от богачей, от этих грабителей, разжиревших на трудах голодных бедняков.

— Да, да, я им рожи раскровеню, с живых шкуру сдеру... Хватит! Довольно терпели! Может, наш черед теперь пришел. Ты сам так говорил... Ведь подумать только! И отцы, и деды, и прадеды, и все, кто еще раньше их жил,— все маялись так же, как мы маемся. Нет, просто с ума сойдешь и за нож схватишься... В прошлый раз мы мало сделали. Нам бы надо все Монсу с землей сровнять, камня на камне не оставить. Что, или неправда? Об одном я только жалею, зачем не дала нашему деду удушить ту девку из Пиолены. Ведь они-то допускают, чтобы моих детей уморили голодом.

Во мраке слова ее звучали как удары топора. Замкнутый горизонт так и не раскрылся, неосуществимая мечта обратилась в яд, отравлявший мозг в этой голове, помутившейся от горя.

Этьен пошел на попятный.

— Да вы меня не поняли,— забормотал он, как только ему удалось вставить слово.— Надо как-то договориться с хозяевами. Наверно, удастся. Я знаю, что шахты сильно пострадали, и, конечно, Компания пойдет на соглашение.

— Нет! Никаких соглашений! — закричала жена Маэ.

И тут как раз вернулись домой Ленора и Анри. Они пришли с пустыми руками. Какой-то господин дал им два су, но Ленора, постоянно обижавшая братишку, дернула его, и два су упали в снег. Жанлен стал искать денежку вместе с ними, да так и не нашел.

— А где Жанлен?

— Убежал, мама. Сказал, что у него дела.

Этьен слушал с болью в сердце. Когда-то мать грозила своим малышам, что убьет их, если они протянут руку за подаянием. А нынче сама посылает их побираться и говорит, что все углекопы Компании Монсу — все десять тысяч человек возьмут, как немощные бедняки, нищенскую суму, клюку и пойдут по дорогам во все концы несчастного их края просить милостыню.

Еще тоскливее стало в этом мраке. Дети вернулись голодные и просили есть, удивлялись, почему им ничего не дают, хныча, бродили по комнате и в конце концов отдавили ноги умирающей сестре; девочка тихонько застонала. Мать вне себя схватила их наугад в темноте и надавала затрещин. Дети заплакали громче, с криком просили хлеба, тогда мать бросилась на пол и, заливаясь слезами, сжала в объятиях плачущих малышей и больную калеку; она долго плакала и, вся обмякнув в эту минуту нервной разрядки, двадцать раз повторяла одну и ту же фразу, призывая смерть:

— Господи, смилуйся, прибери ты нас всех! Господи, смилуйся, прибери нас, положи всему конец!

Дед застыл в темном углу недвижно, словно старое кривое дерево, привычное к дождю и к ветру; отец все ходил от печки к буфету, не поворачивая головы.

Но вот отворилась дверь,— на этот раз пришел доктор Вандергаген.

— Ах, черт! — воскликнул он.— Хоть бы свечку зажгли, глаза от нее не испортятся... Ну-ка, поживее! Мне некогда.

Он, по своему обыкновению, ворчал, так как работа совсем измотала его. К счастью, у него были с собой спички. Отцу пришлось сжечь пять-шесть спичек, чиркая их одну за другой и держа высоко, чтобы доктор мог осмотреть больную.

Развернули одеяло. Альзира вся дрожала; трепещущий слабый огонек горевшей спички освещал ее тельце, худенькое, как у птенца, умирающего на снегу, такое хилое, что казалось, оно все состоит только из горба. И все же девочка улыбалась непостижимой улыбкой умирающих и, глядя в одну точку широко раскрытыми глазами, крепко прижимала ко впалой груди жалкие костлявые ручонки. Мать, задыхаясь от слез, вопрошала бога, хорошо ли он поступает, призвав к себе раньше матери единственную ее помощницу в доме, такую умницу, такую ласковую девочку. И тут доктор рассердился:

— Эх! Она отходит!.. От голода умерла несчастная девчонка! И она не единственная. Сейчас только другую осматривал,— около вас тут... Вот все вы так... Зовете меня, а я ничего сделать не могу. Хлеба надо, мяса... Вот чем лечить вас надо.

Спичка догорела и обожгла Маэ пальцы, он выронил ее, и опять густой мрак окутал маленький, еще теплый трупик. Доктор побежал дальше. Этьен молча слушал, как в темной комнате рыдает мать и без конца твердит мрачное свое заклятие, призывая смерть:

— Господи, да прибери ты меня, прибери!.. Господи, и мужа моего прибери, пошли нам всем смерть!.. Смилуйся, положи конец мучениям нашим!

III

В это воскресенье Суварин сидел один в зале «Выгоды», на обычном своем месте, прислонившись головой к стене. Теперь углекопы нигде не могли раздобыть хоть два су на кружку пива, никогда еще в питейных заведениях не бывало так мало посетителей. Жена Раснера застыла за конторкой в сердитом молчании, а сам Раснер, стоя перед чугунным камином, казалось, задумчиво

следил за рыжеватыми струйками дыма, поднимавшегося от горящих кусков каменного угля.

Напряженную тишину, царившую в этой жарко натопленной комнате, внезапно нарушил стук — три коротких, сухих удара: кто-то постучался в окно. Суварин повернул голову, потом поднялся, услышав знакомый стук, которым Этьен не раз вызывал его, когда видел в окно, что машинист сидит в одиночестве за столом, покуривая папиросу. Но Суварин еще не успел подойти к порогу, как Раснер, узнав Этьена, стоявшего у окна в полосе света, отворил дверь и сказал:

— Неужели боишься, что я предам тебя? Заходи. Здесь-то вам удобнее будет поговорить, чем на дороге.

Этьен вошел. Жена Раснера любезно предложила ему кружку пива, он отказался жестом. Кабатчик добавил:

— Я давно догадался, где ты прячешься. Будь я доносчиком, как твои приятели говорят про меня, мне бы ничего не стоило уже неделю тому назад натравить на тебя жандармов.

— Зачем ты оправдываешься? — ответил Этьен.— Я и так хорошо знаю, что ты никогда таким подлым ремеслом не занимался... Можно не сходиться во взглядах, а все-таки уважать друг друга.

Снова наступило молчание. Суварин вернулся на свое место и, откинувшись на спинку стула, рассеянным взглядом следил за колечками дыма от папиросы; но пальцами правой руки он в каком-то лихорадочном беспокойстве проводил по своим коленям, словно удивляясь, что их не согревает теплая шерстка его любимицы, крольчихи Польши, которая куда-то пропала в тот вечер; он испытывал безотчетное недовольство, ему чего-то недоставало, хотя он и не мог бы сказать, чего именно ему не хватает.

Этьен, сидевший по другую сторону стола, сказал наконец:

— Завтра на Ворейской шахте работа возобновляется. Негрель привез бельгийцев.

— Да. Выгрузились из вагонов, когда стемнело,— пробормотал Раснер, стоя поодаль.— Как бы не началась резня! — И, повысив голос, добавил: — Нет, не бойся, я спорить с тобой не стану. А только вот что скажу: плохо дело кончится, если вы не перестанете упрямиться... Чего там... Ведь у вас не вышло, точно так же как и в Интернационале вашем не клеится. Я вот ездил в Лилль по делам и позавчера встретил там Плюшара. Кажется, разладилась машина.

И он сообщил подробности. Товарищество завоевало симпатию рабочих всего мира, развив такую энергичную пропаганду, что буржуазия и до сих пор трепещет, но теперь организацию с каждым днем все больше подтачивают внутренние раздоры и борьба честолюбцев. С тех пор как там взяли верх анархисты, изгнав

эволюционистов, основателей Товарищества, все трещит; первоначальные цели, изменение положения рабочего класса — все это потонуло в распрях между сектами; отряд ученых людей распадается из-за их ненависти к дисциплине. И можно предвидеть неизбежную неудачу той мобилизации масс, которая одно время была столь грозной: казалось, они могли одним ударом разрушить старое, прогнившее общество.

— Плюшар просто заболел из-за этого,— продолжал Раснер.— Да еще с голоса совсем спал. А все-таки говорит, ораторствует. Хочет ехать в Париж, там будет выступать... И вот он-то мне трижды повторил, что наша забастовка провалилась.

Этьен слушал понурившись, ни разу не прервав Раснера. Накануне он беседовал с товарищами и чувствовал, как повеяло на него ветром враждебности и подозрения; эти первые признаки утраты популярности были, как водится, предвестниками поражения. Сейчас он угрюмо молчал, не желая признаться при Раснере в своей тоске,— ведь кабатчик предсказал, что придет день, когда толпа освищет и его, Этьена, вымещая на нем свое разочарование.

— Да, забастовка провалилась,— сказал он,— я это знаю не хуже Плюшара. Но ведь мы это предвидели. Мы пошли на нее скрепя сердце и не рассчитывали сразу же покончить с Компанией. Только вот хмель в голову ударяет, рождаются большие надежды, а когда дело принимает дурной оборот, все позабывают, что этого и следовало ожидать,— люди начинают плакаться, ссориться, словно катастрофа нежданно-негаданно с неба свалилась.

— Так что ж ты? — спросил Раснер.— Если ты считаешь, что партия проиграна, почему не стараешься образумить товарищей?

Этьен пристально посмотрел на него.

— Ну ладно, хватит... У тебя свои взгляды, у меня свои. Я зашел сюда, чтобы показать, что я все-таки тебя уважаю, но я по-прежнему думаю, что, если мы с голоду подохнем, наши скелеты больше послужат делу народа, чем вся твоя политика благоразумия. Ах, если бы кто-нибудь из этих мерзавцев солдат всадил мне пулю в сердце! Хорошо бы кончить так!

У него слезы навернулись на глаза при этом возгласе, который был криком души, выдавшим тайное желание побежденного найти в смерти прибежище, навеки избавиться от своих терзаний.

— Прекрасные слова! — заявила жена Раснера и бросила на мужа взгляд, полный презрения к нему и гордости за свои радикальные убеждения.

Устремив куда-то вдаль затуманенный взор, Суварин перебирал по коленям руками и, казалось, совсем не слышал разговора. В его белом девичьем лице с тонкими чертами появилось что-то дикое, отражавшее его сокровенные мечтания, уголки губ при-

поднялись, обнажая мелкие, острые зубы. Перед глазами его вставали кровавые видения. И вот, уловив в разговоре какое-то замечание Раснера по поводу Интернационала, он стал думать вслух:

— Все они там трусы. Был только один человек, который мог бы превратить их организацию в грозное орудие разрушения. Но для этого нужно хотеть, а никто не хочет, вот почему революция опять провалится.

Он продолжал говорить, брезгливо жалуясь на глупость человеческую, а слушатели молча смотрели на него, смущенные этими отрывочными признаниями лунатика, блуждавшего где-то в потемках. В России ничего не получается, возмущался он. От тех известий, которые до него дошли, можно в отчаяние прийти. Прежние его товарищи все превратились в политиканов, в пресловутых нигилистов, перед которыми трепещет Европа; все эти сыновья попов, мещан, купцов не могут подняться выше национальных целей — то есть освобождения своего народа; и если бы им удалось убить деспота, они, наверно, вообразили бы себя спасителями всего мира; а когда он, Суварин, говорил им, что надо скосить старое общество под корень, как созревшую ниву, даже как только он произносил слово «республика»,— а ведь это просто детское требование,— он чувствовал, что его не понимают, что он тревожит этих людей, становится для них чужим. А теперь вот он совсем оторвался от них, вошел в число неудачливых вождей революционного космополитизма. Однако его сердце патриота все еще не могло забыть родину, и он с горькой скорбью повторял любимое свое слово:

— Глупости! Никогда они не выберутся из болота из-за своих глупостей!

И, еще более понизив голос, он с горечью заговорил о том, как мечтал когда-то о братстве всех людей. Ведь он отказался от своего звания и богатства в надежде, что на его глазах будет создано новое общество, основанное на всеобщем труде. Уже давно он жил в поселке, раздавал ребятишкам мелочь, бренчавшую в его карманах, выказывал углекопам поистине братское чувство, с улыбкой сносил их недоверие. Он привлекал их симпатии своим спокойным видом умелого и неговорливого рабочего, и все-таки тесного сближения не произошло: для рабочих оставался чужаком этот пришелец, который презирал все узы, соединявшие людей, и, желая сохранить свое мужество, отказывался от всех радостей жизни. В этот день его особенно возмущал злободневный факт, о котором он прочел утром в газетах, поднявших шум вокруг сенсационного события.

Глаза у Суварина стали ясными и жесткими, в голосе зазвучал металл, и он сказал, пристально глядя на Этьена и обращаясь непосредственно к нему:

— Ты можешь это понять, а? Рабочие-шапочники в Марселе выиграли в лотерее крупный куш — сто тысяч франков; тотчас же они купили себе ренту и заявили, что теперь будут жить-поживать и ничего делать не станут! Каково? Все вы такие, французские рабочие. Все мечтаете найти клад и, забившись в угол, проедать его в одиночку, ни с кем не делясь и наслаждаясь бездельем. Эгоисты и лодыри! Кричите, обличая богатых, а если фортуна пошлет вам самим богатство, у вас духу не хватит отдать его беднякам... Никогда вы не будете достойны счастья, пока не перестанете гнаться за собственностью и пока ваша ненависть к буржуазии будет вызываться только бешеным желанием самим сделаться буржуа.

Раснер захохотал, считая нелепой мысль, что двое марсельских рабочих, которым достался крупный выигрыш, должны были кому-то его отдать. Но Суварин побледнел как полотно, его исказившееся лицо стало страшным, и он крикнул в порыве гнева, неистового гнева, свойственного фанатикам, готовым во имя своей веры истребить целые народы:

— Всех вас сметут, опрокинут, выбросят на свалку. Родится тот, кто уничтожит вашу породу трусов и прожигателей жизни. Постойте, вот поглядите на мои руки. Если б я только мог, то схватил бы я руками землю, стиснул и так бы ее встряхнул, чтоб она рассыпалась и вас бы всех придавило под обломками!

— Прекрасно сказано! — повторила с вежливым и убежденным видом жена Раснера.

Опять настало молчание. Потом Этьен заговорил о рабочих, привезенных из Боринажа. Он спросил Суварина, какие меры приняты на Ворейской шахте. Но машинист опять впал в задумчивость и едва отвечал ему; знал он только то, что солдатам, охраняющим шахту, собирались раздать патроны; он все больше нервничал, беспокойно проводил пальцами по своим коленям и в конце концов догадался, что ему недостает его любимицы, ручной крольчихи,— прикосновение к ее нежному, пушистому меху както успокаивало его.

— Где же Польша? — спросил он.

Кабатчик, замявшись, переглянулся с женой и решился наконец сказать:

— Польша? Она разогревается.

После потехи Жанлена над крольчихой, которая, наверно, была тогда ранена, она приносила мертвых крольчат, и, чтобы зря не кормить ее, хозяева как раз в этот день зарезали ее и зажарили с картофелем.

— Ну да, ты нынче за ужином съел кусочек... Забыл? Ел и пальчики облизывал.

Суварин сперва не понял; потом вдруг побледнел, подбородок

у него задергался от тошноты, а глаза, несмотря на стоическую твердость его характера, наполнились слезами.

Но никто не заметил его волнения,— в эту минуту дверь распахнулась и вошел Шаваль, подталкивая впереди себя Катрин. Обойдя все кабаки в Монсу, пьяный от выпитого там пива и от бахвальства, он вздумал заглянуть в заведение Раснера, показать бывшим приятелям, что он их не боится. Он вошел, ворча на любовницу:

— Ступай ты к чертовой матери! Раз я сказал, значит, выпьешь кружку пива у Раснера. А кто на меня посмотрит косо, тому я в рожу дам.

Увидев Этьена, Катрин побледнела. А Шаваль, заметив его, злобно ухмыльнулся.

— Хозяйка, две кружки! Празднуем нынче конец забастовки. Завтра выходим на работу.

Жена Раснера, не сказав ни слова, налила две кружки,— хозяйке пивной не полагается ссориться с посетителями. Остальные молча смотрели на них.

— Знаю я, знаю: кое-кто меня доносчиком называет,— не унимался Шаваль.— Пусть-ка они меня в лицо так назовут. Вот тогда мы поговорим. Пора!

Никто не отозвался. Мужчины отворачивались, рассеянным взглядом окидывали стены.

— Есть которые лодыри, а другие не лодыри,— продолжал Шаваль, повышая голос.— Мне скрывать нечего. Я из паршивой лавочки Денелена ушел, а завтра на Ворейской шахте спущусь на работу, с бельгийцами. Двенадцать бельгийцев под мое начало поставили, дирекция меня уважает. А если кому такое дело не нравится, пускай скажет, мы потолкуем.

Его вызывающие слова по-прежнему встречены были презрительным молчанием. Тогда он обрушился на Катрин:

— Почему не пьешь, чертова кукла? Пей, говорят тебе! Давай чокнемся да выпьем за то, чтобы сдохли лентяи, которые работать отказываются.

Катрин чокнулась с ним, но рука у нее дрожала, еле слышно звякнули друг о друга стеклянные кружки. Шаваль вытащил из кармана пригоршню серебра и, высыпав его на стойку, с пьяной назойливостью бормотал, что эти денежки он в поте лица заработал, а вот пускай лодыри, бездельники покажут хоть десять су. Молчание бывших товарищей раздражало его, и он перешел к прямым оскорблениям:

— Так вот оно как? По ночам кроты из нор выползают. Видно, жандармы спят, раз такие бандиты разгуливают.

Этьен поднялся и очень спокойным, твердым тоном сказал:

— Слушай, ты мне надоел... Да, ты доносчик, от твоих денег

воняет новым предательством. Ты продажная шкура, мне и дотронуться до тебя противно. Но все равно, давай посчитаемся. Кто кого на тот свет отправит. Давно пора.

Шаваль сжал кулаки:

— Наконец-то! Не легко тебя расшевелить, трус паршивый!.. Давай. Согласен. Один на один. Я тебе отплачу за все пакости, какие вы мне сделали.

Сложив умоляюще руки, Катрин встала было между ними, но им даже не пришлось ее отталкивать, она сама попятилась, чувствуя, что эта схватка неизбежна, и медленно, шаг за шагом отступила. Прислонившись к стене, она стояла, широко открыв глаза, молча глядя на двух соперников, готовых убить друг друга из-за нее, и вся замирала от страха; она до того была скована ужасом, что даже дрожь больше не сотрясала ее.

Жена Раснера без долгих разговоров убрала со стойки пивные кружки, опасаясь, как бы их в драке не разбили. Затем она уселась на мягкую скамейку, не проявляя неуместного любопытства. Но ведь нельзя было допустить, чтобы бывшие товарищи убили друг друга. Раснер все порывался вмешаться. Тогда Суварин взял его за руки и, подведя к столу, сказал:

— Это тебя не касается... Один из них лишний на земле. Кто сильнее — выживет.

Шаваль, не дожидаясь нападения, бил в пустоте крепко сжатыми кулаками. Ростом он был выше Этьена, весь какой-то расхлябанный, и сейчас все метил попасть в лицо противнику, норовил ударить его со всего размаху то одной, то другой рукой, словно орудовал двумя саблями. Все время он выкрикивал угрозы и оскорбления, позируя для публики и взвинчивая себя этими выкриками:

— Ах ты кот проклятый! Я тебе нос оторву! Оторву, и пойдет твой нос на затычку! Раскровеню тебе твою смазливую рожу, разобью в лепешку. Прежде шлюхи любовались, а теперь только на корм свиньям она пригодится. Вот тогда посмотрим, как за тобой потаскушки будут бегать.

Стиснув зубы, Этьен дрался молча. Маленький, подобранный, он соблюдал правила: прикрыв кулаками лицо и грудь, подстерегал мгновение и, как развернувшаяся пружина, наносил сильные прямые удары.

Вначале противники не причиняли друг другу большого вреда. Один кричал и «делал мельницу», другой хладнокровно выжидал. Драка затягивалась. Стукнул опрокинутый стул; под грубыми башмаками хрустел песок, которым посыпан был каменный пол. Противники запыхались, дышали хрипло, с натугой, лица у обоих побагровели, словно внутри у них горели раскаленные угли и пламя жаровни сверкало в блестящих запавших глазах.

— На, получай! — завопил Шаваль.— Переломаю тебе все кости.

И в самом деле, взмахнув длинной рукой, словно цепом, он обрушил кулак на плечо Этьена. Тот едва не застонал от боли, но сдержался; слышно было, как глухо шмякнул кулак, ушибив ему мышцы. Этьен ответил прямым сокрушительным ударом в грудь и сбил бы Шаваля с ног, если б тот не отскочил в сторону, так как, увертываясь, прыгал все время, словно коза. Все же его задело по левому боку так сильно, что он зашатался, не мог перевести дыхания, от боли у него вдруг обмякли руки. Тогда его охватило бешенство, он ринулся на Этьена, как зверь, и попытался ударить его ногой в живот.

— А я тебя в брюхо! — бормотал он сдавленным голосом.— Выпущу кишки и на солнышке развешу.

Этьен увернулся. Но такое нарушение правил честной драки возмутило его, и он крикнул:

— Молчи, скотина! Черт бы тебя побрал! Не смей лягаться, а то возьму стул и оглушу тебя.

Поединок стал ожесточенным. Раснер, в негодовании, снова попытался вмешаться, но жена суровым взглядом удержала его: разве два посетителя не имеют право свести счеты в их заведении? Тогда Раснер встал перед камином, боясь, что противники свалятся прямо в огонь. Суварин с обычным своим спокойным видом свернул папиросу, но так и не закурил ее. Катрин неподвижно стояла у стены, только поднесла бессознательно руки к поясу и судорожными движениями дергала складки платья. Она изо всех сил сдерживалась, чтобы не закричать, не убить одного из противников, выдав своим возгласом, кто ей дороже; впрочем, в эту минуту она в смятении своем даже не знала, кого хотела бы спасти.

Вскоре Шаваль выдохся и, обливаясь потом, бил наугад. Этьен даже и в ярости не забывал прикрываться, отбивал почти все выпады; некоторые удары слегка задели его. У него было надорвано ухо, содран лоскуток кожи на шее, и ссадина эта вызвала такую жгучую боль, что он тоже выругался и ответил ударом в грудь. Шаваль успел отскочить, но Этьен слегка присел и кулаком хватил его по лицу, разбил нос, подшиб глаз. Из носу брызнула и полилась кровь, глаз украсился синяком и сразу заплыл... Шаваль ослеп, оглох, обливался кровью, в голове у него гудело; он без толку размахивал кулаками, и вдруг страшный удар под ложечку доконал его. В груди у него что-то хрустнуло, и он упал навзничь, рухнув, как мешок с алебастром, сброшенный с телеги.

Этьен выждал.

— Вставай! Если хочешь еще получить, давай продолжим.

Шаваль лежал пластом, ничего не соображая, потом зашеве-

лился, потянулся всем телом, с трудом приподнялся на колени и, сжавшись в комок, постоял так секунду, что-то отыскивая в кармане правой рукой. Наконец встал на ноги и с диким воплем вновь бросился на Этьена.

Но Катрин все видела, громкий крик вырвался у нее, словно невольное признание сердца, удивившее ее самое, крик, выдавший то, чего она сама еще не ведала:

— Берегись! У него нож!

Этьен едва успел поддать предплечьем под руку, нанесшую первый удар. Его вязаную шерстяную фуфайку раскроил нож с толстым лезвием, острый нож с деревянной самшитовой рукояткой, которую скрепляло с клинком медное кольцо. Схватив Шаваля за руку, Этьен стиснул ему запястье; началась ужасающая борьба; один знал, что погибнет, если выпустит эту руку, другой дергал руку, вырывался, чтобы ударить и убить. Рука с ножом постепенно опускалась, напряженные мышцы обоих противников ослабевали; два раза Этьен ощущал, как холодная сталь касалась его кожи; собрав все силы, он так больно сдавил запястье противника, что тот не выдержал, разжал руку и выронил нож. Оба бросились на пол. Этьен первым успел схватить нож и замахнулся. Он опрокинул Шаваля, прижал коленом к полу и грозил перерезать ему горло.

— Ах ты сволочь проклятая! Зарежу!

Какой-то голос звучал в его ушах, оглушительно громко кричал: «Убей!» Голос поднимался из темных тайников его существа и, как удар молота, отдавался в голове: «Убей!» То было внезапно налетевшее безумие, жажда крови. Еще никогда она так не потрясала его. А ведь он не был пьян. И он боролся против этого наследственного безумия, весь трепеща, как человек в любовном исступлении борется с соблазном совершить насилие. Наконец он победил себя, отшвырнул нож и хриплым голосом сказал:

— Убирайся!

На этот раз Распер бросился к противникам. Но все еще не решался встать между ними, опасаясь попасть им под руку. Он заявил, что не допустит смертоубийства в своем заведении, он сердился, возмущался. Жена, наблюдавшая за поединком из-за стойки, заметила ему, что он всегда кричит раньше времени. Суварин, которому отлетевший нож чуть не угодил в ногу, решился наконец закурить папиросу. Так все, значит, кончено? Катрин смотрела на противников, не веря своим глазам. Неужели оба живы?

— Убирайся! — повторил Этьен.— Уходи, а не то прикончу тебя.

Шаваль поднялся, вытер тыльной стороной руки кровь, все еще лившуюся из носа по подбородку, и, ничего не видя заплывшим глазом, еле волоча ноги, поплелся к выходу в бешенстве от

своего поражения. Катрин машинально последовала за ним. Тогда он выпрямился во весь рост, разразился потоком грязной ругани:

— Ну нет! Нет! Раз ты его выбрала, так и спи с ним, шлюха поганая! И чтоб твоей ноги у меня не было, если хочешь жива быть!

И он вышел, громко хлопнув дверью. В жарко натопленной комнате опять стало тихо, слышно было только легкое гудение огня в камине. На полу валялся опрокинутый стул; песок, покрывавший каменные плитки пола, впитывал капли крови, дождем окропившей его.

IV

Выйдя от Раснера, Этьен и Катрин долго шли молча. На дворе начиналась оттепель, и все же было холодно; грязный снег, потемневший от промозглой сырости, еще не таял. В белесом небе сквозь большие облака тусклым пятном проглядывала полная луна; черные обрывки туч неслись с бешеной быстротой, гонимые ветром, бушевавшим в высоте; а на земле стояла полная тишина, слышны были только звуки капели да с глухим, мягким стуком падали с крыш белые комья снега. Этьен был полон тяжелого смятения и не знал, что сказать женщине, которую любовник отдал ему. Мелькнула было мысль увести ее в Рекильяр и спрятать в своем тайнике, но он счел это нелепостью. Он предложил Катрин отвести ее в поселок к родителям,— она отказалась, и в голосе ее слышался ужас. Нет, нет, что угодно, но только не это! Разве она может просить у них помощи, после того как бессовестно покинула их! Оба умолкли и, не проронив ни слова, шли куда глаза глядят по дорогам, обратившимся в реки жидкой грязи. Сначала спустились к Воре́, потом свернули вправо, на тропинку, пролегавшую между терриконом и каналом.

— Надо же тебе где-то переночевать,— сказал наконец Этьен.— Будь у меня комната, я бы, конечно, повел тебя туда...

И вдруг в приливе какой-то странной робости оборвал свою речь. Вспомнилось прошлое: грубое вожделение и душевная борьба, стыдливость, помешавшая их сближению. Быть может, его все еще влечет к ней; а иначе почему же он так взволнован и в сердце как будто вновь зажглось желание? Мысль о пощечинах, которыми она наградила его в Гастон-Мари, теперь не только не вызывала в нем злобы, но возбуждала его. И опять он поймал себя на мысли, что было бы так просто, так естественно увести ее с собой в Рекильяр. Там он мог бы обладать ею.

— Ну вот... Скажи, куда мне тебя отвести? Значит, ты очень меня ненавидишь, раз отказываешься сойтись со мной?

Катрин медленно брела позади него, отставала, поскользнувшись в деревянных своих сабо, увязала в рытвинах. В ответ на слова Этьена она тихо сказала, не поднимая головы:

— И так мне тяжко, господи боже мой! Не прибавляй хоть ты горя! Ну зачем ты это просишь? Ведь у меня теперь любовник, да и у тебя есть женщина.

Она имела в виду Мукетту, думая, что Этьен живет с ней,— такие слухи ходили в последние две недели. А когда Этьен поклялся, что это неправда, она покачала головой, вспомнив тот вечер, когда видела, как он целовался с Мукеттой около Рекильярской шахты.

Этьен остановился.

— И к чему нам все эти глупости? — сказал он вполголоса.— Такая обида! Ведь мы с тобой жили бы душа в душу!

Чуть вздрогнув, она ответила:

— Полно, не жалей! Немного ты потерял. Если б ты знал, какая я хилая да тощая! Будто кость обглоданная. Да еще и чудная какая-то уродилась! Видно, мне никогда не стать настоящей женщиной!

И она не стесняясь рассказала о своем состоянии, обвиняя себя, словно за какой-то проступок, в том, что так долго не достигает зрелости, хотя у нее уже есть любовник. Это запоздалое развитие казалось ей унизительным, делало ее какой-то девчонкой. А ведь гулять с парнем простительно, только когда можешь родить от него ребенка.

— Бедненькая ты моя! — прошептал Этьен, охваченный глубокой жалостью.

Они стояли у подножия террикона в тени, падавшей от его громады. Черная туча затянула в эту минуту луну, темнота скрыла лица обоих, дыхание их смешалось, губы искали друг друга в жажде поцелуя, томившей их долгие месяцы. И вдруг из-за туч снова выплыла луна, они увидели вверху кручу, залитую белым сиянием, и застывшую, вытянувшуюся в струнку фигуру часового, поставленного у Ворейской шахты. Так они и не обменялись поцелуем — стыдливость удержала их, прежняя стыдливость, в которой был и гнев, и какое-то смутное отвращение, и глубокое дружеское чувство. Они тяжелым шагом двинулись дальше, по щиколотку утопая в грязи.

— Стало быть, решено? Ты не хочешь? — спросил Этьен.

— Нет! — ответила Катрин.— Шаваль, а потом ты, а после тебя еще кто-нибудь? Так, что ли? Нет, мне это противно. Да и нет в этом никакого удовольствия. Зачем же тогда?

Они прошли шагов сто, не обменявшись ни единым словом.

— А ты хоть знаешь, куда сейчас идешь? — заговорил нако-

нец Этьен.— Не можешь же ты провести всю ночь на улице в такую погоду.

— К Шавалю. Он мне вроде мужа. Где же мне еще ночевать, как не у него?

— Он тебя изобьет до полусмерти.

Катрин ничего не ответила, только пожала плечами с покорным видом. Ну да, Шаваль изобьет ее, а когда устанет, перестанет бить. Лучше терпеть побои, чем шататься по дорогам, как потаскушка какая-нибудь. Она привыкла получать пощечины и в утешение себе говорила, что и у других девушек любовники не лучше, чем у нее. Если Шаваль когда-нибудь женится на ней, надо еще спасибо сказать.

Они машинально повернули в сторону Монсу, и чем ближе к нему подходили, тем дольше длились минуты молчания. Как будто они уже расстались друг с другом. Этьен не находил нужных слов, чтоб убедить ее, хоть ему и было очень горько, что она возвращается к Шавалю. Сердце у него разрывалось. Но ведь и с ним ей жилось бы не лучше. Что он мог дать ей? Нищету и мрак подземелья; ночь без грядущего утра, если солдатская пуля пробьет ему голову. Может, оно и разумнее будет — переносить в одиночестве те страдания, которые выпали ему и ей на долю, не прибавлять к этим мукам другие муки. И, опустив голову, он проводил ее до Монсу, к любовнику; он не возразил ни слова, когда они вышли на Главную улицу и Катрин остановила его у складов, в тридцати шагах от трактира, где жил Шаваль.

— Дальше не ходи. Если он тебя увидит, опять беда будет.

На колокольне пробило одиннадцать часов. Трактир был заперт, но в щели ставен пробивался свет.

— Прощай! — прошептала Катрин.

Она протянула ему руку, он долго не выпускал эту маленькую, холодную руку; Катрин медленным движением высвободила ее и рассталась с Этьеном. Ни разу не обернувшись, она подошла к калитке, запиравшейся просто на щеколду, и исчезла за ней. Но Этьен все не уходил, стоял на том же месте, не сводя глаз с ее дома, со страхом думая о том, что происходит там. Напрягая слух, он с тоской ждал, что вот-вот понесутся вопли избиваемой женщины. Но в доме было по-прежнему темно и тихо; только осветилось окно на втором этаже, окно это отворилось, и, узнав тоненькую фигуру, высунувшуюся из него, Этьен подошел ближе. А тогда Катрин сказала чуть слышно:

— Он еще не вернулся, я ложусь... Умоляю тебя, уходи!

Этьен ушел. Оттепель усиливалась; с плеском, будто в сильный дождь, с крыш текла вода; насыщавшая воздух влага, словно пот, струилась по заборам, по стенам, по смутно видневшимся во мраке темным строениям этого промышленного городка. Этьен

направился было в Рекильяр; разбитый усталостью и мучительной тоской, он хотел лишь одного: скрыться, исчезнуть в своем подземном логове. Но вдруг ему вспомнилось, что завтра в Ворейскую шахту спустятся бельгийские рабочие. Вспомнились товарищи, которые полны гнева против солдат и решимости не допустить чужестранцев в свою шахту. И он пошел обратно по дороге, усеянной лужами от растаявшего снега.

Когда он проходил мимо террикона, лунный свет стал ярче. Этьен поднял голову, посмотрел на небо. Там все так же мчались облака, гонимые яростным ветром, задувавшим в высоте, но теперь они побелели, стали тоньше, прозрачнее, разорвались на узкие полосы, и луна проглядывала сквозь них, словно сквозь волны мутной воды. Они проносились, набрасывая на луну прозрачный покров, но через мгновение она вновь и вновь возникала во всей своей красе.

Полюбовавшись чистым лунным сиянием, Этьен опустил глаза, и вдруг его остановило зрелище, открывшееся перед ним на вершине террикона. Часовой, закоченев от холода и стараясь согреться, расхаживал теперь взад и вперед — делал двадцать пять шагов в сторону Маршьена и, поворачивая обратно, проходил столько же в сторону Монсу. Видно было, как блестит штык, торчавший над черным силуэтом солдата, четко выделявшимся на светлом фоне неба. Но Этьена заинтересовал не часовой, а другой силуэт, прятавшийся за будкой, где, бывало, в непогоду укрывался по ночам старик Бессмертный; в этой движущейся тени, в этом подползавшем зверьке, подстерегавшем добычу, он сразу узнал Жанлена. Конечно, это было его узкое, как у хорька, длинное, гибкое, словно бескостное тело. Часовой не мог его заметить, а этот юный негодяй, несомненно, задумал сыграть с ним какую-то злую шутку,— ведь он ненавидел солдат и все спрашивал, когда же наконец шахты избавятся от этих убийц, которым дают ружья и посылают уничтожать людей.

Этьен хотел было окликнуть его, чтобы Жанлен не выкинул какую-нибудь безобразную глупость. Луна скрылась за облаком, Этьен видел перед этим, что мальчишка весь подобрался, приготовился к прыжку, но вот снова показалась луна, Жанлен застыл все в той же позе. Часовой, шагая на посту, всякий раз доходил до будки, круто поворачивался и шел в другую сторону. И вдруг, когда облака затянули луну, Жанлен огромным прыжком, как дикая кошка, вскочил на плечи солдата, уцепился за него и воткнул ему в горло большой нож. Воротник, подбитый конским волосом, не поддавался, Жанлену пришлось нажать на рукоятку обеими руками и повиснуть на ней всем телом. Ему частенько случалось резать кур, которых он ловил на задворках ферм. Все произошло мгновенно, в ночи раздался только короткий стон да, словно же-

лезный лом, упав на землю, звякнуло ружье. А в небе опять засияла луна.

Этьен, остолбенев, застыл на месте, широко раскрыв глаза. Окрик замер у него в горле. На гребне террикона не было никого, ни одной тени не вырисовывалось на фоне бешено бегущих облаков. Этьен взбежал по скату и увидел, что Жанлен стоит на четвереньках возле трупа, который лежал навзничь, раскинув руки. В прозрачном лунном свете на снегу четко выделялись красные штаны и серая шинель убитого. Не вытекло ни одной капли крови; нож, воткнутый по самую рукоятку, еще торчал в горле.

Этьен в безотчетном порыве негодования ударом кулака свалил убийцу на землю возле трупа.

— Зачем ты это сделал? — растерянно бормотал он.

Жанлен приподнялся и пополз на руках, изгибая по-кошачьи свою тощую спину. Злодейство потрясло его, от бурного волнения огнем горели зеленые глаза, пылали большие оттопыренные уши, тряслась выступающая нижняя челюсть, дергалось все лицо.

— Ах ты гадина, зачем ты это сделал?

— Не знаю. Захотелось.

Он уперся на этом, ничего иного не мог сказать. Три дня его преследовало это желание, мучительное желание убить. Он все думал, думал об этом, так что в голове поднималась боль, вот тут, за ушами. А чего с ними стесняться, с этими паршивыми солдатами? Зачем они пришли сюда, не дают житья углекопам? Из неистовых речей, звучавших на сходке в лесу, из призывов к разрушению и смертоубийству ему запомнилось пять-шесть слов, и он повторял их, как мальчишка, играющий в революцию. А больше он ничего не знал, никто его не натравливал, желание убить пришло само собой, как приходило ему желание наворовать луку в крестьянском поле.

Этьена привели в ужас тайные зачатки преступности, давшие ростки в детской душе; он отогнал Жанлена пинком, как бессмысленного зверя. Боясь, что предсмертный крик часового могли услышать на сторожевом посту, он всякий раз, как из-за облаков показывалась луна, смотрел в сторону Ворейской шахты. Но там ничто не шевелилось; и Этьен наклонился, пощупал постепенно холодевшие руки солдата, послушал сердце, не бившееся под шинелью. Клинок ножа не был виден, зато на костяной рукоятке можно было различить простой галантный девиз «Любовь», начертанный черными буквами.

Этьен перевел взгляд на лицо убитого. И вдруг узнал молоденького солдата Жюля, новобранца, с которым беседовал как-то ранним утром. Глубокая жалость охватила его при виде кротких черт этого белесого веснушчатого юноши. Голубые, широко открытые глаза смотрели в небо пристальным, неподвижным взгля-

дом,— вот так же он смотрел, ища вдали свои родные края. Где же этот самый Плогоф, который тогда представал перед взором этого мертвеца, весь залитый солнцем? Далеко, далеко. В эту ночь, должно быть, ревет там море. Ветер, что бушует в высоте, быть может, проносится и над каменистой пустошью. У порога дома стоят две женщины — мать и сестра. Ветер рвет на обеих чепцы, а женщины придерживают их и тоже смотрят вдаль, словно могут увидеть, что делает сейчас «малыш», хотя их отделяет от него столько лье. Теперь им придется вечно ждать. Как это страшно, что из-за богатых бедняки убивают друг друга.

Но нужно было куда-нибудь убрать труп. Сперва Этьен хотел бросить мертвеца в канал. Остановила мысль, что там его наверняка найдут. И в лихорадочной тревоге он ломал себе голову: что делать? Ведь каждая минута дорога. И вдруг его осенила догадка: если удастся донести мертвеца до Рекильяра, там он будет похоронен навеки.

— Иди сюда,— позвал он Жанлена.

Мальчишка недоверчиво мялся.

— Не пойду. Ты меня побьешь. Да и некогда мне, дело есть.

Ведь он назначил Беберу и Лидии свидание в тайном месте их встреч — в норе, которую они устроили себе в Ворейской шахте между штабелями крепежного леса. Они затеяли большую вылазку: удрав из дому, переночевать там, чтобы быть на месте происшествия, когда начнется схватка с бельгийцами. Ведь чужаков забросают камнями, переломают им кости, если они вздумают спуститься в шахту.

— Жанлен, иди сюда,— повторил Этьен,— иди, а не то позову солдат, и тебе отрубят голову.

Мальчишка наконец решился подойти; тем временем Этьен, свернув жгутом свой носовой платок, крепко перевязал им шею убитого солдата, не вынимая ножа, который не давал крови вытекать наружу. Снег таял, на земле не осталось ни кровавой лужи, ни каких-либо следов борьбы.

— Бери за ноги!

Жанлен взял мертвеца за ноги, Этьен подхватил его под мышки, перекинув ружье на ремне себе за спину, и вдвоем они медленно спустились со своей ношей по скату террикона, стараясь не вызвать обвала камней. По счастью, луну заволокло облаком; но, когда они крались по берегу канала, она выплыла и ярким сиянием залила землю,— было просто чудом, что со сторожевого поста их не заметили. Они шли торопливо; труп, качавшийся в их руках, мешал им; через каждые двести шагов приходилось класть его на землю. На углу Рекильярского проезда они слышали топот солдатских сапог, и у них все похолодело внутри; они едва успели спрятаться за забором от проходившего патруля. А дальше наткнулись

на какого-то гуляку, но он был очень пьян и прошел мимо, ничего не заметив, осыпая кого-то руганью. Когда добрались до заброшенной шахты, оба были в испарине, задыхались и так дрожали от волнения, что у них стучали зубы.

Этьен заранее предполагал, что протащить убитого по лестницам запасного ствола будет нелегко. Но это оказалось просто мучительной работой. Начали с того, что Жанлен, стоя наверху, осторожно спустил труп в отверстие ствола, а Этьен, цепляясь за корни кустарников, подхватил тело, чтоб протащить его через две первые площадки, где лестницы были сломаны. Затем на каждой лестнице приходилось повторять то же самое: Этьен спускался первым и подхватывал скользивший вниз труп; надо было одолеть тридцать лестниц, спуститься на двести десять метров, и при этом он все время чувствовал, как убитый падает на него. Ружье било по спине; Этьен не позволил Жанлену принести и зажечь огарок свечи, который берег, как скряга. Зачем зажигать? Свеча только мешала бы им в узком, как кишка, колодце. Но когда оба добрались наконец до рудничного двора, едва дыша от усталости, Этьен послал мальчишку за свечой. Сам же он присел на корточки возле трупа и ждал в темноте, слыша, как сердце неистово колотится в груди.

Лишь только появился Жанлен с зажженным огарком, Этьен стал держать с ним совет: ведь мальчишка облазил все эти старые выработки вплоть до таких щелей, где взрослому человеку невозможно было пролезть. Они двинулись дальше и еще с километр тащили мертвеца по лабиринту разрушенных выработок. Наконец дошли до низкого штрека и поползли на коленях под нависшей осыпающейся кровлей, которую подпирали погнувшиеся стойки. В этот штрек, похожий на длинный ящик, они, как в гроб, положили несчастного новобранца и рядом с ним положили его ружье; потом принялись с размаху бить ногами по деревянным подпоркам, чтобы окончательно сломать их, хотя и сами могли остаться тут навсегда. Тотчас же кровля раскололась, они едва успели выбраться. Когда Этьен обернулся в непреодолимой потребности посмотреть, кровля оседала все ниже под огромным давлением каменной толщи, лежавшей над ней, и сплющивала недвижное мертвое тело. И вот она рухнула. Не было уже ничего, кроме тяжкой массы земных недр.

Возвратившись в свою воровскую пещеру, Жанлен, разбитый усталостью, растянулся в углу на сене и пробормотал, закрывая глаза:

— Плевать! Малыши подождут! Я сосну часок.

Этьен задул свечу — от нее остался крошечный огарок. Он устал, так устал, что все у него болело, но спать не мог — в голове проносились тягостные мысли, кошмарные видения; в висках сту-

чало, как будто в них отдавались удары молота. Вскоре из всех мыслей осталась одна, жестоко терзавшая его,— он все задавался вопросом, на который не мог ответить: почему он не убил Шаваля, когда тот, поверженный, был в его власти? И почему этот мальчик зарезал солдата, не зная о нем ничего, даже его имени? Это переворачивало его взгляды на революционное насилие: «Надо иметь мужество убить, но надо иметь право убить». Но сам-то он не трус ли? Жанлен, зарывшись в сено, вдруг захрапел зычным храпом, как пьяный, словно опьянел от совершенного убийства. Этьену было противно, омерзительно слышать этот храп, чувствовать, что Жанлен находится близ него. Это было мучительно. Вдруг он вздрогнул, затрепетал от страха. Холодное дуновение коснулось его лица. Потом послышался легкий шорох, короткое рыдание, как будто донесшееся из глубины земли. Перед глазами встал образ молоденького солдата, лежащего со своим ружьем под обвалившимися глыбами, и тогда у Этьена мороз побежал по спине, по шее, зашевелились на голове волосы. Что это? Как будто вся шахта наполнилась гулом голосов? Вот нелепость! Все же пришлось зажечь свечку, и только увидев при бледном ее свете, что кругом никого нет, он успокоился.

Прошло еще четверть часа, он все размышлял, устремив глаза на горевший фитилек, в душе его шла все та же мучительная борьба. Потом фитилек затрещал, опрокинулся, и все утонуло во мраке. Этьена опять стала бить дрожь, ему хотелось больно ударить Жанлена, чтобы он не храпел так громко. Соседство этого мальчишки стало нестерпимым. Этьен убежал, томясь желанием вдохнуть свежего воздуха, и, торопливо пробираясь по галереям, взбираясь по лестницам, он будто слышал, как чья-то тень, запыхавшись, догоняет его, преследует по пятам.

Очутившись вверху, среди развалин Рекильярской шахты, он наконец вздохнул полной грудью. Ну, раз он не смеет убивать, его удел — умереть; и мысль о смерти, мелькавшая у него и прежде, возникла вновь, укоренилась, как последняя надежда. Умереть мужественно, умереть за революцию, и все тогда кончится. За все свои поступки, хорошие ли, плохие, он расплатится, и больше ни о чем не надо будет думать. Если товарищи нападут на тех людей, которых привезли из Боринажа, он будет в первом ряду; ему, конечно, повезет — его убьют. И, возвратившись к Ворейской шахте, он уже твердым шагом бродил вокруг нее. Пробило два часа ночи, из комнаты штейгеров, где помещался пост, охранявший шахту, доносились громкие голоса. Исчезновение часового потрясло солдат; пошли разбудили капитана, и в конце концов после тщательного обследования на месте решили, что часовой дезертировал. А Этьен, прячась в темноте, вспоминал, как убитый новобранец говорил с ним об этом капитане и называл его республиканцем:

«Он — за республику». Кто знает, вдруг удастся убедить его перейти на сторону народа. Отряд повернет ружья прикладом вверх,— это может послужить сигналом к избиению буржуа. Новая мечта овладела им, и ему уже не приходила мысль о смерти. Долгие часы он провел, стоя в липкой грязи, мерз в промозглой сырости, оседавшей на его плечи мельчайшими каплями, и горел лихорадочной надеждой на еще возможную победу.

Он подстерегал бельгийцев до пяти часов утра. И только тогда узнал, как хитро поступила Компания: их привезли с вечера, и ночь они провели на шахте. Начался спуск: несколько забастовщиков из поселка Двести Сорок, высланные на разведку, растерялись и не предупредили вовремя товарищей. О проделке хозяев сообщил в поселок сам Этьен. Углекопы бегом бросились на шахту, а он ждал за терриконом, на берегу канала. Пробило шесть часов, ночное небо побледнело. Красноватым светом разгоралась заря, и вдруг на повороте проселочной дороги показался аббат Ранвье в подоткнутой сутане, открывавшей его тощие икры. Каждый понедельник он ходил служить раннюю обедню в монастырской часовне в окрестностях Воре́.

— Добрый день, друг мой! — громко крикнул он, оглядев Этьена горящими глазами.

Но Этьен не ответил. Вдалеке между упорами мостков Ворейской шахты прошла женщина, и, узнав Катрин, он бросился к ней.

Катрин с самой полночи бродила по дорогам, которые развезло в оттепель. Возвратившись домой, Шаваль поднял ее с постели пощечиной, кричал, чтоб она убиралась сию же минуту; вот дверь — пусть выходит, а не то вылетит в окно. Горько плача, не успев и одеться как следует, вся в синяках от его побоев, она спустилась по лестнице, и он последним пинком вышвырнул ее на улицу. Этот внезапный разрыв ошеломил ее, она села на деревянную тумбу и все смотрела на окно, все ждала, что он позовет ее обратно. Ведь не может так быть, чтобы Шаваль совсем выгнал ее; он стоит, подстерегает и скажет, чтоб она шла в комнату, когда увидит, что она дрожит тут, брошенная, одинокая, бесприютная, потому что ей не к кому пойти.

Два часа просидела она неподвижно, закоченев от холода, словно собака, выброшенная на улицу, и наконец встала и побрела по дороге. Она вышла из Монсу, потом вернулась обратно, но не посмела ни окликнуть Шаваля с тротуара, ни постучаться в дверь. Наконец повернулась и, выйдя на большую дорогу, зашагала по бугристой булыжной мостовой, направляясь в поселок, к родителям. Но когда дошла до их калитки, вдруг ей стало так стыдно, что она бегом побежала обратно вдоль палисадников, боясь, как бы ее кто-нибудь не узнал, хотя во всех домах за запертыми ставнями тяжелый сон сморил голодных людей. А потом она

все бродила, бродила, пугаясь каждого шороха, с ужасом думая, что ее могут забрать, как потаскушку, и отвести в Маршьен, в публичный дом,— мысль об этой грозящей ей опасности была ее кошмаром, два месяца неотвязно ее преследовала. Дважды она подходила к Ворейской шахте и, испугавшись зычных грубых голосов, доносившихся из помещения военного поста, задыхаясь, убегала прочь, поминутно озираясь, не гонятся ли за нею. В Рекильярском проезде было все еще много пьяных мужчин, но она все же пошла по нему в смутной надежде, что ей встретится тот, кого она оттолкнула несколько часов назад.

Утром Шаваль должен был начать работу на шахте,— эта мысль опять привела Катрин туда, хотя она чувствовала, что говорить с ним бесполезно: между ними все кончено. В Жан-Барте добыча прекращена, а в Ворейскую шахту вернуться невозможно: Шаваль обещал задушить ее, если она туда «полезет»,— он боялся, что она будет дурно говорить о нем и повредит ему. Так что же делать? Куда деваться? Подыхать с голоду, уехать куда-нибудь, уступать грубым приставаниям мужчин? Она еле волочила ноги, спотыкалась, попадая в рытвины, и все брела, брела, утопая в слякоти, забрызганная грязью до пояса,— дороги совсем развезло; она шла все дальше, не смея даже присесть на камень и отдохнуть.

Наконец рассвело. Катрин узнала фигуру Шаваля — из осторожности он шел окольным путем, огибая террикон; потом заметила Лидию и Бебера, выглядывавших из тайника, который они устроили себе в штабеле крепежного леса. Они провели тут всю ночь на страже, не смея уйти домой, так как Жанлен приказал им дождаться его; и пока он спал в Рекильяре, словно в пьяном бреду после своего убийства, двое этих детей мерзли на улице и, чтобы согреться, жались друг к другу. Ветер свистел в щелях между стойками из каштана и дуба, а они лежали, свернувшись в комочек, и им казалось, что они тут как в заброшенной хижине дровосека. Лидия не решалась рассказать, как ей тяжело от того, что Жанлен мучает и бьет ее; у Бебера тоже не хватало смелости пожаловаться на атамана их шайки, а ведь от его оплеух у Бебера вспухали щеки. Право, Жанлен очень уж обижает их, посылает на воровство, за которое им могут кости переломать, а всю добычу забирает себе, с ними не хочет делиться. Возмущение переполняло их сердца, и кончилось тем, что они бросились друг другу в объятия, невзирая на строгий запрет Жанлена, грозившего, что он явится невидимкой и задаст им трепку. Кары этой не последовало, и они продолжали обмениваться тихими поцелуями, не помышляя ни о чем дурном, вкладывая в эти ласки всю свою долгую подавленную любовь, всю нежность исстрадавшегося сердца. Целую ночь они согревали друг друга и были так счастливы в

своей темной норе, как никогда еще не бывали, даже в день св. Варвары, когда можно было угощаться оладьями и пить вино.

Внезапно раздалась фанфара горниста. Катрин вздрогнула. Поднявшись на груду бревен, она увидела, что солдаты, охранявшие шахту, встали под ружье. К воротам подбегал Этьен. Бебер и Лидия выскочили из своего тайника.

А вдалеке, по дороге, спускавшейся из поселка, толпой бежали люди — мужчины и женщины, и при свете разгоравшегося дня четко видны были их гневные жесты.

V

Все двери надшахтных строений заперли, и шестьдесят солдат, с ружьем к ноге, преграждали доступ к единственной незапертой двери, за которой узкая лестница вела в приемочную, а также в комнату штейгеров и в раздевальню. Капитан построил солдат в два ряда у кирпичной стены, чтобы на отряд не могли напасть с тыла.

Сперва углекопы, прибежавшие из поселка, держались на некотором расстоянии. Их было человек тридцать, они переговаривались, перебрасывались бессвязными и яростными возгласами.

Жена Маэ прибежала первой, наспех прикрыв косынкой растрепанные волосы, держа на руках уснувшую Эстеллу,— теперь она все твердила в лихорадочном возбуждении:

— Никого не впускать и не выпускать! Мы их всех сцапаем!

Маэ соглашался с ней. Но тут пришел из Рекильяра конюх Мук. Его схватили, не хотели пропустить. Он отбивался, кричал, что лошадям-то надо задать овса, им дела нет до революции. А кроме того, на конюшне одна лошадь сдохла, и его ждут, чтобы поднять ее наверх. Этьен высвободил старика конюха, и солдаты пропустили его в приемочную, к клети. А через четверть часа, когда постепенно возраставшая толпа забастовщиков стала угрожающей, в нижнем ярусе приемочной распахнулись широкие двери, и из нее вышли люди, которые волокли за собою околевшую лошадь; вытащив жалкую падаль, стянутую веревочной сеткой, они бросили ее во дворе, прямо в лужу, образовавшуюся от раставшего снега. Углекопы были так потрясены, что и не подумали задержать их,— они вернулись в приемочную и снова забаррикадировали дверь. Все узнали околевшую лошадь и с жалостью смотрели, как она лежит, согнув закостеневшую шею и прижав к боку голову. Послышались голоса:

— Да это Трубач! Право, Трубач!

— Трубач!

Действительно, это был Трубач. Беднягу спустили в шахту,

но он так и не мог с этим свыкнуться, всегда был скучный, вялый, работал без всякой охоты и, казалось, тосковал о солнечном свете. Напрасно Боевая, старейшая лошадь в шахте, дружески терлась о него головой, покусывала ему шею, стараясь передать ему частицу своего смирения, пришедшего к ней за десять лет. Ее ласки только усиливали глубокую грусть Трубача, он вздрагивал всем телом, не принимая утешений товарища по несчастью, состарившегося во мраке; и всякий раз, когда они встречались в квершлаге и фыркали, стоя на разъезде, казалось, они жалуются друг другу: старая лошадь — на то, что она не помнит прошлое, а молодая — что не может его забыть. В конюшне они были соседями, стояли рядом у яслей, опустив голову или обдавая друг друга шумным дыханием; они делились своими мечтами о солнечном свете, грезами, в которых им виделись зеленые луга, белые дороги, золотистые лучи, бесконечный простор. А когда Трубач, весь в холодном поту, умирал на соломенной подстилке, Боевая в отчаянии обнюхивала его, и ее короткие пофыркивания похожи были на рыдания. Она чувствовала, как тело Трубача холодеет; шахта отняла у нее последнюю отраду — друга, явившегося с далекой поверхности земли, еще овеянного такими славными запахами, напоминавшими старой лошади о невозвратной молодости и вольном воздухе. Заметив, что Трубач не движется, бедняга заржала от страха и сорвалась с привязи.

Мук за неделю предупреждал старшего штейгера, что с лошадью неладно. Но кто стал бы в такую минуту беспокоиться о больной лошади? Господа начальники не любили поднимать лошадей на поверхность. А все-таки пришлось ее поднять. Накануне конюх с помощью двух человек целый час увязывал веревками Трубача. Потом впрягли Боевую, чтобы дотащить труп до ствола шахты. Налегая на постромки, старая лошадь медленно шагала, волоча мертвого своего друга по такому узкому штреку, что тело Трубача ударялось о стенки, и камни раздирали его шкуру; Боевая устало качала головой, прислушиваясь, как шуршит по щебню влекомая ею тяжелая туша, которую ждали на живодерне. У клети Боевую отпрягли, и она мрачным взглядом следила за подготовкой к подъему; тело, обвязанное веревочной сеткой, втащили на решетку, прикрывавшую колодец для стока воды; сетку привязали под клетью. Наконец грузчики кончили свое дело, стволовой просигналил: «Принимай мясо!» Боевая подняла голову, провожая взглядом своего друга,— сначала его поднимали тихонько, потом он вдруг потерялся во мраке, клеть взлетела вверх, и Трубач навсегда расстался с черной бездной. Боевая же все стояла, вытянув шею, и в ее короткой памяти, памяти животного, быть может, возродились картины прежней ее жизни на поверхности земли. Но с той жизнью все было кончено, ничего больше не

узнает о ней Боевая,— ведь она тоже поднимется на землю только в виде перевязанного веревками холодного и жалкого трупа. У Боевой задрожали ноги, она учуяла вольный воздух далеких полей, долетавший через ствол шахты, и, задыхаясь, тяжело переступая, словно одурманенная, побрела в конюшню.

А во дворе шахты углекопы мрачно смотрели на мертвого Трубача. Какая-то женщина сказала вполголоса:

— Все-таки человек не спустится, коли не захочет.

Но тут из поселка хлынула новая людская волна. Впереди всех шел Левак, за ним его жена и жилец Бутлу.

— Бей всех, кто из Боринажа! Долой чужаков! Смерть им! Смерть!

Все было ринулись к шахте. Этьену с трудом удалось остановить людей. Он подошел к капитану, командовавшему отрядом, высокому и худощавому молодому человеку лет двадцати восьми, лицо которого выражало отчаяние и решимость; объяснив офицеру, как обстоит дело, Этьен попытался привлечь его на сторону рабочих и, говоря, все время следил, какое впечатление производят его слова. Зачем доводить дело до бесцельной резни? Справедливость, несомненно, на стороне рабочих. Все люди братья. Можно столковаться. Когда он заговорил о республике, капитан нервически дернулся и, сохраняя военную непреклонность, резко сказал:

— Разойдитесь! Не вынуждайте меня прибегнуть к оружию!

Три раза Этьен возобновлял свою попытку. А позади него грозно рокотала толпа углекопов. Прошел слух, что директор находится на шахте, и тогда раздались выкрики: предлагали накинуть ему петлю на шею и спустить на веревке в забой,— пусть-ка он сам рубает уголек. Но слух оказался ложным, на шахте были только Негрель и старший штейгер Дансар; оба они на мгновение показались в окне приемочной; штейгер прятался за спину начальника, чувствуя себя неловко после скандального свидания с женой Пьерона; инженер, наоборот, храбро окинул толпу быстрым взглядом маленьких бойких глаз и улыбнулся с презрительной насмешливостью, относившейся и к людям и к событиям. Начальников встретили свистом, и они исчезли. На их месте теперь можно было видеть только белокурую голову Суварина. Как раз в этот день он был дежурным. За все время забастовки он ни на один день не прекращал управлять машиной, но ни с кем теперь не разговаривал — всецело поглощен был своей навязчивой мыслью, и в холодном взгляде его светлых глаз, казалось, блестело ее стальное острие.

— Разойдись! — громко произнес капитан.— Не желаю вас слушать. Мне дан приказ охранять шахту, и я буду ее охранять. Вы лучше не напирайте на моих людей, а не то я сумею вас отбросить.

Хотя офицер говорил твердым тоном, на душе у него кошки скребли; он побледнел при виде все возраставшей толпы углекопов. Его должны были сменить в полдень, но он боялся, что ему не продержаться, и послал мальчишку-откатчика в Монсу просить подкрепления. А в ответ на требование разойтись понеслись неистовые вопли:

— Бей иностранцев! Бей бельгийцев! Мы хозяева в своем углу!

Этьен в отчаянии отступил. Значит, конец! Остается только вступить в бой и умереть. Он перестал удерживать товарищей, и толпа хлынула к отряду солдат. Собралось человек четыреста. На подмогу уже бежали рабочие из соседних поселков. И все бросали тот же клич. Маэ и Левак в ярости кричали солдатам:

— Уходите отсюда! Мы против вас ничего не имеем. Уходите!

— Вас это не касается,— подхватила жена Маэ.— Не вмешивайтесь в наши дела!

А жена Левака добавляла еще злее:

— Живьем вас, что ли, съесть, чтобы пройти? Вас честью просят — проваливайте!

Раздался даже тоненький голосок Лидии, которая пролезла с Бебером в самую гущу толпы:

— Дураки набитые! Солдатня поганая!

Катрин, стоявшая в нескольких шагах, смотрела, слушала, ошеломленная этой новой схваткой, в которую ее втянула злая судьба. Разве мало она еще выстрадала? В наказание за какие грехи не знает она ни минуты покоя? Еще вчера она никак не могла понять ожесточения забастовщиков и думала, что, право, хватит и одного раза. Зачем опять лезть в драку и получать тумаки? Но в этот час у нее самой в сердце рождалась ненависть, ей вспомнилось то, что Этьен когда-то говорил в их доме, когда все собирались и толковали по вечерам; она старалась разобраться в его словах, обращенных к солдатам. Он называл их товарищами, указывал, что они и сами вышли из народа и должны быть заодно с народом — против тех, кто угнетает бедняков.

Но вот толпа, всколыхнувшись, расступилась, и вперед выбежала какая-то старуха. Это примчалась Горелая. Страшная, худая, как скелет, с голой шеей, голыми руками, она бежала так быстро, что седые ее волосы разлетались, падали ей на глаза и мешали видеть.

— Ах, они мерзавцы! — запыхавшись, кричала она прерывающимся голосом.— Я все-таки вырвалась! Пьерон, продажная шкура, запер меня в подвале.— И сразу же, без долгих околичностей, она напала на солдат, из ее черного беззубого рта понеслась брань:

— Подлецы вы этакие! Сукины дети! Лижете сапоги господам начальникам. Зато какие смелые с бедным людом. Нашлись храбрецы! Того и гляди на штыки подденут!

Тогда и другие, присоединившись к ней, принялись осыпать солдат оскорблениями. Некоторые, правда, еще кричали: «Да здравствуют солдаты! Бросай в шахту офицеров!» Но вскоре все заглушил единый клич: «Долой красноштанников! Убирайтесь!» Солдаты, которые молча, с бесстрастными, каменными лицами выслушивали призывы к братанию и дружеские уговоры перейти на сторону забастовщиков, хранили ту же немую суровость и под градом ругательств. Капитан, стоявший позади, обнажил саблю и, видя, что толпа надвигается все ближе, того и гляди прижмет весь отряд к стене, скомандовал: «В штыки!» И тотчас два ряда стальных штыков, сверкнув в воздухе, уставили свои острия прямо в грудь забастовщикам.

— Ах, гадины! — взвыла Горелая, попятившись.

Но, отступив немного, все опять двинулись вперед в героическом презрении к смерти. Женщины бросились первыми, жена Маэ и жена Левака вопили в исступлении:

— Убить нас хотите? Убейте! Мы свои права защищаем!

Левак, рискуя пораниться, ухватил руками сразу три штыка и, стараясь вытащить из гнезда, тянул их, дергал и с неистовой силой, удесятеренной бешеным гневом, даже согнул их. Бутлу, уже сожалевший, что пришел сюда вслед за товарищем, стоял в стороне и преспокойно смотрел на старания Левака.

— Ну, что же вы? Убивайте! — твердил Маэ.— Покажите, какие вы молодцы! Убивайте!

Он распахнул куртку, разорвал рубашку, подставляя свою волосатую грудь, как будто татуированную частичками угля, въевшимися в тело. Он сам лез на штыки, и эта дерзкая отвага была такой грозной, что солдаты пятились от него. Один из передних уколол его в грудь, и Маэ напирал как безумный, будто хотел, чтоб острие вонзилось глубже и хрустнули в груди ребра.

— Что, трусы, не хватает духу?.. За нами стоят десять тысяч. Убьете нас, а потом придется перебить еще десять тысяч.

Положение солдат становилось критическим,— они получили строгий приказ прибегнуть к оружию лишь в крайнем случае. Но ведь эти сумасшедшие идут напролом и сами напорятся на штыки. Как их отгонишь! А скоро и отступать будет некуда: вот-вот притиснут к стене. Толпа надвигалась неотвратимо, как морской прилив. Однако отряд, то есть горсточка вооруженных людей, преграждавших ей путь, держался стойко, хладнокровно выполняя короткие приказы капитана. Офицер, у которого от волнения блестели глаза и нервно подергивались губы, больше всего боялся, как бы солдаты не рассвирепели от оскорблений, кото-

рыми их осыпали. Один сержант, долговязый худой юнец с жиденькими закрученными усиками, как-то беспокойно щурился и моргал глазами. У стоявшего близ него ветерана с нашивками лицо, выдубленное за двадцать компаний, вдруг побледнело, когда Левак, словно соломинку, согнул его штык; третий,— вероятно, новобранец, в котором еще чувствовался деревенский парень, побагровел, услыша, как его ругают сволочью и мерзавцем. А злобные нападки не прекращались: на солдат замахивались кулаками, выкрикивали грубейшие слова, на них сыпались угрозы и обвинения, оскорбительные, как пощечина. Только силой приказа, силой военной дисциплины можно было сдерживать солдат, заставить стоять вот с этими каменными лицами, застыв в угрюмом безмолвии.

Столкновение казалось неизбежным; вдруг из двери, отворившейся позади отряда, вышел штейгер Ришом, седовласый старик, похожий на благодушного жандарма, и, весь дрожа от волнения, громко крикнул:

— Ах, черт! Ах, черт! Да что ж это за глупости такие! Нельзя же такие глупости допускать!

И он бросился в еще остававшийся промежуток между штыками солдат и толпой углекопов.

— Друзья, послушайте меня! Вы ведь меня знаете, я старый рабочий, я был и остался вашим товарищем. Ну так вот, бросьте это мерзкое дело! Даю вам слово: если с вами поступят несправедливо, я сам выложу господам начальникам всю правду в глаза... Но сейчас довольно... Зачем орать всякие нехорошие слова, обижать славных ребят. Или вы добиваетесь, чтобы вам распороли штыками животы?

Его выслушали и заколебались. К несчастью, вверху опять появилось в окне ехидное лицо Негреля. Несомненно, он побоялся, как бы его не упрекнули, что он, не желая рисковать своей особой, послал вместо себя штейгера. Он попытался выступить с речью, но его голос заглушили таким ужасным ревом, что ему пришлось отступить, и, пожав плечами, он опять отошел от окна. С этой минуты никто не слушал и Ришома; как старик ни уговаривал, ни умолял рабочих от своего собственного имени, сколько ни убеждал, что все должно идти по-хорошему, по-товарищески, его отталкивали, ему не доверяли. Но он заупрямился и остался среди них.

— Нет, черт бы вас драл, не уйду! Пусть лучше мне голову пробьют вместе с вами, а я не могу вас бросить, раз вы совсем одурели.

Он умолял Этьена помочь ему образумить товарищей, но тот только махнул рукой, признаваясь в своей беспомощности. Теперь поздно! Собралось больше пятисот человек,— самые неистовые,

сбежавшиеся для того, чтобы выгнать бельгийцев, привезенных на шахту. В стороне стояли любопытные, и среди них были шутники, которых забавляла предстоящая стычка. В одной кучке, стоявшей поодаль, находились Захарий и Филомена,— оба смотрели на происходившие события, как на занятное представление, и были так спокойны, что привели с собою своих детей, Ахилла и Дезире. Из Рекильяра примчалась новая толпа, в которой были Муке и Мукетта,— первый тотчас же присоединился к своему приятелю Захарию и хлопнул его по плечу, а Мукетта, разгоряченная, негодующая, ринулась вперед, в первые ряды бунтовщиков.

Капитан поминутно оборачивался, смотрел на дорогу. Затребованное из Монсу подкрепление все не прибывало, а в его отряде было только шестьдесят человек,— дольше он держаться не мог. Наконец ему пришло в голову припугнуть толпу, и он скомандовал солдатам зарядить ружья. Приказ был выполнен, солдаты защелкали затворами, зарядили ружья на глазах у толпы. Но ее возбуждение все возрастало, все громче раздавались задорные выкрики и насмешки.

— Гляди-ка! Бездельники-то уходят, на стрельбище пойдут! — с язвительным смехом кричали женщины — Горелая, жена Левака и другие.

Жена Маэ, у которой грудь прикрыта была маленьким тельцем проснувшейся Эстеллы, подошла к солдатам так близко, что сержант спросил, что ей нужно, зачем она «притащила бедную девчонку»?

— Тебе какое дело? — ответила мать.— Стреляй в нее, коли посмеешь.

Мужчины пренебрежительно покачивали головами. Никто не верил, чтобы в народ стали стрелять.

— У них патроны холостые! — заявил Левак.

— Да мы кто такие? Неприятели, что ли? — крикнул Маэ.— Ведь мы французы. Разве в своих стреляют, черт бы вас драл!

А другие хвалились, что они воевали в Крымскую кампанию и пуль не боятся. И все по-прежнему лезли прямо на ружья. Раздайся в эту минуту залп, скосило бы десятки людей. В первом ряду бесновалась Мукетта, задыхаясь от негодования при мысли, что солдаты хотят «дырявить пулями женщин». Она поносила их последними словами, не находила достаточно мерзкой брани, чтобы их уязвить, и вдруг, прибегнув к самому унизительному, смертельному оскорблению, заголилась и показала солдатам свой зад. Подхватив обеими руками юбки, она, наклоняясь, выпячивала ягодицы, чтобы их огромные выпуклости казались еще шире.

— Нате вам! И то еще слишком много чести для таких сволочей!

Она нагибалась, подпрыгивала, поворачивалась в разные стороны, чтобы каждому досталась доля унижения, и при каждом повороте приговаривала:

— Вот офицеру! Вот сержанту! Вот солдатам!

Грянул громовой хохот. Бебер и Лидия корчились от смеха; даже Этьен, застывший в мрачном ожидании, захлопал в ладоши, рукоплеща этой оскорбительной наготе. Теперь и ожесточенные и шутники дружно освистывали солдат, словно увидели, как их облили нечистотами; молчала лишь Катрин, стоявшая в стороне на старых бревнах; но и у нее кипела кровь и рвались из груди слова ненависти, загоревшейся в душе.

Вдруг произошла свалка. Желая успокоить раздраженных солдат, капитан решил взять пленных. Мукетта увернулась,— одним прыжком перелетела к своим и, юркнув, исчезла в толпе. Из самых ярых бунтовщиков солдаты выхватили Левака и еще двоих, отвели в помещение штейгеров и взяли троих арестованных под стражу. Негрель и Дансар кричали из окна капитану, звали его к себе в приемочную, предлагая запереться вместе с ними. Он отказался, понимая, что в дверях нет крепких запоров, здание сразу же будет взято приступом, а его разоружат — участь, позорная для офицера. В отряде поднимался злобный ропот: нельзя же отступать перед какой-то голытьбой в деревянных башмаках. Шестьдесят солдат с заряженными ружьями по-прежнему стояли устрашающим заслоном.

Толпа сперва отпрянула. Шум сменился глубоким молчанием: забастовщиков ошеломил нежданный арест их товарищей. Потом понеслись истошные вопли, люди требовали выпустить пленников, немедленно возвратить им свободу. Кто-то крикнул, что арестованных наверняка убьют. И тут, не сговариваясь, подхваченные единодушным порывом, одинаковой у всех жаждой возмездия, все побежали к сложенным поблизости штабелям кирпича — того самого кирпича, который выделывали из мергелевой глины, изобилующей в этих краях, и тут же на месте обжигали. Теперь эти кирпичи послужили забастовщикам. Вскоре у каждого лежала в ногах груда метательных снарядов. И началось сражение.

Первой заняла позицию Горелая. Она разбивала кирпичи пополам на своей костлявой коленке и кидала обе половинки правой и левой рукой. Жена Левака так широко размахивалась, что едва не вывихнула себе плечо; она была такая толстая, рыхлая, что не могла швырнуть далеко и попасть в солдат, поэтому она вылезла вперед, несмотря на мольбы Бутлу, который все тянул ее назад, надеясь увести домой, раз Левака забрали. Все пришли в возбуждение битвы; Мукетта разозлилась на то, что до крови ободрала себе руки и толстую свою коленку, ломая на ней кирпичи, и предпочла бросать их целиком, не разбивая. Даже дети вступили в

бой; Бебер показал Лидии, как надо правильно бросать камень, напрягая руку не выше, а ниже локтя. Теперь сыпался каменный град — градины были огромной величины и падали с глухим стуком. И вдруг среди разъяренных женщин появилась Катрин — она тоже потрясала в воздухе кулаками, сжимая в каждом по половинке кирпича, и, размахнувшись, изо всей силы швырнула их своими худенькими руками. Она не могла бы объяснить, почему она это делает, но она задыхалась, умирала от желания бить, уничтожать людей. Будь проклята эта страшная жизнь! Всему конец! Так поскорее бы! Хватит, довольно! Любовник избил и выгнал, мерзни всю ночь как бездомная собака, меси грязь на дорогах, не смей попросить у отца корку хлеба, потому что его самого мучает голод. Да и никогда лучше не будет, наоборот,— с тех пор как она себя помнит, все идет хуже и хуже. И Катрин разбивала кирпичи и бросала их с одной только мыслью — всех, всех уничтожить; в глазах у нее потемнело, она даже не видела, кому сворачивает челюсти.

Этьену, все еще стоявшему перед солдатами, чуть не пробили голову,— ухо у него вспухло; он обернулся и вздрогнул, поняв, что кирпич бросила рука обезумевшей Катрин; и, рискуя, что его убьют, он все не уходил, смотрел на нее. Впрочем, и многие, забывшись, стояли, опустив руки, и смотрели на захватывающую картину сражения. Муке вел счет ударам, как будто тут шла игра в кегли: «О-го, вот ловко щелкнул! А этому не повезло,— промазал!» Он посмеивался, подталкивал локтем Захария, а тот ссорился с Филоменой, давал затрещины Ахиллу и Дезире, которые хныкали и просились, чтобы отец посадил их на плечи,— им тоже хотелось посмотреть. Подальше, вдоль дороги толпились другие зрители. А наверху, у въезда в поселок, появился старик Бессмертный; он кое-как дотащился, опираясь на палку, и теперь стоял неподвижно, вырисовываясь на фоне желтоватого, какого-то ржавого неба.

Лишь только полетели кирпичи, штейгер Ришом снова встал между отрядом солдат и углекопами. Он умолял одних, заклинал других, совсем не думая о грозившей ему опасности, и впал в такое отчаяние, что крупные слезы покатились у него из глаз. В диком шуме, стоявшем вокруг, никто не мог различить его слов, лишь видно было, как дрожат пышные седые усы старика.

Град обломков падал все гуще,— вслед за женщинами принялись швырять кирпичи и мужчины. Жена Маэ заметила, что муж стоит позади других, в руках у него ничего нет, и смотрит он мрачным взглядом.

— Что с тобой, а? — крикнула она.— Неужто струсил? Неужто допустишь, чтобы твоих товарищей посадили в тюрьму?.. Эх, если бы не ребенок на руках, ты бы увидел!..

Эстелла, с визгом цеплявшаяся за шею матери, мешала ей присоединиться к Горелой и другим женщинам. А муж словно и не слышал ее упреков; тогда она ногой пододвинула к нему кирпичи.

— Ты что? Почему кирпичей не бросаешь? Или хочешь, чтобы я при всех плюнула тебе в лицо? Может, тогда духу наберешься!

Маэ, побагровев, принялся разбивать кирпичи и бросать обломки. Жена, стоя за ним, подхлестывала его, оглушала своими выкриками, натравливала: «Бей их! Бей!» — и судорожно прижимала к груди Эстеллу, словно хотела задушить ее. Маэ шаг за шагом подвигался вперед, все ближе к ружьям, взятым на изготовку.

За тучей осколков не видно было отряда солдат. К счастью для них, кирпичи ударялись слишком высоко, оставляя царапины на стене. Что делать? У капитана мелькнула мысль уйти. Отступить, показать спину? На его бледном лице вспыхнула краска стыда. Впрочем, это даже было и невозможно: стоит им двинуться, их растерзают. Брошенный кем-то осколок кирпича сломал козырек его кепи и сорвал лоскуток кожи со лба,— из ссадины потекли капли крови. Многих солдат ранило, и капитан чувствовал, что они вне себя, ибо инстинкт самозащиты заговорил в них с такой силой, что они могут внезапно выйти из повиновения. Сержант громко выругался от боли: ему чуть не вывихнули плечо,— кирпич ударился о него с глухим стуком, как валек о мокрое белье. Новобранца задели два раза: разбили ему большой палец на руке и так сильно ушибли правую коленку, что боль жгла его огнем; рекрут возмущался: долго ли еще терпеть такое нахальство? Один камень рикошетом попал ветерану в пах; лицо старого служаки сразу позеленело, ружье задрожало в тощих руках, и дуло вытянулось вперед. Трижды капитан готов был скомандовать: «Огонь!» — и не мог: страх сдавил ему горло. За несколько секунд, казавшихся бесконечными, в душе его произошла борьба: столкнулись его взгляды и долг военного, убеждения человека и понятия солдата. Дождь камней усилился, и капитан открыл рот, хотел крикнуть: «Огонь!» — но ружья вдруг заговорили сами,— сначала раздались три выстрела, потом пять, потом начался беглый огонь, а затем прозвучал одинокий выстрел, когда уже воцарилась тишина.

Все остолбенели. Солдаты обстреляли толпу, она застыла в изумлении, еще не веря случившемуся. Но вот понеслись душераздирающие крики, а горнист затрубил сигнал — прекратить огонь. Началась безумная паника, дробный топот ног, растерянное бегство по вязкой грязи.

Бебер и Лидия упали друг возле друга при первых трех вы-

стрелах — девочке пуля попала в глаз, мальчику под левую ключицу. Лидию убило сразу,— она не шевельнулась. А он корчился в предсмертных судорогах, обхватив ее обеими руками, как будто хотел обнять ее, как обнимал в той темной норе, где они провели последнюю ночь своей жизни. И Жанлен, как раз в эту минуту прибежавший из Рекильяра с заспанным, припухшим лицом, видел в облаке порохового дыма, как Бебер обнял его маленькую возлюбленную и умер.

Пять других выстрелов уложили Горелую и штейгера Ришома,— пуля попала ему в спину в то мгновение, когда он, повернувшись лицом к товарищам, взывал к ним; он упал на колени, потом повалился на бок и захрипел, умирая с глазами полными слез. Старухе Горелой пробило горло, она рухнула с глухим стуком, как упавшее сухое дерево, и, бормоча последние проклятья, захлебнулась кровью.

А затем раздался залп, который очистил место на сто шагов от схватки, скосив зевак, потешавшихся над ней. Пуля ударила Муке в рот и, размозжив ему голову, опрокинула к ногам Захария и Филомены; их детей обрызгало кровью убитого. В то же мгновение упала и Мукетта — две пули попали ей в живот. Она увидела, как солдаты прицеливались в Катрин, в безотчетном порыве доброго сердца бросилась к ней, крикнув: «Берегись!» — и тут же с громким криком упала навзничь. Подбежал Этьен, хотел приподнять ее, но она слабо махнула рукой: не надо, мне конец. Потом в горле у нее заклокотало, но она все улыбалась Этьену и Катрин, как будто радовалась, что, умирая, видит их вместе.

Казалось, все было кончено, ураган выстрелов пронесся далеко, пули щелкали даже по стенам домов в поселке. И вдруг раздался последний запоздалый выстрел.

Маэ, пораженный в сердце, перевернулся и упал ничком в лужу, черную от угольной пыли.

Жена в ужасе нагнулась над ним:

— Что ты, старик? Вставай. Ты ведь так, ничего, да?

Эстелла связывала ей руки,— матери пришлось взять ее под мышку, чтобы повернуть голову мужа.

— Ну скажи, что с тобой! Где больно?

Глаза у него закатились, изо рта текла кровавая пена.

Жена поняла, что он мертв. Тогда она села прямо в грязь и, держа ребенка под мышкой, как сверток, каким-то тупым взглядом уставилась на убитого мужа.

Итак, шахта была свободна. Капитан, весь бледный, снял и снова надел свое кепи, разодранное осколком кирпича, стараясь в эту минуту крушения своей жизни сохранить бесстрастное спокойствие. Солдаты в угрюмом молчании перезарядили ружья. В окне приемочной показались испуганные лица Негреля и Дан-

сара; за ними стоял Суварин; между бровей у него залегла глубокая складка, как будто навязчивая идея, преследовавшая его, грозной метой перечеркнула его лоб. А в другой стороне, на краю плато, все так же неподвижно стоял старик Бессмертный; опираясь одной рукой на палку, другую он приставил к глазам щитком, чтобы лучше видеть, как убивают его близких. Раненые выли, мертвые постепенно холодели: застыв в неловких позах на размокшей в оттепель земле, испачканные жидкой грязью, они лежали между черными комьями угля, прорвавшими грязную снежную пелену. То была несказанно скорбная картина: трупы голодных, исхудавших людей, такие маленькие, плоские, а среди них околевшая лошадь, темная, чудовищная, горой раздувшаяся туша.

Этьена миновали пули. Он все ждал минуты смерти, не отходя от Катрин, которая бросилась на землю, разбитая усталостью и душевной мукой.

Отслужив раннюю обедню, возвратился аббат Ранвье.

Воздевая руки к небу, он с пророческим пафосом призывал на убийц гнев божий. Он возвещал скорое пришествие царства справедливости и уже недалекое истребление богачей огнем небесным, ибо они совершают величайшее из всех содеянных ими преступлений — убивают трудящихся и обездоленных мира сего...

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

I

Выстрелы, раздавшиеся в Монсу, докатились до Парижа и отозвались там грозным эхом. Четыре дня кряду все оппозиционные газеты возмущались, помещали на первой полосе подробные сообщения об этом ужасном событии: двадцать пять человек ранено, четырнадцать убито, из них двое детей и три женщины; несколько человек арестовано. Левак стал своего рода знаменитостью: на допросе у следователя он будто бы дал ответ, исполненный величия античных героев. Империя, пораженная этими пулями, попавшими в ее тучное тело, выказывала подчеркнутое спокойствие всемогущей власти, не отдавая себе отчета в том, что ее раны весьма опасны. Ах, оставьте, все так просто,— что-то расклеилось в далеком угольном краю Франции! Случай прискорбный, но произошло это так далеко от Парижа, а ведь именно Париж создает общественное мнение. Все скоро забудется. Компания получила официальное предписание замять дело и покончить с затянувшейся забастовкой, ибо она становилась социальной опасностью.

И вот в среду утром в Монсу прибыли три члена правления. Маленький городок, в котором обыватели до тех пор не дерзали радоваться недавней бойне и все хватались за сердце, вдруг вздохнул с облегчением и возликовал, почувствовав себя спасенным. А тут как раз исправилась погода, засияло солнце. Настали теплые дни, как оно и подобает в конце февраля. На кустах сирени зазеленели почки. В обширном особняке, где помещалась контора Компании, отворились ставни, дом словно ожил, оттуда шли теперь приятнейшие слухи — говорили, что приезжие господа чрезвычайно огорчены прискорбной катастрофой и поспешили на помощь заблудшему населению рабочих поселков. Теперь, когда удар был нанесен, удар, конечно, более сильный, чем правление того желало, его посланцы, не жалея сил, выполняли миссию спасителей, принимали запоздалые, но превосходные меры. Прежде всего были уволены углекопы, привезенные из Бельгии, и по поводу этой огромной уступки своим рабочим Компания подняла шумиху. Затем по ее просьбе убрали войска, охранявшие копи, поскольку забастовщики, потерпевшие поражение, теперь были не страшны. Именно Компания и добилась того, что исчезновение часового, стоявшего у Ворейской шахты, окружили молчанием. Обшарили весь край и, не найдя ни ружья, ни трупа, решили считать пропавшего солдата дезертиром, хотя и подозревали, что он стал жертвой преступления. Да и во всем власти старались затушевать недавние события, дрожа от страха за будущее, считая опасным признать неодолимой ярость толпы, направленную против обветшалых устоев старого мира. Впрочем, труды миротворцев не мешали им успешно вести и чисто коммерческие дела: в городе видели, как Денелен несколько раз приезжал в Монсу, в контору, где он встречался с членами правления и с г-ном Энбо. Переговоры о покупке Вандамских копей продолжались, сведущие люди утверждали, что Денелен готов принять условия Компании.

Но особенно взволновали весь край большие желтые афиши, которые по приказу правления были расклеены повсюду.

Там было напечатано крупными буквами следующее немногословное воззвание:

«Рабочие Монсу! Мы не хотим, чтобы заблуждения, прискорбные последствия коих вы недавно видели, лишили средств к существованию людей рассудительных и благонамеренных. Поэтому в понедельник утром мы откроем все шахты, а когда работа возобновится, мы тщательно и с полной благожелательностью рассмотрим создавшееся положение и те меры, кои способствовали бы его улучшению. Мы сделаем все, что будет справедливо и возможно сделать».

В течение утра перед афишами прошли все десять тысяч

углекопов. Никто не произнес ни слова; многие покачивали головой, у других же ни один мускул на лице не дрогнул, и, прочитав, они уходили обычным своим неторопливым шагом.

До сих пор поселок Двести Сорок упорствовал в своем угрюмом сопротивлении. Кровь расстрелянных, обагрившая черную грязь у Ворейской шахты, казалось, преграждала к ней дорогу остальным. Работу возобновили человек десять — Пьерон и подобные ему лицемеры, которых проводили мрачным взглядом, не сделав, однако, ни одного жеста, ничем не пригрозив им. Афиши, наклеенные на стенах церкви, встречены были в поселке с глухим недоверием. В них ни слова не говорилось об уволенных. Что ж, значит, Компания не желает принять их обратно? И боязнь преследований, братское чувство, побуждавшее людей восставать против увольнения наиболее скомпрометированных, заставляли всех углекопов упорствовать. Тут что-то неладно, надо посмотреть, как дело повернется, пусть хозяева объяснятся начистоту. Гнетущее молчание царило в шахтерских домишках, даже голод был теперь людям не страшен,— пусть хоть все перемрут, раз ветер смерти пронесся над кровлями.

Но во всем поселке самым темным и немым по-прежнему был домик Маэ, где всех придавила тяжкая скорбь о погибших. С тех пор как жена Маэ проводила покойника мужа на кладбище, она не раскрывала рта. После сражения она позволила Этьену привести в дом Катрин, всю испачканную грязью, еле живую. Раздевая ее при Этьене, она увидела у нее на рубашке кровавые пятна и сначала подумала, что и дочь вернулась раненная пулей. Но вскоре мать поняла, что в этот ужасный день пережитых потрясений для Катрин пришла наконец пора зрелости. Нечего сказать, хорош подарок! Теперь девка может рожать детей для того, чтобы жандармы их потом расстреливали! И мать ни словом не перемолвилась с дочерью, да, впрочем, не разговаривала она и с Этьеном. Он остался в доме, не беспокоясь о том, что его могут арестовать, и, как прежде, спал теперь на одной кровати с Жанленом; ему до такой степени тошно было возвращаться во мрак Рекильярской шахты, что он предпочитал ей тюрьму: его пробирала дрожь при мысли о том, как ужасно было бы прятаться в подземной тьме после всех этих смертей, как он боится, безотчетно боится солдатика, который спит там вечным сном под обвалившимися глыбами. Он теперь даже мечтал о тюрьме как об убежище в буре поражения; но его и не потревожили, и он проводил мучительные часы, не зная, чем заняться, как утомить свое тело. Вдова Маэ, казалось, не замечала Этьена, лишь иногда смотрела на него и на дочь злобным взглядом и словно спрашивала, зачем они тут.

Вновь все спали чуть ли не вповалку; старик Бессмертный занимал ту постель, где прежде спали малыши, а их укладывали

вместе с Катрин, которую теперь не толкала в бок своим горбом бедняжка Альзира. Вдова, ложась спать, чувствовала, как опустел ее дом, как холодна постель, слишком широкая для нее одной. Напрасно она брала к себе Эстеллу, чтобы заполнить пустоту, ребенок не заменял погибшего, и вдова часами проливала безмолвные слезы. А дни потекли как прежде: все так же в доме голодали и все не приходила избавительница смерть; они то тут, то там получали милостыню, которая оказывала несчастным плохую услугу, ибо только длила их страдания. Ничего не изменилось в их прозябании, только семья осиротела.

На пятый день, к вечеру, Этьен, которому невмоготу было смотреть на безмолвную вдову, вышел из дому и побрел по мощеной улице. Томительное бездействие постоянно побуждало его двигаться, идти куда-то, и он совершал долгие прогулки, шагал, понурив голову, бессильно свесив руки, и все думал об одном и том же. С полчаса шел он так и в тот день и вдруг, почувствовав мучительную неловкость, догадался, что товарищи вышли за порог и смотрят на него; последние остатки прежней его популярности развеялись после расстрела,— теперь стоило Этьену выйти на улицу, жители поселка с ненавистью смотрели ему вслед. Он поднял голову, увидел угрожающие лица мужчин и женщин, раздвигавших занавески на окнах; и, чувствуя пока еще немые их обвинения, еще сдержанный гнев, горевший в этих широко раскрытых глазах, запавших от голода и слез, он горбился, шел неровной походкой, спотыкался. А за его спиной все больше недругов провожало его пристальным взглядом, полным немого упрека. Этьену стало страшно: а что, если возмутится весь поселок, все выйдут из домов и закричат о своих муках? Он задрожал и поспешил возвратиться домой. Но там его ждала тяжелая сцена, которая привела его в полное отчаяние. Старик Бессмертный сидел, не шевелясь, у нетопленной печки, словно прикованный к стулу; таким он стал со дня бойни: две соседки нашли его тогда простертым на земле, возле него лежала его сломанная палка,— он рухнул, как старое дерево, разбитое грозой. Когда Этьен вошел, Ленора и Анри, пытаясь заглушить свой голод, яростно выскребывали ложками донышко старой кастрюли, в которой накануне варили капусту; мать, положив Эстеллу на стол, стояла, выпрямившись во весь рост, и грозила кулаком Катрин:

— А ну повтори, проклятая! Повтори, что ты брякнула!

Катрин сказала, что она хочет вновь работать на Ворейской шахте. С каждым днем ее все больше мучила мысль, что она не зарабатывает на хлеб и мать лишь терпит ее в своем доме, будто бесполезное, всем мешающее животное. Если б она не боялась злых выходок Шаваля, то уже со вторника спустилась бы в шахту. Сейчас она повторила, заикаясь:

— Да что ж делать-то! Ведь нельзя прожить без работы. Пойду на шахту, так хоть хлеб у нас будет...

Мать оборвала ее:

— Попробуй только! Кто из вас первый пойдет туда работать,— удушу! Своими руками убью!.. Нет, это чересчур! Отца убили, а теперь на детях наживаться будут, заставят детей горб гнуть! Нет, хватит! Пускай лучше вас всех в гроб уложат и на погост снесут, как отца унесли.

И долгое ее безмолвие сменилось потоком причитаний, в которых прорвался ее гнев. Хороша подмога, нечего сказать! Катрин, дай бог, заработает тридцать су в день. Ну, добавить еще двадцать су — заработок Жанлена, если господа начальники смилостивятся и дадут этому бандиту какую-нибудь работу. Всего, значит, пятьдесят су. А в доме семь ртов! Малыши только и умеют что есть. Как галчата, рты разевают! У деда, должно быть, в мозгах какое-то повреждение сделалось, когда он упал, и теперь он вроде как дурачок. А может, очень расстроился, как увидел, что солдаты в товарищей его стреляют.

— Верно, старый, я говорю? Совсем они вас доконали. С виду-то вы еще крепкий, а только никуда не годитесь.

Бессмертный смотрел на нее угасшими глазами, не понимая ее слов. Целыми часами он сидел теперь, уставясь в одну точку, ума у него хватало лишь на то, чтобы плевать не на пол, а в миску с золой, поставленную «для чистоты» рядом с ним.

— Насчет пенсии старику еще ничего не решили,— продолжала вдова.— Да наверняка откажут из-за нашей непокорности... Нет, я же говорю: только горя и жди от этих злодеев.

— Все-таки,— осмелилась вставить слово Катрин,— они обещали... В афише сказано...

— Убирайся ты со своими афишами!.. Обещали! Опять приманка! Поймают в ловушку и будут кровь из нас высасывать. Что им стоит теперь добренькими притворяться? Ведь пулями они нас уже угостили!

— Мама, а куда же нам деваться? Где жить будем? В поселке нас, конечно, не оставят.

Мать ответила неопределенным и грозным жестом. Куда они пойдут? Она этого не знала и избегала думать об этом, боясь сойти с ума. Куда-нибудь пойдут в другое место. Скрежет ложек о кастрюлю стал в эту минуту невыносимым, и, бросившись к Леноре и Анри, мать надавала им подзатыльников. Дети заревели, а тут еще ушиблась и завопила Эстелла, которая ползала на четвереньках. Мать успокоила ее шлепком: вот хорошо бы, если б девчонка до смерти убилась! И мать заговорила об Альзире, пожелала всем своим детям такого же счастья. Потом вдруг разрыдалась, уткнувшись головой в стену.

Этьен стоял молча, не смея вмешаться. С ним в доме теперь не считались, даже дети недоверчиво сторонились его. Но от слез этой несчастной женщины у него сердце переворачивалось, и он пробормотал:

— Ну, полно, полно! Мужайтесь! Мы постараемся как-нибудь выкарабкаться.

Вдова словно не слышала его, она причитала теперь тихим протяжным голосом:

— Ах, горе горькое! Да что же это такое! Ведь все-таки жили мы до этих всех несчастий! Хоть и ели сухую корку, а все-таки были все вместе... Да как это все случилось, боже ты мой! Что мы такое сделали? За какие грехи один в могиле, а другим хочется только одного: поскорее лечь в гроб! Ведь это правда, что нас, как лошадей, запрягли — тащи, кляча, воз, надрывайся. И до чего ж несправедливо на земле устроено: нам голод, мученье, а богачам сладкое житье. Мы для них богатство множим, а сами и надеяться не смеем отведать ничего хорошего. А когда надежды нет — и жить не хочется. Так дальше тянуться не могло. Нужно было передохнуть... Но если б мы знали, что случится! Кто бы подумать мог, что такая беда стрясется за то, что мы искали справедливости!

Она тяжело вздыхала, голос у нее срывался от горьких, мучительных слез:

— Да ведь всегда подвернутся умники и начнут сулить: все уладится, устроится, надо только постараться... Вот и пошла у нас голова кругом. Очень намаялись мы,— как тут не поверить сладким небылицам! Я вот и размечталась, как дура. Все думала: придет такая жизнь, что все люди будут жить в дружбе меж собой. Вознеслась прямо в небеса! А потом как с неба-то на землю в грязь упадешь да спину себе переломишь, поймешь — все это неправда, что мы вообразили себе. Ничего этого нет и не может быть на нашей грешной земле. А есть все та же нищета... Нищеты сколько хочешь, да еще в придачу стреляют в бедняков!

Этьен слушал эти сетования, и каждая ее слеза вызывала у него укоры совести. Он не знал, что сказать, как успокоить вдову Маэ, разбившуюся в ужасном своем падении с высот идеала. Она вышла на середину комнаты и, глядя на Этьена, в бешенстве закричала, говоря теперь с ним на «ты»:

— Так как же? Ты всем нам головы заморочил, а теперь велишь вернуться в шахту?.. Я тебя ни в чем не упрекаю. А только будь я на твоем месте, я бы умерла от стыда, что столько зла причинила товарищам!

Этьен хотел было ответить, но раздумал, только пожал плечами, отчаявшись найти нужные слова. Зачем пускаться в объяснения, которых она в скорби своей все равно не поймет? И с же-

стокой душевной болью он ушел искать забвения в одиноких скитаниях по дорогам.

Но опять как будто весь поселок ждал его — мужчины у дверей, женщины у окон. Лишь только он появился, зарокотали голоса, толпа увеличилась. Поток сплетен, вздувавшийся четыре дня, вдруг обрушил на него лавину проклятий. Ему грозили кулаками; матери с презрением указывали на него своим детям, старики, поглядев на него, плевались. Вслед за поражением наступил крутой поворот, роковое крушение популярности, лютая ненависть, исходившая из перенесенных бесплодных страданий. Несчастный расплачивался за голод и смерть товарищей. Подходя с Филоменой к дому матери, Захарий толкнул Этьена, спустившегося с крыльца, и злобно ухмыльнулся:

— Гляди-ка, растолстел, краснобай! Кто башку свою сложил, а кто чужой бедой кормится!

Уже и жена Левака выскочила на улицу вместе с Бутлу. Она заговорила о Бебере, о своем сыне, убитом солдатской пулей, она вопила:

— Да, есть такие подлецы, что посылают на верную смерть детей. Пусть-ка этот негодяй сам ляжет в могилу, а мне отдаст моего мальчика! — Она забыла про арестованного мужа, так как не страдала от его отсутствия, ведь ей в утешение остался Бутлу. Однако ей пришла мысль, что следует о нем поплакать, и она продолжала пронзительным голосом: — Иди ты отсюда! Ишь мерзавец, прогуливается, а честных людей в тюрьме держат!

Этьен свернул было в сторону, чтобы избавиться от нее, но натолкнулся на жену Пьерона, прибежавшую через садик. Распутная бабенка радовалась смерти своей матери, ибо опасалась, что за исступленные выпады старухи отвечать придется ее родным; нисколько не оплакивала она и свою падчерицу: девчонка — сущая потаскушка, хорошо, что избавилась от нее. Но теперь мачеха ударилась в слезы, подлаживаясь к соседкам и желая помириться с ними.

— А моя мать? — кричала она.— Где она, скажи? А дочка где? Люди видели, как ты за их спинами прятался... Вот пули и угодили в них вместо тебя!

Что делать? Придушить жену Пьерона и других женщин? Вступить в драку со всем поселком? У Этьена мелькнула такая соблазнительная мысль. Кровь стучала у него в висках, он мысленно называл товарищей скотами, негодовал,— они так неразвиты, так невежественны, что сердятся на него за вполне логический ход событий. Какие глупцы! Противно было и собственное бессилие: ведь он не мог вновь покорить их. Он ускорил шаг, как будто и не слышал оскорблений. А вскоре отступление превратилось в бегство,— в каждом доме его встречали свистом, улюлюканьем;

его упорно преследовали по пятам; все поносили его, и хор проклятий, исполненных ненависти, звучал все громче. Теперь его называли эксплуататором, убийцей, кричали, что он единственный виновник их несчастий. До самого выезда из поселка он бежал как сумасшедший, бледный, растерянный, а за ним вдогонку с воплями неслась толпа преследователей. Наконец на большой дороге многие отстали, однако некоторые, особенно упорные, бежали за ним до самого конца спуска, и тут, около пивной Раснера, им встретилась группа углекопов, возвращавшихся с Ворейской шахты.

В этой кучке были Мук и Шаваль. После смерти своей дочери Мукетты и своего сына Муке старик продолжал работать конюхом, и никто не слышал от него ни единого слова скорби, ни единой жалобы. Но тут вдруг, завидев Этьена, он задрожал от ярости, слезы потекли из его глаз, а из черного рта с кровоточащими деснами, изъеденными табачной жвачкой, полилась отрывочная бессмысленная ругань:

— Сволочь! Свинья! Гадина! Погоди, ты за моих бедных ребят поплатишься, я тебя ухлопаю.

Подобрав с земли кирпич, он разбил его и швырнул в Этьена обе половинки.

— Валяй! Валяй! Прикончим его! — закричал Шаваль и засмеялся, возбужденный, обрадованный этой мыслью.— Каждому свой черед... Приперли тебя к стенке, паршивец?

И Шаваль тоже принялся кидать в Этьена камнями. Поднялся дикий рев, все стали хватать кирпичи, разбивали их и бросали в Этьена, норовя проломить ему голову, так же как стремились они недавно перебить солдат.

Этьен был ошеломлен и растерянно стоял перед ними, даже и не думая бежать, и все пытался успокоить их словами. Вспомнились ему прежние его речи, вызывавшие когда-то горячее восхищение. Он повторял фразы, которыми опьянял толпу слушателей в те дни, когда держал их в своих руках, словно покорное стадо; но власть его умерла, на его речи отвечали градом камней; ему сильно ушибли левую руку у плеча, он попятился и оказался в большой опасности, когда его притиснули к фасаду пивной.

Раснер уже несколько минут стоял у дверей.

— Войди! — коротко сказал он.

Этьен колебался: тяжело было укрываться у Раснера.

— Да входи же! Я поговорю с ними.

Смирившись, Этьен вошел и спрятался в углу, а кабатчик все стоял у двери, загораживая ее своей широкой тушей.

— Ну довольно, друзья! Опомнитесь!.. Вы хорошо знаете, что я-то вас никогда не обманывал. Я всегда призывал к спокой-

ствию, и если бы вы меня послушали, вы бы, конечно, не дошли до такого положения, в каком теперь очутились.

Покачивая плечами и выпятив толстое брюхо, он говорил долго; фразы текли одна за другой, легко, свободно и успокаивали, словно душ из теплой воды. Возвратился прежний его успех, он вновь завоевал популярность и притом без всяких усилий, как будто товарищи и не освистывали его месяц тому назад, не называли его подлым трусом. Теперь он вновь слышал одобрительные возгласы: «Правильно! Верно!» Все были на его стороне. «Вот как надо говорить!» Когда он кончил, раздался гром рукоплесканий.

А позади него замирал в тоске Этьен, горечь переполняла его сердце. Ему вспомнилось предсказание Раснера на сходке в лесу,— ведь он тогда грозил, что и Этьена ждет неблагодарность толпы. Ах, сколько в ней глупости и жестокости! Как подло она забывает обо всем, что сделано для нее! Это какая-то слепая стихия, которая постоянно сама себя пожирает... Как не возмущаться, что эти скоты вредят собственным своим интересам! Но за гневом в душе Этьена таилось отчаяние, вызванное крушением его надежд, трагическим концом его честолюбивых планов. Да что же это? Неужели все кончено? Вспомнилось, что в лесу, под буками, он чувствовал, как у трех тысяч человек сердце бьется в унисон с его сердцем. В тот день он обладал великой популярностью; весь этот народ принадлежал ему, Этьен был его властителем и хорошо понимал это. Безумные мечты опьяняли его тогда: Монсу у его ног, а там, вдали, Париж; может быть, он станет депутатом и произнесет сокрушительную речь против буржуа; это будет первая речь, произнесенная рабочим с парламентской трибуны. А теперь всему конец! Он очнулся от своих грез, жалкий и презренный,— народ изгнал его, забросал камнями.

Послышался громкий голос Раснера:

— Никогда насилие не приводило к добру. В один день мир не переделаешь. И кто обещает вам переменить все сразу, тот либо болтун, либо мошенник.

— Верно! Верно! — кричала толпа.

Кто же виноват? Этот вопрос, которым задался Этьен, окончательно придавил его. Неужели правда, что он виноват в бедствиях, от которых жестоко страдает и сам,— неужели по его вине люди живут сейчас в невероятной нищете, а иные расстреляны? Неужели по его вине у этих изможденных, исхудавших женщин и детей нет хлеба? Однажды вечером, перед катастрофой, эта страшная мысль возникла у него. Но тогда стихийная сила подняла его на своей волне, захватила и повлекла вместе с товарищами. Никогда, кстати сказать, он не руководил ими,— они сами вели его, заставляли делать то, что он не решился бы сделать,

если б его не подталкивал людской поток, устремившийся по дорогам позади него. Каждый акт насилия бывал для Этьена ошеломляющей неожиданностью — ведь он и не предвидел и не хотел никаких насилий. А мог ли он предполагать, что его верные почитатели когда-нибудь побьют его камнями? Бешеные! Они обвиняли его в том, что он сулил им сытую жизнь и безделье. И в этом стремлении оправдать себя, в рассуждениях, которыми он старался рассеять укоры совести, скрывалось глухое беспокойство, что он не оказался на высоте своей задачи, сомнения недоучки, всегда мучившие его. Он чувствовал, что мужество его иссякло, сердцем он не был с товарищами,— он боялся их, боялся народа, этой огромной массы, этой слепой, непреодолимой силы, подобной силе природы, сметающей все, не признающей никаких правил и теорий. Мало-помалу она становилась для него чужой: его отдаляла от нее брезгливость, изощрившиеся вкусы, постепенно развившееся стремление всего его существа подняться выше — к другому классу.

И в эту минуту голос Раснера заглушили восторженные вопли:

— Да здравствует Раснер! Молодец Раснер! Только ему и можно верить!

Кабатчик закрыл дверь; толпа рассеялась. Бывшие соперники молча переглянулись и оба пожали плечами. В конце концов они выпили по кружке пива.

В этот самый день в Пиолене устроили званый обед в честь помолвки Негреля и Сесиль. Грегуары еще накануне приказали натереть пол в столовой, выколотить пыль из мягкой мебели в гостиной. Мелани, царившая в кухне, надзирала за жаркими, готовила соусы, запах которых поднимался до чердака. Решено было определить кучера Френсиса в помощь Онорине,— пусть подает на стол. Жене садовника назначили мыть посуду, а самому садовнику — отворять ворота. Еще никогда в этом большом и богатом патриархальном доме не было такого парадного пиршества.

Все прошло превосходно. Г-жа Энбо была очаровательна и ласково улыбнулась Негрелю, когда нотариус из Монсу галантно предложил выпить за счастье будущих супругов. Г-н Энбо был тоже очень любезен. Его веселый вид поражал гостей; ходили слухи, что он опять вошел в милость у правления и за энергичное подавление забастовки скоро будет представлен к офицерскому кресту ордена Почетного легиона. Все избегали говорить о последних событиях, но во всеобщей радости чувствовалось торжество: обед превращался в официальное празднование победы. Наконец-то пришло избавление, можно спокойно есть, спать! Был брошен скромный намек на погибших, чья кровь еще так недавно обагрила грязь у Ворейской шахты,— кто-то сказал, что это был

печальный, но необходимый урок, и все умилились, когда Грегуары добавили, что теперь каждый обязан помочь рабочим поселкам залечить раны. Супруги Грегуары обрели прежнее свое благодушие, прощали бедных своих рабочих и твердо надеялись, что углекопы будут усердно трудиться в глубине шахт, подавая пример вековой покорности. Важные персоны городка Монсу, теперь не дрожавшие от страха, соблаговолили признать, что вопрос о наемном труде требует весьма осторожного подхода и изучения. За жарким выяснилось, что победа одержана полная: г-н Энбо прочел письмо епископа, сообщавшее о переводе аббата Ранвье в другой приход. Вся местная буржуазия с негодованием осуждала поведение этого священника, называвшего солдат убийцами. И когда подали десерт, нотариус решительно выказал себя вольнодумцем.

На обеде присутствовали Денелен с дочерьми. Среди всеобщего веселья он старался скрыть свое уныние,— ведь он был разорен. Как раз в тот день утром он подписал акт о продаже Вандамских копей Компании Монсу. Его приперли к стене, схватили за горло, и ему пришлось подчиниться всем требованиям приехавших членов правления,— наконец-то они завладели добычей, которую так долго подстерегали. Денелен с трудом выторговал у них сумму, необходимую ему для расплаты с кредиторами. В последнюю минуту он даже принял как неожиданную удачу предложение Компании оставить его на копях в должности инженера,— он смиренно согласился надзирать в качестве наемного служащего за той самой шахтой, которая поглотила все его состояние. Уже раздавался похоронный звон, возвещавший гибель малых единоличных предприятий; вскоре должны были один за другим исчезнуть с арены боя мелкие хозяева, проглоченные ненасытным чудовищем — капитализмом; их захлестывала поднимавшаяся волна крупных акционерных обществ.

Денелену, и только ему одному, пришлось оплачивать убытки, причиненные забастовкой; он хорошо чувствовал, что, поднимая бокалы в честь орденской розетки г-на Энбо, сотрапезники пьют за разорение владельца Вандамских копей; немного утешала его только редкостная стойкость дочерей: Люси и Жанна, такие очаровательные в прошлогодних переделанных платьях, смеясь встречали случившуюся беду, так как обладали мальчишеским задором и презирали деньги.

После обеда, когда перешли в гостиную пить кофе, г-н Грегуар отвел своего кузена в сторонку и поздравил его с мужественным решением.

— Ничего не поделаешь! Единственная твоя вина в том, что ты весьма неосторожно вложил в Вандамскую шахту миллион, который выручил за свой пай в Компании Монсу. Сколько тебе

пришлось помучиться с этими дьявольскими работами, а миллион твой растаял, тогда как мои акции лежат себе спокойно в несгораемом шкафу и по-прежнему кормят меня, хоть я ничего и не делаю, да еще будут кормить и моих детей, и моих внуков.

II

В воскресенье, уже затемно, Этьен, крадучись, вышел из поселка. С чистого неба, сверкавшего россыпью звезд, на землю падал синий сумеречный свет. Этьен спустился к каналу и медленно побрел по берегу в сторону Маршьена. Он любил бродить по этой заросшей низкой травкой дороге, проложенной на протяжении двух лье ровно, как по линейке, вдоль геометрически ровной полосы полноводного канала, похожего на длинный расплавленный слиток серебра.

Никогда он не встречал тут по вечерам прохожих. И вдруг, к его досаде, навстречу ему попался какой-то человек. При бледном свете звезд двое любителей одиноких прогулок узнали друг друга, лишь когда сошлись вплотную.

— Ах, это ты! — проговорил Этьен.

Суварин, не отвечая, кивнул головой. Мгновение они постояли, а потом оба пошли рядом по направлению к Маршьену. Каждый, казалось, погружен был в свои мысли, позабыв о спутнике.

— Ты читал в газетах, какой успех имел Плюшар в Париже? — спросил наконец Этьен.— Когда кончилось собрание в Бельвиле, публика ждала его на улице у выхода, ему устроили овацию... Вон как взлетел! А все жаловался, что говорить не может, охрип. Ну, теперь он далеко пойдет.

Машинист пожал плечами. Он презирал краснобаев, ловких молодцов, которые избирают своей профессией политику, как другие избирают адвокатуру, с единственной целью: получать доходы от своего краснобайства.

Этьен в то время увлекался Дарвином. Отрывочное знакомство с учением Дарвина он получал из грошовых брошюр, где оно излагалось вкратце и весьма упрощенно; на основе прочитанного и плохо понятого он составил себе революционную идею борьбы за существование, в которой тощие пожирают тучных, и народ, полный могучих сил, уничтожит худосочную буржуазию. Но Суварин, разгорячившись, обрушился на глупость социалистов, которые почитают Дарвина, меж тем как в своем учении Дарвин — апостол неравенства, и его пресловутый естественный отбор хорош только для философии аристократизма. Однако Этьен упрямо стоял на своем и, принявшись рассуждать, выразил тревожившие его мысли в такой гипотезе: допустим, что старого общества уже

нет, его смели начисто. Прекрасно! Но что, если и новый мир будет постепенно заражаться той же несправедливостью, какая царила прежде: ведь одни родятся заморышами, а другие — здоровяками; одни окажутся ловчее, умнее других, приберут все к рукам и окрепнут, а другие, глупые и ленивые, опять станут рабами. Возмущенный нарисованной Этьеном картиной неизбывной нищеты, машинист с яростью крикнул, что если справедливость для человечества невозможна, пусть тогда человечество погибнет. Сколько ни будет прогнивших форм человеческого общества, все их надо уничтожать,— до тех пор, пока не будет уничтожен последний человек.

После этих слов настало молчание.

Опустив голову, Суварин шел по мягкой траве и, всецело занятый своими мыслями, ступал у самого края берега со спокойной уверенностью лунатика, пробирающегося во сне по крыше вдоль водосточного желоба. Вдруг он вздрогнул, словно ушибся о камень. Он вскинул глаза и, обратив к Этьену бледное как полотно лицо, тихо сказал:

— Я тебе не рассказывал, как она умерла?

— Кто?

— Моя жена. Там, в России.

Этьен сделал неопределенный жест. Срывавшийся голос Суварина и его внезапная потребность открыть кому-то свою душу казались удивительными в этом человеке, обычно таком бесстрастном, стоически переживавшем свои страдания и далеком ото всех. Этьен знал только то, что у Суварина была возлюбленная и что ее повесили в Москве.

— Дело у нас не шло,— начал Суварин, устремив глаза на светлую ленту канала, просвечивавшую сквозь синеватую колоннаду высоких деревьев.— Мы провели две недели в глубокой норе, подводя мину под железнодорожное полотно; но взорвался не царский поезд, а обыкновенный пассажирский... Аннушку арестовали. Она каждый день приносила нам хлеб, переодевшись крестьянкой. Она и зажгла фитиль бомбы, потому что мужчину скорее могли заметить... Судебный процесс занял шесть долгих дней, я все время был в зале суда, затерявшись среди публики...

У Суварина вдруг перехватило горло, он закашлялся, как будто поперхнулся.

— Два раза я чуть было не бросился к ней, перепрыгивая через головы зрителей. Зачем? Одним человеком, то есть одним бойцом, стало бы меньше. И когда я улавливал взгляд ее больших глаз, я читал в них: «Нельзя».

Он опять закашлялся.

— Был я на площади... в последний день. Шел сильный дождь, неловкие палачи растерялись, им мешал этот ливень. Они

потратили двадцать минут на то, чтобы повесить четырех приговоренных; веревка оборвалась, им не сразу удалось прикончить четвертого... Аннушка все стояла и ждала. Она не видела меня, искала меня взглядом в толпе. Я взобрался на каменную тумбу, тогда она меня увидела, и мы уже не отрывали друг от друга глаз. И когда ей накинули на шею петлю, она все еще смотрела на меня... Я обнажил голову, взмахнул шапкой... Потом ушел.

Вновь настало молчание. Канал, словно белая дорога, уходил куда-то в бесконечность.

Все так же глухо звучали шаги Этьена и Суварина; оба, казалось, опять замкнулись в себе. На горизонте бледная полоса воды как будто врезалась в небо светлым пролетом.

— Это судьба покарала нас,— продолжал Суварин жестким тоном.— Мы виноваты были в том, что любили друг друга... Да, хорошо, что она умерла... На ее крови вырастут герои, а мое сердце стало неуязвимым. Никого теперь нет у меня: ни родных, ни жены, ни друга... Рука не дрогнет в тот день, когда придется отнять жизнь у других или отдать свою собственную жизнь.

Этьен остановился, его знобило от ночного холода.

Ничего не ответив Суварину, он сказал:

— Мы далеко ушли, давай повернем обратно.

Оба медленно пошли обратно, к Ворейской шахте, и, сделав несколько шагов, Этьен спросил:

— Читал ты новые афиши?

Утром в тот день везде расклеили большие желтые афиши. Компания изъяснялась в них более определенно и более миролюбиво, обещала принять обратно на работу всех, кто спустится завтра в шахту. Все будет позабыто, даже самые скомпрометированные получат прощение.

— Да, читал,— ответил машинист.

— Ну и как? Что ты об этом думаешь?

— Думаю, что все кончено... Стадо вернется в загон. Все вы трусы!

Этьен стал взволнованно оправдывать товарищей: в одиночку человек еще может храбриться, но толпа людей, умирающих от голоду, бессильна. Шаг за шагом они подошли к Воре́, и, глядя на черное скопище надшахтных строений, Этьен поклялся, что сам он никогда больше не спустится в шахту, однако готов извинить тех, кто спустится. Затем спросил, верны ли слухи, что плотники не успели отремонтировать как следует сруб шахтного ствола. Как обстоит дело? Правда ли, что под давлением породы стенки сруба так сильно выпятились внутрь, что одно из отделений клети при спуске трется о них на протяжении более пяти метров? Суварин, опять став молчаливым, ответил очень коротко. Вчера было его дежурство, клеть действительно терлась о стенки сруба, при-

ходилось вдвое увеличивать скорость, чтобы пройти этот участок. Однако начальники на все сообщения по поводу сруба раздраженно отвечают одно и то же: нужно начать добычу угля, а сруб укрепят как следует позднее.

— А что, если его разорвет? — пробормотал Этьен.

Глядя на шахту, смутно вырисовывавшуюся в темноте, Суварин спокойно заметил:

— Если разорвет, товарищи узнают об этом,— ведь ты советуешь им спуститься в шахту.

На колокольне в Монсу пробило девять часов. Этьен сказал, что пойдет домой, пора ложиться.

Суварин добавил, даже не протянув ему руки:

— Ну что ж, прощай. Я ухожу.

— Как? Совсем уходишь?

— Да, совсем. Взял расчет. В другое место ухожу.

Этьен был изумлен, взволнован и с укором посмотрел на него. Два часа они бродили вместе, и Суварин только сейчас говорит ему, что уходит, да еще сообщает это совершенно спокойным голосом, а у него, Этьена, сердце ноет при одной вести об этой разлуке. Ведь они так сблизились, вместе мыкали горе, вместе работали; всегда бывает грустно расставаться с другом.

— Так ты уходишь? А куда же?

— Туда... Еще не знаю...

— Но ты вернешься?

— Нет, не думаю.

Оба умолкли и стояли друг против друга, не зная, что еще сказать.

— Так, значит, прощай?

— Прощай.

Пока Этьен поднимался по скату в поселок, Суварин повернул опять к берегу канала и в одиночестве бесконечно долго ходил по дорожке; он шел, опустив голову, затерявшись в темноте, и был словно сгустком мрака ночного, движущейся тенью. Порой он останавливался, прислушиваясь, как вдалеке на колокольне отбивают часы, и считал удары. Когда пробило полночь, он отошел от берега и направился к Ворейской шахте.

В этот час там никого не было; Суварину встретился только заспанный штейгер. Разжигать топки в котельной для пуска паровой машины должны были только в два часа ночи. Суварин сперва поднялся и взял в шкафу куртку, которую он якобы забыл там. В куртке были завернуты инструменты: коловорот, маленькая пила из очень крепкой стали, молоток, стамеска, клещи. Затем он отправился обратно, но, вместо того чтобы выйти через раздевальню, пробрался в узкий коридор, который вел к колодцу с запасными лестницами, и, держа под мышкой сверток, стал без

лампы потихоньку спускаться, определяя глубину по количеству пройденных лестниц. Он знал, что клеть трется о стенки сруба на глубине в триста семьдесят четыре метра, в пятом венце нижней части сруба. Сосчитав, что он прошел пятьдесят четыре лестницы, он ощупал стенку рукой и ощутил, что бревна выпятились. Значит, тут. И тогда с ловкостью и хладнокровием умелого работника, долго обдумывавшего свою задачу, он принялся за дело. Сперва выпилил кусок в дощатой перегородке, отделявшей колодец с запасными лестницами от ствола, где двигались клети. Зажигая одну за другой спички, он при коротких вспышках огоньков установил, каково состояние сруба и тех починок, которые недавно в нем были сделаны.

Между Кале и Валансьеном при сооружении шахтных стволов сталкивались с неслыханными трудностями: нужно было вести проходку через подземные воды, пропитавшие на огромных пространствах водоносные слои на уровне самых низких ложбин. Только срубы из бревен, окованных обручами, как бочарные клепки, могли сдерживать эти протекающие в земле ручьи, изолировать шахтные стволы среди подземных озер, чьи глубокие и темные волны бились о стенки колодца. При закладке Ворейской шахты пришлось устанавливать два сруба: один в верхней части ствола, в сыпучих песках и белой глине, соседствующих с известковыми породами, со всех сторон пронизанных трещинами и впитывавших в себя воду, как губка; второй сруб — в нижней части ствола, непосредственно над залежами угля, в желтом песке, мелком, как мука, текучем, как жидкость; именно там и находился Поток — подземное море, ужас угольных месторождений Северного департамента, настоящее море с бурями и кораблекрушениями, море неизведанное, бездонное, катящее свои черные волны на глубине в триста метров от солнечного света. Обычно срубы хорошо выдерживали огромное давление. Для них опасно было лишь оседание соседних участков, сотрясавшихся от непрерывных обвалов пустой породы в заброшенных выработках. При этом опускании породы иногда происходили разрывы, образовывались трещины; удлиняясь, они в конце концов доходили до шахтного ствола и постепенно деформировали срубы, выпячивая внутрь их стенки; это представляло большую опасность — шахта могла быть забита обвалами породы, затоплена подземными водами.

Суварин, сидя верхом на балке в выпиленном отверстии, удостоверился, что пятый венец сруба очень серьезно деформирован. Бревна выпятились из рамы горбом; концы некоторых балок даже вышли из гнезд. Сквозь просмоленную паклю, которой были проконопачены стыки бревен, просачивался обильный «капеж», как говорят углекопы. А крепильщики, делая ремонт наспех, удовольствовались тем, что поставили по углам сруба железные уголь-

ники, да еще так небрежно, что завинтили не все гайки. Меж тем за опалубкой ствола, несомненно, происходило значительное перемещение плывучих песков.

Суварин ключом быстро отвинтил от угольников гайки — так, чтобы последний толчок выдернул их все. Работа требовала безумной смелости; раз двадцать Суварин подвергался опасности сорваться и полететь на дно ствола, до которого оставалось сто восемьдесят метров. Ему приходилось цепляться за дубовые проводники, по которым скользили клети, и, повиснув над пропастью, он лазил по толстым поперечникам, которыми они были на определенном расстоянии скреплены друг с другом; он вытягивался, садился, запрокидывался, со спокойным презрением к смерти, опираясь о балку локтем или коленкой; малейшее сотрясение могло его сбросить; три раза он чуть было не сорвался — едва успел ухватиться, но даже не вздрогнул при этом. Сначала он ощупывал сруб рукой, потом начинал работать и зажигал спичку лишь в том случае, если терялся в этом переплетении липких балок. Отвинтив гайки, он принимался за самое бревно, и опасность от этого еще возрастала,— он искал замковую матицу — ту, на которой держались другие балки, и набрасывался на нее, сверлил, пилил, старался сделать ее местами тоньше, чтобы она утратила прочность; а в это время вода сочилась струйками из щелей и трещин и поливала его ледяным дождем. Две спички погасли. Остальные подмокли... Кругом была тьма, бездонная глубина мрака.

И с этой минуты он работал в каком-то исступлении. Эта черная ужасная пропасть, в которой хлестал ливень, рождала в нем яростную жажду разрушения. Он набрасывался на обшивку, бил там, где мог достать, просверливал дыры, работал пилой, чувствуя потребность разворотить всю опалубку над своей головой. Он терзал дерево с такой свирепостью, словно вонзал нож в тело живого, ненавистного ему существа. Погодите, он в конце концов уничтожит Ворейскую шахту, этого злого зверя с разинутой пастью, пожравшего столько человечьего мяса. В темноте было слышно, как вгрызаются в дерево стальные инструменты, а разрушитель все вытягивался, полз, спускался, поднимался, держась каким-то чудом, непрестанно раскачиваясь, перелетая, как ночная птица, с перекладины на перекладину, которые перекрещивались, словно балки на колокольне.

Однако он взял себя в руки, успокоился. Он был недоволен собой. Надо действовать хладнокровно. Он перестал спешить, передохнул, вернулся снова в запасное отделение с лестницами, поставил выпиленную панель на место и заткнул таким образом дыру. Довольно! Если сделать еще больше повреждений, их заметят и тотчас займутся починкой. Зверю нанесена рана в самую его утробу, к вечеру видно будет, жив ли он еще. И пусть объятый

ужасом мир узнает, что чудовище погибло не своей смертью,— человек, убивший его, оставил свою метку. Не спеша Суварин аккуратно завернул инструменты в куртку, медленно поднялся по лестницам. Когда он, никем не замеченный, вышел с шахты, ему и в голову не пришло пойти переодеться в сухое платье. Пробило три часа. Он все стоял на дороге и ждал.

В этот самый час в доме Маэ, в темной и душной комнате, Этьен, которому не спалось, услышал шорох. Он прислушался, различил тихое дыхание детей, громкий храп матери и старика Бессмертного, похожее на звук флейты посвистывание Жанлена, лежавшего бок о бок с ним. Нет, верно, почудилось. И он зарылся было головой в подушку, но вдруг шорох повторился. Зашуршала солома в тюфяке, потом кто-то осторожно приподнялся на постели. Этьен решил, что встает Катрин, что ей нездоровится.

— Это ты? Что с тобой? — спросил он шепотом.

Ответа не было, слышалось только дыхание спящих. Минут пять никто не шевелился. Потом скрипнула кровать. На этот раз Этьен был уверен, что не ошибся; он пересек комнату и, протянув руки, нащупал кровать, стоявшую у другой стены. К великому его удивлению, Катрин, проснувшись, сидела на своей постели затаив дыхание; несомненно, она была настороже.

— Ты что? Почему не отвечаешь? Что ты делаешь?

Катрин наконец ответила:

— Хочу вставать.

— Вставать? В такую рань?

— Да. На шахту пойду.

От волнения у Этьена подкосились ноги, и он присел на край постели, а Катрин объяснила ему причину своего решения. Слишком тяжело так жить: томиться без дела и постоянно чувствовать на себе укоризненные взгляды. Лучше уж пойти на шахту, даже если Шаваль изобьет ее; а если мать откажется взять деньги, когда дочь принесет домой получку,— ну что ж, она, Катрин, достаточно взрослая — поселится отдельно и сама будет варить себе суп.

— Ну, уходи, я одеваться буду. И, пожалуйста, не говори никому! Прошу тебя!

Но Этьен все не отходил; охваченный глубокой грустью и жалостью, он ласково обнял ее. Так и сидели они на краю постели, согретой за ночь теплом спящих; оба были в одних сорочках и, прижавшись друг к другу, чувствовали, что у обоих жаром горит тело. Катрин хотела было вырваться, но вдруг, тихонько заплакав, сама обвила руками его шею и прижалась к нему с горьким отчаянием. У них не возникало иного желания, не было того страстного влечения, которое в прошлом несчастная любовь препятствовала утолить. Неужели все кончено? Неужели никогда

они не осмелятся любить друг друга? Ведь теперь они свободны. Достаточно было бы крупицы счастья, и рассеялось бы странное чувство стыда и скованности, мешавшее им вместе идти в жизни, чувство, вызванное какими-то смутными мыслями, в которых они и сами не могли разобраться.

— Ступай ложись,— прошептала Катрин.— Я не стану свет зажигать, а то мать проснется... Ступай, мне пора.

Этьен не слушал и крепко сжимал ее в объятиях; его переполняла бесконечная печаль. К сердцу прихлынула жажда покоя, неодолимая жажда счастья; рисовались картины этого счастья: вот он женат, живет в маленьком чистеньком домике, и нет у него никаких честолюбивых стремлений,— только бы жить тут вдвоем с нею, и с ней умереть. И пусть будет бедность, он готов питаться сухой коркой; даже если в доме хлеба хватит лишь на одного,— этот кусок он отдаст ей. Что еще нужно? Разве есть что-нибудь в жизни дороже любви?

Но Катрин разжала свои обнаженные руки.

— Ступай! Прошу тебя.

И тогда, в безотчетном порыве, он шепнул ей на ухо:

— Подожди, я пойду с тобой.

Он сам себе удивился, когда вырвались у него эти слова. Ведь он поклялся, что никогда больше не спустится в шахту,— откуда же пришло это внезапное решение, о котором он и не думал, которое не обсуждал нисколько? Но теперь вдруг стало так спокойно на душе, сразу исчезли все сомнения, и он ухватился за это решение, как человек, по воле случая спасшийся от беды, нашедший наконец единственный выход, избавляющий его от страданий. Поэтому он ничего и слушать не хотел. Катрин, понимая, что он приносит себя в жертву ради нее, встревожилась, боясь, что на шахте его встретят плохо. Он от всего отмахивался: раз афиши всем обещали прощение, этого достаточно.

— Я хочу работать, я сам об этом думал. Давай-ка скорей одеваться. Только не шуметь, никого не будить.

Они осторожно оделись в потемках. Катрин тайком приготовила с вечера свою шахтерскую одежду; Этьен достал из шкафа рабочую куртку и штаны; умываться не стали, боясь звякнуть кувшином о миску. Никто не проснулся. Но еще нужно было пройти через узкий коридор, в котором спала мать. На беду, они, выходя, наткнулись на стул. Мать услышала и спросила сквозь сон:

— А? Кто там?

Катрин, вся трепеща, остановилась и замерла, стиснув руку Этьена.

— Это я. Не беспокойтесь,— ответил он.— Очень уж душно в комнате. Хочу выйти, подышать воздухом.

— Ступай, ступай!

И мать опять уснула. Катрин не смела шелохнуться. Наконец она спустилась по лестнице в нижнюю комнату, разделила на две части краюшку хлеба, который прислала из Монсу благотворительница. Затем, неслышно заперев дверь, они ушли.

Суварин стоял на повороте дороги близ заведения Распера. С полчаса он смотрел, как мимо него проходят во двор шахты углекопы, решившие возобновить работу; в темноте смутно вырисовывались черные фигуры; вразнобой топали деревянные башмаки, казалось, по дороге гнали стадо. Суварин считал проходивших, как мясники пересчитывают скот у ворот бойни; и он был удивлен, что их так много; даже при всем своем пессимизме он не предвидел, что число слабодушных будет так велико. Они все шли и шли бесконечной вереницей. Суварин стоял в напряженном молчании и, стиснув зубы, холодно глядел на них своими серыми глазами.

Но вот он вздрогнул. Среди проходивших, лица которых не видны были в темноте, он все же различил по походке одного человека. Выступив вперед, Суварин остановил его:

— Куда ты?

Этьен, растерявшись, вместо ответа спросил:

— Как! Ты еще не ушел?

Затем признался: он возвращается на шахту. Правда, он поклялся, что не вернется, да только что это за жизнь — ждать сложа руки того, что придет, может быть, через сто лет? К тому же у него есть свои особые причины, по которым он решил вернуться.

Суварин слушал, весь трепеща. Потом схватил Этьена за плечи и повернул обратно к поселку.

— Вернись домой! Слышишь? Вернись сейчас же!

Но тут подошла Катрин. Суварин узнал и ее. Этьен возмутился, заявил, что никому не позволит судить о его поведении. Суварин смотрел то на девушку, то на товарища, а потом, отступив, махнул рукой. Раз в сердце мужчины воцарилась женщина — он человек конченый, и пусть он умирает. Быть может, промелькнула перед ним мгновенным видением его возлюбленная, которую повесили в Москве: в тот час последние плотские узы, связывавшие его, были разорваны, и, став свободным от них, он был теперь вправе распоряжаться своей собственной жизнью и жизнью других людей. Он сказал спокойно:

— Иди.

Этьен в смущении медлил, искал дружеские слова, чтобы не расставаться так сухо.

— Значит, ты уходишь?

— Да.

— Дай же руку, дружище! Счастливого тебе пути! Не поминай лихом.

Суварин протянул ему руку, холодную как лед. Ни друга, ни жены.

— Значит, твердо решил? Прощай-прости?

— Да, прощай.

И, стоя неподвижно в темноте, Суварин проводил взглядом Этьена и Катрин, входивших во двор шахты.

III

В четыре часа начался спуск. В ламповой за столом отметчика сидел сам Дансар, записывал каждого явившегося рабочего и разрешал выдать ему лампу. Он принимал всех, не делая ни малейших замечаний: полагалось выполнить то, что было обещано в афишах. Но, увидев у окошечка Этьена и Катрин, он чуть не подпрыгнул на стуле и, весь побагровев, открыл было рот, чтобы отказать им в приеме; однако передумал и ограничился лишь торжествующей насмешливой улыбкой, ясно говорившей: «Ага! Ага! Самых что ни есть строптивых и тех укротили! Не плюй в колодец! Компания-то пригодилась: грозный разрушитель Монсу пришел попросить у нее хлеба». Этьен молча взял свою лампу и вместе с Катрин поднялся по лестнице в приемочную.

Но именно в приемочной, как опасалась Катрин, у Этьена могли произойти столкновения с товарищами. Войдя туда, он сразу же увидел Шаваля, стоявшего в группе углекопов, которые ожидали посадки в клеть: у подъемника их собралось человек двадцать. Шаваль, рассвирепев, бросился к Катрин, однако, увидя Этьена, остановился и, презрительно пожимая плечами, заговорил с язвительным смешком. Отлично! Наплевать ему на девку, раз другой занял его место, совсем еще теплое. Слава богу, что отвязалась. Пускай новый дружок с ней милуется, коли не брезгует объедками. Но, несмотря на показное презрение, он весь дрожал от ревности, и глаза у него горели. Любопытных он, однако, не привлек,— люди молча стояли, опустив головы. Бросив косой взгляд на вновь прибывших, они этим и ограничились и, подавленные, вялые, опять уставились на отверстие ствола, держа в руках лампу; все ежились, замерзнув в парусиновых куртках на сквозняке, который постоянно дул в приемочной.

Наконец клеть встала на упоры, рукоятчик крикнул: «Залезай!» Катрин с Этьеном забрались в вагонетку, где уже устроились Пьерон и два забойщика. Шаваль, сидевший в соседней вагонетке, очень громко говорил Муку, что дирекция напрасно не воспользовалась случаем избавить копи от смутьянов и бездельников. Но старик конюх вновь превратился в подавленного, равнодушного старика, смирился со своей собачьей жизнью, больше не ис-

пытывал гнева из-за смерти сына и дочери и в ответ на слова Шаваля только кивнул головой.

Клеть дрогнула и ринулась в черную тьму. Внезапно, когда пролетели две трети спуска, пошли ужасные толчки, трение; железные полосы заскрежетали, людей швырнуло друг на друга.

— Вот дьявол! — буркнул Этьен.— Этак недолго в лепешку разбиться! Все тут останемся из-за их проклятого сруба. А еще говорят, будто его починили.

Все же клеть одолела препятствие. Теперь она спускалась под проливным дождем, таким сильным, что рабочие тревожно прислушивались к шуму ливня. Верно, на стыках бревен появилась течь.

Спросили Пьерона,— ведь он уже несколько дней как возобновил работу. Стараясь скрыть свой страх, который могли бы счесть дерзким недоверием к дирекции, он ответил:

— Не беда! Опасности нет. Всегда ведь так льет. Наверно, не успели подвесить желоба.

Над их головами как будто ревел поток. Когда спускались к последнему горизонту, это был сущий водопад. Ни одному из штейгеров не пришло в голову подняться по лестницам проверить, что случилось. Чего там, насос работает исправно, а ночью плотники осмотрят все стыки в срубе. В выработках работу приходилось налаживать заново. Хлопот было немало. Прежде чем расставить углекопов по их прежним забоям, инженер приказал, чтобы первые пять дней все занялись неотложными работами по креплению. Всюду угрожали обвалы, откаточные пути на протяжении нескольких сот метров сильно пострадали, приходилось исправлять обшивку, укреплять стойки. На рудничном дворе составляли партии по десять человек: во главе с десятником, их посылали в самые угрожаемые места. Когда спуск кончился, подсчет показал, что всего вышло на работу триста двадцать два человека — половина всего числа углекопов, работавших на шахте при полной ее загрузке.

Шаваль попал в ту партию, где работали Катрин и Этьен, что вовсе не было случайностью: сперва он прятался позади товарищей, затем заставил штейгера взять его. Партию послали за три километра расчищать штрек, отходивший от конца северного квершлага,— нужно освободить его от обвалившейся породы, которая закупорила выработку, проложенную в Восемнадцативершковом пласте. Принялись кирками и лопатами сражаться с обвалившимися глыбами, а Катрин и двое откатчиков нагружали вагонетки и подкатывали их к квершлагу. Редко кто перебрасывался словом. Десятник не отходил от них. И все же два соперника едва сдерживались, чтобы не схватиться врукопашную. Шаваль бурчал, что он и знать не желает такую потаскуху, а сам все время испод-

тишка дергал и толкал Катрин, так что Этьен, не выдержав, пригрозил ему трепкой, если он не оставит ее в покое. Взглядом они готовы были растерзать друг друга; пришлось их разнять.

В восьмом часу явился Дансар посмотреть, как идет работа. По-видимому, старший штейгер был в отвратительном настроении, он сразу же напустился на десятника: ничего до сих пор не сделано, старую крепь по мере очистки хода следовало заменять новой, а иначе вся работа пойдет к черту. И ушел, пригрозив, что приведет инженера. Он ждал Негреля с утра и не мог понять, почему тот задерживается.

Прошел еще час. Десятник остановил расчистку и поставил всех на крепление кровли. Даже Катрин и два подростка-откатчика теперь не оттаскивали обвалившуюся породу, а подготовляли и приносили стойки и верхняки.

Работая в этом конце квершлага, артель была словно на передовом посту, она очутилась на самом дальнем краю шахты, не имея связи с другими выработками. Три-четыре раза все настороженно прислушались: издали доносился какой-то странный шум, похожий на быстрый топот. Что там такое? Похоже, что люди кончили работу и бегом бегут к рудничному двору. Но шум терялся вдалеке, снова наступала тишина, и все опять принимались ставить крепь, ничего не слыша из-за оглушительного стука молотков. Потом опять взялись за расчистку и откатку. Из первого же своего путешествия Катрин вернулась перепуганная и сказала, что в квершлаге никого нет.

— Я звала... Не отвечают. Все куда-то убежали.

Все десять человек в переполохе бросили инструменты и помчались, обезумев при мысли, что их бросили тут одних, так далеко от рудничного двора. У каждого в руках была только лампа; все бежали вереницей,— мужчины, подростки, Катрин; десятник потеряв голову бросал призывные крики, все больше страшась тишины и безлюдья в бесконечном лабиринте галерей. Что случилось? Почему им не встретилось ни одной живой души? Какое бедствие заставило рабочих бежать отсюда? Все чувствовали, что им грозит что-то страшное, и ужас возрастал от того, что опасность оставалась неизвестной.

Но когда они приближались к рудничному двору, дорогу им преградил поток. Воды было по колено, бежать стало невозможно, они с трудом рассекали темные волны, и каждый думал, что минута промедления — это смерть.

— Эх, дьявол! Видно, сруб разорвало! — крикнул Этьен.— Я же говорил, что мы все тут сдохнем.

С самого начала спуска Пьерон с тревогой видел, что капеж в шахтном стволе все усиливается. Вкатывая вместе с двумя другими стволовыми вагонетки в клети, он то и дело задирал голову

и смотрел вверх, по лицу у него скатывались крупные капли воды, в ушах шумело от грозового гула, доносившегося сверху. Но больше всего он перепугался, когда заметил, что водосборный колодец глубиною в десять метров наполнился и вода брызжет сквозь отверстия дощатого настила, разливается по чугунным плитам,— значит, паровой насос не справляется с откачкой прибывающей воды. Пьерон слышал, как тяжело дышит, захлебывается, всхлипывает насос.

Тогда Пьерон предупредил Дансара, но тот злобно выругался и ответил, что надо ждать инженера. Дважды стволовой обращался к старшему штейгеру, но тот только пожимал плечами с удрученным видом. Ну да, вода прибывает, но что тут можно сделать?

Появился Мук с лошадью, которую он повел на обычную ее работу; но сейчас ему приходилось держать ее под уздцы обеими руками,— старая сонная кляча вдруг заупрямилась, уперлась и, вытянув шею к шахтному стволу, пронзительно ржала, словно чуяла смерть.

— Да что с тобой, умница? Чего ты испугалась? А-а! Дождь тебе не понравился? Пойдем-ка, пойдем, это тебя не касается.

Но лошадь дрожала всем телом и не шла, конюху пришлось силой вести ее на откатку.

И почти в ту самую минуту, как Мук исчез с лошадью в глубине квершлага, в шахтном стволе что-то треснуло и с грохотом полетело вниз. Это оторвалась матица сруба и упала с высоты в сто восемьдесят метров, стукаясь о стенки ствола.

Пьерон и откатчики успели отскочить; дубовая балка сплющила пустую вагонетку. А из ствола, как сквозь прорвавшуюся плотину, потоком хлынула вода и лилась, не останавливаясь. Дансар хотел подняться по лестницам посмотреть, что случилось, но, лишь только он заговорил об этом, обрушилась вторая матица. Поняв, что близка катастрофа, старший штейгер, не колеблясь, отдал приказ подниматься и разослал штейгеров по всем выработкам собирать людей.

Началась паника. Из каждой выработки опрометью мчались вереницами углекопы и штурмовали клеть. Люди дрались, в свалке давили друг друга; каждый стремился немедленно выбраться на поверхность. Некоторые пытались подняться по лестницам, но тотчас спустились обратно и кричали, что проход забит. После каждого подъема клети люди холодели от страха: пройдет ли клеть еще раз среди препятствий, загородивших пролет ствола. Вверху разгром, должно быть, продолжался: слышались глухие раскаты, обшивка и бревна трещали, расшатывались, и все громче раздавался непрестанный плеск проливного дождя. Вскоре одна клеть оказалась пробитой и вышла из строя, она уже не могла

скользить между проводниками, вероятно, тоже сломанными. Вторая клеть продиралась с таким трудом и с такой силой терлась о выпяченную обшивку, что трос наверняка должен был лопнуть. А ведь надо было еще поднять человек сто; все выли, с бранью цеплялись друг за друга; несчастные, окровавленные люди боролись с водой, уже заливавшей их. Двоих убило упавшей балкой. Третий ухватился за крючья клети, сорвался с высоты в пятьдесят метров и рухнул в водосборный колодец.

Дансар пытался внести хоть некоторый порядок. Вооружившись кайлом, он грозил раскроить череп каждому, кто не будет подчиняться; пробовал выстроить людей в очередь, кричал, что стволовые поднимутся последними, после того как посадят в клети всех товарищей. Его не слушали; все же он не дал перетрусившему, побледневшему Пьерону подняться одним из первых. И при каждом подъеме клети Дансару приходилось оплеухой отбрасывать стволового. Но у него у самого от страха стучали зубы — ведь еще минута, и вода его поглотит; вверху все рушилось, вниз смертоносным градом падали балки, низвергался водопад. К клети еще бежали несколько рабочих, но Дансар, обезумев от страха, вскочил в вагонетку, позволив и Пьерону прыгнуть вслед за ним. Клеть поднялась.

В это мгновение примчалась артель Этьена и Шаваля. Они видели, как взвилась и исчезла клеть, бросились к подъемнику и отпрянули: сруб окончательно разрушился, шахтный ствол был непроходим, клеть больше не могла бы спуститься. Катрин рыдала, Шаваль охрип от ругани. У подъемника толпилось человек двадцать. Что ж эти мерзавцы начальники так и бросят их здесь? Мук, который привел из квершлага лошадь, стоял, все еще держа ее в поводу; по-видимому, и старик конюх и животное были потрясены наводнением. Вода поднялась до пояса. Этьен молча, стиснув зубы, взял Катрин на руки. Остальные двадцать, задрав головы, с тупым упорством смотрели вверх, в темноту шахтного ствола, в черную, завалившуюся яму, извергавшую подземный поток; они все еще не верили, что оттуда им нечего ждать помощи.

Поднявшись на поверхность, Дансар увидел Негреля, бежавшего к подъемнику. По роковой случайности он задержался в то утро: г-жа Энбо, лишь только встала с постели, пригласила его посмотреть каталоги магазинов,— пора было подумать о свадебных подарках невесте. Было десять часов утра.

— Ну что? Что случилось? — крикнул он еще издали.

— Погибла шахта! — ответил старший штейгер.

И, заикаясь от волнения, он рассказал о катастрофе. Инженер слушал недоверчиво, пожимая плечами: «Полно! Быть не может! Разве сруб обрушится так вот, ни с того ни с сего! Это преувеличение. Надо посмотреть».

— Внизу, я полагаю, никого не осталось?

Дансар смутился. Нет, никого не осталось. По крайней мере он на это надеется. Но возможно, кое-кто из рабочих и задержался.

— Да вы что, черт вас побери? — крикнул Негрель.— Почему же вы-то поднялись? Как вы посмели бросить своих людей?

Тотчас он дал распоряжение подсчитать лампы. Утром выдали триста двадцать две, а возвратилось только двести пятьдесят пять; правда, многие рабочие признались, что их лампы остались под землей, выпали у них из рук в свалке во время паники. Попробовали произвести перекличку и все же не могли установить точное число поднявшихся: одни убежали домой, другие не могли расслышать своего имени. Так и не выяснили, скольких человек не хватает,— может быть, двадцати, может быть, сорока. Для инженера одно было несомненно: под землей остались люди. Они кричали, звали, выли. Наклонившись над стволом шахты, можно было различить их вопли сквозь гулкий плеск воды, поливавшей обломки балок.

Негрель тотчас послал за г-ном Энбо и хотел было закрыть доступ к шахте. Но уже было поздно: углекопы, примчавшиеся в поселок с такой быстротой, как будто их преследовал зловещий треск распадавшегося сруба, всех переполошили: женщины, старики, дети с криками, с рыданиями неслись гурьбой по дороге. Пришлось их отгонять; поставили кордон из сторожей, приказав им сдерживать толпу, чтобы она не мешала действовать. Многие рабочие, успевшие подняться на поверхность, все не уходили, забыв о том, что надо сменить мокрую одежду, оцепенев от ужаса, стояли у ствола шахты, глядя на черную дыру, чуть не поглотившую их. Вокруг них теснились обезумевшие женщины, плакали, расспрашивали, умоляли назвать имена. Такой-то был с ними? А такой-то? Спасшиеся не знали, отвечали бессвязно и, дрожа как в лихорадке, отмахивались, словно стараясь отогнать страшную картину, все время стоявшую у них перед глазами. Толпа быстро росла, с дороги доносились громкие причитания.

А вверху, на гребне террикона, в будке старика Бессмертного, сидел на полу какой-то человек и смотрел на шахту. Это был Суварин. Далеко он не ушел.

— Имена! Имена назовите! — кричали женщины хриплыми от слез голосами.

Негрель показался на минутку и крикнул в ответ:

— Как только узнаем имена, тотчас сообщим. Но еще ничего не потеряно. Всех спасем... Я сейчас спущусь...

И толпа замерла в тоскливом ожидании. Действительно, Негрель со спокойным мужеством готовился спуститься... Он приказал отцепить клеть и заменить ее бадьей. Опасаясь, что вода

угасит его лампу, он велел привязать вторую под днищем бадьи, которое могло защитить эту лампу.

Десятники и штейгеры, бледные, растерянные, помогали подготовке.

— Спуститесь со мной, Дансар,— коротко приказал Негрель.

Но, видя, что все его подручные перепуганы, что Дансар шатается, как пьяный, от ужаса, он с презрением оттолкнул его:

— Не надо. Только мешать будете... Лучше уж я один...

Он живо влез в тесную бадью, качавшуюся на конце троса, и, держа в одной руке лампу, сжимая в другой сигнальную веревку, сам скомандовал машинисту:

— Помалу!

Машинист пустил в ход барабаны, Негрель исчез в пропасти, из которой еще слышались вопли несчастных.

Вверху ствола все оказалось на месте. Негрель удостоверился, что верхнее звено в хорошем состоянии. Бадья покачивалась посредине ствола. Негрель поворачивался, освещал стенки,— течь на стыках сруба была так незначительна, что лампочка продолжала гореть. Но на глубине в триста метров, когда началось нижнее звено сруба, лампа, как он и предвидел, угасла, а в бадью налилась вода. Теперь ему светила только та лампа, что была подвешена под бадьей и спускалась во тьму впереди него. При всей своей смелости Негрель вздрогнул и побледнел от ужаса, когда перед его глазами предстала жуткая картина разрушения. От сруба уцелело лишь несколько перекладин, остальные балки рухнули вместе со своими рамами; в стенах ствола зияли огромные впадины, из них ползли «плывуны» — мелкие, как мука, желтые пески, и, словно речные волны, прорвавшие шлюзы, изливались воды Потока, подземного моря, страшного своими неведомыми бурями и катастрофами. Негрель спустился еще ниже, теперь он был на самой середине пропасти, в стенках которой все больше зияло пустот; бадья вертелась, ударяясь о стенки ствола, под проливным дождем, которым ее обдавали грунтовые воды; лампа, горевшая красной звездой, спускалась все ниже, но так слабо рассеивала тьму, что Негрелю казалось, будто он видит вдалеке улицы и перекрестки какого-то разрушенного города и там колышутся большие черные тени. Никакой труд человеческий тут был невозможен. Оставалась лишь одна надежда: попытаться спасти людей от смертельной опасности. Чем ниже он спускался, тем громче становились их вопли; но ему пришлось остановиться,— он натолкнулся на непреодолимую преграду, заполнившую весь пролет ствола,— груду бревен, балок, досок, сломанных проводников подъемной клети, разбившихся дощатых перегородок, отделявших ствол от колодца с запасными лестницами, и все это перемешалось с сорванными трубами водоотливного насоса. Не-

грель с болью в сердце смотрел на эти обломки, и вдруг внизу вопли человеческих голосов разом смолкли. Вероятно, несчастные бросились бежать с рудничного двора, спасаясь от быстро прибывавшей воды, если только не захлебнулись в потоке...

Негрелю пришлось отказаться от дальнейшего спуска и дернуть сигнальную веревку для того, чтобы его начали поднимать. Затем он вновь остановился. Он все не мог понять, чем же вызвана эта внезапная и страшная катастрофа. Желая выяснить причины, он принялся осматривать те части сруба, которые еще держались. Даже на расстоянии его поразили видневшиеся в дереве разрезы, дыры, изломы. В насыщенном влагой воздухе огонь в лампочке еле горел. Негрель пальцами ощупал искалеченную балку, распознал борозды, оставленные пилой, дыры, сделанные сверлом, сознательную разрушительную работу. Очевидно, кто-то нарочно подготовил катастрофу. Негрель замер на месте. А вокруг последние, еще не обвалившиеся перекладины трещали, рушились вместе с рамами, грозя увлечь за собою и его самого. Вся его отвага пропала при мысли, что нашелся человек, способный на такое страшное дело; у него волосы зашевелились на голове, он весь похолодел, испытывал какой-то мистический страх, словно перед неким божеством зла, словно тот, кто совершил это безмерное злодеяние, все еще прятался тут, во мраке. И Негрель закричал, яростно дергая веревку. Да и пора было уходить; поднявшись на сто метров, он заметил, что верхняя часть сруба тоже пришла в движение: углы на стыках сруба расщепились, из них уже повыпадали клинья, обмотанные паклей, из щелей ручьями текла вода. Пройдет еще несколько часов, со стенок ствола отпадет вся крепь, и они обвалятся.

На поверхности Негреля в тревоге ждал г-н Энбо.

— Ну как? Что там? — спросил он.

От волнения Негрель не мог говорить и был близок к обмороку.

— Это что-то невероятное, неслыханное, небывалое! Ты осмотрел?

Негрель утвердительно кивнул головой, опасливо глядя на окружающих. Он не хотел давать объяснения при штейгерах, которые настороженно слушали, и отвел дядю шагов на десять в сторону, но и этого ему показалось мало, отошел с ним еще дальше и только тогда рассказал ему на ухо, что катастрофа была кем-то подстроена, балки нарочно просверлены, перепилены; шахте перерезали горло, она в агонии. Директор побледнел и тоже заговорил шепотом, повинуясь безотчетному чувству, побуждающему людей хранить молчание о чудовищных фактах разврата и о чудовищных преступлениях. Но надо было скрывать свой страх от десятитысячной армии углекопов Компании Монсу: позднее

все выяснится. И они продолжали шептаться, с ужасом думая, что нашелся человек, который дерзнул проникнуть в шахтный ствол и, повиснув над пропастью, двадцать раз рискуя жизнью, совершил неслыханное преступление. Безумная храбрость разрушителя была для них непостижима, они, вопреки очевидности, отказывались верить, как не верят рассказам о знаменитых побегах узников, словно улетевших из окна темницы, прорезанного на высоте тридцати метров над землей.

Когда г-н Энбо подошел опять к штейгерам, лицо его передергивалось от нервного тика. Он в отчаянии махнул рукой и приказал немедленно всем уйти с шахты. Это было подобие мрачного похоронного шествия, безмолвного расставанья; люди оборачивались, прощальным взглядом окидывали большие, уже опустевшие кирпичные корпуса, пока еще стоявшие строения, которые теперь ничто не могло спасти.

Директор и инженер спустились из приемочной последними, и лишь только они появились, толпа встретила их упорными, несмолкавшими криками:

— Имена! Имена! Скажите имена!

В первом ряду среди женщин была теперь и вдова Маэ. Она вспомнила, что ночью слышала шум: наверно, ее дочь и жилец ушли вместе и, конечно, оба остались под землей. Хотя сперва мать кричала, что так им и надо, что они бессердечные негодяи и вполне заслужили погибель, она все же прибежала и, стоя в первом ряду, трепетала в тоскливом ожидании. Впрочем, она и не смела сомневаться, ей все было известно из разговоров окружающих. Да, да, Катрин осталась под землей, и Этьен тоже,— один из спасшихся видел их. Что касается остальных, тут у говоривших оказались разногласия. Нет, такой-то успел подняться, а такой-то, наоборот, не успел; Шаваль, пожалуй, не выбрался, но кто-то из откатчиков клялся и божился, что поднимался в клети вместе с ним. У жены Левака и жены Пьерона никто из близких не был в опасности, однако они плакали и причитали так же громко, как и другие. Захарий поднялся одним из первых и, хотя он всегда казался насмешником, зубоскалом, которому все нипочем, сейчас со слезами обнял жену и мать; он остался около матери, мерз на холоде вместе с ней, преисполнившись неожиданной нежности к сестре, и не хотел верить, что она под землей, пока начальники бесповоротно не удостоверятся в этом.

— Имена! Имена! Скажите имена!

Негрель в нервном возбуждении громко говорил сторожам:

— Да заставьте же их замолчать! Ведь это такое мученье! Не знаем мы имена, не знаем!

Прошло два часа. В первые минуты смятения никто и не подумал о другой шахте, о старой Рекильярской шахте. Потом г-н

Энбо сказал, что надо попробовать повести розыски и спасательные работы с той стороны. И тут как раз оказалось, что по сгнившим лестницам запасного хода этой заброшенной шахты только что выбрались на поверхность пятеро рабочих, спасшихся из затопленных выработок; говорили, что среди них был конюх Мук,— всех это очень удивило, никто не думал, что он находился в шахте. Но после рассказа спасшихся слезы полились сильнее: оказалось, что пятнадцать человек отстали, или же обвалы замуровали их, и помочь им невозможно: Рекильярскую шахту затопило, вода там поднялась метров на десять. Теперь знали имена всех, кто остался под землей; воздух огласили стенания и крики народа, которому нанесли кровавую рану.

— Да заставьте же их замолчать! — твердил в ярости Негрель.— И пусть они отойдут. Да, да, пусть отойдут... Метров на сто, не меньше. Тут опасно стоять. Оттесните их, оттесните!

Пришлось чуть ли не драться с несчастными. Они вообразили, будто их гонят, желая скрыть от них какие-то новые бедствия и новые смерти; штейгерам пришлось объяснять им, что сейчас обвалится шахтный ствол, а вслед за ним и вся шахта. От ужаса все умолкли и в конце концов покорно отступили; но пришлось усилить цепь сторожей, сдерживавших толпу,— люди возвращались против своей воли, словно их притягивал магнит; не меньше тысячи человек теснилось на дороге; прибежали из всех поселков и из самого Монсу.

А тот, кто был на гребне террикона, белокурый человек с девичьим лицом, курил папиросу за папиросой, чтоб набраться терпения, и не сводил с шахты своих светлых глаз.

Началось ожидание. Был уже полдень, люди с утра не ели. Но никто не уходил. В хмуром небе медленно ползли ржавые тучи. За забором Распера без передышки лаял большой пес, раздраженный голосами и запахами огромного скопища людей. Толпа постепенно растекалась по соседним участкам, охватив шахту кольцом на расстоянии в сто метров. В середине пустынного круга четко вырисовывались строения шахты. Там не было ни души, не слышалось ни единого звука; в незатворенные окна и двери виднелись брошенные в беспорядке помещения; забытая рыжая кошка, почуяв какую-то опасность в этой непривычной тишине, спрыгнула с лестницы и исчезла. Должно быть, топки в котельной еще не совсем погасли — из высокой кирпичной трубы к темным тучам поднимались легкие струйки дыма; на кровле копра пронзительно скрипел на ветру флюгер,— казалось, то была предсмертная жалоба обреченных строений.

В два часа дня ничего нового не произошло. Г-н Энбо, Негрель и другие инженеры, собравшиеся здесь, все в пальто и в черных шляпах, стояли кучкой впереди всех; они тоже не хотели

уходить, хотя у них ноги подкашивались от усталости; все испытывали болезненное, лихорадочное возбуждение, сознавая свое бессилие перед лицом такого страшного бедствия; все молчали, лишь изредка шепотом обменивались скупыми словами, словно у постели умирающего. Должно быть, в стволе шахты завершался обвал верхнего звена сруба: иногда раздавался вдруг громкий треск, потом что-то тяжелое с прерывистым шумом падало в глубокую пропасть; затем опять наступила мертвая тишина. Рана все расширялась; обвал, начавшийся снизу, захватывал верхние слои, приближался к поверхности. Негрелю хотелось увидеть, что происходит; в нервном нетерпении он вышел вперед и зашагал один в этом жутком пустом пространстве, однако его схватили за плечи, остановили. К чему рисковать? Ведь катастрофы все равно не остановить. А тем временем какой-то углекоп, когда отвернулся сторож, помчался к раздевальне и вскоре спокойно вернулся на место: он сбегал за своими деревянными башмаками.

Пробило три часа. Все еще ничего не случилось. Полил дождь, люди вымокли, но не отошли ни на шаг. Пес во дворе Раснера опять принялся лаять. И только в три часа двадцать минут первый толчок сотряс землю. Строения Ворейской шахты дрогнули, но устояли — они были выстроены прочно. Но вслед за первым последовал второй толчок, и толпа откликнулась на него долгим воплем: у всех на глазах длинный, крытый толем барак сортировочной два раза качнулся и рухнул с оглушительным треском. От огромного давления балки сломались, как спички, и терлись друг о друга с такой силой, что от них брызнули целые снопы искр. И с этого мгновения земля непрестанно сотрясалась; толчки следовали один за другим, шло подземное оседание пород, слышался грозный гул, как при извержении вулкана. Пес вдалеке больше не лаял, а жалобно выл, словно возвещал о колебаниях почвы, которые чуял заранее; а женщины, дети, да и вся толпа, взиравшая на шахту, не могли удержать воплей всякий раз, как ее встряхивало от содрогания земли. Не прошло и десяти минут — рухнула шиферная кровля шахтного копра, стены приемочной и машинного отделения раскололись, в них зияла теперь широкая брешь. Затем шум стих, разрушение остановилось; вновь настала глубокая тишина.

Целый час простояла Ворейская шахта еще живая, но израненная, словно ее бомбардировала из пушек армия жестоких врагов. Смолкли крики, круг зрителей раздался, но никто не уходил, все смотрели. Под грудой балок рухнувшей сортировочной еще можно было различить смятые опрокидыватели, прорванные, искореженные грохота. Но больше всего обломков громоздилось на месте приемочной среди осколков битого кирпича и стен, местами рухнувших целиком и обратившихся в мелкий щебень. Стальная

перекладина, поддерживавшая шкивы, изогнулась и до половины опустилась в шахтный ствол; клеть повисла в воздухе, над ней покачивался обрывок троса; а дальше высилась целая гора разбитых вагонеток, чугунных плит, лестниц. Каким-то чудом ламповая осталась нетронутой, и с левой стороны виднелись аккуратные многоярусные ряды начищенных лампочек. А в глубине развороченного машинного отделения видна была паровая машина, плотно сидевшая на массивном кирпичном фундаменте; блестели ее медные части, крупные стальные детали были похожи на несокрушимые мышцы; застывший в воздухе шатун напоминал согнутую в колене ногу великана, спокойно дремлющего, уверенного в своей силе.

К концу этой часовой передышки у г-на Энбо возродилась надежда. Быть может, оседание пород закончилось и есть еще возможность спасти машину и уцелевшие постройки. Однако он попрежнему запрещал приближаться к шахте, требовал, чтобы потерпели еще с полчаса. Ожидание становилось невыносимым; надежда усилила волнение людей, у всех билось сердце. Черная туча, поднявшаяся на горизонте, ускорила наступление сумерек; кончался роковой день, угасавший над обломками крушения, вызванного подземной бурей. Люди стояли тут семь часов, голодные, изнемогавшие от неподвижности.

И вдруг, когда инженеры начали осторожно приближаться к шахте, страшное содрогание земли обратило их в бегство. Под землей раздался грохот, громовые раскаты, словно какая-то чудовищная артиллерия вела обстрел в недрах земли. А на поверхности опрокидывались, рушились, разваливались последние уцелевшие строения. Какой-то вихрь подхватил и расшвырял обломки сортировочной и приемочной. Раскололась и исчезла котельная. Потом четырехугольная башня, в которой хрипел водоотливный насос, упала ничком, как человек, которого сразило пушечное ядро. И тогда перед всеми предстало ужасное зрелище: паровая машина, растерзанная, четвертованная на своем массивном постаменте, боролась со смертью: она шла, она вытягивала шатун, словно сгибала колено своей гигантской ноги, как будто пыталась подняться; но то были предсмертные судороги,— разбитую, поверженную, ее поглотила пропасть. Только высокая тридцатиметровая труба еще вздымалась, вздрагивая, подобно корабельной мачте в бурю. Казалось, вот-вот она упадет, рассыплется и рассеется прахом по ветру; но вдруг она вся целиком ушла в землю, растворилась в ней, растаяла, словно исполинская свеча; ничего не осталось над поверхностью земли, даже острия громоотвода. Все кончилось,— злобный зверь, притаившийся в Ворейской лощине, пожравший столько человеческого мяса, издох, не слышно было его шумного, протяжного дыхания. Вся шахта провалилась в бездну.

Толпа с воем бросилась прочь. Женщины бежали, закрывая руками глаза. Ужас гнал людей, как ураган, разметавший кучу сухих листьев. И все они кричали,— не хотели кричать, но не могли сдержать невольных криков ужаса, когда увидели огромную внезапно возникшую яму. Эта впадина, похожая на кратер потухшего вулкана, глубиной в пятнадцать метров и шириною не менее сорока, простиралась от дороги до самого канала. Вслед за постройками земля поглотила весь двор шахты, гигантские козлы, мостки с проложенными на них рельсами, целый поезд из вагонеток, три товарных вагона; она поглотила, как соломинку, целую рощу заготовленных, обтесанных, разрезанных по мерке древесных стволов — все штабели крепежного леса. На дне ямы виднелась куча обломков: бревна, кирпич, железо, штукатурка, балки, разбитые в щепки, развороченные, изломанные, исковерканные, скрученные, истолченные, перемешанные с грязью. Яма приняла округлую форму, от краев ее шли трещины и тянулись далеко через поля. Одна расселина доходила до пивной Раснера, и по фасаду его дома зазмеилась трещина. А что, если и в поселке рухнут дома? До какого же места надо добежать, чтобы оказаться в безопасности в эти последние часы ужасного дня, под этим свинцовым небом, которое тоже как будто хотело раздавить мир.

Но вдруг Негрель вскрикнул словно от боли. Г-н Энбо попятился и заплакал. Катастрофа еще не завершилась. Берег канала обвалился, и вода из него бурлящими волнами ринулась в одну из трещин кратера. Вода просачивалась туда, низвергалась, как водопад в глубокое ущелье. Шахта задумала выпить реку, и теперь все горные выработки были затоплены на многие годы. Вскоре кратер заполнился водой, и на том месте, где только что была Ворейская шахта, раскинулось озеро мутной воды, подобно сказочным озерам, на дне которых спят про́клятые города. Настала грозная тишина; слышно было только, как бурлит и рокочет вода, врываясь в пропасть.

И тогда на гребне дрогнувшего террикона поднялся на ноги Суварин. Он узнал вдову Маэ и Захария, рыдавших при виде этого обвала, который всей своей тяжестью навис над головами несчастных, умиравших под землей. Отбросив последнюю папиросу, разрушитель пустился в путь и, не оборачиваясь, зашагал в сгустившемся сумраке. Некоторое время он еще виднелся вдалеке, силуэт его становился все меньше, потом слился с черной тьмой. Он и шел в эту тьму, в неведомое. Спокойный, бесстрастный, он шел истреблять,— повсюду, где найдется динамит, взрывать города и людей. Когда в свой последний час буржуазия услышит, как при каждом ее шаге с грохотом взлетают на воздух булыжники мостовой,— вероятно, это будет дело его рук.

IV

Лишь только земля поглотила Ворейскую шахту, г-н Энбо ночью выехал в Париж, желая лично осведомить обо всем правление, пока журналисты еще не разнесли по свету эту весть. На следующий день он вернулся и казался, как обычно, спокойным, учтивым администратором. Очевидно, ему удалось снять с себя ответственность, милость к нему не уменьшилась, даже наоборот,— через день был подписан указ о награждении его орденом Почетного легиона первой степени.

Но если директор выбрался из беды благополучно, положение Компании пошатнулось от этого ужасного удара. Она не только потерпела миллионные убытки,— ей нанесена была опасная рана: из-за того, что какие-то злоумышленники погубили одну из ее шахт, она испытывала глухой, непрестанный страх за свое будущее. Она была глубоко потрясена и поняла, что надо все скрыть. Зачем поднимать шум вокруг таких ужасов? Если преступника обнаружат, из него сделают своего рода мученика, от его устрашающего героизма и у других свихнутся мозги; он породит целый выводок поджигателей и убийц. Впрочем, правление и не подозревало, кто оказался истинным виновником катастрофы, и в конце концов вообразило, что тут орудовала целая армия сообщников; никто и мысли не допускал, что, действуя в одиночку, человек мог найти в себе смелость и силу для такого разрушения; именно эта мысль и преследовала членов правления — мысль о непрестанно возрастающей опасности, грозившей шахтам Компании. Директор получил распоряжение организовать широкую сеть шпионажа, затем постепенно, по одному, без шума уволить неблагонадежных рабочих, заподозренных в причастности к преступлению. Из соображений высокой политики и осторожности пока решили ограничиться лишь этой мерой.

Немедленному увольнению подвергся только один Дансар. После скандала в доме Пьерона держать его на должности старшего штейгера стало невозможно. В качестве предлога воспользовались его поведением во время катастрофы, когда он показал себя подлым трусом и бросил своих людей, спасая собственную жизнь. Увольнением Дансара хотели также угодить рабочим, дружно его ненавидевшим. Однако в Париж просочились кое-какие слухи о причинах катастрофы, и дирекции пришлось послать в газету официальное опровержение сенсационной заметки, в которой говорилось о бочонке с порохом, подожженном в шахте забастовщиками. После наспех проведенного расследования правительственный инженер представил доклад, в котором пришел к заключению, что обвал шахтного ствола вызван вполне естественными причинами, а именно — оседанием породы в выработках.

Компания предпочла держать свои сведения в тайне и безропотно перенесла сделанный ей выговор за недостаточный технический надзор. На третий день парижская пресса нашла в катастрофе обильный материал для отдела хроники; все только и говорили что о рабочих, умирающих в глубине шахты, с жадностью читали телеграфные сообщения, печатавшиеся каждое утро. В самом Монсу буржуа бледнели и лишались дара речи при одном лишь упоминании о Ворейской шахте,— о ней сложилась такая страшная легенда, что самые смелые с трепетом передавали ее друг другу на ухо. Во всем крае выказывали великую жалость к жертвам катастрофы; обыватели устраивали прогулки к разрушенной шахте, многие ходили туда всем семейством, желая испытать острые ощущения ужаса при взгляде на эти развалины, которые придавили своею тяжестью несчастных, заживо погребенных под ними.

Денелен, назначенный участковым инженером, приступил к работе в самый разгар бедствия; и его первой заботой было отвести канал в прежнее русло, ибо этот поток воды с каждым часом усиливал разрушения в шахте. Для этого необходимы были большие работы, и Денелен тотчас поставил сотню рабочих на постройку дамбы. Дважды буйные волны сносили первые заграждения. Потом установили водоотливные насосы, началась ожесточенная борьба, исступленная схватка,— шаг за шагом люди отвоевывали у реки затопленные ею участки.

Но в еще более страстном напряжении держали всех работы по спасению людей. Последняя попытка по-прежнему возложена была на Негреля, и рабочих рук в его распоряжении оказалось более чем достаточно: в порыве братского чувства все углекопы предлагали свою помощь. Они позабыли о забастовке, они не думали о плате,— им могли бы и ничего не платить, они просили лишь одного: разрешить им рисковать своей жизнью ради спасения товарищей, оказавшихся в смертельной опасности. Все явились со своими инструментами и с трепетом ожидали указаний, в каком месте начать работу. Многие заболели после пережитого, их била нервная дрожь, они обливались холодным потом при неотвязных, страшных воспоминаниях, и все же они поднялись с постели, пришли и больше всех жаждали сразиться с землей, словно хотели ей отомстить. К несчастью, нелегко было разрешить вопрос, куда с пользой направить труд спасателей? Что делать? Как проникнуть в шахту? С какой стороны врубаться в породу?

По мнению Негреля, ни одного из несчастных уже не было в живых, все пятнадцать наверняка погибли — утонули или задохнулись; однако при рудничных катастрофах существует правило: предполагать, что люди, замурованные на дне шахты, еще

живы, и Негрель в своих рассуждениях исходил из этого предположения. Прежде всего он поставил перед собой задачу — определить, где они могли укрыться. Штейгеры и старые углекопы, с которыми он советовался, все сходились в одном: убегая от наводнения, товарищи, несомненно, поднимались из выработки в выработку до самых высоких уступов, и, несомненно, вода загнала их в конец самого верхнего пути. Это, впрочем, соответствовало и сведениям, полученным от Мука: из его путаного рассказа все же можно было заключить, что, обезумев от ужаса, люди разбились на маленькие группы, что беглецы терялись или отставали на каждом уступе. Однако мнения разошлись, лишь только штейгеры стали обсуждать вопрос о возможных попытках спасти людей. Самые близкие к поверхности выработки все же находились на глубине ста пятидесяти метров,— нечего было и думать о проходке нового ствола. Оставалось воспользоваться заброшенной Рекильярской шахтой, только она давала доступ в недра земли, а потому должна была стать исходной точкой для розысков. Хуже всего было то, что Рекильярскую шахту тоже затопило и она больше не сообщалась с Ворейской шахтой; выше уровня воды в ней оставалось лишь несколько отрезков квершлага, обслуживавшего когда-то первый горизонт. Для откачки воды потребовались бы годы и годы; следовательно, наилучшим решением было бы осмотреть уцелевшие верхние выработки, установить, не соседствуют ли они с верхними выработками Ворейской шахты, где могли укрыться жертвы катастрофы. Прежде чем прийти к этому логичному решению, много спорили, обсуждали и отбрасывали всякие неосуществимые замыслы.

А затем Негрель, порывшись в архивной пыли, нашел старые планы обеих шахт, изучил их и определил, с каких точек надо вести поиски. Постепенно спасательные работы увлекли его, он тоже заразился лихорадкой самоотверженности, несмотря на свое ироническое и легкомысленное отношение к людям, да и ко всему на свете. Первой трудностью оказался спуск в Рекильярскую шахту; пришлось расчистить устье ствола, срубить рябину, повыдергивать кусты терна и боярышника да еще починить лестницы. Затем началось нащупывание. Спустившись с десятью рабочими, Негрель велел им стучать стальными зубками обушков в тех местах угольного пласта, на которые он указывал; а постучав, каждый приникал ухом к пласту, в надежде уловить далекий ответный стук. Но тщетно прошли они по всем еще не затопленным горным выработкам — ни разу не услышали они отклика. Итак, затруднение увеличилось. В каком же месте начать проходку? И все же упорство не ослабевало, в тоске и тревоге люди искали решения.

С первого же дня работ в Рекильяр утром пришла вдова Маэ.

Она села на балку у ствола шахты и не трогалась с места до самого вечера. Когда кто-нибудь выходил из колодца, она вставала и безмолвно спрашивала горящим взглядом: «Ничего? Ничего нет?» И снова садилась на старую балку, снова ждала, без единого слова, с каменным, суровым лицом. Приходил в Рекильяр и Жанлен и, видя, что люди завладели его тайником, кружил у входа с испуганным видом хищного зверька, опасавшегося, что обнаружат его нору и отнимут наворованные им запасы; он думал также о молодом солдате, лежавшем в штреке под обвалом, и опасался, что пришельцы нарушат спокойный сон мертвеца; но в этой стороне шахта была затоплена водой, а розыски вели левее, в западном квершлаге. Сначала приходила и Филомена, провожая Захария, который входил в поисковую партию; но потом ей надоело мерзнуть без нужды и без пользы; и она оставалась дома, в поселке, влачила обычное свое существование, вялая, ко всему равнодушная, кашляла с утра до вечера. Зато Захарий жил только одной мыслью — найти сестру — и готов был ради этого зубами грызть землю. По ночам он кричал во сне; Катрин снилась ему, он ее видел, слышал: от голода она исхудала, стала как тень, она надорвала себе горло, тщетно взывая о помощи. Дважды он принимался рыть без приказа инженера, заявляя, что Катрин именно там, что он это чувствует, уверен в этом. Инженер больше не разрешал ему спускаться. Но Захарий не отходил от шахты, из которой его изгнали; от волнения он даже не мог сидеть возле матери и, томимый нервной потребностью действовать, все ходил взад и вперед без передышки.

Шел третий день поисков. Негрель, отчаявшись в успехе, решил все бросить вечером. В полдень, после завтрака, когда он вернулся со своими людьми для последней попытки, к великому его удивлению, из шахты вылез Захарий и, размахивая руками, закричал:

— Она там! Она ответила мне! Идите, идите скорей!

Оттолкнув сторожа, он мигом спустился опять по лестницам и клятвенно стал уверять, что вон там, в первом штреке Гильомова пласта, ответили стуком.

— Да ведь мы уже два раза проходили там, где вы говорите,— недоверчиво заметил Негрель.— Ну хорошо, пойдем еще посмотрим.

Вдова Маэ поднялась, но ей не позволили спуститься. Выпрямившись во весь рост, она стояла у края ствола, устремив взгляд в черную яму.

А внизу Негрель сам постучал три раза, с большими промежутками, и, велев рабочим соблюдать полную тишину, приник ухом к угольному пласту. Ни звука в ответ. Он покачал головой: очевидно, бедному парню почудилось. Захарий в исступлении

снова постучал и снова уловил ответ; глаза его блестели, он весь трепетал от радости. Тогда и другие рабочие, один за другим, повторили опыт и все взволновались: они ясно расслышали далекий отклик. Негрель поразился, опять приник ухом к пласту и наконец уловил стук — легкий, как воздух, едва различимый, ритмичный стук, знакомый призыв углекопов, который они выстукивают в час опасности. Каменный уголь передает звук с кристальной ясностью и очень далеко. Штейгер, находившийся тут, полагал, что толща породы, отделявшей их от товарищей,— не меньше пятидесяти метров. Но всем казалось, что они близко, что уже можно протянуть им руку. Все ликовали. Негрелю пришлось отдать распоряжение немедленно начать работу.

Когда Захарий вышел на поверхность и встретил мать, они обнялись.

— Да вы не очень-то радуйтесь,— имела жестокость сказать им жена Пьерона, из любопытства решившая в тот день прогуляться до Рекильярской шахты.— Если Катрин там нет, вам еще тяжелее будет.

И правда, Катрин могла оказаться в другом месте.

— Убирайся ты! — злобно крикнул Захарий.— Она там, я знаю, что там.

Мать снова села возле шахты, безмолвная, с неподвижным лицом, и вновь стала ждать.

Как только слухи о событии долетели до Монсу, оттуда повалили любопытные. Хоть ничего не было видно, они не уходили. С трудом удерживали их на расстоянии. А под землей работы шли и день и ночь. Боясь натолкнуться на какое-нибудь препятствие, Негрель велел вести в пласте три наклонных хода, которые должны были сойтись в том месте, где, по предположениям, замурованы были люди; угольный пласт оказался тонким, врубаться в него, прокладывая ход, тесный, как кишка, можно было лишь в одиночку; забойщиков сменяли через каждые два часа; вырубленные куски угля выносили на-гора́ в корзинах, составив цепь из людей, удлинявшуюся по мере того, как углублялся ход. Сперва работа шла очень быстро, за день прошли шесть метров.

Захарий добился, чтобы его включили в число избранников, которые вели проходку. Это был почетный пост, люди оспаривали его друг у друга. Захарий возмущался, когда его хотели сменить после установленного двухчасового срока, он воровал очередь у товарищей, отказывался выпустить из рук обушок. Он опередил других, его ход углубился дальше, чем у них; он сражался с углем так неистово, что из узкого, тесного хода доносилось его дыхание, сильное, хриплое, шумное, словно в груди у него работали кузнечные мехи. Выбравшись на поверхность, весь покрытый грязью, черный, пьяный от усталости, он падал в изнеможении на землю,

и его спешили закутать в одеяло. А затем он снова вставал на ноги, еще шатаясь, шел к стволу, опять спускался в шахту, и схватка возобновлялась. Слышались глухие звуки ударов, прерывистое дыхание борца, охваченного неистовой жаждой победить врага. Хуже всего было то, что уголь стал тверже. Захарий два раза сломал обушок и был в отчаянии, что не может продвигаться быстрее. Он мучился еще и от жары,— ведь с каждым метром проходки жара все усиливалась, и в глубине этой узкой норы стояла невыносимая духота. Ручной вентилятор работал исправно, но добиться циркуляции воздуха не удавалось. Три забойщика лишились чувств от удушья, пришлось их вынести на поверхность.

Негрель теперь жил под землею вместе с рабочими. Еду ему приносили в шахту, спал он урывками часа два в сутки на охапке соломы, завернувшись в плащ. Но во всех поддерживали мужество все более явственно доносившиеся призывы несчастных, моливших спасателей поторопиться. Выстукивания звучали теперь очень четко и музыкально, словно удары по металлическим пластинкам цимбалов. По этим кристально чистым звукам определяли направление, шли на них, как идут при наступлении на гул пушечных выстрелов. Всякий раз, как сменялся забойщик, Негрель спускался в тесный ход, стучал и приникал ухом к стенке; и тотчас же ясно слышал ответный, настойчивый стук. Теперь сомнений не было: двигались в верном направлении, но с какой роковой медлительностью! Нет, ни за что не удастся поспеть вовремя. В два первых дня прорубили ход в тринадцать метров, но на третий день — только пять метров, а на четвертый — всего-навсего три. Угольный пласт стал до того плотным и твердым, что дальше с великим трудом удавалось за сутки врубаться в него на два метра. На девятый день, в итоге сверхчеловеческих усилий, было пройдено тридцать два метра и, по приблизительному подсчету, оставалось еще пройти метров двадцать. Для узников шахты начался двенадцатый день заточения, без хлеба, без огня, во мраке и ледяном холоде. От этой страшной мысли слезы навертывались на глаза, и мышцы рук напрягались в неустанной работе. Казалось невозможным, чтобы несчастные выжили,— далекие удары со вчерашнего дня звучали слабее, и тех, кто боролся за их жизнь, охватывал страх, что призывный стук внезапно оборвется навсегда.

По-прежнему вдова Маэ приходила каждое утро и садилась у ствола шахты. Она приносила с собой Эстеллу, которую не могла оставлять дома одну на целый день. Час за часом она следила за ходом работы, разделяя надежды и уныние спасателей. Кучки зрителей, стоявшие вокруг, и даже обыватели Монсу в своих домах полны были лихорадочного ожидания, судили и рядили о про-

исходившем. Во всем краю люди душой были с теми, чьи сердца бились под землей.

На девятый день в час завтрака Захарий не ответил, когда его окликнули, чтобы сменить; казалось, он сошел с ума,— бурча ругательства, он неистово врубался в пласт. Негрель, которому нужно было подняться ненадолго, не мог заставить его выйти; в шахте оставались лишь три углекопа и штейгер. Захария страшно раздражало, что колеблющийся огонек лампочки не дает достаточного света, что это замедляет работу, и, наверно, он совершил неосторожность — открыл лампу. Меж тем это было строго запрещено, так как обнаружилось сильное просачивание гремучего газа,— он в огромных количествах застаивался в узких коридорах, куда не доходила вентиляция. Внезапно раздался удар грома, из тесного хода вырвался огненный смерч, словно из пушки, заряженной картечью. Все запылало, даже воздух вспыхнул, как порох, во всех выработках. Взрывная волна отбросила штейгера и троих рабочих, пронеслась вверх по стволу и, словно извергнувшись из вулкана, вырвалась на поверхность, выбросив куски породы и обломки деревянного крепления. Любопытные убежали, вдова Маэ поднялась, прижимая к груди испуганную Эстеллу.

Когда Негрель и рабочие возвратились, их охватила ярость. Они били ногами землю, ненавидя ее в эту минуту, как взбалмошную, жестокую мачеху, убивающую своих пасынков из нелепой прихоти. Люди работают так самоотверженно, хотят спасти товарищей, а она у них самих отнимает жизнь.

Только через три часа ценою тяжких и опасных трудов проникли в шахту и приступили к подъему жертв нежданной катастрофы. Штейгер и рабочие еще не умерли, но были покрыты ужасающими язвами от ожогов, издававшими запах горелого мяса; они вдохнули пламя, им обожгло и горло и легкие. И теперь несчастные выли, умоляя прикончить их; из трех пострадавших углекопов один был тот, кто во время забастовки последним ударом лома разрушил насос на шахте Гастон-Мари; у двух других на ладонях были шрамы, на пальцах ссадины и порезы — следы сражения, в котором они бросали в солдат обломками кирпичей. Толпа расступилась, люди, бледнея и вздрагивая, обнажали головы, когда проносили пострадавших.

Вдова Маэ стояла не шевелясь, ждала. Наконец вынесли труп Захария. Огонь уничтожил на нем одежду, обуглившееся черное тело было неузнаваемо. Взрывом разнесло на куски череп,— головы больше не было. Когда эти ужасные останки положили на носилки, мать двинулась вслед за ними; она шагала, как автомат, ни единая слезинка не увлажнила ее воспаленные, покрасневшие глаза. Неся на руках уснувшую Эстеллу, она шла, как трагическое олицетворение человеческого горя, и ветер трепал ее волосы.

В поселке Филомена остолбенела, увидев носилки, но тотчас же разрыдалась, и слезы облегчили ее. А мать все тем же мерным шагом пошла обратно в Рекильяр: она проводила мертвого сына и возвратилась, чтобы ждать дочь.

Прошло еще три дня. Спасательные работы возобновили, преодолевая неслыханные трудности. От взрыва гремучего газа проложенная выработка, к счастью, не обвалилась, но воздух, в котором выгорел кислород, стал теперь таким спертым, тяжелым, что пришлось установить дополнительные вентиляторы. Забойщики сменялись каждые двадцать минут. Постепенно продвигались вперед; оставалось пройти, вероятно, не больше двух метров. Но теперь у каждого ужас леденил сердце, и люди врубались в крепкий пласт только из мести: ведь стук прекратился, смолкли звонкие ритмические звуки, призывающие на помощь. Шел двенадцатый день спасательных работ, пятнадцатый — со времени катастрофы; с утра воцарилось мертвое молчание. Новое бедствие усилило любопытство жителей Монсу; буржуа с таким увлечением устраивали прогулки к Рекильярской шахте, что даже Грегуары решились последовать их примеру. Условились побывать там целой компанией. Семейство Грегуаров решило доехать до Воре́ в своем экипаже, а г-жа Энбо пообещала провезти туда в своей коляске Люси и Жанну. Денелен хотел показать им начатые работы, а на обратном пути они собирались заглянуть в Рекильяр, узнать от Негреля, до какого места довели проходку и есть ли еще надежда. Вечером же все должны были встретиться в доме Энбо за обеденным столом.

В третьем часу дня супруги Грегуар и их дочь Сесиль вышли из коляски у провалившейся шахты и встретились с г-жой Энбо, которая приехала первой. Она была в светло-синем платье и защищалась зонтиком от февральского нежаркого солнца. Лазурь безоблачного неба была чиста, в воздухе разливалось почти весеннее тепло. Г-н Энбо тоже был на месте, разговаривал с Денеленом, и г-жа Энбо рассеянно слушала, как Денелен рассказывает о том, что построить дамбу на канале стоило неимоверных трудов.

Жанна, не расстававшаяся с альбомом, делала в нем зарисовки, увлеченная трагическим сюжетом, а Люси, сидя рядом с нею на исковерканной вагонетке, громко восторгалась, находя зрелище «потрясающим».

Еще не законченная дамба пропускала во многих местах воду, и пенистые волны каскадами падали в провал, образовавшийся на месте шахты. Однако кратер постепенно пустел, вода впитывалась в землю, и уровень ее понижался, обнажая ужасающую мешанину обломков на дне озера. Под нежно-лазоревым небом погожего дня громоздились какие-то руины, словно развалины города, рухнувшие в грязь.

— Да стоило ли ехать сюда, смотреть на такую гадость? — воскликнул разочарованный г-н Грегуар.

Пышущая здоровьем, румяная Сесиль с наслаждением дышала чистым воздухом и весело шутила, а г-жа Энбо с гримасой отвращения процедила:

— В самом деле, ничего красивого тут нет!

Оба инженера засмеялись. Они попробовали занять своих посетителей, повсюду водили их, показывали, как работают водоотливные насосы, как вколачивают в землю толстые сваи. Но дамы чувствовали неприятное беспокойство, они с трепетом услышали, что насосам придется действовать долгие годы — шесть-семь лет, пока не восстановят шахтный ствол и не выкачают воду из всех выработок. Нет, лучше думать о чем-нибудь другом, а не то такие ужасы и во сне будут сниться.

— Поедемте! — сказала г-жа Энбо. Жанна и Люси запротестовали. Как! Ехать? Так скоро? Ведь набросок еще не закончен. Обе сестры пожелали остаться, заявив, что отец привезет их к обеду. Г-н Энбо один сел в коляску к жене, так как хотел поговорить в Рекильяре с Негрелем.

— Ну что ж, поезжайте вперед,— сказал им г-н Грегуар.— И мы скоро поедем, только завернем сначала в поселок минут на пять. Поезжайте, поезжайте. Мы вас догоним в Рекильяре.

Он взобрался вслед за женой и дочерью в коляску, и когда экипаж директора покатил по берегу канала, коляска Грегуаров стала тихонько подниматься по склону к рабочему поселку.

Свою прогулку они намеревались завершить добрым делом. Смерть Захария вызвала в них сострадание к трагической судьбе семейства Маэ, о которой шли разговоры во всей округе. Им не жаль было погибшего отца,— так ему и надо, этому разбойнику, этому убийце, напавшему на солдат! Хорошо, что его застрелили как бешеную собаку! Но как не посочувствовать матери, которая потеряла мужа и сына, да, вероятно, потеряет и старшую дочь, ибо та, конечно, обратилась в бездыханный труп, замурованный в недрах шахты; да говорят еще, что в этой семье старик дед — беспомощный калека, средний сын, подросток, стал хромым, пострадав при обвале, а маленькая дочка умерла от голода во время забастовки. И вот хоть эта семья, можно сказать, справедливо понесла кару за свой крамольный дух, господа Грегуар решили проявить широту истинного милосердия, все великодушно забыть и простить провинившихся бунтовщиков, самолично оделив их милостыней. Для сей цели в коляску под скамейку положены были два аккуратно упакованных свертка.

Какая-то старуха указала кучеру, где живут Маэ — в доме номер шестнадцать, во втором квартале. Но когда господа Грегуар вышли из коляски с привезенными свертками, они долго и

тщетно стучались в дверь, а в конце концов даже стали барабанить в нее кулаками. Ответа они не получили: стук отзывался гулко и зловеще, словно в вымершем доме, холодном и угрюмом, давно заброшенном людьми.

— Там никого нет,— разочарованно сказала Сесиль.— Какая досада! Что же нам делать со всеми этими свертками?

Вдруг отворилась дверь с другой стороны дома, и на улицу выскочила жена Левака.

— Ах, извините, сударь, извините, сударыня, извините, барышня!.. Вы к соседке? Ее нет дома, она в Рекильяре...

И в неумолчном потоке слов она принялась рассказывать о злосчастьях соседей, твердила, что людям нужно, конечно, помогать друг дружке, а потому она приводит к себе Ленору и Анри, присматривает за ними, чтобы мать могла ходить в Рекильяр и ждать там. Заметив в руках посетителей свертки, она заговорила о своей овдовевшей дочери, расписывала нищету в своем доме, и глаза ее блестели от жадности. Потом, замявшись, она нерешительно сказала:

— Ключ у меня. Ежели вам угодно, я отворю... Там у них дед.

Грегуары посмотрели на нее с удивлением. Как же так? Дед сидит дома и не ответил? Что же, он спит, что ли? Но когда жена Левака отперла ключом дверь, зрелище, представшее перед ними, приковало их к порогу.

У нетопленной печки, не шевелясь, сидел в одиночестве старик Бессмертный, пристально глядя в одну точку широко открытыми глазами.

Комната как будто стала больше, оттого что в ней теперь не было оживлявших ее прежде часов с кукушкой, натертых воском сосновых стульев и буфета; на зеленоватых голых стенах виднелись лишь портреты императора и императрицы, с холодной благосклонностью улыбавшихся румяными устами. У старика не дрогнул на лице ни один мускул, не прищурились глаза от яркого света, ворвавшегося в открытую дверь, никакого проблеска мысли не мелькнуло в неподвижном взгляде. У ног его стояла большая плошка с золой, какие ставят для кошек.

— Не обессудьте, пожалуйста, что он такой невежа,— заискивающе тараторила жена Левака,— он у них умом тронулся. Вот уже две недели молчит как пень.

Тут вдруг старик зашелся глубоким, нутряным кашлем и отхаркнул черным плевком, смочившим золу,— он выплевывал теперь черной грязью уголь, весь тот уголь, которого наглотался за долгие годы в шахтах. Потом опять застыл недвижно и лишь иногда наклонялся и сплевывал.

Грегуары смотрели на него с чувством неловкости и отвра-

щения, но все же попробовали подбодрить старика приветливым словом.

— Что, голубчик, наверно, простудились? — произнес г-н Грегуар.

Старик даже не повернул головы, сидел, тупо уставившись в стену. Опять настало тягостное молчание.

— Вам бы нужно попить тепленького... Отвар из трав помогает,— добавила г-жа Грегуар.

Никакого ответа. Старик не пошевельнулся.

— Послушай, папочка,— пролепетала Сесиль,— нам ведь говорили, что он калека, а мы и позабыли...

И, смутившись, она умолкла. Поставив на стол бутылку с бульоном и две бутылки вина, она развязала второй сверток и вынула из него пару огромных башмаков. Этот подарок предназначался для деда, и теперь Сесиль, держа в каждой руке по башмаку, растерянно смотрела на распухшие ноги старика, который больше не мог ходить.

— Что, любезнейший, поздновато они попали к вам? — бодрым тоном заговорил г-н Грегуар, желая внести нотку веселости в мрачную атмосферу.— Ничего, башмаки пригодятся.

Бессмертный не слышал, не отвечал, сидел все так же неподвижно, с холодным, каменным лицом.

Сесиль тихонько поставила башмаки на пол, у стены. Как она ни старалась опустить их осторожно, подковки, которыми они были подбиты, звякнули, и эти бесполезные для калеки башмаки назойливо бросались в глаза в пустой комнате.

— Да чего там, он спасибо не скажет! — воскликнула жена Левака, с глубокой завистью поглядывая на башмаки.— Ведь это все едино, что утке очки подарить, не в обиду вам будь сказано.

И она продолжала в том же духе, всячески стараясь залучить Грегуаров к себе, надеясь их разжалобить в своем доме. Наконец она нашла предлог: принялась расхваливать Анри и Ленору. Такие милые, такие хорошенькие детки, чисто ангелочки, а какие умные! Что их ни спроси, дичиться не станут, сразу ответят. Если господам что-нибудь угодно узнать, эти маленькие все расскажут.

— Ну как, зайдем на минутку, дочурка? — спросил г-н Грегуар, радуясь, что можно наконец уйти.

— Хорошо, я сейчас... Ступайте,— ответила Сесиль.

И она осталась одна со стариком. Ее удерживала тут странная мысль, которая приводила ее в ужас и сковывала: ей казалось, что она узнает этого старика. Где же она видела это широкое и угловатое лицо с черными точками каменного угля? И вдруг она вспомнила ревущую толпу, теснившуюся вокруг нее, и этого старика, почувствовала, как его холодные руки стиснули тогда ее шею. Да, это он, нет сомнения... И Сесиль смотрела на его руки,

большие натруженные руки, лежавшие на коленях, как всегда держат их углекопы, присев на корточки в минуту отдыха, руки, вся сила которых была в кистях, еще крепких даже в старости. Бессмертный словно постепенно пробуждался от сна, наконец заметил ее и тоже устремил на нее пристальный взгляд. Лицо у него вспыхнуло, от нервного подергивания искривился рот, из которого тонкой струйкой текла черная слюна. Они как зачарованные смотрели друг на друга: она — цветущая, пышная, румяная, выросшая в неге, в безделье и благоденствии сытого жития племени богатых трутней, а он — опухший от водянки, безобразный и жалкий, как замученное животное, жертва изнурительного труда и голода, которые из поколения в поколение целое столетие были уделом его рода.

Десять минут спустя Грегуары, удивляясь, что Сесиль все нет, вернулись к Маэ, и тогда раздался истошный крик матери и отца. Их дочь лежала на полу задушенная, с посиневшим лицом. На шее у нее виднелись багровые отпечатки пальцев, словно горло ей стиснула чья-то гигантская рука. Старик Бессмертный не устоял на полумертвых своих ногах и рухнул рядом с удавленной, не в силах подняться. Пальцы у него все еще были скрючены; широко раскрытые глаза смотрели на людей бессмысленным взглядом. Падая, он разбил свою плошку, зола рассыпалась, и мокрая грязь, смоченная черными плевками, забрызгала пол. Пара огромных прочных башмаков чинно стояла у стены.

Так и не могли установить в точности обстоятельства преступления. Зачем Сесиль подошла к Бессмертному? Как мог этот старик, пригвожденный к стулу, схватить ее за горло? А сделав это, он, вероятно, рассвирепел, стискивая пальцы все крепче, заглушая ее крики, упал на пол вместе с ней и душил до тех пор, пока она еще хрипела. Ни малейшего шума, ни одного стона не слышно было сквозь тонкую стенку, отделявшую комнату от жилья Леваков. Пришлось предположить внезапный припадок буйного помешательства; необъяснимую тягу к убийству, овладевшую больным при виде белой девичьей шеи. Такое зверское преступление немощного старика было просто непостижимым: ведь он всю жизнь прожил так честно, был таким славным и покорным тружеником, чуждался новых взглядов. Какие же давние обиды, неведомые ему самому, накопившиеся где-то в тайниках его существа, постепенно ожесточавшие его, как отрава, бросились ему в голову? Самый ужас этого убийства наводил на мысль, что оно совершенно бессознательно,— это было преступление сумасшедшего.

Стоя на коленях, Грегуары рыдали, задыхаясь от горьких слез. Сесиль, обожаемая дочь, долгожданное дитя, взращенная в холе, в довольстве, их дочь, для которой они готовы были отдать

все свое достояние, на которую они любовались, когда она спала в своей постельке или кушала за столом, и так боялись, что она мало ест, что она похудеет! Поистине это было крушением всей их жизни: к чему им теперь жизнь без нее?

Жена Левака в ужасе кричала:

— Ах ты старик проклятый! Да что же он натворил! Кто бы мог ждать от него этакого злодейства! А сноха-то его только вечером вернется! Обождите, я за ней сбегаю!

Отец и мать, убитые горем, не отвечали.

— Так я сбегаю? Пожалуй, оно лучше будет... Обождите.

Но, направляясь к двери, жена Левака заметила башмаки, принесенные старику. Весь поселок был в волнении, перед домом сгрудилась толпа. Пожалуй, еще украдут башмаки. А в этом-то доме некому их носить, мужчин тут теперь не осталось. И жена Левака потихоньку утащила башмаки. Бутлу они, наверно, будут впору.

В Рекильяре супруги Энбо долго ждали Грегуаров, беседуя с Негрелем. Он нарочно поднялся из шахты и теперь сообщал им некоторые подробности: есть надежда, что к вечеру удастся пробиться к узникам, но вероятнее всего, спасатели найдут лишь трупы,— ведь там царит теперь мертвое молчание. Мать Катрин, сидевшая на балке, позади инженера, прислушивалась, бледная как полотно, и тут вдруг прибежала жена Левака, рассказала, что сделал старик. Маэ ответила лишь нетерпеливым жестом, но все же пошла за нею.

Госпожа Энбо лишилась чувств. Какой ужас! Бедненькая Сесиль. Всего лишь час тому назад она была такая веселая, оживленная! Пришлось увести г-жу Энбо в лачугу старика Мука. Неумелыми руками муж расстегнул ей лиф, с волнением вдыхая запах мускуса, исходивший от обнажившейся груди. А когда его супруга с рыданием бросилась на шею Негрелю и крепко обняла молодого инженера, потрясенного этой смертью, вдруг расстроившей его брак, обманутый муж смотрел, как они плачут, и в его сердце улеглась тревога. Страшное несчастье все уладило: г-н Энбо предпочитал терпеть возле жены своего племянника, опасаясь, что увидит на его месте собственного кучера.

V

Люди, брошенные в шахте на произвол судьбы, выли от ужаса. Вода доходила им до пояса. Рев потока их оглушал, грохот падавших остатков сруба, казалось, возвещал конец света, и совсем сводило их с ума ржание лошадей, запертых в конюшне, ужасный предсмертный вопль животных, которых убивают.

Мук выпустил Боевую. Старая лошадь дрожала и, широко открыв глаза, смотрела на все прибывавшую воду. Рудничный двор быстро затопило. При тусклом свете трех ламп, еще горевших под каменным сводом, видно было, как вздувается быстро бегущий зеленоватый поток. И вдруг, когда лошадь почувствовала, как эта ледяная вода смочила ей шерсть на брюхе, она понеслась, высоко вскидывая ноги, умчалась бешеным галопом и исчезла в глубине откаточного хода. Вслед за нею бросились бежать и люди.

— Ничего здесь не выйдет! — кричал Мук.— На Рекильяр держите!

Всех окрылила надежда спастись, выбравшись через соседнюю шахту, если только они успеют добраться туда, пока пути не отрезаны. Двадцать погибающих, толкая друг друга, бежали вереницей, высоко поднимая лампы для того, чтобы их не загасила вода. К счастью, выработка полого поднималась, и когда беглецы, боровшиеся с наводнением, прошли метров двести, вода уже не захлестывала их. В душах несчастных пробудились древние суеверия, и они заклинали землю пощадить их. Кто же, как не она, мстил за то, что ей перерезали артерии: оттого и хлынула вода — кровь земли, текущая по ее жилам. Какой-то старик бормотал полузабытые молитвы и выставлял в виде рогов согнутые большие пальцы, желая успокоить злых духов, царящих в шахтах.

У первого же разветвления выработки начались разногласия. Конюх призывал свернуть налево, другие уверяли, что надо идти вправо — так они значительно сократят путь. Потеряли на пререкания целую минуту.

— Ну и подыхайте тут, мне наплевать,— грубо крикнул Шаваль.— Я сюда пойду.

И он двинулся направо, двое углекопов последовали за ним. Остальные продолжали бежать за Муком, который вырос в Рекильярской шахте. Однако он и сам колебался, не зная, куда сворачивать. У всех в голове помутилось, старые углекопы не узнавали знакомых штреков, которые тянулись перед ними, словно спутанные нити клубка. На каждом перекрестке в раздумье останавливались, а ведь надо было решать немедленно.

Этьен бежал последним, его задерживала Катрин, которую сковывали усталость и страх. Сам он тоже повернул бы вправо, как и Шаваль, считая, что тот выбрал верный путь. И все же он нарочно не пошел с Шавалем, пусть даже из-за этого пришлось бы навеки остаться под землей. А группа спасавшихся все таяла, люди сворачивали по своему разумению в тот или иной ход, и за стариком Муком бежало только семь человек.

— Обхвати меня за шею, я тебя понесу,— сказал Этьен, видя, что Катрин совсем ослабела.

— Нет, оставь!..— тихо ответила она.— Я больше не могу... Лучше сразу умереть.

Они отстали от передних метров на пятьдесят, и Этьен, невзирая на сопротивление Катрин, взял ее на руки, как вдруг проход закрылся: огромная глыба рухнула и отрезала их от остальных. Вода, затапливая выработки, начала подмывать породу, со всех сторон происходили обвалы. Этьену и Катрин пришлось повернуть вспять. Все кончено теперь! Нечего и думать выбраться через Рекильярскую шахту. Единственная надежда подняться к верхнему горизонту: может быть, туда проникнут и освободят их, если вода спадет.

Этьен узнал наконец пласт Гильома.

— Вон что! Теперь я знаю, где мы,— сказал он.— Эх, дьявол, мы ведь по верному пути шли!.. А теперь попробуй-ка попади туда! Слушай, пойдем все прямо, потом поднимемся через печь.

Воды тут было им по грудь, и они шли медленно. Пока у них еще был свет, они не поддавались отчаянию; вторую лампу загасили, чтобы сберечь масло и перелить его затем в первую. Они уже подходили к «печи», как вдруг услышали позади себя шум и обернулись. Кто там? Может быть, и товарищам тоже обвал преградил дорогу и они повернули сюда. Издали доносилось шумное дыхание, они не могли понять, что за буря надвигается на них, поднимая целые столбы брызг. И оба вскрикнули, увидя, как из мрака вырвалось какое-то белое чудище и, борясь с наводнением, старается приблизиться к ним, с трудом продираясь между крепями слишком узкого для нее хода. То была Боевая. От рудничного двора она, обезумев от ужаса, понеслась по темным галереям. Казалось, она знает дорогу в этом подземном городе, где жила одиннадцать лет, что глаза ее хорошо видят в густом мраке, в котором проходила ее жизнь. Она скакала, изогнув шею, вскидывая ноги, и, пробегая по тесным штрекам, заполняла весь пролет своим большим телом. Улицы следовали одна за другой, пути раздваивались,— ни разу лошадь не останавливалась на перекрестках в нерешительности. Куда бежала она? Быть может, к видению молодых своих дней, к той мельнице, где она родилась, к берегу Скарпы, к смутному воспоминанию о солнце, сиявшем в воздухе, как большая лампа. Лошадь хотела жить, пробудилась ее память; жажда вдохнуть еще раз воздух равнины гнала ее все вперед, вперед — туда, где перед нею, наверное, откроется выход к теплому небу, к свету. Давнюю покорность сменило вспыхнувшее возмущение: ведь шахта не только ослепила ее, но еще и вздумала ее убить. Вода преследовала ее, стегала по ногам,

хлестала по крупу. Но чем дальше углублялась бегущая, тем теснее становились выработки, тем ниже нависала кровля, тем бугристее были стенки. И все же лошадь скакала, обдирая себе бока, оставляя на сучках креплений лоскутья своей шкуры. Шахта словно сжималась со всех сторон, чтобы схватить ее, стиснуть и задушить.

И вот, когда она была совсем близко от Катрин и Этьена, они увидели, как лошадь застряла между каменными глыбами. Она споткнулась, сломала передние ноги, последним усилием протащилась еще несколько метров и замерла, спутанная, плененная землей. Вытягивая шею, она поворачивала окровавленную голову, искала мутными глазами спасительную расселину. Вода быстро прибывала, заливала ее, и тогда утопающая лошадь заржала, жалобно, протяжно, жутко, как ржали те лошади, что утонули в конюшне. Ужасна была эта агония старого животного, с раздробленными костями, израненного, скованного, боровшегося со смертью в черной глубине шахты, далеко от солнечного света. Ее отчаянный вопль все не стихал, вода покрыла ее холку, шею, а из широко открытого рта все еще неслось надрывное хриплое ржание. Вдруг раздался короткий храп, глухое журчание, как будто вода полилась в бочку. А затем настала глубокая тишина.

— Ах, боже мой! Уведи меня,— рыдала Катрин.— Ах, боже мой! Мне страшно! Я не хочу умирать!.. Уведи меня! Уведи меня!

Она увидела смерть. Обвалившийся сруб, затопленная шахта,— от всего этого не повеяло ей в лицо таким ужасом гибели, как от ржания умирающей лошади. В ушах Катрин все еще звучало это страшное ржание, вызывавшее трепет всего ее существа.

— Уведи меня! Уведи меня!

Этьен схватил ее на руки и понес. Да и нельзя было медлить; мокрые по самые плечи, они стали взбираться по крутому ходу. Этьену приходилось поддерживать Катрин, у нее не хватало сил цепляться за деревянные стойки. Несколько раз Этьен едва успевал подхватить ее, он боялся, что она упадет, утонет в глубоком рокочущем море, которое надвигалось на них. Все же им удалось передохнуть несколько минут на первом встретившемся незатопленном пути. Однако и туда подступала вода; они взобрались выше. И целые часы вода все поднималась, наводнение гнало их из одной выработки в другую, заставляло взбираться все выше. На шестом уступе их охватил лихорадочный трепет надежды: показалось, что вода держится на одном уровне. Но вдруг он стал повышаться еще быстрее, им пришлось взбираться на седьмой уступ, потом на восьмой. Оставался лишь девятый. И, достигнув его, они с жестокой тревогой следили за каждым сантиметром подъема воды. Если вода не остановится, им суждено погибнуть,

как той несчастной лошади; вот так же они протиснутся под самую кровлю, захлебнутся и утонут.

Поминутно грохотали обвалы. Сотрясалась вся шахта, неустойчивые породы, размытые прорвавшимся потоком, давали трещины. Вытесняемый воздух скапливался в конце выработки, уплотняясь под давлением, и вырывался грозными взрывами, раскидывая каменные глыбы и сдвигая пласты горных пород. Раздавался ужасающий грохот подземных катаклизмов; шла битва, подобная той борьбе, что происходила в незапамятные времена, когда могучие потопы переворачивали кору земного шара, сбрасывали горы в бездны, поднимали равнины. От сокрушающих толчков Катрин вздрагивала всем телом, в голове у нее мутилось от ужаса, и, сложив молитвенно руки, она все твердила одни и те же слова:

— Я не хочу умирать... Не хочу умирать.

Для ее успокоения Этьен клялся, что вода остановилась и не прибывает; их бегство длится шесть часов; скоро товарищи спустятся в шахту на помощь им. Он говорил «шесть часов» наугад, утратив чувство времени. В действительности же они целый день блуждали по выработкам Гильомова пласта. Промокнув до нитки, дрожа от холода, они наконец примостились в забое; Катрин без стеснения разделась, чтобы выжать одежду, потом натянула ее на себя, и это мокрое тряпье постепенно высохло на ней. Она была босая, Этьен заставил ее обуться в его сабо. Теперь им надо было терпеливо ждать; они прикрутили фитиль лампы, оставив только слабый огонек, как в ночнике. Но у обоих мучительно ныло под ложечкой, и тогда они заметили, что их терзает голод. До этого мгновения они не чувствовали, что живут; катастрофа произошла до того, как они успели позавтракать, и теперь они извлекли свои промокшие, разбухшие бутерброды. Этьен принял свою долю лишь после долгих уговоров,— Катрин даже рассердилась, что он отказывается взять. Поев, она, сломленная усталостью, тотчас уснула прямо на холодной земле, а он не мог спать от жестокого томления и, оберегая ее, сидел неподвижно, подпирая голову руками и устремив взгляд в одну точку.

Сколько часов провели они так? Этьен не мог бы этого сказать. Он знал только, что к отверстию «печи» опять подкралась черная волна: злобный зверь горбом выгибал спину, стремился подползти к ним. Сперва Этьен увидел лишь узкую полоску — гибкую змею, она все вытягивалась, вытягивалась, потом стала шире, зашипела, заклубилась и вскоре добралась до них, коснулась ног спящей девушки. Этьену стало страшно, и все же он не решался разбудить Катрин. Зачем так жестоко нарушать ее покой, забвенье, забытье, в котором ей, быть может, грезится вольный воздух и солнце? Да и куда бежать? Он ломал голову, ища пути к спасе-

нию, и вспомнил, что конец наклонного хода, проложенного в этой части пласта, сообщался с концом наклонного хода, спускавшегося с верхнего уступа. Вот он выход! Он дал Катрин еще поспать, сколько было можно, и, настороженно глядя на поднимавшуюся воду, ждал, когда она их выгонит. Наконец он осторожно приподнял Катрин. Она вздрогнула всем телом.

— Ах, боже мой! Опять? Опять начинается! Боже мой!

Она сразу вернулась к действительности и, рыдая, кричала, что сейчас они умрут.

— Да нет же, успокойся,— говорил Этьен.— Тут можно пройти. Клянусь тебе!

До наклонного хода добирались согнувшись вдвое, по плечи в воде. И опять начался подъем, на этот раз более опасный,— в выработке, сплошь обшитой досками на протяжении сотни метров. Сперва они попытались потянуть трос для того, чтобы закрепить внизу одну из вагонеток: ведь если бы вторая покатилась сверху, навстречу им, их раздавило бы. Но трос не двигался, какое-то препятствие испортило механизм. Они все-таки стали подниматься, не решаясь, однако, держаться за трос, который теперь только мешал им; обломали себе все ногти, цепляясь за гладкую обшивку. Этьен шел сзади и головой поддерживал Катрин, когда ее окровавленные руки срывались с панелей и она соскальзывала вниз. Вдруг они наткнулись на обломки балок, перегородившие ход. Порода здесь осыпалась, обвал не позволял подняться выше. К счастью, рядом оказалась вентиляционная дверь, и они выбрались в штрек. Перед ними замерцал свет лампы. Они были потрясены. Послышался чей-то злобный голос:

— Еще такие же дурни, как я, нашлись!

Они узнали Шаваля,— обвал, засыпавший наклонный ход, преградил ему путь; двоим товарищам, бежавшим вместе с ним, проломило головы, ему разбило локоть; однако у него хватило смелости повернуть обратно, доползти на коленях до места обвала, обшарить мертвых, взять их лампы и хлеб; он уцелел каким-то чудом: рухнула еще глыба за его спиной и завалила проход.

Завидев людей, словно выросших из-под земли, он поклялся себе, что ни за что не поделится с ними пищей, скорее убьет их. И вдруг узнав, с кем его столкнула судьба, злорадно засмеялся:

— А-а, это ты, Катрин! Расквасила себе нос и решила к мужу подкатиться. Ладно, ладно! Давай вместе попляшем.

Он делал вид, что не замечает Этьена. А тот, ошеломленный этой встречей, обхватил рукой Катрин, чтобы защитить ее. Она прижалась к нему. Но надо было примириться с создавшимся положением. Этьен спросил товарища, совсем просто, как будто они дружелюбно расстались час тому назад:

— Ты не видел, как там, в глубине? Через забои нельзя пройти?

Шаваль опять ехидно засмеялся:

— Через забои? Как бы не так! Все забои обвалились, мы тут заперты с двух концов. Как в мышеловке. А если хочешь, поворачивай обратно и плыви по наклонному ходу, ежели хорошо умеешь нырять.

В самом деле, вода поднималась, слышно было, как она журчит. Путь к отступлению был отрезан. Шаваль сказал верно: они оказались в мышеловке — обвалы преградили впереди и сзади этот отрезок выработки. Никакого выхода. Все трое были замурованы.

— Ну как? Останешься? — с издевкой спросил Шаваль.— Да, некуда тебе податься. Что ж, если не станешь ко мне лезть, я тебе ни слова не скажу. Хватит тут места для обоих... Скоро увидим, кто из нас первый подохнет. Разве только вот придут и спасут нас... Но это, по-моему, дело трудное.

Этьен сказал:

— Надо стучать. Может быть, услышат.

— Я устал стучать... На вот, сам попробуй... Постучи этим камнем.

Этьен подобрал обломок известняка, уже искрошившийся в руках Шаваля, и, ударяя в угольный пласт, стал выстукивать призыв шахтеров,—сигнал, которым углекопы, оказавшись в опасности, подают о себе весть. Затем он прижался ухом к пласту, прислушался. Двадцать раз он упорно принимался стучать и слушал. Никакого отклика.

Тем временем Шаваль с нарочитым хладнокровием занялся своим хозяйством. Прежде всего поставил в ряд у стены три лампы: горела только одна, две других он оставил про запас. Затем положил на обломок доски две краюшки хлеба. Тут была кладовая. С этой провизией, благоразумно ее расходуя, он вполне мог протянуть два дня. Обернувшись, он сказал:

— Слушай, Катрин,— половина для тебя, если от голода тебе невмоготу станет.

Девушка молчала. Такая страшная беда, да еще жди столкновения соперников!

И потянулись ужасные дни. Шаваль и Этьен сидели на земле в нескольких шагах друг от друга, и оба не раскрывали рта. По совету Шаваля, Этьен погасил лампу — жечь ее было излишней роскошью; и потом уж никто не произносил ни слова. Катрин, встревоженная взглядами, которые бросал на нее бывший ее возлюбленный, легла поближе к Этьену. Шли часы; с тихим плеском непрестанно поднималась вода; время от времени земля сотрясалась и вдалеке раздавался грохот — это завершалось оседание

пород в пустотах шахты. Когда в одной лампе выгорело все масло и надо было ее открыть, чтобы зажечь другую, они заколебались, испугавшись гремучего газа, и все же открыли: лучше сразу погибнуть от взрыва, чем томиться во тьме; ничего не случилось, гремучего газа тут не было. Они вновь легли на землю, вновь потекли часы.

Какой-то странный шум взволновал Катрин и Этьена, они подняли головы: Шаваль решился утолить голод и, отрезав половину краюшки, принялся за еду, подолгу прожевывая каждый кусок, чтобы не поддаться соблазну и не съесть весь хлеб сразу. Они смотрели, как Шаваль ест, и обоих терзал голод.

— Ты что ж, отказываешься? — спросил Шаваль, насмешливо глядя на Катрин.— Зря ты это!..

Катрин потупилась, боясь уступить искушению, у нее от голода судорогой сводило желудок, и глаза наполнились слезами. Но она понимала, чего Шаваль требует от нее; утром он обжигал ее шею своим дыханием; опять его охватило неистовое вожделение, когда он увидел Катрин рядом с другим. Взгляды, которыми он призывал ее, горели знакомым ей огнем свирепой ревности,— так бывало и прежде, когда он набрасывался на любовницу с кулаками, обвиняя ее во всяких гнусностях, в сожительстве с жильцом матери. Она не хотела сближения с ним, она трепетала при мысли, что, если вернется к нему, соперники бросятся друг на друга в этой тесной пещере, где им предстояло погибнуть всем троим. Боже мой, разве нельзя кончить жизнь добрыми друзьями.

Этьен скорее умер бы с голоду, чем попросил у Шаваля хоть крошку хлеба. Какой тягостной стала тишина! Одна за другой тянулись минуты, казавшиеся вечностью, без единого проблеска надежды. Целые сутки провели они вместе в заточении. Чуть светился угасавший огонек второй лампы, они зажгли третью.

Шаваль разрезал вторую краюшку хлеба и проворчал:

— Ну иди же, дура!

Катрин вздрогнула. Этьен отвернулся, чтобы предоставить ей свободу. Она не шевелилась; тогда он сказал ей шепотом:

— Иди, детка.

И тут из ее глаз брызнули долго сдерживаемые слезы. Она плакала долго, даже не имея сил подняться, даже не зная, голодна ли она, страдая от какой-то странной боли, разлитой во всем теле. Этьен поднялся и то шагал взад и вперед, то опять выстукивал призыв шахтеров; его приводила в негодование мысль, что последние часы жизни придется прожить бок о бок с ненавистным соперником. Ведь тут не найдется места даже для того, чтобы подохнуть подальше друг от друга. Сделав десять шагов, он вынужден поворотить обратно и, шагая, натыкаться на Шаваля. А несчастная Катрин, которую они оспаривают друг у друга

даже в недрах земли, достанется тому, кто переживет врага, и если он, Этьен, умрет первым, негодяй Шаваль опять отнимет ее у него. Один за другим шли часы, бесконечные, томительные часы; тесное соседство становилось все противнее; спертый воздух отравляло дыхание троих людей и смрад испражнений,— ведь им тут же приходилось отправлять естественные потребности. Дважды Этьен бросался на каменные глыбы и бил по ним кулаками, словно хотел их сокрушить.

Прошли еще сутки. Шаваль сидел возле Катрин, деля с нею последний ломоть хлеба. Она жевала с трудом, а он заставлял ее платить лаской за каждый кусочек; охваченный ревностью, он не хотел умирать прежде, чем не овладеет ею на глазах Этьена. Измученная, обессиленная, она покорилась. Но когда он схватил ее в объятия, она застонала:

— О-ох! Пусти! Больно! Ты мне все косточки сломаешь!

Этьен в ужасе припал лбом к деревянной обшивке, чтобы не видеть. Но, услышав голос Катрин, обезумел от ярости и одним прыжком очутился возле них.

— Оставь ее, сволочь!

— А тебе какое дело? — сказал Шаваль.— Ведь она мне жена. Или она не моя, по-твоему?

И назло Этьену опять стиснул Катрин в объятиях, впился ей в губы поцелуем, уколов ей щеки рыжими усами, а потом заявил:

— Оставь нас в покое. Сделай одолжение, сядь в уголок и не мешай.

Но у Этьена губы побелели от ярости. Он крикнул:

— Пусти ее, а не то я тебя удушу!

Шаваль вскочил, поняв по хриплому голосу соперника, что тот действительно его прикончит. Смерть, казалось им, слишком медлила, пусть один из них сейчас же уступит другому место. Былая схватка возобновилась под землей, в которой им вскоре предстояло уснуть бок о бок вечным сном; а места для поединка было так мало, что они не могли замахнуться на противника, не ободрав себе кулак.

— Ну, держись! — закричал Шаваль.— Теперь-то я тебя ухлопаю.

В эту минуту Этьен обезумел. Глаза его застилал какой-то красный туман, кровь бросилась в голову. Его охватила жажда убить, непреодолимая, физическая потребность, подобно тому как прилив крови к слизистой оболочке в горле вызывает приступ кашля. Потребность убить все возрастала против его воли, под воздействием наследственной болезни. Он схватил выступавшую из стены слоистую пластину сланца, расшатал ее и оторвал большой, тяжелый кусок. Потом обеими руками с удесятеренной силой обрушил этот камень на голову противника. Шаваль не успел

отскочить и упал с разбитым лицом, с размозженным черепом. Мозг брызнул в кровлю галереи; из широкой раны полилась алая струя и побежала, как быстрый ручеек. Тотчас натекла лужа крови, и в ней тусклой звездочкой отражался огонек коптившей лампы. Мрак окутывал замурованную пещеру; мертвое тело, лежавшее на земле, казалось черным бугром, кучей угольной мелочи.

Нагнувшись, Этьен смотрел на убитого, широко раскрыв глаза. Смутно вспоминалась ему вся прежняя борьба, тщетная борьба против яда, дремавшего в его крови, в его мозгу, в его мышцах,— яда алкоголя, постепенно отравившего весь его род. Сейчас он был пьян лишь от голода,— всему виной было пьянство его родителей, его предков. У него волосы встали дыбом — таким ужасом наполнило его это убийство, и все же вопреки взглядам, которые привило ему воспитание, сердце у него билось от радости, от звериной радости утоленного наконец желания. Им даже овладела гордость — гордость победителя. И тогда перед глазами его всплыл образ новобранца с перерезанным горлом, молодого солдата, убитого ребенком. А теперь и он тоже убил. Но тут Катрин, выпрямившись, крикнула:

— Боже мой! Он умер!

— Тебе его жалко? — злобно спросил Этьен.

Задыхаясь от рыданий, она что-то лепетала. Потом бросилась в его объятия.

— Ах, убей и меня! Убей! Умрем вместе.

Она прильнула к нему, цеплялась за его плечи, он тоже сжимал ее в объятиях, и оба надеялись, что сейчас придет к ним смерть. Но смерть не спешила, и они разомкнули объятия. Потом Катрин закрыла руками глаза, а он поволок убитого и бросил его в наклонный ход, чтобы освободить то узкое пространство, где им еще предстояло жить. А жизнь была бы невозможна, останься труп Шаваля у них под ногами. Ужас охватил их, когда они услышали, как мертвое тело упало в воду, подняв фонтаны брызг. Так, значит, вода затопила и эту нору? И они увидели: вода заливала и их выработку.

И вновь началась борьба. Они зажгли последнюю лампу, стараясь осветить уровень воды, который непрестанно, неуклонно, упорно поднимался. Сперва вода доходила им до щиколоток, потом до колен. Выработка шла в гору, и они укрылись в верхнем конце тупика, это дало им передышку на несколько часов. Но и тут вода настигла их, залила по пояс. Они стояли, прижавшись спиной к каменной глыбе, и смотрели, как вода все поднимается, поднимается. Когда она зальет им рот, все будет кончено! От лампы, которую они подвесили к стене, падали желтоватые блики на быструю рябь мелких волн; огонь потускнел, они различали

лишь мерцающий полукруг, а он все уменьшался, словно его пожирал мрак, казалось, сгущавшийся по мере того, как приливала вода. И вдруг тьма окутала их: лампа погасла, втянув в мгновенной вспышке последнюю каплю масла; кругом был безысходный, беспросветный мрак, подземный мрак, в котором им предстояло уснуть беспробудным сном, навеки простившись с солнечным светом.

— Эх, дьявол! — глухо выругался Этьен.

А Катрин, чувствуя, что тьма словно схватила ее в свои лапы, в испуге жалась к Этьену. Она прошептала поговорку углекопов:

— Смерть задула лампу.

Однако эта угроза пробудила в них инстинктивную страстную жажду жизни, готовность бороться за нее. Этьен принялся рыть рукояткой лампы углубление в пластах сланца. Катрин помогала ему, выдирая камни руками. Они сделали что-то вроде высокой скамьи и, взобравшись на нее, сели, опустив ноги и согнув спину,— нависавшая сводчатая кровля не давала им выпрямиться. Ледяная вода касалась сперва только их пяток, но она поднималась все выше — непреодолимо, непрестанно; прошло немного времени, и холод охватил им щиколотки, икры, колени. Неровная сланцевая скамья стала мокрой, липкой; им пришлось крепко держаться друг за друга, чтобы не соскользнуть. Приближался конец. Долго ли могли они выдержать, забившись в это углубление, не смея пошевельнуться, измученные, изголодавшиеся, без хлеба, без света. Мучительнее всего был этот мрак, мешавший им видеть, как подкрадывается смерть. Кругом царила глубокая тишина; в затопленной шахте земля, насыщенная водой, осела. Теперь они чувствовали только, что из глубины галерей бесшумно надвигается на них волна прилива подземного моря.

Тянулись часы все в той же беспросветной тьме; заживо погребенные не могли определить, сколько времени прошло, они все больше путались в счете. Мгновения жестокой пытки должны были бы длиться бесконечно, но они проносились быстро. Несчастным казалось, что они не провели под землей и двух суток, меж тем кончались третьи сутки их заточения. Теперь нечего было и надеяться, что их спасут; никто не знал, где они находятся, никто не мог бы к ним спуститься. Если их пощадит вода, их прикончит голод. В последний раз им пришла мысль постучать, позвать на помощь, но камень остался под водой. Да и кто бы услышал их призыв?

Катрин бессильно прислонилась усталой головой к стенке и вдруг вздрогнула, встрепенулась.

— Слушай! — прошептала она.

Этьен подумал, что она говорит о легком журчании поднимавшейся воды, и, желая успокоить ее, сказал:

— Да это я ногами шевелю. Оттого и плеск.

— Нет, не то... Оттуда идет... Слушай!

И она прильнула ухом к угольному пласту. Этьен понял и сделал то же самое. На несколько секунд оба замерли, затаили дыхание. И вот наконец расслышали далекий стук — три удара с большими промежутками. Но они еще сомневались, быть может, у них звенит в ушах, быть может, трещит слоистая порода. Да и нечем выстукивать ответ.

Этьена осенила мысль:

— У тебя ведь на ногах сабо. Сними их... Стучи каблуком.

Катрин принялась стучать, выбивая призыв углекопов. Потом они прислушались и вновь различили три далеких удара. Двадцать раз они возобновляли призыв и двадцать раз слышали ответный стук. И тут они словно сошли с ума, то смеялись, то со слезами обнимали друг друга, забыв, что могут потерять равновесие и упасть в воду. Наконец-то! Товарищи думают о них, идут к ним на помощь! Радость и любовь переполняли их сердца, забылись муки ожидания, отчаяние долгих тщетных призывов; казалось, спасители совсем близко, стоит только пальцем пошевельнуть — расступится земля и выпустит заточенных.

— Подумай! — весело восклицала Катрин.— Ведь какая это удача, что я прислонилась головой к стене?

— Ну и слух у тебя! — говорил в свою очередь Этьен.— Я-то ведь ничего не слышал.

И с этого мгновения они сменяли друг друга: всегда то он, то она прислушивались, готовясь откликнуться на малейший сигнал. Вскоре они уже различали удары кирки: значит, началась проходка — прокладывают спасательную выработку. Ни единый звук не ускользал от них. Однако радость их померкла. Хоть они и смеялись, обманывая друг друга, постепенно их вновь охватило отчаяние. Сначала они пускались в пространные объяснения: очевидно, работы ведут из Рекильяра, выработку прокладывают в угольном пласту, и может быть, даже несколько выработок; потому что проходку, несомненно, ведут три человека. Потом они говорили меньше, а в конце концов и совсем умолкли, представив себе, какая огромная толща земли отделяет их от спасателей. Они погрузились в безмолвные размышления, подсчитывали, сколько дней прошло и за сколько дней рабочий может пробить ход в этих пластах камня. Нет, не удастся товарищам вовремя добраться до них, до тех пор оба они умрут. Замкнувшись в угрюмом молчании, не смея обменяться словом, чтобы не растравить тоску, они лишь откликались на призыв, выстукивая ответ каблуком деревянного башмака, но делали это без всякой надежды, почти машинально, просто желая сказать, что они еще живы.

Прошли сутки, вторые. Уже шесть суток провели они под землей. Вода дошла им до колен и остановилась — не поднималась и не убывала; ноги у них как будто растворились в этой ледяной ванне. На какой-нибудь час они могли вытаскивать их из воды и держать на весу, но тогда тело бывало в таком неудобном положении, что ноги сводило судорогой и приходилось их опускать. Каждые десять минут, чувствуя, что они соскальзывают со своей скамьи, оба напрягали мышцы, чтобы удержаться. Острые выступы угля врезались им в спину; шея одеревенела, ее стягивала боль оттого, что все время приходилось наклонять голову из опасения разбить череп, ударившись о кровлю. И все возрастала духота: воздух, вытесненный водой, уплотнился в этом своеобразном воздушном колоколе, в котором они были заперты. Голоса их звучали глухо, как будто доносились издали. В ушах шумело,— то им слышались грозные звуки набата, то нескончаемый стук копыт испуганного стада, бегущего под проливным дождем и градом.

Сначала Катрин жестоко страдала от голода. Она судорожно хваталась за грудь жалкими исцарапанными руками, испускала тяжелые вздохи, душераздирающие стоны, как будто у нее клещами вырывали все внутренности. Этьена терзала та же пытка, он лихорадочно обшаривал в потемках стену вокруг себя и вдруг нащупал полусгнившую деревянную стойку; тотчас он искрошил ее ногтями и дал Катрин пригоршню этой трухи; девушка жадно проглотила ее. Два дня они питались этой сгнившей деревяшкой, съели ее всю и в отчаянии, что от нее ничего не осталось, ободрали себе все руки, пытаясь оторвать и раздробить щепки от других, еще прочных стоек, которые не поддавались их старанию. Пытка усилилась; они приходили в бешеную ярость от того, что не могут съесть парусину, из которой сшита их одежда. Немного облегчил их страдания кожаный пояс Этьена. Зубами Этьен отрывал от него маленькие кусочки, и Катрин яростно жевала их и проглатывала. По крайней мере челюсти у них работали, оба жевали, у них создавалась иллюзия, что они едят. Когда с поясом покончили, принялись за парусину и сосали ее часами.

Но вскоре жестокие муки утихли, голод стал тупой болью, сверлившей где-то внутри, медленно, постепенно подтачивая их силы. Несомненно, оба погибли бы, не будь у них вдоволь воды. Стоило нагнуться, и можно было пить сколько угодно, черпая воду горстью; и они пили по двадцать раз в день, томясь такой жаждой, что вся эта вода не могла ее утолить.

На седьмые сутки, когда Катрин наклонилась, чтобы напиться, рука ее наткнулась на что-то плававшее в воде.

— Посмотри-ка, что там такое?

Этьен нащупал в темноте.

— Не понимаю,— сказал он.— Похоже, что занавеска из воздушного хода.

Катрин выпила воды, по когда хотела зачерпнуть еще, о ее ладонь ударилось то, что плавало перед нею. Она издала дикий вопль:

— Боже мой! Это он.

— Кто?

— Он... ты же знаешь... Я нащупала его усы...

Это был труп Шаваля; вода, затопившая наклонный ход, вынесла его снизу, и он плавал у их ног. Этьен нагнулся, протянул руку, нащупал усы, разбитый нос и вздрогнул от ужаса и отвращения. У Катрин тошнота подкатила к горлу, она извергла выпитую воду. Ей казалось, что она напилась крови, что вся эта глубокая река, затопившая штрек, обратилась в кровь Шаваля.

— Погоди,— пробормотал Этьен,— я его отгоню.

Он оттолкнул труп ногой, и тот отплыл. Но вскоре они вновь почувствовали, что он около них: он ударился об их ноги.

— Ах, проклятый! Да убирайся ты!

Но в третий раз Этьену пришлось отступиться. Какое-то течение пригоняло труп. Шаваль не хотел уходить, хотел быть с ними, возле них. Итак, воздух будет окончательно отравлен из-за этого ужасного соседства. Весь день они боролись с мучительной жаждой и не пили воды, предпочитая умереть; на следующий день оба не выдержали пытки и стали пить; прежде чем зачерпнуть воды, они всякий раз отстраняли мертвое тело, но все же пили. Стоило ли разбивать ему череп,— все равно, движимый упрямой ревностью, он возвратился и стоит меж ними. До самого конца он, даже мертвый, будет здесь и не даст им побыть вдвоем.

Прошли сутки, за ними вторые. При каждом колебании зыби на воде Этьен ощущал легкий толчок — прикосновение человека, которого он убил, словно тот попросту, по-соседски напоминал ему о своем присутствии. И всякий раз Этьен вздрагивал. Постоянно он видел перед собою этот раздувшийся, позеленевший труп с раздробленным черепом и рыжими усами. Потом находило какое-то беспамятство, он забывал, что убил Шаваля, ему казалось, что соперник жив, плавает в воде и вот-вот укусит его. А Катрин теперь все плакала, плакала после этих долгих, бесконечных терзаний и лежала подавленная, полумертвая. А потом ею овладела непреодолимая дремота, и она впала в забытье; Этьен будил ее, она бормотала бессвязные слова, даже не открыв глаз, и тут же снова засыпала. Боясь, что она упадет в воду и утонет, он поддерживал ее, обняв за талию. Теперь он вместо нее отвечал на призывы товарищей. Удары кирок приближались, он их слышал, они как будто раздавались за его спиной. Но и сил у него становилось все меньше, у него не хватало энергии стучать. Ведь

стало известно, где они, зачем же утомлять себя? Теперь ему было безразлично, придут ли спасители. Целые часы он проводил в тупом ожидании, забывая, чего он ждет.

Произошло, однако, событие, немного приободрившее их. Вода стала спадать и отнесла от них тело Шаваля. Спасательные работы шли уже девять суток, в первый раз Катрин и Этьен сделали несколько шагов по галерее, как вдруг грохнул взрыв и узников сбросило на землю. Они в темноте нашли друг друга и, обнявшись, замерли, обезумев от ужаса, думая, что катастрофа повторилась. Ничто не шевелилось. Стук прекратился.

А в углу, где сидели несчастные, прижавшись друг к другу, раздался тихий смех Катрин.

— Как, верно, хорошо на вольном воздухе!.. Пойдем отсюда!

Этьен сперва боролся против этого бреда. Его мозг был более устойчив, но безумие Катрин и его заразило, он потерял представление о действительности. Обоих обманывали смятенные чувства, особенно Катрин,— она пришла в лихорадочное возбуждение и жаждала излить его в жестах и словах. У нее шумело в ушах, а ей казалось, что это журчит вода, поют птицы; она слышала запах травы, примятой ногами, кругом все было залито светом; перед глазами у нее вращались широкие желтые круги, а ей казалось, что она лежит на солнышке, в хлебах близ канала.

— Что, тепло? Правда? Ну обними же меня, и будем теперь вместе... всегда, всегда!

Этьен сжимал ее в объятиях, а она, прильнув к нему в долгой ласке, лепетала, исходя блаженством:

— Ну какие же мы были глупые! Зачем так долго ждали? Я ведь рада была бы стать твоей, а ты не понимал, ты сердился... А помнишь ту ночь, у нас в доме, когда мы с тобой не спали? Лежим в постелях, прислушиваемся и чувствуем, что оба не спим. Ах, как нас тянуло тогда друг к другу!

Она заразила его своей веселостью, и он тоже принялся шутливо перебирать воспоминания о былых днях безмолвной любви.

— А помнишь, как ты мне надавала пощечин? Да, да, по обеим щекам отхлестала, помнишь?

— Да ведь я любила тебя,— шептала она.— Я, знаешь ли, запрещала себе думать о тебе: не надо, все кончено, а в глубине души знала, что рано или поздно мы будем вместе... Придет какой-нибудь случай, счастливый случай и сблизит нас... Вот и пришло к нам счастье, правда?

Его бросало в дрожь, он пытался опомниться, очнуться от этого наваждения и все же повторял тихонько:

— Нет, ничто не бывает кончено навсегда. Достаточно искорки счастья, и начнется все заново.

— Так ты меня теперь не оставишь? Никому не отдашь, да? Ах, как мне хорошо!

И почти без чувств она выскользнула из его объятий. Она была так слаба, что голос ее, чуть слышный, совсем затих. Этьен испуганно подхватил ее, прижал к груди.

— Тебе плохо?

Она выпрямилась, сказала удивленно:

— Нет, нисколько! Почему мне может быть плохо?

И вдруг эти слова вспугнули ее грезы. Она с отчаянием посмотрела вокруг, вглядываясь в черную тьму, и, ломая руки, зарыдала:

— Боже мой! Боже мой! Как темно!

Исчезли зреющие хлеба, исчез запах примятой травы, исчезло пение жаворонков, исчезло яркое золотое солнце; кругом была обвалившаяся шахта, смрадная тьма, сочившаяся вода, сырость могильного склепа, в котором они мучились предсмертными муками столько дней. Помутившееся сознание еще увеличивало ее ужас, возродились суеверия детских лет, она видела перед собою Черного Человека, призрак старика углекопа, который бродит по шахте и сворачивает шею беспутным девушкам.

— Ты слышишь? Слышишь?

— Нет, ничего не слышу.

— Да ведь это он... Черный Человек... Идет сюда... Вот уж совсем близко... Земле выпустили кровь из жил — это она мстит за то, что ее всю изрезали... И Черный тут как тут — погляди, вон он... В темноте и то видно, какой он черный... Ой, мне страшно! Страшно!

И она умолкла, только вся дрожала мелкой дрожью. Потом тихонько шепнула:

— Нет, это опять тот пришел.

— Кто?

— Ну тот, кто с нами, кого нет больше.

Образ Шаваля преследовал ее, и она бессвязно, путано рассказывала о своей ужасной жизни с ним. Только один раз, в шахте Жан-Барт, он был ласков с нею, а то все придирался из-за каждого пустяка, ругал и колотил, а когда изобьет, бывало, до полусмерти, убивает своими ласками.

— Да ведь это он... говорю тебе!.. Опять хочет помешать, чтобы мы были вместе!.. Ревнует... Ох, прогони его, не отдавай меня, ведь я твоя, только твоя.

В безотчетном порыве она бросилась ему на шею, сама искала его губы, прильнула к ним поцелуем в самозабвенной страсти. Мрак сменился для нее светом, она смеялась воркующим смехом влюбленной женщины. Этьен затрепетал, почувствовав, как она приникла к нему, почти нагая, едва прикрытая лохмотьями, и

в пробудившемся желании сжал ее в объятиях. Пришла для них ночь любви в глубине этой могилы, где брачным ложем служил им слой грязи; они не хотели умереть, не получив своей доли счастья, они упорно хотели жить и в последний миг зачать новую жизнь. В ночь отчаяния, перед лицом смерти они познали исступление любви. А потом всему пришел конец. Этьен сидел на земле все в том же углу, Катрин лежала у него на коленях, безмолвная, недвижимая. Шли часы за часами. Он долго думал, что она спит, потом потрогал ее,— она была совсем холодная, она была мертва. И все-таки он не шевелился, боясь ее разбудить. Он думал о том, что ему первому она отдалась, став созревшей женщиной, и, быть может, понесла от него,— эта мысль вызывала в нем умиленную нежность. Возникали и другие мысли о том, как он уйдет с ней куда-нибудь далеко и как хорошо, как радостно будет им обоим; но такие грезы являлись лишь мгновениями и были совсем смутными, проносились, как веяние ветерка по лбу спящего, как само дыхание сна. Он все больше слабел, у него едва хватило силы медленным движением протянуть руку, дотронуться до Катрин, чтобы убедиться, что она тут, лежит тихонько, будто уснувшее дитя, окоченевшая, холодная как лед. Для него больше ничего не существовало, исчезла и черная тьма и ощущение, что он где-то находится,— он был вне времени и пространства. Что-то стучало, ударяло близ его головы, стук приближался, становился все громче; сначала Этьену было лень отвечать, его сковывала безмерная усталость, а теперь он и не сознавал ничего; ему грезилось, что Катрин идет куда-то впереди него и он слышит, как постукивают ее деревянные башмаки. Прошло двое суток. Катрин не шевелилась, он машинально протягивал руку, чтобы потрогать ее, и ему приятно было, что она спит так спокойно.

И вдруг его встряхнуло. Загудели чьи-то громкие голоса, к его ногам покатились камни. А потом он увидел огонек лампы и заплакал. Глаза его, отвыкшие от света, моргали, а он все не отрывал от огня взгляда, не мог на него наглядеться, с восторгом смотрел на красноватую звездочку, едва разгонявшую тьму. Потом товарищи подняли его, понесли, по ложечке вливали ему в рот сквозь стиснутые зубы теплый бульон, он ко всему оставался равнодушным. Только в кверщлаге Рекильярской шахты, когда его поставили на ноги, он увидел знакомое лицо — перед ним стоял инженер Негрель; и два этих человека, презиравшие друг друга,— бунтовщик рабочий и вечно иронизирующий начальник,— бросились друг другу в объятия и громко зарыдали: так потрясено было в них чувство человечности. Его пробудила глубокая печаль, нищета и тяжкий труд многих поколений, скорбь и безмерные страдания, в которые может превратиться жизнь.

А на поверхности мать, рухнув на землю возле мертвой Катрин, закричала протяжно, громко; потом опять раздался ее крик, за ним второй, третий — долгие, нестихающие вопли. Из шахты были вынесены и уложены в ряд несколько трупов: Шаваль, которого считали погибшим при обвале, подросток-откатчик и два забойщика, тоже с раздробленным черепом, из которого вытек мозг, два страшных мертвеца с вздувшимися в воде животами.

В толпе рыдали обезумевшие женщины, рвали на себе платья, расцарапывали до крови свои лица. Вынесли наконец Этьена, сначала приучив его глаза к свету ламп и немного покормив его. И когда он появился, иссохший, как скелет, и совершенно седой, толпа расступилась, затрепетав от страха при виде этого старика. Мать умершей Катрин умолкла и устремила на него пристальный, лишенный мысли взгляд.

VI

Было четыре часа утра. Перед рассветом апрельский ночной холодок уменьшился, стало немного теплее. В чистом небе еще мерцали звезды, а на востоке его заливала багрецом заря. По черным спящим полям пробегал ветерок, и тогда раздавался чуть слышный шорох — предвестник пробуждения.

По Вандамской дороге широким шагом шел Этьен. Он провел полтора месяца в Монсу на больничной койке. Все еще желтый и очень худой, он выписался, лишь только почувствовал, что может держаться на ногах, и вот уходил теперь. Компания, попрежнему дрожавшая за свои копи, приступила к постепенному увольнению неугодных, и Этьен получил предупреждение, что его не могут держать. Впрочем, ему предложили пособие в сто франков и дали отеческий совет бросить шахтерскую работу, теперь для него непосильную. Этьен, однако, отказался от этих ста франков. Его уже звал в Париж Плюшар, который, ответив на письмо Этьена, прислал ему и деньги на дорогу. Итак, его давняя мечта осуществилась. Накануне, выйдя из больницы, он остановился у вдовы Дезир в «Смелом весельчаке». А нынче встал спозаранку — хотелось проститься с бывшими своими товарищами и поспеть к восьмичасовому поезду, отходившему из Маршьена.

На минутку он остановился и постоял на дороге, по которой разливался розовый свет. Так приятно было подышать чистейшим воздухом ранней весны. Утро обещало быть великолепным. Медленно разгоралась заря; жизнь на земле пробуждалась вместе с солнцем. Этьен двинулся дальше, бодро постукивая кизиловой палкой, смотрел, как вдалеке равнина выплывает из ночного тумана. Он никого не видел до этого дня: мать Катрин один раз

навестила его в больнице, а больше не приходила,— вероятно, не могла. Но Этьен знал, что весь поселок Двести Сорок теперь работает на шахте Жан-Барт и что сама Маэ нанялась туда.

Постепенно на дорогах появлялись люди; мимо Этьена то и дело проходили углекопы, молчаливые, бледные. Компания, как говорили, злоупотребляла своей победой. Забастовка длилась два с половиной месяца, и когда рабочие, побежденные голодом, вернулись в шахты, они вынуждены были принять установленные Компанией расценки за крепления, и это замаскированное понижение заработной платы особенно возмущало их, ибо оно было обагрено кровью погибших. Компания теперь ежедневно крала у рабочих час их труда, принудив их нарушить клятву — не подчиняться хозяйскому произволу; и сознание, что они поневоле стали клятвопреступниками, было горьким, как желчь; эта обида комком стояла в горле. Работа возобновилась везде: в Миру́, в Мадлен, в Кревкер, в Виктуар. В легкой утренней дымке по дорогам, еще утопавшим в сумраке, шли вереницы людей, все они шагали, понуро опустив голову, словно скот, который гонят на бойню. Дрожа от холода в жиденькой одежде, засовывая руки под мышки, они шли враскачку, сутулились, и у каждого горбом выпирала на спине краюшка хлеба, положенная между рубахой и курткой. И в этом всеобщем возвращении на шахты, в этом безмолвном шествии черных фигур, двигавшихся без единого слова, без смеха, без единого взгляда по сторонам, чувствовался гнев, от которого люди стискивали зубы, ненависть, переполнявшая сердце, сознание, что смириться их заставил только голод. Ближе к шахте углекопов попадалось все больше; почти все шли в одиночку, а те, кто работал вместе, шагали друг за другом гуськом, и чувствовалось, что они устали уже с утра, что им все опостылело — и жизнь, и люди, и они сами. Этьену бросились в глаза пожилой человек с горящими как угли глазами и молодой, который дышал тяжело, со свистом и совсем задыхался. Многие несли свои деревянные башмаки в руках и шли в одних толстых шерстяных чулках, почти неслышно ступая по земле. Со всех сторон к шахте без конца стекались люди,— то двигалась разгромленная армия; побежденные шли, поникнув головой, затаив неистовую жажду вновь броситься в бой и отомстить врагу.

Когда Этьен подошел к Жан-Барту, шахта только еще выступала из мрака, еще горели фонари, подвешенные к перекладинам копра, но огни их побледнели при свете разгоравшейся зари. Над темными строениями клубился пар и развевался, как белый султан, слегка подкрашенный кармином. Этьен поднялся по лестнице в сортировочную, а оттуда в приемочную.

Начался спуск, из барака к клетям подходили рабочие. С минуту Этьен постоял среди оглушительного шума и суеты. Громы-

хая, катились вагонетки, сотрясавшие чугунные плиты пола; вращались барабаны, разматывая тросы; стволовые подавали сигналы ударами молота по стальному рельсу; вновь чудовище пожирало на глазах Этьена ежедневную свою порцию человечьего мяса; клеть непрестанно взлетала и опять ныряла в горло прожорливого великана, с легкостью глотавшего живых пигмеев. После катастрофы в Ворейской шахте Этьен видеть не мог, как несется вниз клеть, у него все переворачивалось внутри. С чувством ненависти и страха он отвернулся от шахтного ствола.

Но в обширном, еще темном помещении приемочной, освещенной лишь тусклым светом догорающих масляных фонарей, он не увидел ни одного дружеского лица. Дожидаясь своей очереди, вокруг стояли углекопы, босые, с лампой в руке; тревожно посмотрев на него широко раскрытыми глазами, они опускали головы и пятились, словно стыдились чего-то. Они, несомненно, узнавали его и не таили против него зла,— наоборот, они сами как будто боялись его, опасаясь, как бы он не упрекнул их в слабодушии. От такого их отношения к нему у Этьена щемило сердце, он позабыл, что эти несчастные побивали его камнями; он опять лелеял мечту обратить их в героев, руководить ими, как стихийной силой природы, которую надо направлять, иначе она сама себя погубит.

Партия углекопов погрузилась в клеть и мигом исчезла из глаз, и тогда подошла другая партия. Этьен увидел наконец одного из своих соратников в руководстве забастовкой, отважного человека, клявшегося, что он лучше умрет, а не уступит.

— И ты тоже! — с грустью прошептал Этьен.

Углекоп побледнел; у него задрожали губы; потом он с виноватым видом махнул рукой и ответил:

— Что поделаешь! У меня жена.

Из барака хлынула новая волна людей,— Этьен знал всех.

— И ты тоже? И ты? И ты?

И каждый, дрожа, отвечал глухим голосом:

— У меня мать... У меня дети... Есть нечего.

Клеть все не поднималась, они ждали ее, угрюмые, подавленные, мысль о поражении была так мучительна, что люди избегали глядеть друг на друга и упорно смотрели на устье ствола.

— А вдова Маэ? — спросил Этьен.

Ему не ответили. Один из ожидавших сделал знак, что и она сейчас придет. Люди покачивали головой: «Эх, бедная! Вот у кого горе!» Но словами никто не выразил своих чувств, все молчали. Когда же Этьен протянул руку на прощанье, каждый крепко пожал ее, и в этом безмолвном рукопожатии были и жестокая боль поражения, и страстная надежда победить. Клеть встала на упоры, углекопы вошли в нее и понеслись в поглощавшую их бездну.

Появился Пьерон в кожаной «баретке», к которой прикреплена была лампочка — без предохранительной сетки, как у всех штейгеров. Уже неделю он состоял в должности старшего стволового, и углекопы сторонились его, находя, что он совсем зазнался от такого почета. Появлением Этьена он был весьма недоволен, однако подошел к бывшему товарищу и почувствовал облегчение, когда тот сказал, что уезжает. Они немного поговорили. Пьерон сообщил, что теперь его жена содержит питейную «Прогресс». А все благодаря поддержке господ начальников,— они были очень добры к ней. И тут же, прервав на полуслове свое хвастовство, он обрушился на старика Мука за то, что тот якобы не поднял на поверхность в положенный час навоз из конюшни. Старик слушал понурившись, глубоко обиженный его грубыми и несправедливыми нападками. А перед погрузкой в клеть так же, как и другие, Мук простился с Этьеном долгим рукопожатием, в котором были и сдержанный гнев, и огонь грядущих восстаний. И эта старческая рука, дрожавшая в руке Этьена, этот одинокий старик, простивший ему смерть своих детей, так его растрогали, что он не мог произнести ни слова и молча смотрел ему вслед. Потом, оторвавшись от своих мыслей, он спросил Пьерона:

— А что, вдова Маэ не придет нынче?

Пьерон сперва притворился, что не расслышал,— не следует поминать о чужих несчастьях, а то и с тобой беда стрясется. Затем счел за благо удалиться, будто желая отдать распоряжение, и на ходу бросил Этьену:

— Ты про кого? Ах, Маэ?.. Да вот она.

В самом деле, она вышла из барака с лампой в руке, в мужской одежде, в шерстяном колпаке, плотно облегавшем голову. Компания, сжалившись над судьбой несчастной женщины, которую постигли такие жестокие утраты, соблаговолила, в виде исключения, допустить ее к подземным работам, хотя Маэ исполнилось сорок лет; в этом возрасте неудобно было поставить ее, как в молодости, на откатку, поэтому ей поручили вертеть небольшой вентилятор, установленный в Северном крыле: в выработках, лежащих под Тартаре, поистине было адское пекло, а воздух туда не доходил. Долгие часы Маэ вертела колесо в глубине раскаленного хода, обливаясь потом в сорокаградусной жаре. Зарабатывала она тридцать су.

Когда она подошла, такая жалкая в мужской одежде, огромная, как будто грудь и живот у нее разбухли от сырости, царившей в шахте, Этьен был потрясен; он не находил слов, с трудом объяснил, что хотел перед отъездом проститься с нею.

Она не слушала, только пристально смотрела на него, и наконец произнесла, заговорив с ним на «ты»:

— Ну, как? Удивляешься, что и я тут, да? Ведь я грозилась

собственными руками удавить родный детей, если они спустятся в шахту... А вот сама тут работаю. Самой бы надо удавиться, верно? И давно бы руки на себя наложила, да кто же будет кормить старика и ребятишек?

Она говорила тихим, усталым голосом,— не оправдывалась, а просто вспоминала, как все случилось: рассказала, что они едва не умерли с голоду, и тогда она решила пойти на шахту, а иначе ее выгнали бы из поселка.

— Как старик? Здоров? — спросил Этьен.

— Да, все такой же, как прежде,— тихий, спокойный, опрятный. Но голова совсем сдала... Его поэтому и не засудили за то, что он тогда натворил. Ты не слыхал? Хотели было отправить его в сумасшедший дом, да я не дала: его бы там били, а то и отравы бы подсыпали... А все-таки наделал он нам беды,— ведь теперь пенсии-то ему никогда не дадут. Тут один начальник сказал мне, что нельзя ему назначить пенсию: это, говорит, будет безнравственно.

— Жанлен работает?

— Да, ему подыскали работу на поверхности. Зарабатывает двадцать су... Нет, я не жалуюсь, начальники добра нам желают,— они сами мне об этом говорили. Мальчишка зарабатывает двадцать су да я тридцать,— всего, значит, пятьдесят. Будь нас поменьше, можно бы прокормиться,— но ведь нас шестеро. Теперь и Эстелла от старших не отстает,— только давай. А хуже всего, что надо еще ждать года четыре-пять, пока Ленора и Анри немножко подрастут и пойдут на шахту.

Этьен не мог подавить горестного чувства:

— И они тоже?

Кровь прилила к бледному лицу Маэ, глаза загорелись огнем. Но тотчас она как-то поникла, сгорбилась, словно на ее плечи пало неизбывное бремя, назначенное судьбою.

— Что поделаешь. Одни за другими, так и пойдет... Все там жизни решились, теперь их черед.

Она умолкла. Рабочие, катившие вагонетки, согнали их с места. В широкие, запыленные окна проникали первые лучи рождавшегося дня, и померкший свет фонарей казался серым, тусклым; через каждые три минуты гудела подъемная машина, разматывались тросы, клети проглатывали все новые партии людей.

— А ну, кто там прохлаждается? Пошевеливайтесь! — крикнул Пьерон.— Забирайтесь в клеть, а то мы никогда не кончим.

— Так ты, значит, уезжаешь?

— Да, нынче утром.

— Что ж, правильно делаешь... Лучше отсюда подальше быть... если можешь, понятно. Хорошо, что мы с тобой встретились,— ты хоть будешь знать, что я против тебя не держу зла.

Было время, когда мне хотелось пришибить тебя, после всех смертей, после этой бойни. А потом стала я думать, думать и поняла, что никто тут не виноват... Нет, не твоя тут вина,— все виноваты.

Затем она заговорила об умерших — о муже, о Захарии, о Катрин: говорила спокойно, и лишь когда произнесла имя Альзиры, у нее на глазах выступили слезы. По-видимому, к ней вернулась прежняя ее выдержка и рассудительность, она высказывала очень разумные мысли.

Не принесет начальникам счастья, что они поубивали столько народу, говорила она, когда-нибудь они будут за это наказаны, потому что за всякое злодейство виновных ждет расплата.

В это даже и вмешиваться не придется,— вся их лавочка лопнет сама собой, солдаты будут стрелять в хозяев, как стреляли они нынче в рабочих. И, несмотря на покорность, на унаследованное послушание, опять пригнувшие эту женщину, мысль ее работала теперь именно так, а в душе жила уверенность, что несправедливость не может длиться бесконечно, и если нет больше господа бога, придет другой судия и отомстит за несчастных бедняков.

Она говорила тихо, опасливо озираясь. А когда поблизости показался Пьерон, громко добавила:

— Ну что ж, раз ты уезжаешь, зайди к нам, возьми свои пожитки... Две рубашки твоих у нас остались, три платка, старые штаны.

Этьен махнул рукой, отказываясь от этих тряпок, уцелевших от набегов старьевщика.

— Да нет, чего там... Пусть ребятам останутся... В Париже я достану.

Машина уже два раза спустила клеть, и Пьерон решился поторопить Маэ:

— Эй вы, там! Ведь вас ждут! Скоро кончите болтать?

Но Маэ повернулась к нему спиной. Зря продажная шкура усердствует. Спуск рабочих его не касается. На шахте он заслужил всеобщую ненависть. И Маэ упрямо стояла с Этьеном, держа лампу в руках, и зябла на сквозняке, всегда холодном, даже в теплую погоду.

И она и Этьен вдруг растеряли все слова, только смотрели друг на друга; у обоих тяжело было на сердце и хотелось сказать еще что-то нужное. Наконец Маэ произнесла — просто для того, чтобы не молчать:

— Жена Левака беременна, а сам Левак все еще в тюрьме. Пока что Бутлу в доме хозяин.

— Ах да, Бутлу.

— Слушай, я говорила тебе? Филомена уехала.

— Как? Уехала?

— Ну да, с одним парнем из Па-де-Кале, он тоже углекоп. Я боялась, как бы она не оставила мне своих малышей. Да нет, взяла с собою... Нет, ты подумай! Ведь бабенка кровью харкает. Поглядеть, в чем душа держится... И смиренная такая.

Она умолкла, задумалась. Потом тихонько проговорила:

— А что про меня-то выдумали!.. Помнишь, плели, будто я с тобой живу. Господи боже ты мой! После смерти мужа, конечно, могло бы такое дело случиться, будь я помоложе, верно? Но я рада, что ничего этого не было, потому что мы наверняка пожалели бы, зачем так вышло.

— Да, наверно, пожалели бы,— без обиняков ответил Этьен.

Вот и все,— на этом кончился их разговор. Пора было отправлять клеть. Стволовой сердито звал Маэ, грозил ей штрафом. И она наконец простилась с Этьеном, крепко пожала ему руку. Он с глубоким волнением смотрел ей вслед. Какая она измученная, как постарела, жизнь ее теперь кончена! В лице ни кровинки, из-под синего шерстяного колпака выбиваются седеющие волосы, расплывшуюся фигуру много рожавшей женщины безобразно облегают парусиновые штаны и куртка. Но ее прощальное рукопожатие было таким же, как у его товарищей: этим долгим безмолвным рукопожатием все они назначали ему новую встречу — в тот день, когда борьба возобновится. Этьен прекрасно понял ее взгляд, выражавший спокойную веру в будущее. До скорого свидания, говорили ее глаза, и уж на этот раз бой будет решающим.

— Экая лентяйка, черт бы тебя побрал!

Протиснувшись в давке и толчее, Маэ вошла в клеть и скорчилась на дне вагонетки вместе с четырьмя другими углекопами. Стволовой дернул веревку, подав сигнал: «Шлем говядину». Клеть снялась с упоров и ринулась в черный провал: над ним видно было лишь быстрое скольжение стального троса.

И тогда Этьен распрощался с шахтой. Внизу, под сараем сортировочной, он заметил какого-то человечка, который сидел, вытянув ноги, на толстом слое угля. Оказалось, что там пристроился Жанлен, занимавшийся «очисткой». Поставив угольную глыбу между колен, он молотком сбивал с нее осколки сланца; его окутывало густое облако черной, как сажа, пыли, и никогда Этьен не узнал бы его, если б Жанлен не поднял свою обезьянью мордочку с оттопыренными ушами и зеленоватыми узкими глазами. Он насмешливо захихикал и, разбив глыбу последним ударом, исчез в поднявшейся угольной пыли.

Выйдя за ворота, Этьен некоторое время шел по дороге, погрузившись в раздумье. Мыслей было так много, и таких мрачных. Но ведь над его головой блистала чистая синева неба, во-

круг раскинулись привольные дали; он полной грудью вдохнул свежий воздух. На горизонте во всей своей славе вставало солнце, настал час ликующего пробуждения природы. По неоглядной равнине с востока на запад разливался поток золотых лучей. Волна животворного тепла ширилась, захватывая каждую пядь земли, рождая в полях трепет молодости, обновления, вздохи счастья, пение птиц, журчание вод и шорохи лесов. Казалось, старому миру было радостно жить, и он хотел прожить еще одну весну. Отдавшись светлой надежде, Этьен шел, замедлив шаг, окидывая взглядом поля, простиравшиеся слева и справа от дороги, дышавшие счастьем весеннего возрождения. Он старался разобраться в себе и чувствовал, что стал сильнее, стал более зрелым, пройдя через тяжкие испытания в глубине шахты.

Они завершили его воспитание, он вышел из них, вооруженный опытом борьбы, вышел сознательным солдатом революции, объявившим войну обществу, ибо вынес приговор тому, что ему довелось увидеть в этом обществе. Радуясь, что скоро он присоединится к Плюшару и, так же как Плюшар, будет вожаком, к которому прислушиваются, он обдумывал свои будущие выступления, искал красноречивых, убедительных слов. Теперь Этьен хотел расширить свою программу; приобретенная буржуазная утонченность, поднявшая уровень его развития, усиливала в нем ненависть к буржуазии. Запахи нищенского жилья углекопов теперь были ему неприятны, но тем больше жаждал он восславить рабочих, показать, что только они велики, только они достойны уважения, только они благородны, только они представляют собою ту силу, которая способна возродить человечество. И он уже видел себя на трибуне, видел, как он торжествует вместе с народом, если только народ не растерзает его.

Высоко в поднебесье звенела песня жаворонка, и невольно Этьен поднял голову. В прозрачной синеве таяли багряные облачка, последние следы ночного тумана; и вдруг в памяти Этьена возникли расплывчатые образы Суварина и Раснера. Нет, решительно все разваливается, когда каждый тянет в свою сторону и хочет властвовать. Вот потому-то и оказался бессильным знаменитый Интернационал, который должен был обновить мир: в его грозной армии из-за внутренних раздоров начался раскол, и она раздробилась. А неужели Дарвин прав, и все в мире — борьба, в которой сильные пожирают слабых, что обеспечивает красоту и сохранение рода? Проблема эта смущала его, хотя, рассматривая ее, он добросовестно применял приобретенные познания. Но вдруг у него возникла мысль, рассеявшая его сомнения и восхитившая его: в первый же раз, как ему придется выступить с речью, надо обратиться к своему давнишнему толкованию этой теории. Если верно, что один класс общества пожрет другой класс, то, конечно,

будет так, что народ как жизнеспособный, полный нерастраченной энергии социальный организм пожрет буржуазию, истощившую в наслаждениях свои силы. Для созидания нового общества понадобится обновление крови. Произойдет своего рода нашествие варваров, возрождавшее старые, одряхлевшие нации. Словом, вновь заговорила его несокрушимая вера в недалекую революцию — революцию трудящихся, пожар которой запылает в конце столетия и озарит землю пурпуром восходящего солнца, как тот багряный свет рождающегося дня, что заливал сейчас небо.

Мечтая о грядущем, он шел ровным шагом, постукивая кизиловой палкой о булыжники, и, когда смотрел вокруг, узнавал то один, то другой знакомый уголок. Вот тут, у Коровьей развилки, он возглавил отряд забастовщиков в то утро, когда они разгромили шахты. А теперь в шахтах возобновилась работа — работа отупляющая, убийственная, плохо оплачиваемая. И ему казалось, что он слышит под землею, на глубине в семьсот метров, глухие, мерные, непрерывные удары: это стучали те самые рабочие, которые на его глазах спускались нынче в шахту,— черные, чумазые, грязные, они с молчаливой злобой врубались в уголь. Они были побеждены, они потеряли в сражении свой заработок и многих товарищей, но Париж не забудет выстрелов, раздававшихся в Воре́; этой раны Империи не залечить, теперь кровь потечет из собственного ее тела. Пусть промышленный кризис близится к концу, пусть вновь заработают одна за другой остановившиеся фабрики и заводы, но война объявлена, война продолжается, и отныне заключить мир невозможно. Углекопы подсчитали своих бойцов, попробовали свои силы, когда их поднял на борьбу клич: «Справедливость!», взволновавший рабочих всей Франции. Поэтому их поражение не успокоило врагов, богатые обыватели города Монсу, охваченные глухой тревогой даже в дни победы, сразу после подавления забастовки, со страхом озирались, не таится ли все-таки за этой глубокой тишиной неизбежный их конец. Они понимали, что революция будет возрождаться постоянно и, может быть, вспыхнет завтра, начавшись всеобщей забастовкой, согласованными действиями всех трудящихся; а поскольку у рабочих появились кассы взаимопомощи, они могут продержаться многие месяцы, их не удушить рукою голода, у них будет хлеб. Разваливающееся общество пока еще получило лишь пробный удар плечом, но буржуа услышали треск под своими ногами, почувствовали, как снизу нарастают все новые и новые толчки, буржуа знают, что так будет до тех пор, пока обветшалое здание не расшатается и не рухнет в пропасть, как Ворейская шахта.

Этьен свернул влево, на Жуазельскую дорогу. Ему вспомнилось, как тут он помешал разъяренной толпе ринуться на шахту Гастон-Мари. Вдалеке при ярком свете солнца видны были выш-

ки многих шахт: направо — Миру́, совсем близко одна от другой Мадлен и Кревкер. Всюду шла работа; удары обушков под землею, которые он как будто улавливал, теперь раздавались по всей равнине, из конца в конец. Удар, еще удар, и опять удар один за другим раздавались под вспаханными полями, под дорогами, под деревнями, улыбавшимися солнечному свету; но лишь тот, кто знал, что в черных недрах, придавленных огромной толщей земли и камня, идет безвестная и тяжелая работа, лишь тот мог различить глубокий скорбный вздох, доносившийся с подземной каторги. Этьен думал о ней, но теперь ему казалось, что, быть может, насилие не ускорит освобождение. Перереза́ть тросы, срывать с путей рельсы, разбивать лампы — какое бесполезное дело! Нечего сказать, стоило из-за этого толпе разрушителей мчаться три мили... Этьен смутно угадывал, что придет день, когда легальные действия окажутся более грозным оружием. В его размышлениях было теперь больше уравновешенности, он не кипел яростной злобой за свои обиды. Да, вдова Маэ, с присущим ей здравым смыслом, правильно сказала: это будет решающий бой. Спокойно встать в ряды бойцов, узнать друг друга, объединиться в союзы, когда это позволят законы; в один прекрасный день, почувствовав, что все товарищи стоят в тесном строю, плечом к плечу, а перед лицом миллионов трудящихся стоит несколько тысяч тунеядцев, захватить власть и стать хозяевами. Ах, какое славное пробуждение истины и справедливости! Сразу сгинет жестокое божество, которому приносили в жертву столько жизней, безобразный идол, спрятанный в капище, в неведомых далях, где обездоленные откармливали его своей плотью и кровью, но никогда его не видели.

Расставшись с Вандамским проселком, Этьен вышел на шоссе. Справа показалось Монсу, которое спускалось в ложбину и там исчезало из глаз. Напротив лежали развалины Ворейской шахты, проклятая яма, из которой три насоса, работавшие беспрерывно, откачивали воду. Вдали, на горизонте, виднелись другие шахты: Виктуар, Сен-Тома, Фетри-Кантель; на севере в прозрачном утреннем воздухе дымились высокие башни доменных печей и коксовые батареи. Надо было поторапливаться, чтобы поспеть к восьмичасовому поезду,— до станции еще оставалось шесть километров. Этьен пошел быстрее, а под его ногами где-то в глубине по-прежнему раздавались упорные удары обушков. Там были все его товарищи,— он их слышал, они сопутствовали каждому его шагу.

Кто трудится вон там, под свекловичным полем? Наверное, вдова Маэ, сгибая спину, вертит в подземной галерее рукоятку вентилятора, сливая хриплое свое дыхание с его гулом. А дальше — слева, справа — он как будто узнавал других: они стучали

под нивами, под кустами живых изгородей, под молодыми деревцами! Солнце, сверкающее апрельское солнце уже сияло в небе во всей своей красе, согревая кормилицу-землю, совершавшую чудо рождения. Из недр ее возникала жизнь, на ветвях лопались почки и снова появлялись молодые листья; на лугах зеленела молодая трава. По всей равнине набухали брошенные в почву семена, и, пробивая ее корку, всходы тянулись вверх, к теплу и свету. Соки земные вливались в новые побеги, слышался тихий шепот; шорохи прорастания все ширились, и казалось, то звучат долгие поцелуи. И снова, снова все явственнее раздавались удары, как будто углекопы, товарищи Этьена, поднимались вверх.

К земле, залитой сверкающими лучами солнца, вернулась молодость, земля была полна этим шумом. Из недр ее тянулись к свету люди — черная армия мстителей, медленно всходившая в ее бороздах и постепенно поднимавшаяся для жатвы будущего столетия, уже готовая ростками своими пробиться сквозь землю.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЗАПАДНЯ

Стр. 18. *Давеча, когда голосовали за Эжена Сю...*— Писатель Эжен Сю (1804—1857), автор социально-авантюрных романов «Парижские тайны» и «Вечный Жид», 28 апреля 1850 года на дополнительных выборах в Законодательное собрание Второй французской республики был избран депутатом от Парижа. Эжен Сю симпатизировал социализму, и исход выборов произвел большое впечатление в напряженной политической обстановке тех лет.

...ругая стервеца Бонапарта.— Имеется в виду принц Луи-Наполеон Бонапарт (1808—1873), в 1848—1852 годах — президент Второй республики; в 1852—1870 годах император Наполеон III.

Стр. 23. *Су* — двадцатая часть франка, пять сантимов.

Стр. 26. *Я жила в Плассане...*— О юности Жервезы см. в романе Золя «Карьера Ругонов».

Стр. 38. *Внешние бульвары* — кольцо бульваров, проходивших вблизи тогдашней границы города.

«Западня».— Это арготическое слово (по-французски l'Assommoir, от глагола assommer — «оглушить», «пристукнуть») — не название конкретного заведения, а общее наименование дешевых кабаков, где торговали крепкими напитками, «оглушающими» посетителя. Поставив это слово в заглавие своей книги, Золя усилил до символа его этимологическое значение.

Стр. 69. *...зайти полюбоваться могилой Элоизы и Абеляра...*— На кладбище Пер-Лашез действительно есть могила, в которой, по преданию, похоронены вместе средневековый философ-схоласт Пьер Абеляр (1079—1142) и его возлюбленная Элоиза.

Стр. 70. *Говорят, что у нее есть в Париже сестра — колбасница.* — О сестре Жервезы, Лизе Маккар, см. в романах Золя «Карьера Ругонов», «Чрево Парижа», «Радость жизни».

Стр. 72. *«Плот Медузы»* (1819) — картина французского художника Теодора Жерико, сюжетом которой послужила гибель в 1816 году корабля

При подготовке примечаний частично использованы комментарии французского литературоведа Анри Миттерана в издании: Zola E. Les Rougon-Macquart, t. II, III. Paris, 1978 (Bibliothèque de la Pléïade).

«Медуза» и двенадцатидневная борьба за жизнь его экипажа на плоту в открытом океане.

Стр. 73. *Вот балкон, с которого Карл Девятый стрелял в народ.*— Речь идет о Варфоломеевской ночи — массовом избиении протестантов католиками в Париже в 1572 году. По преданию, король Карл IX лично стрелял в протестантов с балкона своего дворца.

Жервеза спросила, что нарисовано на картине «Брак в Кане Галилейской».— Имеется в виду знаменитое полотно Паоло Веронезе (1562), изображающее одно из чудес Христа.

...бедра Антиопы.— Видимо, имеется в виду картина Корреджо «Спящая Антиопа» (1521—1522).

Она заинтересовалась возлюбленной Тициана... и Мадинье выдал ее за красавицу Ферроньер — любовницу Генриха IV, которую видел в драме, идущей в театре «Амбигю».— Мадинье путает две картины, хранящиеся в Лувре: «Портрет молодой женщины за туалетом» Тициана (ок. 1512—1515), традиционно именуемый «Возлюбленная Тициана», и женский портрет работы Леонардо да Винчи (ок. 1481), который молва одно время объявляла портретом «красавицы Фероньер» — легендарной любовницы французского короля Франциска I (а не Генриха IV, как считает Мадинье). По современным данным, на картине Леонардо изображена Лукреция Кривелли, фаворитка миланского герцога Лодовико Моро.

Стр. 76. *Когда они вышли на Вандомскую площадь и остановились, глядя на колонну...*— На Вандомской площади в 1806—1810 годах была воздвигнута, в память о победах Наполеона I, бронзовая колонна, отлитая из пушек, захваченных французами в битве при Аустерлице (1805).

Стр. 80. *Лорийе говорил, что в прежние времена золотых дел мастера часто носили шпагу, и он ссылался на Бернара Палисси, не зная толком, кто это.*— На самом деле Бернар Палисси (ок. 1510—1589 или 1590) был не золотых дел мастером, а выдающимся художником-керамистом. Дворянского звания, дававшего право носить шпагу, он не имел.

Стр. 81. *Их закон от тридцать первого мая — просто срам.*— Имеется в виду избирательный закон, принятый 31 мая 1850 года и требовавший от избирателей постоянного проживания на одном месте в течение трех лет (а не двух, как утверждает Мадинье). В результате действительно лишились избирательного права около 3 миллионов человек (почти треть всех избирателей) — в основном рабочие, вынужденные в поисках заработка часто менять место жительства.

Елисейский дворец — резиденция президента Французской республики.

Граф де Шамбор (1820—1883) — последний отпрыск старшей ветви королевской династии Бурбонов. После свержения Бурбонов в 1830 году сторонники «легитимной монархии» тщетно прочили его на французский престол, именуя «Генрихом V».

Стр. 82. *...как-то вечером я видел графа де Шамбора...*— Такого быть не могло: граф де Шамбор с 1830 года жил в эмиграции.

Стр. 82. *Граф де Шамбор накануне забыл у него зонтик.*— Судя по этой детали, Лорийе путает претендента на престол с королем Луи-Филиппом, который за годы своего правления (1830—1848) приобрел репутацию «короля-буржуа» (появлялся в подчеркнуто строгом прозаичном облачении, с зонтиком в руке).

Стр. 86. *...польку из «Жемчужин».*— Возможно, имеется в виду комическая опера французского композитора Ф.-С. Давида «Жемчужина Бразилии» (1851).

Стр. 88. *...один старый господин из Плассана попросил отпустить к нему старшего из ребят — Клода...*— О дальнейшей судьбе Клода Лантье, ставшего художником, см. в романах Золя «Чрево Парижа», «Радость жизни», «Творчество».

Стр. 97. *Дело было второго декабря.*— 2 декабря 1851 года президент Бонапарт совершил государственный переворот, распустив Законодательное собрание и фактически ликвидировав Вторую республику. Левые республиканцы попытались организовать вооруженное сопротивление перевороту, но их выступление было сравнительно легко подавлено верными президенту войсками.

Стр. 98. *...в феврале и июне рабочие получили хороший урок...*— Имеется в виду два восстания в Париже в 1848 году, не принесшие победы пролетариату, который играл в них главную роль: 23—24 февраля была свергнута монархия Луи-Филиппа, но к власти пришло буржуазное правительство, далекое от интересов народных масс; 23—26 июня уже само это правительство жестоко подавило новое восстание рабочих, отстаивавших свои социальные права.

Стр. 118. *Зуав* — солдат французских колониальных войск, созданных в 1831 году, в ходе завоевания Алжира.

Стр. 143. *Фифина* и *Дедель* — уменьшительные от женских имен Жозефина и Адель.

Стр. 150. *Лиар* — старинная монета в четверть су.

Стр. 181. *Нет, только с бедуинами... Казаков уж давно нет.*— Говоря о боях с «бедуинами», Пуассон имеет в виду завоевание Францией Алжира в 1830—1840-х годах; упоминание же о «казаках» отсылает к 1814 году, когда Париж был взят войсками антинаполеоновской коалиции, в том числе и русскими.

Стр. 183. *...папаша Ной насадил виноградник...*— В Библии содержится рассказ о том, как Ной первым стал растить виноград и допьяна напился вином.

Стр. 190. *Абд-эль-Кадир* (1808—1883) — вождь восстания против французских завоевателей в Алжире в 1832—1847 годах.

Стр. 203. *Он прозвал полицейского Баденге в насмешку над императором.*— Насмешливое прозвище «Баденге» было присвоено Луи-Наполеону Бонапарту после побега, совершенного им в 1846 году из форта, куда он был заключен за попытку мятежа и захвата власти. Для побега будущий император переоделся в платье рабочего-каменщика; злые языки уверяли, что

каменщик этот существовал на самом деле и носил фамилию Баденге (по-французски она вызывает комические ассоциации).

Стр. 204. *А вы знаете, что император служил в Лондоне полицейским?*— В 1847 году принц Луи-Наполеон, живший в эмиграции в Англии, действительно стал «констеблем» своего церковного прихода. Эта средневековая должность (в обязанности констебля входило поддержание порядка на территории общины) в XIX веке стала чисто номинальной.

Ледрю-Роллен Александр-Огюст (1807—1874) — французский мелкобуржуазный демократ, один из видных деятелей Второй республики в 1848—1849 годах.

...изданную в Брюсселе книжонку с гравюрами: «Любовные похождения Наполеона III».— Под таким названием (правда, без гравюр) выходили в 60-х годах антинаполеоновские памфлеты французского сатирика Пьера Везинье.

Стр. 205. *«История десятилетия» Луи Блана* — вышедшая в 1841 году критическая история Июльской монархии, написанная утопическим социалистом Луи Бланом (1811—1882).

«Жирондисты» Ламартина — «История жирондистов» (1847), историческое сочинение писателя-романтика, одного из лидеров Второй республики Альфонса де Ламартина (1790—1869); посвящено событиям Великой французской революции.

«Парижские тайны» и «Вечный Жид» Эжена Сю — см. примеч. к с. 18.

Кайенна — административный центр Французской Гвианы (в Южной Америке); в XIX веке место ссылки для приговоренных к каторжным работам.

Стр. 222. *Купо как раз встал, чтобы сотворить крестное знамение пьяниц.*— Пародируя католический обряд, Купо произносит вместо формулы «во имя отца, сына и святого духа» названия районов Парижа.

Стр. 227. *...на святого Антония...*— то есть 17 января.

Стр. 255. *«De profundis»* — начало псалма, произносимого при заупокойной службе.

Стр. 302. *...девчонку еще можно выдать замуж с венком флердоранжа на голове.*— Венок флердоранжа — символ девственности.

Стр. 310. *...чтобы держать в страхе северного медведя...*— Имеется в виду Россия.

Стр. 312. *В этом году перестраивался весь район.*— В годы Второй империи были предприняты работы по реконструкции французской столицы — прокладывались широкие проспекты и бульвары, их застраивали большими зданиями. Реконструкция эта не только имела в виду поднять внешний престиж императорского режима, но преследовала и внутриполитические цели — вытеснить рабочих из перестраиваемого центра в предместья и на случай народных восстаний обеспечить правительственным войскам удобные магистрали для маневра.

Стр. 316. *Сен-Лазар* — в XIX веке женская тюрьма в Париже.

Стр. 321. *...она больше в нас не нуждается.*— О дальнейшей судьбе Анны Купо см. в романе Золя «Нана».

Стр. 335. *...песенку про доброго короля Дагобера...*— Имеется в виду старинная народная песня о легендарном короле, исторический прототип которого — Дагобер I, король франков в 629—639 годах.

Стр. 348. *...от своего сына Этьена...*— О дальнейшей судьбе Этьена Лантье см. далее, в романе «Жерминаль».

Стр. 354. *Играйте на своей шарманке!*— Купо в бреду воображает себя жертвой покушения, вспоминая мотивы, связанные с громкими делами об убийствах, в частности, об убийстве судейского чиновника А. Фюальдеса, когда один из убийц играл на шарманке, чтобы заглушить крики жертвы.

Стр. 356. *Шарантон* — психиатрическая лечебница близ Парижа.

Мазас — тюрьма, размещенная во второй половине XIX века на одноименном парижском бульваре.

ЖЕРМИНАЛЬ

Стр. 362. *...из Маршьена в Монсу...*— Маршьен — реально существующий городок во французском департаменте Нор; что же касается Монсу, то этот город вместе с окрестностями, где развертывается действие романа, вымышлен писателем.

Стр. 365. *Увольняют всех подряд, мастерские одна за другой закрываются...*— Действие романа приурочено к экономическому кризису 1866—1867 годов, который тяжело ударил по угольной, металлургической и текстильной промышленности севера Франции.

Император, может, и не виноват... Да зачем он ввязался в войну в Америке? — В 1862—1867 годах правительство Наполеона III организовало (совместно с Англией и Испанией) вооруженную интервенцию в Мексике, пытаясь навязать этой стране монархическое правление и посадить на трон своего ставленника.

Стр. 366. *Звать меня Бессмертный.*— В оригинале это прозвище звучит более зловеще — Bonnemort, то есть «добрая смерть».

Стр. 369. *Коммуна* — мелкая административно-территориальная единица во Франции, возглавляемая мэром и муниципальным советом.

Стр. 382. *...намерение убрать женщин с подземных работ...*— Использование женского труда на подземных работах в шахтах было официально запрещено во Франции лишь в 1874 году.

Стр. 383. *...шахтерские лампочки Дэви...*— Речь идет о лампе, изобретенной в 1815 году английским химиком и физиком Х. Дэви и предохраняющей от взрывов рудничного газа.

Стр. 386. *Квершлаг* — подземная выработка (галерея), ведущая через пустую породу к угольному пласту.

Стр. 391. *Пьерро* — традиционный персонаж французского народного театра; постоянная черта его облика — густой белый грим на лице.

Стр. 395. *А я, как выпью, будто сумасшедший делаюсь; и себя и других могу искалечить.*— Данная черта характера Этьена — рудимент первоначального замысла Золя. В одном из планов цикла «Ругон-Маккары» писатель предназначал этому сыну Огюста Лантье и Жервезы Маккар роль героя в «романе о преступлении»; в генеалогической таблице рода Ругон-Маккаров он характеризовал его как человека, в котором наследственный алкоголизм принимает форму «преступного склада» личности. Однако в ходе работы над «Жерминалем» Золя убедился, что такие наследственные задатки плохо согласуются с характером рабочего вожака, и значительно приглушил их звучание в книге; впоследствии, взявшись за намеченный «роман о преступлении» («Человек-зверь»), он в качестве героя этой книги вывел другого сына Жервезы — Жака Лантье, не фигурировавшего до тех пор ни в плане цикла, ни в генеалогической таблице.

В Париже, на улице Гут-д'Ор. Прачкой работает.— См. выше, в романе «Западня».

Стр. 419. *Супруги охотно рассказывали о происхождении своего богатства...*— Излагаемая ниже история вымышленной Компании Монсу в основном соответствует истории реальной Анзенской угольной компании, упоминаемой в романе как конкурент Компании Монсу.

Стр. 420. *...полновесными экю...*— то есть серебром, а не ассигнациями (экю — название старинной монеты).

...купив остатки ее в качестве национального имущества за гроши.— «Национальным имуществом» в годы Великой французской революции назывались поместья, конфискованные у дворян — эмигрантов и заговорщиков. Эти земли распродавались на льготных условиях гражданам, верным республике.

Стр. 469. *...и поэтому лишь позднее тот узнал его историю.*— Создавая биографию Суварина, Золя воспользовался реальными фактами русского революционного движения 70—80-х годов XIX века. Так, мотив обучения дворянина Суварина ручному ремеслу заимствован, по-видимому, из биографии революционного народника А. К. Соловьева (1846—1879), неудачно стрелявшего в 1879 году в Александра II; Соловьев изучал ремесло слесаря. Чуть ниже кратко излагается история подготовки другого покушения на царя: 1 марта 1881 года под улицей на пути следования царя была подведена мина, но Александр II поехал другой дорогой и был убит ручной бомбой.

Стр. 470. *Крольчиха, которой он дал кличку «Польша»...*— Очевидно, в память о польском восстании 1863—1864 годов против власти русского царизма.

Стр. 471. *...о знаменитом Интернационале, который недавно был основан в Лондоне.*— Международное товарищество рабочих (I Интернационал) было образовано в Лондоне в сентябре 1864 года; в 1864—1865 годах появились первые его секции во Франции.

Спалите города в пламени пожаров, скосите целые народы, уничтожьте всё...— В характеристике политических убеждений Суварина

отразились искаженные представления Золя о современном ему русском революционном движении. Анархистское учение М. А. Бакунина, чьим последователем называет себя персонаж романа, действительно пользовалось влиянием среди части народников; однако русские «нигилисты» не были фанатиками бессмысленного тотального разрушения, как склонен считать Золя,— их террористические акты обычно были направлены только против высших представителей царской администрации. Народнический революционный террор в России (равно как и акции анархистов в Западной Европе) широко развернулся лишь в конце 70-х и в 80-е годы, то есть позже эпохи, когда происходит действие «Жерминаля».

Стр. 473. *Вот вам равновесие, поддерживаемое пустым желудком...*— Суварин излагает закон регулирования заработной платы в условиях капиталистического производства, сформулированный Рикардо.

...французскую книгу о кооперативных обществах...— Идею «кооперативных обществ» как формы установления социализма без революционного захвата власти выдвигал в 60-е годы немецкий социалист-реформист Ф. Лассаль (1825—1864).

...читал регулярно газету «Битва»...— Упоминаемые в романе революционные газеты вымышлены писателем.

Стр. 481. *Валлонцы* (валлоны) — народ в Бельгии, говорящий на валлонском диалекте французского языка.

Стр. 515. *Церера* — в римской мифологии богиня земледелия и плодородия.

Стр. 517. *...уговорил племянника подать в отставку...*— Политехническая школа в Париже является военно-инженерным учебным заведением, и ее слушатели и выпускники состоят на военной службе.

Стр. 522. *«Русский салат»* — так называется во Франции привычное для нас блюдо — мелко накрошенные овощи под майонезом.

Стр. 524. *...некий важный барин, имени которого я называть не стану...*— Возможно, имеется в виду герцог де Морни (1811—1865), сводный брат Наполеона III, влиятельная фигура Второй империи; был крупным акционером ряда компаний.

Стр. 544. *...напишет от своего имени приглашения, раз закон этого требует.*— Законом Второй империи до 1868 года запрещались какие-либо публичные собрания и митинги; допускались только «частные» собрания по пригласительным билетам.

Стр. 547. *Прудон* Пьер-Жозеф (1809—1865) — французский мелкобуржуазный социалист; предполагал устранить классовые противоречия капитализма путем создания ассоциаций, в которых трудящиеся заключали бы между собой контракты на условиях взаимопомощи и беспроцентного кредита.

Стр. 549. *Не пройдет и трех лет, и под его руководством Интернационал наверняка разгромит старый мир...*— Говоря о приходе М. А. Бакунина к руководству Интернационалом, Золя подразумевает события 1872 года (то есть более позднего времени, чем действие романа), истолковывая их неточно. В этом году Бакунин был исключен из Международного товари-

щества рабочих, после чего создал собственную организацию, объявив ее «истинным», «законным» Интернационалом. В то время как «старый» Интернационал, следовавший линии Маркса, четыре года спустя был распущен, «анархистский Интернационал» Бакунина продолжал существовать еще и в пору работы Золя над «Жерминалем», но объединял лишь замкнутые группы заговорщиков и террористов, поэтому отождествлять его с основанным в 1864 году Международным товариществом рабочих невозможно.

Стр. 550. *...вспоминая то, что обрывками поверял ему Суварин...*— Здесь Золя вновь пользуется реальными фактами революционного движения в России на рубеже 70—80-х годов. Слова о «бомбах, заложенных под царским дворцом», отсылают к покушению С. Н. Халтурина на Александра II в феврале 1880 года; о «шефах жандармерии, которых убивали ударами ножа»,— к убийству в 1878 году С. М. Кравчинским шефа жандармов Н. В. Мезенцова; рассказ о повешенной женщине-революционерке навеян историей С. Л. Перовской, казненной в Петербурге в апреле 1881 года за организацию убийства царя 1 марта.

Стр. 582. *Эно* (Геннегау) — историческая область, включающая северные департаменты нынешней Франции, а также южные районы Бельгии.

Стр. 633. *...пели «Марсельезу»...*— В период Второй империи (вплоть до начала франко-прусской войны в 1870 году) «Марсельеза», как революционный и республиканский гимн, находилась под запретом.

Стр. 634. *Перед ними в багровом свете заката предстало видение — призрак революции...*— Описание колонны рабочих напоминает один из известных эпизодов Великой французской революции — поход парижской бедноты на Версаль 5—6 октября 1789 года, когда во главе колонны также шли женщины-работницы. Золя усиливает эту ассоциацию, вводя другие мотивы, связанные с революцией 1789—1794 годов (пение «Марсельезы», призрак гильотины).

Стр. 674. *Был только один человек, который мог бы превратить их организацию в грозное орудие разрушения.*— Имеется в виду М. А. Бакунин, скончавшийся в 1876 году. Упоминание о его смерти — очередной анахронизм романа.

В России ничего не получается...— Вероятно, Золя имел здесь в виду попытки Исполнительного комитета «Народной воли» после убийства Александра II добиться политических уступок от его преемника Александра III.

Стр. 702. *...следующее немногословное воззвание...*— Текст воззвания в значительной своей части дословно повторяет аналогичное обращение к рабочим, изданное дирекцией в ходе крупной стачки шахтеров на рудниках Фуршамбо весной 1870 года.

Стр. 710. *...представлен к офицерскому кресту ордена Почетного легиона.*— Это вторая степень ордена Почетного легиона, более высокая, чем кавалерский крест.

Стр. 713. *Мы провели две недели в глубокой норе, подводя мину под железнодорожное полотно...*— Еще один эпизод, навеянный реальными собы-

тиями революционной борьбы в России. В ноябре 1879 года народовольцы Л. Н. Гартман и С. Л. Перовская пытались взорвать под Москвой поезд, в котором ехал царь Александр II. В описании у Золя внешности Суварина усматривают портретное сходство с Гартманом.

Стр. 772. *...объединиться в союзы, когда это позволят законы...*— Создание профессиональных союзов было разрешено во Франции только в марте 1884 года, уже во время работы Золя над романом.

Стр. 773. *...черная армия мстителей, медленно всходившая в ее бороздах...*— Заключительный образ романа, выявляющий символику его названия, должен был, очевидно, вызывать у читателей ассоциацию с греческим мифом о Кадме. Этот герой засеял землю зубами убитого им дракона, и из них выросли воины в полном вооружении, с помощью которых Кадм построил новый город Фивы.

С. Зенкин

СОДЕРЖАНИЕ

Золя Эмиль

З-79 Западня. Жерминаль: Романы: Пер. с фр. /Редкол.: Л. Андреев, Г. Бердников, Г. Гоц и др.; Вступ. статья А. Пузикова; Примеч. С. Зенкина; Худож. М. Майофис.—М.: Худож. лит., 1988.— 783 с. (Б-ка классики. Зарубеж. лит-ра).

ISBN 5-280-00000-4

Романы выдающегося французского писателя Эмиля Золя (1840—1902) «Западня» (1877) и «Жерминаль» (1885) входят в широко известную эпопею «Ругон-Маккары», в которой на материале истории одной семьи дана впечатляющая панорама общественной жизни Франции периода Второй империи (1852—1870).

З $\frac{4703000009\text{-}189}{028(01)\text{-}88}$ 127-88 ББК 84.4Фр

БИБЛИОТЕКА КЛАССИКИ

Зарубежная литература

Эмиль Золя

ЗАПАДНЯ

ЖЕРМИНАЛЬ

Романы

Редактор
М.Уаксмахер

Оформление «Библиотеки»
И. Сальниковой

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технические редакторы
Л. Платонова,
Л. Витушкина

Корректоры

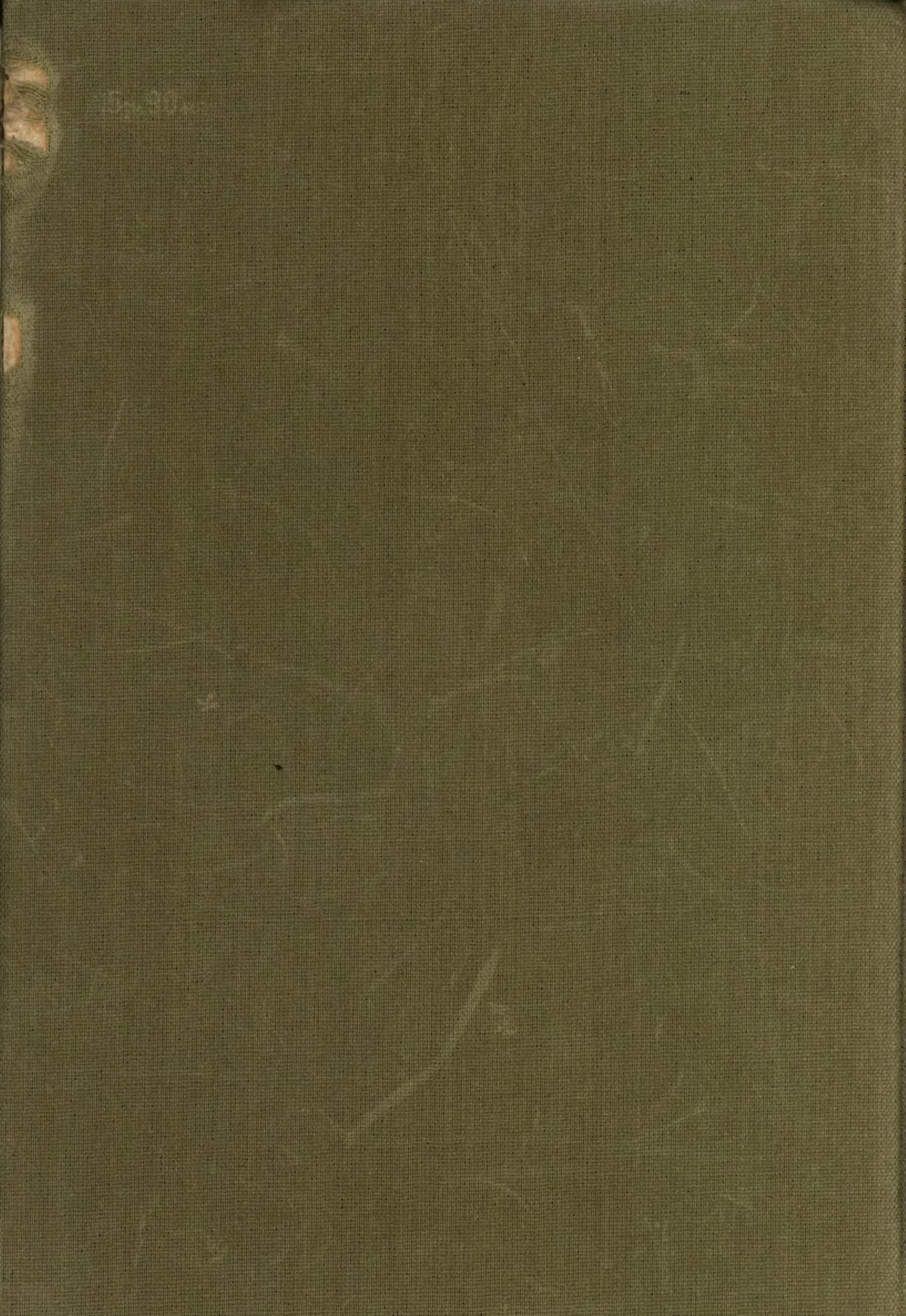
О. Стародубцева,
И. Шевякова

ИБ № 4961

Сдано в набор 22.07.87. Подписано в печать 22.02.88. Формат $60\times84^{1}/_{16}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 45,72+4 нак.=46,65. Усл. кр.-отт. 49,57. Уч.-изд. л. 52,76+4 нак.=53,59. Тираж 500 000 (2 зав. 200 001—500 000) экз. Изд. № I-2723. Заказ № 1334. Цена без суперобложки 5 р. 90 к. Цена с суперобложкой 6 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28



ЭМИЛЬ ЗОЛЯ
ЗАПАДНЯ
ЖЕРМИНАЛЬ